М · САДОВЯНУ

РАССКАЗЫ · МИТРЯ КОКОР ·

Л · РЕБРЯНУ

ВОССТАНИЕ

М · САДОВЯНУ
•
Л · РЕБРЯНУ
•

※ ※ ※

М. САДОВЯНУ

РАССКАЗЫ

МИТРЯ КОКОР

•

Л. РЕБРЯНУ

ВОССТАНИЕ

ПЕРЕВОД С РУМЫНСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1976

Вступительная статья и примечания
Ю. Кожевникова

И(Рум)
С14

Иллюстрации
П. Пинкисевича

С $\frac{70304-042}{028(01)-76}$ подписное

ГЛАВНАЯ ТЕМА РУМЫНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ливиу Ребряну и Михаил Садовяну — два различных художественных темперамента, два совершенно не похожих друг на друга писателя, с разным внутренним видением мира,— один беспощадный аналитик человеческой психологии и социальных условий, стремящийся быть предельно объективным, а потому как бы скрывающий свое авторское, писательское отношение к тому, что он изображает, другой полон сочувствия к людям, о которых пишет,— он непосредственный участник происходящих событий и тогда, когда рассказывает о том, что пережил и увидел сам, чем взволнован, и тогда, когда передает чужой рассказ, потому что и чувства других он принимает близко к сердцу, ибо в первую очередь сопереживает он, автор, заставляя сопереживать и читателя. Ливиу Ребряну главным образом эпик, Михаил Садовяну в основе своей лирик. И вместе с тем, несмотря на все различие их творческих индивидуальностей, они два крупнейших представителя реалистического направления в румынской литературе XX века и неразрывно связаны между собой пристальным вниманием к судьбе родного народа, кровной заинтересованностью в положении крестьянина-труженика.

Для Румынии, страны аграрной, где пережитки феодализма сохранились и на протяжении первой половины XX века, судьба народа и судьба крестьянства были неразрывно связаны между собой.

«Талпа цэрий» — «основа страны» — так называли в буржуазно-помещичьей Румынии крестьянство. Но это же слово «талпа» имеет в румынском языке и другой смысл, притом не иносказательный, а основной: подошва, подметка. Когда крестьянину хотели польстить, тогда он был «основой», но чаще всего ему приходилось быть «подошвой», на которую буржуазно-помещичье государство опиралось всей тяжестью налогов, поборов, бесправия.

Румынская литература, становление которой происходит на рубеже XVIII—XIX веков, с самого же начала выступает как поборник прав и свободы народа. В первой половине XIX века в литературе понятие народа сливается с понятием нации. Это было и естественно, потому что в то время для румын не было ни национального единства, ни национальной свободы: так называемые Дунайские княжества — Мунтения, или Валахия, и Молдова,— которые лишь во второй половине века объединились в единое национальное государство, Румынию, находились под властью турок. Считаясь номинально самостоятельными, княжества зачастую управлялись господарями, ставленниками Оттоманской империи, которые с начала XVIII века в течение более ста лет выбирались из фанариотов, верных турецкому султану греческих семейств.

Общий подъем национально-освободительной борьбы против турецкого владычества, охватившей в первой половине XIX века все Балканы, затронул и Дунайские княжества. Но крупнейшее восстание в 1821 году, во главе которого стоял Тудор Владимиреску, было направлено не только против «внешних» угнетателей, турок, но и против «внутренних» — бояр и помещиков. С этого времени в умах передовых людей постепенно вызревает идея необходимости не только национальной независимости и единства, но и социальной справедливости.

Революция 1848 года, прокатившаяся по всей Европе, достигла и Дунайских княжеств. Стремление коренным образом изменить жизнь народа не могло не поставить вопроса о крестьянстве. После долгих дебатов в программу румынских революционеров, получившую название Ислазской прокламации, был включен пункт о наделении крестьян землей за выкуп. Революционная вспышка в Дунайских княжествах закончилась неудачей, в первую очередь потому, что революционеры не смогли привлечь на свою сторону народные массы, то есть крестьянство. Но требования 1848 года продолжали оставаться настоятельной необходимостью общественного развития. В упорной борьбе против феодалов-сепаратистов достигается в 1859 году фактическое объединение княжеств. В 1864 году проводится весьма ограниченная аграрная реформа: крестьянам за выкуп предоставляется возможность получить небольшие наделы земли. После русско-турецкой войны 1877—1878 годов, в которой принимали участие и румынские войска, Румыния обретает независимость от Оттоманской империи. Хотя все это было значительным шагом вперед в жизни румынского общества, однако к радикальным переменам в жизни трудового народа не привело. Вместо республиканского строя, о котором мечтали наиболее прогрессивные умы, была установлена конституционная монархия. Освободившись от прямой дани турецкому султану, «свободная и независимая» Румыния распахнула доступ другому угнетателю — иностранному капиталу. Земельная реформа не решила крестьянского вопроса. Не успели румынские солдаты, сражавшиеся под Смырданом и Гривицей, прошествовать торжественным маршем

по главной улице Бухареста, как вновь начались крестьянские волнения, опять раздался отчаянный и вместе с тем грозный стон: «Хотим земли!»

Тот романтический подъем, который предшествовал революции 1848 года, придавший свою окраску и литературе, иссяк, как только свобода, равенство и братство обрели свой буржуазный облик. В последней четверти XIX века румынская литература занимает резко критическую позицию по отношению к «чудовищной коалиции», как назвал великий румынский писатель Ион Лука Караджале буржуазно-помещичий строй. И если прогрессивная литература продолжает защищать народ, то уже не как нацию в целом, а как его трудовое большинство, крестьянство, лишенное земли и гражданских прав, угнетенное, страдающее, темное.

Критика буржуазно-помещичьего строя и защита угнетенного крестьянства становится той идейной и моральной основой, на которой возникает и развивается реализм в румынской литературе. Как только крестьянство становится центром внимания литературы, в ней сразу же намечаются две линии, две художественные тенденции. У истоков одной стоит молдаванин Ион Крянгэ (1837—1889), вторую открывает трансильванец Ион Славич (1848—1925).

Крянгэ с его сказками, народными притчами, побасенками и главным его произведением «Воспоминаниями детства» (1880—1881) выступает как крестьянин от лица крестьянства. Он раскрывает деревенский мир. Эту линию, связанную с фольклором, пластичным народным языком, красочным бытом, образностью мышления, принципами глубокой нравственности, будет по-своему развивать Михаил Садовяну, для которого летописец Ион Некулче и Ион Крянгэ были носителями духовной красоты румынского народа. Садовяну писал в статье «Народная поэзия», что он, чувствуя себя «принадлежащим народу и его прошлому», считает их своими великими предшественниками [1].

В отличие от Крянгэ, Славич суровый реалист. Он стремится к объективности и воспринимает деревню не «изнутри», а смотрит на нее со стороны, и потому поле его зрения шире, в него попадают и такие стороны деревенской жизни, которые «изнутри» как бы и не видны: жестокость и жадность мужика, его ограниченность и вековая забитость. Если социальные мотивы у Крянгэ проступают сквозь сказочные иносказания, у Славича в его лучших произведениях, таких, как повести «Счастливая мельница» (1881), «Клад» (1896), роман «Мара» (1906) и др., они выражены четко и составляют основу конфликта. Эту линию суждено будет продолжать Ливиу Ребряну.

Жизнь крестьянина становится главной темой реалистической литературы. Общественная мысль тоже была прикована к положению крестьянина, к его судьбе. Но судьба крестьянина была такой беспросветной, положение таким безвыходным, что, казалось, остается только одно: взывать

---

[1] Mihail Sadoveanu. Evocări. Buc., E. S. P. L. A., 1954, p. 17.

к общественной совести. Именно таким призывом и явился в конечном счете «попоранизм» (от румынского слова «попор» — народ), под знаком которого проходило развитие румынской литературы в начале XX века.

С проповедью попоранизма начиная с 90-х годов выступает Константин Стере. Уроженец Бессарабии и русский народник, отбывший ссылку в Сибири и переселившийся потом в Румынию, Стере искренне желал продолжить традиции русского революционного народничества в Румынии. Однако, понимая, что крестьянская революция ни к чему не может привести и никаких «милостей» от короля и боярства тоже ждать не приходится, он так сформулировал основную сущность «попоранизма»:

«Это скорее всеобщее чувство, интеллектуальная и эмоциональная атмосфера, чем доктрина и строго определенный идеал; анализируя его, мы можем извлечь следующие составные элементы: безграничная любовь к народу... преданная защита его интересов, вдохновенная и чистосердечная работа для того, чтобы поднять его до уровня социального и культурного независимого фактора; в качестве же теоретической основы можем указать на идеи: 1) народ, и только он, является вечной жертвой — на протяжении целых веков он трудился и проливал свою кровь для того, чтобы поднять на своих плечах все социальное здание, и 2) вследствие этого все вышестоящие слои находятся перед народом в таком неоплатном долгу, что если бы они решили честно расплатиться, то смогли бы, несмотря на все жертвы, все самоотречение и чувство долга, заплатить едва ли проценты»[1].

Для того чтобы будить румынский «культурный слой», будоражить общественную совесть, Константин Стере вместе с ученым-биологом Паулем Бужором в 1906 году начинают выпускать журнал «Вяца ромыняскэ». К ним присоединяется критик Гарабет Ибрэиляну; вокруг журнала группируются все наиболее значительные писатели того времени.

Культуртрегерство, которое усердно проповедовали и насаждали попоранисты, конечно, не могло ни улучшить положения крестьян, ни разрядить все сгущающейся и сгущающейся атмосферы в деревне. В 1906 году король Румынии Кароль I отпраздновал сорокалетие своего царствования. Карл Гогенцоллерн-Зигмаринген, немецкий офицер, приехавший в Румынию в «статском платье и зеленых огромных очках, во 2-м классе с саквояжем под мышкой»[2], превратился за это время в крупнейшего помещика, богатейшего человека, самого первого эксплуататора румынского крестьянина. Пышная выставка, организованная в честь сорокалетия правления Кароля, должна была ознаменовать то благоденствие, которого якобы достиг румынский народ при «мудром» и «благородном» короле-иностранце, который едва-едва говорил на языке того народа, которым правил. «Забрать такое количество миллионов из народных податей и устроить выставку в то время, когда крестьяне по горло в долгах, вынуждены после засухи по-

---

[1] Valeriu Ciobanu. Poporanismul. Buc., 1946, p. 183.
[2] Г. П. Данилевский. Сочинения, т. 23. СПб., 1901, с. 191.

купать кукурузу! Построить столько зданий, чтобы потом их сломать, разве это не разбазаривание государственных денег? Разве это не издевательство над трудом народа?»[1] — с возмущением восклицал писатель Спиридон Попеску в своей книге «Дед Георге на выставке». Когда были сломаны разукрашенные и размалеванные павильоны выставки, по поводу которых так возмущался С. Попеску и недоумевал с искренним простодушием его герой, дед Георге, когда рухнул этот искусственный фасад, обнаружилось подлинное состояние страны, ужасающее бедственное положение деревни.

После пышных торжеств прошел лишь год, и в 1907 году всю страну потрясло грандиозное крестьянское восстание. Мужики поднялись на защиту своих прав против помещиков, которых в большинстве случаев они и в глаза не видели, потому что те передоверяли свои имения управляющим, а чаще всего арендаторам. Система сдачи земли в аренду была чрезвычайно распространена в Румынии. Помещик-боярин получал с земли, таким образом, «твердый доход» и полностью отстранялся от такого «плебейского» дела, как общение с «вонючими и темными» мужиками. Хозяином положения оказывался арендатор, который, как подлинный временщик, старался, преступая все законы, награбить побольше. И опять самым угнетенным оставался крестьянин, которого не могла прокормить земля, если она у него даже и была.

Королевское правительство жестоко подавило восстание. Против восставших были брошены войска. Дело доходило до того, что артиллерия била по крестьянским хатам. 11 000 безоружных мужиков было убито. Беспримерная жестокость и цинизм королевского правительства вызвали волну гневного и глубочайшего общественного возмущения.

1907 — эта цифра кровавым клеймом отпечаталась на лбу монарха — так изобразил Кароля I художник Изер. Крупнейший румынский живописец Октав Бэнчила создал серию полотен, посвященных этому трагическому событию, и среди них незабываемую картину «1907», где на фоне темного неба, освещенного заревом горящей деревни, бежит по полю, на котором лежат тела убитых, босой, в белой рваной одежде, с обезумевшими от страха глазами крестьянин, бежит из родной деревни, бежит в никуда... «Король и ложь совместно восседают», — писал поэт Александру Влахуцэ. Ион Лука Караджале написал брошюру «1907 год от весны до осени», в которой гнев и уничтожающая сатира сочетаются с точным анализом экономического положения. «Недавнее восстание крестьянских масс, — писал он, — которое было подобно жестокой гражданской войне, безусловно, вызвало смятение и удивление во всей Европе. Однако кто так же хорошо, как и мы, знаком с органами управления нашего государства и с их работой, удивляется теперь не тому, что случилось, а тому, что при

[1] S. Popescu. Moş Gheorghe la expoziţie. Buc., E. S. P. L. A., 1950, p. 93.

наличии такой энергии в массах этот огромный взрыв не произошел гораздо раньше»[1].

Никакие усилия в области поднятия уровня культуры вообще и культуры сельского хозяйства в частности не могли изменить в лучшую сторону судьбу крестьянина, поскольку решающим вопросом оставался вопрос о земле. Попоранизм в таких условиях мог быть только вздохом благородного бессилия перед тщетным желанием сгладить коренное социальное неравенство между землевладельцем и землепашцем. Весьма наглядно проявилось это во всей деятельности журнала «Вяица ромыняскэ» и, возможно, особенно показательно на примере активного его сотрудника Михаила Садовяну, ревнителя практического попоранизма, который работал в кружках культуры, выпускал «народную газету», вел пропаганду за организацию экономических обществ. «В этом направлении я работал с любовью и усердием,— признавался писатель,— считал свой труд для непросвещенного большинства обязанностью, которой нельзя избежать»[2].

Но тот же Садовяну, который «с любовью и усердием» старался просвещать и вразумлять крестьянство, вынужден был признать всю тщету своих усилий, ибо они не были направлены на то, чтобы устранить главную причину бедственного положения крестьянина. Так, выступая уже в качестве художника-реалиста, Садовяну в очерке «В тот мартовский день 1907 года» запечатлевает действительный случай, не щадя своих «теоретических» убеждений. В дни восстания писатель обращается к одному из крестьян:

«— Есть ли у тебя земля?

— Мало...— вздохнул тот с болью,— несколько саженей вокруг хаты...

Я воспользовался предлогом, чтобы объяснить силу товарищества и показать Иримие Роатэ, как бы мог он избавиться от нужды, в которой бился. Но так как, видимо, мои советы были слишком пространными, я посреди фразы вдруг заметил, что он внимательно и как-то по-особому смотрит на меня, и понял, что он хочет что-то сказать.

— Что ты хочешь сказать, Иримие? — спросил я его ласково.

— Барин,— заговорил он с жаром.— Если есть у тебя работа, я тебе отработаю когда-нибудь, когда позовешь. Пока дай мне шестьдесят банов, очень мне нужно, а то сегодня в кармане ни гроша...

Я почувствовал себя словно упавшим с неба, пристыженным и обескураженным»[3].

И все-таки попоранизм, наивный и бесплодный в социально-общественной сфере, сыграл свою положительную роль, в первую очередь в обла-

---

[1] Ион Лука Караджале. Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1961, с. 165—166.

[2] Augustin Z. N. Pop. Trei scrisori autobiografice.— «Tînarul scriitor», 1957, № 8.

[3] Mihail Sadoveanu. Opere, v. 6. Buc., E. S. P. L. A., 1954—1960, p. 203.

сти литературы, будучи как бы импульсом для развития критического реализма. Журнал «Вяаца ромыняскэ» привлек к себе самые лучшие литературные силы, нацеливал писателей на правдивое отображение жизни. А правда действительности в такой стране, как Румыния, была, естественно, связана с изображением крестьянина. В свою очередь, бедственное положение этого крестьянина не могло не порождать критической позиции у писателя по отношению к тому социальному порядку, который и был первопричиной всех бедствий. Одно было тесно связано с другим, это прекрасно понимал Г. Ибрэиляну, который, по словам современников, был душою журнала и главным теоретиком в области эстетики и философии. Он писал: «Мы — только попоранисты. И наш попоранизм более важный для нас в других областях, в областях литературы, повторяю еще раз, не означает ничего иного, кроме притязаний на национальный дух и той симпатии к народу, которая позволяет писателю правильно посмотреть на жизнь маленьких людей и их конфликты. Другими словами,— это оригинальность в искусстве и реализм в изображении крестьянской жизни»[1]. Однако именно то, что Ибрэиляну считал менее важной областью проявления «попоранизма», оказалось наиболее важным. Попоранизм не мог ни накормить голодных крестьян, ни наделить их землей. Он не мог даже смягчить антагонистических противоречий между крестьянином и помещиком. Но он мог вдохнуть в литературу новые силы, поставить (именно поставить!) перед ней главную общественно-моральную и эстетическую задачу. Попоранизм не создал в румынской литературе ни особого течения, ни направления. Это прекрасно понимал и Ибрэиляну, как теоретик попоранизма, и писатели, группировавшиеся вокруг журнала «Вяаца ромыняскэ», но для литературы он был воистину живительной атмосферой, в которой воспитались такие крупнейшие румынские писатели, как Садовяну, Агэрбичану, Гала Галактион. Эта атмосфера продолжала воздействовать на литературное развитие, поддерживая традиции высокой гражданственности и реализма, которые продолжил несколько позже и Ребряну.

Михаил Садовяну (1880—1961) родился в городке Пашкани. Отец его был провинциальный адвокат, мать — крестьянка. Подрастая в провинциальном захолустье, он воспринимал душой и сердцем сразу два мира, деревенский и городской, впитывая национальную культуру через сказки, песни, танцы, узоры одежды и ковров, а через книги — мировую культуру. Еще в гимназии Садовяну начал писать. Не поступив в Бухарестский университет, на чем настаивал отец, юноша возлагает все надежды на упорный труд и талант и действительно скоро добивается успеха. Уже в 1904 году его имя становится широко известным. В этот год выходят три сборника его рассказов и историческая повесть «Соколы». Три из этих четырех книг были отмечены премиями. Среди ранних рассказов Садовяну много романтических, вернее, фольклорно-романтических: молодой писатель как

[1] G. Ibrăileanu. Pagini critice, v. I. Buc., E. S. P. L. A., p. 243.

бы пересказывать на свой манер народные и в первую очередь гайдуцкие сказы и баллады. Гайдук в его рассказах, впрочем, как и в фольклоре, предстает как символ вольной жизни, неуемной силы и страсти, справедливости и бесстрашия. Гайдук как определенный человеческий идеал, созданный народным воображением, становится и излюбленным героем писателя. Иванчиу Леу и Козма Рэкоаре, герои ранних рассказов Садовяну, начинают целую галерею образов, в которых всячески варьируется образ гайдука. Романтически приподнятый образ народного мстителя, «рыцаря без страха и упрека» проходит через все его творчество. Он присутствует и в повести «Соколы» (1904), и в сюите новелл «На постоялом дворе Анкуцы» (1928). Он проглядывает сквозь образы главных героев его исторической трилогии «Братья Ждер» (1935—1942). Его нетрудно угадать в рассказе «Валинашев омут» и в романе «Никоарэ Подкова» (1952). И даже образ Митри Кокора, крестьянина, реально утверждавшего социальную справедливость и народную власть в Румынии, связан тайными нитями с любимой автором фигурой гайдука. А романтическая окраска, которая, словно яркая радуга, расцвечивает ранние произведения Садовяну, присутствует во всем его творчестве, то вспыхивая, то затухая, то сияя вновь. Особый привкус романтики, воспринятый Садовяну из народных песен и баллад, из исторических хроник, ощущается в его языке, в манере повествования, в лепке образов. Эта романтика придает его произведениям особую интимность, доверительность, его образам теплоту и человечность.

Садовяну, формировавшийся и работавший в атмосфере «попоранизма», был писателем, в творчестве которого общественные и социальные проблемы всегда находили свое разнообразное отражение. Он всегда выступал как реалист, зорко подмечавший все негативные стороны жизни. Для него критерий реальности всегда был выше собственных убеждений и предубеждений. Садовяну, проживший долгую жизнь, всегда был чуток к общественным веяниям и переменам, а его непреклонная вера в то, что для трудящегося человека должно наступить в конце концов царство справедливости, неизменно служила ему верным компасом среди житейских и общественных бурь.

Крестьянин, его жизнь, его невзгоды и чаяния, его облик и внутренний мир — основная тема творчества Садовяну. Румынскому крестьянину, забитому и обездоленному, посвящены многочисленные рассказы, написанные им до первой мировой войны. Среди них много жестоких и беспощадных. И если в них иногда ощущается воздействие «попоранизма», как надежда что-то исправить в социальной машине, то это не ослабляет их разоблачительной силы. Многие иллюзии писателя развеяла первая мировая война.

После войны в Румынии активизировалось развитие капитализма, а вместе с этим обострились и все социальные процессы как в городе, так и в деревне. От иллюзий «практического попоранизма» не осталось и следа. После войны и революционного переворота в России Садовяну как бы с новой идейной вершины озирает жизнь румынского общества, его соци-

альный горизонт расширяется. В повести «Улица Лэпушняну», имеющей подзаголовок «Хроника 1917 года», Садовяну клеймит «отравленный Вавилон» высшего общества, которое ввергло народ в войну и превратило ее в средство для наживы, в предлог для обогащения за государственный, а на самом деле за народный счет. Вынося суровый приговор правящим классам, писатель резко ставит вопрос о положении трудящихся масс. Война принесла народу неизмеримые страдания и бессмысленные жертвы. Солдаты жаждут мира, но чувствуют, что мир не даст им ничего. «Все равно заключат,— рассуждает солдат-крестьянин о мире.— Мы что, мы должники, значит, и плательщики, мы, как вол, который везет, пока не сдохнет. А потом мы пойдем по домам. Только там-то что нас ожидает?» [1]

Поставив этот вопрос, Садовяну дает на него и ответ. Писатель приветствует Февральскую революцию в России и свержение царизма, который он сравнивает с чугунной крышкой, давившей душу народа. Он признает суровый подвиг революции: «У хозяина, который бил и угнетал, из рук выпал бич. Раб, который, в свою очередь, может ударить, беспощаден» [2]. Устами русского военного Плотникова он произносит панегирик революции: «Вся земля должна быть передана крестьянам. Они обрабатывают землю, и им должна принадлежать земля. Фабрики тоже должны принадлежать рабочим. Мы установим мир и справедливость. Больше не будет бедняков. Все люди — братья» [3]. Все это вовсе не означало, что Садовяну сам стал революционером, проповедником социалистических идей, но это было решительным поворотом в мировоззрении писателя, который без всяких оговорок вместе со своим народом станет строить социалистическое общество, когда после второй мировой войны развеется коричневый туман фашизма. «Отравленному Вавилону» Садовяну противопоставлял трудовой народ. «Песня труда — это не грустная песня... Труд не всегда бывает веселым, но, несмотря на все свои печальные стороны, ему не суждено приносить страдания. Труд — это пульс жизни человечества, это победа будущих веков» [4],— писал Садовяну. Безграничная вера в народ вдохновила его на пророческие слова: «Великий наш народ... уснул жалким сном. Когда он проснется, когда он поймет и возвеличит свою родину, мы будем действительно сильнее, лучше, и нас будут больше уважать другие народы земли» [5].

Освобождаясь от «попоранистских» иллюзий, Садовяну развивает идею «боярского греха». Если в его ранней одноименной повести этот грех изображался как аморальный, антигуманный поступок одного человека, попирающего достоинство другого, то в романе «По Серету мельница плыла» (1925) уже само существование боярства, помещичьего класса, владеющего землей, предстает как «грех» общественный, в силу которого утвер-

---

[1] Mihail Sadoveanu. Opere, v. 7, p. 198.
[2] Там же, с. 194.
[3] Там же, с. 206.
[4] Там же, т. 6, с. 176—177.
[5] Там же, с. 285.

ждается социальная несправедливость. Создав образ «настоящего боярина» Филоти, эксплуататора и мота, садиста и сибарита, Садовяну одновременно показал и неизбежный процесс замены одних угнетателей другими. Разорившийся Филоти продает поместье разбогатевшему кулаку Чорней. «Вода и бояре катятся вниз»,— лаконично и безжалостно подводит итог Чорней [1].

Противопоставляя боярству и другим мироедам народ, а «боярскому греху» идею мести, Садовяну создает сюиту новелл «На постоялом дворе Анкуцы». Сюита состоит из поэтичных рассказов о разных случаях из народной жизни, которые вспоминают перед собравшимися рэзеш Ионицэ, монах Герман, коробейник Леонте, пастух Моцок и др. Рассказы сливаются в единую поэму о народе, каждый рассказ как бы освещает одну из сторон народного характера (жажда справедливости, оптимизм — «Государева кобыла», отчаянная отвага — «Харалампие», вера в чудеса и земную любовь — «Змий», «Колодец под тополями»), сложность и вместе с тем цельность его. Центральным в этой сюите, так же как главной из черт народного характера, представляется жажда справедливости и возмездия, выраженная в рассказе «Суд обездоленных». Вновь обращаясь к временам гайдуков, мстителей за народные слезы и угнетение, Садовяну создает картину народного суда. Не кто иной, а гайдук, по прозвищу Василе Великий, призывает крестьян: «До самого страшного божьего суда не находим мы правды ни у исправников, ни у Дивана. Так будем сами, своими руками творить суд и расправу. За женщину мы тебя прощаем, светлейший боярин, но мы дрогли на морозе, с головой, втиснутой между кольями плетня, мы стояли по щиколотку в ледяной воде, наши ноги были забиты в колодки, глаза наши выедал дым от перца, и кашляли мы так, что душу выворачивало. Ты сек нас арапником, вырывал нам ногти. Ты отравил всю нашу жизнь, и каждый день мы вспоминаем об этом, не находя себе ни утешенья, ни избавления! Мы здесь, боярин, чтобы за все отплатить тебе сполна!»

Эта же тема отмщения звучит и в повести Садовяну «Секира» (1930). Несмотря на то что время действия этой повести относится к далекому прошлому, сам мотив неизбежности расплаты за злодеяния был воспринят фашиствующими молодчиками как прямой выпад писателя-демократа против них, недаром румынские легионеры прислали автору разрубленный топором экземпляр этой книги с угрозой расправиться с ним, как с его сочинением.

Хотя и «Постоялый двор Анкуцы» и «Секира» весьма далеки от романа Ливиу Ребряну «Восстание» как художественные произведения, но тема отмщения за преступления против народа, отмщения неизбежного и закономерного, сближает их и ставит в один ряд.

Ливиу Ребряну (1885—1944) родился в семье сельского учителя в

---

[1] Михаил Садовяну. По Серету мельница плыла. М., Гослитиздат, 1954, с. 263.

Трансильвании, которая до 1918 года входила в состав Австро-Венгерской империи. На собственные средства получить образование было очень трудно, и юноша должен был пойти в военную школу. Став офицером, он через два года выходит в отставку, чтобы заняться литературным трудом. Румын, выросший в Австро-Венгрии, Ребряну прежде всего ощущает на собственном опыте национальный вопрос: в австрийской армии ему часто дают понять, что он «неполноценный» офицер, поскольку он румын по происхождению, а когда он перебирается в Бухарест, австрийские власти добиваются его высылки обратно и сажают в тюрьму, якобы за нелегальный переход границы. Именно национальный вопрос, столь остро стоявший в таком лоскутном государстве, каким была Австро-Венгерская империя, помог создать ему острый антивоенный, антиимпериалистический роман «Лес повешенных» (1922), который закрепил за ним одно из первых мест в румынской литературе. Но все же наиболее сильными из всего многообразного творчества Л. Ребряну являются два его «крестьянских» романа — «Ион» (1920) и «Восстание» (1932). В романе «Ион» Л. Ребряну подходит к крестьянину не с сочувствующих, «попоранистских» позиций. Ребряну стремится объективно рассмотреть проблему «власти» или «жажды земли». Он берет крайний, но вместе с тем не столь уж редкий случай в деревне, когда пресловутая «жажда земли» настолько овладевает крестьянином, что он теряет всякое человеческое лицо. Ион Глапеташу от рождения волевой, целеустремленный и даже незаурядный парень. Но в условиях деревни он может проявить свои способности и волю только в одном — во что бы то ни стало приобрести землю. Его цель обусловливается тем, что сам-то он нищий. Для Иона Глапеташу стать землевладельцем означает стать человеком, но Ребряну показывает, как именно на этом пути Ион и теряет человеческое обличие. Приобрести землю бедный парень может, только получив ее в приданое. И Ион отвергает девушку, которую любит, потому что она бедна и брак с ней не приведет его к желаемой цели. Ион идет на то, что соблазняет невзрачную дочку богача Ану. Обесчестив ее и выставив на посмешище, он вынуждает отца отдать за него дочь, а вместе с нею и солидное приданое. Ион разбогател, но от этого он не становится человеком. Все человеческое в нем превращается в бесчеловечное. Тоскуя по своей юношеской любви, по Флорике, он своим полным равнодушием, пренебрежением доводит Ану до самоубийства. Не посчитавшись с Аной, он и потом полагает, что сила, удвоенная к тому же богатством, не знает препятствий, а потому он может «вернуть» себе Флорику, сделать ее своей любовницей. Муж Флорики убивает ослепленного своим «всемогуществом» Иона, а земля его отходит к местной церкви. Психологический роман Ребряну по мере развития действия превращается также в роман социальный, наглядно показывающий, как калечит и уродует человека низменная жажда собственности. Но Ребряну далек от того, чтобы видеть в каждом крестьянине Иона Глапеташу, который остается для него воплощением личного стремления к наживе, к богатству.

Как бы продолжая разрабатывать ту же проблему «власти земли», но уже не в индивидуальном, а массовом аспекте, как проблему классовую, Ребряну создает роман «Восстание». Романист возвращается к страшным и трагическим дням крестьянского восстания 1907 года и со скрупулезностью аналитика и высочайшим мастерством художника-реалиста воссоздает картину событий. Ребряну, подобно Иону Луке Караджале, дает анализ причин и следствий массового бедствия крестьян, но если у Караджале его очерки «1907 год от весны до осени» были в первую очередь произведением публицистическим, Ребряну создает роман, подлинное произведение искусства. Вековечный антагонизм имущих и неимущих, эксплуатирующих и эксплуатируемых, доведенных до предела голодом и отчаянием, автор раскрывает в целой системе образов, ситуаций, человеческих связей и отношений. Два класса противостоят друг другу, но хотя они представлены самыми различными по характерам, образу жизни, убеждениям и индивидуальным качествам людьми, они четко разграничены классовой принадлежностью: у одних есть земля, которая делает их власть имущими, у других ее нет, и потому они рабы, быдло. Определенным центром, к которому стягиваются все композиционные нити романа, является семья помещиков Юга: Мирон Юга, старик суровый, но старающийся быть справедливым, хранитель патриархальных традиций, его сын Григоре Юга, человек иной формации, с достаточно широкими и либеральными взглядами, но в то же время ограниченный в своем общественном мышлении, и Надина, жена Григоре, очаровательная, красивая самка, обворожительная и циничная. Все трое — очень разные между собой по воззрениям люди, но с точки зрения их классовой принадлежности вся разница между ними заключается только в том, что Надина готова свою землю продать кому угодно, лишь бы подороже, чтобы превратить деньги в развлечения и наряды, Мирон Юга хочет приобрести сам поместье Надины, которое когда-то было частью их родового имения, а Григоре Юга робко советует продать землю крестьянам с некоторой скидкой и рассрочкой, сочувствуя тем, кто на протяжении веков из года в год обрабатывает землю, считает себя с ней кровно связанным и в то же время не имеет ее.

Ребряну шаг за шагом показывает унизительное положение бесправного крестьянина, которого жандармы избивают лишь потому, что перепуганному арендатору показалось, что у него украли кукурузу, а суровый помещик, полагающий каждое свое действие справедливым, отдает распоряжение найти во что бы то ни стало воров; того крестьянина, у которого из года в год отбирают плоды его труда, потому что эти плоды вырастают на земле, принадлежащей помещику; того крестьянина, дочь которого может быть опозорена распутным сынком арендатора, и ни дочь, ни отец не находят на него «никакой управы».

Ребряну выводит целую галерею крестьянских типов. Крестьяне — это пестрая толпа людей умных и простодушных, доверчивых и обозленных, робких и горячих, но всех их объединяет одно: рабское положение, потому

что у них нет земли. Они жаждут этой земли, но эта «жажда земли» вовсе не та, которая владела Ионом Глапеташу, потому что для него она была жаждой власти, а для них это жажда жизни. Отчаяние и голод доводят крестьянскую массу до крайнего возбуждения, подогреваемого слухами о «королевской милости», которая якобы, передает землю в крестьянские руки, но только вот помещики этого не хотят. Крестьяне идут к землевладельцам, идут не убивать, не грабить, а требовать землю, требовать справедливости, и только тогда, когда «непогрешимый» помещик Мирон Юга палит из ружья прямо в лицо одному из крестьян, тогда начинается подлинный бунт и всеобщее уничтожение всего ненавистного имения.

Ребряну показывает себя тонким психологом и блестящим мастером, когда, рисуя страшные, бесчеловечные сцены, как, к примеру, «холощение» похотливого Аристиде, обесчестившего не одну девушку в селе, или убийство Мирона Юги, внушает ощущение справедливого возмездия.

Но крестьянское восстание, бунт, слепой и беспощадный, не могло закончиться ничем, кроме поражения. Правительство посылает войска, которые пулями усмиряют восставших. «Не пробил еще тот час, когда возьмет верх правда, сударь, но обязательно должен когда-нибудь пробить, потому как не может быть на свете жизни без правды»,— говорит крестьянин Лупу Кирицою. Таков конец трагических событий, а вместе с тем и романа «Восстание».

Тот художественный анализ человеческих характеров, сформировавшихся под воздействием различных социальных условий и классового антагонизма, который дал Ребряну в своем романе, обнаруживал полную гнилость буржуазно-помещичьего строя в Румынии. Чтобы удержаться на той высокой критической позиции, которой достиг писатель как автор «Восстания», ему необходимо было увидеть и понять новую растущую историческую силу — организованный пролетариат. Но этого не дано было Ливиу Ребряну. В 30-е годы в Румынии шла крупная политическая игра: распадались, формировались, «отпочковывались» различные буржуазные партии. Традиционные буржуазные партии: либералы, национал-царанисты, царанисты-демократы, а позднее «железная гвардия» — партия румынских фашистов,— все громогласно выступали за спасение нации, народа, крестьянина. Ребряну оказывается вовлеченным в эту игру. Его осыпают почестями, в 1940 году его торжественно выбирают в Академию, он сближается с реакционным правительством Антонеску. Но одновременно идет необратимый процесс оскудения таланта. Лишившись демократической основы, его творчество мельчает. После «Восстания» Ребряну не создал ни одного произведения, которое хотя бы приближалось к этому роману. Ребряну понимал и тяжело переживал свое творческое бессилие. Незадолго до смерти он записал в дневнике: «Не могу ничего писать. Даже заметок. Чувствую себя словно лишним в мире, выбитым из колеи. Иногда мне кажется, что я прожил слишком долго...»

Логический итог и своему творчеству, и той линии румынской литературы, которая с конца XIX века была связана с крестьянской темой, удалось подвести Михаилу Садовяну. После освобождения страны от фашизма 23 августа 1944 года он становится поборником коренной социальной ломки в стране, утверждения социалистических принципов общежития. Писатель, публицист, общественный и политический деятель сливаются воедино в стремлении и на румынской земле создать государство рабочих и крестьян. Знакомство с Советским Союзом, с жизненными принципами страны социализма вдохновляет его, дает ему новую точку опоры как писателю. Садовяну первый в румынской литературе создает роман о сельскохозяйственном коллективе — «Малая Пэуна». В этом романе много утопичного и наивного, это и понятно, ведь ни одного коллективного хозяйства в Румынии тогда еще не было. Но писатель заглядывал вперед, торопил события. «Я считал, что интересно написать повесть о работе группы людей, тяжело пострадавших во время войны и решивших создать образцовую сельскохозяйственную ферму на пустующих землях на берегу Дуная. Я думаю, что такая повесть была бы сегодня характерна для нашей страны»,— так ставил он перед собой задачу, общественную и художественную.

Через год, в 1949 году, выходит в свет «Митря Кокор» — повесть, обошедшая буквально весь мир, переведенная на десятки языков, принесшая автору высокую награду — «Золотую медаль мира». Повесть представляет собой картину жизни румынской деревни более чем за двадцать пять лет. В образе главного героя Митри Кокора писатель раскрывает последовательное превращение стихийного протеста трудовых крестьянских масс против эксплуатации и социальной несправедливости в протест сознательный. Писатель рисует характер, которому в иных условиях, в другие времена суждено было бы стать гайдуком, народным мстителем, борцом-одиночкой. Но в середине XX века он проходит совсем иной путь: нищета и побои, армия, знакомство с коммунистами, война, ненавистная трудовому люду, плен в Советском Союзе — все это делает его не гайдуком-одиночкой, а рядовым великого фронта борцов за социализм.

Создав повесть «Митря Кокор», Садовяну завершил летопись многотрудной жизни румынского трудового народа, перевернул ту страницу, за которой предстояло начать новую летопись свершений и достижений освобожденного народа, взявшегося за строительство социалистического общества. Крестьянская тема и до сих пор занимает значительное место в румынской литературе, но она коренным образом изменила свою тональность, теперь она стала темой утверждения новой жизни.

Ю. Кожевников

МИХАИЛ САДОВЯНУ

РАССКАЗЫ

КОЗМА РЭКОАРЕ

И удалец же был Козма Рэкоаре! Как произнесу «Козма» — так вот и вижу перед собой сурового всадника на караковом коне. Глаза — сталь, усы — два воробья... Удалой румын! Верхом, ружье за плечами, а слева, вот тут, на поясе, нож висит, в добрый локоть величиной,— таким я его всегда видел. Я теперь стар, скоро сотня стукнет, долго бродил я по свету, многого нагляделся, многих людей встречал, но такого, как Рэкоаре, прямо скажу, не видывал. Посмотреть на него — будто ничего грозного в нем и нет. Среднего роста, худощавый, лицо смуглое — такой же человек, как и все. Хе-хе! Куда там! Только взглянешь в глаза ему — и все тут! Удалой румын!

Тяжкие то были времена для страны! Турки да греки повсюду рыскали из края в край, везде стонал наш несчастный народ,— горькая пора! А Козма и в ус себе не дул. Нынче видят его здесь, а завтра слышно о нем уж бог знает где. Все бегут от смуты, а он — сохрани господи! Как-то раз схватили его и заковали в цепи. Да где там! Он лишь коснулся рукой своих оков, да и стряхнул их, свистнул коня — только его и видели! Кто ж не знал, что у Рэкоаре была разрыв-трава? Эх! Сколько пуль метило ему в грудь! Да все понапрасну. Так уж на роду ему было написано — убьет его только серебряная пуля... Нет теперь таких людей. Прошли те времена...

Слыхал ли ты про гайдука по прозвищу «Сын Румынии»? Этот тоже был молодец! Он гулял по ту сторону, в Мунтении, а Козма — здесь. Ночью встречались они на берегу Милкова, обменивались добычей и до зари возвращались в свои убежища... Думаешь, не подстерегала их пограничная стража? Не гналась за ними? И что же? Как призрак, летел конь Рэкоаре, и пуля его не могла догнать. Длинна дорога отсюда, от гор Бакэу, до рубежа.

За ночь отмахать туда и обратно — дело нешуточное. Но уж и конь был у него! В том-то все и дело, что у Рэкоаре конь был не простой. Вот послушай!

Была у водэ Калимаха арабская кобыла, и берегли ее слуги пуще глаза. Была она жеребая, на сносях. Вот однажды, в ночь на Ивана Купалу, пробрался Рэкоаре в конюшню, вспорол кобыле брюхо и украл жеребенка. Да если бы только этим дело и кончилось! Ведь жеребята рождаются в сорочке. Рэкоаре разрезал сорочку, да так, что рассек надвое ноздри жеребенку. В потайном месте растил Рэкоаре этого жеребчика с рассеченными ноздрями, кормил ореховым ядром... И когда сел на него Козма — ну и конь оказался! Дыханье-то у него было вольное, и не уставал он никогда. Ох и конь! С той поры и ветер не мог поспорить с Козмой.

Однажды (я в ту пору был волонтером) случилось Козме быть в стенах Проботы. Волонтеры засели внутри, а турки обложили монастырь со всех сторон и палили по стенам из пушек. Стали волонтеры держать совет — не сдать ли монастырь? Козма молчал. На следующий день Козмы нет как нет. А от стен до самого леса мертвые тела валяются. Вот как проложил себе путь Рэкоаре!

Так и жил он: все в лесах да в полях. Не знал он ни нищеты, ни страха, но и любви не ведал. Удалой был румын. Так вот и вижу его верхом на гнедом коне.

В ту пору поместьем Вултурешть владел один грек, а здесь у нас, в усадьбе,— теперь она уже совсем запустела,— жила молодая румыночка, вдова, да такая, каких мне уже больше видеть не приходилось. Грек влюбился в нее без памяти. Да и было из-за чего. У вдовушки были черные сросшиеся брови, а глаза — ну просто чертовские. Господи боже! Такие очи соблазнили бы и святого. Выдали ее против воли за другого грека — Думитру Коваса. Грек этот умер, а боярыня Султана с тех пор сама управляла своим поместьем.

Так вот этот грек, Никола Замфириди, был просто без ума от боярыни. Чего только он ни делал, куда ни ходил, даже к ворожее наведался, да все попусту. Боярыня — нет да нет! Не пришелся ей грек по душе. А был Никола собою вовсе не дурен. Красивый грек, лицо смуглое, усы закручены, борода курчавая. Да что толку! Не нравится он вдовушке — и все тут!

Вот однажды сидел Никола у себя в покоях, курил да думу думал. Как быть? Хочет он жениться, взять Султану в жены, а она об этом и слышать не желает. Ходил он на днях с цыганом

Чокырлие, жалобно пел возле ее ограды, но усадьба молчала, словно окаменела. Черт его знает что тут делать...

«Не урод я и не дурак,— думал боярин Никола.— В чем же тут причина? Может, ей люб кто-нибудь другой?»

Нет. Он стерег ночи напролет: никто не входил и не выходил со двора боярыни.

Гневается боярин. Встал, схватил плеть и вышел. Во дворе работники лошадей чистили.

— Да разве так коней чистят? — рявкнул боярин и — хлоп! — вытянул плетью работника.

Немного подале садовник отдыхал на солнце.

— Так-то ты о саде заботишься? А? — И бац-бац!

Да что толку?.. Какая польза в том, что накинулся он на людей?

Зашел боярин в сад, сел под тенистой липой. Сидел он на каменной скамье и вновь думал думу...

Зачем ему жизнь, коли та, кого он любит, не хочет на него смотреть. Глянул Никола, как в тишине падают поблекшие листья, и тяжело вздохнул.

— Василе! Василе! — позвал боярин. Жалобно прозвучал его голос в печальном осеннем саду.

Крепкий старик открыл садовую калитку и подошел к своему хозяину.

— Василе,— сказал боярин,— что мне делать?

Старик посмотрел на боярина, сам вздохнул и почесал в затылке.

— Что делать, Василе?

— Откуда мне знать, хозяин?

— Придумай. Многому ты меня научил, придумай и сейчас что-нибудь. Баба-ворожея не помогла. Чокырлие и того меньше. Не знаешь ли ты еще какого средства?

— Да как сказать...

— Помоги, Василе!

— И сказал бы, хозяин, только боязно как-то.

— Я дам тебе золотой, Василикэ, говори!

Но обещанный золотой не очень-то тронул Василе. Он снова почесал в затылке.

— Знаю я, что ты и два золотых мне дашь, даже три дашь... Да все-таки... Ну ладно, слушай... Будь что будет! Поезжай-ка ты во Фрасинь, ступай во двор, со двора — в покои боярыни да и увези ее. Вот что я тебе скажу!

— Да что ты, Василе! Как это можно!

Василе больше ничего не сказал. Подумал-подумал боярин, потер рукой лоб да и говорит:

— Решусь и на это, Василе! Так и знай — сделаю! Молодец ты, вот что!

— Я знал, что заработаю два золотых,— вздохнул старик, почесывая затылок.

В тот же вечер боярин Никола исполнил свое слово. Сел на коня, взял себе в товарищи пятерых работников посмелее и отправился во Фрасинь.

Лес стонал под напором ночного осеннего ветра. Люди ехали молча. Время от времени невесть откуда доносилось пение петухов, затем снова наступала тишина. Вот показался и двор вдовы, черный, словно куча угля.

Никола со своими спутниками как тени подкрались к стене; бесшумно спешились, закинули на стену веревочную лестницу, вскарабкались и перемахнули на ту сторону. Лошадей оставили снаружи, привязав к деревьям.

Тут вдруг послышались крики. Боярин Никола был не из трусливых. Он бросился к дому. Двери не заперты. Он — в коридор.

— Ага! — пробормотал он.— Теперь птичка попалась мне в руки.

Вдруг распахнулись двери, и волна света залила коридор. Боярин Никола и тут не струхнул и кинулся в покои. Но едва сделал он два шага, как на пороге показалась боярыня Султана — вся в белом, волосы распущены. Нахмурив брови, встала она на пороге и глядит на боярина.

Обезумел Никола. Так и подмывает его пасть на колени и целовать ноги боярыни — уж очень она хороша была. Да знает он, что, если станет на колени, посмеется она над ним. Бросился вперед, чтобы схватить ее.

— Стой! — вскричала боярыня Султана.— Я-то думала, это воры! Ага! Так это ты, сам боярин Никола!

И внезапно ятаган сверкнул в ее правой руке. Никола почувствовал сильный удар плашмя по голове. Остановился. Работники кинулись вперед, но один тотчас же с криком упал, весь в крови. Тут послышался шум, в коридор ворвалась челядь боярыни. Никола кинулся к дверям, за ним — четверо его спутников. Отбиваясь кинжалами направо и налево, выскочили они на двор.

И вот Никола уже на коне и удирает в Вултурешть.

Грустно слез он с коня, снова вошел в свой сад, снова сел на каменную скамью и схватился за голову.

— Горе мне,— шептал он скорбно.— Жалкий я человек! Что же мне делать? Что делать?

Так сидел он, задумавшись, в эту октябрьскую ночь. Только холодный ветер, дышавший изморозью, пробуждал его от забытья.

— Горе мне! Жалкий я человек! — И он уткнул лицо в ладони, а локтями уперся в колена.— Что за женщина! — в задумчивости шептал он снова и снова.— Какие глаза у нее! Господи, господи! Не оставь меня, сердце мое разрывается...

Долго сидел Никола забывшись. Наконец он встал, пошел в дом и все шепчет:

— Что за женщина! Какие глаза!

В доме он снова кликнул Василе:

— Ну, Василикэ, погубила она меня! Что за женщина, Василе... Душу мне обожгла, совсем меня убила! Что придумать? Не оставляй меня, Василе, получишь два золотых...

Василе поскреб башку да и говорит спокойно:

— Знаю, что с тобой случилось, хозяин. Удалая боярыня, ничего не скажешь. Дашь ты мне и пять золотых, даже шесть. Есть еще одно средство...

— Дам, дам, Василе, говори только. Ох, какие очи! Беда мне!

— Стало быть, ты дай мне семь золотых,— говорит Василе,— да надо будет дать еще семью семь, чтоб попала она тебе в руки. Не бойся, хозяин, это немного... Семью семь... Зато будет она твоя. Вот что: привезу я к тебе Козму Рэкоаре. Вот так же, как ты мне положишь на ладонь деньги, так и он тебе отдаст в руки боярыню Султану, точно так...

Боярин Никола немного струхнул, как услышал про Козму Рэкоаре, да потом вздохнул и говорит:

— Ладно!

На третий день явился Козма. Боярин Никола сидел в саду на каменной скамье под липой и пускал из чубука душистый дымок. Как увидел он молодца, так и застыл, вытаращил глаза. Козма шел не спеша, левой рукой ведя коня на поводу. На нем были высокие до колен сапоги с большими стальными шпорами. Нагрудник доходил до блестящего пояса. За плечами — ружье, на голове — черная баранья шапка. Шагал он спокойно, как всегда, насупив брови. Конь шел за ним, опустив голову.

Боярский управитель Василе подошел к каменной скамье и, почесывая в затылке, шепнул, ухмыляясь:

— Что скажешь, хозяин? Погляди-ка на него! Этот тебе самого черта доставит!

Боярин Никола не мог глаз отвести от Козмы. Молодец остановился и сказал:

— Пошли господь счастья!

— Спасибо,— ответил Василе.— И тебе дай бог счастья.

Боярин все молчал и молчал.

— Хм,— пробурчал Василе.— Пришел к нам, брат Козма?

— Пришел,— отвечает Козма.

— По нашему делу?

— Да...

Козма говорил неторопливо, угрюмо. Казалось, по лицу его отроду не пробегала и тень улыбки.

— А! Да! Так ты пришел,— заговорил боярин, словно очнувшись ото сна.— Пойди-ка, Василе, скажи, чтоб принесли нам кофе, и сейчас же возвращайся обратно.

— Пусть принесут одну чашку,— молвил Козма.— Я не пью.

Василе удалился, усмехаясь и оглядываясь на своего боярина.

— А! Да!.. Ты не пьешь,— пробормотал, запинаясь, Никола.— Да, да... Ты пришел по нашему делу. Ага! Ну, так сколько? Я даю пятьдесят золотых.

— Хорошо,— спокойно ответил Рэкоаре.

Василе вернулся, ухмыляясь про себя. Боярин снова замолчал.

— Ну, как у вас? — спросил Василе, почесывая затылок.— Сладили?

— Пойди, Василе, принеси из-под подушки мой кошель.

— Нет, не нужно кошеля,— сказал Рэкоаре.— Мне не надо денег.

— Что? — пробормотал боярин.— А! Да! Не надо? Отчего же?

— Уговор такой: я тебе доставлю боярыню Султану из Фрасини. Привезу тебе боярыню, тогда отсчитаешь мне деньги.

— По рукам! — сказал Василе, ероша волосы.— Привезет боярыню — получит золото. Что я говорил? Козма тебе самого дьявола из ада притащит. Теперь-то уж боярыня — твоя. Что говорить, по голове и шапка.

Рэкоаре повернулся, пошел в глубь сада, привязал коня к дереву, вытащил из-под седла домотканый суконный плащ, лег на землю и укутался.

— Ну и молодец! — простонал Никола, едва переводя дух.— Теперь будто камень у меня с души свалился.

Василе улыбнулся и ничего не сказал. Потом засмеялся про себя и шепнул:

— Хе-хе! Счастлив тот, у кого есть разрыв-трава!

Боярин вздрогнул, словно пробудившись от забытья, и растерянно глянул на Василе. Потом кивнул головой и вновь задумался.

— Ага! Да...— бормотал он, сам не зная, о чем говорит.

Когда совсем стемнело, Козма подтянул у коня подпруги и вскочил в седло.

— Жди меня, боярин, на поляне Вултурешть,— сказал он.

Растворились ворота, конь фыркнул и понесся вскачь.

Полный месяц светил сквозь легкую осеннюю мглу, ткал паутину тонких лучей, освещая тихие холмы и темный бор. Быстрый топот гнедого будил глубокую тишину. Молча скакал Рэкоаре по дубравам под сенью поредевшей листвы. В синевато-бледном свете луны он казался призраком.

Так доехал он до Фрасини. Там все спали, ворота были заперты. Бум-бум-бум-бум! — застучал Козма в ворота.

— Кто там? — раздался голос изнутри.

— Отвори,— приказал Рэкоаре.

— Да кто ты есть?

— Открой! — снова крикнул Козма. За воротами послышался шепот.

— Скорей открой!

— Не откроем!

— Отворяй же: это Козма!

За забором над воротами блеснул свет и озарил лицо Рэкоаре. Потом послышался шорох, свет погас, и загремел засов на воротах.

Козма вошел во двор. Пусто. Он поднялся по ступеням, толкнул дверь.

— Дверь не заперта,— пробормотал он,— боярыня не труслива.

Гулко, как в церкви, отдавались в темном коридоре его шаги и звон шпор. В одной из комнат послышался шум, и яркий свет хлынул в коридор.

Боярыня Султана появилась на пороге, вся в белом, с распущенными волосами. Черные брови нахмурены, в правой руке — ятаган.

— Кто ты? Зачем пришел? — крикнула она.

— Пришел за тобой,— так и отрубил Рэкоаре,— отдать тебя боярину Николе.

— А! Так ты не простой вор! — воскликнула боярыня и замахнулась ятаганом.— Берегись, попадет и тебе, как твоему Николе!

Рэкоаре шагнул вперед, спокойно схватил ятаган, сжал боярыне руку — и стальной клинок отлетел в угол. Боярыня легко отпрыгнула в сторону и крикнула:

— Гаврила! Никулай! Тоадер! Сюда!

Зашумели голоса, в коридор толпой прибежали работники, но остановились на пороге. Рэкоаре подошел к боярыне и попы-

тался поднять ее на руки, но она вырвалась и схватила со стола кинжал.

— Что же вы стоите, дураки? Вперед! Хватайте его, вяжите!

— Не трать слов понапрасну, боярыня. Вижу я, что ты не из трусливых, да делать нечего,— молвил Рэкоаре.

А челядь бормотала:

— Как же мы свяжем его? Ведь это Рэкоаре! Да разве мы посмеем? Ведь это сам Козма Рэкоаре, боярыня!

— Трусы! — закричала Султана и бросилась на Козму.

Удалец схватил ее, стиснул ей руки, связал их кожаным ремешком и взял боярыню под мышку, словно мешок.

— Расступись! — приказал он, и люди забились в углы, прижавшись друг к другу.

«Огонь, а не женщина! — думал Козма, шагая по коридору и неся боярыню под мышкой.— У боярина Николы, видно, губа не дура! Красавица женщина!»

Султана широко раскрытыми глазами смотрела на своих работников, которые в страхе расступились. Все ее тело словно сжимали стальные тиски. Потом она перевела взгляд на суровые черты Рэкоаре. Свет падал на его смуглое лицо и горел искрами в стальных глазах.

— Кто ты? — простонала она.

— Я Козма Рэкоаре...

Боярыня еще раз посмотрела на челядь, забившуюся в углы, и больше ничего не сказала. Что тут поделаешь...

Выйдя во двор, удалец вскочил на гнедого, посадил боярыню перед собой и дал коню шпоры. Снова от топота копыт проснулась тихая ночь.

«Вот это женщина!» — все думал Рэкоаре, а конь его мчался легко, словно призрак.

Боярыня повернула голову и в сиянье луны стала смотреть на Рэкоаре.

— Что ты смотришь так на меня, боярыня?

Гнедой мчался под сенью дубравы. Черными волнами переливались в лунном свете волосы Султаны. На еще не опавшей листве серебром искрился иней. С трепетом смотрела Султана на удальца, сжимавшего ее могучей рукой, и очи ее, словно звезды, горели из-под густых бровей.

— Что ты смотришь так на меня, боярыня? Что дрожишь? Тебе холодно?

Топот проносился по полям, листья сверкали серебром, и в лунном сиянье гнедой летел легко, словно призрак.

Вдруг впереди зачернели тени.

— Кто там? — спросила Султана.

— Нас ждет боярин Никола...— ответил Рэкоаре.

Боярыня ничего не сказала, но Козма почувствовал, как напряглось все ее тело. Лопнул кожаный ремешок, и вскинулись белые руки. Молодец не успел удержать ее. Мгновенно правая рука протянулась к узде и повернула коня, а левая обвила шею Рэкоаре. Голова женщины легла ему на грудь, и нежный голос прошептал:

— Не отдавай меня другому!

А конь мчался, как призрак, в бледном свете луны; топотом огласились рощи, серебром сверкали листья, развевались волны черных кудрей. Следом в погоню кинулись тени. Привидениями взметнулись на вершину холма, летели в прозрачной мгле. Но черный призрак все мчался и мчался вперед и наконец пропал далеко во тьме ночи.

КАВАЛЕРИСТ

Молчание господствовало на берегах Вида, освещенных полуденным солнцем. Ни в прибрежных кустах, ни в оврагах не было заметно движения; изредка в тишине слышались крики чаек, которые медленно кружились на своих острых белых крыльях над сверкающими осколками речного зеркала. Порою ястреб, паривший высоко в поднебесном просторе, со свистом как стрела падал вниз, в заросли ивняка. Другого движения не было заметно, но на склонах холмов и в кукурузных полях скрывались в засаде люди.

В два часа пополудни тишина была нарушена. По ту сторону Вида, в лагере Осман-паши, замелькали турецкие фески и сверкнуло оружие. Румынские дозорные, притаившиеся на нашей стороне, немедленно вышли из прикрытий, заслонив глаза от солнца, внимательно всмотрелись в тот берег и приготовили карабины.

Густые полчища османов хлынули из оврагов и долин к мосту через Вид. Наши кавалеристы вскочили в седла и умчались. Турецкие части, вытянувшиеся в колонну при переходе через каменный мост, растеклись по фронту и быстро развернулись в стрелковые цепи.

Тихая долина реки заполнилась людьми. Покой разорвали отдельные выстрелы: это отходили аванпосты нашей конницы. Потом внезапно заговорили орудия из Дольны-Дубника. После третьего залпа в рядах противника взметнулось серое облако дыма, поднялась суматоха, и воздух огласили протяжные вопли. Затем размеренно, после каждого удара орудийного грома, молнии стали

вонзаться во вражеские батальоны, разрывая и кромсая их тесный строй.

Однако стрелковые цепи приближались, за ними следовали и колонны. Пушки били все чаще и чаще по гуще наступающих, когда внезапно с моста Дольны-Дубника понеслись полки наших рошиоров в красных мундирах и, словно кровавый поток, хлынули по откосу. За ними темной волной помчались драгуны.

Орудия заговорили еще громче. Батальоны врагов дрогнули, их артиллерия беспорядочно металась, ища удобную позицию, всадники рассыпались по полю и стали заходить с флангов.

Из высокой кукурузы, подступавшей к берегу Вида, затрещали выстрелы карабинов. Легкие дымки, словно от попыхивающей трубки, поднялись над зелеными полями, и вскоре короткий треск отдельных выстрелов слился в непрерывный гул; затем стрельба на какое-то мгновение утихла; но вот воздух огласил новый мощный залп, и выстрелы загремели то вразнобой и отрывисто, то сливаясь в сплошной гул... Вражеские батальоны смешались и начали перестраиваться в длинные шеренги; один за другим падали под пулями солдаты; огненные разрывы снарядов сметали целые массы людей. Их ряды быстро шли вперед, но в конце концов свинцовый град остановил турок. Стрелковые цепи повернули назад, сбились в кучи и залегли; неся огромные потери, колонны дрогнули и остановились.

В этот миг долину огласил гневный клич кавалерийских труб. Красный поток рошиоров ринулся вперед, как ураган, сверкая, обнажились сабли, опустились пики, и тысячи значков затрепетали на ветру; всадники припали к лукам, топот лошадиных копыт потряс землю; словно вихрь обрушился на полки неверных...

Услышав удалое гиканье, турецкие колонны отпрянули. Рошиоры и простые кавалеристы, рассыпавшись по полю, в своем стремительном набеге ударили по вражеской стене; свистели сабли, пики пронзали людей, всюду кипели яростные схватки. Пушки и карабины замолчали; только рев атакующих и вопли изрубленных вздымались к небу песнью ярости и ненависти.

Обратившись в беспорядочное бегство, побежденные османы повернули к мосту через Вид. Но наши кавалеристы мчались вслед, распластавшись, словно большие хищные птицы. Они прижали к мосту остатки вражеских полков и разметали их как буря. Беглецы, перебравшись на ту сторону, рассеялись по долинам, кукурузным полям и зарослям, а в это время с нашей стороны снова заговорили карабины.

Постепенно стрельба умолкла; последний выстрел словно поставил заключительную точку, и снова воцарилась тишина.

М. Садовяну
«Козма Рэкоаре»

В этот день не было отдано приказа хоронить убитых, и когда закат рассыпал свои золотые отблески по Виду, на пустынных берегах стояла глубокая тишина. Убитые турки словно вихрем разбросаны были по полю вперемежку с оружием и неподвижными конскими телами. Там же лежало и трое наших: два рошиора и один простой кавалерист.

Молчали заросли ивняка; как и утром, резко вскрикивали чайки, медленно паря над бесчисленными осколками водного зеркала. Стаи чибисов блуждали с болота на болото, издавая жалобные крики, похожие на мяуканье. Вдалеке на востоке глухо рокотали пушки, и воздух прорезывали огненные отблески.

Сумерки постепенно угасали, а эти трое юношей спали непробудным сном.

Один из рошиоров лежал на земле скрючившись, повернув лицо кверху; его правая рука застыла на пике, а левая была прижата к груди, словно пытаясь вырвать что-то. Второй лежал на боку, пика его сломалась, руки со сжатыми кулаками вытянулись вдоль тела, и широко открытые остекленевшие глаза злобно смотрели куда-то вдаль, на горизонт. Кавалерист с закрытыми глазами, казалось, спал, обратив лицо к небу и раскинув руки. По его спокойному лицу, на котором черными полосками выделялись брови и усы, сонной лаской пробегало дуновение вечернего ветра.

Так лежали они все трое, а ветви ивняка дрожали и шелестели на ветру, словно бормоча непонятную песню.

Оба рошиора были горожанами, сыновьями зажиточных торговцев. Они выросли в довольстве, без нужды и горя, повидали много городов и сел, многому учились. Матери оплакивали их еще заранее, ведь их ожидала спокойная, счастливая жизнь. Но они оставили плачущих матерей, расстались с богатством и пошли сражаться за свою страну. Погибли они достойно, и не нужно им теперь богатства, ничего не нужно... Воздадут им по заслугам, напишут о них красивые слова в газетах, восхваляя их любовь к родине; ведь они оставили мать, отца и все достояние и пошли воевать! И смерть эта возвысит их гораздо более, чем вся их жизнь, которая прошла бы без больших страстей и порывов.

Да, много будут говорить об этих истинных героях — но только не о тебе, безымянный простой кавалерист; не будут хвалить тебя в газетах, как великого храбреца. Не оставлял ты ни добра, ни имения, был ты беден и унижен, и звали тебя просто Василе, сын Тудора.

Всю жизнь боролся твой отец с нуждой, и редко приходилось ему улыбаться. Если бывал он разъярен, то бил твою мать, а если

видел, что ты плачешь, то кричал и колотил и тебя. Когда становилось ему горько, он шел в корчму и отводил там душу; тогда он делался добрее, забывал на время свои невзгоды, целовал жену, а тебя заставлял петь и плясать.

Подрос ты, младшие твои братья оставались дома, а тебя посылали пасти скотину на выгон среди болот. Там научился ты играть на дудке и петь веселые припевки, танцуя хору. Много ночей проводил ты в рощах и лугах со своими сверстниками. Вы разводили костры из хвороста и, освещенные красными отблесками огня, рассказывали сказки, а звон конских копыт разносился далеко в тишине полей. Хлестали тебя ветры и дожди, застигали бури, засыпали ледяными иглами осенние вьюги.

И неожиданно ты выровнялся в красивого парня, стройного и сильного, крепкого, как дуб. Журчание вод и шепот леса были для тебя песней, знакомой с детства, а душа твоя сроднилась с безграничными далями. Нелегко тебе жилось, тяжек был твой труд, взвалил ты на свои плечи убогое хозяйство отца; и вот пришло в родной дом довольство, а твоя забитая, униженная мать смогла вздохнуть спокойно.

Помнишь ли ты, Василе, веселую хору в своем селе? По воскресеньям и в праздники двор Иона Секэряну, того, у которого было шесть дочерей, заполнялся народом; приходил Димаке со скрипкой и его цыганка с кобзой. А девушки с цветами в волосах и в узорчатых рубашках плясали, взявшись за руки, с парнями в зеленых, туго затянутых кушаках, в широких шляпах, разукрашенных павлиньими перьями и бисером. Жарко заливалась скрипка Димаке, а его молодая цыганка с глазами, словно угли, склонившись, играла на звенящей кобзе и сама напевала гортанным нежным голосом. С каким жаром водил ты брыуль, как громко пел, а когда наступал вечер и тишина сходила на деревню, слышался только твой голос вместе с нежной мелодией скрипки и бормотанием кобзы. В прозрачных вечерних сумерках вы провожали девушек домой, а музыканты шли следом; в узких проулках, под ветвями деревьев, тени становились все гуще, смех и возгласы звучали приглушенно, потом ночь простирала свой таинственный покров, а немного спустя где-то вдали замолкала и песнь музыкантов.

Помнишь ли ты, Василе, девушек, с которыми водил дружбу? Ты любил их, танцевал хору только с ними и крепко обнимал их по вечерам, провожая домой. Но одно за другим ушли легкие увлечения, и пришла большая любовь, которая завладела всей твоей душой, принесла за собой дни жгучего страдания и бессонные ночи.

Так, в любви, прошли осень, зима и весна; а весна эта была самая прекрасная из всех: и в лугах цвело больше цветов, и, казалось, тропки были укромнее. Но вот внезапно твое счастье развеялось,— загремела труба войны.

Накануне дня твоей отправки ты напился с парнями, распевал во все горло и кричал, что идешь схватиться с турком. А когда настал вечер, ты пришел в себя, словно дунул кто тебе в глаза, и пошел ты к своей милой, с которой был уже обручен. Вытерла девушка слезы, и просидели вы всю ночь, глядя друг на друга. Она спросила тебя: «Куда ты идешь?» Ты ответил: «Идем мы далеко, драться с турком...» А девушка сказала: «Может, смилостивятся господь и божья матерь, и ты вернешься живой...» Поговорили вы о том, как заведете свое хозяйство, где поставите дом, сколько земли засеете... и снова замолчали. А часы летели, и постепенно жаркая страсть захватила ваши сердца, налетела и увлекла в каком-то вихре. На заре, когда ты уходил, девушка рыдала, как безумная, а ты вскочил в седло и поехал. Когда же в конце улицы ты обернулся назад, Руксанда уже не плакала, а стояла на пороге и блуждающими глазами смотрела тебе вслед.

Так и кончилась ваша любовь. Отправился ты с кавалерийским полком на войну без страха и без сожалений. Думал ты: что на роду написано, того не миновать; а кроме того, ты знал, что от турка да от татарина еще дедам твоим худо приходилось. Может, теперь и настал для нехристей день расплаты.

Перешел ты Дунай, услышал грохот пушек, и вскипела у тебя кровь в жилах. Как сыграли горны сигнал к атаке, ринулся ты вперед, словно подхваченный ураганом, и разил неверных саблей; опьянил тебя запах пороха, разъярился ты, закричал... и внезапно пуля впилась в сердце, принадлежащее твоей милой. Упал ты, раскинулся на земле и заснул навеки.

Вот и ночь настала; смолкли чайки и чибисы. Только ветер с легким шорохом колышет заросли ивняка. Умер ты, угасло доброе сердце. Никогда в жизни не бранился ты понапрасну, не обижал ни вдовы, ни сироты, не делал зла ближнему твоему. Чистая душа была у тебя, и погиб ты с честью.

Дома, в селе, твоя Руксанда узнает когда-нибудь, что не вернешься ты более, но горе ее не дойдет до тебя, к твоему холодному ложу. Другим будут играть и петь Димаке с цыганкой, а ты будешь отдыхать, ибо кончились твои радости. Лишь иногда в зимние ночи у натопленной печи люди с честной душой помянут твое имя, брат Василе, и будут говорить о тебе тихими голосами, как о гордом дубке, поваленном бурей.

ЛЕС

Много старых историй слышал я от дедушки Маноле. Время от времени у него воскресали воспоминания о молодости, навсегда уснувшей, и всякий раз, когда он рассказывал свои истории, в печке, как сейчас помню, пылал огонь, и осенний ветер, вздыхая, бился в окна. Его речей я точно передать не могу, теперь я их больше не слышу, ибо дед мой давно отправился в царство теней. Но все же кое-что сохранилось в душе и в памяти моей, и подчас, когда я остаюсь один, мне чудится его тихий голос — передо мною встают видения прошлого.

— В былые времена,— так, помнится, сказывал дедушка Маноле,— знавал я там, за горами, одного лесника по имени Война...

На пятнадцать тысяч фэлчь тянулись леса Антилешти — дремучая, непроходимая чаща. На опушке, у Ионовой пасеки, стоял домик лесника Войни, а в ложбинке под яблонями было у него с десяток ульев. Среди яблонь и ульев пробивался в траве Олений ручей. Поодаль торчал журавль старого колодца.

— Знаешь,— говорил Война,— избушку отстроил я себе заново. Тут от старых стен только гнилые бревна оставались. А вот колодец какой есть, такой и был, вода в нем чистая, как слеза... Люди называют его Ионов колодец... А рядом Ионова пасека... Вот здесь, у ручья, пчелиные колоды стояли. Жил тут раньше какой-то Ион... да никто уж о нем и не помнит, и никто теперь не знает, что это за человек был. Жил он здесь, пока не помер...

И Война, приземистый человек с черными усами, оглядывался вокруг, а потом задумчиво устремлял свои маленькие глазки на темный бор, словно размышлял об иной жизни, которая некогда текла здесь, словно думал об Ионе... Кто знает, что это была за горемычная христианская душа! Потом Война вдруг оборачивался и пристально смотрел на свою жену Мэриуку. Высокая и стройная, в домотканой юбке, туго стянутой под грудью узеньким цветным пояском, в белоснежной рубашке, она выскальзывала из двери и бесшумно бежала по травке к колодцу. Туго заплетенные косы короной лежали вокруг ее головы. Бледная, с грустными глазами, Мэриука казалась больной.

Однажды я спросил лесника:

— Что с твоей женой, Война?

— Что с ней может быть? Да ровно ничего! Что ты, не знаешь этих баб? — И он посмотрел ей вслед своими маленькими глазками, похожими на две капельки дегтя. Затем попытался отвлечь мое внимание от жены: — Посмотри-ка на эти ульи... Настоящие крепости пчелиные. Как-то поймал я в дупле дерева один рой, а теперь, видишь, какой пчельник развел! Что ж! Надо же человеку

хоть когда-нибудь потешить себе душу каплей меду... Каждый делает что может...

С деревянной бадейкой в руках Мэриука подошла по траве к дому и скрылась в черном проеме дверей. Покой царил на этой лесной опушке, безмятежный покой,— ни один лист не шелохнется, только солнечные блики трепещут и играют, а в непроглядной гуще листвы — ни звука. Не билось больше сердце леса, угомонились и ветры... Бежал ручей, дробя свет в воде и легко качая цветы и травы; пчелы в солнечных лучах казались золотыми искрами. В этом уголке большого мира покой вливался мне в душу.

Я довольно часто ходил в те места по разным своим делам: то за дровами, то за сыром на сыроварню, стоявшую на большой поляне у Соломонешти. Иногда забредал я в глубь леса и там подстерегал косуль. И почти всегда выходило как-то, что по дороге встречался с Войней, а на обратном пути ненадолго останавливался на пасеке, чтобы отдохнуть на завалинке у дома и освежить горло прозрачной водой из Ионова колодца.

Особенно полюбилась мне самая сердцевина этого леса, густая чаща среди скал. Там, в глуши, под сводами вековых деревьев, лежали сумеречные тени, и редко-редко яркие солнечные пятна оживляли мягкий ковер блекло-желтой травы. Птицы сюда не залетали: их отпугивало это уединенное место. Олений ручей с неумолчным мягким журчанием бежал по серым уступам скал, осыпая брильянтовыми брызгами густой темно-зеленый мох на берегу. И под его лепет, в тиши, у подвижного зеркала волн, иногда, вынырнув внезапно из кустарника, как из темной пещеры, появлялась серая косуля и замирала в грациозной позе, словно высеченная из камня. Но большей частью здесь царило такое всеобъемлющее безмолвие, что я слышал биение своего сердца; изредка вдали трубил рог, и звук его доносился до меня приглушенно и печально, словно исходил из недр земли.

Я бродил под огромными буками, обсыпанными желудями. Иногда меня сопровождал Войня. Молчал я, молчал и он, пробираясь среди кустарников по сырой тропке, утопающей в густой зелени. Ближе к опушке становилось светлее, и с выгона доносилось позвякивание колокольчиков барских коров. Колокольчики звенели тихо, на разные голоса, одни глухо, другие звонко — целая гамма мягких звуков переливалась, словно далекая песня, безмятежно легкая мелодия невидимых колоколов.

В последнее время у лесника, ходившего со мною, взгляд сделался каким-то отсутствующим, а лицо хмурилось, словно на душе у него было большое горе. Что-то его мучило, и хотя он ничего не говорил, но я это чувствовал. Случалось, что он покидал меня на выгоне или в лесу и возвращался к себе в избушку.

— Я на минутку забегу домой... Забыл наказать жене... что передать барину, если он заедет.

Лесник уходил. Я наблюдал за ним и видел, как, приближаясь к опушке, он ускорял шаги. Спустя некоторое время он возвращался ко мне,— обычно я уже сидел в засаде с ружьем наготове; он пристраивался рядом со мной и тогда, отдышавшись и успокоившись, сидел так тихо и молчаливо, что я часто забывал о его присутствии.

Жена его Мэриука по-прежнему была все такой же худенькой и печальной, а несколько раз я заставал ее с заплаканными глазами.

Однажды я столкнулся с барином — как раз в тот момент, когда он уезжал с Поповой пасеки верхом на вороном коне. Он встретил меня улыбкой, осветившей его приветливое мужественное лицо, и спросил:

— Не видел ли ты Войню? Я искал его и на сыроварне, да не нашел...

Я тоже Войню не видал и теперь уж не помню, что ответил барину. Однако мне показалось, что барин даже не вслушался в мои слова. Он пришпорил коня и поскакал, вскинув ружье за плечи, а лучи августовского солнца освещали его, пока он не затерялся в чаще леса. Его большая рыжая собака с длинной шерстью, всюду сопровождавшая своего хозяина, бежала то справа, то слева от лошади, рыща по лесным зарослям. Вскоре после того как лошадь и всадник скрылись из виду, я услышал несколько выстрелов, гулко раскатившихся от поляны к поляне; я понял, что барин бьет по рябчикам, на которых в это время года он особенно любил охотиться.

Тут я вспомнил заплаканную жену лесника, и мне внезапно пришла в голову догадка. Чего ищет здесь барин? Почему Войня так часто спешит домой? Тут, наверное, что-то есть.

В сумерках, когда смолк отдаленный звон колокольчиков на поляне, я и Войня, с ружьями за плечами, возвращались домой, понапрасну просидев на Воровской тропке в ожидании тетерок. Утренняя встреча весь день занимала мои мысли, и я спросил лесника:

— Ты сегодня был на сыроварне, Войня?

— Нет, а что?

— Тебя искал барин.

— Который? Молодой? Господин Енакаке?

— Да. Он сказал, что не нашел тебя.

— Ну да, ведь я ходил не туда, а к Фундени...

Он помолчал. Темнело, из леса потянуло прохладой, мы уже подходили к ручью, как вдруг Войня повернулся ко мне.

— Так это был господин Енакаке? Да кому ж еще и быть? Ведь старый барин больше не выходит из дому... А ты его на пасеке встретил?

— Да, на пасеке...

Он как бы призадумался, потом промолвил тихо:

— Хм! Кто его знает, что он хотел мне сказать.

Я искоса посмотрел на Войню. Немного раскачиваясь на ходу, он шагал, как всегда, неторопливо; его обветренное лицо с черными как смоль усами выражало обычное добродушие и печальное спокойствие. «Нет,— подумал я,— ничего тут нет. Да и что может быть? Войня такой же, как всегда».

Так вот, я частенько захаживал на Ионову пасеку. Что-то, скрытое в глубине моей души, влекло меня к Мэриуке, ибо я был тогда в расцвете молодости, а кроме того, меня волновало и ее горе, которого я не понимал. Но больше всего манил меня старый лес; к нему я питал почти болезненную любовь. На опушке темной чащи Мэриука казалась еще тоньше, еще стройнее и бледнее; и когда она, задумавшись, неподвижно сидела в сгустившейся вечерней мгле, то представлялась мне каким-то существом из иного мира, сотканным из таинственного одиночества и лесной дымки. В шепоте листвы словно ощущался трепет живого сердца. Он нарастал, передаваясь от дерева к дереву, от ветки к ветке, потом слабел, угасал, и чудился в нем невнятный рассказ о чем-то очень древнем и очень печальном. И когда бескрайние зеленые своды умолкали, то и мое дыхание как бы замирало, затихало в ожидании. Я не испытывал ни радости, ни печали, а словно растворялся в бесконечной природе, в океане земного богатства. И когда снова налетали порывы ветра, а лес шелестел и вздыхал, глубокая дрожь потрясала все мое существо, и в душе моей рождалась страстная песнь — предвестие и зов молодой любви.

Однажды на поляне, возле избушки лесника, меня застала буря. Войни не было дома.

Седые тополя на краю поляны так неистово сотрясались, словно хотели с корнями вырваться из земли; бешено содрогались старые буки, то сгибаясь, то снова распрямляясь под яростными порывами ветра, который налетал из самой глубины леса, вихрем подымая сорванную листву и валежник. Среди темных туч над поляной, трепещущей перед бурей, нарастал зловещий гул,— словно протяжный звук бучумов призывал грозу с сумрачного горизонта, подернутого взметенной пылью. Загрохотал, загудел лес, и на поляну обрушилась плотная завеса воды; капли глухо забарабанили в маленькие окна, и внезапно, словно утолив ярость, буря утихла со вздохом облегчения, и ослепительное солнце вновь засияло над поляной.

Я вышел и сел на завалинку рядом с женой лесника. Все вокруг улыбалось в солнечном свете; пролетела пчела, сверкнув золотой нитью; блеснула голубым оперением сойка, дрозд запел было звонкую песенку и вдруг, оборвав ее, замолчал; тишина, словно прозрачная вода, нахлынула на опушку:

Как всегда, Мэриука была печальна, и мне захотелось проверить свои догадки.

— Леле Мэриука, скажи мне, что с тобой?.. Отчего ты такая грустная? У тебя, видно, есть что-то на сердце?

— Со мной? Ничего. С чего ты взял? Такая уж я есть, такой меня мать на свет родила — невеселой...

Она говорила медленно, и по голосу чувствовалось, что ответ ее был только отговоркой.

Я спросил снова:

— Может, Войня плохо обходится с тобой?

— Войня? А как может Войня со мной обходиться? Как муж с женой...

И она задумалась.

Оба мы замолчали. Потом женщина посмотрела на меня своими большими прекрасными глазами и со вздохом выпрямила тонкий стан, туго перетянутый узким поясом.

— Эх, да что ты знаешь! Ты еще горя не видал. Ты — как этот дрозд, который запел да смолк...

Легкая улыбка молнией осветила ее лицо и глаза и проникла мне в сердце.

— Ты не слыхал, что вытерпела Иляна, жена Иона Маковея,— немного помолчав, медленно продолжала она.— Вот послушай, что ей пришлось испытать, бедняжке... И так и запомни — коли бы знала ее мать, так лучше б дала своей несчастной дочери умереть в люльке... Выдали Иляну за немилого еще совсем молоденькой... А ей хотелось порадоваться жизни... ведь молодая она, и сердце у ней горячее... Да вот муж-то был ей противен... Есть там в деревне, в Соломонешти, одна баба, Гахицей зовут; она жила рядом с Иляной, через забор... Стоило Иляне выйти — то ли к соседке, то ли в корчму, баба вечером все доносила ее мужу... Так она и жила... И вот случилось, что полюбился Иляне один паренек, да только Иляна никому о том не сказала, не знал и сам парень. Грешить она не грешила, просто было ей любо на волю вырваться, солнышку порадоваться: уж очень душно ей было в доме постылого мужа. И вот ее, бедняжку, муж бить начал... Сегодня бьет, завтра бьет, а никто и не знает... Однажды он запер ее в погреб да и избил жестоко... Убежала Иляна к отцу с матерью, только старики не захотели ее принять. У тебя, мол, свой дом есть, муж... Иди к мужу в дом, к детям... И ушла Иляна обратно и долго

болела... А как поправилась, муж опять заприметил, что она ходила по деревне, втолкнул в хату, запер дверь на засов да опять давай ее бить... И голосила же она, сказывают, бедняжка, словно ее резали. Выскочили соседи на улицу, стучали в стены, кричали... Вот как жила Иляна со своим мужем... И однажды слегла она в постель — и все ох! да ох! Сегодня ей плохо, завтра еще хуже, и раз как-то утром говорит она: «Позовите моих батюшку с матушкой,— смерть моя приходит...» Пришли старики... И пока муж ее был в доме, она не вымолвила ни словечка, лежала лицом к стене. А как он вышел, она повернулась и говорит старикам: «Вот, батюшка, вот, матушка, отнял человек этот у меня жизнь, а как же я ее любила». Тут собрались соседи, явилась Гахица. Она хотела дать Иляне воды из пригоршни, чтобы умирающая испила в знак прощения. Стала Гахица у постели, уговаривали Иляну и соседи, вошел и Ион, да Иляна лишь рукой махала, чтобы ее оставили в покое. «Нет, шепчет, пусть дадут мне помереть спокойно!..» И не захотела испить воды из пригоршней — ни Гахице не простила, ни мужу своему... Так и умерла. Когда обмывали ее, так увидели, до чего ж она худа была, кожа да кости... И все тело в синяках, почернело от побоев...

Мэриука замолчала и уставилась глазами куда-то в конец Ионовой пасеки.

— Вот как бывает... А тебе откуда знать, сколько может вытерпеть женщина на этом свете?..

Я удивленно спросил ее:

— Войня бьет тебя? Мне он не кажется злым.

— Нет, зачем ему бить меня? Я ведь говорю о других, не о себе...

— Ну а с тобой-то что? Я вижу, что ты горюешь, сохнешь...

Женщина заколебалась, видимо, хотела что-то сказать и опустила глаза. Потом внезапно встрепенулась, прислушалась, вскочила с места, выпрямилась во весь рост и вошла в дом.

Издали, должно быть, от сыроварни послышался рог Войни. Сначала он звучал протяжно, потом издал несколько отрывистых звуков, перешедших в легкие трепетные отголоски, и наконец замер. В тишине раздался отдаленный крик; голос был еле слышен и казался шорохом густого леса: «Эй, Орофей, эй!..» Потом смолк и голос. И через несколько минут топор застучал где-то в лесной глуши, особенно гулкой после дождя.

Мэриука вышла из дома и с ведром направилась к колодцу. Со скрипом опустился и выпрямился журавль. Быстро идя к дому с ведром в правой руке, слегка перегнувшись, Мэриука бросила на меня грустный взгляд. Я встал, взял ружье и пошел мимо ульев, вдоль ручья, через опушку леса на выгон.

Мне было жаль жену Войни, которую явно что-то мучило! С удивлением я вспомнил ее отрывочные слова, ее рассказ об Илляне, жене Иона Маковея, и неясные чувства, смешанные с прежними подозрениями, тревожили мне сердце.

Войня шел мне навстречу по тропинке. Вид у него был хмурый. И только я завидел его, как на поляне зазвенели колокольчики барских коров, и следом за мною на дороге, по которой я пришел, показался барин Енакаке на своем быстром коне, в сопровождении рыжего пса. Пес рыскал направо и налево, обнюхивая кусты.

Барин остановился, лесник тоже.

— Ну, что там на сыроварне, Войня?

— Все хорошо, господин Енакаке.

Барин улыбнулся, потом, повернувшись ко мне и приветливо поздоровавшись, проехал вперед и спешился. Собака сделала стойку и замерла, подняв хвост и вытянув морду по направлению к небольшому кусту. Я пошел вместе с Войней обратно. Когда мы завернули за группу деревьев, послышался знакомый возглас: «Сюда, Гектор!» — и раскат выстрелов разбудил лесную тишь. Затем снова воцарилось безмолвие. Утих и стук топора в чаще.

— Должно быть, он меня и дома искал,— внезапно сказал Войня, шагая рядом со мной.

— Кто? Барин?

— Да. А нашел меня — и ничего не сказал...

Я промолчал. Войня задумался, я тоже. Так мы продолжали путь, не говоря ни слова; прошли по поляне мимо ульев, перескочили через ручей. Мэриука стояла на пороге и смотрела на нас; лицо ее в тени дверей казалось очень бледным. Собака лесника выбежала нам навстречу, прыгая от радости.

— Посмотри-ка на этого пса,— сказал Войня,— если кто обидит его, он набросится и укусит. У него больше прав, чем у нас с тобой... Человек терпит и молчит... Это я к примеру...— добавил он, усмехаясь и пристально глядя на жену.

Но я хотел говорить не о встречах с лесником и его женой и не о той любви, которая зародилась в моем сердце. Я рассказываю о лесе Антилешть, который был мне так дорог, и о моей юности. Все это прошло: и леса уж не те, и дни юности пролетели.

Бодрящий лесной воздух живил и укреплял меня, легкий свист ветра в листве ласкал мой слух; а как пышно и ярко цвели цветы на поляне у опушки, какой был у них тонкий опьяняющий аромат!.. После двухмесячной отлучки, охваченный горячим нетерпением, возвращался я, точно к возлюбленной, в леса Антилешти. Перед наступлением зимы я хотел еще раз повидать чащи в уборе поредевшей темной листвы. Быть может, и другие чувства влекли меня на Ионову пасеку... да, может, и так, но с тех пор прошло

много зим, и весны юности ушли вместе с солнцем, которое освещало их тогда.

Мэриука хлопотала по хозяйству в своем домике и была молчалива, как и прежде. В полумраке хижины я не мог рассмотреть ее лицо, только глаза ее светились, когда она поворачивалась к окну. Войня спокойно выслушал мою просьбу, вытащил из темного угла ружье, и мы отправились.

Один за другим, медленно кружась в воздухе, слетали на землю последние листья с огромных буков. Мы шагали по желтым, шуршащим грудам опавшей листвы и протаптывали в ней тропинки. От холодного дыхания ветра колыхались ветки деревьев, и чем глубже проникали мы в чащу леса, тем печальнее и пустыннее казался он. Душа моя словно была окутана мглой.

Через некоторое время я остановился и спросил:

— А что поделывает барин Енакаке, Войня?

Войня удивленно посмотрел на меня в упор.

— Как? Ты не знаешь? Погиб Енакаке! Работники сыроварни нашли его под обрывом у Фундени... Он, видимо, проходил там, а берег как раз и обвалился... Нашли его под обрывом рядом с собакой... помнишь, той, рыжей...

— Как? Барин погиб? А я ничего не слышал...

— Да, погиб...

Лесник отвечал спокойно, но мне показалось, что глаза его слишком пристально смотрели на меня. Не знаю, не могу сказать — отчего, но дрожь пламенным током пробежала у меня по спине... И в этот миг у меня мелькнула догадка, что лесник Войня убил своего хозяина.

Безотчетно я спросил:

— И что же? Не нашли, кто убил его?

— А чего же искать? — ответил Войня.— Ведь сам погиб, лютой смертью...

Я замолчал. Неприютным и пустынным был лес в своей осенней печали. И может быть, поэтому я ощутил на сердце большую тяжесть, какую-то неясную горечь, словно перед смертью. Мы вышли на опушку, туман рассеялся. Огромный лес остался позади нас со своими зарослями и со своей тайной, словно живое существо со своими горестями, гневом и жалобами. Осень витала над ним, как смертный сон. Мэриука на мгновение возникла перед моими глазами и растаяла, словно дымка, мысль о гибели барина льдиною легла мне на сердце.

Да, малыш, сильно любил я лес в дни моей юности...

Так рассказывал мне дедушка, сидя у большой старинной печки. Рассказал и умолк. А снаружи вздыхал и жаловался осенний ветер.

ШЕСТЬСОТ ЛЕЙ

Вот что рассказал мне один приятель.

Как-то утром явились ко мне два мужика. Один из них, рослый, с мужественным открытым лицом, заговорил первый:

— Мы пришли к вам по нашему делу...

— Это давнишняя наша беда, от которой все мы страдаем...— поспешил добавить другой, худощавый и немного сутулый.

— Мы решили составить прошение...— продолжал первый.

— Написать жалобу... Нас четырнадцать человек, и все мы бедствуем...— пробормотал худой и робко улыбнулся.

Это была тяжба из-за земли, с которой в общих чертах я был уже знаком: несколько дней назад суть дела мне уже изложил этот невысокий мужик, которого звали Петре Нэстасе. И сейчас он первым стал объяснять мне, «как все было». Несмотря на то что он казался очень взволнованным и даже немного заикался, второй крестьянин, по имени Некулай Флоре, не вмешивался в его рассказ. Его сбивчивая речь и заиканье производили даже трогательное впечатление, словно это звучала натянутая до предела тетива. В его глазах был какой-то лихорадочный блеск, и печальная улыбка не сходила с лица.

— Дело было так. Я уже вам об этом говорил... Власти разделили Монастырский пруд и выделили людям по пять гектаров. Построили мы село, глядишь, с божьей помощью, возведем и школу, и церковь... Пруд этот большой и старый, да вы его и сами знаете. Существует он с тех пор, как люди себя помнят. Запруду поставили лет триста тому назад, а то и все четыреста, еще при господаре Штефане, как поминается в разных «грамотах». Рыбы в нем хоть отбавляй, летом на рыбную ловлю мы на лодках под парусами выходим... И какой только живности в нем нету... Никто не ведает, что там водится в его омутах. У старого камыша корни такие, что с доброе дерево будут, а тростник растет по берегам густой, словно щетка, высокий и стройный, ну будто войско выстроилось... Когда спускали этот пруд, то вода десять дней стекала, а вместе с водой из глубоких омутов шли коричневые карпы, такие матерые, чисто свиньи... Так вот, господин хороший, разделили мы эту землю... Прорыли канавы, чтобы окончательно спустить воду, стали перекапывать дно, корчевать камыш да тростник... Работали не покладая рук... Мы ведь из Рэдэшень и знаем, сколько земля стоит... Семь лет подряд трудились мы в поте лица своего, чтобы дно, где водились карпы да собирались водяные змеи, сделать пахотной землей... Теперь каждый может увидать: Монастырский пруд стал райским садом. По бывшему берегу растут ракиты, а хлеб на полях — любо-дорого посмотреть — хочет вырасти выше

этих ракит. Но вот видите, как все случилось. Я ведь вам уже говорил. Мы с нашей землею живем как раз на самом краю, рядом с границей. Три года тому назад приехала к нам комиссия и стала что-то мерить. Мерили, мерили они, прикидывали и так и этак и заявили, что им неизвестно, чтобы граница шла прямиком через пруд, и провели другую границу так, что часть наших земель отошла к той стороне. Выходит, что все наши труды пошли прахом. Столько лет мы очищали этот пруд, а когда пришло время радоваться, явилась эта «комиссия» и отобрала у нас землю...

Говорил он быстро и, задохнувшись, умолк.

— Что же нам теперь делать? — тихо спросил другой крестьянин, Некулай Флоре.

— Что же делать-то нам? — подхватил Нэстасе.— Посылали мы в Бухарест «обжалование». Трое из нас ездили в Бухарест к нашему депутату и к высшему начальству... Мы уж и деньги собирали, кто сколько мог, и ноги до крови стерли, обивая все пороги... И суд был, только мы ничего не поняли... Уже два лета миновало, а мы все без земли, словно сироты злосчастные... Одно лишь горе на наши головы!

— Что же вам сказал ваш депутат?

— Сказал, чтобы ожидали, там видно будет...— ответил Флоре.

— Будем ждать справедливости до самой смерти! — выпалил Зайка.— Ему что, укатил в Бухарест, пирует там с боярами, в карты играет, а за нас у него голова не болит! Думается мне, что правильно сказал один старик, что наши старинные права давным-давно похоронены. Теперь мы, четырнадцать человек, надумали написать жалобу...

Нэстасе посмотрел на меня, робко улыбнувшись, и еще больше сгорбился.

— Нам сказали, что вы сможете изложить на бумаге всю человеческую боль. К тому же говорят, что у вас есть друзья... Ведь поговорка гласит: без святых и до господа бога не достучишься...

— Хорошо, я напишу вам жалобу,— ответил я,— если государство выделило вам землю, значит, оно вас просто так не оставит...

— Государство — оно тоже должно свой порядок блюсти. Ведь пруд-то был нашей собственностью... На это старинные грамоты существуют... Не нахрапом же мы его захватили...

Некулай Флоре принялся рассказывать, как происходил обмер земли, как комиссия пренебрегала и старыми межевыми знаками, и свидетелями, и старинными документами. От одного доброго приятеля, который в то время был в тех местах префектом, мне было известно, что из-за отсутствия старых пограничных знаков часть земли при «уточнении» границы отошла к Австрии, а в

других местах какая-то часть земли перешла к нам. Мой друг, защищавший интересы крестьян, имел какие-то неприятности, поскольку обстановка была весьма запутанной. То, что с крестьянами поступили несправедливо и явно обидели их,— это было настолько очевидно, что он неустанно обивал разные пороги. Но потом сменилось правительство, и крестьяне решили обратиться к другим людям. Хотя мой приятель вел это дело из самых благородных побуждений, даже не помышляя о каком-либо вознаграждении и мог бы, уже как адвокат, защищать интересы крестьян и при другом правительстве, однако четырнадцать обиженных судьбою мужиков вдруг покинули его и решили стучаться в другие двери. Но я не думаю, чтобы из всех, кто открывал перед ними эти двери, нашелся хоть один человек, который бы не подумал, что вместе с тяжбой этих четырнадцати мужиков и ему перепадет жирный кусок...

— Были мы у разных людей... Вроде бы и не с пустыми руками... Давали мы, сколько нужно и сколько могли,— заговорил Нэстасе.— Только никто и ничего не сделал. Может, вы изложите на бумаге нашу беду и постараетесь... Нас всего четырнадцать человек, сложились мы — кто сколько мог — и собрали шестьсот лей. Если хоть что-нибудь получится, то мы, значит, сделаем вам наше скромное подношение...

— Вот что,— ответил я.— Я знаю, как делаются такие дела, и полагаю, что здесь могут быть два решения. Или вопрос о границе будет пересмотрен, и тогда, на основе доказательств, которые вы предъявите, возможно, вам вернут отобранные земли. Или же, если отрезанный у вас участок земли так и останется австрийским, то государство обязано выделить вам землю, ну хотя бы в Мерешть, где был отрезан кусок от австрийской территории, когда проводили границу...

— Очень хорошо,— отозвался Нэстасе,— мы и за это благодарим, только бы нам не остаться обездоленными и нищими... Чтобы дети наши не проклинали нас за то, что мы не оставили им ни кола ни двора, никакой лачуги, где бы они могли найти себе приют...

Флоре добавил:

— За это доброе дело отдадим мы вам все деньги, что собрали, и будем из рода в род поминать вас добрым словом.

Конечно, я от всей души хотел им всячески помочь и потому ответил:

— Если речь идет о добром деле, о благодеянии, как вы говорите, тогда я и так все сделаю, без всякой платы... Если вы мне заплатите, значит, я буду работать по найму, а я хочу действительно сделать для вас доброе дело... Кроме этого, что вы думаете, я должен буду сделать? Я изложу на бумаге все, что вы мне ска-

жете, и то, что я сам знаю, и попрошу кого-нибудь из властей разобраться в этом деле... Я думаю, что ваша просьба будет удовлетворена, потому что вы имеете право...

— Вот именно, вот именно...— На лице Нэстасе появилась добрая улыбка.— Я тоже думаю, что правда на нашей стороне... Так оно и будет!..— шепнул он Флоре, поднимая палец вверх. Потом он обратился в мою сторону: — А за все расходы, за хлопоты, за все мы отблагодарим вас. Вот у нас есть шестьсот лей!.. Для этого мы их и собрали...

— Зачем? Я вам составлю бумагу, направлю ее куда следует, а деньги вы оставьте себе...

Флоре хотел что-то сказать, а Нэстасе ухмыльнулся, опустив глаза в землю.

— Хорошо. Так-то оно так. Может, вы и правы... Напишите нам бумагу... и все такое... чтобы мы получили то, что потеряли... Вот у нас есть еще шестьсот лей... Нам уже приходилось деньги давать, может, на этот раз и не без пользы будет...

Мне показалась странной эта настойчивость, и я постарался убедить этих крестьян, что я по профессии вовсе не ходатай по делам, я попытался внушить им и другое, а именно, что я благорасположен к трудящимся людям. Но поскольку это было чрезвычайно трудно, я остановился посередине тирады, ощутив нечто вроде стыда, и постарался скорее закончить свою речь, заключив ее коротким заявлением, что я все сделаю так, как надлежит, но только не возьму никакой платы.

— Хорошо! — вздохнул с сожалением Петре Нэстасе.— Может, мы чего-нибудь сообразим... Когда работали землемеры, был у нас один человек, господин Аркиум Головей, который говорил, что стоит за нас горой... Но потом мы поняли, что он сговорился с чужаками и продал нас этим австриякам...

Он подразумевал моего приятеля, который мне рассказывал об этом деле и сам обивал пороги, защищая интересы крестьян. Я попробовал им объяснить, что они ошибаются, что ничего подобного не было и прочее...

— Ладно!..— снова вздохнул Петре Нэстасе.— Напишите нам тогда жалобу...

Мы договорились, когда они снова придут ко мне, чтобы я мог прочитать им бумагу и отослать ее куда следует.

Крестьяне ушли и больше ко мне не явились.

Прошло несколько недель, и Костан Герасим, крестьянин из того же села, откуда были и приходившие ко мне мужики, с которым я хорошо знаком, затеял разговор о старой мужицкой беде, когда земли, бывшие некогда дном большого пруда, отдали австрийцам. Ходили слухи, что землю перемеривали еще раз, чтобы

вернуть ее крестьянам, но люди до сих пор продолжают бедовать, потому что ничего они не получили.

— Барин,— сказал он в конце концов,— я у вас работаю уже год и немножечко вас знаю... Мне ведомо, что приходили к вам двое из мужиков, на которых два года назад обрушилась беда, и просили вас чем-нибудь помочь...

— Приходили. Они хотели мне дать шестьсот лей.

— Эх, барин, я же им втолковывал: люди добрые, почему вы не послушаетесь этого барина, ведь он сможет вам помочь... А они как поступили?.. Вернулись в село, посоветовались между собой, а потом не явились, чтобы взять прошение. Сказали, что боятся, как бы вы их тоже не продали... Вот почему вы не захотели взять шестьсот лей? Другие ничего не могли сделать, а все равно брали. А вот вы, если можете им помочь, почему не берете денег? Вы, барин, не гневайтесь, но ведь у наших мужиков горя хоть отбавляй... Вот ведь господин Аркиум, разве он не продал землю австриякам?

На этот раз я уже не думал, что смогу как-нибудь обелить господина Головея. Я понял, что это тщетно!

— Я им советую, барин, чтобы они снова пришли к вам. Нэстасе — это тот, который заика, он снова к вам придет...

Я не возражал, и через два дня появился Петре Нэстасе со своей робкой улыбкой. В его сбивчивых речах снова звучало горе. Он опять выглядел подавленным, просил прощенья, что все так получилось, что они тогда не смогли прийти ко мне, оправдывался как мог и все время настойчиво, хотя и не говоря прямо, давал мне понять, что за мои хлопоты они, четырнадцать мужиков, собрали шестьсот лей...

ВЭЛИНАШЕВ ОМУТ

I

Фамилии и прозвища у них были самые удивительные. Попа Костаке, у которого борода мочалкой, прозвали «Земля Горит», потому что его тощая, высокая, сутуловатая фигура носилась от зари до зари по улочкам и закоулкам села. Писарю от родителей досталась фамилия Сковородня, что в здешних местах означало род пирога; в народе его называли еще Вертишейкой — он напоминал ту птичку, что чирикает весной на макушках деревьев, беспрестанно вертя головкой, словно она у нее на штыре. Старосту Дэскэлеску, щуплого человечка с маленькими черными глазками, окрестили Сусликом. Что же касается «Тальянца», господина инженера Джованни Шагамоцци, то у жителей долины Бистрицы он значился просто-напросто «господином Жувани», а то еще «госпо-

дипом Шагомовцы». Он был бородат, коренаст, с брюшком; в левом углу рта у него неизменно торчала короткая трубка.

В то лето господин Жувани, поп Земля Горит, Вертишейка и Суслик были неразлучными друзьями и каждый день в послеобеденные часы сходились в трактирчике на Загибе потолковать о том о сем. Там, между вековыми елями, имелось уединенное местечко, откуда можно было видеть, как внизу, в долине, прозрачное небо отражается в водах Бистрицы. Когда солнце погружалось в густые туманы горы Чахлэу, господин инженер со стаканом в руке выходил из-под елей и восторженными криками приветствовал гору, будто сказочного царя-великана в мантии из пурпура и золота, с бородой и кудрями из мглистых завитков. Левой рукой он театральным жестом поднимал стакан, правой срывал с головы широкополую шляпу и хриплым баритоном издавал какие-то звуки на таком мудреном языке, что трое остальных надрывались со смеху.

Успокоившись и высморкавшись в красный платок, поп возглашал:

— Ну и Тальянец! Потеха с ним...

Дэскэлеску и Сковородня чокались с инженером и тут же принимали вид чинный и важный, дабы спокойно насладиться вином.

Равнодушным к горам, к шумным возгласам и к смеху оставался лишь хозяин кабачка — господин Лейбука Лейзер. Он был «дрептаром», то есть полноправным гражданином, так как в 1877 году перешел Дунай солдатом. Его тоже наградили прозвищем «Слезинка», потому что, когда он, весь утонув в черной бороде, стоял в часы одиночества за стойкой, погруженный в размышления о судьбах своих шестерых детей, на кончике его острого носа нет-нет да и повисала блестящая капля.

Лейбука Лейзер был человек серьезный и начитанный. Как подобает серьезному мужу, он, не в пример господину Шагомовцы, не тратил времени на созерцание Чахлэу и Бистрицы, а тем паче на произнесение высокопарных речей. А по части учености, особенно когда дело касалось его книг, в которых буквы походили на пауков, сам господин инженер не мог с ним сравниться. Иногда они наперебой принимались толковать библейские изречения, размахивая руками и растопыривая пальцы, увязая в доказательствах, как в болоте, пока не поднимался батюшка Земля Горит и, простирая руки, будто предавая анафеме антихриста, говорил:

— Да отринь ты от себя язычника, господин Жувани! Вино прокисает.

Итальянец, питавший к вину большую слабость, смеясь, возвращался к приятелям, брался за стакан и вынимал трубку изо рта, а ученый спор так и оставался неразрешенным. Еврей молча стоял, опершись о дверной косяк бревенчатого дома, и в зрачках

его спокойных, задумчивых глаз виднелось отражение четырех приятелей, которые, пожелав друг другу всяких благ, чокались и опрокидывали стаканчики.

Господин Лейбука относился с некоторым презрением к этому уголку мира, где он поселился, чтобы заработать кусок хлеба для себя и своих отпрысков. Рабочие с лесопилок, итальянцы, строившие большое шоссе и каменные мосты,— все приходили сюда отдохнуть в тени и с поразительной беспечностью спускали у стойки весь свой заработок: пили, ели, галдели... Все наслаждались жизнью, прожигая и растрачивая ее на песни и веселье, на вино и любовное томление. Солнце, земля, воды Бистрицы, белые стада, позвякивающие медными колокольчиками на ближних холмах, лесная сень, живые арки горных ключей и прочая суета этого мира — все имело для них смысл, которого он не понимал. Суета сует, думал Лейбука. Все мечутся, спеша к смерти. И ничего после себя не оставляют. Они смеются и поют,— им неведом, как патриарху Аврааму, суровый долг упрочить силу рода, терпеливо укреплять его для будущего, ценой страданий и лишений в настоящем... Они улыбаются солнцу, лесам и реке. А он, Лейбука, живет в тени своей хижины, в пустынных равнодушных горах. Сколько раз вскакивал он темной ночью, дрожа, и сердце его замирало от ужаса: ведь он понимает, что деньги, которые непрерывно текут к нему на стойку, могут пробудить кровожадные страсти. Лейбука знает об опасности; знает, что не сможет устранить ее ни силою своей руки, ни мужеством,— и все-таки он с отвращением, с боязнью продолжает жить здесь, потому что так нужно, потому что он должен вырастить шестерых детей. «Четыре сына и две дочери, пошли им небо долгой жизни...»

С господином писарем приключилась большая неприятность, «история», к которой он упорно возвращался, словно «лиса в курятник»,— как повторяет с ехидным смешком поп Земля Горит. В этот августовский предвечерний час Вертишейка снова заговорил о ней, и глаза его вновь потускнели. Под навесом ветвей за еловым столом сидели лишь четверо друзей. «Бугай» еще не известил о конце работы, и Лейбука дремал, стоя на пороге, прислонившись головой к дверному косяку, как всегда, безучастный и к яркому свету знойного дня, заливающему долину, и к горам, которые отчетливо вырисовывались на ясном зеленоватом небе. Господин писарь с какой-то ненавистью глядел на село, разбросанное по склонам и пригоркам, на белые домики, крытые дранкой и огороженные дощатыми заборами, на серые тропинки, спускающиеся к Бистрице, на поросль молодых елей, на стадо овечек и далекую деревянную церквушку на невысоком холме.

Он говорил хрипловатым голосом:

— Кто я такой в конце концов, чтобы надо мной измывалась племянница тетки Параскивы? Иду сегодня утром в примэрию, она — навстречу. «Слушай, говорю, Мэдэлина, ты знаешь, кто я и что я могу. У меня, коли рассержусь, рука тяжелая!»

Староста слегка толкнул его локтем, показав глазами на Лейбуку. Сковородня равнодушно оттопырил губу:

— Он не слышит, а если и слышит, то должен молчать. «У меня рука тяжелая, говорю. Уже год, видишь ли, как я за тобой бегаю. А ты, словно царица какая, кривишь рот и отворачиваешься...»

— А она что ответила? — спросил, как обычно, инженер, облокачиваясь на стол и подпирая ладонью подбородок.

— Старая история,— вмешался батюшка.— Опять ты ее спросил, опять она тебе не ответила, и опять ты жалуешься.

— А мне думается — она теперь поняла: дело идет о жизни и смерти,— сурово проговорил Сковородня.

Его товарищи с сомнением уставились на него.

— Гм! Что же, долго мне еще терпеть, на медленном огне жариться? «Школу, говорю, я закончил, образованный и в гимназиях учился, первым все классы прошел, поди-кося сыщи другого такого в Попоаре. Работа у меня не тяжелая; гонять плоты в Пьятру, бороться, словно каторжному, с волнами, бурями да скалами, как некоторым другим, мне не приходится. Да я с моей образованностью да пером могу тебя в шелка и жемчуга нарядить, как королеву... Летось, когда ездил в Ясы, я привез оттуда альбом в голубом бархатном переплете, стихи разные в него запечатлел и преподнес тебе ко дню ангела. А ты прочитать-то прочитала и поняла, а сделала вид, будто не понимаешь. Послал я тебе через тетку твою Параскиву весточку; тетка тебя вразумляла быть послушной, чтобы все добром кончилось... Каждое воскресенье я в церкви бываю, глаз с тебя не свожу...» И знаете, что мне девка ответила?

— Что же она тебе ответила? — пробормотал итальянец, не вынимая трубки изо рта.

— Что недаром, мол, меня зовут Вертишейкой. Что вы на это скажете! «Дорогая Мэдэлина, говорю, плохие шутки шутить изволишь! Мне твои проделки доподлинно известны. Знаю, с кем встречалась у Вэлинашева омута и в чьи глаза глядела. Мне все известно, есть у меня кого приставить, чтобы тенью ходил за тобой. Так ты что же, решила загубить свою жизнь с этаким хамовым отродьем, с Илие Бэдишором? Ведь он, девка, только и знает горы да Бистрицу — и то до околицы. Ведь он даже Ясс в глаза не видел. Он все равно что дикарь: босой, рожа дубленая, под мышкой топор. Только и умеет, что плоты по Бистрице гонять да сивуху потягивать. А когда начнут трепать волны и бури, вылезет на берег и отсиживается в каменной норе. Одно слово — плотогон!

И кончит он тем же манером, что отец,— либо на острых скалах, либо в водовороте; и волны выбросят его вместе с илом и мусором где-нибудь у залива на крутом изгибе реки... Да полно, в уме ли ты! И что ты в нем нашла? Красив? Нет! Умен? Тоже нет. Голь перекатная! И тетка тебе то же говорила...» И знаете, что она мне ответила? — продолжал писарь, угрюмо глядя на своих товарищей.

— Ну? — подзадорил его инженер, перекатывая трубку из одного угла рта в другой.

— Спросила, отец я ей, что ли, или брат?

— Разумеется! — встрепенулся батюшка Костаке и, воспользовавшись удобным случаем, наполнил стакан.

— Тут уж я, господа, рассердился... «Если на то пошло, говорю, так знай же: я его и в солдаты отдать могу. Вот уж год, как я тебя избрал, чтобы жить нам вместе, в любви и согласии. Уж год я чахну от любви. Говорил я тебе об этом и стихи писал. А ты меня, стало быть, оценить не можешь! Так пускай идет служить, пускай ему скулы свернут в армии. Там и сложит он свои косточки...»

— Подлил масла в огонь! — философски заметил инженер.

— Э, нет! Сначала она было перепугалась.

— В солдаты его не могут взять,— вмешался староста.— Он единственный сын вдовы.

— Да, она мне тоже потом это сказала. Но я ответил, что все равно его отправлю. «Я, говорю, милая, все могу». Тут она опять испугалась. А потом рассмеялась, скривила этак рот, отвернулась — и была такова... Вот теперь вы мне и скажите, доколе будет так продолжаться? Я мечусь, покоя не знаю; поверите ли: как увижу ее — знобить меня всего начинает. Введет она меня в грех.

Лейбука метнул с порога взгляд своих черных глаз и снова принял вид человека, разомлевшего от жара и полуденной тишины.

— Лейзер, вина! — крикнул писарь.— Того же, никорештского. Нравится мне оно. Но что толку, все равно от него на душе не легчает... Так почему, скажи на милость, не могут его взять? — продолжал он, повернувшись к старосте.— Недаром же в конце концов мы начальство здесь, в деревне? Если уж и потешить себя нельзя, когда охота, так на кой же леший жить на свете?

— На то и живем, чтоб согреться винцом,— отозвался батюшка Земля Горит.— А мертвых не воскресить. Что тут поделаешь? Отец Илие давно, верно, сгнил на дне Бистрицы.

Шагомовцы серьезно смотрел на Вертишейку, попыхивая трубкой.

— Слушай, писарь, так нельзя,— проговорил он тихо.

— Гм! — крякнул Сковородня, доставая нижней губой кончик уса и покусывая его зубами.— Ты, господин Джовании, в это дело не вмешивайся. Предоставь нам самим поступать как знаем.

Я вижу, что это трудно,— оттого на душе и кипит... Уж и не знаю, до чего дойду, но Илие Бэдишора я должен скрутить в бараний рог. Мысль эта, как птица, свила гнездо вот здесь, в голове. И высидит птенцов, ей-ей высидит,— осклабился он, принимая графин с вином из рук Лейбуки.— Давай стакан, господин Тальянец. Опять ты косяк подпираешь, Лейзер? Какое понятие может быть у жида? Все со своей хозяйкой да со щенками своими. Нет ему ни счастья в стаканчике малом, ни радости под одеялом. Чего ухмыляешься, господин Лейзер?

— А я и не ухмыляюсь.

— Нда. Кто тебя знает, какие у тебя мысли в голове. Дураки мы все, а?

— Я этого не говорю.

— Не говоришь, зато думаешь. Откуда тебе знать толк в жизни? Глуп, кто не наслаждается ею, зря его мать на свет произвела. А мне желательно доставить себе удовольствие сегодня, потому как завтра меня, может, уже не будет. Дни человека что трава! Так, господин Джованни? Ты ведь философии обучался... Выпьем еще по стаканчику — вот мы и будем в выигрыше.

— Сказать по правде, в выигрыше-то здесь будет один хозяин,— заметил отец Земля Горит.

— Ну нет, выиграем от этого мы. Я вот поднимаю чарку за ваше здоровье и радуюсь, что мы опять вместе. Не трактирщик радуется, а я. И попрошу его принести еще графинчик. Господин Лейзер, проснись и похлопочи насчет винца. Я желаю выпить с вами за одну известную мне особу. Вот увидите, господа, все будет как нельзя лучше. Придет день, когда она повиснет у меня на шее. А если нет, останется только одно: головой в Бистрицу.

— Ничего, она угомонится,— заверил его староста.

— А кто ее знает? В ней сам черт сидит,— мрачно закончил Сковородня, устремив взгляд куда-то вдаль, в невидимую точку.

Лейзер, все такой же невозмутимый, принес вино. Друзья выпили, но для писаря по-прежнему все было затянуто туманом.

Позже, когда в горах на лесопилке проревел «бугай» и по тропинкам, как муравьи, поползли рабочие, четверо друзей поднялись и вышли на солнечный свет. Они были немножко под хмельком. Писарь шагал нетвердо, что приводило в восторг отца Земля Горит, который, подмигивая инженеру и старосте, криво усмехался, обнажая острый клык. Они шли к Попоаре, будто окруженные золотистым пухом. Над горными долинами и оврагами царило величавое спокойствие. Далеко над вершиной Чахлэу, прямо перед солнцем, стояло лиловатое облако, словно окаймленное застывшей молнией. А в мирной тишине заката от большого шоссе, которое строил Шагомовцы, с песнями поднимались в гору рабочие-итальянцы.

II

По склону горы к трактиру шел человек. Это был высокий босой плотогон в засученных до колен штанах. На левой, согнутой руке у него висел топор. Он оглядел встречных белесыми глазами, казавшимися страшными на его бронзовом, тронутом оспой лице. Правой рукой снял шляпу и пожелал доброго вечера. Его рыжие волосы, блеснув в огне заката, поднялись торчком, словно вздыбленные ветром. Он тут же снова спрятал их под шляпу, будто спеша уберечь от опасности.

Писарь остановился. Внимательно глядя на него, спросил:

— Откуда ты, Петря?

— С затона, господин Матейеш. Все на плотах работал.

— А теперь идешь в трактир?

— В трактир.

— Я, пожалуй, останусь,— обратился к своим товарищам Сковородня.— Надо кой о чем потолковать с Петрей Царкэ. Завтра, надеюсь, встретимся, как положено.

— Ну, уж это *беспременно!* — сказал вдруг инженер, а остальные прыснули со смеху.— Наш девиз — постоянство.

Царкэ смотрел на них, вытаращив глаза и разинув рот. Потом он подумал, что батюшка, староста, а в особенности писарь научились, должно быть, говорить по-итальянски, и усмехнулся.

Оставшись наедине с плотовщиком, Сковородня долго припоминал, для чего он его задержал. Побудило его к этому что-то смутное, неожиданно мелькнувшее в голове... Петря Царкэ был известен в горах подлым нравом и темными делишками. Он любил проводить время в корчмах, в шумном кругу друзей; быстро вспыхивал и не знал жалости. Немало разбил он голов и переломал ребер; частенько приходилось жандармам тащить его, связанного, в кутузку. Что-то темное было у него в прошлом и с военной службой. Писарь знал об этом. Невыясненным оставалось также дело с попыткой ограбления кассира горной лесопилки. В этом был замешан и сам писарь: укрыл тогда Петрю — своего человека, принесшего немало пользы во время парламентских выборов,— здоровая глотка и огромный кулак Царкэ совершали тогда чудеса в корчмах города Пьятра.

— Вот что, Царкэ,— сказал вдруг писарь.— Я хотел тебя спросить, не встречал ли ты сегодня Бэдишора.

— Илие? Видал, как же: он на плотах работал. Да ведь мы с ним — как немец с турком. Проходим один мимо другого: я ничего не говорю, и он ничего...

— С чего бы?

— Да уж такой он человек. Мы с ним вместе и стакана вина не распили. Он все больше с бабами. Пока усы не пробились, весь заработок вытряхивал в подол матери. А теперь носится как ошалелый за юбкой Мэдэлины. Что ж! Всякому свое.

— Стало быть, и ты знаешь, что он волочится за девкой?

— А кто же этого не знает? Я вот сюда, а он вверх по берегу Бистрицы...

Сковородня вдруг посмотрел на него расширившимися, налитыми кровью глазами.

— Пошел на свидание с ней.

— Конечно, господин Матейеш. И что вы на меня так уставились? — осклабился плотовщик.— Злая это болезнь, как погляжу я, господин Матейеш. Кое о чем доводилось слышать от людей. Но я думал, все прошло. А теперь сдается мне, что сынок Ирины вам как сучок в глазу.

Писарь пристально, не мигая, смотрел на него.

— Так, значит?..— удивленно протянул Петря, и даже какая-то веселость прозвучала в его голосе. Он вынул кисет, развязал его и скрутил здоровенную цигарку. Пристроив ее в угол рта, он, пока высекал искры, глядел на трут и кивал головой, словно отвечая на заданные самому себе вопросы. Выпустив из ноздрей две струйки дыма, Петря по-свойски еще на шаг придвинулся к писарю.

— Выходит, господин Матейеш:

От болезни сляжешь — охнешь,
От любви же сляжешь — сдохнешь.

Ничего! Я буду вашим лекарем. Ведь мы с вами ладим, живем в дружбе. Как говорится: «Рука руку моет». Кто знает, господин Матейеш, что может случиться. Глядишь, Илие тоже отправится к рыбам в каком-нибудь омуте, как и его родитель.

При этом он опять ухмыльнулся и тряхнул головой, словно дивясь собственной мысли.

— Он к Вэлишиеву омуту пошел? — спросил Сковородня.

— Да. Есть там одно местечко — красота райская! Так мы еще посмотрим, что нам делать, еще потолкуем. Верно я говорю, господин писарь? А там, глядишь, стрясется и со мной какая-нибудь неприятность или, как говорит батюшка, «история»... Так я к вам прямо и приду, господин Матейеш. Вы человек образованный, знаете, как чего в книги записывать. Не приведи бог какая-нибудь беда, вы меня и прикроете крылышком. Ну, что скажете, господин Матейеш?

— Потолковать надо,— тихо ответил писарь.

— Конечно. Всего хорошего.

Царкэ двинулся дальше, глубоко затягиваясь толстой цигаркой. Он поднимался мерной подпрыгивающей походкой все выше по склону горы, выделяясь черным силуэтом на розовом фоне заката. Сверху, со стороны трактирчика, долетел неясный шум, в котором отчетливо слышалось лишь тонкое треньканье струн. Внизу, в излучине Бистрицы, отражалось далекое небо цвета фиалки. Два невидимых колокольчика прозвенели на разные голоса со стороны села.

А по одинокой тропинке, все думая об одном, шел писарь туда, куда несли его ноги.

В самом деле, Петря Царкэ прояснил его смутную мысль: теперь писарь понял, зачем остановил его. Как будто страшный зверь, внезапно вставший между ними, вселился в него и сжал его сердце. Возбужденный намеками плотовщика и вином Лейбуки Лейзера, господин Сковородня, исполненный решимости, шагал по направлению к омуту Вэлинаша. Недоумение и давняя злоба терзали его. Как, неужели этот голяк, дикарь может стать ему поперек дороги? Что за бес заставляет женщин делать все наоборот? Сначала он было решил, что это с ее стороны просто игра, и даже слегка радовался: девушка не так легко сдается, как другие. Ему хорошо был знаком путь к сердцам, проложенный при помощи хитрых слов да нитки бус... Таких слов у него хоть отбавляй, а нитку бус он носил в нагрудном кармане, в бумажке, обвязанной голубой тесемочкой. Но Мэдэлина все равно отворачивала голову. Тоненькая и гибкая в своей черной катринце, она проносилась мимо него, еле удостаивая его взглядом, «словно какую-нибудь собачонку», думал он.

Вот этого-то писарь и не мог вытерпеть! Вначале он вскипал от гнева, а потом начал биться, словно опутанный невидимой сетью. Обессиленный, он чувствовал, как его уносит поток страсти. А теперь, с тех пор как узнал, на чьи опаленные солнцем лапы склоняется белый, как у царевны, лоб девушки, он кипел лютой злобой.

Очутившись на большаке между крайними хатами деревни, господин Матейеш очнулся. Оказывается, он свернул с дороги к омуту. Куда же он идет?

В хлевах мычали коровы, во дворах разводили огонь под таганами. Пахло кипяченым молоком. Протяжные голоса перекликались на взгорьях. Писарь встретил крестьянина, ровным голосом пожелавшего ему «доброго вечера», затем быстрым плавным шагом прошла женщина с прялкой за поясом... Вслед за ней показался тонкий силуэт, который смутно вырисовывался в густеющих сумерках, но писарь сразу узнал его, и сердце заколотилось у него в груди. Это была Мэдэлина.

— Добрый вечер,— сказал Сковородня и остановился.

Девушка, не задерживаясь, тихо ответила:

— Вечер добрый.

Господин Матейеш повернул обратно и пошел за Мэдэлиной. Он заговорил с легкой издевкой:

— Куда это ты, Мэдэлина? Нельзя ли мне узнать? Может, вы, барышня, сделаете одолжение и остановитесь на минуту?

— Извольте. Что вам нужно? — спросила тонким, певучим голосом девушка.

Она остановилась и повернулась к писарю лицом. Глаза у нее были большие, косы уложены короной. В белой рубахе, в тесной катринце, сужающейся книзу, к голым щиколоткам, она стояла неподвижно и ждала. Приблизившись к ней, он почувствовал запах чабреца. Глаза у писаря разгорелись.

— Мэдэлина,— обратился он к ней,— ну почему ты не хочешь меня понять?

— Так вот что вы хотели сказать! — И девушка добродушно рассмеялась.— Отложим, господин Матейеш, разговор до другого раза.

— А почему?

— Почему? Этого я вам сейчас не скажу. Сходите к тетушке Параскиве, она вам скажет...

Сковородня, вздрогнув от нахлынувшей радости, хотел было схватить ее за руку. Но она уже шла дальше своим легким шагом и скрылась в тени дощатого забора. Смущенный, господин Матейеш постоял минуту в раздумье. Как-то непонятно было все это. И только когда он зашагал по направлению к дому тетушки Параскивы, его осенила смутная догадка, что девушка просто хотела ускользнуть от него. И все же минутная радость вселила в него надежду: может быть, осуществится наконец то, чего он так страстно желал. В светлых сумерках писарь прошел вдоль забора к домику с двумя елями, в котором жила тетка Мэдэлины.

III

Мэдэлина знала, что скоро взойдет луна. Иначе ей было бы страшно идти берегом реки под высокими елями. Спрятавшись в тени за поворотом, она постояла несколько минут, чтобы удостовериться, не преследует ли ее господин Матейеш. Она лукаво улыбалась в темноте, и черные глаза ее искрились, как играющая в лунном свете речная рябь. Потом она быстро зашагала вперед, спустилась крутым разлогом прямо к Бистрице и пошла поросолью.

Очутившись затем под навесом еловых ветвей, девушка перестала что-либо различать, словно ей прикрыли глаза. Сердце так и заколотилось в груди. Выбравшись из ельника, будто из сумрачной пещеры, она как будто попала в совсем иной мир. В лиловой дымке показалась над деревьями громадная красная луна. Живой мостик из золотой чешуи протянулся по стремнине между луною и девушкой и заскользил вверх по течению.

Из расщелины скалы, словно поджидая ее в засаде, внезапно забила струйка воды. Босые ноги девушки быстро ступали по белой тропинке. Речная ласточка пронзительно крикнула два раза и, скользнув над самой поверхностью воды, скрылась на той стороне. Бистрица разливалась здесь широким плесом и отдыхала в тихой дремоте под сенью развесистых ив. Мэдэлина остановилась. Вдруг она коротко вскрикнула и тут же рассмеялась. Чьи-то руки обхватили ее сзади за плечи, под левым ухом она ощутила мягкое прикосновение коротких усов Илие Бэдишора.

— Ты это? И набралась же я страху!

Парень, освещенный луной, появился перед ней. Он был выше ее, в круглой соломенной шляпе, сдвинутой на затылок, в коротенькой сермяге, с чеканом под мышкой. Он, как ребенка, обхватил Мэдэлину одной рукой, и глаза его блеснули в глубоких глазницах, когда он привлек ее к себе, чтобы поцеловать. Она отстранилась, откинув назад голову. Потом притихла и прильнула к его плечу, с трепетом вновь ощущая прикосновение небольших мягких усов...

Прямо перед ними в свете луны лежал таинственный старый омут Вэлинаша. С давних пор носил он имя безвестного парня. Никто не помнил Вэлинаша, но песню о нем распевали повсюду в горах. Много раз на посиделках певала ее с девушками и Мэдэлина. А потом на этом же самом берегу и ей явился парень, как в старинной песне. Теперь он обнимает ее, а она думает о любви и горестях былых времен.

— Я немножко задержалась,— тихо заговорила девушка.

— Случилось что-нибудь? — озабоченно спросил Илие, что-то уловив в ее голосе.

— Ничего не случилось. На писаря натолкнулась. Только я живо от него избавилась. Послала потолковать с тетушкой.

Она развеселилась, засмеялась. Потом снова понизила голос:

— Он и вчера остановил меня...

Илие молчал. Мэдэлина прильнула к нему и спрятала голову на его груди.

— Закручинилась я, Илиеш. Он говорит, что в солдаты тебя сдаст.

— Кто? Писарь?

— Он. Но я ему ответила, что этого нельзя сделать. Правда ведь, нельзя?

— Правда,— неуверенно ответил Бэдинор.— Матушка-то вдова...

— Ну конечно, у него одни только пакости на уме. Как увижу его, так бы и плюнула да побежала, словно от нечистого. Он и тетушку с толку сбил. И теперь она мне на все лады голову забивает: обвенчается, мол, он с тобой и будет холить, как боярскую дочь... и платье-то тебе справит городское, сапожки лаковые. Но я ее не слушаю и слушать не хочу,— продолжала, ласкаясь, Мэдэлина и сверкнула полными слез глазами.— Мне люб мой Илиеш...

Парень нагнулся и поцеловал ее в глаза, чудесные, как темные бархатные цветы. Девушка тихо засмеялась, потом, снова нахмурившись, продолжала:

— Тетка, может, и рада бы надо мной куражиться,— стала бы притеснять меня, бить и за постылого выйти заставила бы. Да она не смеет, потому что живет и кормится моей землей, которая досталась мне от родителей,— продает с моей делянки лес. А я притворяюсь, будто не замечаю, лишь бы не трогала меня. Что же ты молчишь, Илиеш, чем ты недоволен?.. Когда поплывешь в Пьятру? Верно, что ты опять собираешься туда?

— А ты откуда знаешь?

— Да ниоткуда. Просто вижу и чувствую. Я сегодня смотрела с горы, как ты плоты вяжешь.

— Да я не потому сердит, Мэдэлина. Через неделю ворочусь обратно.

— Воротись скорей, Илие. Целую неделю буду тосковать. Хоть бы дождь лил все дни, чтобы из дому не выходить.

Парень улыбнулся. Она ребячливо боднула его лбом.

— Я вижу, ты все смеешься. Нет, пускай дождя не будет, чтоб и тебе ничего не грозило на реке. Я узнаю, когда ты воротишься, и буду тебя ждать здесь. Об остальном ты не печалься. Так и состарится бедный господин Матейеш, слоняясь за мной и уговаривая. Он все водится с господами да со всякой немчурой, понаехавшей к нам в горы. Вот и пускай ищет себе городскую. На что я ему? Я девушка простая. Уже год, с самого преображения, другого люблю. Ну скажи, Бэдинор, что и ты меня любишь!

Парень не находил слов для ответа. Он гладил ее по голове, как ребенка, и чувствовал, что умирает от любви.

Луна ярко освещала их. Они подошли ближе к берегу, уселись в тени под ивой, и на блестящей поверхности омута возникла их черная двойная тень, словно рожденная чарами уединения.

Ни один листок не шелестел. Вся долина, вплоть до фантастических туманов на гребнях гор, молчала. Омут, казалось, застыл.

Девушка тихо шептала, припоминая дни, когда зародилась их любовь. Ей нравилось прятаться и попискивать, как цыпленок, под крылышком Бэдишора.

Год назад, скромной девчонкой, она, робея и с замиранием сердца, опустив ресницы, в первый раз вышла на хору. Тогда-то и увидела она среди парней Илие под вековыми елями, возле корчмы Булбука в Поноаре.

Звенели голоса и струны. По обычаю горцев, крестьяне — и мужчины и женщины вместе — пили водку. Здесь быстро вскипала кровь, разговор был горячий. Все отдавались веселью безудержно, со страстью, как бурному потоку. У женщин, одетых в белоснежные рубашки с цветной вышивкой и в узкие катринцы, блуждала на губах какая-то томная улыбка. Белолицые, нарумяненные, разукрашенные цветами и стеклянными бусами, с изменчивым, словно река, взглядом, они сильно отличались от высохших и измученных рабынь, крестьянок равнины. Они вырастали в тени лесов, под грохот горных бурь; жизнь их была не особенно тяжелой, трудились они не так уж много и считали, что живут на свете только для того, чтобы холить свою красоту и любить.

Когда Мэдэлина очутилась в этом людском водовороте, тетка Параскива толкнула ее в толпу девчонок и сейчас же ушла к каким-то кумовьям, которые подзывали ее, размахивая кружками. За девичьим кругом парни, по обычаю тех мест, одни выплясывали на лужайке стремительный, бурный танец. Это было своего рода состязание на виду у всей деревни и, главное, у девушек. Там-то и увидела Мэдэлина Илие.

Он шел впереди длинной цепи танцоров и гордо вел их за собой. Ни на кого не глядя, он двигался и выкрикивал с какой-то особой страстью слова песни. Мэдэлина тоже знала их:

За мной, парни! Мне знакомы
Все тропинки в лес зеленый.

Но Илие выговаривал эти слова с нежностью, с любовью, сразу отозвавшейся в ее сердце. Немного спустя начался танец парами: Мэдэлина сама подошла к Илие и смело улыбнулась. А когда он обхватил ее за талию, первая пожала ему руку. Опьяненная, счастливая, взволнованная, с бьющимся сердцем, девушка все-таки заметила робость парня и сразу же почувствовала в себе гордость и силу. Давно ли она была глупой девчонкой? И вот внезапно превратилась в лукавую женщину. Она походила на серый бутон, который с первыми лучами солнца распустился и зацвел чудесным цветом.

Бэдишор рос тихим, скромным вдовьим сыном. Он ходил неслышно, говорил негромко. И вдруг познал мучительное и сладкое

чувство. Теперь жизнь его и страсть слились в одно. В серьезной и строгой, немногословной любви Илие было что-то от горных тайн и туманов. Мэдэлину он считал благом, которое призван защищать до своего смертного часа. Илие не высказывал вслух своих сомнений и под градом докучных вестей, которые, смеясь, сообщала ему девушка, оставался молчаливым. Она же угадывала его напряжение, читала в его душе, как в душе ребенка; порой ее охватывала дрожь, будто перед опасностью, и именно потому она еще больше любила его.

Странное ощущение, что она безраздельная повелительница Бэдишора, но вместе с тем и маленькая букашка, которую он может раздавить пальцем, Мэдэлина впервые испытала минувшей зимой. Теперь, прижавшись к груди парня и говоря совсем о другом, она вспомнила об этом.

В деревне была свадьба. Вдоль черного леса, по замерзшей Бистрице, под жужжанье семиструнных кобз и пистолетную пальбу, растянулся пышный свадебный поезд. Малорослые кони быстро мчали сани между белыми стенами берегов Бистрицы, по звонкому ледяному настилу. Изредка, на поворотах, на непокрытые головы девушек падал с деревьев иней. Писарь, господин Матейеш, догнал на своих санках Мэдэлину. Смеясь и шутя, он обхватил ее; остальные девушки визжали, словно напуганные волком. Мэдэлина смеялась; ей нечего было бояться писаря. Но когда она обернулась и увидела среди дружек Бэдишора — он смотрел на нее из-под нахмуренных бровей, как из глубины пещеры,— сердце ее сжалось в крупинку и тут же расширилось от безграничной радости.

— Илиеш,— сказала тихо девушка, вспомнив теперь об этом,— я тебя иногда побаиваюсь.

— И побаивайся, Мэдэлина,— ответил Бэдишор,— ведь у меня только ты одна и есть... Я думаю так... он был в учении...

— Ты о бедном господине писаре?

— Да. Он был в учении, да научился только злу. Здесь, в примэрии, он всем заворачивает, что хочет, то и делает. Разве народ разбирается! Скажет Сковородня, что так в книге написано,— люди пошарят в кошельке и платят. Со старостой он ладит, с попом ладит, с купцами тоже. Сидит, как змей-разбойник у источника, все требует и все глотает. Капли воды нельзя получить, не заплатив ему дани. Но мне с ним делить нечего. Пусть поступает, как хочет. Пути наши не сходятся. Я на Бистрице со своими плотами, он в примэрии со своими книгами. Но к тебе-то чего он привязался? Я вот терплю, но яду во мне все больше. И в конце концов ему не поздоровится.

— Будь разумным, Илие,— решительно сказала девушка.— Нас никто не может разлучить.

— Ладно, Мэдэлина, буду,— мягко ответил Бэдишор.— Я как Бистрица: налетит на нее ветер, она и замутится. Я вот все думаю: кому какое дело до нас? И хочется мне иногда, как дикому зверю, схватить тебя и скрыться в чащу.

— А пусть себе люди говорят, Илиеш. Пусть и тетка Параскива долбит мне с утра до вечера... Она спрашивает, куда иду, а я в ответ: «За земляникой».— «Что ты, девка, какая сейчас земляника?» — «А я нашла, тетушка Параскива. Сладкая такая, и уж как мне нравится». Ничего со мной тетка не сделает, Илиеш!

Парень обнял Мэдэлину и прижал к груди, восхищенный ее словами.

— И не забудь, Илиеш, в Пьятре про бусы...

Смеясь тоненьким голоском, она извивалась в его объятиях, гибкая и упругая, как струна.

Не скоро выбрались они из своего убежища на яркий свет луны. Они шли, как в дымке сна, как в царстве тишины. Они даже не сознавали, что эта ночь опустилась на землю только для них, почти не замечали ее, обняв друг друга, замкнувшись в свою любовь, будто в раковину. И только много позже девушка вздрогнула, услышав фантастический хохот филина. Птица пролетела сквозь светлую мглу, как сквозь серебряный пух, бесшумно взмахивая крыльями, потом форель плеснула хвостом по воде, рассыпая на стремнине звездочки и зеркальные осколки. Парень с девушкой вошли под черный навес ветвей, а омут все так же блестел под луною, торжественный и печальный.

IV

Господина писаря Матейеша Сковородию раздирало множество мыслей и желаний. В голове у него бушевал ураган.

Сидел ли он в примэрии, сражаясь с бумагами и с людьми, разбирая ссоры, ходил ли по селу или выпивал с приятелями в кабачке Лейбуки Лейзера — он не переставал думать о своей неудаче и строить планы.

Время от времени сказывались и плоды его раздумий.

Однажды в полдень в воротах тетки Ирины, матери Илие Бэдишора, появился сборщик налогов Гыцу. После того как вышла хозяйка с подоткнутым подолом и собаки унялись, господин сборщик принялся осматривать хозяйство: пересчитал двух телят, пару лошаденок, полюбопытствовал, что за узлы в доме, и стал что-то прикидывать в уме, глядя в разные стороны косящими глазами.

— Что такое? Чего ты там считаешь и высчитываешь? — испуганно спросила вдова, поправляя на голове косынку.

— Меня господин писарь прислал,— сказал Гыцу.— Вы подати не заплатили!

— Да заплатили мы! Как это так «не заплатили», бог с тобой! Тебе же и платили!

— Мне? Что-то не помню. Квитанция у вас имеется?

— Есть квитанция. Парень мой тоже был тогда дома. Ты ему как раз и дал квитанцию. А я ее положила за икону. Есть, как же, есть.

— Тогда ладно. А то господин писарь подумал, что вы не хотите платить государству. Сын твой в армии не служит, подати не платит. Так пусть идет в суд и отвечает...

— Какой такой суд?— возопила женщина, глядя округлившимися глазами на представителя власти.

Гыцу с улыбкой потер острый нос, поправил съехавший к уху засаленный галстук и тихонько кашлянул.

— Не знаю, тетка Ирина. Пусть отвечает. Он чем занимается? Сидит на бережку и держится за юбку племянницы тетушки Параскивы. Нет, такой парень, как он, богатырь, пусть идет в солдаты, пусть выполнит свой долг и завоюет свои права. Так и сказал господин писарь: «Почему, говорит, он не занимается хозяйством матери? Был бы он разумным парнем — оставил бы в покое девок, никто бы его тогда и не трогал...»

— Так разве же он виноват? — раздосадованно закричала хозяйка.— Привязалась к нему девчонка; я и то собиралась, как встречу ее, спросить, чего ей дался мой парень.

Тетка Ирина внезапно утихла и, хитро улыбаясь, пристально посмотрела в глаза сборщика, острые, как у хорька.

— Что до меня,— сказала она, заговорщически понизив голос,— то, случись по желанию бедного господина Матейоша, я была бы рада-радехонька.

— Какое там желание, при чем тут господин Матейош? — защищался Гыцу, поглядывая по сторонам косыми глазами.

— Ну, будет уж, будет, теперь-то я понимаю, куда дело клонится. Вы хотели запугать бедную глупую бабу. А разве мне нужны неприятности? Зачем мне выпускать из дому работника и одной маяться? Он у меня еще пока не жених. Ничего! Я, господин Гыцу, в лепешку расшибусь, а девчонку отважу... А насчет податей скажи господину писарю, что мы заплатили, раз уж ему не спится из-за этого!

С таким ответом и отправился Гыцу по тропинке к примэрии, поглаживая свой острый нос и поправляя галстук на тонкой шее.

Как-то утром он заявился к тетке Параскиве и застал Мэдэлину среди пестрых хохлатых кур. Она кормила их зерном и разговаривала с ними.

— С добрым утром, дочка,— сказал господин сборщик.

— Здравствуйте, господин Гыцу. Каким ветром вас к нам занесло?

— Никаким не ветром. Проходил мимо и решил зайти посмотреть, дома ли кума Параскива.

— Дома, как же! — И девушка принялась с какими-то напевными переливами в голосе звать: — Тетушка! Тетушка! Поди сюда! Тебе письмецо от господина писаря пришло.

Нос у господина Гыцу побагровел. Удивленный такой смелостью, он оставил галстук возле уха, как вещь ненужную и безжизненную, и смотрел растерянно на тетку Параскиву, которая вышла на крылечко и, подбоченясь, нерешительно поглядывала то на него, то на девушку.

— Тебе, как я вижу, сейчас недосуг,— выдавил наконец сборщик.— Загляну в другой раз. Или в воскресенье, в корчме...

— Изволь, господин Гыцу,— проговорила тетка Параскива, скрестив на груди короткие толстые руки, и посмотрела на Мэдэлину долгим взглядом, как на какую-то диковину.

— Какого лешего ты ему наговорила, девка?

— Ничего я ему не сказала, тетушка Параскива. Разве я что понимаю? Я глупая девчонка.

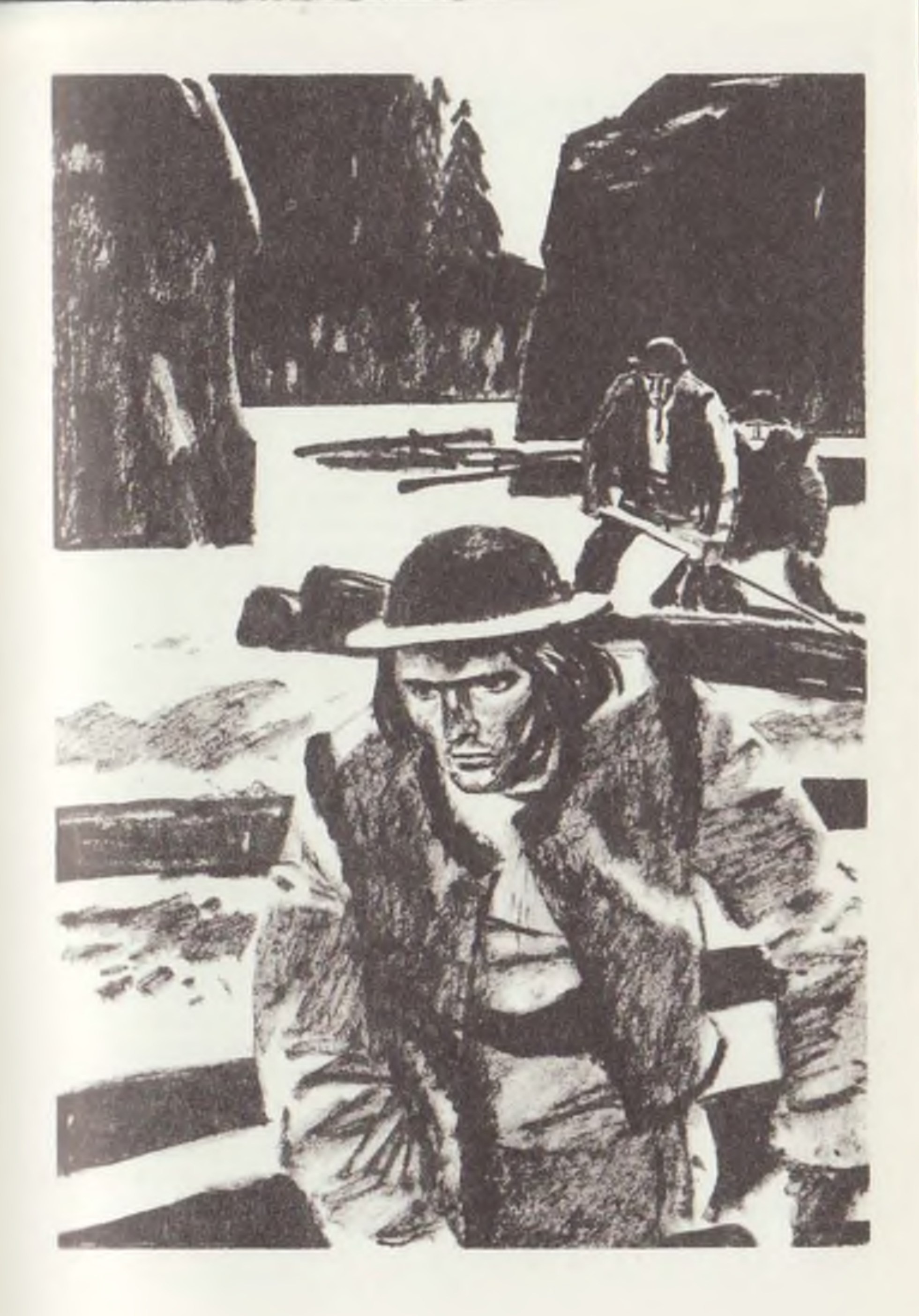
— Что верно, то верно,— закивала старуха, низко опустив голову.— Была бы разумной, поступила бы, как я тебя учу.

Девушка опять принялась кормить кур. На губах у нее играла лукавая улыбка, а глаза затуманивало воспоминание о ночах, проведенных возле омута. Старуха махнула рукой, будто девушка ушла, исчезла и ей не с кем больше разговаривать. Она вернулась к своему ткацкому стану.

Как-то после полудня, когда в тени у входа в кабачок только что уселись Вертишейка и Шагомовцы, прибывшие первыми на обычное место встречи, за их спиной неожиданно вырос Петря Царкэ. Он поздоровался, осмотрел всех своими белесыми глазами и прошел в кабачок.

Лейбука окинул его внимательным взглядом, пропустил в дверь и последовал за ним. Вскоре сидевшие снаружи услышали злой голос Петри: он требовал выпивки. Через некоторое время хозяин появился снова и, как обычно, прислонился к косяку. Краешком глаза он следил за оставшимся внутри плотовщиком. Писарь и инженер медленными глотками потягивали вино и любовались высоким зеленоватым небом. Оттолкнув Лейзера локтем, вышел вдруг Петря. Мутными глазами посмотрел он на приятелей и, видимо, приняв какое-то решение, остановился прямо перед ними.

— Что такое, Петря? — спросил Сковородня.



М. Садовяну
«Вэлинашев омут»

— Ничего особенного, господин писарь. У меня к вам *изъявление*...

— Какое заявление? Говори.

— Да вот, я рабочий человек. С утра и до вечера, значит, вожусь с этим топором да с слями. Другого дела у меня нет. Больше я ничего и знать не знаю. А господин начальник донимает меня.

— Какой начальник?

— А жандармов, Алеку Дешка. Донимает меня, и все тут. Выкладывай ему все, что знаешь да кого подозреваешь. Все по тому же делу с кассиром лесопилки, на которого ночью напал какой-то грабитель.

— Хорошо, но ведь дело уже прекращено. Открыть ничего не удалось.

— Ничего не удалось, господин Матейеш, это вы верно сказали. Вот и не знаю, чего еще нужно господину начальнику, что он ищет? Говорит, будто свидетель нашелся.

Лейбука Лейзер, казалось, дремал на пороге, но глаза его горели живым огнем. Они окидывали понимающим взглядом высокую фигуру Петри Царкэ и всматривались в его дикий облик.

— Я и подумал, господин Матейеш: откуда взяться такому свидетелю? И чего он покоя мне не дает? Сделайте такую милость, господин Матейеш, заступитесь...

Царкэ охмелел от выпитой у стойки водки, но он знал, о чем говорит и чего требует, и в упор глядел на писаря.

— Какой там свидетель! — сказал, улыбаясь, Сковородня.— Ничего, Петря, иди себе и успокойся. Я поговорю с господином Алеку Дешкой, разберемся. Тебе бояться нечего. Раз ты за собой никакой вины не чувствуешь...

— О том-то я и говорю, господин Матейеш. Никакой вины за собой не знаю.

У Лейбуки мелькнула на лице тонкая улыбка.

— Трудно установить правду,— поддакнул инженер, наливая вино в стаканы.— Было уже темно и поблизости ни души.

— На воре была маска,— тихо заметил Лейзер.— Теперь уж никто его не поймает.

— Какой тут еще свидетель? — опять заговорил, смеясь, писарь и пристально посмотрел на хозяина.— Болтать да строить всякие домыслы может любой, даже Лейзер.

— Возможно, только я не свидетель,— торопливо и энергично возразил Лейзер.

Господин Сковородня продолжал:

— Со своими домыслами мог явиться и кто-нибудь вроде Илие Бадипора, который ищет клады по ночам на берегу Бистрицы.

— Вот где истина! — крикнул, смеясь от души, Шагомовцы.—

Ходит и ищет клады! Ему одному известно, что за звери бродят ночью по тропинкам.

Петря Царкэ сверкнул глазами и ухмыльнулся во весь рот.

— Верно, господин Матейеш. Очень даже возможно, что он. Нет, теперь я знаю, что это в самом деле он. У меня с ним старая история из-за одной зазнобы. И он, вражий сын, подкапывается под меня, распускает слухи. Непременно узнаю, он ли это, господин Матейеш.

Плотовщик тряхнул головой, как будто и впрямь удостоверился и остановился на определенном решении. Потом он снова вошел в трактир, таща за собой Лейзера.

Несколько дней спустя, в одно из воскресений, под елями у старика Булбука было большое гулянье. Молодежь водила хороводы. Прочие же выпивали и похваливали вино трактирщика. Были там рабочие со всех окружающих гор, итальянцы с большого шоссе господина Шагомовцы и немцы — машинисты с лесопилок. Дед Павалаке Булбук, громадный, плечистый, с выпирающим из-под безрукавки животом, с белыми усами на красном лице, прохаживался взад и вперед, расставляя кружки и перешучиваясь с женщинами. Сквозь разноголосый гомон еле пробивались тягучие, замирающие звуки скрипки. Но парням и этого было достаточно: они танцевали, возбужденные и хмельные, с разгоревшимися глазами. Девушки казались более сдержанными и мягко притопывали по земле сапожками с медными подковками.

Петря Царкэ вдруг поднялся с лавки и, слегка пошатываясь, пошел к танцующим. Он остановился на пороге с неопределенной улыбкой на губах, глядя, как прыгают и кружатся пары в танце, называемом кэрэшел. Сначала ему показалось, что все кругом двоится в каком-то тумане, потом он различил Бэдишора и Мэдэлину. А ведь не зря поднялся он с лавки: знал, что девушка здесь, значит, и парень неподалеку. Потому-то и оставил кружку недопитой и вышел наружу, бередя в себе накопившееся буйство. Нужно же было что-то сделать ради дружбы с писарем.

Тут невдалеке показался и сам господин Матейеш Сковородня. Девушки, подталкивая друг друга локтем, со смехом зашептали одна другой на ухо: «Вертишейка! Вертишейка! Вертишейка!» Потом, поднимаясь на цыпочках, стали искать глазами Мэдэлину. Появление писаря придало решимости Царкэ. Все так же неопределенно улыбаясь, он прошел вперед, задел плечом одну пару, потом другую и, наконец, тяжело опустил руку на плечо Мэдэлины. То был знак, что танцорку приглашает другой парень. Илие и Мэдэлина остановились. Но, увидев перед собой Петрю Царкэ, Бэдишор рванул девушку к себе. Как раз в этот миг он заметил и писаря.

— Чего тебе надо? — крикнул он, меря внезапно вспыхнувшими глазами плотовщика.— Какой ты парень? Не имеешь права приглашать.

Царкэ осклабился.

— А мне вот пришла охота потанцевать с этой девчонкой. Я и музыкантам заплачу, и парней угощу!

Танец расстроился. Один из парней положил руку на скрипку, и песня, задохнувшись, умолкла. Мэдэлина потянула Бэдишора в сторонку.

— Тебя писарь подослал! — заревел Илие, сверкнув взглядом в сторону Сковородии.

Царкэ нагнул голову и кинулся вперед. Несколько девушек испуганно вскрикнули. Мэдэлина комочком откатилась в сторону, отброшенная левой рукой Илие. Правой же он схватил Царкэ за голову, не давая ему выпрямиться; остальные парни навалились на них, пытаясь разнять.

Сильные руки оттащили Петрю от Илие; он тяжело дышал и только яростно вскидывал головой.

— Ничего, вдовий сынок, мы с тобой встретимся в другом месте!

Важный, щеголяя узкой городской одеждой, господин Матейеш протискивался сквозь возбужденную толпу, собравшуюся на месте происшествия и, притворяясь обиженным, спрашивал:

— Что случилось? Кто смеет говорить обо мне?

Илие Бэдишор смерил его ненавидящим взглядом. Писарь притворился, будто ничего не замечает. Он понимал, что ему здесь делать нечего. Встретившись глазами с Мэдэлиной, он спросил:

— Что такое, Мэдэлина? Что случилось?

— Пришел волк с похмелья расстроить веселье,— скороговоркой ответила Мэдэлина. Остальные девушки, склонив друг к другу головы, приглушенно хихикали.

Господин Матейеш достал из кармана часы с цепочкой, посмотрел на циферблат, потом хлопнул плеткой из бычьих жил по штанине. Он чувствовал себя так, будто попал в осиное гнездо.

— Пусть кто-нибудь сходит за Дешкой,— грозно приказал писарь и важно удалился прочь от толпы.

V

Господин начальник произвел небольшой допрос, восстановил порядок и спокойствие, а затем направился медленным шагом по тропинке в гору, позвякивая саблей о камни.

Господин начальник Алеку Дешка был человек небольшого роста, но хорошо сложенный, широколицый, белокурый и безборо-

дий. За сморщенную физиономию, которая как будто всегда смеялась, его прозвали «Туркиня». У господина начальника жандармского поста и впрямь было лицо веселой бабы. Глаза же были и не веселые и не бабьи: серые, со стальным блеском, они буравили души и предметы.

У господина Алеку Дешки был свой взгляд на людей. Он вертел ими, крутил, судил, осуждал и не дал бы за них и ломаного гроша. Были у него свои понятия и о службе, которую он нес. Он прочитал за свою жизнь несколько книг и стремился выполнять свой долг перед властью, как настоящий артист. Когда у него оказывалось «дело», он никогда не относился к нему небрежно; как искусный часовых дел мастер, начальник разбирал его на части и винтики, вертел, разглядывал со всех сторон и втихомолку делал свои выводы...

Задумчивый, как всегда, Дешка поднимался по дороге в кабачок. Был прохладный вечер, какие выпадают в конце лета, и Лейбука, поеживаясь, закрывал дощатые ставни своего заведения. При виде жандарма Лейзер весело улыбнулся и приветствовал его, подняв руку ко лбу:

— Добрый вечер, господин Алеку. Как хорошо, что вы заглядываете иногда к нам. Жена моя только тогда и спокойна, когда вы показываетесь в этих местах.

— Разве? Так пойди скажи ей, что я пришел, и попроси ее приготовить для меня чашечку турецкого кофе. Я из турок, господин Лейбука, и люблю кофе.

— Я тоже, господин Алеку, хотя и не из турок. Скажу, пусть приготовит две чашечки.

Алеку Дешка уселся на стуле между елей. Лейбука вошел в свой бревенчатый дом, спеша сообщить жене добрую весть, потом вернулся, потирая руки.

— А стаканчик рому, господин Алеку, уживается с кофе?

— Уживается, если составишь мне компанию. Я люблю, чтоб по справедливости, господин Лейбука.

— Знаю,— ответил Лейбука, тихо смеясь.— Я вас хорошо знаю, господин Алеку. Вы редкий человек в этих краях. Что же вас привело сюда, господин Алеку?

— Что меня привело? Да ровно ничего,— ответил жандарм.— Сам пришел. Я службы не боюсь, где бы она ни была. И в пустыне не пропаду, господин Лейбука. Я немножко философ. Если нечего делать, я думаю: зачем создал бог человека? Стараюсь разгадать без свидетелей и без улик, кто же все-таки напал на кассира лесопилки. Взгляну на человека — и могу заранее сказать, в какую ночь он попытается нанести визит господину Лейбуке...

Лейзер подскочил.

— Не говорите так, господин Алеку. Вон идет моя жена. Она всего боится.

Мадам Эстер поздоровалась за руку с господином Алеку и с тяжким стоном опустилась на стул.

— Трудно здесь жить,— сказала она, грустно улыбаясь,— одни заботы и неприятности. Бывают ночи, когда я совсем не сплю.

Жандарм повернулся к Лейзеру и засмеялся:

— Тогда позволь спросить тебя, господин Лейбука, что тебя сюда привело.

Лейзер вздохнул:

— Должен же человек заработать себе на кусок хлеба...

— Это так,— тихим голосом согласился представитель власти.

Они помолчали некоторое время. В селе зажглись огни. На одном из склонов, в горах, замерцал, словно одинокий глаз, костер. Мадам Эстер поежилась, укутала шею платком и ушла в дом.

— Так о чем же вы это говорили, господин Алеку? — робко спросил Лейбука.

— Ага, не забыл, значит. Я говорил, что знаю, кто под маской напал на кассира.

— Может быть, я тоже знаю. Думается мне, что и господину писарю известно.

— Возможно,— неторопливо заговорил жандарм, высекая огонь и прикуривая.— За человеком, который это совершил, я все время слежу на расстоянии. А он и знать не знает. Теперь надумал заглянуть сюда как-нибудь ночью, сорвать ставни и пошарить у тебя за стойкой.

Лейзер молчал.

— Уж я-то людей знаю,— продолжал Алеку Дешка, смеясь.— А его насквозь вижу, все знаю, что он задумал. Придет — а мне уже известно, кто был.

— Господин Алеку,— тихо молвил Лейзер,— лучше бы он не приходил.

— Понятно, лучше бы не приходил. Сорвет ставни, взломает стойку, а ты выскочишь с криком, взлохмаченный, держа свечу в руке. Тут в горячке недолго тебя и топором по голове стукнуть. Конечно, этого нельзя допустить. Уж лучше позову его к себе, расспрошу о других делах,— он и образумится. Набедокурил бы, да не посмеет.

Алеку Дешка курил и, наслаждаясь, пил в темноте свой кофе.

— Хороший кофе,— сказал он.— Такой я только в Яссах пил у тамошних армян.

Лейзер снова вздохнул.

— Живем мы здесь, господин Лейбука, среди злодеев. Они,

что дикие лесные звери, кидаются друг на друга, дерутся и клыками и рогами. Сегодня чуть смертоубийство не приключилось.

— Как же это, господин Алеку?

— Петря Царкэ бросился на Бэдишора.

— Выходит, опять он?

— Да. Теперь у него эта забота. Еще одна причина, чтобы отложить визит к тебе. Писарь наш, господин Лейбука, учился в школе, одевается, как и мы, но душа у него все равно дикая. Вот уже целый год он бегает за одной девчонкой и теперь дошел до отчаяния. Я молчу, но все вижу. Теперь пустил в ход Царкэ. А сам потом умоет руки — знать не знал, видеть не видел.

— Как это умоет руки? Из-за чего же ему умывать руки, господин Алеку?

— Так-так. Думаешь, я не знаю, чем все это кончится? Знаю, будто я сам господь бог. Горы высокие. Бистрица глубокая. Будут когда-нибудь оплакивать бабы Илие Бэдишора...

Лейзер вскочил встревоженный.

— Не может быть, не может этого быть, господин Алеку! — воскликнул он, волнуясь.— Вы странный человек и всегда так меня пугаете. Но вы же не плохой человек. Вы можете что-нибудь сделать, помешать.

— Нет, господин Лейбука, ничего я не могу сделать,— тихо ответил Алеку Дешка.— Страсти здешних людей как ветер и вода: никто их не остановит... Вот оно как, господин Лейбука! Не видишь, что вытворяет наш писарь? Посылает весточки матери парня, потом идет к тетке Параскиве, увещевает ее, самой девушке проходу не дает. А здесь, в кабачке, среди бела дня он разве не рассказывал во весь голос о своей страсти? Недавно он об этом же говорил с Царкэ, не так ли?

— Правда. Говорил.

— Так ты сам разве не видишь, господин Лейбука, к чему все клонится? Если я знаю, кто такой Царкэ, если мне известно, что он замешан в этом деле, и если сегодня я видел, как он, словно волк, хотел сцепиться с Бэдишором, то мне не трудно догадаться и о дальнейшем. Но ничего не поделаешь. Могу я за ним уследить? Нет, не могу. Бог с ним! В этих местах человек, вода, звери — все одинаковы, господин Лейбука. А теперь, если тебе не трудно, принеси стаканчик рому.

— В один момент. Только я не верю, господин Алеку. Вам просто так нравится — зайти вечерком и говорить подобные вещи. Я очень рад, когда вы приходите. Вы — власть, и мне с вами хорошо, хоть и пугаете вы меня до смерти. Не верю я, что случится так, как вы говорите.

— Что ж, и не верь. Ты человек городской. Там, когда убьют

человека, все ужасаются и толпятся, как на ярмарке. А здесь, господин Лейбука, дни человека — что трава, как сказано в Псалтыри. Вскорости на Бистрице произойдет неприятное событие, и день тот недалек...

Лейзер, сгорбленный, напуганный, застыл на месте, а бабье лицо Алеку Дешки сморщилось от странного беззвучного смеха.

VI

Туркиня не ошибался: что-то должно было произойти. Из своего жандармского поста возле примэрии, над которым высоко в воздухе полоскался выцвевший от дождей флаг, господин Алеку Дешка с застывшей улыбкой следил за всем, что происходило в долине и на тропинках, все отмечая у себя в уме. Его серые глаза, казалось, видели сквозь стены. Он как будто сам присутствовал на совете Петри Царкэ с господином Матейешем. Вот уже несколько дней подряд, в сумерки, плотовщик с топором под мышкой поднимался своей подпрыгивающей походкой к домику писаря.

Господин Алеку Дешка курил, сидя верхом на стуле и опираясь подбородком на скрещенные на спинке руки. Дым от сигареты, словно живой, полз и извивался в ярком свете осеннего дня. Начальник видел и отца Земля Горит, который неутомимо шагал то по тропинке, то по какой-нибудь извилистой уличке.

Батюшка Костаке тоже взялся за дело, намереваясь устроить его по своему разумению и не в ущерб себе. Прежде всего — он был другом писаря. У ворот дома тетки Ирины батюшка всплескивал руками и все удивлялся:

— Как это ты, тетка Ирина, трудолюбивая, богобоязненная женщина, измученная заботами вдова, можешь терпеть подобное: ведь она совсем вскружила ему голову, обличия человеческого лишила!

— Правда, батюшка Костаке, целую руку... — отвечала вдова.— Подумать только, до чего осатанели люди... Какая-то девчонка, кошка драная, а вот же — вцепилась в моего Илие и не отстает. Была я и у Параскивы, говорила ей... Да ведь она сама не рада, сердешная. Уж как она мне жаловалась: легче, мол, зайцев пасти, чем управляться с эдаким бесом. Как увидела я это, сама подождала девчонку и в упор спрашиваю: «Слушай, девка, когда же ты оставишь моего парня в покое?»

— Вот-вот... А она что?

— Господи, если сказать тебе, батюшка,— сам не поверишь... Ничего не ответила. Только постояла вот так да посмотрела на меня. Потом подошла, опустив голову, и поцеловала мне руку.

«Тетушка Ирина, говорит, наступит день — украдет меня Илие и привезет к тебе на печь. Ты не осуждай меня, не притесняй, говорит, ведь сама небось была такой же. А я Илие зла не желаю». Вот, батюшка, какое она мне слово сказала... Что с ней поделаешь? У меня, батюшка, слезы потекли из глаз, истинный бог, так меня за сердце взяло.

— Вижу, вижу... — сказал с некоторой издевкой отец Костаке.— Старину вспомнила... Знаю уж...

— Эх, батюшка, молодость, что с нее возьмешь! — ответила со вздохом вдова.

Топая быстро по дороге, с развевающимися по ветру полами рясы, отец Костаке появлялся на другой уличке, у другого дома. И Алеку Дешка видел, как он, прислонившись к старому еловому столбу, под навесом ворот, долго махал руками перед носом тетки Парасквы, а та, в подоткнутой юбке, в кофте с засученными рукавами, слушала, прижимая ладони к груди.

Видел Алеку Дешка и то, как в сумерках писарь неотрывно ходил за девушкой по пятам, и вся деревня видела это. После пережитого унижения у корчмы Булбука Сковородня потерял над собой всякую власть. Когда закат начинал окрашивать розовым цветом утесы, Мэдэлина возвращалась вместе с другими девушками с гор, гоня перед собой коров. А он уже стоял на дороге, похлопывая плетью по штанине. Иногда он останавливался, глядя в одну точку и словно прислушиваясь к звону колокольчиков. «Уставился, ровно черт на попа»,— шептали, хихикая, девушки и приглушенно смеялись.

Однажды он решительно преградил путь Мэдэлине, грубо прикрикнув на остальных:

— Чего стали? Идите и занимайтесь своим делом! Слушай, Мэдэлина,— обратился он к девушке, глядя на нее пристально и хмуро.— Хочу тебя еще раз спросить: ты это навеки связалась с другим, а на меня и не посмотришь? Ответь мне.

— Господин Матейеш, мне нечего вам ответить,— спокойно молвила девушка.

— Слушай, Мэдэлина, разве ты не видишь, что всему конец? У корчмы он говорил мне дерзкие речи при всем честном народе. И теперь не будет мне покоя, покуда не смету его со своего пути. Дело это решенное и скреплено клятвой.

— Господин Матейеш, а греха вы не боитесь? — сказала девушка, окинув его быстрым взглядом.

— Нет.

— Хорошо, но ведь Илие чист перед вами. Зла он никому не причинил. Ни к чему вы не придеретесь. Что же вы ему можете сделать?

— Мэдэлина, брось его — вот и все, что я хотел тебе сказать. Не то душа твоя будет в ответе перед господом богом...

Алеку Дешка видел, как Матейеш Сковородня после этого разговора направился большими шагами к трактирчику. «Надо поговорить с Лейзером,— подумал начальник.— Матейеш теперь будет пить, чтобы раззадорить себя и на что-нибудь решиться».

Сохраняя на лице все ту же застывшую в мертвой улыбке маску, жандарм поднялся со стула, закурил другую сигарету и не спеша пошел вниз, позвякивая саблей. По пути он завернул на одну из улиц и остановился у ворот дома тетушки Ирины. Старуха доила корову. Илие вышел из сеней навстречу Алеку Дешке.

— Иди-ка сюда, пройдись со мной немножко,— сказал ему начальник.

Парень внимательно и озабоченно посмотрел на него. Когда он приблизился, Дешка похлопал его левой рукой по плечу:

— Не тревожься, парень, я против тебя ничего не имею. Ты человек хороший. Я только хотел спросить тебя кое о чем.

— Спрашивайте, господин начальник, я отвечу,— быстро проговорил Илие Бэдитор.

— Вот, очень хорошо: вижу, ты, братец, меня неплохо знаешь. Я не притесняю и взяток не беру. Я человек справедливый, Илие, и, попади я в монашескую братию, мог бы сделаться настоятелем, а то и митрополитом. Смотрю я, братец, вокруг, все вижу, все понимаю. Мне давно известно, что ты водишься с Мэдэлиной. Только в сердечные дела молодежи я не вмешиваюсь... На то бог дал людям любовь, чтобы они забывали о старости и смерти. Но знаешь ли ты, Илие, что Матейеш Сковородня видеть тебя не может?

— Знаю, господин шеф, да не боюсь я его.

— Хорошо, хорошо. Ясное дело, что не боишься. А вот появится у него товарищ, и перевес будет на его стороне. Кто-нибудь, скажем, может прыгнуть на тебя в темноте. Камень может на тебя с горы свалиться. Будь поосторожнее, парень. Так я считаю: ты должен остерегаться...

Странно ухмыляясь, Туркиня снова похлопал парня по плечу, потом, покачиваясь, медленно побрел к трактирчику. Илие постоял еще некоторое время, вслушиваясь в удаляющийся и затихающий лязг его сабли.

Очнувшись от дум, парень направился было к Бистрице. Потом, вспомнив слова Дешки, улыбнулся и покачал головой. Широкими шагами он пошел к дому, крадучись пробрался в сени и поискал в известном ему местечке чекан. На ходу он накинул на себя тулупчик и уже в самых воротах ответил матери, которая спрашивала из дому, кто там. В голубоватых сумерках по наклонной тропинке он спустился к омуту, где ждала его Мэдэлина...

VII

Три дня спустя, в ночь под малую пречистую, долину Бистрицы покрыл иней, похожий на мелкое толченое стекло. Узкий серп ущербного месяца освещал тускло-желтым заревым светом склоны гор, ивы, камни, нагроможденные потоками. Утренняя звезда, появившись из-за серой полосы облаков, взошла над горами.

Спавший тяжелым сном в своем домике господин Матейеш Сковородня внезапно проснулся, услыхав громкий стук в дверь и мужской голос.

— Это я, господин писарь,— кричал снаружи Петря Царкэ.— Отоприте.

Сковородня еще находился во власти сновидений. Лунный свет проникал в окна, словно дымка. Утренняя звезда показалась писарю живым подмаргивающим глазом с лучистыми ресницами.

— Откройте, господин Матейеш!

— Что такое? Чего ты орешь? — спросил писарь, отодвигая задвижку.

Плотовщик, смеясь, вошел в комнату, и на Сковородню пахнуло крепким запахом табака и водки.

— Что с тобой, человече? Ты прямо из корчмы?

— Знамо дело. От Булбука. Но у меня большие новости, господин Матейеш. Одевайтесь и немедля пойдемте. Теперь уж ему не вывернуться, господин Матейеш. Я сколько времени слежу за ним. Теперь-то он попался мне в лапы.

— Ты о Бэдишоре говоришь?

— О ком же еще? О бабушке, что ли? Вечор приходит в корчму представитель фирмы, какой-то еврей, даже имени его не знаю. Ему, видишь ли, нужен плотовщик, чтобы обязательно сегодня, в день пресвятой богородицы, сплавить двадцать больших мачтовиков из устья Бараза,— завтра он хочет отправить их дальше, в Пьятру. У них там свои дела, отсрочки не терпят. Работают по часам. Ну а люди наши, конечно, отказались. Завтра, то бишь сегодня, праздник, день отдыха. В корчму надо заглянуть — христиане как-никак... Что до меня, то я и не подумал ехать.

— Погоди, Петря, погоди,— перебил его писарь.— При чем тут все-таки Бэдишор?

— Вижу, не хотите вы меня слушать, господин Матейеш... Вот как было. Представитель ушел. Мы, значит, остались, выпили еще по рюмочке, поговорили о том о сем... Стало уже поздно. И вдруг заходит один из наших, Тимофте, и говорит, что нашелся человек, готовый в праздник гнать плоты. Кто бы вы подумали? Илие Бэдишор. Он жаднее всех на деньги. Ни корчма, ни веселье

ему не нужны. Дадут хорошую цену — он и поведет плот. Тимофте говорит, что он уже пошел на реку.

Заразившись воодушевлением плотовщика, писарь засуетился и стал одеваться.

— Самая теперь пора, господин Матейеш,— продолжал между тем Царкэ, наклоняясь к его лицу.— День праздничный: в горах и на Бистрице никто не работает. Отправляется он один. Если разобьется о скалы, значит, господь наказал его за то, что трудится в праздник.

Губы Царкэ, освещенные луной, растянулись в черном оскале. Он слегка покачивался и постукивал пальцами по лбу, восхищаясь собственным планом.

— Пошли, господин Матейеш! Не мешкайте! Возьмем коней... Свершится наказанье божье, а мы уже здесь... Потолкуем с людьми, заглянем в корчму и будем вместе со всеми удивляться, когда станет известно, что сынок отправился искать папашу на дно реки.

Сковородня уже не владел собой. Словно в лихорадке искал разбросанную по комнате одежду. Ненависть, скопившаяся за многие месяцы, усиленная отчаянием и пережитым унижением последних дней, кипела в его душе, туманя рассудок. Он кинулся к Царкэ, схватил его за горло и глухо застонал:

— Замолчи! Замолчи! Еще кто-нибудь услышит. Никто не видел тебя, когда ты сюда заходил?

— Никто, господин Матейеш, будь покоен. Я рыжий, из лисиц...

Развеселившись от собственной шутки, Петря Царкэ похлопал рукой по сумке, висевшей у него на боку.

— Захватил я с собой немного бодрящего: флягу со спиртом. И так мне весело, господин Матейеш, будто на охоту собираюсь.

Писарь рывком натянул на себя пальто. Затем толкнул Царкэ плечом.

— Ну, чего стоишь? Пошли.

— Идем. Как не идти! А коней найдем?

— Найдем. Под самым лесом. Другого, думаю, ничего с собой брать не надо?

— Да к чему нам, господин Матейеш? Избави бог! Мы и пальцем его не тронем. Бистрица сама с ним справится!

— Правильно,— пробормотал писарь. Он почувствовал, что его охватывает холодная дрожь. Съежившись, он вышел на улицу, дважды повернул ключ в двери и, глубоко вздохнув, будто сбросив с плеч огромную тяжесть, быстро зашагал в гору. Теперь он знал: к устью Бараза он уже не может не пойти; он чувствовал: в этот день непременно произойдет что-то страшное, чему он уже

не в силах помешать. Зато потом придет, может быть, успокоение и та блаженная минута, которую он так страстно желал.

Когда писарь с Петрей на неоседланных конях взметнулись на гребень горы Вэтуй, чтобы ринуться оттуда в ущелье Бараза, сквозь туман проглянуло солнце. Великое молчание царило над лесами и окаменелыми волнами гор. Слева из ущелья, где находилась пустынь, донесся тихий, ласковый звон чугунного била, потом с песенным перезвоном некоторое время благовестили колокола. Оба сообщника ненадолго остановились, глядя вниз, на лес, над которым плыли обрывки светлого тумана...

По другой стороне, скалистой тропинкой, завернувшись в тулупчик, ехала верхом по-мужски горянка. Несколько лошаденок, навьюченных мешками с кукурузной мукой, понуро плелись сзади, привязанные одна к хвосту другой,— видимо, из какого-нибудь равнинного городка в горное селенье.

Господин Матейеш и Петря Царкэ перевалили через гребень и стали спускаться в долину Бараза. В лесистом овраге они спешились. До устья реки оставалось немного. Место было глухое, и оба надеялись, что на реке не окажется никого, кроме них и Бодишора. Плотовщик вынул флягу и подал ее господину писарю. Тот было отстранил ее тыльной стороной руки, но, передумав, схватил, поднес к губам и стал пить большими глотками. Царкэ смеялся, протягивая руку, похожую на звериную лапу.

— Добро! Только и мне оставь, господин Матейеш. Это мое лекарство.

Господин Матейеш нашел шутку уместной и, тоже смеясь, вернул флягу, метнув на Царкэ горящий взгляд.

Они решительно прошли между еловыми бревнами и затаились, внимательно вглядываясь в дощатое здание лесопилки. Там было тихо, не чувствовалось никакого движения. Справа Бараз, укрощенный плотинами, переходил в широкий спокойный затон, на поверхности которого покачивались белые стволы очищенных от коры елей: кряжи и мачтовики. Воды притока, задержанные в этом месте и успокоенные, ждали того часа, когда они вольются в оскудевшую от засухи Бистрицу и стремительно помчат плоты вниз к равнине. Здесь тоже было тихо и пустынно. Под зеленоватой блестящей поверхностью затона изредка, как молнии, сверкали похожие на серебристые иглы форели.

— Нет его здесь,— сказал, нахмурив брови, Сковородня.— Не приходил еще, что ли?

— Нет, приходил,— ответил Царкэ, шагая между сваями запруды,— только мы чуток опоздали. Плот должен был находиться на этой стороне, на Бистрице. А теперь его нет. Значит, он недавно отвязал его и уплыл.

Писарь прихватил зубами кончик усов и взглянул на Царкэ злыми глазами.

— Что же мы будем делать?

— Гм, что делать? На всякую хворь свое зелье имеется, господин Матейеш. Со мной не пропадешь. Я уж дорогой думал, что мы можем его не застать, но в затоне, я знаю, стоят легкие плоты, приплывшие по речке и еще не разобранные. Вот они, можете сами посмотреть. Спустим воду, выйдем с плотами на Бистрицу, и волны помчат нас вдогонку за ним, как на рысаках. Сзади мы на него и нагрянем...

Недобрый огонек сверкнул в глазах Сковородни. Он обернулся к плотовщику, схватил его за плечо и, толкнув вперед, произнес одно только слово:

— Пошли!

Довольно ухмыляясь, Петря Царкэ вытащил из-под безрукавки топор. Оба подкрались к запруде и при помощи блоков подняли на цепях творило. По спокойной зеленоватой поверхности затона пробежала еле заметная дрожь, и воды его устремились к Бистрице. С воем урагана хлынула первая волна. Приятели быстро вскочили на легкий плот, пронеслись мимо свайных опор и подпрыгнули в водовороте большого речного русла. По гребням волн они устремились вниз, будто впереди, еле касаясь вод Бистрицы, мчались резвые кони.

— Держись, господин Матейеш! Сейчас мы его догоним! — крикнул Царкэ, стоявший у переднего кормила.

Так они плыли некоторое время с большой скоростью и через каких-нибудь четверть часа в самом деле увидели плот Бэдишора, заворачивающий за скалы. Царкэ поднял голову. На прибрежных тропинках ни души. Подгоняемые спущенной водой, они, как пьяные, неслись в кипенье волн. Матейеш Сковородня стоял, согнувшись, и крепко держался за ручку топора, воткнутого в плот. Он пристально смотрел вперед. Глаза у него были дикие, безумные.

— Догоним его возле омута! — крикнул ему в ухо Петря Царкэ.

Они действительно нагнали парня у Вэлинашева омута, налетев на него из-за поворота. Бэдишор повернул голову и вдруг увидел несущийся прямо на него плот. Нагнувшись, он с быстротой молнии схватил топор. Его противники приближались, не замечая, что следом за ними, подпрыгивая на волнах, несутся стволы елей, вырвавшиеся на свободу из водяной тюрьмы. Словно состязаясь, бревна наскакивали друг на друга, сдвигались и расходились. И когда Сковородня с Петрей протаранили плот Илие Бэдишора, стволы эти, сталкиваясь и громоздясь, налетели внезапно на них самих. В одно мгновение их плот распался на множество бревен,

которые, словно причудливые пловцы, ныряли и снова выскакивали на поверхность реки.

Матейеша Сковородню ударило концом бревна и швырнуло вперед, он сразу провалился между плотами и больше не появлялся. Так вот какой конец был ему уготован после стольких стараний! Вот что предвещала ему утренняя звезда!

Взмахивая руками, как крыльями, двое других еще сохраняли равновесие на развязавшихся бревнах. Затем Илие Бэдишор сбросил с себя тулупчик и с топором в руках кинулся в воду.

Противники находились в этот миг возле самого омута, в узком ущелье между крутых известковых скал. Издавна это место считалось опасным, и плотогоны его побаивались. Поэтому у берега, на котором стояло село, с давних пор они выбили в скале у самой поверхности воды углубление, куда потерпевшие могли забраться в минуту опасности. От углубления шли вверх ступеньки, по которым нетрудно было выбраться на берег.

Туда-то и направился вплавь Илие. Несколько бревен, толкаясь, шли с приглушенным плеском прямо на него. Он нырнул в глубину, не выпуская из рук топора. Только шляпа осталась на волнах и весело подпрыгивала перед бревнами. Отталкиваясь ногами и загребая воду одной рукой, парень вслепую прошел под ними и, испуганно отфыркиваясь, выплыл у самой пещеры плотовщиков.

Тяжело дыша, он зацепился топором за выступ скалы и медленно выбрался из воды.

Оглянувшись, он увидел, что Царкэ, сильно загребая руками, плывет к тому же месту спасения. Лоб у него был в крови, глаза выпучены, рот широко открыт.

Бэдишор, словно ужаленный, вскочил, весь напрягся и угрожающе поднял топор.

Петря Царкэ в отчаянии завопил, протянув к нему руку:

— Не бей, Илие. Не бей меня, братец! Пожалей!

Бэдишор, все еще во власти смертельного ужаса, постоял с минуту в нерешительности, будто не понимая, о чем идет речь. Потом, переложив топор в левую руку, рванул с себя ремень и кинул один конец Царкэ. Тот выбрался из воды и упал замертво, привалившись виском к скале. Затем взглянул на Бэдишора и чуть слышно выдохнул:

— Прости меня, Илие. Я зла против тебя не держу больше.

Илие почувствовал, как к горлу подступает комок. Он проговорил взволнованно:

— У меня, баде Петря, тоже словно всю душу перевернуло.

И тут же стал кричать и махать показавшимся на берегу людям.

VIII

К вечеру Бистрица выбросила ниже омута труп господина Матейеша. Когда это стало известно в Попоаре, на месте происшествия появились господин староста Дэскэлеску, отец Земля Горит в развевающейся по ветру рясе и господин Шагомовцы с трубкой в левом углу рта. Пришел и господин Алеку Дешка со своей застывшей, как маска, улыбкой. И все же он казался хмурым, недовольным, словно был обижен тем, что в своих тайных расчетах забыл о хитрости волн и причудливых пловцах. Лейбука Лейзер, побледневший, запыхавшийся, смотрел на начальника с нескрываемым восхищением. Остальные жители деревни спокойно созерцали своего погибшего ученого писаря. Женщины, прячась друг за друга, вытягивали шеи и тяжко вздыхали, прикрывая рот ладонью.

Матейеш Сковородня пристально смотрел остекленевшими, застывшими глазами в осеннее небо, из его рта стекали на песок две тоненькие струйки крови.

Отец Костаке произнес печальные слова о бренности жизни, после чего сельские власти, отвернувшись от покойника, стали совещаться об устройстве на следующий же день торжественных и пышных похорон в церквушке, на холме. Особенную горячность проявлял тут батюшка, доказывая, что иначе никак нельзя. Один Алеку Дешка не участвовал в разговоре, погрузившись в размышления, стоит или не стоит начинать запутанные, бесконечные расследования.

— Нет, не стоит,— произнес он вслух, качнув головой, и вздрогнул, оглядываясь кругом.

— Нет, стоит, господин Алеку, и даже обязательно нужно! — воскликнул, обернувшись к нему, священник.

— Нельзя забывать о долге перед усопшим,— серьезно сказал итальянец, попыхивая трубкой и грустно закрывая глаза.

Лейзер поглядывал на них со стороны живым, острым взглядом и молчал.

На второй день состоялись похороны, и на холме у церквушки собралось все село. Небо было хмурое, горный ветер гнал серые тучи, раздирая их в клочья о скалистые вершины. С Бистрицы медленно ползли в гору клубы тумана, напоминавшие стадо волов.

Бэдишор, побледневший, с ввалившимися глазами, пробрался сквозь толпу, внимавшую голосу священника, пенью псалмов и звону колоколов.

Над опущенными головами людей, сквозь сырой туман, занесенный ветром из ущелья, дрожали голоса, поющие «Вечную память». Комья земли загрохотали по белому гробу. И в этот миг

бучумы двух горных чабанов издали протяжный, раздирающий сердце призыв; он долго дрожал над долиной и замер в невидимой дали.

Женщины в толпе начали всхлипывать. Илие Бэдшор усталыми глазами взглянул на них и среди юбок и платков заметил Мэдэлину, которая вздыхала, подперев рукой щеку. Он не видел ее уже два дня и смотрел на нее так, словно прошли целые годы. Белолицая и красивая, она была отрадой его ночей в пору, когда душа еще не знала смертельного трепета. Он смотрел на нее сквозь туман, и ему казалось, что она отдаляется от него, меж тем как бучумы все пели свою надгробную песнь, как в древние времена, когда в горах не было ни господ, ни лесопилок.

НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ АНКУЦЫ

ГОСПОДАРЕВА КОБЫЛА

Однажды золотой осенью довелось наслушаться мне рассказов на постоялом дворе Анкуцы. Было это в стародавние времена, давным-давно, в тот год, когда на Илью-пророка шли проливные дожди и люди говорили, будто в тучах над вздувшейся Молдовой видели черного змия. И какие-то невиданные до той поры птицы, подхваченные вихрем, летели на восток, а дед Леонте, разыскивая в своей звездочетной книге знаки царя Ираклия и толкуя их, говорил, что птицы эти с белыми, как снег, перьями в смятении снялись с островов на краю света и предвещают войну между царями и изобилье винограда.

Потом и вправду Белый царь поднял своих солдат против басурман, а виноградникам в Цара-де-Жос, как звезды и предсказывали, даровал бог такой урожай, что виноградарям некуда было девать муст. Потянулись в ту пору из наших краев возчики, отвозя вино в горы, и вот тогда-то и было на постоялом дворе Анкуцы время веселья и рассказов.

Обоз шел за обозом. Музыканты играли без передышки. Когда одни изнемогали от усталости и вина, из каких-то закутков постоялого двора поднимались на их место другие.

А кружек столько проезжие перебили, что целых два года после этого женщины, проходившие мимо на базар в Роман, осеняли себя крестным знамением.

У костров же люди опытные и умелые жарили баранов и телят или пекли пескарей и усачей из Молдовы. А молодая Анкуца, краснощекая, с такими же густыми бровями, такая же лукавая, как и ее мать, бегала, словно бесенок, туда и сюда, подоткнув

юбку и засучив рукава, оделяя всех вином и едой, улыбкой и добрым словом.

Нужно вам сказать, что постоялый двор Анкуцы был не просто постоялым двором, а крепостью. Вокруг него стояли вот этакие крепкие стены с железными воротами, каких больше в своей жизни я не видывал. За ними могли укрыться люди, скот и повозки, и дела им не было ни до каких разбойников...

Но в то время, о котором идет речь, в стране были мир и согласие меж людьми. Ворота стояли открытыми, как на господаревом дворе. И сквозь них в тихие осенние дни была видна долина Молдовы насколько глаз хватал и горные туманы над сосновыми лесами до самого Чахлэу и Халэуки. А когда солнце уходило в подземный мир и все вдали тускнело и погружалось в таинственную мглу, костры освещали каменные стены, черные пасти дверей и окна, забранные решетками. Музыканты на время замолкали, и начинались рассказы.

В те дни изобилья и веселья сиднем сидел на постоялом дворе один пришлый рэзеш, который мне очень полюбился. Он поднимал кружку за каждого, задумчиво слушал песни музыкантов и даже с дедом Леонте состязался в толковании всяческих дел земных... Был он высок и сед, с худым лицом, глубоко изборожденным морщинами. Вокруг его подстриженных усов и в уголках маленьких глаз кожа собиралась в бесчисленные складочки и морщинки. Взгляд его был остер и мрачен, а лицо с короткими усами как будто печально улыбалось.

Звали его конюший Ионицэ. У конюшего в поясе, под одеждой серого грубого сукна, был плотно набитый кошель. Приехал же он верхом на такой кляче, что удивления достойно. Это была та лошадь, о которой в сказке рассказывается — только до того, как проглотила она блюдо горящих углей. Кожа да кости! Сама гнедая, три ноги белые, она неподвижно стояла за стеной под высоким седлом, а возле ее морды лежала охапка соломы...

— Я человек проезжий,— говорил с кружкой в руке конюший Ионицэ,— сяду в седло и поеду по своим делам... Моя гнедая всегда наготове, всегда под седлом... А такой лошади, как у меня, ни у кого нет... Сяду в седло, сдвину шапку на ухо да и ускачу, и все мне нипочем...

Однако он не уезжал, а сидел с нами.

— И правда,— сказал как-то ему дед Леонте,— такой лошади нигде больше не найдешь, хоть девять лет ходи по всем земным царствам. Одна шкура чего стоит! Как подумаешь, даже страшно делается...

— Э нет, друг Леонте! — воскликнул рэзеш, теребя подстриженные усы.— Такая жилистая и сильная лошадь не знает ни

голода, ни устали. На корм она смотрит вполглаза, а оставишь ее ненапоенной — тоже не обижается. И седло словно к ней приросло. Это лошадь благородных кровей. Она у меня от такой же белоногой кобылы, которой я гордился в дни моей молодости и на которую взирал с большим изумлением даже его высочество господарь Михалаке Стурдза.

— Как так взирал с изумлением, почтенный Ионицэ? Она была такая же тощая?

— Само собой разумеется. Это целая история, которую я могу вам рассказать, если будете слушать...

— Как не слушать, почтенный Ионицэ! А уж особенно историю из времен господаря Михая Стурдзы.

— Особенно из времен моей молодости,— серьезно ответил рэзеш.— В те времена бывал я в этих же местах, сиживал возле костров и возов с мустом, вместе с другими людьми, которые уже давно в прах обратились теперь, так что из них, верно, кружек да кувшинов понаделали. А вокруг нас хлопотала другая Анкуца, мать вот этой,— она тоже теперь отправилась в лучший мир, хоть и не такой веселый, как здешний. И вот однажды стою я словно в воду опущенный в воротах постоялого двора, держу в левой руке кружку, а в правой повод... А та, другая, Анкуца стояла, как и эта, на том же месте, прислонившись к дверному косяку, и слушала, что я говорю... Что я тогда говорил — не знаю, слова те улетели осенними листьями.

Конюший Ионицэ невесело усмехнулся в жесткие подстриженные усы, в то время как мы все, мужики и возчики из Цараде-Сус, расселись вокруг него на чурбаках и на тележных дышлах, подняв головы и вытаращив глаза. Молодая Анкуца стояла у двери, прислонясь к косяку; косые лучи осеннего солнца освещали ее, позолотив половину лица. Неподалеку в долине блестела среди прибрежных рощ Молдова, а вдали виднелись горы — окаменевшие волны, подернутые голубой мглой.

Вдруг тощая лошадь рэзеша, стоявшая у стены постоялого двора, почувствовав вокруг тишину, тонко заржала и оскалилась на нас, словно демон какой. Анкуца, испуганная и удивленная, взглянула на нее из-под густых бровей.

— Ага! — сказал конюший,— вот так скалила зубы и смеялась и старая моя кобыла... Теперь сама она, может, обратилась в волчий глаз или зуб — кто знает,— а смех ее все еще жив, и другая Анкуца его пугается.

Как я вам уже сказал, судари мои, стоял я здесь, на этом самом месте, одной ногой в стремени, уже ехать готовый. И вдруг слышу, захлопал бич и загрохотали колеса рессорной повозки, а когда я выпрямился и повернул голову, вижу — мчатся по дороге дрожки,

с четверкой добрых коней в упряжке... Подъезжают и останавливаются у постоялого двора, как положено. И вылезает из них боярин, чтобы полюбоваться глазами Анкуцы, таков уж был обычай.

Только подошел он, выпил я в его честь кружку вина и пожелал здоровья. Он остановился и посмотрел, улыбаясь, на меня, и на кобылу, и на людей, что стояли вокруг, и приветствие понравилось ему. Был боярин невелик ростом, с рыжей округлой бородой, а на шее висела у него красивая золотая цепь...

— Добрые люди,— сказал тот боярин,— очень я рад видеть веселье и согласие в стране молдовской.

— И мы рады,— говорю я,— слышать такие речи. Они дороже самого лучшего вина.

Тогда боярин снова улыбнулся и спросил меня, откуда я родом и куда путь держу.

— Высокочтимый боярин,— отвечаю,— я по рожденью своему резеш из Дрэгэнешть, из края Сучавы. Но нет у меня пристанища, а у врагов моих длинные и острые клыки. Тяжба у меня, высокочтимый боярин, которой все конца нет. Унаследовал я ее от отца своего, псаломщика Ионы, и очень боюсь, что перейдет она от меня в наследство и к детям моим, если сподобит меня бог иметь их.

— Это как же так? — спросил с удивлением боярин.

— Да вот так, как говорю. Ведь наша судебная тяжба началась, высокочтимый барин, еще до господаря Калимаха. Уж сколько мы Дивану челом били, сколько ходоков посылали, сколько ждали, пока все расследуют и измерят и свидетелей под присягой допросят, и уже многие из нашего рода умерли, судясь, и народились другие, чтобы тоже судиться, а вот даже в мои дни никак правды не добьешься... А недруг мой, с которым я тягаюсь, запахал плугом от моей родительской земли еще две сажени да пять пядей возле пчельника Велий. Тогда-то предъявили мы новую жалобу властям и снова не нашли милости, потому что противник мой, да не прогневается твоя честь, большой боярский ворон... Увидел я такие-то дела, разобрал я снова сумки со старыми бумагами за древними печатями, перебрал их, еще раз перечитал по складам и положил те, что, по моему разумению, подтверждают права мои, сюда, за пояс, сел на свою гнедую и теперь не успокоюсь, пока до самого господаря не доеду. Пусть он за мою правду заступится.

— Как же это возможно? — снова удивился боярин, поглаживая бороду и пропуская между пальцами золотую цепь.— Так ты к господарю едешь?

— Еду! А если и господарь не заступится за правду...

Боярин рассмеялся:

— Ну, а если и господарь не заступится?..

Тут конюший Ионицэ понизил голос, но молодая Анкуца, как некогда та, другая, отвернувшись, навострила уши и услышала, что должно было произойти, если даже господарь не заступится за правду рэзеша:

— Если и господарь не заступится за мою правду, тогда пусть его высочество пожалует и поцелует кобылу под хвост!..

Когда конюший без всяких обиняков, так, как говорят люди у нас в Цара-де-Сус, привел эти крепкие слова, Анкуца поджала губы и притворилась, что внимательно смотрит вдоль дороги.

— Как сказал я это,— продолжал рэзеш,— та, другая, Анкуца быстро прикрыла рот ладонью и притворилась, что глядит в сторону вдоль дороги. А боярин как захохочет. Потом успокоился, поглаживая бороду и поигрывая золотой цепочкой.

— И когда ты думаешь предстать перед господарем? — спросил он.

— Вот только, высокочтимый боярин, осушу в твою честь эту кружку вина, а потом сяду в седло, как Александр Македонский, и остановлюсь только в Яссах. А если ваша милость хочет отведать молодого вина из Одобешть, тогда Анкуца принесет красного муста в новой кружке, и мы будем весьма рады той чести, которую ты нам окажешь.

Боярин обернулся, улыбаясь той, прежней, Анкуце, которая, как и эта, была густоброва и лукава, и потребовал новую глиняную кружку с красным мустом из Цара-де-Жос. Я гордо попросил разрешенья заплатить за эту кружку и бросил четыре монетки в подол Анкуцы...

После этого боярин сел в свою коляску на рессорах и укатил.

А я, усевшись в седло, не слезал, как и обещался, до самого города Ясс, где остановился на постоялом дворе, возле церкви Лозонски, через дорогу от господарева двора.

На другой день около полудня, умывшись и причесавшись, предстал я с бьющимся сердцем перед дворцовыми воротами.

Часовой направил прямо на меня свой штык, а как сказал я, какие у меня горести, крикнул он в караулку, выскочил оттуда старый солдат и сразу же повел меня в какую-то каморку внутри двора, где навстречу мне вышел молоденький тоненький офицерик, весь в позументах и в золоте...

— Что тебе нужно, человече?

— Вот так и так, я конюший Ионицэ, рэзеш из Дрэгэнешть, и приехал к господарю, истомившись по правде, словно олень по ключевой воде.

— Очень хорошо,— ответил молоденький офицерик.— Господарь может сейчас же выслушать твою жалобу. Оставь здесь шля-

ну и входи в эту дверцу. Там в большом зале увидишь господаря и расскажешь ему про свое горе.

Кровь бросилась тогда мне в голову, и в глазах затуманилось. Но я стиснул зубы и овладел собою. Офицер открыл маленькую дверцу, и я, наклонив голову, вышел на свет и сразу же увидел господаревы сафьяновые сапоги и пал на колени. Надеялся я, что у нового молодого господаря найду утешение в моих бедах.

— Ваше высочество,— закричал я отважно,— я пришел искать у вас правды!

Господарь ответил мне:

— Встань!

Услышав этот голос, я сразу поднял взор и узнал боярина с постоялого двора.

Тут я понял, что нужно мне закрыть глаза и притвориться испуганным. Я еще больше склонил голову, протянул руку, взял полу его одежды и поднес к губам.

— Встань,— повторил господарь,— и предъяви свои бумаги!

Когда я поднялся на ноги, то заметил, что глаза боярина сощурились от смеха, как и на постоялом дворе, когда он брал кружку с мустом из обнаженных рук Анкуцы. Смело вытащил я бумаги из кожаной сумки, протянул ему и начал говорить; и рассказал я ему обо всех напастях, что разорили меня, и обо всей горечи, что и сам скопил я в своем сердце и от предков унаследовал. А господарь прочитал бумаги, поднес к своим глазам восковые печати, просветлел и сказал немножко в нос:

— Хорошо, рэзеш, я заступлюсь за твою правду. Поедет с тобой мой человек со строгим наказом навести порядок в Дрэгэнешть.

Услышал я это и опять бросился на колени, а господарь снова приказал мне встать. Потом он хлопнул меня по плечу, а глаза его сощурились от смеха:

— Ну а если бы я не заступился, тогда что?

— Что ж, ваше высочество,— ответил я, смеясь,— я своих слов обратно не беру. Кобыла вон там, через дорогу стоит!

И уж так рассмеялся господарь на мой ответ, что снова ударил меня по плечу и вспомнил про кружку с красным вином, за которую заплатил я четыре монетки, и, смеясь, послал за приказным, который должен был поехать со мной, и велел ему тут же на месте, у него на глазах, написать строгий приказ; а когда я вскочил в седло у постоялого двора возле церкви Лозонски и пустился в обратный путь, он глядел, улыбаясь, в открытое окно и поглаживал бороду...

Вот почему вы должны смотреть как на редкость на мою гнедую и белоногую лошадь: ведь это потомок господаревой кобы-

лы. И когда моя лошадь оскалит зубы и смеется, то словно бы вспоминает о других временах и о днях моей молодости. Из всего этого вы можете увидеть, что я за человек! А теперь возьмем еще по кружке вина, и я начну другую историю, которую давно хочу вам рассказать...

ХАРАЛАМБИЕ

Держа кружку в левой руке, конюший Ионицэ двумя пальцами правой поглаживал подстриженные усы. Он откашлялся и приготовился начать еще более увлекательную, еще более удивительную историю, чем про господареву кобылу. Тут-то, радушно улыбаясь, поднялся со своего места монах, тот, что с гор пришел, и заговорил, размахивая кружкой перед своей бородой. До этого времени он все молчал — занят был кружкой, а нам была видна только его борода. Теперь мы с удивлением обернулись к нему.

— Достойные христиане и хозяева,— начал его преподобие,— и ты, честной конюший Ионицэ из Дрэгэнешть! Простите меня, что я до сих пор молчал. Я следовал философскому учению и пытался в молчании оценить доброе вино. Там, наверху, под скалами Чахлэу, мы только вздыхаем о сладостной жизни долин. От черники и молока не развеселишься, а медведи не зовут на крестины, потому что сами они еще не приняли святого крещения. Так вот я, направляясь по повелению нашего игумена в святую митрополию и по своему рвению желая помолиться в церкви великомученика Хараламбие, остановился отдохнуть среди вас. А после того как поставил я лошадь на привязь, честная хозяйка выбрала для меня новую кружку, побольше и покрасивее, и очень возрадовалась моя душа среди братского содружества и веселия. Слушал я музыкантов и не затыкал ушей моих. Ибо и мои прегрешения простит тот, кто всемилостив. Поэтому я подумал, что надлежит мне подняться и узнать вас всех по поступкам вашим и речам. И слушал я с великим удивлением, что говорили вы, о чем рассказывали. А сначала хочу я выпить за почтенного конюшего Ионицэ и за его кобылу...

Проговорив это, монах поднял кружку, отхлебнул из нее, закрыв глаза, а когда опустил кружку, конюший чокнулся с ним.

— Спасибо, отец, целую руку,— сказал рэзеш.— По словам видно, что ты наш брат. Как зовут твое преподобие?

— Имя мое во Христе — Герман, почтенный конюший,— ответил монах.— С гор я спускаюсь первый раз в моей жизни и путь держу в город Яссы. А когда я буду возвращаться назад в наш скит, то помолюсь и за твою душу. Только прежде, чем начнешь ты свою историю сказывать, дозволь выпить каплю и за деда Леонте, премудрого старца, который сидит по правую руку от меня.

Вижу я, что знает он приметы времени, круговорот луны и звезд и может читать по небесным знакам. Он человек ученый и хранит память о стародавних временах. Хотя и я немолод, но далеко мне до его знания, и потому пью за его здоровье.

Встав, дед Леонте чокнулся кружкой, поблагодарил и поцеловал руку отца Германа.

— Осталось еще и для других,— проговорил снова монах.— Надлежит отведать плодов земли и солнца и за деда Захарию, колодезника. Вода, которую с большим мастерством извлекает он на свет, не так вкусна, как вино, но в ней больше святости, и она приятна богу. А мы, люди грешные, потребляем и то и другое... Еще я пью за брата Георгицэ, старшего над возчиками князя Кантакузина: я уразумел, что он веселый человек и играет на дудке. И за мастера Енаке, коробейника, который носит в коробах вещи легкие, но весьма ценные — девушкам на радость. И после того как всем я поклонился и всех благословил, вижу я, что на дне осталась самая сладость — как же тут хозяйку не вспомнить! От этой Анкуцы и исходит к нам всякое благо. Когда же она нам улыбается, как сейчас, то словно ландыш расцветает и я вспоминаю о весне. Пью в ее честь! И всем остальным кланяюсь, как зеленому бору,— закончил отец Герман, выпил последнюю каплю из кружки и уселся на свое место.

Все пожелания эти порадовали нас, но больше всех доволен был, казалось, конюший.

— Преподобный отец Герман,— заговорил он,— очень мне желательно знать, откуда же идет твое преподобие и за каким делом направляешься ты в город Яссы.

Монах ответил:

— Как я говорил, высокочтимый конюший, местопребывание мое, в ожидании кончины, находится высоко, в Дурэу. Там влачу я дни свои с братьями по пустынному житию; есть у нас маленькое хозяйство, и держим мы несколько овец и коров. И иногда страдаем из-за медведей: рушат они наше добро, и идем мы на них войной; с божьей помощью побеждаем их топором и ножом, ибо огнестрельного оружия и сабли не надлежит нам носить: мы слуги господни. И так вот, начиная со дня великомученика Дмитрия, замуровывает нас зима словно в берлоге, и не видим мы лика человеческого до самой весны. Тогда спускаемся мы к водам Бистрицы, к друзьям нашим и знакомцам. Тяжкую жизнь ведем мы там, в пустыни...

При этих словах остановилась возле него Анкуца с ковшом.

— Благодарю, сестра, за вино и приветливый взгляд. Можешь наполнить кружку, чтобы не трудиться подходить второй раз. А родился я, почтенный конюший, тоже в горах, в селе Бозиень.

Не могу сказать, что я знал своего отца. Знали его мать моя да господь бог. А я рос сиротой, и много раз матушка омывала лицо мое слезами. Обещала она меня монастырю Дурэу в час, когда покидала этот мир, дабы искупить прошлые грехи. И тоже по обету иду я поклониться святому Хараламбие в Яссы. Давно уже должен я был исполнить обет. Но только теперь скрылся из глаз моих Чахлэу, и чувствую я, как изменился вкус воды, так что и в рот ее взять не могу. И, придя от Бистрицы к водам Молдовы, дивлюсь, сколь обширна эта страна. Останавливался я в селах, и крестьяне принимали меня к себе, как братья. И как шел я обочиной дороги под черешнями, вдруг открылся глазам моим постоялый двор, подобный крепости, и услышал я музыку и голоса. Решил я остановиться отдохнуть и внес переметные сумы в каморку; коль скажу, что мне здесь плохо, то совершу великий грех; только вот совесть меня мучит за то, что не доберусь быстрее туда, куда приказала мне материнская клятва. Вот уже тридцать четыре года прошло с тех пор, как ушла матушка на вечный покой...

— Весьма удивляюсь, отец, тому, что ты говоришь,— перебил его рэзеш.— И я не видел еще церкви святого Хараламбие, и не будь у меня столько запутанных дел, сел бы я в седло и отправился бы с твоим преподобием. Видно, у матери твоей была тайна, которую ты не знаешь.

— Может, и не знаю,— ответил монах,— но когда я был мальчонкой, от земли чуть видать, довелось мне вместе с матерью узреть страшное и пережить смертный ужас. Тогда-то и увидел я того Хараламбие, за которого должен помолиться.

Глаза конюшего обратились к нам в великом недоумении.

— Какого Хараламбие? — спросил он отца Германа.

— Был в стародавние времена такой Хараламбие, весьма известный даже при дворе,— ответил монах вдруг изменившимся голосом и осторожно поставил кружку на землю рядом с собой.

— Кто он был, каков был с виду, что делал? — спросил с жаром конюший Ионицэ.— Я никогда о нем не слыхал.

— Может быть,— продолжал монах,— ибо после того случая много времени прошло. Хараламбие этот был господаревым арнаутом. И вот, почтенный конюший, в одно светлое утро по воле божией опостылела ему служба у ворот господаревых, и ушел он в лес с товарищами, как тогда делалось... И как был, опоясанный широким ремнем в знак власти, в расшитом платье, стал он нападать на боярские дворы и села и брать великую добычу. И были у него свои леса и дороги, заветные колодцы и тропы, которые держал он под своею властью. А того, кто сопротивлялся, он либо кинжалом приканчивал, либо убивал выстрелом из пистолета. После стольких ужасов и человекоубийств пали в слезах к ногам

господаря многие бояре, и купцы, и простолюдины, плачась на злодейства и бесчинства Хараламбие. Господарь приказал исправникам нарядить отряды и поймать злодеев. Отправились отряды, и бились они с разбойниками, да Хараламбие всех побеждал. А когда не мог победить, уходил он тропами тайными в горы, к звериным логовам... И продолжал он свои злодейские дела, покуда крепко не осерчал и не разгневался господарь. На святую Марию, в пятнадцатый день месяца августа, созвал он Диван, и вышел господарь Ипсилант чернее тучи к боярам. Даже на поклоны не ответствовал, а только расчесывал бороду пальцами и пыхтел.

— Стало нам известно о новых злодеяниях разбойников! — закричал он.— Напал Хараламбие на Дубрэвень, на имение наше, ограбил корчму и мельницу! Стольких беззаконий терпеть мы больше не можем! Повсюду стонет и плачет народ! А ты, честной ворник, что сделал, что предпринял?

— Ваше высочество,— заговорил великий ворник из Цара-де-Сус,— уж я всех исправников подгоняю словно плетьми, и отряды они выставили, но толку от этого мало.

— Никакого толку, почтенный ворник, никакого толку!

— И вправду никакого толку, ваше высочество, но все же теперь известны нам многие убежища и тропинки злодеев да и люди, что их укрывают. Волк возвращается туда, где сожрал овцу, так что теперь нам нужен только искусный охотник.

— Где же взять искусного охотника, коли до сих пор, ворник, все оказались трусами!

— Ваше высочество, этот Хараламбие, пока не восстал, был самым сильным из ваших телохранителей. И такая рука и такой глаз, как у него, только у брата его, Георгие Леондари, туфекчи-баши, человека честного и храброго, который высказывает большое отвращение к злодействам брата. Ваше высочество, я думаю, что надо позвать туфекчи-башу и приказать ему изловить своего брата.

Господарь задумался и, теребя бороду, стал прохаживаться взад и вперед.

— Так-то оно так, ворник,— промолвил он,— знал я, что они братья, и радовала меня верность туфекчи-баши Георгие, но не думал я, что он наилучший охотник из всех. Пусть придет теперь за моим приказом!

Тут же слуги бросились наперегонки в комнату телохранителей, и туфекчи-баша предстал перед господарем. А господарь опустил бороду на грудь и уставился на него сурово.

— Послушай, капитан Георгие, мне по нраву твоя служба, которую несешь ты верой и правдой. Поэтому жаловал я тебя, и с той поры, как я на престоле, добыл ты себе и дом и имение под Яссами. Но знаешь сам, брат твой Хараламбие залил страну слезами. И вот

настало время ответить тебе за него. Дается тебе, капитан Георгие, две недели сроку. Выбирай себе подручных сколько хочешь. И по истечении этого срока доставь мне твоего брата, живого или мертвого. А иначе не видать тебе ни лица моего, ни света божьего!

Не сразу ответил туфекчи-баша Георгие. Когда бояре подняли на него глаза, то увидели, что кровь отхлынула от лица его, и хоть был он высок и широкоплеч, а как бы зашатался. И проговорил он потом:

— Понял я, ваше высочество.

Поклонился он, поцеловал господарю руку и вышел. А вернувшись к себе, кликнул солдат и выбрал из них полсотни. Тут же распорядился он об оружии, лошадях и часе отправления. И уже ночью были они в дороге, в пустынных местах. На другой день Георгие Леондари, узнав об одном грабеже, напал на след разбойников. И с этого часа шел он по следам Хараламбие, словно собака, почуявшая запах зверя. И гнал он его от логова до логова, днем и ночью без отдыха. А на восьмой день, в дождь, на рассвете, постучался кто-то в окно нашей хаты в селе Бозиень.

Мать моя вскочила и быстро отодвинула засов у двери. И вошел наш знакомец, весь промокший. Лицо его осунулось, и в глазах — испуг. Знал я его красивым и гордым. Иногда заходил он вечером, садился на лавку и клал мне руку на голову, лаская меня.

Быстро и хрипло проговорил он:

— Дай мне поесть!

Мать моя испугалась и, дрожа, бросилась за холодной мамалыгой.

Из всего, что я услышал тогда, только вот эти слова не забуду до самой смерти: «Охотится на меня брат мой Георгие, как на волка!»

Даже и перекусить ему не удалось,— послышались снаружи шаги и голоса:

— Выходи, Хараламбие, сад окружен, пропали мы все.

Слышал я, как зарычал он от гнева, выхватил из-за пояса пистолеты и бросился в дверь. Мать схватила меня за руку, и мы тоже выбежали из дому. А в саду увидел я удальцов с оружием наготове. Их было человек восемь или десять. Тут-то я понял, кто такой Хараламбие. Мать моя тихо заплакала, прижимая меня к себе, и я почувствовал, что настал страшный час.

Собаки в селе лаяли не переставая. Вдруг вдали замелькало множество всадников, я услышал голоса и в проулке и за домом. А товарищи Хараламбие разом отступили и оставили его одного, побросав оружие. Тогда появился огромный человек с черными усами. Мать моя вздохнула:

— Это брат его, на него похож!

А тот закричал, угрожая кинжалом:

— Сдавайся!

Хараламбие вскинул пистолет и выстрелил. Когда он бросил пистолет и выхватил с левой стороны другой, чтобы снова выстрелить, туфекчи-баша ударил его кинжалом и свалил с ног. Мать в ужасе закричала. Разбойники бросились на землю и сдались. Солдаты навалились со всех сторон. После схватки и стрельбы один из господаревых слуг поднял вверх голову убитого. Как раз в это время взошло солнце и засверкал в саду иней. А голова смотрела на меня неподвижными глазами и печально улыбалась.

Туфекчи-баша Георгие вернулся к господарю с головой моего отца. Предстал он перед Диваном и положил ее в красном платке на ковер к ногам господаря. Преклонил он колена и воскликнул со слезами в голосе:

— Ваше высочество, выполнил я приказ! Но прошу я отпустить меня в мое поместье на покой, ибо пролил я родительскую кровь — ту, что течет и в моих жилах...

Горестная это была картина, и прослезились в Диване и господарь и бояре. А туфекчи-баша Георгие, получив соизволение господаря, уединился в свои поместья и, в тоске, для искупления греха своего и прощения заблудшей души усопшего, построил он в Яссах церковь, куда я направляюсь на поклонение...

Вот по какой причине, уважаемый конюший Ионицэ, был я обещан скиту Дурэу. Но сердце мое рвалось к людям. Потому-то и сетую я иногда на столь ничтожные и печальные дни мои...

Рассказ монаха изумил рэзеша, и некоторое время он удивленно молчал. Но, опомнившись, стал уверять нас, что история, которую он хотел рассказать нам, еще более необыкновенна и страшна.

ЗМИИ

— Друзья мои! — громко провозгласил конюший Ионицэ и поднялся во весь свой высокий рост.— Перед господом богом сознаюсь, что от истории благочестивого отца Германа у меня под шапкой волосы дыбом встали, но я хочу вам рассказать историю еще более поразительную и страшную.

— Послушаем рассказ конюшего,— проговорил торопливо, как всегда, дед Леонте, звездочет.— Послушаем рассказ почтенного конюшего! Посмотрим, наготове ли у нас все нам потребное, и станем слушать. Мне как раз очень хотелось попросить тебя, конюший Ионицэ, сдержать свое обещание. С той поры, как я себя помню, еще со времен прежней Анкуцы, у нас так повелось — собираться здесь на беседу и проводить время за вином из Цара-де-Жос. Потягивая доброе винцо, слушаем мы о делах давно минув-

ших. Думается мне, почтенный конюший Ионицэ, не найдется другого постоялого двора, подобного этому, сколько ни ходи по земным дорогам. Таких стен, похожих на крепостные, таких решеток, такого погреба и вина такого в других местах и быть не может. Не встретить нигде ни такого радушия, ни такого веселья, ни подобных черных глаз: так бы и остался я под их взглядом, пока не придет мой черед отправиться в тихую пристань, откуда нет возврата... А ты не хмурь брови, хозяюшка, потому что я был другом твоей матери. И ей я тоже читал будущее в книге Зодиака, как и тебе читал. Очень хорошо и очень правильно я ей все поведал и думаю, что и ты осталась довольна.

— Да, и я была довольна,— смеясь, ответила Анкуца.

— Оно и понятно, по-иному и быть не может, хозяюшка; ведь в этой вот сумке, у меня на боку, лежит древняя книга, в которой только правда написана. Когда ты меня спрашивала, я тебе рассказал все как положено — тем более потому, что исходит от тебя запах чабреца и ты заставляешь стариков желать сызнова юности.

— Весьма справедливо это,— подтвердил рэзеш из Дрэгэнешть,— да я мог бы это сказать и без книги Зодиака.

— Возможно, конюший Ионицэ, но прошу тебя не забывать своего обещания. Как я говорил, подобные истории только на таком постоялом дворе и можно услышать. Выслушали мы отца Германа, который опять замкнулся в свою печаль и умолк. Не знаю я, конюший Ионицэ, сможешь ли ты рассказать нам что-нибудь более страшное. По правде говоря, только еще один раз в жизни колотилось так мое сердце,— словно куропатка в когтях сокола.

Хозяйка взглянула на старика своими блестящими глазами и торопливо сказала:

— Это когда ты в первый раз увидел змия, дед Леонте?

— Вот-вот,— подтвердил старик,— когда в первый раз увидел змия.

Мы все разом повернулись к звездочету, и даже отец Герман взглянул на него из зарослей своей бороды.

— Что это ты, братец, о змие болтаешь? — взволнованно спросил конюший Ионицэ и уселся на свое место.— Какой змий? — И он искоса с недоумением посмотрел на всех, словно только теперь нас заметил.

— Когда увидал я в первый раз змия...— заговорил спокойно дед Леонте,— был я парнишкой, годов этак за двадцать, и отец мой учил меня своему ремеслу: ведь он тоже был звездочетом и лекарем, какого на всем свете не сыщешь. И после Ильи-пророка обретались мы с ним при овцах на холме Больндарь, и он мне показывал днем травы и коренья земные, а ночью звезды небесные. Тогда-то и увидел я в первый раз змия.

Рэзеш из Дрэгэнешть глубоко вздохнул и посмотрел на деда Леонте, как на врага.

— Такого чудовища я еще не видывал,— признался он, и голос его прозвучал слабо и неуверенно.— Рассказывай скорее, дед Леонте, времени у нас хватит.

— Долго мне говорить нечего,— отвечал звездочет,— поведаю только, что́ сам я видел. С позволения конюшего Ионицэ, я все вам расскажу, а потом мне хочется послушать его историю...

Дед Леонте поправил пояс, ощупал сумку и посмотрел вокруг, чтобы удостовериться, что кружка с вином под рукой. Дед был наш земляк, крестьянин с Молдовы, чисто выбритый, с седыми усами, полным лицом, статный собой и с брюшком. А когда говорил и смеялся — виднелись крепкие, словно стальные, зубы.

— Пока есть у меня такая мельница,— кричал он, бывало, подвыпивши,— не боюсь я и самой смерти длиннозубой!

Дед Леонте начал, по своей привычке, скороговоркой:

— Ну, как это рассказать тебе побыстрее про этот случай, почтенный конюший? — проговорил он.— В те времена жил у нас в Тупилаць знатный и гордый боярин, и звали его Настасэ Боломир. Был он высокий, угрюмый, а борода большая, словно павлиний хвост, всю грудь ему закрывала. К тому времени он уже двух жен погубил. Первый раз он взял боярскую дочку из Бырлада, но она недолго могла выдержать его лютый и жестокий нрав и вернулась больная и вся в слезах к своим родителям. А второй раз женился он на вдове одного грека — Негрупунте — красивая была эта женщина и богатая. Возложил поп венцы на их головы, да не прошло и двух лет, как однажды осенью увидел я ее желтой и увядшей, словно морозом побитой. Поехала она по докторам заграничным, да там и умерла. Остался наш боярин на время одиноким, и прошел про него слух, что жены у него мрут. Были в селе женщины красивые, да глупые, которые как только его увидят, так и отплевываются, словно от нечистого. Отец даже говорил в шутку, что теперь уж боярин Настасэ Боломир умрет вдовцом, а тому что за горе, когда двор у него полон молодых цыганок!.. Так время и шло, только вдруг слышим — женится боярин снова. Как так? Не то на какой-то вдове из жарких стран, не то на московитской княгине, что ходит в юфтовых сапогах и с нагайкой: только такая женщина ему и под пару... А вышло-то совсем не то. Отправился он в Яссы, обвенчался в самом главном соборе и привез в Тупилаць в коляске, запряженной четверней, девчушку годков этак семнадцати. Как стали они подыматься на крыльцо, головка ее чуть до бороды ему достает. Была она вся беленькая, а смеялась — словно солнышко сияло. А бабы у ворот и у людской плакали по ней и причитали — уж какая, мол, она

маховькая, какая красивая, а бородач ее также погубит. Боломир взял ее осторожно, словно бесценное сокровище, за два пальчика левой руки и повел по каменным ступеням, застланным ковром. Только не довел он ее доверху; повернулась она к нему, засмеялась, мотнула головкой, будто рожками боднуть хотела, вырвалась от него и одна побежала вперед.

Батюшка мой тут же находился. Тряхнул он волосами — не понравилось ему этакое дело.

Ну, теперь стали мы ждать, оправдаются ли бабьи пересуды, только видим, что боярыня Иринуца и не думает сдаваться. А на щеках даже розы расцвели, и смеется она все время, показывая зубки, мелкие, как у мышонка.

Но, видно, остренькие были те зубки,— глядим, стал большой наш боярин как бы меньше и молчаливее.

Захочется, бывало, боярыне Иринуце съездить прогуляться до Романа, а то и до Ясс,— достаточно было ей пальчиком шевельнуть или словечко молвить, как боярин Настасэ склонит голову и все делает по ее воле.

Тут жена писаря с ключницей разузнали, кто их знает откуда, что эта боярская бесовочка небогата да и роду какого неизвестно. Будто бы дочка одной из племянниц отца митрополита... И, говоря об этом, они посмеивались и подмигивали, как и положено бабам, а мне, глупому пареньку, невдомек все было.

Однажды летом, как я вам говорил, был я в овечьем загоне, а на святого Илью-пророка пришел к овцам и отец, и жили мы в шалаше из веток неподалеку от берега Молдовы, поодаль от других чабанов. Оттуда видны были и речки, и отмели, и этот постоялый двор, а позади шли все леса да горы, пока не сливались вдали, словно туман. Что делалось в селе и на боярском дворе, я знать не знал, да и дела мне не было до этого. Вот как-то в полдень сидел я один и приглядывал за котелком, что висел над костром. Вдруг слышу конский топот и, обомлев от страха, вижу, что боярин Настасэ Боломир останавливается и спешивается возле нашего одинокого шалаша.

— Здравствуй, парень,— говорит.— Ты будешь сын Ифрима-звездочета?

— Целую руку, барин, я буду.

— А где отец твой?

— Отец,— говорю,— недалеко, на косогоре сено косит. К обеду должен прийти.

— Сбегай-ка позови его. Чтобы сейчас же был здесь, одним духом!

Я было замялся, да боярин так грозно взглянул на меня, протянув руку к арапнику на луке седла, что я как был, без шапки,

бросился к косогору. По дороге встретился мне отец: обедать шел. Когда услышал, что требует его боярин так строго, буркнул он «гм» и покачал головой, но мне не сказал ни слова. Пришли мы к шалашу, а боярин все стоит возле лошади, опершись локтем о седло и опустив бороду на грудь. Я за шалаш спрятался, а отец смело выступил вперед.

— Ты что здесь, Ифрим, прохлаждаешься? — спросил боярин недовольно.— Я тебя в селе ищу, а ты в пустыни поселился?

— Целую руку, пресветлый боярин,— отвечал отец,— дело у меня здесь было. Но по первому слову вашей светлости я бы все бросил и явился ко двору.

— Знаю,— проговорил боярин все так же сердито,— да некогда мне ожидать! Послушай, Ифрим, никто не ведает, может, и ты не ведаешь, какая горечь одолела мою душу.

— Страданье от бога, хозяин, пройдет и оно.

— Не проходит. Говоришь как дурак, потому что не знаешь.

— Как же, ваша светлость, знаю, что страданья от любви всего злее, но и они проходят.

Поглядел на него боярин, нахмурившись:

— А что ты знаешь, Ифрим?

— Ваша светлость,— говорит отец мой,— знаю я много, таков уж мой дар, не только по звездам читаю, но и по лицу человеческому.

— Тогда ты, Ифрим, знаешь, что в мой дом вошел дьявол и нет мне больше покоя?

— Знаю, пресветлый боярин.

— Знаешь ли ты, что мучит он меня, словно господа нашего Иисуса? И что подобен я жаждущему, привязанному в наказание к колодезному срубу?

— Так это и есть, хозяин, как вы говорите.

— Послушай, человече, ничего не мог я сделать ни угрозами, ни мольбами, и ради какой-то малости закабалился я бесу душой и телом, словно раб. Но теперь, как раз сегодня утром, принесла мне ключница постыдную весть: отлучки моей жены бесчестье для меня, а утеха они для старшего сына ворника Вузы. Есть такой Аликсандрел Вуза, может, ты и видел его: этим летом он дважды переступал порог моего дома, будто бы затем, что есть у него для продажи белые лошади из страны московской. Да он за другим приезжал, только я-то не понял. Теперь я решил в сердце моем, что делать, но заехал я и к тебе, чтоб уж не ошибиться. Ты человек, который может узнать истину, я и хочу, чтобы прочитал ты мне ее...

Редко в своей жизни видел я кого-либо в таком расстройстве и смятении, как наш боярин. Он все теребил бороду и никак места не мог себе найти. Отец же не мешкая пошел в шалаш и тот-

час вышел с этой вот сумкой, которую видите у меня на боку. Вынул книгу, уселся у костра на скамеечку, помусолил палец и стал листать страницы. Боярин остался на ногах, возле коня.

— Ваша светлость, в какой месяц и в какой день явились вы на свет божий?

— Родила меня матушка, Ифриме, во вторник, в восемнадцатый день октября месяца.

— Тогда,— произнес отец задумчиво,— надлежит раскрыть на знаке Скорпиона, посмотреть и в других местах, как положено. Пресветлый боярин, здесь говорится, правда, что вы человек гневливый, и потому, зная за собой эту слабость, вы не должны ей поддаваться.

И начал читать отец по знакам Зодиака, что подходило такому лютому человеку, каким был наш боярин. Был он в надежде, что удастся умиротворить его.

Но Боломир в великом нетерпении только бородой тряс.

— Скажи мне, Ифриме, что написано про мою семейную жизнь?

Отец долго в книгу смотрел и ответил ему так:

— Ваша светлость, супружество ваше находится под знаком Тельца. Свадьбу с госпожой Иринуцей сыграли в апреле месяце, в светлую неделю после святой пасхи. Значит, по книге Зодиака, женитьба эта самая лучшая и истинная. А здесь, хозяин, пишется так: дом его брачного союза находится под знаком Тельца; значит, он будет счастлив со своей женой... И еще здесь, ваша светлость, говорится: дом счастья его находится под созвездьем Весов; в тот час будет ему великое потрясение от лживых свидетельств... Значит, преславный боярин, если здесь написаны такие слова, то и я мыслю, что речи, услышанные вами, лживы и надо вам, ваша светлость, изгнать из сердца злые мысли.

Боярин немного призадумался.

— Так ли это, Ифриме, как ты говоришь?

— Так оно и есть, преславный боярин, как я говорю.

— Тогда зачем же уехала в Роман госпожа Иринуца? Уехала вчера и сказала, что приедет сегодня.

— Уехала, ваша светлость, потому что такова воля божья — не допустить беды от лживых слов и гнева...

— Может быть...— пробормотал боярин, немного успокоившись.— И вправду, иначе случилась бы большая беда... Хорошо, человече! И прежде истинные слова сказывала мне твоя книга. Так как же ты думаешь, что мне нужно делать?

— Ждать, ваша светлость, и все будет хорошо.

После этих слов ускакал боярин от нашей хижины. А отец, улыбаясь, долго смотрел ему вслед, покуда он не исчез из виду.

Потом оставил висеть на крюке котелок над потухшим костром и приказал мне заложить лошадь. Усевшись в телеге на сено, спустились мы в долину, переехали брод и во весь опор погнали прямо сюда, на постоялый двор. А здесь стояла, поджидая на пороге, та, прежняя, Анкуца.

Отец спросил ее торопливо, останавливая телегу у крыльца:

— Анкуца, скажи-ка мне, крестница, верное слово. Вчера вечером госпожа Иринуца из Тупилаць проезжала в Роман?

— А как же, крестный, проезжала...

— И обратно, значит, еще не возвращалась?

— Нет. Может, проедет к вечеру...

— Вот это ты, крестница, сказала слово, угодное богу.

— А что случилось?

— Да чему случиться? Сподобилась одна добрая душа открыть глаза Боломиру, и теперь он трясет бородой, скрежещет зубами и жаждет крови.

— Как это так? И кто же это сделал? — воскликнула Анкуца, всплескивая руками.— Чтобы и эту он убил, после того как замучил и свел в могилу двух жен? На том-то свете его черти ждут не дождутся, да пусть и на этом хоть одна из нас отплатит ему.

Так говорили Анкуца и мой отец, и порешили они перехватить госпожу по дороге и предупредить ее, чтоб остерегалась.

И впрямь, почтенный конюший и добрые люди, так оно и случилось в тот же день, под вечер. Солнце после полудня окуталось знойной мглой, а под горами против него поднимались белые облака. Когда тени легли на дорогу, вдруг видим, катит из Романа в клубах пыли коляска госпожи, запряженная четверней; едет вдоль кукурузного поля, по опушке рощи. И тут вышел мой отец на дорогу, начал размахивать руками, подавая знак об опасности.

Цыган на облучке остановил лошадей, а из клубов пыли появился перед отцом молодой всадник на черном жеребце. Отец сразу его признал по красоте и по смелым глазам.

— Господин Аликсэндрел,— промолвил отец,— возвращайся, а то беда. И не думай ехать дальше.

— Что такое, человече? — послышался голосок боярыни, и я увидел, как она, в белом наряде, под маленьким розовым зонтиком, нагнулась к подножке коляски.

И тогда-то все началось. С Молдовы поднялся сильный ветер и понес над полями пыль, словно завесу. И в это же время увидели мы, как из-за выступа рощи мчится боярин, бороду у него на две стороны развеяло, за ним слуги, и все они вопят во все горло.

Мы так и окаменели, а я почувствовал, что пришел мой смертный час. Аликсэндрел поднял жеребца на дыбы и попытался выхватить из кобуры пистолет. Боярыня Иринуца взвизгнула и спря-

талась под зонтик. А боярин со слугами как бросились, окружили коляску, схватили отца и вышибли из седла сына ворника Вузы.

— Негодяй! — страшно зарычал Боломир на отца.— Такова твоя верность, такова твоя наука? Хватайте его, свяжите и выкройте мне из его спины кожу на пару туфель, но только чтоб была без царапинки, без дырочки, а то всех повешу! А ты, разбойник? Ты сын ворника Вузы? Боярского рода? Вот я покажу вам обоим, и тебе и боярыне, как я умею расплачиваться... Эй! — повернулся он к слугам своим.— Берите телегу колдуна, вышибите у нее дно, сбейте с колес ободья, а как останется она на одних ступицах, привяжите к ней обоих, погоню я их галопом в Яссы, до ограды святой митрополии.

Цыгане вцепились в телегу, начали ее ломать, сбивать ободья. Одни слуги с арапниками навалились на отца, другие стали срывать платье с Аликсэндрела Вузы. А к боярыне Иринуце, хрипя и задыхаясь от гнева, двинулся сам боярин, в левой руке сжимает бич со свинцовою пулькой на конце. Шапка его свалилась, и ветер разметал на его голове волосы и спутал их с бородой.

Вдруг из-под зонтика показалась боярыня, проворная, тоненькая, разъяренная, словно гадюка. Смотрит на него с ненавистью да визжит:

— Постылый, проклятый, не подходи!

Отшвырнула она зонтик, и вдруг на руках у нее выросли острые когти, которыми она грозила мужу. И мне показалось, что я вижу у нее в волосах рожки, которыми она когда-то хотела его забодать.

В это же время отец мой вопил истошным голосом под ножом цыгана Пырля:

— Боярин Настасэ, настигнет тебя гнев божий!

И как прокричал это под ножом старик, на мгновенье все затихло. В горах сверкнуло, и прогрохотал страшный гром. И мы сразу увидели небо, покрытое низко нависшими тучами, а с запада пронесся дикий вихрь, с треском захлопывая все двери на постоялом дворе.

На том берегу Молдовы, за холмом Большдарь, небо сдвинулось с места, как бы кружась, ринулось к земле: нечеловеческий, неслыханный рев раздался с той стороны и заполнил долины. Все мы вытаращили глаза и увидели змия, летящего с огромной быстротой, как крутящийся вихрь.

Я увидел его да так и затрясся. Он двигался прямо на нас. Тонким хвостом, похожим на черную трубу, ощупывал он землю, тело его вздымалось в воздухе, а пасть разверзлась в тучах, словно воронка. И так, с ревом, мчался он, шевеля хвостом, втягивал в себя стога сена, крыши домов, вырванные с корнем деревья и иг-

рал ими в вышине. Выл он и низвергал град и дождь, словно поднял ввысь всю воду Молдовы и обрушил ее на нас.

Как увидели цыгане это страшилище, так и попадали на землю. Анкуца спряталась где-то на постоялом дворе, в чуланчике. Я бросился к отцу, чтобы развязать его, и едва успел укрыться возле него под телегой. Вихрем повернуло на месте дрожки с лошадьми, и они помчались к Роману, унося с собой и сына ворника Вузы. А боярина змий погнал в другую сторону, схватил его, завертел, закружил, разметав бороду по ветру, и бросил полумертвого в овраг, немного поодаль. Едва это свершилось, как вихрь, примчавшийся с рек и гор, утих, и лишь звериный рык еще стоял надо всем, и я видел, как змий помчался к северу, сперва похожий на столб, потом прозрачный, как дым, пока понемногу не рассеялся вдали.

От всего этого боярин Боломир вскоре помер. И какие-то люди выдумали, будто бы отец мой вызвал змия из его пещеры. Как мудрый знахарь, отец им не перечил — пусть люди болтают все, что им хочется, да ему-то лучше, чем кому другому, известно было, кто повелевал чудовищем бури. И вправду, о белокурой бесовочке никто больше ничего не слыхал и нигде ее не видал.

КОЛОДЕЦ ПОД ТОПОЛЯМИ

Косые лучи солнца проникали на постоялый двор Анкуцы, поблескивали в окнах с решетками. Цыгане-музыканты, сверкая зубами, поднялись из своих углов. Густобровая Анкуца снова раздула огонь в остывшей золе, а мы, крестьяне и возчики из Цараде-Сус, только искоса поглядывали на пустые кружки, поставленные в ряд возле тележных дышел. Но на скрипки и кобзы еще не было спроса. И даже конюший Ионицэ из Дрэгэнешть не приступал еще к обещанному рассказу. Вдруг по дороге на Роман в лучах солнца в клубах пыли показался всадник. Его пегая лошадь, вытянув шею, с развевающейся гривой словно подплывала к нам быстрой иноходью.

Над горами неподвижно стояла дымка; Молдова медленно текла под золотистым солнцем, одинокая и спокойная, как всегда; и поля были голы, и дороги на все четыре стороны пусты; только всадник на пегой лошади приближался к нам будто из далекого прошлого, из каких-то неведомых стран. Поравнявшись с постоялым двором, он завернул к нам,— видно, суждено ему было здесь остановиться; затем, сняв черную войлочную шляпу, поздоровался и пожелал нам всем счастья.

Это был человек уже немолодой, но на лошади держался он прямо и ловко. Носил он юфтовые сапоги с высокими голенищами

и темно-синюю суконную безрукавку с круглыми серебряными пуговицами. На плечах держался на одной только цепочке кунтуш с куньим воротником. У бедра висела сумка желтой кожи и пистолеты в кобурах. Смуглое лицо его, с подстриженными усами и окладистой бородой, с орлиным носом и густыми бровями, было еще красиво и мужественно, хотя закрытый правый глаз придавал ему печальное и странное выражение.

Сошел он с лошади, приветливо улыбнулся и посмотрел на нас ясным голубым глазом, а конюший Ионицэ, узнав его, вскочил со своего места и, простирая руки, закричал во весь голос:

— Да неужто я ошибся? Не ты ли это, мой друг Некулай Исак, капитан мазылской конницы?

Улыбка с лица всадника исчезла, глаз его округлился и уставился на конюшего.

— Да,— ответил он тихим, приветливым голосом.— я Исак. Теперь я тебя тоже узнаю. Ты — конюший Ионицэ из Дрэгэнешть.

С удовольствием смотрел я, как они обнимались. Приятно это было и всем остальным. Ласково глядела на них и Анкуца.

Вдруг из-за стены постоялого двора старая, тощая кобыла конюшего оскалила зубы и заржала.

— А ведь она у меня от той самой кобылы, на которой я ездил в молодости,— сказал конюший, гордо поднимая голову и выпуская капитана из объятий.

Приезжий обратил свой глаз на старое пугало, слегка улыбнулся, но не очень-то удивился.

— На ней изъездил я всю страну,— продолжал конюший.— Помнишь, как мы с тобой скакали по дорогам и молодость прожигали? Однако с той поры, как мы расстались, ты, вижу я, потерял глаз.

— Да, потерял,— тихим голосом ответил путник.— Большое несчастье случилось со мной. И вот бог привел меня снова в те места, где я когда-то попал в беду.

— Как так? Неужто здесь это случилось?

— Да, мой друг. Позволь только мне отвести лошадь под навес, расседлать и засыпать ей овса. Потом за стаканом вина я расскажу тебе о том, чего ты не знаешь...

Капитан быстрыми шагами направился к конюшне, ведя лошадь на поводу. Анкуца вздрогнула, видимо, вспомнив что-то, посмотрела ему вслед и прошептала конюшему:

— Это тот человек из Цара-де-Жос, про которого рассказывала моя мать, когда я была девчонкой?

— Он самый,— ответил конюший.— Некулай Исак из Бэлэбэнешть Тутовского уезда. В молодости мы были с ним большими друзьями.

— Мне матушка рассказывала,— продолжала Анкуца,— что плохо пришлось ему, чуть было не убили его какие-то цыгане здесь, у брода в Тупилаць. Страшная это история, только я ее не помню.

— Раз так, нам все расскажет сам капитан Некулай,— с удовлетворением произнес рэзеш.— Знай, милая Анкуца, этот капитан из Бэлэбэнешть, который смотрит теперь на нас так спокойно и говорит так степенно, был человеком, каких мало встречалось в стране молдовской. Отважный, удалой, красивый... и опасный. Рыскал и рыскал он по дорогам, и все по делам любовным. Поднимался па горы, к монастырям, и спускался в долины. А за женщину, которая нравилась ему, всегда готов был жизнь отдать. Уж такой он был. Куда ни глянешь, всюду были у него любовницы. И ездил он по дорогам без отдыха и без удержу...

При этих словах мы, рэзеши и возчики из Цара-де-Сус, весело переглянулись между собой: капитан-то, оказывается, из тех людей, что нам по душе! А молодая Анкуца с улыбкой подняла брови и поправила бусы на шее и завитушки за ушами. А когда увидела, что капитан возвращается к нам, прошла мимо него танцующей легкой походкой, чуть изогнувшись, зная, что это ей очень идет.

Капитан Некулай шагнул к чурбану у огня. Он снял кунтуш и завернул в него пистолеты. Сверху положил узду и седло и, довольный, сел рядом с нами, поглядывая вокруг.

Словно угадав, чего ему хочется, Анкуца змейкой выскользнула из погреба, неся в правой руке полный кувшин, а в левой — новую кружку. Заливаясь румянцем и запыхавшись, она остановилась у огня и протянула капитану кружку. Музыканты незаметно подошли поближе и с лукавой улыбкой пощипывали струны.

Когда я увидел, что дед Леонте, звездочет, ищет себе места около обоих приятелей, я, не долго думая, поднялся с дышла, на котором сидел, сделал два шага вперед и храбро заговорил:

— Почтенный капитан Некулай! Мы все здесь, крестьяне и возчики из Цара-де-Сус, очень хотим распить с тобой по кружке молодого вина и послушать о той старой истории...

— Дорогие друзья,— ответил мне капитан,— я всегда любил пить вино в компании. Одной только любви нужно уединенье. Наше собрание вольное и открытое, а все вы мне — как братья.

Тут же мы наполнили кружки, подняли их в честь капитана и сгрудились вокруг него; музыканты же заиграли печальную песню старой кукушки. А вскоре, как выпили мы вино, и Анкуца закончила жарить цыплят на костре.

Когда появилось еще вино и мы снова выпили, капитан Исак из Бэлэбэнешть слегка загрустил, обнял конюшего Ионицэ за плечи, вздохнул, поглядел на дымчатые горы на западе и сказал:

— Бедная страна молдовская! Ты была краше в дни моей молодости!

Затем он обернулся к Анкуце и с чувством подхватил последние слова песни, которую играли музыканты:

Ты раскинь, краса, бобы...
Погадай, краса, скорее,
Отчего же лес желтеет,
Человек живет, стареет...

Он взял за руку хозяйку, и та не смутилась, а только все щурилась, словно кошечка, которую ласкают. Мы же сидели молча, потому что понимали, что капитан собирается рассказывать о том давнишнем случае.

— Люди добрые, друзья мои,— заговорил капитан Исак из Бэлэбэнешть,— послушайте, что приключилось со мной в этих краях, когда я был молод. С тех пор минуло больше двадцати пяти лет. Уж стала у меня путаться память о тех временах. Был я необузданный и озорной. Лошадь моя всегда была под седлом, и старики мои неделями не видали меня. Мать моя причитала, проклинала, каждое воскресенье заказывала литургию попу Настасэ, чтобы я утихомирился и женился. А отец только молчал да смотрел в сторону, потому что и он был такой же, как и я, и много огорчений доставил в свое время моей матери. Не говорю, что я был бездельником. Были у меня овцы и пастбища, а по осени торговал я вином, но любы мне были черные глаза, и из-за них много я согрешил. Вот конюший Ионицэ может сказать, сколько дорог изъездил я, потому что и он в свое время был подвержен той же страсти, и часто мы бывали товарищами.

Так вот однажды, такой же осенью, как и эта, вез я вино в Сучавский край. И вместе с возницами и бочками остановился на привал на постоялом дворе Анкуцы. Был я в большой печали, потому что любовь моя в том году отцвела вместе с летом. А мать этой Анкуцы поглядывала на меня исподлобья и посмеивалась, потому что и вино мне не нравилось, и от музыки тошно было. Бродил я словно в воду опущенный и одинокий, как кукушка.

Суббота была, время к вечеру. Сел я на коня и тихонько поехал тропкой среди жнивья. И слушал в одиночестве, как курлыкают в небе отлетающие журавли. Выбрался я на берег Молдовы и поехал долиной между рекой и лугом. В Тупилаць зазвонили церковные колокола. Остановил я лошадь и слушал в тоске, пока они не затихли. Как сейчас помню, когда умолкли эти колокола, раздался перезвон в церквах других сел — звонили далеко и глухо,

отываясь, казалось, в самом моем сердце. Потом очнулся я, увидел в воде свое отражение — и сам себя испугался, словно какого-то призрака.

В задумчивости тронулся я дальше и вдруг услышал чьи-то голоса. Я как раз проезжал вдоль ракитовых зарослей, и оттуда не было видно воды. Пробрался я тропкой сквозь заросли, и тут открылись передо мной горы в закатном огне, речушки и ручьи между песчаными отмелями. Целая стая цыган только что окончила отводить воду из одной речушки, и теперь бросились они за рыбой, воия и прыгая, как черти.

Придержал я лошадь и слышу: грубый голос словно приказывает что-то. Цыганята и женщины остановились. Потом, повинуясь этому же голосу, пустились дальше. А от канавы, прямо через речку, направился ко мне старый высокий цыган в постолах, шагая медленно, как на ходулях.

Кто-то крикнул позади него:

— Эй, куда ты, Хасанаке?

Он даже не соизволил ответить. Попыхивая трубкой, подходил он к берегу.

С того берега бросилась за ним девушка в красной юбке. Один из рукавов реки оказался глубоким, и она завизжала и засмеялась, поднимая юбку до самых подмышек. Она быстро перешла брод и побежала по камешкам впереди старика.

Хасанаке хрипло закричал на нее и пригрозил кулаком:

— А ну, девка, назад!

Она тряхнула непокрытой головкой и сверкнула зубами. Потом остановилась поблизости и стала изумленно меня разглядывать, словно редкого зверя.

— А ну назад, эй, Марга! — снова крикнул старый цыган.— Оставь барина в покое!

Она опять строптиво тряхнула головой и засмеялась.

Это была девушка лет восемнадцати. Я видел в воде чистые линии ее точеного тела. Она стояла около меня в рубашке и красной юбке. Лицо у нее было совсем детское, но нос с горбинкой и трепещущими ноздрями и живые глаза сразу привели меня в волнение. Я чувствовал, как по мне разливается огонь, будто я хватил крепкого вина.

Хасанаке подошел к ней и замахнулся. Она отпрянула в сторону, обежала вокруг меня и отошла к воде. На берегу она остановилась и принялась опять меня разглядывать.

Старик вынул изо рта трубку, сплюнул и хмуро улыбнулся. Все передние зубы у него были выбиты.

— Целую руку, барин, не смотри ты на нее. Девчонка глупая, людей еще не видала.

Марга хохотала, стоя на берегу, и ее черные гладкие волосы блестели, как воронье крыло.

Хасанаке погрозил ей трубкой, потом снова обернулся ко мне:

— Ты, должно быть, тот барин, что остановился на постоялом дворе; везешь вино издалека, из Цара-де-Жос...

— Да, а откуда ты знаешь?

— Музыканты мне сказали — они из наших. Увидел я новое лицо и понял, что ты и есть тот самый. Коли поднесешь мне на бутылку водки, поцелую тебе руки и скажу спасибо твоей светлости. Окажи милость старому немощному цыгану!

Мало-помалу вся ватага бросила ловлю, и цыгане подошли ко мне, толкая друг друга. Те, что стояли позади, вытягивали шеи и разглядывали меня через головы передних. Некоторые о чем-то спрашивали Маргу. Она отвечала шепотом, улыбаясь, и искоса то и дело поглядывала на меня.

Я вытащил из-за пояса кошелек, открыл его и вынул серебряную монетку. Хасанаке поймал ее на лету и быстро спрятал за щеку. Я вынул другую монету и поманил цыганочку. Словно ящерица скользнула она ко мне и поймала монету в подол.

Хасанаке заорал на остальных и погнал их обратно к воде.

Мне нечего больше было делать среди этой суматохи. Нерешительно повернул я к постоялому двору. Поднимаясь по склону, я глянул назад. Марги уже не было видно.

Я чувствовал какую-то досаду. Лошадь медленно шла по мягкой пахоте, а я думал о том о сем, и в думы мои все время врывалась цыганочка в красной юбке. Свернул я на прогалину и неожиданно в зеленой лощинке, среди четырех тополей, увидел маленький колодец, выложенный поверху камнем. Место было таинственное, пустынное. Неподвижная вода, наполнившая колодец почти до краев, казалась живой: это отражался в ней непрерывный трепет листвы.

Лошадь наклонила голову и вырвала пучок травы. Я дернул поводья и дал шпоры. Вскоре показался постоялый двор. Тогда я в последний раз обернулся назад. На вершинах тополей, на камнях одинокого колодца горело заходящее солнце. А внизу, в тени, стояла Марга, защищая ладонью глаза. Быть может, мне только показалось? Почудилось? Лишь один миг видел я ее, пока сияло солнце над верхушками тополей.

Тогда еще я не знал, как знаю сейчас, женскую душу, но все же на другой день утром я поджидал Маргу. Пока люди выводили волов, чтобы запрягать их в телеги, а дед Иримия, старший у возчиков, разъяснял мне, какой дорогой поедем, я все время посмат-

ривал на тропинку, что вела в Тупилаць. Но та, кого я ждал, все не показывалась.

Я поправил кобуры и осмотрел пистолеты. Потом нагнулся, чтобы подтянуть подпруги у лошади, решив вскочить уже в седло. Только поднял голову — в двух шагах от меня стоит Марга. Протягивает руку, хочет погладить морду коню. Смеется. На ней все та же красная юбка и голубая кофточка. Голова повязана алым, как кровь, платком, на шее несколько рядов бус, а на ногах новые полусапожки. И вся она, резвая, как черная козочка, выросла словно из-под земли. Но на меня даже не смотрит.

Почувствовал я, как забилось мое сердце, и понял, что дорога она мне, хоть она и простая цыганка. Когда я спросил: «Это ты?» — она вздрогнула, и ноздри ее затрепетали.

— Целую руку, барин, это я. Пришла спасибо сказать... Вчера вечером едва дождалась, когда кончит еврей свой субботний отдых, и пошла к нему с вашим карбованцем. Вот сапожки себе выбрала!

И она показала мне свои полусапожки, поднимая то одну, то другую ногу и подхватывая юбку кончиками пальцев.

Дед Иримия проворчал что-то и отошел к своим возчикам. Он меня уже знал. Я же подошел ближе к девушке, улыбаюсь ей и говорю:

— Ты, я вижу, нарядилась по случаю воскресенья. А красива, словно барышня.

Слова мои ей очень понравились. Щеки у нее раскраснелись. Она качнула головой и взглянула мне в лицо:

— Нет, я не для церкви оделась!

— А зачем тогда?

— Так мне захотелось. Я пришла в корчму — за водкой для дядюшки Хасанаке. И еще тебе, барину, спасибо сказать.

— А я думал, ты пришла мне поворожить!

— Нет, барин, я не старуха и врать не хочу. Да и о чем мне тебе ворожить?

— Думается мне, могла ты погадать, с кем хотел бы я повстречаться в одном местечке.

— Где? — шепнула она, и все лицо ее засветилось.— У колодца под тополями?

— Да.

— С той, кого вчера вечером там видел?

— Да. С тех пор все тоскую по ней.

— Может быть, барин,— отозвалась она тихо, и глаза ее затуманились.— Но она бедная девушка из цыганского табора, а ты только шутишь. Ведь сам-то уезжаешь. Вон волов уж запрягли.

и возы тронулись. Сядешь и ты в седло, а я тебя жди-пожди. Кто знает, где ты к вечеру будешь.

— А ты дожидайся,— ответил я и посмотрел на нее пристально, без улыбки.— Зайдет солнце, и я через два часа вернусь, буду там.

Опустила она голову и задумалась. Потом заговорила на другой лад, а на меня все не смотрит:

— А когда отвезешь вино куда нужно, этой дорогой поедешь, здесь остановишься?

— Этой, этой. Разве только задержка будет, если боярин из Пашкань денег не приготовит.

— Да?

Потопталась она немножко на месте, то вправо, то влево изгибая стан свой и старательно разглядывая сапожки. Потом вдруг схватила мою руку, в которой я держал поводья, поцеловала ее, повернулась и убежала. Исчезла она где-то за стенами постоялого двора. Смотрел я, смотрел, но больше так и не увидел ее.

Вышла на порог Анкуца — получить деньги за постой. Хоть уж и не молодая, а красивая была женщина, полная, статная. Улыбнулась она мне, лукаво покачивая головой, потому что все она понимала, все видела. Вот такая же была, как и эта Анкуца, что смотрит теперь на меня и смеется. Только эта моложе и красивее.

Люди тронули волов, и возы, скрипя, выехали на дорогу. Когда проехал мимо последний, одиннадцатый воз, вскочил и я в седло. Музыканты из своего угла, сняв шапки, поклонились мне до земли. Выехал я на дорогу, и Лупей, огромный серый пес, которого дед Иримия спустил с цепи, залаял и стал прыгать вокруг коня. Ясное осеннее утро занималось над долиной Молдовы. Издалека опять доносился колокольный звон, но теперь звон этот мягко и сладко проникал мне в душу.

Так я и ехал долгое время,— солнце светило в спину, а слева была Молдова. Проехали мы села рэзешей: Митешть, Нэврэпешть и Мирослэвешть. Потом свернули из долины Молдовы и стали подниматься по длинному отрогу к Брэтешть. Когда добрались туда, в лесу, у самого скита, сделали привал. Не не могу вам сказать, о чем я говорил с людьми, пока мы ехали, и что видел, потому что другие картины и видения увлекали меня далеко-далеко.

К закату солнца были мы в Пашканах, и я явился на боярский двор. Поздоровался я с боярином Канта и доложил, что привез вино по уговору. Похлопал он меня по плечу, сказал: «Вот это ладно»,— велел приготовить мне комнату для ночлега и собрать для меня на стол, и порешили мы, что будем разгружать возы на другой день. Рассказывал он еще мне, как в этом году по-

било градом его виноградники в Котнарь, только я его не больно-то слушал, потому что уже свечерело и над Серетом поплыли туманы.

Отужинал я, проверил людей, распорядился на ночь и шепнул несколько слов деду Иримии. Тайком вывел он мне за ворота коня. Луцей увязался за мною. Сначала ехал я шагом. По селу взял легкой рысью. Потом обжег коня арапником. Весь путь одолел я так, что ветер в ушах свистел, и только в селах попридерживал лошадь. Через два часа после захода солнца я увидел, как поблескивает одинокий огонек на постоялом дворе Анкуцы. Свернул я в сторону и пустил коня прямо жнивьем. Потом выехал на дорожку. А как почувствовал, что подъезжаю к колодцу под тополями, пустил лошадь шагом. Сердце мое так и билось — боялся я, что никого не встречу. Словно над пустыней, поднималась с востока красная луна, уже на ущербе.

Вдруг, когда до меня донесся шелест тополей, Луцей тихо зарычал. Я спрыгнул с коня. Шепнул ему: «Луцей, не балуй!» — остановился и весь задрожал: Марга была возле меня. Освещенная слабым светом луны, стояла она чуть-чуть боком ко мне, отвернувшись, заслонив лицо локтем левой руки. Когда я коснулся ее, она опустила руки и повернулась ко мне. Я услышал, как она тихо засмеялась. Все свои украшения надела она на себя: я чувствовал их на ощупь, обнимая ее. От нее не пахло табаком, а головка ее благоухала цветами.

В те молодые годы мои, казалось, и ночи бежали быстрее. И говорил я меньше. Когда скрылась луна, конь тихонько заржал. Я поднялся и стал у края колодца. Марга прильнула к моему плечу, прижалась головой к моей груди и заплакала.

— Не будь глупенькой, не плачь! — уговаривал я ее.— Сегодня вечером я вернусь. Хочу привезти тебе из Пашкань лисью шубейку.

Она, глубоко вздыхая, прижималась ко мне.

— Не вернешься ты. Ведь я простая холопка, не стою тебя. Но я тебя буду ждать и умру у колодца, если не придешь!

Я прижал ее к себе и закутал в кунтуш, потому что она вся дрожала. А потом она поцеловала меня, я вытер ей глаза и покинул трепещущую, всю в слезах. Вскочил я в седло и помчался, думая только об одном — как бы вернуться к Марге. И чем больше я удалялся, тем больше чувствовал ее рядом с собой.

В Нэврэпешть я увидел, как над Молдовой заклубился туман и на востоке заалела заря. Когда я подъехал к Пашканам, в дымке над Серетом взошло солнце. Я спешился у ворот и ввел коня

в конюшню. Подошел к колодцу и сполоснул лицо холодной водой. Потом спустился в погреб, откуда был слышен недовольный голос деда Иримии.

Мы благополучно выгрузили вино. Все бочки с далеких виноградников после путешествия на скрипучих возах при свете осеннего солнца спустились в темные подвалы. Боярские слуги постукивали по ним и, вынув затычки, тянули вино через камышинки. Наконец явился и сам боярин, осушил для пробы кубок, чокнулся со мной и снова сказал: «Браво... Теперь, капитан Некулай,— продолжал он,— пойдем на террасу, подсчитаем — и получай ты что положено!»

Набил я целую сумку серебряными флоринами, что дал мне боярин. Смиренно склонился перед его светлым лицом, приложился к руке и спустился к своим спутникам. Было около полудня. Решили мы после обеда тронуться в обратный путь.

Не хотелось мне есть, да и невкусной показалась мне еда. Наспех проглотил я что-то и с думой о будущей ночи бросился расспрашивать людей и боярских слуг о лисьей шубейке. Были бы деньги — все найдется. Я сразу же нашел шубейку, крытую красным сукном. Взял я ее в руки, и представилась мне радость цыганочки, а ее быстрые глазки сверкнули искрой в моем сердце.

Медленно ехали мы обратно, вслед за волами. День был тихий, безветренный. В высокой буковой роще, покрытой инеем, тихо падали листья и, шурша, плавно опускались на землю; казалось, лес был живым существом и тяжко вздыхал. Ехал я ленивым шагом и дремал в седле, обласканный солнцем,— все грезил о возлюбленной у колодца под четырьмя тополями.

Так и двигался я с возами до самого вечера. Торопиться пока было некуда. А потом, когда нетерпенье пожаром охватило меня, подскакал я к головному возу и шепнул деду Иримии:

— Дедушка Иримия, заночуем на постоялом дворе Анкуцы. Я поеду вперед. Там вас подожду.

Старик с упреком посмотрел на меня:

— Хорошо, капитан Некулай. Поезжай куда знаешь, встретимся на постоялом дворе.

Я пришпорил коня. Не успел далеко отъехать, как вдруг запрыгал вокруг меня с радостным лаем Лупей. «Старик заботлив, как всегда,— подумал я,— сторожа мне прислал».

Пустил я лошадь ровной рысью и заслушался, как в тихих сумерках бьют копыта по дороге. В чистом небе зажглись звезды. Несколько огоньков как будто перемигивались с другими огоньками — там, что на холмах за Молдовой. Дорога была безлюдна, поля застыли в тишине, словно окутанные тайной.

Я повернул лошадь напрямик к знакомому месту. Луна еще всходила.

Под тополями у колодца в лощинке было темнее. Я спешился и пошел, надев повод на левую руку. Остановился, но ничего не услышал, кроме непрерывного трепета листьев. Коня я привязал к кусту под одним из тополей, а Лупей свернулся калачиком в траве у конской морды.

Ждал я недолго. Когда на востоке, как испуганный глаз, выглянула луна, собака зарычала. Но сразу же замолкла,— видно, узнала того, кто подходил к нам. Я шагнул к колодцу. Сквозь сумрак я увидел тень Марги; казалось, она бежала. Глухо вскрикнув, она остановилась: увидела меня. Потом бросилась вперед и обвила мою шею руками. Она тяжело дышала, крепко обнимая меня и всхлипывая. Долго так стояла она, прильнувши ко мне, потом успокоилась и вздохнула протяжно и глубоко.

Я бросил кунтуш на траву возле каменной стенки колодца и сел. Девушка стала на колени рядом со мной. Я заговорил, лаская ее:

— Марга, вчера вечером тебе было холодно и ты дрожала. Я привез тебе шубку, как обещал.

Она ощупала шубейку, радостно засмеялась и надела ее в рукава. Ласкаясь, она сказала:

— Теперь я вижу, барин, что ты немножко скучал о бедной девушке...

Она легла рядом со мной. Я обнял ее, ласкал, а она трепетала и стонала, словно раненый зверек.

— Что с тобой, Марга? — спросил я немного погодя.

Тут она вскочила, как будто кто ее стегнул, и стала колотить себя кулачками по лбу.

— Барин! Растопчи меня ногами, убей меня и брось в колодец за то, что я тебя раньше не остерегла.

Внезапно встревожившись, я резко схватил ее за руки.

— Что такое, не понимаю! Говори ясней!

Теперь она плакала, склонившись к моим рукам и целуя их.

— Почему ты меня не бьешь? Почему не убиваешь? Знай же: вчера утром в корчму послал меня дед Хасанаке. Он видел, что ты не сводишь с меня глаз, и приказал мне пойти к тебе, чтобы я запала тебе в душу и мы бы встретились... И рассказала бы я ему, где это будет. А он с двумя своими младшими братьями, Димаки и Турку, придет, когда ты будешь со мной, один украдет твою лошадь, а двое других набросятся на тебя и убьют...

Я едва разбирал эти слова сквозь ее рыданья.

— А ты что сделала? Сказала, где мы встретимся?

— Сказала, а то бы они меня убили.

— А почему же они не пришли вчера вечером?

— Дожидались, когда вернешься с деньгами, полученными за вино.

— А теперь придут?

— Придут! — глухо воскликнула она.— Не могла я побороть любовь, хотела еще побыть с тобою, потому и не сказала сразу. А теперь не могу больше скрывать: хотят они тебя убить и забрать деньги. Они уже не первый раз так делают и ничего не боятся! Теперь я знаю, что они меня зарежут, поняли, что люблю я тебя, и догадываются, как это ты спас свою жизнь, да теперь мне все равно!

Я вскочил, меня словно мороз по коже подрал. Девушка обхватила мои колени:

— Беги же! Беги!

Голосок ее дрожал от ужаса. Но было слишком поздно. Собака вдруг яростно и злобно зарычала. Я бросился к лошади. «Теперь мне конец пришел: услыхали они меня!» — застонала Марга, уткнувшись лицом в землю. Позади меня в темноте раздался громкий, полный ненависти крик. Я узнал голос Хасанаке.

В несколько прыжков я был возле лошади. Лупей, рыча, набросился на кого-то в кустах и, вцепившись зубами, стал его рвать. Я подбодрил собаку, понизив голос: «Хватай, Лупей! Рви его!» Это был сильный, свирепый пес, на него я мог понадеяться.

Я рванул повод, вскочил в седло и расстегнул обе кобуры. С пистолетом в руке я дал лошади шпоры и помчался вслед за лающей собакой. Позади меня кричали цыгане, подбадривая друг друга. Вымахнув на всем скаку из долинки, я различил в светлеющей дали, как удирал от собаки цыган, похожий на пугало. Я выстрелил из пистолета, но собачий лай все удалялся: я промахнулся.

Я погнал лошадь по равнине на лай Лупея. В седле я держался крепко, при мне были пистолеты, и я не боялся. Но, гонясь за тем, кто был впереди, я чувствовал, что меня тоже кто-то преследует. Все ближе позади себя я слышал возбужденные крики с обеих сторон, как будто мне хотели отрезать путь. Ущербная луна проливала на сжатые поля слабый свет. Уже отчетливо виден был бегущий впереди. Я глянул направо и налево. Цыгане гнались за мной, отталкиваясь от земли шестами. Иногда они выкрикивали какое-то слово, советуя что-то переднему. Вдруг я понял, что это за совет, заметив, что мчимся мы по кривой. Преследуемый Лупеем цыган бежал по жнивью, петляя, задние настигали меня.

Неожиданно они выскочили с обеих сторон мне наперерез. Они прыгали, пригнувшись к земле и извиваясь, словно черные дьяволы. Один из них остановился на месте справа и взмахнул ру-

кой, другой уже подбегал слева. Мгновенно понял я всю опасность, однако был слишком увлечен погоней. Засвистели шесты, брошенные под ноги моей лошади. Перевернувшись, я вылетел из седла. Но к этому я тоже был привычен. В момент паденья я высвободил ноги из стремян, кубарем покатился по жнивью, быстро вскочил на ноги и приготовился драться. Цыгане налетели на меня. Железное острие со свистом впилось мне в уголок правого глаза. Я поднял пистолет и на расстоянии одного шага выстрелил в своего противника, попав ему между глаз. Он рухнул на меня, залив меня своей кровью. Рядом с собой я услышал дикое рычанье Лупея, который рвал второго.

Я почувствовал под собой тесак, которым меня ударили. Схватив его, я вскочил на ноги. В правом глазу глубоко сидела жгучая боль и кипела кровь. Здоровым глазом увидел я в стороне от дороги огонек постоялого двора и от волнения и боли завопил не своим голосом. Лупей рычал около меня и вертелся под ногами. Двое врагов исчезли в темноте. С постоялого двора в ответ мне донеслись пронзительные крики и зажглись огни.

Пока пришли мои товарищи, я туго перевязал шейным платком поврежденный глаз. Лошадь хрипела в пяти шагах от меня и все пыталась подняться. Когда возчики окружили ее и осмотрели, то убедились, что передние ноги у нее перебиты. Там мы ее и бросили. Глухим, не своим голосом отозвал я всех к колодцу. Все двинулись с факелами к тополям; словно пьяный потащился и я, скрипя зубами, ослабевший и жалкий. У тополей я увидел, как все столпились, наклоняясь над каменным краем колодца. При свете факелов блестела свежая кровь.

— Они убили ее и сбросили в колодец...— еле выговорил я.

— Кого сбросили, кого? — спросил дед Иримия.

Я был уже не в силах ответить. Из-под платка снова хлынула кровь: она стекала по усам и попадала мне в рот. И мне казалось, я чувствовал на вкус ту кровь, что залила камень колодца.

Когда капитан Некулай закончил свой рассказ, солнце уже село за горы и над долиной Молдовы и постоялым двором распростерлась мгла. Огонь потух. Мы, крестьяне и возчики из Цара-де-Сус, сидели молчаливо и печально. Только конюший Ионицэ что-то бормотал и высокомерно посматривал вокруг себя. Молодая Анкуца проговорила:

— Вот и мне мать когда-то об этом рассказывала. Два других цыгана убежали и скрылись в лесу...

— Да, так-то... Вот какие дела бывали во времена нашей молодости...— гордо подтвердил конюший Ионицэ из Дрэгэнешть.

Вскоре и я осмелился подать голос:

— А сохранился еще этот колодец с четырьмя тополями?

— Нет уж больше его,— тихо ответил дед Леонте, звездочет.— Разрушился, как и все в этом мире...

Но капитан, казалось, видел перед собой колодец. Сгорбившись и низко опустив голову, сидел он неподвижно на своем месте. На его правой сморщенной щеке и у выколотого глаза, казалось, навсегда застыла печать страданья. А живой его глаз, большой и мрачный, пристально смотрел вниз, в черный колодец прошлого.

Немного погодя, когда совсем стемнело, снова зажгли огонь. Капитан Исак поднялся, взял за руку Анкуцу и попросил для себя и для всех остальных еще по новой кружке старого вина.

ДРУГАЯ АНКУЦА

— И правда, в старое время случалось такое, чего теперь и не увидишь,— медленно заговорил в вечерней мгле Енаке-коробейник.

Он еще, казалось, не мог опомниться после рассказа капитана Некулая Исака. Но все же голос его вернул нас к действительности. Ожидая Анкуцу с новыми кружками и свежим вином, мы разговорились, ближе знакомясь друг с другом. Из долины Молдовы налетел легкий ветер. Я придвинулся к костру и подбросил сухого хвороста в огонь, задремавший под своей пепельной шубкой. Когда взвились яркие языки пламени и мы снова увидели друг друга, ветер утих, легкий осенний туман окутал нас и весь постоялый двор.

— Теперь уж нет таких людей, как были когда-то,— продолжал коробейник Енаке, а конюший Ионицэ в знак согласия кивнул головой.— Другой народ теперь пошел, хилый.

— Что верно, то верно! — проворчал рэзеш из Дрэгэнешть.

— И зимы тогда суровей были,— решительно заявил коробейник, поднося к огню глиняную трубку с медной крышечкой.— Вот эту шубу ношу я с тех пор, а зимою мне теперь с ней делать нечего. Таскаю ее на плечах только для важности. Да, могу вам доложить, капитан Некулай и конюший Ионицэ, ведь и лето тоже тогда было щедрее. И по городам не было всех этих пришельцев, что пооткрывали новые лавчонки, а по селам нас, коробейников, все тогда привечали, как лучших друзей. Теперь же клони голову пониже да с товаром тащись повыше — в горы. Только там и есть места, где люди не видали еще ярмарок, а девки так и цветут от радости, когда раскроешь короба. Раньше и в бога-то по другому верили. Ходили купцы в Ерусалим, и нисходила на них благо-

дать. Даже я сподобился пешком пройти до Святой горы. Видел я там скит на самой вершине — православных монахов поднимали туда и спускали оттуда воротом в плетеной корзине, потому что никакой дороги там нету. А у нас, в Яссах, был господарев двор, и порядки были там совсем не нынешние. Вот выезжает господарь из дворца,— черный аргамак под ним пляшет, кругом телохранители, а простой народ падает ниц: спину кверху, лицо в пыль. Хотел тебя боярин пожаловать, так не крейцер давал, а целый золотой. Был я в ту пору молод, и радостно было мне жить, не то что теперь. Забот я не знал, мошна за поясом никогда у меня не пустовала. Но вот однажды, когда собирал я короба, чтобы идти на ярмарку в Байя, в горы, случился в нашем городе Яссах большой переполох.

Попрошу вас только подождать немножко, пока набью трубку табачком, потому что, кроме всего прочего, грешу я и этим перед господом богом. И прочищу чубук, потому что у сатаны только и дела, что чубуки забивать,— возблагодарим же владыку небес, земли и моря, что смилостивился он и научил нас смастерить шило. Так вот, надо вам сказать, стоял я как-то на улице у караван-сарая и рядился с двумя купцами армянами, как вдруг со стороны Бейлика показался с великим шумом отряд арнаутов, а среди них какой-то связанный человек. Народ за ними так и валит, и все больше женщины да ребятишки. Выскочили собаки из подворотен и из-под купеческих навесов,— вой, лай. Купцы, оставив свои прилавки, сбились в кучу, борода к бороде, глаза пялят, расспрашивают. Все арнауты шли с кинжалами и ружьями наготове, словно боялись, как бы связанный человек не порвал путы и не повалил бы их наземь голыми руками. Пленник и вправду был человек высокий и, видать, сильный: в поясе тонкий, а в плечах косая сажень. Усы у него русые, глаза черные и взгляд неукротимый. Была на нем расшитая куртка и красные сапоги с раструбами, как у справного рэзеша. Голова непокрыта, и губы в кровь разбиты.

Был там среди арнаутов один — Костя Кэрунту его звали, служил он в аджии. Когда проходил он мимо купцов, повернулся гордо к связанному и снова ударил его по зубам. Я спросил:

— Господин Костя, что это за человек и как зовут его?

— Это злодей и негодяй,— ответил Костя.

— Прошу прощения, а зовут-то его как, в чем виноват он?

— Это безумный и презренный рэзеш из уезда Васлуй. Зовут его Тодирицэ Катанэ. Состоял он на службе у его светлости ворника Бобейкэ и набрался такого бесстыдства, что поднял глаза на сестру его светлости. И вот дерзнул он сговориться с сестрой его светлости, боярышней Варварой, чтобы с ней вместе этой ночью бежать. Но его светлость почуял неладное и выставил стражу.

Она-то и настигла их и схватила у ветряной мельницы. Ну, там настоящее сражение разыгралось. Никак он не давался в руки. Сколько цыган и слуг боярских настигло его, всех он избил и одолел. Пока не окружили его государевы арнауты с кинжалами, никак нельзя было с ним справиться. А он только орал, что за боярышню Варвару и жизнь готов положить. Потом, как видите, связали мы его и по зубам дали как полагается — хоть выплевывай их вместе с языком. Пусть знает, подлая душа, как за такую дерзость наказывают.

— Так ему и надо, господин Костя,— сказал я, и все остальные купцы поддакнули. Но когда говорили мы так, этот лиходей, Тодирицэ Катанэ, повернулся и прямо на нас глаза вытаращил. Человек он был красивый и, видно по всему, смелый. Мне даже страшновато стало от его взгляда. Но я подумал, что все равно ему петли не миновать, страх мой прошел, и я ухмыльнулся ему в лицо. А потом снова заговорил с господаревым слугою:

— Господин Костя, за твои заслуги его светлость ворник Бобейкэ может тебе пожаловать даже именье. Будь добр, повремени малость, задержи еще арнаутов с этим злодеем и скажи нам, что сталось с боярышней Варварой, сестрой его светлости.

— Боярышню Варвару отправляет боярин в монастырь Агапии, как это по закону положено, замаливать там грех молодости. Он уже снарядил повозку и слуг. А этого безумного рэзеша я веду, чтоб запереть его в башне Голия, там он будет дожидаться решенья господаря. Конец свой найдет он на плахе, это понятно каждому человеку с головой.

— Уж конечно так,— сказал я с уверенностью. И все торговцы на улице склонили бороды, показывая, что они тоже так по справедливости считают.

За отрядом арнаутов, словно за цыганским табором, повалило все предместье: собаки, бабы, дети; пыль столбом поднялась, а Костя Кэрунту все угощал рэзеша тумаками то по скуле, то по затылку. Вот так они и отвели его и заперли в башне Голия, пока я рядился с армянами. Закончив торг и заплатив чеканной золотой монетой, взвалил я тюк с товарами на спину и отправился домой, где уложил его в коробки: товар-то ведь деликатный и тонкий, все больше для девичьих глаз и сердца. Разложил я товар покрасивее, поставил одну коробку на другую и начистил, как всегда, до блеска медные застежки, вот как и сейчас вы их видите. Улегся я и заснул крепким сном, пока не пропели третьи петухи, потом встал, собрался, взвалил короб на спину, захватил дубинку и трубку и отправился из дому в тот час, когда ночка с днем милуется. Дошел я до улицы Голия — слышу шум неистовый. А из железных ворот монастыря вылетают всадники со всклокоченными волосами.

— Господи боже! Что тут такое, люди добрые? Что случилось, честной народ?

Костя, без шапки, размахивает арапником, подгоняет арнаутов:

— Гони, ребята! Он не иначе как к колодцу Пэкурару удрал! Смотрите. Только бы не упустить! Как нагоните его, приколите и волоките прямо ко мне.

— Господин Костя,— отозвался тогда один старый арнаут,— кто ж его знает, по какой дороге подался этот черт. Пока он связанный лежал, над ним наша власть была, а теперь, когда он свободен, да в руках у него оружие, да еще на коне он, не найдется такой молодец, чтобы настичь его и расправиться с ним.

— Что ты мелешь, старик?! — заорал господарев слуга.

— Ты не серчай, правду ведь говорю, господин Костя. Мы-то давно его знаем по его другим делам. Этот злодей еще в немецком войске служил и на немцев страху нагонял. Бывал он и в настоящих сражениях, а на теле у него рубцы от пуль и сабель. А лошадь его, бывало, мчится вскачь, а он во весь рост становится и стоит, как свеча, на седле. Ведь он одной рукой мешок с ячменем подымает. Головой как тараном бьет, а кого ударит — тот сразу наземь и дух вон. Зная, что это за лихой человек, связал его крепко-накрепко, бросил на пол, да и дверь еще подпер хорошенько. Лишь такой безумец, как он, мог перегрызть веревку, привязать ее к решетке, протиснуться в окно и спуститься с башни. Бросился он на стражника, отобрал ятаган и пистолеты, нашел где-то коня и ускакал. Где теперь искать его, господин Костя, и что с ним поделаешь?

Но Костя Кэрунту разбушевался, метался туда и сюда и рычал, словно лев, так что арнауты помчались за беглецом во все стороны, даже не оседлав коней. Видя, что все пустились в погоню, господарев слуга немного успокоился и только отдувался, словно воздуха ему не хватало или чем-то дурно пахло. Своему слуге, что стоял рядом с ним, приказал он принести оружие и оседлать лошадь.

Тут я решился — подошел к нему и спросил с великим удивлением:

— Господин Костя, никак я в толк не возьму, как это могло случиться, ведь в крепости Голия такие высокие стены и такая башня? Да кроме стен и башен, есть там еще ружья, цепи и стражники. А этот злодей, что дерзнул опозорить честный боярский дом, сумел так легко убежать.

— Хоть спрашивай, хоть не спрашивай, Епаке, ответить я тебе не могу! — снова фыркнул Костя.— Теперь вся вина на меня

свалится, а его светлость ворник Бобейкэ будет смотреть на меня косо. Теперь и служба моя и удача — все пошло прахом. Зашел бы в святой монастырь — заплатить отцу Никанору, чтобы отслужил он молебен во спасение от злой напасти,— да времени терять нельзя, иначе настигнет меня боярский гнев и арапник. Надо мне поторапливаться разбойника поймать да скорее возвращаться: приказ получил — как солнце взойдет, отправить в дорогу боярышню Варвару. Я вместе с другими слугами должен сопровождать ее до самого монастыря Агапия. По дороге, глядишь, еще какая-нибудь беда стрясется, не знаю, право, что и делать. Сердце мое, Енаке, словно раскаленное железо на наковальне, чует, что молот ударит по нему.

— И чего тебе, сударь, так тревожиться? — попробовал я его успокоить.— Злодея поймаешь, боярышню отвезешь в святой монастырь, а господарь да боярин успокоятся и за верность отблагодарят тебя.

Оставил я его в большом волнении около башни Голия, а сам стал спускаться в долину по дороге Пэкурару, чтобы солнце уже не застало меня в городе. Вот иду я и думаю о том, что авось и на этот раз власти одолеют смутьяна. На окраине города повстречались мне господаревы солдаты — возвращались они назад на взмыленных лошадях шажком. Были они сердиты и глядели хмуро. Не нашли они, не поймали рэзеша. Тут-то и смекнул я, почему Костя Кэрунту погнал солдат в эту сторону: ведь по этой дороге должна была ехать в монастырь коляска боярышни Варвары. А такой отчаянный молодец, как Тодирицэ Катанэ, непременно должен был попытаться отбить боярышню по дороге. Понял я, что этого-то и боится больше всего господин Костя.

Вот прошел я уже немалый путь. Когда солнышко поднялось и короб стал мне тяжел, я остановился у колодца отдохнуть и утолить жажду. Так и сидел я на солнцепеке, поджидая честного попутчика, который посадил бы меня с собой в телегу на сено. Как и раньше бывало, господь бог пришел мне на помощь — показался на дороге человек в телеге. Остановился он у колодца напоить лошадей, я сказал доброе слово, и он мне ответил по-дружески. Уложил я как следует короб, сам сел на сено, и поехали мы через села и пустоши до самого Тыргу-Фрумос. Там человек повернул телегу в другую сторону, а я с коробом за плечами вошел в лес Струнга и шел так по холодку, пока солнце не спустилось в Серет и на востоке не взошла луна.

Тут я снова снял с плеч короб возле другого колодца и ждал, пока бог не послал мне проезжих с другой стороны. Показалась легкая бричка, которую мчали две быстрых лошадки. Человек остановил коней и спросил меня:

— Откуда идешь, православный?

— Из самого города Ясы, хозяин. Великое одолженье ты сделаешь, если облегчишь мне путь, ведь я коробейник, людям друг, никому зла не делаю.

— Коли из Ясс идешь, так садись рядом, да поскорее...— сказал тот человек.

Сел я рядом с ним, и мы мигом переехали через Серет. У деревянного моста лунный свет в воде отражается, совсем светло стало. Повернулся я к спутнику, чтобы сказать ему спасибо и добрым словом отплатить, да сразу же понял, что рядом со мной Тодирицэ-рэзеш,— узнал я его.

Он осклабился, блеснул зубами, и я испугался — а что, если он меня тоже узнал!

— Ты тот купец,— сказал он,— что вчера ухмылялся у караван-сарая.

— Я улыбался,— отвечаю ему,— потому, что мне понравилось твое лицо. Не серчай, я человек бедный, беззащитный.

— Ты овца из стада,— отрезал он.— А пасет тебя волк. Вот какой ты.

— Ладно, такой. Только не гневайся на меня.

Снова он засмеялся. Потом лихо засвистел, и лошади, почуя власть хозяина, припустили во весь дух по дороге.

Тодирицэ снова обернулся ко мне:

— Что слышно в Яссах?

— Да что слыхать? — говорю.— Знаю, не скажи я тебе правду, снесешь с меня голову. Костя Кэрунту, с господарева двора, послал за тобой в погоню множество солдат. А сам он везет боярышню Варвару в монастырь Агапии. Выехал, думается мне, после завтрака.

— Это хорошо,— пробормотал рэзеш.

— Так-то так,— говорю я снова.— Только знай: известно ему, что ты тоже эту дорогу выбрал, и потому взял он с собой много людей, и должен ты их бояться, ведь ты один...

А рэзеш опять смеется.

— Послушай, человече,— говорит,— я могу сложить голову, но бояться я не боюсь. А теперь слушай мои слова и выполни все по моему приказу. Сейчас мы еще немного проедем по дороге, до места, что зовется постоялым двором Анкуцы. Там я хочу остановиться и дожидаться господина Кости со всем его войском. Когда он приедет, я буду близко, да он не найдет меня и не увидит. Я буду рядом с вами и глаз не спущу с вас. И все, что ты ему скажешь, я услышу. Он станет расспрашивать, а ты отвечай, что поехал я вперед по дороге в Тимишешть и бежал от него в великом страхе... Скажи ему по правде, что видел ты меня и узнал, но как-

нибудь иначе — не то, смотри, мы с тобой можем еще встретиться в этой жизни и на этом свете.

На такие его слова склонил я голову и смиренно обещал все выполнить, а про себя подумал, что, может, и вправду злодей боится и бежит от господаревой руки. Но от гнева великих мира сего никто не убежит.

Вот так-то, благородный капитан Некулай и конюший Ионицэ, желая злодею наказанья, а людям покоя, доехал я в скором времени до этого места, до постоялого двора прежней Анкуцы.

Постоялый двор был заперт, все словно вымерло, только луна светила.

Катанэ стучит в ворота, просыпаются злые собаки, слышится изнутри голос Анкуцы.

Рэзеш кричит:

— Леле Анкуца, приехал я за советом и дружбой твоей. Я Тодирицэ Катанэ, и если ты меня не помнишь, то узнаешь сейчас про мои беды.

Анкуца сразу же замолчала, потом ласково сказала что-то собакам, отодвинула засов и отомкнула железные замки. Открыла она дверь, посветила нам по очереди в лицо восковой свечкой и сказала Катанэ:

— Входи. Ты и есть тот самый безумный рэзеш. Слышала я нынче, что ты натворил в Яссах.

Тут Тодирицэ Катанэ выпрямился и посмотрел на нее.

Прежняя Анкуца была такая же красавица, как и нынешняя. Смотрит она на него большими глазами, а в глазах ее два огонька светятся. Долго глядел на нее рэзеш, а потом бросил на лавку пистолеты с ятаганом. Повернулся он и взял Анкуцу за правую руку, что была свободна. Засмеялась Анкуца.

— Погоди, поставлю свечу в сторону и ворота закрою,— сказала она,— а потом говори, что хочешь сказать. Я знаю, рехнулся ты, раз против власти пошел, да, видно, и совсем ты без рассудка, коли боярскую дочку полюбил. Опасная это любовь. Еще известно мне, что больших дел натворил ты в Яссах у башни Голия. С ног сбились теперь господаревы арнауты и стражники, ищут тебя по всем дорогам. Найдут они тебя и прикончат.

— Леле Анкуца,— ответил Тодирицэ Катанэ,— уж если мне на роду написано умереть — я умру. За любовь свою отдам я и жизнь и молодость. Знай же, что этой ночью, может, через час, а может, через два, и вправду нагрянут сюда к твоим воротам господаревы солдаты. С ними будет Костя Кэрунту, дорогая Анкуца, везет он боярышню Варвару в пустынь, в монастырь Агапия. А я хочу попытаться вырвать у них из рук мою любовь: либо отобью, либо костьми лягу.

Тут-то, при этих словах, вижу я, испугалась Анкуца. Закрыла она глаза, сжала ладонями щеки и крикнула тоненьким голоском.

— Безумец ты, Тодирицэ Катанэ, правду люди говорят!

Только сразу же после этого придвинулась она вплотную к нему и стала второпях расспрашивать, как он думает исполнить то, что задумал. Отошли они в другой угол комнаты, к печке, стали перешептываться, и, как показалось мне, все больше Анкуца говорила, с жаром и страстью.

Как кончили они разговаривать, подошел Тодирицэ Катанэ и стал против меня, стоит и смотрит, нахмурив брови. И такие были у него глаза, что и хотел бы я свой взгляд отвести, да не мог. И сказать ничего не посмел я ему. Понял я, что повенчался он со смертью, а такого человека надо мне опасаться.

— Иди, а то опоздаешь,— сказала ему Анкуца, когда брал он оружие.

Положила она ему руку на плечо и тотчас же сняла. И только ее рука прикоснулась к Катанэ, как он обернулся, обнял Анкуцу и поцеловал.

— Вот проснется мой муж да увидит тебя,— сказала она, смеясь,— он хоть и старик, а рассердиться может...

Потом застыла она неподвижно у двери, слушая, как рэзеш говорил с лошадьми, как тронул их и поехал. Стук колес постепенно затих в отдаленье, а она стояла и прислушивалась.

Я же сидел, сгорбившись, около своих коробов и ничего не понимал. Каким тайным ветром разносятся вести так быстро из Ясс по всему свету? И как это могут сойтись и так понять друг друга два чужих человека? Поднял я взгляд: Анкуца сидит на лавке, и огоньки играют в ее глазах, смотрит она на меня и не видит. Словно все еще прислушивается и ничего не замечает. Так и сидели мы, пока не раздался шум на дороге: с громкими криками и хлопаньем бичей остановилась перед домом погоня из Ясс. И сейчас же услышал я, как орет господин Костя Кэрунту, а хозяйка постоялого двора встала, отперла дверь и подняла свечу над головой. Потом, словно вспомнила и про меня, кивнула слегка головой и шепнула мне через плечо:

— А ты, коробейник, знаешь, что тебе нужно говорить.

Ввалились господаревы слуги и потребовали себе вина. Но господин Костя преградил им дорогу, разбранил их и выпроводил к лошадям и повозке. Там, при свете луны, увидел я: сидит под пологом боярышня Варвара; голову опустила, лицо в колени уткнула. Она была словно тень и, верно, все время плакала.

Господин Костя, громыхая саблей по полу, подошел ко мне и узнал меня.

— Как это, Енаке,— говорит он,— ты так быстро попал сюда? Говори, не узнал ли чего по дороге о негодяе, которого мы ищем.

— Господин Костя,— говорю,— узнал я о Тодирицэ Катанэ, которого ты ищешь, и даже видел его...

— Как так, Енаке? — закричал господарев слуга; а Анкуца повернулась ко мне и глаз с меня не сводит.

— Видел,— прибавила и она.— Он проезжал тут.

— Ну да, он проезжал мимо,— подтвердил я,— и приметно было, что он в превеликом страхе свернул к броду на Тимишешть...

Снаружи слышались крики солдат, и мне показалось, что господин Костя обрадовался.

— От нас он не уйдет! — заорал он во всю глотку...

А Анкуца улыбается и говорит ласково:

— Слыхать, собрал он товарищей — других душегубов и безумцев — и хочет отбить добро, что вы в повозке везете.

— Что? Как? — закричал в гневе господарев человек.— Башку ему конем растопчу!

— Молдова разлилась после дождей,— снова говорит хозяйка,— бродом в Тимишешть теперь трудно пройти.

— Как так? И другой дороги нет?

— Есть дорога через Тупилаць. На пароме переправитесь.

— Тогда мои люди поскачут за ним и настигнут его там, в Тимишешть, а я перевезу повозку с боярским товаром на пароме. Сразу сделаем два добрых дела — и хозяева довольны будут, и мы от беды убережемся...

Господаревы люди пробыли здесь с четверть часа, и все это время водила меня Анкуца за собой в погреб, и носили мы при лунном свете кувшины с вином. Люди выпили, подняли галдеж, стали куражиться, поклялись, что убьют подлого беглеца, ускакали вперед по шляху. А господин Костя с несколькими слугами повезли повозку в другую сторону, чтобы выйти к парому у Тупилаць. Анкуца провела их кратчайшей дорогой, а меня все время держала подле себя. Как добрались мы до берега, господин Костя заорал во всю глотку — зовет паромщика. Вылез откуда-то старик, глухой, косматый, волосы на глаза лезут.

— Перевези нас на ту сторону! — закричал на него Кэрупту и саблей на другой берег показывает.

— Перевезу вас, бояре,— бормочет старик, заикаясь со страху.— Только вода-то поднялась, тяжело перевезти зараз столько народу, и лошадей, и повозку, да еще ночью...

— Ничего, дедушка Быра,— завизжала ему на ухо Анкуца.— Перевезешь по очереди. Сначала старшего ихнего и вот боярышню, что в повозке. За ними лошади переедут, а потом остальные.

Я, господин Костя, не мешаю, так только, слово сказала. Все будет исполнено, как ты прикажешь.

— Веди паром как следует и, смотри у меня, по сторонам не зевай! — повернулся господин Костя к старику.— Перевезешь сначала меня и сестру его светлости ворника Бобейкэ. А не исполнишь все как следует — башку оторву, слышишь!

Старик втянул голову в плечи и потащился к лодкам. А господин Костя, ласково приговаривая, снял с повозки боярышню Варвару, хрупкую, дрожащую от страха. Шагнула она к парому, а тут Анкуца подошла к ней, наклонилась и заглянула ей в глаза. Ворот заскрипел, наматывая канат, и вода зарябила, стала переливаться чешуйками света. Паром тихо пристал к тому берегу и застыл неподвижно, в полной тишине. Не слышно было оттуда ни звука, ни шороха. Только Анкуца, видел я, прислушивалась напряженно, а лунный свет блестел в ее глазах. Так я стоял, смотрел на нее и ждал — а потом отвернулся в страхе. Никто не уразумел, что́ там случилось, хотя потом долго кричали и звали и Анкуца, и все наши. Уж потом, на заре, крестьяне из Тупилаць снова перегнали паром на этот берег. В одной лодке мы нашли связанного старика. А в другой лодке — господина Костю, до крови затянутого веревкой, с просмоленным кляпом во рту. Когда освободили мы его от пут и вытащили кляп, закачался он из стороны в сторону, словно пьяный, и выплюнул на песок передние зубы вместе со сгустками крови. Уж так он был слаб, что пришлось людям уложить его на телегу, чтобы везти обратно. Очень я дивился этому происшествию и понял, что Анкуца, когда она глядела на луну, слышала все, что делалось на том берегу. А я так и не узнал, что там случилось, и господин Костя никогда не рассказывал. Не думаю, чтоб это было колдовство Анкуцы, хотя она и слышала все.

Верней всего, злодей этот, Тодирицэ Катанэ, подстерег там и искалечил господарева человека. Советоваться-то они советовались с Анкуцей там, около печи, да только не под силу женщине замыслить такое. От Анкуцы узнал я потом, что будто бы укрылся этот негодяй с боярышней Варварой на венгерской земле. Тогда я снова подумал, что все это с ее ведома сталось.

И долго капитан Некулай и конюший Ионицэ все думали с грустью о тех бесчинствах, что случились в городе Яссах и на берегу Молдовы.

СУД ОБЕЗДОЛЕННЫХ

Большой неуклюжий человек поднялся с кожуха, брошенного возле тележного дышла, и вразвалку подошел к костру.

Уже по одному тому, как он медленно передвигал ноги, словно сгребая ими траву, в нем сразу можно было узнать чабана. Об

этом свидетельствовали и его сермяга, и шапка из цельной овечьей шкуры, и широкий блестящий пояс, и в особенности рубаха, задубевшая от стирки в молочной сыворотке. В руках у него был длинный посох, который он держал за самый конец. Маленькие глазки едва виднелись из-под нависшего лба и густых бровей. Курчавые длинные волосы были смазаны маслом, а подбородок выскоблен обломком косы.

— Все я выслушал, и все это были занятные истории,— заговорил он густым басом.— Теперь одного мне хочется: узнать историю вон того — высокого, сухопарого путника.

После таких слов, обращенных к конюшему, всем стало ясно, что человек этот явился из глухих краев.

До этой минуты мы его даже не замечали; а он-то все время сидел рядом с нами и молчал. Молча прихлебывал вино, и вот теперь у него развязался язык, и ему захотелось повеселиться. Левой рукой он швырнул кружку прямо через пламя костра. Посудина зазвенела в темноте и разбилась в груде черепков, окончив свою жизнь.

— Теперь уж эта кружка не отведает больше вина! — ухмыляясь, снова заговорил чабан.— И мы с ней встретимся не раньше, чем я сам рассыплюсь прахом. Ну, тем, кто меня не знает, я скажу: живу я далеко, на Рарэу, и есть там у нас с товарищами овчарня и землянки, полные кадок с творогом и кислым молоком, да другие землянки, с попонами и кожухами. А зовут меня Констандин Мопок. Хотите знать больше, так скажу вам, что иду я в село на берегу Серета разыскивать, осталась ли еще у меня на свете кровная родня — сестра, которую я не видел с молодых лет. Коли она умерла, вернусь обратно, к овцам и товарищам, к своей печали,— туда, на самую макушку горы, где ветер никогда не знает покоя, словно дума человеческая.

А смеялся я потому, что вспомнил одного своего приятеля. Так вот, он наказывал мне, коль попаду на постоялый двор Анкуцы, чтобы выпил я там кружку вина, а за ней другую — и так до тех пор, пока в глазах не помутится, и тогда я уж никому не смогу рассказать, что когда-то с ним случилось в этих местах. Мне-то он говорил, как он настрадался, да ведь я столько выпил, да еще из этакой посудины, что уже теперь и не вспомню толком тот случай.

— Какой случай? — спросил, по своему обыкновению, конюший Ионицэ.

— Да уж такой случай, почтенный, такое происшествие было с человеком, который для меня все равно что брат. Эй, музыканты, подыграйте-ка мне на струнах удалую песню разбойника Василе, прозванного Великим. А потом, коли люди того захотят, расскажу им, как было, а не захотят — помолчу.

И неожиданно он запел, как-то в нос, тонким голосом — совсем не под стать его огромному телу.

— Эй, слушайте!

Тот, кто молод и удал,
Выйдет с тем, что бог послал,
На тропинку между скал.
Не с арканом, не с ружьем,
Выйдет просто с кулаком...

Я слушал, как тоненько выводит он слова, и меня разбирал смех. Мне было весело, я не против того, когда человек под хмельком. Чабан замолк и усмехнулся, скорее злобно, чем добродушно.

— А теперь пусть эти вороны замолчат,— сказал он громким басом,— и спрячут свои скрипки под крылья. Хочу поведать вам, ежели желаете, историю, о которой только что поминал. И я не я буду, если она не придется вам по душе.

Он вгляделся во тьму постоялого двора, поправил под мышкой посох, на который опирался по пастушьей привычке, потом повернулся к нам, насупился и обвел всех невидящим взором — казалось, весь он ушел в далекое прошлое.

Из нас один только конюший Ионицэ смотрел на него нетерпеливо и презрительно. Помилуйте, мол, вдруг ни с того ни с сего его заставил замолчать самый обыкновенный простолюдин, а ведь его чести самому хотелось рассказать о великих событиях.

Но чабану не было стыдно, да и где уж ему взять такие тонкости обращения!

— Что это я хотел сказать? — спросил он нас, улыбаясь как бы издалека, из своего одиночества.— По правде говоря, чем рассказывать, лучше бы я на дудке сыграл — только не умею. Значит, приходится говорить, уж как выйдет. Жил этот мой приятель в селе Фьербинць на Серете, а владел селом в те времена боярин, известный богатей, по имени Рэдукан Кривой. Боярин был человек пожилой и вдовец. Нет-нет да и приглянется ему какая-нибудь крестьянская женка, и мы, бывало, сами над этим лишь посмеивались да вошучивали. А вот как стряслась такая штука с самим приятелем этим, тут уж стало ему не до смеха. Дошло до него через каких-то кумушек, что его Илинку тоже позвал боярин к себе домой.

— Да может ли этакое статься? — вскипел мой приятель.

— А вот и может! И вернулась она домой с новой шалью, красной, как огонь.

Тогда этот мой приятель ощетинился, словно бешеная собака. Оставил он свои сани с мешками на дороге возле корчмы, швырнул на рога волам кнут и схватил топор. Глаза ему будто крова-

вый туман застлал. Бросился он домой, вышиб плечом дверь, схватил жену за горло и закричал на нее:

— Где была? Говори сейчас же, где была, а то топором искрошу!

— Нигде я не была, человече! Что с тобой стряслось? Спятил ты, что ли?

— Сказывай, куда ходила, не то зарублю! Где красная шаль?

— Какая еще шаль? Видать, ты выпил да заснул в санях, вот тебе и привиделось!

Он на нее кричит, а она отпирается, рвется от него, руками отмахивается и клянется без умолку. Схватил ее муж за косы и ну колошматить головой об угол печи. Да так ничего от нее и не добился.

— Режь меня, убивай, ни в чем я не виновата!

А приятель мой уж и бить ее устал. Опустились руки. Поглядел он, как жена плачет, и стало ему тяжко.

— Ой, Илинка,— говорит он,— будь она проклята, наша несчастная жизнь! Ведь мы только четыре года как поженились. Когда женились, деревья цвели возле нашего дома, а нынче цветы их осыпались и сердце мое льдом покрылось. А уж как я тебя любил и верил тебе, да вижу, что горько обманулся.

Тогда жена поклялась светом очей своих и могилой матери, что ума не приложит, о чем речь идет. Вытерла свой рот, разбитый в кровь, поцеловала мужа, успокоила его и послала за санями с волами. А только он ушел, накинула она на голову красную шаль, вышла садом в проулок — и прямехонько на боярский двор.

Подъехал парень на санях к амбару, снес туда мешки, а потом тоже пошел на боярский двор, чтобы приказчик записал все в свою книгу. Да вместо приказчика на крыльцо вышел сам боярин. Поманил этак моего приятеля пальцем, посмеивается и цедит сквозь зубы:

— А ну подойди-ка сюда, хозяин.

— Сейчас иду! Чего изволите, барин?

— Ах ты нехристь,— говорит помещик.— Что у тебя с женой? За что ты ее бьешь и истязаешь?

Приятель мой даже сразу в толк не взял его слов:

— Ничего не было, барин. Не пойму, откуда ваша милость про это знает и мешается промеж мужа и жены?

Не успел он договорить, как Кривой Рэдукан — раз ему кулаком в зубы!

Приятель мой только зажмурился, сначала ему невдомек было, а когда открыл глаза и увидел в окне Илинку в красной шали, все понял. Заревел он зверем, и таково ему стало, что хоть в колодец головой. Только не тут-то было! Схватил боярин арапник,

что висел за дверью в сенях, и огрел беднягу по шее да еще концом резанул по глазам, будто огнем ожег. Мечется приятель мой то вправо, то влево, захлебывается кровью, наконец кое-как вывернулся и скатился с лестницы, бежать хочет, да внизу его боярские холопы схватили.

Отбился он от них кулаками и с воем кинулся на хозяина. А Рэдукан Кривой снова как обожжет его хлыстом, да еще подмаргивает с насмешкой здоровым глазом:

— Не пускайте его, ребята,— говорит,— видите, бешеный! Чуть жену свою не убил.

Слуги набросились на него и схватили. Колотили они его, пока сами из сил не выбились, а потом отпустили.

После того он три дня провалялся больной; всю скамью от злости изгрыз, а потом поднялся и перелез ночью через забор во двор к боярину, чтобы жену разыскать. Долго подстерегал он ее возле людской — и все же дождался. Зарычал он от ярости и кинулся на нее, готовый разодрать ей глотку ногтями. Услыхал боярин из дома крик и вышел с кинжалом.

Рассвирепел Рэдукан Кривой, увидев такую дерзость,— ведь он-то хозяин! — и приказал слугам схватить моего приятеля и расправиться с ним за все как положено. Перво-наперво связали они ему руки за спиной и рот заткнули, чтобы не кричал. Да на всю ночь и привязали за шею к плетню, втиснув голову между кольями. Его рвали собаки, а под утро больно искусал крещенский мороз. Даже не пойму, как это он не помер.

Когда рассвело, боярин Рэдукан увидел, что парень все еще смотрит на него волком, приказал снять его с плетня и гнать арапником до самой мельницы. Там слуги его разули, завернув ему до колен порты, и сунули ногами в воду — пускай, мол, почувствует ее ледяные зубы, чтобы впредь не смел он бунтовать и грозить честному боярину.

Много еще пришлось моему приятелю вытерпеть,— прошел он через все муки, как тогда при боярских дворах заведено было. Бросили его в землянку поближе к огню — пусть поджарится. А чтобы не сбежал, забили ему ноги в колодки с пудовым замком. Дым из землянки не выпускали, да еще на уголья насыпали молотого перцу. Лежал он там, кашлял, кровью харкал, только господь бог захотел, чтобы он не погиб, а уже на этом свете настрадался, словно в геенне огненной.

Дело это, добрые люди, случилось лет тридцать тому назад. Но приятель мой не покорился, хоть, может, так к лучшему было бы. Долго оставался он калекой, и злость кипела в его сердце, а когда он сил набрался, бежал из села. Перешел он реку Молдову, перешел Бистрицу и поднялся на высокие горы под Рарэу.

Там, в горах, под елями, сидел он, глядел перед собой, как безумный, и снова видел то, что с ним случилось. Видел он все в пламени и крови, а сердце ему рвали стальные когти. Покинули его силы, стонал он только да корчился. Много лет пробыл он в работниках у чабанов, пока не пообвыкся в тех пустынных местах и не обзавелся овцами и баранами.

И вот однажды весенним вечером услышал мой приятель голос Василе Великого, как тот распевал в лесах песню, которую нынче спел вам я.

Когда Василе подошел к хижине, приятель мой сразу понял, что человек этот ушел от людей и скрывается в пустынных местах.

Стоял перед ним Василе, статный и гордый, брови насупил, и встретил его мой приятель ласково, потому что песня пришлась ему по душе. А когда узнал, что это Василе, еще пуще обрадовался, потому что по всему краю знали его имя и все трепетало перед ним там, в долинах. В те времена Василе Великий грабил на дорогах и переправах и собирал большую пошлину.

— Пожалуй, брат Василе, к моему костру,— сказал мой приятель.— Слыхал я о тебе и приму с радостью. Угощу чем бог послал и твоему гнедому подброшу доброго сенца. Найдется и попона — сделать тебе мягкую постель на ночь.

Обрадовался и гайдук. Он остался в хижине, и оба вскоре стали добрыми друзьями.

Все рассказал про себя Василе, а приятель мой поведал ему, что вышло у него с женой и боярином.

Услыхав его рассказ, Василе разгневался; сорвал шапку с головы и ударил ею оземь.

— Ну,— сказал он,— после этой твоей истории не зовись ты больше моим другом. Потому что вскормлен ты зайчихой и остался навсегда трусом!

— А что же мне было делать, брат Василе? — спросил бедняга.

— Я тебя научу, приятель.

Так сказал Василе и тут же у костра за кувшином черничной водки подал ему добрый совет.

— Вот что, парень,— сказал гайдук,— знай, что верности у женщин не найдешь. С тех пор как я стал гайдуком, я узнал им цену. Из-за такой, как твоя, ранили меня однажды стражники в левую ногу, и, как видишь, с тех пор я на нее припадаю. Что ж, коли бог создал женщину изменчивой, как вода, и слабой, как цветы, то хоть я браню ее, но прощаю ей. Зато никогда уж не забываю отомстить тому, кто меня не пожалел, кто глумился надо мной. Сделай и ты так, а не то задушит тебя ядовитая злоба, которой ты полон.

— Правда твоя, душит меня злоба! — вскричал мой приятель.— Буду я тебе слугой, брат Василе. Только научи, как быть, чтобы стало мне легче!

Рассказывая это, чабан совсем разошелся и теперь, в отсветах огня, то и дело встряхивал головой и размахивал руками. Даже другим голосом заговорил, кричать начал, да так, словно он был один. Однако даже конюший Ионицэ слушал его так же внимательно, как и другие,— видимо, перестал на него обижаться.

— И вот, как я вам говорил,— воскликнул Константин Моцок,— научил Василе Великий того приятеля!

— Оставь на неделю овец на своих товарищей,— сказал он.— Оставь на чабанов и кадки с творогом, и собак. Возьми только лошадь да сунь в переметные сумы два круга сыра, чтоб нам было чего поесть. Поедем с тобой верхами, как два заправских купца, до Бистрицы и еще дальше, до Серета, чтобы и я мог повидать то село, где случилось все, о чем ты рассказываешь.

Говорит это гайдук и смеется, а приятель мой чувствует, как трепещет сердце его великой болью и великой надеждой.

Оставил он на товарищей свое добро, покинул луга и ели, прохладные ручьи и поляны, оседлал коня и спустился с гайдуком к людям на равнину.

Узнать их никто не узнал. Так и ехали они, совсем как два заправских купца, до самого Серета, до села Фьербинць, закусывали сыром да черствым хлебом и запивали водой из колодцев. В четверг утром, на святой праздник вознесенья, вышли они оба на дорогу, к церкви, как раз когда народ от обедни расходился.

Тут-то среди людей приятель мой и узнал Рэдукана Кривого. У него даже дыхание перехватило, да он сдержался.

— Друг Василе,— сказал он.— Вот он, хозяин мой, что так меня приголубил.

— Этот? — переспросил гайдук.— Ну, хорошо! — И, поднявшись на стременах, закричал грозным голосом: — Люди добрые, стойте!

Люди остановились.

— Православные, люди добрые,— еще громче крикнул Василе Великий,— стойте тихо и спокойно, потому что против вас я никакого зла не имею. Я разбойник, Василе Великий. Имя мое вы знаете и о делах моих слышали. При нас пистолеты, и мы никого не боимся, да еще и другие мои товарищи стоят недалеко на страже.

Люди зашептались между собой и покорно подались в сторону. А боярин выпростал бороду из-под воротника шубы, и в здоровом его глазу вспыхнул смертельный испуг: видать, узнал он моего приятеля.

— Приехали мы сюда суд вершить по старому обычаю,— снова заговорил гайдук.— До самого страшного божьего суда не находим мы правды ни у исправников, ни у Дивана. Так будем сами, своими руками творить суд и расправу. За женщину мы тебя прощаем, светлейший боярин, но мы дрогли на морозе, с головой, втиснутой между кольями плетня, мы стояли по щиколотку в ледяной воде, наши ноги были забиты в колодки, глаза наши выедал дым от перца, и кашляли мы так, что душу выворачивало. Ты сек нас арапником, вырывал нам ногти. Ты отравил всю нашу жизнь, и каждый день мы вспоминаем об этом, не находя себе ни утешения, ни избавления! Мы здесь, боярин, чтобы за все отплатить тебе сполна!

Рэдукан Кривой, уразумев, в чем дело, выпучил глаз и заорал на своих прислужников и всех, кто тут был. Заметался он во все стороны, убежать хотел, но гайдук и мой приятель зажали его между своими лошадьми, повалили наземь, соскочили с седла и всадили в боярина ножи. Приятель мой стоял над ним до тех пор, пока не запенилась в пыли лужа крови. А когда боярин перестал хрипеть и испустил последний вздох, он пнул его ногой и перевернул лицом вверх, открытым глазом к небу. И никто из людей не сказал ни слова, все стояли в страхе, свидетелями на этом суде.

Вот как оно было. Оставили они возле мертвого, на помин души, свой кошель, а в нем восемь золотых, все, что у них имелось. А затем снова сели на коней и при весеннем солнышке в этот погожий день покинули они село и поехали тайными тропами, пока снова не поднялись к своему зеленому лесу.

Окончил чабан рассказывать и вздохнул над костром, словно хотел излить из души все остатки горечи. Посмотрел на нас угрюмо, увидел, что мы молчим, и засмеялся суровым смехом. Потом шагнул в сторону, к своему кожуху, и снова, как и прежде, погрузился в свою печаль, словно в горный туман, без радости и без света.

КУПЕЦ С КРАСНЫМ ТОВАРОМ

Наконец настал долгожданный час, когда мне предстояло великое удовольствие — выслушать рассказ уважаемого конюшего Ионицэ из Дрэгэнешть, как вдруг сквозь вечернюю мглу послышались крики и шум на Сучавской дороге. Все мы, сидевшие у костров, сразу повернули головы в одну и ту же сторону. И первым, кто отставил кружку и поднялся на ноги, был конюший.

— Это что там такое? — в недоумении обратился он к нам.

Мы сами не знали, что бы там могло быть, и ничего не ответили.

Конюший шагнул поближе к дороге. Из своей комнаты показалась с большим фонарем Анкуца. Она держала фонарь на высоте груди, и его свет румянил ей лицо. При этом розоватом свете глаза ее казались еще больше и чернее. Спустившись по ступенькам, она поспешила к дороге. Видно было над темной фигурой только ее освещенное лицо, словно плывущее в воздухе.

— Должно быть, это какие-нибудь возчики, друг Ионицэ,— предположил капитан Исак.— Будешь возвращаться на свое место, смотри не опрокинь кружку, вино вещь хорошая, хоть и недорогая.

— Да, возчики, должно быть,— подтвердил рэзеш.

И впрямь, это были возчики. Послышались грубые голоса, останавливающие волов: ахо-ахо! И фонарь, блеснув в темноте, внезапно осветил повозки с поднятым верхом, словно появившиеся из-под земли. Люди, одетые в белое, двигались, то появляясь, то исчезая. Кто-то ласково воскликнул:

— Здравствуй, хозяюшка Анкуца!

— Добро пожаловать,— ответила хозяйка тем нежным голосом, к которому мы так привыкли. Подняв фонарь обеими руками над головой, она наклонилась, чтобы получше рассмотреть гостей. Тут показался при свете сальной свечи бородатый мужчина в шапке и в широком кафтане и пошел навстречу хозяйке. Округлая борода его была аккуратно подстрижена; полное, пухлое лицо дородного человека расплывалось в улыбке.

— По-моему, он купец,— решил капитан Некулай Исак.

Хозяйка узнала гостя, и голос ее ласково журчал то громче, то тише.

— Никак, это ты, господин Дэмиан? Уж тебе-то я особенно рада,— прошу под нашу крышу. Прикажи возчикам, пусть переедут через мостик, да осторожней, чтобы не провалились. Пусть располагаются под навесом,— сам знаешь, там можно запереть ворота, словно в крепости, и ни о чем не беспокоиться, будь в тюках хоть золото.

— Нет у меня золота, хозяюшка дорогая,— рассмеялся купец.

— Знаю, господин Дэмиан: у тебя, наверно, подороже вещи, да и о них не беспокойся. У знакомых тебе ворот сидят, отдыхают у огня добрые люди, молодое вино пробуют. Зарезала я жирных цыплят и сегодня вынула из печи свежий хлеб. Все тебе будет по сердцу, я же знаю, что любишь ты хорошую компанию.

Тут возвысил голос рэзеш Ионицэ:

— Коли он такой человек, то мы с великим удовольствием освободим ему место и с радостью попросим к нашему огоньку.

— Это конюший Ионицэ из Дрэгэнешть,— проворковала Анкуца, словно голубка.

Купец поклонился конюшему и темным фигурам у огня.

— Это для меня большая честь,— проговорил он,— прошу считать меня вашим покорным слугой. Только сперва надо мне устроить товар и присмотреть, чтобы люди и волы были сыты. А потом уж с превеликой радостью разделю с вами трапезу и выпью кружку молодого вина. Ибо, как в книгах пишется, вино смягчает сердце человека и укрепляет тело его.

Конюший повернулся к нашему костру и от чистого сердца сказал:

— Нравится мне этот купец.

— Твоя правда, уважаемый конюший,— подтвердил дед Леонте.— Если человек при первой же встрече так словоохотлив и весел — значит, нет в нем ни лукавства, ни скрытности. А особенно если бог сподобил его родиться под знаком Солнца, под созвездием Льва, то нет ему препятствий в достижении богатства и благоволения высших. Дела его достойны и приносят ему удачу, и хотя он будет гордо выступать в сапогах со скрипом, но сам всегда останется ласков и дружелюбен...

— Что ж, дед Леонте, вот мы и спросим его, под каким знаком Зодиака он родился,— весело решил конюший.

— Ежели воля твоей милости такова, чтобы спросить его, я не противлюсь...— согласился звездочет.

При свете фонаря Анкуцы возы и возчики перебрались через мостик. Мы насчитали три огромных, тяжелых, скрипучих воза, покрытых дерюгой. Крестьяне подгоняли волов: гей-гей! Негромко хлопали веревочные бичи. Вот проехали возы и исчезли под черным навесом постоялого двора. Еще доносились певучие голоса, упало одно ярмо за другим, потом зазвенел тонкий веселый голосок хозяйки. После этого подошел к нам, шагая вразвалку, купец, высокий и толстый, в своем широком кафтане и в сапогах со скрипом.

— Желаю всем доброго вечера и благополучия! — сказал он.

— Спасибо твоей милости,— ответил ему конюший.— Присаживайся, почтенный господин Дэмиан.

— Зовут меня Дэмиан Кристишор, купец я, держу лавку в Яссах на главной улице.

— Вот и славно. Так что попрошу я тебя, почтенный господин Дэмиан, присаживайся сюда, на бревно, рядом со мной; при свете костра посмотрим мы на тебя, а ты на нас, чтобы лучше познакомиться. Вот этот мой старый и мудрый приятель дед Леонте, звездочет, говорит, почтенный господин Дэмиан, что родился ты под созвездием Льва, и нам очень хочется услышать, правда ли это.

Купец поморгал глазами, словно огонь ослепил его, и с удивлением посмотрел вокруг.

— Правда, так оно и есть,— признался он.— По воле божьей, день рожденья моего — восемнадцатого июля.

— Будь добр, скажи нам еще, не под знаком ли Солнца был год, когда ты родился?

— Не смею скрывать, это так,— подтвердил изумленно почтенный купец.— Родился я в год от рождества Христова тысяча восемьсот четырнадцатый. Как и откуда могли вы все это узнать?

— Ты недаром удивляешься, приятель,— улыбнулся конюший,— а мы-то еще больше дивимся: ведь совсем не зная тебя, только тень твою увидав, поведал дед Леонте всю правду. И мало того — он сказал, что выйдешь ты к нам, скрипя сапогами, и так оно сразу и сбылось.

Увидев, что все мы широко раскрыли глаза, дед Леонте встал со своего места с кружкой в руке.

— Почтеннейший конюший,— сказал он твердо,— и ты, господин Дэмиан, удивление ваше передо мной будет много меньше, если я вам скажу, что только господь бог и книга, которую ношу я в сумке, просветили меня во всех моих предсказаниях. Ибо от бога и от этой мудрой книги ничто не укроется. Я, как человек, могу ошибиться. Книга же моя не ошибается. И говорит книга, каков с виду человек, родившийся под таким-то знаком, под такой-то звездою, а я по виду человека узнаю, под какой планидой родила его мать. Открыв книгу, могу рассказать я и о многом другом: о супружеской жизни, о богатстве и чести, о здоровье и сроках жизни, но знание мое не может проникнуть повсюду. И мог бы я, почтенный господин Дэмиан, сказать еще, что понравится тебе вино и наша компания, но вот если б спросил ты меня, откуда едешь ты, из Львова или Лейпцига, с товарами из немецкой стороны,— этого я бы уже не мог сказать.

— Везу товар из Лейпцига,— охотно объяснил купец.

— Ну и хорошо. Будь здоров и дай тебе господь всякого прибытка. Осуши с нами кружку вина.

Перестав удивляться, господин Дэмиан Кристишор выпил за наше здоровье и показал себя веселым и дружелюбным человеком. Потом он получил от Ancуцы на глиняной тарелке жареного цыпленка и свежий хлеб. Не понадобилось много времени, чтобы увидеть в этом проезжем купце доброго товарища в тех занятиях, которым мы предавались.

Когда под навесом затихло всякое движение и возчики, завернувшись в кожухи, улеглись под телегами между колес, купец, словно запрятав все заботы в глубокие карманы своего кафтана, разошелся вовсю и осушил новую кружку в честь капитана Неку-

зая. Казалось, что больше всех понравился ему однодворец из Бэлэбонешть.

— Если хочешь, капитан Некулай,— сказал он,— я расскажу тебе обо всем, что видел в чужих странах. Будучи приписанным, по воле всевышнего, к такому почтенному сословию, как мое, я мало-помалу вот уже несколько лет как достиг благополучия и даже некоторого богатства. И подумал я тогда, что настало время подняться мне своими силами еще выше, как это делали и другие бывалые купцы, и решил, что надо и мне поехать в Лейпциг. До этого ездил я по ярмаркам и скупал товары у немецких и еврейских купцов. Но потом я сообразил, что лучше мне самому получать их прибыток. И вот два года тому назад попробовал я съездить во Львов. И, вернувшись с прибылью, задумал я в нынешнем году отправиться еще дальше — в Лейпциг. Так вот, в день приснодевы Марии поставил я четыре больших свечи чистого воску перед образом святой Параскевы в храме Трех святителей. Заказал я отцу Мардаре прочитать на дорогу молитву от опасностей и болезней. Опустился и я на колени перед гробом святой, моля ее о помощи. Обнял я Григорицэ, своего младшего брата, оставил его в лавке, а сам сел в повозку и отправился в Хушь. Там переехал я Прут и представил русским начальникам свои бумаги. Около Тигины на Днестре повстречался я с одним купцом, армянином, русским подданным, с которым еще раньше вел я дела. Посоветовавшись и сговорившись друг с другом, купили мы там же, в Тигине, пятьсот баранов — славный, добрый товар. Платили мы по рублю за голову. И сразу же, не мешкая, взяв четырех работников, погнали мы своих баранов вверх по Днестру. Безо всякой помехи перешли мы немецкую границу и направились в Черновицы. Оттуда во Львов. Во Львове погрузили наш товар на поезд, и через несколько дней достигли мы Страсбурга и продали там баранов по золотому за голову: перекупили их другие купцы, чтобы отправить в город, который зовется Париж.

— Гуртом или поездом? — спросил капитан Исак.

— Поездом, почтенный капитан. По этим странам — у немцев да и у французов — ездят теперь на поездах. Сегодня здесь, а завтра — бог знает где.

— Как это — поездом? — спросил кто-то сердитым басом.

Я повернулся и увидел пастуха с Рарэу. Смотрел он хмуро, исподлобья. По правде сказать, и я, и все остальные очень хотели узнать, что это за машина, о которой говорит купец. Только конюший и капитан Исак, казалось, знали, о чем идет речь. Но и они не прочь были выслушать объяснение, которого мы ожидали.

— Не знаете, что такое поезд? — спросил, смеясь, господин Дэмиан.

— Знаем,— неуверенно произнес конюший.

— А я не знаю! — упрямо сказал пастух.— Кто знает, что за немецкая мерзость может это быть!

— Настоящая мерзость и чертовщина...— добродушно расхохотался купец.— Это вроде домиков на колесах, а колеса катятся по железным брусьям. Так вот, по этим железным брусьям как ни в чем не бывало их тащит машина, и только диву даешься, как это она со свистом и пыхтеньем движется своей силою — огнем.

— Без лошадей? — спросил дед Леонте.

— Без.

— Этому я уж не поверю! — буркнул пастух. А дед Леонте перекрестился.

— Почему не поверите? — примирительно сказал конюший.— Я об этом уже слышал, и приходится верить. Правда, видеть не видел.

— А я, говорю вам, сам видел,— весело настаивал купец.— Машина сама движется, огнем,— и тащит за собой домики. А в этих домиках люди или товары. И баранов из Тигины погрузили мы тоже в такие домики. Катят они себе ладно, без тряски, без заботы, только шум такой, что при разговоре люди должны кричать друг другу, как глухие.

— Гм,— пробормотал чабан.— И ты ездил на этой огненной повозке?

— Ездил. А чему тут дивиться, если я видел вещи еще удивительнее.

— Какие такие вещи еще удивительнее?

— Послушайте только. Там, в немецкой стороне, в городах жилье стоит над жильем в четыре, а то и в пять ярусов.

— Значит, один дом на другом? Слыхал я об этом, да не верилось.

— Почему не верить, когда там и вправду так. Но это что! Видел я и другое, еще удивительней: есть там улицы, цельным камнем покрытые.

При этих словах мы молча переглянулись.

— Да. А немцы со своими барынями выходят и прогуливаются по краям улицы. На всех барынях шляпы, а у мужчин у всех — часы. Не только у господ, но и у бедных мастеровых.

— Часы мне не диво...— прервал дед Леонте.— А вот женщины в шляпах, по правде сказать, это мне не нравится.

— Да что поделаешь? — сказал конюший.— Такие уж там порядки. А еще что видел ты, господин Дэмиан?

— Ну, другого я ничего не видел, кроме большой ярмарки, там, в Лейпциге. Преогромная ярмарка, и все на свете там есть: и комедианты, и музыканты, и всякие там немцы кишмя кишат,

пиво пьют. Кто не пробовал, добрые люди, этого пойла, пусть не жалеет. Вроде горького щелока.

— Вот как? — развеселился конюший.— А вина они и не знают?

— Может быть, знают; но я такого вина, как наше, не видывал и очень по нему соскучился.

— Вот как? А что ты там ел? Думается мне, господин Дэмиан, что приходилось остерегаться и кошек, и лягушек, и крыс.

Чабан изо всех сил сплюнул в сторону и вытер рот, сначала одним рукавом кожуха, затем другим.

— Уж я не так и остерегался,— сказал купец,— потому что этой живности я и не видел. Одна картошка, с вареной свининой или говядиной.

— Вареное мясо? — удивился капитан Исак.

— Да, вареное мясо. И пиво, то самое, про которое я вам говорил.

— Значит,— продолжал однодворец,— цыпленка на вертеле ты не видал?

— Да нет.

— Ни барашка, жаренного «по-разбойничьи», с чесноком?

— Совсем нет.

— Ни голубцов?

— Ни голубцов, ни борща, ни карпа на вертеле.

— Господи, спаси и помилуй! — перекрестился дед Леонте.

— Коли так, коли у них ничего этого нету,— продолжал капитан Исак,— то их чудеса не очень уж мне любопытны. Пусть остаются со своими поездами, а мы со сторонкой молдовской.

Развеселившись при этих словах, подняли мы кружки за господина Дэмиана Кристипора с его кафтаном, бородой и пухлыми щеками. И кричали мы во всю глотку, каждый на свой лад.

— Но у этих немцев есть и кое-что хорошее,— одобрительно заметил купец,— перво-наперво у них ученье в большой чести.

— Вот это неплохо,— подтвердил конюший.

— В каждом городе, в каждом селе, почтенный конюший Ионицэ,— школа и учители. И все учатся.

— Тогда кто же овец-то пасет? — пробурчал чабан, а мы снова рассмеялись.

— Все учатся: и мальчики и девчонки.

Конюший нахмурился:

— Как, и девчонки? Ну, этот обычай тоже при них пускай остается.

Все мы, понятно, были заодно с конюшим. И мы снова закричали так, что, пожалуй, было слышно и в немецкой стороне.

Купец, сохранивший больше спокойствия, улыбался и ожидал, когда мы замолчим. После того как мы утихли, он продолжал:

— Есть еще у этих немцев, почтенный капитан, хороший порядок и закон. Познакомился я там с одним мельником, который судился из-за клочка земли с самим императором. А потому как правда была на стороне мельника, то судьи и присудили землю ему, а не императору.

— В это я опять не поверю, как и в огненную телегу! — вновь закричал пастух Константин.

— А я верю, и это мне нравится,— откликнулся рэзеш.

— Пробыл я там, почтенный конюший, три недели и на многое насмотрелся, и не понравилось мне, что они еретики. Хотя верят-то они тоже в господа нашего Иисуса Христа.

— Почему же они еретики?

— Еретики,— так сказал мне отец Мардаре из храма Трех святителей.

— Раз так, то, значит, еретики, ничего не поделаешь! — согласился конюший.

Подосадовали мы на этот изъян у немцев и продолжали слушать рассказ купца о его странствиях.

— Ездил я у немцев,— говорил он,— по дорогам и по городам, и никто не чинил мне убытка; ни простой человек, ни императорский чиновник. На огненной телеге, как говорит этот недоверчивый человек, новез я свой товар во Львов. А во Львове погрузил его на немецкие телеги. В Сучаве же перегрузил его на эти повозки кордунские. В Корну Лунчий с радостью въехал я в молдовскую страну. Заплатил я господареву пошлину, а таможенники спрашивают меня, не привез ли я и им какие-нибудь подарки от этих немецких негодников и еретиков. Тогда сунул я руку в правый карман кафтана и вытащил для обоих таможенников по красному платку. Я уж заранее припас, чтобы мне тюков не вспарывать. Удовольствовавшись платками, пропустили они меня. И ехал я спокойно почти до самой Бороая. А там выехал из долины Молдовы всадник, красивый человек, статный, и рукой подает мне знак остановиться. Я понял, что если не остановлюсь, то подаст он знак из пистолетов. Стою, поджидаю его, подъехал он к моим возам и спрашивает, кто я, откуда еду и что за товар везу. Я ему все рассказываю, словно судье, и его спрашиваю, кто он такой. Он мне ответил: «Погляди на меня. Я разбойник и состою при этой большой дороге. Выкладывай деньги, что есть при тебе».

— Добрый человек,— говорю я ему,— дам я тебе товаром, потому что денег у меня нет. Что оставалось у меня, роздал я возчикам, а до моего дома еще два дня пути.

— Вот как? Тогда скажи, что за товар у тебя.

— Что у меня за товар? Товар у меня из Лейпцига, из немецкой страны. Всякие кружева, бисер, серьги и ткани для женских надобностей.

— А к чему мне все это? — говорит разбойник.— Что же, не нашел ты ничего у тех поганцев для такого молодца, как я?

— Да если не прогневаешься и понравится тебе, припас я и для тебя кое-что, добрый человек,— говорю я ему.— Пожалуйста, вот тебе красный платок индийской шерсти, какого во всей стране ни у кого не найдешь. Особенно всаднику он к лицу!

— Покажи! — требует разбойник.

Я тут же вынимаю из кармана кафтана третий платок и протягиваю ему. Очень обрадовался молодец. Взял он платок, сказал спасибо и поехал.

Довольный, что так отделался, доехал я до села Дрэгушень, тоже на берегу Молдовы. Остановился я с возами на привал, а людям приказал развести костер и сварить на скорую руку мамалыгу. Пока доставал я брынзу и они вываливали из котла мамалыгу, является вдруг стражник и от имени начальства требует бумаги.

Что ж вам сказать? Уж у меня хорошие бумаги были, особенно письмо от моего крестного, боярина Фемистокла Букшана. Вытаскиваю и показываю бумаги и, главное, письмо под нос сую.

А в этом письме так говорится:

«По повелению его высочества господаря, исправники, стражники, таможенные досмотрщики и сельские старосты, кто бы ни были, да не смеют нанести ущерб этому купцу и пропустят его с миром куда нужно. Быть по сему!»

Вытаращил стражник глаза на печати и на подпись и крутит носом.

Говорит:

— Ты, господин, едешь из немецкой страны?

Отвечаю:

— Да, еду из Лейпцига.

— А что за товар везешь?

— Да что за товар? Разные кружева, да бисер, да серьги, да полотна, да ситцы — все для женщин.

— Только и всего? — говорит он.— А что делать с подобными вещами такому холостяку, как я?

— Ничего,— отвечаю я ему, улыбаясь,— если ты не прогневаешься, почтенный стражник, припас я кое-что и для тебя, только бы понравилось. Есть при мне, кроме женских безделушек, красный платок из индийской шерсти, лучше его и на свете нет.

— Покажи,— торопит меня стражник. Я вытащил четвертый платок и отдал ему. Ушел он и даже спасибо мне не сказал. Так-то вот, друзья мои,— добродушно закончил купец.— Заплатил я

подати и пошлину, и теперь путь для меня свободен до самых Ясс. А там еще нужно будет поднести дар святой Параскеве и отцу Мардаре. Нужно будет найти что-нибудь подходящее и крестному моему, боярину Букшану. А потом можно будет отдохнуть в своем доме и в лавке, пожиная плоды от трудов своих и дожидаясь того времени, когда суждено будет мне жениться, потому что, доложу я вам, я еще холост.

Мы снова закричали хором, сдвинув кружки перед самой бородой почтенного купца. На этот шум вышла Анкуца — казалось бы, в испуге, но исподтишка улыбаясь. На деревянном блюде принесла она пироги с творогом. Тут мы еще больше развеселились и зашумели. Дэмиан Кристинор, торговец, повеселев от молодого вина почти так же, как мы, поднялся, запустил левую руку в глубокий карман своего кафтана и вытащил нитку бус. Подойдя к хозяйке, он надел бусы ей на шею и застегнул на затылке. Потом, сделав шаг назад, посмотрел на нее с восхищением.

— Хозяюшка Анкуца,— сказал он,— пусть тебе все твои гости сами скажут. Пускай ответят, видали ли они когда-нибудь более славные бусы на более красивой женщине!

Взяв ее за голову, он расцеловал ее в обе щеки. Но Анкуца, поставив блюдо, выскользнула из объятий купца и бегом бросилась к дому.

НИЩИЙ СЛЕПЕЦ

Из-за возов лейпцигского купца вышли на свет старуха и старик. Женщина шла впереди, старик, подняв чуть-чуть голову, словно прислушиваясь к громкому разговору у нашего костра, шел немного сзади.

Старик был слеп, это я сразу понял, как только взглянул на него. Казалось, что старуха тянула его за собой на веревочке. Но он, следуя за ней, шел совершенно безошибочно на запах жареного мяса и на гомон людских голосов.

Голова у старухи была повязана белым платком. Одета она была в шерстяную домотканую юбку и кацавейку. Слепой тоже был одет, как горец: на нем была черная маленькая шляпа, белые штаны и рубаха, а на плечи наброшен кожушок. Под кожушком он придерживал левой рукой волынку, рожок, который свисал вниз...

Почувствовав, что он уже близко к костру, слепой остановился, старуха же продвинулась еще немного вперед. Старик застыл на месте, и огонь освещал его неподвижное лицо, обрамленное белой бородой.

Никто из моих приятелей даже внимания на них не обратил. Только почтенный купец из Лейпцига, узнав их, рассмеялся:

— Тетушка Саломия,— обратился он к старухе,— ты все еще не избавилась от слепого деда? Как я погляжу, он ходит за тобой, как привязанный.

— Правда, правда, ваше степенство,— живо откликнулась она, но ее пронзительный голос прозвучал доброжелательно.— С той поры, как я вышла из Рэдэуци, он, словно тень, за мной увязался. Требует довести его до Ясс и там оставить. Вы можете подумать,— обратилась она ко всем собравшимся,— что он мне муж или брат. Но я уже давным-давно забыла и про мирскую суету, и про родственников. Только и дум у меня что о своих заботах. Я вот пристала к обозу господина купца, чтобы добраться до святой Параскевы — в стольном городе, положить ей на гроб серебряную денежку и поведать ей о моем горе. А он, убогий, потащился за мной... Вон даже храбрости набрался подойти поближе к вашему костру. Он старик хитрый и надеется, что вы прикажете ему сыграть что-нибудь на волынке. Я его уговаривала укутаться с головой в кожушок да и завалиться спать под телегой, но он и слышать не хочет.

Старик ухмыльнулся, обратив к огню слепые белки глаз.

— Люблю я, когда веселые люди собираются,— заговорил он низким приятным голосом.— Люблю я и молодое вино, и цыпленка, жаренного на углях. А больше всего люблю я слушать разные истории. Да и сам могу кое-что рассказать про минувшие времена. Господь бог решил меня наказать и лишил при жизни света очей моих, вынудив протягивать руку, чтобы у добрых христиан просить себе на пропитание. Уж такова воля господня, но и обо мне он заботится, как о земляном черве. И потому я понял, что грех мне жаловаться, а нужно принимать все как оно есть.

Конюший Ионицэ повернулся к слепому. Окинув его взглядом, он с удивлением спросил:

— Ты жалкий нищий, а говоришь, что любишь цыплят, жаренных на углях.

— Люблю, господин и брат мой,— раздался в ответ добродушный голос слепого.

— И вино любишь?

— И молодое вино, которое и теперь мне щекочет ноздри, тоже люблю.

— А истории всякие сказывать можешь?

— Могу, как и всякий другой человек. Что ж тут такого?

— Думается мне, что ты только хвастаешь, потому что таких историй, как я да мой друг капитан Некулай Исак, никто во всей Молдове не знает.

— В этом я вам перечить не буду, хозяин.

— Тогда молчи, а я вот расскажу самую интересную и самую чудесную историю, какую только можно услышать.

— Расскажи, хозяин, а я послушаю и буду прихлебывать молодое вино, которое ты теперь наливаешь в свою кружку. А тебе хозяйка другую кружку принесет, и ты ее наполнишь. А если будет что-нибудь другое, что полагается к вину, так я с еще большим удовольствием буду слушать. А потом если ты соблаговолишь послушать меня, то я сыграю на волынке и спою песню.

— Значит, ты, слепой и убогий, не только есть и пить можешь, но еще и песни петь?

— Божьей милостью и это умею, хозяин. И еще кое-что могу.

— Ишь ты? А волынка твоя хорошо играет?

— Хорошо, господа и братья мои. Прямо как человеческим голосом.

— И так бывает. Ладно, ты мне сыграешь, что-то захотелось мне здесь, у Анкуцы, песню послушать. Время уже позднее, вон Большая Медведица высоко поднялась в небе. Слышу еще, как и петухи у Анкуцы хлопают крыльями и горланят. А того, у которого голос похуже, я хотел бы завтра утром в горшке со щами получить.

— Петухи поют,— назидательно произнес слепой,— чтобы отогнать злых духов и всякую нечисть, что бродит вокруг.

Общий разговор на минуту смолк, все прислушались, как хлопают крыльями и кричат петухи. Сначала они кукарекали только поблизости, во дворе у Анкуцы, потом петушиный крик послышался издалека, откуда-то из-за реки.

Анкуца принесла конюшему новую кружку.

— Брат Ионицэ,— произнес капитан Исак.— Тебе Анкуца подала новую кружку, а мне подарила улыбку. Значит, мне больше повезло, чем тебе.

Польщенная Анкуца засмеялась.

— Тогда прежнюю кружку,— решил конюший,— нужно отдать слепому, пусть он сыграет мне песню.

— Обязательно сыграю, хозяин.

Старуха, которая привела с собой нищего, казалось, рассердилась без всякого повода, когда старик, вытянув руки вперед, шагнул поближе к нам.

— Просто в толк не возьму, как это всякие увечные и нищие могут мешать людям, которые веселятся!

— Не сердись, сестра Саломия,— повернулся к ней слепой.— Всякая злость, она от нечистого.

— Никакая я тебе не сестра,— оборвала его старуха, поджав губы и отворачиваясь в сторону.

— Что ты мне не сестра, это правда, потому что сам я в этом

мире всего лишь бедный странник. Красив он, этот мир, но я его уже не вижу. Цветет он, но я уже ничего не чувствую. Припомни лучше, Саломия, те времена, когда ты носила жемчужное ожерелье, будь доброй, как и тогда, и не сердись на меня.

Старуха замолчала, а Анкуца рассмеялась.

— Как? Разве ты знаешь, каким бывает жемчуг? — удивился конюший Ионицэ.

— Знаю. И мне довелось один раз увидеть, как блестит жемчуг, хозяин. Это драгоценный камень, который находят в море, в раковинах. Вот в такую же тихую осеннюю ночь, как и теперь, выползают раковины на берег и раскрываются при лунном свете. Та, в которую попадет капелька росы, захлопнется и уйдет в глубину. Из этой-то росинки и родится жемчужина.

— Да этот слепой мудрец, как я погляжу! — проговорил кунец, расправляя свою бороду и склоняясь над кружкой.

Все заерзали, словно хотели придвинуться поближе к огню. Слепой отвернулся и хлебнул вина. Потом он снова обернулся к нам, и бесконечная ночь, в которой он пребывал, осветилась улыбкой. Он поставил кружку на землю и уселся по-турецки рядом с ней. Подтянув к себе ближе волынку, он глубоко вздохнул и стал надувать ее меха. Прижав инструмент левым локтем, он надавил на него, и волынка издала короткий стон, словно ей стало больно. Потом старик что-то забормотал и стал напевать старинную песню.

— Это песня про овечку,— проговорил слепой, поворачивая к нам свое улыбающееся лицо.— Если желаете какую-нибудь другую, хозяин, эту я могу спеть потом.

— Пой эту! — решительно и мрачно произнес чабан. Капитан Исак, усмехнувшись, посмотрел куда-то поверх наших голов.

Музыкант еще туже надул мех, и пальцы его быстро забегали по отверстиям дудки, извлекая из нее старинную печальную песню. Подняв невидящие глаза к звездам и выпустив рожок волынки, старик запел. Он пел про трех чабанов, которые гнали свои отары с гор. Двое из них задумали недоброе против самого молодого:

Среди гор, высоко,
Слышно издалека —
Чабаны гуторят,
Словно громко спорят.
Слышен шум и гомон —
Овцы идут к дому...

Волынка издала старинный призыв. У меня было такое ощущение, что во мне бьется сердце людей, которые некогда жили, а теперь исчезли с этой нашей земли. Я впервые в жизни слышал

эту пастушескую песню. Я слушал про овечку, которая жалобным человеческим голосом предупреждала хозяина о злом умысле...

Тайно меж собою
Сговорились двое:
Только тьма настанет,
Как тебя не станет.
Ляжет тень на кручи,
Соберутся тучи
Над горой, над речкой —
И заснут овечки...

Остальные стихи я слышал как бы сквозь плотный туман, среди которого раздавался жалобный голос волынки. Я все еще прислушивался, хотя сморщившиеся меха волынки, словно никому не нужный зверек, лежали уже у ног слепого, а он сам жадно отрывал зубами мясо от куриной ножки и заглатывал большие куски сразу. Невидящие белки, казалось, стали еще больше в его темных глазницах. Опорожнив до конца и кружку, он снова затих, повернувшись к нам лицом.

И мрачный, простодушный чабан из-под Рарэу, и монах, который направлялся к святому Харалмбие, плакали, не стыдясь своих слез. Значит, и я могу без стеснения рассказывать об этом событии, когда и у меня чужие вымыслы вызвали слезы.

— Если желаете, хозяин, я могу спеть и другие песни, получше этой,— заговорил нищий.

— Если знаешь такие, что лучше этой, так зачем же ты тогда эту пел? — прозвучал сердитый голос конюшего Ионицэ из Драгэнешти.

— А вот почему, братцы мои и господа,— ответил старик.— Ведь я ослеп, когда был совсем мальчонкой. Пришлось мне покинуть родное село и пойти по людям. Случилось мне как-то зимой наткнуться на берегу Прута на огромную отару. Пригрелся я возле старых пастухов, около их огня, который никогда не потухал. Эти старые пастухи в степи, сидя у костра, и научили меня этой песне. Но они с меня взяли клятву, чтобы я ее никогда не забывал и всегда, как стану играть на волынке, перво-наперво играл эту песню.

Когда я расстался, дорогие мои братья и хозяева, с теми пастухами, перешел я на другой берег Прута, вместе со стариком нищим, к которому попал я в услуженье. Он не был настоящим слепым, но разжалобить мог хоть кого и песни пел крещеным людям такие, что те навзрыд плакали. Он хорошо умел притворяться слепым, а когда мы оставались вдвоем, он над этим только смеялся. Но господь бог прощал ему это, потому что в церковь он ходил исправно и бил поклоны перед святыми иконами. Правда,

он так же кланялся и крестился, когда за околицей села собирался утащить курицу или ягненка. И потому, что и молился и верил он истово, господь бог всегда ему помогал. С этим старым нищим мы прошли через страну, где живут москали, и никто нас ни разу не остановил, ни старый, ни малый, потому что и у них убогих считают божьими людьми и никаких бумаг с печатями не требуют. Ходили мы, где только душе угодно: и по городам и по селам, были на больших ярмарках, и везде православные подавали нам щедрой рукой. Из того, что, бывало, насобираем, оставалось у нас и на продажу или корчмарям-евреям, или бедным мастеровым. А Ерофей, как звали моего товарища, как только заведутся денежки, никогда не забывал купить восковую свечку, чтобы поставить перед иконой. Святые и рады подарочку, сколько стоит свечка, им невдомек, а что у нас еще карбованцы имеются, откуда им знать про это. Деньги Ерофей хорошенько припрятывал в поясе. Так мы дошли до великого города Киева. Там мы перезимовали и порастратили карбованцы, что удалось скопить.

Пока мы там были, жили мы хорошо и даже прекрасно в нашем братстве нищих слепых, одни из которых и вправду были слепые, а другие и вовсе нет. Обучился я там, словно в школе какой, разным наукам, которые раньше не знал. Научился я и песни жалобные петь, и как побираться нужно. И потом, как-то ночью, была попойка, и в драке убили Ерофея. Тогда я убежал из Киева и стал бродить по белу свету с другими товарищами, пока не дошел до моря, где услыхал татарскую речь. Среди неверных мне тоже жилось хорошо, пока не взяла меня тоска: как-то раз по весне так мне захотелось понюхать, как пахнет еловой смолой, что повернулся я лицом к родной Молдове, а спиной ко всем этим язычникам. Но все это время, братья мои и хозяева, я повсюду носил с собой волынку и не забывал клятвы, данной мной пастухам на берегу Прута. Вот поэтому-то вы и услыхали первой эту песню. Чтобы она мне больно нравилась, не скажу, но спеть ее надо. Ежели желаете, могу спеть и другую, и покрасивее и посмешнее.

На пути к родным местам я все спрашивал про свою деревеньку, что стояла на берегу реки Молдовы, но так и не нашел ее: опустела она, а господа да бояре перевели ее в другое место. Много лет уже прошло, все мои родные кто помер, кто погиб. Молдова при разливах размыла их могилы, а косточки разметала среди камней да по лугам. Я тогда ходил и все спрашивал про один старинный постоялый двор, который стоял во времена моего детства на столбовой дороге. Этот постоялый двор, отвечали мне православные, стоит недалеко от того места, где было сельцо Негоешть, и зовется он в наши дни подворьем Анкуцы, а люди, которые направляются в Яссы или в Роман, всегда там ночуют.

Добрался я до тех мест, где еловой смолой пахло, побывал я и на том постоялом дворе. Сколько лет с той поры миновало, я даже не знаю. Но теперь вновь настало время отправиться мне в Яссы, в стольный город, и поклониться там мощам святой Параскевы во храме Трех святителей. Чувствую я, что снова мне довелось остановиться на постоялом дворе, который называют подворьем Анкуцы. Благодарю бога, что нашел я здесь доброе слово и милость к себе.

Братья мои и хозяева, когда я еще был ребенком и мог видеть своими глазами и село, которого уже нет, и кладбище, которое размыла река, слыхал я от деда моей матери доподлинную историю о чуде, которое совершила святая Параскева, к которой мы и идем с Саломией поклониться. Случилось это чудо в дальние времена, когда на этом подворье жила наша прабабка.

Тогда над Молдовским княжеством царил, как антихрист, господарь Дука. Неутолимая жажда у него была к серебру да к золоту. И стал он душить народ поборами. В те времена и поговорку придумали: «Отчего это наши хаты к земле придавило?» — «Да все из-за княжьих податей и поборов!». Слуги его рыскали на конях с копьями и факелами. Отбирали скот, отбирали колоды с пчелами, отбирали одежду, отбирали деньги. А кому приходило в голову противиться, у того и жизнь отбирали. По всей стране шел княжеский разбой, и избавиться от него не было никакой возможности. Люди бежали в чужие края. И было так до той поры, пока как-то осенью не добрались какие-то несчастные бедняги до Ясс и не поклонились мощам святой Параскевы. Стали они жаловаться на господаря Дуку, омывая раку слезами...

После этой молитвы содрогнулась вдруг рака святой на глазах всего народа, а было это в четырнадцатый день октября месяца, в самый полдень, затмилось небо, поднялся вихрь, повалил мокрый снег, разгулялась метель. На другой день все было погребено под сугробами. Народ перепугался до ужаса.

А ночью, вместе с вихрем, прилетел на княжеский двор сам сатана и постучал когтем в окошко, давая князю знать, что пора, мол, оставлять на этом свете все награбленное добро и готовиться в путь, откуда возврата уже не бывает.

— Приспело время, светлейший князь, свести счеты и расплатиться за все, в чем сам расписался.

А дело-то в том, что князь заключил когда-то с сатаной сделку и скрепил ее подписью и печатью, чтобы он мог учинить над людьми такое бесчинство.

Господаря Дуку аж мороз пронял в его серебряной кровати, когда он услышал эти слова. После этого он вскочил, словно его бичом обожгло, и крикнул слугам, чтобы запрягали коней в каре-

ту. Так он сбежал, прихватив с собой все, что мог, и добрался до одного села. Но там его, вместе с метелью, застигли ляшские воины, схватили они его и отобрали все денежки. И сатана там тоже был — хохочет, надрывается. Он-то и предал князя во вражеские руки. Схватили ляхи князя за шиворот и повезли с собой.

А на пути его одни сугробы да заносы, ехать нету никакой возможности, и кони от натуги пали. Тогда князь достал из-за пазухи последние три припрятанных золотых и отдал одному подлому мужичонке за плетеную кошевку да белую кобылу. В этой простой кошевке и добрался князь Дука до этого постоялого двора. Из всего богатства, что было у князя, ни одной полушки не осталось. Попросил он у старухи, которая тогда всем на подворье заправляла, милостыни — крынку молока. А та его не признала и в ответ только жаловалась, что нет у нее молока.

— Нету молока и коровы нет, батюшка! Ничего нету, потому что все сожрал князь Дука, провались он в преисподнюю, чтоб сожрали его там ненасытные черви адские!

Замолчал князь, понурил голову, сел в сани и уехал. Только потом люди дознались, кто это такой был. Довезли его ляхи до самой границы, но до польского короля он так и не добрался. Заблудился он со своей белой кобылой в дремучем лесу, свалился в овраг и оказался на том свете, где все проклятые богом собираются. А история об этом чуде от одного старика к другому переходила и дошла до наших времен.

Братья мои и хозяева, все это дело прошлое. Но для вашего теперешнего удовольствия, если вы хотите и прикажете, я могу спеть другую песню!

Но тут случилось такое, чего не ожидал никто из собравшихся вокруг костра, ни рэзеши, ни купцы, ни возчики, ни простые крестьяне. Конюший Ионицэ стал кричать, что он желает слушать песню, но молодая Анкуца подошла к слепцу, взяла его за руку и сказала:

— Слыхала я от своей матери про это дело. Ну-ка повернись ко мне лицом. Уж не ты ли будешь тем, кого зовут Константином, про которого мать сказывала, что он затерялся на белом свете.

— Я буду,— ответил старик.— Так меня и зовут.

Он улыбнулся окружавшей его ночи и стал осторожными пальцами ощупывать лицо Анкуцы.

Анкуца взяла его руку, повернула ладонью вниз и поцеловала. Потом в ту же руку она положила ему ломоть хлеба и кусок жареного мяса. Бедняга снова впился в мясо своими зубами, которые у него были словно железные.

Он будто забыл, где находится, и не промолвил больше ни слова. С великим удивлением смотрели мы на него, но с еще

большим удивлением, покачивая головой при вспышках костра, смотрел конюший, но не столько на голодного нищего, сколько на волынку, которая, словно мертвый зверек, лежала у его ног, недвижная и бездыханная.

РАССКАЗ КОЛОДЕЗНИКА ЗАХАРИИ

Слепой нищий еще не кончил своего рассказа, а тетушка Саломия уже начала ерзать от нетерпения, покусывая губы и ломая пальцы. А после того, как Анкуца поцеловала этому бездомному бродяге руку, оделив, кроме того, куском лепешки и мясом, она и вовсе не смогла сдержаться и стала жаловаться тем, кто сидел поближе к ней:

— Вот так и живут некоторые, не зная ни забот, ни труда, хотя сами и убогие. Ходят, держась за чужую руку, потому как сами и двух шагов не могут сделать. А уж если начнут всякие байки сказывать, то все только рты разевают.

— Какие байки, тетушка Саломия? — спросил я ее.— Он только и рассказал что несколько случаев из своей жизни и историю про господаря Дуку, которая нам известна.

— Я и сама знаю, что эта история доподлинная, не вчера ведь родилась, и наслышалась, и навидалась на своем веку достаточно. Но вы-то слыхали, как он рассказывает, как все выворачивает, как приукрашивает, чтобы люди только его и слушали? Разве черепок на что-нибудь годится? Ни на что он не годен! Просто тошно делается, когда я это слышу, а еще пуще, когда вижу.

— Тетушка Саломия, очень тебя прошу, не сердись. Разве ты не знаешь, каковы они, люди? В свое время была ты красавицей, носила жемчужное ожерелье, как говорит дед Константин. А иначе из-за чего же вились вокруг тебя мужчины, улыбались и всячески улещали тебя? На других женщин они и не глядели, потому что никто не мог сравниться с тобой. И люди, что собрались здесь, чтобы поразвлечься разными историями, такие же: кто краше расскажет, тому и похвал больше. Этот старик и слеп и немощен, но зато он и рассказывать и петь умеет, на это у него дар божий. Если ты радуешься цветочку, что он и красивый и пахнет хорошо, то не обижайся на другой из-за того, что он невзрачный и запаха никакого не имеет — он в этом не виноват.

— Зато он для лечения хорош! — отрезала тетушка Саломия.

— Твоя правда, что он хорош для лечения, так оно и есть. Но здесь мы собрались не ради лекарского искусства. Прежде чем ты здесь появилась, другие тоже, как и этот слепой, рассказывали разные истории, от которых у меня даже кровь леденела и которые я не забуду до самой смерти. А теперь послушаем, что коню-

ний Ионицэ расскажет. Он все сулит такое, чего никто не слыхивал.

— Это ты про тощего рэзеша говоришь?

— Про него, тетушка Саломия.

— Да я вроде бы его уже видела, и сдается мне, что и слышала как-то раз. Он и правда кажется недюжинным человеком. Вот я гляжу на всех, кое-кого я даже знаю, приходилось встречать здесь же, на постоялом дворе, и могу поверить, что каждый из них может поведать про разные случаи. Но какая вера может быть самому распоследнему нищему? Я его привела, я его перед всеми выставила, а сижу себе в сторонке, а ему полный почет и уважение!

— Но теперь речь не про меня,— продолжала Саломия, пронзив меня взглядом.— Вот я сижу здесь среди вас, но гляжу я на человека, который на своем веку чего только не пережил. Пусть он расскажет чего-нибудь, тогда мы посмотрим, на что годится слепой со своими байками. Или послушаем конюшего Ионицэ, наверное, это будет занятнее.

— Тетушка Саломия,— спросил я,— что это за человек, о котором ты говоришь, будто он многое пережил на своем веку?

— Да ты его знаешь. Вот он сидит между монахом и чабаном.

— Да это же дед Захария, колодезник. Пока он тут сидит, он даже рта не раскрыл. Слепые тебе не нравятся, видать, нравятся немые.

— Не бойся, никакой он не немой. Выпить он любит, поэтому ему не до разговоров. Но если он расскажет, что с ним приключилось, ты ушам своим не поверишь!

— А что же с ним приключилось?

— Что приключилось? — вмешался и рэзеш, не зная, о чем идет речь.— С кем приключилось?

— Да вон с тем человеком, достопочтенный конюший,— ответил я,— с Захарией, колодезником. Это мне тетка Саломия поведала, что с ним приключился небывалый случай.

— Где же это?

— А пусть он сам расскажет,— предложила Саломия, и голос ее прозвучал неожиданно мягко.— Попросите его, чтобы он рассказал, что с ним случилось в лесу за рекой. Дядюшка Захария! — звонко окликнула она.

Колодезник повернул свою лохматую голову с всклоченной бородой.

— Чего? — отозвался он, словно из глубины колодца.

— Дядя Захария, почтенные гости хотели бы услышать, что приключилось с тобой в лесу за рекой, когда ты еще был парнем.

— В Пэстрэвень, значит.

— Там, там, дядя Захария, па поляне, да ты сам знаешь...

— На поляне, которая была и которой нету, потому что весь лес давно вырубили. Называли ее поляной Влэдики Сас.

— Слыхали? — произнесла Саломия, расплываясь в улыбке и отстраняя кружку, которую ей протягивал рэзеш.— Премного вам благодарна, достопочтенный конюший. Но потому как хвораю я, то вина в рот не беру. Вот ракию я пью. Могу и пирога откушать из того, что помягче, потому что не то у меня зубы стали, как раньше, и не могу я кусать все подряд, как бывало в молодости. Хороши пироги, ничего не скажешь, такие и я пекла. А теперь я, пожалуй, осмелюсь хоть губы обмочить в вине, особливо если оно не очень старое. Расскажи же, дядюшка Захария, что с тобой приключилось на поляне Влэдики Сас.

— А что там случилось? — нехотя переспросил колодезник.

— Расскажи про то, как тебя призвал к себе на двор боярин из Пэстрэвень и приказал найти воду на той поляне.

— Так, так,— подтвердил старик.— Призвал он меня и велел: «Найди мне воду и выкопай на поляне колодец. Этой осенью будет там большая княжеская охота, расположатся они на поляне отдыхать, потому и вода нужна».

Колодезник Захария умолк.

— Ну и что? — заинтересовался конюший.

— Вот и все.

— Как это все? — тряхнула головой Саломия.— Очнись, дядюшка Захария, расскажи все, как было: как ты пришел с боярином на ту поляну, как ты топал ногами по земле то в одном месте, то в другом, как высматривал приметы, ведомые только тебе. Потом ты вынул из-за пояса свой отвес, который никогда тебя не подводил, установил его на землю и стал смотреть...

— Стал я смотреть,— подхватил Захария,— а боярин этот, Димаки Мырза, тоже вроде бы смотрит на отвес, только ничего не понимает. Вот с этим самым отвесом я воду нашел на поляне Влэдики Сас.

Дед Захария вытащил с левого бока из-за широкого пояса две круглые, соединенные между собой деревянные палочки, которые от старости блестели, словно их специально отполировали, и стал сматывать с них какие-то невидимые нити. При мерцающем свете костра блеснул серебряный шарик.

— Отвес этот сделан из кизилового дерева,— пояснил он.— Э-хе-хе! Кто знает, кем он сделан и когда! Достался он мне от стариков, которые тоже занимались колодезным делом. И не упомню, сколько с его помощью нашел я ключей и вырыл колодцев. И тогда на глазах боярина Димаки Мырза я отыскал воду на поляне. Вот так!

— Что же потом было?

— Да расскажи ты, человече,— вновь принялась понукать его Саломия, поворачивая нос в сторону Захарии и хмуря брови.— Расскажи им, как топнул ты постолом и сказал: «Вот здесь, боярин, вода!» — «В этом месте?» — «В этом самом, боярин. Дай мне цыган с кирками и лопатами, распорядись привезти сюда двадцать возов камня и сложить его рядышком, выдели мне помощников, какие понадобятся, и напиши корчмарю, чтобы вина было вволю, а потом, глядишь, много времени не пройдет, как я позову тебя сюда с хрустальным стаканом, чтобы ты испил слезы земли».

— Все так и было,— подтвердил Захария.

— После этого боярин и говорит: «Быть по-твоему, копай мне колодец!» Пошел он с колодезником во двор и кликнул писаря, чтобы тот принес гусиное перо. Когда принесли гусиное перо, он потребовал чернил, столик и лист бумаги. Написал он корчмарю записку, которую просил у него Захария. А потом вызвал слуг и распорядился, чего каждому делать, сколько цыган отрядить землю копать, сколько человек послать камень возить, что нужно приготовить, чтобы мастер мог колодец выложить. Слуги все выслушали, поклонились до земли и стали пятиться задом, чтобы разбежаться в разные стороны выполнять приказания.

— Все так и было,— подтвердил Захария.— Боярин только прикрикнул на них: «Цыц!» — такая уж у него привычка была, и хмуро так посмотрел. Слуги в страхе божьем разбежались кто куда.

— Разбежались они,— подхватила Саломия,— а потом все сошлись в одном месте и в один час. Цыгане принялись кирками да лопатами землю копать, возчики возить камень и складывать его на лугу, а дядюшка Захария устроил подстилку из листьев, полеживает себе, смотрит на них да из кружки прихлебывает.

— Дрожжевую ракию из Котнарь,— уточнил колодезник.

— Верно, верно. Лежит он себе в шалашике на подстилке, а цыгане кирками и лопатами сначала землю черную выкопали, потом стали глину наверх выбрасывать, потом дошли до песка и мелкого камня. А вот когда земля размокшая пошла, тут Захария встал и подошел к краю ямы и сказал: «Эй, цыгане, если вам пить хочется, то погодите немного, скоро появится вода».

Как он сказал, так и случилось на том самом месте, где отвес указал. Появилась вода, люди добрые, а цыгане стали копать дальше, поднимая бадьями наверх жидкую грязь. Копали так, что пот с лица вытирать не успевали. И все спрашивали: «Много еще осталось, мастер Захария? А то, глядишь, дыру на тот свет прокопаем».— «Копайте, копайте! — отвечал им колодезник.— Пока не скажу — хватит».

Так оно и было. Встал он в один прекрасный день и сказал: «Довольно! Теперь выложим края, заложим добрые подпорки и примемся возводить стены».

Так они и сделали. Спустился он в колодец вместе с каменщиками и стал выкладывать стены. А когда над поляной закружились желтые листья, приехал боярин с хрустальным стаканом отведать, какова вода, как и приглашая его Захария.

— Так все и было! — подтвердил старый колодезник.— Боярин Димаки сказал: «Ц-ц! Добрая вода, Захария!» И правда, вода была добрая. Но только вино я пью с бо́льшим удовольствием, вино мне куда больше на пользу.

— Ну а что потом? — спросил конюший.

— А потом ничего. Делу конец. Колодец я выкопал, и живите себе с миром.

— Погоди, дядюшка Захария, не все так просто,— усмехнулась Саломия.— Уж лучше я все расскажу этим людям, что ты там видел, что с тобой было. Уж лучше я за тебя похвастаюсь. Так вот, после того как покончили они с колодцем, приехал из стольного города гонец от господаря, чтобы известить о княжеской охоте. Прискакал гонец, боярин Димаки вновь сзывает всех слуг и распоряжается, чтобы расчистить на поляне место и поставить шалаши для княжеской охотничьей свиты. А когда господарь сойдет с коня, то Захария должен подать ему в кувшине воды, а из кувшина налить ее в стакан, а рядом должен стоять цыган с подносом, а на нем блюдце с вареньем и серебряная ложечка.

Все так и сладили. Вот и приехал в Пэстрэвень господарь с преогромной свитой.

— Господарь Калимах,— заметил колодезник.— Борода у него длинная-длинная... Он все ее пальцами расчесывал.

— Приехал господарь с огромной свитой, и вышел ему навстречу боярин Димаки с женою и с дочкой, потому как у него дочка была, тоненькая и красивая. Поклонились они князю, поцеловали ему руку, а девушка все вздыхает и плачет.

«Что случилось? — спрашивает тогда его величество князь Калимах.— Почему эта девица вздыхает?»

«От великой робости, ваше величество»,— отвечает боярин, а сам брови нахмурил и волком глянул на дочку. А с девушкой той...

— Аглэицей,— подсказал Захария.

— А с девушкой той, Аглэицей, ничего не случилось, просто она влюбилась в одного парня, сына однодворца из Рэзбоень. Звали его Илиеш Урсаки. Боярин Димаки Мырза прикрикнул на него: «Цыц! Сгинь с моих глаз, подлец, и так девке голову замо-

рочил!» И вот теперь девушка все плакала, потеряв надежду на любовь. Боярин больно схватил ее за плечо и затолкал обратно в комнату, чтобы не портила празднества и чтобы князь не прознал про такой позор.

Повернувшись опять к бороде его величества, боярин снова предстал лицом чист и весел. Тут он велел призвать лесников, чтобы они при господаре поведали, какие косули и кабаны водятся в известных им чащобах и оврагах.

После этого был устроен большой пир, но господарь соизволил отойти спать пораньше, чтобы встать на рассвете. И правда, первым на коня сел господарь, а боярин Димаки был рядом с ним, распоряжаясь охотниками и загонщиками. Поехали они в лес. Чтобы не пропустить ни густых зарослей, ни овражка, люди растянулись цепью, улюлюкали и в рога трубили. А Захария в это время торопился к своему колодцу.

— Так оно и было! — подтвердил колодезник.

— По дороге к колодцу увидал он на тропинке дочку боярина Димаки: бежит она, ничего не видя, между деревьями, голову ладонями сжала и плачет.

«Целую ручку, боярышня Аглэица,— поздоровался с ней Захария.— С чего ты плачешь, отчего рыдаешь, словно по покойнику?»

«Ой, Захария! — воскликнула она, остановившись.— Как мне не плакать, Захария, если я поклялась умереть? Преклонила я колени перед иконой божьей матери, молила ее о чуде, чтобы умягчила она каменные сердца. Поняв, что и князю я не могу пасть в ноги, чтобы рассказать ему все, и что все меня покинули, даже родная матушка, решила я своим умом и сердцем, что ничего мне не осталось, как только порешить свою жизнь. Я, Захария, без Илиеша Урсаки жить не могу. Так что бегу я, чтобы броситься в колодец. Когда приедет светлейший князь и захочет испить водицы, ты не сможешь его угостить, а скажешь: «Светлейший господарь, так, мол, и так, бросилась в колодец боярская дочка».

«Разве сможешь ты совершить, боярышня Аглэица, такое богопротивное дело?»

«Смогу, Захария,— отвечает ему девушка.— Перво-наперво я послала свою служанку к Илиешу, чтобы он пришел сюда и провели мы с ним мой последний час беззаботно, как настоящие любовники. А потом уж я брошусь в колодец».

«Но он тебе не позволит этого, боярышня Аглэица. Я же знаю, что он парень достойный. Уж лучше пусть он украдет тебя и увезет с собой».

«Тогда я не буду бросаться в колодец, Захария»,— ответила девушка и улыбнулась.

«Не бросайся, боярышня. Лучше послушайся меня. После того как встретишь ты своего возлюбленного, приходите ко мне к колодцу, и я вас спрячу в большом шалаше из листвы, который приготовлен для князя. В полдень вся княжеская охота будет отдыхать и соберется здесь, на поляне Влэдики Сас. Я поднесу князю кувшин и стакан, а цыган поднос с вареньем и ложечку. После того как князь похвалит: «Кхе-кхе! Добрая водица! Отличная вода!» — я сделаю шаг в сторону, а он войдет в шалаш. Там он и увидит, как вы стоите на коленях, склонив головы, и просите у него прощения... Тогда его величество возьмет вас за руки, прикажет встать, потом возложит свои длани вам на головы и кликнет боярина, чтобы он пришел и обнял своих детей.

Я думаю, боярышня, что так будет лучше. Иначе и быть не может, как я полагаю, так все и должно случиться. В первую очередь потому, что люди должны прощать влюбленных. Тут уж ничего не поделаешь!»

Захария стал смеяться в свою всклокоченную бороду. Казалось, что рассказанная история поразила его больше, чем всех остальных. Не переставая смеяться, он вытянул шею, поднял голову и выпучил глаза, словно ждал: а что же будет дальше. Знать-то он знал, но звучит история лучше, когда ее рассказывает кто-то другой.

— Гм! — пробормотал он.— Сдается мне, что и впрямь ничего с ними не смогли поделать.

— Куда тут деваться! — подхватила тетушка Саломия и, осмелев, подцепила двумя пальцами еще одну ватрушку.— Спряталась влюбленная пара в чащобе и навострила уши, словно дикие звери, прислушиваясь к крикам загонщиков и рогам егерей. Потом они пробрались к колодцу, и Захария спрятал их в шалаше. А в это время князь уже знал от одного из своих преданных бояр, почему девушка проливала слезы, целуя ему руку. Ведь шила в мешке не утаишь! Так вот, отведав варенья из горькой черешни и выпив стакан воды, князь прочистил горло: ха-ха! — и расчесал бороду пальцами. Улыбнувшись, он повернулся к придворным и к простому люду, что запрудил поляну, словно разыскивая кого-то.

«А где же мой верный Димаки Мырза?» — спросил князь.

«Здесь я, ваше величество».

«Хотел бы я знать, чем ты опечален, боярин, почему ты не находишь себе места? Великим бы удовольствием для меня было, мой верный слуга, если бы за нашим охотничьим столом дочка твоей светлости... как ее зовут?»

«Аглэица, ваше величество».

«...если бы дочка твоей светлости Аглэица поднесла бы серебряный кубок старого вина своему господарю».

Боярин очень перепугался, потому что жена его успела ему сообщить, что дочка их сбежала из родительского дома, решив покончить с собой.

«Ваше величество,— набрался он смелости,— не ко времени это. Стол уже накрыт, да и охота ждет...»

«Я бы хотел знать, где находится сейчас твоя дочь»,— усмехнулся князь.

Тут колодезник Захария, проявив небывалую отвагу, как и должно быть на княжеской охоте, выпул из-за пояса отвес, который вы уже видели, зажал его руками и держит неподвижно. А серебряный шарик, словно огонек, метнулся в сторону. Никто не понимает, что это значит. И боярин не знает, что ему отвечать своему господарю.

«Это Захария, твой колодезник?» — спросил князь, поджимая губы и глядя свысока.

«Да, ваше величество».

«Чего же он хочет?»

«Не знаю, ваше величество».

Князь нахмурился и спросил Захарию:

«Чего тебе надобно, отвечай!»

Захария не осмелился ответить, но, следуя указанию своего отвеса, распахнул дверь в княжеский шалаш. Тут господарь увидел коленопреклоненную пару, как они ждут, опустив книзу головы.

Никто не понимал, как это все случилось, но больше всех удивлялся князь мудрости отвеса. Ну а потом в стольном граде, в Яссах, князь и княгиня стали этим молодым посажеными отцом и матерью. Все помирились, развеселились и сразу после охоты справили свадьбу. На пути в стольный город первый пир был здесь, на постоялом дворе Анкуцы.

— Гм! — буркнул Захария, качая головой и закрыв рот, словно подтверждая — так оно и было.

— Я же вам говорила,— закончила старуха,— что этот колодезник пережил и повидал такое, что не каждому удается.

— Что правда, то правда. Прекрасную историю поведал нам Захария,— подтвердил конюший Ионицэ из Дрэгэнешти.— Но другие тоже знают прекрасные и чудесные истории еще похлеще. Все же и его хороша. Тут ты права.

На лице конюшего застыла улыбка, и сам он, слегка покачиваясь, глядел на нас затуманенным взором. Час был поздний, и Большая Медведица стала уже спускаться к горизонту. Костер

потух. Почти все собравшиеся поставили свои кружки на землю, сон смыкал им глаза.

Из-за постоялого двора вдруг послышалось ржанье тощей кобылы разена. Лошадь словно вскрикнула, так что я, испугавшись, даже вскочил с места. Тетушка Саломия, усмехнувшись, шепнула:

— Недобрый этот час. Все ночные приметы мне ведомы, особенно те, когда нечистый начинает бродить. Вот и лошадь его почуяла и знак подала.

Казалось, весь постоялый двор почувствовал нечистую силу: вдоль стен словно пробежала дрожь, где-то внутри хлопнула дверь. Все сидевшие у костра замолчали, но, глядя друг на друга, уже не различали лиц.

Тетушка Саломия трижды плюнула в золу: тьфу! тьфу! тьфу! — и перекрестилась. Только тогда мы почувствовали, что проходит наше оцепенение. Нечистая сила словно растворилась в глубокой воде и пустынном лесу, потому что мы ее больше не ощущали. Но, разбредаясь по укромным местам и готовясь ко сну, все мы еле двигались и чувствовали себя так, словно целый день тяжко трудились. Кое-кто заснул там, где сидел. Даже сам конюший Ионицэ, обняв и расцеловав капитана Некулае, совсем забыл, что обещал нам рассказать историю, какой никто из нас еще не слыхал.

ТАМОЖНЯ НА КЛАДБИЩЕ ЭЮБ

Я расскажу вам одну историю. Все это подлинная правда. Иначе зачем было бы рассказывать? Только эта история повествует не о тех незапамятных временах, когда подковывали блоху, а о наших днях, и дело было в дружественной стране. Конечно, все это могло бы случиться и у нас, но...

Правда — повелительница моя, и ей одной я служу...

Придерживаясь истины, надлежит рассказать, что событие это произошло в славном городе Царьграде, ныне величаемом Стамбулом, а человек, о котором идет речь, турок по имени Али.

Этот турок был человек честный и рачительный хозяин; ему очень хотелось выбраться из нищеты, жить чуточку получше в наши трудные дни и каждую пятницу угоститься и повеселиться вволю. Но как же ему веселиться? Куда ни глянь, всюду одни выскочки, нажившиеся на войне, или взяточники, поглядывающие на него свысока. Конечно, такой человек, как Али, правоверный, следующий во всем велениям пророка, заслуживал другой судьбы. Заниматься грязными делишками и обманом ему не к лицу, не хочет он запятнать свою совесть. Не подлежит сомнению, что по

одни только гяуры, но и честные люди и истинные мусульмане имеют право на счастье. Ведь и правоверные порой вкушают в этой жизни блага на службе у Великой Порты или занимаясь торговлей.

Но пока он еще не додумался, как стать визирем, неплохо заняться каким-нибудь делом. С такими добрыми намерениями бродит Али в эти весенние дни по селам, поглядывая по сторонам, время от времени срывая цветок или утоляя жажду у колодца. Хохлатые цапли прилетели в сады, где буйно цвел миндаль.

«Уже кончается пост рамазан,— размышляет Али,— и не худо было бы весело отпраздновать с женой байрам. Раздобыть бы мне за сходную цену какой-нибудь товар и выгодно продать его в столице... Нынче продам одно, завтра — другое, мало-помалу торговля наладится, великий аллах мне поможет, и я познаю уготованное мне благосостояние и довольство».

Сказано — сделано. Был золотой день, сияло бирюзовое небо, когда Али отправился на поиски. В деревне у одной бабки он достал за сходную цену три сотни яиц, уложил в корзинку, поставил на тюрбан и, мурлыча под нос песенку, возвратился в Стамбул.

Но не прошел Али и ста шагов по мостовой Силиври-Капу, как его остановил мрачного вида стражник с тесаком за поясом.

— Стой! Что несешь?

Остановился Али.

— Три сотни яиц.

— Для своей потребы или на продажу?

— На продажу.

— Ну, это все одно — хоть для своей потребы, хоть на продажу. Я таможенный надсмотрщик; коли хочешь пройти, платить надо!

— А за что платить? Я и знать не хочу ни о какой таможенной пошлине.

— Это ты не хочешь знать, а я знаю.

— Да ведь я несу несколько штук яиц, человече! Честно за них заплатил, они теперь мои. Кому какое дело до меня?

— Мне дело! Заплати пошлину и проходи!

— Ну а если я не согласен? Пойду обратно и брошу эту торговлю?

— И это не дозволено! Ты попал сюда? Попал! Значит, все!

— А коли нет у меня денег?

— Ничего. Помиримся и без денег. Расплатишься яйцами.

— Ладно, отдам тебе два-три яйца, а ты отпустишь меня, пойду своей торговлей заниматься.

— Это ты так говоришь: два-три яйца, а я требую двадцать — тридцать штук.

— Горе мне! Да ты кто, правоверный или гяур?

— Правоверный! Ля алла, иль алла! Нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его!

— Как же ты не жалеешь своего единоверца?

— Жалею, потому не будем больше болтать: давай мне десяток яиц и проходи.

Поскреб Али затылок, пораскинул мозгами, погладил бороду и смирился. Вокруг цветы цветут, с правой стороны кукушка ему на счастье кукует. Отсчитал он городскому надсмотрщику десяток яиц и вновь поставил корзинку себе на макушку.

Вздохнул Али. Видно, так суждено! Раз это таможенный надсмотрщик, то ничего не поделаешь. У государства тоже свои люди, свои затраты.

Вышел Али на другую улицу, а там окликнул его другой голос, погуще и грознее первого:

— Ни с места! Стой! Плати пошлину!

— А мне нечего останавливаться. Пошлину я уже заплатил и теперь свободен. Ты с других теперь требуй, а не с меня.

— Уплатил? Что-то мне не верится.

— Клянусь бородой, уплатил.

— А где ты платил?

— На первой же улице, как только свернул направо по Силиври-Капу.

— А, это другое дело! Может быть, очень может быть. Там следит за порядком надсмотрщик первой слободки. А здесь вторая слободка. Так что хватит тебе языком болтать. Плати, а не то посажу в каталажку. Сколько там ты заплатил?

— Десяток яиц!

— Отменно! Отсчитай и мне столько же, и ты волен лететь куда хочешь, как голубь, что на мечети.

— И на этом все кончится?

— Кончится. Мне от тебя больше ничего не надо. Иди себе подобру-поздорову.

Вздохнул Али и облегчил свою корзинку еще на десяток яиц.

Да, надо быть осторожнее. Не дело это — выставлять корзинку на голове, так чтобы она сразу бросалась всем в глаза, хоть на другом конце улицы. Взял Али корзину под мышку, да еще накрыл полой халата.

— А ну-ка постой, почтеннейший! — вскоре окликнул его третий султанский чиновник.— Ты что там украдкой несешь? Это твое добро или ты его добыл силой у какого-нибудь подлого гяура? Если добыл у гяура, то должен отдать мне положенную половину. Ну а коли это твое добро, то, так и быть, довольствуюсь одной пошлиной.

— Горе мне, горе! — застонал наш купец.— Если бы я продал те яйца, что отдал надсмотрщикам, я прокормился бы целых три дня. А теперь, коли заплачу и тебе, вся моя торговля пойдет прахом. Я еле-еле выручу обратно деньги, какие вложил в дело. Да слыхано ли это — платить три раза пошлину за один и тот же товар? Такого на моей памяти в наших краях никогда еще не бывало.

— Ничего не поделаешь, почтеннейший. Теперь новые порядки. Плати!

— Да как же так? Коли отдам и тебе десяток яиц, останусь в убытке.

— Ладно, ладно, не расстраивайся. Отдай мне восемь штук и уноси ноги поживей, пока не пришел мой напарник. Не говори потом, что я злой человек.

У Али потемнело в глазах, но деться ведь некуда. Заплатил и ушел, но теперь понял, что двигаться надо побыстрее. Вихрем промчался он по другой улице и даже не обернулся на раздавшиеся за ним грозные окрики. Пролетел было пустырь, но здесь догнали его два всадника и стиснули между конями. Несчастный купец не сказал больше ни слова: примирился со своей участью и вложил каждому в руку по три яйца. Отсюда прокрался он к главному мосту через Золотой Рог, а там его уже поджидают другие надсмотрщики, те, что взимают пошлину за переход через мост.

— Пошлину! — кричит один надсмотрщик.

— Подать! — требует другой бородач.

Тут Али остановился с посветлевшим лицом. Сделал еще два шага к перилам моста, посмотрел на плывущие лодки, на лебедей. Он уже никого не боялся: все представлялось ему в розовом свете. Повернулся он к надсмотрщикам и ласково их спросил:

— Знаете что, почтенные?

— Узнаем, коль скажешь,— ответил один из надсмотрщиков.— А пока заплати то, что мне положено.

— Знаете что? Я вам отдам все яйца, какие еще остались в корзине. Берите и оставьте меня в покое. Согласны?

— Согласны. Лучшего слова ты и не мог сказать. Сразу видать, что ты богатый и честный купец.

Али почтительно приложил руку к сердцу, к губам и ко лбу и, освободившись от забот, повернул обратно и поплелся к кладбищу Эюб, насвистывая песенку. Такова жизнь. Плохая жизнь. Лучше иметь дело с покойниками, чем с живыми, как говорится в псалмах султана Дауда.

Идет он себе и идет, кончиком посоха отбрасывает влево и вправо мусор со своего пути, как вдруг видит, к кипарисовому саду вечного покоя направляется похоронная процессия.

Процессия большая, по всему видать, хоронят человека, жившего в довольстве и холе.

— Нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его,— пробормотал Али, которого вдруг осенила чудная мысль.— Стойте, люди добрые и братья! — заорал он во весь голос, широко расставив ноги посередине улицы и подняв посох.— Стойте! Здесь проход воспрещен!

Процессия остановилась, люди затоптались на месте, со всех сторон посыпались вопросы:

— Что такое? Что случилось? Почему?

— Без оплаты пошлины проход здесь воспрещен,— ответил спокойно Али.— Заплатите и идите себе дальше с богом.

— Пошлину за покойников? Да это неслыханное дело! Вчера еще ничего не платили.

— Вчера нет, а сегодня да! Мне с вами не о чем разговаривать, платите что положено, и все!

— Сколько?

— Немного: одну лиру.

— Так и быть, уплатим ему лиру,— смиренно согласились родственники.— Наше дело требует больших затрат. Коли тратим тысячи, не пожалеем и сотни. Ладно, получай свою лиру.

— Благодарствую. Идите с миром!

Получил Али лиру и поклонился бирюзовому небу. Как бы то ни было, жизнь не такая уж плохая, как казалось час тому назад. Пристроимся здесь на обочине дороги, передохнем и откроем доходное торговое дело. Вознесем и благодарственную молитву господу богу, который заботится о своих правоверных. Подремлем еще с четверть часика. А вот и другая похоронная процессия! Встанем и вновь поднимем посох, чтобы остановить ее.

— Стойте. Проход воспрещен. Платите пошлину!

— Что? Да, впрочем, мы уже что-то слышали об этом. Сколько платить?

— Одну лиру.

— Ну, раз введен новый порядок, заплатим и пройдем. Получай свою лиру.

— Премного вам благодарен.

Приятно делами заниматься в ласковую погоду, в мягкие весенние дни. А как быть, когда начнутся бесконечные дожди и промозглая сырость? Ну-ка, приспособим на такой случай вон ту развалившуюся хибарку на конце улицы. Да там и стол есть. Вечером завернем в Буюк-Чаршы и купим какую-нибудь старую конторскую книгу, чтобы не сбиться со счета. Там же, у знакомого армянина, купим и старую вывеску с красной надписью. Когда-то она висела на дверях присутственного места. Повесим над дверью

вывеску и будем важно под ней восседать. Таким образом, думается, соберем нужные деньги для байрама, по которому мы так вздыхаем. Порадуем и Софи-ханум новой чадрой.

Через три дня торговля Али была обставлена как следует, по всем правилам: султанские гербы, стол, конторская книга и посох с медным набалдашником.

— Стойте! Платите пошлину!

И все платят.

На шестой день хоронили одного визиря, покинувшего сей бренный мир. Как тут быть? Ведь хоронят визиря. Ну так что же! У врат смерти все равны. Пусть уплатит и эту пошлину в соответствии со своим рангом. Десять лир!

Подошли и другие визири Великой Порты. Уставились на Али: лик благочестивый, борода седая. Стол, конторская книга, султанские гербы. Посох с медным набалдашником.

— Это что еще за новость?

— Таможня кладбища Эюб.

— С каких это пор? Мы высшие сановники, и то ничего не знаем.

— Не знали вы, но, как видите, есть такая таможня. Я вам все расскажу, когда соблаговолите меня выслушать. А покамест прикажите внести деньги, чтобы пресветлый визирь мог перейти от бренной жизни к вечной.

— Гм! Ладно, пусть пока уплатят, а потом мы уж выясним, в чем тут дело.

Вернулись визири из печального сада Эюбского, выслушали историю Али, и она им, как видно, понравилась.

— А хорошо идет дело? — спросил, улыбаясь, самый старший сановник.

— Слава аллаху, хорошо.

— Платят люди?

— Платят. А почему им не платить?

— Отменно! Раз так, то оставим здесь все как есть, и я тебе выправлю сегодня же фирман. Только выплачивай казне то, что ей положено.

— А как же иначе? И если будет на то воля аллаха, я измыслю еще какое-нибудь честное жульничество на благо почтенных людей и всего мира.

Так устроили в Стамбуле таможню на дороге на тот свет.

МИТРЯ КОКОР

М. Садовяну
«Митря Кокор»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КАК ОСТАЛСЯ СИРОТОЙ МИТРЯ КОКОР ИЗ МАЛУ СУРПАТ

На краю пустоши над рекою Лисой поселились крестьяне,— давно это было, лет сто тому назад. Назвали они село «Малу Сурпат», потому что Лиса прорыла там обрывистое русло и в бурное половодье обваливала крестьянскую землю, подмывая берег, на котором стояло село.

А пустошь мужики назвали «Дрофы».

Они говорили:

— Там у барина самая лучшая пшеница растет.

Часто со стороны степи в вышние плыли по ветру стаи тех птиц, от которых и получила она свое название.

— Ну, какая это пустыня? Сколько сел можно бы понастроить, да старый Мавромати оставил сыновьям наказ — никому не позволять там селиться. Дрофы — это золотое дно, да все богатство гребут господа, а мы живет в тесноте, гнием в бедности.

Летом выезжали крестьяне в поля, перебираясь через Лису по шаткому мостику, висевшему между обрывистыми берегами. Приближаясь к Воловьему колодцу, уже можно было почувствовать запах спелой пшеницы, доносившийся из Дроф.

— Как хлебушка белого хочется,— скажет, бывало, кто-нибудь.

Остальные смеются. Однажды кто-то посулил:

— Подожди, запашем мы пустошь, когда наступит второе пришествие!

Слова эти, еще неясные ему, услышал Митря Кокор, когда было ему лишь одиннадцать лет от роду. Засмеялся и он.

— А ты чего смеешься? — спросила мать, обминая поудобнее солому рядом с ним в телеге.

— Да просто так.

— Когда не понимаешь, нечего скалиться.

— А я понимаю.

Отец правил парой караковых лошадей. Он повернул голову и ухмыльнулся:

— Митря башковитый, надо его в ученье отдать.

— По зубам ему лучше дать, чтоб не встревал, когда старшие говорят.— И мать хлопнула сына по губам. Митря проглотил слезы и умолк.

— Больше ничего не скажешь?

Митря упрямо наклонил голову и отвел в сторону черные злые глаза.

Женщина снова ударила его.

— Что ты бьешь его, Агапия? — обернулся отец.

— А ты смотри, как он глядит на меня,— сущий разбойник.

— Агапия, оставь парнишку.

— Не оставлю! Ты, Иордан, не мешайся, я над ним хозяйка. Попробует еще разок так на меня смотреть — шкуру спущу. Такими глазами и ты поглядывал когда-то, да я тебя обломала. Обломаю и Митрю.

Мужики из Малу Сурпат, щедрые на всякие прозвища, Агапию Лунгу звали Скурта, потому что эта приземистая сварливая толстуха была Иордану только по плечо. А Иордана, из рода Лунгу, прозвали Кокор за длинный с горбинкою нос и за то, что ходил Иордан ссутулившись. Был он человек добрый и тихий. Жена допекала его, помыкала им и в будни и в праздники. Даже на стул взбиралась, чтобы поближе пялить на него глаза. Он давно смирился, но Митря, с виду вылитый отец, унаследовал норов матери. В примэрии его записали по отцовскому прозвищу, так что звался он не Митря Лунгу, а Митря Кокор. А еще унаследовал он от отца привычку мрачно молчать и поглядывать на всех искоса. Иордан любил его, но Агапия измывалась над Митрей. Она говаривала:

— Лучше бы мне его жеребенком родить, чтобы волки его загрызли.

«Агапия» по-гречески означает любовь. Но от ее материнской любви Митря порою готов был бежать куда глаза глядят, лишь бы домой никогда не возвращаться.

Агапия любила старшего сына. Он во всем походил на нее. Был низкоросл и толст — даже в солдаты его не взяли. Зато уж по части обмана и темных делишек — мастак хоть куда. Вступил он в товарищество с одним купцом, потом отделился от него и на

том краю села, что подальше от Лисы, сам поставил мельницу с бензиновым двигателем. Этого низенького, жирного, пухлого мельника так и звали Гицэ Лунгу. Другого прозвища ему и не нужно было. Фамилия мельника звучала самою злою насмешкой над ним.

С пятнадцати лет, с тех пор как Агапия Скурту вышла замуж, у нее рождались и рождались дети. Каждые два года по ребенку. Но в живых остались только эти двое. Первенца Гицэ она кормила грудью три месяца. Хотя Агапия очень любила его, но после трех месяцев отняла от груди, и не будь мягкосердной свекрови Констандии, которая пристроила его к козе, отправился бы и Гицэ туда, откуда не возвращаются. Поступила так Агапия не со зла, а потому, что была еще девчонкой. Бабки на селе жалели Агапию за то, что отец, дядюшка Маноле, выдал ее замуж слишком рано. Корчмарь Маноле нежданно потерял жену: ее раздавило бочкой, и тут наступила и для него пора, как он говорил, обзавестись другой женой. Вот он и взял вдову из Адыпкаты, а Агапию уже не мог держать при себе. Иордан Лунгу тоже был еще мальчишкой, но родители его позарились на невестину землю. Сделку совершили на скорую руку, и Иордан оказался хозяином в доме своей жены, еще не отбыв солдатчины. Ему бы и забрили лоб в рекрутском присутствии, не выкупи его корчмарь. Но и дома оставаться было несладко — Агапия задавала ему такого перца, что так и перчило у него в глотке.

Другие шестеро ребятишек, которых даровала миру дочь Маноле, все перемерли,— кто от лихорадки, кто от чирьев, кто от родимчика, кто от макового отвара,— кому как «на роду было написано». Агапия вовсе не кормила их грудью. Старухи учили ее эти утраты не принимать близко к сердцу.

Восьмым был Митря. Этот выжил. Он одолел и пустышку с жеваным хлебом, и мак, и лихорадку, и ветрянку. Не ошпарился он, когда опрокинулась бадья с кипятком. Не сожрали его свиньи, когда наткнулись на него за хатой в корытце, где он шевелил, словно жучок, ножонками и ручонками и лопотал что-то по-своему. Не погиб он ни от варева из незрелых плодов, ни от конского навоза, что пихали ему в рот деревенские бабки, когда болел он коклюшем. Наперекор всему остался он в этом грешном мире.

Митря рос высоким, в отца. У него был ястребиный нос, глаза быстрые, черные, словно две ласточки. Отец любил его, узнавая в подростке самого себя. Агапия же не выносила мальчика. Стоило ему появиться, как она находила предлог, чтобы огреть его палкой. Митря скоро научился спасаться от матери. У него были длинные и быстрые ноги, и он удирал с дьявольским смехом,

оборачивая к ней на бегу свою лохматую голову. Мать всюду подстерегала его, в особенности когда он прокрадывался в сад позади дома, к поспевающим вишням и сливам.

— Скачи, скачи через заборы, цапля этакая! — кричала она ему.— Вот погоди, напорешься на кол.

Он скрывался в зарослях и пролезал сквозь дыры в заборе, она вслед ему прыгала через плетень и гналась за ним до самой улицы. Митря останавливался только на берегу реки и удивлялся, почему мать сама не боится наткнуться на кол, как сулит ему.

«Напорется когда-нибудь,— думал он, усмехаясь,— вот и избавлюсь от нее».

Когда, голодный, Митря возвращался вечером, Агапия палкой выбивала из него пыль и потом совала под нос плошку с едой. Напрасно мальчишка жаловался Иордану. Усталому человеку, только что пришедшему с поля, разморенному летним зноем, хотелось только одного — отдохнуть. Он молчал. А ребенок все думал, как бы украсть денег на коробок спичек и поджечь дом, когда мать будет сидеть одна за прялкой.

Тяжелее всего было зимою. В трубе завывала вьюга. Митря хныкал в темноте, лежа на обрывке циновки. Иногда поздно ночью, когда было совсем темно, кто-то накрывал его одеялом. Митря чувствовал это.

«Это, наверно, тятька,— думал он.— Нет, не тятька, тот ступал бы тяжелее».

— Может, это ангел приходил? — сказал он как-то вслух.

Мать подняла его на смех.

— Какой ангел придет к такому дьяволенку, как ты?

Однажды он попросил Иордана:

— Тятька, теперь зимой я все больше баклуши бью. Летом то гуси, то поросята, то козы, то в корчму беги, то к батюшке, то пригони корову с пастбища. А зимой дел меньше. Я бы, тятька, в школу пошел. Мне господин учитель говорит, я — как пшеница в бурьяне. А вот если буду учиться, то это словно пшеницу прополют. На святых апостолов мне ведь тринадцать сравнится.

— Слышь, как меньшой говорит! — удивился Иордан.

Агапия, подслушав все под дверью, налетела на них, меча глазами молнии.

— Слышала. А сам ты, Иордан, учился грамоте? А я? На что мне эта пакость? И Гицэ не давала ротозейничать! Есть у нас другие дела, и дом, слава богу, полная чаша. Пусть твой последыш возьмется за ум, а коли нет, то как стукну его по башке — так и всажу ее аж до самого брюха. Коли думает, что зимой делать не-

чего, найду ему дело. Я ему покажу,— допросится плешивый ермолки с жемчугами.

А меньшой не осмелился слово вымолвить, хоть многое у него накипело. Ему так и хотелось крикнуть: «Не матка, а лихорадка!» — но он зажал себе рот ладонью. Она же долго смотрела на него и зло улыбалась,— верно, поняла его.

Прошло и это. Прошла зима, потом весенний разлив Лисы. Крестьяне выехали пахать. Митря взялся за ручку плуга и шагал, согнувшись, по борозде. Он гладил по голове уставших лошадей и разговаривал с ними. Позже с отцом и матерью ходил он окучивать кукурузу. Дома смотреть за хозяйством нанимали старуху.

Дул теплый ветерок, сияло солнце. Мать больше не задевала Митрю ни единым словом. Казалось, она не замечает его. Все это тоже прошло. На праздник Петра и Павла поехали Иордан с Агапией на телеге в город купить кое-чего.

Мать наказывала Митре:

— Смотри сиди дома. Приглядывай за всем. Слушай, что тебе говорю, а то прокляну. Коль мать проклянет, праха твоего не соберут.

Накануне лил дождь, и Лиса катила мутные волны. Дождь лил и всю ночь. Утром на несколько часов прояснилось, пока крестьяне добирались до города. Потом снова заклубились облака, и опять на целый день зарядил дождь. Митря сидел один и смотрел в серую даль. По дороге шли люди, покрыв головы мешками, и рассказывали друг другу, как вздулась река.

— Только бы не снесло мост,— сказал кто-то,— а то отрежет нас от полей.

Беда случилась сразу же после обеда. По мосту торопливо ехали несколько телег, возвращаясь из города. В устои моста бились волны и большие бревна, принесенные потоком. Шаткий мост скрипел по всем швам. Люди хлестали лошадей, спеша добраться до берега. Три телеги проскочили, а телега Иордана и Агапии отстала.

— Погоняй! — завопила женщина.

Иордан подхлестнул лошадей. Они рванулись, но тут же мост рассыпался, словно игрушечный. Бревна, люди, телега, лошади — все смешалось. Крестьяне, те, что успели выбраться на берег, в ужасе закричали, выскочили из телег и бросились к обрыву. Прибежали и другие; кто-то тащил багор, отчаянно им размахивая, словно хотел проткнуть низко нависшее небо.

Утонувших вытащили. Голова Иордана была разбита, вся в крови. Его опустили на высокий берег и рядом положили жену. У Агапии были переломаны ноги, она едва дышала.

Вдруг веки ее приподнялись, и она неожиданно увидела возле себя Митрю. Мальчик, широко открыв от ужаса глаза, дрожал, лязгая зубами.

Агапия, казалось, что-то шептала ему. Он наклонился к ней и разрыдался.

Мать сунула левую руку за пазуху и вытащила сладкий пряник в виде сердца. Пшенично-медовое сердце, украшенное красным сахаром, казалось окровавленным. Все это длилось одно мгновенье. Агапия умерла, и на лице ее застыла гримаса, похожая на улыбку. Рядом с нею Иордан черными остекленевшими глазами смотрел в беспощадное небо.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЗДЕСЬ МЫ ЗНАКОМИМСЯ С ГИЦЭ-МЕЛЬНИКОМ

Мельнику Гицэ было немногим более тридцати лет, но казался он гораздо старше. «От забот и огорчений»,— жаловался он.

Безбородый, с воспаленными веками, был он низкоросл и заплыл жиром. Нос его от цуйки преждевременно покраснел. Гицэ любил выпить и пил аккуратно, по четвертинке каждое утро. «В мельничной пыли,— говорил он,— нельзя без капли горючего, а то зачихаю, словно мотор».

Жена Гицэ, белесая и веснушчатая Станка, была чуть повыше его. Он скажет слово — она десять. Уже на похоронах родителей она косо посматривала на своего деверя Митрю; потом она все поворачивалась к Гицэ и что-то вдалбливала ему в ухо своим клювом. Глаза у нее были студенистые, рыбьи. Митря, заметив, что она сразу же его невзлюбила, про себя обругал ее.

Поминки справляли в родительском доме. Соседи пили и ели. Митря так и не нашел себе за столом места. Когда он, подцепив со стола какой-то кусок, укрылся в сторонке, чтобы незаметно проглотить его, Станка тут же отыскала мальчика своими белесыми глазами и сморщила нос. «С этой жить будет еще труднее»,— подумал Митря.

Священник прочитал молитву, потом начал рассказывать людям про ад и про рай. Кто, мол, добр на этом свете, тот попадет в лоно Авраамово. Кто зол, тот осужден попасть в ад, чтобы мучили его черти веки вечные. Только дарами и молитвами можно заслужить милосердие божие. Да раскается грешник, да смирится непокорный.

«И в раю места за деньги продаются»,— с усмешкой подумал Митря.

— Видел ты, как ухмылялся этот поганец,— сказала Станка, надвигаясь на мельника лбом, словно хотела его боднуть.— Батюшка про святое рассказывает, а чертенок обгладывает кость, калачом закусывает да зубы скалит. Попадешь ты, Митря, к самому сатане в лапы.

— А я себе проездной билет в рай куплю.

— На какие же это деньги?

— Твоя правда. Туда только богатеи на самолете полетят. Ну, коли нельзя мне в рай, пойду туда, куда ты меня посылаешь. Там, говорят, и музыканты есть, и выпивка каждую неделю.

Невестка всплеснула руками:

— Слышишь, Гицэ, что он говорит?

— Слышу. Да что он про это знает? — И вдруг окрысился, топнув ногой.— Знаешь ты иль не знаешь?

— Откуда мне знать, я ведь там не бывал. Вот вы там, видно, были и знаете.

— Да и мы не были, умник ты этакий.

— Тогда откуда про рай вам известно?

— Ну, с ним не столкуешься, Гицэ! — закричала Станка.

— Ты ему слово, а он тебе снова. Ты ему — белое, а он тебе — черное.

— Я говорю — брито, а ты — стрижено,— пробормотал Митря.

— Так-то ты мне отвечаешь, сопляк?

— С горя я, ведь сиротой остался.

— Вон как ты разговариваешь, щенок, а еще хочешь, чтобы я тебя обмывала, одевала да кормила? У меня своих хватает, не нужен ты мне. У нас дочки тебе ровесницы, не могу я тебя к ним пускать. Еще сестренка моя младшая. И без тебя за столом тесно.

Митря вздохнул.

— Послушай-ка,— заговорил мельник, потирая нос.— Жалко мне тебя, все-таки брат родной. Ты, жена, молчи, слушай мое решенье.

— Хорошего решенья послушаюсь, а нехорошего — не буду.

— Нет, будешь слушаться!

Мельник топнул ногой.

— Ладно, Гицэ. Ты знаешь, я из твоей воли не выхожу, только делай по-моему.

— Сделаю как лучше.

— Верю.

— Сделаю по совести, а ты помолчи.

— Молчу. Когда муж говорит, жена да убоится. Постой, Гицэ, ведь я еще не все сказала. Теснимся мы в домишке при мельнице, а нам бы что-нибудь попросторней надо. Жить там больше невозможно. Переедем-ка в родительский дом. Здесь и

стойла хорошие. И сад. Все жаловалась бедная свекровушка Агания, что дармоед этот черешни да сливы у нее обрывает.

— Замолчишь ты или нет? — осмелел после цуйки мельник.— Сам я так, стало быть, обмозговал, совета у тебя не спрашивал. Значит, мы сюда переезжаем — вот мое решенье. На мельницу его не можем принять — там чересчур тесно будет. Сюда принять не можем, потому сами переедем. Посмотрим, стало быть, что делать.

Митря мрачно взглянул на него и решительно сказал:

— А ведь есть и моя доля родительской земли.

— Хе-хе! — засмеялся мельник.— Доля, верно, твоя, да что ты с ней сделаешь? Нет у тебя ничего, чтобы землю обрабатывать, да и сам ты еще мал. Вот отбудешь солдатчину, получишь свою долю. А до той поры я, стало быть, на ней сам работать буду.

— Но ведь земли, что мне полагается, урожай дает. Значит, и в нем моя доля есть.

— Вижу, считать ты умеешь.

— Считать не умею. Но из той доли, что мне полагается, я бы мог на ученье деньги брать.

Станка вскочила как ошпаренная.

— Да парень разорить нас хочет!

— Погоди, погоди. Молчи, жена. Дай я скажу.

Он повернулся к мальчику.

— Слушай ты, бестолковый! И отец грамотеем не был, и меня в школу не отдавали, а он был честным хозяином, да и я, стало быть, не хуже. Откуда взять еду, одежу, книжки и всякое другое, что для школы надобно?

— Так что же мне делать? По дорогам побираться?

— Эй, братишка, не смотри волком, есть у тебя такая привычка, как, бывало, и бедная матушка говаривала. Слушайся меня, ведь я старший брат и хозяин. Я придумаю, как поступить.

Митря замолчал. Слезы потекли двумя ручьями и закапали на рубашку.

Он рывком уткнулся лицом в стену, шмыгнул носом и проглотил рыданья. Затем обернулся и глянул исподлобья.

— Жалко мне тебя, бедненький! — вздохнула Станка.

Он злобно проскрежетал:

— Значит, из-за брата быть мне разбойником на большой дороге!

— Ах, вот ты как! — кинулся на него мельник.— Погоди, я тебе покажу! Сдеру с тебя шкуру! — яростно заорал Гицэ, дергая себя за волосы и злобно выпучив глаза.

Мальчик выскочил за порог и заложил за собой щеколду. Гицэ стукнулся лбом о дверь, словно баран.

— Подлая твоя душа! На куски разорву! Граблями собирать придется.

Он рванул дверь, так что она грохнула об стенку. Пригнув голову, Гицэ бросился вперед. Бежал он, тяжело дыша, потирая левой рукой шишку, вскочившую от удара. В правой была прихваченная в сенях палка. Никого не было, чтобы удержать его,— все уже разошлись.

Митря стоял на дворе у навеса возле лошадей. Длинными железными вилами он подгребал свежескошенную траву. Когда показался запыхавшийся Гицэ, он бросил работу, чуть поднял вилы и в упор посмотрел на него с притворным удивленьем.

Мельник остановился, храпя, как взнузданный жеребец. Он смерил Митрю с головы до ног, потом с ног до головы, посмотрел на блестящие вилы. Конечно, мальчишка был сильней его — широкогрудый и плечистый.

— Бросим, братишка, шутки да глупости,— пробормотал Гицэ уже другим голосом. Потом ухмыльнулся, обнажив черные зубы.

Растрепав на бегу волосы, выскочила на двор и Станка. Она сразу же вцепилась в палку, которую держал муж.

— Гицэ, Гицэ,— заволила она,— оставь мальчишку в покое, прости ему.

— Ладно... Только пусть он меня больше не злит,— забубнил мельник.— У меня больное сердце, печень больная, и когда меня донимают, вся желчь у меня разливается.

— Пускай Митря живет здесь, пока все наладится,— просила жена,— пускай присматривает за скотиной и за птицей. Я буду ему с мельницы еду посылать — вот и довольно с него. Ведь, правда, Митря?

Митря молчал, не спуская с них глаз. Тут и Станку пронял страх. Она шепнула:

— Что делать, Гицэ?

— Поглядим,— пробормотал мельник.— Справлю ему сапоги и одежу. Пойду поговорю с господином Кристей, чтобы взял его работать в именье.

Мальчик кивнул головой. Гицэ сипло засмеялся:

— Ну что, так будет хорошо?

— Хорошо.

Возвращаясь домой, Гицэ сказал жене:

— Избавимся от него. Сдам его старому черту, туда, в именье. Боярин Кристя пристрелит его из ружья.

— И напугалась же я,— заохала Станка.

— Чего пугаться? Видела, чем его можно взять? Простофиля он, весь в отца, а горяч — не хуже матери. Теперь я знаю, какая

нужна бычку веревочка. Наобещаю ему с три короба. Одену его. Заключим с барином контракт. Промается парень там лет пять, а тут его, глядишь, и в солдаты заберут. Уж тогда — точка.

Станка забормотала, крестясь:

— Дай, господи, избавиться от него. Матерь пречистая, спаси нас от лукавого.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МЫ ЗНАКОМИМСЯ И С ХОЗЯИНОМ ПУСТОШИ ДРОФЫ — БОЯРИНОМ КРИСТЕЙ ТРЕХНОСЫМ

Усадьба Хаджиу была расположена в четырех километрах от Малу Сурпат, среди редких старых акаций, на холме, раскинувшемся у края пустоши Дрофы,— пустоши, потому что не селился на этой земле ни один крестьянин. Только дикие звери рыскали по равнине, присоединяя свой вой и рев к завываниям ветра, да в воздухе плавно кружились орлы-стервятники, высматривая падаль поблизости от коровьих стад и овечьих отар. На всю степь только и было что три глубоких колодца с журавлями, один от другого на большом расстоянии, да еще ручей, похожий больше на болотистую низинку. После пятнадцатого декабря зима выпускала здесь на свободу дикий табун метелей. Весна наступала раньше времени. Расцветали цветы и быстро увядали. В разгар лета под белесоватым небом стояла немилосердная жара. Между хлебами время от времени появлялся, словно вырастал из-под земли, всадник — господский приказчик. По укромным местам бродили осторожные дрофы. На юге поднималось марево.

Старый помещик Мавромати, вооружившись подзорной трубой, имел обыкновение осматривать с вышки усадьбы свое богатое поместье. Особенно внимательно наблюдал он во время пахоты и жатвы. Иногда что-нибудь ему не нравилось, тогда он вздрагивал, как ужаленный змеей, бросал подзорную трубу и кричал:

— Вот я пойду к ним! Покажу этим голодранцам, как надо господскую землю обрабатывать. Я плачу деньги за жатву и молотьбу, а не за то, чтоб они в Адынкате угрей ловили. Вот пойду и пальну в них из ружья.

Никуда он не шел. Не под силу ему это было: он едва передвигал ноги.

Так же, бывало, обрушивался Мавромати и на своих сыновей за то, что они сорили золотом за границей. Он и им угрожал ружьем в ответ на бесконечные письменные просьбы о деньгах и опять о деньгах. Даже несколько раз в луну стрелял, но все напрасно: сыновья как уехали, так больше не возвращались.

Нынешний владелец имения, Кристя, купил поместье у наследников старика. Он их даже и не видел. Купчая была совершена их поверенным, и Кристя через банк выслал деньги в Париж, все равно что на луну. От этих барчуков-наследников больше не было ни слуху ни духу. Жили они, пока не промотали то, что получили за землю в Дрофах, политую пóтом и кровью тружеников.

Всем, что было в Хаджиу, стал пользоваться Кристя — и вышкой и подзорной трубой. Но он-то не шутил, когда угрожал ружьем. Он и вправду заряжал его мелкой дробью или солью.

Кристя был жесток и неутомим. Взгромоздившись на беговые дрожки, разъезжал он по всему поместью, имея всегда при себе ружье. Возил его размашистой рысью вороной жеребец. Еще издалека Кристя начинал орать и угрожать хриплым голосом, выбрасывая вверх руку, будто поршень. Был он уродливым и старым, безбородым и жирным. Из-за того, что между щек торчала у него какая-то картошка нелепой формы, люди из Малу Сурпат прозвали его Трехносым. Иначе его и не называли, даже фамилию забыли. Счастье, что он передвигался с трудом и быстро задыхался, так что люди могли спасаться бегством от его гнева. Он смотрел, как они удирали, осыпал их бранью и оставлял в покое, зная, что рано или поздно он их настигнет, а то и сами они придут к нему. Настигал он людей с помощью старосты и жандармов. Приводила их к нему нищета и нужда.

К Кристе Трехносому и повел Гицэ своего младшего брата. Застали они его на вышке, откуда через открытые окна осматривал он в подзорную трубу свои владения.

— Подождите немножко,— приказал он им.— Вон там, я вижу, новый кучер ударил жеребца. Нет, это уж никуда не годится! Я ему вышибу зубы, бездельнику!

Они стояли и слушали, как он ворчит. Митря тайком поглядывал на него своими быстрыми глазами.

Он удивлялся. Трехносый с мельником были похожи друг на друга, как родные братья. Только помещик был жирнее и выше, а мельник едва доходил ему до плеча. Трехносый казался старшим братом, а Гицэ — младшим.

— Чего тебе, Лунгу? — вдруг обернулся к Гицэ хозяин именья.

— Привел меньшого брата, барин, как докладывали вам...

— Да, мне говорил управляющий. Погибли, значит, старики. А тебе самому он не нужен?

— Нет, барин, и других хватает на мою шею. Я хотел бы отдать его к вам — пускай поучится работать, чтоб вышел из него дельный землепашец, получше меня. Уж будьте милостивы, возь-

мите его к себе лет на пять, пока не подойдет время солдатской службы. А там посмотрим. Может, и своим домом заживет.

Трехносый с сомнением покачал головой и долго смотрел на подростка.

— С виду паренек не плох,— заговорил он.— Если и голову на плечах имеет, из него что-нибудь может и выйти. Только работников у меня и так довольно.

— Мы многого не просим.

— Знаю. Про это и речи нет. По работе и плата. Потом посмотрим, чего он заслуживает. На первый год хватит ему одежи да стола. Для детей у меня такой порядок. Только я ведь тебе сказал, нет у меня надобности в работнике. Слуг у меня больше чем нужно.

Мельник с досадою почесал затылок, а Митря обрадовался.

Помещик снова взял трубу и навел ее на конюшню, затем, опустив ее, приказал Гицэ:

— Когда спустишься, скажи внизу, чтоб прислали ко мне Чорню. Кучера Чорню.

— Слушаюсь, барин,— подобострастно поспешил ответить мельник.

Он вздохнул и снова полез в затылок.

— Барин, прошу, не оставьте нас.

— Что же тебе ответить, Лунгу? — сказал Трехносый.— Слышал ведь — мне не нужно. Разве только ради тебя, ты, я знаю, человек неправный.

Лицо у мельника просветлело. Митря смотрел в потолок.

— От души вас благодарим...— поклонился Гицэ.— Целуем ручку, и я и братец.

— Хорошо! Хорошо!

Барин улыбнулся.

«Видно, сговорились...— подумал мальчик.— Будь что будет, не помру».

С этого же дня Митря остался в Хаджиу. Гицэ вернулся в Малу Сурпат.

«Что и говорить, славно быть слугой у барина,— вскоре стал размышлять Митря.— Знай гни спину и работай как вол. Будят еще до света. А замешкаешься, так приказчик хлыстом подгонит. Утром и сухой корки не успеешь проглотить. Зато в обед, наоборот, в фасолевой похлебке и боба не найдешь, огурцы вялые, мамалыга из гнилой муки. Скажешь:

— Ей-богу, прогоркла!

— Не нравится? — спросят со смехом.

— Да нет, нравится. Еще получше барского калача.

— Как бы живодер не услышал,— предупредят,— а то услышит, вырежет у тебя из спины ремень, чтобы было ему чем подпоясываться.

Другой спросит:

— Может, тебе, постреленку, и вина хочется?

— Да нет,— скажу,— есть для меня вода в реке, а иной раз и луковица. С меня хватит.

— Ишь ты какой, черт тебя подери.

— Так оно и есть, он и дерет!

Засмеются работники на мои слова.

— Эй, Митря, как бы не услышал Ницэ, управляющий, что ты про хозяина говоришь.

— Ай-яй-яй, если расскажет ему, ведь я службы лишусь!

И снова все захохочут.

— Не так службы лишусь, как порку заработаю!»

«И правда»,— думал Митря, припоминая все, что видел,— хлыст приказчика по утрам казался легким дуновением, лаской по сравнению с расправой Трехносого. Митря видел, как производили экзекуцию над Чорней, тщедушным, чахоточным цыганом. Трехносый дал ему пощечину, и тот повалился влево, помещик тут же трахнул его справа, а когда сунул кулаком в лицо, кучер рухнул навзничь. Трехносый топтал его ногами, пока не почувствовал, что скользит в крови. Тогда ему стало противно, и он отпустил цыгана.

Больше всего и боится этого Митря. Поэтому он и вертится волчком. Везде старается, где бы ни был: пашет ли, сеет, молотит — везде первый. Трехносый наблюдает за ним издалека. Сначала все смотрит через подзорную трубу. Потом спускается и останавливается где-то рядом. Митре не до разговоров. По небу бегут осенние облака, подгоняемые ветром. У него дела в конюшне: нужно законопатить щели, чтобы не дуло, а то зимой будет еще холодней. Ему жалко скотину, что же ей мучиться! Еще больше жалко самого себя, ведь и он спит вместе с волами на охапке соломы. Даже прикрыться нечем. Вот была бы у него теплая одежда... Будет, дожидайся, ведь здесь живется как у Христа за пазухой. Но пока он носит какие-то лохмотья.

Как-то повстречался он с госпожой помещицей. Это молодая барынька, третья жена Трехносого. Она обратила внимание на мальчика с живыми черными глазами, высокого, складного. Что это он все сторонится? Ему неловко, он старается закутаться поплотнее.

— Как тебя зовут?

— Митря.

— Что это ты все прячешь?

У него заколотилось сердце. Он ответил с ненавистью, чувствуя, однако, что может быть дерзким: на это поощряла улыбка барыни.

— Что есть, то и прячу!

Она вздрогнула удивленно. Потом рассмеялась и не рассердилась. И вот на следующий день Митря получил новую одежду, а барыня пришла снова посмотреть на него.

— Что скажешь, Митря, так лучше?

— Лучше.

— Только это и можешь сказать?

— А что говорить?

— Скажи: «Целую ручку».

Митря отвел глаза в сторону, еще более смущенный, чем накануне.

— Целую ручку.

— Вот так. Учись не быть таким медведем. И когда разговариваешь, гляди на меня.

Она ушла, светловолосая, в большой соломенной шляпе с голубою лентой.

Разное говорилось про госпожу Дидину между людьми в имении.

«Бывает!» — думал про себя Митря, охваченный горячим волнением.

Потом все прошло. Он больше не думал об этом происшествии.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ЛИШЬ НА МГНОВЕНИЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАСТАСИЯ

Как-то в дождливую пору Митря отпросился у старшого к своему брату, мельнику.

Работать в поле было невозможно, выгонять скот на пастбище тоже нельзя было, и работники, толкавшиеся возле хозяина, гудели, как ленивый рой.

Старшой — дедушка Тригля — наказывал ему:

— Можешь идти, Митря, часика на два, на три,— только, смотри, не опаздывай, а то взбредет мироеду в голову собрать всех нас да устроить перекличку. Случается это. Кого нету, тому куска хлеба не даст, пока солнце не выглянет и поля не просохнут. Есть у него такое поверье, что коли кто отлучится, так из туч будет лить и лить.

Митря кивнул головой, злобно усмехнувшись:

— На дожди обижается, что ли?

— Как не обижаться, коли от них, вот как сейчас, одно разоренье!

— Поди, он из ружья и в небо по святым палит? — засмеялся Митря.

— Может быть, ему ведь все нипочем. Только ты этак-то не болтай, парень, как бы он тебя не услышал.

— Ну и услышит, дедушка Тригля, не велика беда. Почему бы не пальнуть в того,— кто бы там ни был,— кто напускает на нас гнилые дожди, град да вьюги? И голод еще напускает, и болезни, и напасти... Позволяет богатеям поедом есть бедняков...

— Ах ты чертенок,— накинулся старик,— довольно тебе стоять и болтать что в голову взбредет, не то ожгу вот хлыстом. Подумаешь, какой грамотей нашелся.

— На мое счастье, брат не отдал меня в ученье. Не ругайся, дедушка Тригля. Я мигом слетаю — огня из кресала не успеешь высечь.

— Набрось мешок на голову,— посоветовал ему старик, поблескивая красным носом из зарослей белой бороды.— Возьми кличу какую-нибудь. Там на мельнице дашь ей пригоршню отрубей.

— Разве только украсть их, а то брат не жалеет ни человека, ни скотину. Весь налился скупостью, как отравой, того и гляди, лопнет. И на что ему столько денег? Коль живет, как последний нищий, то, значит, он беднее, чем мы.

— Ну-ну, иди уж,— заворчал на него старик.— А теперь-то будто из Евангелья читаешь, словно поп.

С мешком на голове, верхом на неоседланной низенькой гнедой лошадке Митря мигом доехал до мельницы Гицэ Лунгу. Под навесом стояло семь-восемь подвод. С десяток людей сновало вокруг под дождем в вывернутых наизнанку шапках.

Митря привязал лошадь под навесом. Он потрепал ее за ушами, ласково похлопал по морде и заспешил к дверям мельницы. Мотор пыхтел и плевался из трубы прямо в тучи. Только он вошел — тут как тут на пороге брюхо Гицэ. Мельник выпучил глаза с воспаленными веками:

— И ты приехал? Голова идет кругом от забот. Видишь, сколько народу ждет, пока смелю кукурузу.

Митря остановился, смело поглядев на него сверху вниз.

— Тогда я пошел. Приеду через годок.

— Хо! Погоди, что так?

— Уж если ты меня и за брата не считаешь, то я пойду. У нас маленькая передышка из-за этих дождей, вот я и заглянул. Пока мельница смелет пару мешков, мы бы и перебросились парой словечек.

— Ну ладно, входи.

— Невестка Станка дома?

Мельник вздрогнул:

— А что? Голоден, поди?

— Нет. Повидаться хочу, как-никак она мне вроде сестры.

Гицэ замотал головой, словно отмахивался от шмеля.

— Смеешься ты над ней. Дел у нее, дел — страх сколько. Давай зайдем в эту каморку. Там у меня окошечко: видно все, что делается. Люди злы, братишка. Не приглядывай за ними, так крадут напропалую.

Митря удивился:

— А они говорят, что ты их обворовываешь. У них счет не сходится, когда ты за помол берешь, они понять не могут, как это выходит.

— Кто это говорит? — засмеялся мельник.— Не верь дуракам.

— Да мне что? Послушай-ка, Гицэ, из своего прибытка дай-ка мне пригоршню отрубей для лошади.

— Как, ты верхом приехал? Нету! Не дам! Пусть ее твой хозяин кормит, у него есть чем.

— Не скаредничай,— ласковым голосом попросил младший брат.— Ведь и лошадь — живая тварь, работает наравне со мной. Хоть она и не моя, да жалко мне ее.

— Тебе-то жалко, да отруби денег стоят.

Мельник подошел к застекленному глазку и взглянул в него.

— Садись туда на лавку. Ну, что нового в Хаджиу? Эх, дождь не перестает. Напасть, а не дождь.

— Что делать? Поперек ему не встанешь.

Мельник засмеялся:

— А что сказал бы барин, узнав, что вместо слуги нанял мудреца?

— Мудреца он не знает,— ответил мальчик.— Уж его-то, верно, не честил бы так, как меня честит. Разговаривал бы по-человечески.

— А я слыхал, он тобой доволен.

— Он-то доволен, да я не доволен ни платой, ни едой.

— Эй, Митря,— выпучил глаза мельник,— не гневи бога. Хозяин у тебя хороший, держись за него.

Мальчик метнул на него суровый взгляд. Гицэ отвел глаза в сторону и пробурчал:

— А я вижу, одежа на тебе порядочная.

— М-да. Подарили какую-то рвань.

— Кто?

Митря не ответил.

— Слыхал я кое-что,— пробормотал мельник.— Только бы ты умным был.

— Куда уж мне!

— Глупостью, парень, не укроешься, не оденешься и сыт не будешь.

— Может быть.

— А от женщин, парень, могут быть всякие милости.

— Нет, брат, как ни горька мамалыга, что дают мне, в грязь ронять ее не хочу. Спать мне негде, зимой холодно. Еда совсем как у нищих — не по моей работе и не по силе. Думается мне, что в Хаджиу ничего не делается по справедливости. Ушел бы куда глаза глядят.

Мельник испугался, подскочил:

— Нельзя. У тебя контракт. Еще три года должен отслужить. Меня к ответу потянут. Я за тебя ручался. Еще неустойку могут с меня стребовать.

— Уйти бы куда глаза глядят...— продолжал Митря, словно не слыша причитаний Гицэ.— Хочу я тебя спросить, везде ли такие порядки по именьям. Здесь осенью крестьяне получают гроши под тяжелую работу будущим летом. Из долгов никак не вылезают. Барская мельница людей все мелет, в порошок стирает. А кто на издольщине, тот сдает две-три части из пяти, а пока дождешься дележки, волосы сквозь шапку прорастут. Вот тут и работай. А сгниет кукуруза в буртах, мироед скупает ее задарма для винокуренного завода.

Мельник слушал с великим беспокойством и морщил нос.

— Откуда это ты знаешь?

— Видал.

— А коли видал, так забудь.

— Не могу да и не хочу!

— Забудь, говорю тебе! Бедняку не годится судить богатых. Раз ты бедняк — держись за хлеб насущный. Мало его, горький он, а все хлеб. Не то пропадешь, парень, раздавят тебя ногтем, словно вошь. Вот так в тысяча девятьсот седьмом году осмелились люди возроптать. Пулями им рот заткнули. Снарядами дома с землей сровняли. Плохо пришлось этим людям. Помалкивай, чтобы и с тобой не стряслась беда. Я ведь тоже едва-едва оперился. Как бы и на меня твоя беда не свалилась.

Гицэ еще раз глянул в застекленный глазок, потом обернулся и как-то странно, совсем по-новому, посмотрел на Митрю.

— Сейчас не уходи. Подожди немножко. Станка даст тебе перекусить.

Он быстро вышел, не дожидаясь ответа. Парень остался один. Мельница вдруг перестала шуметь. Послышалась ругань мельни-

ка, сердитые голоса людей. «Верно, поспорил с мотористом»,— подумал Митря. Все стихло. Через некоторое время из глубины, где было жилое помещенье, послышался возмущенный визг, сразу же заглушенный бормотаньем мельника.

Сердце у Митри окаменело, он подумал: «Это из-за ломтя хлеба. А мне не надо. Отдам лошади».

Открылась низенькая дверца. Вошел Гицэ. За ним тоненькая, словно стебелек, девушка с карими глазами, в синей ситцевой юбке с красной каймой. Она несла блюдо с орехами и хлебом.

— Ставь сюда, Настасия,— приказал мельник.

Настасия была сестрой Станки. Она поставила блюдо на стол, уставившись на Митрю широко раскрытыми, удивленными глазами. Она бы не узнала его, так он вырос и возмужал,— словно яблоня, впервые расцветшая по весне. Уши у нее покраснели, как лепестки шиповника. Ей вспомнились пересуды женщин, их подозрения, что там, в имении, у этого паренька завелись уже любовные шашни. Ее утешали только слова мельника, сказанные как-то Станке: «Повезло бы этому Митре, да он—ротозей, проморгает счастье».

Митря улыбнулся Настасии. Он отложил в сторону ломоть хлеба, а орехи высыпал с блюда за пазуху. Откусил от ломтя разок-другой. Остальное приберег для лошади.

— Счастливо оставаться,— сказал он.

Мельник притворился удивленным:

— Уже уходишь?

Митря только кивнул головой и вышел. Настасия вернулась к Станке, чему-то улыбаясь. За ней, ворча, вошел и мельник. Он ругал брата. Жена даже не повернула головы. Ее радовала эта ругань, и она шептала над полотном, которое ткала: «А что я говорила? Из собачьего хвоста не сплетешь шелкового сита».

ГЛАВА ПЯТАЯ

МИЛОСЕРДИЕ МЕЛЬНИКОВ, ГОСПОД И ЖАНДАРМОВ

Через несколько дней, в начале сентября, дожди прекратились. Установилась прохладная погода. Некоторые из работников именья, среди них и Митря, начали работать на самых отдаленных полях, у Воловьего колодца. Они сеяли пшеницу и торопились, потому что из-за продолжительных дождей осенние работы задержались.

Ночи теперь были ясные, и на аметистовом куполе неба сверкали бесчисленные маленькие звездочки, а большие горели, как огненные цветы.

Люди спали у лениво дымящих костров из бурьяна и навоза. Кое-кто, постарше, рассказывал о давних временах, когда в Джурджу хозяйничали турки и их конники совершали из-за Дуная набеги на бедных христиан.

Митря, закутавшийся в старую сермягу, слушал, оперпись на локоть. Время от времени он опускал голову на кочку, которая служила ему изголовьем.

«На бедняков все напасти,— размышлял он.— То турки, хуже чумы, то мироеды, хуже турок. После них теперь еще и мельники объявились: нет для них ни родителей, ни братьев, только деньги да деньги».

Сквозь полуприкрытые ресницы проникали мерцающие лучи звезд, наводя дремоту. Он засыпал.

Проснулся он задолго до рассвета. Некоторое время прислушивался, как волы пережевывали жвачку. Потом до его слуха начали доходить и другие степные звуки. Высоко летели черные птицы, и с далекого Дуная доносился легкий ветерок. На самом горизонте обозначилась пурпурная полоска. Стали подниматься и его товарищи, батраки; разминая натруженные, налитые свинцом руки и ноги, они собирались у колодца. Чтобы заглушить голод, они глотали пахнущую тиной воду.

В то время, когда Митри не было в имении, к господину Кристе явился мельник. Грохоча сапогами по ступеням, он поднялся на вышку. Барин подождал, пока тот снимет шапку и поклонится. Он внимательно смотрел на него, спрашивая себя и пытаясь угадать по его лицу, с какими делишками мог к нему прийти Гицэ Лунгу.

— Что тебе?

— Барин,— сказал мельник,— несколько дней я раздумывал, а сегодня решил доложить. И жена моя Станка понукает. Пойди, говорит, скажи.

— Ну, говори, довольно мяться!

— Тут поневоле замнешься — ведь речь-то про брата моего Митрю. Жалко мне его.

— Оно и видно.

— Поучить бы его, барин. После как бы не было поздно!

Трехносый нахмурился, надув толстые губы:

— Да о чем речь-то?

— Барин,— набравшись храбрости, сказал мельник,— брат мой меньшой похвалялся, будто на него чьи-то жены ласково поглядывают.

— Это меня не интересует,— поморщился помещик.

— Правда ваша. Только не в этом все дело,— заторопился объяснить Гицэ,— что нам до этого? А вот зачем он плетет напраслину про то, как имение управляется?

— Какую напраслину? Говори, если есть что сказать, не ходи вокруг да около. Ты не волк, я не овчарня. Говори яснее.

— Скажу, скажу, коли приказываете. Не знаю, кто ему напел в уши, что при обмере земли обманывают людей, что поздно делят заработанную кукурузу, что на работников столько поборов всяких. Будто он не знает, как тяжело достается хозяину с этими голодранцами?

Барин призадумался. Казалось, он совсем спокоен.

— Когда же он тебе это говорил?

— Да во время дождей. На мельницу ко мне приезжал. И еще верхом на лошади, я ей еще тогда немного овса насыпал.

— Вот уж не поверил бы,— рассмеялся Трехносый.

— Ей-богу, барин, честное слово даю!

— Ладно, брось. Скажи, как это ты из него выпытал?

— Сейчас скажу. «Брат, говорю, я вижу, ты приоделся. Кто же тебе подарил такую одежу?»

— Да брось ты, Дидина пожалела его и дала парнишке эти тряпки. Я им доволен. Он работящий и с головой.

— Только бы он дело знал, барин, и не болтал глупостей.

— Пока я за ним этого не замечал,— сказал Кристя.

— Язык у него длинный, барин.

Трехносый пристально посмотрел на мельника.

— Тогда, Гицэ, мы его укоротим.

— И больно уж он дерзкий парень!

— Если дерзкий — обломаем.

Господин Кристя в раздумье покачал головой.

— Жалко было бы его лишиться. Но и так этого дела не могу оставить. Я расследую. Быть может, обнаружится еще кто другой, о ком мы и не подозреваем. Какой-нибудь подстрекатель. Говоришь, он одеждой хвастается?

— Хвастается и смеется...

Мельник отправился восвояси, думая про себя, что хитрость его удалась.

— Не мне его бить, я не могу,— бормотал Гицэ,— пусть другие поколотят!

Мельник был в имении в среду. А в четверг, в обед, жандармский унтер-офицер Гырляцэ прикатил к Воловьему колодцу на паре вороных, запряженных в желтую двуколку, и позвал к себе Митрю. Он приказал ему сесть рядом с ним.

— Зачем? — спросил Митря, поднимая настороженный взгляд на представителя власти.

— Там увидишь.

— Письмо мне откуда-нибудь пришло?

— Половину угадал. Вторую половину узнаешь, когда приедешь в участок.

Глаза Митри потускнели. Он чувствовал, что такому бедняку, как он, не приходится ждать ничего хорошего.

— Господин унтер-офицер,— заговорил Митря,— разрешили бы мне хоть перехватить чего-нибудь, а то голоден как собака. Как говорит наш молдаванин с первой селяки, у меня в брюхе мыши заночевали.

— Поешь в Малу Сурпат.

— Да ведь тут-то у нас жареная индейка и холодец,— засмеялся Митря.

Жандарм усмехнулся и хлопнул его по плечу.

— Ну ладно, садись в двуколку. У меня и других дел много.

По дороге Митря несколько раз пробовал выпытать хоть что-нибудь у своего спутника. Но усатый жандарм отмалчивался. Митря заговорил о дрофах. Гырняцэ не был охотником, но все же поинтересовался, с каким ружьем ходят на этих птиц. Митря стал расхваливать барина из Хаджиу. Унтер-офицер слегка улыбался, но языка не распускал.

Приехав в Малу Сурпат и войдя в помещение жандармского участка, Гырняцэ крикнул солдату, чтобы тот открыл «гостиную». Не говоря дурного слова и ничем не угрожая, унтер-офицер пригласил Митрю войти, словно дорогого гостя. Митря стиснул зубы так, что у него в голове отдалось, но сдержался.

Он вошел в «гостиную». Несколько голых скамеек, на стене повешен календарь и в тонкой черной рамке — изображение господаря Влада Цепеша.

— Теперь уж больше так не делают, как в его времена,— пошутил Гырняцэ.— Теперь у нас другие способы. Ты стой здесь у двери, внутри,— приказал он солдату.— Никого не впускать и особенно никого не выпускать.

— Что вам от меня надо? — угрюмо спросил Митря.— Где письмо?

— Нет никакого письма, парнишка. А дело такое, что ты повиниться должен.

— Это в чем же повиниться? Не в чем мне.

— Послушай, Митря, будь благоразумен. Так не отвечают, нехорошо. Смотри, недосчитаешься зубов во рту. А не будешь запираться, отделаешься легко. По-братски тебе советую.

Митря Кокор вздохнул, сверкнув глазами:

— Да что мне говорить-то?

— Полегче, полегче, парнишка, говори со мной по-хорошему.

— Что же говорить? — раздраженно спросил Митря.

— Скажи мне, малец, где ружье?

Митря вздрогнул. Жандарм заметил, как он широко открыл глаза и усмехнулся, потом лицо его завяло, будто от безысходной печали.

«Ну что тут отвечать? — тревожно думал Митря.— Признаешься, что украл ружье,— так нужно ведь показать, где его спрятал. А скажешь, что ничего не знаешь и ничего не брал,— все равно один конец: надают пощечин, будут бить кулаками, палками, шомполом или мокрой веревкой».

Он выкрикнул яростно:

— Ничего не знаю ни про какое ружье. Не нужно мне оно, некого мне убивать. Пустите меня!

— Если признаешься, меньше попадет.

Митря Кокор яростно заметался:

— Чье ружье?

— Боярина Кристи. С ним на дроф можно ходить.

— То, из которого он дробью по мальчишкам стрелял, когда они сливы воровали?

— Э, поганец, да ты меня хочешь допрашивать! В господа бога и панихиду! Признавайся, где ружье. А то я с тобой иначе поговорю.

— Не знаю. Оставьте меня! — упрямо твердил парень.

Гырляцэ спокойно приказал:

— Арон, свяжи его. Этот младенец выводит меня из себя.

Его связали.

— Ну что, скажешь?

— Нечего мне говорить.

Его били кулаками, пока сами не устали. Митря скорчился, уткнувшись подбородком в грудь, и вздрагивал с тихим стоном, идущим как бы из самой глубины его существа.

— Гляди, не хочет признаваться,— удивился унтер-офицер Гырляцэ.— Раздень-ка его да подай мне мокрую веревку.

Жандарм развязал Митрю и стянул с него рубаху. Митря лежал тихо, словно в забытьи. Жандарм вытащил из шкафа веревки и открыл дверь, собираясь идти к колодцу намочить их. Тут Митря неожиданно вскочил, молниеносно ударил его головой в живот, перепрыгнул через него и помчался прочь.

Гырляцэ кинулся за ним, споткнувшись на пороге.

Когда Митря Кокор прыгал через канаву, чтобы выбраться на шоссе, прямо перед ним остановился кабриолет из именья с дедом Триглей на козлах. С сиденья поднялся господин Кристя, чтобы посмотреть, кто это перепрыгнул через канаву, что это за человек: волосы всклокочены, глаза налиты кровью, по голому до пояса телу — кровоподтеки.

Помещик закричал:

— Стой! Оставь его, Гырпяцэ. Хватит!

— Я дознанье проводил, барин,— пропыхтел Гырпяцэ.— Не хочет признаваться.

— В чем признаваться-то? Ружья не крали, его механик почистить взял. Отдай ему рубашку и одежонку. Пусть садится возле Тригли.

Митря застыдился своей наготы. В кабриолете сидела и госпожа Дидина. Ей показалась забавной вся эта комедия, и она пыталась теперь прочесть в глазах стройного подростка хотя бы некоторую радость, что он спасся.

Мурашки пробежали у нее по спине, когда она увидела в его красивых глазах яростную ненависть.

Все же Митря пробормотал благодарность, стараясь не встречаться с ней взглядом. Потом он сплюнул кровью прямо в пыль, натянул на себя одежонку и пристроился рядом с Триглей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИЛОСЕРДИЕ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В ГОРЕСТЯХ

Барин вызвал его на вышку.

— Иди,— напутствовал его Тригля,— посмотришь, что он тебе скажет. Будь умным.

Митря глубоко вздохнул и пошел.

Хозяин сидел в мягком кресле, подзорная труба — на столике, ружье — в стороне, прислонено к подоконнику. Пристально посмотрел он на парня, но тот отвел глаза.

— Эй, Митря, посмотри-ка на меня. Слышишь?

— Как не слышать, слышу.

— Смотри на меня!

— Смотрю.

— Скажи, как это с тобой приключилось?

— А откуда я знаю?

— Больно было?

— Чего там больно. Рад был радешенек!

Трехносый нахмурился.

— Эй, как ты со мной разговариваешь? Не смотри в угол. Подыми глаза.

— ...рад-радешенек был, что еще хуже не случилось...

— Ах, вот оно что! — ухмыльнулся барин.— Ты умен и хитер, чертенок.

— Ведь я, барин, человек бедный...

Хозяин заговорил другим тоном:

— Послушай-ка, Митря. И я рад, что все добром кончилось. Мне бы жалко было потерять такого работника, как ты, да и барыня слово замолвила.

Митря молчал, потупив взгляд.

— Можешь идти,— приказал барин.— Эй, погоди минутку. Говорят, ты язык распустил, болтаешь всякую всячину.

— А что мне болтать, барин? Я ни с кем и не говорю. Мне только и дела что до своей работы да заботы.

— Хорошо, парень. Помни, что написано в святом Евангелии.

— Откуда мне знать,— пробормотал парень.

— Молчи, когда говорит хозяин. В святом Евангелии есть слова: «Имеющий уши да слышит». Понял?

Митря Кокор нерешительно кивнул головой.

— Вбей себе эти слова в голову, ясно?

— Ясно.

— Ну, хорошо. Я тебе жалованье прибавлю.

Митря молчал.

— Вот возьми двадцать лей. Купишь себе табаку и цуйки. Надо и тебе погулять.

Скрипя зубами, спустился Митря с вышки, зажимая в руке ассигнацию.

Добравшись до конюшни, к деду Тригле, Митря бросил деньги на землю, плюнул на них, затоптал сапогом и грубо выругался.

— Что это ты, а? — удивился старик.

Митря застонал от обиды.

— Крепись, парень,— увещевал его Тригля.— О чем он тебя спрашивал? Что тебе сказал?

— Провались он к чертовой матери,— пробормотал сквозь зубы Кокор.

Тригля огляделся вокруг. Поблизости никого не было.

— А посмотрел он твою спину?

Митря отрицательно покачал головой.

— Я и не дивлюсь,— вздохнул Тригля.— Им и дела нет до наших страданий. В горькие мои деньки и мне немало досталось от этих мироедов. А деньги не рви, парень. Они нам сгодятся. Вот пойду куплю кой-чего. Я скоро вернусь, тогда с тобой поговорим. Будут тут к тебе подходить, спрашивать, как да что,— ты помалкивай.

Митря остался один и задумался. У него ныло все тело, как после непосильной работы, в спину словно вонзились раскаленные иглы. В сердце закипала отравленная злоба — вот-вот переплеснет через край. Так и сидел он один, уставившись в одну точку, думая о жестокой мести, еще неясной ему самому.

Конюшня была пуста. Весь скот и люди были в Дрофах, в степи. Оттуда веяло зноем. Как дымка, тихо спустились сумерки. В эту ночь Митря должен был вновь выйти на работу с другими несчастными. И он был рабом среди рабов. Родителей у него не было, а брат — не был братом. Он чувствовал себя лишенным и любви и ласки в этом мире. Митря проглотил горькие слезы.

— Я замешкался,— проговорил, входя, Тригля.— Далеко до кормы. Гляди, я цуйки немножко принес и хлебца, вылечу твои раны. Выпей малость, и я выпью за компанию. К завтраму боль и утихомирится.

Расскажу я тебе, Митря, чего ты еще не знаешь,— продолжал старик, примачивая на его спине рубцы, похожие на багровых змей.— Горька наша жизнь, пока доживешь до старости, да и после горько до самой смерти. Я ведь застал еще то страшное время, когда села подымались жечь именья и власти послали солдат из Молдовы расстреливать и убивать наших. А мне забрили лоб и послали с полком в молдовскую сторону — колоть штыками тамошних, тоже наших братьев, крестьян.

Был у меня меньшой братишка, ребенок еще. Оставался он дома за скотиной ухаживать. Вот ударили как-то в барабан, прочли приказ — всем сидеть по хатам. И чтоб никуда не выходить, а то начальство из ружья застрелит. Как-то утром вышел братишка во двор. А по дороге шел патруль с молодым офицером. Увидел офицер моего брата: «Ты чего тут?» — «Вышел скотине корму задать»,— говорит брат. «Поди-ка сюда!» Подошел мальчонка к воротам. Офицер вытащил из кобуры револьвер и — бах! Упал парнишка, как подрезанный колос, и пикнуть не успел. Этим же утром зарубили саблей Марину, жену Ницы Чортяна. На сносях она была, ребеночек прямо на дорогу в пыль вывалился. Такого страху нагнали на мужиков,— на целый век хватит. Опамятовались мы и терпим. А сами все бедней. Уж и не знаю, что и будет... Болит небось?

— Нет, дедушка Тригля, сердце вот ноет... Все спрашиваю себя: до каких же пор терпеть нам?

— Пока господь бог не обратит на нас очи свои.

Митря вздохнул и застонал. Потом в тишине долго слушал рассказ дедушки Тригли про минувшие годы. Парень немножко захмелел от цуйки и стал клевать носом.

Дед Тригля остановился. Спросил:

— Спишь?

— Нет еще,— ответил Митря.

— Хотел я тебе сказать, что третьего дня, до того как стряслось с тобой это, приходил сюда в именье брат твой Гицэ. Говорил, дело есть к боярину. Просил, верно, прибавить тебе жалованья.

Митря вскочил с подстилки и крикнул так, будто обожгло его острой болью.

— Гицэ?

— Он самый.

— Мельник?

— Он, парень, он. Твой брат, мельник.

Точно молния пронеслась в мозгу Митри и сразу осветила все: и разговор на мельнице о делах в имении, и последние слова Трехносого на вышке.

— Знай, дедушка Тригля, это мой брат предал меня барину. Мало ему, что отдал меня в рабы, еще и со свету сжить хочет.

— Ох-охо! — вздохнул старик.— Ведь говорится...

— Не в святом ли Евангелье? — злобно усмехнулся Митря.

— Нет, в книге страданий, паренек. «Кто тебе вырвал глаз?» — «Брат мой».— «Потому-то и захватил так глубоко!»

— Глубоко захватил, дедушка.

— Все может быть,— в нерешительности протянул дед Тригля.— Все может быть, после того что мы знаем про Гицэ. Только, слышь, ведь вы же от одной матери, и он, я знаю, ходит в церковь, исповедуется, причащается. Как же так — ведь может покарать его пречистая дева, отправить в ад, в самое пекло.

— Дедушка Тригля, какое ему дело до того света? Ему главное, чтобы здесь было хорошо. Брать за помол, владеть моею землею... Эх, почему я тогда не проткнул его вилами...

— Когда?

— Тогда, когда грозился он стереть меня с лица земли, после похорон матери с отцом.

Тригля перекрестился:

— Сохрани тебя дева пречистая от соблазнов дьявольских! Брось ты об этом думать, Митря, а то сгниют твои кости на каторге.

— Ладно, дедушка Тригля. Лучше, когда подойдет время, подам на него в суд.

— Нет, я бы и этого не делал, Митря. Вы еще поладите друг с другом.

Митря чувствовал, что его переполняют отвращение и гнев. Тригля удивлялся, видя, как он то смеется, то вдруг напрягает все силы, чтобы подавить в себе злобу. Дед поднес ему еще цуйки; после этого глаза Митри помутнели, и он упал лицом в охапку соломы. На другой день на рассвете Тригля отвез Митрю на телеге в Дрофы и оставил его среди сустившихся там работников.

Сначала никто не обратил внимания на парня. Только к обеду, когда начали собираться к колодцу и Тригля вынес из землянки борщ и ячменный хлеб, Митре стали было подпускать шпильки

то с одной, то с другой стороны. Он держался вяло, как разморенный после бани, глаза были в красных жилках. В другой раз побоялись бы задевать его, зная, какой он горячий и отчаянный. Но теперь юнцы расхрабрились:

— Уж не возил ли унтер-офицер Гырняцэ его куда-нибудь на свадьбу?

— Может, он исповедовался и причащался у попа Нае и тот наложил на него епитимью?

— А может, его вызывал боярин Кристя, чтобы подарить ему другую пару сапог?

— Или подбить старые, потому что сносил он их, бегая за красотками.

Изнемогая от боли, Митря молча лежал на куче старых кукурузных початков. Взгляд его помутился, он ничего не слышал. Борщ жена Тригли состряпала хороший и заправила его перцем. Хлеб был не слишком черствый. Митря мог бы с ним справиться своими молодыми зубами, но ему ничего не хотелось. Жизнь ему опостылела, он охотно лег бы в сырую землю, к мертвым, туда, где покой и тишина.

Все окружили Триглю. Старик чувствовал себя чем-то вроде начальства. Покуривая толстую цигарку из кукурузного листа, он рассказывал, какая напасть свалилась на бедного Митрю.

— Он знал про ружье не больше, чем мы с вами.

— Что знать-то, когда ружье и не крали.

— Будто в первый раз мироед пускает такую политику!

Все замолчали. Тело Митри сводила судорога. Потом он вытянулся на боку и как будто заснул. Тригля привел свою жену, старуху Кицу, которая почти двадцать лет тому назад принимала Митрю. Она покачала головой, почмокала беззубым ртом, затем наклонилась, дуя на все четыре стороны. Ей было тяжело, и, выпрямляясь, она застонала. Митря ответил ей тоже стоном. Она о чем-то думала, подняв палец вверх, потом морщинистое землистое лицо ее прояснилось.

— Избили его, родненького,— жалобно заголосила она.

Тригля прервал ее:

— Это и так видно, Кица.

— Да это не все, сглазил его кто-то.

— Скорей всего, Кица, почки ему отбили.

— И это может быть, только знаю я, что его сглазили. Возьму я его к себе под навес, укутаю, хворь заговорю. Чтоб им не дожить до утра, этим носачам, этим мельникам, разжиревшим, словно откормленные свиньи, и бабам, что заглядываются на парней!.. Чтоб иссушило их ветром, чтоб сгорели они в тифу — покалечили ведь парнишку.

— Молчи, старуха,— пробормотал Тригля,— еще услышит тебя кто-нибудь.

— Пускай те молчат, про кого говорю! Чтоб им и рта не открыть больше ни разу!

Старики перенесли и уложили Митрю в холодке под навесом, прикрыли его рваным кожухом. Дед бестолково топтался на месте, вертелся среди горшков и всякой утвари, искал уголька в золе на кострище, вытягивая длинную жилистую шею, чтобы еще раз взглянуть на Митрю, и только попозже обратился к жене:

— Управляющий Раду говорит, делай как знаешь, только поставь парня на ноги. День-другой еще как-нибудь, а потом узнает Трехносый, будет беда. У Трехносого не разболеешься. Такие ему не нужны, сразу выгонит.

Старуха сердито повернулась к нему, словно взъерошенный сыч:

— Черт бы ему шею свернул: уж как он до денег жаден, жиреет, жиреет, а все мало. Ведь по его веленью избили парнишку, а теперь парень и виноват? Знаю я эти порядки,— вздыхала она.— Уж я-то знаю, на себе испытала. Пролежала я десять дней, а при расчете скостили за тридцать. Сожрал, что моим по праву было, да еще и сверх того накинул, отравиться бы ему гнилой желчью! Сходи-ка ты, Ион, этой ночью в именье, в нашу землянку, и поищи за иконой скляночку с наговорным маслом, смажу я парню раны. Много я мазала ран разным людям и вылечивала рубцы от плетей. Вылечу и этого парня, подниму его на ноги. Долго ему здесь не пробыть. Этой весной занесли его в рекрутский список, в сентябре пойдет он в полк. Может, хоть чужие люди его пожалеют.

— Кто уж там пожалеет!

— Все скорей, чем брат родной,— вон как разнесло его, будто через соломинку надули. И скорей, чем наш барин со своей барынькой. Этому любо, что работает за троих, а той — другое любо. Пусть-ка придут посмотрят, что сделали из красавца парня. Вот схожу в воскресенье в церковь, поставлю свечку и пожалуюсь божьей матери. Богородица всемилостивая, дева пречистая, сотвори так, чтобы раздулись они да и лопнули, чтобы их как из ружья разорвало! Что, болезный мой? Что ты стонешь? Спина болит? Поясница?

Лежа с закрытыми глазами на своей подстилке, Митря помотал головой,— не болит, мол, у него ни спина, ни поясница.

— Знаю, знаю, сыночек, болесть твоя в сердце, от гнева и обиды.

Митря не ответил. Дед Тригля ушел. Старуха осталась одна, продолжая разговаривать сама с собой и с мертвыми призраками.

Тригля принес заговоренное масло. А вместе с маслом принес и приказ боярина Кристи, чтоб немедленно дали знать, исполняет ли Митря Кокор свое дело. Если не исполняет, пусть придет мельник и рассчитается за своего брата, потому что тот должен за одежду и обувь и еще кое за что — там в книге записано. На конюшне и на складе тоже есть нехватки, и отвечать за них должен, конечно, тот, кто привык воровать боярские ружья.

— Господи, порази громом изверга! — молилась бабка Кица на паутину, свисавшую из-под крыши сарая.

Господь бог услышал молитву бабки Кицы. Не поразил он громом и не испепелил никого, а наслал на Дрофы буйный западный ветер. Временами этот ветер приносил проливные дожди. Но когда дождь прекращался, ветер не переставал дуть, свистя и завывая.

В земляном очаге тусклым огнем горела гнилая солома. Дым кольцами выходил через дыру в крыше сарая. Бабушка Кица сидела на попоне, поджав под себя ноги, и смотрела на Митрю. Время от времени из золы поблескивали как бы два огненных глаза. Старуха плевала и открещивалась от этого призрачного видения.

Митря пристально глядел на два огонька в золе. Однако он еще был в полузабытьи. Старуха ощупала его и поняла, что его бьет озноб. По временам он погружался в тревожный сон и во сне вздрагивал; тогда отражения углей, как два светляка, мерцали в его полузакрытых глазах. Он вздыхал и невнятно бормотал, как будто хотел что-то сказать.

Кица внимательно слушала его, крестилась, иногда смеялась, растягивая губы провалившегося рта.

— Раны его зажили,— шепнула она Тригле, укладываясь рядом с ним на соломе. Было уже далеко за полночь, и ветер утих.— Раны его зажили, но боль в сердце все не унимается. Когда петухи пропели полночь, жар прошел, и теперь парень спит. Только боюсь, сегодня к вечеру опять начнет бредить. А может, и не будет. Верно, душа покидает его и витает где-то вокруг именья или возле мельницы. Своими глазами вижу отсюда, как бестелесная душа его бродит, словно привиденье. Подстерегает кого-то. Тех, кто накликал на него эту беду и избил его. Вот-вот она схватит их и свершит суд.

— Парень еще болен, Кица. Но думается мне,— может, исполнится то, о чем ты говоришь. Только не в бреду это будет. А придет время, и отведут рабы душу за все свои невзгоды и беды.

Так и остался Митря Кокор в Дрофах, поправляясь после болезни, пока под осенними облаками не потянулись к югу дикие гуси.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ДРУЖБА И ЛЮБОВЬ

В полку жизнь Митри Кокора сначала шла словно в тумане. Она как-то походила на истолкование сна, который снился ему порою по ночам, когда он лежал в лихорадке. Это был один и тот же сон. Виделось ему, что стоит он и ждет, когда откроются огромные железные ворота в неведомый ему мир. Стоит он во тьме и липкой грязи, как после дождя. И много других тоже ждут по темным углам. Чувствует он это, но не видит и не знает их. Стоит он, вперив свой взор в высокие тяжелые ворота. Должен он пройти в иной мир. Было такое чувство, что расстался он с жизнью, которую вел в Малу Сурпат, и все события вспоминал разом, хотя проходили они год за годом, одно за другим. Все прошлое стояло, окаменев, сзади, и он покидал его. Митря ждал и знал, что ворота должны открыться, и вдруг заметил, что стоит он в лохмотьях, босиком, с непокрытой головой, едва поднявшийся после болезни. Бабушка Кица улыбается ему беззубыми деснами и укоризненно качает головой: «Нельзя так, милый, идти к пречистой деве...»

Когда Митря просыпался после этого горячечного сна, сердце его колотилось. Часть его жизни миновала. А он был все таким же одиноким среди чужих людей, таким же сиротой, как и в детстве. Только Тригля и его старуха отнеслись к нему ласково. Теперь и с ними его разлучили.

Со страхом он пришел в полк, готовясь к жестоким мучениям. К его радости, ничего, что он смутно представлял себе, не сбылось.

Митря попал под команду фельдфебеля Катарамэ и решил исполнять все, как раб, для которого единственный исход — полное повиновение. Страх перед побоями подстерегал его сердце, словно зверь. Он опасался своего собственного возмущения, как натянутой пружины коварного капкана. Вот почему Катарамэ считал его ловким и покладистым парнем. Кокор нравился фельдфебелю, и тот взял его под свое покровительство. Но это мало облегчило Митре то горе, что угнетало его.

Через два месяца после зачисления Митри в полк, Катарамэ, как он сам выразился, «вынес постановление».

— Эх, Думитру Кокор, жаль мне тебя! Парень ты исправный и умный, да вот — неграмотный. Если бы ты хоть немного в школе поучился, сделал бы я из тебя человека. Как я понимаю, надеяться на семейное имущество тебе не больно приходится. Вот ты, пожалуй, и мог бы занять мое место, потому у меня в сорок втором кончается третий срок сверхсрочной службы. Каков ты

есть теперь, сможешь дойти только до ефрейтора — ну, а тут уж конец твоей военной карьере.

А то, в другой раз:

— Эй, Думитру Кокор, может, ты скажешь, что и в полку грамоте выучишься. Отвечу тебе, Кокор Думитру: артиллерия — трудное оружие. Завязнешь ты в теории, как в тине, так что и не вылезешь. Не будет тебе времени грамотой заниматься.

Как-то раз поздно вечером в канцелярии перед смотром новобранцев Катарамэ соизволил принять в дар два литра вина от кузнеца Кости Флори. Митря помогал Флоре в свободные часы, так как умел ходить за лошадьми и легко с ними управлялся.

— Эй, Думитру Кокор, подсаживайся и ты, выпей стаканчик. Тебя вот просит старый служака. Говорит, ты добрый товарищ и уже научился ковать лошадей. Если поднатаскаешься у него и в грамоте, быть тебе через год капралом. Он демобилизуется сержантом, а ты оставайся на его месте. Я бы сказал, что на вас вся моя надежда. Флоря — моя правая рука, Кокор — моя левая. Думаю, завтрашний смотр сойдет хорошо. Вся забота и ответственность на нас. А те — что они понимают?..

О господах офицерах фельдфебель отзывался малоуважительно.

— ...Что они понимают? Волочиться за барыньками, зимой бегать по балам и играть в карты. Катарамэ столько не учился, как они. У Катарамэ только четыре класса гимназии, но он свое дело знает и в службе силен. Э-ге! Не будь Катарамэ...— Он погладил длинные седые усы и засмеялся.— Не будь фельдфебеля Катарамэ, трудненько бы досталось этим господам. Что скажешь, служба?

— Истинная правда, господин фельдфебель,— заверил его Флоря, тыча под столом Митрю пальцем в коленку.

— Если бы мне да их образованье, эге, я бы далеко пошел! Что скажешь, служба? Налей-ка еще стаканчик и скажи: далеко бы пошел... а может, и остался бы, как они. Зажил бы хорошо, и не было бы мне ни до чего дела. Был бы у меня фельдфебель — такой вот, как я сейчас. Фельдфебель, сделай то, фельдфебель, сделай это, фельдфебель, сделай все, за это тебе государство деньги платит, на то ты и фельдфебель. А как мне платит государство? Эх, одни слезы. Едва свожу концы с концами. Лучше бы мне быть полковником, а господину полковнику быть на моем месте. Нет, так ничего не выйдет: ведь он дела не понимает.

— Зато если бы вы были полковником, вы бы понимали.

— И я так думаю,— приосанился Катарамэ.— Я бы в лучшем виде затянул подпруги и пришпорил. Только я так и оста-

пусь, как есть, и в сорок втором выйду на пенсию. Может, государство даст мне кусок земли. Открою я мельницу...

Митря Кокор усмехнулся:

— Как брат мой — Гицэ?

— А что, Кокор, твой брат — мельник? Тот самый, что землю у тебя отнял?

— Тот самый. Только я у него отберу свою землю, как только отбуду свой срок.

— Может, подашь на него в суд? — рассмеялся фельдфебель.— Пока найдешь правду, всю душу из тебя вытрясут, и сам пропадешь, и последнего состояния лишишься. Подумай-ка лучше, что война не за горами и нужно нам будет всего по три аршина земли.

Фельдфебель, видно, решил рассеять печаль, вызванную этими словами, и торопливо выпил еще стакан вина.

Костя Флоря насупился.

— Унесет нас всех, словно листья,— проговорил он.— Пропадет вся молодежь, останутся одни убогие.

— Что ты говоришь, эй, служба! — вспыхнул Катарамэ.— Солдаты мы или не солдаты? Обязаны мы или не обязаны воевать за родину?

Служба молчал, покачивая головой и глядя на Кокора. Тот снова усмехнулся:

— Мы будем воевать за господина Кристю Трехносого и за других вроде него, которые нас, бедняков, готовы живьем съесть.

— Что это за Трехносый?

— Да есть у нас такой...— вздохнул Митря.

Вмешался Флоря.

— Он мне рассказывал, сколько ему натерпеться пришлось. Горькая у него доля! Вино остынет, господин фельдфебель.

— С этим бы я разделался, раз-два и готово,— расхрабрился Катарамэ. Он был уже под хмельком, и глаза его подернулись влагой.— Эх, Кокор, одно жалко — блюсти порядок могу я только здесь. Там же, в твоих местах, порядки наводят власти. А если не наводят, пошлем их ко всем чертям и займемся своими делами. Завтрашний смотр пройдет хорошо — вот у нас и порядок. Это главное. А уж этих господ я обработаю как знаю.

Фельдфебель Катарамэ славился своим особым способом увещевания. Как человек приличный и воспитанный, он остерегался, ругаясь, поминать богов, святых и пречистых дев. Он упоминал только части их тела, их одежду и украшения: бороду Саваофа, венец богородицы, сандалии святой Юлианы, суму святого Петра, пупок архангела Гавриила, все четыре Христовых евангелия...

М. Садовяну
«Митря Кокор»

— ...Евангелия вашей матери, мужичье! — рычал он, широко расставив ноги и вытаращив глаза на хор четвертой батареи.— Разве так поют? Шире открывай глотку, чтобы на небе было слышно! Ведь ты солдат, сестре твоей архангельский пуп!

Для того чтобы проявить свою поэтическую оригинальность, фельдфебелю необходимо было значительное количество стаканов вина или вспышка гнева. В этот поздний час он долго ругал на все корки начальников и разных судей, потом начал устало позевывать.

Полковые часы пробили половину двенадцатого, когда капрал Костя и Митря отправились спать в кузницу четвертой батареи. Все было покрыто пушистым первым снегом, который слабо светился в безлунную ночь. Не слышно было ничьих шагов. Вдалеке, по углам внешней ограды, сонными голосами перекликались часовые. Сообщали друг другу, что на их постах все в порядке.

— Смена караула — самое счастливое время на земле,— пробормотал капрал.

Митря вздохнул:

— Уж никто не вернет мне тех лет, когда я недосыпал...

В полной темноте они шли к кузнице. Вошли в каморку позади горна. Каморка была теплая, хотя и тесноватая, с маленьким окошечком, закрытым ставнями. Капрал зажег сальную свечку, стоявшую на трехногой табуретке. На полу лежали соломенные тюфяки, покрытые шерстяными попонами.

Они зажгли цигарки и некоторое время лежали, покуривая.

— Ну, слышал его? — спросил Костя Флоря.— Как тебе нравится фельдфебель?

Митря засмеялся:

— Мне нравится, как он ругается.

— Батарея — его вотчина,— серьезно заговорил Костя Флоря.— Он отхватывает от каждой порции хлеба и от каждого куска мяса, от овса для лошадей и от солдатского сахара.

— И никто его не накроет?

— А кто станет накрывать? Начальство ведь тоже своего не упустит. Капиталистическая система.

— Как ты сказал?

— Сказал-то я правильно, только ты не знаешь, что это такое...— улыбнулся капрал.

Митря опустил голову.

— Вот у вас, в Малу Сурпат, кто-нибудь отстаивает правду всех угнетенных и обездоленных?

— Там правда бедняков перед властями давно померла и похоронена,— прошептал Митря.

— И у вас, Митря, та же система, о которой я тебе говорил.

— Это, значит, такая система: волк съел — овцы виноваты, господин капрал.

— По твоим словам, Митря, вижу, понимаешь ты, что к чему, как всякий, кому довелось натерпеться.

— Да, господин капрал, многое я вынес, а другие еще побольше моего, да молчат и терпят. А мне порой приходит в голову, что лучше уж умереть такой жалкой пичуге, как я.

— Ну-ну. Тебе учиться надо. Тогда ты начнешь еще больше понимать.

— Может, передо мной и ворота открылись бы...

Кузнец недоуменно посмотрел на него. Он ведь не знал ничего о сне, который видел Митря.

— Так вот, Митря, я думаю купить тебе книгу и грифельную доску. На пятой батарее есть один грамотный из наших людей. Он тебе покажет...

— Ужели правда? — вздрогнул Кокор.

— Правда, только ты никому ничего не говори. Позанимается он с тобой один день часок, другой день еще часок, поговорит с тобой о том о сем...

Кокор вздохнул.

— Есть на свете люди, друг Митря, которые борются за бедняцкую правду, за то, чтобы открыть глаза темному люду...— ровным голосом продолжал рассказывать кузнец.

Митря слушал его, ощущая в сердце радость, но все еще не решаясь дать ей волю.

— Трудно поверить в этакое.

Кузнец спросил с лаской и улыбкой:

— Слышал ты, дружище Митря, про революцию у русских?

Митря встрепенулся. Да, он слышал.

— Слышать-то слышал, а ведь не знаешь, что там было. Там поднялись угнетенные и свергли царя, отняли власть у капиталистов и установили власть рабочего класса. Вот обо всем этом ты и узнаешь от учителя. Теперь — спать! Третья смена прошла.

Митря лег на солому и завернулся в попону. Капрал потушил сальную свечу. Немного погодя Костя Флоря спросил:

— Эй, Кокор, ты что не спишь, все вздыхаешь?

— Я в другой раз скажу, господин капрал. Радостно мне, господин капрал.

— Зови меня по имени. Теперь мы друзья.

— Да.

— Ну назови по имени.

— Да, Флоря.

— Вот так.

Митрю наполняло чувство глубокой радости. Кузнец заснул. Взволнованный Кокор не спал. Ему грезилось, что он стоит перед воротами. Потом ему стало представляться все, что он пережил перед отъездом из родного села.

Вот он предстал перед помещиком, чтобы поблагодарить по обычаю «за хлеб, за соль».

— Иди с богом,— пробурчал угрюмо Кристя Трехносый.

— Я, барин, хотел бы получить расчет.

— Какой такой расчет? Вот подожди, придет твой брат, с ним и поговорю. Я все записал, что тебе выдавалось. Насколько знаю, еще ты должником останешься.

— До конца жизни? — вспыхнул Митря.

— Нет,— вытаращил на него глаза Кристя.— Попридержи-ка лучше язык там, куда идешь, не то отправят тебя к черту на рога. Счастье твое, что у меня сердце доброе!

Митря отвел в сторону горящий взгляд.

Барин сочувственно покачал головой:

— Как вижу, нелегко тебе будет в жизни, парень. Не благодари меня. Иди!

Кокор повернулся и ушел. Выйдя за ворота, он распрямил плечи и потопал ногами, как бы отряхивая прах долгих лет рабства.

Из Хаджиу он отправился на мельницу.

Брата Гицэ он застал одного. Жена и дети ушли на хору.

— Дал тебе что-нибудь барин? — спросил мельник.

— Как же, еще к моему долгу присчитал!

— Брось, Митря, я вот сам разберусь и все выясню.

— Чего выяснять, дело ясное: я работаю — я же и плачу.

— Не так, братишка, не так,— занудил мельник, почесывая затылок.— Ты что, не доверяешь старшему брату? По-твоему, я не думаю о твоей судьбе?

Митря яростно крикнул:

— Когда придет время возвращаться в Малу Сурпат, останется от меня одна дубленая кожа. Вот моя судьба...

— Все может быть, если не смиришься.

— А ты, брат, сшей невестке из этой кожи туфли.

— Не лезь на рожон, братишка. Невестка тебе поесть оставила. Она тебе дарит два полотенца и две рубахи.

Митря промолчал.

К вечеру Митря отправился на гулянье. У корчмы собрались парни, которым предстояло разъехаться по своим полкам. Он опорожнил с ними стаканчик-другой вина и захмелел. Вместе с ними пел он песни и шумел. Поздно вечером всем им надо было уже ехать в поезде.

Митря пошел на мельницу за узелком с бельем. Невестки там не было. Узелок с бельем был в старом родительском доме.

— Я бы проводил тебя в Алунишь, на станцию, сказал Гицэ,— да не могу оставить мельницу. Ну, давай руку и расстанемся как добрые братья.

Руку Митря ему пожал, но добрым братом себя не почувствовал.

Идя в село, он что-то бормотал, то и дело срывал с себя шапку и тяжело дышал, раздувая ноздри. С жалостью к самому себе думал он о том, как теперь с него сдерут шкуру и выдубят ее.

Невестки не было и в родительском доме. Она с детишками уже ушла другой дорогой. Митря застал только сватью Настасию. Она так выросла, что он ее не узнал. Толстые косы спускались ей на грудь. Большие карие глаза были все так же красивы.

— Я ждала тебя, братец Митря, чтобы передать белье.

— А?

— И коли есть у тебя время, посиди маленько, хочу у тебя спросить кое-что, посоветоваться с тобою.

— Хорошо, посижу.

— Знаешь, братец Митря? Сестра моя с зятем хотят отдать меня в монастырь Цигэнешть, туда, где наша тетка живет, старая монашка.

— Зачем туда отдавать? — удивился Митря.— Нет у тебя, что ли, права жить по-своему?

— Есть-то есть, братец Митря. Только сестра моя с зятем не хотят моей доли земли лишаться. Так вот если пошлют меня в Цигэнешть, то земля им останется.

— А что ты мне все говоришь? Я не поп, чтобы исповедь принимать.

Настасия вспыхнула:

— Знаю я, братец Митря, что не нравлюсь тебе, что есть в Алунише Вета, дочка Вамеша, которой ты нравишься. Значит, судьба моя — идти в Цигэнешть.

Девушка заплакала, подперев щеку левой рукой.

Митря взял ее за правую руку и усадил рядом с собой.

— Кто тебе сказал про Вету?

— Да так, слышала.

— Знай, Настасия,— тихо заговорил Митря,— все это выдумки.

Она успокоилась и, улыбаясь, взглянула на него сквозь жемчужинки слез:

— Значит, не идти мне в монастырь?

— Нет, не иди.

— И дожидаться, когда ты вернешься?

— Этого, Настасия, я не говорил. Делай, как тебе сердце подскажет.

Она вздохнула.

— Я буду тебя ждать.

Настасия торопливо встала, вошла в дом и вернулась с румяными грушами, с того самого дерева, на которое когда-то, еще ребенком, лазал Митря и с которого его стаскивала давно уже погибшая мать. Митре вспомнилось забытое лицо Агапии, и сердце его смягчилось. Девушка прочла в его глазах ласку и порадовалась за себя.

Митря не знал, что еще сказать. Он наморщил лоб и засмеялся:

— Настасия, хочешь, скажу тебе загадку про мельницу и про Гицэ?

— Хочу, братец,— ответила Настасия,— скажи.

Она снова присела рядом.

Митря встал и поднял ее, держа за обе руки.

— Скажи, Настасия, что это такое:

Век в работе
И в заботе,—
Но напрасно суетится:
Жрет — она, толстеет — Гицэ!

Настасия прыснула со смеху, закрывшись ладонями.

— Смотри не скажи на посиделках.

— Другие найдутся, скажут,— заверила его девушка.

И оба перестали смеяться.

— Ну, пора мне! — решил Митря.

Она загрустила. Он оставил ее грустить, а сам ушел. На старой вербе стрекотала сорока. Стояла тихая осень.

Девушка догнала его и шла рядом с ним по улице села, пока не показались люди.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

КАК У МИТРИ ЧУТЬ НЕ ПОЯВИЛСЯ УЧИТЕЛЬ

Учитель торопливо вошел в кузницу. Это был широкоплечий, смуглый мужчина со вздернутым носом. Митря почувствовал, как у него забилось сердце, когда тот внимательно взглянул на него глубокими зеленоватыми глазами.

Костя Флоря предупреждал Митрю: «Если улыбнется тебе, значит, взял тебя в ученики». Учитель посмотрел на парня, что-то прикинул про себя и протянул ему букварь и грифельную доску.

Увидев, как обрадовался Кокор, он улыбнулся, пожал ему руку и похлопал по плечу:

— Наверно, у тебя есть девушка, которой ты хотел бы написать?

— Есть,— серьезно ответил Митря.

Митре понравился его голос с мягкими переливами.

— Так знай, через месяц, самое большее через два, я куплю тебе почтовую открытку и карандаш, и ты ей напишешь.

Черные глаза Митри мгновенно словно подернулись туманом.

— Я ей напишу. Есть у меня к ней дело.

— Понимаю.

Митря смущенно сказал:

— Не про то, что вы думаете. Не про любовь.

— Значит, письмо деловое?

— Да, вышла там закавыка с одним мельником. Он называет себя моим братом.

— Хорошо, Кокор; если ты мне доверяешь и будет у тебя желанье, ты обо всем мне расскажешь. Только не сейчас: времени нету.

— А когда же начнем? — нетерпеливо спросил Митря.

— Потерпи. Сейчас, в одиннадцать часов, я должен явиться к полковнику. Мне только что, по дороге сюда, передали приказанье.

Капрал Флоря внимательно слушал и вопросительно посмотрел на него.

Затем он перевел глаза на Митрю, и в этом взгляде была глубокая озабоченность. Учитель ушел.

— Может, ничего плохого и не будет,— заметил Митря.

Флоря, погруженный в свои мысли и заботы, покачал головой. Митря допытывался:

— Разве может что случиться?

— Может.

— А что я буду тогда делать с доской и букварем? — простодушно развел руками Митря.

Капрал Флоря горько усмехнулся:

— И такого человека травят, как зверя, преследуют! — зашептал он.— Что ты на меня так смотришь? Подойди-ка поближе и стань тут. Может случиться, позовут и нас на допрос, чтобы мы свидетелями были.

— Да ведь он же не злодей?

— Нынешние власти считают, что злодей. Злодей, потому что в партии.

Флоря умолк. Глаза Митри продолжали спрашивать.

— В партии рабочих,— продолжал Флоря,— в той партии,

которая хочет добыть правду всем обездоленным. Опять ты так на меня смотришь?

— Так и смотрю,— ведь я дурак, ничего-то я не знаю.

— Я тебе все объясню, только если тебя спросят,— ты не слышал ничего. Понял?

— Понял.

Митря почувствовал, как у него цепенеют язык и губы.

— Да только сегодня нет у меня охоты рассказывать. Сердце у меня все почернело, словно смола. Эх, сколько так пропало людей, что стараются мир переделать.

Кузнец был как в воду опущенный, в глазах его стояла скорбь. Митря не осмелился больше ни о чем спрашивать. Он решил ждать и надеялся, что опасенья капрала окажутся напрасными и зеленоглазый учитель вернется.

— Оставь меня одного, Митря.

Кокор взял доску с букварем и вышел. Ему казалось, что они мертвы в его руках и он идет хоронить их.

День был промозглый, и окоченевшие солдаты слонялись по пустому плацу, скользя по грязи. Они бродили просто так — безо всякой цели, безо всякой надобности. Вороны кружились над казармами, хриплым карканьем предвещая метель. Горнист время от времени играл сигналы. Дежурные сержанты дробно стучали ногами, вполголоса изрыгая ругательства.

— Коляска господина полковника! — выкрикнул кто-то.

Кокор остался ждать в холоде и сырости на том месте, где его застал этот выкрик. Он еще долго стоял после того, как проехал полковник. В пролетке с поднятым верхом он увидел только сапоги со шпорами. Потом прошли несколько офицеров. Они торопились, затягивая на плащах ремни. Прозвучал сигнал к обеду. Митря переминался с ноги на ногу, словно приноравливаясь к тяжести своего горя.

— Эй, чего ты здесь ждешь, паренек?

Это был кузнец, унылый, потемневший, хмурый.

— Жду, не выйдет ли он.

— Попусту ждешь. Его взяли два агента из Главного управления сигуранцы и увели. Только сейчас я стал успокаиваться. Да что там за успокоенье? Горе, а не покой!

Сам не зная, что делает, Кокор показал капралу букварь и доску. Потом снова зажал их под мышкой.

С этого дня Митря Кокор испытывал непрестанное волнение, видел тяжелые сны. Его судьба казалась ему такой же горькой, как судьба того, что увели.

Только один миг были они вместе. Даже имени учителя Митря не знал. В его зеленых глазах было, казалось, все будущее Мит-

ри. Один миг — и учитель исчез, как летучие видения печальных ночей. Теперь Зеленоглазый в тюрьме. Над ним учинила суд и расправу боярская власть. За что учинила суд и расправу, Митря понял легко. Кое-что объяснил ему кузнец Флоря; другое острой болью было врезано в его сердце. Зеленоглазый был бунтарем, коммунистом, одним из тех, кто поднимал рабочий люд. Зеленоглазый был революционером, как и те, кто разрушил русскую империю. Было ясно, почему правители страны преследовали Зеленоглазого и других таких же, как он, мучая их жестокими пытками в тюрьме.

Сердце его сжималось. Зачем эта жертва? Зачем столько жертв?

Но он сразу понял, зачем, когда в памяти перед ним встало его нищее печальное детство.

И в нем кипело возмущение; он был подобен всему народу рабов, которыми полон мир. «Разрушим несправедливый строй!» — кричало все его существо. «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов»,— звучали в его ушах слова, которые, бывало, напевал вполголоса кузнец.

«Зеленоглазый понимает наши страдания и надежды, мои и еще сотен тысяч таких, как я,— и вот теперь он брошен в пещеру людоедов»,— думал Митря Кокор. Но кузнец Костя, поборовший свою мучительную душевную боль, внушал ему, что революционная армия, бесчисленная, подобно песку, сметет власть тиранов, а все, кого преследуют, все борцы за народ выйдут из мрачных тюрем на солнце свободы.

— Горько мне,— признался как-то вечером Митря Кокор кузнецу, сидя возле теплого горна,— остался я без учителя, только с грифельной доской и букварем, будто с немыми братьями, от которых ничего не узнаешь. Боюсь, как бы на всю жизнь не остаться мне в темноте.

Вот был у нас, в Малу Сурпат, мужик один, Георге Мындря. Хоть и бедняк, а работник славный, с головою. Нашел он жену под стать себе, женился по весне и слепил на скорую руку землянку. Потом, не откладывая дела, занял денег под будущую работу и построил себе домик, в котором жить бы да поживать. Смелый был. Но только кто записан в книгу в Хаджиу,— на всю жизнь в рабство записан. Стены он деревянные возвел, а достроить дом так и не смог. Вот и остался он рабом старого боярина, а потом Кристи Трехносого. И он раб, и жена его рабыня. Я знал их уже стариками, когда они всякую надежду потеряли.

Был в Хаджиу еще Лае, по прозвищу «Бедняк», которого никто иначе и не видел, как в рваных постолах да в латаной-перелатаной сермяге. Летом ли, зимой — все так ходил. И пятнадцать лет, и год тому назад — все так ходил. Были у него когда-то во-

лосы черные, глаза живые. А теперь поседел, взгляд помутился. Он так и не вылез из бедности и, хоть век живи, не вылезет никогда, так и останется, каким я его знаю.

Вот и я тоже. Думал учиться. А видать, останусь на всю жизнь невеждой и дураком.

Кузнец задумался, тяжко вздохнув.

— Давай, брат,— сказал он немного погодя,— договоримся с тобой, чтобы я не видел тебя больше в таком унынии. Грамоте я немножко знаю. А тем, что знаю, с тобой поделюсь. Дай-ка сюда букварь и доску.

Так Кокор и начал учиться.

Сначала было трудно, пальцы не сгибались, в глазах рябило.

Митря научился различать буквы и дрожащей рукой выводить их на доске, однако не мог понять связи между знаком и звуком. Он пыхтел, как после тяжелого подъема, и там, где останавливался, все еще ничего не видел. Кузнец сам не мог ему все объяснить. Но однажды вечером при свечном огарке Митре словно молния все осветила — он понял.

— Я высиживал эти закавычки,— радостно сообщил он кузнецу,— и вдруг из них, как цыплята, слова вывелись, даже сам удивился.

Под пасху 1942 года Митря вооружился карандашом и, соблюдая полковой стиль, вывел неуклюжими буквами на почтовой открытке следующие, немного кривые, строки:

«Дорогая сватья Настасия, желаю, чтобы мое письмецо застало тебя в счастье, и извещаю тебя, что мы, рекруты, окончив ученье, готовимся к делу, и не знаю, увидимся ли мы еще в этой жизни, но, может, бог даст, уцелею, так что ты меня жди. Обнимаю тебя тысячу раз и остаюсь твой

ефрейтор *Кокор Думитру*».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ВОЕННЫЕ БЕДСТВИЯ ВЕСНОЮ ЛЮБВИ

Из этого послания начинающего грамотея, который, чтобы нацарапать слова «как курица лапой», пропотел целый час, было ясно, что правительственная цензура преследовала слово «война», и он знал это. Остерегались, чтобы «шпионы» не проведали, когда и как отправляется новое пополнение на восток. Митря писал: «...мы, рекруты, окончив учение, готовимся к делу...» Между двумя папиросами скучающий цензор скользнул глазами поверх этих невинных известий. Но сватья Настасия в Малу Сурпат была более внимательна.

Газеты тоже были абсолютно немы относительно перемещения войск по стране, как и сводки по радио и официальные бюллетени, вывешенные примэриями и префектурами. По мнению тогдашнего правительства, народ не должен был ничего знать об этих секретах, предназначенных только для великих мира сего.

И все-таки народ знал. Раньше и точнее других узнавали все рекруты, когда приходила их очередь отправляться на бойню. В поле, проходя боевую подготовку, на учебной стрельбе или в казарме, на занятиях по теории офицеры говорили только о противнике и еще раз о противнике, развернувшемся на безграничных пространствах среди лесов и болот. С некоторого времени упоминались скалистые горы, например, такие, как на Кавказе. Слово «Одесса», неизвестное ранее целым поколениям крестьянских тружеников, покоящимся на кладбищах, теперь часто мелькало в обычных разговорах.

Впрочем, два раза в день германские военные сводки опровергали двусмысленное молчание тогдашних правителей Румынии. Война становилась все более жестокой и требовала увеличения войск, то есть увеличения жертв. Высылка евреев и цыган за Днестр дала повод для политических комментариев даже тем, кого систематически держали вдали от подобных занятий. Бесконечные железнодорожные составы с военной добычей немцев, а также «трофеи» румынского командования, состоявшие из того, что проскальзывало у немцев между пальцами, указывали, что там, далеко на востоке, происходят события, неслыханные прежде, сколько в мире ни было войн. Неофициальная, но правдивая военная сводка составлялась ранеными, побывавшими под огнем, и самыми различными курьерами — то от дивизий, то персонально от офицеров. Официально узаконенный грабеж, массовое уничтожение мирных сел и ни в чем не повинного населения, сотни разрушенных и сожженных городов — все говорило о том, что мир постигло бедствие пострашнее, чем были когда-то нашествие Атиллы и Чингисхана с их ордами.

Командующие немецкими войсками похвалялись «научной» войной, поставив на службу смерти и разрушения все достижения науки. Еще сотню лет тому назад существовал закон войны, который был, если можно так сказать, человечным,— он запрещал солдатам под страхом смерти грабить и убивать невооруженное население на территории противника. Теперь это запрещение было отменено немцами, и командиры приказывали войскам воевать безо всякого намека на человечность, еще более жестоко, чем дикие орды в старину,— так что люди теперь научились — каждый это скажет — особенно ценить ласку и милосердие.

Атилла полторы тысячи лет тому назад считался «бичом божьим», а Чингисхан в тринадцатом веке — истребителем рода человеческого. Оба, превращенные в прах, вызывают проклятия веков — и они сами, и их орды. Теперь Гитлер возомнил себя чем-то вроде парового катка, дробящего в порошок все другие народы, чтобы в мире осталась одна германская нация. Конец его предначертан самим безумством истребления. Атилла и Чингисхан были жестокими, необузданными варварами, которые умели расписываться только мечом и пьянели, распивая вино из черепов побежденных. Они жили во времена темноты и невежества, между тем как гитлеровский «каток» появился как бы из могилы прошлого среди современного мира, слывущего цивилизованным.

Ефрейтор Думитру Кокор имел обо всем этом поверхностное представление и с горечью пытался разобраться в происходящем. Во всяком случае, он понимал, что наступает его черед идти на гибель. Ему нечего было делить со своими собратьями — людьми там, на востоке, где свирепствовала буря разрушения. Он никому не желал смерти да и самому себе желал благополучия. И в нем закипал гнев при мысли, что после долгих лет рабства теперь у него без всякого повода и без всякой вины отнимут жизнь.

Он начал понимать, что эту войну затеяли ненасытные, что за этих вечно ненасытных гибнут вечно голодные, что помещики и капиталисты расплачиваются за войну народной кровью, пытаясь ниспровергнуть русскую революцию, чтобы отвратить угрозу, нависшую и над ними. Такие зачатки понимания появились у Митри от разговоров с кузнецом Флорей и от брошюр, которые тот давал Митре, читавшему их до поздней ночи при свете сального огарка, пока совсем не слипались глаза.

Почтовая открытка, хотя и написанная неопытной рукой, была составлена так, что могла дойти до Малу Сурпат через все преграды. Настасия должна была понять, что ей нужно приехать к нему, «свидеться хоть еще разочек в жизни». Коли не удастся приехать, пускай, мол, все равно его ждет: может быть, он избежит смерти и вернется.

Это было письмо любви и печали.

Письмо дошло до Малу Сурпат, и почтальон принес его на мельницу, вручив Настасии прямо в руки. Девушка прочла его с несказанным удивлением, вся зардевшись. Она поглядела вокруг, не угрожает ли кто ее сокровищу, и спрятала открытку на груди, рядом с цветком чабреца, сохраняемым в память о том, на кого уже перестала надеяться. Но вот он прислал весточку.

Неизвестно, через кого — подружек или кумушек, двоюродных сестер или сватей,— но в Малу Сурпат узнали, что призывников 1942 года скоро отправляют на войну. Даже очень скоро.

Жены, братья, родители должны немедленно собраться в путь, чтобы хоть еще разок повидать милых сердцу.

— И мы непременно поедем! — решительно заявила Настасия своему зятю и сестре, сурово глядя на них и оправляя дрожащими пальцами косы, уложенные короной.

— Уж и герань за ухо заткнула! — раздраженно закричала мельничиха.— Письмецо, видать, получила!

— Получила...— пробормотал мельник.— Мне в корчме почтальон говорил. От Митри.

— Господи боже мой! Получаешь письма от военных, писанные полковыми писарями, чтобы все люди знали и смеялись над тобой. Правду говорит Гицэ, не с людьми твое место, а в монастыре.

— Нет, место мое с людьми,— поджав губы, сказала Настасия,— а письмо он написал своей рукой.

— Уж не научился ли он грамоте на службе? — изумился Гицэ.

— Научился! — задорно ответила девушка.

— Ну и история, братцы-сестрицы мои! — завопил мельник.— На что это ему нужно? Что делать солдату с грамотой, а? Солдату другое надобно. Солдат должен идти на войну и биться с врагом — вот его дело! Он идет с ружьем и стреляет по врагу, а тот в него. Вот так мы говорили в корчме. Убивают одних, убивают других...

— А ты что, Гицэ, на родного брата смерть накликаешь?

— Ничего не накликаю, только война — она и есть война.

— А его добро тебе достанется?

— Какое добро? Нет у него ничего. Останется мне несчастный клочок земли, так его еще обработать нужно.

— А если вернется Митря?

— Пусть вернется!

Настасии хотелось вцепиться в деверя ногтями. Глаза ее округлились и обнажились зубы, похожие на лепестки ромашки.

— Вернется он, вернется!

Она пропела эти слова, как победную песню.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

— Из письма, что ли?

— Из письма.

— Дай-ка я посмотрю.

— Что ты увидишь, когда грамоте не знаешь?

— Дай, мне поп прочитает.

— Пусть тебе поп отпущение грехов читает. Не дам я письма.

— Эй, отдай письмо, а то поколочу.

— Колоти того, кого сумеешь, а не меня, образина.

Гицэ бросился на нее, мельничиха завизжала, всплеснув руками. Настасия мигом выскочила за дверь и как ветер помчалась к своей крестной, Уце Анишяске.

Около полудня явилась мельничиха звать ее обедать:

— Пойдем, сестрица, Гицэ утихомирился.

— Не пойду я к врагу ненавистному.

Крестная Уца была вдовой, но еще женщиной в силе. Она с укоризной посмотрела на них. Глаза у нее были черные, брови сросшись.

— Эх, девки,— сказала она,— попадете на язычок всему селу. Стыд-то какой!

— И правда, тетка Уца,— запричитала мельничиха.— Скажи ты Настасии, чтоб возвращалась. Пусть не боится. Гицэ тоже не хочет скандала. Такой человек, как он, не должен себя ронять. Что там споры заводить с сумасшедшей девчонкой!

— Сумасшедшая, да не я! — змейкой взвилась девушка.— Я жизнь свою защищаю.

— Пусть будет по-твоему,— смирилась мельничиха,— только пойдем. Промеж людей, что у мельницы собрались, уже пересуды пошли. Спрашивают, вправду ли мы тебя в монастырь отослали, вправду ли ты невеста ефрейтора... Чего только там не болтают...

— Если мне еще скажут слово,— закричала девушка,— выбегу на улицу, все село соберу!

— Боже избавь, чтобы такое случилось. Вот беда! Что же будем делать?

— Иди, крестница, иди, Настасия, помни, я здесь,— вмешалась Уца Анишяска, погрозив пальцем мельничихе.— Сделайте так, как хочет девушка. Поезжайте в город, проводите с миром Митрю. Дайте ему, бедному, денег — дорога ведь долгая, тяжелая. Скажите доброе слово, как брату.

— Правда, тетка Уца, правда, тетка Уца,— вздыхала старшая сестра. А Настасия тоненько затянула вполголоса песню и перед зеркальцем, величиной с ладонь, поправила заткнутый за ухо цветок герани.

Тетка Уца поплевала, чтобы уберечь Настасию от сглаза.

— Вот такой и я была в молодости,— вздохнула она, и на глаза ей навернулись слезы.

В следующее воскресенье на базаре в городке собралось множество крестьян со всего уезда и из более дальних мест; одни приехали поездом, другие в телегах. При них не было ни продуктов, ни скота на продажу, а только котомки со съестным и сменой белья. Весть об отправке рекрутов разными путями проникла повсюду.

Один солдат из Малу Сурпат сообщил в казарму ефрейтору, что к нему приехали из дому.

— Уж не брат ли мой, мельник, пожаловал? — с удивленной улыбкой спросил Митря.

— Нет, кое-кто покрасивей,— ответил Тудор Гырля и подмигнул.

Батарея получила увольнение. Для господина фельдфебеля Катарамэ этот праздничный день был днем взимания пошлины, словно для попа на поминках.

— Отправляйтесь, четыре Евангелия вашей теще, подарков вам навезли из ваших имений.

Митря Кокор запыхался, спеша поскорей добраться до базара. Его красивый подарок мог прибыть с мельничихой. Где же они могут быть? Нигде не видно.

Кто-то слегка потянул его за рукав. Он резко повернулся. Его горящие глаза остановились на Настасии. Косы ее были украшены бумажными цветами, купленными у торговца. Тоненькая, гибкая, она улыбалась, показывая все свои зубки.

— Вещи, что я привезла для тебя, Митря, остались в телеге у крестной.

— Ты приехала с Уцой Аниняской? Где же она?

— У нее со знакомым купцом какие-то дела. Просила пожелать тебе здоровья, коли не успеет повидаться с тобой сама. Она меня к тебе послала.

Митря сжал руку девушки.

— Передай ей от меня большое спасибо. Не за вещи, а за то, что тебя привезла.

— А это я сама приехала,— засмеялась девушка.— Ох, как и переругались все дома! Гицэ хотел меня убить, а потом присмирел. Я тебе все расскажу. Сначала шла речь, что сестра поедет, да вчера вечером схватило у нее поясницу, а Гицэ взбрело в голову, что будет, мол, ревизия на мельнице, ну я и присоседилась на телегу к крестной. Ведь нельзя, чтоб никто не приехал.

— Радость моя приехала.

Она вдруг замолчала и пристально посмотрела на него. Ее тонкие губы слегка дрожали, карие глаза наполнились слезами. Вокруг толкался базарный люд. Некоторые останавливались и смотрели на них улыбаясь. Митря чувствовал, что это место совсем не для тех слов, которые он хотел сказать.

Он взял Настасию за руку, в которой она держала платок, приготовленный для него: он знал, что будет в далеких краях носить этот платок, пропитанный тоской и слезами той, что его вышивала. Девушка следовала за ним. Легкая тень неожиданно набежала на ее румяное, загорелое лицо.

Молча шли они к окраине города по улицам, среди цветущих весенних садов. Свернули на дорогу, обсаженную густой акацией,

покрытой розовыми гроздьями цветов. Прошли через ворота с надписью большими золотыми буквами: «Аллея вечности». Оба вместе они прочитали тихим голосом это название, лишенное всякого смысла. По аллее они дошли до кладбища. Девушка начала рассказывать о домашних делах. Он слушал ее, ему нравился нежный звук ее певучего голоса. Время от времени они останавливались у какой-нибудь решетки, с которой свисали живые цветы и высохшие венки. Среди кустов в бедном уголке кладбища по временам пробовал насвистывать молодой дрозд. Вокруг них были солнечный свет и безлюдье.

— Уезжаешь? — произнесла вдруг Настасия дрожащими губами, пристально глядя на него. Она не дала ему даже ответить.— Наши сельские собрались вокруг телеги крестной, горюют. Тут и из других сел сошлись. Совсем мы осиротели, говорят. Увозят наших на чужбину, мы — бедные крестьяне, говорят, нам война не нужна, нечего нам делить ни с кем.

— Это так, да что поделаешь!

— Кому счастье, тот вернется,— печально улыбнулась Настасия.

Митря остановился.

— У меня тоже есть счастье, и я вернусь к нему.

Девушка повеселела, но по лицу ее тихо катились слезы. Она обняла его левой рукой и склонила голову к нему на плечо, поближе к сердцу. Сильно билось это сердце. Она ждала, что ее обнимет его рука. Она ждала первого объятия из тысячи обещанных в открытке, которую носила на груди вместе с цветком чабреца.

И действительно, пришло это счастливое, единственное мгновенье в то время, как кукушка, передразнивая свое имя, пролетела в вышине над могилами к аллее со странным названием.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ВОИНСКИЙ ЭШЕЛОН ВСЕ В ПУТИ И В ПУТИ...

Капрал Костя Флоря был старшим в вагоне, в котором ехал Митря. Вместе с ними было много других товарищей.

— Каждый заботится о своем диване,— сказал Митря.

В вагоне для скота, который правительство предоставило своим «воинам», слова Митри вызвали смех и перелетели в другие вагоны.

«Не растягивайте диванов», то есть не занимайте так много места; «Выбросьте вон диваны», то есть выбросьте солому, на которой спите. «А то они сами убегут»,— зло добавлял Митря.

Шутки по поводу бегающих и летающих диванов из вагона капрала дошли и до офицеров.

— Ваши диваны тоже убегут! — говорил Митря при встрече с товарищами из других вагонов.— А на себе и вас вывезут!

Унтер-офицеры приказали обозначить мелом на всех пятидесяти вагонах пункты назначения. Конечно, точное направление никому не было известно. Но унтеры узнали от господ офицеров, что пунктами назначения были Москва и Сталинград. Грамотеи вывели на серых досках огромными буквами: «Бухарест — Москва», другие — «Бухарест — Сталинград». Нашелся какой-то храбрец, который написал еще крупнее: «Пункт назначения — Сибирь». Этим место бойни хотя бы как-то отдалялось.

А Митря Кокор еще приписал: «Бухарест — Москва, туда и обратно». Эта приписка немедленно была принята всюду. Однажды вечером капрал Флоря стер со своего вагона «туда и обратно».

— Там хочешь остаться? — с усмешкой спросил его Митря.

Капрал посмотрел вокруг, нет ли кого поблизости, и улыбнулся, ничего не ответив.

Полковник Паладе, человек седой и серьезный, узнав об этой игре с надписями, нахмурился.

— Надо прекратить эти глупости,— указал он молодым офицерам.— Вы думаете, они стремятся в Москву или Сталинград? Пусть бы у меня так голова болела, как они хотят этого. Есть приказ, вот мы и везем их. Все это так, что греха таить! Знаю я наших крестьян, они себе на уме. В конце концов они правы. Бедняги не имеют никакого понятия о политике. По крайней мере, по поводу Сибири они просто издеваются. Прикажите стереть надписи.

Приказ был отдан.

— Да и внутри почистить вагоны от дураков и вшей,— шепотом произнес Митря, и его слова были сразу подхвачены всеми.

Мимо больших станций эшелон проходил с патриотическими военными песнями. Потом вагоны мало-помалу умолкали. Новобранцы, как люди себя называли, тоскливо, с каким-то безразличием глядели на зеленые поля.

— Вот оно, наше поле боя,— пашня...— сказал как-то Митря.

Весь вагон капрала покатился со смеху.

— Смеетесь, как дураки,— обиделся Митря.

Товарищи недоуменно посмотрели на него. Они привыкли к тому, что Кокор всегда шутит. Целую неделю ехали они так. На одиноких полустанках делали долгие остановки. Иногда шел дождь и окутывал все мокрой пеленой: она висела над солдатами, как черная тоска над смертниками. Митря дремал в своем углу, рядом с Костей Флорей. Он упрямо старался сосредоточиться,

пока перед ним не возникали карие глаза. Тогда он вздыхал и стонал. Все существо его страдало.

Ему было немного стыдно перед капралом.

— Что с тобой, Митря? — спросил однажды Костя.

Митря в ответ сказал только половину правды:

— Эх, брат, думаю я, где теперь учитель, который дал мне в руки букварь и доску. Что он теперь делает? Один только раз видел я его в жизни, а забыть не могу.

— Учитель ждет своей поры,— ответил кузнец.

— Он жив?

— Да, насколько я знаю. А о чем ты еще думаешь?

— Эх, брат, сумасшедшие мысли одолевают меня. Деды наши странствовали туда и сюда, а все же можно было до них палку добросить. Мы же катим на край света — посмотреть, где там конец земной оси.— Товарищи стали прислушиваться к словам Митри. Все ожидали шутки.— Едем,— продолжал Митря,— безо всякого интереса. Деды отправлялись кусок хлеба добывать, а мы едем за смертью.

Капрал нахмурился.

— Тебе государство платит по лее в день, тебе бесплатно предоставляется проезд, одежда и довольствие.

— Не говори об одежде, а то солдат разозлишь.

Товарищи с грустью оглядели свое обмундирование, в которое их облачило государство.

— Эй, солдаты, чего носы повесили? — спросил Флоря.

— Мы веселимся.

Илие Дафинеску, приятель Кокора, добавил:

— Это только Митря вздыхает и печалится.

Солдаты повернулись к Митре Кокору.

— Я думаю,— вздохнул Митря,— о бедняке из одной сказки, который с мешком отправился к господу богу спросить его о своем злосчастье. А я с двумя мешками иду прямо к нечистому.

Солдаты приуныли.

— Митря, должно быть, немножко рехнулся,— шептались они между собой,— говорит не по-людски.

И действительно, Кокор не украшал своих речей пословицами, поговорками и анекдотами, как это делали другие острые на язык солдаты. Слова ефрейтора рождались из самой горечи жизни.

Долго так шел поезд, оставляя за собой огромные пространства, пока не стали появляться опустевшие села. Все было разрушено и выжжено. Ветер доносил смрад пожарищ и трупов. Собаки блуждали по руинам, снова превращаясь в волков. Поджав хвосты, вытянув вверх морды, они выли, как по покойнику.

Однажды, высунув головы в открытые двери вагона, товарищи Митри дивились на места, где ничего не осталось, кроме стен и амбразур. Когда-то это был город. Уже стемнело, но огней не зажигали. Среди куч мусора, оставшихся от вокзала, стоял низкий дощатый барак и палатки подразделения, охранявшего железную дорогу, которая связывала мир с пустыней и фронтом. Среди укреплений и палаток на бараке зажглись электрические лампочки. То, что было городом, вырисовывалось вдалеке, на фоне грозового неба, словно видение, вставшее из глубины давно позабытых времен.

На маленьких станциях, где оставались запасные пути, поезд простаивал по суткам, чтобы люди могли отдохнуть от отупляющей тряски. Все испытывали какое-то головокружение. Люди сновали вокруг в поисках свежей воды. Другие яростно терлись у колодца или у ручья, обнаженные до пояса, не замечая, что только размазывают паровозную копоть, осевшую на них, как смазка. Из вагонов выбрасывали «диваны» и жгли из них костры. «Читали газеты», то есть снимали рубашки и внимательно осматривали их у огня.

Однажды после полудня Митря и кузнец забрели на хутор, уцелевший неподалеку в лощинке, где среди многих опустевших домов притаилось и несколько обитаемых. Две коровы паслись на запущенном поле, а с ними несколько тощих поросят; с десяток кур испуганно закудахтали при приближении Митри и Кости и разлетелись в разные стороны. За одним из домов затаилась женщина, прокрадываясь к высокому конопляннику.

Капрал Костя Флоря выкрикнул несколько русских слов. Женщина обернулась к чужим солдатам. Это были не немцы. Она попыталась им улыбнуться. Получилась гримаса: верхних зубов у нее не было.

— Бабушка, были здесь германы?

— Были...— жалобно отвечала она, показывая пальцем на свой рот с выбитыми зубами.— А вы кто будете?

— Мы не немцы, бабушка.

— Так, так... значит, люди... Куда это вы?

— На фронт едем. Румынские солдаты, бабушка.

— Ой, горюшко-горе! — запричитала женщина, охватив голову руками.

Митря почувствовал, как этот крик пронизывает его до глубины души. У капрала на глазах выступили слезы. Неподалеку показалось еще несколько женщин, два старика в зипунах и несколько ребятишек, обутых в опорки.

Кокор перехватил их быстрые, как стрелы, враждебные взгляды. Кое-кто сжимал в руках вилы. Ефрейтор достал из сумки

краюху черного хлеба, в то же время открывая пальцем кобуру револьвера. Он разломил хлеб и протянул детишкам. Сначала они хотели бежать, но потом приблизились и протянули слабенькие ручонки со скрюченными пальцами. Один из стариков сделал шаг вперед и дребезжащим голосом спросил по-румынски:

— Вы румыны?

— Да.

Старик повернул вилы зубьями в землю и сказал, мешая румынский язык с русским:

— Ага! Мы были там... были на войне. Тогда — другая война. Теперь герман — волк, герман — гусеница, герман — саранча.

— Что он говорит? — спросил Митря.

— Говорит, что немец — волк, гусеница, саранча, а не человек.

— Но наши сыновья погонят их назад! — продолжал старик на своем языке, а капрал переводил Митре.— Назад! Назад! У! Как их бьют! У! Как их лупят!

— Немец — капут! — вдруг крикнул другой старик, и его тщедушное тело в зипуне затряслось от радости.— Не ходите дальше. Возвращайтесь-ка домой.

— Господи, бедные вы мои, славные вы мои...— причитала бабушка, идя за ними вслед.

— Смеются они над нами! — пробормотал Митря.

Капрал не ответил. Они пошли обратно на одиноко стоящую станцию. Время от времени они переглядывались, понимая друг друга без слов.

— Ничего не рассказывай ребятам,— предупредил Костя Флоря.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

...ПОКА ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ МИТРЯ И ФЛОРЯ НЕ УВИДЕЛИ МОЛНИИ ВОСТОКА

— Придвигайтесь поближе, господа,— обратился после ужина полковник Паладн к своим офицерам, поспешно развертывая карту, пока денщики убирали со стола.— Поближе, прошу вас, чтобы вы все могли ознакомиться с общей обстановкой на театре военных действий.

Подобные совещания происходили почти ежедневно. Но в этот вечер полковник казался особенно возбужденным. Более тускло горели свечи. Облака, бегущие с востока, угрожали бурей.

— Впервые у меня был хоть какой-то разговор с немецким офицером,— неожиданно заметил командир, поднимая глаза от

карты.— Речь идет о коменданте здешней проклятой станции. Это произошло, как только мы прибыли сюда. Он, прошу вас заметить, пытался внушить мне, что продовольственный склад пуст и мы не можем рассчитывать на положенное довольствие. Мы, мол, не двинемся с места несколько дней, это, мол, его стесняет, они, мол, должны снабжать составы, двигающиеся изнутри страны. «Я сам не желаю торчать здесь. Дайте скорее приказ об отправлении».— «Не могу, с фронта один за другим прибывают поезда, вы сами могли заметить, что дивизии, вероятно, перегруппировываются». Ответил, называется! Так первничал я лишь на том проклятом полустанке, где мы перешли на широкую колею. Да простят мне мои слова, но наши друзья немцы смотрят на нас до некоторой степени как на вспомогательные войска.

— До некоторой степени? — выразил вполголоса свое удивление коренастый лейтенант.

Полковник пристально посмотрел на него, то и дело хватаясь правой рукой за то место на столе, где обычно стояла бутылка с коньяком.

— Может быть, вы и правы, Микшуня,— заметил он, кивнув головой.— Дайте мне, пожалуйста, папиросу, из тех, что у вас еще остались из дому.

— С удовольствием, господин полковник.

Офицер протянул своему начальнику серебряный портсигар и зажигалку.

— Благодарю, Микшуня. У меня есть спички. Прошу прощения за невольно вырвавшиеся у меня слова, которые наш товарищ еще больше подчеркнул. Порой и у меня бывают тяжелые моменты. Когда встречаешься с людьми в этой ужасной пустыне, хочется увидеть улыбку, услышать приветливое слово. Так нет же! У них точность автоматов и абсурдная непреклонность.

— Они станут человечнее, господин полковник,— снова осмелился подать голос Микшуня, подмигнув одним глазом.

— Я понимаю, на что вы намекаете, и не одобряю вас.

Микшуня потупил голову.

— Все же, Микшуня, в ваших словах есть доля правды. С некоторого времени мы отмечаем на карте передвижения войск, которые кажутся странными. Возможно, нам не совсем ясно соотношение сил. После молниеносных продвижений вперед — стратегические отступления.

Офицеры настороженно молчали.

— Несомненно, что никогда в мире,— продолжал полковник,— не было столь хорошо обученной и столь хорошо организованной армии, как немецкая. Однако...— вздохнул он,— мной овладевает тревога, когда я начинаю думать, что...

Он бросил потухшую папиросу и взял другую из портсигара лейтенанта.

— Эта схватка...— он зажег папиросу,— смертельная схватка на тысячи километров, от Балтийского до Черного моря... Миллионные армии... техника, какой никогда не бывало... Авиация, командование... Что еще можно сказать? Но происходит нечто невероятное, и мы не можем этого не заметить. Ведь мы же профессионалы, черт возьми! Мы отдаем себе отчет. Сообщения командования, как ни замаскированы они словесными выкрутасами, свидетельствуют о некоей тенденции к отступлению.

— Только о тенденции? — опять вмешался лейтенант.— А под Ленинградом, под Москвой, где-то на Волге...

— Да. И в том направлении, куда мы едем и никак не можем доехать. В трех решающих пунктах. Не выпьете ли вы, ребята? — добавил он, указывая папиросой на бутылку с коньяком.— Как говорит Катарамэ, дело дрянь! — Полковник криво усмехнулся, обнажая черные зубы.— Но это еще не все. Русские перешли к контратакам, и все более мощным. Мы должны признать, что их продвижение не прекращается. С другой стороны, те пополнения наших союзников, которые направляются на фронт, кажутся мне гораздо более низкими по своим качествам, чем два года тому назад: теперь это зеленая, плохо обученная молодежь. Что бы вы сказали, если б пришлось сразу бросить в бой вот этот состав, набитый мужичьем? Красиво, не правда ли? В пух и прах их разнесут. Так и с теми мальчиками. Едут с энтузиазмом, распевают во всю глотку, а после плачут и зовут «муттерхен». А из самых глубин востока, господа, движутся войска, и войска прекрасно экипированные, прекрасно обученные, будто и не они отступали. Но это те же самые, а за ними появляются другие, их еще больше, тысячи, миллионы. Авиация, танки, моторизованная артиллерия, «катюши» и не знаю, что там еще. Чего только у них нет, господа! По совести скажу вам — как старый военный, еще в молодости проделавший кампанию вместе с русскими,— я не могу не восхищаться ими. Меня весьма беспокоит, что они все продвигаются и продвигаются, одерживая победу за победой. Они разбили Наполеона. И вот, оказывается, Германия тоже проигрывает партию.

Полковник закурил еще папиросу и налил еще рюмку коньяку, последовавшую за многими другими. Жесты его становились все оживленнее, сиплый голос — все громче.

В тот вечер ефрейтор Думитру Кокор стоял в первую смену на карауле у офицерского вагона вместе с Илие Дафинеску: Митря с одной стороны, Дафинеску — с другой. Окна были закрыты занавесками, «чтобы солдатня не видела, что делает начальство», как объясняли себе сами солдаты. Полковник сидел между лам-

ной и окном, так что Митря видел на занавеске его черную и слегка увеличенную тень. Вокруг Митри все было тихо и безлюдно, он остановился у окна и стал прислушиваться. Иногда до него доносились обрывки фраз. Он наблюдал за движущейся тенью полковника. Левой рукой тот подносил ко рту папиросу с длинным мундштуком, а правой время от времени опрокидывал рюмку.

«Страсть как ему нравится это питье, что коньяком зовут,— думал Митря.— Стакан большой, а наливает коньяк понемногу. Зато часто наливает! Девять раз подымал правую руку».

Митря смеялся в темноте сам с собою. Ему вспомнилось, что говорил Катарамэ о русских: «Как же это мы с вами, москали, договаривались? То говорили, что у вас контрреволюция началась, то оружия нету... а теперь-то все у вас есть — замок святого Петра от райских врат и тот, верно, есть. Славно отделали Наполеона, не хуже отделают и Гитлера».

Была безлунная ночь. Далеко на востоке сгрудились тучи, застыв, словно недвижные горы.

В ночной тишине Кокор дослушал до конца речь, которую произносил в вагоне полковник. Пришло время смениться. Разводящий капрал привел на его место другого. Ефрейтор передал ему пароль и ушел. Теперь он мог спать до самого рассвета.

Его телячий вагон был шестым с конца. Около него Митря наткнулся на капрала Флорю, поджидавшего его. Отойдя немного к хвосту состава, Митря вполголоса рассказал капралу все, что видел и слышал. Зевая, он прибавил:

— Да, видать, и господа офицеры думают про войну вроде нашего фельдфебеля.

Кузнец ничего не сказал на это. Он только спросил:

— Спать хочется, Митря?

— Хочется, но не очень. А что?

— Коли хочется спать, не ходи в вагон. Уж больно там душно, вонью так и шибает. Выйдешь на минутку, а потом и войти обратно не можешь. Я снаружи устроился. Потому и тебя поджидал. Я тут нашел шагах в пятидесяти копну сена. Привалимся к ней спиной и хорошо уснем. Ночь уже на исходе. Через три часа светать начнет.

Они добрались до копны и в темноте умостились на сене. Прошло некоторое время, кузнец спросил:

— А о политиках наших не говорили?

— О ком это? Об Антонеску?

— Да.

— О нем не говорили.

— Конечно,— заметил кузнец,— за шкуру свою боятся.

В тишине, сменившей этот ленивый обмен словами, вдруг на востоке в черной туче зажегся огромный красный глаз. Зажегся и потух, как будто подмигнул. Митре показалось, что злой дух степи погрозил бедным людям, заплутавшимся в этих местах.

— Видел?

— Видел,— тихо ответил кузнец.— Там гроза. Далеко-далеко.

Бескрайняя степь застыла вокруг них как мертвая. Однако что-то тонко и дробно звенело в неподвижной тиши. Мириады насекомых пиликали жесткими надкрыльями, разыскивая друг друга и справляя свадьбы среди травы. «Так же много и тех, кто идет на нас»,— думал Митря.

Еще раз сверкнул глаз злого духа. Черная туча начала тихо двигаться, принимая неопределенные очертания, пока не превратилась в крылатого коня, устремившегося в неудержимом прыжке. Она вытянулась и вскоре исчезла в южной стороне.

Восток посветлел, степной шелест утих. Из безграничной дали послышалось что-то вроде свиста. Вскоре после этого над безлюдьем, в котором бодрствовали оба друга, пронеслось холодное дуновенье — отдаленное движенье бури. Это длилось минут десять и прошло. Снова воцарилась тишина.

Кокор насторожился, как, бывало, в Дрофах, когда нес ночную стражу. Степной шелест больше не возобновлялся.

— Полное молчанье,— пробормотал кузнец Флоря.

Митря прошептал:

— Что-то теперь наши дома поделывают?

— Гляди! — таким же приглушенным голосом прервал его капрал.

Митря хотел задать вопрос, но застыл от удивления: там, вдалеке, откуда промчался грозовой конь, гнались друг за другом огненные сполохи. Не слышно было ни звука, только видна была вспышка за вспышкой.

Оба друга молчали с бьющимися сердцами. Там был фронт, куда направлялись солдаты.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

КОНЕЦ МНОГИХ ЖИЗНЕЙ И ГОРЕСТЕЙ

Помимо прочих хитроумных измышлений, этот воинский эшелон № 404, казалось, придумал для себя особый рекорд: никогда не доехать до места назначения. Он свистел, дымил, стучал колесами, пыхтел, останавливался, снова двигался и снова останавливался. Может быть, он выполнял желание многих из тех, кого вез,

или желание прокоптившихся машинистов, которые, лишь только доезжали до какой-нибудь заброшенной станции, начинали, как говорил Митря, лаяться между собой. К этому прибавлялось еще одно удивительное явление: казалось, что и сам горизонт отступает, что все отдаляется этот безграничный восток. И еще одно: время от времени на воинский эшелон № 404 налетали бури и вихри. Не такие, как у нас. У нас, объяснял Кокор, бури — это расшалившиеся детишки, а здесь — скопище старых ведьм. В один миг закружат человека и бросят его на землю, даже поезд норовят столкнуть с рельсов:

— Идите-ка вы, эй, идите-ка вы, люди, назад, откуда пришли! Что вам здесь нужно?

— Смилостивься, баба-яга,— увещевал Кокор,— черта нам нужно. Иду я с подарком: вот два мешка.

— Да они пустые, Митря,— смеялись солдаты.

— Ну да, вы сожрали все, когда я храпел. Но они опять наполнились тем, чего ищем мы, дураки, в этих местах. Вот я и везу в подарок дьяволу два мешка человеческой глупости.

Наконец в хмурый полдень на остановке появился представитель румынской дивизии этого участка. Те из солдат, кто находился поближе к вагону начальства, хорошо слышали, что офицер этот — делегат, но не поняли, какой дивизии и какого сектора.

Прибывший офицер был небольшого роста, смуглый, заросший бородой, в каске, в слишком длинной шинели, затянутой ремнем, и без всяких знаков различия. С полковником и другими офицерами он держался несколько высокомерно, как человек, уже побывавший под огнем.

— Вид-то у него потрепанный...— заметил Митря.— Завтра и мы будем такими же, как он. Эх, судьба наша горькая!

Стало известно, что полк переформировывается. За пять недель, то есть с той самой поры, как солдаты выехали с родины, он три раза менял местоположение. И двигался он не вперед, а только назад,— как будто ловил свой собственный хвост.

— Стратегический отход,— пояснил офицер-делегат с такой важностью, словно сам придумал эту формулу.

— Лейтенант Попеску, будем говорить серьезно,— заметил ему полковник Паладе, пристально глядя на него.

Микшуня положил ему руку на плечо:

— Эй, Нуцу, мы с тобой товарищи по выпуску, и я знаю тебя как умного парня.

Лейтенант Нуцу Попеску, в своей длинной шинели, еще слегка похорохорился, а потом признал себя побежденным и улыбнулся:

— Привезли немножко коньяку?

— Привезли,— заверил его Микшуня.— И игральные карты.

— С ними нам нечего делать! — безнадежно махнул рукой Нуцу.— Нет времени: все переезжаем. Теперь вам предстоит сразу же на своих повозках и наших автомобилях перевезти все имущество в лагерь. Мы расположились неподалеку. Вон там, на краю села, у перекрестка дорог. Машин — целый водоворот... Укрепляют позиции. Вчера «советы» в сорока километрах отсюда предприняли атаку. Посмотрите на карту, как обстоит дело. Атака отбита.

Полковник остановил его:

— Значит, немедленно разгружать все наше имущество?

— Так точно, господин полковник, немедленно. Ведь мы еще вчера получили сообщение о вашем прибытии и все подготовили. Это было приятное занятие, мы все радовались.

— Тогда можно приступать.

— Так точно, господин полковник.

— Микшуня, распорядитесь!

Микшуня отдал приказание одними глазами, так как все унтер-офицеры были налицо. Столпившиеся вокруг солдаты пехоты расходились.

— А товарищи... что поделывают? — обратился Микшуня к лейтенанту Нуцу.

— Из нас всего только восемь осталось, Микшуня.

Глаза Нуцу затуманились непритворной печалью. Он опустил голову, еще недавно так надменно закинутую назад.

— Что делают Чобану и Параскивеску? — спросил тоненький офицерик, прозванный Дамочкой.

— Эх, Дамочка,— вздохнул Нуцу,— Чобану и Параскивеску приказали долго жить.

Веки Дамочки задрожали над его красивыми женскими глазами.

— Даже поверить трудно. Мы — двоюродные братья, но жили как родные.

— Придется поверить, Дамочка. Погибли и другие: Порумбеску, Лаксатив, Кроитору... Это был мой непримиримый враг, потому что я его регулярно обыгрывал в карты. Жалко его, он заменял мне доходное именьице. И Корбицэ... И Иован, который декламировал нам балладу про Иована Иорговапа, утверждая, что ведет свой род от этого народного героя. Когда он отдавал богу душу, он повторил слова героя: «Дети мои, я отправляюсь к праотцам».

— А Папакоадэ?

— Папакоадэ цел.

Младший лейтенант Дамочка повеселел, но только на мгновенье.

Солнце скрылось на горизонте в легких розовых облачках, когда солдаты со всем имуществом направились к «населенному пункту Сомотрец». Это уже не было селом, там не осталось никого из местных жителей — из тех, кто обрабатывал поля, ухаживал за садами, выращивал скот. Все они словно улетели на луну или провалились сквозь землю. Сомотрец был теперь просто пунктом, куда был послан на переформирование разбитый полк. Полк растерял половину своего вооружения, лошади разбежались, офицеров осталось всего несколько человек, прибывшее пополнение, хотя и состояло из новобранцев очередного призыва, не могло заменить исчезнувшей воинской части.

— Особенно «мужичье» гибло или пропадало без вести,— пояснил, улыбаясь, Нуцу.

Бывшее село оказалось чистым и благоустроенным. Несмотря на суматоху, полк, отведенный на отдых и переформирование, с особенным нетерпением ожидал вестей с родины.

Катарамэ разглагольствовал:

— Какие там вести с родины? Никаких нет вестей. Там все хорошо, в бок тебе тормоза от колесницы Ильи-пророка! Камилавка бога Саваофа тебе на голову! Рад видеть вас здоровыми. Слышал, что осталось вас всего двести тридцать.

— Со мной двести тридцать один,— жалобно произнес Дэнилэ, портной из батареи Катарамэ.

— А, Дэнилэ Рошу. И ты здесь!

— Здесь, господин фельдфебель. Держусь за жизнь зубами. Да, здорово нас поубавилось.

— Э, что там, вот теперь мы приехали, чтобы тоже поубавиться. Ну как, всего хватает?

— Хватает!

— Я вот привез немножко кукурузной муки.

Старые приятели шумно радовались встрече, награждая друг друга тумаками.

Кокор обратил внимание на то, как встретились командиры. В хорошем расположении духа был, как всегда, полковник Чаушу — сухой, загорелый, бритый, с белесо-голубоватыми, цвета бутылочного стекла, глазами. Он считался старшим, так как звание полковника получил раньше, чем Паладя. После того как они обнялись, Чаушу слегка прикоснулся рукой к самой округлой части тела Паладя.

— Это спадет...

Кокор прикинул про себя: «Мы хлопаем друг друга по плечу, потому что на наши плечи ложится тяжесть. А начальство хлопает себя по брюху».

— Наконец, дорогой Паладп, завтра я тебе передаю полк. В первый раз за полтора года получил отпуск на месяц. Я совсем закрутился. Поеду с моим двоюродным братом, генералом. Тебе повезло: полк на отдыхе и все время отходит назад.

— Наступали для того, чтобы отходить...— прошептал Кокор солдатам, стоявшим рядом.

Сумерки сгустились над военной частью, хлопотливо устраивавшейся на ночлег. Света не зажигали, костров не раскладывали. Вновь прибывшие, как и старые солдаты, грызли сухари в своих укрытиях.

— Фронт недалеко,— поясняли Кокору «старички».— В этих местах стоит появиться огоньку, как сейчас же сверху налетают жар-птицы и начинают сбрасывать яйца. Такой треск подымается, и так смердят они, что страх берет. Хватит с нас!

«Старички», казалось, хвастали подобными злоключениями, и артиллерийскими налетами, и советскими танками. Новобранцы слушали их почтительно, с уважением.

— Слыхали мы, что они ловят нас и глотки режут.

— Кто? Эх ты, молокосос! Москали? Брехня. Такие же люди, как и мы. Вы больше опасайтесь приятелей наших, немцев. Как увидят, что ты ослаб или отошел на полшага по нужде — ведь люди же мы,— тут они или штыком пырнут, или из пулемета скосят. Крепкие вояки.

— А они не отступают?

— Ну, как не отступить? Бывает такое, что никому не удержаться. А то бывает, налетит на нас змей страшенный...

Кокор слушал, и ему не хотелось спать. Немного погодя он и кузнец поднялись и отправились на поиски укромного местечка, где хорошо было бы посидеть в тишине и перемолвиться словечком о своем. Они долго бродили и не находили ничего, пока не набрели на воронку от снаряда. В зарослях бурьяна ночной воздух показался им потеплее. Они легли на спину и покрылись шинелями. Обменялись несколькими словами. Задремали.

Проснулись они уже довольно поздно, повернулись друг к другу лицом и замерли, напрягая слух. Слышались пушечные выстрелы, словно били в глухой барабан, и не так уж далеко. Затем на некоторое время все смолкло. Оба приятеля вдыхали прелый запах травы и уже собирались опять погрузиться в сон среди ночной прохлады, как вдруг краешком глаза приметили на востоке зеленые ракеты, и снова началась канонада с непрерывным грохотом,— они чувствовали, как в яме под ними дрожала земля.

Прошло четверть часа, час. Им казалось, что, возникнув где-то в глубине, пронесся над ними прерывистый вой, чудилось, что

под равнодушным звездным небосводом сжимается от боли сердце самой земли.

Они поспешно поднялись и направились в расположение своей части. Все подразделение проснулось и высыпало из укрытий. Событие обсуждалось со страхом. Передавали, будто бы полковник Чаушу, смеясь, заметил:

— Не бойтесь, их немцы удержат.

Тем не менее он все бродил во тьме, время от времени останавливался, вглядывался в даль, прислушивался.

— Что он слышит, то и мы слышим,— пробурчал один из «старичков».

После первой паузы артиллерия большевиков приблизилась.

Целых три часа нервы у людей были болезненно напряжены. Сотрясенье земли и отдаленный гул не прекращались. Да, несомненно, «вселенский ужас», как это называли новобранцы, все нарастал и приближался к соседним секторам. Через некоторое время Митря Кокор почувствовал, что у него дрожат колени. Он посмотрел на свои ноги, как на чьи-то чужие, усмехнулся, хрипло выругался и опустился на землю.

Тут он узнал лица старых солдат, находившихся вокруг, и застыдился своей слабости. Где же может быть капрал Флоря?

— Ты тут?

— Тут.

Оба произнесли эти слова, лязгая зубами. «Старички» смотрели на них молча и серьезно, они ждали, а время словно умерло, не двигалось вперед. Порой они вздыхали, их слух был наполнен тем, что происходило в грозной дали, но подступало все ближе и ближе.

Занималась заря, когда неожиданно на перекрестке дорог показались первые грузовики с людьми. Это были люди, гонимые смертоносной бурей, взвихренным ужасом.

— Опять меняем позиции,— пробормотал стоявший рядом бывалый солдат.

Митря схватил его за руку.

— Немцы отступают?

— А то, может, наступают? Сам, что ли, не видишь?

— Эх, а мы, новобранцы, только что прибыли!

Он один только и рассмеялся над этой бессмыслицей. Однако все, что ни происходило, как будто было устроено для него.

Новобранцы задвигались и засуетились, не ожидая приказа. Лишь потом резко зазвучали распоряжения офицеров. Никто их не слушал. Под неумолкаемый гул орудий, под шум грузовиков и легковых машин, которые теснились тремя плотными колоннами, полк тоже собирал свои пожитки, торопливо готовясь к отходу.

Как это часто бывает во время паники, один солдат предстал перед своим подразделением с метлой в руках, другой с куском хлеба, третий верхом на лошади, без седла и узды.

— Посмотри-ка, эй, на Александра Македонского!

Митря вдруг бросился к ним, словно готовясь поднять их на рога. Он еще не сошел с ума, хотя лицо его все перекосилось.

— Эй, новобранцы! — кричал он.— Подымайсь, пускай каждый сам спустит с себя шкуру и отдаст ее!

Его больной смех передался другим.

Он с ненавистью продолжал бормотать словно про себя:

— Чтобы расплатиться уже за все...

Услышав смех «старичков», полковник Паладе, в двух шагах от которого следовал Чаушу, удивленно остановился.

— Где мой шофер? — раздраженно спросил его спутник.— Чего хохочете, скоты?

Люди разбежались кто куда.

— Умеешь править? — заорал Чаушу на Митрю.

— Только телегой с волами, господин полковник.

— Тогда чего стоишь и смотришь на меня, идиот? Бегом марш. Немедленно пришли мне сюда шофера Визиреску.

Кокор отправился искать неизвестно кого: он в тот же миг забыл названную фамилию. Все же скоро он пришел в себя и сообразил, что люди в суматохе бегут к развилке дорог. Фургон, запряженный лошадьми, два полковых грузовика и легковые машины командиров ждали случая втиснуться в поток. Некоторые бросали все, что тащили с собою, и висли гроздьями на машинах. Но шоссе больше не могло вместить густую вереницу машин. Она была похожа на гигантскую гусеницу с железными суставами, которая едва ползла, извиваясь. Воздух наполнился грозным рокотом самолетов.

Почти рядом Кокор увидел немцев. Нельзя было сказать, что они не люди. Но теперь это были какие-то обезумевшие, словно расклеившиеся существа. Самолеты пикировали на колонну беглецов. Трещали пулеметы. «Поливают садовники грядки...» Пролетали, взмывали ввысь, потом снова возвращались поливать. Из грузовиков пачками начали выскакивать солдаты, убегая куда глаза глядят.

Самолеты улетели. В опустевшие грузовые машины бросились «старички» и новобранцы, товарищи Митри. Но беглецы возвращались. В один миг на глазах Митри Кокора разыгралось побоище. Те, кто убежал в поле, нападали на тех, кто занял их места. Немедленно были пущены в ход пистолеты. Все же наиболее напористые новобранцы продолжали лезть. Митря увидел своих в десяти шагах и между ними фельдфебеля Катарамэ, продвигавше-

гося вперед с сиплым ревом. Он ухватился за борт грузовика, где намеревался захватить место. Один из тех, кто был в кузове, ударил тесаком и отрубил ему кисть руки. «Грузовик твоей матери!» — заревел Катарамэ, потрясая кровавым обрубком. Правой, здоровой рукой он схватил автомат. Но противники тут же его изрешетили.

— Убили! — закричал Кокор.

Катарамэ, свалившись в сторону, корчился на обочине дороги. Новобранцы бросились на приступ через его тело, трепещущее в конвульсиях. Тесаками, пистолетами, автоматами те, что были в грузовиках, отбили нападение.

Три больших самолета появились с той стороны, куда устремлялась колонна. Снова суматоха и смятение, снова остановка, снова все, как саранча, устремились в поле безумными скачками. С двухсотметровой высоты советские летчики метали бомбы. При первом же грохоте взрыва, не похожем ни на что земное, Митря упал ничком. При втором он прижался как можно крепче к «матушке всех нас, грешных», как бормотал он, крестясь, и в то же время ощутил, что лицо его все в крови. Он чувствовал ее запах, она душила его.

— Эй, братишка!

Это звал кузнец.

Митря поднял голову и увидел, как судорожно бился Флоря. Кровь хлестала у него через голенище, Митря положил руку на раненую ногу товарища: она была неестественно согнута ниже колена и дергалась, как будто могла двигаться сама по себе.

Грохоты и взрывы, грохоты и взрывы... Митря больше не остерегался. Пришел его последний час — это было ясно. Он добрался до ада со своими двумя мешками, набитыми глупостью. Микшуня скалил навстречу ему зубы, лежа на животе, но повернув лицо в сторону. Погиб, значит, и господин лейтенант Микшуня! Подпрыгнул, схватившись обеими руками за живот, Илие Дафинеску; потом упал на землю, извиваясь, как червяк, и затих.

«И я умру,— вздохнул Кокор,— так-то оно и лучше».

Полковник Палади стоял бледный, прислонившись к разбитому, искалеченному грузовику. Он облокотился на борт, подперев голову рукой. «Это наш грузовик. Господин полковник Палади как будто позирует фотографу».

Митря начал считать убитых, но сбился со счета. Грузовики, которые немцы обороняли тесаками и пулями от натиска рекрутов, превратились в кучу больших и маленьких кусков железа, дерева, человеческого мяса. В этой мясорубке исчезли и те, кто сначала отрубил руку фельдфебелю Катарамэ, а потом застрелил его.

— Флоря, это и лучше, что с тобой так случилось,— обратился Кокор с ласковой шуткой к своему товарищу,— если спасешься, по крайней мере, нога от ревматизма страдать не будет.

Но кузнец потерял сознание.

Когда в следующее мгновенье Митря Кокор поднял глаза, он увидел, как через поле двигались какие-то серые громады. Танки! Вдруг все, кто еще мог передвигаться среди вереницы разбитых грузовиков или разбежались по полю, бросились к красному флажку советской командирской машины.

— Знают немцы порядок...— удивился Митря.

Он тоже бросил ремень с пистолетом, что делали, как он заметил, все подходившие к танкам. Люди становились во фронт и поднимали руки. Он тоже поднял руки, но никто не обратил на него внимания.

Тот же самый непрерывный грохот вдали. Тот же гул и вой самолетов здесь. В степи мелькали другие танки, сгонявшие в загон горизонта новые стада.

«Много народу погибло. Но много и осталось... Может, и нам пустит пулю в висок, как и раненым».

Умрет он в солнечный день. Вот такой же была и степь в Дрофах, только тихая и мирная, какой больше никогда не будет, потому что все кончилось.

Когда подошли санитары, чтобы поднять раненого кузнеца, они застали Митрю Кокора в слезах.

— Что с тобой? Ты тоже ранен? — спросили они по-русски.

Митря понял. Он показал на кузнеца.

— Я *ньет болнав*. Это мой друг.

— Хорошо, хорошо,— сказали они, похлопав его по спине.— Иди, становись в колонну с пленными,— приказали ему потом.

Кузнец открыл глаза. И, уходя, Митря почувствовал, как на сердце его потеплело.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

МИТРЯ СМОТРИТ, ВНИКАЕТ И УЧИТСЯ

«Я опорожнил мешки от глупости и добыл крупицу разума».

Так хотел бы начать Кокор письмо к той, что была далеко, в Малу Сурпат, у самых Дроф.

«То, что я думал о стране, где нахожусь, и о людях, которые в ней живут, все хранилось в мешках. Теперь я увидел правду, уверился, что труженики, такие же, как и мы, живут без помещиков. Были и здесь хозяева вроде Трехносого, но народная революция смела их. Не бойся этих слов, потому что на деле, а не на словах

будет это и у нас. И бедняки из Малу Сурпат, такие же, как мы с тобой, займут запретную землю. Я хочу увидеть, как дед Тригля обретет безбедную старость, а его Кица отдохнет хоть часок».

Митря не мог послать это письмо, потому что был в плену в одном из лагерей и еще не имелось разрешенья на письма, как сказал ему кто-то из товарищей, старых военнопленных, которые знали больше его и даже говорили по-русски. Нужно и ему выучиться, и как можно скорей!

Кроме того, что еще не была дозволена переписка, дела на родине и в Малу Сурпат шли еще по-старому, ведь война не кончилась. Советские войска мощно пробивались вперед и громили немцев, но еще не вырвали родину из немецких лап.

И еще одно — ведь всего-то не уместишь на почтовой открытке величиной с ладонь.

«Перво-наперво, Настасия, знай, что с тех пор, как я здесь, я понял, что люблю тебя».

Впрочем, она знает это с той поры, когда кукушка куковала им про весну среди цветущей акации.

Многое с тех пор произошло!

«Подошел ко мне какой-то русский, Настасия, и приказал предоставить ему заботу о Флоре, который лежал у меня на руках с перебитой ногой, а самому становиться в ряд с другими пленными.

Седой такой, брови белесые, глаза голубые, как бусинки. Он хлопнул меня по спине и улыбнулся, отдавая приказанье.

Когда мы шли, я сказал ему, что я румын.

— Да. Хорошо! — ответил он по-русски.

Он меня понял.

Я пошел и присоединился к нашим. Немцы отдельно, наши отдельно. Только потом я опомнился, как же разыскать того седого солдата, который позаботился о моем друге Флоре. Но возвратиться назад я уже не мог, а из наших его никто не приметил. Кто он, как его зовут... Советские не понимали, о чем я беспокоюсь. Потом смеялись, когда толмач объяснил, что мне нужно.

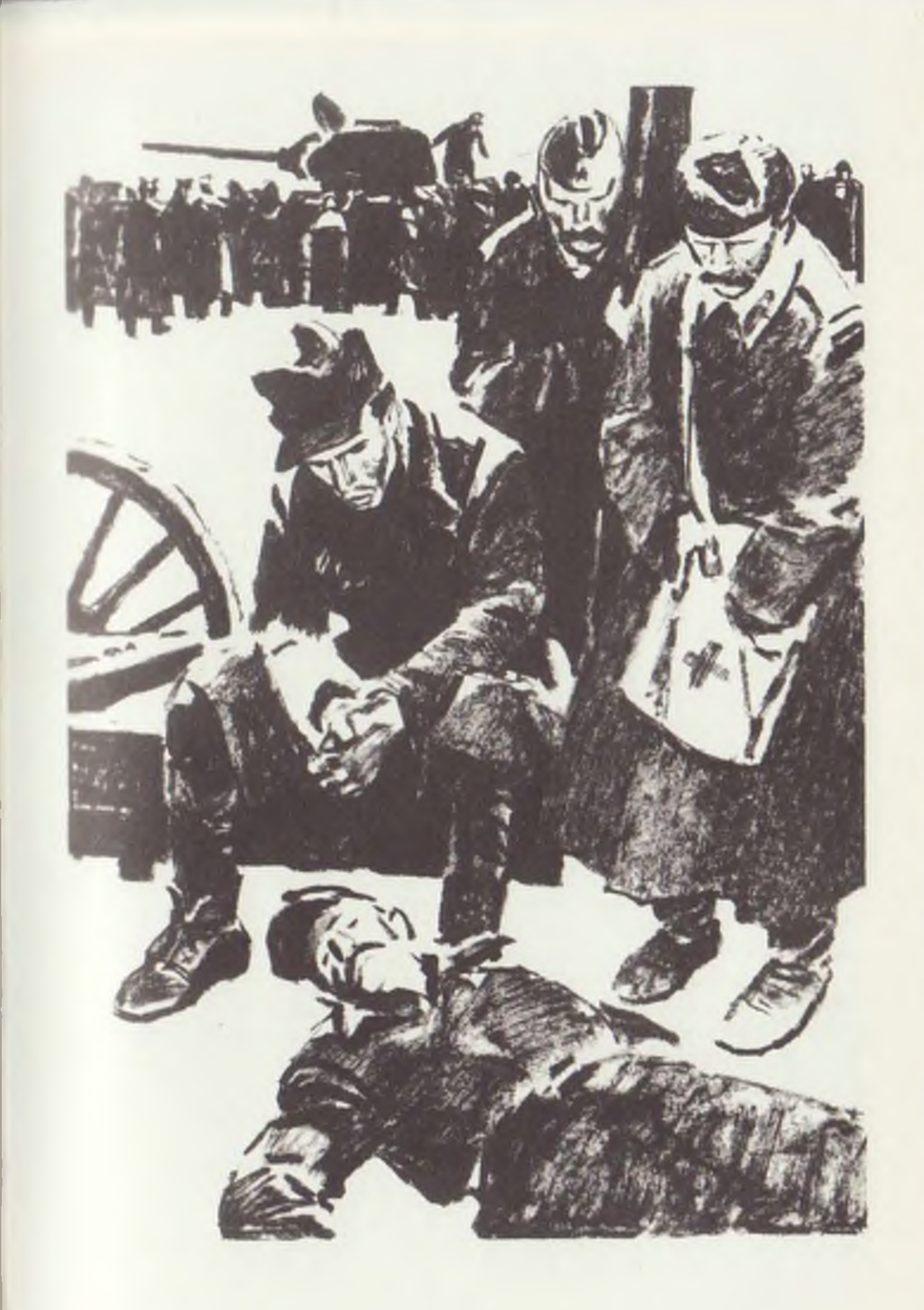
— Не беспокойся, приятеля твоего отвезли в госпиталь. Поправится.

— А я хочу знать, кто этот седой санитар, который поднял его.

— Зачем тебе знать, может, больше его никогда и не увидишь! Это наш «товарищ».

За первые шесть месяцев в лагере Митря Кокор подружился с двумя советскими солдатами, один был Василий Пиструга из Могилева, другой — Митя Караганов из Костромы.

От Пиструги, бойкого парня, невысокого и смуглого, Митря довольно легко научился по-русски. В это же самое время стал



М. Садовяну
«Митря Кокор»

обучать его агрономии Митя Караганов. Это был большой, спокойный и серьезный мужчина, хотя лет ему было столько же, сколько и Кокору. Он все рассказывал Митре, как живут крестьяне в колхозе у него дома. Говорил он размеренно, пристально глядя на своего подопечного.

До поздней осени, пока держалась хорошая погода, военнопленные помогали укреплять дубовыми сваями земляную плотину, которая сдерживала воду небольшой речушки. Речушка превратилась теперь в озеро, и вода с тихим журчанием процеживалась сквозь водосброс, хорошо укрепленный цепями и запорами. Долина поднималась волнистыми террасами, усаженными плодовыми деревьями. В начале долины находилось село. Бревенчатые избы были покрыты камышом, большие окна украшены зелеными ставнями. Митря смотрел издалека на это село, и оно ему нравилось.

Костромич Митя Караганов рассказал ему, что в этом селе люди уже одиннадцать лет живут колхозом, выращивают плоды и овощи. Воду, нужную для садов, качают из озера. А по другой стороне, у плотины, вода, устремляясь на лоток, вращает турбину. Мельница работает без передышки и мелет споро. Турбина дает электричество и для освещения, и для маленькой мастерской сельскохозяйственных орудий. Кроме того, колхозные столяры изготовляют в большом количестве оконные рамы, столы и стулья.

Грабли и вилы, объяснял ему Караганов, отправляют в горы, где люди занимаются сенокосом: у них там есть молочнотоварные фермы, маслозавод и сыроварня. А оконные коробки и рамы, столы и стулья везут прямо в пустыни Казахстана, туда, за Каспий, к Аральскому морю, где начали строиться дома и села. В тех местах кочевники тысячелетиями жили только в кибитках, не жили, а, скорее, страдали от голода и жажды, гоняя стада с места на место по пастбищам. Часто они добывали себе пропитанье набегами. Было там лишь два-три жалких селенья с саманными домами, где жили их ханы, собиравшие дань с кочевников. «Хозяин — бедняк, пастух — бедняк»,— говорили они. И вот спустя тысячи лет большевики научили кочевников проводить воду по оросительным каналам в пустыню, а кочевники-пастухи стали заниматься сельским хозяйством. Столица их республики теперь цветущий сад. По обеим сторонам улиц текут арыки, питающие ряды плодовых деревьев. В новых селах есть школы, есть врачи и другие специалисты. Изменилась жизнь в Казахстане.

Вот какие рассказы слушал Митря Кокор в долгие зимние вечера.

Как-то раз Пиструга спросил Кокора, улыбаясь:

— Ты веришь, парень, тому, что говорит Караганов?

— Верю,— отвечал Кокор.— Ведь я верил даже той лжи, которую распускали у нас, будто у русских люди мрут от голода. А как не поверить тому, что видишь своими глазами?

— Что ты видел своими глазами? — смеялся Пиструга.— Разве был ты в казахских степях? Разве был у горцев-скотоводов?

— Не был, зато вижу то, что есть здесь.

— Тебе нравятся избы с зелеными ставнями?

— Слушай, Василий, не испытывай меня. В моей стране я видел много горя и страданий. Ту нищету, что когда-то была здесь, у Аральского моря, я видел и сам испытал у нас в Хаджиу, где ханствует Кристя, прозванный Трехносым. Теперь скажи: когда была построена эта плотина и образовалось озеро?

— Не так давно, лет тринадцать — четырнадцать тому назад.

— Это видно. Видно, что и яблоневые сады молоды, в том же возрасте, что и озеро. Село это давнее, а дома новые, стоят в линию. Мельница, мастерские, электрический свет — все это, я так скажу, родилось от озера, ну а до того, как была построена плотина, разве был тут рай земной?

На такой вопрос Пиструга, по своей привычке, шумно расхохотался.

— По правде сказать, не совсем рай!

— Я понимаю, что для бедняков была здесь пустошь, товарищ Пиструга, как у нас Дрофы.

Митя Караганов сдержанно улыбнулся и церемонно сказал украинцу:

— Василий Иванович, Кокор был твоим учеником, но ты его как следует не узнал. А я понял, с кем имею дело, и поэтому все ему рассказываю.

— Извини, Дмитрий Матвеевич,— ответил Пиструга,— насколько я понимаю, ты хочешь сделать политика из этого придунайского крестьянина.

— Конечно, хочу.

— А его ты спрашивал, хочет ли он сам?

На шутку украинца Кокор ответил усмешкой, а уже потом в серьезном тоне сказал:

— Василий Иванович, с тех пор как я здесь, я понял еще и другое. Хозяева наши до сих пор ограждали нас от всяких мыслей о политике. Нас заставляли думать о будущей жизни и духовных благах на том свете и во веки веков, аминь. Сами же господа занимались своей политикой на этом свете.

Караганов пробормотал:

Загривок тигра жирным стал,
Ведь тигр один все пожирал...

— Вот именно,— продолжал Кокор.— Так что теперь мы, бедняки, тоже займемся нашей политикой на этом свете и в этой жизни. Знаю, что не нравится это господам, потому что опасно для них. Да что поделать! Когда придет время, я принесу эту опасность в Малу Сурнат.

— Тебя упрячут в тюрьму, и Тася будет плакать.

— Может, упрячут, а может, и нет, если победа будет на нашей стороне.

— На чьей это стороне? Не понимаю.

— Ты, Василий Иванович, знаешь, о чем я хочу сказать. Что произошло здесь, в России, произойдет и у меня на родине. Поднимутся рабы, и падут хозяева. Был у меня друг, он кое-чему научил меня. Да у меня и у самого есть глаза и уши. С тех пор как я здесь, я смотрю, слушаю, прикидываю, что к чему.

Оба русских пожали ему руку.

— Послушай, Василий Иванович,— сказал в заключение Караганов.— Да ведь наш крестьянин с Дуная — настоящий политик, и это меня очень радует.

«Дни за днями проходят,— вздыхал Митря Кокор, когда оставался один,— и недели бегут за неделями. Хоть бы весточку получить от кого-нибудь».

Пиструга и Караганов уехали из лагеря.

В часы отдыха Кокор часто молчал, углубившись в свои думы. В комнате, где стояла его койка, шум постепенно стихал, и перед полузакрытыми глазами Митри появлялся образ той, о которой он тосковал. «Вот видится мне эта девушка, улыбается мне, и сердце мое должно бы смягчиться,— размышлял он.— А не смягчается! Шипы ненависти раздирают его. Не могу смириться, не могу быть с ней счастливым, пока не отплачу тем, кто наполнил меня этой жгучей ненавистью и горечью».

Зима была снежная, снег лежал огромными сугробами. По ночам, при полной луне, Митря с одним или двумя товарищами выходил на озеро смотреть на выдр, как те перебегали, извиваясь, от проруби к проруби. Звездный воздух был прозрачен, как хрусталь, в нем ясно звучали шепоты, шаги, крик ночной птицы. Мороз резал словно бритвой, будто раскаленной проволокой лез в ноздри. Зима в Дрофах вспоминалась как веселая игра на ледяной горке. Здешняя зима — это огромные мерзлые пространства и бураны, которые грозят гибелью всему живому, от мелких букашек до зверя и человека. Зверь ждет теплых дней, зарывшись в свое логово под снегом. А человек противостоит зиме упрямо и сурово — это больше всего поразило Митрю.

Однажды в воскресенье, часа в три, пленные вышли из лагерной столовой и разошлись по своим баракам. Прежде чем пойти

к себе, Митря остановился на минуту посмотреть на тройку лошадей, запряженную в сани. Морозный вихрь промчался по дороге, и Митря спрятал лицо от снежного облака в высокий ворот полушубка.

Он отряхивал от снега валенки и полушубок в сенях седьмого барака, самого последнего в ряду, как вдруг вошел буковинец Георге Шерпе и сказал ему, что его вызывают в канцелярию, к капитану.

Митря вздрогнул. Сердце радостно забилось в груди.

— Верно, приказ о перемещении,— предположил Шерпе.

— А других тоже звали?

— Не слыхал.

— Наверно, это тот, что в санях приехал, здоровенный, словно печка!

— Я его не видал.

— Кто знает...— покачал головой Митря с внезапной тревогой.

Он надел баранью шапку, запахнул полушубок и снова вышел. Снег ярко поблескивал при заходящем солнце. Дойдя до канцелярии, Митря заметил, что тяжело дышит. Он постоял некоторое время в «калидоре», как называлась застекленная терраса при канцелярии. Слышны были голоса. Митря узнал баритон капитана Баранты, сибиряка-инвалида. У него была деревянная нога, которой он любил щеголять. Он всегда стучал ею в двери бараков, когда делал обход. Капитан носил огромные усы, которые с важностью подкручивал,— из-за них военнопленные румыны прозвали его «Буденным».

Дежурный подкидывал дрова в огромную печь, выходившую в другую комнату. Закрыв чугунную дверцу, он выпрямился и, казалось, удивился, что вошедший стоит и молчит.

— Меня вызвал капитан,— пояснил Кокор.

— Ага! Да.

Кокор продолжал стоять на месте.

— Входи, приятель... Если сам откроешь дверь, премного меня обяжешь.

Дежурный тоже был сибиряк, приехавший вместе с капитаном Барантой с самого Енисея. У сибиряка не было руки, вместо нее — протез с крючком. Этим крючком он закрыл дверцу печки, потом крючок исчез в длинном рукаве шинели. Приветливо улыбаясь, он вторично, движеньем здоровой руки, пригласил Митрю войти.

— Пожалуйста.

Митря вошел. Конечно, ничего плохого быть не могло: виноватым он себя ни в чем не чувствовал; но и время освобождения еще не подошло. «Буденный» оживленно что-то говорил своим

приятным голосом,— может быть, спрашивал о друзьях у того, кто сидел спиной к двери. «Буденный» стоял, другой сидел на деревянной табуретке, шапка и шуба были брошены рядом с ним.

Баранта стукнул протезом об пол и подмигнул, тот, другой, резко повернулся.

Митря тут же узнал его. Это был тот самый человек с белесыми бровями, что подобрал Флорю, а ему приказал становиться в колонну, тот самый, что похлопал его по спине и ласково улыбнулся среди дыма и крови его первого дня войны. Формы со знаками отличия на нем не было. Как приветствовать его, Митря не знал. Он пожал протянутую ему руку.

— Думитру Кокор? — спросил белобровый с той, знакомой улыбкой.

— Так точно.

— Я привез тебе весточку от твоего приятеля Кости Флори.

Он произнес: «Костафлоры».

Для Митри этот голос прозвучал словно музыка. Улыбка белобрового смягчила давнюю и неизбывную горечь, накопившуюся у него на душе.

— Ну как он, жив-здоров, все в порядке?

— Жив-здоров! В порядке.

Митря, растроганный, заморгал глазами:

— Я все время хотел узнать ваше имя, мы расстались так поспешно...

— Возможно,— улыбнулся белобровый,— я даже и не помню.

Капитан Баранта тоже радовался встрече, хотя толком и не понимал, о чем идет речь.

— Это наш доктор,— отрекомендовал он,— товарищ Остап Березов.

— Я только фельдшер, а не доктор,— заметил, улыбаясь, Остап.

— Ну, ты знаменитый врач, ведь ты мне ногу оперировал, как и многим другим, всех и не перечислить... Вот эту ногу, которой я отбиваю свои приказанья.

Он трижды ударил ногой об пол и посмотрел вокруг, расправляя усы.

Фельдшер Березов показал Митре на ногу Баранты:

— Видишь, Кокор, эту ногу? Неплохая обувь, даже бравая сибирская выправка не пострадала. И служит хорошо. Так вот, Кокор, такая же деревянная нога со стальными пружинами и у твоего друга Костафлоры. Давно меня просил Костафлора поинтересоваться, где ты находишься, разыскать тебя и привезти от тебя весточку. Когда я подобрал его, он говорил, что ты держал его на руках. Вижу и в твоих глазах такую же радость, как у него,

когда он о тебе говорит. Я сразу все понял, сразу догадался, что Костафлора наш товарищ, коммунист. Я старался разузнать, где ты находишься. Но нужно было выбрать время, чтобы завернуть на денек в эти места. Только сейчас мне выдался случай. Я выкроил два денька, чтобы добраться сюда, да два дня я кладу на обратный путь. Могу сегодня побыть здесь, чтобы порассказать о твоем друге, да и тебя порасспросить. Я скажу ему, что мы с тобой без переводчика беседовали. Он будет очень рад этому.

Капитан Баранта трижды стукнул деревянной ногой об пол.

— Разрешите и мне вставить слово. Я пойду похлопочу насчет самовара и всего прочего. А вы выкладывайте вести и новости, пока я не вернусь. Потом послушаем сводку. Кокор любит добрые вести.

— Хорошо! — одобрил фельдшер.— Это как раз по нраву Костафлоре, дружище Кокор,— продолжал белобровый, после того как они остались одни.— Что ты здоров телом, это я заметил, но на сердце у тебя щемит, вижу по глазам.

Митря вздохнул и потупил голову. Воспоминания переполняли его.

— Не унывай, Кокор, и жди, как тебе наказывает Костафлора. Он советует тебе перевестись отсюда, поехать туда, к нему, чтобы закончить ученье. Баранта тобой доволен. Об этом мы говорили, когда ты вошел. В твоих интересах поехать туда, куда тебя зовут. Подожди здесь до весны, а весной тебе придет приказ. Мы тебе поможем посмотреть и познакомиться со всем, что есть хорошего в нашем, социалистическом мире.

Митря кивнул головой в знак согласия, и в сердце у него затеплилась надежда.

Деревянная нога капитана трижды стукнула в дверь. Сибиряк, тот что находился в «калидоре», внес самовар. После него вошел другой русский со стаканами на подносе.

Митря улыбнулся белобровому:

— Три стакана могу выпить, а четвертый — нет, лопну. Хочу дожить до весны, доктор Березов!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

МИТРЯ СТРАДАЕТ ОТ НЕТЕРПЕНИЯ

В конце мая Митря Кокор встретился со своим другом Флорей в лагере для военнопленных, расположенном недалеко от Москвы, в нескольких часах езды на поезде. Румын там было мало, больше итальянцев и словаков. Место было похоже скорее на школу,

чем на лагерь. Дома, где жили пленные, были расположены в парке, за чертой города.

Была пора весеннего цветенья. Распускалась сирень, и в березовой роще начинали свою еще робкую песню соловьи. Все напоминало румынскую весну, только пришедшую с некоторым запозданием. Сиянье солнца было похоже на золотую пыль, и местные жители весело приветствовали друг друга, проходя по окраинной улице на работу.

— Военная страда! — заметил кузнец.— Ну, скоро уж она кончится.

— Этот соловей поет словно у нас дома,— прошептал Митря, и глаза его подернулись давней печалью.

Флоря рассмеялся.

— Ты даже не слышишь, что тебе говорят. Что с тобой? — Он взял его за правую руку и пристально посмотрел на него.— Совсем больным кажешься, похудел. Сядем на эту скамейку, на солнышке, поговорим немного. У нас часа два свободных.

Митря покорно опустился на скамью. Тут он посмотрел на протез Флори и вздрогнул.

Флоря заметил это и смущенно улыбнулся, стукнув деревянной ногой об землю.

— Наш «Буденный» стучит три раза,— сказал Митря, стараясь казаться веселым.— Так мы звали Баранту, капитана лагеря, за его усы.

— Спасибо Березову,— тихо пробормотал Флоря.

После долгой разлуки встреча была натянутой.

Некоторое время они молчали. Митря смотрел вокруг, на домик под красной черепицей, на цветущие рядом ирисы и нарциссы — фиолетовые ирисы, белые нарциссы.

— Ты давно здесь?

— Нет, только с весны. Я здесь отдыхаю. Ты тоскуешь по нашей весне?

Митря отрицательно покачал головой:

— Тоскую, да не по ней. Я понимаю, что время не подгонишь.

— Так о чем же? Все твоя старая забота?

Митря подтвердил кивком головы.

— Я тебе расскажу один случай, и ты лучше поймешь меня. Так вот, как мы условились с доктором Березовым, встретился я с ним в одном месте (я записал, как оно называется, в книжку); там мы сели на пароход и поплыли по московскому каналу.

— Здорово! Тебе было что посмотреть!

— И правда, повидал я много, и все мне понравилось. Я и говорю: раньше здесь ничего не было, и все, что видишь,— это дело человеческого разума. Там дальше, к северу, где прежде пшеница

не вызревала, я увидел новую пшеницу, скороспелую, как раз годную для короткого лета тех краев. Потом я видел села да села, построенные совсем недавно вдоль болот, где воду обуздали каналами. То тут, то там — пруды и защитные лесочки от бурь. Где была пустошь болотистая, теперь ширятся поля. А в прудах полно рыбы. Снова повторяю: много красивого в природе, но горы, озера, моря и леса испокон веков были красивы, а то, что человек создал умом своим и руками из пустыни, из болота, из ничего — то кажется мне лучше всего. Мир становится просторнее, бедняки страдают все меньше; земля все тучнеет и расцветает, не то что раньше. Правда, и в других странах напридумывали много такого, чего не было вчера, но лишь на муки и на погибель народу.

— Это, Митря, тебе Березов объяснял?

— И он мне объяснял, но еще больше меня научило свое же горе.

— А чего тебе так горевать, не понимаю. Скорее радоваться надо.

— Я-то горюю потому, что все об одном думаю: и у нас в Дрофах люди могли бы жить немножко получше, полегче, да только пустошь пустошью и остается... Так вот, как я тебе и говорил, везет меня Березов и объясняет все, совсем как агроном какой-нибудь...

— Эх, Митря, хороший человек Березов...

— Хороший, дельный человек. Всякий раз, как мы встречаемся, он хлопает меня по плечу, и это мне нравится. Повез меня Березов в огороднический колхоз, братец Флоря, от Москвы два-три перегона. Называется этот колхоз «Память Ильича». Видел я и другие такие коллективные хозяйства, посмотрел и этот. Рассада помидорная, перечная, огуречная под стеклом на больших грядах. Опять думаю: «Хорошее дело». Вижу клуб, где собираются огородники и огородницы, читают газеты, слушают радио, о политике толкуют. Тут я думаю: «А это еще лучше! Так бы и у нас на родине вывести земляков из темноты!» И вот прихожу в сад, а там два-три домика полны ребятишек. Несколько грудных, а больше лет так двух-трех, остальные постарше. Игрушек в комнате — куча, а в спальнях у малышей кровати чисто застелены. Только-только отобедали, и теперь три или четыре няньки укладывали их в постель. Наигрались они вволю, наелись досыта, а теперь малышам спать надо. Матери работают, и никакой им мороки. Опять думаю: «А у нас в Малу Сурпат — одно горе! Какие уж там игрушки, какая еда, какой сон!» Когда-то одного из моих братишек, который был бы теперь моим «старшим», свиньи разорвали: был ему годок от роду, лежал он в тени в корытце, а мать недалеко по делам отлучилась. Годовалого того братишку тоже Митрей звали,

в его память и меня Митрей нарекли. И я бы мог лежать в том корытце. Эх, друг ты мой, как увидел я этот дом для деревенских ребятишек, так меня и взяло за сердце, отошел я в сторону, не могу слез сдержать. Коровы, козы, птица выделены в отдельное хозяйство, для прокорма этих детей, а также и тех, кто уж не может работать,— старух и стариков. Все хорошо, все, что я видел, мне понравилось, но детей этих не могу я забыть. Так и мерещится мне брат мой Митря, который мог бы куда лучше меня быть, а вот нет его, погиб, словно какая букашка.

Кузнец молча выслушал весь рассказ. Потом спросил:

— Так ты об этом горюешь?

— И об этом и о другом.

— Эх, Митря, друг, сам ты себя изводишь.

— Может, и так. Березов говорил, будто бы есть у меня признаки желтухи.

— Да, ты немножко свихнулся с тех пор, как все здесь повидал. Знай, Митря, дружище, недалеко время, когда и у нас наведет порядок партия. Скоро войне конец. Разобьют советские люди немцев; может, и я поеду и вроде твоего сибиряка трижды стукну своей деревянной ногой о берлинскую мостовую. Свергнем хозяев, разделим землю между мужиками, прогоним эксплуататоров-предпринимателей, государство возьмет заводы в свои руки, и мы изготовим вам, пахарям, машины, разные орудия. Будем руководиться наукой и всеми новыми открытиями и создадим у себя тоже новое государство, такое, как здесь.

Митря вздохнул:

— Но когда же это будет?

— Эй, Митря, дружище, мне кажется, болезнь твоя называется нетерпеньем.

— Правда твоя, Флоря, сижу как на угольях. Боюсь, как бы не помереть раньше.

Кузнец хлопнул его по плечу:

— Мы еще поживем, все застанем. Ты видел в Москве Красную площадь?

— Видел.

— Ну, тогда знай — там будет самый большой парад после победы. А в Мавзолее Владимира Ильича был?

— И там был. Владимир Ильич словно живой лежит. И Кремль я видел, над ним красные звезды горят...

— Запасись, Митря, терпением,— перебил его кузнец.— Научись и ты быть спокойным, как эта земля, которой конца не видно, и учись тому, чего еще не знаешь, ради тех времен, которых ждешь.

— Ты прав,— вздохнул Митря,— буду учиться.

— Видишь ли, Митря,— продолжал кузнец после некоторого размышления,— я думал подождать с тем, что хотел тебе предложить. Однако вижу, время уже настало.

— А что предложить?

— Близится, Митря, и для нашей несчастной родины час освобождения. Демократия тогда возьмет власть. Все, что будет делаться и перестраиваться, нужно будет защищать, значит, нужна и новая народная армия.

— Я слышал о дивизии имени Тудора Владимиреску,— так и вскочил Митря.— Ты помоги, брат, устроить меня туда!

— Потерпи, Митря, потерпи, парень,— увещевал его кузнец.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

МЕЛЬНИК ГИЦЭ НУЖДАЕТСЯ В СОВЕТАХ БАРИНА

В Малу Сурпат у Гицэ Лунгу мельница молола жерновами, а крестьяне языками. Здесь сошлись разные люди не только из Малу Сурпат. Одни с мешками в телегах, другие с котомками за плечами. Эти последние, бедняки и вдовы, мало зерна принесли молоть, мало и слов осмеливались вставить в разговор. У кого же на телегах были мешки, брали иногда в оборот и самого мельника. Судачили, чтоб скоротать время и, может, кое-что о своих разузнать. Старались хоть что-нибудь вытянуть из Гицэ Лунгу, который нет-нет да бывал иногда в поместье Хаджиу. У господина Кристи было радио, а по радио болтали и такое и сякое про чертову политику. В Хаджиу было известно, что война у немцев идет хорошо и политика тоже.

Уж так хорошо — чтобы так было всегда и тем, кто в Берлине, и этим нашим, бухарестским, которые потянулись за ублюдком с усами, словно у майского жука. Видно только, гонят их русские назад и лупят так, что лишь искры летят. Господин Кристя будто бы говорит, что немцы-де сегодня отступают, чтобы еще крепче напасть завтра, что у них есть какие-то машины с ядовитым дымом.

Ну, этому пусть верит господин Кристя и те бухарестские, которые опустошили страну и против нашей воли погнали детей наших на бессмысленную гибель. Еще говорит Трехносый, будто немцы выдумали какие-то машины, что испускают лучи смерти. Кое-что и получше надумали: собирать здесь все, что у людей припасено из еды и питья, и увозить на поезде к себе. И одежу, и обстановку, и железо с крыш погрузили в Молдове в вагоны и утащили в Германию.

В ту пятницу, когда посудачили уже обо всем, Стойка Чернец, прозванный Рыжебородым (у него только-только начала седеть борода), обратился к мельнику:

— Эй, Гицэ, а что поделывает твой братишка Митря?

— Да я откуда знаю? Я от него никаких известий не получал.

— Я слыхал, Гицэ, будто пропал он там в степях.

— Все может быть. Не я его посылал.

Чернец засмеялся.

— Хочешь сказать, что он сам отправился, ради собственного удовольствия?

— И этого тоже не говорю. Если выпала ему судьба погибнуть, отслужим панихиду, как положено. Говорят, москали загнали немцев и наших в ледяную пустыню и держали там, чтобы все померли от голода и холода. А пробовали наши выбраться, так москали били по ним из пушек и не пускали. Говорят, там и погиб мой бедный брат. Съели его волки, только ноги одни оставили, потому были они в сапогах.

Разговор шел под навесом в самую полуденную жару. Все столпились в кучу и слушали. Волы жевали в упряжках; мельница глухо тарахтела.

— Что же теперь тебе делать, Гицэ Лунгу? — притворился опечаленным этот чертов Стойка Чернец.— Ведь тебе остался надел бедного Митри.

— Какой там надел? Клочок земли. Ничего он не стоит.

— Нет, стоит,— поддел его Чернец.— Вот ты-то не пошел на войну, а меньшой брат пошел и землей тебя наделил.

— Перво-наперво,— уклончиво ответил Гицэ,— перво-наперво, эта Митрина земля в залоге у барина.

— Как же так? Ты заложил, что ли?

— Так вышло, что барин удержал землю за долги Митри.

Чернец зло рассмеялся:

— Добрую сделку совершил бедный парень. Гнул спину столько лет без жалованья, без одежи и задолжал еще Кристе родительское наследство.

— Жалованье он получал.

— Да! Знаем мы. Его и кормили? Тоже знаем.

— Землю я выкупил,— поспешил добавить Гицэ.

— Это хорошо. Хоть что-то будет у парня, когда он вернется.

— Как же вернется, коли он погиб?

— Ну, это бабушка надвое сказала, Гицэ. Ведь говорили так и про других, а потом оказывалось, что они живы.

Стойка Чернец поднял свои колючие глаза, но тут же выражение его лица смягчилось, как только он увидел рядом Настасию. Девушка загорела и похудела, но по-прежнему носила в волосах

цветок. В ее карих глазах не было ни слезинки. Она твердо смотрела на собравшихся, подняв свою головку выше, чем обычно.

— Дядя Чернец,— сказала она,— пришла весточка, что Митря не погиб. Он жив-здоров, как я и ты.

— Тогда уже скорее — как ты. Ну, очень рад.

Мельник левой рукой почесал за ухом, а правой нащупывал стул, чтобы опереться.

— Хорошо, коли так,— пробурчал он себе под нос словно не своим голосом.— Откуда ты узнала, а? Писал он тебе, что ли? Ведь он теперь великий грамотей,— ухмыльнулся Гицэ.— Я и этому радуюсь.

— Да уж видно, как ты радуешься, Гицэ Лунгу,— подпустил шпильку Чернец.

— Так и запомни, что я радуюсь,— проговорил Гицэ.— Значит, он писал тебе?

— Не писал он мне,— ответила Настасия, не глядя на него.

Тогда вышла вперед чернобровая, раскрасневшаяся от солнца Уца Анинляска.

— Иди-ка ты, дорогая, домой! — подтолкнула она ее.— Дай я ему сама скажу.

Настасия ушла. Мельник мрачно смотрел ей вслед, стиснув зубы.

— Ну? — обратился он к Уце.— Чего молчишь? Говори.

— И скажу,— засмеялась Уца, показывая все свои зубы.— Только ты не смотри на меня так нежно, а то пропала моя головушка. Этой ночью как снег на голову свалился Динкэ Инэтеску. Погодите, не волнуйтесь...

Под навесом зашевелились.

— Погодите, не волнуйтесь. Наши мужики еще не возвращаются. Но ждать их уже недолго. Динкэ Инэтеску случай вышел. Большое сраженье было целых две недели. Москали прорвали фронт в одном месте, Уманью зовется, и погнали немцев. Они так побежали, что и не догонишь: вся Молдова полна зайцев. Немцы только приостановятся, чтобы нагрузить вагоны продуктами, и айда дальше от страху вовсю улепетывать. Среди этих беглецов были и наши — и Динкэ самый первый угодил домой. Пришел и ушел, даже начальство не пронюхало. Уж рада была Динкина Порумбица. Ведь не прожили и трех дней после свадьбы, как ушел молодой муж сложить свои косточки неведомо где. А вдруг явился. Назавтра в обед приходит Порумбица ко мне — ведь я ей тоже крестная — и все мне рассказывает. Кто погиб, кто жив остался. Жив Иримия Робу с хутора, и Санду Кэлутэру из Поарта Сатулуй, и Николае Григорицэ, полевой сторож, и другие, всех она мне перечислила, как говорил ей Динкэ. Жив, говорит, и Митря

Кокор, в плену он у москалей. Я тут же позвала свою другую крестницу и передала ей добрые вести, чтобы она пошла и вам сказала. Не погиб Митря. Он, слыхать, теперь уже унтер-офицер.

— Как? Ну, тогда это не он,— пробормотал мельник.— Голодранец в унтер-офицеры вышел, ну кто видал этакое?

— А ты поверь, красавец. Дилкэ знает, что говорит. Нету на свете и на русской земле другого такого Митри Кокора, на которого все радовались бы, даже Дидина. Мне всегда такие парни по нраву были, он один только и остался. Что же ты, Гицэ, и не улыбнешься?

— Улыбаюсь,— пробурчал мельник, спохватившись,— и радуюсь, ведь Митря мне брат родной.

Мельница остановилась. Мужчины и женщины разошлись. Нагружали мешки на телеги, взваливали котомки на плечи, собирались в дорогу.

Мельник, задумавшись и что-то бормоча, стоял под навесом; он покачивал головой, считал на пальцах и смотрел пристально вдаль воспаленными, красными глазами.

— Хм-хм! — сухо покашливал он.— Кто это? Куда идешь?

Это был механик, бородатый седой немец с красным носом. Он еле волочил ноги по двору и обмахивался соломенной шляпой. На нем был широченный парусиновый костюм, весь в масляных пятнах. Когда-то он жил в именье Трехносого. Потом перешел на мельницу, но не поладил с Гицэ Лунгу, как не ладил и с барином.

— Недоносок ты, немчура...— пробурчал Лунгу.— Эй, Франц, я тебя спрашиваю, куда ты идешь?

— Немножко иду в корчма...— ответил Франц, продолжая обмахиваться шляпой.— Я не Франц, я — герр Франц.

— Брось, не гордись, что ты какой-то там герр. Слыхал небось, как русские лупят немцев.

— Это не мой дела. Я прошу называть меня герр Франц.

— Хорошо, хорошо. Ты отпирал ящик со вторым гарнцевым сбором?

— Нет. Открою, когда будем вместе. Я повесил от себя замок с секрет. Я не доверяй, когда пошел в корчма, что ты не взял больше, чем я.

— Вот чертово отродье,— недовольно пробурчал Гицэ.— И с этим морока. Куда ни повернись — везде жулики. Я вкладываю капитал, машины, запасные части, а у него одни лохмотья. Кроме жалованья, я ему еще и из второго сбора выделяю. Правда, он все это дело и оборудовал, все умеет делать, дьявол, да ведь за мой счет. Смеется, когда говорю, что делить второй сбор пополам неправильно. Говорит, в воровстве такой закон — все пополам! Хотя бы он копил деньги, а то все уходит у него сквозь пальцы... Надо

у себя здесь завести корчму. Зачем его будут обирать другие, когда я сам могу это делать? Ишь ты, повесил свой замок с секретом!

— О чем это ты?

Это была жена его Станка.

— Про немца говорю, черт бы его побрал! Навесил замок с секретом на второй гарнцевый сбор.

— Так тебе, Гицэ, и надо, раз водишься ты со всякими проходимцами. Пойди-ка, прошу тебя, полюбуйся еще на другое; за этим я и вышла тебя позвать. Послушай-ка мою проклятую сестрицу, как она мне все время перечит. Я ей говорю, что парень погиб, а она смеется.

Гицэ надул губы, сложив их пятачком. Даже позеленел от злости.

— Что же делать? — заскрежетал он гнилыми зубами.— Я говорил с батюшкой Нае. Не смеет он дать добрый совет бедной сиротинке. Требует сунуть ему в лапы пять сотенных за молитвы да поклоны пречистой. Когда он прочитает, мол, известные ему молитвы, тогда заскучает девчонка о монастыре. Как будто бы я баба, чтобы так меня обдуривать.

— Гицэ, Гицэ,— запричитала жена, перекрестившись при этом,— наши дочки только помянули Настасии о земных поклонах в Цигэнешть, а она так и набросилась на них и по губам нашлепала.

Мельник хлопнул себя по лбу и вытаращил глаза на Станку.

— Черт... ну, пойду расправлюсь с ней.

Жена остановила его:

— Ради Христа, не ходи, Гицэ, не бей ее, Гицэ! Она ведь сумасшедшая, выскочит в окошко и побежит вопить по селу, что хотели мы ее убить, чтобы забрать ее приданое.

Станка уговаривала его, пока он не утихомирился.

— Тогда чего ты от меня хочешь? — запыхтел мельник.

— Уж лучше добром, лучше лаской, Гицэ.

— Ого-го! — скривился Гицэ.— Пойду-ка улыбнусь ей, словно барыне.

— Погоди, Гицэ, не теряй головы, Гицэ. Примочи немножко глаза холодной водой. Постой немного тут да иди обедать! Только не задерживайся, чтобы щи не простыли.

Гицэ Лунгу направился к своей берлоге в пристройке возле мельницы.

— Я успокоюсь, ты не бойся. Выпью стопку и успокоюсь. Только знай, жена, мой меньшой брат не пропал. Анниняска известье принесла.

— Господи боже ты мой,— запричитала женщина, схватившись за голову.

— Замолчи, теперь уж я тебе приказываю успокоиться. Все-таки... может, известие и неправильное... Может, только говорят... Да смилостивится господь бог над нами и над покоем нашим!

Станка захныкала у него за спиной на пороге каморки:

— Налей и мне, Гицэ. Под ложечкой сосет, тошнит от всех этих напастей.

— Убирайся отсюда,— повернулся мельник, надувшись.— Жена такой особы, как я... Не подходяще. Уж лучше я выпью две стопки. Ну, ладно, иди, на и тебе одну,— смягчился он, видя ее слезы.— Знаешь что, Станка? — продолжал мельник, просветлев после второго стаканчика.— Принеси-ка мне щи сюда. Не хочу я смотреть на нее, как она кочевряжится. Убить ее хочется, глотку перегрызть; сам не знаю, что мне в голову лезет! Ну, иди. Отсюда можно и за немцем последить: посмотрю, уж не подобрал ли он ключ к моему замку. Такой и ограбит и по миру пустит. Его бес пьянства подстрекает... Думается, никогда люди не были такими подлыми, как теперь. Сестра родная продает, потому подошло ей время замуж выскочить. Вырастишь родного братца, а потом он возвращается да еще чего-то требует. Скажи ты мне, что это за война, если ты пошел воевать и приходишь домой, как с ярмарки? Я спрошу Кристю: богатый знает больше бедняка; потому он и богат, что умен. Барину больше известно.

Несмотря на все тревоги этого дня, Лунгу не забыл о своем намерении повидать барина. Через несколько дней он появился в Хаджиу и попросил разрешения повидать «моего барина».

Его барин, как обычно, находился на вышке, с подзорной трубой и ружьем. Он стал еще толще и угрюмей.

Гицэ Лунгу осторожно положил шляпу на стул и смиренно поклонился.

— Что с тобой, Гицэ? Ты, я вижу, купил новую шляпу.

— Что ж,—захихикал Гицэ,—лысому нужна скуфейка. Только страсть какая дорогая, барин.

— Такая и полагается тебе, Гицэ, денег у тебя хватит. Ну что, Гицэ,— верно, пришел спросить, как идет война?..

— Затем и пришел, барин. Других дел промеж нас нет, все кончили.

Трехносый пристально посмотрел на него, покачивая головой.

— Плохи дела, Гицэ. Если не воспрянет немец и не придумает чего-нибудь, чтобы растерзать, размотать, забросить русских к самым звездам, тогда худо будет.

— Почему, барин? — забормотал перетрусивший мельник.

— Эх, Гицэ, ты до сих пор, видно, не понял, что главная для нас опасность — большевики.

— Почему, барин? Они там, а мы здесь.

— Дурак ты, Гицэ, если так думаешь! Ведь раз они идут за немцем по пятам, то завтра мы их увидим здесь, у себя. Тогда и у нас в стране поднимется голытьба и нищие, как это было у них. Боюсь революции, Гицэ, вот оно что!

— Может, еще не так страшно, барин,— испуганно пробормотал Гицэ.— Я вижу, наши люди рады были бы миру. Никакого восстания им больше не нужно, им бы, несчастным, только дни свои дотянуть.

— Разве ты не понимаешь, Гицэ, что их другие подстрекают? У большевиков ведь революция — это профессия. Если мы не возьмем дела в свои руки и не затянем подпруги, плохо может получиться.

— А вы затяните,— согласился Гицэ Лунгу.

— На то есть правительство. У правительства сила, правительство должно быть настороже.

— А вы, барин, говорите, что идут на нас эти...

— Говорю, идут. Мы просим мира: повинную голову меч не сечет.

— Это так,— снова согласился мельник.

— Так-то оно так, да как сделать? Нужна сноровка, нужны люди с головой, чтобы вести переговоры.

— Найдутся и такие,— отозвался Гицэ.— Пусть нас оставят с миром, не мешаются в наши дела.

— Вот именно! — выпучив глаза, подтвердил Трехносый.

— Пусть и меня оставят в покое,— продолжал Гицэ,— у меня своих забот полон рот. Вот за этим я и пришел: попросить совета у сведущего человека. Девчонка, женина сестра, устраивает мне оппозицию.

Господин Кристя засмеялся:

— Это та, которую ты хотел постричь в монашки, чтоб тебе земля осталась?

— Не затем, барин...— оправдывался мельник, несколько пристыженный.

— Нет, затем. Да это и правильно, ведь кому, как не тебе, знать, что делать с ее землей.

Мельник молча проглотил слюну, уставив на помещика свои больные глаза.

— Слыхать и про брата моего Митрю, греховодника, что возвращается он.

— А ведь болтали, что он погиб.

— Не погиб. Это так только говорили. А теперь оттуда весточка пришла.

Мельник был весь внимание, ожидая совета от человека, который был поумнее его, «потому что сумел накопить больше».

— В конце концов, если он и придет, что тревожиться? Такой, как он, будет рад, что хоть шкуру сохранил; будет рад и куску хлеба от нас. Разве я не здесь? Разве у нас нет властей? Нет жандармов? Он в наших руках.

— Они с войны приходят отчаянные, барин.

— Знаю, об этом я тебе с самого начала говорил...

Что он говорил с самого начала? Говорил что-то о переговорах и ловких людях. Гицэ Лунгу ничего толком не понял и смущенно улыбался.

— Я, барин, боюсь, как бы не вернулся он калекой. Засядет у нас на печи, а ты корми его. Уж лучше бы убили, чем этак.

— Послушай, Гицэ, ждал ты до сих пор, подожди еще немножко,— посоветовал помещик, которому стал надоедать этот разговор.— Разберешься, а там и примешь меры, смотря по обстоятельствам.

Гицэ Лунгу почесал за ухом, уставившись в угол, куда смотрел и помещик. Что может там храниться? Деньги? Деньги в банке в Бухаресте. Дурак он, что ли, чтобы держать их в Хаджиу? Только мельники, которым ума не хватает, держат пачки банкнот в Малу Сурпат. Но и мельники уж не такие простаки, как о них думают. Где эти пачки спрятаны, сам черт не найдет.

— Понял?

— Понял,— вздохнул мельник.— Позвольте мне еще как-нибудь зайти...

— Заходи,— пригласил боярин Кристя.

Его «заходи» прозвучало менее равнодушно, чем в другие разы, и Гицэ обратил на это внимание.

«Значит, и у него есть во мне нужда»,— подумал он, спускаясь с вышки и заботливо поправляя на голове новую шляпу.

Случилось так, что господин Кристя в тот же самый вечер послал верхового объездчика за Гицэ, чтобы тот как можно скорее пришел в именье. Были позваны и другие: староста и писарь, поп и учитель, начальник жандармского участка и разные деревенские заправилы, чтобы узнали они о добрых вестях, переданных по радио.

Гицэ задержался, пока натягивал на себя белье, снятое из-за августовской жары, пока старательно одевался, собираясь к Трехносому и раздумывая, что это за вести могут быть. Добрые ли вести? Может, что-нибудь стало известно о Митре? Только из-за этого не стал бы Кристя вызывать столько людей. А может, хочет сообщить, что немцы наконец взялись за дело по-настоящему — пустили ядовитый дым или лучи смерти.

Он бежал, гулко топоча каблуками, по тихим, молчаливым улицам села. Перед входом в Хаджиу он услышал впереди себя,

среди высокой кукурузы, громкий разговор. Гицэ заторопился еще пуще и наткнулся на тех, что были вызваны в именье.

— Вы были там? Что случилось?

— Случилось, что заключили перемирие с «советами». Теперь все своими делами будем заниматься, избавимся от немцев.

В темноте мельник пытался узнать, кто это говорит.

— Это волостной старшина,— шепнул ему на ухо поп Нае.

— И мне бы сходить туда,— сказал Гицэ.

— Не ходи,— посоветовал ему начальник жандармского участка Данцин.— Господин Кристя устал, выпил немножко с нами и лег спать. Завтра встанет, чтобы принять меры.

— Какие меры?

— Меры, надлежащие при таком событии. Ведь мы должны рассказать людям, объяснить, посоветовать...

— Верно. Завтра зайду к нему.

Поп Нае толкнул его локтем и шепнул:

— Что на него смотреть? Сам на себя смотри. Русские идут.

— Ну и что, если идут? — пробормотал Гицэ.

— Ничего, только я тебе говорю, чтоб ты все обдумал. Это тебе мой совет.

Они возвращались в Малу Сурпат, разговаривая о всяческих мелочах под вечными звездами.

Не было и шести часов утра, когда боярин Кристя, серьезный и суровый, уже сидел на низеньких рессорных дрожках, сдерживая вожжами рысаков. Медленно объехал он свое именье. Все люди были на местах. Таков был его приказ: каждый при своем деле! Потом он быстро покатил в Дрофы. Там он рассердился, увидев, что с работами запоздали. Только-только запрягли волов и повели их к плугам, оставленным на бороздах.

Тригля издалека увидел Трехносого и ожидал у землянки посреди дороги, около стана. Голова его была непокрыта, и легкий утренний ветерок трепал его седые волосы. В правой руке он держал обрывок цепи.

— Что за цепь? — спросил Трехносый, резко останавливая рысаков.

— Да так, барин; просто цепь, наша...

Кристя, повысив голос, громко спросил:

— Слышали известие о мире?

— Слыхали...

— Когда? Как? — изумился помещик.

— Откуда мне знать? Пришел кто-то в полночь. В селе был. И нам сказал.

— Ну и что скажете? Рады?

— Что ж, барин. Сразу не скажешь, хорошо или плохо. Мы, бедняки,— продолжал Тригля, забросив обрывок цепи,— подождем, посмотрим, что дальше будет.

Когда боярин уехал, старуха Кица высунула из-под навеса свою совиную голову и поглядела вслед дрожкам.

— Что случилось, Тригля? — крикнула она.— Только-только погода казалась хорошей. А теперь, видать, скисла!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
НАСТАСИЯ ПУСКАЕТСЯ В ТАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Однажды утром восьмилетняя Мица, дочка Чудосу, живая, непоседливая и быстрая, словно козочка, прибежала на мельницу спросить, «когда запустят мотор, чтобы и тятя пришел молоть», и минутку-другую подурачилась с Настасией, которая пряла, сидя на солнышке позади дома, там, где не было ветра.

Чудосу жил через плетень от Апиняски. Жена его, Мария, на что уж была бойка, а дочка Мица ее перещеголяла, как бы в подтверждение старинной румынской пословицы, что старая коза через стол перепрыгнет, а молодая козочка и через дом перемахнет.

— Брысь отсюда, Мица,— отмахнулась от нее Настасия,— оставь меня и так тошно, глаза бы мои не смотрели...

— А вот пойди к Уце Апиняске,— отвечала девочка,— тогда и повеселеешь.

И козочка пустилась прочь со всех ног: вот была здесь, вот показалась на краю села, вот юркнула в какой-то сад и исчезла.

Настасия бросила веретено, посмотрела, что делает Станка у растопленной печи, на ходу повязала красную косынку и побежала вслед за Мицей.

Она знала, что крестная Уца уже два дня как больна. Ее мучил застарелый ревматизм. Она едва передвигалась, полчаса шла из комнаты до кухни, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. А все больше лежала в постели под одеялом. К ней то и дело заглядывали соседки и крестницы, чтобы помочь ей.

Настасия торопливо вбежала, вся раскрасневшись, грудь ее подымалась высоко, она едва переводила дух.

— Ух, крестная Уца, бежала сломя голову. Чудосову девчонку обогнала... Что случилось?

Крестная уже сидела на краю постели. Она слышала, как прибежала девушка, как хлопнула дощатой калиткой, торопливыми шагами пересекла двор, дернула ручку наружной двери.

— Добрые вести, дитятко,— ответила она, улыбаясь.

— От Митри?

— От него. Только скажи мне, Настасия, дорогая, почему так случилось, что эта радость меня опечалила?

— Не понимаю, крестная, ты меня пугаешь.

— Не пугайся, моя ласточка. Есть письмецо, сейчас тебе отдам. Его привез Динкэ, муж Порумбицы. Его послало начальство с письмами в Бухарест. А он, как только сдал письма полковнице и капитанше, сразу же на вокзал, на поезд и приехал к жене, как и в прошлый раз, хотя бы на ночку. Он служит в полку по соседству с частью твоего Митри. Час тому назад Порумбица принесла мне письмецо. Прочитала я, кликнула с порога Чудосову Мицу, ведь она тоже моя крестница. Беги, говорю, Мица, приведи ко мне нашу Настасию единым духом. Видишь, вот письмо.

Настасия смотрела во все глаза, думая увидеть письмо величиной с Евангелие. Крестная Уца протянула же ей маленькую бумажку, сложенную вчетверо.

Девушка, дрожа, развернула ее: бумага жгла ей пальцы. В «письме» только и было написано:

«Крестная Аниняска.

Уповаю на твою милость и прошу тебя привезти Настасию немедленно в Сибиу».

— Не понимаю,— прошептала Настасия, вся как-то увянув и пристально глядя на Аниняску.

— Прочти еще разок.

— Читаю. Почему он называет тебя крестной? Ведь ты его не крестила!

— Крестить не крестила, но поженю вас я, сообща с моим братом Маноле Ропиору.

Настасия зарделась до самых кончиков ушей. Она поцеловала Аниняске руку и снова уткнулась в записку, которую держала в левой руке.

— Почему он не приезжает сюда и почему мне немедленно ехать в Сибиу?

— Твоя правда, ласточка, я-то тебе не сказала, что Динкэ приехал из Сибиу только потому, что его послал начальник. Митре же нельзя уехать: служба не позволяет. А «немедленно» приехать просит он потому, что долго там они не пробудут, уйдут дальше. Двинутся войска догонять немцев, отправится и дивизия Тудора Владимиреску. Ну как, поняла? Я лежала, ласточка, и все думала. А тебе когда и подумать? Ты все с рыву, с маху...

— Правда, крестная,— смутилась Настасия, и на глаза у нее навернулись слезы.— Только почему ты говоришь, что эта радость печалит тебя?

— Потому что я больна, ласточка, и не могу двигаться. Будь проклят этот ревматизм во веки веков, пропади он пропадом, чтобы не мучились люди. Не мог меня схватить зимой или прошлой осенью, когда не нужно было никуда ехать.

— Ой, крестная, горюшко мое! Что же мне делать? Ведь Гицэ и не подумает, чтобы проводить меня. Гицэ на меня смотрит волком, словно разбойник какой; его бы воля, так и разорвал бы меня на части. Он готов руки лишиться, лишь бы брат его не вернулся.

— Отсохли бы у него руки! — вздохнула Аннияска.

— А сестра готова меня, крестная, ядовитыми грибами извести.

— Самой бы ей отравиться,— снова вздохнула Уца.

— Деньги у меня есть, крестная, я отложила. Только как я без тебя поеду?

— Ничего, доедешь.

Аннияска притянула ее к себе и вытерла ей слезы ладонью.

— Одной ехать?

— Одна поедешь. Там вы будете вдвоем. А потом ты вернешься. До города отвезет тебя мой брат Рошиору, ваш крестный. Ведь брат мой — вдовец, так что никто ничего не узнает. Сядешь ты в поезд и поедешь. Где, скажут, Настасия? Нет ее. И Аннияска не знает. Никто ее не видал. Если жива — вернется! А ты будешь далеко, унесут тебя крылья любви. Вот так, милая. Готовься в путь. Вечером Маноле отвезет тебя к поезду. Не тревожься. Ведь только от Бухареста много народу едет. Да найдутся и там добрые люди, которые помогут тебе. Только ты получше схорони деньги под подкладку. Я приготовлю корзинку с едой. Ты Митрю и от меня поцелуй.

— Обязательно, крестная,— поспешила заверить ее Настасия.

Она опустилась на колени и поцеловала ей руки, обливая их слезами.

Весь этот день девушка была сама не своя, не находя себе места. Вечером она исчезла с мельницы, словно тень. Уехала.

Только через день узнали об этом на селе. Всю ночь и целый день во вторник Гицэ и Станка сохраняли в тайне исчезновение Настасии. В среду мельник отправился к жандармам. Тогда-то, после первых расследований унтер-офицера Данциша, и пошли слухи, разливаясь, словно река Лиса в половодье.

Когда Гицэ Лунгу вернулся на мельницу, Станка угостила его вместе с обедом свежей новостью, что сестра ее Настасия будто бы утопилась в колодце.

Мельник почесал за ухом и медленно покачал головой, глядя в темный угол, где затаилось зернышко страха. Он скривился:

— Нехорошо, Станка.

— Почему? Ты же ни в чем не виноват.

— Я-то знаю, что не виноват,— пробормотал он, не глядя на нее.— Кто тебе сказал про колодец?

— От людей слыхала. Приходили сюда, оставили мешки.

— А они откуда знают? Видели они, что ли? Уж не из нашего ли колодца они ее вытащили?

— Что ты, Гицэ? Говорят, от людей слыхали. А что с ним, с колодцем?

— Ничего. Просто так спрашиваю. А ты что знаешь? — повернулся он к ней, и глаза его налились кровью.

— Батюшки! — вскрикнула она, всплеснув руками.— Теперь только я поняла! Вставай, бросай обед! Беги посмотри! Пошарь багром в колодце. Ишь, барыня, что удумала. Господи боже мой, дева пречистая, сгореть бы ей в аду!

Мельник надулся, он как-то весь ощетинился.

— Это ты ее столкнула, Станка? — закричал он, замахиваясь на нее рукой.

— Что ты болтаешь? — Она так и застыла, уставившись на мужа. Гицэ ухмыльнулся.

— Я-то ведь не такой дурак! К себе в колодец?..

— Ой, Гицэ, что ты говоришь? Я тоже не дура. Коли все так, как говорят, то испоганила она нам колодец.

Она пошла вслед за мельником. Он, пыхтя, достал багор.

Присоединились еще два крестьянина. Они сбросили с плеч мешки и подбежали к колодцу, чтобы свесить над срубом свои лохматые головы и посмотреть, что там такое в глубине. После мельника они тоже пошарили багром. Ничего не было. Только время потеряли.

Гицэ Лунгу, весь в поту, отошел в сторону. Он перекрестился, возведя глаза ввысь. Только сейчас он увидел ясное небо начинающейся долгой осени. На мгновенье он успокоился.

Но зернышко страха из темного угла проникло в Гицэ и начало расти. Если свояченицы проклятой нет в колодце у мельницы, тогда она в другом месте. Покончила с собой, безумная девка, чтобы вся вина пала на него. Отчаянная ведь, чего только не взбредет ей на ум!

Гицэ боялся взглянуть на людей. Ему казалось, они подозрительно смотрят на него.

Он пошел в дом и доел свой обед. Жена как будто немного успокоилась.

— Видишь, нет ничего!

— Что я видел? Ничего не видел. Может, она в другом колодце. Я и то думаю, почему ей обязательно в колодце быть?

— И я то же говорю, Гицэ. Откуда тебе взбрело в голову, что она в колодце?

— Мне взбрело?

— Тебе, а кому же еще? Почему в колодце? Может, она в омуте, в Лисе. Или скатилась в обрыв у Бобу, где такая трясина, что и гнедую кобылу попа Нае засосало по самые уши.

Мельник нерешительно встал.

— Хотел я тебя поколотить, да вижу, сил моих нету — жалко тебя. Пойду снова к жандармам. Пусть они ищут, расследуют, выясняют, отведут от нас эту новую беду.

Станка осталась дома, ругаясь и хныча. Гицэ же зашагал в село вдоль телефонной линии, на проводах которой сидели ласточки, готовясь к отлету. Они сидели одна около другой, словно жемчужинки, до самого горизонта. Другие, щебеча, стаями кружились в высоте.

«Им что...— вздохнул Гицэ и мысленно обругал их, как будто они знали о происшествии с этой сумасшедшей девчонкой.— Кто знает? Может, она и не погибла, а пошла по белу свету искать своего Митрю. Что-то не верится, чтобы нашла. Да где же ей разыскать его? А может, как-нибудь дошло известие, что он убит, вот она, обезумев, и отправилась куда глаза глядят. А может, не то и не другое. Вскружили ей голову, и сбежала она с кем-нибудь в соседнее село. Или подхватили ее в грузовик отступающие немцы и увезли с собой. Они это делают; им что! Кто им будет сопротивляться? Возьмут и застрелят из пулемета... Лихо достается и немцам этим: травят их русские, словно волков. Да и наши на них поднялись. Через горы бегут, степью бегут; правда, здесь их еще не видали. Ну, так как же быть? Где она затаилась, назло нам? Чтобы люди косились... Вот почему те двое, что были у колодца, копались и в мусоре около мельницы... Дескать, удавили мы ее и закопали там. Не догадался я тогда оборвать их: «С кем, вы думаете, дело имеете, а? Эй вы, голытьба, Гицэ Лунгу не способен на этакое!»

Да и вот эти, что проходят мимо... Поздороваться поздоровались, но в глаза не смотрят. Бабы собираются у калиток, поглядывают на меня искоса, все перешептываются. А обернись, так увидишь: головой на тебя кивают. Язычок у них такой — и искусает и обдерет, получше, чем волчьи зубы».

На жандармском участке унтер-офицера Данципа не оказалось. В примэрии тоже не было. Вместе с людьми он отправился на поиски.

Гицэ напал на его след, нашел Данципа. Он то тут, то там забрасывал невод в омуты Лисы. До сих пор ничего не нашли. Данцип пожал плечами.

— Нету, Лупгу; нет и нет. Всюду обыскали. Аннияска тут приходила. Она видела девчонку во вторник утром. Ты говоришь, во вторник ночью она дома не ночевала? Какой вывод можем сделать, кроме того, что она исчезла? Ты подал мне заявленье, я делаю заключенье. Подождем. Попомни мое слово, она вернется.

— И это может быть...— вздохнул Гицэ.— После того как задала она мне такого жару — по правде скажу, Данцип, что уж если сбежала, то и к лучшему. Прошу тебя, пошли письмо в монастырь Цигэнешть. Может, она там. Тогда бы я был спокоен. Не по себе мне от всей этой истории.

— И мне тоже. То одни, то другие намекают, дескать, тут преступленье.

— Знаешь, Данцип, в таких делах всегда бабы виноваты. Вот гляди, какую бучу подняла эта девчонка. А какие небылицы распустили по селу бабы о почтенных людях. Припомни ту, что остригла силача Самсона, когда тот спал, и выдала его филистимлянам? Куда ни повернись, куда ни посмотри, везде из-за этих баб брань и поношение...

Гицэ, казалось, успокоился и был не прочь поговорить. Однако Данцип был с ним осторожен. Он бросил на него взгляд исподтишка, и мельник почувствовал, как внутри вновь шевельнулось зернышко страха.

Жандарм притворно улыбнулся. Гицэ понял, что неприятности еще не кончились.

Пятница, суббота, воскресенье; огонь утих, но не потух. В золе еще поблескивали искры. Нужны были кузнечные мехи, чтобы опять поднялось пламя, но мехов не было. В понедельник начал моросить мелкий, пронизывающий сентябрьский дождик. Мужики, промокшие до костей, возвращались домой с резки кукурузы, женщины ругались по дворам; малыши путались у них под ногами, и они шлепали их и гнали домой. Скользя по грязи, жены помогали мужьям разгружать початки. Платки их сползали на затылок, и женщины так и сыпали бранью направо и налево. Кукурузы уродилось мало, да и та ожидала теперь под дождем, когда придет в голову Трехносому делить ее. Крестьяне говорили, будто бы зашла речь о новом порядке в работе. Вместо трех частей помещику и двух крестьянину, отдавать, мол, крестьянину четыре, а помещику одну: хватит мироеду и этого. Теперь, после перемирия с русскими, земля, мол, если послушать людей, что сторону народа держат, должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, а права мироеда надо урезать. Поэтому все подбивали друг друга забрать

разом кукурузу без разрешенья барина, оставив ему, сколько сами сочтут справедливым. И сделали бы, пожалуй, так, но побаивались Данцина, уж очень ревностного к службе.

В понедельник ночью пошел дождь, лил он и во вторник. С юга, застилая небо, тянулись серые тучи, клубясь над Дрофами. Тоска и мокредь нависли над землей.

Во вторник к вечеру Анняска услышала стук в дверь и вздрогнула. Она боялась грабителей и сидела запершись. Потом ей послышался жалобный голос. Кряхтя, поднялась она и поспешила открыть дверь. Может, Настасия! И правда, это была Настасия, с большим мешком, накинутым, как башлык, на голову и плечи, в подоткнутой юбке, в постолах, полных грязи.

— Это ты?

— Я, крестная. Слава богу, добралась. В поле грязь и вода, думала, что не дойду.

— Хорошо съездила?

— Хорошо, крестная, только умаялась — спасенья нет.

— Рада?

— Рада. Митрю видела. Побыла с ним немножко. Он готовится к отправке.

— Где вы встретились-то?

— У него на квартире. Он один живет. Комната у него хорошая. Он унтер-офицер, крестная. Только худой он. Желтуха у него была; от усталости это.

Они вошли, заперлись. Занавесили окна. Свет шел только от печки. Настасия торопливо сбросила с себя всю одежду. Уца Анняска вынула из сундука сухую смену, завернула девушку в кожух и, закутанную, усадила на низенькую табуретку поближе к огню.

— Вот так, ласточка моя, согревайся и рассказывай. Рассказывай, а я соберу тебе чего-нибудь поесть.

— Я есть не хочу.

— Ну-ну, тебе нужно сил набраться, чтобы рассказывать.

— Нечего мне рассказывать, нечего говорить. Видела я его, вот и все.

— А от меня поцеловала?

— Ой, крестная, забыла.

Она засмеялась и поправила волосы на виске. Под платком за левым ухом еще виднелся увядший цветок герани, оставшийся от того часа, который она еще так страстно переживала.

— Говоришь, он болен, что ли?

— Да. Но сказал, что теперь прошло.

— Легко, ласточка, не проходит. Прошло, когда тебя увидел. Чтобы по-настоящему выздороветь, ему нужно давать печен-

ку от черной телушки трижды в неделю и настойку зверобоя три раза в день. Можно и от белой телушки, только была бы печенка.

— Я знаю, крестная. Да разве во время войны достанешь то, что надо? Он говорил, ему полегчало теперь. Врачи хотят послать его в госпиталь. Да он не хочет! «Выполним раньше свой долг,— говорит.— Пойдем вперед. Как выполним, тогда, мол, вернусь к себе в Малу Сурнат; нужно мне там счеты свести»,— говорит.

Аниниска покачала головой, пристально глядя в огонь. Она прошептала:

— Увидеть бы его сначала здесь здоровым да свадьбу сыграть. А больше ничего мне не скажешь?

— Нет, больше ничего.

Крестная взглянула на нее исподтишка. Настасия опустила веки. Черные, словно пиявки, брови Уцы пугали ее.

— Народу было в поезде — иголке негде упасть. Чуть богу душу не отдала. Все же нашлось мне местечко.

— Это, девонька, ты оставь. Уехала, приехала — ну и все. Теперь скажи, согрелась ли ты? Хорошо себя чувствуешь?

— Да, крестная.

— Перееши эту ночь здесь. Подумала ты, что завтра нужно идти на мельницу?

— Не думала, но пойду, делать нечего.

— Ты знаешь, крестница, какая тут кутерьма поднялась после твоего отъезда? Розыски были, искали тебя по колодцам, в омутах Лисы. Гицэ Лунгу совсем раскис. Все село их подозревало: его и твою сестру.

Девушка злорадно засмеялась, показав белые зубки.

— Митря, когда узнал, как я уехала, сразу подумал, что быть на селе суматохе. Он мне говорил, что нехорошо будет, если узнают в селе о нашей встрече; как бы из-за этого не стали на меня наговаривать.

— Понимаю.

— Он советовал сказать, что ездила, мол, в Бухарест разузнать про него как невеста. Узнать, жив он или убит и где находится. Что была, мол, в штабе дивизии. Не знаю, какая улица — забыла, как он говорил. Узнала, мол, я, что он жив, а тогда и вернулась.

Аниниска, не сводя с нее глаз, одобрила:

— Так оно лучше будет.

Они все говорили и говорили и так засиделись допоздна. Уца уложила крестницу, хорошенько закутала ее и дождалась, пока та заснула. Когда пропели полуночные петухи, Уца встала, неслышно подошла и наклонилась послушать, как дышит девушка.

Рано утром крестная оделась получше. Дождь еще лил. Она оставила Настасию спящей, заперла ее одну в доме и пошла в село. Через полчаса она привела Данциша.

Девушка умылась, причесалась и поправляла на себе высохшее у печки платье.

Увидев жандарма, она испугалась. Уца Анипяска сделала ей знак ничего не бояться. Данциш поздоровался, однако смотрел сурово.

— Где это ты была, Настасия?

Девушка слегка повернула голову, чуть прищурив глаза. Как это он с ней разговаривает? Ишь какой! А ведь он и чином ниже Митри.

Она смело откликнулась:

— Что-то не расслышала, как вы сказали.

Анипяска от удивления чуть даже не перекрестилась. Но только прикрыла рот ладонью, чтобы не прыснуть со смеху. Встретив взгляд Данциша, она подмигнула ему. Данциш ответил тем же. Это был пройдоха с берегов Амарадии. Его братья продавали овощи на улицах Бухареста.

— Где ты была, барышня Настасия?

— Да так, в Бухаресте, узнавала кое о чем.

Вмешалась Анипяска:

— Я уже говорила господину жандарму.

Девушка приободрилась. Хотела сказать все, как советовал ей Митря. Но жандарм остановил ее:

— Прошу, прошу — больше не надо. Я все понимаю. Но ты неразумно поступила, барышня. Вдруг исчезнуть так неожиданно, не известив никого! Я уж думал, ты с отчаянья убежала или еще что похуже задумала. Искал тебя в колодцах и в Лисе. Писал письмо в Цигэнешть.

Девушка удивленно смотрела своими большими, невинными глазами. Снова вмешалась Анипяска:

— После, когда Митря отслужит свою службу и вернется, мы их поженим — я с моим братом Маноле Рошпору.

Данциш сделал вид, что очень рад:

— Прекрасно, прекрасно. Ну, так покончим со всей этой неразберихой. Мы все немножко были не в себе, погорячились. Хорошо, дождь пошел и охладил нас. Льет как из ведра. Как я понимаю, Гицэ еще ничего не знает.

— Наверно...— ответила девушка, поджав губы.

— Не знает,— успокоила представителя власти крестная Уца ласковым голосом.

— Тогда я пойду скажу ему. У меня к нему и другие дела есть.

— Хорошо. Вы знаете, как и что нужно сказать.

— Само собой понятно. «Не трогай девушку; хорошо, что вернулась; забудем обо всем».

— Данциш хитрый олтенец, Настасия,— заметила крестная, повернувшись к девушке.

Крестница равнодушно улыбнулась, поправляя за ухом заветную герань.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

У КУЛАКА НА МЕЛЬНИЦЕ МЕЛЮТСЯ ЗЕРНА, ПЕРЕСУДЫ И НАПАСТИ

Настасия вернулась на мельницу полная бодрости; казалось, в душе ее распустился цветок. Но цветок радости вскоре увял, лишенный солнечного света. Воспаленные глаза Гицэ подстерегали ее, а сестра Станка едва сдерживала затаенную до поры до времени злобу. По утрам Настасия убирала и помогала по хозяйству ровно столько, чтобы не быть в долгу за пищу и кров, которые ей давали. Она больше не думала о своих правах на землю, доставшуюся ей по наследству. Землей этой владел Гицэ, который вцепился в нее, словно медведь в телушку. Вырвать хоть что-нибудь из его лап никто не был в силах. По ее мнению, только Митря мог это сделать — такой он стал мужественный и сильный. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, что «его мать родила, а не курица снесла», как говорила старая Кица, жена Тригли. Старуха давно уже, еще с тех пор, как лежал он осенью в Дрофах, весь избитый, увидела в нем ту силу, которая развилась теперь.

После обеда Настасии было легче, она убегала к крестной Анияске с прялкой или с вязаньем. Там, слушая ее советы и рассказы, она снова обретала спокойствие. Стояли тихие дни конца сентября; голубое небо было кристально чистым. Курлыкали журавли, проплывая на юг. Настасии казалось, что эти журавли летят оттуда, где еще сражаются люди, где стреляют и убивают друг друга. Про себя она молилась за Митрю. Она ни минуты не сомневалась, что такой человек, как он, вернется домой, в Малу Сурпат: ведь он достоин этого, а главное — ведь она любит его. Когда пришла пора октябрьских дождей, послеобеденные часы в доме крестной стали грустными. Настасия осунулась, крестная Уца пристально поглядывала на нее.

— Мне ты можешь, ласточка, сказать, что с тобою...

Настасия склоняла свою голову, увенчанную косами, и сдерживала рыдания. Она подозревала, хоть и не была еще уверена,

что в ней зародился ребенок. Радостные воспоминания перемежались у нее с минутами грусти, минутами печали, страха перед людьми, особенно страха перед сестрой Станкой и перед Гицэ, от которых она все еще зависела.

Для мельника же мысль о Настасии была еще не такой острой занозой, как заботы и новые неприятности, возникшие с началом той осени.

Пошло все от механика Франца.

Вдруг ни с того ни с сего немец решил уйти. Забрал без ведома Гицэ весь «второй гарнцевый сбор» и спустил кому-то — скорей всего корчмарю, за долги, которые были записаны на него. Гицэ даже посинел от злости и схватил немца за грудь, но тут сам крепко ударился затылком о деревянную балку, когда немец оттолкнул его, ругаясь на своем скрежещущем языке. Что тут делать: немец пригрозил ему, что пойдет в примэрию, заявит о воровских проделках на мельнице. Дело в том, что, когда крестьяне высыпали зерно из мешков в воронку, некоторая часть зерна утекала через тонкую трубку, вделанную в воронку, так что придачей к обычному сбору был ловко задуманный «второй гарнцевый сбор». Гицэ послал немца к черту и больше не ломал себе голову: пусть уходит. Франц Кранц ушел тайком, и никто его больше не видел. Через несколько дней после этого происшествия поступил из министерства внутренних дел секретный приказ, сразу же ставший известным всему селу: «Означенного Франца Кранца немедленно арестовать», ибо он является, мол, замаскировавшимся шпионом.

У Гицэ ноги подкосились. Иди теперь в примэрию и давай показания. Да еще давай объяснения в жандармском участке, доказывай, что не имел ни малейшего понятия о его шпионских делах и что даже о его проделках с помолом не знал. Мошенничество всплыло наружу, и по селу пошли пересуды. Гицэ сдуру обещал людям возместить какую-то часть убытков. А как? По приходной книге... Черт бы побрал этого Франца! Лихоманка бы взяла этого Кранца! Кто мог знать, что он будет грабить румын, когда те приходят молоть зерно на мельницу честного человека? Кто мог вообразить такую подлость? Да поймай Гицэ этого вора на месте, он так бы стукнул его кувалдой, которой бьют камни, что тот бы и не пикнул, а румынская страна избавилась бы от такого бандита да еще шпиона. Надо обязательно разыскать Франца, пускай объяснит, как он все это проделывал. Надо расследовать, не применяли ли такую хитрую выдумку и другие здешние мельники-конкуренты. Он, Гицэ, лишь пожимал плечами: не знал, не ведал ни о чем, разрази его бог, если он знал что-либо. Некоторые крестьяне,

однако, подозревали, что Гицэ знал обо всем: ведь это его мельница, и не мог же не заметить хозяин уловок механика. Вот когда найдут его Франца и приведут на место преступления, увидите, что тот выведет Лунгу на чистую воду.

Неожиданно разнесся слух, что Франца нашли. Пришла Ана, вдова Лайу, которого как-то в суровую зиму заели волки в оврагах Лисы. Прежде чем сбросить с плеча мешок с кукурузой, она еще на улице выпалила эту новость. Гицэ у себя в доме как услышал это, так и сел от страху. Вслед за Аной Лайу приехал Захария Адам в тележке, на белой кобыле. Мельничиха Станка выскочила на крыльцо. Она навострила уши, чтобы узнать, подтвердится ли весть о Франце. Захария тоже закричал:

— Эй, кум, Франца-то нашли! Свалился в какую-то яму, как переходил мосток через речку у Спрэвала. Видно, пьян был. И воды-то по щиколотку, не больше. Упал головой вниз, рот полон тины. Раздет донага; собаки его погрызли. Ни денег, ни документов при нем не нашли.

Гицэ, немного приободрившись, вышел из дому, чтобы запустить мельницу. Хоть этому-то он научился от вора. Подошли и еще крестьяне молоть зерно, собрались в кружок под навесом. Лошади похрустывали соломой у задков телег, время от времени взмахивая головами; одни фыркали, другие останавливали спокойный взгляд на взволнованных, шумных людях.

— Что скажешь про это, Лунгу?

— Что же сказать, братцы? Божье наказанье за содеянное. Из-за него, брат ты мой, у меня волосы седеть стали. Ночей не спал. Так уж ему на роду было написано за все его грехи — захлебнуться в пригоршне воды. Слышал я от кума Захарии...

Стойка Чернец, только что вылезший из телеги, услышал, что бормотал мельник. Он подошел с кнутом в руке:

— Что тебе говорил Захария, Гицэ Лунгу?

— Что нашли утопленника — моего Франца, всего изглоданного. Не слыхал разве?

— Как же, слыхал от жандармов. Из города приехали прокурор и доктор. Пошли осматривать тело, теперь уж вернулись. Немца твоего свои же убили. Рассчитались с ним, забрали деньги, документы и ушли. Все узнали от беглых немцев, которых позавчера поймали. Они-то и обобрали Франца и расправились с ним. Признались без допроса.

Лошади и люди безразлично выслушали новости Чернеца. Гицэ Лунгу стоял некоторое время в задумчивости, выпятив губы. Ветер шелестел стручками двух безлистых акаций у мельницы и нес редкие хлопья снега. Чернец поставил повозку в сторонке, рас-

прег лошадей, а сам все время поворачивал голову к навесу, прислушиваясь к разговору.

— Ну, что скажете про это? — спросил он, подходя к людям.— Навалилась этим летом на Гицэ Лунгу беда, сумел он себя обелить, хотя с лица, бедняга, аж посинел от злости. Теперь вторая беда. И в этот раз он чист. Убили Кранца убегающие немцы — за дезертира его признали.

— Уф, уф,— пыхтел мельник, разомкнув пухлые губы.— И хорошо сделали!

Чернец удивился:

— А почему, Гицэ Лунгу? Разве и он не был бедным человеком, спасавшимся от войны? А наши, что устлали своими трупами русские поля, разве хотели войны? Кто ее хочет?

— Мой немец был бандит. Обобрал меня до нитки!

— А ну, погляди на меня, Гицэ Лунгу, и повтори эти слова еще раз.

Люди вокруг мельника ухмылялись. Ана Зевзяка громко расхохоталась.

— Обобрал меня, обобрал до нитки! — причитал мельник, поднимая к ушам свои согнутые пальцы.

— А он-то разбогател, что ли?

— Разбогатеть не разбогател, а меня обобрал.

— Ну, не за это его ухлопали, его ухлопали из-за ихней войны. Жестокий народ! Когда раньше они приезжали сюда в село или в именье, казались людьми вроде нас. А что понаделали, будь они прокляты на веки вечные, и у нас и в других местах, где только ни были! У сербов, в Польше, у французов и у всех, кого поработили... Грабили, поджигали, подкладывали динамит, барабаны делали из кожи евреев. Такого опустошения и горя не помнят со времен татар, которые развешивали человеческие кишки по частоколам.

— Крепкая нация,— вдруг выпалил мельник.

— Почему же, Гицэ Лунгу?

— Я скажу тебе почему: сильный берет силой, а умный — умом.

— Эх, Гицэ Лунгу, это, видно, твой закон? Знаешь небось, как мучились наши деды, как исстрадались мы сами, как опустели наши села и сколько осталось беспомощных вдов и стариков,— а еще смеешь хвалить немцев!

— Что ж, я только со своим не ладил, а те немцы, что у Гитлера, люди дельные!

— Да ты что, Гицэ, не слыхал, что ли, какие произошли перемены? Прошло время, когда кто посильней, тот и господствовал и людей угнетал. В России, как спихнули помещиков и живогло-

тов, сразу же пришла справедливость для трудового человека. Кто работает — тот и ест, кто не работает — тот не ест. Забота о труженике, о том, кого и жара палит, и вьюга обжигает, у кого руки в мозолях,— вот, Гицэ Лунгу, какой новый закон большевики установили. Немцы берут силой, а они — справедливостью. И как немцы ни сильны, а лупят их, разбивают в пух и прах, потому что поднялась вслед за русским народом сотня других народов и бьются, Гицэ Лунгу, все эти сто народов за правду, в боях добытую. И от нас они немцев прогнали. Настанут и для нас новые времена, избавимся мы от мучений, в которых живем.

— Нет,— снова осмелел Гицэ,— по справедливости, крепкому хозяину так и положено богатеть, а бедняку стягивать с него сапоги.

Черпец хлопнул кнутом по земле.

— А разве хозяин Хаджиу честный человек? — спросил он, снова щелкнув кнутом.— Не видел я, чтобы большое богатство когда-нибудь честно было нажито. Трехносый ни к чему руки не приложил, лопатой не копнул. Рабы на него работали. Он жрет, а рабы голодные сидят, потому что заработок наш не на справедливости основан, а на эксплуатации. Погляди-ка на Ницэ Немого...

Неподалеку, весь съежившись, стоял крестьянин, с лицом такого же цвета, как и земля, по которой он ходил, взъерошенный, словно еж, с круглыми испуганными глазами. Прозвали его Немым потому, что, бывало, часами он слова не вымолвит.

— Погляди-ка на Ницэ Немого,— продолжал Черпец.— Чтобы вырастить своих детишек, он стал рабом. Эй, Ницэ, выдалась ли тебе хоть минута радости, с тех пор как ты живешь?

— Нет...— прохрипел Ницэ глухим, словно из-под земли выходящим, страдальческим голосом.

Кто-то спросил, насмешливо улыбаясь:

— Даже той весной, когда и сам расцвел?

Серая тень молчала, погрузившись в бесконечную муку своей души.

— Это один,— воодушевился Черпец.— А нас много таких, как он. Ницэ вырастил пятерых детей! И всех потерял на войне. От этого его жена помешалась. Ей все мерещатся погибшие дети, словно пушистые цыплятки. Она все зовет их: «Идите сюда, к маме»,— и прикрывает их руками, как клуша... А брат твой, Гицэ Лунгу! Разве не был он столько лет рабом в Хаджиу, разве не спал там на земле, не зимовал почти нагишом, разве ел когда-нибудь досыта? Ведь он там со смертью чуть не спознался...

— По своей глупости,— злобно пробормотал Гицэ Лунгу.— Мог бы и богатство нажить... А теперь ты поджидаешь, когда мой

М. Садовяну
«Митря Кокор»

милый братец-дурачок вернется. Он тоже остер на язык. Вот вы объединитесь вдвоем и организуете свою партию.

— Зачем вам организовывать партию, когда она уже есть? Это — партия трудящихся.

— Всему, что ты говоришь, Чернец, научился ты у своего брата котельщика,— пробубнил мельник.— Ты что ж, хочешь, чтобы государственные дела молотками вершили?

— Конечно,— вызывающе подтвердил Чернец.— Одни молотками до самого неба достучатся, а другие плугами все распашут, до самых райских врат.

— Значит, те, что по тюрьмам сидят, министрами станут?

Голос у Чернеца стал мягче.

— Эх ты, Гицэ, неужели и про это не слыхал? Ведь уже вышли они из тюрем и взяли вожжи в свои руки... И мы тоже избавимся от страданий. Взойдет солнце и для тех, у кого глаза остались, только чтобы плакать...

Гицэ надулся и нахмурился. Потом тяжело вздохнул.

— Я не вмешиваюсь,— сказал он с кривой усмешкой,— я мельник, мое дело — запускать жернова, чтобы молоть вам муку — и пшеничную и кукурузную.

Мотор начал стрелять в черное небо, сквозь завесу мокрого снега, уносимого резкими порывами ветра. Мельница перемалывала зерно, а люди говорили и говорили. Все были взволнованы и обрадованы тем, что сообщил Чернец. Они знали, что советские войска, с которыми побратались и румыны, пробиваются к берлоге тех, кто терзал людей, как голодные волки. Пока немцы господствовали над румынами, купцы безжалостно обирали народ, помещики и фабриканты стали еще беспощаднее. Вот бы спихнуть, как говорил Чернец, жадную свору, а тех, что страдали по тюрьмам за правду, поставить теперь у власти, и тогда воспрянут люди, изнемогавшие от рабского труда на фабриках и на полях.

В укромной ложбинке женщины развели костер из хвороста. Все ожидавшие своей очереди собрались в кружок, чтобы огонь обласкал хотя бы лицо, потому что в спину все еще хлестал ветер. Возле трепещущих крыльев пламени отогревались и, казалось, снова обретали человеческий облик такие горемыки, как Ана Зевзяка и Ницэ Немой.

А в закрома Гицэ текло больше напастей, чем муки. Когда он кончил молоть и все ушли, прямо на него выскочила из дома Станка. Она визжала, выпучив глаза и так широко разевая рот, что тонкий визг ее едва был слышен. Станка затащила Гицэ в пристройку возле мельницы.

— Ты знаешь, Гицэ, она набросилась на меня, хотела глаза мне выцарапать!

— Кто? Сестра твоя?

— Она! А кто же еще! Чтоб у нее руки отсохли, чтоб ее змей девятиглавый поразил.

Вдруг мельничиха умолкла, с удивлением глядя на мужа: Гицэ не вскочил, даже глаз не выпучил. Он мотал головой, прикрыв уши ладонями, будто испытывал жестокие муки.

— Что с тобой, Гицэ?

— Оставь, не знаешь, что ли? Уж от кого только мне не достается... И вот тут еще... Ну, говори, что случилось?

Станка снова вошла в раж, но Гицэ так жалобно смотрел на нее, что порыв ее ослабел.

— Позавчера перебирала я ее одежу, пока она сидела у своей крестной,— чтоб помереть ей поскорее! — и нашла у нее в кожушке письмо.

— И что ж, прочитала его? — попробовал пошутить Гицэ.

— Без тебя обошлась,— окрысилась Станка, задетая насмешкой,— узнала, что она от меня скрывает. Ишь проклятая, ученой стала! Мне-то ведь ничего не говорит. Она все с Анниаской шепчется.

— А зачем говорить тебе? Ведь живете вы как кошка с собакой!

— Живет она в моем доме, Гицэ, словно враг какой. Пригрели мы на груди змею. Есть, верно, в этом письме что-нибудь, думаю, и скорей к жене попа Нае. «Матушка, говорю, хотела бы я знать, что здесь в этом письме. И так, чтобы только я одна знала, а другой никто. Это секрет». Попадья раскрывает письмо, смотрит в него и смеется. «Что такое?» — спрашиваю. «Ничего, Станка. Это письмо от деверя твоего Митри. Пишет, что с той поры, как встретились вы в Сибиу, никак не может забыть эту встречу...» — «Упаси бог, матушка, не мне он это пишет, а сестре моей Настасии...» — «А я-то удивляюсь,— говорит попадья.— Так оно подходящей. Видно, было это тогда, когда искали вы ее по ямам да омутам».— «Правда ваша, матушка, а она-то врала, что только в Бухарест съездила. Прошу вас, матушка, чтоб никто не знал, что написано в этом письме, а то засмеют нас на селе».— «Будь спокойна,— говорит попадья,— это семейная тайна; буду молчать как могила». Ну вот, Гицэ, она так молчала, что вчера вечером наши кумушки уже все знали. Сегодня утром пошла Настасия к Анниаске. А на селе ведь видят, когда она уходит из дому, когда возвращается, и многие поджидали ее у ворот. Не посмотрели ни на ветер, ни на холод, чтобы, как водится, зацепить словцом. Нагнула она голову и бегом к мельнице, вихрем влетела в дом и сразу к своему

кокушку. «Где мое письмо?» — визжит. «А ты не меня спрашивай, говорю, и не вопи».— «Где мое письмо? Отдай мне письмо. Украла письмо и всем показала!» Набросилась на меня, хотела глаза выцарапать. Схватила кочергу, ударила меня. Я бежать, она за мной! Вижу, она точно ведьма какая, бросила я ей письмо. Пока она наклонялась поднять его, я — в другую комнату да на засов. «Расшибу топором дверь!» — кричит и ругает меня на чем свет. Потом побежала к своей Анпиянке. Вот я и пришла рассказать тебе, какая у меня сестрица.

Станка горько вздохнула. Гицэ ждал, когда она успокоится.

— Вот оно как, Гицэ! Что ж ты ничего не говоришь?

— Что говорить? — устало ответил мельник.— Ведь письмо ты брала.

— А из этого письма, Гицэ, я еще кое-что узнала,— сладко запела Станка.— Свершится вскоре то, о чем я с недавних пор догадываюсь. Скоро снесет хохлаточка яичко с глазками и с бровками.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

КОТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР ВОЙКУ ЧЕРНЕЦ ПРИЕЗЖАЕТ ПО ДЕЛАМ В МАЛУ СУРПАТ

Жил в Бухаресте коммунист-подпольщик, котельный мастер Войку Чернец, брат Стойки. Из Малу Сурпат бедность его выгнала, много пришлось ему пережить, наконец стал он квалифицированным рабочим и с партией породнился. У этого сурового человека густые брови были всегда нахмурены; пошутить он любил, но сам никогда не улыбался.

Когда его арестовали в первый раз, следователь спросил его иронически:

— Знаешь ты ваших философов? Читал ты их?

— А тебе что? Знаю,— поспешно ответил котельщик.— Знаю их, читал.

— Как ты смеешь так отвечать? — обозлился следователь.— Гляди у меня!

— А ты зачем меня оскорбляешь? Тыкаешь мне, хотя овец мы вместе не пасли.

— Ну-ну, брось свои дерзости, а то будем по-другому разговаривать. Отвечай, Чернец, каких философов ты читал?

— Канта читал.

— Канта? Не слышал. А что говорит этот твой философ Кант?

— Правильно говорит: что все рабы на земле — братья, какой бы нации они ни были.

— Это он тебя научил листовки по ночам расклеивать? Это он их тебе дал? Ты знал, что там написано?

— Во-первых, Кант мне ничего не давал. Во-вторых, никаких листовок я не расклеивал. В-третьих, ночью читать нельзя, потому что темно.

Следователь внес фамилию философа в протокол. Прокурор упомянул Канта в обвинительной речи. Защитники воздержались от обсужденья его доктрины.

В черные годы заключенья Войку Чернец зубами держался за жизнь. Каждое утро он занимался гимнастикой и обтирался холодной водой. Свои познания он обогатил в тюремных университетах. Сидя в карцере Дофтаны за бунт, он целый год так и не ложился на цемент, оберегал от простуды свои легкие. Спал Войку, сидя на корточках в углу и скрестив руки на коленях. Вши ели его до того, что на коже появились язвы. Одиночество терзало ему душу. Но он держался мужественно, верил в коммунизм и вынес все.

Некоторые товарищи недоумевали, что за философа назвал Чернец. Ведь, конечно, речь шла не об отшельнике из Кенигсберга.

— Конечно, нет,— отвечал Войку без тени улыбки.— Я говорил только о моем приятеле из Галаца, Филиппе Канте. Летами он был постарше меня, и многому я у него научился. Я и сейчас храню о нем память и иногда хожу навещать его могилу.

Выйдя из тюрьмы под августовским солнцем в 1944 году, он сбрил бороду и помолодел. «Дядя Войку», как называл его младший брат, крестьянин Стойка Чернец из Малу Сурпат, получил однажды в партийной ячейке письмо от одного из своих молодых учеников, которого считал погибшим в России.

Он очень обрадовался. Смотри-ка, мой Костя Флоря жив!

Это письмо пришло откуда-то с фронта, из Чехословакии. Оно было вручено какому-то товарищу Фаркашу Эндре, и тот довез его до Орадя. Из Орадя до Брашова его вез другой товарищ — Маркус Фогель. Из Брашова, наконец, его доставил монтер Илие Хончану и вручил адресату.

Костя Флоря писал:

«Дядюшка Войку, да будет тебе известно, что среди всех невзгод, перенесенных нами, обрел я себе деревянную ногу, которой вполне доволен, потому что ею буду стучаться в ворота Берлина».

Много кое-чего было еще там написано о войне и о немцах. Были и такие строчки:

«Есть у меня приятель — крестьянин из Малу Сурпат. Я знаю, что и ты родом оттуда, есть у тебя в Малу брат, не то родной, не то двоюродный, которого товарищ мой, оказывается, знает.

Мой Митря Кокор чего только не натерпелся. Сам знаешь, что приходится переносить несчастному бедняку у нас в деревне: страданья, побои, издевательства. Он грозится, что если вернется здоровым, то сдерет шкуру с ихнего барина из Малу Сурпат, чтобы хоть немного на душе полегчало.

Он говорит так, чтобы дать выход своему гневу: очень уж у него и другого горя много. Есть у него еще забота: невеста осталась на попеченье брата его, мельника. Так этот мельник забрал себе его землю — родительское наследство, а потом разгорелся у него зуб и на наследство девушки-сиротки, его свояченицы. Мельник с женой притесняют бедную девушку, гонит ее вон.

Я подумал, что, может, выдастся тебе случай побывать в родной деревне. Так ты защити бедную девушку, невесту Митри. Ему как солдату приходится на фронте немало терпеть, а теперь вот ему, бедняге, покоя ни днем, ни ночью — за невесту тревожится. А еще подумал я: может, хоть напишешь ты своему брату, пускай разузнает, что там с этой девушкой.

Обращаюсь я к тебе с такими просьбами, потому что Митря Кокор наш парень. Он все видал в Советском Союзе, когда мы с ним вместе были в плену. Мне уже нечего было его наставлять, он и сам все уразумел. Повторяю, мы должны помочь ему, как настоящему товарищу, который еще покажет себя».

Много было и других хороших слов в письме о Митре. Мастер Войку пожал плечами. Он был занят сверх головы общественными делами, и в особенности организационными вопросами. Где уж тут ездить в Малу Сурпат из-за невзгод каких-то юнцов.

Он отложил письмо в сторону. Вскоре пришло другое, в котором ученик справлялся о его здоровье и сообщал, что они с Митрей живы и здоровы. Получалось так, что и этот Митря стал в некотором роде учеником и товарищем мастера.

«Вот чертов Флоря,— подумал мастер Войку.— Знает он меня. Стучится своей деревяшкой не только в ворота немецких крепостей. Прямо в душу мне стучится. Ладно, посмотрим!»

Второе письмо он тоже отложил в сторону. Прошло много недель, пока мастеру Войку выдался случай и он сумел выкроить время для поездки.

В один из февральских дней 1945 года Стойка Чернец открыл калитку у Анпяски и прошел через заснеженный двор,

подталкивая перед собой незнакомца в шубе и островерхой шапке. Увидев глаза этого незнакомца, запавшие под мохнатыми бровями, и его гладко выбритое лицо, словно высеченное из камня, женщины, выглядывавшие из окна, оробели и отступили назад.

Настасия запричитала, ломая пальцы:

— Кого это ведет Стойка? Что за беда стряслась? Что случилось?

— Крестница, держи себя в руках,— с укоризной обратилась к ней Уца. Но и у нее тревожно забилось сердце.— Ничего плохого быть не может. Стойка нам друг.

Настасия застонала:

— Господи, только бы не дурные вести, крестная, родненькая! Когда проснулась я утром, у меня левое веко дергалось. Ночью все Митря снился.

— Дурные вести приносит почтальон, жандарм или мельник, ласточка.

— Он во сне все смеялся, крестная.

Беспокойство охватило и Уцу. Смех во сне — горе наяву!

Стойка Чернец и его товарищ отряхнулись на крыльце от снега. Собака, сидевшая на цепи, два раза лениво тявкнула и умолкла.

Уца удивилась:

— Что же это на них собака не брешет?

Настасия зашептала:

— Она было залаяла, а чужой как заговорил с ней, так Гриву и затих.

Анниска поправила на голове платок, взглянула на себя в осколок зеркала, сунула ноги в шерстяных чулках в чеботы и вышла в сени встречать гостей. После первых же слов незнакомца она успокоилась.

— Мир вам и добрые вести.

Настасия прикрыла глаза ладонями и прислонилась затылком к печи. Бледная и подурневшая, она казалась смущенной; талия у нее располнела. Незнакомец окинул ее быстрым взглядом, потом снова обратился к крестной:

— Узнаешь меня, Уца?

— Как будто бы... как будто...— едва прошептала Уца, начиная с улыбкой что-то припоминать.— Ах! Ведь ты мастер, брат Стойки. Когда-то ты носил бороду... А теперь словно другой человек...

— Все тот же Войку,— засмеялся мастер.— И все-таки ты права — того, что раньше был, уже нету.

Вздохнув, Уца почему-то опустила голову.

— Скажи-ка нам, чернобровая,— продолжал мастер веселым тоном,— где мы можем сбросить все это с себя? А потом и поговорим.

Анняска тут же свалила в кучу на постель, поближе к печке, всю их одежду. Снуя туда и сюда, она слегка подтолкнула локтем Настасию. У девушки еще сильнее затряслись плечи от рыданий...

Мастер остался в сапогах и серой вельветовой куртке. Он повернулся вполоборота к Настасии и, казалось, был немного смущен. Правой рукой он провел по седым, коротко остриженным волосам, левой вытащил из кармана трубку. Набил ее табаком. Достав зажигалку, он щелкнул ею — появился огонек. Девушка искоса, с любопытством смотрела на маленькое чудо в руках неизвестного. Стойка подошел к ней:

— У него новости от Митри...

Она подняла голову и глянула на блестящий снег во дворе. Потом опять закрылась ладонями.

— Чернобровая, скажи девушке, чтоб не стыдилась,— ласково проговорил мастер Войку.

— Слышишь, девонька, как зовет он меня по старой памяти? — развеселилась крестная Уца.— Смешно теперь, в мои-то годы.

Девушка продолжала всхлипывать.

Мастер выпустил через нос две струйки дыма и поднял густые, еще черные брови.

Значит... воспоминания о былом одной и девичий стыд другой — более важные вопросы, чем падения государств и мировые войны...

— Известия от парня получали? — спросил он Анняску.

— Да. Два раза он и деньги посылал.

Девушка зарыдала:

— Давно уже письма не было.

— А с каких пор?

Настасия снова отвернула голову.

— Да с неделю,— ответила Анняска.— Теперь на фронте уже никакой опасности нет.

Наступило молчание.

— Принесу чего-нибудь закусить,— поднялась Анняска.

— Потом, потом, Анняска,— удержал ее мастер.— Погоди. Я приехал в Малу Сурпат по своим политическим делам. Но мне писал один мой ученик, друг унтер-офицера Кокора, что этого парня кой-что тревожит здесь у вас. И вот раз я приехал сюда, то решил сам посмотреть, что и как. Сначала повидался я с бра-

том моим Стойкой. Он мне кое-что рассказал. Мы вместе побывали на мельнице.

Настасия опустилась на пол и заплакала навзрыд.

— Выгнали меня, в самые крещенские морозы.

Анниска обняла ее за плечи и стала утешать.

— Мне сказали, что девушка здесь. Я и пошел проведать ее. Но сначала я спросил Лунгу про землю его брата. Он туда-сюда — дескать, за эту землю он с братом рассчитался и даже тот у него в долгу, так что они сочтутся, когда вернется Митря, если только он вернется.

— Слышите, люди добрые,— охнула крестная Уца, наклоняясь над девушкой.

— Когда речь зашла о девушке...

Настасия еще больше съежилась, но, вся превратившись в слух, перестала плакать.

— Когда речь зашла о девушке...— продолжал мастер.

— Знаю, знаю,— возбужденно заговорила Аниняска,— она, мол, весь дом опозорила, на селе она — притча во языцех, родит незаконного ребенка. А какого такого незаконного? Это — дитя любви чистой. Законнее, лучше этого и быть не может.

— Твоя правда, твоя правда,— успокоил котельщик.— Наш закон защитит ребенка.

— Как он смеет говорить такие слова? — снова вспыхнула крестная Уца.— Чтоб его черти задушили! У-у, урод ненавистный...

Настасия приподнялась и на коленях подползла к незнакомцу. Она протянула к нему руки.

— Господи,— зарыдала она,— уж как меня поносят, как чернят на селе из-за моего ребеночка.

Мастер взял ее за руки и поднял:

— Девица-красавица, новый закон не даст в обиду твоего младенца.

У девицы-красавицы покраснели глаза и стали огромными, словно луковицы.

— Я сказал мельнику, что и смерть брата ему не помогла бы,— сурово продолжал мастер.— У брата есть наследник, который будет защищать свои права.

— Мальчишка будет,— объявила Аниняска, уперев руки в бока.

— Уж лучше девочка,— весело сказал мастер.— Ей воевать не придется. Будет рожать детей. Как я уже говорил, завел я речь с мельником о замужестве девушки, о том и о сем, припугнул его. Он обещал Настасии два погона земли из тех, что ей принадлежат.

— И на том спасибо,— вздохнула Анняска.

Настасия воскликнула:

— Хоть на четвереньках, да обработаем ее!

Мастер, с каменным лицом, не сводил с нее глаз, как бы молча напоминая, чем будет она занята летом, и она снова застыдилась, но уже не так сильно.

В разговор вмешался Стойка Черпец:

— Придет лето, пройдет время, Войку. Я знаю, сколько горечи накопилось у Митри. Пусть только поскорей приезжает. Я думаю, не стоит ждать, пока ненависть состарится.

— А у некоторых,— улыбнулся мастер,— злоба, как вино, становится крепче со временем. Что ты смеешься, не веришь?

Стойка не стал спорить.

— Я не смеюсь: может, ты и прав. Все, что ты сказал и сделал, это хорошо. Только не вздумай поверить обещанию Гицэ Лунгу.

Котельщик нахмурился:

— Ты думаешь, он меня обманет?

— Думаю, что обманет. Пойдет договорится с барином и сделает по-другому.

Мастер, казалось, взвешивал про себя эти слова.

— Возможно. Ну что ж, тогда, Стойка, дадим ему испить до конца вино нашей ненависти.

В комнате вдруг как бы потемнело. Всем стало страшно от этих слов. Сухой и ровный голос мастера звучал словно эхо, идущее из глубины минувших страданий.

— Несправедливость была им мать родная — так справедливость будет чума злая,— проговорил он, выбивая трубку о загнетку и вновь набивая ее.— Что ты смотришь, чего ждешь? — улыбнулся он Настасии и вытащил зажигалку. Он не зажег ее и сунул обратно. Девушка надула губки.— Я предупредил в примэрии товарищей из ячейки,— продолжал Войку,— чтобы они были начеку. Собираются упыри, обдумывают, как бы помешать новым порядкам. Пусть разгонят их: рассыпься, нечистая сила,— заря занимается!

— Не послушаются они,— снова возразил Стойка.

Губы мастера сжались, глаза потемнели.

— Может быть; только голову потеряют. Ну, хватит об этом. Я приехал, посмотрел и оставляю Стойку за всем приглядывать. Если будет нужда — знаешь, где меня разыскать.

— Ну, теперь-то можно вас угостить? — вновь встрепенулась Анняска.— Я поросеночка заколола. И вина припасла.

— Поостерегись, чернобровая, а то все съедим и выпьем, что в доме есть.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

РОЖДЕНИЕ НОВОГО КАНДИДАТА В ГРАЖДАНЕ МИРА

К весне 1945 года жители Малу Сурпат и их соседи испытали такие невзгоды, каких уже давно не бывало. Еще прошлой весной немцы все опустошили на своем пути, а теперь еще плохо уродилась озимая пшеница, да и засуха совсем замучила.

Из-за отсутствия влаги хлеб во многих местах взошел, словно волосы на облысевшей голове: здесь колосок, там колосок. Откуда-то взялись тысячи крыс, которые из борозд тащили семена в свои подземные амбары. Эти зверьки тоже чуяли угрозу голода.

В села и на хутора проникли и более опасные, двуногие крысы. Никому не ведомые люди, проходимцы, одни — в поисках кукурузной муки, другие — торгуя иконками и какими-то книжицами, проникали в крестьянские дома и разносили слухи, что вот, дескать, наступил для христиан конец света, пришел смертный час, с тех пор как поднялись большевики, зарезали своего царя и заколотили гвоздями двери церквей. Душат они, мол, помещиков, крадут детей и отсылают их в пустыню; преследуют христиан, заставляют их умирать от голода, есть траву вместе со скотом; рушат они все устои; куда только не проникнут, на все ставят печать дьявола. И у нас, мол, они все переделают, и потому господь бог отвернулся от людей. Читайте, мол, про видение божьей матери и чудеса святого Сысоя и кайтесь в грехах своих.

Те из крестьян, кто был поумнее и не становился на колени перед попом Нае, не делал ему подношений,— те смеялись над всем этим. Это вранье, говорили они, помещичья партия распускает. Много еще в стране осталось людей из этой проклятой шайки, которые, как это знают бедняки, столько лет только жрали да жирели, а теперь перепугались, что грянет и над ними великий гром справедливости и полетят они в тартарары — и освободится страна от их черной злобы.

Стойка Черней разъяснял, к чему стремится коммунистическая партия: «Уничтожить эксплуатацию человека человеком!» Эта партия занимала все большее место в правительстве, оттесняла все дальше тех, кто жирел вчера. Партия разделит землю, говорил Стойка, издаст справедливые законы. Теперь, говорил он, до нас доходит правда о жизни в Советском Союзе. Оттуда прибывают наши люди, повидавшие своими собственными глазами новый порядок там, на востоке. Все мироеды, все, кто наживался на несправедливости, там уничтожены; только для трудящихся, которые держат в руках серп и молот, светит там солнце. Те, кто были рабами, стали там хозяевами. Видно сразу, что нынешние

торговцы иконками и всякие бродячие люди — это наемные слуги, которые стараются, чтобы остался наш народ в трясине обмана и во сне рабства! Если бы в Советском Союзе все было так, как они говорят, не поднялись бы с такой силой его народы, не били бы так немцев, как они бьют, не вышвырнули их так, как они вышвырнули, и не гнали бы врагов до самой берлоги. Советские войска знают, за что бьются; войска рабочих и крестьян — непобедимые войска, ведь они защищают свое счастье!

Однажды в воскресенье встретились на краю села помещик Кристя и Гицэ Лунгу. Первый сидел на беговых дрожках, но немедленно остановил свою гнедую лошадь с разметавшейся гривой и длинным хвостом. В лучах утреннего солнца поле словно дымилось и искрилось до самого горизонта. В зарослях акации на развилке проселочных дорог перекликались вяхири.

— Я тебя, Лунгу, с самой пасхи не видал,— укоризненно сказал помещик.— Нам с тобой поговорить надо.

— Я все собирался зайти,— ответил мельник,— да я ведь один, а дел навалилось выше головы. Вот еле-еле в церковь собрался.

— А у меня и на это времени нет,— криво усмехнулся Кристя.— Поклоны бью Воловьему колодцу. После дождя на прошлой неделе хлеба заметно выправились.

Мельник перекрестился:

— Может, и на нас обратит наконец господь свою милость.

По воскресеньям до обеда у Гицэ Лунгу бывали приступы благочестия. Это началось недавно, с той поры как стал советоваться он с попом Нае о делах мирских и житейских.

— Одолели было нас эти крысы пакостные,— продолжал он,— да избавил нас господь. Наслал на них мор в конце зимы, так что тысячами дохли. А те, что остались, ушли в долину через Лису. Говорят, когда-то тоже так было. Унесет их Дунай и утопит. Я, барин, сам собирался зайти в Хаджиу, доложить вам про кой-какие дела, которые мне не нравятся. После той напасти разразилась над Малу Сурпат другая.

— Политика... знаю,— подтвердил Кристя.— Мне говорили в примэрии. Цыгане, так те, когда голодны, поют. А эти собираются вместе и дела государственные решают.

— Они думают, им землю дадут. Об этом все трезвонят с тех пор, как у нас новое правительство. Заберут, дескать, ее у богатых и раздадут беднякам. Я, значит, трудился, мучился всю жизнь ради той малости, что есть у меня, и вдруг придут всякие босяки, лентяи и дураки и сожрут все, как на поминках. Есть у них подстрекатели. Я еще с прошлого года знаю одного такого, Стойку Чернеца, у него брат Войку, котельщик. Этот Войку — коммунист, он-то нашего Стойку и подучивает. На дому у Стойки собирает-

ся всякий сброд, и называется это партией. Если сказать вам, барин, кто только там собирается, так вы не поверите. Я бы сказал словцо, да сегодня воскресный день и в церковь иду я, не к месту оно.

— Любопытно бы знать,— заинтересовался господин Кристя.

— Так вот, ходят Григоре Мындря, Ана, прозванная Зевзякой,— поумнела, вишь, теперь,— Лае Бедняк.

— Этот Лае был у меня в работниках, при волах состоял. Бросил работу и ушел. Я его под суд отдам. Жандармов на него напущу. Еще кто?

— Есть еще такой Аурикэ Бешеный, он с войны вернулся на деревяшке. И другой инвалид, без руки, Тудор Гырля!

— Недостает еще слепого,— засмеялся помещик.

— И такой есть. Иримия Baскан, кривой на правый глаз; в пехоте сержантом был. Пришел он как-то муку молоть. А муки-то с полмешка, не больше. Так и сверкает на меня здоровым глазом. Думал я его улестить: «Иримия, говорю, обойдусь я, пожалуй, без гарнцевого сбора».— «Нет, бери, это право мельника!» — говорит. «Хорошо, Иримия»,— говорю. Право слово, барин, будто ожег он меня своим глазом. Не хотел бы я с ним встретиться ночью, когда один домой возвращаюсь. Есть еще у них такой Ницэ Немой. И другие еще. Собираются, замышляют что-то.

— И этого Ницэ Немого под суд отдам,— нахмурился Кристя.— И его упеку.

Гицэ Лунгу поскреб затылок.

— Как бы это вам, барин, сказать? По мне, так оставить бы их всех с миром. Дураки дураками и останутся. Нашло теперь дурное поветрие, только как нашло, так и пройдет. Тогда их и согнете в бараний рог. Есть и у меня кое с кем счеты, да молчу. Вот жандарм Данцпш слишком смирен. Видно, боится. По воскресеньям то из города нашего, то из самого Бухареста приезжают наблюдатели.

— А это что такое?

— Рабочие приезжают, ихняя партия посылает рабочих плуги и другие орудия чинить, а больше разные разности рассказывать. Вот наши и вбили себе в башку, что перейдет к ним земля от тех, кто ею раньше владел. По правде сказать, побаиваюсь я, барин. Не гоже, говорю, с ними силой-то. Ох-хо-хо! Раньше лучше было. От напастей да забот исхудал я совсем. Взвесился я на мельничных весах — девяти килограммов как не бывало.

— Всех из ружья перестреляю! — исступленно крикнул Трехносый. И уже спокойнее добавил: — Кое про кого мне говорил По-

неску-староста. Но он не так уж боится, как, видимо, ты, Лунгу. Про новые наделы земли идет слух, но мы, говорит он, повременим, пока опять не наступят измененья, ведь старые партии еще крепко держатся. И это правда, так и знай.

— Староста, барин, тоже вертится по ветру. Понеску нечего терять. Да вот еще, знаете, какое дело: бабы заволновались. Выйдут на берег Лисы белить холсты — и ну судачить о политике да ругаться. С ними хуже всего: они быстрее с ума сходят. Сколько я перестрадал из-за свояченицы своей Настасии. С этой тоже, я вам скажу, морока. Пообещал ей два погона из ее, как говорится, наследства. Пока еще она не замужем, но выйдет, коли только вернется полоумный братец мой Митря.

— А он еще не вернулся?

— Нет. Все на войне. А Настасия эта, даром что не венчана, скоро родит, ославила нас на все село. Решил отдать ей землю, чтобы отвязалась. А теперь жалко. Расселась она на земле, что подарил я. Чернец ей помог и вспахать и посеять. И избенку ей починил Чернец. Живет с ней Аннияска, приглядывает, ведь у Настасии брюхо кверху поперло. Работает как сумасшедшая и уродкой такой стала, что и не узнать. Все Митрю своего ждет. Смех один. Я, когда иду в поле, далеко ее обхожу. И вот эта Настасия тоже на партию надеется. Даже жизнь мне опостылела.

— Погоди умирать, Лунгу,— мрачно ответил помещик Кристя.— Поживем — увидим.

— Еще и другое есть, барин.

— Не хочу больше ничего слушать, Гицэ. Надоело. Приходи ко мне, поговорим, я скажу тебе, что надо делать. Прежде всего думаю я подать в суд на этого Чернеца за нарушение закона, чтобы приструнить его.

— Не приструните, барин, крепко он держится.

— Не верю. Ведь я тебе говорил, есть и другие партии, с которыми до сих пор мы ладили. Мы их снова на ноги поставим. Я был заодно с либералами, а они сейчас тоже в правительстве. Что они там делают? Не лясы ведь точат. Есть у них свои интересы. А ты держись национал-царанистов; и у этой партии есть свои люди у власти.

— Правда, барин, нельзя сидеть сложа руки, съедят нас голодранцы. Я приду к вам, как вы приказываете. Прямо и не знаю, что мне делать с моим братом. И про него идут разные слухи. Да простит господь меня, грешного, но уже лучше бы, кажется, другие вести о нем получить, спокойнее бы мне стало.

— А ты боишься его? Предоставь его мне!

— Да как вам, барин, сказать? Ну, значит, я приду к вам.

Они расстались. Барин поехал на своих дрожках к Дрофам, а мельник зашагал к селу, но оба еще долго что-то бормотали себе под нос.

В том месте, где дорога слегка поднимается по берегу Лисы, Гицэ Лунгу остановился и оглядел село, теснящееся вокруг церкви. За рекой, по холмам, что в западной стороне, тянулись поля мужиков.

Вот, говорят, нужно построить мост, как у людей. А то коекак сбиты гнилушки — того и гляди, опять отрежет от города в большой разлив. Да еще, не дай бог, утонет кто-нибудь, как уже случалось.

На селе все толкуют о каменном да о бетонном мосте. Но примэрия бедна — на что строить-то? Обещания префектов перед выборами так и оставались обещаниями, легковесными, как пух одуванчиков. А на себя расходы принять люди не хотят. Пусть, мол, богатые раскошеливаются! Богатые-то согласны внести свою долю, но сначала надо посмотреть, что другие соберут.

«Что соберешь с этих голодранцев? — засмеялся про себя Гицэ Лунгу.— Знать, останемся при этих гнилушках, пока кто-нибудь не погибнет... Ишь ты,— вспомнил он, как поп говорил ему о пожертвовании и о поминках по родителям,— на седьмом году велел устроить поминки, на девятом — снова, теперь говорит, что и на двенадцатом полагается. Поп Нае себя не забывает, у него все в книгу записано. И пришло же мне в голову в том самом году, когда я на покойников расходуюсь, еще отдать два погона земли этой бесстыжей девчонке, которая опозорила нас. Да ведь и здесь тоже политика: надо было людям глотку заткнуть. Эхма! Черт подери! Где тут заткнешь, когда эта Уца Анивяска выставила девчонку всем напоказ».

«Видишь, что ты наделал, Гицэ?» — звенели у него в ушах упреки жены.

Мельник стукнул палкой о землю. Вот ведь Станка какая! Заставила-таки его выругаться, когда он отправился за святой просфорой в церковь. Чтоб подохнуть ей, сороке!

Много было дел и хлопот у мельника, а теперь вот еще приходится ему ломать себе голову, как бы разделаться хотя бы осенью со всеми неприятностями, связанными с землей.

Мрачный шел он в церковь, еле передвигал ноги, шаркая ботинками. Он был в новой одежде из белого плотного сукна. Женщины, переходившие по мосту через Лису и направлявшиеся к своей «часовенке», заметили его еще издалека и мысленно, как врагу, пожелали ему всякой хвори.

Их «часовенка» находилась в том месте, где начиналась полоска Настасии, около ключа, который бил из-под северного склона

холма, в тени старых ясеней. На этих холмах, источенных теперь дождевыми потоками, повсюду рос в давние времена лес. От всего этого зеленого острова уединения остались только ясени — кусочек леса на суглинистой земле, называвшийся Фрэсинет, который, впрочем, люди тоже не оставили в покое. Под старыми деревьями, куда никто не мог проникнуть, кое-где рос колючий кустарник. Родители Настасии поставили на поляне около своей полоски летнюю хижину. Каждую весну ее нужно было чинить, потому что осенью и зимой никто в ней не жил и только редкие путники навещали ее. В начале весны Стойка Чернец, помогая женщинам, потрудился вместе с ними, пол устлал новой листвой и покрыл камышом это ненадежное убежище.

К Аннияске и Настасии прилепились Ана Зевзяка и Вета, сестра Кицы. Они вышли замуж за двух братьев. Ана — за Тудосе Лайу, того, что разорвали волки, прозванного «Зевзяку» и оставившего вдове в наследство одно только прозвище, а Вета — за Раду Лайу, который не вернулся с войны в 1917 году, так и пропав без вести. У них тоже было по клочку земли рядом с Настасией, полученному ими за мужей на детишек. Теперь дети стали уже взрослыми мужчинами и тоже ушли на войну, может быть, для того, чтобы тоже оставить после себя только имя да память, что и они когда-то жили и страдали в Малу Сурпат. Ана и Вета, по просьбе Уцы, приютились тоже в хижине, чтобы находиться поблизости, если понадобится какая-либо помощь. Ведь такова жизнь: одни умирают, другие рождаются, и вот эта девочка, Настасия, ждет своего часа. Когда пололи кукурузу и грядки с овощами возле рощи, крестница и крестная жили по большей части в хижине. В плохую погоду или на праздник они приходили в село. До Малу Сурпат было не больше двух километров. Можно было сбегать домой и в течение дня. Но им больше нравилось быть среди зелени и в тишине. Недаром это место и называли они «часовенкой».

В ручье отражались высокие вершины ясеней. Среди кустарника щебетали всякие птички. Тут были и иволги и дрозды. Одно время жила кукушка со своим дружком, потом они улетели, пристроив свои яйца по чужим гнездам. Вета и Ана рассказывали, что прошлой весной было два соловья. Теперь остался только один. Несмотря на усталость после работы, они слушали его иногда по ночам, при лунном свете. Настасия устраивалась в тени, чтобы не видно было, как на глазах у нее блестят слезы. Но все равно вздохи ее были слышны.

Совсем захирела крестница Настасия, только глаза остались красивыми.

Ослабла от работы, от тревог, от тоски.

Когда в обед все усаживались под ясенями и разводили под котелком огонь, старухи бойко толковали о всякой всячине. Настасия сидела молча. Она перечитывала про себя, как молитвы, все письма, полученные от Митри. Их было одиннадцать. Она ждала двенадцатого.

«Дорогая Настасия, будь умницей, жди меня терпеливо. Я купил тебе здесь, в Трансильвании, сапожки, кожушок и расшитую юбку, чтобы ты надела на свадьбу».

Все же срок подошел неожиданно, в среду, в первую неделю июня. Новый кандидат в граждане был настолько нетерпелив, что свалил мать на земляной пол и пронзил ей тело страшными болями. Не было уж ни времени, ни возможности отправить бедную девочку в село. Крестная Уца послала Ану домой, чтобы она единым духом слетала за Софией Стойкой, сведущей в таких делах.

— Принеси и кирпич,— прибавила заботливая Аппяска.— Боялась я, что внезапно это наступит, и все припасла в хижине, только кирпич вот забыла. Большой кирпич принеси.

Через некоторое время у Настасии отлегло, и она даже засмеялась, для какой такой постройки понадобился кирпич. Пока она говорила, снова начались схватки. Оставили и снова схватили, как клещами, и так было, пока не приехала в телеге бабка София вместе с Черпецом, погонявшим что есть мочи.

Кирпича не нашли. Где тут найдешь кирпич в такой спешке?

Аппяска запричитала, схватившись за голову. Насколько помнят бабки, таков был обычай в Малу Сурпат — женщине, страдающей от предродовых схваток, подкладывать под поясницу кирпич. А для чего, никто над этим не задумывался. Может быть, для того, чтобы опираться роженице в момент разрешения от бремени.

— Тут в хижине есть старое муравьиное гнездо, оно как каменное,— посоветовала Вета,— положим на него бедную Настасию.

Настасия стонала жалобно и протяжно, как под ножом. Вокруг нее хлопотали четыре женщины. Кто с подсолнечным маслом, кто с ножницами и шелковинкой, кто с ковшом воды. Одна держала больную под мышки и успокаивала ее.

Нужно бы и Митре быть при этом — таков был другой обычай: виновник всех этих страданий должен быть в такую минуту рядом, чтобы страдающая женщина могла бить его кулаками, царапать, таскать за волосы.

— Тот, из-за кого муки все, сам теперь далеко,— пробормотала Ана Зевзяка.— А был бы он здесь, легче бы разрешилась бедняжка.

Стойка привязал лошадей под ясенями и хмуро ждал у огня. Ему не разрешалось принять участие в этом таинстве. Погода была тихая, словно нарочно ради такой святой минуты. В гнездах ворковали горлицы и насмешливо пересвистывались иволги.

— Эти загодя вещают, как ребеночка-то назовем,— сказала Нета, самая старшая из всех присутствующих.

— Как будто человек кончается,— прошептал, прислушиваясь, Стойка Чернец.— Ведь говорил мне брат мой, мастер Войку, чтобы вызвать доктора, приготовить все как теперь полагается для облегчения страданий. Смеются старухи,— дескать, они лучше знают. Только Адам и прародительница Ева, мол, не рождены были в муках. Сказки!

К вечеру крики в хижине утихли. Во Фрэсинете наступила тишина. Послышалось, как где-то долбит дятел. К населению в Малу Сурпат прибавился мальчик. У него были черные глаза, похожие на отцовские. Он толкнул мать ножками и заорал на бабку, когда она перерезала пуповину.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

ПИСЬМА И ВЕСТИ ОТ МИЛОГО

Жил в Малу Сурпат старый музыкант, которого звали Веселин Скрипкарул, по прозвищу «Удача».

— А была ли она у тебя, удача? — спросил его как-то на сходке Стойка Чернец — они были приятели.

— Не бывало,— ответил музыкант, горько усмехнувшись.

Его удачу черт на хвосте унес.

— Так уж мне написано,— добавил он,— не на роду, а у Кристи в Хаджиу, в долговых книгах. Когда-то дал он мне сто двадцать лей. Шли годы, рос и долг. Кое-когда пригласит меня играть на скрипке госпожа Дидина, а долг он все не сбавляет. Работаешь на него летом, играешь осенью — и никак не расплатишься.

— Отберет он у тебя скрипку, Веселин.

— Этого никак нельзя: без скрипки я пропаду. Скрипка мне дороже пары волов.

— Эх, брат Веселин, ведь дело не в скрипке, не в деревянной этой коробке, а в том даре, который душа твоя хранит.

В то лето после дождей хлеба пошли хорошо. Кристя известил через примэрию, чтобы должники шли вязать снопы и молотить. Люди собирались туго, поглядывали исподлобья. Староста был в нерешительности. Жандарма Данциша слишком часто вызывали

в управление. В решающий день вязки снопов, через неделю после праздника святых апостолов Петра и Павла, помещик приказал «этому — Удаче» прийти и играть крестьянам на скрипке, чтобы те глядели повеселей.

Скрипач мог и петь хорошо. Сначала он спел старую песенку, которая когда-то пользовалась большим успехом и нравилась Трехносому:

Когда выходят девушки
Холсты белить на реченьку,
В траве их ножки белые
Плывут, словно лебедушки.

Но не стало веселей ни мужчинам, ни тем более женщинам.

Э-хе-хе! Были когда-то белыми, как лебеди, ноги у красавиц из Малу Сурпат, когда баре сеяли меньше пшеницы и не сгоняли женщин на работу. Жены хлопотали возле домов по хозяйству, вся тяжелая работа ложилась на мужчин: барщина, вывозка леса, починка дорог, извоз и другие повинности...

Хозяйки зимой ткали холсты, а летом белили их.

А посмотри-ка теперь на них! Спалены они июльским зноем, постарели до времени их лица; руки и ноги — не белее валежника, заскорузли и потрескались; черными стали лебеди, почернела грудь, почернели губы. Было отчего загрустить женщинам от песни Веселина. Мужчины же ругали мироеда за то, что отобрал он у них одну из немногих радостей жизни.

— Эй, дедушка Веселин, помолчи лучше! — закричали вскоре некоторые из работников.— А то от грусти-тоски подохнуть можно.

Трехносый заметил, что Веселин положил скрипку на сноп.

— Не сиди, цыган, сложа руки, а то в морду получишь. Здесь ты не у себя в хате, а на барской работе. Я плачу тебе; пошевеливай-ка смычком да языком!

Музыкант робко проблеял несколько танго, завезенных из города. Но когда Кристя повернулся и пошел в именье, Веселин повалился на землю и затряс головой, скрежеща зубами.

Про это дело рассказывал как-то Стойка Чернец в доме у Уцы Анишяски. Он привел с собой жену; они были кумовьями Настасии и любовались крепким малышом, который одолевал свою хрупкую мать.

— Мало ему молока, вот он и толкается ногами,— жаловалась Настасия.— Будь умником, Тасе, спи!

Тасе не хотел спать, он таращил глазенки, словно хотел запечатлеть всех: и крестных, и Уцу, и бабушку Вету, и Ану, вдову Зевзяку. Но как только Чернец снова повел свой рассказ размеренным голосом, ребенок тут же заснул.

— Как закончили вязку снопов, отправился, значит, Веселин получать с помещика обещанную плату.

«Какую еще плату? — говорит Кристя.— Разве ты у меня не в долгу?»

«Тогда, барин, сбавьте мой долг на четыреста лей».

«А ты мне, что ли, играл? Пусть тебе мужики заплатят. Я с них удержу, сколько на каждого приходится, и отдам тебе. Приходи в следующее воскресенье».

Приходит музыкант в следующее воскресенье.

«Эх, напрасно ты пришел, Веселин, не рассчитался я еще с людьми, черт их возьми».

«Я бы и сам, барин, с ними столковаться мог, мы же свои. Нет, лучше вы мне долг сбавьте, ведь вы, а не они играть приказывали».

«Погоди, я посмотрю, подумаю,— отвечает Кристя.— Постой тут немножко, пока я кое-что обговорю с Гицэ Лунгу».

Веселин стоит, дожидается. Слух у него как у музыканта тонкий, вот он и услышал, что Трехносый договорился с либералами из Бухареста поставить Гицэ Лунгу помощником старосты в Малу Сурпат. Его бы и старостой поставили, да он неграмотный. Так вот, старостой останется Попеску, а Гицэ Лунгу как помощник будет исполнять все приказания помещика. Трехносый видит, что народ начал роптать и огрызаться, он и выталкивает вперед Гицэ: пусть с ним ругаются, бранятся, пусть его хватают за грудки.

Тут Кристя поворачивается к музыканту.

«Эй, цыган, ты еще не ушел? Чего ты ждешь? Я сказал помощнику старосты Гицэ, чтобы с тех, кто вязал снопы и кому ты играл, собрал он, сколько они тебе должны».

«А долг-то спишете?»

«А это другой вопрос!»

Через неделю стало известно, что и мужикам записали в долговую книгу плату за музыку, и у Веселина вырос долг, потому что в те дни он, мол, играл, а не работал.

— Чтоб его Илья-пророк громом поразил, чтоб его холера взяла! — посылала проклятия Вета.— Все так и есть. Ведь и мы работали в Дрофах, и нам записали долг за музыку, и мне, и Ане, будто нам до смерти эта музыка нужна была! И так в чем душа держалась от жарищи да пылищи. Записал нам в счет по четыре леи. Коли на то пошло — Веселин играл, Веселину и деньги отдадим. Так нет, Трехносый их себе удержал, подавиться бы ему ими! Я не удивлюсь, если теперь еще и Гицэ Лунгу потребует себе по четыре леи, а не будет денег — по корзине кукурузы.

Анишяска всплеснула руками:

— Да мыслимое ли это дело?

— От такого, как он, всего можно ждать. С богатых требовать он не осмеливается, а дерет с бедняков и вдов. Такие-то, как Лунгу да Трехносый, еще почище разбойников с большой дороги будут.

— Я схожу к Гицэ,— возмутившись, сказал Стойка Черней,— и скажу ему твердо, чтобы не шел против народа, а то худо ему будет. Стакнулся с мироедом, задерживает раздел земли, объявленной по закону, все созывает да распускает комиссии. Кое-кому в Малу Сурпат замазал глаза десятком погонов. Нищие, кричит, подождут. Раздулся от важности и от злости — вот-вот лопнет!

Вета сделала большие глаза.

— Говорила мне сестра моя Кица,— таинственно зашептала она,— что с четверга на пятницу снился ей сон, а в этом сне будто несем мы под дождем Гицэ Лунгу на кладбище и причитаем мы с нею по покойнику и смеемся.

Крестная София торопливо трижды перекрестила ребенка.

Ана спросила:

— А Кица не говорила, меня там не было?

— Была и ты, тоже причитала.

Ана Зевзяка развеселилась. На дворе залаяла цепная собака, потом успокоилась. Послышались шаги и голоса. Настасия встала, осторожно держа в руках ребенка, и ушла в соседнюю комнату. Этим вечером обещался прийти к Уце ее брат, Маноле Рошиору, с двумя недавно демобилизованными солдатами. Эти двое только сегодня приехали и привезли весточку от Кокора: письмо за пятью печатями. Они везли его вдвоем: если с одним что случится, другой взял бы его и передал в руки либо Настасии, либо Анипяске. Такие письма приходили и раньше, их тоже привозили демобилизованные. Настасия жаловалась — мол, только «мой» не приезжает. Теперь она стояла у приоткрытой двери, держа Тасе на руках, и сердце ее колотилось. Руки у нее были заняты, и она не могла вытереть хлынувшие слезы.

В большой комнате, где сидели собравшиеся, послышались шаги и громкие голоса. Но вдруг голоса утихли. Вместе с братом Уцы вошли Григоре Алиор и Симион Пескару.

— Принесли письмо? — спросила крестная Уца, указывая глазами на дверь в соседнюю комнату.

— Принес,— ответил Алиор.

— Добрые вести?

— Добрые.

После этого обмена словами Настасия ничего больше не могла расслышать и нетерпеливо топталась на месте, ожидая драгоценного подарка.

— Митря в госпитале,— шептал между тем Алвор Анпяске.— Он и этой весною тоже там побывал, только не уведомлял вас, чтобы не пугать. Его ранило в левое бедро осколками от снаряда. Пятнадцать дней пролежал, пока доктора не выходили. Они приказывали еще лежать, да он не захотел и попросился немедленно на фронт. Не терпелось ему, уж больно он горяч... А недавно у него опять начались боли на месте операции, внутри нагноение сделалось. Врачи снова взяли его в госпиталь и объявили, что не выпустят, пока совсем не вылечат. Нашли у него еще два осколка вроде иголок. Мы его видели перед отъездом. Теперь все хорошо. Как встанет, так одним духом домой примчится. Он обо всем говорит в этом письме, что мы привезли.

— Я очень рада,— ответила крестная Уца громким голосом, так, чтобы слышно было в соседней комнате.— Прошу, подождите минутку, пока я принесу цуйку, хлеба и сала.

Анивяска, словно ветром ее подхватило, бросилась к крестнице, держа в руке письмо за пятью печатями.

— Добрые вести, ласточка.

Она снова вернулась в комнату.

Настасия с опаской сорвала печати. Прочтя первые строки, она побледнела, на глаза ее опять набежали слезы, но потом она мало-помалу пришла в себя.

Страх прошел, и сердце успокоилось. Митря заверял ее, что в скором времени приедет. Как-нибудь вечером или утром он неожиданно появится на пороге. А пока хочет знать, как поживает ребенок. Она закрыла глаза и как живого увидела прямо перед собой Митрю; она кладет ему в руки ребенка. Это был ее самый драгоценный дар.

Некоторое время она стояла задумавшись, вся просветленная от этого видения, потом поспешно вытерла слезы и присела к столику, чтобы ответить ему.

В те времена в Малу Сурпат немногие из молодежи, кто знал грамоте, привыкли употреблять в любовных или дружеских письмах особые выражения в стихах. Все их знали, помнили наизусть:

«Пишу дрожащею рукою тебе с любовью и тоскою...»

или

«Пишу с любовью, с нетерпеньем, тебе, мой друг, на утешенье...»
«Тоска застлала мне глаза, на строчки капает слеза».

Эти и им подобные стихи вытеснили старые известные клише, преданные забвенью:

«Во первых строках сего письмеца желаю...»

Так писал когда-то и Митря в своем послании. Но с тех пор прошло много времени, и все на этом свете переменилось.

Все же оставались еще такие — и Настасия в том числе,— кто заимствовал для своих писем стихи из книг или, чаще всего, из неписаной поэзии.

Поэтому возлюбленная Митри, находившегося где-то далеко, готовя послание, полное любви и укоров, не ломала себе долго голову. Ее нисколько не интересовало то, о чем говорилось в соседней комнате: ни недовольство бедняков, ни злодеяния Трехносого, ни хитрости Гицэ Лунгу, ни накипавшее возмущение. Она писала, мгновенно погрузившись в вечность, в которой было всего два существа: она и Митря.

«Митря, милый мой, в разлуке не пиши ты мне о скуке, все через чужие руки. Совсем ты лучше не пиши, а сам скорее поспеши. Я очень горевала, Митря, узнав, как ты мучился в госпитале, а теперь рада получить от тебя весточку о том, что скоро вернешься домой. Тасе — молодец и растет прямо на глазах. В тоске неугомонной смотрю на дуб зеленый...»

Обо многом еще написала Настасия своему мужу, воображая, что он сидит рядом, а она нашептывает ему.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

ТОВАРИЩ МИТРЯ НАВОДИТ ПОРЯДОК В ДРОФАХ

В ближайшие недели по селу Малу Сурнат распространился слух, что Митря Кокор где-то объявился, но что ему приходится худо. Кое-кто пытался скрыть это,— а кто именно, это уж известно. Да что скрывать, когда все уже знают? От Кокора пришло, мол, письмо: он в госпитале, болен, его оперировали, один бог знает, вернется ли... У него, мол, врачи нашли гангрену, то есть мясо у него загнило. Гангрена ноги. Об этом некоторые слышали от самого Гицэ Лунгу, он рассказывал в примэрии.

— Что я могу сделать! — говорил Гицэ.— Может случиться, от него только имя одно останется. Что и говорить, болит у меня сердце из-за всего этого. Не слушался меня, вот теперь и расплачивается.

Аврам Сырбу спросил, пишет ли Митря брату.

— Ничего не пишет,— огорченно ответил помощник старосты.— Вот и вся его благодарность за то, что я его добру учил,— даже не ответил мне ничего. Вот лишь записочку кто-то привез этой злосчастной моей золовке. Уж лучше бы ей помереть, чем Митре.

По крайней мере, не рожала бы обреченного на бедность ребенка, не выставляла бы на посмешище и меня и свою сестру. Так-то теперь ее господь бог наказывает.

Что тут скажешь? Мы все-таки от одной матери. Сколько ни причинял он мне зла, а съездил бы я повидаться с ним хоть разок, да не могу. Далеко он, где-то в госпитале, в Турде, а на меня в селе навалилось столько дел, что и на час отлучиться невозможно. На меня начальство всю ответственность возложило, без меня ничто не делается. Да и то сказать — может, пока я доеду, бедного парня и в живых не будет. От этой болезни, что гангреной зовется, никто еще не спасался. Молись за него хоть сам епископ крайовский — и то не поможет!

С тех пор как боярин Кристя побывал в Бухаресте и сговорился с высокопоставленными воронами из либеральной партии поставить во главе села своего человека, Гицэ вырос на целый вершок. Когда же пришла бумага о его назначении, он еще поднялся на целую четверть. Был бы он грамотен, мог бы и старостой стать. Но помещик ему сказал, что это дела не меняет. Его милость приказал Попеску не вмешиваться в дела и слушаться Гицэ как доверенного лица. Не надо торопиться со списками безземельных и местными комиссиями. Пришло время власть укрепить. С некоторых пор всякие бродяги нос задирают, совсем обнаглели, так и хочется стукнуть их чем-нибудь по башке. Пришли указания и унтер-офицеру Данцишу связаться с помещиком и с его новым помощником, чтобы укрепить жандармерию, быть в курсе всех дел, пресекать слухи. Кто думает, мол, что порядки могут измениться, тот ошибается. Правда, из государственных соображений король допустил в правительство людей, только что выпущенных из тюрьмы,— тех, что называются «прогрессивными». Они и пытаются всякие пакости делать, ведь они большевики и, дай им только волю, все разрушат. Однако, слава богу, страна еще не у них в руках. Те, кто до сих пор управлял ею, уймут их, тогда-то будут разогнаны все подстрекатели, одних за границу прогонят, других снова упрячут туда, откуда их выпустили. Пусть утихомирятся и те, кто здесь бушует. Пусть образумятся и займутся своим делом. Пусть выходят на работу, как этого требует обычай и закон. А то худо им будет, ой, как худо!

Гицэ Лунгу, когда его назначили, даже речь произнес. В ней он старался показаться и решительным и сильным. Только мало кто его слушал. Да и те, выслушав его, лишь тряхнули шапками и разошлись.

И вот однажды, в начале осени, в примэрию явился Стойка Черпец в сопровождении демобилизованных.

— Гицэ Лунгу,— смело заговорил Стойка,— нам известно, что старосте и помощнику старосты надлежит быть из наших людей, из тех, кто знает наши нужды. А здесь, в Малу Сурпат, что это за староста и помощник старосты, когда они наши враги? Нужд наших вы не знаете и сторону помещика держите. К разделу земли даже не приступили, так что только диву даешься. Так вот, перед выборами будешь ты у нас голоса просить, а придется свой локоток укусить.

Гицэ Лунгу покраснел от гнева. Хмурый и злой, вскочил он с места, но потом раздумал и снова уселся, вытянув ноги и откинувшись на спинку стула.

— Во-первых, что это за «ты, Гицэ Лунгу»,— забубнил он раздраженно.— Я — староста. Оказывайте мне должное уважение.

Стойка Черпец засмеялся. Бесцеремонно засмеялись и его спутники: Аврам Сырбу, Григоре Алиор и Симион Пескару.

— Снять передо мной шапки! — крикнул, привстав со стула, Гицэ.— Вы подозрительные личности!

Стойка и другие пропустили это приказание мимо ушей и шапок не сняли. Только взглянули на него искоса, краешком глаза.

Гицэ заорал:

— Я вас под суд отдам за оскорбление властей!

Алиор смело ответил ему:

— Ты на нас не ори. Коли ты не наш, так и не признаем мы тебя. Мы — члены партии.

— Это еще что?

— А вот увидишь!

Гице уставился на них злыми глазами. Мелкие служащие примэрии стояли возле дверей и слушали.

Представитель власти втянул в себя воздух и завизжал:

— Вот я покажу вам, подстрекатели! Так вас прижму, что масло потечет! Пошли вон!

Сам он словно прирос к стулу, но, к его изумлению, они не уходили.

— В конце концов, какие у вас претензии, мужичье?

Голос у него охрип.

Черпец сделал шаг к столу:

— Прежде всего, Гицэ Лунгу, расскажи нам, откуда пошли все твои лживые россказни про Митрю? Будто он болен, будто уже не вернется? Вот здесь стоит перед тобой Пескару, который сам видел его и разговаривал с ним. Митря поздоровее тебя будет и скоро приедет требовать у тебя во всем отчета.

Гицэ примолк и сразу похолодел, словно его окатило ледяною волной. Он закрыл глаза, потом приоткрыл их и улыбнулся, как будто с ним шутили:

— Ну и черти же вы... Что вы это выдумали? Понятия ни о чем не имею. Да пусть Митря приезжает в добром здравии, как вы говорите. Если он здоров, то почему же до сих пор не приехал? Мы с ним меж собой сочтемся как братья. А вы-то чего нос суете в чужой горшок?

— Ты в ответе не только перед братом,— настаивал Чернец.— Придется рассчитываться не только с ним, а со всеми нами.

— Ну-ну, идите себе,— запыхтел на него Гицэ, отстраняя его рукой.— Нет у меня времени лясы точить. За этот ваш разговор вы еще перед судом предстанете. Некогда мне болтать, некогда шутки шутить. От ваших глупостей у меня голова кругом пошла. Вам это понятно? Что же вы еще хотите?

— Мы хотим знать,— решительно сказал Чернец,— почему ты в субботу поехал на большой казенной телеге во Фрэсинет и увез оттуда часть кукурузы, собранной женщинами?

— Как? Что? Я сказал вам, оставьте меня в покое! Ничего я не знаю.

— Нет, знаешь. Там, во Фрэсинете, Настасия сложила на своей земле кукурузу. Ей помогала Аннйска. Там же сложили початки и две бедные женщины — Ана и Вета. А служители примэрии по твоему приказу нагрузили и увезли часть кукурузы. Что, признаешь ты это или нет?

Помощник старосты беспокойно заерзал на стуле:

— Да видите ли...

— Брал ты кукурузу или нет? — угрожающе наседал Чернец.

— Видишь ли, я сначала не понял, о чем речь. Да, я взял долю Станки. Ведь я отделил для Настасии часть женнной земли — вот и взял немножко из урожая в уплату за аренду.

— Половина — это, по-твоему, немножко?

— Я не стал подсчитывать.

— Забрал, даже не предупредив. И это расчет? А у Аны с Ветой зачем забрал? По какому праву? Тебе же говорили Дэмиан и Сава, служители примэрии, что там сложена и кукуруза этих старух несчастных.

— А у них я взял за игру Веселина Скрипача.

— Платить музыканту должен помещик, да он к тому же удержал с крестьян за музыку.

Из собравшейся толпы послышались женские проклятия:

— Отходную бы ему сыграть!

Помощник старосты вздрогнул. При этом женском выкрике он поднял опущенную голову, да так и выпучил глаза на окна с решетками. В комнате потемнело из-за людей, собравшихся у окон. А за спиною тех, кто стоял первым, теснились другие, голова к голове, до самой улицы. Снаружи доносился неясный

рокот голосов, время от времени покрывая его, раздавались выкрики.

Напускная важность окончательно сбежала с Гицэ. Может, столько народу собралось, чтобы потребовать от него отчета за то, о чем говорил Стойка? Или пришли они по поводу наделения землей, которое все откладывалось? «Этот Кристя всегда сует меня в самое жерло пушки. Или узнали про какие-нибудь другие дела, про которые донесли им эти большевики?» Господин помощник старосты нагло полагал, что представитель власти, каковым он считал себя, может позволить себе помыкать мужичьем по примеру боярина Кристи. Его милость — сама власть: все подчиняется ему! Общественные деньги — он сам решает, кому их давать, сколько давать, ради какой выгоды задержать их по взаимному согласию с писарем и кассиром. Иначе — что это за власть, коли не приносит выгоды? Пожалуй, вздумают еще спрашивать о стоимости школьной крыши, о ремонте больницы, о мостике через Лису! Все они скоты, ни в чем не разбираются, считают, что представитель власти — это просто пешка, защитник сирот, вдов, стариков, слуга для всех. Пускай оставят его в покое — у него столько своих дел: то мельница, где его обкрадывает механик, то партия откормленных свиней, которую надо отправить в Бухарест.

— Я пошел домой, у меня и своих забот не оберешься.

Все четверо пропустили эту жалобу мимо ушей.

— Что ж теперь будем делать? — спросил Стойка, кладя ему руку на плечо и усаживая обратно на стул. Я спрашиваю про кукурузу Настасии и этих женщин. А потом мы поговорим и о другом, что тебе еще меньше понравится.

— Посмотрим, я подумаю: если все так, как вы говорите, я отдам их долю.

— Когда?

— Сейчас же. Пустите меня. Я вижу, народ собрался. Этим чего надо? Что за дело у них ко мне? Пусть придут Аниняска и старухи. Мы с ними договоримся.

— Сейчас нельзя,— напирал Стойка.— Их нету в селе. Они ушли во Фрэсинет охранять остатки от других воров.

Гицэ почувствовал бесконечную усталость. По его пухлому лицу ручьями стекал пот. Уж не собираются ли бунтовать нищие?

Он чувствовал, что эти четверо допекут его, нарочно не отпустят. Он спросил в недоумении:

— Кто-нибудь с ревизией приехал?

— Пока еще не приехал,— ответил Стойка,— но приедет по поводу раздела земли...

Гицэ вздрогнул, он опустил голову и надул губы. И надо же было, чтобы унтер-офицер Данциш уехал из села! Как бы послать весточку помещику в Хаджиу?

На дворе стемнело, с Дуная надвигались тучи, задул порывистый ветер. Вошел Раду Гурэу, посыльный, чтобы зажечь лампу. Поправив фитиль, он искоса взглянул на Гицэ, понуро сидевшего за столом.

— Я пойду домой! — решился сказать Гицэ.

Все четверо стали стеной, повернувшись к нему спинами.

После кратковременного дождя народ еще теснее набился на террасу, толпою стоял у окон: ветер утих.

В темноте на улице вдруг стало тихо, а затем послышался громкий веселый шум.

Вошел брат Анинаски, Маноле Рошиору, с кнутом в руке.

— Дождь не хлещет, так ветер засвищет,— сказал он, странно поглядывая на мельника.— Только-только привез. Входить не хочет. Есть распоряжение собраться всем селом и выйти ночью в Дрофы.

Гицэ удивленно слушал, нижняя губа у него отвисла.

Вдруг он понял. Приехал его брат, тот, от которого, он думал, осталось одно только имя. В сердце у него закололо, оно то сжималось, то расширялось. Он простонал:

— Что мне делать?

— Подымайся и пойдешь с нами в Дрофы,— ласково ответил ему Чернец.

— Я не могу.

— Сможешь.

Кто-то говорил с крестьянами на улице. Люди молча стояли в темноте. Мельник тоже прислушался, но голоса не узнал.

Это сам Митря так решил — внезапно вечером явиться в Малу Сурпат. Накануне он предупредил через капрала Сырбу Аврама. Пускай никто не знает, пускай не знает даже Настасия,— лучше, чтобы ее и в селе не было. В первую, в самую первую очередь ему нужно свершить суд и навести порядок в Дрофах, и только после этого он обнимет жену и ребенка. Он едет туда не ради того, чтобы мстить за свои несчастия, он едет не ради своей любви. Он едет ради общественных интересов, которых многие, может, и не понимают. Но уж так он решил. Так договаривался с товарищами, когда жил с ними на чужбине, что все заодно будут творить они правое дело, лишь только вернутся домой... По одному, по два собирались они, держали совет у Чернеца, хранили все в тайне, готовились и ожидали сигнала. В Бухаресте Митря задержался на день, чтобы поговорить с мастером Войку.

— Теперь мы пойдем наводить порядок,— закончил он свою речь.— До сих пор здесь был один обман.

Толпившийся на улице народ загомонил, а затем все рассыпались по домам запрягать лошадей в телеги.

В третьем часу ночи все были на дороге в Дрофы. Двигалось туда сорок телег, наполненных людьми из Малу Сурпат и с хуторов. На каждой телеге — фонарь. Товарищи по армии несли факелы. При их красном свете крестьяне могли видеть Кокора, широкоплечего, темноглазого. Время от времени и перед Гицэ возникало это угрожающее видение. Митря на него даже не взглянул, не сказал ни слова.

Гицэ напрягал слух в ожидании счастливого случая — приезда помещика Кристи с жандармами.

Так, значит, это они подстроили, чтобы Данциш именно сегодня уехал из села, но не может быть, чтобы их хитрость не открылась. Лишь только начнут эти ироды распоряжаться в Дрофах, тут, верно, и нагрянут власти. Что правда, то правда — в Малу Сурпат закон о наделении землей был выполнен только частично, и землю в Дрофах до сих пор оберегали, но за это в ответе прежде всего сам Кристя. Так пускай покажет, какова его сила. Пускай вызовет жандармов против этих бунтовщиков. Крестьян уже однажды проучили, они крепко поплатились за заварушку девятьсот седьмого года. Бог даст, и сейчас все обернется добром. Гицэ был голоден, озяб, влажный степной ветер пронизывал его до костей.

Когда подводы прибыли в Дрофы, люди зажгли костры из старой соломы и колючек и сбились вокруг, оживленно переговариваясь. Гицэ услышал несколько ругательств и по своему адресу. А Трехносого — того совсем смешали с грязью. Выбрались из своей лачужки и старик Тригля с Кицей, чтобы обнять и расцеловать своего мальчика, который столько времени пропадал, а теперь снова вернулся домой. Собрались и работники из поместья Трехносого, которые начали вторую вспашку полей, готовя их к посеву.

Перед рассветом, когда огонь спрятался под золою, настала тишина, все задремали. Только Гицэ не мог сомкнуть свои воспаленные веки. Он все время спрашивал себя и не мог ответить, что же с ним станется. Ему было ужасно жалко себя.

Вскоре поднялись дикие гуси, с гоготом они летели в вышине по ветру, стая за стаей. Митря не спал, он неподвижно лежал на куче кукурузных початков среди своих товарищей и вспоминал под крики крылатых странников ту осень, когда он лежал под навесом, а за ним ухаживала и ворожила над ним бабушка Кица.

Занялся день; восток светлел в венце из роз. Нежданные гости собрались и ожидали, когда будет наведен обещанный порядок. Бедняки и вдовы, родственники тех, кто погиб на войне, должны были стать теперь владельцами всего простора этих полей. Результаты дележа будут записаны в книге, каждому по его нуждам; затем им предстояло провести борозды, чтобы размежевать землю. Древнее запретное поле переходило, таким образом, в руки тех, кто его обрабатывал десятки лет и гнул спину на помещика. «Наши списки будут переданы туда, где пишут справедливые законы»,— заверили бедняков товарищи Митри Кокора.

После ночных разговоров некоторые прониклись еще большей ненавистью к Гицэ Лунгу и подстрекали друг друга против него. Потом, когда началось чтение списка сирот, все забыли про Гицэ и стали выводить плуги в поле.

В этот момент послышались тарахтенье коляски и конский топот. Люди заволновались, поднимая головы. Митря вышел вперед. Он догадывался, кто это едет.

— Едет боярин Кристя, едет Трехносый,— наперебой сообщило несколько голосов. Кое-кто из стариков заколебался, товарищи Митри вытолкнули их из задних рядов на видное место.

Кристя ехал в высоком шарабане, запряженном парой лошадей, по левую руку поместив Данциша, по правую старое ружье, которое он справедливо считал своим лучшим слугой. Он был в ярости и еще издали угрожающе показывал кулак. На облучке сидел Чорня, гнавший галопом белых, покрытых пеной коней. За желтым шарабаном поспешала деревенская телега с тремя жандармами. Они были вооружены, однако винтовки висели на ремнях через плечо.

Еще не остановились шарабан и телега, как львиный рев боярина Кристи разорвал тишину:

— Я вам покажу, подлецы, бандиты! За этим скверным вцем пошли, что у меня из милости хлеб ел? Вон отсюда! Чтобы через минуту я никого здесь не видел!

Кокор спокойно вышел навстречу шарабану.

— Назад, скотина! — завизжал, распаляясь, Кристя, сопровождая приказанье отборными ругательствами.— Как вы могли, дурни, пойти за таким, как он?

Митря сдержался. Он твердо сказал:

— Народ пришел взять в свои руки землю, которая принадлежит ему по закону.

— Это моя-то земля вам принадлежит?! — еще пуще заорал помещик на собравшихся.— Видишь? Слышишь? Ах, так их, растак! — добавил он в сторону Данциша.

Кокор заговорил еще решительнее:

— Партия установила справедливость. Земля принадлежит тем, кто работает.

— А я не работал?

— Нет.

Рыча, словно зверь, Кристя поднял ружье и щелкнул курками.

— Я тебе покажу закон! Я тебя в землю уложу!

В это мгновенье Чорня, словно чего-то испугавшись, натянул вожжи. Лошади поднялись на дыбы, забили копытами по воздуху и навалились на дышло. Шарабан дернулся и наклонился на сторону. Ружье выстрелило в облако, нависшее на востоке, как гневно нахмуренная бровь. Кристя чуть не вывалился из шарабана, но вскочил и опять поднял ружье.

— Что твои жандармы делают, идиот? — закричал он на Данцишa.

Как бы разыгрывая заранее подготовленные роли, товарищи Митри выхватили из-под сермяг автоматы. Люди плотным кольцом окружили телегу с жандармами. Данциш, раскинув крыльями руки, навалился на Трехносого и обезоружил его.

Наступила мгновенная тишина, сбившаяся толпа даже не переведа дыханья. Побледневший Кокор снова заговорил:

— Я пришел спрашивать расчета не за голод, не за побои, не за насмешки. Одного наказанья заслуживаешь ты, раз хвастаешься, что работал здесь. Становись с нами в ряд пахать землю.

Из толпы послышался удивленный визг:

— Да как ты смеешь, братец?

Митря обернулся и увидел надувшегося брата Гицэ — для полного сходства с ежом ему не хватало только иголок.

— Тебя — к волам, барина — к плугу! — отрезал Митря.— Ведите их.

Трехносый был вне себя от ярости. Гицэ вдруг затих, опустившись на колени.

Люди задвигались, беспричинно смеясь и все дальше оттесняя жандармов. Под присмотром Григоре Алиора тронулся первый плуг, прокладывая борозду надела. Медленно двинулся он навстречу заре, обогнул кустарник, остановился ненадолго и опять двинулся. Когда он спустился в ложбинку, люди потеряли его из виду, потом снова увидели, уже на обратном пути. Возвращение плуга прерывалось более долгими остановками. Помещик Кристя падал, резким окриком подхлестывал его Алиор, и тогда он становился на колени, потом на четвереньки, затем, с огромным трудом, на ноги. Через десять шагов он падал снова. Гицэ еле подымал тяжелую, словно чужую голову. Он тоже падал на колени,

извиваясь, как червь. Когда они добрались до землянки, людям пришлось их подхватить и поддержать, словно какие-то огородные пугала. Кровавый пот стекал с них. Ладони Трехносого были в сплошных ранах и волдырях.

— Оставьте меня, преступники. Я всех вас в тюрьму упеку! — рычал он в зверином отчаянье.

Тогда к господину Кристе подошла Ана Зевзяка и грозно сказала, стиснув от ненависти губы и качая головой:

— Ну, ну! Выблевывай теперь, волк, то, что сожрал!

Кучер Чорня сурово смотрел на позор своего хозяина; потом отвернул голову и сплюнул.

Злосчастный плуг двинулся еще раз. За ним тронулись и другие. Провел борозду и Митря; когда он возвращался, рубашка на его груди была распахнута, голова обнажена. Его ласкал прохладный осенний ветер.

Он остановился отдохнуть у Овечьего колодца, и тут к нему стрелой бросилась Настасия. Правой рукой прижимая к груди своей ребенка, левой она обхватила Кокора за шею и в бурных словах и ласках, рыдая и смеясь, выказала перед всем миром любовь к Митре.

У ее Митри лоб был в морщинах и виски поседели. Ее Митря сдерживался перед лицом всего села, и она тоже умерила свои страстные излияния. Она протянула ему ребенка и успокоилась.

Передача пустоши Дрофы крестьянам была только началом. Митря Кокор всем своим существом еще помнил то, что ощутил в колхозе «Память Ильича», в селе Тарасовке, когда был и учеником и военнопленным в Советском Союзе. Здесь, в Малу Сурпат, как и во всей стране, были еще живы старые порядки. Вид деревень и полей остался таким же, как сотни лет тому назад; люди привязаны к допотопному плугу и к полоскам земли, разделенной межами, к трудовым навыкам предков; люди замкнуты в своей бедности, отделены от своих собратьев, с которыми разделяют тяжелое ярмо рабства.

Достижения науки во всех областях жизни остаются еще чуждыми этим людям, живущим в прошлом. Новый мир пользуется тракторами, самолетами, электричеством; бесплодные земли теперь родят, оплодотворенные орошением; меняется лицо земли благодаря искусству инженеров: колючки и сухие кустарники вытесняются полезными растениями; болота осушаются, а где были одни пески — появляются леса.

Люди же из Малу Сурпат вянут в тени былого.

У них должна произойти революция. Старые порядки должны быть полностьк низвергнуты. Социалистическое государство не замедлит отдать в распоряжение бывших рабов все силы науки,

чтобы там, где теперь дорожная грязь и лачуги, возникли шоссе и дома, освещенные электричеством; там, где нынче свирепствует засуха, потекла по каналам животворящая вода; там, где сегодня человек работает из последних сил, машины облегчили труд.

Распрощаться с прошлым, перейти в новый век, наступивший для человечества!

Все это мерцало перед Митрей, словно блуждающие огоньки, когда он держал на руках ребенка, переданного ему женой. Легкий степной ветерок защекотал в носу у малыша, заставил его чихнуть и открыть глаза. Теперь он улыбался октябрьскому солнцу.

— Будущее принадлежит тебе...— вздохнул Кокор и улыбнулся незабываемым картинам, которые унес с собою из своих странствий по новой стране, стране социализма.

Настасия думала, что он улыбнулся ей, и сразу же почувствовала себя счастливой.

— За то, что я не сдержал гнева,— сказал Митря,— дам ответ только перед теми, кто вправе меня судить.

— За что же теперь примемся мы? — спросил, подходя к нему, Лае Бедняк.

Митря дружески похлопал его по плечу и ничего не ответил. Его землякам еще предстояло пройти тернистый путь познания.

М. Садовяну
«Митря Кокор»

ЛИВИУ РЕБРЯНУ
ВОССТАНИЕ

10 М. Садовяну, Л. Ребряну

ПЕРЕВОД А. САДЕЦКОГО

СТРАНА ВСКОЛЫХНУЛАСЬ!

ГЛАВА I
ВОСХОД

1

— Вы совсем не знаете румынского крестьянина, если так говорите! Или же знаете его по книгам да по речам ораторов, что еще хуже, потому что вы представляете его себе каким-то мучеником, а на самом деле наш мужик просто злобен, глуп и ленив.

Илие Рогожинару закончил, убежденно отдуваясь, большим пестрым платком вытер придававшую ему благообразный вид лысину и с досадой дернул себя за густые, свисающие усы, которые то и дело лезли ему в рот. Арендатор поместья Олепа в уезде Долж Рогожинару весь заплыл жиром; у него большой живот, бычий затылок, круглая голова, карие, бегающие глаза, а лицо — веселое, жизнерадостное.

Окинув взглядом соседей по купе, он понял, что не убедил их, и стал отдуваться еще громче. Один из собеседников, кокетливо одетый Симон Модряну, начальник управления в министерстве внутренних дел, чуть откашлялся, чтобы прочистить горло, и поучительно заявил:

— Видите ли, сударь... уважаемый господин Рогожинару, бесспорно одно: мы все, все до одного, живем за счет тяжелого труда этого мужика, каким бы злобным, глупым и ленивым вы его ни считали!

Слова Модряну до того изумили арендатора, что он даже не нашел слов для возражения, а лишь снова вытащил платок и

вытер лоб. В купе вошел контролер и весьма учтиво, как и подобает при обхождении с пассажирами первого класса, попросил предъявить билеты. Рогожинару посветлел, словно нежданно-негаданно увидел свое спасение.

— Значит, подъезжаем, начальник? Браво! Быстро примчались, ничего не скажешь...

— Только что проехали Китилу,— улыбнулся в ответ контролер, отбирая билеты у пассажиров.

Рогожинару порылся в большом, величиной с портфель, бумажнике, вытащил какой-то желтый листок и гордо протянул его контролеру:

— Держи, начальник... В наше тяжелое время каждый старается хоть на толику сэкономить. Не рухнут же небеса, если порядочный человек бесплатно прокатится в поезде.

Никто не улыбнулся, кроме контролера, который по-военному поднес пальцы к козырьку и вышел. Арендатор, засуетившись, бросился собирать багаж — многочисленные чемоданы, корзинки, свертки, пакеты, которые он рассовал по всему купе, благо у соседей вещей почти не было. Модряну еще раньше положил себе на колени свой чемоданчик из прекрасной кожи с вставленной на видном месте визитной карточкой. У высокого, с испуганным выражением лица, жандармского капитана, который вошел в вагон в Гэешти, не было ничего, кроме сабли и папки, а смуглый молодой человек, с коротко подстриженными на английский манер черными усиками, поставил свой небольшой саквояж на столик у оконца купе.

Поезд грохотал и ревел, извергая клубы дыма, как апокалипсический зверь. Модряну теперь жалел, что снизошел до разговора со столь вульгарным человеком. Капитан с любопытством и нескрываемым восхищением наблюдал за хлопотами Рогожинару, а молодой человек после ухода контролера не отводил глаз от окна, за которым вырисовывались очертания столицы. Вдоль колеи железной дороги то и дело возникали и тут же исчезали рекламы, установленные либо на специальных столбах, либо на глухих стенах редких домов. Железнодорожных путей становилось все больше, рельсы сближались, перекрещивались, переплетались. Колеса все чаще постукивали на стыках, уверенно переходя с одного пути на другой. Затем потянулись грязные окраины с немощеными улицами и обветшалыми замызганными домишками, резко диссонировавшие с величественными силуэтами далеких дворцов.

Заставив своим драгоценным скарбом все свободные сиденья и даже вытащив в коридор две корзины, для которых в купе уже не нашлось места, арендатор с трудом примостился в уголке около

чемодана и, возобновив прерванный разговор, обратился на этот раз к молодому человеку, смотревшему в окошко.

— Вы, сударь мой, не сомневайтесь, с мужичьем дело обстоит точь-в-точь как я вам говорю... Можете мне поверить на слово, у меня огромный опыт во всех этих делах с крестьянами и сельским хозяйством. Мне через год шестьдесят стукнет, и сорок лет из них я прожил в деревне, загубил на этих дикарей. Начал я с самых низов, как положено, а когда мне исполнилось тридцать, то уже арендовал в уезде Телеорман именьице в пятьсот погонов с лишком. С тех пор прошли через мои руки и поместья покрупнее, так что я крестьян знаю как облупленных, мало кто со мной может в этом потягаться. Я не говорю, как некоторые, что все крестьяне негодяи. Избави бог, я христианин, и за такие слова господь меня бы покарал. Но, положа руку на сердце, скажу лишь одно: не дай бог попросить помощи у мужика, потому что мужик набросит на тебя удавку, как раз когда тебе туго придется.

Заметив, что никто, даже капитан, его не слушает, а поезд между тем замедляет ход, Рогожинару снова вспомнил о багаже и совсем уж собрался выйти в коридор, чтобы быть поближе к выходу и наверняка захватить носильщика и пролетку. В дверях купе он, однако, задержался, решив попрощаться с соседями. В первую очередь он протянул руку Модряну, с которым ехал от самой Крайовы и считал, что наладил с ним отношения достаточно дружеские, чтобы можно было обратиться к нему за поддержкой, если придется проворачивать какое-нибудь дельце в министерстве внутренних дел. С молодым человеком, который сел в поезд в Костешти, Рогожинару беседовал меньше и даже не познакомился с ним, но все-таки решил, что на прощание следует узнать, с кем пришлось вместе ехать.

— Разрешите представиться, сударь,— развязно сказал он,— я Илие Рогожинару. Очень рад, что нам довелось путешествовать вместе, хотя мы и разошлись во мнениях.

Молодой человек слегка приподнялся, нехотя пожал протянутую руку и сухо ответил:

— Григоре Юга.

Арендатор вздрогнул, выпрямился и радостно воскликнул:

— Юга?.. Вы сказали Юга?.. А вы, часом, не сынок ли самого господина Мирона Юги из Амары?

— Совершенно верно! — улыбнулся собеседник, несколько удивленный бурным восторгом арендатора.

— Ну и чудеса!.. Так я же наслышан о вашем батюшке с самого раннего детства; а мы, должно быть, одного с ним возраста! Ведь лет двадцать пять тому назад я арендовал имение по соседству с вашим поместьем в Амаре. Как поживает господин Мирон?

В добром здравии?.. Вот это настоящий человек, ничего не скажешь!..— гордо добавил Рогожинару, проворно повернувшись к жандармскому капитану и Модряну.— Настоящий барин, не чета той шушере, что заполонила теперь все деревни и города! Ну, желаю вам всяческих благ! — приветливо обратился он к Юге.— Ба, мы уже приехали!.. Дай бог долгих лет жизни, сударь, вам и вашему батюшке, распрекрасный он человек!

Рогожинару еще раз энергично пожал руку Григоре Юге и, схватив какую-то корзиночку, по-видимому, самую ценную, выскочил в коридор, небрежно кинув на ходу капитану: «Привет, привет!» Модряну, с чемоданчиком в руках, неторопливо ждал, пока арендатор попрощается и даст ему возможность выйти из купе. Так как он с Югой официально не знакомился, то ограничился равнодушным поклоном и вышел следом за Рогожинару, который торчал уже в самых дверях вагона.

— Кто этот субъект, господин Рогожинару? Вижу, что знакомство с ним вас чрезвычайно обрадовало,— поинтересовался Модряну, придвинувшись вплотную к арендатору, так как пыхтение паровоза под куполом вокзала заглушало голоса.

— А как же, сударь! — с готовностью согласился Рогожинару, всем своим видом выражая даже большее восхищение, чем при разговоре с молодым Югой.— Ведь у них семь тысяч погонов первосортной земли в низовье Арджеша, недалеко от Телеорманского уезда!.. Семь тысяч, господин Модряну, понимаете, семь тысяч!.. И других таких рачительных хозяев не сыщете во всей Мунтении. Старик скорее руку себе отрубит, чем сдаст в аренду хоть клочок земли. Где теперь встретишь такого?.. Ну, мы наконец приехали! Прощайте, сударь, надеюсь, еще повстречаемся в добром здравии! — закончил арендатор, распахнув дверь вагона, и закричал: — Эй, носильщик, носильщик!.. Сюда, парень!!! Сюда, сюда! Ты что, не слышишь? Оглох, что ли? Да куда глаза таращишь, разиня? Не видишь меня? Совсем ослеп?

Паровоз тяжело отдувался, словно выбившись из сил. Его шумные вздохи и голоса пассажиров и встречающих наполняли вокзал резким, слитным гулом, из которого выделялись взрывы смеха, веселые возгласы, звонкое чмоканье поцелуев и громче всего настойчивые крики тех, кто звал носильщиков. Пассажиры спешили к выходу, многие несли свои чемоданы сами, лишь за некоторыми следовали нагруженные носильщики. Все торопились, кое-кто бежал, словно за ним гнались.

Григоре Юга спокойно стоял в купе, ожидая, пока выйдут пассажиры, забившие коридор. Из окошка купе он увидел Модряну, который отмахивался от носильщиков, назойливо предлагавших свои услуги, высокого капитана, который растерянно оглядывался

по сторонам, словно кого-то разыскивая, коренастого Рогожинару, переваливавшегося, как утка, вслед за человеком, навьюченным его чемоданами и узлами. При этом арендатор так громко и энергично поучал посыльщика, что, казалось, голос его заглушает весь гул вокзала.

Когда суматоха несколько улеглась, Юга вышел из вагона, с трудом раздобыл пролетку и приказал отвезти себя домой, на улицу Арджинтарь. Экипаж загрохотал по широкой, грязной и шумной Каля Гривицей, по обеим сторонам которой впритык шли лавки и лавчонки. В дверях торчали продавцы и зазывалы, они рьяно уговаривали колеблющихся прохожих, пытаясь во что бы то ни стало затащить их внутрь. На этой же улице скучились десятки грязных, неудобных, но довольно дорогих гостиниц, постоялых дворов и харчевен, широко открытых для бесконечных потоков пассажиров, которые Северный вокзал денно и нощно вливал в столицу. На широких тротуарах суетилась по-восточному пестрая толпа: рабочие, служащие, крестьяне, жмущиеся стадом, как испуганные овцы, служанки в национальных венгерских нарядах, тщедушные солдаты, подозрительные девицы с ярко накрашенными лицами, строящие глазки всем встречным мужчинам, дурачащиеся, толкающие прохожих, ученики ремесленных училищ и гимназисты, болгары, продавцы прохладительных напитков с оловянными бубенцами на кувшинах, турки, торгующие тянучками и нугой...

Пока пролетка катилась по булыжной мостовой, Григоре Юга, как всегда, когда он возвращался из имения в Бухарест, с какой-то робостью рассматривал людской муравейник, кишащий на шумных улицах. После тихой жизни в поместье лихорадочная городская сутолока утомляла и удручала его, в особенности на первых порах, пока он к ней не привыкал.

На бульваре Колця, не доезжая до Арджинтари, одна из лошадей поскользнулась и упала. Извозчик разразился проклятиями и принялся стегать ее кнутом, но, увидев, что это не помогает, спрыгнул с козел и стал выпрягать... До дома оставалось не больше ста метров, поэтому Юга слез с пролетки, расплатился и пошел пешком.

Второй дом на улице Арджинтарь принадлежал ему, вернее, Надине, его жене. От монументальных ворот тянулась металлическая решетка с позолоченными остриями наконечников. Перед домом был разбит тщательно ухоженный сад с цветочными клумбами и дорожками, посыпанными гравием. Двухэтажный дом обращал внимание прохожих своим крикливым убранством, и в первую очередь — лестницей красного мрамора, над которой нависала огромная раковина из блестящего стекла.

2

Войдя во двор, Григоре Юга увидел на лестничной площадке высокого, белокурого молодого человека, о чем-то говорившего со слугами.

Лакей, выряженный в нелепую ливрею (выдумка Надины), побежал навстречу хозяину и доложил, что незнакомец приехал из Трансильвании и наведывается к ним уже не первый раз, разыскивая господина Гогу. Молодой человек спустился по ступенькам и направился к Юге, а как только лакей унес саквояж хозяина, снял шляпу и смущенно пробормотал:

— Разрешите представиться — Титу Херделя, поэт...

Григоре удивленно улыбнулся, и эта улыбка еще больше смутила гостя. Его твердый, высокий воротник был повязан голубым в белую крапинку бантом. Он переложил шляпу в левую руку, безуспешно пытаясь улыбнуться в ответ. После короткого молчания, показавшегося ему вечностью, Херделя собрался с духом, неуверенно надел шляпу, словно не зная, вежливо ли он поступает, и продолжал взволнованным голосом:

— Извините, сударь, за то, что застали меня здесь, у вас, но меня настоятельно приглашал сюда еще этим летом, то есть месяца два тому назад, господин депутат Гогу Ионеску, когда он находился на водах в Сынджеоерзе, в Трансильвании...

— В Трансильвании, вы говорите? — заинтересованно переспросил Григоре.

Приободрившийся собеседник поспешно подтвердил:

— Да, да, в Трансильвании... Я даже могу добавить, что мы с господином депутатом до некоторой степени в родстве, потому что, не знаю, известно ли вам это... моя сестра Лаура замужем за священником Джеордже Пинтя из Сэтмара, а сестра Джеордже — жена господина депутата Ионеску.

— Ах, вот оно что! — тепло воскликнул Юга и крепко пожал руку нового знакомого.— Очень приятно!.. Но раз так, то мы с вами тоже до какой-то степени в родстве, как вы изволили выразиться, ибо моя супруга — сестра Гогу Ионеску.

Титу Херделя, улыбаясь, кивнул головой. Все родственные отношения были ему хорошо известны. Он уже несколько раз заходил сюда в поисках Гогу Ионеску и разузнал у слуг все, даже с излишними подробностями.

Григоре понравилась скромная внешность молодого Херделя, и в особенности его застенчивость, которую тот тщетно пытался скрыть. Ведь и он сам был или, во всяком случае, считал себя таким же беззащитным, когда сталкивался с непредвиденными об-

стоятельствами. Он взял Титу под руку, как старого друга, и предложил:

— Раз уж мы встретились, зайдемте ко мне наверх, посидим, побеседуем.

Титу покраснел от удовольствия.

Они поднялись по ступенькам до площадки, над которой нависала раковина. Здесь Григоре задержался, чтобы сообщить новому знакомому, кому принадлежит дом, а главное, объяснить, что он не несет никакой ответственности за все безвкусные архитектурные украшения. Здание состояло, по существу, из двух совершенно изолированных строений, лишенных, однако, отдельных боковых входов и объединенных общим фасадом с одной парадной дверью. Тесть Григоре, построивший дом лет десять назад, пожелал во что бы то ни стало снабдить его монументальной лестницей из красного мрамора, увенчанной огромной раковиной, точь-в-точь как у Набоба, хотя дворец,— как называл старик свой новый дом,— был предназначен двум его отпрыскам, когда тем придет время вить свое гнездышко. А вот теперь Надина, жена Григоре, жалуется и обвиняет старика в том, что он выстроил дом таким образом нарочно, чтобы всем живущим удобнее было непрерывно шпионить друг за другом. Огромная дубовая дверь, покрытая железной вязью, на вид объединяла здание, но в действительности разделяла его: правая створка вела во владения Гогу Ионеску, а левая, широко распахнутая сейчас лакеем,— в покои Надины.

— Моя жена уже три месяца за границей, и весь дом пересыпан нафталином,— продолжал Юга, провожая своего гостя через холл на второй этаж, где Григоре временно устроили спальню, в которой он располагался всякий раз, когда приезжал в Бухарест в отсутствие Надины.— А кроме того, я становлюсь столичным жителем лишь на зиму, да и то с перебоями. Все остальное время провожу в деревне, не только потому, что это необходимо, но и потому, что там я себя чувствую лучше, чем где-либо. А вот моя жена ненавидит деревню в такой же мере, в какой я не переношу города. Присаживайтесь, прошу вас! Вы уж меня извините, но, пока мы беседуем, я приведу себя немного в порядок. Сейчас половина второго, а в три часа я должен встретиться с одним хлеботорговцем. Только-только успею зайти в ресторан перекусить.

Титу Херделя тут же обстоятельно рассказал, что вот уже почти месяц, как он приехал в столицу, питая большие надежды на помощь Гогу Ионеску. Тот посулил устроить его в редакцию газеты и таким образом дать ему возможность осуществить заветную мечту — посвятить себя литературе. Но в Бухаресте Титу ждало горькое разочарование — Гогу Ионеску укатил за границу. Хуже всего то, что время проходит, а он уже истратил более трети

той скромной суммы, которую привез из дому. Теперь он боится, что в бесплодном ожидании проест и остальные деньги, так и не сумев нигде пристроиться и в конце концов окажется нищим на чужбине.

— Мне бы не хотелось разрушать ваши иллюзии,— заметил успевший привести себя в порядок Григоре,— но мой милейший шурин не совсем то лицо, на которое можно возлагать серьезные надежды. Он человек симпатичный и душевный, но несколько ленив и пассивен, вот если бы за него взялась жена, он, быть может, что-нибудь и предпринял. Лишь она одна обладает чудесным даром пробуждать его дремлющую энергию.

Херделя на какую-то долю секунды испугался, но тут же вновь воспрянул духом.

— Раз так, то у меня еще остается искорка надежды. Этим летом моя родственница отнеслась ко мне на редкость благосклонно.

— Надеюсь, что не слишком,— улыбнулся Юга.— Гогу ревнив, как турок, и способен выслать вас из страны, если ему покажется, что...

Необыкновенная красота Еуджении еще летом произвела на Титу огромное впечатление, и он лелеял мечту, что когда-нибудь она упадет к нему в объятия, покоренная его стихами. Но даже сама мысль использовать чувства любимой женщины ради достижения каких-либо материальных выгод показалась Титу до того постыдной, что он побледнел как полотно. Григоре заметил огорчение гостя и постарался его успокоить.

— Вы наивны, мой друг, и я очень боюсь, что здесь вам не удастся сделать карьеру. В наши дни для того, чтобы выдвинуться, необходимы бесцеремонность, цинизм, наглость. Люди совестливые и щепетильные неизбежно будут стерты с лица земли теми, кому подобные романтические сантименты неведомы даже понаслышке.

Собравшись уходить, Григоре взял портфель и прибавил уже совсем другим тоном:

— Вы обедали?

— Нет еще,— пробормотал удивленный Титу.

— Если ничего не имеете против, пообедаем вместе.

Хотя приглашение очень польстило Титу, он все же отказался под предлогом, что столуется в одном трансильванском семействе, а так как не предупредил хозяев, то они будут его ждать с обедом, и ему не хотелось бы... В действительности же его тревожило отнюдь не беспокойство, которое он мог бы причинить хозяевам, а просто он был плохо одет и ему стыдно было идти с Григоре Югой в фешенебельный ресторан. Праздничный костюм Титу теперь

почти не носил, стараясь сберечь его до тех пор, пока не появится возможность заказать новый. Впрочем, Григоре пригласил гостя только из вежливости, так что не настаивал и поспешил добавить:

— Понятно, понятно... Но все-таки мы обязательно должны еще повидаться. Знаете что?.. Поужинаем вечером вместе. Хорошо? До вечера вы успеете предупредить своих хозяев, да и я буду свободнее и спокойнее... Ну вот и хорошо! Встретимся в ресторане, у Енаке! Знаете, где это?.. На улице Академии. В восемь часов!.. Жду вас!

3

Титу Херделя помчался домой, как на крыльях. При виде его сияющей физиономии и сдвинутой набекрень шляпы прохожие оборачивались и провожали его взглядом, словно пьяного. Сердце молодого человека бешено колотилось. Он непрерывно бормотал:

— Наконец-то, слава богу!.. Какой чудесный человек! Сразу видно, настоящий барин... Наконец, кажется, бог смилостивился и пришел мне на помощь...

С улицы Романэ он вышел на Каля Викторией, откуда свернул на улицу Верде, чтобы быстрее добраться до Бузешти. Там он снимал меблированную комнату, а столовался по соседству в семействе Гаврилаш.

Уроженец амарадского края в Трансильвании, Гаврилаш обосновался в Румынии лет десять назад и теперь служил в столичной полиции тайным агентом по проверке гостиниц. С отцом Титу, учителем Захарией Херделей, он дружил давно, еще со школьной скамьи. Когда в одно прекрасное утро Гаврилаш обнаружил в реестре лиц, проживающих в гостинице «Инглиш», фамилию Херделя и увидел, что ее обладатель совсем недавно приехал из Трансильвании, то сразу догадался, что это сын Захарии. Не колеблясь ни минуты, он поднялся в комнату Титу, разбудил его, пожелал успехов в столице и предложил свои дружеские услуги, выразив готовность помочь молодому человеку и даже взять его под свое покровительство, чтобы того не обобрали, как всех приезжающих в этот красивый, но страшно развращенный город. Господин Гаврилаш в тот же день подыскал для Титу хорошую и дешевую комнатку, рядом со своей квартирой, а вечером отвел его туда и устроил. Затем пригласил к себе поужинать и познакомиться с женой. В семействе Гаврилаша была и жиличка — ученица профессиональной школы Марноара Рэдулеску, миловидная восемнадцатилетняя девушка, шаловливая и резвая, как белка. Из-за нее господин Гаврилаш не мог предложить Титу поселиться у него в доме. Госпожа Гаврилаш — маленькая, толстая, с крас-

ным, вечно лоснящимся лицом, считала, однако, что могла бы прекрасно приютить и господина Титу. Ведь в комнате жилички две кровати, так что молодые люди чудесно бы ужились, тем более что оба они такие скромные. Но господин Гаврилаш воспротивился, утверждая, что это выглядело бы неприличным и дало бы пищу для сплетен...

А через несколько дней Титу, который никак не мог привыкнуть к бухарестской кухне, договорился с госпожой Гаврилаш, что за скромную плату будет столоваться у нее. Теперь Титу приходил к Гаврилашам ежедневно, и как-то раз Мариоара призналась ему, что плохо подготовлена по румынскому языку и ей необходимо серьезно подзаняться с репетитором. Титу галантно предложил свои услуги,— разумеется, бесплатно, к великому удовлетворению госпожи Гаврилаш, которая любила Мариоару как родную дочь и очень хотела, чтобы та успешно сдала все экзамены. Первый урок состоялся в тот же вечер после ужина в комнате Титу, где было спокойно и никто не мешал. Урок затянулся за полночь. На второй день молодой человек объяснил встревоженной госпоже Гаврилаш, что девушку пришлось так долго задержать, потому что она действительно плохо подготовлена. Мариоара, в свою очередь, заявила, что лучших уроков ей никто никогда не давал и она будет очень рада, если Титу уделит ей побольше времени и как следует подготовит к экзаменам.

Титу застал хозяев уже за кофе.

— А мы уж решили оставить вас без обеда! — приветствовал его господин Гаврилаш, неторопливо попыхивая аккуратно скрученной сигаретой.

— Это Мариоара во всем виновата, господин Титу,— извинилась госпожа Гаврилаш, искоса поглядывая на лукаво улыбающуюся девушку.— Так и заладила — умирает, мол, с голоду и не желает больше ждать никого, даже самого принца...

Титу чувствовал себя до того счастливым, что не мог больше сдержаться. Он бросился к Мариоаре, сжал ее в объятиях и принялся горячо целовать в губы, глаза, щеки, пока не растрепал всю и вдобавок не перевернул ее чашку кофе на свежую скатерть, только недавно тщательно выстиранную и выутюженную хозяйкой.

— Ну, это уж ни на что не похоже! — рассердился господин Гаврилаш, убирая подальше от опасности свою собственную чашечку. Жена его в отчаянии ломала пальцы, не в силах произнести ни слова перед лицом разразившегося бедствия.

Но девушка казалась польщенной этим взрывом и приняла град поцелуев, воркуя, как горлица.

— Победа, господин Гаврилаш! — воскликнул в конце концов Титу, торжественно швырнув на кровать шляпу, и тут же выло-

жил одним духом все — как он встретил Григоре Югу, о чем они беседовали, как он чуть было совсем не пропустил их обед и как на ужин его пригласили в ресторан Енаке.

Неловкость с перевернутой чашкой кофе и испорченной скатертью была тут же прощена и забыта. Когда-то господин Гаврилаш в течение нескольких лет служил чем-то вроде помощника управляющего поместьем в уезде Влашка, скопил там немного деньжат и с тех пор питал огромное уважение к помещичьим хозяйствам, расценивая их как единственные серьезные учреждения в Румынии. Всем остальным он был вечно недоволен, так как за три года работы в полиции не продвинулся в должности ни на одну ступеньку, хотя своим трудолюбием и знаниями с лихвой заслужил повышение. Вот что значит не иметь протекции, как другие сослуживцы!

— Если вам удастся хоть на годик-два пристроиться управляющим в его поместье, то большего счастья и не надо, сразу на ноги встанете! — задумчиво пробормотал господин Гаврилаш, бросив восхищенный и в то же время слегка завистливый взгляд на Титу, который уплетал за обе щеки трансильванское жаркое, специально для него подогретое.

Господин Гаврилаш был такой же низкорослый, как его жена, густые усы были слишком длинны для его роста, лоб всегда сморщен, а лицо — багровое, словно он выкрасил его для циркового представления.

Все принялись подробно обсуждать заманчивые перспективы, открывающиеся перед Титу. В разговор вмешалась госпожа Гаврилаш и поделилась своими скромными воспоминаниями об управляющем из Влашки. Одна лишь Мариоара молчала, изредка смешливо фыркала и обстреливала Титу шариками из хлебного мякиша, на что он, поглощенный серьезными вопросами, не обращал никакого внимания.

Постепенно, однако, энтузиазм, вызванный радужными проектами, пошел на убыль. Гаврилаш, привыкший после обеда часок подремать, начал зевать и наконец, отдуваясь, растянулся на кровати. Мариоара убежала в школу, хозяйка принялась за мытье посуды. Титу помчался домой, чтобы как следует подготовиться к ужину в ресторане.

Комната, которую снимал Херделя, находилась в соседнем доме. Покосившаяся деревянная калитка вела в длинный, грязный двор, забитый несметным количеством хибарок и каморок, которые все сдавались жильцам. Выходящая на улицу квартира из двух комнат, разделенных коридором, принадлежала Елене Александреску, еще привлекательной женщине лет сорока с небольшим, вдове офицера, которого она в своих воспоминаниях произ-

водила то в майоры, то в полковники, хотя скончался он в чине лейтенанта. Теперь она проживала в первой комнате вместе с Жаном Ионеску, молодым смазливым переписчиком из министерства внутренних дел. В коридоре стояли два сундука с книгами — библиотека врача Василе Попеску из Питешти, мужа Мими, дочери госпожи Александреску. Титу занимал заднюю комнату, вся обстановка которой состояла из железной кровати, умывальника, круглого стола, обветшалого шкафа и каких-то статуэток, торжественно нареченных «фамильными безделушками». Оба окошка выходили во двор, где жили — старый сапожник еврей Мендельсон с пятью детьми, старший из которых отбывал воинскую повинность в артиллерийской части и должен был вот-вот демобилизоваться, пирожник-болгарин, державший лавчонку по соседству, недавно овдовевший портной с четырьмя маленькими ребятами и чиновник на пенсии с молодой женой и жильцом-студентом...

Еще во дворе Титу услышал веселое щебетание госпожи Александреску и понял, что Жан, наверно, ушел на службу. Дверь в коридор была широко распахнута, и хозяйка, орудуя пуховкой и губной помадой, прихорашивалась перед зеркалом, напоминая старую, но все еще кокетливую голубку.

— Целую ручку, госпожа Александреску! — вежливо, как всегда, приветствовал ее Титу, достал из кармана ключ и сунул его в замочную скважину. Затем распахнул дверь и с порога швырнул шляпу на стол.

— Здравствуйте, здравствуйте, сударь!..— приветливо ответила хозяйка, души не чаявшая в своем обходительном жильце.— Куда вы торопитесь? Заходите на минуточку, не бойтесь, я вас не съем,— добавила она голосом охрипшей сирены, продолжая раскрашивать лицо.— Я сейчас одна, Женикэ, бедняжка, ушел к себе в министерство... Да зайдите же, не бойтесь! Женикэ меня не ревнует, хотя буквально боготворит...

Тут она вспомнила, что постель измята, и кинулась ее оправлять, поясняя с горделивым удовлетворением: — Вы сами знаете, какие мужчины озорники... Уж до того настойчивы, что никак от них не отделаешься.

Титу смутился и, стремясь перевести разговор на другую тему, поспешил сообщить хозяйке, что вечером он, быть может, придет домой поздно, так как будет ужинать с одним знакомым в ресторане, у Енаке.

— Ах, у Енаке, как чудесно кормят у Енаке! — мечтательно вздохнула госпожа Александреску.— Я была там последний раз еще при жизни покойного супруга...

Затем она принялась превозносить до небес достоинства своего бедного мужа, безвременно усопшего во цвете лет, и тут же

вытащила его фотографию, чтобы показать Титу, каким он был красивым мужчиной. Рассказала, что только благодаря сколоченному ей приданому удалось выдать замуж Мими, так как после всех пережитых несчастий и бед не было ни малейших шансов сбыть дочь с рук без приданого. Наконец, закончив размалевывать лицо, госпожа Александреску подробно поведала Титу, сколько упреков, ссор, чуть ли не скандалов пришлось вытерпеть Женикэ от его родителей. Они, правда, люди очень приличные, но в некоторых вопросах безнадежно старомодные: ни за что не хотели примириться с тем, что их сын сошелся с ней, и приложили все усилия, стараясь женить его на какой-то уродке, которую почему-то считали блестящей партией. Но Женикэ, когда надо, человек волевой и твердый, хотя в общем-то он на редкость ласковый и мягкий. Вот он и заявил старикам категорически, что скорее порвет всякие отношения со своей семьей, чем разлучится с любимой, которая не только «роскошная женщина», но вдобавок самозабвенно за ним ухаживает и любит его по-настоящему. Поняв это, родители должны были уступить, и теперь они с ними добрые, даже близкие друзья.

Кроме всего прочего, из-за Женикэ у нее крупные неприятности с зятем. Мими, конечно, ничего не имеет против счастья матери, она прекрасно знает, как много пришлось ее бедной мамочке выстрадать и принести жертв, так что та вправе хоть теперь пожить в свое удовольствие, вкусить радости жизни. Но ее зятек — настоящий деревенщина, с допотопными нравами и понятиями, и вот он заявил, что не переступит порога дома, пока Женикэ оттуда не уберется, потому что не желает иметь ничего общего с этим котом. «Подумать только: обозвать Женикэ котом... ведь он служит в министерстве...» Зять запретил даже Мими общаться с матерью, и теперь, когда ее любимая птичка приезжает в Бухарест, она вынуждена лишь украдкой встречаться со своей мамочкой, которая ее родила и вырастила.

— Ох, боже, боже, как дорого же приходится расплачиваться за ту малую толику счастья, что суждена человеку в жизни! — растроганно вздохнула в заключение госпожа Александреску.

Титу смутился, слушая эти интимные признания, и окончательно пришел в замешательство, когда узнал все печальные подробности. Он медленно поднялся, подыскивая нужные слова, чтобы хоть как-то облегчить горе хозяйки, но госпожа Александреску тут же сама воспрянула духом и принялась восторженно расхваливать свою дочь, ее красоту, ум, обаяние, обещая Титу, что обязательно познакомит его с Мими, и он сумеет убедиться, какое это очаровательное существо... Изнывая от безделья, госпожа

Александреску готова была проболтать с молодым человеком до поздней ночи, как, впрочем, уже поступала не раз, но сегодня Титу сидел как на иголках. Ему не терпелось тщательно приготовиться к вечерней встрече, которая могла сыграть в его жизни решающую роль, и он ломал себе голову, не зная, как уйти, не обидев хозяйки. Неожиданно во дворе кто-то звонко выкрикнул его имя:

— Где здесь проживает господин Титу Херделя?

— Он в квартире, что выходит окнами на улицу,— тотчас же ответили несколько голосов.

— Это почта,— пояснила госпожа Александреску.

Титу выскочил в коридор навстречу почтальону. Первое письмо из дому с тех пор, как он переехал в Бухарест!.. Охваченный внезапным волнением, он торопливо попрощался с госпожой Александреску, вбежал к себе и разорвал конверт. Не отрываясь, прочел он все шесть мелко исписанных страниц, на которых госпожа Херделя, в присущем ей евангельском стиле, пересыпая повествование поучениями, изречениями и мудрыми советами «дорогому, заброшенному на чужбину сыночку», писала обо всем том, что произошло в их краях после его отъезда, начиная со смерти Иона Гланеташу и кончая помолвкой сестренки Титу Гигицы с учителем Зэгряну.

«...Но венчание будет только после рождества Христова, чтобы успеть достойно подготовиться. Мы отдадим им дом в Припасе, дабы он больше не пустовал и принес им счастье, как принес когда-то нам... Очень будет нам отрадно, если ты, сынок, тоже приедешь на свадьбу, а то бедная девочка уже теперь плачет при одной мысли, что вдруг ты не сможешь приехать. Но для тебя главное — быстрее наладить свою жизнь. Постарайся пристроиться на хорошее место и, главное, не теряй надежды на всевышнего, ибо господь бог не оставляет милостью своей праведников и верующих. Ты, дорогой сынок, должен запастись терпением, ведь у вас там тоже не текут молочные реки, но человек должен не отчаиваться, а бороться со всеми трудностями, пока, с божьей помощью, не одолеет их и не станет на ноги... Скоро начнутся холода, зима не за горами, а я даже не знаю, есть ли у тебя теплая одежда. Ты не забывай об этом, и на первое же жалованье купи себе все, что нужно, а если там у вас вещи слишком дороги, пришли деньги сюда, и сошьем тебе все здесь. Ты же знаешь, как отменно и дешево работает Штрулович...»

В постскриптуме Гиги добавляла, что, если Титу не приедет на свадьбу, она ни за что не обвенчается, пусть старики делают с ней, что хотят. А на студенческий бал она обязательно пойдет, но

еще не знает, в каком платье; хотела бы сшить новое, тем более что она помолвлена, а потому будет в центре внимания.

В другом постскриптуме старый Херделя напоминал сыну о его обещании прислать статью для «Трибуна Бистрицей», так как директор журнала до сих пор ждет репортажа о празднествах общества «Астра». Старик просил также высылать ему бухарестские газеты, чтобы местные господа увидели настоящую румынскую прессу, а когда там появятся его, Титу, сочинения, можно будет всем показать, чем он занимается в Румынии.

Титу перечел письмо несколько раз, словно хотел выучить его наизусть. Представив себе, как выглядит то, о чем ему писали, во всех подробностях, он почувствовал себя снова дома, в Трансильвании, в мире, в котором каждая мелочь, даже самая незначительная, находила в его сердце живой отклик. Поддавшись очарованию воспоминаний, охваченный щемящей тоской по дому, Титу чуть было не принялся тут же за ответ, будто только таким путем мог облегчить свое сердце. На столе лежали книги, привезенные еще из дому, тетради с заметками и набросками стихов, стояла чернильница с пером... Не хватало только писчей бумаги. Разыскивая подходящий листок, он вдруг вспомнил о Григоре Юге, вернулся к действительности и решил отложить ответ до тех пор, пока сможет сообщить родным какие-нибудь хорошие новости.

Кроме всего прочего, время подошло к шести, и ему пора было спешно готовиться к вечеру — привести в порядок всякие мелочи, кое-что пришить, навести блеск на ботинки и хорошенько почистить черный камвольный костюм, который он в Бухаресте почти не носил, так что мог смело надеть даже во дворец. Подумав, что воспитанный человек всегда бывает точен, Титу решил прийти в ресторан без опоздания. Лучше самому подождать несколько минут, чем заставлять себя ждать.

4

— Вы опоздали, дружище! — улыбнулся Григоре Юга, протягивая Титу руку.— По-видимому, вы уже успели стать настоящим бухарестцем... Присаживайтесь, присаживайтесь сюда, рядом со мной!.. А мы вас не дождались, очень уж проголодались...

Кельнер принял у Титу шляпу и пальто, пока тот колебался, не зная, что лучше — сказать ли правду или же оставить Югу в заблуждении, чтобы тот думал, будто он действительно задержался.

— Нет, я здесь давно, даже заглядывал в зал,— смущенно пробормотал он каким-то не своим голосом,— а затем прогуливал-

ся перед рестораном, все ждал вас... Никак не пойму, как это я вас пропустил, не заметил, когда вы прошли...

— Не извиняйтесь. Мы тоже опоздали на четверть часа! — дружески перебил его Григоре.— Мы, румыны, все одинаковы... Лучше познакомьтесь с моими друзьями! — закончил он и представил своих сотрапезников.

Адвокат Балоляну, хотя он был старше Юги всего на несколько лет, выглядел весьма солидно: у него была каштановая, коротко подстриженная бородка и начинающаяся лысина, тщательно скрытая зачесом. Его зеленовато-голубые глаза поблескивали умно и хитро. Он любил хорошо поесть и выпить, жаловался, что после выпивки у него пучит живот, но не мог удержаться, хотя врачи предупреждали его, что он предрасположен к тучности. Балоляну страстно увлекался политикой, и, когда его партия находилась у власти, избирался депутатом. Теперь он руководил политической организацией своей партии в уезде Яломица, где недавно приобрел поместье погонов в шестьсот. Немногочисленная, но солидная клиентура обеспечивала ему значительные доходы, и постепенно он завоевал славу прекрасного адвоката, хотя выступал в суде очень редко и даже относился к своим собратьям по профессии с некоторым пренебрежением, шутливо называя их «шавками». Однако во Дворце правосудия он пользовался определенным влиянием, так как его считали политическим деятелем, подающим большие надежды, и он многого добивался благодаря своим связям с сильными мира сего.

Второй собеседник — Константин Думеску, директор Румынского банка, сутулился, словно тяготясь своим высоким ростом, и производил впечатление человека молчаливого, замкнутого. Он носил золотые очки, был гладко выбрит, бледен, с белокуро-рыжеватыми волосами. Думеску был холостяк и большой приятель отца Григоре.

Оба приятеля Григоре встретили Титу без особого восторга, словно он нарушил дружескую обстановку за столом. По приглашению Юги молодой человек углубился в изучение меню, отчаянно конфузясь оттого, что названия блюд были ему совершенно незнакомы. Кроме того, было обидно и непонятно, как это он прозевал приход Григоре. А теперь тот может подумать, будто Титу не человек слова, хотя на самом деле, боясь опоздать, он пришел за полчаса до срока, но не посмел зайти в ресторан и занять столик.

После недолгого молчания Балоляну возобновил разговор, прерванный приходом молодого человека, и поучительно заявил:

— Так-то оно и есть, Григорицэ, как я тебе говорил... Крестьянский вопрос невозможно разрешить без жертв со стороны тех, в чьих руках находится земля. Это закон! Все остальное — второ-

стененные соображения, просто паллиативы, и ничего больше. Крестьяне хотят земли! Вот в чем суть! Только это им нужно, и только это их волнует.

— Ты меня извини, Александру,— сдержанно возразил Юга, хотя блеск в его глазах ясно показывал, что разговор задевает его за живое,— но ты ставишь вопрос таким образом, что он дает лишь пищу избирательной пропаганде или дешевой и опасной демагогии. Разжечь аппетиты очень легко. Труднее их удовлетворить. Ты хочешь убедить меня, помещика, подарить крестьянам землю, которую я испокон веков обрабатывал вместе с ними, когда ты сам в то же время покупаешь себе поместья и...

Несколько уязвленный адвокат тут же перебил его:

— Извини, пожалуйста! Поставим точки над і с самого начала! В первую очередь условимся, что, рассматривая этот вопрос, не будем касаться личностей. Я говорил, отвлекаясь от того факта, что ты случайно являешься крупным помещиком, а я, тоже случайно, занимаюсь политикой. Главное не это, а то, что мы оба хорошо знакомы с крестьянским вопросом,— и теоретически, и благодаря своему жизненному опыту,— и интересуемся им, как интересуются все мыслящие люди, ибо от его решения зависит наша судьба и будущее страны. Верно я говорю? Следовательно, у нас здесь спор чисто академический. Впрочем, я уверен, что, если бы появилась необходимость пойти на жертвы, твой отец и ты сам сделали бы это первыми.

— Ты глубоко ошибаешься, дружище! — горячо возразил Григоре.— Отец никогда бы не согласился расстаться с поместьем, с которым связано все его прошлое, все его горести и радости. Для него, впрочем, как и для крестьян, земля так же дорога, как жизнь. Да ты и сам прекрасно это знаешь, бывал у нас, и положение дел тебе известно. Но даже я, хоть и не считаю себя таким непреклонным, не намерен раздавать подарки, причем не крестьянам — они их не требуют,— а мелким городским демагогам, стремящимся заработать популярность с помощью теории, которую ответственные государственные деятели отвергают, а сами агитаторы даже не помышляют применять на практике.

— Ну и консерватор! — улыбнулся Балоляну, обращаясь к Думеску, и тут же повернулся к Юге: — Подожди, дружище! Так как только что ты затронул меня лично, я считаю необходимым точнее сформулировать свою точку зрения... Следовательно, ты действительно считаешь, что мое жалкое имение, добытое ценой честного и тяжелого десятилетнего труда — кстати, к твоему сведению, я еще до сих пор не расплатился с долгами,— мои несколько несчастных сотен погонов земли смогут разрешить крестьянский вопрос? И все-таки я здесь торжественно заявляю, что, хотя

я человек небогатый, в случае необходимости я беспрекословно отдам стране свой клочок земли. Ты доволен? Я выразился ясно?

— Не удивительно, что ты готов предложить поместье государству, если ты сдал его в аренду, как только приобрел! — пренебрежительно возразил Юга.

Задетый, даже оскорбленный тем, что нашелся человек, да еще близкий друг, который хочет, чтобы он, известный адвокат и политический деятель, заживо похоронил себя в глухой провинции, Балоляну иронически усмехнулся:

— Ведь не потребуешь же ты от меня, мой милый, чтобы я расстался со своей специальностью, в которой кое-что смыслю, и занялся сельским хозяйством?

— Именно этого я от тебя и требую, если хочешь владеть землей! Кто владеет землей, должен ее обрабатывать и холить или же обязан от нее отказаться! Ты, мой дорогой, стянул свое поместье из-под самого носа крестьян, которые хотели его купить и поделить между собой. Ты просто пожаловал туда, отшвырнул их в сторону, а на третий день прислал арендатора выколачивать из поместья деньги для тебя и для себя. С одной стороны, вы не даете крестьянам купить землю, когда такая возможность представляется, а с другой стороны, предлагаете мне, который трудится наравне с крестьянами, отказаться от родного имения, вырвать и выбросить его просто так, за здорово живешь, как гнилой зуб!

— Видишь ли, Григорицэ, милый,— уже мягче возразил адвокат,— таких помещиков, как ты и твой отец, очень мало. Огромное, просто подавляющее большинство помещиков уже давным-давно потеряли всякую связь с землей. А мероприятие, которое проводится для всей страны, должно учитывать положение большинства, а не меньшинства.

— Так почему бы не принять в первую очередь мер против тех, кто пренебрегает своими поместьями? Почему вы обязательно хотите уничтожить целый социальный класс, быть может, самый лояльный, представляющий основное богатство страны? Ты, несомненно, прав: большинство помещиков нынче уклоняются от исполнения своего долга. Кое-кому не по душе жизнь в деревне, они считают зазорным обрабатывать землю, да и вообще работать, а предпочитают лишь выжимать большие доходы и пускать их на ветер. Их место в имении занял арендатор, который выколачивает деньги для барина, а еще больше для самого себя. Естественно, что в таком положении крестьянин страдает, стонет, мечется и угрожает — скрыто или явно. В то время как я, помещик, работая не покладая рук и экономя буквально на всем, с трудом получаю от своего поместья доход, достаточный для мало-мальски приличной жизни, мой сосед-арендатор выплачивает десятки тысяч золотых

помещику, да и сам наживается. Откуда же эта разница? Из кармана арендатора или за счет обнищания крестьян? Разве я не прав, дядя Костикэ? — неожиданно обратился Юга к Думеску.— Скажите вы, прав я или нет?

Директор банка сидел, уткнув нос в тарелку, несколько смущенный тем, что его собеседники говорят так громко и привлекают внимание окружающих. Вопрос Юги застал его врасплох, так как он не слишком внимательно следил за разговором. Ему, привыкшему к точным цифрам и расчетам, споры за стаканом вина всегда претили, казались поверхностными, если не просто нелепыми. Серьезный вопрос невозможно разрешить между венским шницелем и яблочным пирогом. Такие разговоры могут лишь запутать дело. Но не успел Думеску ответить, как в их беседу бесцеремонно вмешался посторонний мужчина, сидевший за соседним столиком.

— Позвольте уж мне...

Все обернулись, удивленные вторжением в спор чужого человека.

— Разрешите представиться — Илие Рогожинару. Я имел счастье познакомиться с господином Югой сегодня в поезде.

Арендатор сидел за столиком один. Он пришел позже и невольно стал свидетелем спора. Не обращая внимания на общее недоумение, он придвинул свой стул ближе и продолжал, словно беседуя со старыми знакомыми:

— Я встреваю лишь потому, что господин Юга говорит, будто бы арендаторы такие-сякие... Дело не в том, что я сам арендатор, только думаю, что господин Юга ошибается, когда возводит напраслину на людей. Вы уж, барин, на меня не обижайтесь, если мы опять не сойдемся во мнениях. Арендатор никакой беды и напасти стране не приносит, как вы это говорите или как в газетах пишут. Чего нет, того нет! Чтобы выколотить деньги за аренду да и себе небольшой заработок обеспечить, арендатор вынужден трудиться втрое больше, чем помещик. На арендатора мужик работает не лучше и не дешевле, чем на барина, а скорее наоборот. Да я хоть господина Югу могу взять в свидетели — пусть он сам скажет по правде: разве в соседних с Амарой имениях, там, где хозяйничают арендаторы, крестьяне работают в худших условиях, чем в его поместье? Вот и выходит, что арендатору деваться некуда, и он вынужден сокращать расходы, лучше обрабатывать землю, распахивать пустоши, использовать машины, в общем — должен поднимать уровень сельского хозяйства! А разве это не идет всем на пользу? Конечно, среди арендаторов, так же как и среди помещиков, могут быть подлые люди, которые бессовестно притесняют крестьян и выжимают из них все соки, но будет неправиль-

но и несправедливо осуждать их скопом, безо всяких скидок на обстоятельства! Нет, это не по справедливости.

Раздраженный беззастенчивым вмешательством арендатора, Григоре Юга резко возразил, презрительно подчеркивая каждое слово:

— Возможно, оно и так, почтеннейший, но если бы между помещиками и крестьянами не встали арендаторы, сегодня в Румынии не было бы никакого крестьянского вопроса! Появление арендаторов помешало естественному и нормальному переходу земли в руки крестьян. Те помещики, которым земля надоела, просто продали бы ее крестьянам, если бы не появились арендаторы и не продолжали обеспечивать владельцам поместий большой и верный доход, без малейшего труда и хлопот с их стороны.

— Может быть! — простодушно улыбаясь, согласился Рогожинару.— Вполне может быть... Не спорю... Однако это при условии, что крестьянин и в самом деле трудолюбив и предприимчив. Но у меня в этом деле большой опыт, и я знаю одно: арендаторы появились именно потому, что румынский мужик — это тупой и равнодушный бездельник, который хочет получить все готовенькое от барина или, в последнее время, от государства... Вот так-то оно и есть, господа... Вы уж меня извините, если думаете по-иному, но я...

Балоляну безнадежно махнул рукой, не найдя слов, но Григоре, с трудом сдерживая негодование, резко перебил арендатора:

— Я еще в поезде слышал от вас то же самое, но не возразил вам тогда, ибо мне представляется чудовищным, что человек, который живет и богатеет за счет эксплуатации крестьян, способен так упорно утверждать, будто крестьяне — лентяи и бездельники. Даже если предположить, что ваше утверждение соответствует действительности, то ваш упрек, или, точнее, оскорбление, относится отнюдь не к крестьянину, а к тем, кто освободил его лишь формально, по существу оставив в цепях, как во времена рабства. Вместо того чтобы приобщить крестьянина к знаниям и воспитать его в духе гражданственности, его насильно продолжают держать во тьме невежества. Оказывается, нужен был не крестьянин-гражданин, а крестьянин-животное, рабочий скот. А теперь — верх издевательства! — его еще и оскорбляют, утверждая, что он ленив и злобен... Спросите-ка его,— продолжал Григоре, указывая на оцепеневшего от неожиданности Титу,— он лишь недавно приехал сюда из Трансильвании, спросите его, ленивы ли и тупы ли там крестьяне. И вы не должны еще забывать, что там румыны находятся под чужеземным игом! Но у трансильванского крестьянина нашлись настоящие руководители-наставники, которые его обучили, открыли глаза, развили разум и на своем примере показали ему, где правиль-

ный путь. Мы же здесь все только болтаем о крестьянах и довольствуемся тем, что переливаем из пустого в порожнее, но никогда не делаем для них что-либо бескорыстно, от чистого сердца!

Горячность Григоре вызвала у окружающих иронические улыбки, да и сам он понял всю неуместность своего пафоса и тут же умолк, еще более смущенный, чем Думеску, который начал проявлять явные признаки нетерпения. Хотя у Рогожинару ответ так и вертелся на языке, он предпочел не обострять спора и ограничился тем, что пробормотал что-то невнятное, уткнувшись в тарелку. Лишь Балоляну, обращаясь к друзьям, тихо заметил:

— Ты прав, дорогой Григорицэ, полностью прав! Несчастный крестьянин умеет только терпеть, так как ничему другому его не научили. А когда он уже не в силах терпеть и чувствует, что петля совсем затягивается, тогда, вполне понятно, он приходит в бешенство и готов все утопить в вихре огня и крови. В нашу эпоху западной цивилизации только в Румынии еще возможны восстания отчаявшихся крестьян, потому что только у нас крестьянин не может нигде найти справедливости. Кончится тем, что страшная катастрофа потрясет всю страну до самого основания.

Почувствовав, что спор зашел в тупик, Балоляну тут же направил разговор в другое русло. Он завел речь о довольно хорошем урожае, который, однако, из-за финансового кризиса не сулит земледельцам приличного дохода, а затем коснулся положения правительства, которое казалось ему довольно шатким. В глубине души он надеялся, что вскоре придет к власти его партия. Потом собеседники перешли к внешней политике и вскоре заговорили о румынах, проживающих в Трансильвании, и, естественно, обратили теперь внимание на Титу Херделю. При этом оживился и Думеску, ярый националист, денно и нощно мечтавший о завоевании Трансильвании. Григоре рассказал, что молодой Херделя хочет обосноваться в Румынии, и, так как речь шла о выходце из Трансильвании, Думеску тут же предложил Титу место в банке, сперва, конечно, скромное, но с видами на повышение. Юга поблагодарил от имени Титу, но отверг предложение,— что делать в банке поэту? Разве что получить заем без поручителя, без процентов и, главное, бессрочный. Титу смолчал, но отказу Григоре обрадовался. Ведь не для того же перебрался он по эту сторону Карпат, чтобы стать банковским служащим! «Для него было бы лучше пристроиться в какой-нибудь газете»,— пояснил Юга. «Да, да, в газете»,— подтвердил с воодушевлением Херделя. Тут же выяснилось, что Балоляну — близкий друг директора газеты «Универсул», для которого когда-то выиграл сомнительный процесс. Он пообещал рекомендовать туда молодого человека, пусть только Титу сам напомнит ему, если он забудет.

— А сейчас вы меня простите,— извинился адвокат, готовясь уйти.— Я сегодня оставил жену ужинать одну только ради тебя, Григорицэ. Целую вечность не виделись. Надеюсь, ты доставишь мне удовольствие и зайдешь в ближайшие дни поужинать с нами. Увидишься и с Меланией, мы все время вспоминаем тебя. Заходи, как к себе домой, когда вздумаешь, в любое время, даже не предупреждая заранее...

Когда подали счет, Григоре и Думеску долго препирались — каждый считал своим долгом заплатить за всех. Григоре добился своего лишь после того, как пригрозил никогда не простить обиды. У двери ресторана они распрощались, и Юга остался наедине с Титу. Но в ту же минуту около них появился Рогожинару с сигарой в зубах и древним зонтиком под мышкой.

— Эх, барин, барин,— по-отечески обратился он к Григоре.— Вы молоды и горячи, сейчас же на рожон лезете, но я стар и не обижаюсь так сразу. Не знаю, когда мы еще встретимся, но, дай бог, чтобы вам никогда не пришлось сказать: «А этот чертов Рогожинару оказался прав...» Спокойной ночи!

Григоре Юга мельком взглянул на арендатора, но ничего не ответил. Фамильярность Рогожинару его раздражала. Кроме того, он устал и был раздосадован — все надоело! Спор за столом совсем издергал его нервы. Сколько раз он давал себе слово не разговаривать больше на эту тему и все-таки то и дело опять ввязывался в перепалку.

Они дошли до Каля Викторией, не обменявшись ни словом. Тучи нависли над самыми крышами. Резкий, порывистый ветер, предвестник холодного дождя, вихрем кружил по улице, подымая пыль и швыряя ее под ноги редких прохожих. Григоре вновь вспомнил Рогожинару: «Да, тот чувствовал, что погода испортится, и прихватил с собой зонтик...»

Со стороны шоссе промчалась коляска, в которой беззаботно хохотали две женщины и мужчина.

Титу Херделя понимал, что Юге не хочется разговаривать, и, боясь его рассердить, осторожно молчал. Он мысленно подвел итоги вечера и пришел к выводу, что может быть доволен. Если удастся попасть в редакцию «Универсула», то он вправе будет считать себя хорошо и окончательно устроенным. Правда, газета пошловатая, но, по-видимому, солидная и широко распространенная. Конечно, приятнее бы поступить в редакцию «Адевэрула». Эта газета значительно симпатичнее, интеллектуальнее, тоньше и оппозиционнее. Но для начала неплох и «Универсул». Только бы адвокат не забыл переговорить с директором газеты. Завтра надо обязательно зайти к Балоляну и напомнить ему. Нет, в первую очередь нужно посоветоваться с Югой. Главное, не допустить ни ма-

зейшей оплошности, а то недолго обидеть Югу и потерять его расположение. Если уж повстречался такой прекрасный человек, то еще несколько дней ожидания не играют никакой роли...

Проходя по Пьяца Палатулуй, Титу решил, что молчание всетаки затянулось. Раздумывая, о чем стоит завести разговор, он вспомнил, с каким интересом говорил Григоре о крестьянском вопросе, и, осторожно нащупывая почву, заметил:

— Просто уму непостижимо, как много у вас здесь говорят о крестьянах, все о крестьянах да о крестьянах. С кем ни заговоришь, только одно и слышишь: крестьянский вопрос, крестьянская проблема, поступим так, поступим эдак, сделаем то, сделаем се... Никак не пойму, к чему все эти разговоры? Даже у меня во дворе жильцы, как только соберутся вместе, сразу начинают толковать о крестьянах, и тогда уж их не остановишь... Особенно старается один сапожник, еврей, и еще больше — его сын, завзятый социалист. Когда бы мы ни встретились, он тут же принимается излагать мне всевозможные решения крестьянского вопроса и пророчествует, что если этот вопрос не будет разрешен, то грянет революция и в прах испепелит весь Бухарест.

Григоре вздрогнул, словно пробудившись от сна. Он как раз тщетно пытался найти ответ на тот же вопрос. Всматриваясь в грозные, клубившиеся над головой тучи, он тихо пробормотал:

— Быть может, это только поветрие, а быть может, застарелая боль, которая давит на наши сердца, обволакивает их душной мглою. Кто знает?

5

Григоре томился в постели без сна. Он просмотрел вечерние газеты, но в памяти ничего не осталось. Смутные, неотвязные мысли, воспоминания, огорчения, планы, надежды лишали его душевного покоя. Он уже несколько раз гасил лампу на ночном столике и вновь ее зажигал, то желая проверить какой-то чудодейственный расчет, то надеясь освежить в памяти одну из цен, то, наконец, чтобы лучше разглядеть какую-то подробность на огромной фотографии Надины, нежно и лукаво смотревшей на него со стены над кроватью. Почти обнаженная, лежала она на медвежьей шкуре, облокотясь на голову зверя. Ее небольшая грудь, казалось, застыла в сладострастной неге, теплые бедра призывно трепетали, а лицо улыбалось с девственной, но притворной невинностью. Эту фотографию, увеличенную почти в натуральную величину и вставленную в массивную раму, Надина подарила Григоре в день его рождения. Тогда — это было три года назад, на второй год после их свадьбы,— Григоре солгал Надине, сказав, что подарок его

очень обрадовал, поблагодарил ее, но в душе был опечален и разочарован. Не признаваясь самому себе в этом, он хотел, чтобы нагота Надины принадлежала только ему одному, и никому другому. Возмущала мысль, что его жена, его великая любовь, могла предстать в таком виде перед чужим мужчиной, пусть даже фотографом.

Сейчас Григоре приехал в Бухарест в полной уверенности, что все пойдет как по маслу. Ему представлялось, что за два часа он быстро и просто уладит все дела — получит остаток долга за проданную и доставленную покупателю пшеницу, а затем в Румынском банке договорится с Думеску относительно векселя, срок уплаты которого наступал в понедельник. После завершения дел он намеревался задержаться в Бухаресте еще дня на два, на три, чтобы встретиться с друзьями и напомнить им о своем существовании. А затем уехать обратно в Амару с остатком денег, которых должно хватить на текущие расходы, пока не будет продана кукуруза. Григоре любил во всем педантичный порядок, единственное, к чему он приучился за те два года, что провел в Германии. План своих действий он разработал во всех подробностях еще дома. В кармане у него лежал вексель за подписью крупного оптового хлеботорговца. Григоре расценивал этот вексель, срок оплаты которого истекал на следующий день, как чистое золото. Подпись главы крупнейшей румынской хлебоэкспортной фирмы котировалась во всей Европе.

Однако на улице Бурсей, где Григоре предполагал выполнить первый пункт своей программы, судьба грубо перечеркнула четко продуманный план. Глава фирмы, старый армянин, высокий и сухопарый, пригласил Григоре в свой личный кабинет, угостил кофе и контрабандной гаванской сигарой, после чего доверительным тоном, но весьма настойчиво попросил отсрочки на месяц, на один только месяц. Григоре пытался возразить, что ему самому необходимо оплатить вексель, так что... Последовали подробные объяснения и доводы. Времена исключительно тяжелые. За последние недели цены на иностранных рынках катастрофически покатились вниз, просто рухнули. На чашу весов совершенно неожиданно легла конкуренция русских. Все рассчитывали, что у них будет недород, а вышло совсем по-иному,— они сняли богатейший урожай. Россия всегда преподносит сюрпризы. Его лично одна эта история, конечно, не застала бы врасплох. Он человек предусмотрительный и заблаговременно принял все меры предосторожности. Но его погубили железные дороги, которые не смогли своевременно обеспечить необходимые перевозки. Кроме того, расходы на корабли, которые простаивают и продолжают попусту простаивать в Брэиле из-за отсутствия грузов... Убытки так выросли, что равняются

сейчас тридцати процентам стоимости товара. И в довершение всего дурацкий финансовый кризис, который обрушился на всех негаданно-негаданно, как гром с ясного неба, подорвал кредит и сковывает всякую инициативу.

Григоре слушал рассеянно. Ясно лишь одно — денег он не получит, все остальное болтовня. Пока собеседник разглагольствовал, он неотступно думал о том, что если, несмотря на все объяснения и заверения, он категорически отвергнет просьбу фирмы об отсрочке, то армянин сразу же выплатит долг, так как не может допустить, чтобы его вексель опротестовали,— это было бы равноценно краху фирмы. Но поступить так — значило порвать отношения с фирмой, с которой его отец ведет дела вот уже двадцать лет и которая часто шла ему навстречу в трудную минуту. Вправе ли он взять на себя ответственность за подобный отказ? А если он согласится на отсрочку, то как быть с долгом Румынскому банку? Да и домой невозможно вернуться с пустыми руками... В конечном счете он не отказал, но и не согласился, а лишь заявил, что даст ответ завтра по зрелом размышлении.

От хлеботорговца Григоре кинулся за советом и помощью прямо к Думеску, но не сумел его повидать, так как тот был на важном совещании. Пришлось оставить записку с приглашением на ужин. Правда, Григоре знал, что Думеску обсуждает серьезные вопросы только в своем кабинете, но надеялся, что за столом ему удастся хотя бы подготовить почву. С этой же целью он захватил с собой и Балоляну. Лишь теперь, когда было уже поздно, он понял, что весь план, представлявшийся ему весьма хитроумным, по сути дела, просто ребяческая глупость. Правильнее всего было бы подождать до следующего дня, поужинать с молодым трансильванцем и теперь спокойно спать, а не мучиться бессонницей.

Попрощавшись с Титу Херделей, Григоре вошел в свою комнату, сразу же встретился глазами со взглядом Надины с портрета и разозлился. Вспомнил, что из-за нее (раньше он бы сказал «из-за любви к ней») он взял ссуду в Румынском банке, как раз накануне ее сюрприза с подарком. Тогда он думал, что ее решительный отказ задержаться в усадьбе более чем на двадцать четыре часа объясняется лишь отвращением к «уродливой и лишенной элементарных удобств лачуге», как она называла старинный дедовский особняк в Амаре. Чтобы задобрить жену, Григоре решил воздвигнуть новую усадьбу, настоящий замок, достойный ее красоты. Правда, отец был очень огорчен тем, что особняк, в котором увидели свет и провели свою жизнь четыре поколения их предков, уже не удовлетворяет Григоре. План сына он расценивал как начало разорения. Строительство было начато и доведено до конца лишь

благодаря ссуде, выданной Румынским банком. Надина высоко оценила любезность мужа, провела в Амаре две недели, устроила новоселье, а затем соскучилась и возвратилась в Бухарест. Никто не вправе требовать от нее, чтобы она заживо похоронила себя даже в роскошном склепе. Фотография, точная копия этой, что висит здесь над кроватью, но в простой деревенской раме, соответствующей обстановке, осталась в Амаре скрашивать одиночество Григоре. А кроме того, остался и долг Румынскому банку, которому за три года он не выплатил еще и половины денег.

С Надиной Мирон Юга познакомился в то время, когда Григоре находился в Берлине. Ее отец Тудор Ионеску еще раньше купил у Теофила, брата Мирона, два поместья — Бабароагу и Леспезь, по соседству с Амарой. Новый помещик сразу же после подписания купчей заехал к Мирону Юге и учтиво попросил у него совета, как лучше хозяйничать на приобретенной земле. В действительности же визит был простым предлогом для знакомства. Тудору Ионеску и в голову не приходило утруждать себя обработкой своих поместий. Еще до того, как окончательно оформить покупку, он подыскал арендатора и сговорился о сумме, которую тот будет ему выплачивать.

Позже Мирон Юга узнал, что Ионеску — разбогатевший выскочка, приехавший в Бухарест сравнительно недавно и купивший там несколько доходных домов. С тех пор как были проданы поместья, прошло уже лет двадцать. А несколько лет тому назад, както на пасху, сосед снова навестил Югу, на этот раз вместе с сыном и дочерью — Гогу и Надиной. Между братом и сестрой была большая разница в возрасте — Гогу перевалило за сорок, а Надине еще не исполнилось и двадцати. Тудор Ионеску рассказал Мирону Юге, что был женат три раза, Гогу — плод первого брака, а Надина — третьего. Так как он сменил сейчас арендатора, то привез обоих, чтобы показать им поместья, тем более что вскоре они перейдут в их владение. Бабароага будет принадлежать Надине, а Леспезь — Гогу. Как только они обзаведутся семьями, он отдаст им поместья и по одному дому в Бухаресте. Все остальное тоже будет принадлежать детям — каждому достанется его доля, но лишь после смерти отца. «Долго ждать им не придется, мне ведь уже перевалило за семьдесят,— пояснил Ионеску, спокойно улыбаясь.— Не хочется только умирать, пока дети не совьют своего гнездышка». Особенно тревожил старика Гогу. Слишком уж часто отказывался тот жениться и теперь превратился в старого холостяка. О судьбе Надины беспокоиться, конечно, нечего — такая в девушках не засидится, от женихов отбоя не будет. Мирон Юга взглянул внимательнее на девушку и подтвердил, что так оно и есть. В следующие три месяца, пока Григоре еще жил в Германии,

старый Юга часто возвращался мыслями к Надине, будущей хозяйке поместья Бабароага... Распыление дедовских земель глубоко его огорчало, и он с радостью бы их скупил, но Теофил требовал тогда наличных денег. Ну что ж, если ему не удастся осуществить свою мечту и объединить родовые земли семьи Юги, то на смертном одре он завещает это Григоре...

Тогда Григоре было двадцать четыре года. Он поехал в Германию, чтобы специализироваться в вопросах сельского хозяйства, хотя в Бухаресте закончил юридический факультет, правда, не намереваясь заниматься адвокатской практикой, а лишь желая получить высшее образование. Поехал он на три года, но через год умерла мать, и отец попросил его вернуться домой, плюнув на всю эту ненужную науку. С неимоверным трудом удалось сыну выпросить позволение провести в Германии еще год.

Из-за границы Григоре привез уйму смелых планов и бесспорных решений самых сложных проблем. Старик внимательно выслушал его, ни разу не вспылив, как опасался Григоре. Он, по-видимому, считал, что подобные великодушные порывы свойственны молодости и мальчик опомнится, как только столкнется вплотную с трудностями жизни. Вместо того чтобы опровергать «теории» сына, он как-то заметил Григоре, что был бы рад, если бы тому понравилась дочь Тудора Ионеску. Григоре сразу же понял, что именно обрадовало бы отца, и заявил, что в выборе спутницы жизни он не может руководствоваться утопиями, ибо прошлое не возвращается, как бы мы этого ни хотели.

— Ты только посмотри на девушку, а утопии я возьму на себя,— иронически усмехнулся отец.

Когда Григоре увидел Надину, он действительно забыл обо всем на свете и с тех пор мог думать только о ней. Месяц, предшествовавший свадьбе, и последующие три, когда они путешествовали по Греции, Италии и Испании, принесли ему величайшее счастье. Тогда Надина действительно была его женой, принадлежала ему, и только ему. Он мечтал, чтобы так было всегда: чтобы в ее душе и мыслях не существовал никто, кроме него. Григоре терзала ревность, тем более мучительная, что он стыдился в ней признаться. Он пытался соблазнить Надину жизнью в поместье отнюдь не ради того, чтобы она привязалась к земле, а лишь стремясь уберечь молодую жену от соблазнов большого города. Его любовь выдержала четыре года терзаний, пока он не смирился с утратой своих сокровенных надежд. Он даже согласился, чтобы его Надина вновь поехала за границу, на этот раз одна! А за те три месяца, что прошли со дня ее отъезда, он получил от нее ровно три письма, и во всех трех она только и делала, что просила денег...

Ночник отбрасывал неподвижные тени, с которых Григоре не сводил глаз, словно с застывших воспоминаний. Изредка он искоса поглядывал на жену, которая улыбалась из рамы, весьма довольная своей собственной персоной.

— Который может быть час?.. Два!..— горестно вздохнул он.— В девять утра у меня встреча с Думеску, а я не сплю и мечтаю о Надине! Ну и идиот же я, господи боже!

6

На второй день Григоре удалось до обеда благополучно закончить все дела (Думеску оказался, как всегда, очень любезным — учел вексель хлеботорговца и вычел в счет погашения долга не больше, чем ему предложил сам Григоре). Затем Юга зашел к своему лучшему другу Виктору Пределяну и остался там обедать. В семье Пределяну он чувствовал себя как дома.

Сейчас он радовался тому, что избавился от забот, которые прошлой ночью приняли в его воображении катастрофические размеры. Бессонница мучительна не только тем, что сокращает часы отдыха, но главным образом тем, что порождает мрачные мысли, опутывающие жертву сетью липких щупалец. Вспомнив сейчас, в сердечной обстановке дома Пределяну, как его мучили ночью кошмары, Григоре улыбнулся про себя, но довольно печально. Он знал за собой эту слабость — вечно колебаться и терзать свою душу,— слабость, мешавшую ему действовать в жизни уверенно, как его отец или хотя бы Пределяну.

Лишь около пяти, возвращаясь домой, он вспомнил, что приглашал к себе на три часа молодого трансильванца. Где его сейчас разыскать? Григоре стало совестно, что он обидел человека, который, быть может, проникся к нему доверием. Он приказал слугам, если Титу снова появится, обязательно задержать юношу до возвращения хозяина или, по крайней мере, узнать его адрес.

Потом он зашел к своей тете Марпуке, вдове генерала Константинеску. Та ни за что бы не простила племяннику, если бы узнала, что он в Бухаресте и даже не навестил ее. Марпука Константинеску, женщина необычайно добрая, гостеприимная и веселая, была в курсе любовных и офицерских сплетен всей Румынии. В студенческие годы Григоре жил у нее, а старый Юга и теперь останавливался у сестры, когда приезжал в Бухарест. Так как Григоре отказался от ужина, тетушка заставила его дать честное слово, что утром он зайдет к ней позавтракать, они будут одни, и она ему расскажет целую кучу весьма важных новостей.

На следующий день, в воскресенье, Григоре встал позже. Он торопливо собрался и уже у калитки встретился с Титу Херделей, который после тревожной ночи пришел, чтобы снова попытать счастья. Они условились встретиться сразу же после обеда и так и сделали, к великому сожалению тети Марпуки, которая не успела выложить племяннику и четвертой части того, что считала необходимым рассказать. Чтобы загладить свою вину за вчерашнюю забывчивость, Григоре просидел с Титу до самого вечера, пригласил его на второй день пообедать в семье Пределяну (он условился с ними об этом, когда возвращался от тети), заверил, что зайдет к Балоляну и выяснит, предпринял ли тот что-либо в редакции «Универсула», а самое главное — предложил Титу погостить у него в имении недели две-три, сколько тот сам пожелает, пока не наладится его дела в Бухаресте, чтобы не проживать здесь попусту деньги...

Только оказавшись в гостях у Пределяну, Титу поверил, что все это ему не снится и обещания Григоре не слова, брошенные на ветер.

Еще до обеда, но главным образом после того, как все поднялись из-за стола, Виктор Пределяну стал показывать гостю наиболее ценные сокровища своей библиотеки, считая, что поэта должны заинтересовать редкие издания, старинные румынские книги и всевозможные древние грамоты и документы. Восторг Титу доставил хозяину огромное удовольствие, его так и подмывало поставить нового знакомого в пример Григоре, которого эти богатства оставляли равнодушным.

Пределяну считал себя горожанином, хотя владел большим поместьем, которое он очень любил. Своим имением Делга, включающим три деревни в уезде Долж, он деятельно управлял, осуществляя именно то, о чем Григоре только мечтал, но из-за отца не мог применить на практике. Впрочем, и отец Виктора когда-то оказывал такое же сопротивление. В Крайове, где он родился, жил и умер, старый Пределяну считался одним из самых богатых людей. Его скупость стала притчей во языцех. Лишь после смерти отца Виктор получил возможность нанять специалиста-управляющего, начал применять машины, позволившие сократить число рабочих рук, и принялся наконец за более современную эксплуатацию унаследованного поместья. Он тоже проводил в имении немало времени, а в страдные месяцы посева или жатвы неделями не выезжал оттуда. С крестьянами он вел себя корректно и в их дела по возможности не вмешивался. Работали они на него на тех же условиях, что и на соседних помещиков, не худших и не лучших. Пределяну даже продал им несколько сот погонов земли, стремясь в дальнейшем не вести никаких дел с мужиками,

а отнюдь не потому, что нуждался в деньгах, так как был одним из немногих помещиков, не имевших никаких долгов. Он частенько повторял, что будет воистине доволен лишь тогда, когда отделается от крестьян, а крестьяне от него.

Мать Виктора жила и по сей день в Крайове вместе с его сестрой Еленой, вышедшей замуж за преподавателя гимназии, молодого человека приятной внешности, умного и очень бедного. Она влюбилась в него давно, но обвенчалась лишь после смерти отца, ибо тот ни за что не согласился бы отдать свое имущество бедняку. Впрочем, Виктору, когда он женился, также пришлось преодолеть сопротивление старика, которому очень хотелось выбрать для сына «подходящую», по его разумению, партию — то есть невесту с приданым, по крайней мере равным состоянию жениха. Однако Текла, будущая жена Виктора, могла похвалиться лишь своей родовитостью и красотой, но отнюдь не богатством. Она была дочерью председателя Кассационного суда в городе Крайова Николае Постельнику, отпрыска разорившейся, но весьма старинной боярской семьи.

Виктор унаследовал от отца и его хозяйственную сметку, и его скупость, что, однако, не мешало ему гордиться даже больше, чем земледельческими опытами, своей библиотекой и коллекцией картин, собранной в течение нескольких последних лет ценой больших, иногда неоправданных трат.

— Да пощади ты его, Виктор, совсем закабалил гостя! — воскликнул Григоре, беседовавший с госпожой Пределяну и ее сестрой.

— К счастью, я замечаю, что господин Херделя, в отличие от некоторых, не слишком соскучился среди этих чудесных книг! — иронически возразил Пределяну.

— То есть в отличие от меня! — воскликнул Григоре, кивнув головой.— Действительно, я предпочитаю другие чудеса, особенно в вашем доме...

Титу попытался протестовать, но очень робко, боясь допустить какой-нибудь промах. По той же причине он робел и во время обеда, так что госпоже Пределяну пришлось прийти ему на помощь и ободрить ласковой улыбкой.

Стройная, ласковая, женственная Текла Пределяну, казалось, одним своим присутствием освещала все вокруг — столько безмятежного покоя и доброты излучало все ее существо. Ее зеленовато-голубые глаза сохранили девичью чистоту. Хотя она была замужем уже девять лет, но все еще выглядела юной, скромной девушкой, а ее детей — Мирчу и Иоану, здоровых и озорных, можно было легко принять за братишку и сестренку самой Теклы, если бы в ее взгляде не светились так явственно материнская гордость и любовь.

Л. Ребряну
«Восстание»

— Если вы намекаете на нас, спасибо за комплимент,— с фамильярным кокетством отозвалась сестра госпожи Пределяну,— но мы его не принимаем, потому что...

— В таком случае беру его обратно и преподношу одной лишь Текле, которая, конечно, его не отвергнет! — перебил девушку Григоре.

— Вы правы, я принимаю все, даже комплименты! — согласилась госпожа Пределяну.

Резвой и миловидной Ольге Постельнику было двадцать лет. Веселая улыбка, всегда игравшая на ее губах, живой блеск черных глаз, затемненных густыми ресницами, маленький носик, нежные и по-детски округлые щеки,— все это делало Ольгу общей любимицей, которую баловали все — и родные и знакомые. Чуть миниатюрнее Теклы, Ольга двигалась с кошачьей гибкостью, бросавшейся в глаза, особенно когда она танцевала. А больше всего на свете она увлекалась танцами и мечтала стать танцовщицей.

— Разве ты не видишь, Текла,— с детским упрямством не сдавалась Ольга,— что это с его стороны лишь предлог, чтобы снова заговорить с Виктором о крестьянском вопросе?

Все рассмеялись. Действительно, за столом Григоре говорил только о поместьях, арендаторах, крестьянах и тех условиях, на которых они работают. Хотя никто ему не противоречил, он говорил все горячее и горячее. Сейчас Текла взмолилась, заклиная его не возобновлять больше этот разговор. Даже Титу решился попросить Югу оставить хоть на время в покое вечный вопрос, преследующий его как наваждение денно и нощно.

— То, что их это не интересует, мне понятно,— смирился наконец Григоре,— я им уже надоел своими разговорами, но вы-то ведь человек в наших краях новый.

— Я предпочел бы сам все изучить на месте! — ответил Титу, используя подвернувшийся повод, чтобы получить новое подтверждение того, что Григоре приглашает его к себе.

— Этого вам, уж конечно, не миновать! — воскликнул Григоре и тут же объяснил остальным: — Я забираю Титу с собой в Амару, чтобы не так скучно было, и не отпущу, пока он не станет докой в крестьянском вопросе.

Пределяну тщательно поставил на место свои сокровища и лишь после этого сказал, что они тоже собираются недели на две в Делгу.

— Заодно оставим там Ольгуцу,— закончил он,— а то она совсем забудет нашу родную Крайову.

— И не надейся, что я буду торчать в Крайове, как раз когда в Бухаресте начинается театральный сезон,— возмутилась девушка.

Последние два года, с тех пор как она стала барышней на выданье, Ольга проводила больше времени в Бухаресте, чем дома. Виктор задался целью выдать ее замуж за человека, который пришелся бы ему по нраву. Немного самовлюбленный, он считал, что будущий муж Ольги обязательно должен быть похож на него, и потому то и дело повторял, стараясь убедить девушку: «Если хочешь быть счастливой, то терпеливо жди, пока я не скажу тебе: вот этот!» Виктор Пределяну, брюнет, с тонкими усиками, смотрел на окружающий мир чуть выпуклыми глазами, в которых угадывалось больше доброты, чем ума.

Затем зашла речь о Надине, но хозяева спросили о ней скорее из учтивости — Надина не питала к семейству Пределяну никакой симпатии, бывала у них раз в год, и то по настоянию Григоре. Впрочем, они относились к ней с такой же прохладцей. Надина про себя обзывала Теклу ханжой, не понимающей светской жизни, а Текла, в свою очередь, считала Надину чуть ли не авантюристкой. Ей было известно многое из того, что говорили о жене Григоре, а кроме того, она понимала, что многое ей еще неизвестно, но узнать это не стремилась. Из всех членов семьи Пределяну одна лишь Ольга втайне восхищалась Надиной, да и то больше тем, как та изумительно танцует и никогда не упускает возможности потанцевать.

Григоре ответил, что видится с Надиной чуть ли не реже, чем с Ольгуцей, и разговаривают они в основном о делах. Надина распоряжается своим имуществом самостоятельно, причем так умело, что у нее сплошные убытки, которые он вынужден покрывать и этим доказывать ей свою любовь. Он надеется, что в ближайшие дни она вернется из-за границы, так как начинается зимний сезон и Надина ни за что на свете не захочет его пропустить. Все это Григоре говорил в шутливом тоне, в котором все-таки проскальзывали нотки горечи, но вдруг голос у него изменился, и он выдохнул с мучительной болью, словно у него разрывалось сердце:

— Как я вам завидую, мои дорогие... Ваш дом — это очаг радости! Я ведь человек сентиментальный и именно о таком семейном очаге мечтал всю жизнь. Мой идеал — такая женщина, как вы, Текла! В глубине души я... Ты только не обижайся, Виктор!..

— Наоборот, я польщен! — улыбнулся Пределяну.— Или, точнее говоря, Текла польщена, а так как она моя жена и мы оба составляем одно целое...

Текла лишь улыбнулась, а Григоре горячо продолжал:

— Именно так: мой идеал — это вы, с вашей улыбкой, вашей добротой, вашими малышами... Да как же тебе не завидовать, Виктор? Тем более когда я оглядываюсь на свою жизнь...

Заметив, что Григоре всерьез расстроился, Виктор попытался обратить все в шутку:

— Зачем же ты поспешил, Григорицэ? Кто в этом виноват? Подождал бы немного, и я бы тебе нашел жену получше Теклы. Вот ее, например!

Ольга покраснела до ушей, но все-таки заставила себя рассмеяться, пытаясь скрыть замешательство. Григоре пристально посмотрел на нее и ответил:

— Твоя правда... Кто бы мог подумать, что озорная шалунья, с которой я познакомился лет пять назад, превратится в такую очаровательную девушку? Теперь я могу лишь тщетно сожалеть об упущенных возможностях.

— Не торопитесь со своими сожалениями, милостивый государь! — запротестовала, справившись с собой, Ольга.— Для начала вы должны выяснить, согласилась ли бы я выйти за вас замуж! Ну, а раз зашла речь о моей персоне, то могу сразу же вам заявить: моим мужем сможет быть только человек веселый и элегантный, но главное, он должен быть прекрасным танцором. А не таким угрюмым нелюдимом, как вы! Так и знайте!

— Браво! — воскликнул Виктор.— Наконец ты себя разоблачила, барышня! Значит, мечтаешь о танцоре? Может быть, хочешь, чтобы мы тебе предоставили артиста оперетты? А?

Григоре не сводил с девушки глаз, словно шутливый разговор пробудил в его душе смутные видения и мечты, угасшие еще до того, как они приняли отчетливые очертания. Ольга казалась ему дополнением Теклы. Она обладала всеми достоинствами сестры, но выраженными еще ярче, а в ее глазах за лукавыми искорками словно трепетала чувствительная душа. Он покачал головой, будто отбрасывая призрачные мечты, и тихо вздохнул:

— Слишком поздно...

7

— А, господин Титу!.. Угадайте, какой я вам приготовила сюрприз! — с таинственным видом приветствовала своего жильца госпожа Александреску, остановив его в коридоре.— Не угадали?.. А ну, пожалуйте сюда!

Титу только что распрощался с Григоре, с которым вместе обедал у Პределяну. Не удивительно, что он был в своем лучшем костюме, щеголеватый, как жених. Госпожа Александреску ввела его в свою комнату, где на него вскинула удивленный взгляд хорошенькая миниатюрная блондинка.

— Пожалуйста! — воскликнула госпожа Александреску, победоносно указывая на гостью.

Титу церемонно поцеловал руку незнакомке:

— Счастлив познакомиться с вами, госпожа Мими!

— Как это вы ее сразу узнали? — поразилась хозяйка.

— По красоте и еще по кое-каким признакам! — ответил Титу.

Мими рассмеялась. Ей польстила галантность молодого человека.

— Мне мама сказала, что вы поэт. А теперь я сама убедилась в этом! — проворковала гостья и в один голос с матерью потребовала, чтобы он объяснил свои слова.

Титу сознался, что, перебирая как-то книги, которые лежали в ящиках в коридоре, он наткнулся на незнакомый роман и принялся его читать. Госпожа Александреску разрешила ему пользоваться книгами зятя с одним условием — класть все на место в том же порядке. На нескольких страницах он нашел сделанную карандашом надпись: «Ты меня любишь, птенчик дорогой?» Он понял, что Мими задавала этот вопрос своему будущему мужу. Думая о почерке и содержании надписи, Титу попытался представить себе внешность Мими и увидел ее в своем воображении именно такой, какой она оказалась в жизни. А так как в книге он не нашел ответа на столь нежный вопрос, то взял на себя смелость сам ответить: «Я тебя очень люблю, дорогой птенчик!»

— Ой, как мило! Это правда? — воскликнула приятно удивленная Мими.— А я ничего, ну ничегошеньки не помню!

— Но вам, господин Титу, необходимо знать,— вмешалась госпожа Александреску,— что мой зять страшно ревнив, так что не вздумайте ухаживать за Мими. Он на все способен...

— Да брось ты, мамочка, не клевещи на Василе, а то наш гость еще подумает, что мой муж просто грубиян.

Титу горячо запротестовал, заверяя, что это ему и в голову не пришло бы, хотя не удивительно, если муж такой очаровательной женщины готов ради нее даже на преступление. Затем он узнал, что мужа Мими перевели в Бухарест на очень хорошую должность врача при городской управе, сейчас они приехали, чтобы подыскать квартиру, так как недели через две ему надо будет приступить к новой работе, и Мими пробудет здесь несколько дней, пока не найдет что-нибудь подходящее...

— Я вам уже говорила, господин Титу, что мой зять — человек достойный,— снова вмешалась госпожа Александреску.— Жаль только, что он ужасный бирюк... Вот сейчас привел сюда Мими, но зашел только на секунду, поздоровался и был таков... А знаете, почему? Я им рассказала,— обратилась она к дочери,— как Василе обижает меня из-за бедного Женикэ...

Мими перевела разговор на другую тему. Титу поддержал ее и предложил свои услуги на тот случай, если понадобится сопро-

вождать Мими в поисках квартиры. Правда, он тут же добавил, что, к сожалению, как раз на днях уезжает погостить в имение одного из своих друзей...

Если до сегодняшнего дня Титу не знал, как быстрее удрать от хозяйки, то на этот раз ему совсем не хотелось уходить. Уж очень хорошенькой и соблазнительной показалась ему Мими.

«Глупостями увлекаюсь, вместо того чтобы заняться своими делами,— вздохнул он, возвратясь к себе.— Она, конечно, славненькая, но теперь мне не до того, нечего тратить время на подобные похождения».

Титу пока точно не знал, когда поедет к Григоре Юге. Тот сказал — дня через два-три. Следовательно, нужно быть готовым в любую минуту. В его комнатке было холодно и темно. Шел седьмой час. В первую очередь необходимо переодеться, чтобы не изнашивать попусту свой лучший костюм. Великое дело быть хорошо одетым. Чувствуешь себя совсем иначе, более уверенным в своих силах. Все-таки ему здорово повезло, что он был в новом костюме, когда знакомился с дочерью хозяйки. Снова думает о Мими! Хватит! Титу вспомнил, что подошва на правом ботинке чуть отстала. Делать сейчас все равно нечего, в комнате холодно, самое лучшее, пока ботинок совсем не прохудился, отнести его к сапожнику...

Не надев шляпы, Титу пошел в глубь двора к сапожнику Мендельсону. В коридоре он услышал щебет Мими. Значит, еще не ушла. Сапожника Титу знал хорошо, впрочем, как и всех остальных соседей, которые, будучи людьми бедными, составляли что-то вроде одной большой, шумной и сварливой семьи. Мендельсон занимал две выходящие во двор комнатушки. Окно было только в одной, вторая освещалась входной дверью. Вся мастерская ютилась в углу, за дверью. Здесь, скрючившись на трехногой табуретке, Мендельсон весь день стучал молотком, шил и ворчал, советовался с женой или поучал мальчишку-подмастерья, если не было клиента, с которым можно было отвести душу. Хотя Мендельсону перевалило за пятьдесят, в его черных густых, вечно всклокоченных волосах и бороде не появилось еще ни одной седой нити. Он хвастал, что выучился ремеслу у самого Раппопорта, и от всей души мечтал получить когда-нибудь заказ на новую пару обуви. Пока же довольствовался мелкой починкой, лишь бы заработать на кусок хлеба. Когда Титу зашел, старик энергично колотил молотком по дамской туфле.

— Подождите, пожалуйста, минутку, господин Херделя,— приветствовал его сапожник, не прерывая работы.— Закончу только каблук для госпожи Тэнэсеску, а то она вечером собирается в

театр, а господин Тэнэсеску ждет... Садитесь!.. Мишу, где ты там? Подай стул господину Херделе!

Титу поздоровался за руку с сыном сапожника Мишу и господином Тэнэсеску. Усаживаясь, он заметил в самом темном углу комнатки незнакомого солдата.

После некоторой паузы господин Тэнэсеску, по-видимому продолжая прерванную беседу, заговорил своим старческим голосом:

— Раз уж зашла речь о справедливости, господин Мишу, то следует начать с самого начала, как это положено. Установите справедливость по отношению к крестьянам, пожалуйста, я ничего не имею против, но в первую очередь не разрешайте издеваться над теми, кто всю жизнь верой и правдой служил государству, не обкрадывал его, не жульничал, не занимался махинациями, а на старости лет оказался нищим.

Тэнэсеску вышел на пенсию год тому назад, но женат был на женщине моложе его на целых двадцать пять лет. Так как Мишу ничего не ответил, старик гневно продолжал:

— Раз я на вас трудился всю жизнь и вы меня выжали как лимон, то уж не заставляйте унижаться на старости лет. Неприлично это и несправедливо.

Мендельсон, рьяный социалист, которого полицейские не раз арестовывали и избивали в своих застенках, ответил, не поднимая глаз от работы:

— Справедливость ничего не стоит и потому в коммерции не ценится!

— Если уж вы, господин Тэнэсеску, жалуетесь на несправедливость,— укоризненно воскликнул вдруг Мишу,— то подумайте, каково положение в деревне, куда не пробивается даже луч надежды!

Но отставной чиновник рассердился еще пуще:

— Да отстаньте вы от меня с вашими мужиками! У мужиков, слава богу, все есть — и еда, и одежда, и свободное время для отдыха! Не морочьте вы нам все время голову крестьянами, мы-то прекрасно знаем, как они живут в деревне! Позаботьтесь хоть чуточку о нас, горожанах, ведь это мы мучаемся по-настоящему, и один господь бог знает, как нам тяжело!

Тэнэсеску не мог себе простить, что служил честно и не разбогател, как другие, чтобы теперь жить беззаботно. Он продолжал ворчать, пока сапожник не подал ему починенную и начищенную до зеркального блеска туфлю.

— Этот старичок не способен рассуждать беспристрастно; кроме пенсии, его ничто не интересует,— иронически заметил Мишу, после того как Тэнэсеску ушел.— Впрочем, давно известно, что чиновники — и те, что служат, и те, что на пенсии,— являются

главной опорой нашей буржуазии. Потому-то они и считают, что государство должно заботиться только о них и что им положено все на свете... А как расцениваете положение вы, господин Херделя?

Но Титу чувствовал себя сейчас счастливым, и спорить ему ничуть не хотелось. Все-таки ответить было нужно.

— Я мало знаком со здешним положением и не могу дать ему правильной оценки, но знаю, что несправедливость существует всюду и в самых различных областях. Там — в одном отношении, здесь — в другом...

— Но в иных краях люди борются против несправедливости, волнуются, шумят, мы же расцениваем существующее положение как вполне естественное! Вот в чем наше несчастье!..

— Иногда борьба бесполезна! — убежденно пробормотал Титу.

— Ну, это уж хуже всего! Именно такое безропотное смирение! — воскликнул Мишу.— Я-то думал, что вы, трансильванцы, более упорны в борьбе за справедливость!

Керосиновая лампа, свисающая с потолка, освещала лишь столик с деревянными гвоздями, колодками и сапожным инструментом, оставляя комнату в полутьме, в которой люди вырисовывались неясными тенями. Мишу, стройный, худой, вскочил на ноги и энергично жестикулировал, словно воюя с мраком. Титу часто беседовал с Мишу и его отцом и понимал, что их бунтарские порывы вызваны нищетой. Он даже одобрял их, хотя сам, по складу своего характера, не любил говорить о своих горестях вслух, а лишь терзался про себя. Кроме того, Титу знал от Гаврилаша, что Мендельсон на плохом счету в сигуранце, и предпочитал не поддакивать ему во избежание неприятностей.

— А ты, Мишу, уймись, не забывай, что ты сейчас военный и тебе ничего не стоит сломать себе шею! — вдруг заметил старик, словно напуганный гневной вспышкой сына.

— Что ж с того, что военный? Разве из-за этого я не имею права честно высказывать свое мнение? Все равно через десять дней я избавлюсь от армии, но и до тех пор мне нечего стесняться господина Хердели. Ведь он такой же пролетарий, как мы!

— Еще какой пролетарий! — полушутливо поддержал его Титу.— До того пролетарий, что попросту слоняюсь без дела и лишь тешусь надеждой когда-нибудь устроиться на работу.

Воцарилось неловкое молчание, пока Мишу снова не заговорил, но теперь уже спокойнее:

— Хоть оставим за собой право жаловаться друг другу, а то... Ты как думаешь, Петре? — спросил он военного, который неподвижно, словно каменный, сидел на лежанке в самом темном углу комнаты.

Захваченный вопросом врасплох, тот встрепенулся, будто намереваясь вскочить, но тут же опомнился и уселся еще плотнее. Низким, странным, словно у выходца с того света, голосом он коротко ответил:

— Может, и так...

Титу удивленно повернулся к нему. В полумраке комнаты он с трудом различил костлявое, смуглое лицо, на котором сверкали глаза. Большие узловатые руки были неловко сжаты, словно военный боялся ненароком раздавить лежащую на коленях фуражку.

— Мой товарищ,— пояснил Мишу.— Мы начинали служить на одной батарее и остались друзьями. Замечательный парень. Дослужился до капрала, вот и нашивка! Капрал Петре Петре! Весь полк его знает.

— Петре Петре,— повторил Титу, подумав: «Какое странное имя!» Не желая выглядеть гордецом, он тут же обратился к капралу: — Вы, кажется, не из Бухареста?

— Нет, нет! — быстро и решительно ответил капрал, словно открещиваясь от чего-то постыдного.— Я деревенский, из уезда Арджеш.

— Это другое дело!.. Я так и думал.

Еще не освоившись как следует с географией Румынии, Титу попытался воскресить в памяти карту, чтобы лучше себе представить, где именно находится уезд Арджеш. Он неуверенно спросил:

— Где-то недалеко от Питешти?

— Да, вблизи Питешти! — подтвердил, оживившись, капрал.— Волость Амара. Садитесь в Бухаресте на поезд и едете до Костешти, в Костешти надо сделать пересадку на Рошиори и сойти на полустанке Бурдя, а оттуда уж рукой подать до Амары.

Титу вспомнил, что Григоре Юга тоже говорил ему об Амаре. А вдруг этот Петре Петре из какого-нибудь села, что на землях Юги? Он чуть было не спросил артиллериста, слыхал ли тот о помещике Григоре Юге, но постеснялся, боясь, как бы Мендельсон не подумал, что он хочет похвастаться знакомством с важными господами.

— Рады, что избавились от армии? — спросил он, лишь бы что-то сказать.

— Мне и в полку неплохо было, жалиться грех,— медленно и серьезно ответил Петре Петре.— Только оно, конечно, дома лучше, потому как мы деревенские...— стал он пояснять, но смешался и умолк.

— Правильно! — поспешил ему на выручку Титу.— Каждого тянет к своему дому, к своей землице... А у вас какое хозяйство? Есть земля?

— Нет, земли своей у нас нет, а очень она нам нужна! — горячо ответил капрал.— Здесь все говорят, что, может, господа смилуются и...

— Слышите, господин Херделя? — насмешливо воскликнул Мишу.— Как вам это нравится? На господ надеется! Ждет, пока смилостивятся над ним бояре.

Петре Петре удивленно взглянул на товарища, не понимая, почему тот на него накинулся, и спокойно возразил:

— А на кого ж нам надеяться, коли не на господ?.. От кого еще помощи ждать? Неужто от тех, у кого ничего нет? Тот, у кого ничего нет, легко раздает, ему терять нечего...

— Ну и будете ждать до второго пришествия! — пренебрежительно фыркнул Мишу.

— Подождем, что поделаешь! — пробормотал Петре, опуская глаза на фуражку, которую он безжалостно комкал на коленях.

Уходя, Титу попрощался со всеми за руку. У Петре Петре рука была тяжелая, жесткая и влажная, как земля.

ГЛАВА II

ЗЕМЛЯ

1

На хмуром, одиноко стоящем полустанке Бурдя на линии Костешть — Рошиорь поджидала желтая, всем хорошо здесь известная бричка из Амары. Как только поезд остановился, крестьянский парнишка кинулся к вагону, в дверях которого показался Григоре Юга, схватил чемоданы и понес их к бричке. Старый словоохотливый кучер Иким натянул вожжи, сдерживая горячих коней, нетерпеливо грызших удила и бивших копытами о землю.

— Добро пожаловать, барин!

— Благодарю, Иким! — ответил Григоре, усаживаясь в бричку рядом с Титу.— Здесь все в порядке?

— В порядке, барин. Все здоровы.

— Ну ладно, трогай.

Громкое причмокивание, и кони рванули с места так резво, что паренек, сидевший на козлах рядом с кучером, чуть не упал. Отъехав несколько метров от полустанка, бричка свернула на проселочную дорогу, ведущую полями к селу Куртянка. Прямо перед

ними, в свинцовой дали, село вырисовывалось, точно огромный муравейник, заросший чертополохом. Вокруг, без конца и края, простиралось рыжее жнивье — молчаливое, ровное. Лишь кое-где стаи ворон испещряли лик земли черными веснушками. Небо, затянутое осенними тучами, тяжело нависало, словно уходя за линию горизонта. Редкая шеренга деревьев окаймляла уездное шоссе, связывающее Костешть и Рошиорь.

Когда бричка въехала в Куртянку, Григоре неожиданно обратился к Титу:

— Здесь резиденция Попеску Чокоя. От самого полустанка все по его земле едем. Несколько лет назад он был простым арендатором. Видите, как сумел изловчиться, если ему удалось выжить отсюда старого хозяина и самому водвориться в его доме. А может, тот заслужил такую участь. Я его ни разу не видел в поместье...

Все село состояло из нескольких жалких лачуг, разбросанных вокруг барской усадьбы — бесформенного здания с прямоугольной башней, выкрашенной в кроваво-красный цвет. К усадьбе лепились многочисленные хозяйственные пристройки. Дорога на Амару пересекала уездное шоссе и вела мимо усадьбы к долине Телеормана. Крутой берег обрывался вниз пятидесятиметровой скалой. Плодородная долина реки, шириной более чем в километр, ровная, как стол, казалась бесконечной лентой, покрытой полосками огородов. Сама река не была видна.

— Останови, Иким! — крикнул Григоре, перед тем как бричка начала спускаться, и чуть смущенно пояснил Титу: — Хочу показать вам наши земли — и те, что нам принадлежали раньше, и те, что еще остались. Отсюда все они видны, как на карте...

По ту сторону долины Телеормана, растянувшейся у их ног, земля горбилась, как сутулая спина великана.

— Река Телеорман — граница наших земель с этой стороны,— начал Григоре, приподымаясь и указывая рукой на змеящуюся долину.— От села Ионешть, которое виднеется вон там, далеко слева, и до самого низа, направо, до того места, где в Телеорман впадает речушка Валя-Кыйнелуй, наша межа по ту сторону. Вся земля между двумя этими реками когда-то принадлежала семье Юги. Теперь у нас не осталось и половины. Впрочем, имение было довольно крупное — более двадцати тысяч погонов. Видите село за рекой, на дороге, как раз перед нами?.. Это Бабароага. А дальше, за Бабароагой другое село — Глигану-Ноу... там, где блестит новый церковный купол, вон там повыше, среди деревьев... Так вот, те земли, что слева от дороги, первыми отошли от нашей вотчины. Какой-то прадед отдал их в приданое дочери. Теперь это поместье называется Влэдуца, так как усадьба находится в селе

Влэдуца. Владеет им некий Стэною, который даже не живет в Румынии: все время проводит в Италии, кажется, он дипломат. Поместье арендует отставной полковник Штефэнеску, человек вполне порядочный. У него три взрослые дочери, девицы на выданье, которых ему никак не удается пристроить, хотя они хорошенькие и небольшое приданое он за ними даст. Остальная земля сохранялась за нами целиком до самой смерти дедушки, когда ее поделили между отцом и его братом Теофилом, а уж тот постепенно распродал ее всю, без остатка. Когда-то, собственно говоря, еще не так давно, вся эта земля просто называлась поместье Амара или поместье Юги. Теперь же поместье Амара занимает только самый конец полосы, ее нижнюю часть, я вам потом покажу. Направо от Бабароаги — поместье жены, две с половиной тысячи погонов. Оно простирается до самой дороги, что виднеется там, пониже, между Гэужанью и Бырлогу. А за владениями Надины, по направлению к Валя-Кыйнелуй и вниз до деревни Леспезь, уже имение Леспезь моего шурина Гогу Ионеску, того самого, которого вы разыскивали. Оба поместья арендует грек Платамону, еще с тех пор, как они принадлежали моему тестю. Платамону человек трудолюбивый и умелый да и аренду вносит вовремя и полностью. И сам наживается на глазах. Несмотря на это, или именно поэтому, его здесь не очень-то жалуют. Но это его не смущает, и он продолжает заниматься своим делом... Так! Дальше, между Амарой и Валя-Кыйнелуй, за Леспезью, лежит поместье Вайдеей, около двух тысяч погонов земли. Принадлежит оно бухарестскому банку, но уже много лет поместье арендует Козма Буруянэ, человек вполне порядочный, родом из Молдовы, бог весть какими судьбами попавший в наши края. Он только и делает, что бегает, потеет, суетится, мечется, и все без толку,— никогда не знает, где раздобыть денег для очередного взноса. Мой отец относится к нему очень хорошо и расхваливает на все лады, верно, потому, что Буруянэ всегда остается внакладе... Остальная земля, между обеими речками, принадлежит нам, за исключением участка, погонов в четыреста, вокруг деревни Извору, у самого слияния рек. Этот участок входит в поместье семьи Гика. Раз уж вся земля здесь так искромсана, то и мы принялись кромсать то, что еще осталось за нами, и разным участкам даны разные названия: поместье Руджиноаса, поместье Амара, поместье Бырлогу. Назвали каждое по имени ближайшего села. Я вам все объясню нагляднее, когда приедем в Леспезь. Эта деревня как раз на гребне, и оттуда видно до Извору, а иногда даже до уезда Телеорман, граница которого в нескольких километрах за Извору. Трогай, Иким! Поедешь через Глигану и остановишься ненадолго наверху, в Леспези.

Но не успели лошади тронуться, как Григоре воскликнул:

— Стой! Придержи еще минуту!.. Воспользуюсь случаем и расскажу о наших соседях по эту сторону. Возможно, вы с ними встретитесь, когда будете жить у нас, и вам надо знать, с кем придется иметь дело... О полковнике Штефэнеску я вам уже говорил, так что посмотрим, кто живет справа. В селе Гэужани нет помещичьей усадьбы, а вот в соседнем селе — Хумеле — маленькое, но прекрасно ухоженное поместье генерала Дадарлата из Питешти. И усадьба у него как бонбоньерка. Дальше, рядом с шоссе, на том холме, где виднеется село и барская усадьба,— поместье Гоя, тоже небольшое, всего несколько сот погонов. Оно принадлежит доброму другу моего отца Ионицэ Ротомпану, родовитому боярину, энергичному, любящему свою землю. Его дочь замужем за чиновником судебного ведомства в Рошиори. У села Ороделу, напротив Извору, на этом берегу речки, поместье Пертикарь. Там красивый замок и парк, который стоит посетить. Если выкроим свободное время, мы заглянем туда и я вам их покажу. Поместье, разумеется, сдано в аренду, но замок и парк оставлены за владельцами земли, и они довольно часто приезжают сюда повеселиться. Наконец, владения семьи Матея Гики тянутся от Извору до уезда Телеорман. Управляющий поместьем за четыре года купил себе небольшое именье вблизи Бухареста, а хозяевам достаются одни убытки. В Извору тоже славная и удобная усадьба, в которой хозяева живут с самой ранней весны до поздней осени. Но мы не поддерживаем с ними отношений, даже не знаю почему, так уж повелось... Ну, я кончил!.. Трогай, Иким!

Григоре говорил оживленно, с явным удовольствием. По всему было видно, что тема эта ему по душе. Титу молча смотрел и слушал.

Лошади пустились спокойной рысью по дороге, повторявшей изгибы скалистого берега.

— У нас все реки такие,— поспешил объяснить Григоре, заметив недоумение своего спутника, который никак не мог найти даже следа воды.— Почти весь год их легко перейти вброд, иногда они даже совсем высыхают, но если уж взбесятся, а это случается весной, то заполняют русло от берега до берега, точно Дунай. Но такие страсти бывают редко. Поэтому, сами видите, нам даже мостик не нужен. Повыше, у Ионешти, на уездном шоссе когда-то построили мост, но несколько лет назад он провалился, с тех пор его никто не чинит, и все переходят вброд. Вторая речка — Валя-Кыйнелуй — хоть и поменьше, но злей. Она никогда не пересыхает и каждый год приносит много бед.

Бричка миновала долину и по прямой, как стрела, дороге въехала в Бабароагу, убогое село, состоящее из двух пересекающихся улиц, окаймленных грязными лачугами. Во дворах мельте-

шила многочисленная детвора, копошились куры, утки, изредка попадался навстречу плюгавый мужичишка. Поодаль, на невысоком холме, высилась деревянная церковь, похожая на поломанную игрушку. Титу хотел было что-то спросить, но Григоре опередил его:

— Раньше здесь были только землянки да хижины для батраков. Деревня возникла как-то сама собой и потому так неказиста...

Когда они выехали из Бабароаги, Григоре продолжал:

— Вы обратили внимание на пересечение дорог посреди деревни? Влево дорога ведет к Ионешти, а затем к Костешти, а вправо, через поместье Надины, к нашей деревне Бырлогу. Там нам принадлежит лишь большой, нескладный дом на околице, прозванный крестьянами усадьбой, хотя он служит просто амбаром. Арендатор живет в Глигану, а моя жена, когда она приезжала сюда раза два-три еще до свадьбы, останавливалась в усадьбе своего брата в Леспези, та хотя бы выглядит поприличнее.

С четверть часа лошади бежали рысью между поместьями Блэдуца слева и Бабароага справа. Пейзаж был довольно однообразный. То же нагое, лысое поле, развороченное бороздами; стебельки озимой пшеницы казались здесь хрупкими зелеными пушинками на озябшем теле.

— Тут живет Платамону, арендатор поместий Надины и Гогу,— заметил Григоре, когда они въехали в село Глигану, и указал влево на большой, окруженный забором двор, в середине которого за увядшими кронами деревьев виднелись белые здания с черепичными крышами.

Из широко распахнутых ворот как раз выходил сухощавый, подтянутый, энергичный мужчина с загорелым лицом. На нем была старая шляпа, кожаная куртка и сапоги с высокими, мягкими голенищами. Услышав бубенцы и увидев бричку из Амары, он остановился на мостках перед воротами и поздоровался с церемонной уважительностью:

— Здравия желаю, господин Григорицэ!.. Рад, что благополучно вернулись.

Юга сдержанно ответил, слегка приподняв шляпу.

— Арендатор? — шепотом поинтересовался Титу, указывая взглядом на человека, стоящего на мостках.

Григоре утвердительно кивнул головой, но ответил, лишь когда они отъехали:

— Мне он не очень симпатичен, хотя не сделал ничего плохого.— Тут же он продолжал другим тоном: — Вот сейчас доедем до другого перекрестка, у самой околицы села. Если ехать прямо, то дорога приведет к поместью моего шурина Гогу Ионеску, а дальше, через Валя-Кыйнелуй, можно добраться до Глигану-

де-Сус или, еще дальше, в деревню Речу, что на шоссе Питешти — Фиербинць, где расположено прекрасное поместье нашего теперешнего префекта Боереску. А дорога слева идет от села Шэрбэнешти, границы имения Гогу. Но мы теперь свернем вправо к Леспези и Амаре. Имение Надины простирается до этого шоссе, по которому мы едем, а налево все еще земля Гогу...

Приблизительно на полпути между Глигану и Леспезью кучер, как ему было приказано, остановил лошадей. Отсюда поле полого опускалось до стыка обеих долин. Видимость стала лучше, словно воздух очистился, просветлел. Внизу, к югу, открылась полоса чистого неба.

— Сейчас я вам покажу остальные поместья,— продолжал Григоре свои объяснения.— Слева виднеется Валя-Кыйнелуй. Около деревни Леспезь, той, что перед нами, кончается поместье Гогу и начинается Вайдеей. А от Леспези вы видите, как бежит дальше шоссе, по которому мы приедем в Амару, во-он то село побольше и покрасивей. Проведите мысленно прямую линию, продолжающую шоссе на Валя-Кыйнелуй, и это как раз будет граница поместья Вайдеей. Все, что направо от этой линии, принадлежит нам, до долины реки Телеорман, которую мы раньше проехали... Тоже справа, но здесь, совсем рядом, маленькое, как гнездышко, село,— это Бырлогу. До самой дороги от Леспези к Бырлогу тянется поместье Надины, а дальше ее земля доходит до реки Телеорман. Как видите, мы объехали кругом почти все поместье жены... Между Бырлогу и Амарой, значительно ниже, виднеется еще одно село — Руджиноаса, оно как раз в центре наших владений. Там у нас главные хозяйственные постройки и самый ценный инвентарь. На линии горизонта даже отсюда видна деревня Извору. Красное пятно — крыша усадьбы семьи Гика. Тот лес, что влево от Извору, принадлежит нам, он занимает погонов триста. Только это нам и удалось сохранить. Еще сто лет назад Амара стояла на самой опушке леса, который покрывал всю эту местность... Влево, у Валя-Кыйнелуй, виднеется и село Вайдеей. Оттуда белая лента дороги ведет к Мозэчени. Поближе, но по ту сторону речки, очень хорошо видно село Кантакузу. Это поместье — в нем более чем три тысячи погонов,— говорят, принадлежало когда-то семье Кантакузино, а сейчас им владеет капитан Лаке Грэдинару из Питешти... Впрочем, здесь со всех сторон одни только барские поместья. Вон там Бута, дальше Неграши, затем Зидуриле, потом Думбрэвени...

В Леспези Григоре показал гостю усадьбу шурина, выглядевшую довольно ухоженной. Тот изредка наезжал сюда, уступая настояниям жены, которой после столичных развлечений хотелось иногда для разнообразия пожить в деревне.

Наконец приехали в Амару. Село было большое, но такое же нищее, с такими же крытыми соломой лачугами и дворами, заросшими сорняком. Но Григоре с нескрываемой гордостью обратил внимание Титу на каменную церковь с позолоченным куполом, воздвигнутую его дедом, и на новую школу, построенную отцом. В глубине улочки, ведущей влево, он показал усадьбу поместья Вайдеей. Здесь обитает сейчас арендатор Козма Буруянэ, а раньше, до раздробления имения, жили батраки.

— Останови, Иким, мы тут сойдем, пусть гость получше увидит наши владения. А ты поезжай дальше! — неожиданно воскликнул Григоре и вместе с Титу соскочил с брички.

Направо начинался деревянный забор на кирпичном основании, с квадратными столбиками. За забором ряд старых тополей охранял, словно шеренга гвардейцев, усадьбу Юги. Через распахнутые ворота виден был двор, дома для приказчиков, батраков и слуг, а также конюшни, птичники, амбары, кладовые. Дальше, шагах в ста, открывался главный вход в барскую усадьбу. Высокие, широкие ворота были увенчаны тремя каменными арками, соединенными наверху голубятней.

Войдя во двор, Григоре с легкой грустью сказал Титу:

— Сейчас вы увидите, на что способна любовь!

В конце аллеи молодых елочек новая усадьба радовала глаз, точно улыбка прекрасной женщины. Титу уже знал, что Юга построил эту усадьбу лишь ради Надины. Белое здание с гостеприимной, вместительной верандой, светлыми окнами и четырьмя стройными, как копья, башенками заросло плющом, зеленая листва которого местами доходила до окон верхнего этажа. Поближе к дому аллея расширялась и опоясывала большую клумбу в форме сердца, пламенеющую алыми цветами.

— На эту причуду с цветущим сердцем вы не обращайте внимания,— улыбнулся Григоре, заметив, что Титу внимательно рассматривает клумбу.— Это плод воображения злосчастного влюбленного, а вкусы влюбленных сами знаете каковы. Сохранил же я эту клумбу и продолжаю за ней ухаживать, так как все еще пытаюсь убедить самого себя, что не отказался от любви,— закончил он, невесело усмехаясь, и добавил другим тоном: — Думаю, нам стоит обойти здесь все не торопясь, вы все рассмотрите и полностью освоитесь. Я вам не надоел своими объяснениями? Обещаю, что это в первый и последний раз.

Новая усадьба возвышалась посреди парка, предмета постоянного внимания и забот Григоре. Он привез и высадил ели, которые, впрочем, не очень хорошо прижились в этом равнинном краю. Тропинки, посыпанные мелким гравием, вились вокруг беседок, цветочных клумб, старательно подобранных куп деревьев и под-

стригаемых каждую неделю полянок. За опоясывающей парк живой изгородью была натянута проволочная сетка, отделявшая его от двора, откуда в парк могли проникнуть куры. Только голуби прогуливались по аллеям и перед усадьбой, но как-то робко, не то что на заднем дворе, где они чувствовали себя вольготно среди бесчисленной домашней птицы.

Григоре и Титу свернули направо. В ста шагах позади нового здания находилась старая, приземистая усадьба. Казалось, она наполовину вросла в землю. Открытая терраса на столбах украшала фасад примитивным портиком. Старый Юга продолжал жить в доме, в котором родился, а так как он почти не выезжал из поместья, этот дом казался оживленнее нового.

— Это наше царство! — заметил Григоре, когда они вновь очутились перед новой усадьбой, где их уже ждал слуга, выгрузивший из брички вещи.

Титу давно занимал вопрос, который он никак не осмеливался задать. Но сейчас, поняв, что Григоре больше ничего рассказывать не будет, он, не в силах больше сдерживаться, выпалил этот мучивший его вопрос:

— Вы мне показали очень много барских поместий, поместья и снова поместья, большие и красивые. Но где же земли крестьян?

Григоре вздрогнул. Он не ожидал сейчас этого вопроса, хотя по дороге, когда знакомил Титу с окрестностями, сам невольно задавал его себе и даже удивлялся, почему Титу молчит. Но он тут же взял себя в руки и ответил:

— Вот именно, в этом вся суть крестьянского вопроса — именно в земле!.. Земля!.. У крестьян ее нет, и даже та, что у них была, тоже распылилась... Но это уже другая тема!

Титу Херделя ничего не понял, но не стал настаивать. Он почувствовал, что растравил старую рану.

2

— Добро пожаловать, молодой человек. И, прошу вас, чувствуйте себя как дома! — перебил Мирон Юга сына, представлявшего ему гостя, а заодно и Титу, приготовившего еще в поезде высокопарное приветствие.

Облаченный в длинный, похожий на кафтан, домашний халат, старый Юга крепко пожал руку Херделе и пристально посмотрел ему прямо в глаза, словно желая оценить гостя с первого взгляда. Его черные, проницательные глаза, казалось, проникали в душу и читали мысли. Отец был выше и представительнее сына, у него была внешность волевого человека, привыкшего приказывать и

беспрекословно подчинять себе окружающих. Лицо старого Юги украшали густые, тронутые сединой усы, а металлический, энергичный, но вместе с тем теплый голос сразу покорял слушателя. Худощавые сильные руки, казалось, могли бы легко совладать с ручками плуга, несмотря на благородство формы и изящество пальцев.

Мирон Юга указал гостю на стул рядом с собой, затем вопросительно посмотрел на сына. Григоре понял, что отцу не терпится узнать, чего он добился в Бухаресте. Он рассказал о своих мытарствах, подчеркнув, что лишь благодаря необыкновенной любезности Думеску ему удалось привезти домой больше денег, чем он надеялся.

— Значит, снова Думеску помог! — довольно пробормотал Мирон.— Только старые друзья и приходят на выручку в тяжелую минуту... Но ты правильно сделал, что не приставил армянину нож к горлу. Очень правильно.

Он еще некоторое время не сводил глаз с Григоре, потом опять повернулся к Титу, на которого внешность старика и его манеры произвели до того сильное впечатление, что он совсем оробел. Мирон Юга расспросил гостя о родителях и близких, затем осведомился, как, когда и зачем он перешел Карпаты. Узнав, что молодой человек пишет стихи и хочет сотрудничать в газетах, Юга пренебрежительно махнул рукой, неприятно удивив этим и Титу и Григоре. Чтобы задобрить старика, Титу принялся рассказывать о венграх, о страданиях и бедствиях румын и других подобных вещах, всегда безотказно действовавших на собеседников. Мирон Юга выслушал его внимательно, но затем заявил:

— Именно потому, что простому люду в ваших краях приходится так много терпеть от властей, его наставники не должны его покидать. Я уважаю трансильванцев, перебравшихся сюда, к нам, но еще больше уважаю тех, кто остался на месте, чтобы там бороться с опасностями, принять на себя удар угнетателей и тем самым защитить свой народ. Народ без руководителей осужден влачить животное существование, а это не жизнь. Пастырь, бросающий свое стадо, хуже того, который плохо его сторожит, ибо с пастухом, хорошим или даже плохим, стадо все-таки не гибнет...

Григоре почувствовал себя очень неудобно, тем более что Титу от огорчения даже изменился в лице; перебив отца, он запротестовал:

— Как ты можешь, отец, укорять нашего гостя за то, что свободолюбие побудило его перейти к нам сюда, где у него, во всяком случае, больше возможностей проявить свой талант? Ты забываешь, что румынский народ, часть которого томится под чужеземным господством, обязан сохранить хотя бы свое духовное

единство, а это единство могут поддержать одни лишь поэты и писатели!

— Совершенно справедливо,— согласился Мирон Юга.— Но если все поэты и писатели, как ты говоришь, переберутся в Бухарест, что станет с простыми людьми, оставшимися по ту сторону границы? Единство, разумеется, необходимо! Но поэты должны бороться за единство не ради самих себя, а ради души всего народа. Там, на месте, сами испытывая страдания и муки своих сограждан, певцы будут петь искреннее, чем здесь, где патриотизмом только кичатся да щеголяют.

— Нет, нет, отец, ты глубоко заблуждаешься! — горячо возразил Григоре.— Духовное единство достигается в первую очередь благодаря единому языку. А если наши писатели замкнутся в своих провинциях, то неизбежно появятся все более заметные различия и в языке, так что в конечном счете мы перестанем понимать друг друга.

Но старик продолжал так же твердо и непреклонно:

— Мы существуем уже тысячу или две тысячи лет, пережили времена потруднее нынешних и все-таки сохранили свой язык и здесь и в Трансильвании. Наши книги, сколько бы их ни было, хороши они или плохи, читаются и, несомненно, впредь будут читаться по обе стороны разделивших нас границ. И писатели выполняли, как могли, свой долг каждый в своем краю. А дезертирства я не приемлю ни под каким видом и ни по какой причине. Завтра, когда пробьет час освобождения Трансильвании, нужны будут руководители, вышедшие из местного населения, там выросшие и способные взять на себя управление краем.

Разговор затянулся, ни один из спорщиков не хотел поступиться своими убеждениями. Титу слушал с робкой, заискивающей улыбкой, готовый согласиться одновременно с обоими; после каждой очередной реплики он внутренне даже признавал правоту каждого в отдельности. На его счастье, слуга доложил о приходе арендатора поместья Вайдеей, вызванного Мироном Югой.

Арендатору Козме Буруянэ было лет тридцать пять. У него было семь детей и хорошенькая жена, обещавшая еще больше умножить число отпрысков. Он долго служил управляющим поместьем в уезде Телеорман, пока четыре года назад ему не посчастливилось арендовать у Аграрного банка именье Вайдеей, причем на условиях более льготных, чем сложившиеся в этом краю. За много лет до этого, когда он служил в поместье Стэтеску, его жестоко избили крестьяне за то, что он обсчитывал их при взимании десятины. С тех пор Буруянэ смертельно боялся крестьян.

— Что я вам говорил, барин! — жалобно начал он, опускаясь на стул с такой кислой миной, словно глотнул уксуса.— Слыхали,

какая у меня беда? Да что я спрашиваю, откуда вам было услышать, я сам только что узнал... Ограбили меня, сударь! Сегодня ночью выкрали из нового амбара по меньшей мере полвагона кукурузы!.. Сторожа ничего не видели, работники понятия ни о чем не имеют, словом, никто не знает, кто виноват! А ведь воры, наверно, орудовали всю ночь, и не один человек, а целая банда... И только на прошлой неделе я с ними рассчитался честь по чести, выдал им сполна все, что положено. Вы-то знаете, что я никого не обижу, а вот не везет мне, и все!

Слушая жалобы арендатора, Мирон Юга нахмурился, помрачнел, в отличие от Григоре, на лице которого проступила явная насмешка. Старик сочувствовал Буруяну, понесшему значительный убыток, но еще больше встревожил его этот случай сам по себе. Пусть даже Козма преувеличил размеры кражи, плохо уже то, что крестьяне сумели сколотить шайку и похитить много зерна. Когда крадет один, это еще куда ни шло — поймаешь вора или не поймаешь, существенного значения не имеет. Единичный случай. Но совсем другое дело, когда люди объединяются, чтобы грабить сообща.

— Вот плоды пустопорожней болтовни, которой вы задурили мужикам голову! — многозначительно заявил Мирон, обращаясь главным образом к сыну.— Все шло хорошо, пока крестьянин знал, что с помещиком он должен жить в мире и согласии,— другого выхода у него нет. Но как только вы им забили голову вашими благоглупостями, они стали безобразничать. И это лишь начало! Я вас уверяю, что скоро пойдут дела и почище.

— Не стоит преувеличивать, отец,— чуть иронически возразил Григоре.— Крестьяне крали и раньше, причем и у многих других. Что ж тут такого? Ведь крадут испокон веку. Стоит ли делать такие страшные выводы из заурядного случая?

Мирон Юга даже не счел нужным ответить сыну. Софизмы Григоре были ему хорошо известны. Тот для всего находил объяснения и извинения. Старик несколько раз задумчиво прошелся по комнате, потом резко остановился и отчеканил:

— Пришли мне старосту и начальника жандармского участка. Пусть хоть из-под земли выкопают, но найдут воров! А уж потом мы поговорим... Но и сторожа у тебя, видно, ребята не промах, ничего не скажешь! С них-то и надо начать, взять их в оборот, пока не выложат, кто воровал! Именно так! Готов биться об заклад, что они все прекрасно знают, а скорее всего и сами в шайке.

— Сохрани бог, барин,— умоляюще вскинулся арендатор и испуганно перекрестился,— ведь они в отместку пустят мне красного петуха и совсем изничтожат. Я все стараюсь с ними поосто-

рожнее да помягче, и то мне туго приходится. А если я с них построже спрошу, так даже подумать страшно, что будет. Упаси бог и пречистая дева! Я вам просто поплакался, как отцу, потому всегда находил у вас помощь и защиту, а делать ничего не надо...

— Ну нет, я этого так не оставлю,— мрачно пробормотал Юга.— Дело исключительно важное.

Остальные молчали. Григоре решил больше не вмешиваться, поняв, что отец будет стоять на своем, а Титу, которого расстроили недавние пререкания, даже не следил за спором.

Мирон Юга вызвал Буруяну по другому делу, но сейчас все его мысли были заняты только кражей, и через несколько минут он снова заговорил о том же, ни на кого не глядя, словно разговаривая сам с собой:

— Уже не впервые здесь нагло крадут. Этой осенью было пять случаев. А два раза украли даже у нас, правда, мелочи, но факт остается фактом.

Он помолчал, мысленно что-то прикинул и наконец, будто придя к окончательному выводу, строго заявил:

— Зло необходимо вырывать с корнем. И делать это надо быстро, энергично, пока болезнь не запущена,— толку будет больше, чем от самых жестоких, но запоздалых репрессий.

Козма Буруянэ, напуганный оборотом дела,— ведь он просто хотел пожаловаться старому барину на свое невезение,— попытался разрядить обстановку.

— Очень уж изменились крестьяне, барин. Умными стали, даже чересчур умными. Впрочем, в нынешние времена все стали больно умными, потому-то жизнь и идет все хуже и хуже. А мужик, раз уж он поумнел, требует одного — земли и еще раз земли, и знать не хочет, возможно это или нет! Требует, и дело с концом!

Решив, что страсти чуть улеглись, Титу воспользовался подходящей минутой и мягко заметил:

— Крестьяне повсюду одинаковы. У нас, в Трансильвании, они тоже из кожи вон лезут, чтобы заполучить землю. Им всегда мало. Но ведь это неплохо. Пока они будут так страстно любить землю, никто не сможет ее у них отнять...

Мирон Юга посмотрел на него так пристально и насмешливо, что молодой человек осекся и сконфуженно опустил глаза, хотя и не понял, чем он вызвал столь явное недовольство.

Стараясь сделать приятное барину, арендатор поспешил возразить:

— У вас там совсем иное положение, господин...— Козма не разобрал фамилии Титу и пробормотал что-то нечленораздельное.— В Трансильвании землю надо отобрать у чужеземцев, которые отнимали ее у вас сотни лет, а здесь-то ведь земля боярская,

она переходит из поколения в поколение, от дедов и прадедов, и именно бояре ее сохранили и защитили от всех напастей и бед...

— Не беспокойтесь, скоро и у нас тут будет точно так, как по ту сторону Карпат! — презрительно вмешался Григоре.— Уже сегодня больше половины барских поместий находится в руках всяких пришлых чужаков, которым любовь к земле и не снилась. Что будет завтра — одному богу известно, но, сдается мне, стране пошло бы только на пользу, если бы поместья перешли в руки крестьян, так как чужакам труднее будет отобрать у них землю, чем у нас. Этому помешает хотя бы то, что крестьян так много.

Старик посмотрел на сына столь же насмешливо, как только что на Титу, но снова промолчал. Ему представлялось очевидным, что Григоре городит несусветную чушь, и он только диву давался, как такой неглупый человек сам этого не понимает.

Буруянэ, однако, почувствовал себя лично задетым и негодующе возразил, сохраняя, однако, тот же льстивый тон:

— Грех так говорить, господин Григорицэ, ей-богу, грех! Вы, может, шутите, а ведь это обязательно сбудется, вот вам крест! У крестьян одно на уме — завладеть барскими поместьями, и увидите, точно так оно и произойдет! Разве вы не замечали, что, где бы ни продавалось поместье, крестьяне тут же набрасываются, покупают его и делят между собой? Вот даже у нас, я все собирался вам сказать, барин, ходят слухи, что крестьяне ладят купить поместье барыни Надины.

Мирон Юга быстро поднял голову и удивленно спросил:

— Как так купить?.. Чтобы купить поместье, оно должно сперва продаваться.

— Они говорят, что продается.

— Слышишь, Григорицэ? — невесело усмехнулся старик.

— Слышу,— пожал плечами Григоре.

— Мне кажется,— многозначительно продолжал арендатор,— что этот слух распустил Платамону. Я случайно слыхал, будто грек тоже зарится на это поместье, вот мужики и решили — зачем поместье отдавать греку, лучше мы его себе заберем...

— Откуда взялись такие слухи, Григорицэ? — раздраженно спросил Мирон Юга.— Вокруг поместья твоей жены рыщут покупатели, а ты знать ничего не знаешь! Все-таки, видно, какое-то основание у людей есть, не сошли же все с ума!

— Ваша правда, барин,— вновь вмешался Буруянэ.— Говорят, то есть это крестьяне говорят, будто сама барыня предупредила Платамону, что не продлит ему больше срока аренды, сколько бы он ей ни заплатил, хоть вдвое больше, чем теперь, так как твердо решила продать поместье и избавиться от всей этой мороки с арендой, мужиками и всем прочим... Вот какие дела, барин.

Старого Югу эта новость взволновала еще больше, чем история с кражей кукурузы. Он попытался выведать у арендатора что-нибудь еще. Но Буруянэ не знал никаких подробностей. Юга глубоко задумался и замолчал. Слуга позвал всех к ужину. Буруянэ встал, собираясь уйти, и недоуменно спросил:

— Вы меня вызывали, барин, хотели что-то сказать, а я вас совсем заговорил своими бедами, вы уж меня простите, пожалуйста...

Мирон попытался вспомнить, для чего он вызывал Буруянэ, но не сумел, и это еще больше его рассердило. Тогда он решил найти хоть какой-нибудь вежливый предлог, чтобы спровадить арендатора, но ничего не придумал и мрачно пробормотал, не глядя ему в глаза:

— Ладно, поговорим в другой раз, теперь ты меня и так достаточно расстроил... Ступай с богом!

3

Титу Херделя почувствовал себя действительно хорошо лишь после ужина, когда остался один в отведенной ему комнате.

Провожая гостя, Григоре уговаривал его не принимать близко к сердцу слова отца. Старик всегда очень своенравен в суждениях и поступках, но душа у него чудесная... Сейчас Титу готов был этому поверить, но за столом он сидел как на иголках и кусок не лез ему в горло, потому что Мирон Юга был мрачнее тучи, в его сторону даже не смотрел, а сына непрерывно донимал всевозможными мелкими придирками.

Комната, отведенная Титу, находилась на втором этаже нового здания. Одно оконце выходило во двор усадьбы, второе — в парк. Проводив гостя, Григоре вернулся к отцу, в старую усадьбу, где они ужинали. Впрочем, он почти все время проводил здесь, а в новом здании ночевал, лишь когда наезжали гости, чтобы им не было скучно в пустом доме... Сейчас он показал Титу и кокетливую угловую спальню, в которой царила фотография Надины.

Титу прошелся несколько раз по комнате, подумал, что Григоре, возможно, вернется, чтобы еще поболтать, но вспомнил, что тот пожелал ему доброй ночи, и, стало быть, он может свободно располагать собою до завтрашнего утра. В печке убаюкивающе гудел огонь. Было еще не поздно, но Титу решил, что лучше всего сразу же лечь и как следует отдохнуть.

На другой день он встал раньше, чем обычно в Бухаресте, но, разумеется, значительно позднее хозяев. До обеда он бесцельно слонялся по усадьбе. Григоре был занят — проверял какие-то расчеты

с бухгалтером поместья Исбэшеску, и Титу чувствовал себя неприкаянным, не зная, куда себя деть. Приказчик Леонте Бумбу, высокий, худощавый и расторопный, с энергичными повадками сержанта сверхсрочной службы, походил с ним по двору, показал конюшню и большой запертый сарай, переоборудованный под гараж для автомобиля Надины,— машина стоит там, когда барыня сюда приезжает. Но по всему было видно, что у Бумбу есть другие дела, поважнее, как, впрочем, и у всех остальных обитателей усадьбы. Титу подумал было, что разумнее побродить по деревне, чем околачиваться во дворе и всем мешать, но тут же испугался, не покажется ли это бестактным его хозяевам.

За обедом Григоре, извинившись, сам предложил ему свободно располагать собой: сегодня он по уши занят хозяйственными хлопотами, а с завтрашнего дня будет полностью в распоряжении гостя.

Выйдя после обеда из дому, Титу встретил в аллее стройную босоногую девушку, чьи черные глаза, озорная улыбка и кокетливо повязанный голубой платочек сразу рассеяли его скуку.

— Постой, милая,— остановил он ее.— Ты здешняя, в барском доме работаешь?

— Всего несколько дней,— ответила девушка.— Меня сюда тетушка Профира привела, та, что стряпает для старого барина. Она уж давно меня зовет — приходи, мол, подсоби, а то очень ей трудно и с другими девчатами она не ладит.

— Как тебя зовут?

— Марноара,— ответила девушка и после короткого колебания добавила: — дочь Ирины, вдовы Влада Чунгу. Отец мой помер четыре года назад, а мамка — сестра тетушки Профиры.

— Вот и прекрасно, Марноара,— покровительственно перебил ее Титу.— Ну, раз ты такая милая девушка, скажи мне, есть ли у вас в деревне учитель?

— Как же, барин! Неужто нет? А уж ласковый какой да молодой! Он из нашего села родом, женатый, и родители его здесь, они все вместе живут...

— А далеко он живет?

— Не так уж далеко. Как выйдете на улицу, сверните налево, а там пройдете чуток и увидите дом с цветами в окошке. Там он и живет.

— Спасибо, красавица, дай бог нам скоро поплясать на твоей свадьбе! — поблагодарил Титу и галантно ущипнул девушку за щечку.

— Дай бог! — откликнулась Марноара, слегка покраснев.

Мимолетный разговор улучшил настроение Титу. Он свернул влево по деревенской улице. Ночью прошел изрядный дождь, но

солнце уже подсушило землю. Титу решил в первую очередь нанести визит учителю; так подобает — ведь он сам сын сельского учителя. На стене третьего от усадьбы дома, крытого красным железом, между окнами красовалась вывеска из жести. Жандармский участок. Затем он оказался на улочке, ведущей к селу Вайдеей; отсюда Григоре показывал ему стоявшую в отдалении усадьбу Козмы Буруяны.

На самом углу он увидел корчму с широким навесом и плотно утрамбованной площадкой для танцев. Толстый, здоровенный корчмарь в крестьянской одежде и сдвинутой на затылок шляпе, стоя на пороге настежь распахнутой двери, торговался с двумя крестьянами. Увидев Титу, корчмарь вежливо поклонился... Дальше, тоже по правой стороне, через несколько домов, начинался большой двор примэрии, левее расположилась школа, а за примэрией — церковь. Подойдя к церкви, Титу остановился: не прозевал ли он дом учителя? Какой-то мальчонка указал ему пальцем: надо было пройти еще чуть дальше.

Учительский дом ничем не отличался от остальных. Разве только двор был почище, а в окошках улыбалась кроваво-красная герань. Титу открыл калитку, но хромой, взъерошенный пес кинулся на него с таким яростным лаем, словно готов был разорвать на куски. С галереи, увитой диким виноградом, на помощь гостю поспешила проворная молодуха, отогнавшая пса.

— Простите, здесь живет господин учитель? — неуверенно спросил Титу.

— Здесь, здесь, заходите, пожалуйста!.. Да вы не беспокойтесь, он не кусается, не обращайте внимания на этого дурака. Брешет да шумит, чтобы показать, что не даром хлеб ест! — добавила женщина, заметив, что гость боязливо косится на пса, который никак не мог утихомириться и все еще недоверчиво и хрипло лаял.

На галерее появился мужчина лет тридцати, с маленькими подкрученными усиками, худощавым лицом и черными, странно горящими глазами. На нем была крестьянская вышитая рубаха навыпуск и черная жилетка.

— Я учитель!

Титу Херделя церемонно представился и коротко объяснил, как попал в Амару. Они вошли в дом. Учитель познакомил гостя со своей женой — той самой молодухой, которая уняла пса. Неуклюжая застенчивость делала ее еще милее. Крестьянская одежда хозяев вызвала недоумение Титу. У себя в Трансильвании он привык, и считал это правильным, что учитель, представляющий в селе интеллигенцию, должен быть одет по-городскому, чтобы и

своим внешним видом поддерживать престиж школы в глазах простого люда.

— У вас и власти, верно, заботятся об авторитете преподавателей, а у нас...— безнадежно махнул рукой учитель.

Флорика, его жена, принесла варенье.

— Зачем вы беспокоитесь, сударыня, не стоит! — запротестовал Херделя, однако с удовольствием попробовал угощенье.

Хозяйка, покраснев, извинилась, улыбнулась и вышла.

После некоторого колебания учитель счел своим долгом предупредить гостя, что господа из барской усадьбы не проявят восторга, когда узнают об этом его визите. Особенно будет недоволен сам барин, который категорически запретил учителю даже заходить в усадьбу после того, как он однажды посмел вступиться за крестьян и попросил барина хоть немного облегчить условия найма на работу.

Херделя испугался не на шутку и, пока учитель говорил, думал только об одном: не допустил ли он большой ошибки, когда зашел к человеку, которого Юга невзлюбил, пусть даже и несправедливо. Он успокоился, лишь услышав, что речь идет о старике, который и к нему самому отнесся довольно нелюбезно.

Заговорив еще более открыто, учитель объяснил Титу, что крестьяне хотят земли, так как не могут существовать на те крохи, что швыряют им господа из своих излишков. Даже подрядившись на самых благоприятных условиях, крестьяне обязаны отдавать помещику половину плодов своего труда. Работая не больше, чем сейчас, но на собственной земле, они жили бы вдвое лучше. По существу, три четверти тяжелого труда бедняков идет на то, чтобы помещики могли вести роскошную жизнь. Рабам в былые времена и то жилось легче, ибо в награду за рабский труд их кормили, одевали, содержали, а сегодня крестьяне, работая до изнеможения, живутся хуже рабов, не могут обеспечить себе даже нищенское пропитание и, чтобы не умереть с голоду, вынуждены побираться, влезать в долговую кабалу...

Учитель, Ион Драгош, говорил, опираясь на свой собственный жизненный опыт, потому что и сам был из крестьян. Учителем он стал благодаря случаю. В детстве ходил в школу прилежно и с большой охотой, и тогдашний учитель упросил Мирона Югу помочь мальчику поступить в учительскую семинарию и выхлопотать ему казенную стипендию. Юга действительно поговорил с кем надо, и мальчик его не подвел — он оказался блестящим учеником и получил диплом с отличием. Как раз в тот год скончался старый учитель, и Мирон Юга пристроил на освободившееся место Драгоша, считая, что тот окажется хорошим наставником для крестьян. Так выразился тогда старый барин, так полагал и начинаю-

щий учитель. Впоследствии барин пожалел, что устроил Драгоша в свое село, а учитель пришел к убеждению, что его назначили сюда, рассчитывая, что он будет благодарным и послушным слугою. А совсем недавно Мирон Юга потребовал у школьного инспектора подыскать другого учителя, с которым он сможет найти общий язык и который не будет подстрекать крестьян, как это делает Ион Драгош. Правда, инспектор хорошо знает и ценит Драгоша и не хочет приносить его в жертву. Поэтому он колеблется и пытается выиграть время, надеясь, что старый барин сменит гнев на милость. Но Мирон Юга не такой человек, он не передумает и, как только поймет, что инспектор просто тянет, обратится непосредственно к своему другу министру или поручит своему близкому родственнику, депутату Гогу Ионеску, вышвырнуть обоих — и учителя и инспектора.

Жена, бедняжка, да и остальные домашние даже не подозревают, какая над ними нависла угроза. Он переживает все про себя и ждет, что будет дальше. Живет Драгош в отцовском доме, вместе со стариками родителями и братом, лишь в прошлом году вернувшимся из армии. Половину родительской земли они отдали в приданое старшей сестре, она вышла замуж за крестьянина. Сам Драгош женился на полюбившейся ему девушке, бесприданнице. Не будь его предельно скромного жалованья, они бы все просто нищенствовали. А завтра-послезавтра может и ребенок на свет появиться, хотя они женаты уже два года и пока бог не смилостивился, несмотря на их желание.

— Но разве не существует закона, который бы...— возмущенно перебил его Титу.

— Законы существуют, только чтобы притеснять нас, малых и сирых,— печально возразил Драгош.— Для нашего закабаления...

Голос и весь облик учителя красноречиво свидетельствовали об его полной искренности. Слушая его, Титу недоумевал, как можно мириться с таким диким положением. Даже если предположить, что Драгош преувеличивает, как все, кому приходится тяжко, все равно его переживания ужасны. Титу решил непременно поговорить с Григоре Югой, чтобы тот предотвратил столь вопиющую несправедливость.

— Наберитесь терпения, господин учитель! — подбодрил он его.— Справедливость должна восторжествовать.

— Возможно, но до тех пор мы погибнем,— с горечью возразил Драгош.— Мы уже сотни лет ждем эту справедливость, а она все не приходит. Быть может, ее и вовсе нет на свете. Просто сказка для бедных людей.

4

Староста Ион Правилэ вбежал в помещение жандармского участка. В средней комнате находилась канцелярия участка, в той, что выходила на улицу, жил начальник с женой, а задняя комната, та, что побольше, предназначалась для жандармов.

— Ну, господин шеф, посмотрим, как мы на этот раз вывернемся! — воскликнул староста с озабоченным видом.

Унтер-офицер Сильвестру Бояпджиу, чуть вздремнувши после обеда, совсем недавно встал и прошел в канцелярию. Опухший и хмурый после сна, он сладко зевал, как раз когда ворвался староста, и чуть было не обругал его за то, что тот «так налетает на честных людей». Кроме того, Правилэ назвал его «господин шеф», что, как считал Бояпджиу, принижает его авторитет многоопытного заслуженного унтера. Но, увидев испуганное лицо старосты, Бояпджиу, в свою очередь, всполошился, стряхнул с себя сонное оцепенение и поспешно спросил:

— Что там стряслось, мил человек?

— Беда, просто несчастье,— простонал Правилэ, у которого душа совсем ушла в пятки, когда он увидел испуг жандармского начальника.

Староста — человек среднего роста, с маленькими хитрыми глазками и морщинистой, словно выдубленной кожей лица — примчался сюда прямиком из усадьбы. В ушах его до сих пор звучал повелительный голос старого барина: «Ты, староста, доставь мне воров, откуда хочешь, а не то сам за все ответишь!» Правилэ никогда еще не видел Мирона Югу в таком гневе и был даже рад, когда тот выгнал его вон.

— А барин-то прав,— заявил жандарм, уразумев наконец, о чем идет речь.— Ничего не поделаешь, коли прав, так уж прав! Сколько раз я тебе говорил, что тут все сплошь разбойники? Теперь ты и сам убедился...

Говоря это, Бояпджиу, статный, усатый здоровяк, пытался, по существу, унять собственный страх. Ведь во всей этой истории старосте горя мало! Умоет руки — его дело сторона! Для таких дел в деревне и существуют жандармы!.. Всего несколько месяцев назад, когда сюда приезжал с инспекцией начальник жандармской роты, Мирон Юга пригласил его к себе в усадьбу на обед и там пожаловался, что жандармы слабоваты, начальник их — размазня и потому, мол, в последнее время мужики совсем распустились. Понятно, что после этого разговора капитан учинил унтеру свирепый разнос, обругал его последними словами и предупредил, что зашлет куда-нибудь в глушь Добруджи, если тот еще посмеет навлечь на себя недовольство самого господина Юги, который и т. д. и т. п.

И вот не успел Бояпджиу немного прийти в себя и успокоиться, как нежданно-негаданно свалилась на голову новая напасть.

— Ну, коли на то пошло, то я такое проведу следствие,— прошипел он,— что эти бандитские села и на том свете меня помнить будут!

Совещались они долго. Ясно было одно — воров надо искать в селах Амара, Вайдеей и Леспезь. В первую очередь подозрение падает, конечно, на сторожей арендатора Козмы Буруяпэ, и унтер послал жандарма с приказом немедля доставить их в участок. Затем староста и унтер перебрали поименно всех подозрительных из этих трех сел, останавливаясь на одних, вычеркивая других, вновь возвращаясь к некоторым именам. В конце концов Сильвестру Бояпджиу составил список человек в тридцать, но решил еще раз внимательно его продумать после того, как допросит сторожей...

Жандарм ввел в канцелярию трех крестьян. Унтер отвесил авансом каждому из них по четыре увесистые затрещины и лишь потом грозно спросил:

— Сейчас же признавайтесь, кто украл кукурузу арендатора?

— Скажите, ребята, скорее скажите, чтобы вам не переломали понапрасну кости,— жалостливым голосом, по-отечески вмешался староста.— Воров надо разыскать хоть на дне морском, а не то всем худо будет. Вы должны их знать, если только сами не приложили к этому делу руку...

Якоб Митруцою, самый старый из сторожей, сутулый, с желтым землистым лицом, на котором отпечатались следы пальцев Бояпджиу, стал клясться, что в ту злосчастную ночь он не дежурил, а спал дома с детьми, это могут засвидетельствовать соседи и все село. Два других сторожа пояснили, что арендатор приказал им охранять амбары с пшеницей, те, что во дворе усадьбы, о новом же амбаре даже речи не было. Они все-таки поглядывали и в ту сторону, но ничего не видели и не слышали. К тому же новый амбар стоит на отшибе, далеко от усадьбы. Когда его строили, старики даже говорили барину, что не дело это ставить амбар в таком отдалении...

Слова сторожей вызвали только насмешки и новые увесистые тумаки. Все, мол, разбойники так защищаются,— уверяют, будто ничего не знают, ничего не видали и не слыхали. Но как же может ничего не почуять сторож, который получает большие деньги за охрану хозяйского добра, когда у него из-под носа тащат вагон кукурузы?..

Иримие Попа, статный мужик, посмелее других, при этих словах не сдержался и горячо возразил:

— Да откуда же вагон, господин унтер? Напраслину возводите! Ну, может, утащили мешка два-три, не больше... Сам госпо-

дин Буруянэ не скажет по-иному, вот вам крест, господин унтер! Два-три мешка, это еще куда ни шло, но откуда целый вагон?

Боянджиу ткнул Иримие кулаком в зубы.

— Мало того, что крадешь, ты еще и врать будешь! — заорал он.— Да как же ты смеешь говорить мне такое?..

Слова мужика встревожили унтера. Он кликнул жандарма и приказал ему хорошенько избить задержанных, так, чтоб им впредь неповадно было запираться. Лишь после этого он отпустил их, предупредив, что, если на следующий день поутру они не приведут в примэрию воров, он с них шкуру спустит.

— Что ж это получается, староста? — спросил Боянджиу, когда остался наедине с Правилэ.— Старый барин говорил тебе о вагоне кукурузы, а арендатор требует разыскать всего три мешка?

— А я почем знаю? — пожал плечами староста.

Чтобы успешно вести следствие, надо было в первую очередь выяснить именно это. Ведь одно дело — искать вагон кукурузы, а совсем другое — несколько мешков. Поэтому решили, что староста тотчас же отправится на место происшествия и точно установит, сколько было украдено кукурузы и при каких обстоятельствах.

— Только ты уж займись этим делом как следует, Ионикэ! — напутствовал старосту унтер.— А не то и тебе солоно придется, я ни на что не посмотрю.

5

Титу Херделя слушал жалобы учителя, и ему стало стыдно, он словно почувствовал себя виноватым в том, что приехал в гости к человеку, притесняющему крестьян. Только когда Драгош изредка поминал добрым словом Григоре Югу, Титу с облегчением думал, что, по существу, он гость Григоре. Стремясь как-то выразить свою солидарность с учителем и обездоленным людом, к которому он причислял и себя, Титу растроганно, по-братски пожал руку новому знакомому и попросил проводить его к сельскому священнику, чтобы познакомиться со вторым духовным пастырем деревни.

Когда они уже собрались выходить, два тощих бычка втащили во двор телегу. Худая старуха торопливо закрыла ворота, высокий, плечистый парень принялся распрягать волов, а у колодца крутил ворот старик, доставая воду для скотины.

— Вот все мое семейство! — указал на них Драгош, после того как Титу попрощался на галерее с хозяйкой.

Херделя сошел и поздоровался за руку со стариками и парнем, который оказался выше учителя и шире его в плечах. Когда они выходили со двора, парень сказал брату:

— Неплохо бы тебе зайти в примэрию, а то жандармы снова собираются ни за что ни про что избивать невинных людей. Сторожей арендатора Козмы они уже избили.

— Не встревай ты в это дело, Ионел! — испуганно возразила жена Драгоша.— У нас и без того забот хватает, о них и думай, не то господа опять скажут, что ты заступаешься за крестьян, и снова начнут тебя притеснять...

— Ладно, ладно, оставьте-ка вы меня сейчас в покое! — резко и даже почти высокомерно ответил учитель, тем более что старики поспешили дать ему тот же совет.

По дороге Драгош находил хорошие слова почти для каждого встречного. Херделя привык в родной деревне поддерживать дружеские отношения с крестьянами, но сейчас ему показалось, что учитель ведет себя нарочито, стремясь показать, как близко к сердцу принимает он судьбу всех односельчан.

Их остановила какая-то бедная женщина и попросила у Драгоша совета, как быть, как жить дальше, потому что до того ей тошно от всех бед и напастей, что она просто не знает, как еще не бросилась вниз головой в колодец. Учитель стал ее расспрашивать, и она подробно рассказала, что еще прошлой зимой ее муж погиб в лесу и с тех пор она мыкается, бьется, как рыба об лед, одна-одинешенька, пытаясь прокормить целую ораву детишек мал мала меньше. А еще в тот же злой час погиб не только муж, но и один из их волов, денег на покупку другого у нее не было, вот и пришлось чуть ли не даром продать оставшегося. Тогда еще старый барин ее вызвал, утешил и посулил заплатить за погибшего вола да и сирот не оставить без помощи. Только все эти посулы так и остались посулами. Сколько раз с тех пор ходила она на барскую усадьбу, пыталась напомнить о себе, только к господам ее не пустили. А приказчик, как увидел, что не может отделаться от ее слез и жалоб, объявил ей, что барин сдержал свое слово и велел бухгалтеру Исбэшеску возместить ей убытки, но покойник, пусть земля ему будет пухом, уж очень много задолжал помещику, так что деньги за вола даже не покрывают долга. А раз волов у нее не осталось, то ей и земли не хотели выделить, еле упросила, за вспашку ей также пришлось платить, но денег не было, и она опять набрала в долг, у кого могла, и вот теперь зима только начинается, а у нее осталось совсем немного кукурузы и больше ничего, ей бы хоть до крещения дотянуть, детей-то у нее много, да еще долги надо платить, а кроме того...

— Ничего, наберитесь терпения, теперь вам уж недолго осталось мучиться, скоро вернется из армии ваш старший, он все уладит,— попытался утешить ее Драгош.

— Ох, вернул бы его господь бог поскорее! — еще горестнее

всхлипнула женщина.— Только вижу я, другие-то парни уже вернулись, а Петре никак не отпускают, не возвращается он и не возвращается, а я тут вся извелась одна-одинешенька, без всякой помощи, лью слезы и не знаю, чем же я согрешила, почему господь бог так жестоко меня карает...

— Приедет он, не волнуйтесь! — заверил учитель.— Завтра-послезавтра нагрянет домой!

Но женщина продолжала рыдать, объясняя сквозь слезы, что она все время так плачет, не в силах сдержаться с тех самых пор, как поразило ее несчастье, и нет у нее ни минуты покоя, даже по ночам места себе не находит.

— Хороший человек был ее муж, очень хороший,— сказал Титу учитель, когда они распрощались с женщиной.— Жаль, что погиб. Ее счастье, что старший сын весь в отца, даже еще лучше будет.

Они дошли до примэрии, к которой только что подъехала знакомая Драгошу бричка. Со двора как раз выходил арендатор Платамону вместе со своим сыном Аристиде, студентом бухарестского университета, франтовато одетым, смазливым юношей, с тонкими чертами лица и мясистыми влажными губами.

Широко улыбаясь, Платамону направился с протянутой рукой к Драгошу и рассказал, что приехал кое о чем попросить старосту, но попал не вовремя,— староста занят серьезным следствием, и никто не знает, где он теперь.

— Если вам надо нанять на работу женщин, то правильно сделали, что захватили с собой сына, он в этом деле дока,— полушутя, полусерьезно заметил учитель, указывая на подошедшего Аристиде.

Арендатор громко и самодовольно усмехнулся:

— Молод он, кровь горячая! Пусть балуется лучше со здешними бабами, чем с городскими, те еще бог знает какой хворью наградить могут. Правда, и в деревне теперь нельзя быть уверенным...

Все рассмеялись. Платамону заявил, что восхищен знакомством с Титу Херделей, напомнил, что видел, как тот приехал вместе с Григоре Югой, и пригласил зайти к нему домой познакомиться с семьей и подружиться с Аристиде. Он чудесный малый. Впрочем, в ближайшие дни Платамону и сам заглянет в барскую усадьбу; молодая барыня Надина известила его письмом, что возвращается из-за границы и обязательно посетит свое поместье.

Как только они отошли, Драгош угрюмо пробормотал:

— Нет в селе такой девушки или молодухи, к которой бы не приставал этот кобель! Отец измывается над мужиками, а сынок — над женщинами!

Перед корчмой толпился народ — люди возбужденно галдели и размахивали руками. Приход Драгоша и Хердели немного успокоил страсти. В центре толпы стояли сторожа Козмы Буруянэ и староста. Сторожа громко жаловались, доказывая свою невиновность, а Правилэ убеждал толпу, что воров необходимо найти во что бы то ни стало.

— Слыхали, что случилось, господин Драгош? — закричал он, обращаясь к учителю, собиравшемуся пройти мимо.

Херделе и Драгошу пришлось остановиться. Люди окружили их и снова выслушали старосту, которого то и дело перебивали сторожа, ободренные всеобщей поддержкой. Так как Драгош не спешил взять его сторону, Правилэ обратился к Титу, надеясь, что тот признает его правоту.

— Так ведь я, люди добрые, человек тут чужой, только вчера в ваше село приехал,— ответил Херделя, слегка смущаясь любопытных взглядов, которые словно ощупывали его со всех сторон.— Мне неизвестны обстоятельства дела, не знаю, какой нанесен убыток да и был ли он вообще...

— Не было никакого убытка!..— закричал вдруг старый сторож.— Посудите вы сами, коли...

— Ты, Якоб, помолчи, не мешай им говорить,— строго перебил сторожа староста.

— Как я уже сказал, не знаю, что именно у вас стряслось,— продолжал Титу,— но одно я хорошо знаю — не так страшен черт, как его малюют.

Несколько человек рассмеялись, и кто-то заметил:

— Так оно и есть... незачем бедных людей зазря обижать, грех это!

Воспользовавшись тем, что спор разгорелся еще жарче, Драгош и Херделя пошли дальше и свернули в улочку, ведущую к селу Вайдеей, туда, где почти напротив усадьбы Козмы Буруянэ в крепком доме, окруженном множеством пристроек и большим огородом, жил священник Никодим Грапчя.

Когда они подошли к дому, священник энергично помогал разгружать воз с тыквами. Был он в камилавке и засаленной кофейного цвета рясе, подвернутой выше колен. Его длинная седая борода почернела от пыли и грязи. Держался священник еще бодро, хотя ему перевалило за семьдесят и он уже лет двадцать как вдовел. Только зрение у него ослабело. Вот и сейчас он не сразу узнал Драгоша и весело обратился к нему лишь после того, как услыхал его голос.

— Ну и напугал ты меня, Ионикэ, я-то тебя не признал!.. Совсем плохи глаза стали!.. В церкви даже буквы не различаю. Всю службу веду на память. Старость, ничего не поделаешь!

Л. Ребряну
«Восстание»

Говоря это, старик то и дело недоуменно поглядывал на Титу, а когда учитель познакомил их, ласково заговорил с ним:

— Дай тебе бог здоровья, сынок! Ты уж прости, что застал меня в столь непотребном виде, но здесь у нас священники — люди простые и неученые, живем мы, как наши отцы и деды жили. Вот сын у меня зато зело ученый, семинарию в Бухаресте кончил и такой славный стал священник, что сам митрополит его отметил. Голос у него преотличный, может, от меня унаследовал, я-то пел совсем недурно да и сейчас при случае в грязь лицом не ударю, вот и Ионикэ может подтвердить. Один я знаю, как мне обидно и горько, что нет сына около меня, но что поделаешь, коли барин Мирон никак не смилостивится и не переведет его сюда...

Сыну священника пришлось взять приход, впрочем совсем неплохой, где-то в уезде Горж, так как Мирон Юга, неизвестно почему, не пожелал допустить его в Амару. Это бесконечно удручало старика, и он ни о чем другом не мог говорить со своими гостями. Он позвал их в дом, угостил вареньем и познакомил со своей старшей дочерью Никулиной, женщиной лет сорока, женой состоятельного мужика Филипа Илиоасы. Потчуя гостей, Никулина то и дело извинялась за беспорядок в комнате и за то, что гости застали ее босиком. Она рассказала, что у нее шестеро детей и самый старший учится в пятом классе гимназии, в городе Питешти. Они пока живут все вместе в доме священника и ждут, когда господь смилостивится, смягчит сердце барина и поставит Антона на место старого Никодима... Ведь у Филипа свое хозяйство, полученное от родителей, и живет он с тестем только ради того, чтобы не оставлять его в одиночестве на старости лет.

— Видите? — спросил Драгош, когда они оказались на улице, за калиткой, куда их проводило все семейство священника.— Всюду и везде власть Юги. В его руках вся наша жизнь, а возможно, и смерть...

— Это особый случай,— ответил Херделя.— И так не будет длиться вечно. Завтра-послезавтра старый Юга скончается, а молодой...

— Нет, нет, вы ошибаетесь! Это отнюдь не особый случай! — запальчиво возразил учитель.— Так всюду, по всей стране! Барин или его ставленник арендатор — полновластный хозяин деревни. Его воля — закон, он всесилен! А чтобы вы не сомневались в моей беспристрастности и в том, что я в здравом уме, могу добавить, что Мирон Юга порядочнее большинства других помещиков. Он никого не обманывает и не стремится содрать с крестьян семь шкур, он даже делает добро, когда может и считает нужным. Я уж не говорю о его щедрости по отношению к церкви, к школе и ко всем прочим общественным делам. Зато он не разрешает никому даже

никнуть, считает, что он всегда прав и что он — всеобщий благодетель... Стало быть, мы имеем дело не с исключительным случаем, у нас не хуже, чем в других местах, а, может, даже лучше. И все-таки, как вы сами видите, мы просто рабы! Виной тому не Мирон Юга, а положение, в каком мы находимся. И это положение не изменится оттого, что один человек уйдет со сцены. Его преемник, какими бы хорошими и благородными ни были его намерения, все равно будет делать то же самое, он просто будет вынужден и впредь действовать в рамках той же системы. Настоящие перемены произойдут лишь тогда, когда помещиков не станет и земля будет принадлежать тем, кто на ней работает.

Уловив в голосе учителя скрытую угрозу, Титу примирительно заметил:

— Но подобные изменения невозможно осуществить в два счета.

— Конечно, нет! — еще мрачнее буркнул Драгош.— Для этого весь мир должен перевернуться, но этого не хочет никто, и я в том числе... Одна надежда на чудо...

— Чудо! — отозвался Титу.— В наши дни только люди могут вершить чудеса.

— Люди, но не рабы! — уточнил учитель, и глаза его сурово сверкнули.

6

На следующий день, едва забрезжил рассвет, староста Ион Правилэ уже был во дворе арендатора. Сторож Замфир Келару, щуплый, с землистым лицом, вертелся вокруг нового амбара, как волк, которому не терпится пробраться в надежно запертую овчарню. Староста придирчиво все осмотрел, потрогал, проверил и, не найдя ни малейшего следа взлома, вдруг сердито воскликнул:

— Как же пробрались внутрь воры?

— А нам откуда знать? — горестно вздохнул сторож.— Пусть барин сам покажет, вот он как раз идет сюда.

Предупрежденный сторожами еще с вечера, Козма Буруянэ, ежась от холода,— все вокруг заволокло густой изморосью,— пришел на место происшествия, чтобы лично присутствовать при том, как староста будет выяснять обстоятельства дела. Правилэ встретил его почтительным упреком:

— Ну и заварили же вы кашу, сударь! Сказали бы лучше нам и не вмешивали в такое дело барина. Сами знаете, как он лют во гневе и как всем нам тогда туго приходится...

Арендатор попытался сперва обратить все в шутку, но очень расстроился, когда узнал о грозном приказе, который Мирон Юга

отдал старосте. Подумать только, сколько хлопот и неприятностей может вызвать неосторожно брошенное слово! Буруянэ готов был сейчас откусить себе язык в наказание за собственную болтовню. Теперь крестьяне возненавидят его еще больше, ему совсем житья не будет. Но кто мог подумать, что Юга подпимет шум из-за какой-то чепухи? Он тут же посоветовал старосте не торопиться и приостановить следствие, а он, мол, заявит в контору поместья, что у него нет никаких претензий и потому можно оставить людей в покое.

Довольный Правилэ зашагал обратно в деревню. По дороге, однако, он подумал, что отказ арендатора от жалобы дела не меняет. Если Мирон Юга не отменит лично своего приказа, он, староста, не имеет права прекратить следствие, а то старый барин, упаси бог, еще пуще разгневается и обрушит весь свой гнев на его голову. Тем временем Козма Буруянэ сообразил, что причинит сам себе кучу неприятностей, если откажется от жалобы, и решил пока молчать как рыба.

Унтеру Бояпджиу приснился ночью сон, который жена истолковала не к добру, и потому он был настроен воинственнее, чем накануне. Сейчас он поджидал в примэрии старосту с результатами расследования на месте преступления. Пока же он распорядился, чтобы к нему привели пятнадцать взятых на заметку крестьян из Вайдеей и десять из Амары. Последних уже доставили, и он собирался их немедленно допросить. Бояпджиу намеревался провернуть все дело в самой примэрии, так как в глубине здания была довольно вместительная комната, в которую можно было посадить большое число арестованных. В жандармском участке он располагал лишь крохотной комнатушкой, где едва умещались три человека.

Тяжело отдуваясь, раскрасневшись, весь в поту, пришел староста. Проходя мимо корчмы, он решил чуть согреться и хватил несколько стопок цуйки. Бояпджиу решительно заявил ему, что не намерен марать свой послужной список из-за каких-то подлых мужиков и не изменит решения оттого, что арендатор пошел на попятный. Капризы господина Буруянэ его не интересуют. Он военный и выполняет свой долг. Взгляд Бояпджиу был так грозен, что Правилэ струхнул, будто тоже попал под подозрение.

Секретарь примэрии Кирицэ Думитреску — юноша, одетый по-городскому, но с деревенской кокетливостью, в несвежей сорочке без манжет, однако с целлулоидным воротничком, тщательно вычищенным резинкой, по слухам, когда-то учился в первом классе гимназии, а затем устроился на должность секретаря по протекции кухарки Юги, которая доводилась ему родной теткой по отцу. Сейчас он старался поавантажнее повязать на шее зеленый галстук,

не обращая ни малейшего внимания на происходящее вокруг и думая лишь о дочери арендатора Платамону, с которой ему вчера удалось перекинуться несколькими словами и даже обменяться улыбками.

— Господин Думитреску, очень вас прошу, помогите мне составить протоколы допросов! — крикнул Бояпджиу, отвернувшись от старосты.— Я буду диктовать, а вы пишите, так следствие быстрее пойдет.

— Да у меня и так уйма дел! — запротестовал секретарь.— Поглядите сами, что меня ждет,— добавил он, указывая головой на груду бумаг, так как руки его все еще были заняты непокорным галстуком.

— Вы все-таки окажите мне эту услугу, я ведь в долгу не останусь! — продолжал настаивать Бояпджиу с ноткой дружеской укоризны в голосе.

— Раз так, откладываю все в сторону и — к вашим услугам! — согласился молодой человек, приходя в хорошее настроение оттого, что сумел, как надо, повязать галстук, и с восхищением рассматривая свою физиономию в зеркальце, пристроенном к чернильнице.— Можете приступать к делу, я готов! — продолжал он, приводя в порядок прическу, так чтобы одна прядь кокетливо свисала на лоб.

Десятерых крестьян из Амары ввели со двора в переднюю канцелярии, а охранявший их жандарм остался у наружной двери. Бояпджиу вырос на пороге, вперил в них угрожающий взгляд и, помолчав с минуту, мрачно спросил:

— Признавайся сразу, кто украл у барина кукурузу!

— Не виноваты мы, господин унтер,— послышались робкие голоса.

— Так, значит, добром признаться не хотите? — продолжал Бояпджиу с кислой улыбкой.— Ладно! Поговорим по-другому!.. А ну, подойди сюда вот ты, да, ты... Как тебя звать?

— Меня-то, господин унтер?.. Орбишор Леонте! — ответил крестьянин, входя вслед за Бояпджиу в канцелярию.

В течение нескольких минут оттуда доносились только глухие удары кулаков, хлесткие пощечины, тяжелое, прерывистое дыхание унтера, его крики: «Признавайся, скотина!.. Значит, не хочешь признаваться?» — и отчаянные, все более жалобные вопли крестьянина: «Не бейте меня, господин унтер!.. Простите, господин унтер!.. Пощадите!.. Ничего я не знаю! Я ни в чем не виноват, господин унтер!..» Оставшиеся в коридоре крестьяне ошеломленно переглядывались, бросая испуганные взгляды на неподвижно застывшего у дверей жандарма. Лишь некоторое время спустя Сера-

фим Могош, пожилой крестьянин с седыми висками и мудрым взглядом, отец пятерых детей, обратился к остальным:

— Слышь, братцы, признайтесь лучше сами, кто украл, не то забьют нас всех до смерти, безо всякой вины.

Люди наперебой принялись клятвенно его заверять, что знать ничего не знают. Дверь канцелярии распахнулась, и оттуда, шатаясь, как пьяный, вышел Леонте Орбишор. Лицо его осунулось, по усам и подбородку стекали струйки крови. Унтер подтолкнул его в спину и заорал:

— Жандарм, посади его в холодную и держи там, пока опять не подойдет его черед!

Поджидая возвращения жандарма из глубины двора, Бояндживу, немного сбавив тон, обратился к задержанным:

— Признавайся, кто украл! Признавайся подобру-поздорову, не то я всю душу из вас выколочу!

Крестьяне продолжали в отчаянии отрицать свою вину, и тогда унтер, снова распалившись, гаркнул, обращаясь к Могошу:

— А ну, давай сюда ты, который построптивей!.. Заходи ко мне!

— Можете меня хоть убить, господин унтер, потому как моя жизнь в ваших руках, но коли не крал, как же я скажу, что украл?

Бояндживу резко ткнул Могоша в зубы, втащил за шиворот в комнату и захлопнул за собой дверь. Опять из канцелярии донеслись глухие удары, звонкие пощечины, тяжелые вздохи, крики боли, жалобные стоны...

Следствие длилось часа два, и как раз к концу его два жандарма привели пятнадцать крестьян из Вайдеей. Допрошенных переводили в холодную, и они теперь утирались там от крови, ощупывая разбитые лица. Но унтер до того устал, что, разделавшись с последним мужиком из Амары, решил передохнуть и набраться сил. Этой передышкой воспользовался староста, который тут же сбегал в корчму Бусуйока и подкрепился цуйкой. По пути туда и обратно он не преминул по-отечески упрекнуть крестьян, ожидавших во дворе своей очереди:

— Что ж вы, люди добрые, молчите, почему не признаетесь? Чего упираетесь, словно черт в вас вселился?

Бояндживу даже во время передышки не сидел без дела — подписал протоколы допросов и проверил список других подозрительных, которых намеревался допросить после обеда...

Кроме пятнадцати мужиков, приведенных жандармом, во дворе топталась еще кучка крестьян, частью из Амары, частью из Вайдеей. Они пришли добровольно, чтобы засвидетельствовать, даже присягнув, если нужно, на святом кресте, что никто из

задержанных — ни те, кого уже избили, ни те, кто еще ждал своей очереди,— ни в чем не виноват и в ту злополучную ночь не выходил из дому. Рядом жались перепуганные, плачущие женщины, каждая с узелком съестного под мышкой для своего бедолаги мужа, чтобы тому хоть от голода не маяться, коли жандармы не отпустят мужиков.

Когда допрос возобновился и крестьян ввели в сени, унтер, к своему удивлению, увидел, что во дворе осталось еще немало народу. Он встал на пороге и спросил:

— А вам чего надо?

Пантелимон Вэдува, краснощекий парень, призванный в армию, которому через неделю надо было явиться в полк в Питешти, поспешно ответил:

— Мы, господин унтер, пришли засвидетельствовать, что нет за ними никакой вины, не крали они кукурузы у барина!..

— Вот оно как! — протянул Бояnджиу, шагнув к парню.— А ну, подойди сюда, Пантелимон, ведь ты теперь уже солдатом числишься! Значит, бунтовать вздумал, мать твою в печенку и селезенку, Пантелимон!

Молниеносным движением Бояnджиу сгреб парня за шиворот и принялся бить его кулаком куда попало — по голове и по лицу. Все пустились наутек, испуганно и глупо хихикая, так как на первых порах им показались смешными слова, брошенные унтером парню, и то, как он его сграбастал. Пантелимону удалось вырваться из рук Бояnджиу, и он побежал за остальными с такой же глупой и недоумевающей ухмылкой на вспухшем от ударов лице. Перестал он смеяться, лишь когда, вытирая лицо, почувствовал острую боль в челюсти и сплюнул кровавый сгусток. По-видимому, под градом ударов он прикусил себе язык.

Несмотря на свой гнев, унтер, увидев, что крестьяне смеются, заорал почти весело:

— Стой, Пантелимон!.. Зачем удираешь, Пантелимон?

Но он тут же опомнился, еще больше помрачнел и снова пошел «выполнять свой долг». Задержанные крестьяне, которых, как овец, втолкнули в сени, услышав во дворе смех, тоже заулыбались, надеясь задобрить начальство. Но Бояnджиу показалось, что они над ним насмехаются, и он тут же отбил у них всякую охоту веселиться, набросившись на них с кулаками.

— Значит, бунтовать вздумали, лодыри вонючие! — негодующе пробурчал он.— Выходит, вы не только воры, но еще и наглецы в придачу!..

Спустя несколько секунд, отведя душу, он гордо раскорячился на пороге канцелярии и, указав на одного из крестьян, гаркнул:

— Эй, ты!.. Вон ты, ты!.. Ну двигайся, не кобенься, хамло!

7

В тот же день с самого утра Григоре Юга решил показать Титу поместье и в особенности хозяйственные постройки, сосредоточенные в Руджиноасе, новой деревне домов на тридцать, построенной Мироном Югой для крестьян, чтобы иметь их всегда под рукой.

Пошли они, разумеется, пешком. От Амары до Руджиноасы было полчаса ходу. Титу восхищался вслух обилием скота, лошадей, птиц, вместительными амбарами на высоких сваях, огромными стогами сена и соломы, грудами кукурузных початков, множеством работников, но восхищался он всем этим больше для вида, чтобы доставить удовольствие Григоре, который и в самом деле радовался от души.

От Руджиноасы они спустились почти до Извору. Проселочная дорога, оставлявшая слева поместье Амару и справа — Руджиноасу, пересекала плоское, пустынное, однообразное поле, черневшее под серым, осенним небом. Лишь на горизонте золотилась бронзовая опушка леса Амары, а правее виднелась красная крыша особняка Гики в Извору.

Оттуда они возвратились в Руджиноасу, где у Григоре были дела. Затем пошли другой дорогой к Бырлогу, потом по тропинке, ведущей напрямик через поле, вернулись в Амару.

Титу, по существу, интересовали не столько новые места и хозяйство, сколько возможность наконец спокойно поговорить с Григоре. До сих пор он не осмеливался да и не находил подходящего случая, чтобы хоть спросить, договорился ли Балоляну относительно его устройства в редакцию «Универсула». Теперь же Григоре сам, не дожидаясь вопросов, сказал, что Балоляну замолвил за Титу словечко кому надо и получил заверенье в том, что его просьбу выполнят, но он, Григоре, не удовлетворился этим и заставил его дать честное слово, что к возвращению Титу в Бухарест все будет окончательно улажено. Пока же пусть гость не думает о столице и газетах, а отдыхает в свое удовольствие.

Титу горячо поблагодарил Григоре и заодно рассказал, что побывал вчера в деревне и познакомился с учителем Драгошем и отцом Никодимом. Григоре похвалил учителя за трудолюбие и усердие и добавил, что отец тоже высоко ценит его, хотя считает чуточку демагогом, что в какой-то степени соответствует действительности.

— Мне он показался очень искренним, но несколько экзальтированным,— заметил Херделя.

— Именно искренность и экзальтированность делают малокультурных людей опасными! — возразил Юга.— У Драгоша иска-

женное представление о действительности, он считает, что все его постоянно преследуют. Подобные люди зачастую становятся невольными виновниками многих несчастий...

В Амару они вернулись к полудню, но не успели войти в дом, как к ним торопливо подошел бледный и очень взволнованный Драгош. Он поздоровался и сказал прерывающимся голосом:

— Я шел к господину Мирону Юге, хотя рискую быть выставленным за дверь, но я обязан попытаться сделать даже невозможное, чтобы прекратить то, что... Но раз мне повезло и я встретил вас, господин Григоре, прошу меня выслушать...

Драгош рассказал, что жандармы истязают десятки крестьян, что жены и старики родители задержанных прибежали к нему и к отцу Никодиму, умоляя спасти несчастных. Он же, хотя сердце его от жалости обливается кровью, ничего пока не предпринимал, надеясь, что унтер скоро устанет. Но теперь по всему видно, что допрос только начинается и после обеда будут покалечены и другие...

— И все это из-за нескольких мешков кукурузы! — закончил дрожащим голосом Драгош.— Люди готовы сложиться и возместить арендатору убытки. Я тоже внесу свою долю, мы все внесем, лишь бы...

— Хотите пойти со мной в примэрию? — спросил Григоре Титу.

Они пошли. На улице перед примэрией и во дворе стояла толпа, в большинстве женщины.

В канцелярии староста, унтер и секретарь как раз совещались относительно послеобеденного допроса. Думая, что молодой барин пришел по поручению отца проверить, как идет дознание, Правилэ низко поклонился, испуганно пробормотав «целую руку», и тут же принялся жаловаться, что со вчерашнего вечера трудится не покладая рук вместе с начальником жандармского участка, совсем из сил выбился, но все напрасно, никто не сознается. Бояиджиу, застывший по стойке смирно, доложил, в свою очередь, что он всетаки выведет виновных на чистую воду, но для этого ему необходимо еще некоторое время, так как мужиков много, а допрашивает их он один.

Григоре посоветовал ему временно прекратить допрос, чтобы не будоражить попусту деревню, и направить следствие по другому руслу. В первую очередь пусть выяснят точно, сколько кукурузы украдено и как это было совершено, и уж потом, на основании этих данных, постараются решить, кто мог быть вором. На это староста доложил, что он не обнаружил ни малейших следов взлома, а арендатор не предъявляет больше никаких претензий.

— Раз нет следов, то, может быть, не было и кражи? — спросил Григоре.

— Кабы господин Буруянэ не сказал, что его обокрали, я бы ни за что не заподозрил кражу,— искренне признался староста и даже покраснел.

— Вор никогда не сознается добром, коли не застукать его на месте преступления! — непреклонно заявил Боянджиу.

После ухода Григоре староста и унтер посоветовались, как быть. Григоре они уважали, но Мирона боялись. Пожалуй, лучше всего Правилэ доложить после обеда старому барину о том, что уже сделано, и заодно сообщить о распоряжении Григоре. Тогда их никто ни в чем не попрекнет.

Услышав о вмешательстве сына, Мирон Юга чуть вздрогнул, но отменять его распоряжение не стал. При этом он добавил, что следствие все равно прекращать нельзя и воров необходимо найти во что бы то ни стало.

Вечером, после ужина, старый Юга сказал:

— Мне нужно поговорить с тобой, Григорицэ!..

Титу Херделя, поняв, что он лишний, сразу же поднялся:

— Прошу меня извинить... Я, видимо, сегодня слишком много ходил и очень устал...

— Раз так, то спокойной ночи! — благосклонно отозвался Мирон.

Как только Херделя вышел, Григоре стал упрекать отца за то, что он вновь обидел его друга, что он не считается... Но старик, махнув рукой, прервал сына:

— Оставим эту чепуху!.. Гораздо серьезнее то, что ты подрываешь мой авторитет перед посторонними и отменяешь мои приказы. Вот это действительно очень серьезно!.. И непозволительно, дорогой мой!.. Пока я держусь на ногах, хозяин здесь я! Ты прекрасно знаешь, что я от этого не отступлюсь... Когда меня не станет, будешь поступать, как найдешь нужным. Но до тех пор прошу тебя этого не делать. Настоятельно прошу!

Голос Мирона был столь непреклонен, что Григоре внезапно почувствовал себя несмышленым ребенком, смиренно и боязливо выслушивающим упреки отца. И он ответил точь-в-точь как в детстве:

— Да, папа.— Лишь помолчав, он добавил таким же детским, неуверенным тоном: — Я думал, что предугадал твое желание, когда попытался приостановить избиение невинных людей.

— Нет! — коротко и твердо бросил старик, словно прихлопнул печатью окончательный приговор.

ГЛАВА III

ГОЛОДНЫЕ

1

Через несколько дней староста Правилэ пришел тайком к Григоре Юге и сообщил ему, что воров найти не удалось по той простой причине, что никакой кражи не было. Вдвоем с унтером они еще раз внимательно осмотрели злополучный амбар, допросили с пристрастием еще нескольких самых подозрительных крестьян, но все безрезультатно. После этого он пошел к Козме Буруянэ, и тот признался, что действительно поторопился с жалобой, так как теперь и ему сдается, что кражи не было; он собирается повиниться старому барину, да боится, что тот ему этого не простит.

— А теперь я пришел доложить вам,— продолжал староста,— потому как вы помягче будете. Замолвите словечко перед отцом, чтоб он тоже знал, почему мы не выполнили его приказ, хоть сами хотели да и обязаны...

В тот же день Григоре сообщил новость отцу, и тот выслушал его весьма хладнокровно, ничем не выказывая своего удивления или негодования. Однако в глубине души он злился на Буруянэ. Старика особенно раздражало то, что он, хотя бы косвенно, должен был признать свою ошибку перед собственным сыном.

— Ты правильно сделал, что рассказал мне это! — спокойно заметил он и тут же тише добавил, словно разговаривая сам с собой: — Подумать только, что за человек оказался этот арендатор. Ну, ничего, я...— Он не закончил фразы, по-видимому, не желая выдавать своих мыслей, и перевел разговор на другую тему.

В сердце Мирона Юги засело занозой известие о том, что Надина намеревается продать свое поместье. Хотя сам он не унижался до расспросов, сведения о продаже поступали к нему в последние дни из самых разных источников и под самыми разнообразными соусами. Даже Григоре дня два назад сказал, что Надина как будто говорила что-то похожее, но он не придал тогда ее словам никакого значения, считая, что она просто хотела лишний раз подчеркнуть свое пренебрежение ко всему, связанному с имением. Старый Юга решил воспользоваться случаем и полушутливо осведомился:

— Наверно, так же правдивы и слухи о продаже поместья Бабароаги?

Хотя неожиданный вопрос и удивил Григоре, он равнодушно пожал плечами:

— Не знаю. Возможно. На мой взгляд, пусть продает, если хочет. Это поместье — приданое Надины, и она управляет им, как находит нужным...

— Но ты прекрасно знаешь, что без твоего согласия Надина не имеет права ничего продавать! — возразил Мирон, смотря сыну прямо в глаза.

— Моим согласием она заранее заручилась. Раз уж Надина предпочла сдавать свою землю в аренду вместо того, чтобы...

— Следовательно, она заручилась твоим согласием? — повторил старик, не сводя с сына глаз.

— Конечно! Она может продать свою землю, когда ей будет угодно! — твердо ответил Григоре, не опуская взгляда.

— Независимо от того, кому? — продолжал допытываться Мирон.— Даже если крестьянам?

— Если она продаст крестьянам, я буду рад! — коротко и сухо усмехнулся Григоре.— Чем иметь соседом Платамону или другого такого же субъекта, пусть это лучше будут крестьяне, которым действительно нужна земля. По крайней мере, они отчасти утолят свой голод и оставят нас в покое.

Словно давно ожидая такого ответа, старик сразу же возразил спокойным, но укоризненным тоном, который, как он знал, сильнее всего действовал на Григоре:

— Вот что, милый, я все больше убеждаюсь, что, как это ни грустно, демагогия совсем лишила тебя здравого смысла, и я со страхом думаю, что станет с нашим хозяйством после моей смерти. Я невольно то и дело вспоминаю покойного Теофила, мир его праху, и очень боюсь, как бы и ты не пошел по его стопам, не пустил бы по ветру наше имущество.

— Тебе нечего волноваться, отец! — твердо возразил Григоре, сознавая свою правоту.— Уверяю тебя, что люблю нашу землю не меньше, чем ты, но эта любовь не может меня ослепить, и я вижу, что и крестьяне имеют право на жизнь.

— Другими словами, я не люблю своих крестьян и не даю им возможности жить? — рассердился Мирон.— Значит, я, деля с ними все, чем владею, денно и нощно о них заботясь, не люблю их, а любите их вы, те, кто забивает им головы пустыми обещаниями и громкими словами? Знаешь, Григоре, я тебя считал человеком более серьезным! — в сердцах воскликнул он, помолчал и продолжал чуть спокойнее: — Для ведения хозяйства необходим опыт, и этот опыт говорит, что поместье, граничащее с крестьянскими землями, обречено на верную гибель. Это неумолимый закон! Хотел бы я посмотреть, как ты наймешь крестьян на работу после того, как в их руки перейдут две тысячи пятьсот гектаров земли поместья Бабароаги! Они над тобой просто смеяться будут!

Они уже теперь... (Мирон хотел сказать «воры», но вспомнил о случае с Буруянэ и сдержался) хороши, а тогда сперва будут издеваться над тобой, а потом просто изобьют. Толпе необходимы хозяин и узда, не то начнется анархия!

Григоре слушал отца, не пытаясь возражать. Он давно знал его мнение и понимал, что никто не сможет переубедить старика. Но Мирон довел свою мысль до конца:

— То обстоятельство, что без твоего согласия Надине не обойтись, может послужить нам хорошим оборонительным оружием. Ты согласишься только в том случае, если продажа ее земли не будет ничем угрожать твоему собственному поместью. Это вполне естественно... Но, по существу, обезопасить себя можно лишь при одном условии: если ты постараешься сам купить поместье Бабароагу.

Григоре улыбнулся, до того нелепой показалась ему эта идея, и иронически ответил:

— Надина способна будет передумать, если узнает, что это я намереваюсь купить поместье. Она мечтает оторвать меня от сельской жизни и ни за что не захочет еще крепче привязать нас к этим краям... Однако почему бы, отец, тебе самому не купить эту землю, раз она тебе так приглянулась?

Мирон удивленно встрепенулся, словно услышал что-то совершенно для себя новое, но почти тотчас задумчиво добавил:

— А ведь ты, пожалуй, прав, Григоре! В конце концов...

2

В это последнее воскресенье октября погода обещала быть хорошей, и корчмарь Кристя Бусуйок заблаговременно нанял цыган-музыкантов, чтобы после полудня молодежь поплясала хору, а вечером старики потешились бы за стаканом вина. В прошлые годы в конце октября бывало холодно, мокрый снег, грязь, теперь же на по-летнему безоблачном небе ласково лучилось желтое солнце, мягко освещая печальную землю.

Танцы начинались обычно на площадке перед корчмой, но вскоре захватывали и улицу, где стояли рядком девушки и молодухи, глазея на танцующих. Когда изредка по улице проезжала повозка, танцоры и зрители, толкаясь, отступали на площадку к корчме, и визг испуганных женщин заглушал затейливое пиликанье музыкантов.

Теперь все плясали прямо на шоссе, и круг танцующих легко колыхался под восхищенными взглядами молодиц и девушек. Оба музыканта (платил за музыку сам корчмарь и наводил экономию,

утверждая, что никакой разницы нет, будет ли музыкантов двое или трое, лишь бы играли хорошо и, главное, без остановки) приплясывали почище танцующих, то и дело переходя с места на место и подбадривая друг друга. Сапоги парней тяжело топотали по подсохшей улице, а девушки плыли легко, словно лани, чуть касаясь земли.

На лавках вдоль стен корчмы сидели старики, а возле них, как всегда по воскресеньям, стояли мужчины и толковали о своих делах. У крестьян из поместий, принадлежавших когда-то Юге, давно вошло в привычку по праздникам встречаться и судачить о своем житье-бытье именно в этой корчме, в Амаре. Так повелось издавна, и сюда сходились мужики из Лесенези и из Вайдеей, из Бырлогу, Глигану и Бабароаги, не говоря уж о жителях Руджиноасы, которые чувствовали себя в Амаре, как дома.

Серафим Могош, пожилой крестьянин с седыми висками и мудрыми глазами, рассказывал о том, как его истязали жандармы. При этом он смотрел, однако, не на окружающих, а куда-то вдаль, словно жалуясь какому-то справедливому судье. За его руку держался мальчонка и весело вертелся во все стороны, словно белый мотылек, порхающий вокруг старого дерева. Хотя то, что рассказывал Серафим, было всем досконально известно, так как весть о допросе сразу же разнеслась по окрестным селам да и сейчас среди слушателей стояли трое избитых крестьян, все смотрели Серафиму в рот, как будто слышали эту необыкновенную историю впервые в жизни или получали горестное удовольствие, заново бередя души. Игнат Черчел, крестьянин помоложе Могоша, хотя и выглядевший старше, смотрел на рассказчика глазами приблудного пса, качал головой, вздыхал и то и дело перебивал его одними и теми же словами:

— Так что ж нам делать, люди добрые, что же делать?

Эти восклицания, независимо от воли Черчела, звучали до того нелепо, жалостно и униженно-покорно, что все остальные лишь презрительно на него поглядывали, а Тоадер Стрымбу, безземельный вдовец с тремя детьми, наконец не выдержал.

— Что делать, что делать? — яростно крикнул он, но тут же сам испугался своего возмущения и быстро пробормотал, глотая слова: — Бог его знает, что нам делать...

Впрочем, Игната Черчела года четыре тому назад тоже избил жандармский унтер, предшественник Боянджиу, обвинив в краже каких-то вещей с барского двора, и избил так жестоко, что Игнат хворал потом недели две и остался покалеченным на всю жизнь.

Чтобы загладить следы яростной вспышки Тоадера, Леонте Орбишор — коротышка с тоненьким голосом и подвижным лицом — примиряюще заметил:

— Я тоже натерпелся вместе с Серафимом и всеми остальными, но, с другой стороны, как же быть? Что же властям делать, коли грабеж случился? Как же допустить, чтобы воры крали чужой труд?

— И то правда!.. Красть, конечно, не след!.. — одобрительно закивали несколько человек.

По толпе прошла легкая зыбь, словно неожиданно у всех свалился камень с сердца. Но именно тогда вечно хмурый Трифон Гужу пробормотал, скорее про себя, но так, что все услышали его угрюмый, какой-то сверлящий голос:

— Так ведь труд-то все одно наш!

Все посмотрели на Трифона, словно он раскрыл какую-то тайну или выразил всеобщую заветную мысль. Но никто ничего не сказал, и даже Трифон, имевший привычку повторять свои слова, когда считал, что сказал нечто важное, замолчал и опустил голову на грудь.

После короткого молчания, во время которого слышались лишь игра музыкантов и гиканье танцующих, все заговорили разом, каждый о своем. Будто испугавшись самих себя, люди перевели взгляд на хору, лишь бы не смотреть друг на друга. Их голоса переплетались, сливаясь в бесконечном вздохе.

Хора колыхалась широким кругом, извивалась змеей, ласково охватывала то женщин, стоявших по обочинам шоссе, то мужчин, сгрудившихся перед корчмой. Радость танцоров взметалась выкриками частушек, выплескивалась в затейливые завитки перепляса. Зрители толпились, тоже поддаваясь этому ликованию, будто стремясь слиться в одно существо — беззаботное и счастливое.

Больше всех веселился Пантелимон Вэдува, и все его понимали, так как через несколько дней ему надо было уходить в армию, а там, кто знает, когда ему еще удастся повеселиться. Он тоже так думал, хотя хвастался, что намерен дослужиться до капрала, как Петре, который должен был вернуться домой как раз к его уходу в армию. Но про себя парень с ужасом думал о неизведанной солдатской жизни. Пантелимон толковал со многими, уже отслужившими срок, подробно их расспрашивал; все они с гордостью вспоминали о солдатчине, говорили, что штука это хорошая, но очень трудная.

Еще тяжелее было ему из-за Доминики, семнадцатилетней рыженькой и пухлой девчонки, которая плясала рядом с ним и льнула к его руке, как побег плюща. Горечью жгла парня мысль о том, что придется расстаться с милой и не видеть ее бог знает сколько времени. Пантелимон хотел обвенчаться с Доминикой до того, как уйти в солдаты. Другие парни так и поступали. Но этому воспро-

тивились родители и его и девушки. Его старики надеялись, что на военной службе он позабудет дочь Наку и потом подберет себе другую невесту, под стать своему состоянию. А родители девушки, главным образом мать, смертельно боялись, как бы с Пантелимоном не стряслась в солдатчине какая беда, как было, к примеру, с бедным Флорей Бутуком,— восемнадцати лет от роду тот повенчался с Ангелиной, дочерью Нистора Мученику, прижил с ней трех детей, а потом погиб где-то в полку, оставив Ангелину несчастной вдовой. Еще хорошо, что родители Флори из доли сына кое-что выделили Ангелине на детей, так что у нее теперь хоть свой угол есть, не на улице мыкается. А у Доминики, может, и детей сразу не будет, так что, если напасть какая случится, останется она ни бабой, ни девкой, только на то и пригодной, чтобы услаждать мужиков, охочих до женского пола.

Но Пантелимон прислушивался скорее к сердцу, чем к разуму, и не строил никаких расчетов. Он думал лишь о том, что уедет и не увидит больше лукавых карих глаз Доминики, в которых, как ему казалось, скрывались все тайны мира, не увидит ее жарких губ, сулящих ему столько радости. Потому-то был Пантелимон сейчас таким веселым и в то же время несчастным, потому так отчаянно гикал, выкрикивал частушки и плясал, чтобы Доминика видела его, слышала и хорошо запомнила, что нет на деревне парня краше и лучше, чтобы не забывала его и не полюбила другого. Доминика понимала, что Пантелимон старается ради нее, гордилась этим, стискивала парню руку, изредка прижималась к нему и оглядывалась, словно говоря всем о своем непреклонном решении ждать нареченного.

Верховодил парнями Николае Драгош, брат учителя, настоящий богатырь,— высокий, плечистый, с черными, как вороново крыло, усиками, на редкость умный и трудолюбивый. Чтобы стать настоящим хозяином и одним из самых уважаемых на селе людей, ему не хватало только хорошей жены. Впрочем, слева от него плясала Гергина, дочь Кирилэ Пэуна, так что и в этом отношении Николае не дал маху. Гергина была красавица и единственная дочь у родителей. У Кирилэ здесь, в Амаре, дом, хозяйство и несколько полосок земли, но вот уже год, как он перебрался в Глигану приказчиком к арендатору Платамону и получал там приличное жалованье. Свое хозяйство он взвалил на отца, который, хотя ему уж давно перевалило за семьдесят, был еще крепок и орудовал мотыгой ловчее молодого парня.

Лист зеленый, лист дурмана,
Для веселья еще рано! —

визгливо и неумело выкрикнул безусый парнишка и закрыл глаза, как молодой петушок. Цыган, наигрывавший на скрипке, не стерпел и тут же насмешливо отпарировал:

Лист зеленый мирабели,
Жизнь отрада и веселье,
Коль не пьет Илие зелья!..

Смех прокатился по хоре и по толпе зрителей. Хохотал и высмеянный парнишка — Илие Кырлан. Почувствовав всеобщую поддержку, цыган крикнул парню:

— Ты уж лучше помолчи, а не то я пройдусь и насчет твоей фамилии.

Все снова захохотали. Но хора продолжала струиться дальше цепью разгоряченных тел, словно ни на мгновение не останавливалась с тех пор, как началась, и не намеревалась никогда остановиться.

В глубине корчмы, за длинным столом сидели человек двенадцать самых видных и уважаемых людей на селе. Они беседовали уже давно, но никак не могли ни о чем столковаться, хотя подхлестывали свою решимость и разум все новыми и новыми стопками цуйки, которые уважительно и с готовностью подавал им Бусуйок, знавший, что столь достойные люди при расчете его не обманут.

Впрочем, и Бусуйок принимал участие в разговоре, как только улучал свободную минутку. Ведь речь шла о земле, а он, как любой крестьянин, тоже лишь о земле и мечтал; даже корчмой занялся от нужды, надеясь собрать деньжат, прикупить несколько погонов хорошей земли и окончательно стать на ноги. Собрал сегодня сюда народ на совет бывший староста Лука Талабэ, мужик саженного роста. Пока люди раздумывали и колебались. Каждый опасался, как бы господа не рассердились, если узнают, что мужики задумали купить поместье барыни Надины, и не перестали бы в отместку сдавать им издолу землю, не обрекли на голодную смерть. Лупу Кирицою, самый старый из собравшихся, со свисающими на плечи сивыми, точно трепленная конопля, космами и водянистыми голубыми глазами, спросил озабоченным голосом:

— Все бы это распрекрасно, люди добрые, но как нам быть, коли барыня вдруг возьмет да и скажет: «Не могу я вам продать поместье, потому как нет у вас таких денег, а мне все деньги на бочку подавай!»

Лука Талабэ, человек толковый, с еще молодым, энергичным лицом, тут же перебил старика:

— Подожди, дед Лупу, не падай духом! Если так рассуждать, то мы ни в жисть земли не купим. Такую кучу денег мы никогда

не соберем, чтобы держать их в кошельке за поясом и выложить на стол, когда господа потребуют. Ты человек старый, вот и скажи — разве так делается?.. Если кто продать хочет, то дает рассрочку, идет на уступки, не приставляет нож к горлу, как ты говоришь, дедушка.

К их столу подошел корчмарь с бутылкой для Матея Дулману, молчаливого, хмурого мужика из Леспези, и сразу же горячо взял сторону Луки:

— Ежели дело за этим станет, можно одолжиться в банке, небось господа из банка придут нам на выручку, коли попросим их как следует. Покупать-то будем не что-нибудь — поместье, деньги верные, землю всегда можно снова продать...

— Правильно он говорит! — еще увереннее продолжал Лука.— И в банке сможем деньги достать, а главное, потом работать будем как следует, люди добрые, ведь на себя работать станем. Пока сложимся, дадим кто сколько может, все мы, которые здесь, да и другие помогут, и внесем задаток, а уж потом лицом в грязь не ударим, расплатимся сполна!

Марин Стан, худой, костлявый, с острым птичьим профилем, слегка охмелевший после нескольких стопок цуйки, вдруг яростно крикнул с конца стола, где он примостился:

— Главное — заполучить землю, а уж потом и господь бог у нас ее не отнимет!

Его торопливо поддержали:

— Верно! Обратно землю не отдадим! Это уж точно!..

Кристя Бусуйок метнул презрительный взгляд на Марина и тут же ему возразил:

— Не думайте только, что барин дурак и отдаст вам поместье просто так, за здорово живешь, пока не уверится, что получит свои деньги. И не надейтесь его обмануть, а потом сказать: денег-то у нас нет, но землю обратно не отдадим, потому наша она, хоть мы за нее и не заплатили... Эх, Марин, Марин, много тебе еще придется цуйки выпить, пока перехитришь старого барина!

— Да кому ж придет в голову брать землю задаром! — укоризненно заметил Лука Талабэ.— Только Марин так думает, но это цуйка в нем говорит.

Все одобрительно закивали, и только Марин Стан удивленно озирался, словно не понимая, почему люди рассердились, хотя он просто сказал громко то, что, по его разумению, думали все.

Лупу Кирицою, которого, видно, одолевали сомнения, укоризненно обратился к Луке:

— Эх, Лука, я тебя всегда считал человеком разумным, не пустобрехом, как же ты не видишь, что мы все здесь прикидываем,

торгуемся, рядимся, а сами и не знаем толком, продается барское поместье или нет?

— Ты, дед, может, и не знаешь,— резко ответил Лука Талабэ,— но я-то хорошо знаю, что поместье продается. Узнал я это от Кирилэ Пэупа, а уж он правая рука арендатора Платамону из Глигану. Понятно, дед? Так вот, Платамону сказал Кирилэ, вот так, как я говорю сейчас тебе: на будущий год мужики будут у меня работать на новых условиях, потому как до тех пор, с божьей помощью, я куплю поместье барыни! Так арендатор и сказал... Вот ты, дед Лупу, старше нас всех, должен помнить,— разве не ходили такие же слухи, когда продавал свое поместье брат барина Мирона?

— Да, тогда тоже много было толков! — согласился старик.— Всего и не упомнишь! Только не забывайте, люди добрые, что господа не хотят продавать землю крестьянам, потому как, ежели будет у нас своя земля, кто станет работать на господской?

После слов старика наступило тяжелое молчание. С улицы отчетливо слышался топот танцоров, пиликанье скрипок, лихое гиканье Пантелимона Вэдувы. Потом корчмарь громко крикнул из-за прилавка своему подручному — рослому, глуповатому парню, нанятому на воскресенье.

— Эй ты, оглох, что ли? Пол-литра вина для Серафима Моготша, слышишь! На, неси быстрее, чертова размазня!

Резкий голос Бусуйока стряхнул с людей оцепенение, и Лука, будто вновь обретя дар речи, заговорил громче и решительнее:

— Всегда мы медлили, потому и не могли выбраться из нищеты... Опасались, как бы не дать промашки, как бы не прогневать господ! Вот и дошли до того, что другие выхватили у нас землю из-под носа. Ты, дедушка, не бойся, людей для работы господа всегда найдут, были б у них только поместья. Люди ведь плодятся да множатся, а земля не растет, не растягивается, как резина.

— К чему столько пустой болтовни, люди добрые!.. — вдруг воскликнул Василе Зидару, который до сих пор не раскрывал рта, потому что слишком много в нем накипело и остальные все равно не дали бы ему высказаться до конца. Зато сейчас он отвел душу, перекричав всех.— Пойдемте к старому барину, попросим его честь честью, как положено, и поместье будет наше!

Матей Дулмапу опорожнил стопку, вытер тыльной частью руки темно-рыжие усы и убежденно добавил:

— Он же наш отец и благодетель, не оставит нас без помощи...

Лука Талабэ намеревался сам предложить это, для того и собрал сегодня людей на совет. Но сейчас, услышав собственную мысль из уст другого, он запнулся, словно конь, напрягший все свои силы, чтобы сдвинуть с места телегу, но едва не ткнувшийся

в землю, так как телега оказалась пустой. Он почесал затылок и предупредил:

— Погодите чуток, братцы, к барину так просто, как на мельницу, не пойдешь, надо хорошенько обмозговать, чего нам просить. А то будем молчать, как дураки, барин лишь разозлится да обругает нас, вот и получится, что попусту весь разговор затеяли, только хуже будет, себе же напортим.

Теперь Лука совсем сбил крестьян с толку. Ими овладел страх, оказавшийся сильнее, чем стремление получить землю. Разговор угас. Тщетно пытался Лука снова его оживить, то и дело повторяя: «Да постойте, братцы, прикинем все и решим, как быть!» Люди говорили вразнобой, каждый о своем. Только один Марин Стан сохранил весь свой пыл и изредка хрипло выкрикивал, ни к кому не обращаясь:

— Кто землю пашет? Мы! Стало быть, земля наша!

Корчмарь, поняв, что разговор зашел в тупик, взялся муштровать своего подручного. За столиком, у самой двери, молодой, робкого вида, жандарм сидел за стаканом вина с Антоном Наку, изредка перебрасываясь с ним словцом и с завистью поглядывая на плясавшую молодежь. Бусуйок, человек осторожный, искоса следил за жандармом. Он опасался, что тот вовсе не интересуется хорой, а подслушивает, о чем говорят крестьяне, так что о разговоре станет известно на барской усадьбе, и тогда Бусуйоку не миновать неприятностей. Когда Марин снова принялся жаловаться и кричать, что у него мало земли, корчмарь подскочил к жандарму и, широко улыбаясь, спросил, не желает ли тот поплясать в хоре. Жандарм покраснел — его так и подмывало пуститься в пляс, но страх перед унтером останавливал его. Он ответил, вздыхая, что не охотник до танцев, и благосклонно разрешил угостить себя еще одной стопкой. Обеспечив себе расположение жандарма, Бусуйок подошел к крестьянам, сидевшим за столом.

— Вижу я, что вы здесь переливаете из пустого в порожнее и ни до чего стоящего никак не додумаетесь. А Марин только и знает, что хнычет, плачется и не хочет понять своим куриным умом, что дельный хозяин не причитает, как баба, а берется за работу и...

— Тебе-то легко других укорять,— злобно перебил его Марин Стан,— земля у тебя есть, торговля идет, господа привечают,— вот над тобой и не каплет!

— Это ты так думаешь, что не каплет! — окрысился корчмарь.— Большая мне радость тебе прислуживать, пока ты не упьешься до бесчувствия. Пусть бы лучше мне прислуживали! Но ты, Марин, пьяница и бездельник, и я только дивлюсь, как эти люди тебя терпят, дозволяют тебе позорить их своими глупостями!

— А я что, на твои деньги пью?

— Пил бы, кабы я дал, только не видать тебе их...

— Да перестаньте вы ругаться, братцы, только этого нам не хватало! — прикрикнул на них Лука Талабэ, вскакивая с лавки.— Пойдемте-ка лучше прямо сейчас к барину. Будь что будет!

Крестьяне поднялись, словно его энергия передалась и им, сметая все колебания. Корчмарь быстро окинул всех взглядом, убедился, что они расплатились, и спокойно сказал:

— С богом! Только не спускайте там глаз с Марина, как бы он не ляпнул чего несуразного, не в себе он.

Марин Стан рассмеялся. Его злость прошла.

— Дяденька Петре вернулся! — крикнул какой-то мальчишка. Его услышала женщина, повернула голову, увидала Петре и повторила:

— Петре вернулся!

Парень шел по улице, сдвинув на затылок шляпу, с сундучком на плече. Его лицо казалось еще более смуглым, чем обычно, а глаза светились радостью.

Все повернулись к приближающемуся с широкой улыбкой Петре. Пантелимон Вэдува и вслед за ним другие парни оторвались от хоры и побежали навстречу. Пляска прервалась, и все, галдя, смеясь и перебивая друг друга, столпились вокруг вернувшегося капрала.

Музыканты, выполняя свой долг, поиграли еще немного, но вскоре перестали и смешались с толпой.

Петре не успевал отвечать на вопросы. В селе его любили,— он был парень добрый, тихий и отзывчивый. Пантелимон забрал у него сундучок, чтобы донести до дому, и шел рядом с Петре, не давая оттереть себя в сторону и непрерывно повторяя, пока тот его не услышал:

— Ты вернулся, Петрикэ, а я не сегодня-завтра в армию ухожу.

— Ничего, тебе тоже бог поможет! — утешил его Петре, ласково взглянув на парня.

Перекидываясь словом то с одним, то с другим, Петре подошел к самой корчме. Крестьяне продолжали жадно расспрашивать его о городских новостях. Даже Бусуйок, человек весьма любопытный, на время оставил прилавок, надеясь что-нибудь разузнать. Петре говорил больше о службе в армии, но Игнат Черчел перебил его жалобным голосом:

— А господа там, в Бухаресте, что думают делать с нами, с беднотой?

— Ну, с господами всегда можно поладить, ежели ты послушный и покорный,— ответил Петре.

Ответ пришелся Игнату не по душе, но он одобрительно закивал головой.

— Человек, пока хватает силенок, все терпит и терпит, ничего другого ему не остается, разве что уйти куда глаза глядят! — с горечью отозвался Серафим Могош.

Игнат протиснулся ближе и, понизив голос, будто опасаясь, что его услышат остальные, спросил:

— А насчет земли ты ничего не узнал, Петре? Здесь у нас слух прошел, будто король хочет раздать поместья мужикам, а господа противятся!

— И Марин Вылку из Извору то же самое говорит. Он это слышал от своего сынка, который в Александрии на попа учится! — убежденно подтвердил Леонте Орбишор, вытягивая вперед шею.

— Болтать-то все горазды,— сердито буркнул Тоадер Стрымбу,— но делать ничего не делается. Вот давеча побывал я на суде в Питешти, так люди там клялись, что до весны все мы должны получить землю, король так велел. Даже осерчали и обругали меня за то, что я им не поверил.

Под разгоревшимися взглядами крестьян Петре пробормотал:

— Очень может быть... В Бухаресте люди о чем только не говорят! Одни — одно скажут, другие — иное. Бояре и сами не знают, как лучше сделать, чтобы угодить народу. Потому-то они все советуются, прикидывают, да никак, видно, пока не столкуются...

— Ясное дело, не легко отдавать из своего кармана, когда от бога слишком много досталось! — проворчал Игнат.

— Пусть только король прикажет, а потом уж не бойся, люди своего не упустят, заберут, что им положено, хотят этого бояре или нет! — запальчиво крикнул Тоадер Стрымбу со злобным огоньком в глазах.

— Конечно, ежели король тебя послушает, в точности так и будет,— насмешливо хмыкнул Бусуйок,— но дело-то в том, что король среди бояр живет и не станет он с ними ругаться ради тебя, Тодерикэ!

Кое-кто рассмеялся, а Леонте Орбишор твердил свое:

— Эх, кабы дошел наш голос до самого короля...

В эту минуту сквозь толпу, окружившую Петре, с громким плачем протолкалась его мать.

— Петрикэ, Петрикэ, сыночек родимый! Хороший ты мой! Привел тебя господь бог как раз ко времени, когда у меня не

жизнь, а горе сплошное! Ох, радость-то какая! Значит, помогли тебе всевышний и пречистая дева...— всхлипывая, причитала старуха, лаская и целуя сына.

Петре обнял ее за плечи, мягко утешая:

— Успокойся, мать, успокойся, будет тебе плакать!

Состарившаяся до времени Смаранда утерла кончиком платка слезы и на миг счастливо улыбнулась. Тут же она снова расплакалась, не в силах даже толком расспросить сына, как он добрался до дому. Может быть, пришлось ему тащиться со станции пешком и он голоден? Но Петре ее успокоил: он совсем не устал, потому что на полустанке Бурдя, где он сошел с поезда, ему повезло: он повстречал Штефана Оанцэ, а тот довез его на повозке до Леснези, так что он приехал как настоящий барин.

— А теперь пойдем-ка, мать, домой, мы уж и так слишком долго здесь замешкались,— сказал Петре и попрощался со всеми.

Пантелимон пошел его проводить, не выпуская из рук сундучка. Дом Петре находился пониже барской усадьбы, почти у самой околицы, на дороге, ведущей к Руджиноасе. Как только они отошли от корчмы, Петре спросил:

— А где же Мариоара, мама? Что-то я ее не приметил среди девок.

Смаранда рассказала сыну, что Мариоару ее тетка Профира, стряпуха, пристроила на барскую усадьбу. Жалованье там большое, а работа — легкая. Со стороны корчмы снова послышалась музыка, танцы, видно, возобновились, и Пантелимон тут же подумал, что из-за Петре он забыл о Доминике.

На лавочке возле калитки жандармского участка унтер Бояджиу беседовал со сборщиком податей Константином Бырзотеску, долговязым, костлявым и лысоватым. Петре снял шляпу и поздоровался коротко, по-военному:

— Здравия желаю, господин унтер!

— Вернулся, Петре? — дружелюбно отозвался Бояджиу.

Петре подошел ближе и уважительно доложил, что в награду за хорошее поведение и за то, что у него не было никаких взысканий, господин капитан отпустил его домой на несколько дней раньше. Унтер задал ему еще какие-то вопросы, повздыхал по Бухаресту, где кутил раза два, когда был холостяком, и прикрикнул на Пантелимона:

— Вот и ты, малый, веди себя, как Петре, да не смей бунтовать!

Усмехнувшись, он пригрозил парню пальцем и пожал Петре руку:

— В час добрый!

3

— Ну, сказывайте, люди добрые, какая у вас нужда! — обратился Мирон Юга к крестьянам, которые встретили его, почтительно сняв шапки и повторяя «целую руку».

Люди в нерешительности переглянулись, подталкивая друг друга. Потом Лука Талабэ громко сказал Лупу Кирицою:

— Начни ты, дед Лупу, ты самый старший да и говорить лучше нас умеешь.

— Только покороче, старик, а то прохладно и я легко одет! — через минуту нетерпеливо перебил Юга старого Лупу, который повел речь издалека, от Адама.

Осмелевший Лука вмешался в разговор, выпалив напрямик:

— Ваша правда, барин! Болтовня — одно разорение... Мы хотим купить поместье молодой барыни и обработать, кто сколько в силах будет поднять. Вот и пришли к вам просить помощи, вы уж смилуйтесь...

— Ведь вы наш отец и кормилец! — веско и спокойно добавил Матей Дулману, как бы в полной уверенности, что его слова окончательно убедят барина.

— Иначе ведь жить нам совсем невмоготу, барин, до того мы обнищали! — вставил и Василе Зидару неожиданно для себя кротким и мягким голосом.

Их было двенадцать, и каждый счел своим долгом бросить на чашу весов словечко или хотя бы вздох.

Мирон Юга смотрел на крестьян удивленно, словно увидел их впервые в жизни или услышал от них какие-то непонятные речи на чужом языке. Лишь спустя некоторое время, торопливо моргнув, он спросил:

— Какое поместье? — Но тут же спохватился и добавил: — То есть да... знаю... Понятно...

Говоря, что он понял, Мирон Юга почувствовал, как в душу проникает острая горечь. Его гордость глубоко уязвило то обстоятельство, что именно мужики, работающие на землях семьи Юги, набрались наглости и намереваются разодрать в клочья то самое поместье, которое кормило их дедов и прадедов. Будь его воля, он приказал бы слугам сдать этих наглецов в руки жандармов, чтобы те намяли им бока и выбили из головы дерзкие мысли. Но Юга сдержался и холодно процедил:

— Ко мне вы пришли напрасно — я никакого поместья не продаю.

Крестьяне растерялись, и только один Марин Стан нашелся:

— Так ведь молодая барыня без вашего дозволения и пальцем не шевельнет, из вашей воли нипочем не выйдет!

— Мы-то знаем, что вы наш хозяин, от вас милости ждем! — поддержал его приободрившийся Лука Талабэ.

Мирон Юга презрительно улыбнулся:

— Так... так... Только на сей раз вам лучше с ней потолковать. Я даже не знал, что она хочет продать поместье... От вас сейчас только услышал!

Думая, что барин шутит, крестьяне заулыбались, но он продолжал так же сухо:

— Впрочем, она должна приехать с минуты на минуту. Вчера вечером сообщила нам телеграммой, что прибудет сегодня на автомобиле... Мы ее ждем.

— По всему видать, барин,— печально пробормотал Лупу Кирицою,— что вы не желаете продать нам землю и потому отсылаете к молодой барыне. А она-то нас совсем не знает, да и мы ее не знаем... Я говорил это мужикам еще до того, как сюда идти, да только они мне не поверили. Вот теперь поймут, что к чему.

Юга рассердился именно потому, что старик прочел его мысли, и накинулся на него:

— Голова у тебя седая, Лупу, а ум воробьиный!.. Как же вы хотите, чтобы я вам продал поместье, которое мне не принадлежит?

Пытаясь задобрить барина, Лука Талабэ смиренно зачастил:

— Вы уж на нас, барин, не гневайтесь и простите, мы люди темные, порядков не знаем. Пойдем мы и к молодой барыне, когда ее господь бог сюда приведет, ей тоже поклонимся и просить ее станем, а то не по справедливости будет, коли кто чужой заберет землю, на которой мы сами да наши деды и прадеды всегда трудились. Мы-то ведь вовсе обнищали, дышать нечем, земли не хватает...

— Земли никогда не хватает! — мрачно заметил Мирон Юга и, помолчав, спросил: — А как же вы до сих пор обходились?

— Мучились мы, барин, и терпели! — воскликнул Марин Стан.— Мучились и все пуще нищали из-за того, что нет у нас земли.

— Земли, земли! — проворчал Юга.— В старину мужики на барскую землю не зарились, а жили лучше.

— Другие тогда были времена, барин! — ввернул Василе Зидару.

— Мы тогда рабами были! — вновь воскликнул Марин Стан.— Верните нас снова в рабство, может, оно для нас лучше окажется!

— Да нет, просто привыкли вы попрошайничать! — повысил голос Юга, раздраженный настойчивостью крестьян.

— А что мы еще можем? Просить да просить,— униженно вздохнул Лупу Кирицою.— Только на то и надеемся, что снизойдете вы к нашим просьбам.

Заметив голодный блеск, пробившийся в обычно покорных взглядах крестьян, Юга впервые почувствовал, что эти люди, в преданности которых он всегда был уверен, в глубине души враждебны ему. Он пожалел, что принял их и позволил им так распуститься. Однако, сознавая, что резкостью ошибку уже не исправить, он хмуро пробормотал:

— Ну, хватит вам трепать языком, больно разговорились! Всякий стыд и приличие потеряли...

Холодным, медленным взглядом он окинул каждого в отдельности и ясно прочел на всех лицах одно и то же страстное желание. Их горящие взгляды жгли его. В напряженной тишине вдруг раздался резкий крик: «Да стой смирно, скотина, будь ты неладна!» Какой-то работник поил коров здесь же, на заднем дворе усадьбы; куры копошились в земле, выискивая зерна. Одна из них назойливо раскудахталась.

— Значит, вот оно как! — уже спокойнее сказал Мирон, словно окрик работника вывел его из оцепенения.— Потолкуйте с молодой барыней, коли не образумитесь, она хозяйка поместья. Впрочем, я теперь подумываю, не лучше ли мне самому купить это поместье.

— Ох, горе наше! Коли так, мы попусту стараемся! — испуганно воскликнул Лука Талабэ.

— Почему же? — возразил Юга.— Честная борьба. Вы хотите землю, и я тоже хочу! И будет справедливо, если поместье куплю я. Оно всегда наше было, его не оторвешь от моих земель. Ты, Лупу, должен помнить, ты ведь работал у нас в молодости, когда еще батюшка был жив... Так будет честнее, ребята! Чтобы барин у вас покупал, а не вы у барина!

Один из крестьян попытался еще что-то сказать, но Юга потерял терпение:

— Хватит, уходите. Я кончил! Все равно вы человеческого языка не понимаете!

Крестьяне пробормотали «целую руку» и поплелись к воротам. Уходя, Лупу Кирицою сказал громко, так, чтобы барин услышал:

— А ведь барин-то прав, раньше поместье одно было от Извору до Шербэнешти... Я хорошо помню, раньше...

Его перебил Матей Дулману, с глухой ненавистью выдохнув сквозь зубы:

— Никак не набьет себе брюхо, все ему мало, чтоб его черви поганые сожрали.

Мирон Юга окаменел и так и остался стоять столбом, глядя мужикам вслед, не слыша ничего — ни кудахтанья кур, ни мычанья коровы, жалобно зовущей теленка. В голове его стучала одна-единственная мысль: «Землю и еще раз землю, только это они и знают, мерзавцы!»

Повернувшись, Юга увидел в калитке усадьбы сына и Титу Херделю. Воспользовавшись хорошей погодой, они ходили прогуляться по полю.

— Что ты здесь делаешь, отец? — спросил Григоре.— Надина еще не приехала?

— Нет, Надина не приехала, но вот покупатели на ее поместье уже пожаловали!

— Как ты сказал? — удивился сын.— А кто именно?

Мирон Юга посмотрел на него и, отвернувшись, коротко пояснил:

— Мужики!

4

— Да слазь ты оттуда, чертов проказник, калитку порушишь! — сердито, как всегда, крикнула бабка Иоана сынишке Василе Зидару, который взобрался на калитку и раскачивался на ней, распевая что есть мочи.

Иоана задавала корм поросенку в глубине двора, где у нее был огород. «Ешь, сыночек, ешь, милый»,— приговаривала она, поддерживая чугунок с пойлом. Но поросенок вдруг отвернул рыльце от варева из отрубей и принялся выискивать объедки во втором, почти пустом чугунке. Бабка рассердилась: «Ты что, с ума свихнулась аль заболела, глупая свинья?.. Жри отсюда, чтоб тебя собаки задрали!» Поросенок погрузил рыло почти до глаз в жирное варево, и этим воспользовался белый, с большими черными подпалинами пес. Он отважился подкрасться к пустому чугунку, чтобы посмотреть, не осталось ли там чего-нибудь и для него. Бабка Иоана прогнала пса: «Убирайся, проклятущий, не лезь мордой куда не положено!» Пес, послушно виляя хвостом, отошел в сторону, жадно посматривая то на свинью, то на хозяйку, то на шестимесячного щенка неизвестной породы, который, как игривый ребенок, весело прыгал и изредка тявкал за бабкиной спиной.

Бабка Иоана, убедившись, что поросенок не столько ест, сколько расплескивает пойло, отобрала у него чугунок, бормоча: «Видать, ты уж наелся, неслух, теперь тебе побаловаться охота, а я гнись в три погибели, все жилки на ногах дрожат!» В ответ поросенок довольно хрюкнул и принялся разыскивать на земле кусочек послаще. Не найдя ничего, он попытался побежать за хозяйкой, но веревка, которой он был привязан к колышку, удер-

жала его на месте. Собаки не отставали от бабки Иоаны, и она, дойдя до двери, поставила чугунки у порога. «Нате, жрите тоже, будьте вы неладны!» Пес метнулся к пустому чугунку, понял, что ошибся, оскалился на щенка, сделавшего лучший выбор, и, так как тот не отошел подобру-поздорову, схватил его за загривок и как следует оттрепал, чтобы научить уму-разуму. Лишь затем он принялся жадно уплетать варево, не обращая внимания ни на жалобный визг щенка, ни на ворчание бабки: «Никак не помиритесь, треклятые!»

Мальчишка продолжал как ни в чем не бывало раскачиваться на калитке, будто не слышал окрика бабки Иоаны.

— Ты что же, проказник окаянный, не слышишь, что я тебе говорю? Сорвешь калитку с петель! — разъярилась еще пуще бабка.— Убирайся-ка лучше домой, дай хоть чуть передохнуть, а то все лето ели меня поедом, ты и тот второй, оглашенный! Что у тебя, родителей нет? Чего слоняешься по улице да по чужим дворам?

Мальчишка и не подумал бы уйти, но тут раздался другой голос:

— Нику, ступай домой к мамке!.. Слышишь, Никушор?.. Нечего там торчать, слушать, как она тебя клянет!

Василе Зидару жил через дорогу. Его жена, бабища гренадерского роста, была до того зла на язык, что ей никто не смел перечить. Их белобрысый, пухлый сынок только ее боялся и слушался. Все остальные домашние баловали мальчишку и терпеливо сносили его шалости. У Зидару сперва родились подряд три дочери и ни одного сына, а Нику появился на свет после того, как все дочери уже вышли замуж. Матери даже стыдно было, что господь покарал ее, заставил на старости лет рожать и выхаживать малыша.

Пока Нику слезал с калитки и переходил дорогу, бабка Иоана взяла два кувшина и поплелась к колодцу в конце улицы, рядом с жандармским участком. Собаки весело затрусили за ней, старательно обнюхивая все ворота и канавы, словно что-то там потеряли. Нику вошел было в отцовский двор, но не вытерпел, схватил самодельный кнутик и стрелой кинулся за бабкой. Тут же он вспомнил, что у них тоже есть собака, и метнулся обратно. У Зидару была белая хромая сука (ее как-то ночью подстрелили жандармы), до того злая, что днем ее держали только на привязи, опасаясь, как бы она не искусала прохожих. Нику еще не успел развязать веревку, как бабка Иоана вернулась с полными кувшинами. Мальчик пошел за ней во двор, упрашивая:

— Бабушка, можно мне поиграть с твоими собаками и с нашей?.. Можно? Ну, бабушка!

Бабка не ответила. Нику привык играть у нее во дворе, так как до недавнего времени у старухи жил внук, пятилетний Костикэ, смуглый, как цыганенок, самый отчаянный озорник во всей деревне. Оставшись один, Нику коротал время, играя с собаками, курами или кошкой. Бабка Иоана его бранила и прогоняла, правда, скорее для виду, потому что любила детей и радовалась, когда в ее халупе появлялась живая душа.

Здесь, по соседству с задним двором барского особняка, старуха жила недавно — всего год. Бабке Иоане принадлежал красивый просторный дом на другой улице, за усадьбой арендатора Козмы Буруянэ. Там прожила она всю жизнь с мужем Ионицэ Крэчуном, который умер лет десять назад. Овдовев, бабка не опустила руки, так как и при жизни Ионицэ хозяйство лежало на ней. Муж любил выпить и, чтобы иметь возможность жить в свое удовольствие, всегда старался заполучить какую-нибудь должность — был то старостой, то стражником, то бог знает кем, но неизменно получал жалованье и пропивал его в корчмах. Иоана сама вырастила детей и вывела их в люди. Сын стал секретарем суда в Бухаресте, двух дочерей она выдала замуж за священников, а младшую — Флорику — за парня из их же села, Павла Тунсу. Бабка надеялась, что Флорика и Павел будут ей поддержкой на старости лет, и приняла их к себе в дом. Сын все время звал ее в Бухарест, просил поселиться у него, не маяться больше, отдохнуть после стольких лет тяжелой работы. Но ей не хотелось покидать родные места, где она родилась и состарилась. Бабке перевалило за шестьдесят, и хоть спина ее начала уже горбиться, она еще была полна сил. Крепкая, здоровая, она, не в пример другим старухам, ее одполеткам, хорошо питалась, за столом всегда выпивала рюмочку цуйки, выращивала свинью и домашнюю птицу, имела вдосталь кукурузы.

Когда после семи лет обид и свар бабка Иоана поняла, что с Флорикой ей не ужиться, она решила махнуть на нее рукой и завести себе новое хозяйство. Лучше уж нищета, чем непрерывные ссоры и пререкания, которые камнем ложатся на душу. Еще хорошо, что она не успела раздать детям все имущество и на всякий случай сохранила за собой несколько клочков земли. Так вот и вышло, что в прошлом году они полюбовно разделились. Зять помог ей даже больше, чем дочь. Бабке Иоане принадлежал участок, выходивший на улицу, рядом с барской усадьбой, и она приспособила себе под жилье старый амбар, который перевезли сюда на двенадцати волах. Своими руками она обмазала его глиной изнутри и снаружи и старательно побелила. Наняла человека, который подлатал крышу, поставил печь с куцей трубой, пристроил курятник и закуток для свиньи. Кто-то из соседей подарил ей две

ненужные оконные рамы. Три глазка были даже застеклены, остальные она затянула бумагой, полученной от священника. Флорика, когда увидела, как устроилась мать, рассердилась на нее — мать, мол, выставила ее на позор перед всем селом. Но старуха ответила ей горестно:

— Что ж поделаешь, милая, натерпелась я от вас, хватит...

Спустя некоторое время они помирились, и ранней весной Флорика сплавила к бабушке своего старшего сынка Костикэ, чтобы старухе не было так тоскливо, а заодно чтоб и самой избавиться от лишнего рта. Мальчишка озорничал у бабушки все лето и осень, приводил с собой целую ватагу других проказников и перевернул лачугу вверх дном. Несмотря на это, бабка не отправляла внука домой, желая доказать, что и теперь дети больше нуждаются в ней, чем она в них.

Бабка Иоана никогда не была словоохотливой, то и дело хмурилась, но сердце у нее было мягкое, как воск. Чаще всего она ворчала себе что-то под нос или разговаривала со скотиной, которая понимала и слушалась ее лучше, чем люди. Если где-нибудь по соседству назревала ссора, она обычно отмалчивалась, бурча: «Будь оно все неладно!»

— Бабушка Иоана, пес за петухом гоняется! — крикнул Нику, собравшийся было запрячь пса в пару к хромой собаке, чтобы поиграть с ними в лошадки.

— Убирайся, шавка, оставь петуха в покое! — пробормотала бабка, даже не взглянув в ту сторону.

Она спешила приготовить корм курам, которые, пробродив где-то целый день, сейчас, в сумерках, потянулись домой.

Вскоре она, как всегда по вечерам, уселась на пороге с большой миской на коленях и принялась скликать птицу:

— Цып-цып-цып, курочки, цыпляточки, бегите, бегите к мамке!..

Куры и цыплята сбегались со всех сторон, как послушные дети, суетясь и налетая друг на друга у ног бабки. Она их пересчитала. Не хватало двух старых кур и петуха. Старуха высыпала всю миску, отогнала собак, чтобы те не объели кур, и пошла со двора, продолжая призывно кричать:

— Цып-цып-цып, курочки, цыпляточки, бегите, бегите к мамке!..

Только она открыла калитку, как услышала издалека оглушительный грохот и какое-то грозное гудение. На другой стороне улицы она увидела своих кур, купающихся в пыли, и рядом с ними петуха.

Бабка испуганно закричала:

— Цып-цып-цып...

Автомобиль приближался на большой скорости, но птицы не обращали на него ни малейшего внимания. Испугавшись, что машина вот-вот на них наедет, бабка ринулась к ним, чтобы спасти их от верной гибели, но добралась лишь до середины улицы. Чуть не наехав на старуху, водитель резко повернул, и автомобиль пролетел совсем рядом с ней, едва не свалившись при этом в канаву. В машине закричали женщины, и тут же раздался голос жены Василе Зидару:

— Нику, где ты? Смотри, машина задавит!

Бабка Иоана застыла на месте. Обе курицы убегали, испуганно кудахча, но петух, бросившийся на их защиту, остался лежать бездыханным. Старуха подхватила его за крыло и потащила домой, бормоча себе под нос:

— Будь оно все неладно!

5

Сделав крутой разворот, машина резко затормозила у самой лестницы. Услышав треск выхлопов и кваканье клаксона, Григоре вышел на ступеньки вместе с Титу. Водитель выключил мотор, выскочил и бросился открывать господам дверцы. Укутанные до ушей в шубы и пледы, в защитных повязках и очках, господа напоминали полярных исследователей.

Гогу Ионеску, сидевший рядом с шофером, первым сбросил с себя все, что было на него надето, и ступил на землю. Видно было, что он раздражен и устал с дороги. Пожав руку Григоре, он угрюмо заявил:

— Рад тебя видеть, дорогой, но только знай, что в подобные авантюры вы меня больше не втравите. С меня хватит, сыт по горло!

— А что случилось, Гогу, чем ты так расстроен? — недоуменно посмотрел на него Григоре.

— Если твоя жена жаждет сильных ощущений, пусть поищет себе других компаньонов, а меня уж увольте,— ворчливо пояснил Гогу, срывая с глаз очки.

— Гогу, ты смешон! — раздался веселый женский голос.— Ты просто боишься ездить в автомобиле!.. Стыд и срам!

Все рассмеялись, и это совсем вывело Гогу из себя:

— Правильно. Я по своему темпераменту не склонен к авантюрам и отнюдь не мечтаю из любви к автомобильному спорту сломать себе шею!

Но раздражение Гогу лишь веселило его спутников, которые тем временем успели снять защитные повязки и очки. Все трое

еще сидели на заднем сиденье машины: Надина справа, Евджения слева, а между ними Рауль Брумару. Наконец Надина поднялась:

— Все это пустяки,— сказала она,— но вот только что из-за бабки чуть не случилось несчастья! Не будь Рудольф таким хладнокровным, произошло бы одно из двух — либо она попала бы под колеса, либо мы перевернулись бы в канаву... Браво, Рудольф!

Шофер признательно улыбнулся, а Надина кинулась в объятия мужа, восклицая с подобающей случаю нежностью:

— Григ, маленький, как я по тебе соскучилась!

Григоре поцеловал жену в щеку, смущенный ее словами и главным образом тоном, каким она их произнесла. Лишь сейчас он узнал Брумару и в ту же секунду перевел взгляд на красные цветы, высаженные в форме цветущего сердца перед гнездышком Надины. Он протянул Брумару руку, вяло пробормотав:

— Ах, это ты?.. Я не узнал тебя в такой экипировке.

— Я его тоже прихватила, за компанию! — поспешно вмешалась Надина.— Ты ничего не имеешь против?

— Что ты, что ты? На...

Он чуть не сказал «наоборот», но осекся, обошел машину, поцеловал руку Еудженин и помог ей выйти. Несколько слуг, выбежавших, чтобы поднести вещи, растерянно топтались вокруг, не зная, за что взяться. Надина заметила их и приказала шоферу:

— Вы приглядите, Рудольф, чтобы не затерялись вещи барыни Женни!

Титу Херделя стоял в стороне, очень сконфуженный тем, что никто не обращает на него никакого внимания. Но Григоре тут же спохватился, вспомнил о нем и поспешил загладить свою ошибку.

— Разрешите!.. Я совсем про него забыл, значит, будет богат!.. Познакомьтесь с моим другом и гостем Титу Херделей!..

Молодой человек поклонился, скромно улыбаясь. Надина мельком взглянула на него и протянула руку. Титу не удалось разглядеть ее как следует, но он успел заметить, что она очень красива.

Еудженин ласково улыбнулась гостю:

— Какой приятный сюрприз!

— Впрочем, вы, наверно, знакомы, ведь вы уже встречались! — обратился Григоре к Гогу, заметив, что тот смотрит на Титу, будто видит его впервые.— Это Женнин родственник, тот, что пишет стихи.

— Ну конечно, мы знакомы! — заверил Гогу, подойдя к молодому человеку.— Разумеется. Как вы поживаете?

Он все еще не мог припомнить юношу, но не хотел в этом признаться. Боялся, как бы не подумали, что у него плохая па-

мять, и не сочли бы, что он уже стареет. Замешательство Гогу полоснуло Титу прямо по сердцу. Он вспомнил, как летом Гогу, настойчиво приглашая его к себе в поместье, заверял, что Титу сможет жить у него, сколько захочет, и целыми днями писать стихи. Они обменялись несколькими словами, и Гогу снова повернулся к Григоре.

— Вот что, дорогой, мы сейчас к вам не зайдем, а поедем прямо в Леспезь. Я заранее распорядился, чтобы дом протопили и приготовили обед... Ох, страшно подумать, что туда мы тоже должны добираться на машине!

Григоре запротестовал, уверяя, что им необходимо хоть немного передохнуть, не говоря уж о том, что нельзя огорчать старика отца.

— Видно, машина совсем тебя растрясла, если ты намерен поступить так по-хамски! — насмешливо заметила Надина и тут же твердо прибавила: — Пошли в дом!.. Женни, милая, пойдем, прошу тебя!.. Рауль!

В холле горели лампы, было тепло, и для гостей уже поставили блюдца с вареньем. Вскоре появился и старый Юга, который ласково обнял Надину.

— Наконец ты в наших руках, очаровательная и ветреная шалунья!

Польщенная Надина поцеловала свекра.

— Наш папочка самый чудный и любимый,— нежно проворковала она.

Гогу воспользовался случаем, чтобы снова пожаловаться на дорожные злоключения. У них было три прокола и два раза отказывал двигатель. Они задавили несметное множество гусей, уток, кур и одного поросенка. Чуть не переехали нескольких человек и чудом не столкнулись с какими-то телегами. И все это Надина называет удовольствием. Но больше всех виноват, конечно, Григоре, который разрешил ей купить машину, хотя во всей стране не более двух-трех дюжин сумасбродов обзавелись этими опасными чудовищами. Разве не грешно тратить целое состояние сперва на покупку машины, а потом на то, чтобы выплачивать профессорское жалованье жулику немцу, который эту машину водит? Не лучше ли спокойно путешествовать поездом, как все разумные люди?

— Mais voyons, Гогу, si c'est sérieux tu es plus que ridicule! [1] — возразила Надина.— Я полагаю, что могу позволить себе небольшое удовольствие. Вы-то позволяете себе немало. Завтра-послезавтра, когда у каждого цирюльника будет собственный авто-

---

[1] Ну, Гогу, если ты это говоришь серьезно, то ты больше чем смешон! *(франц.)*

Л. Ребряну
«Восстание»

мобиль, он перестанет меня интересовать. Но сегодня солидный и элегантный «бенц» приносит мне сильные ощущения.

— Спасибо, я от таких сильных ощущений отказываюсь! — завопил Гогу, воздевая руки. Все засмеялись.

Через несколько минут Гогу и Еуджения стали прощаться. Еуджения пригласила Титу в гости, заранее извинившись за то, что в Леспези не так все благоустроено.

— Вы нам доставите большую радость,— добавила она с ласковой улыбкой.— Только не откладывайте, мы здесь пробудем всего несколько дней.

— Я завтра же зайду к вам,— пробормотал осчастливленный Титу.

— Вот и прекрасно... Не так ли, Гогу? — обратилась Еуджения к мужу.

— Ну разумеется! — поддержал ее Гогу.— Твое слово закон.

После их ухода Надина, обращаясь главным образом к свекру, стала рассказывать о своей заграничной поездке. Вдруг она спохватилась и попросила Григоре:

— Родненький мой, позаботься, пожалуйста, о Рауле, распорядись, чтобы ему приготовили удобную комнату. Прошу тебя, дорогой! Ведь он наш гость!

Григоре проводил Брумару, а Титу, боясь оказаться в холле лишним, пошел вместе с ними. Он присмотрелся к Надине, и теперь она казалась ему еще прекраснее, но красота ее была какая-то пугающая, грозная.

Оставшись наедине с Надиной, Мирон Юга посмотрел на невестку долгим, испытующим взглядом, и она, почувствовав это, удивленно спросила:

— Вы хотите мне что-то сказать, папочка?

— Да,— серьезно подтвердил старик.— Я узнал, что ты хочешь продать поместье Бабароагу. Это правда?

— Ах, вот о чем речь,— как-то разочарованно протянула Надина.— А вас это интересует?

— Сама понимаешь, очень интересует,— ответил Мирон.— Я бы, может быть, его купил.

— Хорошо, мы поговорим об этом! — улыбнулась Надина.— Хотя мне не по душе вести дела с родственниками, но для любимого папочки я готова сделать исключение. Хотите получить от меня задаток? Пожалуйста.

Она расцеловала его в обе щеки. Старик взял в руки ее голову и пристально посмотрел в ускользающие глаза:

— Это очень серьезно, Надина!

— Несомненно! — согласилась она с той же равнодушной улыбкой.

Миропа ответ не удовлетворил. По-видимому, она сочла его предложение шуткой. Возможно, конечно, что продажа поместья не представляется ей серьезной сделкой, но, быть может, она просто уклоняется от ответа... Старик ушел к себе, чтобы дать невестке отдохнуть после утомительной дороги. Когда Григоре вернулся, Надина была одна. Она сидела в кресле с закрытыми глазами и, казалось, дремала.

— Зачем ты привезла сюда этого субъекта? — укоризненно спросил он, заметив, что жена не спит.

— Какого субъекта? — удивилась она и тут же иронически рассмеялась: — Рауля? Ой-ой!.. Ты снова ревнуешь, Григ? Никак не вылечишься от этой противной болезни?

Она встала и широко раскинула руки, словно призывая Григоре в свои объятия. Ее стройное тело трепетало, источая соблазнительную истому. В ласковом взоре, обращенном к Григоре, плясали неугомонные искры. Тонко очерченные губы певуче прошептали:

— Глупый ты, глупый... Ты меня больше не любишь?

Григоре вдохнул ее аромат, попытался сопротивляться, но почувствовал, что сдается. Молнией мелькнула горькая мысль, что она над ним насмехается. Но затем все мысли слились в одно властное, всепоглощающее желание. Не опуская широко раскинутых рук, Надина подошла к мужу вплотную и прильнула к нему. Григоре уже не видел ничего, кроме ее глаз, губ, груди. Он грубо обнял жену и, покрывая жадными поцелуями, бросил в кресло.

Надина тем же певучим голосом шепнула ему на ухо:

— Нет, не здесь... Здесь не хочу...— и выскользнула из объятий Григоре. Взяла его за руку, и он пошел за ней, как верный пес.

6

На второй день, сразу после завтрака, Титу Херделя ушел к себе, чтобы подготовиться к посещению усадьбы в Леспези. Всю ночь он строил всевозможные планы, но утром отбросил их как бесполезные. От ГогуИонеску ждать нечего, раз он его даже не узнал.

Титу запомнил еще со дня приезда, что село Леспезь где-то совсем недалеко. Приблизительно такое же расстояние разделяло его родное село Припас от Жидовицы, куда он ходил по два-три раза в день. На всякий случай он хотел спросить приказчика, но во дворе усадьбы встретил парня, который показался ему знакомым. Парень, улыбаясь, снял шляпу.

— А ты что здесь делаешь, господин капрал? — удивился Титу, вспомнив, что встречал Петре у сапожника Мендельсона.

— Да вот вернулся вчера домой и явился теперь на барскую усадьбу,— ответил Петре.

Титу пожал ему руку, и Петре, сказав, что делать ему все равно нечего, охотно вызвался проводить его в Леспезь. На усадьбу он зашел под тем предлогом, что хочет, мол, узнать, выплатят ли их семье обещанное старым барином возмещение за прошлогодний несчастный случай в лесу. На самом деле ему просто хотелось повидаться с Марноарой. Однако из-за приезда гостей, а главное Надины, в усадьбе царила несусветная суматоха, прислуга металась как угорелая, и ему удалось обменяться с нареченной лишь несколькими словами. Но Петре был доволен и этим. Кроме того, он попался на глаза старому барину, который похвалил его за примерное поведение в армии.

По дороге, толкуя о всякой всячине, Петре отвел душу, пожаловавшись Херделе, что тоже хотел бы зажить своим домом, бедная Марноара совсем извелась — целых два года ждет его, но он до сих пор не знает, сумеет ли справить свадьбу этой зимой; ведь для свадьбы нужна куча денег, а денег нет ни у него, ни у девушки. Титу невольно вспомнил, что в его родном селе Ион Гланеташу так же жаловался ему на бедность. Чтобы не молчать, он попытался утешить парня ничего не значащими словами.

— А может, господа смилостивятся и дадут нам землю? Ходят такие слухи,— вздохнул Петре, вопросительно глядя на Херделю, словно цепляясь за соломинку.

— Как так господа дадут? — удивился Титу.— Даром, что ли? Поделят с вами свои поместья?

— Так ведь у них земли слишком много, а у нас ее совсем нет,— ответил парень.— Я и в Бухаресте слыхал от господ, что надо разделить поместья между крестьянами, потому как не по справедливости это, когда земли нет как раз у тех, кто на ней работает.

Титу покачал головой:

— Хорошо, если бы вышло по-твоему, только, по правде говоря, мне не верится. Никто своим состоянием добровольно с другим не делится. Ты бы вот поделился, скажи по совести?

— Так-то оно так, ничего не скажешь...— подавленно пробормотал Петре.— Только без земли нам конец, нет у нас больше мочи терпеть.

Некоторое время они шагали молча, но вскоре Петре, которого, видимо, мучила все та же мысль, воскликнул:

— Но коли они не захотят по-хорошему, кто их заставит?.. У нас никакой силы нет...

Титу, увидев, как удручен его спутник, пожалел, что разрушил его надежды, но как утешить парня, не знал. К счастью, они дошли до Леспези, и он заговорил о другом:

— Это совсем близко... Не успеешь выйти, как уже на месте!

Вдруг из какой-то калитки навстречу им торопливо, но в то же время с важным видом, вышел человек с непокрытой головой, длинными спутанными космами, каштановой реденькой бородкой и большими черными, горящими глазами. Он был бос, в просторной серой сермяге, доходившей до колен. Через плечо, на палке, у него висела полосатая сума. Он тут же обратился к Титу, будто давно его поджидал, и заговорил, чеканя слова:

— Не проходи безучастно, барин, ибо приближается день Страшного суда, и тогда ты пожалеешь, что не прислушался к гласу небесному. Трубы справедливости грянули, а люди, заложив уши свои грязью и мерзостью греховной, их не слышат. Прискачут на белых конях всадники с мечами огненными, а люди дивиться будут и не уразумеют, что всемогущий господь бог прислал их, дабы покарать мир, погрязший в грехах и скверне!

Титу застыл на месте, ошеломленный этим потоком слов и в особенности внешностью незнакомца.

— Ладно, ладно, дядюшка Антон,— вмешался Петре,— хватит, у них нет времени слушать твои выдумки.

— Это не выдумки, Петре,— возразил человек.— Только неразумные не сподобятся понять слово божье, ибо я не от себя говорю, не по своему разумению, а выполняю повеление сил небесных, которым ведомо все, что есть и чего нет.

— Ладно, ладно, дай тебе бог здоровья! — отмахнулся от него Петре и зашагал дальше.

Чуть отойдя, он пояснил Херделе, что убогий Антон был когда-то монахом, потом свихнулся, бежал из монастыря и вот уже много лет как несет всякую чушь и околесицу, а крестьяне его подкармливают.

Старое здание усадьбы в Леспези выглядело скромно, но гостеприимно. В обширном дворе, окруженном хозяйственными постройками, одиноко стоял кабриолет, в который была запряжена черная лошадь. В кабриолете сидел сын арендатора Платамону, с которым Титу познакомился, когда ходил по селу с учителем Драгошем. Юноша сообщил, что он здесь вместе с отцом, приехавшим по делам к Гогу Ионеску, владельцу поместья. Только он не захотел идти в дом, потому что деловые разговоры нагоняют на него скуку. Тем временем Петре попросил служанку доложить хозяевам, что к ним пожаловал гость из Амары. Девушка сразу же вернулась и пригласила Титу в комнаты. Евджения приняла его ласково:

— Это вы?.. Очень, очень рада!

Ее радость была неподдельной. Еудженин было двадцать пять лет, она вышла замуж четыре года назад. Гогу Ионеску любил жену так же горячо, как в первые дни, и беспрекословно выполнял все ее желания, но он был почти в два раза старше Еуджении. Она не позволяла себе даже думать о других мужчинах, считая, что обязана быть мужу не только верной, но и бесконечно благодарной за его безграничную преданность. И все-таки порой ею овладевала страшная тоска, которую не могли рассеять никакие светские удовольствия. Надина всегда над ней подшучивала и никак не могла взять в толк, как это такая красавица может быть счастлива с Гогу, который в последнее время даже стал красить волосы, лишь бы выглядеть моложе. Сама же Еуджения, хоть и усвоила повадки и манеры общества, в котором сейчас вращалась, в душе осталась дочерью сельского священника Пинти из Лекинцн. Поэтому приход Титу будто возвратил ее на несколько минут в родной дом. Они поболтали о сестре Титу — Лауре и ее муже, брате Еуджении,— Джеордже, вспомнили Сынджеорз и множество людей и событий, связанных с родной Трансильванией. Затем, вернувшись к действительности, Еуджения грустно улыбнулась:

— Не понимаю, почему Гогу так долго задерживается со своим арендатором... Скажу ему, что вы пришли!

Она приоткрыла дверь. Из соседней комнаты сразу же раздался голос Гогу:

— Иду, иду, душенька...— Он вошел, еще в дверях заметил Титу и укоризненно продолжал: — Почему же ты мне ничего не сказала, птенчик мой? Я давно закончил расчеты с арендатором, и мы там болтали о политике!..

Гогу выглядел моложе, чем накануне, и был в прекрасном настроении. Он горячо пожал руку гостю, тут же попросил Платамону еще посидеть, пожурил его за какой-то обсчет и сказал, что, хотя тот заслуживает пожизненного заключения, он все-таки предлагает ему выпить чашечку черного кофе. Арендатор от души рассмеялся, но от кофе отказался, сославшись на то, что занят — у него еще дела в деревне. Кроме того, он обязан явиться к молодой барыне Надине, своей помещице. Титу он предложил подвезти его обратно в Амару.

— В таком случае задержитесь еще в деревне,— весело перебил его Гогу.— И не смейте соблазнять моих гостей своей таратайкой. Впрочем, уверяю вас, что Надина ничуть не жаждет любоваться вашей физиономией, она прекрасно знает, как вы ее обсчитываете.

Гогу проводил Платамону и сразу же возвратился, удовлетворенно потирая руки.

— Ну, теперь послушаем, что расскажет наш поэт!

Он подробно расспросил Титу о том, когда тот переехал в Румынию, чем он здесь занимается, как устроился. Выслушав рассказ гостя, Гогу возмутился, попросил извинить его и воскликнул:

— Что ж это такое — трансильванский поэт не находит себе в Румынии пристанища? Безобразие!.. Бедный юноша!..

Горячее сочувствие хозяев растрогало Титу, тем более что под конец Гогу патетически заявил:

— Прежде всего я прошу вас не расстраиваться. А во-вторых, заверяю вас, что лично приму все необходимые меры, чтобы поэт, принадлежащий к нашей семье, чувствовал себя в Румынии как у себя дома!.. Не так ли, душенька?..— повернулся он к жене.

— Конечно! — прощебетала Евджения.— Мы непременно должны что-нибудь для него сделать.

Когда Платамону вернулся за Титу, Гогу нашел новый предлог, чтобы поддеть арендатора:

— За то, что вы похищаете нашего гостя, я потребую с вас более высокую арендную плату. А госпоже Надине передайте, что завтра мы приедем к ним обедать и я ее надоумлю тоже потребовать с вас больше денег. Вот так-то, Эфиальт!

7

Платамону погонял лошадь, болтая с Титу Херделей и с сыном, но мысли его были далеко. Он не хотел показать даже своему ненаглядному Аристиде, которого любил больше жизни, сколько волнений причиняет ему теперешняя поездка в Амару. От результатов поездки зависело все будущее семьи Платамону. Арендатор любил землю и не только из-за тех доходов, которые она приносит, когда ее трудолюбиво и разумно обрабатывают, а главным образом потому, что она дает своему владельцу ощущение устойчивости. Платамону казалось, что быть помещиком — это верх счастья, и он мечтал об этом с тех пор, как стал арендатором. Теперь наконец его мечта была близка к осуществлению. Поместья прекраснее, чем Бабароага, он и представить себе не мог. Лишь бы сойтись в цене. Надина, как он знал, всегда нуждалась в деньгах. Платамону частенько приходилось выплачивать ей аренду вперед. Владеть поместьем не доставляет ей никакой радости, наоборот — она считает это тяжелой обузой. Сама спрашивала его весной, не

смог ли бы он подыскать ей серьезного покупателя, и добавила, что они обстоятельно обсудят это особью; тогда он скромно ответил, что желающие, вероятно, найдутся, если она не запросит слишком высокую цену, так как в последнее время денег ни у кого нет, а земля не приносит таких доходов, как прежде. Он, конечно, намекнул, что сам был бы не прочь купить поместье, и Надина поняла намек.

Платамону был грек, но уроженец Румынии. По-гречески он знал лишь с десяток слов, а любовь к Элладе проявил тем, что дал своим детям эллинские имена: сына назвал Аристиде, а дочь — Клеоной. Подданство у него было румынское, и Платамону лелеял надежду, что его сын займется политикой и станет депутатом. Поэтому он, не считаясь с расходами, давал сыну возможность изучать в университете право и выполнял все его прихоти. Но Аристиде не унаследовал трудолюбия отца — книгам предпочитал пирушки и женщин. Уже три года он числился студентом, но еще не сдал ни одного экзамена под тем предлогом, что ему необходимо хорошо подготовиться.

— Здравия желаю, сударь! — зычно приветствовал арендатора Бусуйок с порога корчмы.

Платамону не замедлил откликнуться веселой шуткой. Он умел толковать по душам с крестьянами, и они к нему относились теплее, чем к соседним помещикам. Попав в беду, люди обращались в первую очередь к Платамону, так как он не задирал носа, всегда их внимательно выслушивал и привечал, по крайней мере, ласковым словом.

Чтобы не разгневать господ, Платамону остановился на заднем дворе, а не подъехал к парадному входу барской усадьбы. Сперва он намеревался захватить с собой и Аристиде, считая, что в присутствии смазливого мужчины всякая молодая женщина стремится лишь к тому, чтобы казаться очаровательной. Но в последнюю секунду арендатор передумал: кто знает, как обернется дело, а если все пойдет прахом, мальчику незачем это видеть.

После первых же слов Платамону стало ясно, что он правильно поступил, оставив Аристиде во дворе. Надина была в комнате не одна, а с мужем и Раулем Брумару и встретила арендатора с любезностью, не предвещающей ничего хорошего.

— А мы как раз о вас говорили... Легки на помине!

Арендатор состроил подобие улыбки и поцеловал Надине руку. Мужчины встали, заявив, что не хотят мешать деловому разговору. Надина пригласила Платамону сесть в кресло, которое перед тем занимал Рауль,— оно стояло рядом с камином, где лениво потрескивали два огромных чурбака. Сама она устроилась во втором кресле и ласково заворковала:

— Вот так... Теперь мы можем поговорить спокойно.

Весь этот церемониал был Платамону прекрасно известен. Чрезмерная любезность свидетельствовала лишь о том, что Надине позарез нужны деньги. Он попытался предотвратить опасность и принялся говорить об урожае, который... Но Надина тут же, смеясь, перебила его:

— Знаю, знаю... Урожай всегда гораздо хуже самых пессимистических предположений либо из-за дождей, либо из-за засухи, и, кроме того, за него почти ничего нельзя выручить, так как денег ни у кого нет. Лучше я вам расскажу кое-что поинтереснее!

Надина рассказала, что три месяца, проведенные за границей, обошлись чрезмерно дорого и ей даже пришлось обратиться за помощью к мужу, хоть это и очень неприятно. Григоре так мил, что никогда не вмешивается в ее денежные дела, поэтому и ей не хочется ничего у него просить, тем более что за границу она поехала в какой-то степени против его воли. Платамону позволил себе заметить, что он лично немедленно откликнулся на ее письмо и выслал за несколько месяцев до срока сумму, которую можно было выручить лишь осенью, и он один знает, чего ему стоило раздобыть такие огромные деньги в столь тяжелые времена. Его жалобы Надина пропустила мимо ушей, лишь кокетливо поблагодарила и тут же заявила, что вернулась домой буквально без гроша, и даже больше того — еще задолжала Гогу. Сейчас, хотя ей совершенно необходим отдых после стольких утомительных хлопот, она приехала сюда, в поместье, лишь для того, чтобы договориться с Платамону — он должен срочно внести ей авансом очередной взнос или хотя бы значительную часть этого взноса, чтобы она могла уладить изрядно надоевшие ей материальные затруднения.

Арендатор тяжело вздохнул. Значит, речь идет вовсе не о покупке имения, а о том, чтобы досрочно внести арендную плату. Повезло, называется! А с какими надеждами ждал он нынешнюю осень! Он печально ответил, что всегда стремился выполнять все требования барыни и ради этого шел на любые жертвы. Но на этот раз обстоятельства сложились, к несчастью, совсем уж неблагоприятно. Он работал не покладая рук, но ничего не добился. Теперь над ним нависла угроза лишиться даже того маленького капитала, благодаря которому он арендовал поместье. Госпожа требует арендную плату досрочно, а он не сумел еще выручить даже прошлый взнос. Он готов сейчас же, с карандашом в руках, доказать, что как бы он ни старался, при нынешнем уровне цен невозможно покрыть даже три четверти арендной платы, не говоря уж о минимальном заработке для него лично, который он все-таки заслужил своим нечеловеческим трудом...

Надина на миг сбросила маску очаровательной любезности, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась: арендаторов много, главное — это поместье. Платамону подтвердил,— да, арендаторов действительно много, но вопрос в том, что они собой представляют. А кроме того, любой человек, мало-мальски разбирающийся в этом деле, не сможет предложить барыне и половины той арендной платы, которую он, Платамону, выплачивает ей по старой памяти. Правда, кое-где арендная плата чуть выросла. Но там крестьян так эксплуатируют, что доводят до отчаяния, и еще неизвестно, не приведет ли это к самым печальным последствиям. Крестьяне поумнели, сами хотят земли и не намерены безропотно переносить обманы и издевательства. Даже здесь, где они подряжаются на работу на хороших условиях и их не обсчитывают ни на грош, они волнуются, ропщут, чего-то требуют. А уж что происходит там, одному богу известно...

Надине скоро надоела болтовня арендатора. Платамону заметил это и оборвал себя на полуслове. Наступило продолжительное молчание. Надина пытливо смотрела на собеседника, словно пытаясь разгадать, что скрывается за красноречием арендатора, сидевшего теперь перед ней с покорным, почти униженным, но, главное, непроницаемым лицом.

— Значит, так! — вдруг воскликнула чуть раздраженно хозяйка, сделав такой жест, будто решила положить конец разговору.

Платамону подумал, что перегнул палку и что, наверное, пора пойти на попятный. Он знал, что Надина чрезвычайно самолюбива и впрямь способна подыскать себе другого арендатора. Это уж превзошло бы самые худшие его опасения,— вместо того чтобы купить поместье, он бы совсем его лишился.

Как раз в эту минуту в комнату вошел Григоре и сказал жене, что пришли какие-то крестьяне. Они просят барыню их принять и выслушать, так как они тоже хотят купить поместье. Надина удивленно поднялась:

— Но мы с господином Платамону даже не говорили об этом.

Она явно была в замешательстве, тем более что Григоре продолжал настаивать, чтобы она приняла ходоков. Крестьяне что-то подозревают, и если не получат ответа от нее лично, то будут считать, что их несправедливо обошли. Но Надина с крестьянами никогда не общалась и не желала общаться, считая их злобными дикарями. После короткого колебания она уступила, пожав плечами.

— Хорошо, раз ты считаешь это необходимым, Григ... Только как бы они здесь не наследили или не наполнили весь дом бог знает каким благоуханием!

Действительно, резкий запах чеснока ворвался в комнату, как только в нее вошли крестьяне во главе с Лукой Талабэ.

— Не робейте,— подбодрил их Григоре,— выложите барыне все, что у вас на душе.

Незадолго до этого корчмарь Кристя Бусуйок дал знать крестьянам, что арендатор поехал на барскую усадьбу, чтобы окончательно сторговать поместье Бабароагу. После вчерашнего разговора со старым барином крестьяне потолковали еще между собой и решили не отступаться, а пойти к самой барыне. Но сейчас они растерялись, тем более что столкнулись лицом к лицу с арендатором. Лишь спустя некоторое время Луке Талабэ удалось побороть робость, и он заговорил, уставившись в глаза Надине:

— Вы уж, барыня, не гневайтесь на нас, на нашу смелость, только слыхали мы, что... вы желаете продать поместье... вот мы и пораскинули мозгами и так и этак, да подумали, что зачем вам его продавать кому чужому, мы ведь всегда на этой земле работали, вот нам бы его и купить...

Разговор с Платамону, резкий запах чеснока, косноязычный лепет Талабэ — все это вызвало раздражение Надины. В действительности она и не собиралась продавать Бабароагу. Этой весной она, правда, говорила арендатору, что была бы не прочь избавиться от поместья, но, по существу, ничего не решила твердо и сказала это лишь для поддержания разговора, так как Платамону все не уходил и она не могла грубо указать ему на дверь после того, как он отсчитал ей крупную сумму денег. А оказалось, что из-за случайно брошенных слов заварилась каша. Вчера нежданно-негаданно завел разговор свекор, сегодня — крестьяне. Сейчас она поняла, почему только что Платамону жаловался на слишком высокую арендную плату, и, взглянув на него, не смогла скрыть иронической улыбки. Он все еще сидел в кресле, на лице его застыло удивленное выражение, которым он пытался замаскировать свою тревогу, а в голове стучало: «Повезло, называется!»

Решив наконец, что крестьяне выговорились, Надина их перебила, заявив, что пока не намеревается продавать поместье и довольна Платамону, который честно платит ей и не обижает народ. Ходоки поспешили согласиться, опасаясь разгневать арендатора.

— Что правда, то правда, с господином Платамону мы завсегда в согласии жили, грех иное говорить.

— Если уж я решу продавать поместье,— продолжала Надина,— то обязательно выслушаю и вас, не забуду. Но сейчас не

надо верить слухам; эти слухи распространяют либо заинтересованные лица, либо те, у кого совесть нечиста.

Платамону судорожно сглотнул слюну, хотя никто на него не смотрел — ни Надина, ни крестьяне.

Когда мужики ушли, арендатор угодливо спросил:

— Как же вы со мной решили, барыня?

— Я подумаю и посмотрю, что можно сделать,— равнодушно ответила Надина.

Платамону почудилось, что земля уходит у него из-под ног. Он попытался настаивать, уточнить, когда ему зайти еще раз, но Надина не ответила ничего определенного — она не знает, сколько времени тут задержится.

— Вы рассердились на меня, барыня? — воскликнул в отчаянии арендатор.

— Что вы, что вы,— возразила Надина, протягивая ему руку.— Вы ведь ничего плохого мне не сделали. Почему же?

Спускаясь по лестнице, Платамону горестно бормотал про себя:

— Ну и влип же я, ничего не скажешь! Отличился!

8

Во вторник, во второй половине дня, начался мелкий холодный дождь и зарядил надолго, по-осеннему. Гогу Ионеску с Евдженией приехали в гости в Амару. Обед прошел весело, а к концу все заговорили о планах возвращения в Бухарест. Гогу необходимо быть в столице к четвергу. Нельзя опоздать даже на час. Он ведь депутат, недели через две начнется сессия палаты депутатов, и ему надо предварительно встретиться со своими политическими единомышленниками. Гогу предложил Титу поехать с ним, но Григоре энергично запротестовал: он не разрешит похитить гостя. Ему хотелось отправить Титу в Бухарест вместе с Надиной, чтобы та не ехала одна с Раулем Брумару.

Перед тем как усесться за стол, Григоре отозвал Гогу и Титу в сторону, чтобы поговорить о делах Титу. Узнав о посулах Балоляну, Гогу рассердился. Неужели Григоре думает, что Балоляну окажет какую-либо помощь, если лично в этом не заинтересован? По-видимому, Григоре плохо его знает, хоть они и друзья. Балоляну будет водить их за нос, пока им не осточертеет и они сами не отступятся.

Григоре промямлил какие-то возражения: мол, как бы то ни было, нельзя же оставлять Титу на произвол судьбы и, следовательно...

— Так вот я тебя заверяю, что наш юный друг будет пристроен в первые же сутки после моего возвращения в Бухарест! — воскликнул с пафосом Гогу.— Даю честное слово! А я не Балоляну!

— Несомненно, если ты намереваешься всерьез заняться этим...— согласился Григоре.— Только Гогу, милый, ты ведь тоже иногда забываешь о своих обещаниях...

— Ну, не бойся! — рассмеялся Гогу.— Я знаю, когда можно забывать о своих обещаниях и когда нет!

— Вам повезло,— шепнул Григоре Титу, когда они на секунду остались вдвоем.— По-видимому, вам очень покровительствует Евджения, если Гогу проявляет такую энергию!

Титу не произнес ни слова, а лишь с восторгом слушал. «Так оно и есть, я родился в рубашке»,— в упоении думал он. Он ел с большим аппетитом, а когда речь зашла о трансильванских дойнах, спел одну из них — «Длинна дорога до Клужа», чем вызвал настоящую овацию. Его похвалил даже Мирон Юга, а Надина, всегда пренебрежительно фыркавшая при звуках румынской музыки, заставила его обещать, что в Бухаресте он ей споет все дойны, какие знает...

Когда Гогу и Евджения поехали к себе, дождь все еще лил. Надина, увидев с порога, как резкий ветер крутит и относит в сторону водяные нити, вздрогнула:

— Мне кажется, я буду в Бухаресте раньше их.

Мирон Юга довольно потер руки.

— Не расстраивайся, девочка, этот дождь — сущая благодать для осенних посевов. Он стоит многих миллионов, очень многих!

— Быть может, оно и так, дорогой папа, но я не люблю дождь даже в городе. Ну а в деревне я его просто не выношу.

С тех пор как приехала Надина, Григоре преобразился. Лишь после того, как он вновь сжал ее в объятиях, он понял, что без нее его жизнь была бы разбита. Он простил ей все прегрешения, обвиняя в них самого себя. Такая женщина, как Надина, не только имеет право, она просто обязана вести блестящую жизнь, быть предметом всеобщего поклонения, а не прозябать в тени, как хотел он в своем мелком эгоизме. Ее вполне естественное сопротивление он счел отсутствием истинной привязанности... Он обвинял жену в кокетстве, словно в преступлении, не понимая, что у нее это лишь вполне оправданное стремление блистать. Он не оценил того, что, постоянно предлагая ему нечто новое, всегда представая перед ним в ином обличье, она с успехом играет две роли сразу — любовницы и жены. А он не разрешал ей даже самые невинные капризы, упрекая за то, что ей нравится танцевать или путешествовать!

Впрочем, и сейчас ему необходимо непрерывно следить за собой, держать себя в руках. Присутствие в доме Рауля Брумару продолжало раздражать Григоре, хотя бедняга изо всех сил старался быть полезным: рассказывал анекдоты, то и дело неудачно каламбурил, интересовался животноводством, покорно, как мученик, выслушивал сельскохозяйственные теории Григоре, играл в карты с Мироном Югой, перешел на «ты» с Титу, так как заметил, что Григоре относится к тому с большой теплотой, и старался развлечь шутками из французских журналов Надину, когда видел, что ей здесь смертельно надоело. Несмотря на это, Григоре не спускал с Рауля глаз и украдкой следил за каждым его движением, хотя сам себе признавался, что хватает через край. Он ловил себя на том, что относится с подозрением к Надине даже в самые интимные минуты. То ему казалось, что ее поцелуй неискренен, то, что она каким-то странным тоном произносит слова любви... Григоре не мог отделаться от страха, что она насмехается над его чувствами.

Разгоревшаяся снова любовь побуждала и его ускорить свой отъезд в Бухарест. Для завершения всех дел в деревне ему нужно было не больше недели: Григоре попытался уговорить Надину отложить свой отъезд и дождаться его.

— Я просто умру, если вынуждена буду провести еще целую неделю в этой омерзительной грязи! — улыбаясь, возразила она.— Почему ты не можешь хоть раз в жизни отказаться ради меня от этих столь важных дел? Поедем вместе!

Григоре пообещал, что до воскресенья он все закончит, но Надину больше удерживать не стал: он не хочет, чтобы она себя плохо чувствовала, а мечтает лишь о том, чтобы она всегда была весела и счастлива.

Решили, что Надина поедет в четверг. Но в четверг был такой ливень, что отъезд отложили на пятницу. Григоре подумал, что, быть может, дождь был для Надины лишь предлогом, чтобы задержаться еще на одну ночь, и эта мысль его несказанно обрадовала.

В пятницу с утра погода обещала быть хорошей. Дождь прекратился ночью, но грязь и лужи были чуть не до колен. Автомобиль подъехал к главной лестнице, обогнув клумбу в форме сердца, на которой красные осенние цветы улыбались ласке солнца, внезапно выглянувшего из-за пелены туч. Надина несколько раз поцеловала Григоре, уселась в машину и, посмотрев на цветы, нежно сказала ему:

— Это твое сердце, Григ.

Среди слуг, толпившихся рядом, чтобы помочь при отъезде, Титу заметил Петре. Тот частенько околачивался теперь на усадь-

бе не только из-за Марноары, но и в надежде тоже пристроиться здесь на работу. Титу, попрощавшись с Мироном Югой и растроганно поблагодарив Григоре, подал руку и Петре.

— Ну, желаю тебе здоровья и всяких благ!

— Дай вам бог счастья, сударь! — горячо ответил парень.

Услышав незнакомый голос, Надина повернула голову. Ее любопытный взгляд встретился на миг с блестящими глазами Петре.

Машина медленно двинулась по аллее, посыпанной гравием. Григоре без шляпы шагал рядом с машиной, а Надина, устроившись между Титу и Раулем, посылала ему воздушные поцелуи и махала рукой в перчатке. У ворот Григоре окликнул шофера, попросил на минуту остановиться и подошел к дверце машины.

— Прошу меня извинить, но мне необходимо сказать Надине два слова на ухо.

Он перегнулся в машину, взял обеими руками голову жены, поцеловал мочку уха и шепнул:

— Люблю тебя!

Надина проворковала, смеясь и запрокинув голову:

— Mais tu es fou, petit chéri! [1]

Автомобиль рванулся, как бегун. Григоре долго смотрел ему вслед, но видел лишь маленькую ручку, трепетавшую, точно белая горлинка, над головами.

Машина стремительно удалялась, разбрызгивая поперек улицы фонтаны мутной воды, расшвыривая комки грязи. До слуха Григоре долетел сердитый голос:

— Будь оно все неладно!

Бабка Иоана, шедшая по обочине дороги, оказалась залянанной с ног до головы и сейчас отряхивала одежду, сердито бормоча себе что-то под нос.

По склону поднималась Ангелина, дочь Нистора Мученику, держа одного ребенка на руках и ведя за руку другого — лет четырех. Мальчонка, босой, как и мать, еле ковылял, путаясь в подоле длинной, волочащейся по грязи рубашки, и непрерывно хныкал:

— Мамка, есть хочу!

Измученная женщина унимала его:

— Да молчи ты, сынок, молчи, родимый!

Машина исчезла, унося белую, как горлинка, руку. Григоре вздрогнул, будто пробудившись ото сна. Сейчас он слышал лишь хныканье ребенка, уговоры матери и ворчанье бабки:

— Будь оно все неладно!

---

[1] Ты сошел с ума, любимый! *(франц.)*

ГЛАВА IV

СВЕТОЧИ

1

Титу Херделя целых два дня только и делал, что рассказывал, как он провел время в поместье Юги. Сперва у него выпытывала все подробности госпожа Александреску, его хозяйка, которая, когда не говорила о Женикэ или о Мими, старалась любой ценой разнюхать побольше о чужой жизни, чтобы потом было о чем посплетничать. Целый вечер Титу делился впечатлениями с семьей Гаврилаш, а сын сапожника Мендельсона, теперь уже в штатском, специально зашел к Титу, чтобы узнать у него о страданиях крестьян. Кипя негодованием, он объяснил Титу, что социальные беззакония доведут народ до отчаяния и, если народ будет вынужден сам добиваться справедливости, все обветшалое здание нынешнего общества рухнет в огне и крови.

Титу охотно разглагольствовал и хвастал, но все-таки старался не терять чувство меры. Он не осмеливался слишком заноситься, так как еще не знал, увенчается ли оказанный ему любезный прием какими-либо ощутимыми результатами. С особым восторгом говорил он о Надине. Она казалась ему самым восхитительным существом на свете, и он давал собеседникам понять, что и она к нему благоволит, хотя в действительности Надина почти не обращала на него внимания и даже по дороге, в автомобиле, обменялась с Титу лишь несколькими словами, болтая все время по-французски с Раулем Брумару.

Наконец в воскресенье, в первой половине дня, Титу отправился на улицу Арджинтарь к Гогу Ионеску. Правда, тот твердо обещал в течение первых же суток найти для него подходящую службу, но не мешало под предлогом обязательного визита вежливости напомнить о себе еще разок.

— Все сделано! — торжествующе приветствовал его депутат.— Завтра вы должны явиться на службу в редакцию газеты «Драпелул». Зайдите там к господину Деличану,— не забудьте его фамилию, он директор газеты,— и скажите, что вы от меня. Жалованье, правда, не очень большое, но со временем мы постараемся это исправить.

Титу оцепенел от изумления и радости и лишь с трудом сумел пролепетать несколько слов благодарности и восхищения. Гогу очень любил, когда им восхищались. Как только появилась Еуд-

жения, он с мельчайшими подробностями изложил ей все перипетии операции, так как, для того чтобы преподнести сюрприз, еще ничего ей не говорил. Итак, он с самого начала подумал, что ему, маститому депутату, не к лицу идти на поклон в газеты «Адевэрул» или «Универсул», рискуя получить отказ, коль скоро в его распоряжении газета своей же политической партии. Деличану, директор газеты,— его личный друг и коллега по палате депутатов. И он пошел к Деличану. Тот, человек весьма обязательный и тонкий, сразу же согласился, но попросил Гогу самого уточнить подробности с администратором газеты. Однако у администратора Гогу наткнулся на холодный прием. Администратор, толстый еврей в золотых очках, засыпая его цифрами, принялся жалобно доказывать, что у редакции огромные расходы, что газета совсем не раскупается, хотя издается она блестяще. Всему виной то, что нынешние читатели не способны прочувствовать красоту стиля и оценить полемический задор, а интересуются только преступлениями и скандалами, так что...

— После целого часа бесплодных разговоров я вышел из себя! — гордо продолжал Гогу.— Я встал, сунул руки в карманы и категорически заявил: «Знать ничего не желаю! Мое требование должно быть выполнено, иначе...» Этих слов оказалось достаточно, и он тут же сдался: «Хорошо, господин Ионеску, раз вы ставите вопрос так, я не могу вам отказать!»

Гогу не стал, однако, признаваться своим восхищенным слушателям в том, что, сунув руку в карман, он вытащил оттуда бумажник и уплатил сумму, равную шестимесячному жалованью своего протеже. Эта сумма была тут же внесена в бухгалтерские реестры газеты как взнос господина депутата Гогу Ионеску.

Еуджения обняла мужа и горячо поблагодарила, полностью вознаградив его этим за труды. Затем оба пожелали молодому журналисту больших успехов и пригласили зайти к ним как-нибудь пообедать, после того как он освоится со своей новой службой.

— Вы уж там и про меня тисните статейку! — полушутя, полусерьезно шепнул ему Гогу, провожая до двери.

Титу не терпелось в первую очередь познакомиться с «Драпелулом». Он никогда еще не видел этой газеты и даже не слыхал о ней. Обойдя с десяток газетных киосков, он наконец купил номер, тут же развернул и, просмотрев, пришел к выводу, что газета идиотская, пустая, бесцветная, как речь в парламенте. На миг им овладело разочарование. Он мечтал совсем о другом. Но что теперь делать? Для начала и это неплохо!..

Возвратясь домой, Титу принялся обстоятельно изучать газету от названия до фамилии ответственного поручителя. Как раз когда он пытался одолеть бесконечный опус, подписанный каким-то сенатором, в дверь постучал Жан:

— Зайдите, дорогой, на минутку к нам, познакомьтесь с моей сестренкой Танцей, а то Левуца так вас расписала, словно святые мощи в Кафедральном соборе.

Желая всячески задобрить семью Жана, госпожа Александреску старалась найти Танце жениха, так как старики родители очень тревожились за судьбу дочери, у которой, кроме красоты, не было никакого приданого. Сейчас госпожа Александреску нацелилась на Титу и превозносила его до небес,— рассказывала, что он на редкость аккуратно вносит квартирную плату, ведет себя достойно, вращается только среди высокопоставленных лиц, а кроме всего прочего, он журналист, так что завтра-послезавтра станет депутатом, как Костел Петреску, который учился с ее покойным мужем в военном училище.

— Поглядите только, господин Титу, какой к нам залетел ангелочек! — просюсюкала госпожа Александреску.

Танца, высокая, стройная девушка с зелеными, влажными и призывно поблескивающими глазами, покраснела. Титу слегка смутился. Госпожа Александреску с удовольствием отметила это и через несколько минут дипломатично заявила:

— Ну, теперь нам пора, мы собираемся в город. Я только хотела, чтобы вы с ней познакомились, увидели, как она хороша. Ничего, не расстраивайтесь. Обещаю вам, что как-нибудь после обеда мы захватим и вас к ним в гости, а там вы сможете даже ухаживать за Танцей, если пожелаете.

Титу снова принялся за опус сенатора, но между скучными строчками все время поблескивали зеленые глаза Танцы и проскальзывала ее улыбка, как неожиданный, но тем более заманчивый соблазн.

На второй день он пошел в редакцию. Мальчишка-посыльный провел его к секретарю. В просторной комнате, за большим письменным столом, сидел небритый хмурый человек в очках и огромными ножницами что-то вырезал из пачки лежащих перед ним газет. Мельком взглянув на Титу, он продолжал энергично орудовать ножницами. Закончив, освободил свой стол, смахнув на пол обрезки газет. Узнав, что Херделя ищет Деличану, он скучающим голосом пояснил:

— Директор бывает здесь только случайно, так что вам мудрено будет его застать. Но если ваш вопрос касается газеты, то можете обратиться к главному редактору, который должен вот-вот появиться, или сказать мне.

Титу сообщил, кто он, и секретарь недовольно хмыкнул:

— Вот оно что... Мы все размножаемся! У нас сейчас больше сотрудников, чем читателей, и все-таки без помощи ножниц газета не выходила бы. Как получать жалованье, все вперед проталкиваются, а когда нужно что-нибудь написать, никого не допросишься. Но в конце концов дирекции виднее. Я давно снял с себя ответственность...

Все-таки, чтобы проверить слова Титу, он черкнул несколько слов на клочке бумаги и отправил посыльного к администратору. Ответ не заставил себя ждать, и секретарь продолжал:

— Все в порядке! Вы приняты. Прекрасно! Быть может, вы и писать захотите? А?

Постепенно настроение у него исправилось. В сущности, Рошу — так звали секретаря — был добрым человеком, но считал себя лучшим в Румынии секретарем редакции, а так как не все разделяли его мнение, чувствовал себя незаслуженно обойденным. Ему надоело, что он вынужден трудиться, как вол, в безвестной газетенке, в то время как другие, которые и в подметки ему не годятся, наживаются и делают карьеру в редакциях известных газет с большими тиражами.

Херделе, как уроженцу Трансильвании, секретарь поручил отбирать из немецкой и венгерской печати сообщения о проживающих там румынах и о Румынии. Тут же он сунул Титу огромную кипу газет, к которым никто еще не притрагивался, так как в редакции из иностранных языков знали только французский. Титу может их взять домой и внимательно просмотреть. Слишком длинные статьи писать не к чему. Короткие, волнующие заметки — вот что нужно боевой газете. К несчастью, «Драпелул»... Конечно, было бы прекрасно, если бы Титу хоть раз в неделю писал передовицу. Пусть попробует! Секретарю просто осточертели тупоумные политиканы с их словоизвержением. Но в то же время не следует забывать, что «Драпелул» правительственный официоз и, следовательно, необходимо соблюдать осторожность, тем более что, кроме нынешнего шефа партии, существует целая тьма претендентов на его место, тайных оппозиционеров, которые ждут не дождутся малейшего промаха с его стороны, чтобы выступить против официального руководства.

— Вот так-то, мой милый! — дружески закончил секретарь.— Пока привыкнете к нашему ремеслу, можете работать дома, но только по утрам обязательно приходите сюда, вы можете понадобиться!

Титу вернулся домой, заперся в своей комнате и энергично принялся за работу. Он был уверен, что теперь перед ним откры-

ты все дороги. Главное — оказаться на высоте и не падать духом. Дома никого не было. Госпожа Александреску вместе с Жаном ушла к его родителям играть в карты. В квартире стояла полная тишина, и лишь изредка со двора, густо населенного жильцами, доносился чей-то крик или ругань. К вечеру, как раз когда он кончил писать, в коридоре послышались шаги. Титу подумал, что это его ученица, Мариоара, и обрадовался. После стольких часов работы появление молодой женщины, пусть даже Марпоары, было бы очень приятно. Он бросился к двери.

— Разве мамочки нет дома? — весьма естественным тоном удивилась Мими.

— Нет, ее нет...— в замешательстве пробормотал Титу,— но вы войдите, сударыня... Я сейчас...

Миниатюрная, белокурая гостья улыбнулась и быстро согласилась:

— Ну раз я все равно пришла, посмотрю гнездышко поэта.

Титу возликовал, бросился целовать ей ручку и стал умолять задержаться хоть на несколько минут, чтобы он успел насладиться ее видом — ведь с тех пор, как они познакомились, он не может ее забыть.

Мими спокойно перебила его, словно не расслышала или просто заранее знала все, что он скажет:

— В этой комнате я жила до свадьбы, когда приезжала из пансиона домой на каникулы. Тогда мамочка ее не сдавала... А какие чудесные сны снились мне на этой кроватке!

Ободренный Титу принялся уговаривать гостью снять пальто, непрерывно повторяя:

— Я прошу, я вас очень прошу... Ведь я не кусаюсь... ей-богу, не кусаюсь!..

Мими расхохоталась:

— Конечно, я бы вам все равно не позволила... оставлять следы.

Потом, чтобы умерить его пыл, она сентиментально добавила:

— Вы мне симпатичны, но...

Титу совсем потерял голову, схватил ее в объятия и закрыл рот жадным поцелуем, стараясь подвести к кровати. Мими в ответ что-то довольно лепетала, но легко выскользнула из его объятий, шепнув ему:

— Как вы себя нехорошо ведете! Хотите, чтобы я пожалела о том, что зашла?.. Теперь нельзя, поверьте мне, нельзя. В другой раз. Наберитесь терпения!

Прислонившись спиной к двери, она поправила шляпку на золотистых волосах и, чтобы избежать нового нападения, взялась за дверную ручку.

— Будьте умненьким и послушным, понятно?.. А сейчас я убегаю. Я зашла только на минутку повидать мамочку... До скорой встречи, торопыга!

Она ушла, многообещающе улыбаясь.

2

Светский сезон сулил быть веселее и разнообразнее, чем когда-либо, и Надина лихорадочно готовилась к нему. На один только ноябрь намечались открытие парламента, концерт Падеревского, гастроли Элеоноры Дузе и Ферođи. Молодая женщина привезла туалеты из Парижа, но сейчас с ужасом убедилась, что совсем не подготовлена, просто раздета перед лицом всех этих светских событий, настоятельно требующих ее присутствия.

Григоре задержался в поместье еще на несколько дней. Ему не удалось отделаться от отца, пока они не закончили все расчеты, но зато он мог ни о чем больше не думать до февраля. В конечном счете его это вполне устраивало, ибо он решил провести всю зиму в столице вместе с Надиной.

— Давно пора! — одобрила она его решение.

Надина тут же поручила ему забронировать лучшую ложу на все предстоящие спектакли, прибавив, что будет считать себя обесчещенной, если пропустит хотя бы один из них. Григоре сбился с ног, выполняя ее поручения. Надина даже пожалела его:

— Если тебе неприятна эта беготня, пошлем Рауля. Он очень ловок в такого рода делах.

Григоре запротестовал, уверяя, что ее поручения ничуть не тяготят его, хоть это было и не так. На самом деле он стремился как-то незаметно отдалить Рауля от Надины. Не из ревности, уверял он себя, а просто потому, что Рауль слишком глуп. Вновь пробудившаяся любовь Григоре была выше ревности. Но он понял: для того чтобы удержать Надину, ему надо по ее примеру быть одновременно и мужем и любовником.

Надина была слишком поглощена водоворотом своих светских обязанностей и не замечала стараний Григоре. Впрочем, она бы не заметила их и при других обстоятельствах, потому что считала вполне естественным и даже обязательным жить окруженной все-

общей любовью. Она с детства привыкла, чтобы к ней так относились все, начиная с собственного отца, который ее боготворил и даже теперь, когда ее видел, чувствовал особый прилив сил. Она же, в сущности, не любила никого, кроме самой себя, и никогда и ни в чем себе не отказывала. При этом удовлетворение всех ее прихотей не доставляло ей особой радости — стремление окружающих угодить ей она воспринимала как нечто вполне естественное, как дань ее красоте. Она изменяла Григоре не потому, что не могла противиться страстному порыву, подобно тому, как курила вовсе не для того, чтобы одурманиться табаком. Надина считала себя обязанной делать все возможное и невозможное, чтобы возвышаться над другими женщинами, подобно божественной статуе. Часто сбросив одежду, она подолгу разглядывала себя в зеркало, поражаясь и восхищаясь совершенством своего тела. По утрам она расхаживала в своих комнатах обнаженной, чтобы беспрепятственно любоваться собой.

Рауль Брумару был для нее лишь капризом, необходимым элегантной женщине, как собачонка или талисман. Он, как и многие другие, уже давно вздыхал по Надине. В конце концов она с ним сошлась, но не по любви, а просто так. В обществе Рауля ценили за остроумие, и он достойно выглядел в ее свите. С ним Надина обходилась еще бесцеремоннее, чем с Григоре. По отношению к мужу она сохраняла, хотя бы теоретически, какое-то уважение. В обращении же с Раулем она не считала нужным проявлять ни малейшего такта. Да он и не претендовал на это, а довольствовался объедками пиршества. В основном он был ее партнером на танцах, и эту роль выполнял превосходно.

Григоре испытывал инстинктивное отвращение к таким мужчинам, как Брумару. Он их презирал и искренне считал, что Надина себя компрометирует, терпя подобных поклонников. Но он винил и самого себя в том, что не смог помешать этому сближению, причем помешать одной лишь своей любовью, не прибегая к сценам, которые только ожесточили бы ее и побудили к еще большему своеволию. Если бы он сумел понять жену с самого начала, то не лишился бы четырех лет счастья и не допустил бы, чтобы между ними возникла такая пропасть, через которую он теперь вынужден наводить новые мостки.

Осознав все это, Григоре тут же, естественно, принял великодушное решение исправить свои былые ошибки. Надину надо оградить от соблазнов, но не устраняя их с ее пути, а идя навстречу всем ее капризам. Для начала Григоре предложил Надине взять на себя ее материальные затруднения, да еще объяснил это самым лестным для нее образом:

— Я хочу, чтобы моя жена была самой блистательной.

Надине просто не верилось. Она уже привыкла к тому, что обычно Григоре в деликатной форме, но приводя весьма обоснованные доводы, пытается удержать ее от слишком дорогостоящей светской жизни. Сейчас, несмотря на свое удивление, она лишь равнодушно заметила:

— Очень мило с твоей стороны, и я весьма тебе благодарна, но боюсь, тебя испугает сумма.

— Если дело касается тебя, никакая сумма не может меня испугать! — возразил Григоре, глядя на нее с покорным обожанием.

Они тут же занялись вопросами, которыми никогда не занимались за все годы совместной жизни: принялись подробно обсуждать туалеты Надины. Она разложила перед мужем последние номера журналов мод и стала посвящать его в тонкости раскроя, материалов и приклада, а он отнесся ко всему этому с таким вниманием, словно речь шла о жизненно важных проблемах. Эти разговоры и обсуждения продолжались и в следующие дни, и вскоре Надина с удивлением обнаружила, что Григоре обладает в области женских нарядов исключительно тонким вкусом и оригинальными идеями. Она даже сказала ему:

— А я думала, что ты увлекаешься только сельским хозяйством. Теперь вижу, что я ошибалась.

— Ты мое истинное увлечение со дня нашей встречи,— улыбнулся Григоре.— Наверно, я сам ошибался, когда думал по-иному.

Недели через две после их возвращения в Бухарест их снова посетил Платамону. Надина не сразу согласилась его принять. Коль скоро Григоре сам предложил ей помощь, у нее уже не было нужды прибегать к услугам арендатора, тем более что Гогу не торопил ее с возвратом денег, которые она ему задолжала за границей.

Платамону начал с того, что объяснил, почему он приехал в столицу: сыну надо уладить свои дела в университете, и он решил проводить его, надеясь заодно рассеять тучи прискорбных разногласий, возникших между ним и Надиной. Дела сына устроились быстро, и Аристиде возвращается домой, где сможет лучше готовиться к экзаменам, которые твердо намеревается сдать после рождества. Таким образом, у него, Платамону, осталось свободное время, он, правда, забегался, но все-таки сколотил половину суммы весеннего взноса за аренду и принес барыне, чтобы доказать, что ради нее он способен совершить даже невозможное. Он просит лишь о небольшой милости и уверен, что, принимая во внимание его преданность, ему не откажут. Естественно, речь снова идет о поместье Бабароаге. Недавно барыня сама сказала ему,

что не предполагает продавать поместье. Однако, так как слухи не затихают (от крестьян он узнал, будто эту землю намеревается приобрести старый барин), он, Платамону, тоже осмеливается напомнить о своем желании купить поместье. Поэтому он просит барыню, чтобы, принимая аванс за аренду будущего года, она считала бы эту сумму задатком за имение, если, конечно, его предложение окажется наиболее выгодным и будет принято. Для барыни это ни к чему не обязывающая формальность, но для него, Платамону,— некоторое, хоть и туманное, обеспечение, ценное главным образом как доказательство ее доверия и признания его давних услуг.

Надина не перебивала Платамону. Для нее важно было лишь то, что он принес деньги. Еще от отца она усвоила, что от денег никогда не следует отказываться. Что же касается милости, которую Платамону у нее просит, то она, по существу, беспредметна, так как Надина даже не помышляет о продаже Бабароаги. Продавать поместье было бы еще скучнее, чем сдавать его в аренду. Ведь всевозможные нудные разговоры начались сразу, как только был пущен слух, будто она предполагает продать землю.

— И чего это вам всем взбрело в голову торговать моим поместьем? — спросила Надина.— Все знают, что я его продаю, приходят ко мне с разными предложениями, одна я ничего не знаю. А вам не кажется, что я тоже должна хоть что-то знать?.. Так вот, сударь мой, так как вы все-таки благоразумнее других, я вам категорически заявляю: я ничего не продаю и не собираюсь продавать! Поняли? Это окончательно и бесповоротно!

— Раз так, то моя незначительная просьба тем более не имеет для вас никакого значения!..— подобострастно настаивал Платамону, подумав про себя, что у женщин ничего не бывает окончательным и бесповоротным — вчера она хотела продать землю, сегодня передумала, а завтра может снова вернуться к старой мысли.

— Пожалуй...— равнодушно согласилась Надина.— Хорошо. Как хотите. Только я сочла необходимым предупредить вас, чтобы вы потом не говорили, будто...

О сделке с арендатором она позже рассказала Григоре. Ей не хотелось скрывать от него подобные вещи, тем более что она получила значительную сумму и сможет брать у мужа меньше денег. Григоре, как всегда, повторил ей, что она полновластная хозяйка своих доходов и он не намерен вмешиваться в ее дела. Но, по его мнению, Надина не должна была давать Платамону даже платонического обещания. Зачем ей связывать себе руки?

Надина тут же пожалела, что рассказала все мужу. Все-таки Григоре ужасный педант. Он заметил ее недовольство и поспешил добавить:

— Возможно, я преувеличиваю... Главное, чтобы ты, Надина, не расстраивалась!.. Будь всегда веселой! Твоя улыбка — это моя жизнь.

3

— Эй, Кирилэ, ты читать умеешь? Нет? Жаль!.. А ну поди сюда, я тебе что-то покажу!

Говоря это, Платамону вытащил из туго набитого бумажника белый листок бумаги и победоносно помахал им перед глазами приказчика. Они находились в конторе поместья — маленькой комнатке, в которой стояли лишь сосновый стол и несколько табуреток.

— Видишь этот клочок бумаги, Кирилэ? Посмотри на него хорошенько. Как следует посмотри! — ликующе воскликнул арендатор.— Так вот! Это Бабароага! Вот так! Можешь рассказать это всем, чтобы люди не били понапрасну ноги и не ходили на барскую усадьбу.

— Дай вам бог владеть ей на здоровье! — уважительно пожелал Кирилэ.

— Дай бог, дай бог,— поблагодарил Платамону.— Я, Кирилэ, работал не покладая рук всю жизнь и вправе иметь на старости лет кусок земли. Ты сам видишь, что я и по ночам не знаю покоя, бегаю, из кожи вон лезу, не гнушаюсь сам подставить плечо вместе с вами, не чета другим господам-белоручкам, которые потягивают кофеек на веранде да живут на готовеньком. И все-таки я, видно, мешаю мужикам, и они стараются оттереть меня в сторону. А разве это справедливо, Кирилэ? Скажи сам, ты ведь человек разумный!

— Так ведь мужики не против вас поднялись, барин! — запротестовал приказчик.— Только что ж им делать — у них тоже нет земли, вот они и смотрят, как бы им для себя откупить поместье.

— Да пусть откупают, разве я против,— согласился Платамону, старательно складывая и пряча бумажку.— Пусть покупают, Кирилэ! Но зачем же они зарятся как раз на мое поместье?

Платамону давно ждал возможности отвести душу. Обращение крестьян к Надине он расценил как попытку конкурировать с ним и, следовательно, как проявление самой черной неблагодарности. На расписку, полученную от Надины, он не возлагал слишком больших надежд и пока решил использовать ее только для укрепления своего авторитета в глазах крестьян. Это утешение

было ему необходимо в какой-то степени и из-за Аристиде. То, что сын предпочел вернуться домой вместо того, чтобы весело проводить время в Бухаресте, очень встревожило Платамону, и тревога его усугублялась оттого, что он не мог поделиться ею ни с кем, даже с собственной супругой, женщиной слабохарактерной и безвольной. Платамону опасался, что Аристиде завел роман с мужичкой и может испортить себе все будущее или натворить бог весть что. Аристиде никогда ничего не рассказывал отцу о своих амурных делах, а тот не хотел его расспрашивать, опасаясь чем-нибудь оскорбить. По сердце Платамону тревожно ныло.

Кирилэ Пэуну сейчас не терпелось рассказать мужикам новость, услышанную от хозяина. Однако в будни он не мог отлучаться из Глигану. Только в воскресенье ему удалось выкроить свободный час и наведаться домой в Амару, чтобы заняться там своими делами и заодно излить душу. Он остановил телегу перед корчмой Бусуйока, где всегда после обедни собирались мужики, сам вылез, а жену и дочь отправил домой. На улице несколько горемык, укрываясь под стрехой корчмы, толковали, вздыхая, о своих бедах. Кирилэ поздоровался с ними и вошел внутрь. Там Лука Талабэ пререкался со старостой. Их молча слушали другие крестьяне, скучившиеся вокруг спорщиков. Заметив Кирилэ, Лука весело воскликнул, словно тот пришел к нему на помощь:

— Вот хорошо, что бог тебя привел, Кирилэ!.. Ты-то уж бесспременно должен знать!..

Корчмарь воспользовался случаем, чтобы встряхнуть посетителей:

— Что же вы все на ногах стоите, люди добрые, только проходу мешаете? Присаживайтесь к столу, не укусит он, да и денег я с вас не потребую! Вот так!.. Ну, садитесь, садитесь поудобнее, братцы! Садись ты первым, господин староста, за тобой и другие потянутся.

Наконец ему удалось всех усадить и подать выпивку.

Мужики толковали о Бабароаге, и громче всех шумел староста — Ион Правилэ, доказывая, что будет несправедливо, коли те, кто побогаче, отхватят еще земли, а бедняки так и останутся ни с чем.

— Вот так он меня изводит уж битый час! — кинул в сердцах Лука, обращаясь к Кирилэ.

— Так ведь староста прав,— вмешался Трифон Гужу.— Нехорошо ты поступаешь, дядюшка Лука! Нет, нехорошо!.. Ежели вы стараетесь скупить всю землю, как же после этого король сможет раздать ее мужикам?

Мужики одобрительно загудели, и Лука поспешил ему возразить:

— Кто это тебе сказал, что король раздаст мужикам землю?

— Весь народ это знает, только вы не хотите слушать! — укоризненно ответил Трифон.

— Должен он поделить, иначе житья нам больше не будет! — поддержал его чей-то густой и глухой голос, словно донесшийся из-под земли.

Лука Талабэ понял, что большинство настроено против него, и продолжал другим тоном:

— Хорошо, кабы вышло по-вашему, братцы, но только опасаюсь я, что мы-то останемся лишь при словах, а землей другие будут пользоваться!.. Что ж это, Трифон, выходит? Разве я для себя стараюсь, а не для всех?.. Я, слава богу, худо-бедно, но на черный день откладываю... Только думаю — почему ж это другие должны завладеть землей, которую мы обрабатываем? Почему мы не можем все сообща сложиться и откупить ее? Ведь поделю-то я ее не с одним Марином Станом, а со всеми честными людьми, которые работать хотят. И с тобой, Игнат, и с тобой, Трифон, и со всеми, кто пожелает, только бы помог нам господь бог заполучить поместье... Что, разве я неверно говорю, люди добрые?

Увещевал он их еще долго. Староста лишь насмешливо улыбался, обиженный тем, что крестьяне действовали от него тайком. Кирилэ Пэуну было почему-то стыдно. Его так и подмывало перебить Луку, но он не осмеливался разрушить его надежды. Однако когда Лука стал рассказывать, что Платамону из-за Бабароаги даже ездил в Бухарест, он счел, что наступила подходящая минута, и пробормотал:

— Да, был он там и, кажись, не попусту съездил.

Лука сразу осекся. Бусуйок подошел к столу, чтобы лучше слышать.

— Так что ж ты молчал, пока мы торговались да ссорились, коли у арендатора и документ уже в кармане? — рассердился Правилэ, когда Кирилэ рассказал обо всем, что узнал от Платамону.

Люди вокруг недовольно ворчали, и староста, забыв о своей обиде, озабоченно вздохнул:

— Так...

Лука Талабэ, который все еще не мог прийти в себя от изумления, невольно встал и процедил сквозь зубы:

— Ну уж нет, мы не позволим так над нами измываться!

Другие, кто помягче, кто твердо, его поддержали.

— Нет, не позволим!..

4

Столица весело смеялась в убранстве трехцветных флагов, развевавшихся на зданиях государственных учреждений. Калю Викторией посыпали тончайшим серым песком. Толпа залила тротуары. Желтое солнце равнодушно выглядывало из-за туч. Королевский кортеж медленно двигался к Кафедральному собору. Эскадроны почетного эскорта цокали копытами по булыжной мостовой. Во главе процессии ехал, стоя в пролетке, префект полиции в сдвинутом на затылок цилиндре; весь в сверкающих позументах и галунах, он, будто избалованный капельмейстер, горделиво размахивал руками и изредка оглядывался на шествие.

Палата депутатов глухо жужжала, как пчелиный улей перед роением. Трибуны для публики, заполненные нарядными дамами, казались клумбами пестрых цветов. Бриллианты сверкали, как утренние капли росы на бархатистых лепестках. Даже дипломатические ложи были расцвечены яркими мундирами военных атташе, рядом с которыми угрюмо чернели фраки иностранных послов.

В зале блестели белоснежные манишки, лысины, ордена. Сотни избранников народа пожимали друг другу руки. Перед председательской ложей бурлил настоящий водоворот фраков. Представители нации то и дело поднимали глаза к трибуне гостей, выискивая своих друзей или же посылая воздушные поцелуи сияющей в цветнике даме.

— Вот и Гогу! — взволнованно шепнула Еуджения улыбающейся Надине.

Гогу Ионеску весело подавал им снизу какие-то никому не понятные знаки, на которые Надина, предполагая, что он спрашивает, довольна ли она местами, отвечала, беззвучно шевеля губами:

— Очень хорошо. Мерси! Прекрасно! Ты оказался на высоте!

Гогу исчез среди фраков, но через несколько секунд снова вынырнул под руку с Раулем Брумару, который усердно кланялся и что-то говорил, но что именно, разобрать было невозможно.

— А этот как попал в зал заседаний? — спросил Григоре, наклонившись из-за спины Еуджении.

— Что ж тут такого? — удивленно переспросила Надина.— Он ничего не пропускает. А кроме того, у него столько связей, что перед ним открыты все двери.

Вдруг в зале все засуетились. Новые и новые фрачные пары протискивались через боковые двери. С правой стороны торжест-

венно вплывали архиереи, сияя своими расшитыми одеяниями, с левой — генералы в парадных, затканных сверкающим шитьем мундирах. На возвышении выстраивались в ряд важные господа. Около одной из дверей кто-то испуганно крикнул:

— Его величество король!

На мгновение воцарилась напряженная тишина, которая тут же взорвалась шквалом рукоплесканий; они прекратились только тогда, когда король взял из рук главы правительства лист бумаги, вынул очки, не торопясь вздел их на нос и начал читать:

— Господа сенаторы! Господа депутаты!

Почти после каждой фразы раздавались аплодисменты, то тише, то снова громче, вынуждая короля останавливаться и поглядывать поверх очков на мозаику лиц, обращенных к нему тысячью взглядов, сливавшихся, точно тысячи лучей, в фокусе волшебной линзы.

—...моя постоянная забота о процветании трудолюбивого крестьянства, мощной и здоровой основы государства, от которой зависит будущее нации.

К гулу рукоплесканий присоединился теперь и пересохший от волнения голос Григоре:

— Браво! Браво!

Надина чуть повернула голову и с укоризной посмотрела на мужа.

Чтение королевского послания окончилось, овация проводила короля до выхода, и все потянулись из зала.

— Очень милый спектакль! — прощебетала Надина.— Правда? А король какой душка!

На улице — элегантные экипажи, шумные автомобили, улыбки, рукопожатия. Военный оркестр почетного караула грянул бравурный марш...

Собака отчаянно лаяла. Дождь лил как из ведра.

— Да выдь ты за дверь, человече, погляди, как бы сука не тяпнула кого, а то бед потом не оберешься!

Игнат Черчел, ворча, поднялся с лавки. Как только он открыл дверь в сени, поросенок, который скребся там, пытаясь войти, метнулся ему в ноги и ворвался в комнату.

— А, черт с ним! — пробормотал Игнат, подошел к входной двери и крикнул: — Да цыц ты, шавка, будь ты проклята со всем своим отродьем!

По двору, шлепая по грязи и защищаясь раскрытым зонтиком от бешеных наскоков собаки, к дому шел сборщик налогов Бырзотеску, а за ним месил грязь один из деревенских стражников.

— Что ж ты, Игнат, поджидаешь, чтобы я сам к тебе пожаловал, да еще в такую непогоду гоняешь? Не жалеешь ты моих трудов, а?

Ошеломленный хозяин сперва ничего не ответил, а лишь снова прикрикнул на собаку:

— Цыц, шавка! Не понимаешь, видать, по-хорошему! — И тут же, смягчив голос, он обратился к Бырзотеску: — Да чего уж нам, горемычным, ждать! Только держит нас нищета в своих когтях, дохнуть не дает... А иначе бы я беспременно пришел, как не прийти... Ведь я-то хорошо знаю, где примэрия, да и ноги, слава богу, еще ходят.

Бырзотеску добрался наконец до двери, закрыл зонтик и, тщательно стряхивая с него воду, заметил:

— Как платить подати — нищета вас заела, а так в корчме днюете и ночуете! Я-то вас, мужиков, хорошо знаю, Игнат! Меня вокруг пальца не обведете! На вас я здесь трачу свою жизнь и здоровье!

— Какая там корчма? — запротестовал Игнат.— Я и не упомню, когда хоть каплю цуйки в рот брал, да кто теперь и помышляет о выпивке, коли...

— Ну ладно, хватит лясы точить! Я к тебе не для болтовни пришел! — перебил его Бырзотеску и вошел в дом.

Жена Игната застыла у печи, прижимая к себе четверых детей, словно наседка, смертельно напуганная коршуном. Поросенок, довольно похрюкивая, удивленно задрал пятачок... Сборщик налогов остановился посреди комнаты, внимательно осматривая все вокруг. Худой и долговязый, он касался головой потолочины. Оглядевшись, он взял у стражника реестр, что-то там записал и вырвал страницу.

— Так вот, Игнат,— заявил он строго,— я сейчас опишу твоего поросенка, потому что ничего более ценного, вижу, у тебя нет. Понятно? Пока я его не забираю, так и быть, не говори, что я злой человек. Но не надейся, что буду ждать тебя больше недели, меня начальники тоже не ждут. И приходить сюда больше не буду, незачем мне портить обувку в лужах и грязи, вы-то мне другую не купите, даже если мне босиком шлепать придется... Значит, так, Игнат, приходи поскорей с деньгами, а не то распрощаешься с поросенком.

— Ой, беда какая,— горестно запричитала женщина,— не отбирайте у нас свинки, барин, не оставляйте детишек голодными!.. Больше ничего у нас нет, последний кусок от себя отрываем, чтобы поросенка выкормить, а другую скотину где нам держать, ни кормов нету, ни кукурузы...

Не обратив на женщину ни малейшего внимания, будто ее и не было, Бырзотеску повернулся и вышел, низко согнувшись, чтобы не удариться головой о притолоку. Игнат удрученно проводил его, как положено, до самой калитки, машинально повторяя просящим, плаксивым голосом:

— Так как же нам быть, господин сборщик, как же нам быть?

Аристиде Платамону послал служанку за Гергиной, дочерью приказчика. Она-то сумеет хорошо, по складке выгладить его брюки, в отличие от других дур, которые не умеют даже утюг накалить как следует.

Аристиде сидел дома один. У отца была какая-то тяжба в трибунале в Костешти, и он выставил свидетелем Кирилэ Пэуна. Они еще с утра уехали на бричке, захватив с собой госпожу Платамону и жену Кирилэ. Отец предложил и Аристиде проехаться с ними, но тот отказался. Он лучше воспользуется одиночеством и серьезно позанимается. Сестра его уже неделю как уехала поразвлечься к друзьям в Питешти.

Гергина робко вошла вслед за служанкой в комнату молодого хозяина.

— Вот какое дело, девочка, ты у нас умная и проворная, сможешь оказать мне услугу...— встретил ее Аристиде, объясняя, зачем позвал. Утюг уже разогрелся, а на столе лежали брюки и мокрая тряпка. Неумеху служанку он прогнал с глаз долой.

— Я попробую, барчук,— прошептала Гергина, напуганная головомойкой, которую Аристиде устроил чуть раньше служанке.— Только не знаю, справлюсь ли...

Она тут же принялась за утюжку. Аристиде стоял рядом, не сводя с нее глаз. Ее гибкая фигура склонилась над утюгом. Красный платок, завязанный на затылке, тесно облегал голову, оставляя открытой пухлую шею. Под тонкой, расстегнутой блузкой вырисовывалась округлая грудь, с нежными, как бутоны, сосками. Аристиде, не сводя с нее взгляда, наклонился и прикоснулся губами к шее девушки. Гергина вздрогнула и вскинула на него смертельно испуганные глаза.

— Как ты думаешь, почему я тебя позвал, Гергина? — прошептал Аристиде, забирая у нее из рук утюг и ставя его на подставку.— Ради этого? — продолжал он, пренебрежительно указывая на утюг.— Такую красавицу?

Гергина отступила к двери, глядя на него все с таким же страхом. Аристиде схватил ее за руку.

— Ты боишься меня?.. Скажи правду?.. Как же так?.. Ведь я ради тебя не остался в Бухаресте, только ради тебя...

Девушка снова попыталась добраться до двери, но Аристиде быстро повернул ключ в замке и обнял ее за талию, продолжая шептать тем же горячим, жадным голосом:

— Почему ты не хочешь улыбнуться, Гергина?.. Почему ты так на меня смотришь? Я не хочу, не хочу, чтобы ты так смотрела! — бормотал он, покрывая поцелуями ее губы, глаза, щеки.

— За что ты издеваешься надо мной, барчук? — пролепетала Гергина и, почувствовав, что он тащит ее в угол, к дивану, жалобно заплакала.— Не хочу!.. Не хочу!.. Я стану кричать!.. Не хочу!

— Не будь дурой, Гергина!.. Не глупи, не...— задыхаясь, бормотал Аристиде, алчно кусая ее губы.

Занавес опустился под гул рукоплесканий. Свет внезапно хлынул в зрительный зал, раскаленный от жары и запаха множества человеческих тел. Несколько минут зрители все еще вызывали актеров, потом успокоились и взялись за бинокли. Надина восседала в своей ложе, как идол, благосклонно принимающий поклонение верующих. Она равнодушно скользнула взглядом по партеру, изредка обмениваясь приветствиями то с одной, то с другой ложей. После первого беглого осмотра она негромко сказала Григоре:

— Видел? Даже семья Пределяну явилась в полном составе. И как этот скряга согласился на такие расходы?

— А мы даже не наведались к ним,— с сожалением заметил Григоре.— Я не знал, что они вернулись из поместья.

Артисты снова вышли на сцену, чтобы раскланяться. Ложи застонали от восторга.

— Изумительно... Какой великий актер!.. Восхитительно играет!.. Я видела эту пьесу и в Париже! Да, да, тоже с его участием!..

Григоре воспользовался суматохой антракта и прошел в ложу Пределяну. После первых же слов Текла удивленно заметила:

— А вы очень изменились! Совсем другим человеком стали!

— Разве заметно? — улыбнулся Григоре.— Мне немного стыдно, но я... влюблен по уши!

Ольга посмотрела на него, шаловливо улыбаясь. Текла взглянула на ложу Надины, где сейчас толпилось множество поклонников, и задумчиво пробормотала:

— И впрямь, она словно стала еще красивее, еще прелестней...

Григоре признательно поцеловал ей руку.

Когда погас свет и вновь взвился занавес, Надина шепотом спросила:

— Куда мы пойдем после спектакля, Григ?

Позднее, в минуту высшего накала драмы, разыгравшейся на сцене, она кокетливо продолжала:

— Рауль разыскал новый ночной ресторан, абсолютно парижский, мало кто о нем знает; там бывает лучшее общество. Я его отправила зарезервировать нам столик, а к концу спектакля он заедет сюда и проводит нас. Я хорошо сделала? Поедут и Гогу с женой.

— Все, что ты делаешь, хорошо! — шепнул Григоре, украдкой погладив ее обнаженную руку, лежавшую на спинке кресла.

Маленький ночной ресторан на уединенной улочке. Внешне все выглядит весьма скромно, но внутри ослепительный свет, изысканная роскошь, теплый уют, французы-кельнеры и несколько сенсационных эстрадных номеров. Владелец ресторана, отпрыск родовитой боярской семьи, растранжирил в Париже огромное состояние и на жалкие его остатки недавно открыл этот ресторан, чтобы найти себе какое-то занятие. Посетителей он встречает лично, торжественно и церемонно, как владетельный вельможа, принимающий своих гостей, приглашенных на светский раут для избранных. Рауль Брумару, конечно, приятель хозяина и остроумно представляет всех друг другу. Надина восхищенно улыбается и непрерывно повторяет:

— Ah, oui, c'est vraiment très chic, très parisien! [1]

Маленький зал заполнен мужчинами во фраках и декольтированными дамами. Кельнеры скользят, как тени, удерживая в равновесии нагруженные серебряные подносы. На квадратной сцене темпераментная испанская танцовщица, под аккомпанемент специального оркестра испанских же гитаристов, танцует, подчеркивая каждое движение резким вибрирующим треском кастаньет. Когда она убегает со сцены, оркестр исполняет еще несколько севильских и мадридских мелодий, затем тоже исчезает, уступая место пианисту, сонно и небрежно играющему какие-то прелюдии и, по существу, готовящему выход французскому шансонье, смазливому, элегантному и заметно избалованному. Компетентная публика встречает шансонье неистовой овацией. Певец галантно раскланивается во все стороны, свет гаснет, и остается лишь несколько синих лампочек — цвет романса грез. Затем следуют другие песенки, каждая со своим освещением. Кельнер подает певцу гитару, оставленную одним из испанцев на крышке рояля, зажигает розовый свет, баловень публики подходит к Надине и трепетно поет ей куплеты безответной любви.

Воздух насыщен дымом, испарениями густых вин. Глаза блестят. На утомленных лицах дрожат блики яркого света. Языки заплетаются...

---

[1] Ах, здесь действительно очень изысканно, настоящий Париж! *(франц.)*

В экипаже укутанная в меха Надина довольно говорит:

— Как хорошо, что Бухарест становится цивилизованным городом, а то здесь все сводилось к жареным колбаскам, цыганам-музыкантам и грубому хамству. Не так ли, Григ, милый?

— Конечно, так.

— А шансонье очень забавный! — добавляет она после небольшой паузы.— Ты заметил, что он пел только для меня?

Григоре чувствует лишь одно — Надина рядом с ним, счастливая, теплая. Он отвечает страстным, покорным голосом:

— Ты самая красивая!

— Это ты, Петрикэ?

— Я, я! Открывай, мать, быстрее!

Петре вошел. В доме темно. Лишь огонь в печи отбрасывает багровый круг света.

— А ты, видать, еще не спишь? — удивился Петре.

— Когда же мне спать? Пока ребят накормила, пока они улеглись, вот и время прошло,— ответила мать, хлопоча у печи.— Только и ты, родной мой, больно уж припозднился, а мне, одному богу ведомо, до чего трудно приходится. Не знаю, как последние куски поделить, чтоб и тебя не обидеть, и малых накормить.

Петре, вздыхая, уселся на лавку:

— Так ведь я, мать, тоже не на гулянье был, не на пирушке.

Смаранда поставила перед сыном тарелку с едой. Некоторое время в комнате слышалось лишь торопливое прихлебывание и чавканье. На другой лавке, на лежанке и на печи тяжело сопели сквозь сон дети. Немного утолив голод, но все еще продолжая есть, Петре рассказал матери, что и сегодня ему не удалось довести до конца свои дела со старым барином. Приказчик мутит воду, юлит, говорит, что барин, коли обещает, то обязательно сдержит слово, что заплатить за быка он велел еще той зимой, но о том, чтобы простить долг, ничего не говорил.

— Вот так он и меня за нос водил, месяц за месяцем, а уж скоро год сравняется, как помер твой бедный отец,— со слезами пробормотала Смаранда.

— Ну, я этого так не оставлю, можешь не сомневаться! — твердо сказал Петре.— Это наше право, и я не уступлю. Мы ведь не милостыню просим — отец-то на них работал, пока бог его не прибрал...

Он вычерпал последние ложки похлебки и надолго замолчал, не сводя глаз с красных языков пламени, лениво гудевшего в печи. Затем добавил помягче:

— Терпишь, терпишь и вздыхаешь, пока не станет невмоготу, а уж тогда...

Вновь помолчал и чуть спустя задумчиво добавил:

— Вот мужики наши тоже умом раскидывают и все советуются, как им быть, что делать. Потому-то я и задержался...

Петре осекся, словно что-то вспомнив, и спросил:

— А почему, мать, лампу не зажигаешь? Неужто весь керосин вышел?

— Да нет, чуток еще есть, только я подумала, что хватит с нас и света от печи...

Петре покачал головой, соглашаясь:

— Твоя правда, печь тоже светит, коли нет другого огня!

Пламя затрещало, дрова разгорались. Лицо Петре озарилось красным светом. Его тень заплясала по стене, и стена будто закачалась.

5

Титу Херделя подробно написал домой, как он жил в ожидании места и как он теперь, можно сказать, с божьей помощью, прекрасно устроился. В письме он не только хвалил самого себя, но и всячески расхваливал «Драпелул», расписывая ее как газету весьма значительную и влиятельную. Зная, что отец большой любитель прессы, он отправил ему увесистую пачку разных изданий, не преминув обвести красным карандашом в «Драпелуле» все материалы, написанные им лично, и, в частности, две передовые статьи, где он отважно воевал с самим графом Аппоньи. Титу не забыл, конечно, вовсю расхвалить Григоре Югу (жена которого — истинное чудо красоты и элегантности, так что все барышни Амарадии и окрестностей тут же умерли бы от восхищения и зависти, если б ее увидели), а также рассказал, как он провел время в их загородном замке, похожем на замок графов в Бекляне, и как возвратился в Бухарест в автомобиле, покрыв расстояние, приблизительно равное расстоянию между Бистрицей и Клужем. Он передал отцу дружеский привет от Гаврилаша, который относится к Титу, как к родному сыну, и просил кланяться всем знакомым, в том числе и священнику Белчугу,— ведь в конечном счете тот отнесся к нему очень хорошо, так что мелкие недоразумения прошлого пора забыть. Далее Титу писал, что ждет приезда священника в Румынию, как тот обещал еще в те дни, когда хлопотал о строительстве новой церкви в Принасе. Белчуг — человек вдовый и состоятельный, может смело приехать и не пожалеет о расходах, так как Бухарест даже красивее Будапешта, не говоря уж о том, что здесь сердце румынской нации. Заодно Титу торжественно поздравил Гиги с помолвкой и пожелал ей всяких благ, а Зэгряну написал, что он прекрасный малый. Ему очень жаль, что он

не сможет приехать на свадьбу, но теперь у него уйма срочных дел, а к тому же и с деньгами у него пока не густо.

Титу, конечно, ничего не упомянул о своих любовных похождениях, хотя прекрасно знал, что Гиги они бы чрезвычайно заинтересовали. Ему не хотелось, чтобы в Амарадии узнали, что он и в Бухаресте ведет себя легкомысленно, но за последние недели, с тех пор как отпали заботы о хлебе насущном, именно эти похождения занимали его больше всего.

Мими сдержала слово и пришла в свою девичью комнатку как-то после обеда, когда знала, что матери не будет дома. Она разделась сама и сразу же нырнула в старую кроватку. С тех пор она каждый раз, приходя к нему, тут же раздевалась, сбрасывая с себя даже сорочку, и оставалась в чем мать родила. Налюбовавшись своей наготой в большом зеркале с рамой орехового дерева, стоявшем здесь тоже со времен ее девичьей жизни, Мими быстренько пряталась в кроватке, в которой когда-то предавалась мечтам.

Первое время Титу встречал ее, волнуясь и гордясь тем, что покорил столь восхитительную женщину. Вскоре, однако, он понял, что не является единственным гордым счастливцем, что ему перепадают лишь объедки и все это любовное приключение объясняется лишь случайным капризом Мими, захотевшей вкусить любви поэта. Впрочем, Мими не постеснялась ясно ему заявить, что он не вправе предъявлять ей никаких претензий и надоедать своей ревностью, потому что ей достаточно осточертели упреки мужа. Титу, разумеется, примирился с создавшимся положением, подумав, что в конце концов она даст ему, что может, и незачем ему отказываться от красивой, вдобавок не требующей расходов женщины.

Но потом появились и неизбежные, правда пока еще незначительные, осложнения. Его ученица Мариоара, по-видимому, о чем-то догадавшись, стала его укорять, заявляя, что если он не любит ее по-настоящему, то должен честно в этом признаться, а не издеваться над ней, точно над уличной девкой, изменяя ей с кем попало. В заключение она прямо пригрозила пожаловаться на него госпоже Гаврилаш. Чтобы успокоить девушку, Титу пришлось целый вечер ее убеждать и клясться, что он любит лишь ее одну.

А в один прекрасный день за него взялась госпожа Александреску и принялась ему выговаривать так жалобно, будто ее покинул Женикэ:

— Господин Херделя, я вас от души прошу, умоляю, будьте благоразумны, не губите бедную Мими! Девочка, наверно, любит вас, я сразу заметила, как вы ей симпатичны, но вы должны быть

осторожнее и оберегать ее, а то Василе узнает, и тогда не миновать беды... Я ничего не говорю и ни в чем вас не обвиняю, ведь страсть все сметает на своем пути, да и не удивительно, что бедняжке Мими надоел этот грубиян и бирюк, но...

Титу покорно выслушал сетования хозяйки и только к концу разговора попытался робко возразить, скорее стремясь показать, какой он рыцарь, чем надеясь на то, что ему поверят. Если же он действительно чувствовал себя неловко перед госпожой Александреску, то это было скорее из-за Таницы, за которой он стал в последнее время весьма энергично ухаживать. Госпожа Александреску представила его родителям девушки и вовсю расхвалила. С тех пор Титу зачастил в район вокзала, в домик господина Александру Ионеску, начальника одной из канцелярий министерства финансов. Таница стала его прекрасной и истинной любовью. Благодаря ей в нем вновь ожило поэтическое вдохновение. Каждый вечер, закончив с обязательной писаниной для «Драпелула», утопая в клубах табачного дыма, он прославлял в стихах это божественное создание. Таница отвечала ему теми же чувствами. Несмотря на свою робость, она призналась ему, что не может без него жить. Если она не видела Титу хотя бы два-три дня, то выдумывала всевозможные предлоги, чтобы навестить Ленуцу, наперсницу своей любви, и та, конечно, сейчас же приглашала Титу.

Все эти увлечения не мешали ему справляться с работой в редакции, напротив, даже помогали. Каждое утро Титу добросовестно являлся в «Драпелул» с очередной рукописью. Там он неизменно заставал одного Рошу, который вечно торчал за своим письменным столом, словно никогда и не уходил. К обеду появлялись репортеры и другие сотрудники, вечно куда-то спешащие, суетливые, недовольные. Все они шумно разглагольствовали, спорили, но писать и не думали, так что Херделя был, по существу, единственным помощником Рошу, который частенько ему говорил:

— Ты, малыш, выдвинешься, так и знай! Ты мне поверь, дружок, я не болтаю чепухи, как эти барчуки, которые забегают сюда на секунду, бахвалятся, лгут напропалую и даже строчки не способны написать как следует! Ты, малыш, далеко пойдешь, потому что тебе нравится работа и ты от нее не отлыниваешь. Это уж точно!.. У тебя есть все необходимое для хорошего журналиста — талант и трудолюбие. Правда, может случиться, что ты плюнешь на это ремесло. Ты человек порядочный, а для журналистики это только помеха. Но все равно, ты своего добьешься, за что бы ты ни взялся!

Титу, в свою очередь, считал себя обязанным докладывать Рошу всякий раз, когда обедал у Гогу Ионеску, бывал в гостях у Григоре Юги или когда происходило еще что-нибудь подобное,

представляющее, как ему казалось, интерес не только для него лично. Но секретарь редакции не одобрял этих визитов Титу, расценивая их как проявление карьеризма, и безапелляционно заявлял, что настоящий журналист должен вращаться только в своем кругу и не лезть к знатным господам, чтобы не усыпить свою совесть. Журналист всегда должен быть готов протестовать и обличать; это тем более необходимо в такой стране, как Румыния, где беззаконие — единственный, постоянно действующий закон.

— Ты только хорошенько открой глаза, малыш, и посмотри вокруг. Ты прокатился по деревням в автомобиле и гостил в барских особняках, но не приложил ухо к земле, чтобы уловить голоса, которые не пробиваются наружу. Из автомобиля ничего не видно и не слышно. И на тротуарах Бухареста тоже ничего не увидишь и не услышишь. Вся наша видимая роскошь и цивилизация фальшивы и искусственны. Действительность, молодой человек, совсем иная. Мы вывозим за границу десятки тысяч вагонов зерна, а несколько миллионов наших крестьян не имеют достаточно кукурузы, чтобы каждый день варить себе мамалыгу! Понимаешь, что это значит? Ослепительное освещение Бухареста не больше чем самообман. Мы не смотрим по ту сторону этого освещения, так как знаем, что там бездонная пропасть и достаточно только увидеть ее, чтобы содрогнуться. Наша действительность — это не роскошь и блеск, не автомобили, не помещичьи усадьбы! Нет, малыш! Все это — лишь тонкая оболочка, которая прикрывает вулкан боли и страдания. Эта оболочка завтра-послезавтра прорвется, и тогда...

Но Титу уже привык к пророчествам о неминуемой катастрофе. Как только речь заходила о положении в стране и о страданиях крестьян, каждый считал своим долгом не только прослезиться, но и предсказать самые грозные и неминуемые беды. Наверно, так всегда было и будет. Горожане, знающие деревенскую жизнь лишь по увеселительным поездкам на лоно природы, полны сочувствия к вечно недовольным и готовым взбунтоваться крестьянам именно потому, что твердо уверены: румынские крестьяне не способны восстать по-настоящему.

6

— Ты бы не хотел, Григ, чтобы мы провели рождество у себя в деревне? — весело спросила Надина незадолго до праздников.

Григоре ответил лишь признательным взглядом. Предложение жены он истолковал как проявление деликатного внимания к себе. Ничего не могло бы порадовать его больше, чем это доказательство

душевной близости. Таким образом, их любовь скрепляется полным взаимопониманием. Физическая страсть становится наконец прочной, ибо ее питает неиссякаемый источник духовной близости. Если бы он с самого начала относился к Надине так, как сейчас, они бы не причинили друг другу столько горя! Настоящую цену счастья познаешь лишь после того, как тебя очищает несчастье.

О подробностях они столковались легко. Григоре довольствовался тем, что запоминал малейшие желания Надины, чтобы все их затем выполнить. Первый пункт предусматривал, что рождество они проведут в Амаре, но Новый год встретят обязательно в Бухаресте. Принято. Во-вторых — рождество надо отметить весело и шумно, пригласить побольше гостей и лучших музыкантов. Конечно, и это принято. На рождество надо созвать всех соседей по поместью, разумеется, тех, кто поприличнее. Об этом позаботится Мирон Юга, которого решение детей, несомненно, обрадует. Григоре специально напишет отцу и попросит его пригласить из Питешти уездного префекта, так что на их веселом празднестве будет представлено даже правительство. Надина улыбнулась, мысль о присутствии префекта показалась ей забавной... Затем Григоре спросил:

— А из Бухареста захватим кого-нибудь или лучше не стоит?

— А как же? — удивилась Надина.— Если у нас там будут только помещики и арендаторы, включая даже префекта, мы от скуки на стену полезем. Правда, приедут Гогу и Еуджения, у которых гостит семья ее брата. Он, кажется, преподаватель или что-то в этом роде в Джурджу. Само собой разумеется, они приедут вместе со своими гостями. Затем надо прихватить с собой нескольких остроумных молодых людей, чтобы было с кем поболтать. Хотя бы двоих-троих.

Когда Надина произнесла имя Рауля Брумару, она заметила или ей это почудилось, что по лицу Григоре пробежала едва уловимая тень. Она тут же поспешно добавила:

— Если тебе не хочется, Григ, не надо! Я просто подумала о Рауле, потому что он всегда веселый и...

— Нет, нет! Почему же? Пожалуйста... пусть будет и бедняга Рауль! — согласился Григоре с пренебрежительным сочувствием.

— А может быть, пригласим и того молодого человека, я забыла, как его зовут, из Трансильвании? — продолжала Надина.— Он нам споет трансильванские колядки...

Рождество приходилось на четверг. Надина решила, что они выедут в Амару во вторник после обеда, чтобы как следует выспаться и отдохнуть к рождественскому вечеру. На Северном вокзале столицы их поджидал один только Рауль. Остальные светские

кавалеры в последнюю минуту уклонились, принеся извинения. Лишь за станцией Китила появился веселый и сияющий Титу Херделя. Он тут же сочинил, будто примчался к самому отходу поезда и устроился в другом купе. В действительности же он пришел на вокзал за целых полчаса до отправления и занял удобное место в вагоне третьего класса, так как билет надо было оплачивать из собственного кармана, а ему не хотелось транжирить деньги.

Его объяснения и извинения внимательно выслушал один лишь Григоре. Надина была полностью поглощена какой-то пикантной историей из журнала «Vie parisienne» [1], которую пересказывал ей Рауль Брумару, так что она лишь улыбнулась Титу и, протянув левую руку, равнодушно осведомилась:

— Как поживаете, mon cher? [2]

Титу потолковал немного с Григоре о политике, узнал, что Гогу Попеску уже три дня как в Леспези, и обрадовался предстоящей там встрече с Александру Пинтя, с которым он познакомился еще в Сынджеорзе. Затем он под благовидным предлогом ушел в свой вагон, опасаясь, как бы контролер не наткнулся на него и не поднял на смех за то, что он расположился в первом классе, хотя у него билет третьего.

Снег, выпавший в Бухаресте, показался им сущим пустяком по сравнению с сугробами в Амаре. В Костешти их ждали сани. Надина радостно встрепенулась. Как только они приехали в усадьбу, она распорядилась, чтобы назавтра заложили сани для прогулки по окрестностям.

На второй день Григоре встал пораньше, чтобы все подготовить для задуманной Надиной прогулки. Однако его ожидал неприятный сюрприз. Накануне вечером старый, надежный кучер Иким, как всегда, выпряг кобыл из барских саней, напоил их и отвел в конюшню, чтобы привязать к яслям. Но пугливая гнедая вдруг поднялась на дыбы, заколотила копытами и так зашибла бедного старика, что его вынесли из конюшни на попоне. Ясно, что сегодня он не сможет править санями, а другие конюхи не смеют даже близко подойти к норовистым кобылам. Григоре эта история очень раздосадовала. Он, конечно, жалел Икима, но главным образом расстроился из-за Надины, так как знал, что она обожает быструю езду и будет очень недовольна, если ей придется довольствоваться обычными упряжными лошадьми. К счастью, приказчик Бумбу подсказал, что можно позвать Петре, сына Смаранды. Тот служил капралом в артиллерии, а там, уж конечно,

---

[1] «Парижская жизнь» *(франц.)*.

[2] Дорогой *(франц.)*.

обуздывал всяких коней, так что шутя справится и с господскими лошадьми. Петре тут же вызвали.

Выехали они, однако, лишь к полудню. Надина уселась рядом с Титу, а Рауля посадила во вторые сани вместе с Григоре, который в мыслях благодарно поцеловал ее за это. Сани Надины помчались по кружному пути, указанному Григоре,— Руджиноаса, Бабароага, Глигану, Леспезь, а оттуда — домой. Укутанные в огромные, похожие на средневековые пелерины, бурки, укрытые плотными меховыми полостями, они не опасались мороза, державшегося уже целую неделю. Как только выехали из Амары, белое поле раскинулось перед ними, будто бесконечная горностаевая мантия, сверкающая в лучах холодного солнца. Шоссе прорезало равнину блестящей, прямой чертой, по которой стремительно скользили сани. Петре стоял, чуть наклонившись вперед, и лишь изредка подгонял лошадей, резко щелкая языком. В серой сермяге и черной овечьей шапке, сбитой на ухо, он казался еще выше и сильнее, чем обычно.

Надина была в восторге и болтала без умолку. То она заговаривала с Титу, то невнятно что-то выкрикивала, то принималась напевать веселую песенку, то подгоняла кучера:

— Давай, давай, парень, не бойся!

— А я, барыня, не боюсь, будьте уверены! — не поворачивая головы, отвечал Петре с чуть насмешливой ухмылкой.

Сумасшедшая гонка длилась уж около часа. Они пролетели Руджиноасу, Бырлогу, Бабароагу и Глигану. Мчась к Леспези, издали увидели на шоссе огромную стаю в несколько сот ворон, черневших, будто клякса на колоссальном листе белой бумаги. Голодные и нахальные птицы взмыли вверх, шумно хлопая крыльями и оглушительно каркая, лишь когда сани едва не наехали на них. Передняя лошадь в страхе метнулась вправо, словно спасаясь от смертельной опасности. В ту же секунду Петре вытянул ее кнутом по брюху. Удар еще больше напугал кобылу, и она ринулась в бешеном галопе прямо вперед по гладкому шоссе, заразив своим страхом и пристяжную.

— Что ты делаешь?.. Что делаешь? — в ужасе закричала Надина, вцепившись в Титу.— Они нас убьют!.. На помощь! Спасите!..

Лошади, дико храпя и прядая ушами, бешено мчались вперед, колотя копытами по выпуклому передку саней. Но тут же раздался уверенный голос Петре:

— Не пугайтесь, барыня, ничего не бойтесь, коли вы со мной!

Суровый и непривычный для Надины голос парня сразу же рассеял ее страхи. Сейчас она расслышала и слова Титу, который тоже не потерял присутствия духа:

— Ничего не случилось, сударыня, успокойтесь, все в порядке!

Надина попыталась улыбнуться, словно устыдясь своего испуга. Петре, слегка откинувшись назад, стоял как каменный, натягивая поводья, и спокойно, но повелительно повторял:

— Тише!.. Тише!..

Надина смотрела на него, и ей казалось, что она воочию видит, как, точно стальные рычаги, напрягаются у него мышцы рук, как растут его силы по мере того, как он тверже упирается ногами в сани. Теперь она совсем успокоилась, а пока доехали до Амары, даже развеселилась. Выходя из саней, она щебетала, смеясь над приключением:

— Я испугалась, как глупенькая... Хорошо, что у нас оказался такой прекрасный кучер!

Петре повернул к ней раскрасневшееся от укусов мороза лицо с покрытыми изморозью усиками и маленькими, сверлящими глазами, в которых теперь плясали веселые искорки.

— Так кобылы-то норовистые, барыня. Ведь эти барские кобылы ничего не делают, только отдыхают, наедаются до отвалу и не работают. Как им не озоровать? — пояснил он и победоносно сплюнул в сторону выбившихся из сил лошадей.

— Браво, Петре, браво! — воскликнул Титу, которому наконец удалось освободиться от шуб и полостей. Он тоже спрыгнул с саней и покровительственно похлопал парня по плечу.

За столом Надина рассказала о происшествии, приукрасив его новыми подробностями, которые Титу галантно подтвердил. Красочные детали все умножались и умножались, случившееся превратилось в настоящее приключение, а Надина — в героиню, которая не ленилась повторять свой рассказ всем приглашенным, начавшим съезжаться к вечеру. Волнение слушателей льстило ее самолюбию, она смеялась и отважно заявляла, что обожает сильные ощущения и только рада тому, что взглянула смерти в глаза.

— Ты меня чуть не потерял, Григ, милый... Тебе было бы жалко?..— нежно спросила она мужа.

— Я считаю, что ты должна быть благоразумнее в своих развлечениях, как бы они тебя ни прельщали! — ответил он, погладив ее по голове, как неразумного ребенка.

— Благоразумное развлечение — уже не развлечение,— кокетливо возразила Надина.

Мирон Юга принимал гостей с подкупающим радушием. Из соседей он не пригласил Платамону, хотя Григоре считал, что это следовало бы сделать, так как тот арендует поместья Надины и Гогу Ионеску. Старик не пригласил и Козму Буруяна, которому не мог простить лживую историю с кражей зерна, несмотря на то

что арендатор, пытаясь его задобрить, выдал по мешку кукурузы крестьянам, избитым ни за что ни про что во время следствия.

К семи вечера последними пожаловали прямо из Питешти префект Андрей Боереску и генерал Дадарлат, оба с женами. Отсюда они намеревались поехать на праздники в свои поместья, один в Рочу, а второй в Хумеле. Префект был маленький, розовощекий старичок, приблизительно одного возраста с Мироном Югой, жизнерадостный и бодрый. Когда-то он изучал медицину, и на стене его дома в Питешти до сих пор висела табличка с указанием специальности владельца, но врачебной практикой он никогда не занимался, так как испытывал физическое отвращение ко всякой боли и страданию. Его жена во всем на него походила, как родная сестра,— и внешностью и характером. А генерал Дадарлат, хотя сердце у него было мягкое, как сливочное масло, выглядел страшным разбойником, в особенности из-за огромных черных, нафабренных усов, лихо закрученных вверх и плохо гармонировавших с седой редеющей шевелюрой. Генеральша — крупная и высокая женщина под стать мужу, была значительно моложе его и еще довольно кокетлива.

В большом холле стало тесновато. Префект, помня свое высокое положение, сперва сохранял важный вид, но быстро от него отказался, чтобы поесть в свое удовольствие. Узнав, что Титу столичный журналист, сотрудник правительственной газеты, он отвел его в угол, подробно расспросил о политическом положении и заодно постарался убедить в том, что у них в уезде дела идут превосходно, а сам он, префект, не только популярен, но и окружен любовью народа.

В центре всеобщего внимания все еще находилось утреннее происшествие Надины, тем более что о подобных приключениях все присутствующие могли рассуждать со знанием дела. Даже Ионицэ Ротомпан, человек нелюдимый и угрюмый, одиноко проживавший в своем поместье Гоя с тех пор, как выдал дочь замуж, задал Надине несколько вопросов и покровительственно покачал головой. Полковник в отставке Штефэнеску, арендатор поместья Влэдуца, привез с собой трех хорошеньких дочерей, в надежде на то, что Надина, с ее связями в высшем свете, прибыла из Бухареста в сопровождении нескольких серьезных молодых людей. Надина любезно встретила девушек, обласкала их и велела Раулю за ними ухаживать. Ее приказ он выполнял добросовестно и лишь изредка осмеливался тайком бросать на Надину исполненный отчаяния взгляд. Капитан Лаке Грэдинару, считавший себя неотразимым, так как, вооруженный лишь своей шпажонкой, он сумел завоевать поместье Кантакузу, занимавшее более трех тысяч погонов земли, в придачу к довольно некрасивой и глуповатой жене,

рьяно звякал шпорами, увиваясь вокруг Надины, и подчеркивал свои старания выразительными вздохами и возведением очей горе. Чтобы отделаться от него, Надине пришлось на некоторое время отойти в сторонку с Титу.

— Ну и кретин же этот капитан! — фыркнула она недовольно.

Титу считал себя в какой-то степени приятелем и сообщником молодой женщины. Сейчас, когда он остался с нею наедине, она показалась ему еще прекраснее с ее глубоким декольте, обнаженными руками и странным сиянием загадочного лица. С трудом сдерживая восторг, он тихо шепнул:

— А мне сегодняшнее происшествие принесло только радость: вы так пылко обвили руками мою шею, будто...

— Что вы, а я даже и не заметила,— улыбнулась Надина.— Вы, конечно, понимаете, что это случилось неумышленно...

— К сожалению! — вздохнул Титу.

Когда гости уселись за стол, под окнами со двора раздалось пение колядки. Все слушали с удовольствием. Последовали еще две коляды. Хор девушек и парней был образован учителем Драгошем, решившим устроить сюрприз старому барину, и тому это действительно доставило удовольствие. Он приказал хорошенько всех накормить, а Драгоша поздравил и пригласил к столу.

Обильно приправленный винами ужин затянулся за полночь. Гостей развлекал цыганский оркестр знаменитого Фэникэ из Питешти, и, конечно, не обошлось без неизбежного тоста префекта, которого поддержал старый полковник в отставке Штефэнеску, посчитавший своим долгом добавить несколько галантных комплиментов Надине и остальным дамам... Затем Надина пожелала танцевать, и многие ее поддержали, но стол не стали трогать. Стеклянные двери, ведущие в холл, раздвинули до стен, музыканты перешли на середину зала, и, таким образом, оказались удовлетворены все,— и те, кто остался за столом, и танцоры, получившие возможность плясать в свое удовольствие в холле.

Надине удалось уговорить даже Мирона Югу пройтись с ней в старинном вальсе. Но главную роль в танцах играл Рауль Брумару, который в угоду Надине танцевал по очереди со всеми дамами. Отказалась одна лишь жена префекта, которая вежливо извинилась и пояснила, что она уже не в том возрасте, когда прилично танцевать. Гогу Ионеску, несмотря на то что ему было почти пятьдесят лет, составлял Раулю серьезную конкуренцию. Правда, он чаще всего танцевал с Евдженией, и только ради нее. Титу тоже старался не отставать, главным образом ради удовольствия танцевать с Надиной, которой он не преминул шепнуть, прижимая ее к себе во время вальса-бостона:

— Судьба хочет вознаградить меня за утреннее происшествие...

— Не идите по стопам капитана...— равнодушно проронила Надина.

Титу сник, словно попал под холодный душ. Ему стало стыдно за свою бестактность, и он отошел к столу, скромно усевшись рядом с учителем Драгошем. Оттуда он некоторое время следил за Надиной, которая танцевала теперь с Брумару.

— Ты хотя бы заметила, какие я приношу жертвы? — спросил Рауль, когда они очутились в уединенном уголке.

Вместо ответа Надина, не поднимая глаз, прильнула к нему всем телом.

— Я в отчаянии... Не могу больше!.. Почему ты меня так мучишь? — продолжал Рауль, прижимая ее к себе и скользя рукой по ее спине.

— Имей терпение! — прошептала Надина.— И не обнимай меня так, а то заметят...

— Ты мне твердо обещала, Нада, не так ли? — настаивал он.— Я буду тебя ждать, Нада, ты слышишь?.. Ты придешь? Придешь? Умоляю тебя, Нада, умоляю...

— Да, да... тише... замолчи!..— шепнула Надина, нервно стискивая левой рукой его плечо, так как в эту секунду около них раздался громкий голос капитана и боевое звяканье шпор:

— Сударыня, пожалейте и нас, тех, кто...

Надина оставила Брумару и скользнула в объятия капитана, щебеча:

— Капитан прав... Ты, Рауль, подожди. Награда — в конце!..

Очарованный капитан увлек Надину в победоносном, бурном вихре.

Титу увидел, что Брумару стоит один посередине холла, не сводя глаз с удаляющейся пары. Он удовлетворенно улыбнулся, подумав, что Рауль получил такой же щелчок, как он, и с восхищением пробормотал:

— Великолепная женщина.

Гости, сидевшие рядом с ним за столом, оживленно беседовали. Префект Боереску, заговорив о политике правительства, стал всячески ее расхваливать, вызвав этим резкие возражения полковника Штефэнеску, который заявил во всеуслышание, что «страну ждет неминуемая катастрофа, если и дальше будут терпеть эту анархию!». Сам он не занимается политикой, и ему совершенно безразлично, какая партия у власти, но он требует, чтобы правительство было энергичным, твердо знало бы, чего хочет, и поддерживало порядок и дисциплину, иначе все погибнет.

— Оставьте, полковник, вам всюду чудится анархия, потому что вы в оппозиции,— свысока возразил префект.— И разве два года назад вы не голосовали за них?.. А что это означает?..

— Я, господин префект, голосую так, как мне подсказывает совесть честного гражданина! — горячо воскликнул полковник.— И не вступаю ни в одну партию, ни в их, ни в вашу, именно для того, чтобы сохранить за собой свободу разумного выбора!

— Да не горячитесь, полковник, понапрасну! — примирительно продолжал Боереску.— Я не виню вас за то, что вы голосовали, как сочли нужным, но не могу допустить, чтобы нас несправедливо поносили. Вот так! — твердо закончил он и, не дав полковнику опомниться, словно повинуясь счастливому вдохновению, неожиданно обратился к молчавшему до тех пор учителю Драгошу: — Вот вы, сударь... как вас зовут, я запамятовал вашу фамилию... вы, вы, господин преподаватель!

— Драгош! — уточнил учитель.

— Да, да, Драгош... Вот скажите вы, вы ведь живете среди крестьян, да и сами из крестьянской семьи, но только говорите прямо, без малейшего опасения: здесь у вас царит мир и порядок или положение таково, каким его описывает полковник? Прошу вас, скажите!

Учитель чуть поколебался, но тут же ответил, смотря прямо в глаза префекту:

— У нас тут мир и порядок, но очень уж большая бедность.

— Да, конечно... бедность,— чуть нахмурился префект,— но бедность не в компетенции правительства. Она зависит от обстоятельств и от самих людей. А правительство обязано лишь сохранять справедливое равновесие!

— Несомненно так,— продолжал взволнованно и будто оправдываясь Драгош,— но, видите ли, дело в том, что сейчас еще только рождество, а у подавляющего большинства крестьян уже не осталось кукурузы. Просто ужасно! Подумайте, на что проживут эти несчастные до будущей осени! Они ведь попросту вынуждены будут просить милостыню. Ведь вот даже сегодня,— вспомнить страшно, что здесь у господина Юги было... Десятки баб и мужиков пришли вымаливать кукурузу, одну только кукурузу, и ради нее готовы были пойти в любую кабалу. А ведь повсюду так, если не хуже...

Полковник Штефэнеску, почувствовав поддержку, перебил Драгоша и снова обратился к префекту:

— Стало быть, дело обстоит именно так, как я утверждал, дорогой префект! Именно так! Людям не на что жить, и они ропщут, возмущаются, угрожают. Разве это не настоящая анархия, господа?.. И еще не забывайте, что нынешний год был совсем не-

плохим, все у нас уродилось. А вы только подумайте, что случится, если, не дай бог, нас постигнет засуха или другое несчастье. Уверен, что мужики без долгих разговоров набросятся на амбары помещиков или начнется что-нибудь еще похуже!

Бореску был в замешательстве, особенно его пугал Титу Херделя, который мог раззвонить в Бухаресте обо всем, что услышал в уезде, и представить его, Бореску, как никудышного префекта. Он мучительно выискивал веские возражения, но ему, как назло, ничего не приходило на ум, и это раздражало его еще больше. В разговор вмешался Мирон Юга.

— Все это плоды разнузданной демагогии, которую разводят в городах,— заметил он веско.— Там корень зла, оттуда подогревают дух недовольства среди крестьян и распространяют призывы к беспорядкам и смуте. Уж если люди, которых считают серьезными, заявляют, что крестьяне не могут жить, так как у них нет земли, как же вы хотите, чтобы крестьяне не требовали этой самой земли и добросовестно работали по найму? Вот в чем беда!

— Вы, сударь, высказали именно то, что у меня на сердце! — воскликнул полковник.— Мужика силком из корчмы не вытащишь, он все с себя пропивает, а потом жалуется, что ему не на что жить!..

— Это правда, у нас много пьяниц, но...— попытался было возразить Драгош.

Полковник не дал ему договорить и продолжал:

— Все они, сударь, упрямые и жадные! Вот потому-то и необходима железная рука, чтобы держать их в узде, а не то...

Теперь его уже насмешливо перебил префект, словно найдя наконец долгожданный ответ:

— Значит, полковник, вы хотите, чтобы правительство приводило мужиков в чувство, нянчилось с ними! Так бы и сказали! Чего ходить вокруг да около!.. Видите, господин Херделя, какие у нашего полковника претензии к правительству? Обязательно напишите об этом в «Драпелул», чтобы и высшее начальство уразумело, чего требуют от нас, его представителей на местах!

Титу Херделя понимающе улыбнулся, а префект ему подмигнул.

Госпожа Пинтя собралась уходить, и к ней тут же присоединилась жена префекта. Григоре и Мирон Юга тщетно пытались их удержать. Друг за другом поднялись и остальные гости, напуганные тем, что засиделись почти до четырех утра. Но госпожа Пинтя никак не могла решить, что ей делать с ее тремя детьми. Она уложила их сразу же после ужина, и теперь они крепко спали. Будить жаль и, кроме того, просто боязно везти их, разгоряченных, на санях по такому морозу,— как бы не заболели. Все го-

сти наперебой давали ей советы, пока Григоре не предложил, чтобы супруги Пинтя остались ночевать, а обратно в Леспезь, где они собирались погостить еще несколько дней, поехали бы завтра. В их распоряжении хорошая комната, рядом с той, где спят сейчас дети, возле спальни Надины, так что они будут чувствовать себя как дома...

Гости постепенно разъехались, Мирон Юга ушел в свою старую усадьбу, остальные поднялись на второй этаж. Они еще несколько минут поболтали в холле, затем разошлись. Супруги Пинтя, перед тем как лечь, тихонько заглянули в комнату, где спали дети. Отправились к себе Титу Херделя и Брумару, чьи комнаты были рядом, над главным входом, по другую сторону веранды, застекленной синими стеклами. Сквозь окна лил лунный свет, и Титу, остановившись на миг посреди холла, повернулся к Надине и Григоре и томно, как положено поэту, промолвил:

— Божественная ночь!

Надина открыла дверь своей спальни. В бледном свете лампады виднелась широкая белая теплая постель, над которой висел ее портрет. Григоре тихо спросил:

— Ты довольна, любимая?

— Я чудесно провела время, чудесно...— пробормотала Надина, запнулась и, будто с трудом преодолевая изнеможение, добавила: — Но теперь я до того устала, что...

Григоре не сводил с нее глаз. Решив, что она совсем выбилась из сил, он пожалел ее и мягко шепнул:

— Ты слишком много танцевала... Но это не страшно. Главное, что ты довольна... Я тебя сейчас оставлю, ненаглядная! Спокойной ночи!

Он сжал Надину в объятиях и поцеловал ее пылающие губы.

Мягко выскользнув из его рук, Надина улыбнулась:

— Как ты мил, Григ, что не настаиваешь. Спокойной ночи, дорогой!

Григоре задержался на секунду перед закрытой дверью. Снизу раздавались приглушенные голоса и шаги — слуги на скорую руку наводили порядок перед тем, как уйти спать. Он погасил свисавшую с потолка лампу. Тьму рассеивали теперь лишь голубые лунные лучи. Он хорошо знал дорогу через маленький, узкий коридор к своей спальне, окно которой выходило на старый дом.

Григоре разделся и бросился в постель. Сон не приходил. Сердце было полно какой-то неуемной радостью. Он давно уже так страстно не желал Надину. И все-таки ушел к себе один. Конечно, если бы он настаивал... Но так лучше! Иначе какая разница между его любовью и любовью неотесанного мужлана, который стремится любой ценой удовлетворить свою похоть.

Мысли Григоре мчались, переплетаясь и догоняя друг друга; в голове возникали и тут же рушились какие-то планы, просыпались надежды... Уже прошло больше часа, как он лежал, а сон все не шел... Наверное, в комнате слишком жарко. Григоре встал, накинул халат и закурил. Надо проветриться. Темень стала теперь еще гуще. Лунные лучи беспомощно трепетали в холле. Продвигаясь на ощупь, он добрался до веранды, где стояли несколько столиков и кресел. Нащупав кресло, Григоре опустился в него так же тихо, как и пришел, будто опасаясь нарушить чей-то сон. Он сидел спиной к стене, которая отделяла его от любимой. Спереди, чуть искоса, сквозь синие стекла на него таращился огромный, испуганный и любопытный диск луны. Царившая тут прохлада и тишина, более полная, чем в спальне, успокоили его, уняли сердцебиение. Григоре откинул голову на спинку кресла, закрыл глаза и, улыбаясь, подумал: «Забавно будет, если я здесь усну!» Изредка он затягивался сигаретой, и тогда ее красный огонек вспыхивал ярче.

Вдруг ему показалось, что где-то еле слышно открылась и так же бесшумно закрылась дверь. Мгновение он напряженно вслушивался и тут же, не в силах сдержать нетерпение, резко вскочил на ноги. Кресло с глухим стуком ударилось о стену. Григоре взглянул сперва налево в сторону спальни Надины, потом направо. В темноте у стены между дверями комнат Хердели и Брумару как будто мерцала чья-то серая тень. Григоре в недоумении подошел ближе. Какая-то женщина, раскинув руки, приникла к стене. Он схватил ее за голое плечо и сразу же узнал:

— Ах, это ты... А я думал, служанка...

Плечо было мягкое, холодное, чуть влажное. Он отдернул руку, словно дотронулся до змеи. Охваченный отвращением, проскрежетал:

— Шлюха!

И, резко повернувшись, быстро зашагал сквозь густой мрак в конец коридора, как будто волна холода угрожала сковать льдом его сердце...

На другой день Рауль Брумару встал чуть ли не первым и, разодетый с иголочки, счастливый, сразу же спустился вниз, весело напевая модную арию, производившую фурор в Париже. Внизу его ждал Григоре.

— А, Григ?.. Ты меня опередил, дорогой... Я думал, что буду первым!..— воскликнул Брумару, бросаясь к нему с протянутой рукою.

Не подавая руки, Григоре сухо ответил:

— Ты немедленно уедешь в Бухарест!.. Сани у подъезда.

Брумару побледнел, пролепетал что-то невнятное, попытался изобразить удивление. Но Григоре лишь добавил:

— В твоем распоряжении четверть часа. Поторапливайся!

Через четверть часа Рауль был одет для дороги. Петре, все еще заменявший Икима, взмахнул кнутом. Когда они отъехали, Григоре крикнул с лестничной площадки:

— Смотри поосторожней с кобылами, Петре!

ГЛАВА V

ЛИХОРАДКА

1

Днем все жалели о неожиданном отъезде Брумару, сущего кладезя хорошего настроения. Однако его отсутствие не нарушило общего веселья. Госпоже Пинтя даже пришлось энергично вразумлять мужа, который заговорился с Мироном Югой и Титу:

— Александру, милый, мы должны тотчас же ехать, а то застрянем здесь и на вторую ночь.

Надина, надумав подышать чистым воздухом и размяться, поехала провожать их до Леспези. Вернулась она домой поздно, когда уже надо было садиться к столу.

Еще заранее было условлено, что второй день рождества все проведут у Гогу. Дома останется один лишь старый Юга, не изменявший своей привычке проводить все праздники дома. Но на этот раз Григоре заявил, что тоже не сможет побывать у Гогу, ибо ему необходимо поехать в Питешти по чрезвычайно важному и неотложному делу.

Титу обрадовался, что с Надиной поедет он один, хотя она, казалось, была чем-то расстроена и не в духе. В Леспези, где их задержали на ужин, она пожаловалась, что Григоре то и дело заставляет ее страдать, не считаясь с ее чувствительностью. К вечеру она чуть развеселилась, а на обратном пути была снова необыкновенно мила и весела, что-то все время щебетала, смеялась над шутками Титу, даже остановила сани, чтобы полюбоваться луной, и слегка осипшим от мороза голосом мурлыкала французские песенки.

Надина действительно оказалась в трудном положении и не знала, как себя вести. Григоре, незаметно для всех остальных, перестал с ней разговаривать и даже не потребовал от нее никаких объяснений. Она предполагала, что он поехал в Бухарест вслед

за Брумару, чтобы вызвать того на дуэль. Но после дуэли должен неизбежно последовать развод. Если же дуэли не будет, то, быть может, Григоре нашел иной, менее романтичный, выход. Потому-то она и завела у Гогу разговор о своей семейной жизни, чтобы подготовить почву для всяких неожиданностей...

На третий день рождества группа крестьян поджидала ее во дворе усадьбы, когда она возвращалась с прогулки пешком. Надина покраснела и разнервничалась. Среди ожидающих был и Петре, которого мужики захватили с собой, надеясь, что барыня выслушает его доброжелательнее, чем других, так как он катал ее в санях. Но парень не успел и трех слов сказать, как Надина резко оборвала его:

— Что вы себе позволяете? Теперь вы мне проходу не дасте? Разве я вам не говорила, что ничего не продаю? Что вам еще нужно? Оставьте меня в покое! Я приехала сюда, чтобы спокойно отдохнуть, а не для...— Она не договорила и, только поднявшись по лестнице, гневно воскликнула: — С такой наглостью я в жизни не встречалась!

Титу шел за ней, испуганно качая головой. Он не предполагал, что Надина способна на такую вспышку.

Крестьяне застыли на месте, недоуменно переглядываясь. Лишь спустя некоторое время Марин Стан, поправляя шапку, шутливо заметил:

— Отчаянная баба!

Но Петре мрачно проворчал:

— Так, барыня, не пойдет, мы с тобой еще поговорим!

После обеда Титу навестил Драгоша, и там снова зашел разговор о нищете и горестях крестьян.

Тем временем Мирон Юга обстоятельно беседовал с Надиной, и, конечно, тоже о Бабароаге.

Наконец, на четвертый день, в воскресенье, в сумерки, вернулся домой Григоре. По-видимому, поездка оказалась удачной, так как он был очень весел. Он извинился за свое длительное отсутствие, а перед ужином сказал Надине, что хотел бы с ней поговорить. Почувствовав в его голосе и взгляде грусть, Надина спросила, чарующе улыбаясь:

— Поднимемся ко мне наверх?

— Нет, нет! — запротестовал Григоре, сразу замкнувшись, будто ему грозила опасность.

Они прошли в маленькую гостиную, и там Григоре заявил ей просто и спокойно:

— Я все решил окончательно и бесповоротно.

Завтра же, в понедельник, во второй половине дня, чтобы успеть уложить вещи, Надина уедет в Бухарест скорым поездом.

Там, не откладывая, она сразу же обратится к адвокату и подаст бумаги на развод. Необходимый предлог Григоре ей предоставил — он покинул домашний очаг. Последние дни он, конечно, провел не в Питешти, где ему нечего было делать в праздники, а в Бухаресте, и там перевез все свои вещи к тете Мариуке, вдове генерала Константинеску. Он пошел на это во избежание скандала, хотя ему и было очень тяжко. Сейчас он ставит лишь одно условие: чтобы Надина не мешкала с разводом. В противном случае он не гарантирует, что останется до конца пассивным. Чтобы ей не пришлось ехать до Бухареста одной, ее проводит Титу Херделя. Григоре заблаговременно купил билеты в Костешти, так что они просто сядут в поезд.

Надина сперва смотрела на него с интересом, потом выслушала все спокойно, с легкой иронической улыбкой в уголках губ.

— Хорошо! — согласилась она, когда Григоре кончил, и вышла вместе с ним из гостиной.

За ужином она объявила, что ей в деревне наскучило и завтра она возвращается в Бухарест. Мирон тщетно пытался удержать сноху. Она, однако, готова оставить здесь Григоре, если господин Херделя согласен проводить ее в столицу. Естественно, что господин Херделя согласился с восторгом, радуясь тому, что поедет вместе с ней и, кроме того, сэкономит на дорожных расходах.

Попрощались в холле. На дворе был лютый мороз. Укутанная в меха, Надина естественным жестом протянула мужу руку в перчатке:

— До свидания, Григ!

— Прощай,— чуть слышно шепнул тот, еле дотрагиваясь до перчатки, словно чего-то опасаясь.

Старый Мирон проводил Надину до выхода. Сквозь открытую дверь в дом хлынула волна живительного морозного воздуха.

— Какая хорошенькая и славная женщина! — пробормотал старик, потирая руки.— Очень жаль, что ты отпустил ее так быстро.

Узнав о разводе, Мирон долго не мог прийти в себя от изумления. Это невозможно! Сущее сумасшествие! Объяснения Григоре ни в чем его не убедили, тем более что тот не раскрыл ему истинную причину. Старик отказывался согласиться с решением сына еще и потому, что боялся, хотя и не признавался в этом, что из-за развода ему могут не оказать предпочтения при продаже Бабароаги.

— Надеюсь, Надина окажется умнее тебя и не потребует развода! — заявил он.

— Тем хуже для нее,— заметил Григоре.

2

Жестокий мороз, ударивший за четыре недели до рождества, все еще лютовал. Деревня утонула в снежных сугробах. Люди вынуждены были топить печи сутки напролет. Мирон Юга сжалился над крестьянами и разрешил им бесплатно собирать в его лесу сушняк и упавшие ветки. Но зима затянулась, а сушняка в господском лесу оказалось немного. Кое-кто из мужиков стал валить на топку плетни, другие рубили деревья в своих садах.

В первое воскресенье после рождества крестьян созвали в примэрию. Староста Правилэ пришел раньше всех, но не захотел никому сообщать полученные им распоряжения, спокойно поджидая, пока соберется весь народ. Заговорил он лишь после того, как люди тесно набились не только в канцелярию, но и в сени. Его голос слегка дрожал, так как по дороге в примэрию он, для поднятия духа, опрокинул у Бусуйока четвертинку цуйки. Сперва он объявил, что сам он человек добрый и относится ко всем мягкосердечно, истинно по-христиански, покрывая множество проступков своих подопечных. Тут же он пожаловался, что Амара вот-вот превратится в настоящее разбойничье гнездо, так как начиная с рождества каждой ночью совершаются новые кражи. А уж арендатора Козму Буруянэ грабят так бессовестно, что он, того и гляди, останется без семенной кукурузы.

— Из-за него нас жандармы избивали осенью! — буркнул Серафим Могош, но так, чтобы все его услышали.

Староста признал, что так оно и было, но тут же напомнил, что зато арендатор вознаградил всех избитых крестьян, хотя и не был обязан это делать. В ответ из сеней раздался громкий голос Леонте Орбишора:

— А мы все одно так и остались битыми, господин староста!

Несмотря на теперешние кражи, Козма Буруянэ больше не жалуется, не хочет, чтобы об этом узнал старый барин и мужики снова попали в беду. Но уже с неделю как злоумышленники подбираются к усадьбе Мирона Юги. И если бы обкрадывали только господ, это бы еще куда ни шло, ведь мужики считают, что у барина и стащить малость не грех, все одно крестьянским трудом нажито. Но ведь начали красть уже и у самих мужиков, у одного курицу стянули, у другого — кукурузу... Вот, к примеру, вся деревня знает, что у отца Никодима три дня назад украли двух заколотых на рождество кабанчиков. Здесь его зять Филип Илиоаса, пусть сам скажет, правда ли это!.. Староста сделал паузу, чтобы дать Филипу возможность высказаться, но пока этот тугодум медленно собирался с мыслями, переступал с ноги на ногу и откашливался, укоризненно покачивая головой и готовясь сурово присты-

дить преступников, осмелившихся обокрасть духовное лицо, послышался голос Игната Черчела, который довольно недвусмысленно брякнул:

— Оно конечно, крадут у тех, у кого есть что украсть. А у меня-то что могут стащить? Нищету?

В канцелярии и в сенях раздались смешки. Староста рассердился:

— Ты брось шутки шутить, Игнат, не для того я вас созвал.

— Так это не шутка, господин староста,— ответил крестьянин, но уже своим обычным смиренным голосом.— Ведь кабанчика-то у меня за подать забрали, кукурузы у нас не осталось, дров тоже нет, и дети день-деньской воют от голода и холода...

— Нет больше мочи, люди добрые! — неожиданно закричал Леонте Орбиипор, словно почувствовав поддержку.— До конца зимы никак не протянем! Либо помрем, либо...

— Так оно и есть! — поддакнули ему хриплые голоса в сенях.— Все помрем!..

Над шумной сумятицей взвился пронзительный голос:

— Вот вам крест, у меня целых три дня маковой росинки во рту не было. Уж и не знаю, как еще ноги носят!

Пытаясь восстановить свой авторитет, староста яростно заорал:

— Хватит! Тише! Да замолчите вы! — Убедившись, что шум поутих, он продолжал уже мягче: — Нищета-то, конечно, есть, сами видим, да и голод у нас нешуточный. Но только что ж это выходит, по-вашему? Коли голоден, то завтра просто за глотку меня схватишь, так, что ли? Разве можно?

— Так-то оно так! — ответил тот же пронзительный голос, и нельзя было понять, согласен он со старостой или нет.

Голос принадлежал Мелинте Херувиму, долговязому, худющему мужику, с мертвенно-бледным лицом тифозного и черными, горящими от безнадежного отчаяния глазами. Дома у него было трое детей и еще с осени болевшая жена, которая не поправлялась, но и не умирала.

Староста расценил восклицание Херувиму как одобрение своих слов и заявил, что с сегодняшнего дня он умывает руки и будет сообщать о всех беззакониях жандармам, пусть они сами разыскивают виновных и наводят в деревне порядок.

— Так ведь и жандармы не для того поставлены, чтобы над людьми измываться и мучить их ни за что ни про что,— проворчал Серафим Могош, у которого будто засела в сердце заноза.

— И мужики должны честь соблюдать, вести себя порядочно! — энергично возразил ему староста и тут же снова обратился к собравшимся: — Это все, что я хотел вам сказать! Теперь ваш

черед, говорите вы, что у вас на душе, что думаете делать. Только уж потом не жалуйтесь, что я злой человек и вас не предупредил!

Люди загалдели наперебой, каждый о своем. Петре Петре, который стоял рядом с Николае Драгошем, гаркнул гулко, как в казарме:

— Да погодите вы, люди добрые! Давайте по одному, скажите, кто что хочет, а то мы никогда не столкуемся по-человечески!

Первым заговорил Лука Талабэ, но, даже не упомянув о заботах старосты, он сразу же повел речь о Бабароаге, судьба которой не давала ему покоя. Ведь зима-то, какой бы она ни была тяжелой, скоро пройдет, завтра-послезавтра весна нагрянет, и надо будет приниматься за работу.

— Что же делать станем? Вот так стоять сложа руки и глядеть, как Платамону отбирает у нас поместье?.. Барыне-то что? Она нас за нос водит, да еще ругает, когда мы свое право требуем. Ну, а коли это так, коли мы сиднем сидим и палец о палец не ударяем, то нечего на бедность жалиться, все равно не одолеть нам нищеты!

Петре рассказал новость, которая еще больше запутала дело,— барыня Надина разводится с молодым барином. Он узнал это от Марноары, племянницы барской стряпухи. Так что теперь неизвестно, когда барыня приедет сюда и удастся ли с ней переговорить.

Новость всех ошарашила, языки еще пуще развязались. Поднялся дикий галдеж, как в корчме. Посыпались попреки, один язвительнее другого. Трифон Гужу, глядевший еще мрачнее, чем обычно, бросил старосте прямо в лицо, что до недавнего времени тот не соглашался с Лукой, а сегодня вот по-другому поворачивает, видно, учуял легкую наживу. Староста побагровел, принялся орать и оправдываться, но его перекричал из сеней Тоадер Стрымбу:

— Чем против бедняков воевать, лучше пошли бы всем миром к самым большим господам и попросили их, чтобы они разделили поместье между мужиками, ежели молодой барыне оно больше ни к чему и она от него отказывается!

— Вот это дело! Его правда! — громогласно поддержал Тоадера Леонте Орбишор.— Мудрые слова.

Всеобщий гул перекрыл пронзительный голос Трифона Гужу:

— Мы за свою правду дойдем до самого короля!

Староста, накричавшись, отвел душу и теперь продолжал спокойнее, даже чуть насмешливо:

— Эх, мужики, мужики, ну чего вы глупости городите? Ведь, кажись, умные люди, не хуже других! Где это слыхано, чтобы барин выбросил свое поместье, словно мусор какой? Взять, к при-

меру, того же Трифона, который так лихо здесь распинается,— он ведь крошки мамалыги тебе не отдаст, если даже будет она у него, а хочет, чтобы другие подарили ему целое поместье: «Пожалуйста, мол, Трифон, бери его, паши себе на здоровье!..» Я человек немолодой, но такого чуда в жизни не видывал. Да не только я, никто не видывал: ни Лука — он был старостой до меня,— ни Филип, ни дед Драгош, ни дед Лупу, хоть он самый старый из нас... Все они хозяева справные, но о таких чудесах и слыхом никогда не слыхали!

— Да уж известно — сытый ничего не слышит, а кто гол как сокол, тот ко всему прислушивается, все на что-то надеется! — горестно посетовал Игнат Черчел.— Ведь иначе или помрем мы, или бог знает на что пойдем.

— А вот это уж плохо, Игнат. Очень плохо! — снова распалился староста.— Стоящий мужик не ждет сложа руки, чтобы другие ему подсобили, а сам подставит плечо и вытащит воз, что свалился в канаву.

— Работать мы работаем, да так, что света белого не видим, только все попусту! — горестно пробормотал Мелипте Херувиму.

— Так и положено, Мелипте, мы должны работать, потому как мы честные люди, а не разбойники! — веско подхватил Правила и тут же добавил другим тоном: — Но вижу, я вам одно толкую, а вы совсем о другом тут разболтались. Ну, что было, то было, только знайте, что впредь я покрывать никого не стану, а передам дело жандармам!

— Все равно — одна у нас жизнь, а не сто! — огрызнулся Серафим Могош.

Хотя Могош возразил, не повышая голоса, его ответ до того рассердил старосту, что он заорал во всю глотку:

— Ну раз так, то убирайтесь отсюда! С вами говорить по-хорошему — что бисер перед свиньями метать!

Люди вышли не торопясь и тут же остановились, столпившись во дворе и на улице, переговариваясь и советуясь.

— Ясное дело, им это ни к чему, не станут они к нашим бедам прислушиваться! — выкрикнул Игнат Черчел, стоявший в одной из самых шумных групп.

— А то как же! — поддержал его Тоадер Стрымбу.— Ведь ежели власти поделят поместье, то отдадут землю безземельным и беднякам, а богатеи останутся внакладе.

— Потому-то они и спешат заграбастать поместье, чтобы власти не успели раздать его нам! — гневно пояснил Трифон Гужу.— Но ничего, мы тоже не будем сидеть сложа руки...

Петре ушел с братом учителя и несколькими стариками. Ему не терпелось снова завести разговор о молодом барине, чтобы

рассказать крестьянам, как тот его обласкал. Совсем недавно, когда Петре, отвезя барыню на станцию, вернулся из Костешти, Григоре внимательно выслушал его жалобы, тут же вызвал приказчика Леонте Бумбу и велел вычеркнуть из реестра всю задолженность, что числилась за отцом Петре, а самому Петре, не откладывая, оплатить стоимость волов, и даже двух, а не только того, которого зашибло в лесу.

Снова заговорили о разводе господ, и Петре поспешил сообщить те немногие подробности, которые он узнал от своей Мариоары, тут же добавив:

— Барыня-то сварливая и вспыльчивая, такая упрямая, что упаси боже, а молодой барин до того справедливый да сердечный, будто и не барин вовсе. Я и в гробу не забуду ту милость, что он мне оказал...

3

Титу узнал о предстоящем разводе в поезде от Надины. Он не до конца ей поверил и полностью убедился в том, что это правда, лишь спустя дней десять, когда поговорил с Григоре.

— И все-таки она очаровательная женщина! — с сожалением воскликнул он.

— Слишком очаровательная! — усмехнулся Григоре.

Однако, несмотря на свою симпатию к Григоре и восхищение Надиной, Титу был слишком занят своими делами, чтобы вникать в чужие неприятности. Правда, он довольно часто встречался с Григоре, заходил к нему домой, иногда они вместе обедали или ужинали. Изредка он встречал и Надину,— на спектаклях или когда его приглашали к Гогу Ионеску. Однако его все больше и больше затягивал водоворот журналистской жизни. Ссылаясь на кипение политических событий, Рошу наваливал на Титу все новые и новые обязанности. Стремясь поднять авторитет газеты, ее тщеславный секретарь вводил новые рубрики, а так как других послушных и исполнительных сотрудников у него не было, он сваливал все на Титу, который ревностно и безропотно тянул за всех. Таким образом, он единолично вел несколько рубрик — рубрику любопытной смеси, рубрику откликов на политическую и светскую жизнь, а главное — всю театральную хронику. Эту последнюю обязанность Титу выполнял с удовольствием, так как любил театр и получил теперь возможность часто и бесплатно посещать спектакли.

Почти сразу же по возвращении из Амары ему преподнесла сюрприз госпожа Александреску, его болтливая и любвеобильная хозяйка. Она принялась было расспрашивать его, как он провел

время в деревне, но, не дослушав до конца, так что Титу даже обиделся, перебила его и с явным удовольствием сообщила:

— А пока вас не было, сюда то и дело заходила Танца и только о вас со мной и говорила... Какая это девушка, господин Херделя, какая девушка!.. Вы даже представить себе не можете. Одна лишь моя Мими была такой же скромной, красивой, умненькой!

Потом она попросила его рассказывать дальше, но через две минуты вновь перебила, кокетливо грозя пальцем и бросая на него сообщнические взгляды:

— Ну и хитрец же вы, ну и плут! Сдается мне, вы нацеливаетесь на нашу Танцу! Да, у вас губа не дура. Таких чудесных девушек поискать надо: красивая, из хорошей семьи, образованная... Ничего не скажешь. Но и вы ей под стать — интересный юноша, жалованье у вас хорошее, большое будущее... Лучшей пары и не сыскать, дал бы только бог, чтобы все вышло по-моему!

В течение получаса ошеломленному Титу пришлось выслушать оглушительный поток объяснений, комбинаций, планов, советов, предложений. В конце концов он испугался. Он любил Танцу, но ему даже в голову не приходило жениться на ней — в его нынешнем положении это выглядело бы в лучшем случае нелепо.

Танца действительно забегала к госпоже Александреску почти каждый день после обеда, и Титу чувствовал, что запутывается все больше и больше. Он уже видел свое единственное спасение в том, чтобы неожиданно съехать с квартиры, так, чтобы затерялись его следы. Но как-то раз, когда он болтал с Танцей у госпожи Александреску и хозяйка уже выискивала предлог, чтобы оставить их наедине, так как зеленые глаза Танцы давно ее об этом умоляли, вдруг раздался робкий стук в дверь, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошла Мариоара.

— Извините, пожалуйста,— пролепетала она, несколько смущенная присутствием Танцы, так как госпожи Александреску она давно не стеснялась.— Я пришла на урок, но у вас дверь заперта, и...

— Ключ в дверях, Мариоара, милая! — воскликнул, покраснев, Титу и вскочил, чтобы проводить ее.

— В дверях? А я не заметила... Так я пойду к вам... Извините! — кивнула девушка и вышла, послав Титу легкую улыбку.

Как только дверь за ней притворилась, побледневшая Танца встала и собралась уходить. Напрасны были пространные объяснения госпожи Александреску. Танца считала себя бессовестно обманутой: почему ей ничего не сказали об этом «заморыше», который приходит в комнату Титу, как к себе домой? Потом она поплакала и немного успокоилась, но остаться не захотела, ушла мрачная и печальная, с видом мученицы.

— Видите, что вы наделали? — тут же упрекнула Титу госпожа Александреску.— Я давно боялась, что вы когда-нибудь попадетесь с вашими уроками, но вы никак не унимаетесь и не хотите набраться терпения... Ну а теперь что вы будете делать? Надо вам вести себя с Танцей поделикатнее, очень уж у нее сердечко чувствительное и нежное.

Титу ушел к себе, и там ему устроила сцену Мариоара, однако ее он задобрил быстро.

Вечером, подводя итоги минувшего дня, Титу рассудил, что все к лучшему. Непредвиденный случай разрешил мучавший его вопрос. Танца рассердилась, значит, на всей этой истории поставлена точка. Действительно, на второй день девушка не пришла. Не пришла она и на третий. Все кончилось.

Была одна из первых суббот февраля. Титу предстояло написать для газеты важную статью. Указания он получил непосредственно от Деличану и потому задался целью сотворить что-то действительно выдающееся и доказать директору, какого ценного сотрудника тот приобрел в его лице. Поэтому он обрадовался, когда госпожа Александреску сообщила, что уходит с Жаном к его родителям и вернется поздно, так что пусть уж он приглядит за домом, а если будет выходить — тщательно запрет за собой дверь, а ключ спрячет в условном месте.

Титу снял костюм, набросил на себя старый, потрепанный халат, надел разношенные шлепанцы, приготовил сигареты и погрузился в работу. В комнате было тепло. В чугунной печурке гудел огонь, он легко исписал несколько страниц, словно под чью-то диктовку. Мысли нанизывались одна на другую, как бусинки на нитку. Табачный дым окутал его голову ватным облачком, а окурки, разбросанные по всему полу, будто отмечали отточиями паузы его журналистского вдохновения. К пяти часам, когда начало смеркаться, Титу не хватало только эффектной концовки. Чтобы подогреть себя, он перечел всю статью, громко произнося то одну, то другую фразу, казавшуюся ему наиболее звонкой и удачной.

«Браво,— подумал он в заключение.— Безупречно. Если уж эта статья не произведет сенсации, то...»

Но эффектная концовка никак не приходила на ум. Неотрывно думая только об этом, Титу поднялся, взял с тумбочки лампу и поднес ее к столу, собираясь зажечь. Погруженный в свои мысли, он осторожно снял абажур, затем стекло и стал осматриваться в поисках спичек. Вдруг ему показалось, что в дверь робко постучали. Он успел только обернуться, как дверь приоткрылась.

— Танца? — изумленно воскликнул Титу и тут же устыдился своего тона.

Танца застыла на пороге, не сводя с него широко раскрытых глаз, словно попала в незнакомый дом.

— Ох, извини меня, Танцика! — пришел в себя Титу.— Я в таком виде!.. Все время работал, собирался зажечь свет и...— не закончил он и направился к девушке.

Но Танца остановила его инстинктивным жестом и, спустя несколько секунд, спросила шепотом:

— Ты кого-нибудь ждал?

Титу не успел ответить, а она, странно улыбаясь, задала новый вопрос:

— И меня не ждал?

Титу отрицательно покачал головой.

— А я все-таки пришла,— тихо продолжала девушка, все так же странно глядя на него.

Закутанная в зимнюю шубку с лисьим воротником, в бархатной, низко надвинутой шапочке, девушка как будто излучала легкое сияние в комнате, где уже сгущались сумерки.

— Ты принесла радость в мою хмурую каморку!

Титу произнес эти слова с романтической дрожью в голосе, как-то театрально и неискренне, хотя в душе действительно обрадовался. Танца услышала только голос его сердца и признательно подошла ближе, протянув ему руки.

— Не буду тебе мешать... Мне достаточно быть около тебя и смотреть, как ты пишешь...

— Во всяком случае...— начал было Титу дрогнувшим голосом, но тут же осекся.

Близость девушки так взволновала его, что он не мог закончить фразу. Он взял ее руки в свои и прижал их к сердцу. Затем, не говоря ни слова, стянул с девушки шубку, пока сама она снимала шапочку.

Темнота медленно заполняла комнату. Вещи теряли свои четкие очертания, становились расплывчатыми, сливались. Лишь окошко, выходящее во двор, светлело неяркой белизною, а за ним вихрем мельтешили сверкающие снежинки, похожие на рой белых мотыльков, метавшихся в лихорадочных поисках убежища от холода и тьмы.

— Куда мы сядем? — спросил Титу, обнимая девушку за талию.— Видишь, тут у меня негде даже сесть рядом...

Лицо Танцы освещала улыбка — чистая и счастливая. Сейчас ей все казалось прекрасным. Не отвечая, она присела на край постели, глядя на Титу, который подбросил в печурку два полена и повернул ключ в замке... Лишь после того, как он взял ее голову в свои руки и поцеловал в губы горячее, чем обычно, девушка вздрогнула и прошептала с неуверенной укоризной:

— Зачем ты запер дверь?

Вопрос повис в воздухе, пропитанном табачным дымом. Титу мягко опустился на колени у ног девушки и зарылся лицом в подол платья, обнимая и лаская ее. Танцу встревожило то, что Титу не ответил на ее вопрос, и она нервно перебирала пальцами его волосы. Ее глаза рассеянно следили за пляской снежинок в окошке, она думала лишь о том, что дверь заперта и ей надо тотчас же уйти. Но губы Танцы машинально шептали:

— Титу, дорогой, сиди смирно, я прошу тебя... очень прошу... Будь послушным... слушайся меня... Ты мне обещаешь?.. Обещай мне!

Титу резко вскочил, точно пробудившись от сна, и воскликнул:

— Клянусь тебе!.. Клянусь!..

Он сел рядом с девушкой на край постели. Сейчас клятва показалась обоим какой-то преувеличенной. Она словно развеяла овладевшие ими чары. Почувствовав неловкость, Танца принялась объяснять, почему она пришла. Она не собиралась приходить сегодня. К чему это, если он не любит ее по-настоящему, от всего сердца. Но когда она увидела, что Лепуца и Женикэ пришли к ним в гости и просидят долго, она сообразила, что Титу, наверно, остался в доме один, и подумала, что он даже не понимает, как сильно она его любит, и потому недостаточно ценит ее любовь... Зачем же сидеть и слушать давно известные сплетни старых баб, когда ей так хочется с ним поговорить? А поскольку она давно обещала навестить одну из своих подруг, то быстро вышла и...

Все это она рассказала, не глядя на Титу, который слушал ее, не разбирая слов, и лишь прижимал девушку к себе крепче и крепче, все яснее слышал биение ее сердца и чувствовал, как по ее телу изредка пробегает дрожь. Вдруг Танца умолкла, словно чего-то испугавшись, и вскочила, пробормотав:

— Но сейчас я должна уйти... Прошу тебя, отпусти меня, Титу, дорогой... Куда ты дел мое пальто?

Титу оторопел. Ему причинила боль одна мысль, что он снова останется один, наедине с незаконченной статьей, в поисках эффектной концовки. Теперь главным для него была Танца, а все остальное не имело никакого значения. Ничто на свете не могло сейчас заменить ему то очарование, которое она внесла в его прокуренную комнатку. В эти минуты весь смысл и вся мудрость жизни сводились для него к зеленому теплу ее глаз, к ласковому тихому голосу, роняющему таинственные слова, к горячему, пугливо вздрагивающему телу. Охваченный отчаянием при мысли, что она вот-вот уйдет и он может ее потерять, Титу загородил Танце доро-

гу, крепко ее обнял и, заглядывая в глаза, хриплым голосом возразил:

— Нельзя, нельзя так уходить...

Ему тотчас стало стыдно собственных слов, но девушка, словно прислушиваясь к своему сердцу, ответила ему лишь удивленной улыбкой. Рука Титу замешкалась на ее тонкой, белой блузке, застегнутой спереди несколькими кнопками. Таица с той же удивленной улыбкой помогла ему расстегнуть блузку, укоризненно шепча, словно в каком-то забытьи:

— Оставь блузку, Титу... Нет, нет, не надо... прошу тебя... я должна уйти...

Титу пересохшим от волнения голосом тоже что-то говорил, не сознавая, что именно. Их слова сливались в радостное журчание.

Затем Таица неподвижно стояла в одной лишь коротенькой, выше колен, рубашонке, тесно прилегавшей к телу, как бесполезная защита. Ее скрещенные руки пытались спрятать грудь, чьи маленькие нежные соски казались единственной поддержкой соскальзывающей рубашке.

— Мне холодно...— чуть слышно прошептала девушка.

Титу поднял ее на руки, как сонного ребенка, уложил в кровать и укутал. Она так и осталась неподвижно лежать лицом вверх, пристально глядя в глаза Титу, который все поправлял одеяло. Вдруг Таица почувствовала, что он лежит рядом с нею. Его холодные руки гладили ее упругую грудь, скользили по горячему животу. Она снова начала в полузабытьи шептать: «Нет, нет, нет»,— но затем повернулась к нему и обеими руками обхватила его за шею. Почувствовала чужое колено...

Позже, когда она опомнилась, Титу уже снова сидел на краю постели и целовал ее лицо, по которому катились слезы.

— Ты жалеешь, Таица? — послышался его голос.— Я не хочу, чтобы ты жалела!

Она широко открыла глаза, блеснувшие в темноте комнаты, отрицательно покачала головой и с какой-то новой лаской в голосе ответила лишь одним словом «нет». После короткого раздумья она спросила:

— Ты меня еще любишь?

Титу ответил градом поцелуев, но она остановила его новым вопросом:

— Сейчас ты веришь, что я тебя люблю?

— Я никогда в этом не сомневался. Это ты усомнилась в моей любви.

— Значит, я не должна сомневаться?

— Нет! — воскликнул Титу, вновь закрывая ей рот страстным поцелуем.

Оставшись один, Титу опустил шторы и зажег лампу. Желтый, подслеповатый свет возвратил его к действительности. В комнате еще ощущался аромат тела девушки, дурманящий и таинственный, как будто еще слышались ее слова, стоны... Только сейчас он понял, что их любовь приняла новый, чреватый серьезными последствиями оборот. И это как раз теперь, когда он только-только начал становиться на ноги! Он, конечно, любит Таницу, но вправе ли он испортить девушке жизнь, связав ее судьбу со своей, столь необеспеченной? Разве сможет он содержать жену, если и сам еще не знает, на что будет жить?.. И Титу тут же выискал для себя оправдание: он ведь сопротивлялся, Таница пришла к нему сама, да и не всякая любовь, какой бы пылкой она ни была, обязательно должна увенчаться браком. Ведь в других случаях... Но тут же он сам устыдился своих оправданий и оборвал себя: «Какой же ты подлец, Титу! Как тебе только не стыдно!»

4

Григоре Юга не мог больше оставаться в поместье. Его терзало не только одиночество, но и настойчивые уговоры отца не разрушать семью из-за вполне естественных, а главное, проходящих недоразумений. Рассказать отцу всю правду он не мог, было стыдно и противно. Он считал себя униженным тем, что за пять лет совместной жизни не сумел внушить жене хотя бы самое элементарное уважение, раз она оказалась способна изменять ему в их собственном доме. Кроме того, он не был уверен в своей непреклонности. Нередко он ловил себя на том, что выискивает для Надины извинения, и боялся, что любовь его еще не умерла, что она лишь ждет повода, чтобы все забыть и продолжать жизнь по-старому. Григоре сам себя презирал и опасался собственной слабости. В сутолоке Бухареста он хотя бы не будет одинок.

Он переехал к тете Мариуке, в ту комнату, где провел студенческие годы. Комната была заботливо убрана. Увидев, что она пришлась племяннику по вкусу, тетя удовлетворенно заметила:

— Тебе здесь нравится, Григорицэ?.. Я сама все устроила. Хочу, чтобы ты чувствовал себя как дома, не испытывал ни в чем недостатка, не жалел, что...

Она замолчала. Тетя Мариука знала, что для Григоре не секрет ее всегдашняя неприязнь к Надине, и сейчас она не хотела даже упоминать о ней. Но Григоре неожиданно ответил:

— Что касается сожалений, тетя милая, то можешь не беспокоиться!

Григоре условился о встрече с Гогу Ионеску, и на следующий день они увиделись в клубе. Гогу был потрясен. Он ничего не понимал. Когда Надина сказала ему об их решении развестись, он пришел в ужас. Да как это возможно? Он считал, что они живут в самом полном и нежном согласии. Конечно, он не вправе вмешиваться или давать какие-либо советы в таком деликатном вопросе, но... Он любит Григорицэ, как брата, и не изменит своего отношения к нему, независимо от их родственных связей. Несомненно, Надина — натура сложная, и с ней, вероятно, не легко. Хотя он придерживается правила не вмешиваться в личные дела других, даже родственников, все-таки он ей много раз говорил, что она слишком кокетлива и злоупотребляет терпимостью своего мужа...

Под конец он обещал узнать у Надины от имени Григоре, возбудила ли она официально дело о разводе и в каком оно положении. Гогу, конечно, прекрасно понимает, что раз Григоре покинул супружеский очаг, значит, у него есть тысяча причин не вести переговоры непосредственно с нею.

На следующий день они встретились снова, и Гогу сообщил со всеми подробностями, что Надина, как только вернулась в Бухарест, то есть дней десять назад, пригласила к себе адвоката Олимпа Ставрата и попросила его немедленно возбудить дело о разводе. Скорее всего, документы уже переданы в суд. Григоре поблагодарил, попросил передать его благодарность Надине и заверить ее, что он тоже примет все меры для ускорения дела, так как они оба заинтересованы в том, чтобы быстрее покончить с формальностями и вновь обрести свободу.

Из клуба Григоре пошел к Балоляну. Тот еще ничего не знал. Удивился. Выразил сожаление. Мелания присоединилась к мужу. Они не отпускали Григоре — он обязательно должен остаться у них обедать, теперь у него нет никаких предлогов для отказа!.. Григоре заблаговременно заковал себя в броню, стараясь защититься от любых соболезнований. Перед тем как перейти из своего роскошного рабочего кабинета в столовую, Балоляну принял официальный вид.

— Значит, ваше решение серьезно и окончательно, Григоре?

— Разве в таких вопросах можно шутить, Александру?

— В таком случае я тоже займусь этим делом и заверяю тебя, что развод будет оформлен в кратчайший срок! — веско заявил адвокат и через секунду жизнерадостно, как всегда, добавил: — Благодаря моему скромному таланту в суде я всегда на коне!

— Надеюсь только, что на сей раз ты будешь действовать быстрее, чем в случае с моим трансильванским другом, если ты о нем помнишь,— шутливо упрекнул его Григоре.

Балоляну на мгновение опешил, но тут же воскликнул с дружелюбным негодованием:

— Почему же ты, Григорицэ, только сегодня напоминаешь мне об этом молодом человеке? Я даже фамилию его забыл!.. Мы ведь как будто условились, чтобы он зашел ко мне и... Так почему же этот юноша до сих пор не появляется?

— Ладно, теперь можешь о нем не беспокоиться, я его пристроил в редакцию «Драпелула»...

— Ага! Значит, вы его уже завербовали для своей партии! — расхохотался Балоляну.— А нас же обвиняете в сектантстве!

На всякий случай Григоре несколько раз сам заходил с Балоляну в суд. Лишь убедившись в том, что первые формальности уже выполнены, он немного успокоился и счел себя вправе пойти к Пределяну. У него в ушах еще звучал собственный голос, выспренне провозглашающий: «Я влюблен»,— и он стыдился этого воспоминания... О Надине он рассказал одному лишь Пределяну, без свидетелей. Виктор, по-видимому, был удивлен, но расспрашивать ни о чем не стал. За столом и после обеда Текла не упомянула о Надине ни единым словом, как, впрочем, и ее сестра — Ольга Постельнику, хотя Григоре заметил, что та несколько раз посмотрела на него с едва скрытым любопытством. Беседовали они о всякой всячине, только о политике не говорили. Особенно подробно болтали о всевозможных балах, спектаклях, приемах и других развлечениях, занимавших тогда все светское общество Бухареста. Пределяну даже заметил, правда, скорее, чтобы подтрунить над свояченицей:

— Нынешний сезон словно специально для Ольгуцы — всюду только танцы да танцы...

— Эти развлечения помогают людям забыть о своих неприятностях и страхах,— сказала Текла.

— Верно, но не знаю, заметили ли вы, что все нынешние танцы начали приобретать до того эротический и чувственный характер, что иногда просто стыдно смотреть на танцующих,— серьезно добавил Виктор.

— Ты уж прямо скажи, моралист, что вообще терпеть не можешь танцы и потому приписываешь им всевозможные пороки! — горячо возразила Ольга, защищая свое увлечение.

Григоре не стал вмешиваться в разгоревшийся спор, опасаясь, как бы речь не зашла о Надине. Однако разговор постепенно переключился на самое крупное событие сезона — бал, намеченный на девятнадцатое февраля в помещении Национального театра по инициативе благотворительного общества «Оболул». Должна присутствовать королевская семья и весь высший свет. Все билеты уже резервированы, несмотря на баснословные цены. Погова-

Л. Ребряну
«Восстание»

ривают даже о возможном повторении бала, чтобы удовлетворить хотя бы наиболее высокопоставленных лиц. В программу вечера включено что-то вроде ревю, написанное тремя родовитыми, но весьма остроумными авторами. Роли будут исполнять великосветские дамы и барышни. Ольга собиралась выступить с танцем и теперь пребывала в творческом трансе.

Когда тетя Мариука узнала, что дело о разводе наконец возбуждено, она отказалась от недавней сдержанности и выложила племяннику все, что знала о Надине, но не рассказывала до сих пор, чтобы его не расстраивать и не дать ему повода подумать, будто она хочет разрушить его семейную жизнь. Она предупреждала его сразу, как только узнала, что он собирается жениться на Надине, правда, предупреждала весьма деликатно, ибо в подобных случаях отговаривать трудно. Какой Надина будет женой, понятно было еще до замужества. Никто, конечно, не возражает — девушке сам бог велел резвиться, кокетничать, флиртовать, но меру надо знать. Все порядочные люди возмущались сумасбродными выходками Надины, вечно окруженной целой свитой поклонников. Но хуже всего то, что она не унялась и после свадьбы. Пользуясь слепой любовью мужа, она не постеснялась завести себе любовника в первый же год семейной жизни, если не в первый месяц. Затем последовала вереница других. Только она, тетя Мариука, знает точно о пяти любовниках Надины. Последний из них — Рауль Брумару, с которым она провела за границей прошлое лето, неизвестно на чьи деньги, так как одни говорят, что Брумару пробавляется случайными доходами в игорных клубах, другие же утверждают, что он богат и Надина проматывает его состояние.

Григоре попытался остановить эту лавину разоблачений. Раз уж он решился на развод, ему совершенно безразлично, как поступает и, главное, как поступала раньше Надина. Уважая собственные чувства, он хочет вспоминать лишь о том, что не вызывает краску стыда. Быть может, подобный взгляд на жизнь выглядит глупо, но он... Однако все его попытки оказались тщетными,— тетя Мариука не успокоилась, пока не описала ему подробно и остальных четырех кавалеров, пользовавшихся благосклонностью Надины. Мало того, каждый день она приносила все новые, свежие подробности, полученные от доброжелательных подруг, и излагала их Григоре, доводя его до того, что он старался теперь ее избегать и даже подумывал о переезде в гостиницу, где смог бы вновь обрести душевный покой.

К счастью, в последние дни января в Бухарест приехал Мирон Юга. Тетя Мариука попыталась преподнести ему последние новости о Надине, но Мирон удивленно воззрился на нее и чуть погодя сурово перебил:

— Немедленно прекрати эти сплетни, Марицука. Тебе, вдове румынского генерала, не пристало пересказывать все глупости, которые, конечно же, болтают о красивой женщине... Но ты в точности похожа на мою покойную жену, прости господи ее прегрешения, недаром вы были родными сестрами. Считаете, что все жены должны лишь топтаться у плиты либо вязать теплые носки своим мужьям. Теперь иные времена, Марицука, милая.

— Но ведь Григорицэ с ней разводится! — растерянно возразила госпожа Константинеску.

Старого Югу она боялась, прекрасно зная, как он резок и вспыльчив — в отличие от ее покойного мужа-генерала, человека мягкого и покладистого, всегда плясавшего под ее дудку.

— А ты не верь Григорицэ, он же просто ребенок! — веско заявил старик, не разрешая сыну вставить ни слова.— Кто тебе сказал, что прошение о разводе равносильно разводу? Так вот, милая Марицука,— пока официальное решение не принято, все сводится к простой размолвке между супругами.

Мирон Юга приехал в Бухарест, так и не сговорившись с крестьянами в Амаре об условиях их найма на работу на очередной год. Впрочем, теперь это было бы сложнее, чем раньше, так как крестьяне хотели изменить старые условия. Но Мирона Югу занимало сейчас лишь одно — поместье Бабароага, и он стремился купить его во что бы то ни стало, пусть даже ценой жертв. Развод Григоре представлялся ему главным препятствием, которое надо было устранить в первую очередь.

Прежде чем идти к Надине, он решил предварительно поговорить с Думеску, а затем, после того как он узнает цену и условия оплаты, уточнить все по существу. Григоре, который должен был встретиться с Балоляну, проводил отца до самого банка. По дороге старик то и дело рассматривал бесчисленные афиши, призывающие публику на всевозможные празднества и развлечения.

— Да, здесь люди живут весело! — презрительно пробормотал Мирон.— Куда ни глянь, всюду только призывы к веселью и разврату. Им-то горя мало! Мы трудимся, чтобы они могли кутить.

Когда Константин Думеску увидел Мирона Югу, он просиял и обнял его с пылом, неожиданным для этого молчаливого и замкнутого человека. Потом поправил на носу золотые очки, что было верным признаком глубокого волнения; его обычно холодные глаза радостно смеялись. После первых сердечных вопросов и ответов Мирон сказал:

— Ты, дорогой Костикэ, наверное, занят, и я не собираюсь тебе мешать. В ближайшие дни мы встретимся и потолкуем по душам. А сейчас я займу у тебя не больше двух-трех минут. Дело вот в чем...

И он изложил суть интересующего его вопроса. Думеску слушал очень внимательно, но Юга заметил, что лицо его становится все более мрачным. Выслушав до конца, он ответил:

— Так вот, дорогой Мирон, мы слишком старые друзья, чтобы я колебался и не ответил тебе сразу же ясно и четко...

Ясный и четкий ответ Думеску сводился к категорическому отказу. Правда, он тут же подсластил его всяческими пояснениями. Теперь совершенно неподходящее время для покупки земли. У Мирона земли и так хватает. Были бы только здоровье и силы, чтобы всю ее обработать. Думеску отказывает ему в его же интересах. Если бы он не относился к Мирону так хорошо, то, конечно, одолжил бы ему любую сумму, так как банк всегда сможет получить ее обратно, продав имение Юги с аукциона. Но он, Думеску, предпочитает расстроить Мирона сегодня, чем разорить завтра. Поступая так, он лишь выполняет свой дружеский долг.

— Кроме того, Мирон, твои планы меня просто поражают. Ты что, витаешь в облаках? Ничего не видишь и не слышишь? Не чувствуешь, как грозно назревают события, как все трещит и разваливается?.. Завтра-послезавтра может произойти экспроприация всех крупных поместий, и что ты тогда сделаешь со своими долговыми обязательствами? Идея экспроприации распространяется все настойчивее и настойчивее. Я не даю ей никакой оценки, а просто констатирую факт. Параллельно нарастает брожение среди крестьян... Нет, нет, ты не относись к этому пренебрежительно. У тебя в поместье, может быть, и тихо, но крестьянские волнения — это реальность. Возможно, они-то и привели к мысли о необходимости экспроприации. Я точно не знаю. Кроме того, я не утверждаю, что опасность угрожает нам непосредственно сегодня-завтра. И этого я не знаю. Но она существует! И в такие дни нечего и думать о покупке новых поместий. Пока положение не прояснится, ценность земли весьма сомнительна. Так что... Ты не обращай внимания на вечно разгульную жизнь Бухареста. Это лишь симптом болезни. Эпидемия балов, танцев и пирушек всегда либо предвещает несчастье, либо по контрасту его подчеркивает. Чрезмерно сверкающий фасад обязательно скрывает за собой что-то гнилое. Солидная фирма никогда не нуждается в показном лоске и мишуре, не старается ослепить фасадом. Я лично не занимаюсь политикой и даже не интересуюсь ссорами политиканов. Но здесь, в банке, пульс жизни ощущается весьма отчетливо. А пульс нашей жизни слишком уж скачет. Наш организм лихорадит, Мирон. Мы должны соблюдать осторожность, пока не подыщем необходимое лекарство.

Однако доводы Думеску отнюдь не убедили Мирона Югу, напротив, глубоко обидели, хотя он и постарался не выдать своей

обиды. Они расстались, условившись вернуться к этому разговору позднее, так как пока все свелось только к предварительному ознакомлению с делом... В глубине души Юга был уверен, что в конце концов Думеску уступит.

«Бедный Костикэ! — подумал, уходя, старик.— Хороший малый, только ограниченный, и таким он был всю жизнь, но все-таки он мне дорог!»

Его раздражение прошло скорее, чем он думал. Собственно говоря, ему и не следовало обращаться к Думеску, пока он не поладит с Надиной, так как это самое трудное. Деньги уж где-нибудь в Румынии он раздобудет, лишь бы найти им применение.

Надина, предупрежденная заранее, ждала его. Выглядела она прелестно и приняла старика, как всегда, радушно, словно ничего не произошло с тех пор, как они расстались в Амаре месяц назад.

— Я бы пригласила вас отобедать со мной, папá, только не знаю, можно ли?..— сказала она с невинной и вопросительной улыбкой, вводя гостя в свою любимую гостиную.

— Конечно, Надина, я с удовольствием останусь, с большим удовольствием! — галантно согласился Мирон Юга.

Об обоих интересовавших его вопросах старик заговорил сразу же, еще до обеда. Начал он с того, что предложил ей помириться с Григоре, добавив, однако, что сын не уполномочил его на эти переговоры, но что он обязуется уговорить того во что бы то ни стало, если, конечно, она на это согласится. Надина отказала с улыбкой, но твердо. Ведь инициативу проявила не она, а Григоре. Она была не прочь продолжать совместную жизнь, хотя во многих отношениях у нее были причины для недовольства. Но теперь их семейные раздоры получили широкую огласку. Всему свету известно, что они разводятся. Если они передумают, то станут просто посмешищем. Кроме того, сегодня каждый из них еще может устроить свою дальнейшую жизнь, а завтра это будет значительно труднее. Мирон попытался ее переубедить, но Надина перебила его:

— Мне льстит ваша настойчивость, милый папá... Это доказательство любви, которое меня очень волнует и трогает. Но я вас прошу,— и она молитвенно сложила руки,— просто умоляю, дайте мне высшее доказательство вашей любви и... поговорим о чем-нибудь другом.

— Если твое решение действительно окончательно и бесповоротно, то о другом деле нечего и говорить...— обескураженно пробормотал старик и, помолчав, прибавил: — Со своей снохой я мог бы вести переговоры о продаже Бабароаги, но с бывшей женой моего сына это совершенно исключается.

Надина рассмеялась, обнажив жемчужные зубки.

— О, вы ошибаетесь, дорогой папа!

Как раз наоборот. О продаже поместья по-настоящему можно говорить именно только с бывшей снохой. Она еще твердо не решила продавать имение и, конечно, не продала бы его, если б осталась с Григоре. Но теперь она продаст Бабароагу, как только получит возможность действовать самостоятельно. Ей было бы просто неприятно иметь какие-либо дела хотя бы по соседству с владениями Григоре. Она была бы рада избавиться от Бабароаги пораньше, но до оформления развода ничего не может предпринять, так как для этого потребовалось бы разрешение мужа. Она надеется, что все формальности по разводу будут закончены в течение месяца, самое большее — двух. Вот тогда она приедет в Леспезь, в усадьбу Гогу, и не вернется оттуда, пока не продаст земли.

— Да ты настоящая купчиха! — улыбнулся Мирон.— Твердый орешек, ничего не скажешь!

Он улыбнулся, но на душе у него было скверно. Все его попытки вырвать более определенное обещание ни к чему не привели. Хитрая и ловкая Надина проскальзывала меж пальцев, как ртуть... Казалось даже, что он добился большего в Амаре, когда впервые упомянул о своем намерении. Ведь тогда она обещала оказать ему предпочтение. Что ни говори, а развод только затруднил ему задачу. Но именно поэтому он не отступит. Преград и трудностей он не боится.

На всякий случай он прощупал почву еще в двух банках, где у него тоже были друзья. Они не отказали ему наотрез (еще подумаем, посоветуемся, поговорим), но привели те же соображения, что и Думеску, причем почти в одинаковых выражениях, будто заранее сговорились. Затем Мирон Юга неофициально, как-то за обедом, возобновил разговор с Думеску, но добился лишь весьма неопределенного обещания. Думеску слишком хорошо к нему относился, чтобы и дальше настаивать на своем отказе. В действительности же оба надеялись, что в конце концов поставят на своем: Думеску полагал, что уговорит Югу отказаться от покупки, Юга же считал, что Думеску все-таки поможет ему приобрести поместье.

Григоре знал о бурной деятельности отца, и по его виду, да и по отдельным словам, которые изредка вырывались у старика, понимал, что тот недоволен результатами. Еще в первый день приезда Мирон сказал, что хочет навестить Пределяну, и через неделю они отправились к нему вместе.

Мирон Юга относился к семье Пределяну с большой симпатией. «Порядочные, хорошие люди»,— повторял он всегда, думая в первую очередь об отце Виктора, с которым был когда-то

знаком. К досаде Ольги Постельнику, для которой сейчас не было на свете ничего интереснее, чем бал общества «Оболул», за столом весь вечер, из уважения к Мирону, говорили только о сельском хозяйстве. Соображения Думеску хотя и не убедили Мирона, произвели на него самое тягостное впечатление, он всюду искал доводы, чтобы их опровергнуть, и, не находя их, очень расстраивался. Пределяну тоже считал, что среди крестьян, несомненно, происходит какое-то брожение, хотя, конечно, не такое сильное, как болтают в Бухаресте. По вполне достоверным сведениям, которые он получил от своего управляющего, даже у него в поместье, в Делге, крестьяне требуют новых, более выгодных для себя условий найма на работу. Он разговаривал со многими помещиками и арендаторами из Молдовы, людьми вполне достойными и уравновешенными, хорошо знающими мужиков, и они все в один голос утверждали, что там положение намного тревожнее. Стало быть, недовольство крестьян — явление всеобщее, одни и те же причины обусловили одинаковые последствия во всей стране. Объяснение этому найти не сложно, объяснений приводят даже слишком много, но все они малоубедительны. Что верно для одной области, не всегда подходит для остальных областей, а недовольство — повсеместно.

— Так получается только потому, что мы не хотим смотреть правде в глаза, Виктор,— вдруг с горячностью вмешался Григоре, который до тех пор молчал, стараясь не противоречить отцу.— Из-за навязанных крестьянам условий найма они всюду работают себе в убыток. С каждым годом они все глубже увязают в долгах, сумма которых все растет, так что выплатить ее они уже не в состоянии. У нас, к примеру, за большинством крестьян такая огромная задолженность, что, даже работая весь будущий год, они не только ничего не получат за свой труд, но даже не сумеют расплатиться с долгами, останутся и дальше в кабале. Нечего удивляться, что крестьяне негодуют и ропщут, коль скоро перед ними лишь подобная перспектива. Это вполне понятно и естественно!

Мирон Юга выслушал, иронически улыбаясь, доводы сына и, не удостоив их ни малейшего внимания, обратился к Пределяну:

— Крестьяне живут не очень хорошо именно из-за того, что помещикам приходится туго, да и все сельское хозяйство нашей страны ведется из рук вон плохо! Мы уже переживали трудные годы, когда поместья не приносили ничего или почти ничего, и все-таки крестьяне тогда не бунтовали, а занимались своим делом, терпели и страдали вместе с нами! На сей раз, слава богу, прошедший год был почти нормальным. Хорошие хозяева вели хозяйство экономно, кое-что поднакопили и теперь обеспечены, а бездельники и пьяницы, конечно, остались ни с чем. Так было испокон веку! Как я могу согласиться, что крестьяне в Амаре бедствуют,

если они из кожи лезут вон, стараясь купить поместье Надины и отбить его у других покупателей?.. Нет, мои милые, что бы вы мне ни говорили, беда в ином! Беда в слабости правительства, которое терпимо относится к оголтелой демагогии всяких ничтожных пустомель, изображающих себя защитниками крестьян. Схватило бы правительство за шиворот всех этих барчуков, которых внезапно обуяла подозрительная любовь к несчастным землепашцам, и бросило бы их в тюрьмы, крестьянские волнения сразу бы прекратились.

— Оппозиция, конечно, пользуется беспомощностью правительства, занятого своими всегдашними мелкими распрями,— согласился Пределяну.— Но немалая доля вины ложится и на плечи самой оппозиции, которая занимается столь нелояльной агитацией.

— Нелояльной — это не то слово, сударь! — негодующе воскликнул Мирон.— Преступной! Нет ничего преступнее, чем подстрекать низменные инстинкты алчной толпы! А оппозиция именно так поступает! Чтобы посеять вражду между нами и крестьянами, она обещает мужикам раздать им наше имущество! Этим преступникам нет никакого дела до того, что тем самым они обрекают страну на гибель. Для них интересов страны просто не существует, все сводится только к интересам собственной партии. Они хозяева городов, которые эксплуатируют нас, как хотят. Но этого им мало! Нас они не сумели закабалить ни своими банками, ни кредитами, ни промышленностью. Одни только мы еще оказываем им сопротивление. А так как они не смогли сломить нас иными путями, то и выдают себя за защитников крестьян от помещиков, хотя они никогда не выходили за городские ворота, опасаясь забрызгать грязью свои штиблеты. Они хотят раздать крестьянам нашу землю, но даже не помышляют поделиться с кем-нибудь доходами от своих фабрик и банков. По существу же, целясь в нас, они хотят обезглавить крестьян, так как крестьянское стадо, оставшись без пастырей, попадет в их лапы, и они смогут разделаться с ним, как им заблагорассудится... Все это вызывает лишь возмущение и гнев, тем более что мы, осужденные на смерть, заняты только борьбой за власть, интригами, перетасовками в правительстве и другой чепухой!..

Стремясь разрядить напряженную обстановку, вызванную филиппикой отца, Григоре с улыбкой заметил:

— Я себе даже не представлял, отец, что ты так горячо интересуешься политикой.

— Преступление — это не политика, Григорицэ! — немного мягче ответил Мирон, почувствовав, что слишком увлекся для светской беседы за столом.— Преступление — это преступление! То, что они делают, не политика, а преступление!

— Вы правы, они и впрямь действуют без малейшего зазрения совести,— согласился Пределяну, стремясь унять разгоревшиеся страсти.— Они способны даже вызвать в Румынии революцию, если это будет выгодно их партии.

Благодаря вмешательству госпожи Пределяну разговор перешел на менее острые темы, и, к радости Ольги, скоро собеседники коснулись великого события — бала общества «Оболул». Чуть погодя Мирон Юга счел необходимым высказать свое недовольство и по этому поводу:

— Не спорю, быть может, «Оболул» действительно ставит перед собой благородные цели. Но, в общем, в Бухаресте слишком уж злоупотребляют роскошью и увеселениями. Создается впечатление какой-то гигантской разнузданной оргии. Не знаю, как это сочетается со страхом перед возможными крестьянскими беспорядками. Не мешало бы соблюдать больше благопристойности. Правительство должно обуздать вакханалию. Несознательными могут быть рядовые граждане, но отнюдь не правительство. Что бы сказали крестьяне, увидев этот чудовищный разгул в Бухаресте? У них не хватает мамалыги, а господа с жиру бесятся!

Почувствовав неуместность своего резкого тона, Мирон тут же дружелюбно рассмеялся, так что его слова не прозвучали упреком. Остаток вечера он был так мил, что Ольга, которую его холодная чопорность сперва напугала, отважилась даже пригласить его на бал, чтобы он посмотрел, как она будет танцевать.

— Очень сожалею, милая барышня,— улыбаясь, ответил Мирон,— что не смогу полюбоваться вами. Меня ожидает в деревне другой спектакль, менее приятный, но не терпящий отлагательства. Но я оставлю вместо себя Григорицэ, пусть он аплодирует вам и за меня!

Григоре, конечно, пошел на долгожданный бал, на котором присутствовало все высшее общество Бухареста. В зале Национального театра еще никогда не собиралась столь элегантная и изысканная публика. Даже на нумерованных местах галерки сидели знатные господа. Дамы из руководящего комитета общества «Оболул», суетливо перебегая с места на место, успевали шепнуть счастливыми голосами своим лучшим друзьям:

— Этот вечер будет вписан золотыми буквами в анналы Румынии.

Перед началом Григоре Юга, случайно повернув голову, увидел в кресле за собой Титу Херделю.

— О, рад вас видеть! Какими судьбами вы здесь, среди праздных господ? — радостно приветствовал он его.— Поговорим в антракте!

Титу пришел на бал по долгу службы — чтобы написать заметку для театральной хроники. Он надел свой черный костюм, но все-таки сперва смутился, увидев вокруг столько фраков. Приободрился он лишь после того, как убедился, что его собратья по перу одеты не лучше его, а некоторые из них пришли даже в повседневных костюмах, тем самым словно подчеркивая, что они здесь не развлекаются, а работают.

Сенсацией вечера оказалась Надина, исполнившая последнюю парижскую новинку — «танец апашей». Ее партнером был Рауль Брумару. Танцевали они так блестяще и темпераментно, что, уступая бурной овации фешенебельного общества, им пришлось бисировать свой номер. Титу, однако, не очень восторгался. «Госпожа Надина», как он называл ее сейчас, действительно красива и танцует прекрасно, но лучше бы она исполняла не такой разнузданный танец, а что-нибудь более соответствующее ее положению. Пока Надина металась по сцене с Раулем, Титу с любопытством наблюдал за Григоре. Тот смотрел спокойно, как посторонний зритель...

Гораздо больше Титу пришлась по душе хорошенькая девушка, исполнявшая сюиту румынских танцев. Фамилии ее он не знал, так как поостерегся купить программу, опасаясь, как бы распорядительницы, важные дамы, не заломили с него бог знает какую сумму в пользу благотворительного общества.

В антракте Титу и Григоре отошли покурить в уголок вестибюля. Титу был восхищен и, словно подозревая, что Григоре не разделяет его восторгов, старался его убедить в правоте студентов, протестовавших против пустых развлекательных представлений на иностранных языках — вот ведь высший свет смог поставить очень приятный и в то же время вполне румынский спектакль. В своем газетном отчете он намеревается, чтобы яснее подчеркнуть свою мысль, выделить девушку, выступавшую с румынскими танцами, и очень сожалеет, что не знает ее фамилии.

— Как же это вы, мой милый,— с шутливой укоризной заметил Григоре,— не узнали Ольгу Постельнику, свояченицу Пределяну?

Как раз в эту минуту к ним подошел Виктор Пределяну, и Григоре не преминул выдать Титу:

— Полюбуйся на него. Не узнал Ольги... Не знает фамилии исполнительницы, которая понравилась ему больше всех и которую он намеревается расхвалить в газете.

— Ольгуца будет счастлива, господин Херделя!.. Это не страшно, что вы ее не узнали. Просто вы должны навещать нас почаще, чтобы больше не забывать! — сказал Виктор Пределяну, пожимая им руки.

Они разобрали по косточкам всех участников концерта, старательно обходя, однако, имена Надины и Брумару. Одних энергично критиковали, других безудержно хвалили, как вдруг на них налетел Гогу Ионеску, взмокший от восторга, сияющий и охрипший. Он неистово набросился на них с тем же вопросом, с каким набрасывался на всех остальных:

— Ну, что вы скажете о Надине и Рауле? Изумительны, не правда ли?.. Потрясающе талантливы! А какой успех... Стены дрожали... такие были овации, что даже люстра закачалась!..

Заметив на лицах собеседников явное замешательство, Гогу понял, что допустил бестактность, и попытался тут же ее исправить. Запнувшись на миг, он продолжал с тем же воодушевлением:

— А что вы скажете о нынешнем необыкновенном сезоне?.. Потрясающе, не так ли?.. Я за всю свою жизнь не помню столько балов и пиршеств, сколько этой зимой. И подумать только, что я вынужден всюду бывать, так как Надина...

Он снова запнулся. Опять напомнил о Надине! Новая бестактность. Сплошное невезение! Все его воодушевление сразу испарилось, и Гогу глубоко вздохнул, вытирая вспотевший лоб:

— Честно говоря, меня все это утомляет... Все точно с ума посходили!

5

Ион Правилэ не мог открыто присоединиться к крестьянам, задумавшим купить Бабароагу: боялся, как бы старый барин не узнал об этом. А тогда ему несдобровать,— барин не только прогонит его с должности старосты, но так начнет притеснять, что совсем житья не станет. Конечно, барин человек добрый и милосердный, но только ежели не выходишь из его воли. До сих пор Правилэ извлек немало пользы из того, что был покорным и преданным. И все-таки сейчас он не в силах был сидеть сложа руки. Сердце не давало! Очень уж пригодился бы ему хороший кусок земли. Другой такой случай, как нынешний, не скоро подвернется.

Как только он узнал, что Мирон Юга поехал в Бухарест, наверно, ради поместья молодой барыни, Правилэ позвал к себе Луку Талабэ, и они решили, что несколько мужиков должны тоже поехать в столицу и попытаться там уговорить Надину. Если же они от нее ничего не добьются, то пожалуются высшим властям; ведь в других краях крестьянам пошли навстречу, подсобили им, дали возможность купить поместья и поделить между собой. Както раз, когда старостой был Лука, из министерства пришел даже специальный приказ. Там было сказано, что крестьянам надо со-

ветовать объединяться для покупки имений и что власти будут оказывать им поддержку. Хорошо бы, конечно, если бы в Бухарест поехало побольше людей и господа собственными глазами увидели бы, что земли требует весь народ, да вот расходы на дорогу большие, а денег взять неоткуда, мужики и так бедствуют. Староста, несмотря на свою всем известную скупость, даже вызвался самолично оплатить дорожные расходы за Петре, сына Смаранды,— тот совсем бедняк, но в Бухаресте будет им очень полезен, так как провел там три года, отбывая солдатчину.

Как только Мирон Юга вернулся в Амару, семеро ходоков пошли на железнодорожную станцию Бурдя и там сели на поезд. В Бухарест они приехали утром, но на улицу Арджинтарь добрались только к полудню. Их встретила на лестнице какая-то барышня в белом передничке и заявила им, что барыня только-только собирается вставать, так как допоздна веселилась. Пусть они подождут здесь, на улице, пока она их не позовет. Крестьяне терпеливо принялись ждать на улице. Других дел у них не было — только для этого они и приехали... Прошло довольно много времени, пока не вышла другая барышня. Она позвала их в дом и проследила, чтобы они хорошенько вытерли ноги. Барыня была в отличном настроении, говорила с ними ласково, позволила всем высказаться, но под конец ясно дала понять, что продаст поместье тому, кто предложит больше и выплатит все деньги сразу.

— Да ведь мы, барыня,— отважился возразить Петре,— потратились, ехали так далеко, оттого что надеялись на ваше доброе сердце, думали, пожалеете вы нас, войдете в наше положение, а вы...

Надина посмотрела на него с удивлением. Она узнала кучера, который недавно мчал ее на санях, и долго не сводила с него глаз, рассчитывая, что он оробеет. Но Петре выдержал ее взгляд спокойно, словно говоря, что перед бабой он не робеет, будь она даже барыней.

— А вы что же думаете, ради ваших прекрасных глаз я пущу на ветер свое состояние? — пренебрежительно спросила Надина.— Нет, милейший, нет, люди добрые! Я продаю имение, чтобы получить за него деньги, и не намерена раздать его другим, как милостыню. Подаяниями и благотворительностью пусть занимается государство, если оно этого желает!..

Ходоки остановились на углу улицы и долго обсуждали, как им быть дальше, пока холод не пробрал их до костей. Лишь тогда потащились они сквозь крепнувшую вьюгу к Гура Мошилор, где старый знакомый Петре еще по Костешти держал постоялый двор, в котором можно было заночевать по дешевке. Там они перекусили из своих припасов и снова допоздна толковали в комнатенке

рядом с кухней, куда их поместил на ночь хозяин. На второй день, как только рассвело, они направились прямо в министерство государственных имуществ. Здесь пришлось долго ждать во дворе.

— Публике вход разрешен только после одиннадцати! — крикнул им через решетчатую дверь какой-то барин с черной бородой.

Здесь же топтались и крестьяне из других краев, с теми же бедами и горестями, такие же взволнованные и оробевшие. Как только двери распахнулись, все, толкаясь, бросились внутрь. Коренастый, сердитый швейцар с длинной до пояса бородой остановил их.

— Потише, потише, не напирайте! Здесь вам не театр!.. Что надо, кого ищете?

Ходоки принялись уважительно рассказывать ему о своих мытарствах. Польщенный швейцар смягчился, но до конца не дослушал.

— Господин министр еще не пожаловал... Может, приедет попозже... Вы здесь обождите, обогрейтесь чуток...

Они прождали еще час, и затем швейцар объявил, что господин министр сегодня совсем не пожалует. Будет завтра. Ходоки поплелись обратно на постоялый двор и снова толковали, прикидывали до поздней ночи.

На второй день им повезло. Швейцар послал их наверх — господин министр приехал. Они долго блуждали по коридорам и наконец добрались до какой-то душной канцелярии, где толпилось много народа. Здесь их довольно дружелюбно встретил молодой, напудренный и улыбающийся господин:

— А вам что надобно, братцы? Что вас привело к нам? Откуда вы? Из Арджешского уезда, значит... Так, так...

Лупу Кирицою принялся рассказывать обо всем с мельчайшими подробностями... Напудренный господин слушал его терпеливо, но как только понял, о чем идет речь, сразу же перебил:

— А, значит, по вопросу о продаже поместья... Понял. Подождите минуту!..

Он нажал на кнопку, набросал две строчки на листке бумаги и вручил его посыльному, сказав:

— Вот что, братцы. Господин министр очень занят и никак не сможет потолковать с вами... Но я вас направлю к другому сановнику, тот уполномочен господином министром рассматривать и разрешать подобные вопросы, так что он рассудит по справедливости и поможет вам. Так-то, братцы... Посыльный, проводи их к господину генеральному директору!

Ходоки потянулись за посыльным по бесконечным коридорам, пока не предстали перед лысым, хмурым стариком, который вы-

слушал всю их историю от начала до конца. Лишь после этого он укоризненно спросил:

— Так что же вы хотите — купить поместье барыни или насильно отобрать у нее?

— Да ведь мы...— попытался возразить Лука Талабэ.

— Теперь помолчи! — оборвал его генеральный директор.— Вы уже достаточно наговорили. Я вас выслушал... Министерство не вправе и не уполномочено вмешиваться в деловые переговоры между лицами, продающими земельные участки, и лицами, желающими купить таковые, за исключением определенных случаев, предусмотренных законом, который к вашему делу не имеет отношения. А вы привыкли всюду совать свои лживые, необоснованные жалобы, вместо того чтобы по-честному прийти к согласию со своими господами и вести себя как порядочные люди. Теперь вам еще взбрело в голову требовать, чтобы вам отдали господские поместья за смехотворную цену, чуть ли не даром. Совсем обнаглели!.. Уймитесь, мужики, беритесь за ум, слушайтесь господ и работайте! Главное для вас — быть трудолюбивыми и не идти за смутьянами! Вы — опора нашей страны, на вас зиждется...

Из всего этого потока слов Лука Талабэ понял только одно: Бабароаги им не видать, все их хлопоты и расходы оказались напрасными. Поняв это, он не смог удержаться и громко воскликнул:

— Так, барин, почему же другие отбирают нашу землю?..

Он не успел закончить. Генеральный директор побагровел, словно ему выплеснули в лицо и на лысину полную чернильницу красных чернил, вскочил и заорал:

— Молчать, нахал! Замолчи сейчас же, не то отправлю в полицию, там тебе, мерзавцу, все ребра пересчитают!.. Я целый час говорю, трачу время, стараюсь их научить уму-разуму, объяснить, что к чему, а он и держаться пристойно не желает!.. Вы пошли по плохому пути,— уже спокойнее продолжал чиновник.— Не довольствуетесь тем, что дал вам бог, заритесь на чужое имущество! Опомнитесь! Возвращайтесь домой и честно трудитесь, труд составляет богатство нашей любимой родины! А если уж серьезно надумали купить поместье барыни, то попросите по-хорошему ее и остальных господ! Добрым словом многого добьешься, понятно?

Ходоки смотрели, не мигая, ему в рот, где сверкали золотые зубы. Хриплый голос директора напутствовал их до самой двери. Они долго бродили по коридорам, пока снова не очутились в приемной министра. Когда крестьяне выбрались из кабинета лысого старика, Лука посоветовал не отступать, а еще раз попытаться дойти до самого министра. Сейчас они еще не успели осмотреться в приемной, как на них налетел испуганный посыльный.

— В сторону, пропустите, пропустите, господин министр уходит!

Дверь кабинета министра распахнулась. В сопровождении знакомого ходокам молодого человека на пороге появился грузный барин в шубе, ботах и котиковой шапке, надвинутой на уши. На его желтом, одутловатом лице была написана скука. Заметив мужиков, министр подумал, что не мешает показать окружающей публике, что он человек не высокомерный и озабочен судьбой земледельцев, находящихся в ведении его министерства. Задержавшись на секунду, он устало спросил:

— А вам чего надо, братцы? Что вас сюда привело?

Молодой человек торопливо шепнул что-то министру на ухо, и тот прошел дальше, удовлетворенно добавив:

— Ах, так... так... Значит, уже побывали там!.. Вот и прекрасно! Директор вам все разъяснил. Вы его слушайте, он знает все ваши заботы и беды, знает, как вам помочь...

С этими словами он, не торопясь, стал спускаться по мраморным ступеням. Ходоки неподвижно стояли с шапками в руках. Остальные посетители быстро рассеялись.

— Пойдем и мы, тут, видать, больше делать нечего,— пробормотал Петре.

— Пойдем! — вздохнул Лука Талабэ, поглубже натягивая шапку.

Они пошли прямо на вокзал, надеясь попасть сразу на поезд либо переждать там ночь, потому что денег у них осталось только на билеты. На этот раз им повезло. Когда поезд тронулся, ходоки дружно перекрестились.

В вагоне было тепло. Пассажиров набилось много, в большинстве своем — крестьяне из уездов Яломицы, Мусчела, Телеормана и более дальних. В тепле языки развязались. Но ходоки из Амары мрачно сбились в углу, переживая свою обиду, и лишь изредка перебрасывались двумя-тремя словами. Один только Лупу Кирицою все жаловался, что они выбросили на ветер столько денег. Лука горестно согласился. Постепенно, словно пробуждаясь ото сна, они начали вспоминать пережитое, заново все взвешивать, оценивать, и каждый считал своим долгом что-то сказать, поправить другого или просто вздохнуть, добавив, что все могло бы повернуться по-иному, если бы им хоть малость повезло. В их невеселый разговор вскоре вмешались и попутчики, одни просто из любопытства, другие потому, что уже слыхали о подобных историях или сами пережили нечто похожее.

— Я-то говорил народу с самого начала, что господа не желают продавать земли мужикам, но они меня не послушали, вот я и пошел у людей на поводу! — жаловался старый Лупу, словно

хотел доказать всем присутствующим, что он человек рассудительный, не напрасно дожил до седых волос.

— Вот слушаю я вас, люди добрые, и диву даюсь: как же вы раньше того не знали, что всем хорошо известно! — вмешался красивый, статный мужик, опрятно одетый, с голубыми, очень добрыми глазами.— И в наших краях мужики тоже хотели купить поместья у бояр, только ничего у них не вышло, каждый раз другие господа встревали. Не хотят они, чтобы поместья попали в руки мужиков, боятся, что на их земле тогда некому будет работать. Год тому назад мы тоже, как вы, ходили, хлопотали, повсюду таскались, и тоже ничего не добились.

— А вы-то из каких мест будете? — спросил Лука Талабэ.

— Из-под Фокшан, коль слыхали,— ответил их спутник.— Далеко отсюда.

— Слыхали, как же! — похвалился Марин Стан.— Я бывал в тех краях, когда в армии служил, на маневрах... Стало быть, и у вас мужикам тяжко приходится?

— Тяжко! — вздохнул незнакомец, покачав головой.— Верно, даже тяжелее, чем здесь, хоть боги куда глаза глядят. Думаешь, я от хорошей жизни повсюду скитаюсь с торбой на плече, иконами торгую? Горе одно! Ни отцы, ни деды мои никогда этим не промышляли. А только куда податься, коли надрываемся в поле с женой и с детьми от весны до самой зимы, а на пропитание все одно не хватает? Вот и перебиваюсь я этими иконами, пока, даст бог, и мы получим землю! У нас мужики надеются, что не сегодня-завтра король начнет раздавать поместья. Много лет уж об этом толкуют.

— Толковать толкуют, что правда, то правда,— поддакнул из своего угла низкорослый мужичок с красным, вспотевшим лицом.

— И у нас люди о том же говорят,— заметил Лупу Кирицою, поглядывая на мужичка, что сидел в углу,— только не верится мне, что бояре позволят это королю. Они не дураки, а в их руках — вся сила.

— Вот, вот, и я хотел то же самое сказать! — поддержал его торговец иконами.— Король сам ничего не сделает, коли никто ему не поможет, а господа противиться будут. Слыхали? Будто у москалей их царь сам начал раздавать мужикам господские поместья. А ведь как у них получилось в том году? Поднялись москали, стар и млад, взялись за топоры и такой раздули пожар, что молва по всему миру пошла. Правда, многие из них головы положили, потому как бояре тоже не сидели сложа руки и наслали на мужиков кавалерию да пушки, чтобы, значит, их усмирить. Но ихний царь, как увидел, сколько крови людской льется и народ

гибнет, пожалел их всех и дал строгий приказ: «А ну-ка уймитесь, честные бояре, и вы, мужики, рассужу я вас по справедливости и помирю вас!» Ну, все его, конечно, послушались, унялись и разошлись по своим домам. А после этого принялся царь отрезать наделы от господских поместий и раздавать мужикам, чтобы не бедствовали они больше...

В вагоне наступило тягостное молчание, и только желтоватые огоньки свечей дрожали, отбрасывая во все стороны странные, пляшущие тени. Кое-кто из крестьян вздохнул. Петре, который до сих пор не открывал рта, выпалил, сверкнув глазами:

— Так и у нас ничего не выйдет, пока за топоры не возьмемся!..

Он осекся, как будто слова вырвались прямо из сердца, помимо его воли. Мужики их расслышали, но никто не повернул к нему головы. Один лишь Лупу Кирпцою отозвался негромко:

— Помолчи, Петрикэ, помолчи уж!

Снова воцарилось молчание. Чугунные колеса глухо громыхали, как отзвук далекого колокола. В мраке окон извивались космы дыма, расцвеченные тысячами сверкающих искр. В спертом воздухе вагона, среди слабого мерцания свечей и пляски теней, казалось, еще звучал, как испуганное эхо, голос старика:

— Помолчи, Петрикэ, помолчи уж!

ГЛАВА VI
ВЕСТНИКИ

1

Платамону с удивлением заметил, что его приказчик и ближайший помощник Кирилэ Пэун ходит подавленный, будто с ним случилось какое-то несчастье.

— Что с тобой, Кирилэ, что за беда у тебя стряслась?

Кирилэ злобно посмотрел на арендатора и мрачно ответил:

— Чего уж там спрашивать, барин, сами лучше меня знаете, поди, это ваш сын...

— Да что тебе сделал мой сын, Кирилэ? — еще больше удивился арендатор, охваченный дурным предчувствием.

— За то, что он сделал, пусть господь бог его покарает, коли люди не смогут! — угрюмо буркнул Кирилэ.— Надругался он над нами, опозорил перед всем селом. Никогда я такого не ждал, всегда служил вам верой и правдой.

Платамону растерялся. С тех пор как Кирилэ с дочерью работали на усадьбе, он все время опасался, как бы Аристиде не стал приставать к девушке. Он его даже предупреждал, и вот — все равно не помогло. Теперь он не знал, как утешить Кирилэ, и все уладить. Сперва подумал, что неплохо бы свести дело к шутке, и, похлопав приказчика по плечу, дружелюбно заметил:

— Ладно, Кирилэ, будь разумным человеком, с молодыми всякое бывает, и ничего, мир от этого пока не рухнул. Мы еще подумаем, поглядим, что к чему...

— Нет, барин! — не принял шутливого тона Кирилэ, почувствовавший себя еще более оскорбленным.— Вам-то что, можете рассуждать спокойно, а нам с девкой как быть? Как ее замуж выдадим — брюхатой или с мальцом в подоле, на смех людям?

— Ты, Кирилэ, говори да не заговаривайся! — неуверенно перебил его Платамону, не зная, что сказать.

— Ладно, барин, пусть так! — продолжал Кирилэ.— Бог-то сверху все видит, он нас и рассудит... Только вы ищите себе другого человека, а мне дайте расчет, я на вас работать больше не стану. Советовали мне люди не соваться в пекло, да я их не послушал. Пусть бог вас накажет, а уж мы с вами рассчитаемся в другой раз.

Платамону испугали горечь и отчаянная смелость, прозвучавшие в голосе обычно покорного Кирилэ.

Он тут же помчался к сыну, который вернулся из Бухареста, где проторчал целый месяц, но не сдал ни одного экзамена, и сейчас снова прохлаждался дома.

— Что ты наделал, сынок? — крикнул он, но вид у него был куда более испуганный, чем только что, когда он разговаривал с крестьянином.— Не оставил в покое даже дочку Кирилэ, и теперь...

— Да не делай ты из этого трагедии, папочка! — снисходительно усмехнулся Аристиде.— Гергина девушка смазливая. Не мог же я волочиться за какой-нибудь деревенской образиной!

— Так-то так, однако... — попытался возразить Платамону таким же испуганным голосом, но в душе чуть успокоившись при виде безмятежной уверенности сына.

— Знаю, знаю! — снова перебил его Аристиде.— Мне Гергина уже давно все сказала, наплакалась. Я ее долго учил, что надо сделать, даже деньги предлагал, ведь не так много и нужно, но она сама не захотела... Кто же виноват в том, что теперь все узнают и она станет посмешищем? Послушай она меня, никто, даже ее собственная мать бы не узнала, и все было бы хорошо... Теперь, конечно, ничего не поделаешь, придется тебе попозже что-то предпринять, возможно, даже немного раскошелиться, чтобы унять Кирилэ и Гергину. Ты уж сам сообрази, под каким соусом это луч-

ше сделать, ты ведь человек умный и умеешь ладить с крестьянами!

— Это уж конечно! — согласился Платамону, окончательно успокаиваясь.— Не стоит раздувать историю. Правда, лучше бы не доводить до этого... Ну да ладно!

Кирилэ Пэун не находил себе места от обиды и боли. Когда жена рассказала ему, что стряслось с дочерью, он избил обеих. Потом пожалел об этом, подумав, что сам во всем виноват — позарился на больший заработок и нанялся на службу к арендатору, хотя был наслышан о норове его сынка.

Он чувствовал настоятельную потребность хоть как-то отвести душу, особенно когда вернулся из поместья в Амару. Ведь завтра-послезавтра узнает все село. Как он после такого позора покажется людям на глаза? Кирилэ пошел к священнику Никодиму, рассказал ему все, долго жаловался и попросил совета. Священник и сам был расстроен и угнетен своими невзгодами. Он уже давно плохо видел, а теперь ему стал изменять слух. Уразумев наконец, в чем дело, он перекрестился и громко позвал дочь:

— Послушай только, Никулина, что за беда стряслась у несчастного Кирилэ.

Никулина возмутилась, принялась клясть арендатора и его сынка и, в свою очередь, позвала мужа:

— Слышишь, Филип, какое безобразие учинил над дочерью Кирилэ молодой Платамону, студент!..

Филип внимательно выслушал, с осуждением покачал головой и медленно, размеренно спросил:

— Так что ж ты думаешь делать, Кирилэ?

— Потому я и пришел к батюшке, чтобы он меня надоумил, как быть, а то я просто и не знаю, на каком я свете,— пробормотал Кирилэ, не поднимая глаз.

— Гм! — только хмыкнул в ответ Филип и, помолчав, еще раз хмыкнул столь же многозначительно.

Кирилэ Пэун так и ушел, не получив никакого совета, но на душе у него немного полегчало, верно оттого, что он поделился своим горем с другими людьми и послушал, как они ругают арендатора. Ближе к вечеру он пошел к учителю Драгошу. О беде Гергины там уже знали, как, впрочем, знали во всем селе. Весть о проделке Аристиде, дошла даже до Мирона Юги и так глубоко его поразила, что он заявил в присутствии Исбэшеску и приказчика Бомбу:

— Вот какими гадостями они занимаются, а мы еще удивляемся, что крестьяне ропщут и бунтуют.

В доме учителя, в ожидании возможного прихода Кирилэ, разгорелся ожесточенный спор. Николае, брат учителя, узнал о

беде Гергины от Петре Петре, которого случайно встретил на улице. Николае так и кипел от негодования и ярости. Он уже давно собирался жениться на Гергине и говорил всем, что другой такой девушки нигде не найти.

— Видишь, как хорошо, что ты не поторопился! — сказала ему Флорика.

— А я думаю, как раз наоборот, если бы ты не откладывал и женился сразу, как полюбил, этот кобель не посмел бы надругаться над бедной девушкой! — сочувственно заметил Драгош.

Николае злобно выругался и попросил брата как-нибудь помочь Кирилэ, чтобы такое издевательство не осталось безнаказанным.

— Ну уж нет! — горячо вскинулась Флорика.— Ты, Ионел, послушай меня и не встревай. Сам знаешь — когда ты поступал по-моему, все выходило как нельзя лучше, а когда не слушал, одни беды на нас валились! Пусть каждый сам о себе думает, не ты же советовал Кирилэ наняться к Платамону, он сам, по своей воле пошел. Сам запутался, пусть сам и выпутывается...

Кирилэ Пэун пришел, как раз когда они, чуть поостыв, заговорили о другом, а Флорика зажигала лампу. Все слушали его очень внимательно, но как только он кончил, Флорика, опасаясь за мужа, сухо заметила:

— Да, плохи твои дела, дядюшка Кирилэ! Надо было тебе с самого начала поостеречься, ты ведь знал заранее, что за гусь сынок арендатора!

— Хуже некуда, сам вижу! — подтвердил Кирилэ, печально посмотрев на нее.— Кабы человек знал заранее, что ему грозит, то поостерегся бы, а так...

— Пожадничал ты и нанялся к арендатору, а Гергина теперь расплачивается,— укоризненно проговорил Николае.

— Да не ругайся хоть ты, парень, меня и так бог наказал! — горестно отмахнулся Кирилэ.— Я-то ведь знал, что у тебя с Гергиной любовь, потому и не стерег ее так строго, на тебя надеялся!

— Я так этого все равно не оставлю, переломаю ему ноги! — скрипнув зубами, выдавил Николае и выскочил из дома, не в силах больше слушать эти разговоры.

Кирилэ Пэун просидел у учителя до самого ужина и ушел, немного успокоившись. Каждое доброе слово было для него настоящим бальзамом.

Теперь он рассказывал о беде Гергины всем, кого только встречал. Староста посоветовал ему набраться терпения — авось все образуется. Лука Талабэ сказал несколько сочувственных слов и тут же принялся подробно расспрашивать о Платамону: не зна-

ет ли Кирилэ, какую цену тот предложил за Бабароагу и сколько потребовала барыня.

Один лишь Трифон Гужу, когда Кирилэ все ему рассказал, хмуро ответил:

— Так-то оно так, дядюшка Кирилэ, только у тебя хоть амбар хлебом набит, а мне-то что делать, коли у меня полон дом детишек, а уже с самого крещения ни зернышка кукурузы не осталось?

— Твоя правда, Трифон! — согласился Кирилэ. — У каждого свои невзгоды.

— Когда брюхо набито, то и беда полегче кажется! — буркнул Гужу.

Кирилэ рассказал о своем несчастье даже Пантелимону Вэдуве, приехавшему на два дня в отпуск из полка. Военная форма очень шла Пантелимону. В казарме он старался вести себя примерно, опасаясь, как бы его не наказали и не лишили отпусков. Его мучил страх, что, пока он в армии, Домника его забудет и выйдет замуж за другого.

Петре Петре тоже еще не женился. Он давно уже приглядел себе невесту — дочку Ирины Марноару, которая прислуживала в усадьбе Мирона Юги, но из-за бедности все откладывал свадьбу. Теперь, узнав о беде Гергины, Петре решил больше не тянуть и обстоятельно обсудил все с матерью, которую намерение сына очень обрадовало. Она и до того не раз советовала ему жениться, и, послушай ее Петре, он уже давно бы зажил собственным домом. Смаранда на второй день пошла сговариваться с матерью Марноары, а потом и с ее теткой Профирой.

Как раз когда они сговаривались да рядились, Петре повстречал Кирилэ, и тот тоже рассказал ему о том, какие муки он принимает из-за арендатора. Петре выслушал и процедил сквозь стиснутые зубы:

— Я, дядюшка Кирилэ, не простил бы ему этого ни в жисть, хоть бы меня потом убили!

— Твоя правда, Петрикэ, твоя! — униженно согласился Кирилэ.

2

К Титу Херделе неожиданно нагрянул в редакцию священник Белчуг из Припаса. Он был хорошо одет, в новом пальто и новой рясе, с аккуратно подстриженной бородкой, опрятный и нарядный, как жених. Таким Титу никогда его не видел.

— Я получил субсидию за шесть месяцев и приехал, а то призовет меня всевышний к себе и помру, так и не повидав род-

ной страны! — сказал Белчуг с робкой, но в то же время радостной улыбкой.— Приехал сегодня утром и из гостиницы — прямо к тебе, чтобы не блуждать яко слепец по городу, пока я тут ничего не знаю.

Отец Титу, стремясь возвысить своего отпрыска в глазах священника, сказал ему, что сына легче всего найти в редакции газеты «Драпелул». Титу представил Белчуга секретарю редакции, а потом вышел с гостем, чтобы пройтись по центру города и спокойно побеседовать. Священник должен был ему рассказать о всех новостях Амарадии, крупных и мелких, а главное — о свадьбе Гиги, о которой мать кое-что написала, но не так подробно, как Титу хотелось.

Затем Титу стал показывать священнику Бухарест. В первую очередь он повел его к памятнику Михая Храброго, где Белчуг благоговейно осенил себя крестным знамением и даже, по совету Титу, оторвал от венка, бог знает с каких пор висевшего на решетчатой ограде, увядший листик, чтобы сохранить его как драгоценную реликвию и показать дома. Они заглянули в несколько церквей и музеев, побывали в больших магазинах. В палате депутатов и в сенате им не повезло,— они попали на обыденные, скучные заседания и не услышали ни одной важной речи, но Белчугу все равно там понравилось, как ему нравилось все, что он видел и слышал, словно и не могло быть иначе, раз он совершил такое далекое путешествие и потратил столько денег. А Национальный театр, после того как они побывали там вместе два раза, священник до того полюбил, что стал ходить туда почти каждый вечер.

Через неделю он уже не нуждался в Титу и сказал, что не хочет больше отнимать у него свободное время. Белчуг разыскал в Бухаресте нескольких старых знакомых, в том числе почтового служащего и аптекаря, бывших своих соучеников по школе в Амарадии. Познакомился он, разумеется, и с семьей Гаврилаш и раза три даже обедал у них, восхищаясь кулинарными способностями пухленькой госпожи Гаврилаш и нахваливал Титу за то, что он так удачно устроился столоваться.

Хотя вначале Титу было очень приятно проводить время со священником из родного села, но он тоже вздохнул с облегчением, когда смог наконец оставить гостя одного. Прогулки потребовали от Титу некоторых расходов — ему несколько раз пришлось обедать с Белчугом в ресторане, а тому даже в голову не приходило угостить Титу. Наоборот, он сам бывал рад-радешенек, когда за него платили. Мало того, Титу в какой-то степени запустил и свою работу в газете, и Ронну упрекнул его в том, что он идет по стопам остальных своих собратьев.

Через несколько дней после приезда священника Титу попал в очень неприятную историю и боялся, как бы Белчуг не узнал о ней и не раззвонил по всей Амарадии.

Танца приходила к Титу все чаще, конечно, в отсутствие госпожи Александреску. Он просил ее быть осторожнее, но она отвечала, что любит его, а потому никого и ничего не боится. Титу чувствовал себя виноватым, но не смел проявить настойчивость и объяснить Танце, что ее могут увидеть соседи по двору или госпожа Александреску, и тогда они оба станут посмешищем.

Опасения Титу вскоре оправдались. Даже его ученица Марноара Рэдулеску, по-видимому, что-то заподозрила и стала за ним следить. К счастью, придя как-то обедать, Титу обнаружил, что Марноара исчезла. Госпожа Гаврилаш с возмущением рассказала ему, что выгнала жиличку, так как застала ее врасплох на улице, где та болтала и целовалась с каким-то пожилым мужчиной, «почти ровесником господина Гаврилаша». Она горько жаловалась, что Марноара, которую она баловала и чуть ли не на руках носила, совсем как собственную дочь, оказалась распутницей. Правда, она уже давно заметила, что та заглядывается на молодых людей, но считала, что это вполне естественно — ведь девушка не собирается в монахини. Но уж если она бесстыдно связывается на улице со стариками, значит, разврат у нее в крови.

— Не знаю, как она вела себя с вами, господин Херделя,— печально закончила госпожа Гаврилаш,— но вы не сердитесь, что я ее выгнала. Таких распутниц теперь хоть отбавляй.

Через несколько дней, попрощавшись в сумерках с Белчугом, Титу помчался домой, чтобы встретить Танцу, которая еще накануне предупредила его, что придет, так как Жан и госпожа Александреску вновь засидятся допоздна за покером у ее родителей. После двух упоительных часов Титу зажег свечу, чтобы Танца могла быстро одеться и не опоздать домой. Но Танце совсем не хотелось оставлять теплую постель. Она потягивалась, мурлыкала, ластилась, как белый, избалованный котенок. Любуясь ею, Титу вообще не дал бы ей уйти, но ради нее же сдерживал свою страсть, опасаясь, как бы ее не стали ругать дома. Но Танца, словно стараясь его раззадорить, все хохотала и повторяла:

— Покажи, как ты меня любишь, Титу, родной!

— Ну зачем ты меня дразнишь и заставляешь терять голову? — пробормотал Титу.— Ты же прекрасно знаешь, что я только ради тебя, ради твоих интересов стараюсь себя сдержать. Будь моя воля, я бы не отпустил тебя до утра!

— Раз так, то я и не уйду до завтра! — воскликнула Танца, опустилась на спину и натянула одеяло, чтобы лучше укутаться.— Задуй свечу и...

Титу кинулся ее обнимать, но девушка стала отбиваться.

— Нет!.. Нет!.. Оставь меня!.. Я попутила, милый...

— Теперь уж все! — пылко шепнул Титу.— Никуда ты не уйдешь.

Раздавшийся в эту секунду негромкий стук в дверь застал их врасплох, и оба застыли в объятии. На несколько мгновений воцарилась тишина. Танца, широко раскрыв от испуга глаза, натянула одеяло до самого подбородка, а Титу подкрался на цыпочках к двери, знаками показывая Танце, чтоб она не двигалась, и хрипло спросил:

— Кто там?

— Я... я... Да вы не беспокойтесь! Разрешите войти... только на секунду...— ответил чей-то голос из коридора.

От волнения Титу не узнал его. Танца в отчаянии замотала головой и шепнула оторопело уставившемуся на нее Титу:

— Это Жан...

Титу еще больше растерялся и снова спросил:

— Это вы, господин Жан?.. Что случилось?

— Ничего... ничего... Только я вас очень прошу впустить меня на минутку! — продолжал тот настойчиво.

Титу испуганно и вопросительно посмотрел на Танцу, которая, неожиданно решившись, шепнула ему: «Спрячь мою одежду»,— и с головой нырнула под одеяло.

Титу лихорадочно собрал одежду, раскиданную по стульям, рубашку, валявшуюся на полу рядом с постелью, и спрятал все за шкаф, негромко приговаривая, чтобы как-нибудь объяснить задержку:

— Да... да... сейчас открою, только надо... вот сейчас... я лежал в постели...

Он повернул ключ, и Жан, улыбаясь, вошел в комнату.

— Извините, что я ворвался к вам так бесцеремонно, но... А вы разве один?

— Конечно. Кому ж еще здесь быть? — запинаясь, ответил Титу.

— Мне послышались голоса, потому я и постучал. Я пришел кое-что взять из комнаты Ленуцы и...

Жан говорил без умолку, заинтригованно и подозрительно оглядываясь вокруг. Собственно говоря, он пришел без ведома госпожи Александреску, которую оставил у своих родителей за увлекательной партией в карты. Ушел он под предлогом, что у него разболелась голова и он хочет побыть на воздухе, вместо того чтобы глотать пороши... Уже больше месяца назад его представили единственной дочери вице-директора его министерства, хорошенькой девушке с приданым. Барышня как будто прониклась

к нему симпатией, и он при третьей встрече намекнул ей, что у него самые серьезные намерения. Для него это было бы блестящей партией, так как вице-директор, один из столпов министерства, несомненно, оказал бы ему протекцию по службе. Заручившись согласием девушки, Жан, в глубокой тайне от Таицы, которая могла бы проговориться Лепуце, открылся обрадованным донельзя родителям. Чтобы избежать скандала, он решил постепенно и украдкой перетащить домой все свои вещи, которые держал у госпожи Александреску, а затем, в один прекрасный день прислать вместо себя отца, чтобы тот объяснил ей, в чем дело, и убедил оставить Жана в покое...

На этот раз он тоже забежал, намереваясь кое-что прихватить. В темной комнате он не нашел спичек, а свои оставил Лепуце, чтобы она положила, на счастье, спичечный коробок на деньги, предназначенные для игры. Продвигаясь ощупью по коридору к выходу, он услышал голоса в комнате квартиранта. На миг он заколебался: возможно, тот с женщиной, удобно ли его беспокоить? Потом подумал, что глупо возвращаться ни с чем только из-за того, что у него нет спичек. А теперь оказалось, что Титу один! Непрерывно болтая, Жан шарил глазами по комнате, пока не заметил на столе, рядом со свечой, фетровую дамскую шляпку, похожую на пятно тени. Он подмигнул Титу и лукаво воскликнул:

— Ну и повеса же вы, ну и повеса!

Захваченный врасплох Титу рассердился:

— Я вас прошу... Вам не кажется, что это уж слишком? Я встал, открыл вам, и довольно. Скажите, что вам угодно, и...

Но Жан уже не мог побороть своего любопытства: куда могла исчезнуть женщина? Он ответил, продолжая обшаривать глазами все углы комнаты:

— Спичку.

Титу сел на край постели и, указывая на коробок, лежащий на ночном столике, угрюмо буркнул:

— Пожалуйста! И...

— Спасибо, моншер, вы уж не обижайтесь за то, что... Ухожу... ухожу...

Жан подошел к ночному столику, протянул руку за спичками и только тогда заметил, что под одеялом кто-то лежит. Он взял спички и весело сказал:

— Значит, вот где она!.. Ну и ну!.. А мне бы и в голову не пришло... Ладно, не буду вам больше мешать! Да не смотрите вы на меня так сердито, я ведь не болтун, можете спокойно продолжать...

Направляясь к двери, Жан галантно добавил:

— Извините меня, мадемуазель, за беспокойство!

Он громко рассмеялся, открыл дверь, но на пороге, подмигнув, спросил Титу:

— Вы мне только скажите, повеса, она — хорошенькая?

Нервное напряжение Титу дошло до предела, но он все еще колебался, не зная, дать ли волю гневу или стерпеть. Как раз в это мгновение он сказал себе, что, собственно говоря, нужно было схватить Жана за шиворот и выставить вон и что он уже допустил большую ошибку, открыв ему и впустив в комнату. Желая быстрее от него избавиться, Титу презрительно отвернулся и ничего не ответил. Жан снова подошел к нему:

— Ну, почему вы сердитесь, мопшер? Я ведь не съел эту...— Он не договорил, любопытство окончательно взяло верх, он молниеносным движением приподнял одеяло, наполовину раскрыв Таццу, и лишь тогда галантно закончил: — Эту прелестную барышню!

Однако он тут же узнал сестру, и любопытная улыбка, расплывшаяся на его лице, превратилась в кислую гримасу. Придя в себя, он укоризненно продолжал:

— Ах, так вот кто эта прелестная барышня! Очень мило с твоей стороны, ничего не скажешь! Как тебе только не стыдно! Позор!

Титу вскочил, не зная, что делать. Он понимал, что нужно вмешаться, и в то же время сознавал, что его вмешательство отдает дешевым романтизмом, совершенно не подходящим к обстоятельствам.

— Я вас попрошу, сударь...

— Она моя сестра, и я вправе надрать ей уши,— заявил Жан с важностью, тоже показавшейся Титу совершенно неуместной.

— Вот что, Женикэ,— хладнокровно возразила Танца,— ты прекрасно знаешь, что я не разрешу тебе читать мне мораль! Ни сейчас, ни когда-либо еще! Это тебе должно быть известно раз и навсегда! Так что ты уж лучше занимайся своей... Лепуцей, а нас оставь в покое!

Ее хладнокровие и твердость привели Жана в замешательство, он растерялся, промямлил что-то невнятное, положил спички обратно на тумбочку и наконец заявил, тщетно пытаясь придать своему голосу повелительный оттенок:

— Ладно, об этом мы поговорим позже... А сейчас немедленно одевайся и марш домой. Немедленно! Я не тронусь с места, пока ты не уйдешь!

— Я уйду, когда найду нужным,— презрительно отрезала Танца,— ты прекрасно знаешь, что твои приказы не производят на меня никакого впечатления, абсолютно никакого!

— Значит, так? Ты еще смеешь мне прекословить! — закричал Жан, найдя удобный предлог, чтобы с достоинством удалиться.— Хорошо! Оставайся и продолжай оргию! Но можешь быть уверена, что ты за это ответишь!

Титу, совсем растерявшись, закрыл за ним дверь. Танца, пытаясь улыбнуться, заметила:

— Этот идиот оставил дверь открытой и выстудил всю комнату.

Все-таки она быстро оделась. Титу очень хотелось сказать ей какие-то подбадривающие или хотя бы ласковые слова, но он боялся показаться смешным. Танца, наоборот была совершенно спокойна, словно ничего не случилось. Титу оставалось лишь удивляться ее выдержке, так как он был уверен, что Жан обязательно устроит скандал. Он просто не подозревал,— Танца ничего ему не сказала,— что ее спокойствие имеет под собой твердую почву: мать уже успела ей рассказать о плане Женикэ бросить Ленуцу. Когда Женикэ узнает, что его тайна известна ей, он не посмеет выдать сестру, опасаясь, как бы она, в свою очередь, не выдала его.

— Ты меня любишь, дорогой? — спросила на прощание Танца, прильнув к Титу.

— Бесконечно, моя прекрасная любовь,— с дрожью в голосе ответил он.

В течение двух дней Титу терзался страхом, ожидая с минуты на минуту страшного взрыва. Жана он больше не встречал, от Танцы не было никаких вестей, а госпожа Александреску как ни в чем не бывало щебетала о своих любовных делах.

Титу уж думал, что, по-видимому, все обошлось, когда на третий день, после полудня, госпожа Александреску позвала его к себе в комнату. Она была дома одна и чем-то опечалена.

— Что же это вы, господин Херделя, наделали?.. Женикэ рассказал мне все, он не захотел расстраивать своих бедных родителей. Как же так? Разве можно злоупотреблять доверием невинного ангелочка? Такого я от вас не ожидала, клянусь! Я думала, трансильванцы люди скромные, сдержанные, а на поверку что вышло?.. Ведь я ввела вас в их дом с самыми лучшими намерениями, а не для того, чтобы вы насмеялись над невинной девушкой. Ну а теперь как вы намерены поступить? Ведь если узнает старик, а он исключительно щепетилен в вопросах семейной чести, он может пустить в ход револьвер.

Титу прекрасно понимал, какого именно ответа ждет его хозяйка, но пойти на это не мог. Он сказал, что, разумеется, любит Танцу, что их любовь — не временное увлечение, но затем принялся плести что-то невразумительное о неустроенности и зыбкости своего положения и о видах на будущее, когда можно будет

закрепить их любовь... Однако скоро он заметил, что испугался напрасно,— госпожа Александреску ни на чем не настаивала. Все ее мысли были заняты Жаном, и только Жаном! А Жан категорически запретил ей принимать у себя Таццу, пока Титу у нее на квартире. Из-за Жана госпожа Александреску просто попросила Титу подыскать себе другую комнату, благо месяц кончался. Впрочем, она бы ему отказала и независимо от последнего происшествия, так как его комната, возможно, понадобится Мими. Она не хотела ему говорить, даже Жану не рассказывала, что на днях муж Мими застал ту врасплох, как раз когда она выходила из квартиры одного из своих старых поклонников, и теперь они обсуждают условия развода. Василе не простит Мими, он твердо решил выгнать ее из дому, если она сама не уйдет по доброй воле.

Через два дня Титу нашел себе за ту же цену лучшую комнату на улице Импримерии, гораздо ближе к редакции и к центру. Супруги Гаврилаш, которые в последнее время повздорили с другими жильцами и уже с месяц как надумали переехать, задерживались только из-за Хердели, тоже подыскали себе подходящую квартиру на той же улице. Когда Титу показал священнику Белчугу свою новую комнату, тот одобрительно заметил:

— Очень хорошо, что ты вырвался оттуда, мой дорогой поэт! Мне очень не понравилась та старая госпожа, размалеванная, как актерка. Все-то она распевала, глазами по сторонам зыркала и вертелась так, будто готова была любому броситься на шею. Таких женщин надо остерегаться, они наверное весьма опасные...

3

— Как нам быть, барин, с мужиками, не хотят они подряжаться на старых условиях, да еще угрожают мне! — жаловался Козма Буруянэ Мирону Юге.— Не думал я вас беспокоить этим делом, но очень уж опасный оборот оно принимает. Мужики словно с ума посходили, или другое что на них нашло, только совсем они озверели... Я их никогда такими не видел.

Мирон Юга наконец простил Козме неприглядную историю, которую тот затеял осенью с кукурузой. Сейчас он жалел арендатора, но все-таки не мог сдержаться, чтобы не заметить:

— Ты только поосторожнее, а то, может, тебе снова это все мерещится, как тогда с кражей.

— За ту оплошность я с лихвой поплатился,— покорно вздохнул Козма.— Каждую ночь, начиная с самого рождества, меня обкрадывают, да я уж не смел ничего вам говорить и все терпел. Но сейчас положение стало слишком серьезным.

Потом он рассказал Юге, что крестьяне между собой сговорились,— если даже подрядятся работать на помещиков, в поле все равно не выходить, пока им не уступят поместье Бабароагу, которое барыне без надобности и она собирается продать его другим помещикам. Они, мужики, не хотят дальше жить без земли, они на ней трудятся, проливают пот и кровь, и земля должна принадлежать им. Ведь так считает сам король и даже многие бояре, но только те, что стоят сейчас у власти, противятся и принуждают крестьян дальше мучиться. Все это рассказали Буруянэ верные люди, так что можно не сомневаться.

— Вот вам плоды демагогии, если все действительно так, как ты говоришь! — буркнул старик.— Меня только удивляет, что я ничего не слыхал обо всех этих делах.

— Так вам, барин, они не смеют ничего сказать! — объяснил Буруянэ.— Боятся, да и стыдно им.

Юга не очень торопился подряжать людей на этот год, так как намеревался внести в условия найма кое-какие изменения, которые он считал выгодными и для себя и для них. Впрочем, часть крестьян подрядилась к нему еще осенью, так что он был уверен, что перебоев в работе не будет... Все-таки он вызвал тут же приказчика Леонте Бумбу, который признался, что мужики говорили с ним о каком-то пересмотре условий и даже кое-кто из тех, кто подрядился осенью, сейчас заявляет, что не выйдет на работу, если все останется по-старому. Мирон Юга недоуменно уставился на приказчика, и тот испуганно добавил, что мужики так болтают перед каждой весной, шумят, ерепенятся, а потом, не найдя иного выхода, соглашаются и берутся за работу.

— Не то говоришь, Леонте, уж слишком ты легко к этому делу относишься! — озабоченно возразил Буруянэ.— Правда, и в прошлые годы люди ворчали, но такого, как в нынешнем, еще никогда не бывало. Я-то ведь тоже знаю мужиков, с ними всегда жил и живу...

— Так времени-то у нас впереди еще много,— неуверенно заметил Бумбу,— даже снег еще не весь сошел с полей.

Мирон Юга постарался ничем не выдать своего беспокойства, хотя то, что он услышал, не на шутку его встревожило. Трусливый арендатор плачется, как всегда, и, конечно, преувеличивает опасность. Но принять некоторые меры предосторожности, во всяком случае, не мешает. Он велел приказчику приступить с завтрашнего дня к заключению подрядов с мужиками и за неделю с этим покончить. От задуманных изменений он отказался. Раз мужики озлоблены, они могут расценить их как невыгодные для себя.

На третий день Леонте Бумбу известил барина, что ни один из крестьян еще не подрядился на работу и все хотят просить

более выгодных условий, так при старых они больше жить не могут.

В тот же день, после полудня, к Мирону Юге пришел учитель Драгош. С рождества он уже побывал у него два раза по школьным делам. Старик принял его тогда вполне благосклонно, памятуя о приятном сюрпризе с колядками; он даже упрекнул себя за то, что раньше судил об учителе слишком строго, руководствуясь какими-то, возможно, поверхностными впечатлениями, хотя учитель, по всей видимости,— человек разумный и серьезный. Несмотря на то что сейчас Мирон из-за сообщения приказчика был не в духе и ему никого не хотелось видеть, он подумал, что от этой встречи может быть толк,— учитель способен благотворно повлиять на мысли и настроения крестьян, помочь восстановлению спокойствия и порядка. Он попросил Драгоша сесть, угостил вареньем, осведомился о школьных делах... Тот был чуть бледен. На его лице было написано глубокое волнение, руки дрожали.

— Я вас заговорил и даже не спросил, по какому делу вы пожаловали,— дружелюбно заметил Мирон.— Пожалуйста, говорите, а потом и я с вами кое о чем потолкую.

Учитель, еще больше побледнев, нервно барабанил пальцами по коленям.

После первых же своих слов он увидел, что Мирон Юга нахмурился. Но это не испугало Драгоша, а, наоборот, раззадорило и побудило продолжать тверже и спокойнее.

— А собственно говоря, вам-то что нужно? — внезапно перебил его старик.

Но окрик не сбил Драгоша с толку, и он объяснил, что ему лично ничего не надо, но он осмелился прийти и изложить беды крестьян лишь потому, что все они слишком возбуждены из-за голода и страшной нищеты. Крестьяне по-прежнему считают Мирона Югу отцом родным и надеются, что он облегчит их судьбу. Существующие условия найма невыносимо тяжелы. Большинство крестьян всю зиму буквально голодали. Ценой сравнительно небольшой жертвы можно было бы облегчить им всем жизнь...

— Вы от чьего имени говорите? — снова перебил его Юга.

— От имени крестьян, господин Юга! — просто ответил Драгош.

— Они поручили вам передать их требования?

— Нет, мне никто ничего не поручал, господин Юга, но они мне жаловались, и я счел себя обязанным...

— Раз так, то прекратите! — строго приказал старик.— Я не нуждаюсь в посредниках, чтобы узнать, что нужно моим крестьянам. Посредники вроде вас — сущее несчастье для крестьян. Вместо того чтобы просвещать народ, вы отравляете его душу и раз-

дываете малейшее недовольство, стараясь любой ценой завоевать популярность... Да, так оно и есть. Первое впечатление меня никогда не обманывает. Я вас правильно раскусил и оценил после того, как допустил ошибку и назначил учителем в мою деревню, где вы мутите воду и портите жизнь бедным людям.

— Прошу мне поверить, господин Юга, я...— попытался защититься учитель, и угодливая улыбка против воли появилась на его лице.

Старика раздражало частое обращение «господин Юга», которое казалось ему недостаточно уважительным, и он перебил Драгоша еще резче:

— Хватит! Я не разговариваю с непрошеными посредниками!

— Совесть велела мне выполнить свой долг, и я его выполнил! — пробормотал обескураженный Драгош.— Вы, конечно, примете то решение, какое сочтете нужным... Но вы говорили, что хотели мне что-то сообщить...

— Нет! — категорически отрезал Юга.— С вами мне больше не о чем разговаривать. С вами должны бы беседовать другие! — так же резко заключил он и повернулся к учителю спиной.

Драгош бесшумно вышел.

Направляясь в барскую усадьбу, он очень волновался — сердце бешено колотилось, горло и нёбо пересохли. Все, что он намеревался сказать Мирону Юге, Драгош заранее тщательно обдумал. Собственные доводы казались ему предельно ясными, логичными и убедительными. Его не могут не понять и не согласиться с ним. Положение сложилось чрезвычайно тяжелое, и оно чревато столь же чрезвычайными и опасными последствиями. Он это чувствовал, видел, слышал. Держать все это про себя, скрывать было бы просто нелояльным по отношению к человеку, который одним своим жестом мог бы развеять удушливые миазмы, отравляющие воздух, и восстановить обстановку терпимости и доверия впредь до более полного разрешения наболевших вопросов.

И вот теперь Драгош уходил разочарованный, злясь на себя, но отнюдь не на Мирона Югу. Он проклинал свою неспособность вразумительно изложить то, что было абсолютно ясно ему самому. Все те слова, что кровоточили в его сердце, высказанные вслух, становились холодными, мелкими, никчемными, и не удивительно, что они не встретили понимания у Мирона Юги.

Драгош шел по улице с той же застывшей на губах угодливой улыбкой. Он осторожно шагал по обочине дороги, опираясь на зонтик, как на трость, и старательно обходя грязь и лужи. Со двора бабки Иоаны вдруг раздался голос юродивого Антона:

— Господин Никэ!.. Подожди меня!.. Не убегай!.. Стой!

С наступлением зимы Антон нашел себе убежище у бабки Иоаны, которая ругала его, но не прогоняла. Драгош, не останавливаясь, прошел дальше, но Антон догнал его.

— Почему убегаешь, господин Никэ! — горячо закричал он.— Потому что побывал у старого барина? Не стыдись и не жалей, ибо близится день великого суда и возмездия, а кто сидел сложа руки, тот и будет в ответе! Как прискачут всадники на белых конях да принесут великую весть, ты поднимешься и возопишь...

— Цып-цып-цып, мои птички, сюда, птички, сюда! — послышался голос бабки Иоаны.

Юродивый сразу же замолчал, повернулся на зов и покорно пробормотал:

— Иду, бабка Иоана, иду...

Ион Драгош еще некоторое время слышал шлепанье его босых ног по грязи и бабкин голос:

— Птички, птиченьки, цып, цып, сюда...

4

Спустя несколько дней после переезда на новую квартиру, придя утром в редакцию, Титу Херделя застал Рошу более хмурым, чем обычно.

— Теперь ты видишь, что я был прав, малыш? — спросил он с насмешливой улыбкой.— Что ты сейчас скажешь?

Титу сперва не понял, о чем говорит секретарь редакции, потому что тот всегда и во всем искал и находил подтверждение своей правоты. Поэтому он лишь неопределенно улыбнулся в ответ. Но Рошу не унимался:

— Надеюсь, ты прочел утренние газеты? Но в газетах — одни цветочки. Министерство внутренних дел пропускает только самые безобидные телеграммы. А в действительности в стране творится такое, что...

Рошу не закончил, жестом дав понять всю меру своей патриотической озабоченности. Увидев, однако, что Херделя продолжает недоуменно молчать, секретарь таинственно продолжал:

— Танец смерти начался! А наши господа совсем теряют голову. Посмотрим, как будет выворачиваться наш любезный Деличану, я давно его предупреждал...

Лишь после новых многозначительных намеков Титу понял, что Рошу говорит о крестьянских беспорядках, начавшихся где-то в Молдове. В последние дни об этом сообщали мелкие заметки и краткие телеграммы почти во всех газетах, но никто не придавал им такого значения, как Рошу. В городе, правда, ходили раз-

вые слухи, но их передавали скорее с удовлетворением, чем с опаской. Титу попытался успокоить Рошу, приводя ему тот же довод, который был на устах у всех, а именно, что беспорядки сводятся лишь к тому, что крестьяне в Молдове легонько проучили арендаторов-евреев, слишком уж безжалостно их обиравших.

— Ну, небольшая беда, коли кое-кому выдерут пейсы! — рассмеялся Титу.— Только так мужики и смогут от них отделаться, а то слишком уж эти евреи расплодились!

Рошу подскочил как ужаленный.

— Браво, малыш! Именно это я и хотел от тебя услышать. Это как раз тот образ мыслей, который ведет страну к гибели, то хулиганское мышление, которое взваливает на евреев вину за все наши беды... Ладно, я бы согласился на все, даже на варварское отношение к евреям, но только если ты мне дашь гарантию, что этой ценой можно будет избежать приближающейся катастрофы! Но можешь ли ты гарантировать, что дальше пейсов дело не пойдет? Ты твердо уверен в том, что завтра-послезавтра мужики не возьмутся выдирать бороды у православных бояр и арендаторов?

Титу только сейчас вспомнил, что Рошу еврей, и пожалел, что своей плоской шуткой нечаянно обидел его. Стремясь загладить свою вину, он принялся поддакивать всем тирадам Рошу, выражая свое одобрение бесчисленными «конечно» и «несомненно». Секретарь же старался ему доказать, что все революции начинаются именно так — с незначительных беспорядков, на которые не обращают внимания или не придают им никакого значения. Но это грозное предостережение. Если срочно принять нужные меры, то бесчинства можно локализовать и свести на нет. В противном случае пожар грозит разгореться, захватить целую провинцию, страну, материк.

— А что ж теперь происходит, дружище? Все считают, что события в Молдове — это лишь беспорядки, направленные против евреев. И, как ты сам только что говорил, не большая беда, если нескольких жидов как следует поколотят. Пусть поколотят. В конце концов это предохранительный клапан. Поколотив евреев, мужики отведут душу и забудут об остальных — боярах-помещиках и арендаторах, которые хоть и не евреи, но эксплуатируют их так же безжалостно, если не хуже. Только ты не думай, малыш, что это пустая болтовня. Последи внимательно за газетами. Повсюду,— где исподтишка, а где явно,— одобряют, оправдывают и даже благословляют жестокие преступления восставших крестьян, и все это, конечно, делается под негласным лозунгом «долой жидов!». Тут же заявляют, что дело это священное, и справедливое, ибо крестьяне борются за свои священные права. И все-таки вместо того, чтобы искать честные решения, способные хоть мало-маль-

Л. Ребряну
«Восстание»

сии облегчить страшную нищету крестьян, все заняты тем, что подливают масло в пылающий огонь. Я еще могу понять оппозицию, на то она и оппозиция. Чтобы захватить в руки власть, она готова на все, рада воспользоваться даже национальной катастрофой... Но хоть правительство должно быть разумное! Черта с два! Оно поступает еще хуже оппозиции, ибо ничего не предпринимает. Либо потеряло голову, либо просто не отдает себе отчета в создавшемся положении. Во всяком случае, пожар разгорается, и никто не принимает мер для защиты порядка. Вот почему я тебе говорю, что положение очень тяжелое — мы катимся в пропасть!

Рошу то и дело снимал очки, тщательно их протирал, снова надевал и продолжал ораторствовать еще горячее, стараясь во что бы то ни стало убедить Титу в своей правоте, будто от этого зависело всеобщее спасение. Титу же в глубине души был уверен, что пламенное красноречие секретаря вызвано главным образом невольно допущенной им бестактностью, и потому считал своим долгом покорно все выслушивать, хотя сдерживался с трудом, так как в кармане у него лежало еще не прочитанное письмо Таницы, которое он взял у швейцара. На его счастье, в редакцию прибежал Антимиу, толстый, вспотевший репортер в засаленной шубе, сдвинутой на затылок шапке под котик и с таким многозначительным выражением лица, словно он был хранителем важнейших государственных тайн. Не удостоив Титу даже взглядом, он подошел к столу Рошу и, отдуваясь, плюхнулся на стул.

— Знаешь, дружище, эта история с беспорядками принимает совсем плохой оборот... На вторую половину дня созван кабинет министров. Будет решаться вопрос о мобилизации солдат-резервистов!

Рошу победоносно повернулся к Титу.

— Что я тебе говорил, дорогой?.. Слышишь?.. Мобилизуют запасников!

Увидев, что репортер собирается писать соответствующую заметку, Рошу горестным тоном остановил его:

— Ты сообщи только о том, что назначено заседание кабинета министров. Все остальное «Драпелул» опубликовать не может. Такова уж наша горькая доля. Даже если удается раздобыть сенсационную новость, все равно мы не вправе ее поместить и только истекаем слюной от зависти, глядя, как ее сообщает «Адевэрул»...

Через несколько минут из директорского кабинета появился Деличану, свежевыбритый, стройный, элегантный. Но сейчас он не улыбался, как всегда, и казался постаревшим.

— Пиши, Рошу, ты порасторопнее! — распорядился директор.— Я тебе продиктую сообщение, по сути дела — официальное

коммюнике... Готов? Пиши: «В связи с провокационной информацией, появляющейся в последние дни в определенных газетах, нам сообщают из авторитетных источников, что по всей стране царит полный порядок и спокойствие и, следовательно, у общественного мнения нет никаких причин для тревоги. Мелкие, чисто локальные инциденты вызваны злоумышленной агитацией. Впрочем, правительство полно твердой решимости, используя все законные средства, поддерживать порядок против всякого, кто на него посягнет». Так!.. Прочти, что ты написал!

Рошу прочел. Директор одобрил.

— Правильно!.. Поместишь это сообщение над всей политической информацией, на двух колонках, двенадцать альдин!

Деличану собрался уходить, но секретарь спросил:

— А о мобилизации резервистов сообщим что-нибудь? Я как раз узнал эту новость...

— Ни в коем случае! — перебил Деличану.— Оставь только коммюнике. Кроме того, мобилизация еще под вопросом. Неизвестно, что решит кабинет министров...

Титу воспользовался удобным случаем и отошел к другому столу, подальше, чтобы спокойно прочесть письмо. Танца только теперь узнала, что он перебрался на другую квартиру. Жан ничего не рассказал родителям, но шпионит за ней и угрожает устроить скандал, если она еще хоть раз заглянет к госпоже Александреску. Танца должна многое рассказать Титу, тоскует о нем и ждет встречи. Пусть он оставит у швейцара, в конверте, новый адрес, и она обязательно придет к нему...

Титу спрятал письмо и написал свой адрес на клочке бумаги, не указывая фамилии. Он тоже скучал по девушке, по ее нежному и ласковому взгляду. Напрасно радовался он, когда переехал от госпожи Александреску, думая, что порвал с прошлым. Танца жила в его сердце, и он не мог вырвать ее оттуда, хотя считал, что ему необходимо с ней расстаться. Разлука с возлюбленной мучила его и в то же время вдохновляла, и он каждый вечер изливал свою тоску в пламенных стихах. Правда, он их не отшлифовывал и писал не для публикации, а для собственного утешения.

После ухода Деличану и репортера Рошу возобновил свои обличения, но сейчас, когда он получил официальное коммюнике, опровергающее ужасную действительность, они приобрели саркастический оттенок. Титу делал вид, что внимательно слушает, но слова Рошу входили у него в одно ухо и выходили в другое. Он неотступно думал о Танце и сперва решил приписать к адресу и определенный час, чтобы она знала, когда он будет ее ждать. Но вдруг она именно тогда не сможет прийти? Вместо указания часа он приписал: «Я люблю тебя».

Выйдя из редакции, Титу облегченно вздохнул: наконец-то он не будет больше слышать о крестьянских беспорядках! Ему представилось, что эти беспорядки — лишь новый вариант вечной темы здешних разговоров — крестьянского вопроса. Ведь в Румынии так уж принято — непрерывно болтать о самых серьезных вопросах, но ничего не предпринимать. Болтая, люди тешатся мыслью, будто тем самым они выполняют свой долг.

Главное для них — слова, а не дела. Тем более что на словах можно проповедовать все, что угодно.

За обедом Гаврилаш тоже занимал Титу разговорами о беспорядках. В полиции стали известны совсем неприятные новости: будто какой-то городок буквально опустошен восставшими крестьянами; ходят слухи и о мобилизации армии...

После обеда Титу встретился с Белчугом. Тот был заметно озабочен.

— Сдается мне, что я приехал на родину не ко времени! Все говорят о печальных событиях, не знаю только, насколько это достоверно. Мне шепнул швейцар в гостинице, что из Молдовы приехали какие-то евреи и рассказывают разные ужасы...

— Здесь люди привыкли болтать, батюшка! — возразил Титу, хотя его уверенность тоже несколько поколебалась.— Любят делать из мухи слона. Что-то, по-видимому, происходит, я этого не отрицаю, но слухи, несомненно, сильно преувеличены...

— А я думаю, может, мне лучше подобру-поздорову убраться домой, не то застанет меня здесь революция или даже война! Не дай бог, могут еще закрыть границу или приостановить поезда.

— Что вы, что вы, это уж ребячество! — запротестовал Титу, но сердце его испуганно екнуло.— Как вы можете думать, батюшка, что страна брошена на произвол судьбы? Да не волнуйтесь, не прислушивайтесь ко всяким глупостям и выдумкам!

На второй день в «Драпелул» пришел Григоре Юга. Он не встречался с Титу уже недели две и теперь заглянул, чтобы узнать, какова доля правды в сумятице противоречивых слухов и толков, наводнивших столицу. В клубе все события окрашивались в зависимости от политической принадлежности рассказчика. Даже те люди, о которых было известно, что они близки к министрам, либо ничего толком не знали, либо нарочно скрывали правду. В Амаре Григоре не был с рождества из-за хлопот по разводу и других своих дел. Однако, если действительно существует какая-то опасность, он должен быть в поместье, рядом с отцом.

— Думаю, что газетам известна правда, хотя пишут они только ложь,— невесело улыбнулся Григоре.— Пределяну убеждает меня спокойно заниматься своими делами, так как правительство, мол, не допустит распространения беспорядков по всей стране.

Но другие утверждают, что правительство просто не в состоянии привести в повиновение возбужденные массы...

Титу не мог сказать ничего точно или хотя бы даже приблизительно достоверно, а просто повторять слухи, ходившие по городу, ему не хотелось. Поэтому он познакомил Григоре с Рошу, и тот, весьма польщенный, сперва превознес до небес Титу, а затем почти торжественно заявил:

— Действительность, сударь, куда мрачнее, чем предполагают. Беспорядки неудержимо разрастаются с каждым днем, с каждым часом, и неизвестно, удастся ли еще что-либо предпринять, чтобы приостановить их. Вот до чего мы докатились! К счастью, еще не пролилась кровь, еще нет человеческих жертв, но никто не знает, что может принести завтрашний день.

Далее Рошу подробно рассказал, что произошло в отдельных деревнях и городах, какие где были грабежи и погромы, и закончил, как заправский оратор, разглагольствующий с трибуны палаты депутатов:

— Страна всколыхнулась, сударь мой! Вся страна!

Встревоженный пророческим тоном секретаря редакции, Григоре решил на следующее же утро выехать в Амару и пригласил с собой Титу, обещая, что они там пробудут не больше двух-трех дней, а если придется задержаться, то он непременно отправит Титу обратно в Бухарест. Херделе эта идея очень понравилась, и он вопросительно посмотрел на Рошу.

— Можешь ехать, малыш! — покровительственно ответил тот.— Поезжай. Тебе я, уж во всяком случае, не откажу. Можешь даже написать интересный репортаж для нашей газеты. Это будет настоящей сенсацией! Хотя нет, не выйдет... Ваше поместье ведь в уезде Арджеш... а там, насколько мне известно, пока спокойно. Однако в такие смутные времена всюду в деревнях необходимо соблюдать осторожность. Так что ты, малыш, поберегись, как бы крестьяне тебя не пристукнули!

— Я же не помещик! — рассмеялся Титу.

— Не смейся, дружище! — не согласился Рошу.— Разве злополучные евреи, над которыми сейчас измываются, помещики?

5

— Считаю своим долгом предупредить тебя, моя милая, что сейчас ехать в именье рискованно,— заявил с непривычной для него серьезностью Гогу Ионеску.— Разумеется, если ты не согласна, я не могу тебя задерживать насильно, и при всех обстоятельствах наша усадьба в Леспези всегда в твоем распоря-

жении. Думаю, однако, что ты должна еще раз все хорошенько взвесить...

— Я все взвесила,— иронически перебила его Надина,— и не нашла ни одной серьезной причины, которая могла бы меня задержать. Напротив, у меня все основания не откладывать продажу имения, а продать его я смогу, только если поеду туда сама. Иначе все будут стараться меня обсчитать, а этого я не могу допустить ни в коем случае, именно потому, что я женщина и люди надеются обвести меня вокруг пальца. Впрочем, я поеду не одна: возьму с собой своего адвоката.

— По крайней мере, повремени немного, пока не выяснится, что там происходит.

— Я же не завтра еду! — шутливо успокоила его Надина.— День отъезда я еще не назначила. Подожду, пока подсохнет земля и дорога станет получше... Но, кроме всего прочего, не понимаю, почему на тебя напал такой страх, ведь в наших краях все спокойно.

— Да не занимайся ты теперь своим поместьем! — воскликнул Гогу.— Оно у тебя сдано в аренду, пусть арендатор и улаживает дела с крестьянами.

— Ты серьезно думаешь, что крестьяне воюют с женщинами? Чепуха!

— Хорошо, не буду больше настаивать, а то мои уговоры только разжигают твое упрямство!..— сдался Гогу.— Но я советовался с отцом. Он тоже считает твое намерение чистейшим безумием... Я уж не говорю о Женни, которая так тебя любит. Не так ли, моя дорогая?

Глаза Еуджении налились слезами. Она попыталась что-то сказать, но не смогла и заплакала. Гогу испугался:

— Что с тобой, любимая, что случилось, душенька? Разве можно так?

— Это ты, Гогу, во всем виноват, на всех страх нагоняешь! — возмутилась Надина.— Прости меня, Жени, милая, умоляю тебя. Если б я знала, что вы так встревожитесь, я вообще не стала бы говорить вам о своей поездке...

Еуджения и Гогу обедали в тот день у Надины. С тех пор как она разошлась с мужем, они почти всегда обедали вместе — то супруги Ионеску у Надины, то она у них.

— Разреши мне сказать тебе, Надина, что это просто безумие, самое настоящее безумие,— взвился наконец Гогу, выведенный из себя упрямством сестры.

— А меня это соблазняет именно потому, что это безумие! — воскликнула Надина, и глаза ее загорелись.

Надина и впрямь заупрямилась потому, что все советовали ей отказаться от своего намерения. Первым это сделал адвокат Олимп Ставрат, представлявший ее интересы на бракоразводном процессе, лощеный старичок с тщательно ухоженной бородкой. Он немного приударял за своей клиенткой, красноречиво вздыхал и возводил очи горе́, выражая непреодолимую страсть. Когда Надина предложила ему сопровождать ее в деревню, Ставрат счел себя обязанным обратить ее внимание на опасность такой поездки. Однако одного иронического взгляда Надины оказалось достаточно, чтобы заставить адвоката изменить свое мнение:

— Я тревожусь не за себя, а только за вас, сударыня. Что до меня, то я готов сопровождать вас хоть на край света! — выразительно вздохнул он.— Быть может, вы наконец заметите, что и в груди адвоката бьется сердце...

Рауль Брумару отказался категорически:

— Что тебе взбрело на ум, Надина? Ехать сейчас в деревню?.. Ты что, смеешься надо мной? Ну уж нет! Ни в коем случае! Предпочитаю спокойно сидеть в Бухаресте!

Даже шофер Рудольф осмелился неодобрительно заметить, что подобная экскурсия теперь опасна.

То, что поездка в поместье могла превратиться в приключение, только еще больше раззадорило Надину. В сущности, у нее не было никаких серьезных причин торопиться, она вполне могла бы подождать. Правда, развод был уже разрешен, однако до выполнения всех формальностей должно было пройти еще около двух недель, а она и не думала окончательно продавать поместье, пока не сможет сделать это от своего имени. Но Надина считала, что необходимо заранее решить, кому именно она продаст землю, и уточнить подробности так, чтобы в тот самый день, когда будет завершено оформление развода, подписать и документ о продаже поместья, окончательно порвав все свои связи с деревней.

— Почему ты, Гогу, непременно хочешь, чтобы моя последняя поездка в поместье была банальной? — усмехнулась Надина.— Мне претит банальность!

6

В субботу утром, как раз когда Драгош рассказывал в четвертом классе о владычестве фанариотов, в школу пришел жандарм и тихо сказал учителю, что господин унтер приглашает его в жандармский участок, так как должен ему кое-что сообщить.

Учитель ответил спокойно, будто давно этого ждал:

— Хорошо, сейчас приду...— Увидев, однако, что жандарм стоит неподвижно, он добавил: — Ты хочешь, чтобы мы пошли вместе?.. Еще лучше!

Он осмотрелся. Никак не мог вспомнить, куда положил шляпу. Наконец увидел, что она на столе, но сперва взял пальто и опять спросил жандарма:

— Детей отпустить домой или?..

Жандарм пожал плечами — он, мол, ничего не знает.

— Впрочем, зачем же отпускать? — продолжал Драгош.— Бумбу Штефан, выйди на кафедру! Последи за порядком и записывай на доске всех непослушных и тех, кто шумел! Понял?.. А вы, дети, сидите смирно, я скоро вернусь!

Говоря это, Драгош смотрел на жандарма, стараясь прочесть хоть что-нибудь на его физиономии, но лицо жандарма ничего не выражало. Выйдя на улицу, учитель сказал уже тверже:

— Мне нужно на минуту зайти домой, не то жена бог весть что подумает.

Флорика пришла в ужас, увидев мужа в сопровождении жандарма, и разрыдалась, проклиная все на свете. Старуха мать заплакала вслед за ней.

— Да замолчите вы, не оплакивайте меня, я еще не умер! — прикрикнул Драгош, раздраженный их причитаниями.— Замолчите, я ведь даже не знаю, зачем меня вызывают.

— Одевайся, свекор, побыстрее и пойди с ним, не сиди, как пень! — крикнула Флорика.

Старик заспешил, словно пробудившись ото сна. Учитель хотел что-то сказать родным, ради этого он и зашел домой вместе с жандармом. Поняв, что задерживаться больше нельзя, он растерянно пробормотал:

— Если уж так случится, что не вернусь, то... Впрочем, нет, я лучше все скажу отцу, он ведь пойдет со мной... Ну а теперь пошли!

Он подумал, что надо бы поцеловать жену, хотя бы ее, но сдержался, опасаясь, как бы это не оказалось плохим предзнаменованием либо не испугало ее еще больше. Выходя, он тихо произнес:

— Ну, доброго здоровья всем!

Перед жандармским участком стояла двуконная повозка Лупу Кирицою. У учителя екнуло сердце, и он спросил:

— Куда собрался, дед Лупу?

— Не знаю, господин учитель! — с готовностью ответил старик.— Мне велели явиться с повозкой и сеном для лошаденок, вот я и прибыл.

Унтер Бояиджиу поджидал Драгоша во дворе и встретил его со вздохом облегчения, будто боялся, что тот не придет. Они, как всегда, пожали друг другу руки и вошли в канцелярию.

— Что случилось, господин унтер? Из-за чего вы меня оторвали от уроков? — удивленно, словно ничего не подозревая, спросил Драгош, хотя в глубине души не сомневался, что это последствие гнева Мирона Юги.

Бояиджиу неопределенно развел руками, давая понять, что он тут ни при чем. Затем он сообщил учителю, что получил телеграфный приказ срочно отправить его в Питешти и доставить лично к господину префекту.

— А в чем дело, господин унтер? — почти торжественно спросил Драгош.

— Я получил приказ, господин Драгош, и обязан его выполнить! — ответил Бояиджиу.— Я, конечно, сожалею, но...

— Вас я ни в чем не виню! — сказал Драгош.— Просто думал, вы знаете, в чем дело, хотя, в сущности, это ничего бы не изменило... Когда я должен ехать?

— Как можно скорее! Так мне приказано! — ответил унтер.— Но если хотите кое-что прихватить из дому, можно задержаться еще на часок, не больше, потому что до Питешти путь не близкий, а клячи деда Лупу...

— Очень хорошо...— перебил его учитель, стараясь сохранить достойный вид и победить охватившее его волнение.— Слышишь, отец, какой получен приказ?.. Так вот, пойди сейчас быстренько в школу и распусти детей по домам, а то я их оставил там одних. Потом скажи Флорике, чтобы она принесла мне что-нибудь на дорогу, пусть сама решит что, да, главное, поскорей, пусть не тратит время попусту и не задерживает господина унтера.

Бояиджиу предложил учителю стул, и они принялись разговаривать о всяких пустяках. В канцелярию на минуту заглянула и жена Бояиджиу, осведомилась у Драгоша, как поживает Флорика. Затем, минут через тридцать, прибежал Николае, брат учителя, который узнал обо всем от посторонних. Потеряв голову от испуга и гнева, он крикнул, что пойдет к старому барину Мирону и на коленях будет его просить. Бояиджиу рассердился: нечего доставлять ему неприятности, не то он тоже заговорит по-иному... Пришла и Флорика с едой и сменой белья.

— Теперь, господин Драгош, вы готовы? — спросил унтер.— Можете отправляться? — Не дожидаясь ответа, он распахнул дверь в комнату жандармов и приказал: — Богза!.. Давай!.. Поехали!

На пороге вытянулся, щелкнув каблуками, вооруженный жандарм.

Во дворе и на улице собралось человек тридцать крестьян. Весть о том, что учителя арестовали, мигом разнеслась по селу. Увидев собравшихся, Бояпджиу нахмурился, опасаясь осложнений. Но все-таки сдержался и стал мягко увещевать крестьян:

— У вас что, других дел нет, люди добрые? Пропустите!.. Собрались и глазеете, будто на представление какое!

Марин Стан, считая, что он с унтером в более приятельских отношениях, подошел к нему и принялся доверительно его упрашивать:

— Господин начальник, будьте так добры... Жаль господина учителя, ей-богу, жаль... Вы, ежели захотите, то сможете.

— Ты, Марин, занимайся своими делами и не выводи меня из терпения! — буркнул Бояпджиу.

Увидев, что и другие крестьяне настаивают, унтер заторопил Драгоша, который прощался с Флорикой.

— Давайте, господин учитель, давайте!.. И еще я вас очень прошу, будьте в дороге поосторожнее, как бы чего не случилось, а то, если что не так, жандарму приказано стрелять!

— Да вы не беспокойтесь! — улыбнулся Драгош и попрощался с крестьянами, окружившими повозку.— До скорого свидания, люди добрые.

— С богом, с богом! — ответили из толпы.

Лошади тронулись. Драгош больше не оглядывался. Винтовка жандарма предостерегающе покачивалась рядом с ним. Флорика, с мокрым от слез лицом, поплелась посередине улицы за быстро удаляющейся повозкой. Бояпджиу облегченно вздохнул, радуясь, что одной заботой стало меньше, и терпеливо пояснил крестьянам, толпившимся возле участка:

— Что ж вы думаете, я это делаю по своему разумению?.. Коли получен сверху приказ, я обязан его исполнить, на то я солдат, а солдат и пикнуть не смеет.

— Оно конечно! — согласился кто-то.

Но люди все еще не расходились, а топтались на дороге, о чем-то толкуя, расспрашивая, советуясь. Вдруг Николае Драгош горестно воскликнул:

— Что ж вы стоите и судачите, как бабы, вместо того чтобы пойти к старому барину и попросить его не обижать ни за что ни про что бедного Никэ... Или вам все равно, что это из-за вас на него барин осерчал...

Крестьяне слушали, кое-кто поддакивал, но большинство молчало. Кто-то пробормотал: «Можем и пойти, но убьет же он нас»,— другой буркнул густым басом: «Барину больше делать нечего,

только вас слушать»,— третий громко спросил Николае Драгоша: «А чего ты сам не идешь, только других подбиваешь?»

— Разве я сказал, что не пойду? — рассвирепел парень.— Думаете, боюсь барина, как вы?

Крестьяне все подходили и подходили. Волнение нарастало. К толпе мужчин, разлившейся по улице от самого жандармского участка до дома бабки Иоаны, примешались женщины и дети. Галдя и препираясь, люди незаметно дошли до усадьбы Мирона Юги. Лука Талабэ завел было речь о том, что в других краях люди не допускают такого над собой измывательства, но тут раздался резкий голос Трифона Гужу:

— Зайдем внутрь, люди добрые, что мы только ругаемся да кудахчем, как бабы!

Все вошли во двор. Стая голубей поднялась в воздух, а куры испуганно разбежались. Двор наполнился людьми. Приказчик Леонте Бумбу с непокрытой головой вышел во двор.

— Что это вы сюда пожаловали всем селом? — удивленно спросил он.

Несколько человек ответили хором. Приказчик почесал в затылке.

— Так барин рассердится...

— Пусть себе, мы и сами сердитые! — взвился над толпой чей-то озлобленный голос.

В эту минуту во двор случайно заглянул Мирон Юга. Наступление весны словно возвратило ему молодость.

— Зачем пришли, мужики? Бумбу, что им здесь нужно?

Марин Стан начал излагать общую просьбу, другие ему поддакивали, пока Юга не понял, в чем дело.

— Ага, значит, арестовали его?.. Отлично сделали... Теперь, думаю, вы тоже возьметесь за ум!

Несколько человек дерзко закричали, требуя освободить учителя. Мирон рассердился:

— Напрасно глотки дерете! Удивляюсь, что вы еще не знаете меня как следует, ведь сколько лет вместе живем. Я-то считал вас порядочными людьми, но вижу, что ошибся. Теперь вот лезете сюда всем скопом, а подрядиться на работу никак не удосужитесь.

— Так не можем мы, барин, работать по-старому, нет уже больше мочи! — крикнул Тоадер Стрымбу.— У меня детишки с голоду мрут, хоть я работал, как вол...

— Значит, не можете? — переспросил Мирон Юга.— Очень хорошо! Сидите дома, бездельничайте и хнычьте!.. А тот, кто трудолюбив и скромен, тот может прожить честным трудом...

— Так ведь никто из нас не сидит без дела, барин, работаем не покладая рук, но вы тоже должны нам помочь!

— Торговаться я ни с кем не собираюсь, а тем более — упрашивать! — сурово отрезал Мирон.— Главное — иметь землю, рабочие руки всегда найдутся! Если не желаете работать, привезем крестьян из Трансильвании!

— Нет уж, барин, чужаки пусть сюда не суются, эти земли мы всегда сами обрабатывали, а не чужаки! — крикнул Трифон Гужу.

— Ты что ж, голодранец, думаешь, я у тебя разрешения спрашивать буду? — возмутился Мирон Юга.— До какой наглости дошли!.. Хватит, разговор окончен! Убирайтесь, чтоб духу вашего здесь не было!

— Нехорошо так, барин! — твердо заявил Лука Талабэ.— Ох, нехорошо!

Мирон Юга не двинулся с места, пока двор не опустел, и лишь потом брезгливо приказал:

— Запри ворота, Бумбу!

7

На следующий день, в воскресенье, когда народ выходил из церкви, разнеслась весть, что совсем недавно по селу проскакали два всадника на белых конях с королевским указом. В ожидании новостей люди толпились перед корчмой, на площадке, где всегда плясали хору. Многие придумывали самые невероятные подробности. Игнат Черчел, как бездомный пес, переходил от одной группы к другой, задавая всюду один и тот же вопрос:

— А может, это указ о земле, люди добрые?

Староста, Ион Правилэ, послушал, послушал и насмешливо крикнул:

— Небось эти конники вам во сне померещились!

Никто не засмеялся, а какой-то старик укоризненно заметил:

— Зря насмехаешься, господин староста, над этим не след насмешки строить! Не может быть такого, чтоб беззаконие всегда одолевало, должен пробить и час справедливости.

— Так ведь справедливость, дед, верхом не прискачет! — уже другим голосом пояснил Правилэ.

— Придет как сможет, и слава богу, что идет! — пробормотал старик.

Леонте Орбишор сообщил, что всадников будто бы видела Ангелина, дочь Нистора Мученику. Так ему сказали, он уж не помнит, кто именно. Лупу Кирицою высказал предположение, что так и должно быть, потому что и он много чего наслушался вчера в Питешти, когда отвозил туда учителя.

Спустя некоторое время Василе Зидару привел с собой Ангелину — пусть, мол, сама расскажет, как и что. Но оробевшая женщина никак не решалась говорить перед всем народом, с жадным нетерпением уставившимся на нее.

— Ох, горюшко, я ведь детей-то дома одних оставила...

Староста попытался было допросить ее со всей строгостью. Ангелина еще пуще испугалась и принялась оправдываться, говоря, что всадников, верно, видели и другие, потому как они не прятались, да и незачем было им это делать.

— Да расскажи ты, баба, все честь честью, никто тебя не съест,— мягко подбодрил ее Игнат.— Мы тоже хотим знать королевский указ, чтобы, часом, не ошибиться.

Ангелина наконец собралась с духом.

— Пошла я с мальцом, за руку вела его, к свекрови, взять у нее в долг чуток кукурузы... а когда мы проходили мимо церкви, как раз колокола зазвонили. Я еще крестом себя осенила, стыдно мне стало, ведь из-за всех забот да бед даже в церкви недосуг побывать. Не успела как следует перекреститься, как увидела — скачут по улице два конника на белых конях, даже подивилась. Ехали они сверху, верно, из Леснези. Отошла я на обочину, а один из них меня окликнул: «Куда идешь, баба?» — «Да тут, недалеко, к свекрови»,— отвечаю. А второй говорит: «Вижу я, что у тебя горе, но ты больше не кручинься, потому что мы привезли благую весть. Нас прислал король возвестить людям, что с нынешнего дня все барские поместья стали вашими, и пусть мужики сразу же возьмут да поделят их по справедливости, бояр-помещиков и арендаторов прогонят, а их усадьбы, дворы и дома с пристройками сожгут, чтобы те обратно не возвращались. Поняла, баба?.. Только чтоб люди не мешкали! Это повеление самого короля, а кто королевскому указу не повинуется, понесет страшную кару!» Вот как мне сказали те конники, а я им ответила: «Поняла я, но...» — «Раз поняла, ладно! Будь здорова!» — «И вам дай бог помощи!» Они поскакали под гору, а я повернулась, посмотрела им вслед, а потом пошла своей дорогой и рассказала свекру, что говорили конники, и он тоже подивился...

Люди слушали молча, один только Игнат Черчел пробормотал, покачивая головой:

— Великое чудо!

У Ангелины еще выведали, что оба всадника были одеты в белое и поскакали они не то в Руджиноасу, не то в Вайдеей. Лишь после этого староста отпустил ее домой к детям.

Позднее пришел Антон Наку, который был по делам в Руджиноасе, и рассказал, что тоже повстречался по дороге с белыми всадниками и они ему сказали то же самое — пусть, дескать, му-

ники безотлагательно поделят между собой барскую землю, а кто противиться будет, пусть того не щадят, потому как бояре тоже мужиков не щадили.

Несмотря на приближение весны, погода была хмурая, небо свинцовое. Люди ежились, дрожали, но не расходились. К полудню Матей Дулману и еще несколько человек пришли из Леспези и сказали, что и в том селе побывали всадники. Иримие Попа, сторож арендатора Козмы Буруянэ, вернулся из Вайдеей и рассказал, что и там народ диву дается, не понимает, что это за всадники, которые велят мужикам сейчас же распахивать господскую землю...

— Да ясно, что это такое, Иримие! — откликнулся Леонте Орбишор.— Настал и наш черед!

— А вы не помните, с каких пор я вам втолковываю, что король решил раздать мужикам барские поместья? — гордо заявил Игнат Черчел.— Вы еще не хотели мне верить. Вот теперь и выходит, что я был прав!

Староста помалкивал. Он зашел в корчму, согрелся стопкой цуйки, а через несколько минут улизнул домой, не желая, чтобы все эти глупости городили в его присутствии. Петре Петре возбужденно напомнил Луке Талабэ, сколько они мыкались по Бухаресту из-за поместья барыни.

— И хорошо, что не ввязались мы в это дело! — заключил он.

— Эх, не торопись ты, парень, еще ничего не кончилось. Хорошо бы разделить барские поместья вот так просто, как мы тут болтаем, да не легко это.

Резкий, скрипучий голос Трифона Гужу оборвал колебания крестьян:

— Так что делать будем, люди добрые? Болтать языком, как на посиделках, или?..

— Правильно, надо решать, что делать! — раздались другие осмелевшие голоса.— Словами и советами мы уже сыты!

— А как же! — резко, будто ножом, отрезал Мелинте Херувиму.— Пусть теперь господа покормятся пустыми словами, с нас хватит!..

ГЛАВА VII

ИСКРА

1

В то же воскресенье, в полдень, Григоре Юга вместе с Титу Херделей сошли с поезда на станции Бурдя, где их ждал Иким, сидя на козлах желтой брички, присланной из Амары.

— Как тут у вас дела, Иким, в порядке? — спросил Григоре.

— Покамест все тихо, барин! — ответил кучер.

Слово «покамест» не понравилось Григоре, но он не стал настаивать. Его и так расстроили часы, проведенные в поезде. В вагоне ехали только он и Титу. Остальные вагоны тоже пустовали. Зато на всех станциях суетились толпы напуганных людей, которые рассказывали друг другу всевозможные ужасы о восставших крестьянах и главным образом об их намерениях. В конце концов все признавали, что в их селах пока спокойно, но назревают неслыханные события. Григоре прекрасно знал, что в здешних краях еще ничего не произошло, и потому эти выдумки очень его раздражали, он расценивал их как прямое подстрекательство к беспорядкам. Ему не повезло еще и потому, что на одной из станций возле самого Бухареста он встретил Илие Рогожинару, арендатора, с которым путешествовал прошлой осенью, когда тот буквально выводил его из себя своими сельскохозяйственными теориями. Сейчас Григоре не удалось избавиться от него до Костешти.

— Ну как, сударь, прав я был относительно крестьян? — по-прежнему весело и шумно набросился на Григоре арендатор.

Затем он зашел в их купе, чтобы поразвеять дорожную скуку. Рассказал, что примчался в Бухарест потому, что от кого-то услышал, будто госпожа Юга продает свое поместье Бабароагу. Он

уже давно стремится перебраться поближе к столице, и его бы очень устроило именьице в нижнем течении Арджеша, как раз в том краю, где он когда-то начал свою трудовую жизнь земледельца. Он навел справки и зашел на улицу Арджинтарь. Он не знал, что супруги Юги в разводе, и даже спросил барыню (очень уж она красива, чтобы не сглазить), как поживает муж; чуть не сгорел со стыда, когда узнал про положение дел от нее самой. Они потолковали и условились снова встретиться на днях в поместье, так как барыня собирается туда поехать специально по поводу продажи. Но вот началась заваруха, и он вынужден, не теряя времени, ехать в Олену спасать свое скромное имущество, накопленное за целую жизнь.

— Может, убережет нас бог от погибели! — сказал Рогожинару.— Только бы правительство вело себя умно и энергично. Ведь мужику что требуется? Ему нужна справедливость, но и хозяин нужен. Коли хозяин окажется слабым, одной справедливости мало. Потому-то я и говорю: если не будет твердой руки, мужики не успокоятся. Я газетам не верю, они больше врут, чем правду пишут. Но вот позавчера я повстречался с одним арендатором-евреем из-под Васлуя. Так он, несчастный, мне такое рассказал, что и поверить трудно. Будто бы с мужиками он сговорился честь честью, как всегда. Но только должны были они окончательно подрядиться и выходить на работу, как заявился префект и подучил мужиков не поддаваться больше арендатору-еврею, не давать себя обманывать, а лучше всего прогнать его на все четыре стороны. Слыханное ли дело, чтобы префект подстрекал мужиков выгнать арендатора! А мужикам, конечно, только того и надо,— сразу же подожгли усадьбу, стали забивать господскую скотину и бог знает еще на какие злодеяния пошли!.. Почему, вы думаете, поступил так префект? Из ненависти к евреям? Черта с два! Просто его шурин давно хотел арендовать это поместье, да никак не мог. Ну и решил, что если прогнать еврея, то он сможет сам прибрать именье к рукам. Однако весь их расчет пошел прахом, так как крестьяне сразу принялись делить поместье между собой. Тогда уж, разумеется, префект взбеленился и бросил против них войско. Только ничего у него не вышло — мужики войска не испугались, они хорошо знали, что армии запрещено открывать огонь, кинулись сами на солдат с вилами и камнями, да так, что те, бедняги, еле ноги унесли!.. Как же вы после этого хотите, чтобы мужики утихомирились и сидели смирно, коли сами власти их баламутят? Хватит уж того, что оппозиция черт те что вытворяет, вопит во всех газетах, что крестьяне правы, что они просто невинные овечки...

По мере приближения к Амаре Григоре все больше мрачнел, словно плохие предчувствия совсем лишили его покоя. Титу, за-

метив тревожное настроение Юги, уже жалел, что согласился с ним поехать, и недоумевал, зачем тот пригласил его с собой. Григоре понял, о чем думает его гость, и грустно извинился:

— Вы уж простите мое теперешнее состояние, сам не знаю, что со мной творится!

Бричка с трудом катила по большаку, размытому ранними весенними дождями. Кучер подгонял лошадей, недовольно ворча:

— Никак не подсохнет дорога... Все дожди да дожди, а солнышко не показывается...

Григоре пристально всматривался в поля и деревни, будто пытаясь разгадать какую-то тайну. Под мрачным небосводом стыла черная земля, испещренная мутными лужами. В деревнях крестьяне, как всегда по воскресеньям, толпились и судачили либо перед корчмой, либо у какого-нибудь дома. Григоре, однако, казалось, что в их глазах поблескивает что-то непривычное, что на их лицах написаны упрямство и дерзость.

— А как идут весенние работы, Иким? — спросил он кучера, когда бричка выехала из Леспези.

— Да чего говорить, барин, их ведь даже не начали! — после короткого колебания ответил кучер.— Видите, какая непогода, дожди так и льют, да и мужики еще не подрядились, не сошлись с барином...

— Вот как, значит, еще даже не подрядились? — удивился Григоре.

— Не подрядились, барин, потому что люди сумлеваются и все откладывают. Вести сюда дошли, будто должны раздать поместья мужикам, вот они и ждут раздела...

В Амаре перед корчмой Бусуйока народу толпилось больше, чем обычно. Иким пояснил, что сюда собрались мужики из других деревень из-за тех конников, что проскакали утром с королевским указом.

Дома Григоре застал отца очень озабоченным, хотя тот всячески старался это скрыть. Он знал, что старик ничего ему не расскажет и что придется самому потолковать с крестьянами, чтобы разобраться в здешней обстановке, хотя короткий разговор с Икимом уже многое ему объяснил. В первую очередь Григоре поговорил с приказчиком Бумбу, который признался, что он весь извелся от страха, но доложить барину об истинном положении дел все равно не смеет, так как боится снова его рассердить. Согласись тот недели три назад хоть мало-мальски облегчить условия найма на работу, сегодня они не знали бы никаких забот. Мужики удовлетворились бы тогда какими-нибудь крохами, а теперь и слушать не хотят о старых условиях подряда. С тех пор как поползли все-

возможные слухи о раздаче барских поместий, с ними и вовсе не сговоришься...

Позднее, когда Григоре и Титу пошли в деревню, унтер Боянджиу сообщил им, что здесь пока спокойно, но арест учителя Драгоша вызвал некоторое возбуждение. Он лично не знает, почему арестован учитель, но в селе ходят слухи, что это сделано по настоянию старого барина в отместку за то, что Драгош вступился за крестьян.

Напоследок Григоре и Титу подошли к крестьянам, которые толпились у корчмы. Григоре спросил, на что они жалуются. Крестьяне отвечали приветливо, но как-то невнятно, явно чего-то не договаривая. Видимо, не смели или, может быть, не хотели открыть душу, хотя взгляды, которые Григоре ловил на себе, были не враждебными, а скорее вопрошающими. Чаще, чем к другим, Григоре обращался к Петре, чье суровое лицо казалось особенно взволнованным. Петре растерялся. Он боготворил Григоре, в особенности с тех пор, как тот заплатил ему за павших волов и списал долг. Парень готов был пойти за него в огонь и в воду. Заикаясь от смущения, он пробормотал:

— Так ведь, барин, мы тоже, как все другие. Старые условия очень уж тяжкие, совсем невмоготу жить стало... Дед Лупу, расскажи ты барину, у тебя язык побойчее, да и постарше будешь!

— Говори, говори, дед Лупу, послушаем! — дружелюбно подбодрил старика Григоре.

— Так ведь, барин, что у нас вышло? Одни подрядились, а другие все никак не решаются, по-всякому прикидывают, каждый действует по своему разумению и как ему сердце скажет! — не торопясь, начал Лупу Кирицою.— Только вы нам поверьте, что мужикам и впрямь больно туго приходится. Я-то уж стар, бог знает, дотяну ли до следующего рождества, но только жизнь наша все хуже и хуже. Я был молодым парнем, когда еще ваш дедушка хозяйствовал, и хорошо помню, как мы жили тогда. Сам он был добрый и милосердный, точь-в-точь как ваша милость, и не допускал, чтобы кто из его людей голодал или нужду какую терпел. Сразу же приказывал выдать тому с барского двора все, что надо. Брал тогда с нас барин только одну десятину, вот и легче нам жилось, чем теперь. И земли тогда хватало, потому как людей поменьше было...

Дед так увлекся воспоминаниями, что другим пришлось его перебить, чтобы спросить Григоре, кто такие были всадники, которые возвестили мужикам королевский указ, и когда и как начнется раздача земли.

Возвращаясь домой, Григоре спросил Титу, что он обо всем этом думает.

— Мне кажется, люди настроены мирно,— ответил тот.— Если подойти к ним по-хорошему, можно найти с ними общий язык. Только неизвестно, сколько это продлится, так как...

— Это и есть главный вопрос! — озабоченно пробормотал Григоре.

Вечером Григоре остался наедине с отцом, чтобы обсудить с ним создавшееся положение и обдумать, как предотвратить беду. Услыхав, что Григоре сам беседовал с мужиками, Мирон Юга недовольно насупился, а когда сын попросил его вмешаться и походатайствовать об освобождении учителя, вспылил:

— Стало быть, ты хочешь, чтобы я унизил себя перед мужиками?

— Да не унижение это, отец! — возразил Григоре.— Драгош не совершил никакого преступления, и...

— Твой Драгош подстрекает моих мужиков! — убежденно заявил Мирон.— Он забил им голову, науськивал их, раздувал недовольство. Другие мутили воду в городах, а он — здесь, на месте, и свел на нет весь мой тридцатилетний труд!.. Впрочем, если ты не знал этого, то знай, что я сам потребовал у префекта, причем с полным основанием, арестовать Драгоша и убрать его из деревни, и заверяю тебя, что его отсутствие сейчас только на пользу крестьянам!

— Ошибаешься, отец! В настоящее время Драгош здесь необходим. Один только он, быть может, способен благодаря своему влиянию хоть частично предотвратить вспышку ненависти.

— Хороши б мы были, если бы до этого докатились,— иронически возразил старик.— Но дело в том, что мужиков я держу в узде!

Григоре ужаснулся. Ему стало ясно, что отец живет в другом мире либо просто не желает считаться с действительностью. Он подробно рассказал старику все, что знал, подчеркивая, что успел ощутить лишь малую толику крестьянского недовольства, грозящего разгореться пожаром. И, наконец, попросил отца разрешить ему самому попытаться прийти к соглашению с крестьянами.

Старик отказал сыну. Он не сомневался, что Григоре с его мягкими методами лишь ухудшит положение. Мирон так верил в свой опыт и знание людей, что посчитал бы для себя унизительным, если бы как раз в эти трудные дни отказался от привычных, успешно проверенных тридцатилетним опытом средств и уступил свое место молодому человеку, голова которого набита всякими теориями.

— Минута слабости, нерешительности, любое наше колебание лишь подтолкнет на путь преступления этих несчастных, доведенных до безумия вашим подстрекательством! — покровительствен-

но сказал Мирон.— Кроме того, ты, наверно, не отдавая себе в этом отчета, сильно преувеличиваешь опасность. Что происходит в других краях, не знаю, но подозреваю, что тенденциозные преувеличения создали всю эту напряженную обстановку в целом. Что касается моих мужиков, то у меня свои, проверенные методы. В первую очередь — полное повиновение с их стороны, и только потом — обсуждение условий. Ну а пользоваться одновременно двумя разными методами нельзя, это ни к чему не приводит. Если бы ты со мной посоветовался заранее, я бы сразу тебя попросил не якшаться с мужиками и не выслушивать их претензии. Мне это представляется признаком слабости, не говоря уж о том, что меня ты выставляешь перед ними как бессердечного тирана и расстраиваешь все мои расчеты.

— Но когда возникает конфликт, желательно вмешательство посредника, который бы мог...— не согласился Григоре.

— Ну уж нет! — запальчиво перебил его старик, вспомнив, что почти такой же довод привел ему недавно учитель.— Я знать не знаю ни о каком конфликте и даже не допускаю мысли о возможности конфликта между мной и мужиками. Это бы означало, что я тоже стремлюсь их эксплуатировать, как все прочие, или хочу нажиться на их бедах. А тебе хорошо известно, что не в наших привычках богатеть за счет крестьян.

Разговор затянулся далеко за полночь. Григоре приводил все новые и новые доводы, упрашивал. Его настояния несколько раз выводили Мирона из себя, но и упрямство старика под конец рассердило Григоре, который заявил напрямик, что, бросая вызов действительности, старик ставит под угрозу не только свое состояние, но и самую жизнь.

— Уже поздно, и мы спорим напрасно! — сказал наконец Мирон.— Очень сожалею, что ты до сих пор не усвоил простой истины — твой отец никогда не отступит, если он уверен в своей правоте, и склонится лишь перед лицом господа бога.

— Следовательно, мне не остается ничего другого, как уехать обратно ни с чем? — изумленно спросил Григоре.

— Думаю, что так! — пробормотал старик, кивнув головой.— Я был бы, конечно, рад, если бы ты находился рядом со мной, но боюсь, что ты мне ничем не поможешь, а лишь создашь дополнительные трудности. Возвращайся спокойно в Бухарест и предоставь мне самому защищать свою землю. Пока я жив, это мой долг...

На другой день утром Григоре попытался продолжить разговор, но отец решительно прервал его и вновь посоветовал уехать. Он все хорошо обдумал, взвесил, и это единственный правильный выход. В противном случае между ними то и дело будут возни-

кать разногласия, которые свяжут ему руки. Кроме того, Надина дала знать, что приезжает. Григоре узнал об этом только теперь и возмутился:

— Какое впечатление произведут на всех твои переговоры с моей бывшей женой? Уверен, что плохое! Даже на крестьян.

— Это почему же? Разве из-за того, что вы разошлись, она стала отверженной и с ней нельзя поддерживать никаких отношений — ни светских, ни деловых? — возразил Мирон.— Думаю, ты, как всегда, преувеличиваешь.

— Не знаю, кто из нас преувеличивает, но мне ясно, что я не могу больше здесь оставаться, если рискую встретиться с Надиной как раз накануне окончательного оформления развода! — заявил Григоре.

— Тем более ты должен оставить меня одного для блага обоих! — веско подтвердил Мирон.

Выезжать надо было сразу после завтрака, чтобы успеть в Костешть на скорый поезд. Желтая бричка с Икимом на козлах была заблаговременно подана к крыльцу. Мирон обнял сына сдержанно, как всегда. Растроганный Григоре, с трудом сдерживая волнение, расцеловал отца в обе щеки.

— Я вернусь через несколько дней, отец. Надеюсь, тогда я застану тебя одного.

— Возвращайся, когда здесь все уладится, Григорицэ! — уверенно ответил старик.

Он проводил бричку к новой усадьбе, до клумбы в форме сердца, сильно потрепанной зимними вьюгами. Выезжая из ворот, Григоре повернул голову. Старик стоял на том же месте, словно столб, крепко вколоченный в землю.

Перед корчмой мужики толпились, как и накануне, будто и не уходили отсюда.

— Чего они тут поджидают, Иким? — спросил Григоре.

— Да рази они сами знают, барин? — пробубнил кучер.— Торчат, как дурни...

Титу Херделя чувствовал себя лишним, как, впрочем, и накануне. Он радовался, что уезжает раньше, чем думал. Ему казалось, что он вырывается из кипящего котла.

2

— Отчего это он так быстро уезжает? — удивился Игнат Черчел, не сводя глаз с удаляющейся желтой брички.

Остальные крестьяне тоже машинально смотрели ей вслед.

— А что ему здесь делать? — отозвался чей-то голос.— Уезжает туда, где лучше и теплее.

— Небось тут остается старый барин! — язвительно заметил Серафим Могош.— От господ, Герасим, не так-то легко избавиться!

— Эх, были бы все господа такими, как молодой барин! — воскликнул Петре.— Вчера сами видели, как он пришел к нам... Кабы не старик...

— Оно конечно, да главный-то старик, он всем распоряжается! — вздохнул Серафим.

Дул свежий ветерок. Люди плотнее запахивали сермяги и глубже надвигали шапки. Расходиться не хотелось. Кое-кто забегал домой перекусить или приглядеть за скотиной, но поспешно возвращался, точно опасаясь, как бы в его отсутствие что-нибудь не произошло. Мужики из соседних сел, которые пришли вчера, чтобы разузнать о белых всадниках, явились и сегодня и привели с собой других, словно на большие посиделки. Люди, как всегда, толковали о своих повседневных бедах и горестях, но сейчас говорили как-то осторожнее, с оглядкой, будто боясь, как бы их не подслушали. Старались не смотреть друг другу в глаза, не то опасаясь разглядеть пламя, пылавшее в чужом взгляде, не то стараясь, чтобы другие не увидели огонь в их собственных глазах. Но на всех лицах трепетал один и тот же мрачный и страстный вопрос, требующий ответа.

Проходя мимо корчмы, староста окликал их:

— Что это с вами, люди добрые? Что, нет у вас дома, нет жен, нет детей?

И всякий раз ему отвечал Василе Зидару одной и той же шуткой, вызывавшей невеселый смех остальных:

— Так и мы теперь боярами заделались, господин староста. Такие уж времена настали.

Крестьяне разошлись только к вечеру, после того как увидели, что к усадьбе Юги проехал на шарабане полковник Штефэнеску, а затем прошел арендатор Козма Буруянэ. Платамону не заметил никто, так как он зашел в усадьбу, когда совсем стемнело и в корчме коротали время всего несколько человек.

Мирон Юга вызвал к себе их всех, даже Платамону, чтобы лучше уяснить для себя положение дел. Самым перепуганным оказался отставной полковник. Он причитал, как баба, боясь потерять все, что удалось собрать за долгие годы жизни. Но особенно он волновался из-за трех своих дочерей, которых хотел куда-нибудь вывезти, чтобы над ними, упаси бог, не надругались эти взбесившиеся звери. Однако когда Мирон Юга стал выпытывать, что же у него творится, то полковник признал, что в его поместье царит покой и порядок, мужики на работу подрядились, но к весенней вспашке еще не приступили. Однако он страшится зав-

трашнего дня, ибо эти бешеные звери не заслуживают ни малейшего доверия.

— Как же мне оставаться хладнокровным, сударь, коли я их знаю как облупленных! — воскликнул плачущим голосом Штефэнеску.— У вас здесь жандармы под рукой. А я один-одинешенек с бедными моими дочками в самом логове разбойников,— что они захотят, то с нами и сделают. Я попросил у генерала Дадарлата хотя бы отделение солдат для охраны невинных девушек. Куда там! Не может! Будто и у него в поместье лишь один денщик... Как же после этого заниматься в нашей стране земледелием? Конечно, мужики могут с нас заживо кожу содрать, раз правительству наплевать на нашу судьбу!

— Если вы будете говорить это в присутствии крестьян, не удивляйтесь, что они постараются с вами разделаться! — иронически заметил Мирон Юга.

— Что вы, сударь! — негодующе запротестовал полковник.— Как вы могли даже предположить такое? Это я говорю здесь, только вам, моим собратьям. А мужиков я муштрую по всем правилам! Как же иначе?

Спокойнее других был Платамону. Дочь он заблаговременно отправил в Питешти, а ему самому с женой и сыном бояться нечего. Они останутся на месте, что бы ни случилось. Впрочем, им даже некуда податься, так как все их состояние вложено в оба арендуемые им поместья. Он, конечно, не заикнулся о деньгах в твердой валюте, хранящихся в бухарестском банке. Это его личное дело. Кроме того, с крестьянами он в наилучших отношениях. Он никогда их не притеснял, не задевал грубым словом, даже пальцем никого не тронул, так что у них нет причин его ненавидеть. Вот только бедный Кирилэ Пэун обиделся на него из-за истории между его дочкой и Аристиде, но с ним он тоже как-нибудь поладит по-хорошему. В отношении поместья Леспезь он прекрасно столковался с крестьянами: правда, он кое в чем пошел им навстречу, но надеется, что сумеет вознаградить себя иным путем. А вот с Бабароагой дело хуже. Раньше мужики всячески пытались купить это поместье, а теперь требуют, чтобы его разделили между ними бесплатно. К счастью, приезжает владелица и лично ликвидирует неразбериху с Бабароагой.

Козма Буруяна не мог рассказать ничего нового. Его трусость была Юге хорошо известна. Козма не хотел никому признаться лишь в том, что подготовил свою семью к отъезду в любую минуту. Пусть уж лучше пойдет прахом все состояние, только бы сохранить жизнь.

Мирон Юга посоветовал им не терять хладнокровия и энергии, но сам прекрасно понимал, что его советы — пустые слова,

брошенные на ветер. Все эти люди уже сейчас ни живы ни мертвы от страха. По существу, он их вызвал, чтобы проверить собственное мнение. Основываясь на своих сведениях, старик считал, что слухи о намерении крестьян восстать являются, скорее всего, плодом воспаленного воображения трусов. Сетования арендаторов только лишний раз подтвердили его предположения.

Значительно больше доверял он старосте и начальнику жандармского участка, с которыми обстоятельно побеседовал в тот же вечер, после ухода арендаторов. Оба доложили, что мужики ведут себя смирно, правда, как всегда, ворчат из-за условий найма на работу, но, несомненно, опомнятся и примутся за дело, как только установится погода. О покупке Бабароаги они уже не помышляют, так как им втемяшилось в голову, будто власти отдадут ее мужикам бесплатно. Вот и выдумали сказку о белых конниках, которые возвещают о разделе земли... Мужики всегда только об этом и думают, в особенности весной. Однако староста почтительно добавил, что необходимо во всем действовать совместно с жандармами, чтобы сразу поставить на место любого сумасброда, который осмелился бы пойти на злодеяние. Бояниджиу, в свою очередь, заметил, что староста должен быть постоянно начеку, так как жандармский участок у них маленький — там всего пять человек, включая унтера. Мирон Юга пообещал напомнить об этом префекту, который на днях должен сюда заехать, и выяснить, не сможет ли тот прислать еще нескольких жандармов. Он тут же прибавил, что порядок зависит не от количества стражей порядка, а от их бдительности.

— Мужики должны чувствовать твердую власть! — добавил он.— Не провоцировать, но и не колебаться! Любую попытку вызвать беспорядки необходимо пресекать энергично и так, чтобы другим было неповадно.

— Понятно, барин! — покорно пробормотал староста.

— Здравия желаю! — гаркнул Бояниджиу, выпячивая грудь колесом, чтобы доказать свое рвение...

3

Титу Херделя и Григоре Юга приехали в Бухарест в сумерки. Скорый поезд был переполнен смертельно напуганными людьми, которые, опасаясь крестьян, побросали на произвол судьбы все свое добро, ища пристанища в столице, единственном месте, где они надеялись быть в безопасности.

— Это начало паники! — подавленно заметил Григоре.— Вам, конечно, понятно, как это усугубляет все наши несчастья.

Так как в давке и сумятице, царившей на площади Северного вокзала, пролетки им достать не удалось, Григоре и Титу втиснулись в набитую до отказа конку. На площади Национального театра они сошли. Григоре сказал, что заглянет к Пределяну, а Титу намеревался пойти позднее в город, чтобы разузнать последние новости. Как раз когда они прощались, мимо них пробежал цыганенок — продавец газет, вопя во все горло.

— «Адевэрул»! Специальный выпуск!.. «Адевэрул»!.. Специальный выпуск!..

Оба купили газету. Им сразу же бросился в глаза жирный заголовок: «Палата депутатов обсуждает крестьянские беспорядки». Не обменявшись ни словом, они подошли поближе к фонарю, чтобы прочесть сообщение. После запроса в палате депутатов возникла ожесточенная перепалка по поводу бурно разрастающихся крестьянских волнений. Несколько оппозиционных депутатов резко обвиняли правительство в том, что оно не сумело предотвратить недовольство в стране, защищали крестьян и требовали не прибегать к кровавым репрессиям. Правительственные депутаты, в свою очередь, обвиняли оппозицию в том, что она поддерживает злоумышленников, а ее агенты подстрекают крестьян к беззакониям и преступлениям.

— Хорошенькое дело! — пробормотал Григоре.— Страна полыхает огнем, а они обмениваются комплиментами.

Титу пошел по Каля Викторией. Отовсюду слышалось лишь: «восстания», «мужики», «беспорядки», «арендаторы»... Он свернул направо по проспекту к своему дому. Его окликнул знакомый голос — это был молодой Мендельсон, сын сапожника с улицы Бузешти.

— А, господин Херделя!.. Как поживаете?.. Что скажете о восстаниях? А? Хорош сюрприз для мироедов? Они думали, что нашли козла отпущения: евреи, мол, виноваты в том, что мироеды крестьян эксплуатируют! Сами знаете, у нас евреи всегда во всем виноваты. Но вот крестьяне повернули против мироедов, и теперь крестьяне уже тоже плохие. Значит, теперь надо напустить на них войска, надо убивать и вешать мужиков.

Мендельсон говорил со странной улыбкой, которая вызвала у Титу такое раздражение, что он укоризненно ответил:

— Не вижу никаких причин для радости, господин Мендельсон...

— А разве я радуюсь? — запротестовал юноша так горячо, что произнес эти слова с почти комической интонацией.— Кто вам сказал, что я радуюсь?.. Во-первых, я, как социалист, против насилия и, следовательно, не могу радоваться. Во-вторых, я прекрасно

знаю, что несчастные крестьяне заплатят потоками крови за то, что посмели восстать против господ...

И Мендельсон четверть часа излагал Титу теорию социальной несправедливости, стремясь доказать, что он переживает нынешние события болезненнее, чем кто бы то ни было. Чтобы избавиться от его разглагольствований, Титу извинился, сказав, что он только что приехал и спешит домой, но Мендельсон проводил его до самой калитки и не отстал, пока не изложил все свои соображения.

Дома Титу нашел два письма. В одном, отправленном по почте, Таница писала, что придет к нему в среду часам к шести вечера, когда чуть стемнеет, а пока посылает ему тысячи поцелуев. Во втором письме Белчуг сообщал Титу, что поспешно уезжает, ибо революция слишком уж разбушевалась, того и гляди, дойдет до Бухареста, и тогда малейшая задержка будет стоить ему жизни... Титу пожалел, что священник удрал так неожиданно. Ему хотелось послать домой родным хоть какие-нибудь безделушки на память о Бухаресте. Но, держа в руке записку священника, он думал о другом: «Когда пишет Таница, что придет? В среду?.. А сегодня понедельник... Значит, лишь послезавтра...»

На следующий день он пришел в «Драпелул» с самого утра. В кабинете Рошу было, как никогда, шумно, там толпились журналисты. Говорили о вчерашних событиях в палате депутатов, но больше всего — о статье-манифесте, подписанной одним бывшим министром и опубликованной в оппозиционной газете «Гласул попорулуй». Делчяну метал громы и молнии, комментируя те места, которые громко читал рыжеватый сотрудник, вечно всем недовольный Бебе Антониаде.

— Нет, вы только послушайте, шеф, сейчас будет самое сногсшибательное! — торжествующе воскликнул Бебе.— Слушайте: «С какой болью в сердце вижу я неспособность, никчемность правительства перед лицом столь грозных событий. В то время как крестьяне просят лишь дать им возможность жить, а именно в этой возможности им нагло отказывают, в то время как умирающие от голода тайно взывают к небесам, господина премьер-министра занимают лишь благоприобретенные права. Какие именно благоприобретенные права? Право истреблять наших крестьян, тех, кто является основой всей нашей страны, ее сущностью и мощью?» Подождите, подождите, сейчас будет еще хлеще: «Существует лишь одно-единственное право, и оно превыше всего, это право крестьян жить в своей собственной стране, право пользоваться защитой от грабежа, от алчности продажной администрации, право на поддержку в борьбе за свои исконные, прадедовские земли, попавшие в грязные руки безжалостных эксплуататоров. А тот, кто не по-

нимает этой трижды священной борьбы, должен уйти в отставку и занять другое, менее значительное место, соответствующее его уровню понимания событий. Необходимо понять, что все имеет свои границы, даже в нашей благословенной стране, и камни сами восстанут и побьют нас, если мы допустим, чтобы бездарность и неспособность правительства оплачивались румынской кровью!»

После минутной растерянности Деличану вне себя от возмущения воскликнул:

— Да ведь это же прямое подстрекательство, призыв к бунту! На такое можно дать лишь один-единственный достойный ответ: этого типа необходимо арестовать, независимо от того, кто он! Тем позорнее, что он бывший министр!

— Таковы они все, шеф! — поучительно поддакнул Антониаде.— Коли уж они задумали свергнуть правительство, то не гнушаются никакими средствами!

— Именно потому на подобные преступления правительство может ответить лишь одной-единственной мерой — в тюрьму Вэкэрешть! — воинственно провозгласил Деличану.— Либо, если оно чувствует себя неспособным на это, пусть уж лучше подаст в отставку и предоставит демагогам самим унять спровоцированные ими же беспорядки.

— Зачем же уступать им место, сударь? — запротестовал старый репортер Давидеску, напуганный перспективой оказаться в оппозиции.— Пусть лучше всех их засадят в кутузку и научат уму-разуму.

Титу Херделя, который скромно сидел в уголке, оробев в присутствии всего редакционного синклита, оказался внезапно в центре внимания, как только Рошу спросил его, что он видел в деревне. После того как Титу рассказал, что там, где он побывал, царит порядок, но обстановка показалась ему напряженной, Деличану заметил:

— Вполне естественно! Там, куда еще не добрались подстрекатели, царит полный покой!.. Но отправьте туда статью почтенного экс-министра и увидите, какая там заварится каша!

Рошу до самого обеда никак не удавалось остаться наедине с Титу, хотя ему очень хотелось поделиться со своим постоянным наперсником несколькими потрясающими, только ему одному известными подробностями. Поэтому, когда Титу собрался уходить, секретарь многозначительно посоветовал:

— Неплохо бы тебе, малыш, заглянуть после обеда в палату депутатов! Возможно, произойдет кое-что интересное! А завтра приходи в редакцию пораньше, понятно?

4

Во вторник утром солнце вышло из-за полога свинцовых туч. Освещенные теплыми лучами, крестьяне толпились у корчмы Бусуйока, надеясь разузнать, что надумали вчера вечером господа, побывавшие у старого барина. Староста то и дело шутливо и ласково вразумлял собравшихся:

— Да не тратьте вы время попусту, ребята! Может, все ждете, что еще раз прискачут те самые волшебные конники? Займитесь-ка лучше своими делами, люди добрые!

— Конники-то молодцы, они правильные речи вели! — не согласился слегка захмелевший Марин Стан, который уже угостился у Бусуйока.— Без них рази собрались бы наши господа, рази стали бы торговаться и совет держать, что к чему?.. Так-то оно, братцы, от страха чего не сделаешь! Правильно я говорю, господин староста?

— Дивлюсь я на тебя, Марин, взрослый ты человек, а городишь невесть какую чепуху! — насмешливо улыбнулся Правилэ.— Кого ж это могут господа бояться? Не тебя ли?.. Да куда ты гож!..

Кое-кто рассмеялся, но другие угрожающе закричали:

— Так оно и есть, теперь их черед нас бояться!

— Да уж не от хорошей жизни они вчера собрались, это точно! — ввернул Серафим Могош.

— Верно, замышляют, как ловчее припрятать указ о разделе земли! — предположил Игнат Черчел.

— Хорошо, что конники нам все раскрыли, мы теперь своего не уступим! — воскликнул Тоадер Стрымбу.

— А ну замолчите, не то осерчаю! — зычно перебил его староста.— Я с вами говорю по-хорошему, а вы все глупости мелете! Так мы не столкуемся, братцы!

Марин Стан лукаво посмотрел на старосту и неожиданно спросил:

— Господин староста, я, может, и хлебнул сегодня, не отказываюсь, а вот ты что делал у старого барина нынче ночью вместе с жандармским унтером?

— Ты, видать, думаешь, что мы тебя либо другого кого опасаемся? — высокомерно отпарировал Правилэ.— Прикажешь стыдиться того, что меня вызывал к себе барин? Разве я не староста нашего села?.. А?.. Или, быть может, мы там что-нибудь постыдное замышляли? Значит, тот, кто старается, чтобы в селе царил мир и покой, плохо поступает, что ли? Ты так думаешь, Марин? Говори начистоту!

— Ну нет, не дай бог! — ответил серьезно Марин, будто сразу протрезвев.— Мы-то ведь чего хотим — мира да покоя, ну и справедливости, конечно!.. Только я подумал, может, барин и тебя спросил, как лучше поделить землю между мужиками?..

— Значит, надеешься, что наш барин раздаст свою землю? — рассмеялся староста.— Ты что, Марин, неужто сам не знаешь, как он держится за свое поместье?

— А кто по доброй воле раздаст свое добро? — пробормотал Игнат Черчел.— Только ведь это указ самого короля! Разве у меня не отобрали свинью в счет подати? А я смолчал, потому как ничего не мог поделать, хоть детишки и голодают.

Поняв, что с крестьянами не договориться, Правилэ отпустил еще несколько шуток и ушел к себе в канцелярию. К полудню заявился из Леспези Матей Дулману и рассказал со слов господских слуг, что туда сегодня приезжает из Бухареста на автомобиле молодая барыня. В усадьбе к ее приезду уже все убрано и протоплено... Люди всполошились, словно куры при виде хорька. Над возмущенной толпой взметнулись негодующие возгласы:

— Чего она сюда опять приезжает? Что ей здесь нужно? Неужто все еще хочет продать Бабароагу чужакам?

— Не допустим, ни за что не допустим!

— Лучше подожжем все!

— А может, барыня получила указ о разделе земли...

— Давно нам пора вспахать ее поместье, а не сидеть сложа руки!..

— Да пусть приезжает, люди добрые, мы же тут, начеку! — крикнул громче всех Петре Петре.

Пока крестьяне волновались и кипятились, Павел Тунсу, зять бабки Иоаны, сухощавый мужик с маленькой головой и жадными глазами, уговаривал своего сына Костикэ:

— Да пойди ты, малец, к бабке, поиграй там с ребятами! Тебе и мамка так велела! Беги отсюда, Костикэ, не ходи за мной по пятам, не крутись у людей под ногами, здесь не до ребят, сам видишь.— Заметив, что Костикэ молчит и упрямо цепляется за его рукав, Тунсу сердито прикрикнул: — Убирайся, слышь, а то поколочу! Ты что, слушаться не хочешь?

— Собак боюсь,— всхлипнул мальчик.

— Каких собак, нет никаких собак по дороге до самой бабки, это ведь совсем рядышком! — подбодрил сына Павел.— Ступай, ступай, сынок, не серди меня! Иди потихоньку!

Поддавшись уговорам и побоявшись трепки — рука у отца была тяжелая,— Костикэ нехотя побрел по улице под гору. Мальчик был босиком, с непокрытой головой, в грязной, рваной рубахе с широкими рукавами. Скоро озорник распалился, как обыч-

но, и дойдя до халупы бабки Иоаны, принялся кричать во все горло, вызывая Нику, сынка Василе Зидару, и будоража всех соседей.

Бабка Иоана была расстроена из-за наседки, которая, неделю просидев на яйцах, теперь то и дело удирала, принуждая старуху бегать за нею по всему двору и огороду. Услышав голос внука, она недовольно заворчала, вспомнив, что только недавно отделалась от юродивого Антона:

— Не успела от одного сумасшедшего избавиться, а тут уж другой на мою голову пожаловал, еще почище.

Когда наконец Костикэ появился вместе с Нику на пороге, бабка угрюмо буркнула, даже не взглянув на внука:

— Слышь, малый, играй смирно и не серди меня, хватит напастей и без тебя, пропади все пропадом!

Костикэ, пропустив бабкину воркотню мимо ушей, покрутился в доме, подразнил собак и стал хныкать, что голоден.

— Ишь ты, присылают тебя ко мне с пустым брюхом, как будто мало я вас всех кормила! — огрызнулась бабка Иоана.— Там на столе мамалыга закутана в полотенце, а на печи горшок с молоком. Жри, пока не лопнешь!

Дети снова убежали играть, а старуха занялась своими делами, не переставая ругать ребят и ворчать на них, чтоб они не шалили.

— Да оставьте вы, чертенята, собак в покое, покусают ведь они вас!.. Костикэ, будь ты неладен, не гоняй кур, а то так их напугаешь, что сбегут со двора!.. Ты что, неслух, совсем с ума спятил? Чего взгромоздился верхом на поросенка? Раздавишь его ненароком, будь ты неладен!

Затем Костикэ выскочил на улицу, где было просторнее и сподручнее показывать Нику всевозможные проделки. Как старший, он считал себя обязанным непрерывно вызывать восхищение товарища по играм и выдумывал бог весть что, лишь бы досадить бабке. Спустя некоторое время она крикнула, не выходя из дому:

— Вернись, озорник, во двор, не балуйся на улице, а то еще попадешь под телегу какую, беды из-за тебя не оберешься!

С той стороны дороги сейчас же раздался голос жены Василе Зидару:

— Эй, Никушор! Иди к мамке, не ходи ты по пятам за этим озорником Костикэ! Иди, иди к мамке, я тебе чего дам!

Костикэ играл в лошадки, носился сломя голову по улице и победоносно ржал всякий раз, когда пробегал мимо приятеля. Нику был до того захвачен игрой, что даже не расслышал голоса матери.

Бабку Иоану выводило из себя любое вмешательство жены Зидару, а уж когда та бранила внука, ей это совсем невмоготу было слушать. Она как раз мыла кастрюлю и, даже не вытерев руки, вышла на улицу, к воротам.

— Костикэ, чертенок, сейчас же вернись во двор! Слышишь? Чего балуешься на улице? Двора тебе мало?.. Оглох, что ли? А ну, скорей во двор или убирайся к себе домой!

Мальчик просительно захныкал, не прекращая игры:

— Да что я сделал, бабушка?.. Разреши нам еще поиграть, мы ведь не озорничаем!

Бабка Иоана еще что-то обезоруженно пробормотала, хлопнула калиткой и вернулась к кастрюле.

— Шел бы ты лучше домой, хватит мне душу выматывать, нет у меня времени за тобой смотреть, будь оно все неладно!

Она еще не успела снова приняться за кастрюлю, как издалека раздался гудок автомобиля. Несмотря на гнев, бабка крикнула внуку:

— Беги оттуда, внучек, а то еще задавит тебя эта чертовщина!

Струсивший Нику не стал дожидаться окрика матери и поспешно спрятался за калитку, довольствуясь тем, что выглядывал из-за жердин. Но Костикэ отважно застыл посередине улицы и гордо заорал:

— А я не боюсь, видишь, Нику? Не боюсь, и все! Не боюсь!

Он раскинул руки, так что широкие рукава повисли точно крылья летучей мыши, и высунул длиннющий язык, дразня приближающуюся на большой скорости машину, оглашавшую дорогу пронзительными воплями гудка.

— Где ты, Костикэ? Беги скорее во двор, пропади все пропадом! — снова раздался голос бабки с порога халупы.

Автомобиль уже был шагах в пятидесяти, но Костикэ, назло отчаянным предупреждениям гудка, не трогался с места. Увидев, что мальчишка заупрямился, шофер свернул вправо. Костикэ перебежал туда же, словно стараясь во что бы то ни стало угодить под колеса. Крутой поворот руля кинул автомобиль влево, но и мальчик молниеносно переметнулся влево. Тормоза заскрежетали ржавым вздохом, и машина резко остановилась. Дама, сидевшая в глубине, закричала. В ту же секунду разъяренный шофер подскочил к мальчишке, застывшему с высунутым языком в двух шагах от машины.

— Оборвите ему уши, Рудольф, чтобы набрался ума-разума, негодник! — крикнул из машины господин с бородкой.

Водитель хорошенько надрал уши мальчику, отвесил ему несколько увесистых затрещин и отпихнул на мостки у калитки, за

которой рассопливившийся Нику оцепенел от страха с разинутым ртом.

— Здесь стой, разбойник, а не под носом у машины!

Пока автомобиль мчался дальше, повернув к усадьбе Юги, отчаянные вопли Костикэ переполошили всех соседей. Напуганная бабка Иоана приковыляла, едва переводя дух:

— Что случилось, Костикэ?.. Что с тобой стряслось?

— Я... я... играл...— еле ответил мальчик, задыхаясь от слез,— а... он... ой... уши!

— Что тут случилось, Никушор, ты же видел? — обратилась бабка к Нику.

— Его барин выдрал за то, что он не захотел податься в сторону! — пролепетал, заикаясь от волнения, Нику.

— Так тебе и надо! Очень хорошо сделал! — напустилась на внука пришедшая в себя бабка.— Уж лучше бы он совсем тебе шею свернул, неслух, а то я только попусту с тобой горло деру!.. А ну, скорей домой! Слышишь, чтоб духу твоего здесь не было, убирайся к черту и ты, и те, кто тебя прислал. У меня чуть сердце из груди не выскочило!.. Уходи сейчас же, нечистая сила, или я тебя еще не так отделаю!

Мальчик встал и, ни на кого не глядя, поплелся в гору, держась за уши и отчаянно вопя:

— Ой-ой, он мне ухо оторвал!.. Ой, убил он меня, ой, убил!..

— Больно уж озорной мальчишка! — покачала головой одна из соседок.

— Пошли домой, Никушор! — гордо взяла своего отпрыска за руку жена Василе Зидару.— Ты-то у меня послушный, правда, сынок? Не озоруешь, не делаешь все людям наперекор, правда, Никушор?

Бабка Иоана возвратилась во двор, крестясь и бормоча:

— Будь оно все неладно!

5

Ложа печати была почти пуста. Человека четыре, не больше, среди которых и Титу Херделя, обсуждали возможность падения правительства. Старый парламентский репортер газеты «Универсул» Бидидиу дремал, посапывая, на своем обычном месте в ожидании начала заседания. Шел шестой час, и внизу в зале с тупой важностью зевали лишь несколько никому не известных скучающих депутатов. Но трибуны для публики были переполнены. Какой-то молодой журналист, окинув взглядом раскрасневшиеся от любопытства и волнения лица, иронически заметил:

— А на трибунах почти одни помещики и арендаторы... Можно подумать, что речи защитят их от ярости крестьян!

Титу понимал, что новости можно разузнать только внизу, в кулуарах, но так как он бывал в палате депутатов редко, то не осмеливался спуститься туда, по примеру своих более опытных собратьев, набивших руку на парламентских прениях. Пока он тоже скучал. Его мало интересовали тонкие доводы «за» или «против» правительства, приводимые остальными тремя журналистами. Подоплека закулисной борьбы между партиями и в самых партиях была ему неизвестна, а из политических деятелей он знал только тех, которых чаще упоминали газеты, да и то лишь по имени.

Неожиданно с таинственным и важным видом появился щупленький и сутулый репортер газеты «Диминяца» — Попеску-Рэкару. Журналист из «Универсула» очнулся от дремоты и, зевая, спросил:

— Ну, что там, моншер, слышно, начнут они или нет? А то я плюну на всю эту историю.

— Да будет тебе, сейчас начнется! — ответил Попеску-Рэкару.— Но заседание — это чепуха. Лучше я вам расскажу сногсшибательную сенсацию. Ее только что сообщил начальник канцелярии министерства внутренних дел. Совсем свеженькая новость!.. В каком-то городке на Дунае, где именно, он не говорил, но я думаю, что это Джурджу, сегодня утром мобилизованные резервисты восстали против офицеров, двоих убили, многих тяжело ранили, а затем, прихватив оружие, разбежались по своим селам! Ну, что скажете? Это уже не шутка! Можете себе представить, какую панику вызвала в правительстве новость. Даже на армию нельзя положиться! А теперь беспорядки охватили и села уезда Влашки. Больше того — ходят упорные слухи о крестьянских волнениях и в уезде Ильфов, под самым Бухарестом. А вдруг мужики нападут на столицу и армия перейдет на их сторону?.. Поговаривают, будто правительство весьма серьезно хочет просить о вмешательстве австрийских войск, не то вся страна может провалиться в тартарары...

Сообщение репортера поразило всех. Любопытные из соседних лож вытянули шеи, чтобы лучше слышать. Кто-то из журналистов возразил:

— Ну, каких только сказок сейчас не рассказывают...

— Как так сказки? — возмутился Попеску-Рэкару. — Я же тебе сказал, что эти сведения только что сообщил нескольким депутатам начальник канцелярии министерства внутренних дел. Теперь не до сказок! Впрочем, я сейчас же передам новость в редак-

цию, вот только не знаю, разрешит ли правительство ее опубликовать.

— А я и не подумаю сообщать,— сонно проворчал Бидиду.— Бесполезно! Мы помещаем только сообщения, официально одобренные.

— Потому-то ваша газета и стала органом малодушия и трусости! — насмешливо усмехнулся какой-то драчливый журналист.

— Болтай сколько хочешь, юноша! — равнодушно пожал плечами старый репортер.— Как будто «Универсул» моя собственная газета.

Зал заседаний стал заметно оживляться. На председательской трибуне засуетились секретари и чиновники. В кулуарах раздавались голоса распорядителей: «Просим господ депутатов на заседание!» Рассматривая собравшихся внизу депутатов, Титу увидел Гогу Ионеску, который, пристально разглядывая места для публики, выискал глазами жену и обменялся с ней знаками. Еуджения еще раньше заметила Титу и взглядом указала на него Гогу. Через несколько секунд Гогу подошел к ложе печати и крикнул Титу:

— Когда закончится заседание, захватите с собой Еуджению и ждите меня внизу!

Титу лишь теперь заметил приветливо улыбавшуюся ему Еуджению и почтительно ей поклонился.

Наконец заседание открылось, но пока председатель читал разные протоколы, списки и другие никого не интересующие материалы, гул в зале не утихал. В правительственной ложе сутулилась какая-то бесцветная личность. Затем председатель объявил бойкой скороговоркой:

— Слово имеет господин докладчик!

На трибуну поднялся усатый, рослый мужчина и, явно щеголяя своим зычным баритоном, прочитал законопроект о льготной, без каких-либо налоговых обложений, продаже бензина владельцам автомобилей. На депутатских скамьях громко болтали, заглушая слова докладчика, словно депутатам было стыдно его слушать.

— Подумать только, что их волнует в эти минуты: облегчить «тяготы» тридцати миллионеров, которые раскатывают в автомобилях! — буркнул репортер «Универсула», строча свой отчет.

Через несколько минут снова раздались голоса распорядителей: «Господ депутатов просят проголосовать!»

— Пошли, господа, больше ничего не будет! — заторопился один из журналистов, собрал бумаги и вышел.

Титу задержался до тех пор, пока не увидел, что Гогу Ионеску подошел к урнам для голосования, и только тогда спустился вместе с Еудженией.

— Мне кто-то говорил, кажется Деличану, что вы ездили вместе с Григоре в Амару, это правда? — взволнованно спросил его Гогу.— Что там слышно?.. Вы себе даже представить не можете, до чего мы встревожены. Надина именно сейчас решила отправиться в деревню, чтобы продать свое поместье! Сегодня в полдень уехала в автомобиле... Что вы на это скажете?

Титу попытался его успокоить, рассказав, что он лишь накануне вечером приехал из Амары и что там все тихо и мирно. Но Гогу перебил его со слезами в голосе:

— Так-то так, но вы же знаете, что и во Влашке начались грабежи и убийства!.. Теперь даже в Бухаресте нельзя считать себя в полной безопасности, а она едет в деревню!.. Боже мой, боже, мне все еще не верится, что она действительно уехала! Нелепая прихоть и упрямство! В жизни ничего подобного не видывал! В такие страшные времена не думаешь ни о поместьях, ни о деньгах, главное — сохранить жизнь! И чего это ей так загорелось срочно продавать имение? Никак в толк не возьму, по-моему, ее черт попутал, иначе этого не объяснишь!

Супруги Ионеску увели Титу с собой, оставили ужинать и весь вечер говорили о Надине.

6

Крестьяне как раз толковали о молодой барыне, которая совсем недавно проехала в автомобиле к усадьбе Мирона Юги, когда к ним подбежал, вопя во все горло, сынишка Павла Тупсу:

— Ой-ой-ой, он мне ухо оторвал!.. Ой, он меня убил!..

Василе Зидару, который стоял чуть в стороне, спросил мальчика:

— Кто тебя обидел, Костикэ?.. А?.. Не хочешь говорить?.. Что же ты молчишь, почему не скажешь, кто тебя обидел?

Павел Тупсу уже ушел домой. Костикэ понял, что отца здесь нет, иначе бы тот сразу подошел к нему, чтобы узнать, почему он плачет. Поэтому он даже не ответил Василе, а поплелся своей дорогой, вопя еще пронзительнее, словно похваляясь своей бедой и стараясь оповестить о ней всю деревню.

Какая-то женщина, пришедшая вслед за мальчишкой, ответила вместо него Василе:

— Господа его малость поучили уму-разуму за то, что он не отошел в сторону, когда ехала их машина.

Зидару покачал головой:

— Что ж это, господам делать нечего, с детишками связываются?

Его поддержали двое других крестьян, что стояли рядом:

— И то правда! Мальца-то зачем бить? Не съел же он их добро!

— Им, вишь, теперь уж мало, что нас мучают да истязают,— вспылил Игнат Черчел,— начали и над ребятишками измываться. Моих голодом морят, отобрали у нас кабанчика... Горе, а не жизнь, иначе не скажешь!

В разговор вмешались и другие:

— Детей пусть оставят в покое! Что они к ним привязались?.. Видать, и детишки наши им жить мешают!.. Ох, господи, жестоко ты нас казнишь!.. Только мы сами виноваты, раз такие трусы да бабы!.. Ежели бы господа знали, что у нас под рукой дубины, не смели бы над нами измываться!

Тоадер Стрымбу, багровый от негодования, с выпученными глазами, орал:

— Будь это мой мальчонка, я бы им показал!

В другой кучке, поближе к двери корчмы, Трифон Гужу, насупив, как всегда, брови, промолвил неторопливо, спокойно и холодно:

— Господа по-людски с нами обходятся, только когда мы их в страхе держим!

Голоса переплетались, сливались, заглушали друг друга. Крестьяне, сбившись толпой, перекатывались волнами то в одну, то в другую сторону, прислушивались, переругивались, проклинали. Казалось, порывы ветра, то и дело менявшего направление, сталкивали людей с места. Толпа кипела, корчилась, распалялась.

Корчмарь, который вышел на порог, чтобы узнать, в чем дело, крикнул Трифону:

— Вы о Павловом огольце толкуете? О Костикэ?.. Да пошли-те вы его, люди добрые, к черту, второго такого охальника и безобразника во всем селе не сыщешь!.. Ты сам, Трифон, намедни бранил его здесь, не помню уж за какую проделку...

Слова Бусуйока подействовали на крестьян отрезвляюще, будто кто-то плеснул холодной водой на вздымающееся облако пара. На секунду воцарилось растерянное молчание, будто толпа, стряхнув наваждение, пришла в себя. Трифон сконфуженно открыл рот, пытаясь оправдаться:

— Так ведь...

Но его колебанию тут же положил конец голос Петре Петре, загремевший с суровой укоризной:

— За что же это ты, дядюшка Кристаке, ребенка поносишь?.. За то, что его господа избили?

Толпа вновь всколыхнулась, словно кто-то вовремя разворошил затухавший было костер. Трифон, еще не успевший закончить своих слов, яростно закричал:

— Так ведь ты, по всему видать, руку господ держишь! Нет у тебя сердца, тебе и не больно, когда нас бьют!

Возбуждение негодующих крестьян обдало жаром и Бусуйока. Хотя только что ему казалось нелепым, как это могут взрослые люди колготиться из-за того, что надрали, да и за дело, уши мальчишке, которого все знают как первого озорника в деревне (одному отцу сколько крови этот чертов негодник попортил!), сейчас Бусуйок тоже невольно поддался всеобщему возмущению и закричал, наливаясь гневом:

— Это как же так, Трифон, я держу руку господ? Не стыдно тебе меня попрекать? И это говоришь ты, кто меня столько раз объедал? Знать, подпеваешь Петре Петре, который день-деньской обхаживает господ на барской усадьбе, а потом сюда заявляется и меня же честит!

— Кого я обхаживаю, Кристаке? — взвился Петре, проталкиваясь к корчмарю.— Как это обхаживаю?.. Значит, если я работаю у господ, я их обхаживаю?.. А кому выправил старый барин документ на корчму, чтобы людей обманывать и на них наживаться, мне или тебе?.. Да пустите вы меня, люди добрые, к нему поближе, пусть ответит, не могу я терпеть, чтобы он меня позорил перед всей деревней, словно я для него мразь какая!..

— Да уж тебя, Петрикэ, никто не перекричит! — примирительно буркнул корчмарь, увидев, что крестьяне с трудом удерживают рвущегося к нему парня.— Больно ты чванливый да заносчивый! Я к тебе приглядываюсь с той самой поры, как ты с солдатчины возвратился. Можно подумать, что один ты у нас на деревне стóящий человек!.. Уймись, парень, ты еще молодой! Мы тоже умеем пораскинуть мозгами и свое слово сказать.

Но Петре, еще больше распаляясь от того, что люди его удерживали, а Бусуйок сбавил тон, наседал все яростнее и злее:

— Отойди в сторонку, дяденька Леонте! Пусти меня, Тоадер, ты что, не слышишь, как он меня ославил? Пусть толстобрюхий скажет, чем я проштрафился, почему он меня так честит и ругает?

— Да помолчи ты, парень, не огрел же он тебя дубиной по голове! — успокаивал Петре Леонте Орбишор, дергая его за руку и гордясь тем, что и он причастен к ссоре.

— Уж лучше бы он мне в зубы дал, чем обкладывал такими словами! — продолжал кричать Петре, все еще вырываясь, по

чуть потише.— Не украл я у него ничего и не обругал, а только заступился за мальца!

— Такая уж наша доля! — горестно вздохнул Тоадер Стрымбу.— Когда господа нас бьют, мы, вместо того чтобы пойти на них с дубиной или хоть вопить, меж собой драку затеваем!

— Твоя правда, Тоадер! — печально поддержал его Игнат Черчел.— Святая правда, все так и есть, как ты говоришь.

— Я ведь не драчун, не охальник какой, не по душе мне это, но если кто надо мной насмешки строит, будь он хоть святой угодник небесный, я места себе не найду, пока не отплачу ему сторицей! — не унимался Петре, поправляя измятую в суматохе одежду.

Толпа еще не успела остыть после ссоры, как появился Павел Тупсу со скорбной физиономией, словно пришел с похорон. Крестьяне сгрудились вокруг с таким любопытством, будто надеялись услышать от него спасительную новость. Пытаясь загладить сказанные раньше слова, Бусуйок, не сходя с порога, сразу же спросил:

— Что там стряслось, Павел, с твоим сынком?.. Что ему господа сделали?

— Худо, Кристаке, ты меня лучше не спрашивай и не трогай, потому что нет на земле человека несчастнее! — выдохнул Павел, и в голосе его сквозило больше ненависти, чем боли.

Потом он подробно описал, как все якобы произошло: Костикэ был у своей бабки и мирно играл на мостках с мальчишкой Василе Зидару. Потом проехала машина, и детишки, верно, от страха, да и не хотелось им прерывать свою ребячью игру, остались смирно стоять на месте и лишь посмотрели ей вслед, вот так же, как это сделали все мужики, когда машина недавно тут проехала. Что там померещилось господам из машины, один бог ведает, но вдруг автомобиль остановился, чужестранец-водитель выскочил из него и подбежал к ребятам. Никушор, сынок Василе, он поменьше да и боязливый, на свое счастье, убежал во двор, не то ему, верно, еще хуже бы влетело. А Костикэ, не зная за собой никакой вины, остался спокойно стоять на месте и еще удивлялся, что это вдруг понадобилось тому чужаку, который все гудит на передке машины! А чужак, не долго думая, схватил мальчонку за уши и так стал их драть и выкручивать, что чуть совсем не вырвал. Мало того, потом принялся молотить малыша кулаками и пинать ногами, едва до смерти не убил! Покалечил он его и напоследок обложил на своем собачьем языке, влез в машину и укатил к черту, к старому барину.

— У него из ушей и сейчас кровь хлещет, вспухли они, покарай этих злыдней матерь божья,— продолжал Павел, благоговей-

но осеняя себя крестным знамением, как перед алтарем.— Жена ему повязку накладывает, а я послал за теткой Настасией Нистор, она-то постарше и выходила два года назад дочку Замфира, когда молотилка повредила ей руку... По дороге я встретил деда Лупу, и он мне присоветовал отвезти мальчонку в больницу в Питешти. И впрямь отвезу, никуда тут не денешься, очень уж парнишку жаль, так он, бедный, мучается. Только не было бы все попусту, потрачу бог весть сколько денег, а он все одно останется калекой на всю жизнь. Ох, беда!..— глубоко вздохнул он в заключение, безнадежно махнув рукой.

Крестьяне слушали Павла молча, не перебивая, сочувственно кивая головой. Только несколько секунд спустя Василе Зидару заговорил с каким-то облегчением в голосе, словно у него камень с сердца свалился:

— То-то мне было невдомек, как это мальчонка осмелился обидеть господ!

Десятки голосов одобрительно загалдели наперебой:

— Да уж, конечно, так, малый в жисть не посмел бы!

Повелительный голос Бусуйока перекрыл все остальные голоса:

— Так чего ж ты, Павел, не возьмешь мальца за руку да не отведешь его, какой он есть, избитый да перевязанный, на барский двор? Там же и потребуешь, чтобы тебе прямо на месте и заплатили за все муки.

Павел в нерешительности повернул голову к Бусуйоку, которого шумно поддержали все остальные:

— Ступай, Павел!.. Кристя дело говорит!.. Да не раздумывай ты, не топчись на месте, ступай!.. Они должны тебе заплатить!

— Как же так, люди добрые? Выходит, вы меня посылаете, чтоб меня тоже избили,— растерянно пробормотал наконец Павел.— Ведь я и так еле на ногах держусь, не побоятся они меня.

— Давай, Павел, и я с тобой пойду! — воскликнул Петре, поправляя на плечах сермягу.

— Все пойдем! — закричал маленький, коренастый мужичок в огромной меховой шапке, сдвинутой на затылок.— Всех-то не изобьют!

— Да помолчи ты, Гавриле, не будь ребенком,— поспешно одернул его Игнат Черчел.— Будто не ходили мы намедни почитай всем миром просить за учителя и не шуганул нас, как собак, старый барин?

— Коли опять смиримся, как тогда, то, конечно, прогонит! — угрюмо пробасил Трифон Гужу.

— А мы не смиримся! Не смиримся!.. Но собаки ведь! — закричали несколько человек сразу.

— Лучше пустим им красного петуха, чтобы прах и пепел остался от всего их семени! — отчетливо зазвенел тонкий голос, словно опустившись алой нитью откуда-то с небес.

Все обернулись к Мелинте Херувиму, который задрал голову высоко вверх, чтобы показать, что не боится ответить за свои слова. В ту же секунду с нижнего конца улицы, как тревожный призыв, послышался повелительный рокот автомобиля.

— Едет, едет...— зашептали многие дрогнувшим голосом, словно сразу же забыли слова Мелинте.

Толпа, заполнившая площадку для хоры перед корчмой и всю улицу от канавы до канавы, неподвижно замерла, перекрыв дорогу, будто решив никого не пропускать. Однако, когда машина показалась вдали, кто-то примирительно крикнул:

— Да расступитесь вы, люди добрые, расступитесь, едет ведь!

Медленно, нехотя, словно по принуждению, крестьяне расчистили путь, скучившись по краям улицы. Автомобиль повелительно и настойчиво повторил то же пронзительное предупреждение, схожее с гневным окриком. Рокот мотора и стрельба выхлопных газов грозно нарастали, заглушая все деревенские шумы и людской гомон. Выстроившись, как древние стражники, по обочинам дороги, крестьяне не сводили мрачных, помутневших глаз с мчащейся машины. Один лишь корчмарь, стоя на дороге, стянул с головы шапку и привычно поклонился. Из машины ему дружески помахала изящная ручка. Но в то же мгновение, будто не в силах сдержаться, Петре Петре ринулся на середину улицы и яростно закричал вслед автомобилю:

— Убирайтесь! Прочь! Долой!

Почти одновременно из сотни глоток оглушительно вырвался тот же негодующий вопль, а Трифон Гужу схватил камень и изо всех сил швырнул в удаляющуюся машину.

— В бога мать вашу, разбойники проклятые! — проскрежетал он.

Грохот двигателя заглушил, однако, крики людей. Но господин с бородкой клинышком, сидевший в машине, видно, что-то почувствовав, на миг оглянулся и увидел яростные лица, поднятые кулаки и Трифона Гужу, бросавшего камень. Он в ужасе отпрянул и втянул голову в плечи, растерянно ожидая удара.

По мере того как расстояние заглушало шум мотора, нарастал и набирал силу рев толпы, сбившейся на середине улицы, рев, над которым взвился, словно приказ, хриплый голос:

— Мать вашу, чертовы мироеды!

ГЛАВА VIII

ПЛАМЯ

1

На следующий день, в среду, часов около двенадцати, Платамону отправился в Леспезь в кабриолете, захватив с собой и адвоката Олимпа Ставрата, который остановился у него в Глигану.

— Ну вот, благополучно подъезжаем, господин адвокат! — усмехнулся арендатор, который погонял лошадь, сидя рядом со Ставратом. На заднем сиденье примостился Аристиде.

— Подъезжать-то подъезжаем, но насколько благополучно, это еще видно будет! — нервно ответил Ставрат, поглаживая тронутую сединой бородку и то и дело оглядываясь по сторонам, словно опасаясь, как бы перед ними нежданно-негаданно не выросла толпа взбунтовавшихся мужиков.

— Да вы не волнуйтесь, уважаемый господин адвокат! — покровительственно, чуть ли не иронически, продолжал успокаивать его Платамону.— Наши мужики не такие уж сумасшедшие, как думают в городе. Мужик по своей натуре — человек благоразумный, может быть, даже слишком.

Но Олимпа Ставрата эти платонические утешения не могли успокоить. Им владел дикий страх, все окружающее представало перед ним в самых мрачных красках, всюду ему мерещились чудовищные призраки. Мысленно он проклинал свою злосчастную уступчивость, побудившую его выполнить каприз взбалмошной барыньки. Зачем только ему понадобилось оставлять мирную и безопасную жизнь в Бухаресте и подвергаться риску в деревнях, охваченных лихорадкой восстания? Не лучше ли было бы для него, человека немолодого, почитывать о крестьянских восстаниях в газетах, развалившись в удобном кресле у себя дома, попивая сладкий кофе и попыхивая сигарой, вместо того чтобы дрожать здесь? Он ведь прекрасно знал, причем на собственном опыте, что привносить в деловые отношения какие-либо чувства одинаково вредно и для дел и для чувств. И с чего это он так по-дурацки увлекся своей клиенткой? Она, разумеется, красива и соблазнительна, но вот к чему это привело. И главное — все без толку... Ведь до сих пор она ему не уплатила даже гонорар за бракоразводный процесс. Пока он довольствуется лишь авансом, полученным в самом начале, когда он относился к Надине просто как к светской клиентке. Но этой ошибки он никогда себе не простит,—

как это он, хотя бы в последнюю минуту, не отказался от поездки в поместье, когда газеты уже сообщили, что беспорядки и насилия охватили всю страну. В крайнем случае надо было остановиться в Питешти, где стоят воинские части,— ведь он своими глазами видел во всех деревнях на своем пути, как толпы мужиков с кровожадными разбойничьими лицами о чем-то шепчутся и явно что-то замышляют на виду у всех...

Адвокат всю ночь напролет ворочался без сна, то и дело проверяя, хорошо ли заперта дверь, и вздрагивая от страха при всяком шорохе во дворе. Он не испытывал особого доверия и к арендатору, хотя тот был чрезвычайно любезен. Кто поручится, что он не состоит в тайном сговоре с мужиками и разбойники неожиданно не вломятся в комнату?

Когда кабриолет заворачивал в ворота усадьбы, Ставрат заметил в соседнем дворе человек пять мужиков.

— Вот они уже и здесь объявились! — вздрогнул он, указывая на них пальцем арендатору.

— Да это добропорядочные люди, господин адвокат! — успокоил его Платамону.— Я за них ручаюсь!.. Хорошо их знаю!.. Тот — в белой шапке — это Матей Дулмапу, человек состоятельный и душевный. Может, и вам придется иметь с ним дело, потому что он один из тех, кто надумал объединиться с другими и купить поместье госпожи Надины.

Адвокат Ставрат накануне два раза останавливался во дворе барского особняка, сперва как только приехал, а потом, когда они возвращались от Мирона Юги, но в дом не заходил. Теперь он внимательно оглядел здания и двор, словно никогда их не видел, и угрюмо заметил:

— В этих усадьбах никогда не чувствуешь себя в безопасности... Все двери открыты настежь, заходи кто хочешь, каждый может тебя придушить, все поджечь и спокойно убраться восвояси.

Платамону даже не ответил, только улыбнулся, а Аристиде, который сидел за ними, зажал рукой рот, чтобы не расхохотаться вслух над трусостью адвоката.

Барская усадьба, в особенности хозяйственные пристройки, и впрямь была запущена. Все строения обязан был содержать в порядке арендатор, который взамен мог ими распоряжаться по своему усмотрению. Он не имел права пользоваться только главным зданием, которое Гогу Ионеску отремонтировал несколько лет назад и предназначал для себя и жены. Платамону же использовал многочисленные хозяйственные пристройки чаще всего как амбары и склады. Конюшни и птичники почти пустовали, если не считать лошаденки приказчика Думитру Чулича, дойной коровы да

нескольких штук домашней птицы, чтобы было чем кормить господ, когда они наезжали на короткое время. Если они задерживались подольше, арендатор дополнительно привозил из Глигану необходимые припасы. Во всем огромном дворе постоянно жил только Думитру Чулич с семьей, то есть с женою и четырьмя детьми. Арендатор застал Чулича уже на месте и оставил при себе, так как тот оказался человеком надежным. Жена Думитру служила поварихой в Питешти и, следовательно, прекрасно умела стряпать для господ, а старшая дочь Иляна научилась прислуживать в доме как заправская городская горничная. Для других работ Думитру обычно приводил деревенских мужиков или баб. Усадьба оживала лишь изредка, когда сюда съезжались господа. Только тогда на барском дворе шумно и оживленно суетились люди.

Теперь под навесом шофер мыл автомобиль, насвистывая какую-то немецкую мелодию. По двору разгуливали несколько кур и уток, радуясь солнечному теплу. Думитру Чулич, сутуловатый, с худощавым лицом и большими усами, бросился навстречу прибывшим, чтобы помочь им сойти. Отвечая Платамону, он доложил, что барыня отменно отдохнула, только недавно встала и сейчас прихорашивается перед зеркалом.

Пройдя галерею перед входом, арендатор ввел Ставрата в обширный вестибюль. Здесь они подождали несколько минут, пока не появилась Иляна и не сообщила, что барыня сейчас к ним выйдет, а пока просит пожаловать в гостиную. Налево помещалась гостиная и что-то вроде рабочего кабинета Гогу Ионеску, направо — столовая, отделенная другой комнаткой от спальни, откуда дверь вела прямо в вестибюль. Среднюю комнату Гогу разделил на две и в той половине, что примыкала к спальне, устроил вполне современную ванную. Из столовой коридор вел в маленькую каморку, преобразованную в буфетную. Далее находилась просторная кухня, затем комнаты для прислуги, в которых жили Думитру Чулич и его семья.

Вошла Надина — нежная и красивая, словно луч весеннего солнца. Ее глаза светились безмятежной радостью.

— Ну как, вы все еще испуганы, мой отважный рыцарь? — с очаровательной иронией обратилась она к Ставрату.— Ох, если б я знала, что вы окажетесь таким осторожным и осмотрительным, я бы вас пощадила — выбрала бы себе другого адвоката!

— Вы, сударыня, шутите, так как у вас еще мало жизненного опыта! — озабоченно пробормотал адвокат.— К несчастью...

— Не надо, господин Ставрат, я очень прошу вас прекратить ваши сетования! — уже серьезно воскликнула Надина.— Неужели вы непременно хотите, чтобы я пожалела о своем приезде

сегда! Нет, я не собираюсь об этом жалеть! Напротив, никогда мне в поместье не было так интересно, как сейчас! И весна нынче великолепнее, чем когда-либо, или, быть может, мне так кажется, потому что я собираюсь... Но лучше поговорим о наших делах!

Мужчины обменялись выразительными взглядами. О делах Надины они подробно толковали вчера вечером, после ужина, почти до полуночи. Столь обстоятельный разговор вполне устраивал адвоката, так как отодвигал час отхода ко сну, которого он отчаянно боялся. Платамону внушал ему, и Ставрат полностью с ним согласился, что Надина должна прежде всего решить, кому именно она хочет продать имение, и лишь после этого можно будет приступить к серьезному разговору. Вести переговоры одновременно с несколькими покупателями, не уточняя подробностей сделки, значит лишь зря отнимать у всех время и портить нервы. Он, Платамону, вправе просить, чтобы ему было оказано предпочтение. Но он не хочет давать пищи для кривотолков, будто он воспользовался своим положением и оказал на барыню давление. И все же он уверен — если имение и впрямь будет продано, то только ему, так как никто не знает лучше, чем он, какова истинная стоимость этой земли и какой она приносит доход. Конечно, было бы куда лучше и разумнее, если бы они заключили сделку уже раньше, когда он впервые ей это предложил. Но тогда Надина не желала вести никаких переговоров. Теперь положение изменилось, и не в ее пользу. Начались крестьянские беспорядки, еще неизвестно, что принесет завтрашний день, и никто не отваживается вкладывать капитал в помещичьи земли. Во всяком случае, он, как покупатель, может взять на себя лишь частичное обязательство, с тем чтобы окончательный расчет был произведен после того, как положение прояснится и все войдет в нормальное русло.

Надина слушала с некоторым нетерпением возражения и щепетильные соображения адвоката, не решаясь его перебить и напомнить, что она решила обратиться к нему за помощью именно потому, что не знала, как разрешить все эти вопросы, а отнюдь не для того, чтобы он излагал ей свои сомнения, да еще преувеличивал трудности и сложности. Все-таки в конце концов она заметила:

— Я ведь вам говорила, если не ошибаюсь, что намерена продать поместье тому, кто заплатит больше и внесет деньги наличными. Ну а все подробности следует уладить вам...

— Мы ведь не можем устраивать публичный аукцион! — пожал плечами Ставрат.

— Разве мы не можем выслушать, кто сколько предлагает, и затем принять решение? — улыбнулась Надина.

— При других обстоятельствах это было бы вполне возможно, барыня, если разрешите и мне сказать слово,— вмешался Платамону.— Но теперь обстановка никак для этого не подходит.

— Вы, верно, имеете в виду крестьян? — перебила его Надина.— Прекрасно. Ничего не имею против того, чтобы продать поместье крестьянам. Я им даже обещала, что потолкую с ними, когда придет время. Что ж, можно сейчас с ними побеседовать.

— Мне кажется, теперь это ничего не даст! — снова заметил арендатор.— Ведь крестьяне и тогда, когда из кожи вон лезли, чтобы купить поместье, рассчитывали на пониженную цену и на то, что вы им предоставите большую рассрочку. Единственный их капитал — собственные руки.

— Ну уж нет, о таких условиях не может быть и речи! — запротестовала Надина.

— Сейчас они тоже, конечно, не прочь получить ваше поместье, но хотят завладеть им даром! — продолжал Платамону.

— Как так даром? Что значит завладеть?

— Они не хотят ничего платить, а думают просто поделить между собой поместье.

— Что за чушь?

— Чушь-то чушь, но они на это надеются и ждут, потому что теперь такие веяния.

— Несколько анахронично удивляться притязаниям крестьян, коль скоро из газет мы уже знаем, что во многих уездах они начали осуществлять свои намерения на практике, причем довольно недвусмысленно! — пробормотал Ставрат.— И, уж во всяком случае, бесспорно, что сегодня — день не самый подходящий для переговоров о продаже. Кроме того, не стоит делать это здесь, на месте. Прощупать почву можно было и в Бухаресте.

— Я понимаю ваши упреки,— раздраженно возразила Надина.— Но почему вы не сказали мне это в Бухаресте?

— Я предупреждал вас, что поездка в деревню чревата большими опасностями, но вы меня не послушали...

— Я не говорю сейчас о поездке и об опасностях. Но если бы вы мне сказали, что сейчас невозможно вести переговоры о продаже или что это удобнее сделать в Бухаресте...

— Вы правы, сударыня. Я должен признаться в своем упущении...

На самом деле адвокат считал своим упущением то, что он уехал из Бухареста, а не то, что он не отговорил Надину. Его интересовали сейчас не дела клиентки, а только собственные неприятности. Все его помыслы были направлены на одно — как бы устроить так, чтобы этой ночью находиться уже не в Глигану, а,

по крайней мере, на пути в Бухарест. Он не посмел рассказать ни Надине, ни арендатору о том, что увидел вчера в Амаре, когда оглянулся на дорогу. Они бы ему не поверили и только подняли бы на смех. Впрочем, он и сам сомневался — не была ли та сцена плодом его больной фантазии? Но пусть вчера это ему только померещилось, завтра подобная сцена может превратиться в действительность. Зачем ему, пожилому, здравомыслящему человеку, отдавать себя на растерзание взбесившимся мужикам? Надо немедленно, пока спасение еще возможно, что-то предпринять.

— Вам, барыня, необходимо набраться немного терпения! — продолжал увещевать ее Платамону.— Вы очень правильно поступили, что приехали сюда и тем самым показали крестьянам, что не собираетесь отступиться от имения, как они утверждают. Но теперь надобно переждать несколько дней, пока уляжется вся эта сумятица. Сегодня здесь должен побывать господин префект, он как раз объезжает уезд, вот он и поговорит с нашими крестьянами, приструнит их, выбьет из головы дурь...

— А как же быть с Мироном Югой? — спросила Надина.— Ведь вчера я к нему заехала лишь для того, чтобы поздороваться. Уклониться от разговора я не могу. Я обязана переговорить с ним, чтобы он не подумал, будто я хочу...

— Нет, барыня, нет! — стоял на своем арендатор.— Я вас уверяю, что и господин Юга не думает сейчас о покупке земли! Сегодня спокойно отдыхайте, а завтра увидим, каково будет положение. Если господин Юга пожелает вам что-то сообщить, он обязательно даст знать, вы не волнуйтесь.

Расстроенная этим советом, хотя она и понимала, что другого выхода нет, Надина вдруг наивно спросила, словно это только сейчас пришло ей в голову:

— Зачем же я в таком случае приехала? Если все равно нужно переждать, пока не пройдет потоп, как мне только что сказал господин Ставрат, то я напрасно затеяла поездку.

— Об этом не жалейте, барыня! — заверил ее Платамону.— Вы совершили хорошую прогулку и с божьей помощью заключите выгодную сделку.

Разговор тянулся еще часа два, собеседники вновь и вновь возвращались к тем же вопросам и приходили к тем же ответам и выводам. Чтобы не скучать, Надина пригласила Ставрата отобедать с нею. Арендатор ушел, пообещав заехать к вечеру за господином адвокатом.

— Надеюсь, вы будете за мной ухаживать, а не пугать всякими ужасами о бесчинствах крестьян,— шутливо обратилась Надина к Ставрату после того, как Платамону попрощался.

Олимп Ставрат растерянно погладил бородку с любезной, но в то же время озабоченной улыбкой.

Аристиде, ожидавший во дворе, начал терять терпение. Он раза два шутливо ущипнул Иляну, не стесняясь ее отца, а затем от нечего делать принялся толковать с ним о крестьянских беспорядках в других краях. Думитру очень серьезно осведомился, правда ли, что крестьянам будут раздавать землю.

— Поехали, сынок, я освободился! — воскликнул Платамону, торопливо спускаясь с галереи и сразу же усаживаясь в кабриолет.— Поехали,— добавил он тише, когда Аристиде устроился с ним рядом,— твоя мама, наверно, волнуется.

Выехав из ворот на улицу, они тут же увидели Матея Дулману и других крестьян, которые как будто поджидали арендатора. Действительно, Матей подал ему знак задержаться и подошел ближе.

— В чем дело, Матей? О чем печаль? — дружелюбно, как всегда, спросил Платамону.

Дулману прошел под самой мордой лошади и вплотную подступил к Платамону. Лицо у него было мрачнее, чем обычно, в глазах горел сдержанный огонек. Он поставил ногу на ступеньку кабриолета и, нагнувшись к уху арендатора, таинственно процедил:

— Ты, барин, на Бабароагу не зарься, не то худо будет!

Платамону побледнел и, чтобы скрыть тревогу, ответил тем же мягким голосом:

— Да что еще случилось? Разве я не говорил тебе, что не стану вмешиваться ни на столечко, если вы возьмете имение себе?

— Коли так, зачем же заявилась сюда барыня? — подозрительно спросил Дулману.

— Она, верно, хочет продать землю, ведь поместье-то ее.

— Вот потому ты и не встревай, мы никому не позволим отобрать нашу землю! — угрожающе продолжал Матей.

— Из-за меня вам, ребята, тревожиться нечего! Вам надо только договориться с барыней...— заикаясь, пробормотал арендатор, безуспешно пытаясь сохранить покровительственный тон.

— С ней мы еще поглядим, как нам обойтись,— проворчал Матей.— Значит, так, барин! Потом не говори, что не упреждали тебя!

— У меня, Матей, слово крепкое! — заверил его Платамону, немного успокоившись.— Что скажу, за то и душу положу! Так и знай, Матей!.. Оставайся с богом!

Ворча себе что-то под нос, Дулману отошел в сторону, а Платамону хлестнул лошадь:

— Двигай, Ортак!.. Поехали, а то уже поздно!..

2

— Что это сегодня с людьми стряслось, все по домам прячутся? — недоумевал Бусуйок, в который раз выходя на порог корчмы и оглядывая улицу.— А то от таких посетителей, как ты, Спиридон, толку мало!

Спиридон Рэгэлие выпил стопку цуйки и заплатил за нее. Он бы заказал еще, но знал, что Бусуйок в долг не отпустит, потому что в долговой книге за ним и так уж много записано, а он давно не может ничего заплатить, чтобы хоть немного уменьшить задолженность. Поэтому он ответил смиренно, надеясь угодить корчмарю:

— Так ведь распогодилось, вот они, верно, и взялись плуги чинить, чтоб быть наготове, когда землю поделят.

— Как бы не так, разве не видишь, как господа торопятся раздать свои поместья? — не оборачиваясь, насмешливо бросил Бусуйок с порога корчмы. Затем, возвращаясь за стойку, он добавил: — Ты, Спиридон, пьяница да и беден, как церковная мышь, но у тебя, кажись, ума побольше, чем у других, хоть не тратишь сил попусту.

Спиридон, худой и старый, состроил горестную мину и плаксиво ответил:

— Так ведь другие, Кристаке, пьют и на радостях, а я не от хорошей жизни, только из-за бед и несчастий. Ведь с того самого дня, как моя баба преставилась, я терплю муку мученическую, сноха меня невзлюбила, обзывает по-всякому, никакой заботы от нее не вижу...

— Ладно, ладно, я твою историю знаю, Спиридон! — перебил его корчмарь.

— Известное дело, знаешь, как же тебе не знать! — обиженно пробормотал старик, обратив взгляд к открытой двери, в которой появился сынок Филипа Илиоасы, аккуратно одетый и обутый мальчик.

— Меня прислал дедушка, чтобы вы мне дали... дали...— тоненьким голосом начал мальчонка, прильнув к стойке и шаря глазами по полкам.

— Что нужно батюшке, Антонел? — улыбаясь, спросил Бусуйок.

— Чтобы вы мне дали литр керосина, но только в вашей бутылке, а то наша разбилась! — выпалил мальчик, радуясь тому, что вспомнил поручение.

— А деньги у тебя есть?..

— Есть, есть, вот они! — гордо заявил Антонел, показывая монетки, которые он сжимал в ладони.

Флорика Драгош, жена учителя, как раз вернулась из Питешти, куда ездила навестить арестованного мужа. До Костешти она доехала поездом, а оттуда уж добиралась на чем попало. Ни один извозчик не решался ехать в деревню, хотя Флорика предлагала хорошие деньги.

Вернулась она в еще более подавленном настроении, чем уехала. Весь понедельник она безуспешно проторчала у дверей разных высокопоставленных чиновников. Прокурор лишь после долгих просьб разрешил ей передать мужу кое-какую провизию и деньги. Но Флорика не сдалась так просто. На следующий день, во вторник, она пошла по иному пути: сунула в руку кое-кому из мелкой сошки, и ей удалось несколько минут поговорить с Ионелом. Он все еще не знал, за что его посадили, так как никто ничего ему не сказал, да его и не допрашивали ни разу. Но он был убежден, что его держат в тюрьме, чтобы лишить возможности натравливать крестьян на господ. Говоря это, бедняга Ионел даже рассмеялся и добавил, что для него самого, пожалуй, лучше находиться сейчас подальше от Амары, потому что, будь он дома и случись что-нибудь в деревне, господа бы всех собак на него вешали!

Флорика с плачем рассказала все это, а старики родители слушали, в отчаянии ломая руки.

— Ничего, мы тоже долго терпеть не станем, рассчитаемся с ними сполна! — пробормотал Николае Драгош с неукротимой ненавистью в голосе.

— Ты уж лучше сиди смирно, Нику, и не встревай в эти бесчинства,— возразила Флорика, вытирая слезы.— Ведь если беда какая стрясется, всю вину снова на бедного Ионела свалят, скажут, он тебя подучил...

— Пусть меня хоть на куски разрежут и собакам бросят, все одно не успокоюсь, пока не расквитаюсь с кем надо! — упрямо буркнул парень.— Нет, нет и нет! Напрасно ты сердишься, я даже самого господа бога не послушаю, так и знай!

— Здорово, здорово, Трифон! — крикнул Леонте Орбишор с улицы, останавливаясь на минуту с мотыгой на плече.— Взялся за работу?

— А куда ж деться? По дому вот...— ответил Трифон Гужу с завалинки, продолжая усердно постукивать.

— Косу отбиваешь, Трифон, али что?..— не удивляясь, спросил Леонте.

— Пусть будет справной! — пояснил Трифон, не поднимая головы.

— Сдается мне, что собираешься ты косить еще до того, как посеял?

— Что же делать, коли нужно?.. Так-то!

Телега въезжала во двор через всегда распахнутые настежь ворота. Марин Стан, шагая с кнутом в руке вслед за пустой телегой, крикнул игравшим во дворе детям:

— Да не вертитесь вы у волов под ногами!.. Отойдите!

Заметив, что волы потянулись в глубь двора, он тут же забежал вперед и злобно крикнул:

— Да будьте вы неладны, чертовы скоты! Куда лезете? Стой! Стой, говорю, а не то вздую!.. Стой!.. С ума сошли, что ли?.. Господами заделались? Ну, раз так, сейчас проучу! — И он огрел кнутовищем по морде сперва одного, а затем и второго вола, злобно проскрежетав сквозь зубы:

— Ты барина из себя не строй, а то голову оторву!

— Не знаю, что и делать, тестюшка! — обратился Филип Илиоаса к священнику Никодиму, который сидел в кресле на галерее, греясь на солнышке.— Видать, совсем распогодилось, земля вроде подсохла, я все и думаю, что самая пора за пахоту приниматься, просто сердце болит оттого, что мы сидим сложа руки. Только вот как остальные мужики...

Он замолчал и вопросительно посмотрел на тестя. Священник совсем захирел от старости, а еще больше от переживаний, связанных с сыном. Старик болел всю зиму, его мучила то одна хворь, то другая, и он то и дело повторял, что не дотянет до лета. Но сейчас, вместе с первыми лучами солнца, он немного приободрился и снова ощутил вкус к жизни. Выслушав стоявшего перед ним зятя, коренастого и неуклюжего, как пень, он озабоченно ответил:

— Оно, конечно, так, Филип, надо бы, я сам вижу, но только народ...— Он не закончил своей мысли и тут же продолжал другим тоном: — Вот и я удивляюсь, чего народ еще ждет, почему не берется за работу.

— Один на другого смотрят и друг дружку подзуживают...— пробормотал Филип.— А пока суд да дело, мы к барину на работу не подрядились и остались только с нашей землей...

Никулина принесла отцу кружку горячего молока. Филип еще раньше советовался с ней, и сейчас она заговорила со своей обычной горячностью:

— Люди совсем свихнулись, прошлогодний снег ищут, а потом мы все от голоду подохнем! Вот помяни мое слово, так оно и случится!

— Худо, что ни в одну, ни в другую сторону не поворачивает! — вяло процедил сквозь зубы Филип.— Хоть бы знать, что делать...

— Против народа идти нельзя,— вздохнул священник, сжимая в ладонях кружку с молоком, чтобы согреть пальцы.— Как все, так и мы...

— Ну, если народ начнет безобразничать, Филипу лезть незачем. У него на шее большая семья, он за теми не пойдет, кто только о бесчинствах и грабежах думает, вроде как нынешней зимой, когда у нас мясо украли! — продолжала возмущенная Никулина.— Нас-то никто не накормит, никто не поможет, ежели что случится! Я людей хорошо знаю, достаточно горя от них натерпелась, глядеть на них тошно!

Филип, которого энергия жены ободрила, пробормотал:

— Испортился народ, до того озлобился, что хуже некуда...

Словно вспомнив что-то, Никулина через минуту озабоченно воскликнула:

— Что это стряслось с Антонелом, уж давно ушел в корчму за керосином и все не возвращается...

— Ты, баба, молчи! Слышишь? Молчи, не то так двину, что век не забудешь, ни в жисть не посмеешь больше учить меня, что и как! — яростно орал со двора Игнат Черчел на жену, которая, стоя в сенях, не переставала пилить его:

— Тебе-то легко ругаться, коли весь день шастаешь по деревне, а мне что делать с ребятишками, куда с ними деться? Чем я им рты заткну? У кого только могла, выпрашивала, всюду попрошайничала и задолжалась до того, что теперь мне никто горсти кукурузной муки не даст...

Игнат понимал, что жена права, и потому еще пуще злился. От нечего делать он принялся чинить плетень и теперь яростно что-то стругал и приколачивал. На мгновение он остановился, всадив топор в колоду.

— Ты что ж, баба, по-хорошему не понимаешь?.. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я повесился? Ладно, повешусь, тебе на радость... Нет у тебя никакого терпения, как у других людей, только и знаешь, что лаешься: гав-гав-гав, будто собака какая, а не человек! Сама видишь, что мы как рыба об лед бьемся, должен же господь бог нам помочь!

Женщина продолжала ворчать в сенях. Ее плаксивый голос выводил Игната из себя. Рядом с ним мирно грелась на солнце голодная, тощая собака. Игнат посмотрел на пес, и им овладело слепое бешенство, словно своей спокойной позой она бросала ему вызов. Изо всех сил пнув собаку ногой, он отшвырнул ее на несколько шагов:

— Убирайся к черту, не путайся под ногами!

Собака жалобно и протяжно заскулила, и от ее визга Игнату будто полегчало. Он снова взялся за работу, бормоча в сердцах:

— Провались оно все в тартарары!

— Алле!.. Алле!.. Да, да, здесь жандармский участок Амара!.. У телефона начальник участка унтер-офицер Бояиджиу!.. Что?.. Это ты, Попеску? Ну, быть тебе богатым, не узнал твоего голоса... У нас все тихо, спокойно. А как у вас, в Извору? Тоже тихо?.. Что ты говоришь? Подожгли усадьбу? Где? В Добрениги? А, в Телеормане... Ну, это далеко, в самой глубине уезда. Но все равно плохо. А жандармы что сделали?.. Ага, там, значит, не было жандармов... Вот потому-то и подожгли, а то бы... Да, Попеску, говори, говори, я тебя слушаю!.. Стало быть, господин префект и господин капитан были в Извору и уехали час назад!.. Хорошо!.. Я знаю, что они должны к нам приехать, и жду их, но спасибо, что ты мне сказал... Значит, сюда они пожалуют после полудня?.. Ладно, ладно, прекрасно! Я тебе сразу скажу, если здесь что случится. А ты тоже звони мне. Вот так, Попеску!.. Будь здоров, желаю удачи! Как поживает госпожа Попеску, у нее все в порядке?.. У моей Дидины тоже все хорошо. Спасибо! И ты тоже передай от нас привет...

Разговаривая по телефону, Бояиджиу раздраженно отмахивался от жены, знаками прося ее помолчать, пока он не закончит. Повесив наконец трубку, он окрысился:

— Ну, чего тебе надо, матушка?.. Оставь ты меня в покое, у меня работы по горло...

Госпожа Бояиджиу регулярно читала «Универсул», и ее приводили в ужас сообщения о нарастающих крестьянских беспорядках, затмевавшие убийства и происшествия, которые обычно интересовали ее в газете. Прочитав, что все бегут и укрываются в городах, она последние два дня непрерывно приставала к мужу с вопросом — как ей быть, почему он оставляет ее здесь, на растерзание мужикам? Намерение жены бежать в какой-то степени подрывало воинскую доблесть унтера, а кроме того, госпожа Дидина высказывалась во всеуслышание перед жандармами и даже гражданскими лицами, деморализуя таким образом его подчинен-

ных и подсказывая мужикам мысль о бунте. Бояиджиу сперва уговаривал жену по-хорошему, потом отругал ее, но она все равно приставала к нему как банный лист:

— Так что же ты решил насчет меня, Сильвестру? Держишь меня здесь, чтобы...

— Да не выводи ты меня из себя, Дидина! — заорал унтер, воспользовавшись тем, что они остались одни.— Ты что, не слыхала своими ушами, что сюда прибывают префект и командир нашей роты?

— Слыхала, но...

— Ну, раз так, то отстань! Я сожгу твою газетенку, будь она трижды проклята!.. Не могу спокойно работать из-за твоего хныканья! Одно заладила: «Убьют меня мужики, убьют!» — точно взбесилась! Если и убьют, то вместе со мной, потому-то я и взял тебя в жены, произвел в военные дамы!

Дидина вышла в слезах:

— Ох, покарай тебя господь за то, что ты издеваешься над моими страданиями! Будь оно все проклято!..

— Ой, боже ты мой, боже, Мелиите, как страшно я мучаюсь, и никак смерть за мной не приходит, чтобы всех нас спасти! Ведь с самой осени хвораю и маюсь, слезно бога молю пожалеть моих несчастных детишек, а то сердце на куски разрывается, как гляну, до чего они несчастные: голые, голодные... Ой, нет моей мочи больше, задыхаюсь я... Вот и руки уж похолодели!.. Ой, святая богородица!

В лачуге было душно, не продохнуть, стоял тяжелый запах пота, больная непрерывно стонала. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь грязные оконца. В печи, в густых клубах дыма, шипело сырое полено. Двухлетний малыш, пристроившись возле ножки кровати, на влажном земляном полу, что-то весело лепетал, играя с пестрым котенком.

Мелиите Херувиму стоял около деревянной лавки, сложив на груди руки, чуть вытянув вперед шею, и с горькой жалостью смотрел на больную жену. На его иссохших, пожелтевших щеках перекатывались желваки всякий раз, когда от голода у него бурчало в животе, и он пугался, как бы это не услышала жена. Спустя некоторое время он спросил:

— Очень больно?

Лицо женщины чуть просветлело, будто голос мужа облегчил ей страдания, и она ответила, силясь улыбнуться:

— Не болит, только вот... Ой-ой, господи! — застонала она, извиваясь, как раздавленный червяк.

Через несколько секунд в дверь влетела раскрасневшаяся девочка лет пяти. Прямо с порога она принялась что-то сердито доказывать:

— Папка, Пэвэлук мне сказал... а я сказала... а он сказал...

— Иди, Левуца, во двор, поиграй с ребятами, мамка твоя больна...

Девочка даже не дослушала и выскочила, вполне удовлетворенная. В сенях она закричала, да так, что каждое ее слово было отчетливо слышно в комнате:

— Пэвэлук, папка сказал...

Леонте Бумбу забежал домой, чтобы наспех рассказать жене о том, что он узнал от каких-то людей, которые проезжали в телеге, направляясь в Мозэчень: они будто бы повстречали в Телеорманском уезде толпы мужиков, которые ходят из деревни в деревню, выгоняют помещиков, забирают их поместья и сжигают усадьбы, чтобы хозяева не могли вернуться обратно...

Приказчик был встревожен возможным бунтом крестьян даже больше, чем барин. Хотя, советуясь с женой, он и говорил, что никогда никого не обижал, а, наоборот, помогал всем, кому мог, так что ему бояться нечего, он тут же добавлял, что если уж крестьяне пойдут напролом, то не посчитаются ни с кем. У Бумбу было в селе немало верных людей, которые держали его в курсе деревенских новостей и заверяли, что его там любят, как брата. Но на эти заверения он не слишком надеялся, потому что сам не раз заверял в том же старого Мирона Югу и знал, насколько это соответствует правде. Впрочем, даже без дополнительных сведений он ясно чувствовал, что крестьяне возбуждены и собираются что-то предпринять, хотя еще сами толком не знают, что именно. Если они пронюхают, что творят мужики в других уездах, вполне вероятно, что и они восстанут и бог знает какие учинят беззакония. Народ теперь так озлоблен, что от него всего можно ждать!.. Жена стала его успокаивать,— мол, господь милосерден и убережет их, но тут прибежал работник с барского двора и испуганно выпалил, что приказчика срочно зовет барин.

— Скажи, Леонте, чем заняты сейчас слуги? — спросил Мирон.— Что ж, мы тоже станем сидеть сложа руки, как эти болваны, и ждать революцию? Те дураки совсем опьянели из-за подстрекательства всяких негодяев, и надо подождать, пока хмель выветрится у них из головы. Но мы-то, Леонте, в своем уме! Займемся делом! Если уж невозможно начать работы в поле, то, по крайней мере, прикажи работникам привести в порядок огороды и

парк, а то на дворе уже весна, и просто позор, в каком виде она нас застает.

— Так точно, барин, понял! — отчеканил приказчик, вытянувшись, как капрал перед генералом.

— К тому же не забывай, что здесь сейчас госпожа Надина,— продолжал Мирон Юга,— после обеда пожалует префект, а затем...

— Откуда ты, Тоадер? — спросил Серафим Могош.

— Был здесь рядом, в Вайдеей. Навестил свата Захарию,— ответил Тоадер Стрымбу, останавливаясь.

Потолковали о погоде, о земле, о нищете. Тоадер рассказал, что в Вайдеей ходят слухи, будто в других селах мужики уже прибрали к рукам все, что могли, прогнали господ и начали делить между собой землю — каждый берет, кому сколько требуется.

— Ох, что же это и у нас не начинается, я бы хоть взял малость господской кукурузы и накормил досыта детишек, а то очень уж мы бедовали зимой! — вздохнул Тоадер.

— А я бы от всего отступился, одного я только хочу — унтера нашего как следует проучить, отвесить ему две такие затрещины, чтобы и в гробу меня помнил! — процедил сквозь зубы Серафим, помрачнев, словно выпил отраву.— Вот только об этом я и думаю, Тоадер, а потом пусть хоть голову рубят!

Выездная коляска, в которую были впряжены лучшие кони, уже битый час стояла у подъезда, нагруженная до предела всевозможными чемоданами, узлами и свертками, а Козма Буруянэ все еще не решался выйти. Двое слуг и сторож Якоб Митруцою вертелись вокруг экипажа, помогая лучше уложить вещи...

Наконец появился арендатор вместе со всей семьей. Жена и дети, старательно закутанные, несли каждый по свертку или коробке. Приказчик Лазэр Одудие, доверенный человек Козмы, шел за ними с непокрытой головой, уважительно выслушивая обрушившийся на него поток указаний и приказов. Пока госпожа Буруянэ и дети устраивались в коляске между багажом, арендатор напоследок наставлял приказчика:

— Вот так-то, Лазэр... Надеюсь, тебе все понятно... Следи здесь за всем, а главное, не вздумай оставить дом без присмотра и околачиваться в корчме или бог знает где еще...

— Да что вы, барин, как можно? — запротестовал Одудие.— Вы меня разве не знаете?

— Ладно, ладно, только ты здесь за всем приглядывай, Лазэр! — повторил еще раз Козма Буруянэ, взбираясь на козлы, рядом с кучером.

— Понял, барин! — ответил, кланяясь, приказчик, но тут же недоуменно спросил: — Вы меня не обессудьте за вопрос, барин, но мне-то надо знать, потому как... Стало быть, вы уж сюда не вернетесь?

— Что ты за чушь городишь, Лазэр? — воскликнул арендатор.— Как так не вернусь? Почему?.. Откуда ты это взял? Что ж это я, пущу на ветер все свое состояние? Чего ради?.. Как тебе только взбрело такое в голову, Лазэр? Ни в коем случае! Я уж тебе говорил, что сегодня же вечером мы вернемся обратно домой! А может, я тебе действительно этого не говорил?.. Вечером возвратимся, чуть позднее, чуть раньше, как бог даст. Мы едем в Костешть, купим кое-какие вещички для детей, а то лето уже на носу, а в Питешти добираться далеко... Так что будь здоров, Лазэр... Поехали!

Кучер гикнул на лошадей. Коляска со скрипом сдвинулась с места, выехала из ворот и свернула направо. Как только она исчезла из виду, один из слуг рассмеялся:

— Ну, он-то укатил на веки вечные... Вернется, когда рак свистнет.

— Пусть подождет, пока я его позову! — пробормотал Якоб Митруцою.

— Хватит болтать, хватит, люди добрые! — вяло, как бы по обязанности, одернул их Лазэр Одудие.

— Каким тебя ветром к нам занесло, Лука?.. Присаживайся!.. Да подай ты ему, старуха, стул, что толчешься попусту, не свататься же он пришел! — засуетился Лупу Кирицою, встречая зашедшего к нему Луку Талабэ.

— Не беспокойся, тетка Параскива, я и так весь день сидел! — отнекивался Лука, усаживаясь.

Он пришел, чтобы потолковать с дедом Лупу о том, как же все-таки быть с поместьем Бабароага, из-за которого он не находил себе покоя ни днем, ни ночью. Пока речь шла о честной покупке имения (как у людей принято), Лука энергично хлопотал, бегал, лез из кожи вон. Он бы не отступился и сейчас, но теперь крестьяне уже вроде собирались самовольно вспахать помещичью землю, ни о чем заранее не сговариваясь, хотели просто захватить кто что сможет.

— Я, по правде говоря, дед Лупу, в такие дела не встреваю, не по душе мне это! Но приходят ко мне то один, то другой, гово-

рят, что не след нам отступаться, раз уж взялись за это дело, должны довести его до конца... «Так-то так,— говорю я,— мы-то дело начали, но вы все по-своему повернули!» — «Верно, повернули,— говорят,— потому что наша правда верх взяла, а по правде все поместья должны быть нашими...» Я-то хорошо понимаю, не к добру это, но они никак не отстают и до того донимают, что я уж и сам не знаю, как быть.

— А я всем так прямо и говорю, что у меня своих бед хватает и в чужие дела я не полезу! — уклонился от ответа дед Лупу.— Я такие времена уже переживал, недаром весь седой! Все было точь-в-точь как сейчас! Болтали, болтали — сделаем то, сделаем это, а потом на нас же потоп и обрушивался!.. Нет, нет, Лука, не к добру все это!

В столовой барского особняка во Влэдуце служанка, совсем еще девочка, накрывала стол на одну персону. Она делала это в первый раз, потому что барышни уехали в город только вчера, а полковник вернулся поздно ночью и есть не пожелал. Сперва служанка поставила тарелки и приборы там, где полковник сидел всегда, но стол показался ей слишком пустым. Потом она принялась переставлять тарелки по всему столу, ставя их то в один, то в другой конец, пока снова не добралась до привычного места.

— Так пусть и будет, коли понравится, ладно, а коли нет, пусть сам скажет, куда ставить! — недовольно пробормотала девушка, сдаваясь и нетерпеливо поглядывая в широко открытое окно на двор, где полковник Штефэнеску никак не мог кончить разговор с крестьянами.

Старый арендатор был сегодня значительно оживленнее, чем все последние дни, да и голос у него звучал бодро. Позавчера, в минуту счастливого вдохновения, он вспомнил майора Тэнэсеску, с которым когда-то кончал офицерскую школу, а затем долгие годы служил вместе в полку в городе Северине в звании капитана. Жена, земля ей пухом, очень дружила тогда с госпожой Тэнэсеску. Недавно майор и его супруга перебрались в Питешти, и так как детей у них нет, они, конечно же, охотно приютят трех дочерей Штефэнеску, пока не минует опасность. Он даже не написал другу заранее, чтобы заручиться его согласием. Просто накануне утром отправился к нему с дочерьми и внушительным количеством всевозможной провизии. Домой полковник вернулся один и счастливый. От главной заботы избавился! Сейчас он мог спокойно болтать с крестьянами, шутить и даже подтрунивать над ними.

— Барами заделались, значит? Работать больше вам не с руки? Конечно, сосать трубку и поплевывать легче, чем махать мотыгой! Легче ругать господ и бунты готовить! Ты что скажешь, Штефан?

— Дак что говорить, господин полковник? — улыбнулся Штефан.— Пытаемся и мы, небось попытка не пытка...

— Поглядим, может, наладим жизнь по-иному, а то до сих пор худо мы жили,— хмуро добавил кто-то.

— Только бы не обжечься вам на этом, ребята,— заметил полковник.

Через несколько минут, когда уже заговорили о другом, Штефан, все так же улыбаясь, спросил:

— А барышень вы в город отвезли, господин полковник?

— А что ж вы хотели, чтобы я их здесь оставил, а вы бы надругались над их молодостью? — шутливо ответил полковник.— Думаешь, я не знаю, какие вы разбойники?

— Зачем вы так, господин полковник, чем это мы согрешили?

— А как же, Штефан? Мало, что ли, я с вами возился в армии? Я как облупленных вас знаю! А мне что вы можете сделать? Убить? Да разве я боюсь смерти? Я ведь военная косточка!.. Или, быть может, ограбите? Ну что ж, грабьте, коли рука поднимется. Ведь все, что у меня есть, я вложил в поместье и с вами делил... Ничего, ничего, ребята! Бог сверху все видит!.. Я-то вас никогда не бил, не обманывал, не притеснял, а помогал вам, заступался за вас, учил уму-разуму. А теперь, выходит, вы хотите огреть меня дубиной по голове? Так, что ли?

Полковник окинул всех взглядом, ожидая хоть слова протеста или согласия. Но крестьяне молчали. Только спустя некоторое время Штефан, самый бесхитростный, выдавил из себя:

— Дак ведь...

Его голос тут же угас, словно лопнул мыльный пузырь.

— Что с тобой, Петрикэ, сынок, что это ты себе места не находишь, не сидишь дома, как все люди? — жалобно спросила Смаранда.

— А разве теперь я не дома, мать,— хмуро ответил Петре.

— Дома, сынок, дома, но все одно как на иголках сидишь... И боюсь я, как бы с тобой беда какая не стряслась, уж больно ты в чужие дела встреваешь, вместо того чтоб о нашей бедности думать.

— Не встреваю я, мать, в чужие дела, незачем мне в них встревать! — пробормотал Петре.— Но только, когда люди меня зовут, не могу я не идти, стыдно сиднем сидеть.

— Нет, сынок, совсем не стыдно! Я вдова, другие мои дети совсем махонькие, на тебя одного вся надежда. Да еще сколько времени тебя в солдатчине продержали, а я одна и одна маялась, совсем с ног сбилась...

— А сейчас слух прошел, что нас снова всех призовут в армию из-за...

— Господи, спаси и помилуй! — в страхе перекрестилась Смаранда.

— Но сюда, видать, приказ еще не дошел, а то бы староста нам сказал,— продолжал Петре.— Теперь уж будь что будет, не тревожься и не печалься без толку,— успокоил он мать, но чуть спустя добавил глухим голосом, с болью, словно пытаясь вырвать из сердца занозу: — Только бы эта барыня здесь не торчала, потому, сдается мне, она всему виной... Хоть бы убралась подобру-поздорову, не портила нам кровь!

— Да провались она в преисподнюю, барыня эта окаянная! — неожиданно вспыхнула Смаранда.

Староста Ион Правилэ вошел в корчму, весело потирая руки.

— Ты один, Кристаке, совсем один?.. Вот и хорошо! Подай быстренько стопку, а то некогда мне. Столько на мою голову сейчас хлопот свалилось, просто не знаю, за что раньше браться!

— Ну как, префект приезжает наконец? — спросил Бусуйок, подавая цуйку.

— Хоть бы ехал поскорее, чтобы мужики успокоились! — выдохнул староста, осушив одним глотком стопку.

— Да они, кажись, утихомирились, по домам сидят,— с сожалением пробормотал корчмарь.— Один Спиридон торчал здесь у меня, только-только его выпроводил.

— Нет, брат, не к добру эта тишина, поверь уж мне! — таинственно возразил Правилэ.— Собака когда кусает, то уж не брешет.

— А ты почуял что или слыхал?

— Чего мне слыхать или чуять? Разве люди болтают, когда собираются за дело какое приниматься? Кто что может знать?.. Один начнет, а другие за ним, как овцы...

— Да, плохие нынче времена, господин староста.

— Такая уж наша доля. Только б еще хуже не было!

Правилэ вспомнил, что ему некогда, и пошел к двери, крикнув на прощанье совсем другим, повелительным тоном:

— А ты, Кристаке, гляди, чтобы у тебя все было в порядке! Вдруг господину префекту вздумается к тебе заглянуть, инспекцию провести? Будь наготове!

— Пусть приходит на здоровье... Только думается мне, кому сейчас дело до какой-то корчмы. Теперь всюду такие пожары полыхают...

3

В среду Титу Херделя пришел в «Драпелул» очень рано, чтобы рассказать Рошу о восстании солдат-резервистов и об убийстве офицеров, тем более что эту информацию не опубликовала даже «Диминяца».

— Все знаю! — тоном превосходства сказал Рошу.— Знаю даже новости похлеще! «Диминяца» попыталась было опубликовать это сообщение, но ее предупредили, что весь тираж будет тотчас же конфискован, и она вынуждена была отказаться. Знаю, малыш. Мне ли не знать?

Рошу поднялся из-за своего заваленного газетами стола, взял Титу, как ученика, за руку и подвел к карте Румынии, пришпиленной канцелярскими кнопками к стене.

— Видишь эту подкову, малыш? — назидательным тоном опытного репетитора начал он, проводя указательным пальцем по всем извилинам границы.— Видишь, значит... А помнишь, что я тебе втолковывал дней десять назад, когда мы говорили о крестьянских беспорядках? Ну как, прав я был? Вот отсюда они начались, с самого верха, с того угла, что около Буковины, и началось все с избиения евреев... Так продолжалось несколько дней, беспорядки расползались все ниже, и под теми же лозунгами: «Долой жидов!», «Долой пейсы!». Помнишь, ты тоже считал, что все сведется лишь к пейсам. А теперь гляди — беспорядки достигли Телеорманского уезда. Видишь? Но пожар бурно распространяется все дальше и дальше. Я уверен, что дня через три-четыре он захватит и Северин, то есть заполыхает вся подкова... Теперь уже затряслись поджилки и у тех господ, которые орали: «Долой жидов!» Сейчас они на своей шкуре чувствуют, что крестьяне, если уж они взялись за топоры и косы, не делают никакой разницы между евреями и христианами. Больше того, как раз в тех местах, где евреев нет, совершаются самые дикие и жестокие бесчинства. В Молдове как будто не было убийств и человеческая кровь не пролилась, а вот здесь восставшие крестьяне растерзали многих помещиков и арендаторов.

Рошу снова уселся за свой письменный стол. Из-за кипы газет высовывалась сейчас только его голова с поблескивающими, как чудовищные глаза, очками... Титу эти известия очень встревожили, в особенности упоминание о Телеорманском уезде. Это означало, что опасность угрожает Амаре и непосредственно Надине, о которой вчера весь вечер шел разговор у Гогу Ионеску.

— Скажите, пожалуйста, господин Рошу,— взволнованно спросил он,— а из Арджеша не поступало никаких тревожных сообщений?

— Пока нет,— ответил секретарь.— Но пожар, несомненно, захватит и Арджеш, раз уж он свирепствует по соседству, в Телеормане. Ничего не поделаешь. А почему ты спрашиваешь? Из-за твоего друга? Да, ему угрожает большая опасность, хотя точно ничего нельзя предугадать. Многое зависит от капризов судьбы. Во всяком случае, раз ты принимаешь это так близко к сердцу, я тебе укажу очень надежный и оперативный источник информации. Обратись к начальнику управления министерства внутренних дел Модряну... Скажи, что я тебя прислал от газеты. Сейчас у него сосредоточиваются все сообщения, конечно, официальные. Он получил особое задание. Человек он симпатичный, интеллигентный и жаждет популярности. Я тебе сообщаю все эти подробности, чтобы ты знал, как к нему подойти...

Титу растроганно поблагодарил. Он был счастлив оказать услугу Григоре Юге, который с первой же встречи и по сей день принимал горячее участие в его судьбе, а заодно и Гогу Ионеску, который так волновался из-за Надины.

Дверь директорского кабинета вдруг приоткрылась, и оттуда высунулась голова Деличану:

— Есть что-нибудь новое, Рошу?

— Ничего... Может, к полудню что-нибудь узнаю. Я позвоню и сообщу вам! — ответил секретарь, не отрывая глаз от газет.

Как только дверь закрылась, Титу изумленно спросил:

— Он уже пришел?

— А как же! Даже раньше меня! — иронически усмехнулся Рошу.— Уходит почва из-под ног, уходит.

— У кого, у правительства? — не понял Титу.

— И у правительства, и у всей банды,— язвительно, как всегда, пояснил Рошу.— Не сегодня-завтра полетим все к чертовой матери...

— В оппозиции мы, по крайней мере, получим большую свободу действий! — наивно улыбнулся Титу.

— Ну, переходу в оппозицию ты не очень-то радуйся, малыш, это грозит нам большими неприятностями...— пробормотал секретарь, нервно протирая очки, без которых его физиономия выглядела еще более беспомощной и кислой.— Разве ты не видишь, какая у нас несметная армия редакторов, псевдоредакторов, помощников редакторов и репортеров? Причем все они почти ничего не делают, а лишь получают жалованье. Так вот, может случиться, что завтра я останусь здесь в одиночестве с одними этими ножницами, да и то если меня самого не уволят! Ведь это партийная газета, малыш! Кто может, выжимает максимальную выгоду, пока находится у власти, так как потом... Но ты, малыш, не огорчайся! — быстро добавил Рошу, надев очки и заметив, как

побледнел Титу.— По чистой случайности ты обеспечен еще на несколько месяцев, а до тех пор у тебя с лихвой хватит времени, чтобы устроиться.

В редакции вскоре стало людно. Каждый вновь прибывший сообщал очередную новость, одну другой хуже. Говорили, будто восстание захватывает все новые уезды, будто там-то и там-то мужики убили столько-то арендаторов и помещиков, будто в одном селе разыгралось настоящее сражение между войсками и бунтовщиками и с обеих сторон насчитываются сотни убитых и раненых, а в другой деревне мужики побили камнями и прогнали пехотный отряд, будто многие уезды совершенно изолированы от страны, так как крестьяне перерезали телеграфные и телефонные провода, будто повстанцы поймали какую-то помещицу, сорвали с нее одежду и голой, в чем мать родила, водили по селам, будто военный министр, сущий идиот, направляет на подавление восстания в тот или иной уезд мобилизованных оттуда же солдат, так что солдаты вынуждены стрелять в собственных родителей, братьев и сестер, и какой-то капрал, застрелив родного отца, попросил у своего капитана разрешения похоронить его (капрал был награжден и отмечен приказом по армии), будто в нескольких городках созданы части национальной гвардии для самообороны от возможного нападения банд озверевших мужиков, будто на границе уезда Ильфов этой ночью кавалерийская часть сумела лишь с большим трудом рассеять толпу в несколько тысяч мужиков, двинувшихся на Бухарест...

К одиннадцати часам важно, как министр, в комнату вошел Антимиу, толстый репортер в залоснившейся шубе и шапке под котик. Еще более потный, чем всегда, так как на улице припекало солнце, он равнодушно пожал кому-то руку, буркнул «бонжур, моншер» и плюхнулся на свободный стул рядом с Рошу. Появление Антимиу, обычно черпавшего политическую информацию из весьма высокопоставленных источников, уняло даже самых завзятых болтунов. Увидев, что для пущей важности репортер молчит, Рошу спросил его с иронией, но и с любопытством:

— Принес что-нибудь новенькое, Антимиу?

— Очень важную новость, начальник! — патетически воскликнул репортер.— К несчастью, она не для нашей газеты, хотя касается непосредственно нас всех, ибо речь идет о нашей судьбе...

— Да говори ты наконец толком, прекрати все эти литературные излияния! — с раздражением перебил его секретарь.

— Так вот — правительство пало! — заявил с той же торжественной горечью в голосе репортер.— Самое позднее завтра к вечеру у нас будет новое правительство!

И он рассказал, что премьер-министр только что был принят королем и доложил ему, что крестьянские беспорядки приобрели крайне угрожающий характер и срочно необходимы энергичные репрессии. Затем премьер-министр доказал, оперируя убедительными доводами, что для выполнения этой трагической миссии полностью положиться на румынскую армию нельзя, и попросил призвать на помощь австрийские военные силы, добавив, что только это может спасти страну от грозящей катастрофы. Но король категорически отказался прибегнуть к иностранному вмешательству для усмирения внутренних беспорядков и потребовал от премьер-министра другого решения вопроса, соответствующего обстоятельствам и достоинству страны. Не имея возможности предложить иной выход из положения, тем более что оппозиция даже сейчас не расположена пойти навстречу властям, премьер-министр вручил королю заявление об отставке правительства. Отставка в принципе принята, но, чтобы не усугублять хаоса, не будет объявлена публично, пока не станет ясно, к кому перейдут бразды правления. Так как весьма вероятно, что будущему правительству понадобятся чрезвычайные законы, ему необходимо сразу же заручиться поддержкой нынешнего парламента, что создаст, в столь сложных обстоятельствах, видимость национального единства и облегчит принятие суровых мер. Поэтому глава правительства и правящей партии должен проконсультироваться со своими друзьями и единомышленниками и вновь доложить королю. Но все это простые формальности, которые будут выполнены очень быстро.

— Другими словами, скатываемся в безрадостную оппозицию? — кисло спросил Рошу.— Подожди, узнаем, в курсе ли Деличану...

Он зашел в кабинет директора, и через несколько секунд на пороге вырос Деличану. Лицо его чуть раскраснелось.

— Что ты там рассказываешь, Антимиу?..— крикнул он.— А ну-ка, зайди ко мне!

— Мы погорели, шеф! — патетически воскликнул репортер, направляясь нервной походкой в кабинет Деличану.

Титу Херделя выскочил на улицу. Слова Рошу будто вонзили ему нож в сердце. До сих пор он надеялся, что добросовестная работа обеспечит ему прожиточный минимум, и вот он снова точно лист, уносимый потоком. Да, чтобы не оказаться нежданно-негаданно выброшенным на улицу, надо поподробнее выспросить все у Рошу.

Пока он старался не поддаваться мрачным мыслям. Несчастье жестоко терзает, свалившись на тебя, зачем же усугублять его, страдая в ожидании? Так как время приближалось к полудню, Титу пошел в министерство внутренних дел, к Модряну. Там ему

пришлось ждать вместе с другими журналистами, которые тоже охотились за новостями. Модряну как раз был на приеме у министра, по-видимому, докладывал ему о телеграммах и сообщениях, полученных ночью и в первой половине дня. Наконец он появился, любезный, улыбающийся, одетый с иголочки, кокетливо оправдываясь, точно женщина, опоздавшая на свидание:

— Господа, дорогие господа... прошу меня извинить... меня задержал министр!.. Мы переживаем тяжелые времена, господа! Еще минуту, я закончу с этим досье и затем буду полностью в вашем распоряжении!

Он позвонил. Вошел пожилой чиновник с расстроенным лицом, взял красную папку, запер ее в ящик и вернул ключ.

Модряну подошел к журналистам и изложил кое-какие, всем давно известные, новости. Чтобы задобрить газетчиков, он добавил, что после обеда, к пяти часам, он им сообщит самые последние сведения, сообщит даже раньше, чем министру.

Журналисты разошлись, как всегда шумно переговариваясь. Титу остался последним, представился Модряну и спросил, нет ли каких-либо сообщений из Арджешского уезда, добавив, что это особенно интересует его из-за Григоре Юги.

— А, из-за господина Юги? — воскликнул Модряну, поправляя галстук.— Я, кажется, как-то имел удовольствие познакомиться с ним в поезде... Пожалуйста, господин Херделя, я всегда рад вас видеть, заходите, когда найдете нужным, и я тотчас же буду в вашем распоряжении. А пока можете заверить своего друга, что в Арджеше все спокойно.

Титу спустился по лестнице радостный, словно узнал бог весть какую сенсационную новость, с удовлетворением думая про себя: «Хоть таким путем я выражу ему свою признательность, ведь неизвестно, что принесет завтрашний день».

4

Улица и двор примэрии были заполнены крестьянами. Они ждали уже целый час, но префекта все не было. Взволнованный староста собирал народ так ревностно, будто вспыхнул пожар.

— Ничего, братцы! — дружелюбно, словно извиняясь, говорил он то одному, то другому.— Так оно и положено, мы должны поджидать господина префекта, а не он — нас.

Крестьяне ждали со своим обычным долготерпением — в деревне время дорого только в страдную пору. А в ожидании судачили не переставая. Одни говорили, будто префект приезжает, чтобы раздать им землю, так, мол, было и в другом уезде, потом

народ там успокоился и взялся за работу. Другие нетерпеливо рассказывали, что сделали крестьяне в уезде Телеорман, как они там поднялись все, от мала до велика, разогнали помещиков и сами завладели всем их имуществом и землями.

— В тех краях народ совсем другой, стоящий,— уныло пробормотал кто-то.— Не чета нам! Там у мужиков и земля есть, они не такие голодные да нищие, как мы.

— Так ведь счастье только с отважными дружит, а не с теми, у кого от страха душа в пятки уходит.

— Только у нас, по всему видать, в жилах не кровь, а водица!

— Ладно, ладно, будет вам, ребята!

Унтер-офицер Бояндживу тоже ждал вместе со всеми, не сводя глаз с того конца улицы, откуда должен был появиться префект. Впрочем, один из жандармов дежурил у корчмы Бусуйока, на перекрестке дорог, чтобы сразу же, как только увидит начальство, прибежать и доложить унтеру. Пока же Бояндживу болтал с обступившими его крестьянами, соблюдая, правда, необходимую дистанцию, но изредка отпуская шутки, которые, разумеется, вызывали громкий хохот. Один из крестьян осмелился спросить:

— Как думаете, господин унтер, дадут нам землю или нет? Вы-то ведь должны знать, а земелька нам ох как нужна!

— А мне, думаешь, она бы не пригодилась? — спросил Бояндживу.— Еще как!.. Или, может, думаете, у меня поместье, как у барина?.. Все мое имение — сабля, винтовка да жалованье, а жалованье грошовое!

— Кое-что вам и со стороны перепадает, господин унтер! — отозвался какой-то шутник.

Крестьяне рассмеялись, но Бояндживу рассердился.

— Ну и свиньи же вы!.. Кто это там охальничает, хоть погляжу на него и запомню!.. Все вы одинаковы — ни стыда, ни совести, только грубить умеете, а потом еще возмущаетесь, когда вам намылят холку за дело... Кто этот горлопан, а ну выдь сюда!

— Да простите вы его, господин унтер, пошутил он сдуру...

— Вот, вот, задам я ему шутку...

Но в эту минуту примчался сломя голову жандарм и доложил, что коляска с начальством только что свернула к барской усадьбе. Толпа всколыхнулась и загудела. Староста тут же стал всем объяснять, что префект не мог не заехать к старому барину, с которым они закадычные друзья. Но объяснение это никого не успокоило, а, наоборот, разожгло страсти: что там замышляют префект с барином?

Через четверть часа громоздкая, вместительная коляска префектуры остановилась перед толпой крестьян. Позади, рядом с

префектом Боереску, сидел Мирон Юга, а на передней, откидной скамеечке примостился жандармский капитан Тибериу Корбуляну, чье смуглое широкоскулое лицо украшали спесиво торчащие усы.

— Здорово, ребята, рад вас видеть! — крикнул Боереску, неторопливо вылезая из коляски.

— Здравия желаю, господин префект! — угодливо ответил Ион Правилэ, суетливо порываясь помочь начальству.

Боянджиу застыл по стойке «смирно» с рукой у козырька фуражки.

— Ты староста? — спросил префект у Правилэ.— Да, я тебя знаю!.. Ну, как тут, все спокойно?.. Порядок?..

— Все в полном порядке, господин префект,— слащаво заверил староста, подкрепляя свои слова неуверенной улыбкой.

— Вот это мне по душе, ребята! — воскликнул префект, окидывая взглядом крестьян, так и не снявших с головы шапок и молча разглядывавших его и коляску.— Так вы и должны себя вести, люди добрые, благоразумно да смирно, как подобает истинным румынам.

Вылез из коляски и Мирон Юга. Префект взял его под руку, и они вошли во двор примэрии. Капитан приотстал, принимая рапорт Бояиджиу и одобрительно кивая головой... Потом все остановились в дверях канцелярии. Люди тесно обступили их. Свободным остался лишь небольшой круг перед префектом, который присматривался к лицам крестьян и особенно к выражению их глаз. Боереску заставлял себя улыбаться, старался держаться с мужиками приветливо и доброжелательно, хотя чувствовал себя смертельно усталым,— он уже второй день разъезжал по уезду, выясняя положение и стремясь унять страсти. Еще больше, чем усталость, его угнетало и почти оскорбляло отношение крестьян, повсюду малоуважительное, а порою просто вызывающее. Он привык, чтобы во время инспекторских поездок его везде встречали дружелюбно, зычно приветствовали возгласами: «Здравия желаем!» — и лишь после этого высказывали всевозможные жалобы и просьбы. На этот раз, однако, мужики повсюду принимали его молча, смотрели хмуро и подозрительно. Префект бы не потерпел такой наглости, не задайся он заранее честолюбивой целью уберечь свой уезд от беспорядков, бушевавших в других уездах. Пока он решил, что проучит своих мужиков позднее, когда в стране будет восстановлен порядок. Боереску считал себя лучшим префектом Румынии и с гордостью заявлял, что первый по алфавиту уезд управляется первым — по своим достоинствам — префектом. То обстоятельство, что по соседству полыхали пожары восстания, а в его уезде не было отмечено никаких беспорядков, он рассматри-

вая как доказательство эффективности тех превосходных административных методов, которые он применял... Нынешнюю инспекционную поездку он предпринял, рассчитывая, что крестьяне, как только увидят и услышат его, беспрекословно подчинятся его авторитету и сохранят спокойствие и порядок, даже если до этого у них и были какие-то бунтарские поползновения.

Когда они выезжали из Питешти, капитан Корбуляну предупредил, что считает неблагоразумной поездку по селам в столь тревожные дни. На это префект ответил, что он либо победит, либо погибнет, но не откажется от своего девиза. Этот девиз, который он недавно где-то вычитал и полностью взял на вооружение, гласил: железный кулак в бархатной перчатке. Боереску еще и потому особенно ретиво стремился доказать свои административные способности, что в свое время министр отнюдь не торопился с его назначением и даже одно время отдавал предпочтение какому-то адвокату, подвизавшемуся на должности префекта при прежнем правительстве. Чтобы сломить сопротивление министра, Боереску пришлось принять тогда самые действенные меры, то есть нажать лично и через влиятельных бухарестских друзей.

— Ну, еще раз день добрый, ребята! — повторил Боереску громким, как на митинге, голосом.

Он остановился и чуть помолчал, ожидая ответа. Крестьяне молчали. Лишь кое-кто шумно проталкивался вперед, что-то выкрикивая и смеясь. Префект не растерялся и собрался было продолжить, но тут раздался зычный окрик Правилэ:

— Люди добрые, тише!.. Тише!.. Послушаем господина префекта!

И Боереску разразился патриотической речью. Он напрягал голос и, багровея, размахивал руками. С его губ, за которыми поблескивали золотые коронки, громкие, выспренние слова слетали, точно те воздушные шары на ярмарке, которые шумно лопаются, уже не производя впечатления на оглушенных зевак. Среди множества политических качеств, которые префект себе приписывал, был и ораторский талант; он был убежден, что, как никто, умеет говорить с народом и что его пламенные речи проникают прямо в сердце крестьян, перекраивая там все по его желанию. Боереску и сейчас, как всегда, жонглировал шаблонными, неопровержимыми фразами и словечками: «крестьяне — основа нашей страны», «ваш труд священен», «румынский землепашец благоразумен и трудолюбив», «король и правительство заботятся о вас», «доверьтесь правителям государства», «любовь к отчизне», «братья, интересы страны требуют спокойствия и порядка», «румын не пропадет»...

Крестьяне слушали, не шелохнувшись, уставившись на префекта остекленевшими глазами. Сотни лиц с одним и тем же выражением, казалось, принадлежали одному и тому же человеку с одними и теми же мыслями и чувствами, человеку, размноженному в огромном количестве экземпляров, словно то было массовое производство гигантского завода. Неподвижность и упорное молчание крестьян рассердили и даже немного испугали префекта, когда он столкнулся с ними в первой деревне, и теперь он с трудом находил в себе силы, чтобы продолжать разглагольствовать все с тем же ораторским пылом...

Мирон Юга даже не прислушивался к речи префекта. Он относился с презрением к подобным методам, когда толкли воду в ступе, стремясь покрепче опутать крестьян. Мужику нужны не речи, а практические советы или приказы. Он предупреждал Боереску, чтобы тот не тратил время на болтовню, а лучше в недвусмысленном и откровенном разговоре постарался бы выяснить нужды и пожелания крестьян, установил бы, какие из них можно удовлетворить, какие нет, и, наконец, не бросая слов на ветер, немедленно претворил бы свои обещания в жизнь. Однако префект ни за что не хотел отказаться от речи, утверждая, что выступал с ней повсюду и ему везде внимали с благоговением и что умная речь (а его речь, несомненно, умная) — лучший способ успокоить разгоревшиеся страсти и начать выяснение истинного положения дел. Теперь, наблюдая за болтовней префекта, которой, по долгу службы, подобострастно восхищались только капитан, унтер-офицер и староста, Мирон Юга чувствовал себя перед крестьянами пристыженным, чуть ли не униженным.

Наконец через полчаса Боереску закончил свою речь не обычными общими словами, а прочувствованным призывом:

— Вот так-то, дети мои!.. А теперь я вас прошу незамедлительно доказать мне, что вы настоящие румыны и достойные граждане! Этого доказательства прошу у вас я — отец ваш и всего нашего дорогого уезда! Если хотите мне доказать, что вы люди благоразумные, честные и трудолюбивые, а я знаю, что так оно и есть, то не прислушивайтесь больше к наущениям злопыхателей и к преступным слухам, а возвращайтесь тотчас же к своим плугам, к своему прекрасному благородному труду, на котором зиждется наша страна! Господь бог даровал нам отменную погоду, и земля жаждет вашего труда и пота, чтобы родить еще щедрее на ваше благо и на благо всей нашей любимой отчизны!.. Слышите, дети мои? Вы меня хорошо поняли, дети мои?.. Поступите ли вы так, как я вас учу, или нет?

Последние слова оратора вызвали смутный гул. В толпе там и тут раздались голоса:

— Никак не можем, барин!.. Нет у нас земли!.. Где ж нам работать?

Расценив возгласы крестьян как одобрение своей миротворческой речи, префект бросил на Мирона Югу выразительный взгляд и закричал:

— Почему не можете, дети мои?.. Скажите нам прямо и открыто, чтобы и мы знали!

Многочисленные голоса ответили на этот раз отчетливее и тверже:

— Нет у нас земли... Нам земля нужна!.. Без земли не станем мы больше работать!

Боереску состроил мину снисходительного учителя, укоряющего неразумных малышей:

— Да как вы можете, люди добрые, городить такую несусветную чушь?.. Нет земли!.. Разве господин Юга не хотел предоставить вам землю? Или, быть может, другие помещики отказались? Разве не они всегда предоставляли вам землю? Разве не так поступали их деды и прадеды испокон веку? Ведь их поместья всегда только вы обрабатывали, люди добрые, а не чужаки какие!

Тоадер Стрымбу поднялся на цыпочки и отчаянно закричал:

— По старинке нам уж невмоготу, господин префект, нет никакого проку от такой работы, все одно убивает нас нищета!

— Стало быть, вы хотите подрядиться на других условиях? — невинно спросил Боереску.— Так погодите, ребята, ведь...

— Не хотим мы больше подряжаться!.. Пусть отдадут нам землю насовсем, ведь мы на ней работаем! — перебили его громкие голоса.

Недовольный таким оборотом разговора, Мирон Юга взмахнул рукой в знак того, что тоже хочет что-то сказать. Крестьяне притихли. Старый барин был для них истинным хозяином, которого они уважали и чьи слова всегда было положено свято выслушивать.

— Что ж это получается, горлодеры? — спросил Мирон Юга, окидывая взглядом толпу.— Значит, вы хотите, чтобы я отдал вам свою землю?.. Стало быть, в награду за то, что я, отец мой и дед приютили на наших землях вас, отцов и дедов ваших, дали вам работу, чтобы вы могли жить, и делили с вами радость и горе, вам сейчас взбрело в голову совсем лишить нас даже той земли, что еще осталась за нами, выжить из домов наших, прогнать, как чужаков?.. Да слыхано ли такое? И это вы называете справедливостью?.. Вот ты, Тоадер, я слышу, орешь громче всех, ты-то поделишь свое достояние с другими? Говори прямо, чтобы все слышали!

Те, кто стоял поближе, со смехом повернулись к Тоадеру Стрымбу, но тот твердо возразил:

— Я бы поделился, барин, было бы чем, только нет у меня ничего!

— Как так нет? — продолжал настаивать Мирон.— А разве нет у тебя своего дома или земля, на которой он стоит, не твоя?

— Лачуга вам на голову валится,— ответил так же неуступчиво Тоадер.

— Значит, ты дом не поделишь, потому что он рушится! — продолжал Мирон Юга.— А я либо кто другой за то, что не сидели без дела, а трудились не покладая рук и не дали нашему дому порушиться, должны сейчас делить его с тобой? Так выходит, по-твоему?.. Нет, мужики, это расчет неправильный! Кто вас подучил и сбил с пути истинного, недоброе дело затеял. Потеряли вы голову и прошлогодний снег ищете, вместо того чтобы делом заниматься, как все порядочные люди. А тот, кто вас подбивает и дальше упорствовать подзуживает, просто насмехается над вами, так и знайте! Я вас никогда не обманывал, никогда не давал пустых обещаний. Я признаю только справедливость и честность. Вы недовольны условиями, на которых работали до сих пор? Мы могли бы об этом потолковать, и, убедись я, что правда на вашей стороне, мы бы их изменили. Только все это без угроз, а по-хорошему, по-людски. Угроз я не боюсь и перед ними не отступлю, от кого бы они ни исходили. Кто прав, тот к угрозам не прибегает, так как правда всегда берет верх. С кривдой можешь раз-другой перебраться через речушку, но в большой реке обязательно утонешь, а с правдой и море переплывешь. Вот так-то! Я вам это говорю, потому что уже стар, много в жизни трудного пережил, много горя хлебнул. Вы одумайтесь и смиритесь, только так вы сможете дальше жить!

Наступило нерешительное молчание. Лишь через несколько мгновений его, словно всеобщий вздох, нарушил плаксивый смиренный голос Игната Черчела, стоявшего в первых рядах:

— Чем такая жизнь, уж лучше смерть!

Возглас Игната подбодрил остальных; то здесь, то там послышалось:

— Лучше убейте нас всех и совсем от нас избавитесь!

— Все одно от чего помирать — от голода или от чего другого!

— Работаем до кровавого пота, так хоть бы прокормиться дали!

— Так тоже не по справедливости — одни обжираются, чуть не лопаются, а у других кишки с голоду ссохлись!

Префекту показалось, что обстановка меняется в благоприятную сторону. Раз человек, охваченный гневом, вступает в спор, значит, он начинает одумываться. Поэтому он снова, еще пространнее, как маленьким детям, принялся разъяснять крестьянам, что приехал сюда, чтобы всех помирить, ибо самый худой мир лучше самого геройского боя. Он для того и привез сюда господина Югу, чтобы быстрей и верней добиться всеобщего согласия.

— С барином-то мы столкуемся, господин префект! — промолвил Лупу Кирицою, шагнув к господам, словно чувствуя себя обязанным, как старейший, досконально им все объяснить.— Но только теперь, раз уж начался бунт, крестьяне наши тоже хотят получить хоть чуток земли, потому что нет у них почти ничего и все мужики так делают в тех краях, где пожар уже занялся. Наш барин правильно и честно сказал, господин префект, что негоже зариться на землю того, который трудится и мается на ней, как мы, да и получил-то ее от дедов и прадедов. Я так думаю, что никто из этих вот честных людей, что здесь собрались, не замышляет отобрать землю старого барина. С ним мы всегда вместе жили и друг другу помогали. Но есть много имений, которые бояре забросили, и попали они в руки чужаков, а те только деньги из земли выжимают и над нашим трудом измываются. Мужики не злыдни какие и живут смирно, только вы им дайте землю, потому что без земли нет им житья! Вот я вам высказал, чего хочет деревня, а то, ежели все разом галдят, нипочем мы не столкуемся!

Крестьяне шумно поддержали старика, повторяя на все лады слово «земли», так что гул толпы слился в многоголосый хор, бесконечно повторявший один и тот же припев:

— Земли!.. Земли!.. Земли!..

Боереску немного растерялся и снова пустился в многословные объяснения, повторяя, что он, конечно, разделяет их любовь к земле, понимает и то, что они в ней нуждаются, ведь он тоже землевладелец и любит отцовскую землю. Но пожелание крестьян невозможно выполнить сразу, с ходу: ведь в стране существуют законы и все обязаны поступать сообразно с ними. Пусть крестьяне наберутся терпения и ведут себя смирно, он же, как только вернется в Питешти, доложит правительству, а уж правительство, мудрое и пекущееся о нуждах крестьян, выработает необходимые законы и раздаст землю тем, кто вел себя благоразумно и пристойно... Мысль обмануть крестьян этим лживым посулом осенила Боереску в эту минуту. Он даже пожалел, что не сказал того же и в других селах, где уже побывал. Ведь интересы соблюдения порядка и безопасности в стране не только оправдывают подобные богоугодные методы, но даже обязывают к ним прибегать. Когда порядок будет восстановлен, никто не вспомнит слов, бро-

шенных им на ветер, или его даже похвалят за то, что он нашел нужные слова для разговора с мужиками, которые, по существу, большие дети.

Но крестьяне перебивали обещания префекта шутками и смехом. Кто-то пронзительно выкрикнул, что им осточертела болтовня, другой сказал, что господа всегда их обманывали, третий добавил, что стоит барину открыть рот, как оттуда вылетает вранье. Мирон Юга почувствовал, что задыхается под градом дерзостей. Даже префект покраснел в замешательстве, не зная, что предпринять. Правилэ, увидев, что дело принимает дурной оборот, повелительно крикнул:

— А ну, помолчите, ребята, помолчите!

Лука Талабэ, который стоял рядом с ним, тут же возразил старосте:

— Лучше пусть выскажут все, чтоб и господа знали, какие у народа нужды да горести!

Все-таки крестьяне утихомирились, и Боереску, полагая, что его недостаточно хорошо поняли, решил еще раз попытаться умаслить их обещаниями.

Едва он успел открыть рот, как его оборвал Серафим Могош:

— Хватит, поиздевались над нами, хуже, чем над скотиной!

— А над моим братом почему измываются? Почему арестовали его безо всякой вины? — мрачно спросил Николае Драгош.

Его поддержал старый Драгош, правда, тише и почтительнее:

— Очень уж это большая несправедливость, господин префект! Да и село осталось без учителя.

Пока крестьяне кричали, без конца повторяя: «За что измываетесь?» — префект в недоумении нагнулся к старосте, чтобы узнать, о чем идет речь, и, поняв, торопливо воскликнул:

— Погодите! Погодите!.. Давайте разберемся по-хорошему, ребята!.. Дело учителя Драгоша не в моих руках и никак от меня не зависит. Им занимаются органы правосудия и потому...

Так как шум не утихал, Боереску повысил голос:

— Несмотря на это, я попрошу господина прокурора немедленно освободить его и вести следствие, оставив учителя на свободе. Понятно?.. Ну теперь вы довольны, люди добрые?

Николае Драгош в ответ что-то буркнул, но, так как все кричали наперебой, слова парня потонули в общем гуле, и только блеснули его белые, сильные зубы, похожие на клыки ощерившегося пса. Хотя шум все возрастал, можно было услышать, как люди подговаривают Павла Тунсу выйти к префекту и потребовать возмещения за то, что господа покалечили его ребенка. Павел пробивался теперь сквозь толпу, подбадриваемый настойчивыми голосами:

— Да выходи ты, Павел, не бойся! Пропустите его, люди добрые, жалоба у него!..

Добравшись наконец до господ, Павел Тунсу стал плаксивым голосом, со страдальческим выражением лица, расписывать, как злодейски обошлись с его сыном, и требовать денег за пережитую обиду. Подобное отклонение от существа дела вполне устраивало префекта, который считал, что, если удовлетворить мелкие требования мужиков, они забудут, ради чего хотели бунтовать. Он подробно расспросил Павла, посочувствовал ему и приказал старосте немедленно произвести официальное расследование, зарегистрировать жалобу пострадавшего и его справедливые притязания,— а уж тогда он, префект, заставит господ автомобилистов выплатить положенную сумму и накажет их на законном основании. Все это было высказано веским, торжественным тоном и, видно, в самом деле удовлетворило толпу — напряжение как будто спало, голоса приутихли.

С той самой минуты, как Павел Тунсу вышел вперед со своей жалобой, Петре овладело беспокойство: он побагровел и начал что-то бормотать себе под нос. Еще в начале речи префекта он протиснулся в первые ряды, туда, где стояли самые видные люди, и стал рядом с унтером Бояпджиу. Он безропотно слушал болтовню префекта, почтительно внимал словам старого Юги и даже несколько раз, когда крестьяне принимались галдеть уж слишком громко, кидал на них недовольные взгляды. Когда, однако, Павел стал рассказывать про молодую барыню, приехавшую на машине, Петре изменился в лице, словно гнев опалил его жгучим пламенем. Он сдерживался, но из-за этого ему было еще труднее. Потом, когда префект упомянул о господах автомобилистах, в глазах парня зажегся дикий огонь, и почти невольно, точно пытаясь предотвратить беззаконие, он выпалил суровым, хриплым голосом:

— Это барыня всему виной, господин префект, свалилась она нам на голову, только растравляет наши беды!

Неожиданное вмешательство и особенно ярость парня показались господам непозволительно дерзкими, просто возмутительными. Мирон Юга метнул на Петре презрительный взгляд, жандармский капитан прикусил губу, проглотив ругательство, а Боереску раздраженно крикнул:

— А тебе что надо, парень? Ты чего хочешь?

Вопрос префекта подействовал на Петре, как пощечина. Как же так — тот самый префект, который стерпел крики и насмешки других, одного его грубо обрывает и отчитывает, будто Петре последний человек на деревне!.. Он тут же хмуро возразил низким, прерывающимся от обиды, голосом:

— А зачем барыня к нам прикатила? Чего она издевается над нами?.. Нам она не нужна, пусть убирается, откуда приехала, к своим мироедам, а нас оставит в покое. Только и знает, что мучить да калечить малых детишек. Мы ей зла никакого не сделали, а она хочет запродать имение чужакам... Пусть лучше и не пробует...

Эта вспышка нашла отклик только у части крестьян, а остальные лишь уставились на Петре с добродушным удивлением. Боянджиу, подумав, что парень вошел в раж и плетет невесть какие глупости, а потом сам же будет жалеть, что выставил себя на посмешище, неожиданно поднял руку и прикрыл ему рот ладонью, как несмышленому ребенку. Но жест жандарма еще пуще разъярил Петре, который воспринял его как новое унижение на глазах у всего села. Он резко отбросил руку унтера, всем телом откинулся назад, толкнув мужиков, стоявших за ним, и неистово завопил:

— Не трожь меня! Ты что меня хватаешь? Я тебе не слуга, со мной рук не распускай! Чего хватаешь?

По толпе прошла дрожь, как будто крики Петре разворошили все ее обиды. Но крестьяне еще не успели опомниться и поддержать вспышку Петре, как староста Ион Правилэ подскочил к нему и дружеским, но властным тоном, который только и мог успокоить толпу, осадил парня:

— Да замолчи ты, сынок, никто тебя не трогает и никто над тобой не измывается! Замолчи и лучше иди отсюда подобру-поздорову, не мешай народу!

Серафим Могош, Николае Драгош да и многие другие, что стояли подальше, загудели, будто сговорившись:

— Пусть и он его не трогает!.. По какому такому праву он волю рукам дает?

Воспользовавшись их вмешательством, староста продолжал с той же энергией:

— Да уведите вы его, Серафим, и ты, Нику, уведите с собой, пусть поостынет... Давайте, давайте, не мешкайте!

Словно загипнотизированный настойчивостью старосты, Петре стал пробираться к улице, а вслед за ним Серафим, Николае и еще несколько крестьян. Но на ходу он все еще выкрикивал те же слова, словно не в состоянии был произнести ничего другого:

— Чего он меня хватает, я ему не посмешище!.. Чего он меня хватает?

Пока Петре и его друзья протискивались на улицу, Ион Правилэ громко, так, чтоб его слышали все крестьяне, пояснил префекту, что, видно, с парнем стряслось что-то неладное или бог весть что ему взбрело на ум, так как вообще он человек смирный,

толковый и трудолюбивый, словом, первый парень на деревне, только вот нужда и напасти сводят людей с ума и так их распаляют, что уж и не знаешь, чего от них ждать. Капитан Корбуляну побледнел и нервно покусывал губы, охваченный смутным страхом: он было решил, что крики парня сразу же вызовут взрыв и что, быть может, это заранее придуманный сигнал к бунту.

Когда инцидент был исчерпан, префект решил про себя, что его долг выполнен и он может ехать дальше, чтобы до вечера умиротворить еще два-три села. Стремясь достойно завершить свой визит, он произнес еще одну, правда, короткую речь о «нашей любимой родине», «нашей дорогой, маленькой стране», «обожаемом короле», «гражданском долге», о том, что «правительство о вас позаботится» и самодовольно закончил бодрым голосом:

— Ну, а теперь, оставайтесь с богом, ребята!.. Я доверяю вам, но и вы должны довериться мне! Вот так-то, ребята!.. Спокойствие, порядок и работа!.. Так!.. Поехали, капитан!.. Желаю всем вам счастья и здоровья!..

Крестьяне повалили со двора примэрии. Боереску хотел проводить Югу до самого дома, но старик отказался, и они на прощание обнялись. Префект с капитаном уселись в коляску и поехали налево, к Лесиезн. Мирон Юга пошел один пешком направо.

— Ну что, капитан, видели, как я сумел и здесь их укротить? — спросил префект, когда они чуть отъехали от примэрии.

— Вы, господин префект, наделены исключительной отвагой и большим тактом! — с деланным восхищением ответил капитан Корбуляну, подумав про себя, что подобные разговоры с мужиками скорее всего толкают их на беспорядки.

Мирон Юга шел посреди улицы, мимоходом разглядывая дома и дворы, словно давно их не видел, и жалел про себя, что согласился пойти с этим кретином Боереску, который воображает, будто его болтовня может как-то повлиять на мужиков, чьи души отравлены всеми миазмами городской демагогии.

В нескольких шагах за ним шли староста и унтер-офицер, окруженные крестьянами. Они тихо переговаривались, будто боясь разгневать барина, который, шагая сейчас во главе толпы, казался пастырем, ведущим свое стадо.

В корчме Бусуйока было шумно и весело. Корчмарь с порога отвесил барину низкий поклон. Как только старый Юга прошел, утихший было на мгновение шум вновь разгорелся. Отчетливо донесся голос Петре:

— Чего он меня хватает?..

5

Хотя адвокат Ставрат всячески старался забыть о своих страхах и быть учтивым и любезным кавалером, ему это никак не удавалось. Его не покидала мысль, что он проявил бы настоящую толстокожесть и чудовищный цинизм, если бы сейчас, в создавшейся обстановке, когда бесчисленные опасности грозно нависли над его головой, стал думать о любовных приключениях. Впрочем, теперь весь его флирт с Надиной представлялся ему смехотворным и нелепым. Его словно осенило, что он человек уже немолодой и ему не к лицу увиваться за такой блестящей светской женщиной, как Надина. Если она мечтает о любви, он не может ее интересовать, и она терпит его влюбленные вздохи в лучшем случае лишь для того, чтобы посмеяться над ним.

Надину он застал в прекрасном настроении; она что-то весело щебетала, хлопотливо распоряжалась насчет стола и то и дело говорила адвокату:

— Я-то думала, что вы окажетесь занятным спутником, станете меня развлекать, веселить, ухаживать за мной или хотя бы рассказывать анекдоты. Мы бы провели здесь несколько приятных дней... А вы оказались букой и трусишкой, способным испортить мне все настроение.

Ставрат в ответ лишь горько улыбался, пытаясь доказать без слов, что только полное непонимание обстановки позволяет Надине вести себя столь легкомысленно и думать о развлечениях...

После обеда, однако, Ставрат, состроив похоронную мину, попросил хозяйку уделить ему несколько минут и выслушать его со всем вниманием и серьезностью. Призвав на помощь все свое красноречие, он стал убеждать Надину, что было бы сущим безумием и дальше оставаться здесь среди бурлящего мужичья, готового с минуты на минуту взбунтоваться, разгромить и растерзать всех и вся. Если она жаждала захватывающих приключений, то уже пережила их сполна, ибо проехала на автомобиле десятки сел в такие дни, когда даже поезда не в безопасности, и, более того, провела ночь в барской усадьбе без какой-либо охраны, рискуя подвергнуться неожиданному нападению мужиков и не имея ни малейшей защиты. Та цель, ради которой она предприняла поездку, или, быть может, предлог для нее, отпала, как ей ясно доказал это Платамону, хотя он и сам хочет купить имение. Вывод может быть только один — надо немедленно уехать, если не в Бухарест, то хотя бы в Питешти, а там пересесть на поезд; автомобиль же переправят в Бухарест позднее, когда это станет возможным. Это единственно разумный выход из создавшейся трагической ситуации...

Сперва Надина слушала насмешливо, с притворно серьезным видом. Но постепенно страх, сквозивший даже в самых банальных словах адвоката и проступавший все более отчетливо на его лице, проник и в ее сердце. Вскоре она поняла, что Ставрат прав и опасность действительно подстерегает на пороге, ежеминутно грозя ворваться внутрь. Одно из окон гостиной было распахнуто настежь. На обширном дворе усадьбы не было ни души, не слышалось ни звука. Над усадьбой нависла тягостная тишина. Резкий белый свет солнца словно подчеркивал грозное безмолвие, в котором тревожные слова Ставрата метались, как испуганные птицы. И все-таки Надина не хотела выдавать своего беспокойства, считая это для себя унизительным. Она бы охотно вступила с адвокатом в спор, но не смела открыть рта из-за царившей вокруг тишины. Только услышав, будто сигнал спасения, мелодию, которую старательно насвистывал Рудольф, по-видимому, что-то налаживавший в машине, Надина приободрилась и заметила:

— Вы, конечно, правы, но и преувеличивать тоже не стоит, господин Ставрат! Арендатор нас заверил, вы сами это слышали, что крестьяне здесь смирные, и...

— Арендатор болван, сударыня, простите меня за резкость! — запальчиво перебил ее адвокат.— Впрочем, люди, постоянно подвергающиеся опасности, со временем перестают отдавать себе в ней отчет. Только этим можно объяснить, что такой разумный и уравновешенный человек, как господин Юга, не выглядел вчера встревоженным. Возможно, однако, у него свои причины сохранять хладнокровие. Но мы, те, кто не притерпелся к местной обстановке, чуем нюхом, что положение ненормальное, ведь наша чувствительность обострена, она не притупилась от повседневных опасностей...

Олимп Ставрат продолжал с нарастающим пылом, пока все еще колебавшаяся между страхом и гордостью Надина не послала наконец Иляну за Рудольфом.

— Мы тотчас же уезжаем! — заявила она шоферу.— Подайте автомобиль! Тотчас же!

Но Рудольф спокойно ответил, что машину подать пока не может, так как мотор неисправен. Как раз теперь он старается его починить, но для этого ему пришлось разобрать двигатель. Однако он надеется закончить ремонт за три-четыре часа, и тогда они смогут ехать. Надина приказала поторопиться,— она ни за что на свете не хочет провести здесь еще одну ночь.

— Видите, сударыня, какое невезение? — вздохнул Ставрат, когда они снова остались одни.— Через три-четыре часа стемнеет. Если днем опасно проезжать по селам, то можете себе представить, каково будет ночью... Но наберемся терпения. Чтобы набить себе

цену, механики иногда преувеличивают сложность поломки и говорят, что для ее устранения потребуется больше времени, чем на самом деле. Возможно, наш друг Рудольф, увидев, что вы так торопитесь, закончит быстрее, и тогда...

Теперь уже адвокату пришлось успокаивать Надину и то и дело наведываться в сарай, где возился Рудольф, чтобы выяснить, много ли тому еще нужно времени...

К пяти часам во дворе послышался шум. Префект Боереску после Амары выступил с речью еще и перед крестьянами в Лесчези, а теперь счел своим долгом нанести короткий визит Надине, специально чтобы выразить свое восхищение тем, что именно в столь смутные дни она снизошла к селянам, подавая другим помещикам пример отваги и добродетели. Напомнил префекту о Надине Платамону, который вместе с сыном присутствовал на сходке. Боереску же, торопясь засветло добраться до Костешти, совсем было о ней забыл, хотя Мирон Юга говорил ему о приезде Надины и даже просил к ней заглянуть.

— Все это очень мило, господин префект, но вы твердо убеждены в том, что до завтра здесь не случится никакого несчастья? — спросила Надина, раздраженная комплиментами Боереску и тихим позвякиванием шпор капитана Корбуляну.

— Что вы, сударыня, да как вы можете такое говорить? — самоуверенно запротестовал префект.— До завтра?.. Вы меня оскорбляете, сударыня!.. Вы всегда будете тут в полной безопасности, всегда!

Боереску быстро уехал, отпустив Надине еще целую кучу комплиментов и поздравлений. Платамону задержался, чтобы захватить с собой адвоката Ставрата.

— Я хотела бы уехать сейчас же! — вздохнула Надина, которой внезапно овладел еще больший страх.— Я должна уехать!.. Не хочу больше здесь ночевать! Мне страшно!

— Вы можете быть вполне спокойны, сударыня! — заверил ее арендатор ровным, внушающим доверие голосом.— Опасаться вам нечего!.. Люди у нас смирные, разумные!.. И господин префект вам то же самое говорил!..

— К сожалению, ваш префект — спесивый идиот,— мрачно заметил Ставрат.— Если полагаться на его заверения...

— Что вы, что вы, можете спать спокойно! — повторил Платамону с покровительственной улыбкой.— Вам нечего бояться!

Они условились, что завтра утром, сразу же после восхода солнца, Надина заедет на автомобиле в Глигану и захватит с собой Ставрата, который будет ее там ждать. Надина проводила мужчин на террасу. Посмотрела, как они усаживаются в бричку. Когда лошадь тронулась с места, все трое повернули к ней головы и

церемонно поклонились. Она ответила улыбкой, потом протянула к ним руку, маленькую белую руку, движение которой казалось трепетаньем птичьего крыла, и проводила их взглядом, пока они не выехали из ворот и не свернули вправо. Думитру Чулич сделал несколько шагов за бричкой, а затем остановился посредине двора, так и застыв на месте с непокрытой головой, будто его осенила неожиданная мысль. Надина стояла на террасе, повторяя рукой все тот же жест, растерянно глядя вслед уехавшим и машинально, как бы против воли шепча:

— До завтра... до завтра...

Вдруг она увидела Думитру, которого до сих пор не замечала, и содрогнулась от страха, словно очутившись перед смертельным врагом. Она умолкла, а улыбка застыла на ее губах, точно отсвет былых времен.

6

— Кто это?.. Кто там?.. Кто стучит?

— Не серчай, Леонте, вставь и выдь на час, а то тут такое творится!..

— А, это ты, староста! — пробормотал Бумбу, узнав голос.— Сейчас встану... Иду, иду!.. Да что там стряслось, господи спаси и помилуй? — бормотал он про себя, испуганно шаря в темноте, так как спросонья не разобрал, что именно сказал ему староста.

Как только приказчик открыл дверь, Ион Правилэ, даже не дав ему времени что-то спросить, сразу же выпалил:

— Одевайся быстрее и пойдем! Руджиноаса горит!

— Господи! Руджиноаса?.. Быть не может...— воскликнул, весь дрожа, Леонте Бумбу.

— Да не трать ты время попусту! — нетерпеливо перебил его староста.— Сам не видишь, что ли? Будто полная луна светит.

— Ох, горе-то какое! — перекрестился Бумбу, возвращаясь в дом.

Оставшийся на дворе староста услышал удивленный голос жены Бумбу, а затем ее испуганные причитания. Он отошел подальше к стражнику из Руджиноасы, который прибежал к нему и сообщил о пожаре. В первую минуту ошеломленный Правилэ даже не расспросил его как следует, а помчался прямо сюда, на барскую усадьбу. Стражник все еще с трудом переводил дух и что-то растерянно бормотал.

— А давно там горит, Никифор? — спросил староста, глядя в сторону Руджиноасы, где небо было залито багровым светом, будто вот-вот должно было взойти солнце.

— Так когда я приметил, петухи еще полночь не пропели,— глухо ответил стражник.— А сколько теперь времени, не знаю... Может, час?.. Пока я людей разбудил, пока добежал, время-то и прошло...

— Откуда занялся пожар?

— Поначалу только стога соломы да скирды сена горели, а уже потом занялись и постройки, ветер ведь дует, правда, не такой сильный, как здесь...

Приказчик вышел во двор уже одетый. Из дому его провожал плачущий голос жены:

— Ты поберегись там, Леонте... Будь помягче, не перечь народу, знаешь ведь, как нынче люди обозлены...

Леонте зашагал рядом со старостой и стражником, ничего больше не спрашивая. Только через несколько секунд он неуверенно предложил:

— Как думаешь, староста, не лучше бы нам разбудить барина?

— Нет, пусть себе отдыхает,— проворчал Правилэ,— хватит ему и на завтра волнений и огорчений.

Деревья в парке усадьбы закрывали черной стеной пылающее небо со стороны Руджиноасы. Леонте Бумбу разглядел зарево лишь на улице и оцепенел на месте, схватившись за голову.

— Ох, господи!

На востоке повисла огромная завеса огня. Хотя село находилось в трех километрах, пламя, казалось, полыхало совсем рядом, чуть ли не на околице Амары. Небо было чистым и светлым, как на рассвете; лишь несколько больших звезд еще мерцали испуганно и удивленно, будто в предсмертной агонии. Из громадной огненной печи, в которую сильные руки, казалось, то и дело подбрасывали все новые поленья, взлетали багровые языки пламени; они извивались и сплетались апокалипсическими змеями, лизали и обгладывали подножие небосклона, окрашивая его раны всеми красками, стирая их огромными клоками дыма, оставляя после себя трепещущие пурпурные полотнища, которые развевались несколько мгновений, как грозные красные стяги... Победоносные зарницы пожара отбрасывали гигантские тени, которые плясали, вырастая до небес, словно весь мир пошатнулся и с треском разваливался.

— Ну и страсти, что ж это такое? — снова простонал приказчик.

— Чего теперь хныкать! — пробормотал староста, уставившись с таким же страхом на языки огня.— Давай разбудим начальника жандармского участка и пойдем туда...

Унтер-офицер Бояиджиу, одетый и вооруженный, как раз выходил из калитки в сопровождении двух жандармов. Кто-то уже успел его разбудить, и он сразу же вскочил.

— Что будем делать, господин староста? — растерянно спросил он.

— Надо идти в Руджиноасу, господин начальник, посмотреть, что и как,— хмуро ответил Правилэ.— Хорошо еще, что тебя вовремя разбудили... А ну-ка, Никифор, сбегай в усадьбу, пусть кто-нибудь из работников приедет с тележкой, быстрее доберемся.

Оставшиеся таращились в ужасе на огромный пожар, который как будто непрерывно разрастался и поглощал все на своем пути, надвигаясь неудержимым валом. Словно пытаясь что-то объяснить, Леонте Бумбу пробормотал, что там не только жилые дома и амбары, но хранится и несколько тысяч возов фуража. Больше никто не осмелился проронить ни слова. В тягостном молчании, казалось, было слышно, как трещат огненные языки, пляшущие на небесном куполе. Деревня спала либо притворялась спящей в могильной тишине, которая только усиливала трепетный ужас, овладевший всеми. Люди, стоявшие на улице, чувствовали, что в каждом доме, у каждого оконца, жадные глаза смотрят на море огня, ожидая какого-то знака, какого-то таинственного зова.

Внезапно со стороны Руджиноасы на дороге появилась кучка людей, которые лихо что-то насвистывали, по-видимому не обращая ни малейшего внимания на грозный пожар, бушующий за их спиной. Чем ближе они подходили, тем более дерзко держались, словно всем своим поведением хотели посмеяться над теми, кто сгрудился перед жандармским участком. Проходя, кто-то из них поздоровался как ни в чем не бывало:

— Добрый вечер!

Староста, приказчик и унтер поспешно ответили в один голос:

— Добрый вечер!

На миг свист оборвался, как будто незнакомцы ожидали какого-либо вопроса или упрека. Затем несколько человек снова принялись насвистывать ту же мелодию, а другие захохотали. Отойдя чуть подальше, один из них пронзительно, громко и протяжно гикнул, словно задавшись целью разбудить всю деревню. В ту же секунду пучина пламени на востоке вскипела еще яростнее, будто это гиканье раздуло огонь. Вверх взметнулся рой искр, звездами рассыпавшихся по небу. Как маленькие и упрямые стаи огненных птиц, искры в причудливом полете помчались к Амаре, точно подталкиваемые таинственной силой.

Стряхнув с себя сковавшее всех оцепенение, унтер Бояиджиу пробормотал хриплым от страха голосом:

— Сдается мне, люди добрые, началась революция!

ГЛАВА IX

ОГОНЬ

1

В четверг утром восходу солнца в Амаре предшествовали зори, более красные, чем когда-либо.

Горизонт, окрашенный земным пламенем, ярился багрянцем, пока не выкатился солнечный шар,— голова, омытая свежей кровью. Лишь тогда свет пожара стал бледнеть, задушенный светом дня, как бы погружаясь в огненную стену, окаймляющую небосвод. И чем светлее становилось, тем явственнее громоздились смерчи черного дыма, то возносясь кверху, то подламываясь, будто обожженные руки, воздетые к богу.

Крестьяне поднялись, как всегда, с восходом солнца. Они слонялись по дворам, смотрели на безоблачное небо и на клубящиеся завесы дыма, втягивали воздух, чтобы уловить запах гари, но делали это без малейшего удивления или радости, принимая все как должное. Кое-кто выходил на середину улицы, чтобы лучше разглядеть горизонт или перекинуться с кем-нибудь словом-другим.

— Вот это пожар, не шутка! — крикнул со своего двора Василе Зидару, обращаясь к Леонте Орбишору, который жил двумя домами дальше и вышел на улицу, как только услышал, что сосед кашляет и отплевывается.— И вот так-то полыхает с самой полуночи... Сколько там добра гибнет, вся бы деревня по-барски жила целый год, коли не больше.

— Да пусть пойдет прахом по ветру, все одно без пользы лежало, а мы от голода подыхали, и никому до этого дела не было! — тонким, почти писклявым голосом ответил Орбишор, удовлетворенно потирая грудь, словно прогоняя щемящую боль.

Через дорогу бабка Иоана с миской зерна в руках кормила кур, ругая самых жадных, защищая тех, кто потрусливее, наводя своим вечно хмурым голосом порядок и справедливость.

— Видела, как полыхало, матушка Иоана? — крикнул ей Василе.— Сдается мне, быть у нас свадьбе... Ты как скажешь, матушка?

Бабка оглянулась только на мгновение, смерила мужика взглядом и снова занялась своими птицами, угрюмо бормоча:

— А сейчас вот на свадьбу народ валом валит, будь оно все неладно!

Подошли и другие соседи, что-то спрашивая, переговариваясь. Но после первых же слов умолкали и смотрели друг на друга, точно ожидая какого-то знака или, быть может, спасительного приказа. По мере того как народ прибывал, лица суровели, а гул

голосов нарастал и сгущался, словно сдерживаемое нетерпение душило людей. Наконец Леонте Орбишор в сердцах крикнул:

— Что ж это мы попусту глаза таращим, братцы?.. Или других делов у нас нету?.. Пошли по деревне, поглядим, что делается, а то останемся ни с чем...

— Верно! — поддержали его остальные так дружно, словно он высказал их заветную мысль.

По дороге им встретились другие крестьяне и тоже увязались за ними. На площади перед корчмой, как на ярмарке, уже топталась толпа. Среди лихорадочно возбужденных мужиков сновали женщины и дети. Но говорили все тихо и скупо, каждое слово казалось тяжелым, как свинец. Лишь изредка — молнией из тяжелой тучи — вырывалось резкое слово, и толпа жадно ловила его на лету.

— А кто там, внутри? — спросил Василе Зидару, услышав в корчме шум.

— Да там много народу,— ответил Игнат Черчел, шнырявший в толпе от одного к другому.— Марин там, и меньшой сын Драгоша, и Петрикэ, Смарандин сын, немало их там, веселятся, видать, есть из-за чего...

— А из-за чего же? — продолжал расспрашивать Василе.

— Они-то знают! — таинственно пробормотал Игнат.— Да пусть их, правильно делают.

— Разве я тебе не говорил, Василе, что видел их ночью, когда они обратно шли и свистели? — с гордостью ввернул Леонте Орбишор.— Я вышел во двор поглядеть, как горит, и подумал еще про себя: кто ж это красного петуха пустил? Уж слишком большой пожар, да и занялось со всех сторон сразу, видно, много людей, руку приложили...

— Могли бы и нас упредить, а то потом еще скажут, что мы струсили, и оставят нас без нашей доли! — вмешался в разговор какой-то немощный, дряхлый старик.

— Кабы всех спрашивали, до скончания века с места бы не стронулись! — тем же таинственным тоном продолжал Игнат, будто был во многое посвящен.

— И то правда! — тихо поддержали его другие, покачивая головой.

В другой кучке, стоявшей чуть в стороне, раздался громкий хохот, и все колыхнулись туда. Послышался радостный и как будто завистливый голос:

— Значит, топор прихватил, Тодерицэ?.. Неужто как раз нынче собрался в лес за сушняком?

Вопрос показался до того нелепым, что по толпе прокатилась новая волна смеха. Тоадер Стрымбу с топором, висящим на левой

руке, в наброшенной на плечи сермяге, ответил, тоже смеясь и оскалив длинные, острые и блестящие, как у голодного волка, клыки:

— А как же, Иосиф, первым делом, как положено, за сушняк надо браться.

В дверях корчмы появился Николае Драгош с помятым, усталым лицом, словно он всю ночь не смыкал глаз. Однако, увидев Тоадера Стрымбу, он оживился и крикнул через плечо в корчму:

— Айда, Петрикэ, хватит прохлаждаться, Тодерицэ уже пришел!

Он спустился на улицу, а из корчмы вышел Петре в сопровождении большой группы крестьян, главным образом молодых парней. За ними выскочил корчмарь и потянул Николае за руку.

— Как же так, ребята, пили, сколько душа пожелала, а теперь уходите, не расплатившись? Разве порядочные люди так поступают, Николае?.. Выходит, значит, что...

Петре с издевкой перебил его:

— Ты, дядюшка Кристаке, возвращайся подобру-поздорову за свой прилавок и оставь нас в покое, мы тебе заплатим, когда придет час!.. Давай, давай, катись отсюда.

Бусуйок в недоумении повернулся к Петре и попытался было возразить ему, но парень продолжал, метнув на него злобный взгляд:

— Не бойся, дядюшка Кристаке, мы и тебя не забудем!.. И с тобой рассчитаемся с лихвой, пусть только придет твой черед! Мы уж теперь не будем мешкать, со всеми сведем счеты, будь спокоен!

Вокруг усмехались, ворчали. Корчмарь побледнел и пролепетал осипшим голосом:

— Что ж вы против меня-то имеете, Петрикэ, ведь я...

Петре ничего ему не ответил и, оттолкнув в сторону, обратился к Тоадеру Стрымбу:

— Хорошо, что ты наконец заявился, а то мы уж совсем собрались, не стали бы больше ждать. Сам видишь, солнце высоко, скоро полдень, а мы все ни с места.

— Ничего, времени у нас вдосталь, Петрикэ, никто не подгоняет,— хмыкнул Тоадер.— Пока пристроил детишек, ведь одни они остались...

Николае Драгош цыкнул на них и положил конец разговорам. Из корчмы вышли и собрались куда-то идти человек двадцать. В ту же минуту подбежал, запыхавшись, и Кирилэ Пэун с узловатой дубинкой в руке.

— Погодите, ребята, не уходите без меня! — закричал он, еле переводя дух.— Позор будет, коли я с вами не пойду, сами знаете, что со мной стряслось...

— Что же нам, торчать здесь, пока ты копаешься?..— перебил его Николае. Заметив, что число крестьян, приготовившихся идти за ним, возросло вдвое, он добавил уже другим голосом: — Незачем всем-то идти, люди добрые, вы нам не понадобитесь. Там небось тоже найдется народ, который подсобит, коли нужда будет!

Старик, который и раньше вмешивался в разговор, снова заныл:

— Вижу я, вы, парни, куда-то идете, что-то делать собираетесь, а про нас совсем не думаете!.. Так ведь это...

— Да помолчи ты, дед, не тревожься, мы сперва кое с кем рассчитаемся, а уж потом все заодно сделаем, как лучше! — заявил Петре чуть заносчиво, как молодой петушок, собирающийся прокукарекать.

Парни зашагали к Леспези. У Тоадера Стрымбу был топор, у Кирилэ Пэуна — дубинка, все остальные шли с пустыми руками. Горделивее всех вышагивал Илие Кырлан; он то и дело оглядывался и весело улыбался толпе, молчаливо топтавшейся на месте.

— Куда ж это они потянулись? — удивился Василе Зидару, когда парни отошли от толпы.— Неужто все еще на Бабароагу метят?

Корчмарь Бусуйок, который так и остался стоять среди крестьян, испуганно бормоча себе что-то под нос, сразу воспрянул духом, будто опасность наконец миновала.

— Чего ты спрашиваешь, Василе, куда они потянулись?.. Разве не видишь, что за революцию взялись?.. Лучше спросите, почему эти парни на меня зуб имеют? Ведь я-то, люди добрые, зла никому не делал...

Иляна, дочка Думитру Чулича, постелила себе у дверей Надины, в комнатке между спальней и столовой. Барыня приказала ей тщательно запереть все двери да и сама проверила, все ли закрыто как следует. Она сказала Иляне, что боится разбойников, но девушка только рассмеялась.

Утром Иляна проснулась и тихонько вышла в столовую, чтобы не нарушить покой барыни. Она раскрыла дверь на террасу и распахнула окна в гостиной и столовой; хотела взяться за уборку еще до того, как встанет барыня. Потом собрала свою постель и понесла ее домой, решив пройти коридором и кухней. Но в кухне, где уже гулко трещал огонь, ее поджидали родители, оба расстроенные и перепуганные.

— Живей, дочка, нечего разлеживаться, как господа, сейчас не время спать! — сразу же накинулся на нее отец.— Беда на нашу голову свалилась, только этого нам не хватало!

Совсем недавно, едва взошло солнце, Думитру, как было условлено, пошел будить шофера барыни. Он подождал, пока тот появился на пороге своей комнатки, а затем, как всегда по утрам, прошелся по амбарам, чтобы проверить, все ли в порядке. Когда он возвратился, то увидел, что Рудольф валяется на земле у ворот в луже крови, с разбитой головой. Видно, он вышел на улицу, чтобы лучше разглядеть пожар в Руджиноасе, и на него напали из засады. Кто это мог сделать — неизвестно, но вчера вечером приказчик краем уха слышал, что барыниу шоферу так просто отсюда не убрать ноги — его все равно изобьют до полусмерти, потому что он будто бы позавчера жестоко поколотил каких-то ребятишек в Амаре. Увидев такое, Думитру взвалил Рудольфа на спину и отнес в комнатку, где тот и сейчас лежит пластом, хотя его отмыли от крови и наложили на голову повязку... Пусть Илява расскажет барыне, сразу как та проснется, обо всем, что случилось, и пусть та решает, как ей быть, потому что шофер вести машину не может. Только задерживаться здесь барыне теперь не след. Пожар, что в Руджиноасе полыхает, непременно дойдет и сюда, а народ обозлен. Вот потому-то он, Думитру, уже заложил бричку, сейчас напоит лошадь и поедет в Глигану, к своему хозяину, чтобы обо всем доложить...

Староста Правилэ, унтер Бояпджиу и приказчик Бумбу возвратились усталые, почерневшие от дыма и копоти. Высадив на улице обоих жандармов, они въехали на тележке во двор барской усадьбы. Самого унтера лишь с большим трудом удалось уговорить заехать к Мирону Юге, так как он считал, что его долг — неотлучно находиться в жандармском участке и быть готовым к неожиданному нападению крестьян.

Мирон Юга уже встал и поджидал их. Он видел пламя пожара, бушевавшего в Руджиноасе, и кое-что узнал от слуг. В первую минуту он даже вызвал Икима и приказал ему запрягать, чтобы самому ехать на место происшествия. Но тут же передумал. Раз туда уже поехал приказчик, он сделает там все, что возможно. Его же, Мирона Юги, присутствие, в лучшем случае лишь стеснит мужиков, а быть может, даже вызовет более опасные последствия... Еще со вчерашнего дня, после сходки, где говорил префект, Мирон предчувствовал, что неминуемо что-то должно произойти. Вмешательство префекта было каплей, переполнившей чашу. Энергичное поведение или решительный акт, сопровождаемый соответствующими мерами, быть может, сумели бы сдержать еще дремлющие анархические поползновения толпы. Первобытных людей может приструнить и заставить подчиниться порядку лишь

страх! А префект пожаловал сюда, вооруженный духом кротости, и принялся увещевать и торговаться, а это верные признаки слабости. Тем самым он только подбодрил тех, кто еще колебался. Боереску попытался осуществить то, что намеревался предпринять Григоре. Пожар в Руджиноасе Мирон Юга истолковал как грозное подтверждение своих предположений.

Сейчас он выслушал донесение всех троих предельно спокойно, будто не его имущество было превращено в пепел. Ему доложили, что пожар занялся в скирдах сена, заготовленного для скотины. Когда стражники спохватились, все скирды уже горели, и пламя охватило амбары, конюшни и хлевы. Слуги кинулись спасать скот, но большая часть животных погибла, потому что было почти невозможно добраться до пылающих строений. Если б там даже была вода и если б пришли на помощь все крестьяне, и то с трудом удалось бы унять огонь. Но крестьяне не торопились. Лишь те, что живут по соседству, кое-как шевелились, отстаивая свои дома. Остальные спали как убитые, а потом еле двигались, точно сонные мухи, и думали только об одном — как бы что-нибудь стянуть. Бояпджиу предположил, что поджог — дело рук мужиков из Амары. Так ему сказали те крестьяне, которых он расспрашивал, да и его собрат — начальник жандармского участка в Извору, который к утру тоже явился в Руджиноасу.

— Надеешься найти виновных? — спросил, сразу приободрившись, Юга.

— Думаю, нашел бы, если...

Бояпджиу несколько секунд колебался и лишь затем искренне признался, что не отваживается применять сейчас свои обычные методы. Слишком уж мужики озлобились и на рожон лезут, удержу не знают; вчера все видели, как они себя вели на глазах у господина префекта. Просто словами да угрозами их теперь в узде не удержишь. А прибегнуть к силе Бояпджиу пока тоже не смеет, у него мало людей, и он опасается, как бы не восстало все село. Тогда ему же не миновать сурового наказания. Поэтому он стремится сохранить порядок хотя бы в Амаре, проявляя терпимость и действуя лишь методом убеждения, как, впрочем, вчера рекомендовал командир его роты. Иначе этой ночью он бы ни в коем случае не потерпел, чтобы мимо него беспрепятственно прошла группа мужиков, среди которых, он уверен, находились и поджигатели Руджиноасы.

Мирон Юга согласился, что при создавшемся положении унтеру действительно не остается ничего другого, кроме как спасать собственную шкуру. Впрочем, и для него тоже нет сейчас иного выхода. Ныпче речь может идти лишь об одном: продержаться, пока сильные мира сего не поймут наконец, что восстание, кото-

рое они сами же вызвали, не шутовской маскарад, как их манифестации в Бухаресте, и не примут мер для его подавления. Хотя Юге все это было ясно, под конец он все-таки еще раз посоветовал старосте и унтеру выполнять свой долг:

— В селе есть и порядочные люди, возможно, их даже больше, чем негодяев. Убедите их, что нельзя сидеть сложа руки и позволить злоумышленникам верховодить, так как катастрофа угрожает им тоже. А поп Никодим чем сейчас занят?.. Пусть никто не забывает, что наступит час расплаты, и тогда каждому придется держать ответ!

В Леспези, на улице перед барской усадьбой, несколько крестьян толковали о пожаре. Он был для них знамением. Хорошим или плохим? Матей Дулману, побывавший накануне вечером в Амаре, всматривался в даль, точно ожидая кого-то.

— Только огонь очищает все грехи! — пробормотал он, словно про себя.

Остальные закивали, кто-то заметил, что слова эти не простые, а со значением. Матей как раз увидел, что из Амары приближается группа крестьян, и, облегченно вздохнув, добавил:

— Придет время, когда скрытое станет явным!

Группа, вышедшая из Амары, по дороге заметно увеличилась. Сначала ее догнал Павел Тупсу, потом пристали другие, из любопытства.

Крестьяне перекинулись несколькими словами с Матеем Дулману, потом все разбились на две партии. Та, что побольше, зашагала вперед во главе с Николае Драгошем.

— Идите, идите, нас здесь хватает! — сказал им Петре.— А коли еще народ понадобится, дядюшка Матей знает наш уговор.

— Я, Петрика, с тобой останусь! — с воодушевлением воскликнул Илие Кырлан.

— Так у этих-то других дел нету,— уточнил Матей Дулману, указывая на крестьян, которые поджидали вместе с ним.

— Верно! — одобрил Петре. Только негоже нам попусту тратить время на болтовню, как бы нас другие не обогнали.

2

Надина, насколько оказалось возможным, перестроила спальню в усадьбе по своему вкусу. Гогу и Еуджения довольствовались в своем деревенском поместье весьма относительным комфортом и заботились не столько о красоте, сколько об удобствах. Надина же не желала отказываться от своих привычных эстетических требований даже во время поездок, в гостиничных номерах, где ей

предстояло провести одну или две ночи. Массивная, монументальная двуспальная кровать, которой Гогу очень гордился, утверждая, что отдыхает на ней, как у материнской груди, производила на Надину удручающее впечатление своей чудовищной непропорциональностью и безвкусием. Ей казалось, что в мягких недрах этой постели она неминуемо задохнется. В том углу комнаты, что граничил с вестибюлем, рядом с большим окном, забранным железной решеткой и выходившим на цветник, для Надины поставили широкий диван, на котором она прекрасно выспалась в первую ночь после утомительной поездки. Но во вторую ночь она никак не могла уснуть, хотя и мечтала об этом, надеясь забыться и избавиться от гнетущего, неотвязного страха, овладевшего всем ее существом. Ей непрерывно слышались чьи-то шаги то в саду, то в других комнатах, казалось, будто кто-то стучит в окно, а чья-то рука нажимает на дверную ручку в вестибюле...

Стоило ей только погрузиться в дремоту, когда мысли начинают путаться и расплываться, как новый, причудливый шум заставлял ее вздрагивать и прогонял сон. Она уснула по-настоящему лишь к утру, после того как услышала перекличку петухов, возвещавших приближение рассвета. Кукареканье петуха, заоравшего в саду, под окном, разбудило ее, не дав досмотреть чудесный сон, который она не могла даже вспомнить и только испытывала какое-то приятное ощущение и в то же время сожаление, что не сумела прочувствовать его до конца. Еще не сообразив, где она находится, Надина, не открывая глаз, попыталась опять уснуть, чтобы досмотреть сон или хотя бы вспомнить его. Но вместо этого в сознании пробудился и сразу вернул ее к действительности тот омерзительный страх, с которым она боролась всю ночь.

Она не осмеливалась открыть глаза, будто чувствовала себя в большей безопасности, когда ничего не видела. Вокруг царила полная тишина. Сперва Надина услышала естественное и обычно неощутимое вибрирование собственных слуховых нервов, как непрерывное легкое гудение, затем ритмичное биение сердца в груди, а после какого-то промежутка времени, показавшегося ей бесконечно долгим, в барабанные перепонки неожиданно грубо и резко ударило возмущенное кудахтанье курицы в саду, до того отчетливое, словно окошко было распахнуто настежь. Неожиданный шум заставил сердце на секунду судорожно сжаться, но как только Надина поняла, что он означает, страх ее прошел, и она почувствовала себя в безопасности. Она протянула руку к столику, на который положила свои золотые часики.

— Восемь! — вздохнула она, взглянув на циферблат.— Ох, как я устала! Даже подниматься не хочется!.. И все-таки я должна ехать! Я и так задержалась!.. Могла бы уже быть в дороге, если

бы... Если Рудольф готов, я через полчаса буду в машине... Но куда запропастилась эта девчонка?

Она певуче позвала:

— Иляна!.. Иленуца!.. Где ты, Иленуца?.. Иляна!..

Через несколько мгновений в приоткрытую дверь вестибюля осторожно просунулась голова служанки, словно та не была уверена, действительно ли она услыхала голос барыни.

— Да войди, девочка!.. Проснулась? — спросила Надина, блаженно потягиваясь под одеялом и нежась, как котенок в тепле.— Рудольф уже вывел машину?

У хорошенькой, опрятной Иляны всегда играла на губах веселая улыбка, которая до того нравилась Надине, что как-то она даже спросила ее, не хочет ли та поехать с ней в Бухарест. Теперь, однако, улыбка Иляны казалась испуганной.

— Что, Иленуца, тебя снова бранила мама? — спросила Надина, заметив это.— Ладно, хватит хмуриться, тебе это не к лицу.

— Ой, барыня, беда-то какая...— пыталась ответить Иляна, но расплакалась, не в силах продолжать.

Лишь с трудом, всхлипывая и глотая слезы, она рассказала о том, что стряслось с шофером, и о пожаре в Руджиноасе. Надина, будто не расслышав, не сразу поняла истинный смысл ее слов и спросила:

— Хорошо, хорошо, но машина готова? Ведь я обязательно должна уехать...

Тут же осознав, что произошло, она ощутила такой ужас, что неподвижно застыла в постели, натянув одеяло до подбородка и уставившись на Иляну широко раскрытыми, остекленевшими глазами. Только немного спустя она пролепетала чужим, прерывающимся, слабым голосом:

— Что же мне делать, Иленуца?.. Теперь ведь и меня убьют, теперь и меня...

Девушка любила барыню и сейчас, увидев, как та напугана, от души пожалела ее. Она собралась с духом и бойко затараторила, объясняя, что отец уже давно поехал в Глигану, чтобы доложить о случившемся тамошним господам, а те, конечно, приедут в лучшей карете и заберут барыню с собой, так что она может быть спокойна, незачем ей терзаться. А кроме того, здесь народ смирный и ничего дурного ей не сделает.

Надина слушала девушку, не понимая толком, что та говорит, но ее голос действовал на нее успокаивающе и врачевал раны, нанесенные страхом. Она рывком отбросила в сторону одеяло и поспешно приказала:

— Раз так, я тотчас же оденусь, чтоб к их приезду быть уже готовой. Подай мне быстренько, девочка, халат, а потом...

Она села на край дивана, всунула ноги в мягкие комнатные туфли, встала и сбросила с себя ночную рубашку. Дома, у себя в спальне, ей нравилось ходить обнаженной между зеркалами, отражавшими мягкие линии ее тела и подтверждавшими ее уверенность в собственной красоте. Но теперь она и не думала восхищаться собой, делала все машинально, и, хотя в комнате было тепло, ее била дрожь.

— Скорее, Иленуца, скорее, мне холодно,— пробормотала Надина, зябко прикрывая грудь скрещенными руками.

— Ой, барыня, какая ж вы красивая! — в восторге воскликнула Иленуца, которая принесла халат и увидела хозяйку.

Надина невольно улыбнулась. Восхищение окружающих всегда доставляло ей удовольствие... Девушка набросила на плечи хозяйки халатик из белого, мягкого шелка. Надина стала вдевать руки в широкие рукава, и тут во дворе послышался шум голосов.

— Наверно, господа приехали, барыня дорогая! — радостно воскликнула Илява.

— Пойди взгляни, девочка! — прошептала Надина пересохшим от волнения голосом.— И сразу же возвращайся ко мне!

Илява выбежала. Надине казалось, что от нетерпения сердце вот-вот выскочит у нее из груди. Колени дрожали. Она запахнула полы халатика и опустилась на диван. Отчаянно напрягая слух, прислушалась, но уловила только смутный гул, из которого иногда выделялся чей-то как будто знакомый голос. Надина мучительно пыталась различить голоса арендатора или адвоката, но ей это никак не удавалось, словно она их внезапно забыла.

«А вдруг это не они?» — молнией сверкнуло в ее мозгу.

Сердце Надины так болезненно сжалось, что она чуть не закричала. В ту же секунду она явственно услышала торопливый топот шагов в вестибюле. Дверь резко распахнулась, словно ее сорвали с петель, и перед ней вырос молодой, крепкий, костистый мужик в лихо сдвинутой набекрень бараньей шапке, с черными, мрачно горящими глазами, в черной безрукавке поверх длинной рубахи, в тяжелых грубых башмаках. Захлопнув за собой дверь, Потре как вкопанный остановился перед Надиной.

— Барыня, почему это?..

Но голос его тут же осекся, словно чья-то рука яростно стиснула ему горло. Охваченная диким страхом, Надина в первую секунду попыталась вскочить на ноги, но колени у нее подогнулись, и она снова упала на край дивана. Полы халата распахнулись, обнажив грудь, живот, ноги, но она этого не заметила. В ужасе, она не сводила глаз с парня, ворвавшегося в комнату. На какую-то долю секунды он показался ей знакомым, и она вспомнила, что это тот самый кучер, который возил ее зимой в санях, когда кони испу-

гались и понесли, вспомнила, какое глубокое впечатление произвели на нее тогда его необыкновенная сила и спокойная уверенность. Тут же она подумала, что сейчас именно этот человек пришел сюда, чтобы убить ее. Она услышала его окрик и увидела глаза; но в следующее мгновение заметила, что голос парня пресекся, а в глазах вместо мрачной угрозы появился какой-то новый блеск. Этот жадный, мутный блеск Надина часто видела в глазах мужчин, и он ей всегда льстил, так как казался верным признаком страстных чувств, воспламеняемых ее красотой. Взгляд парня жег как огонь. Она ощутила, как он ползет по ней, и вдруг поняла, что ее тело обнажено. Молодая женщина вскочила на ноги, запахнула халат на груди и отчаянно закричала:

— Что ты хочешь сделать? На помощь!.. Нет, не надо!.. На помощь!..

Петре растолковал ее вопль, как призыв. Кровь вскипела в его жилах и багровой краской залила все лицо, даже белки глаз. Он не видел сейчас перед собой ничего, кроме смертельно испуганного и оттого еще более соблазнительного лица и белого, легкого халата, под которым сверкнуло тело. Он инстинктивно протянул вперед руки с огромными, узловатыми кистями, будто пытаясь сдержать неодолимый порыв, и невнятно пробормотал:

— Так... почему же... тебя не...

Надина метнулась ко второму окну. Широкий рукав халата коснулся протянутой руки Петре, и его пальцы сами впились в него.

— Отпусти меня, отпусти!.. Помогите!.. Нет... Нет!..— закричала Надина, пытаясь вырвать рукав из его пальцев.

Вдруг она почувствовала, что сильная рука парня сжала ее талию. Извиваясь, как ящерица, она выскользнула из халата, оставив его в руках Петре, метнулась в тот угол, что граничил со столовой, и притаилась за спинкой кресла. Матовый блеск ее тела еще больше распалил парня. Он отшвырнул халат, который держал в руках, словно предлагая женщине надеть его, и пошел к креслу, широко раскинув руки, будто играя в прятки.

— Не подходи!.. Помогите!.. Что ты хочешь сделать? — снова закричала Надина, высунув из-за спинки кресла только голову и не сводя с него расширенных от ужаса глаз.

Когда Петре вплотную приблизился к креслу, Надина метнулась из-за своего убежища, пытаясь выскочить из комнаты через дверь вестибюля, а оттуда выбраться наружу. Длинная рука Петре загородила путь и снова стиснула ее талию.

— Оставь меня!.. Помогите!..

Петре поднял женщину, как куклу, и повернул лицом к себе, а второй рукой обхватил ее ноги. Запрокинув голову, он заглянул

ей в глаза. Вырываясь из его рук, она увидела пылающий взгляд и откровенную радость на лице парня. Она заколотила кулаками по его голове, сорвала с него шапку, хлестнула по глазам, в которых горело яростное вожделение. Петре переносил удары, как ласку, пока не спохватился и не уткнул лицо ей в живот. Надина не ощущала его жестких рук, стиснувших ее талию и бедра, но теперь почувствовала, как усы и горячие губы парня царапают ее кожу. Она отчаянно извивалась, тело ее соскальзывало все ниже, пока рот Петре не попал в ложбинку между округлыми грудями. Его губы остановились на одной груди, страстно ее целуя, и наконец зубы жадно впились в плоть, как в спелый персик.

— Больно!.. Помогите!.. Отпусти меня, отпусти!..— застонала Надина и снова замолотила кулаками по его голове.

Лишь сейчас она осознала, что, целуя и сжимая ее в объятиях, Петре отступил вплотную к дивану, еще накрытому измятым одеялом, откуда она недавно поднялась. Не отрывая лица от ее груди, повинуясь лишь страсти, он осторожно положил женщину поперек дивана. Надина вцепилась пальцами в его волосы, отчаянно вырывая их, тщетно пытаясь выскользнуть. Беспомощно корчась под его тяжестью, мотая головой, она невнятно бормотала:

— Не хочу!.. Помогите!.. Помогите!..

Оторвав от ее груди голову, Петре прохрипел:

— Да лежи ты смирно... Не съем же я тебя!.. Вот так-то...

Надина болезненно содрогнулась. Несколько мгновений она еще металась, но постепенно ее крики заглохли, и лишь руки трепетали, точно хрупкие крылья. Потом всхлипы ее превратились в прерывистые стоны, заглушаемые хриплым дыханием парня. Голова Надины с плотно зажмуренными глазами и полуоткрытым ртом все так же дергалась, но руки бессознательно обвили шею мужчины, всколыхнувшего все ее существо. Она полностью отдалась во власть исступленной радости, словно причастилась неведомой тайне, горше и слаще которой нет.

А потом она осталась лежать неподвижно, обессиленная, с закрытыми глазами. Вдруг, точно издалека, до нее донесся насмешливый голос Петре:

— Выходит, попусту ты, барыня, вырывалась и кричала, не съел я тебя...

Надина вскочила, словно очнувшись от кошмара, прикрыла свою наготу попавшейся под руку ночной рубашкой и заслонила лицо ладонями, испытывая бесконечное омерзение к своему телу, которое она прежде так боготворила.

Петре поднял с пола шапку и надвинул на голову. На миг задержался, рассматривая Надину, словно только сейчас лучше ее увидел, пожал плечами, пробормотал про себя:

— Что барыня, что не барыня, все одно...— И тут же нарочито повелительным тоном прибавил: — Коли тебе дорога жизнь, барыня, то беги отсюда!.. Слышишь?.. Тотчас беги, а не то...

Надина растерянно уставилась на него, будто, защищая свое тело, она забыла о главной опасности. Вид парня вернул ее к действительности, и она, всхлипнув, пролепетала:

— Куда мне бежать?.. Спаси меня!.. Что мне делать?..

Но Петре решил не поддаваться жалости и, выходя из комнаты, бросил еще суровее:

— Ты, барыня, поступай, как бог тебя надоумит, но только здесь не задерживайся...

Надина услышала, как его башмаки гулко протопали по полу. Она принялась искать на ощупь около дивана чулки, шепча пересохшими губами, словно разговаривая с кем-то:

— Я должна уйти... Куда мне идти?.. Боже, боже, куда мне идти?

3

Платамону вышел, как всегда, ночью во двор, проверить, все ли в порядке, и сразу же увидел на востоке зарево пожара. Он подумал, что это горит не в их уезде, а в соседнем, Телеорманском, у самой границы, или, быть может, в Извору. Во всяком случае, было ясно, что мятеж приближается и завтра-послезавтра нагрянет сюда. Поэтому он решил воспользоваться отъездом Надины и вместе с семьей добраться на ее машине до Питешти. Он чуть было не разбудил жену, чтобы посоветоваться, что захватить с собой из дому, кроме денег и драгоценностей, но потом решил отложить все до утра.

Утром он пораньше разбудил Аристиде, привыкшего спать почти до полудня, и тот даже рассердился, что ему испортили самый сладкий сон. Он поднял отца на смех, заявив, что Платамону просто празднует труса по примеру адвоката Ставрата, который с тех пор, как приехал сюда, не перестает дрожать. Все-таки он встал, так как на самом деле не помнил себя от страха и лишь напускал на себя бравый вид, стараясь выиграть в глазах отца, любовью которого всячески пользовался и даже злоупотреблял.

К семи часам все трое были готовы. Что касается Олимпа Ставрата, то он приготовился еще с вечера и даже не раздевался, чтобы внезапное нападение не застало его ночью врасплох. Работникам говорить о своем отъезде Платамону не стал, опасаясь, как бы новость не разнеслась по селу и не всполошила крестьян. Ну, а уж когда они уедут, будь что будет.

В половине девятого, когда они совсем потеряли терпение и про себя ругали Надину, которая, конечно же, опаздывает из-за того, что даже в эти страшные минуты не может отрешиться от своей всегдашней лени и кокетства, неожиданно явился Думитру Чулич. После минутной растерянности адвокат Ставрат воскликнул с негодованием: «Эта барыня нас всех погубит»,— и добавил, что она должна была приехать в «повозке этого достойного человека». Ее аристократическому гонору это ничуть не повредило бы, а всем остальным не пришлось бы ее ждать бог знает сколько времени. Теперь, того и гляди, на них набросятся мужики и всех перережут. Аристиде предложил, чтобы Думитру поехал быстро на шарабане и привез Надину сюда, а тем временем они здесь заложат коляску, в которой смогут добраться до Костенти. Но Платамону счел более разумным сейчас же ехать всем вместе в большой дорожной коляске, завернуть в Леспезь, забрать Надину, а уж оттуда через имение Кантакузу пробраться на уездное шоссе, где должен царить порядок, так как его, наверно, охраняют жандармы или войска. Он приказал немедленно запрягать.

Все трое сидели на террасе в ожидании коляски, выспрашивая у Думитру Чулича подробности. Госпожа Платамону все еще суетилась в доме, плача и наказывая прислуге присматривать за вещами и беречь их, приговаривая, что за ней не пропадет. Думитру, стоя возле лестницы и вертя шапку в руках, как раз говорил, что мужики из Леспези ведут себя смирно и жалеют только, что весенние работы все откладываются да откладываются, как вдруг с громкими криками, размахивая дубинками, в ворота ворвалась толпа человек в сорок. Арендатор, его сын и адвокат оцепенели на месте. Крестьяне в мгновенье ока окружили террасу, крича, ругаясь, теснясь, будто каждый хотел пробиться вперед. Думитру так и остался стоять без шапки, затертый яростной толпой. Батраки выскочили из конюшен и удивленно уставились на эту сцену. Появился и кучер с лошадьми, которых он собирался запрячь в коляску.

Платамону, который первым пришел в себя, встал и спросил с удивленным, но доброжелательным видом:

— Что с вами, люди добрые?.. Кто вас обидел?..

Ему ответили десятки голосов сразу. Люди кричали, перебивая друг друга. Проклятия, ругательства, угрозы слились в оглушительный рев, в котором можно было разобрать лишь обрывки бранных слов... Платамону переводил взгляд с одного искаженного яростью лица на другое, узнавая крестьян из Амары, Леспези, Глигану. Потом он увидел Кирилэ Пэуна, который стоял впереди, рядом с Николае Драгошем, и приветливо сказал:

— Да скажи хоть ты, Кирилэ, какая у вас беда и чего вы от меня хотите. Ты-то ведь знаешь, что я всегда готов пойти вам навстречу...

Опираясь левой рукой на новую, еще зеленую дубинку, Кирилэ Пэун стал подниматься по ступенькам террасы, отвечая своим обычным мягким голосом:

— Чего они все хотят, они сами скажут, небось не отнялся язык, а вот у меня старые счеты из-за Гергины с этим разбойником, который...

Он поднялся на террасу, бросился, не договорив, к Аристиде, который растерянно сидел на стуле, тупо улыбаясь, и отвесил ему здоровенную оплеуху, такую гулкую, словно хлопнул лопатой.

— Не бей его, Кирилэ! — успел крикнуть Платамону.

В тот же миг крестьяне накинулись на них с кулаками, повалили всех троих на пол и стали топтать. Ставрат в отчаянии закричал:

— Не убивайте меня, братцы! Я ни при чем, я тут случайно!.. Ой, ой, помогите!

В доме раздались вопли госпожи Платамону и других женщин, они перемежались с шумом ударов и дикими выкриками. Свалка длилась лишь несколько минут, так как тут же все перекрыл, точно приказ, голос Николае Драгоша:

— Все!.. Хватит!.. Оставь его, дядя Кирилэ!.. Да перестаньте вы, люди добрые, мы пришли сюда не для того, чтоб им бока намять!.. Да не трожь ты его больше, парень, оглох, что ли?.. Мы пришли, чтобы выхолостить этого жеребца. Не будет он больше портить наших девок и жен.

На мгновение все растерялись. Кто-то переспросил: «Что он сказал?», другие закричали: «Хочет его выхолостить», а третьи орали: «Да пусть просто убьет его насмерть, тоже не потеря!» Аристиде, ошеломленный градом посыпавшихся на него ударов, скорчился на полу у ног мужиков, прикидывая, как бы ему проскользнуть в сторонку, а потом совсем исчезнуть с глаз. Но Платамону в ужасе завопил:

— Прости его, Кирилэ!.. Люди добрые, смилуйтесь! Прости его и ты, Николае!

Арендатора никто не слушал. Кто-то гаркнул: «Приглядите там за стариками!» Другие голоса призывали: «Расступитесь, расступитесь!.. Надо больше места!..»

Николае Драгош схватил Аристиде, сумевшего отползти чуть в сторону, за ногу, выволок на середину, перевернул лицом вверх и закричал, как капрал, раздающий наряды:

— Эй вы, Теренте и Василикэ, хватайте его за руки, ты, Костикэ, садись на него, чтоб не дергался, вы навалитесь ему на

ноги, вот так!.. Держите его крепче, ребята!.. А ты, дядюшка Кирилэ, вытаскивай нож, тебе не в диковинку кабанов выхолащивать, небось набил руку!

Сам он принялся расстегивать брюки Аристиде, который, поняв, что его ждет, вопил во все горло.

— А ну, раздвиньте-ка ему ноги, ребята! — распорядился Кирилэ Пэун, опускаясь на колени с ножом в правой руке.— Хорошенько держите!

Мужики обступили его тесным кольцом, жадно наблюдая за зрелищем. Платамону в безумном отчаянии рванулся к ним:

— Не калечь его, Кирилэ!.. Ой, горе!.. Лучше убейте меня, люди!.. О-о-о!..

Несколько рук пригвоздили его к месту, посыпались новые удары, а из середины круга послышался укоризненный голос Кирилэ:

— Вот так и я плакал, когда Гергина забрюхатела, а этот вор и разбойник надо мной измывался!

Аристиде взревел так, что зазвенели стекла:

— Помогите! Помогите! Ох! Ох! Папа, спаси меня!..

Его вопли становились все более хриплыми и низкими, постепенно превращаясь во всхлипывающие стоны, а Кирилэ Пэун, будто оперируя кабанчика, продолжал спокойно орудовать ножом, приговаривая:

— Молчи, петушок, молчи. Вдосталь ты надругался над нашими бабами, теперь будешь сидеть смирно. Ох, как пекло и жгло мое сердце всю зимушку, как я плакал да маялся...

Николае Драгош мрачно смотрел и что-то бормотал себе под нос, изредка переводя взгляд на Платамону, который чуть поодаль отчаянно вырывался из рук крестьян, рыдая в голос.

— Все, вот они! — выдохнул Кирилэ, поднимаясь на ноги.

— Положь их ему на грудь, пусть себе сготовит жаркое...— прогудел Николае Драгош, с омерзением отворачиваясь.

Кто-то засмеялся, закричал, снова всколыхнулся унявшийся было шум. Аристиде стонал, распростертый на полу. Платамону вырвался из рук державших его крестьян и метнулся к сыну:

— Сыночек родной, сыночек... Ох, разбойники!

Кирилэ Пэун спустился с Николае во двор, а остальные, невнятно галдя, двинулись за ними. Арендатор взял себя в руки, кликнул жену, которая от горя и ужаса несколько раз теряла сознание, и втолковал ей, что необходимо тотчас же ехать хотя бы в Костешть к врачу, а то сын их умрет. Потом отчаянным рывком поднял Аристиде с пола, взял его, как маленького ребенка, на руки и понес сквозь толпу орущих крестьян, которые все-таки расступились, пропуская его к коляске, около которой топтался растерян-

Л. Ребряну
«Восстание»

ный кучер. Тяжело шагая с сыном на руках, в сопровождении госпожи Платамону и двух старых служанок, арендатор крикнул:

— Шевелись быстрее, Митрофан, поедем в больницу, сынок мой помирает.

Крестьяне слушали и смотрели, чуть притихнув, как будто их растрогала боль отца. Один лишь Драгош проскрежетал с той же презрительной ненавистью:

— Спешите, спешите, может, лекари приладят их на место!

Никто не засмеялся. Все смотрели, как арендатор садится в коляску, не выпуская сына из рук, как госпожа Платамону укутывает его, а затем сама влезает на козлы рядом с кучером, как Думитру Чулич и обе служанки суетятся, стараясь чем-нибудь помочь. Потом лошади затрусили к воротам. Проезжая мимо толпы крестьян, Платамону, лицо которого было залито слезами, горестно крикнул:

— Ничего, Кирилэ, бог тебя покарает, да еще и похуже, чем ты меня!

— Не знаю, как бог, а вы меня вдоволь помучили! — огрызнулся Кирилэ Паун.

— Мать вашу, чужаки окаянные! — выругался сквозь зубы Николае Драгош.

Коляска, грохоча, выехала из ворот. Через несколько мгновений Николае, успокоившись, сказал:

— Ну, здесь мы все кончили, можем домой возвращаться, там у нас еще хватит дел.

Какой-то верзила недовольно возразил:

— А с нами что будет, браток? Не затем же мы поднялись, чтобы вы могли выхолостить арендаторского сынка!

— Чего ты, парень, от нас хочешь? Неужто мы должны вас надоумить, что вам делать? От мироедов-то вы избавились! — рассердился Драгош.— А дальше у вас что, своей головы нет? Может, вы еще сосунки?.. Пошли, дядюшка Кирилэ! Эй, все, кто из Амары, пошли, мы-то знаем, что делать, других спрашивать не будем...

— Верно! Правильно говоришь! — поддержало его несколько голосов.— Идите подобру-поздорову. Мы тоже не станем сидеть сложа руки!

Но и после того, как мужики из Амары ушли, те, что остались во дворе усадьбы, некоторое время в замешательстве топтались на месте, а кто-то даже воскликнул:

— Что ж это такое вышло, люди добрые?

Но тут же, будто рассердившись на себя за бездействие, все принялись наперебой орать, браниться, подбадривать друг друга:

— Поджигай и тут, как в Руджиноасе!.. Нет, погодите, братцы, незачем уходить с пустыми руками!.. На кой ляд поджигать,

лучше заберем, кто что сможет, амбары-то ломятся от добра!.. Будь они трижды прокляты, в бога и пречистую деву!.. Давайте, ребята, не мешкайте!.. Да не бойсь, Ион, с господами покончено, нет их больше!

Один из мужиков вскочил на террасу, где служанки, в слезах, пытались навести порядок. Толпа ринулась за ним. Женщины, воня от страха, убежали в дом. С улицы валил народ, узнавший о том, что творится в усадьбе. Те, что ворвались в дом первыми, с остервенением крушили все вокруг, словно воевали со смертельным врагом. То один, то другой с радостным возгласом выскакивал во двор, нагруженный приглянувшимися ему вещами, и бежал домой, торопясь поскорее вернуться, чтобы прихватить еще что-нибудь, пока все не пошло прахом. Во дворе сновали запоздавшие, многие вертелись вокруг амбаров. Вскоре усадьба превратилась в настоящий муравейник, в котором суетились мужчины, женщины, дети, озабоченные тем, как бы их не обошли при дележке...

Чуть раньше адвокат Ставрат, слегка опомнившись после ошеломившего его града ударов, воспользовался тем, что все столпились вокруг Аристиде, прокрался с террасы в дом, а оттуда, хорошо зная все ходы и выходы (за последние два дня он их тщательно изучил, именно в предвидении такого рода событий), прошмыгнул через кухню и очутился за домом, на заднем дворе. Хотя голова Ставрата все еще гудела, у него хватило здравого смысла не поддаться первому побуждению и не спрятаться в одной из хозяйственных пристроек. Он перелез через изгородь и зашагал по направлению к шоссе, прямо по полю, задами крестьянских хат. Никогда бы он не подумал, что сейчас, в свои пятьдесят шесть лет, он окажется способен на такие физические усилия. Забылось все — и больное сердце, и астма, и то, что врачи категорически запретили ему бегать...

Ставрат шагал споро, как горный охотник, по вязким бороздам и лужам, чуть пригнувшись, стараясь быть незаметнее. Он запыхался, был весь в поту, но чувствовал себя счастливым, и это придавало ему новые силы. Наконец он миновал и последний дом! Мелькнул соблазн остановиться, отдышаться, остыть, но Ставрат благоразумно справился с ним и продолжал вышагивать наискосок поля, к шоссе. Вдруг он заметил коляску Платамону, узнал ее и принялся кричать. Но стук колес заглушил его голос. На миг им овладело отчаяние. А что, если ему повстречаются по дороге крестьяне? Лошади галопом уносили коляску.

«Ну и болваны же эти мужики! — с горечью подумал он.— Сперва набрасываются на арендатора, убить хотят, а потом разрешают укатить в коляске... Знал бы, тоже остался б на месте и не тащился теперь по этим рытвинам!»

4

— Я должна тотчас же уйти! — машинально бормотала Надина, одеваясь с лихорадочной поспешностью, будто в доме начался пожар.— Где моя шляпа?.. Ох, я должна уйти, должна поскорее уйти!

Она собрала мелкие туалетные принадлежности, часы, еще кое-какие безделицы и засунула все в сумочку из красной кожи с золотой монограммой. Проходя мимо зеркала, невольно взглянула на себя и содрогнулась, увидев словно бы чужое лицо.

— Ох, я несчастная! — пролепетала она в панике.— И все из-за того, что... Надо быстрее уйти, быстрее!..

Петре прошел из вестибюля на террасу, оттуда спустился во двор, куда между тем набежали и другие крестьяне из Леспези. Тоадер Стрымбу переругивался с женой Думитру Чулича из-за Иляны, которая все порывалась войти к барыне. Тоадер ее не пускал и даже оттолкнул так, что девушка заплакала.

— Хорошо, что ты пришел, Петре, а то эти бабы чуть меня не разорвали! — расхохотался Тоадер.— Больно долго ты там задержался, парень! Неужто барыня не отпускала, так ей по душе пришлось?

— Да помолчи ты, Тодерицэ, нечего срамные слова говорить! — нахмурился Петре.— Ты ж человек, не кобель!.. Я дал ей хорошую выволочку, не бойсь!.. Сейчас она уберется и оставит нам поместье и все остальное!

— Доброе дело! — воскликнуло несколько человек.

Но Тоадер Стрымбу вдруг побагровел:

— Что ж это, Петрикэ, разве такой был у нас уговор?.. Для чего я тащился в эдакую даль?

— А чего ж ты хочешь, Тодерицэ? — спросил Петре.

— Ты же сам говорил, что достаточно она измывалась над нами...

— Неужто она над тобой измывалась или надо мной?

— Ну, ты как хочешь, дело твое! — продолжал еще яростнее Тоадер.— А я вдовец, застоялся, невмоготу мне... На, Илие, подержи! — закончил он резко, повернулся к Илие Кырлану и отдал ему топор.— Не буду я плясать под дудку других, кто...— не закончил он и, бормоча себе что-то под нос, взбежал на террасу и исчез в доме. Иляна в ужасе вцепилась Петре в руку.

— Не пускай его, Петрикэ, он ее убьет!..

— Да пусть все к черту провалится, коли не слушают меня,— пробормотал, сдерживаясь, парень.— Я-то сказал, а он...

В тот миг, когда Тоадер ворвался в вестибюль, Надина, уже совсем одетая, с сумочкой в руках, выходила из спальни. Увидев ее, Тоадер шагнул к ней, насмешливо крикнув:

— Куда побежала, красавица?.. Погоди, дай и мне твои губки!

Надина на секунду заколебалась, но тут же метнулась в гостиную и заперла дверь на ключ. Разозленный Тоадер, даже не попробовав нажать на ручку, налег плечом на дверь и выставил ее.

— На помощь!.. На помощь!..— закричала Надина. Глаза ее расширились от ужаса.

— Я что, не нравлюсь тебе, барыня? — оскалился Тоадер.— Ничего, зато ты мне нравишься.

— Помогите!..

— Не верещи, паскуда! — пробормотал Тоадер, схватив ее за горло.

Крик Надины угас, будто его вырвали с корнем...

Через несколько минут Тоадер Стрымбу снова появился на террасе, довольно ухмыляясь. Сумочка Надины лежала в кармане его сермяги. Он взял свой топор у Илие, хрипло бросив:

— Поди и ты, Илие, может, она еще теплая!

Все уставились на него с опасливым любопытством.

— Ой, он убил барыню! — взвизгнула Иляна.— Убийца!.. Убийца!..

— Ох ты! — ахнул и Петре.— Неужто и впрямь ты пошел на такое, Тодерицэ?..

— Померла, как цыпленок, ей-богу! — спокойно ответил Тоадер Стрымбу.— Я ее только чуть стиснул, чтоб не орала зря, а она и дышать перестала.

— Вот беда какая,— еще удрученнее пробормотал Петре.— Что ж ты наделал, Тодерицэ...

Крестьянин уставился на Петре, а потом и на остальных с удивлением, которое постепенно переходило в возмущение и гнев. Давно не бритая щетина на его скуластом лице топорщилась, маленькие, глубоко запавшие глаза налились кровью и сверкали, как два горящих уголька на сильном ветру. Он заревел, точно разъяренный зверь, судорожно переступая с ноги на ногу, будто касался босыми пятками раскаленного железа, заикаясь и захлебываясь от бешенства:

— Ну и что с того, что померла?.. А как же моя баба померла молодой с голоду, а я не мог ее даже к дохтуру отвезти? Хоть какой мироед почесался из-за того, что померла баба Тоадера Стрымбу? Я и сейчас еще должен и мужикам и попу за похороны, дети голодные сидят, а земли ни клочка нет, да и сил моих больше

пету! Работаю так, что хребет ломит, и все одно детишек кормить нечем... А вы еще недовольны, что я отправил ее на тот свет. Надо было нам наброситься на нее всем миром и плюнуть на эту падаль, которая с жиру бесилась и приехала сюда, чтоб не оставлять нам землю, а отдать своим же живоглотам... Только я их всех вырежу, кого только встречу, зарублю топором... чтоб не осталось и следа господ, чтоб изничтожить всех до единого!

Тоадер размахивал топором над головой, а его хриплый голос будто рвался из треснутой трубы:

— Достаточно мы терпели да мучились... Все! Хочу теперь отвести душу!.. Напьюсь господской кровушки, а не то нутро у меня сгорит!

Он рубанул топором по окну усадьбы. Стекла и рама разлетелись вдребезги. Толпа, тотчас заразившись его разрушительной яростью, тоже бросилась, вооружаясь чем попало, ломать и крушить все вокруг. Жена Думитру вопила и рвала на себе волосы, дрожа за свои вещи. Тем временем Иляна вбежала в дом, чтобы своими глазами увидеть, что случилось с Надиной. Павел Тунсу с самого начала нацелился на автомобиль. Он нашел в сарае заступ и принялся бить им по машине, злясь, что не может уничтожить ее быстрее. Увидев наконец, что он пробил бак для бензина, Тунсу отбросил заступ, вырвал из-под стрехи охапку сена, свернул в жгут, пошарил по карманам, нашел спички, осторожно поджег сено, чуть подождал, пока оно разгорелось ярким пламенем, и лишь тогда бросил его под машину, в натекшую лужу бензина. Голубоватый огонь охватил весь автомобиль, взвился к гонтовой кровле и скользнул на чердак, набитый сеном. Через несколько секунд все хозяйственные пристройки окутались огромной тучей дыма, откуда, бешено извиваясь, вырывались желтые языки пламени.

— Горит!.. Горит!..— с дикой радостью завопили вокруг.

— Ух, как согревает душу! — заорал Тоадер Стрымбу. Лицо его заливал пот. Он метнулся к пылающему зданию, словно собираясь кинуться в огонь.

Петре растерянно застыл у террасы, глядя, будто во сне, на метавшуюся по двору толпу. Лишь немного спустя он увидел, что Матей Дулмапу тоже не двинулся с места.

— Пошли, Петрикэ, вынесем барыню из дому, а то доберется до нее огонь, и большой будет грех, коли сгорит ее тело в пламени.

— Твоя правда, дядюшка Матей,— поспешно согласился Петре.— Народ-то совсем обезумел!

Как раз в эту минуту из обреченного дома вышла Иляна, неся на руках Надину, покрытую белой простыней.

5

Редакция «Драпелула» была как в трауре. Придя туда в четверг утром, к десяти, Титу не застал даже Рошу за его знаменитым письменным столом, заваленным газетами. Правда, Титу сказали, что Рошу уже заходил, совсем недавно ушел и просил передать, что через полчаса вернется.

Херделя пришел в редакцию позднее обычного, потому что, выполняя обещание, данное накануне Григоре Юге, заходил по дороге в министерство внутренних дел к Модряну, чтобы узнать, не слышно ли чего об уезде Арджеш. Но там ничего не знали. Впрочем, накануне вечером Григоре Юга разговаривал по телефону с префектурой Питешти, и ему сообщили, что префект Боереску как раз объезжает уезд и вернется лишь к ночи, что пока у них все спокойно, никаких беспорядков нет, хотя опасность бунта весьма велика, так как в соседнем уезде Телеорман царит настоящее безумие. Титу разыскивал Григоре всю вторую половину дня и лишь вечером нашел его у Пределяну. Григоре извинился и шутливо добавил, что если Титу хочет его непременно разыскать, то поиски следует начинать с дома Пределяну, где он проводит теперь больше времени, чем у себя. Херделя улыбнулся — он уже успел заметить, что частые визиты Григоре объясняются не только дружбой с Пределяну, но и красивыми глазами Ольги Постельнику.

Гогу Ионеску он встретил в тот же день после обеда. Гогу тоже звонил в Питешти. Несмотря на все попытки Евджении его успокоить, он был очень подавлен, на глаза его то и дело навертывались слезы, тяжкое предчувствие терзало душу.

Титу постарался так распределить свое время, чтобы возвратиться домой к шести, к приходу Таницы. Девушка явилась точно в назначенное время, они обнялись и даже, радуясь встрече, чуть всплакнули. Важные дела, о которых она предупреждала в своей записке, оказались не такими уж важными. Женикэ разошелся с госпожой Александреску на третий день после переезда Титу. Это не он потребовал отказать Титу от квартиры, а так решила сама госпожа Александреску. Ей понадобилась комната для Мими, которую окончательно выгнал муж. Госпожа Александреску устроила страшный скандал, прибежала к ним и мерзко со всеми бранилась, даже кричала на Таницу, обвиняя ее в том, что она валялась с ее жильцом, но все-таки Женикэ решительно порвал со скандалисткой и сразу же обвенчался с дочерью помощника директора. Вел он себя, как настоящий рыцарь, категорически опровергнув все, в чем ее обвиняли... Титу с искренним интересом выслушал

эти новости и потому, что их рассказывала Танца, и потому, что все, что касалось девушки, его глубоко интересовало и волновало. Растрогавшись, он объявил, что будь он мало-мальски обеспечен, то женился бы на ней хоть завтра, но и теперь, что бы ни было, они должны навечно принадлежать друг другу. В знак торжественного обета впредь, вместо всех прочих нежных слов, он будет называть ее: «Моя невеста»...

— Пришел, малыш? Браво! — воскликнул Рошу, увидев уткнувшегося в газеты Титу.— Значит, все!.. После обеда у нас будет новое правительство!

Он полистал несколько газет и продолжал:

— Видел, как наши уважаемые друзья сразу перевели стрелку?.. Теперь уже никто не говорит о священной борьбе крестьян. Теперь мужики — лишь нарушители общественного порядка, против которых необходимо применить самые энергичные репрессии. Все это я тебе предсказывал еще три недели назад, не так ли? А очень скоро ты увидишь, как они пустят в ход пушки, чтобы потопить в крови ту самую «священную борьбу», которую еще вчера прославляли. Да ты и сам должен был заметить. Они трезвонили о «священной борьбе» и о том, что «не должна пролиться ни одна капля румынской крови», только до вчерашнего дня, то есть до того часа, когда обрели уверенность в том, что дорвались до власти. А это означает, что они умышленно и без малейшего зазрения совести подожгли всю страну. Разорение родины не имеет для них никакого значения, заинтересованы они лишь в одном — захватить власть, пусть даже в разоренной стране... Ничего другого не скажешь, малыш, они омерзительны! Я лично политикой не занимаюсь, и мне совершенно безразличны все партии с их так называемыми идеологиями, но эти просто отвратительны и страшны!

Телефонный звонок оборвал возмущенную тираду Рошу.

— Алло!.. Да, да, «Драпелул»! Кого? Господина Херделю? Да, он здесь... Пожалуйста!

Гогу Ионеску спрашивал, нет ли каких-нибудь новостей, ибо сегодня он уже не смог связаться с Питешти. Титу пообещал, что прямо от Модряну зайдет к нему.

— Вот так и выходит — бедные люди мечутся и страдают из-за того, что эти господа решили любой ценой захватить власть! — продолжал Рошу, будто телефонный звонок еще подстегнул его.— А сколько народу еще будет страдать, сколько крови еще прольется! Ведь они будут убивать крестьян так же бесстыдно, как подстрекали их к бунту! Больше того, я тебя уверяю, что они отыщут и подстрекателей беспорядков. Уж конечно, не министра, провозгласившего необходимость «священной борьбы». Нет,

мой милый! Они обвинят тебя, меня, какого-нибудь учителя или священника, не входящего в их партию, какого-нибудь социалиста...

Их снова перебил телефон. Григоре Юга позвонил, что зайдет за Титу, чтобы вместе с ним пойти в министерство внутренних дел. После этого Рошу еще полтора часа обрушивал на голову покорного собеседника всю свою политическую мудрость.

Хотя Модряну в связи со сменой правительства был предельно задерган, он, однако, принял Григоре Югу чрезвычайно любезно, напомнил ему о встрече в поезде, о болтовне Рогожинару и только после этого сообщил, что сегодня утром из Питешти поступило телефонное сообщение: ночью крестьяне подожгли какую-то усадьбу на юге уезда, не то Руджиниту, не то Руджиноасу, точно разобрать было невозможно, так как префект, который звонил лично, был сильно взволнован, заикался и невнятно выговаривал слова. Модряну добавил, что, пытаясь получить более подробные сведения о положении в уезде Арджеш, он час назад вызывал по телефону Питешти и снова разговаривал с префектом. Тот сказал, что телефонная и телеграфная связь с югом уезда случайно или умышленно повреждена, так что он не располагает пока никакими дополнительными сведениями. Может быть, удастся что-либо узнать от нарочных. Префект прибавил также, что сообщение о поджоге усадьбы в Руджиноасе он передал на основании телефонного сообщения из Костешти, но сам он склонен видеть в этом неуместную, бестактную шутку, ибо как раз этой ночью он возвратился из тех краев и констатировал, что там царит образцовый порядок.

— Ваш префект личность весьма почтенная, но наделен чрезмерным оптимизмом! — закончил, улыбаясь, Модряну.

Григоре Юга сердечно поблагодарил его. Еще минуты две потолковали о смене правительства. Юга сообщил, что на должность префекта уезда Арджеш будто бы намечается кандидатура его друга — адвоката Балоляну. Он, по крайней мере, слышал это от самого Балоляну. Модряну, конечно, знал адвоката и считал, что тот был бы идеальным префектом, особенно в нынешние трагические времена...

По дороге Григоре Юга сказал Титу, что, если Балоляну действительно назначат, он, Григоре, обязательно поедет в Амару вместе с новым префектом. Судьба отца его страшно тревожит. Остановившись на тротуаре против Национального театра, Григоре посмотрел на часы и горестно вздохнул:

— Половина первого... Господи боже, что происходит сейчас в Амаре?

6

Еще до полудня вся Амара узнала, что натворили те, кто ушел с утра в Леспезь и Глигану. Разумеется, переходя из уст в уста, события весьма раздувались. Уже рассказывали, будто бунтовщики оскопили не только Аристиде, но и старого Платамону, жену его зарубил топором какой-то мужик из Глигану, а бухарестскому адвокату вырезали язык и прогнали из деревни босиком, в одних подштанниках. В Леспези будто бы все мужики надругались над красавицей барыней, потом Тоадер Стрымбу свернул ей шею, как цыпленку, и бросил в огонь, а Павел Тунсу забил до смерти шофера-немца... Но крестьяне возвращались в село по одному, по двое, а не гурьбой, как отправились в путь, и потому их возвращение прошло почти незамеченным. Один только Павел Тунсу прошел, гикая и горланя, как сумасшедший, а Тоадера Стрымбу будто бы видели с увесистой торбой на плече, которая, как стало кое-кому известно, была битком набита золотыми монетами и драгоценностями, похищенными из комнаты убитой барыни.

Староста Правилэ оставил сегодня в канцелярии секретаря, а сам сидел дома. Он знал, что происходит в деревне, но решил ни во что не вмешиваться. Ему стало известно, что кое-кто из сельчан намеревается жестоко избить его и даже поджечь дом в отместку за давние обиды и притеснения. Потому-то он и счел благоразумным дать мужикам перебеситься. Зачем рисковать жизнью и состоянием, если народ совсем свихнулся?.. Власти быстренько вправят мужикам мозги, и тогда те горько раскаются. Но до тех пор для него одна возможность: сидеть тихо и никуда не высовывать носа, иначе его растерзают.

Секретарь Кирицэ Думитреску, скучая один в пустой канцелярии, позвал к себе обоих стражников и судачил с ними о событиях. Он презрительно осуждал зверства мужиков и полностью становился на сторону помещиков, так как считал, что тоже принадлежит к господам. На письменном столе он пристроил перед собой зеркальце и, болтая, то и дело в него заглядывал, чтобы полюбоваться своей персоной или поправить воротничок и галстук...

Возвращаясь утром из Руджиноасы, после разговора со старым барином, по дороге от усадьбы до жандармского участка, староста повздорил, правда, по-дружески, с Бояджиу. Каждый пытался свалить на другого полицейские обязанности по поддержанию порядка в селе. Расставаясь, Правилэ заявил, что он умывает руки, потому что все равно ничего сделать не в силах. В ответ унтер выругался, проклиная все и вся, кисло заметил, что жандармов ценят только в беде, и в заключение пригрозил:

— Вы меня не бесите, не то всех перестреляю, как ворон, мать вашу, мужичье немытое!

Бояниджиу для виду куражился, но в действительности душа у него ушла в пятки. Он хотел, пока суд да дело, хоть немного передохнуть, потому что прошлой ночью его разбудили, едва он успел задремать, и теперь он буквально валился с ног. Но отдохнуть ему не удалось. Битый час он ругался с Дидиной и поколотил бы ее, не вмешайся капрал. Потом он узнал, что ватага мужиков ушла в Леспезь, конечно, не с добрыми намерениями. Затем стали поступать вести о том, что мужики натворили. Наконец, заявился Лазэр Одудие, приказчик арендатора Козмы Буруянэ, и испуганно доложил, что вокруг усадьбы околачиваются какие-то люди и он боится, как бы они не подожгли дом...

Еще до этого, закончив перебранку с женой, Бояниджиу провел что-то вроде военного совета со своими четырьмя жандармами. Было решено, что их слишком мало и потому они должны делать вид, будто не замечают беспорядков, которые уже произошли или произойдут в соседних селах. Да и в самой Амаре они закроют глаза на мелкие нарушения, как, впрочем, уже поступают последние несколько дней, с тех пор как народ взбеленился. Однако они энергично воспрепятствуют грабежам и поджогам. В случае необходимости все жандармы участка выступят в полном вооружении, чтобы произвести более сильное впечатление. Винтовки заряжать заранее они не будут, а для устрашения толпы зарядят их на глазах у мужиков. Если же, упаси бог, дойдет до того, что Бояниджиу вынужден будет приказать открыть огонь, первый залп жандармы дадут поверх голов, и только если это не поможет, выстрелят в толпу. До тех пор никто не должен покидать участка, все должны быть в боевой готовности и иметь под рукой все необходимое, включая оружие.

— Эх, Одудие, Одудие,— ответил Бояниджиу приказчику,— вы до того храбрый народ, что, как увидите, что двое мужиков промеж собя толкуют, вам уже мерещится революция.

— Я, господин унтер, с людьми сейчас никак не справлюсь! — смиренно признался Лазэр Одудие.— Вы-то уж делайте, что хотите, но только я обязан был вам доложить, чтобы потом, когда господа вернутся, меня не винили, почему я не сберег их добро...

Позднее унтер послал жандарма Богзу, парня расторопного и дошлого, разведать обстановку. Богза принес вести еще похуже. Саму усадьбу пока не тронули, но грабеж идет вовсю. Мужики в открытую растаскивают мешками и корзинами кукурузу, фасоль, пшеницу, все, что попадает под руку. В дележе участвуют без шума и многие крестьяне из Вайдеей. Все амбары были взломаны еще ночью. Один из батраков рассказал ему, что злее всех сами

стражники, они, дескать, и подбили мужиков на грабеж. Будто бы в Одудие сговорился с мужиками,— пусть творят, что им заблагорассудится, в амбарах, хлевах и конюшнях, лишь бы оставили в покое усадьбу. А теперь он почуял, что мужики подбираются и к барскому дому, хотят пустить красного петуха или просто разграбить, и потому пришел докладывать. Правда, народу там немного, каждый забирает, что хочет, и уходит. Но вот на площадке перед корчмой толпится человек пятьдесят, если не больше, и они там то ли так лясы точат, то ли заговор какой замышляют.

Бояиджиу нахмурился. Выходит, мужичье не унимается. Несмотря на это, он предусмотрительно решил пока не вмешиваться. Раз люди не безобразничают у него под носом, зачем их ожесточать?

Не прошло и получаса, как жандарм, стоявший во дворе, вбежал в комнату унтера и, еле переводя дух, доложил:

— Пожар, господин унтер!.. Усадьба горит!

Бояиджиу испуганно выскочил во двор. Да, со стороны усадьбы Козмы Буруяна валили густые клубы дыма. Теперь уже нельзя было бездействовать. Бояиджиу отдадут под суд, если узнают — а узнают непременно,— что жандармы палец о палец не ударили, даже когда мужики подожгли барский дом. Он отдал несколько приказаний и сам поспешно стал собираться, в то время как Дидина причитала, в отчаянии ломая руки:

— Поберегись, Сильвестру, поберегись, как бы тебя там не убили!

Бояиджиу был спокоен. Он взял себя в руки, так как прикинул, что и теперь не произойдет ничего страшного. Надо только пройтись с патрулем, чтобы напомнить о своем существовании. Он не будет ожесточать крестьян, наоборот, постарается их успокоить, просто не обратит внимания на то, что здесь явный поджог, а поступит так, будто имеет дело с самым обыкновенным пожаром... Зато позднее, когда мужики утихомирятся, он уж поговорит с ними по-другому, рассчитается со смутьянами.

У корчмы на перекрестке, откуда дорога вела к барской усадьбе, вся улица была запружена толпой. Унтер, во главе четырех жандармов, приближался к ней медленным шагом, приветливо, чуть ли не с улыбкой глядя на всех, стремясь сразу же показать, что у него нет враждебных намерений. Крестьяне молча смотрели на них с тем кажущимся равнодушием, с каким обычно смотрят на незнакомых прохожих. Только когда жандармы подошли вплотную, они расступились, но лишь настолько, чтобы дать им возможность с трудом протиснуться сквозь толпу. Бояиджиу шутливо спросил:

— Что ж это вы, ребята, не даете нам пройти?

— А зачем проходить-то? Сгорит и без вас! — насмешливо крикнул кто-то.

Унтер-офицер притворился, что не понял насмешки, и, задержавшись в толпе, пояснил:

— Что усадьба горит, я вижу, но только мы должны выполнить свой долг! Может, ты, Серафим, иначе скажешь? — добавил он, обращаясь к Серафиму Могошу, стоявшему прямо перед ним с мрачным, неприступным видом.

Могош пожал плечами, но ничего не ответил. Вместо него отозвался Трифон Гужу:

— Мы-то хорошо знаем, каков ваш долг!.. Небось легко избивать да калечить людей, когда власть в руках!

— Что ж поделаешь, Трифон, коли служба такая! — все тем же примирительным тоном продолжал Бояиджиу, понимая, что крестьяне хотят вызвать его на ссору.

— А ты-то сам пробовал когда-нибудь настоящую трепку? — вдруг проскрежетал Серафим Могош.— Так вот я тебе сейчас покажу, что это такое, гнида проклятая!..

Еще не закончив, он молниеносно влепил унтеру две увесистые оплеухи. Бояиджиу не успел опомниться, как удары посыпались со всех сторон. Будто во сне он почувствовал, что Трифон Гужу сорвал у него с плеча винтовку. Оберегая от ударов голову, унтер низко опустил ее на грудь, инстинктивно пробиваясь сквозь толпу. Крестьяне колотили его с криками: «Так его!», «Бей сильнее!», «Беги!», «Проваливай!». За собой он слышал испуганные голоса жандармов: «Не бейте! Не бейте!» Низко пригнув голову, Бояиджиу продолжал упорно пробиваться вперед и вскоре, хотя его все еще били, почувствовал, что толпа поредела, потому что ударов стало меньше. Позади драка продолжалась с тем же ожесточением, точно крестьяне не заметили, что он вырвался из свалки.

— Беги!.. Проваливай!..— ревели ему вслед издевательские голоса.

Ноги Бояиджиу сами машинально подчинялись этим крикам и стремительно несли его вперед. За ним топотали еще чьи-то шаги. Хотелось посмотреть, кто это, но оглянуться было страшно. Крики продолжались. Немного спустя он увидел справа от себя широко распахнутые ворота. Узнал дом Марина Стана, метнулся в ворота и промчался через двор в сад. Собака тщетно пыталась остановить его яростным лаем. Бояиджиу замедлил бег и оглянулся, только очутившись позади дома среди деревьев. За ним мчались все четверо жандармов в том порядке, в каком они вырвались из толпы. Все были, как и их начальник, без винтовок, а двое с непокрытой головой — потеряли фуражки на поле боя. Победив-

ние крестьяне, подбежав к дому, остановились и с дороги свистели, улюлюкали и ругались, угрожая кулаками и размахивая отобранными винтовками. Несколько успокоенный тем, что все подчиненные налицо, Бояпджиу снова повернулся спиной к орущим крестьянам и продолжал отступление по огородам в более спокойном темпе, рассчитывая соединиться со своим воинством где-нибудь в безопасном месте. Придя в себя, он подумал:

«Хорошо еще, что винтовки не были заряжены, а то эти бандиты перестреляли бы нас».

Пока жандармы улепетывали, потирая шишки и ушибленные бока, крестьяне обсуждали стычку со смехом и шутками, с руганью и проклятиями. Трифон Гужу потрясал винтовкой, гикал и кричал, распираемый весельем, никак не вязавшимся с его обычным угрюмым видом:

— Ну, теперь, братцы, началось!.. Теперь держись!..

Весть об изгнании жандармов мигом разнеслась по селу, вызвав общее ликование, словно у всех камень с сердца свалился. Младший сынок Смаранды, случайно оказавшийся возле корчмы и своими глазами видевший драку, примчался сломя голову домой и заорал еще во дворе:

— Петре!.. Мамка!.. Мужики прогнали... жандармов... поколотили их... и...

Петре вернулся из Леспези давно, но из дому больше не выходил. Сидел мрачный и молчаливый, словно хлебнул желчи. С матерью едва перемолвился словом и даже есть не захотел. Сейчас он только укоризненно буркнул:

— Хорошо, что убрались к черту, все одно никуда не годились!

7

К шести часам вечера по улицам Бухареста зазвенели крики цыганят — продавцов газет:

— Специальный выпуск!.. Новое правительство!.. Обращение к стране!..

Григоре Юга с тех пор, как вернулся из поместья в город, каждый вечер ужинал у Пределяну. Он чувствовал, что не в силах оставаться дома с тетей Марнукой и выслушивать ее никчемные сплетни или ужинать в ресторане либо в клубе с друзьями, которые еще вчера чуть ли не готовы были отдать жизнь ради крестьян и ратовали за раздел поместий, втайне надеясь, что этому все равно не бывать и они могут без опаски рядиться в тогу передовых деятелей; сегодня же они горячо требовали, чтобы восставшие села были стерты с лица земли артиллерийским огнем, а крестьяне

поголовно избиты до крови, так чтобы никому в будущем неповадно было поднимать голову. С Виктором Григоре находил, как всегда, общий язык; кроме того, он окунался у них дома в ту обстановку, которая была ему необходима, особенно сейчас, когда отцу в усадьбе угрожала опасность, а он сидел в Бухаресте и не мог прийти ему на помощь.

По дороге Григоре накупил специальные выпуски газет, чтобы изучить их вместе с Виктором. Его интересовал не состав правительства, а содержание манифеста, который, по слухам, должен был возвестить важные реформы, призванные немедленно пресечь крестьянские беспорядки и позволявшие обойтись без военных репрессий.

До ужина они успели взвесить и обсудить все меры, предусмотренные манифестом, но к согласию так и не пришли. Пределяну считал, что первый шаг нового правительства на редкость удачен и что манифест представляет собой настоящую оливковую ветвь в руках тех, кого пошлют умиротворять крестьян. Большего теперь нельзя было обещать, в особенности пока беспорядки в разгаре. Григоре же, наоборот, утверждал, что население восставших сел воспримет обещанные реформы как издевательство. Крестьянам нужна земля, они пошли на поджоги и жестокие бесчинства, чтобы стать хозяевами земли, а новое правительство, вместо того чтобы объявить о разделе земли, отменяет какие-то подати и сулит сдать крестьянам в аренду государственные поместья, улучшить условия найма на работы у помещиков и провести другие подобные же мероприятия, которые были бы очень полезны до начала восстания, но теперь...

— Я был в Амаре на днях и видел, чем живут и дышат крестьяне! — продолжал Григоре.— Месяц назад они из кожи вон лезли, стараясь во что бы то ни стало купить поместье Бабароагу. А нынче им это даже в голову не приходит. Теперь они просто требуют, чтобы им раздали все поместья. И этих людей вы хотите сейчас успокоить обещанием отменить поборы?.. Нелепо!

— Раз так, то необходимо будет применить силу, в первую очередь усмирить бунтовщиков, а потом, когда мужики опомнятся, они сами поймут, какое благо для них эти меры! — безмятежно возразил Пределяну.

— Так и надо сказать! — согласился Григоре.— Нечего лицемерить. Крестьяне взбунтовались — пусть выступит армия и накажет их. Вот и все! Вопрос о реформах можно обсуждать со здоровыми людьми, а не с больными или экзальтированными. Манифест же — это новое проявление лицемерия, и потому он раздражает меня! Для подавления восстания необходимо пролить кровь. Но

вместо того, чтобы сразу же открыть по восставшим огонь, правительство сперва стреляет в воздух, выпускает манифест, чтобы впоследствии умыть руки и утверждать, что оно, видите ли, не желало кровопролития... Дешевое византийское лицемерие, которое лишь ожесточит несчастных крестьян и приведет к еще более страшной бойне!

Вмешалась Текла и запретила мужчинам говорить за столом о мятежах и политике. Разговор снова зашел о Мироне Юге. Госпожа Пределяну заметила:

— Я б с ума сошла при одной только мысли, что в такие дни Виктор мог бы очутиться один в деревне.

Григоре Юга бросил взгляд на Ольгу, как раз когда Пределяну спросил:

— К слову, Григорицэ... Ты уж прости, если я вмешиваюсь не в свое дело, но я слыхал, что твоя жена...

— Бывшая жена! — покраснев, быстро поправил его Григоре.

— Да, твоя бывшая жена будто бы сейчас тоже у себя в поместье. Это правда?

— Не знаю,— пробормотал Григоре, нахмурившись.— Для меня она давно умерла.

8

Приказчик Леонте Бумбу, выполняя указания Мирона Юги, держал барина в курсе всего, что происходило в деревне. В тот день с самого утра, с тех пор как стало известно, что произошло в Руджиноасе, старик то и дело вызывал Бумбу к себе и задавал ему один и тот же вопрос:

— Ну, что еще натворили наши люди?

Приказчик скрыл от него известие об убийстве Надины, опасаясь, как бы тот не поехал в Леспезь, чтобы лично во всем убедиться. Когда Юга осведомился о судьбе молодой барыни, он ответил, что ничего не знает, но скорее всего ее нет в деревне.

— Разумеется! — довольно воскликнул Юга.— Да ей и нечего тут делать. Хорошо, что у нее автомобиль и она сумела вовремя уехать, а то одному богу известно, в какую беду она могла бы попасть из-за наших мужиков...

После ужина старик вышел во двор, как всегда в погожие вечера, чтобы немного поразмяться перед сном. На темно-синем безоблачном небе, точно капли росы, мерцали звезды. Весенняя свежесть заставила его ускорить шаг. Он обошел новый дом по усыпанной гравием, недавно расчищенной аллее и направился к главным воротам, выходящим на улицу. Между деревьями уса-

дебного парка, прямо перед собой, как будто совсем рядом, он увидел пламя пожара, пожиравшего усадьбу Козмы Буруянэ. Здание горело спокойно, ровным пламенем, заливавшим небо багровым светом. Было десять часов. Бушевание пожара чуть улеглось, затих и людской гомон, доносившийся даже сюда в тиши сумерек. Село спало, будто все случившееся за день ему только привиделось во сне. Только пламя пожара свидетельствовало о том, что это не сон... Влево, где-то дальше, на небе пылало другое багровое пятно. Это горела усадьба в Леспези или, быть может, та, что в Глигану. Даже справа, в стороне Руджиноасы, еще проглядывали багровые отблески. То, что горело там, горело ровно, неторопливо, как и положено догорать остаткам.

«Никогда бы не подумал, что мои люди окажутся такими подлыми, что именно они совершат преступления у соседей и станут подбивать их на новые злодеяния! — подумал Мирон Юга, на миг останавливаясь у ворот.— Все, что я для них сделал, ни к чему не привело. Ничего не поделаешь, мужик так и остается дикарем до скончания века».

Он повернул обратно, обошел дом с другой стороны, прошел мимо старой усадьбы в обширный огород на задворках, где не было деревьев и открывался большой кругозор. Печаль все сильнее сжимала сердце. До этого дня, вопреки всем событиям и слухам, он в глубине души был твердо уверен, что уж его-то люди будут вести себя смирно, даже если восстанут окружающие села. Ему казалось, что вся его жизнь и жизнь его предков объединила его с крестьянами, и он не мог себе представить, чтобы крестьяне не испытывали того же чувства братского слияния с ним.

«Все-таки надо было мне поехать в Руджиноасу побранить их! — снова промелькнула в голове мысль, не дававшая покоя весь день, хотя он настойчиво ее прогонял.— Как бы мужики не подумали, что я их испугался...»

Мирон Юга дошел до конца огорода, за которым начиналась пашня. Усадьба осталась позади. Фонари во дворе мерцали издалека желтым светом, как робкие неугасимые лампадки. Он остановился и повернулся, чтобы еще раз посмотреть, как горит дом Буруянэ. У старика вдруг сжалось сердце. Отсюда казалось, что пламя пожирает и его собственную усадьбу. Красное зарево на небе стало еще кровавее, и очертания усадьбы Юги вырисовывались на нем, точно сгоревшие, но еще продолжающие дымиться развалины. Мелькнувшая было мысль исчезла, ее вытеснили другие, чтобы тоже тотчас же исчезнуть.

«Это невозможно!»

Слева отчетливее стал виден пожар в Леспези, будто он приблизился и разгорелся. А между этими двумя пожарами Мирон

Юга различил на горизонте новую багровую рану, быстро растущую и разрывающую небо.

— Там поместье Кантакузу!.. Значит, они взялись и за капитана Грэдинару! — пробормотал он, внимательно вглядываясь в разрастающиеся языки пламени.

Повернувшись влево, в сторону Бабароаги и Влэдуцы, старик заметил про себя:

— А полковника, видимо, беда пока миновала...

Но еще левее, по направлению к Куртянке, горела усадьба, принадлежащая Попеску-Чокоюль, ниже, в долине Телеормана,— усадьбы генерала Дадарлата в Хумеле и Ионицэ Ротомпану в Гос.

— Бедный Ионицэ! — вздохнул Юга.— Его тоже разорили...

Отсюда видно было, что Гоя пылает рядом с Руджиноасой, но куда яростней,— признак того, что пожар занялся там недавно.

Другие сполохи пламени сверкали ниже Руджиноасы, быть может, в Ороделу или Извору. Еще другие — над лесом Амары, вероятно, в Думбрэвени...

«Всюду, повсюду огонь и гибель!..— подумал Мирон Юга, обведя взглядом горизонт и снова повернувшись лицом к своей усадьбе.— Я остался здесь, как на острове».

Ночь заливала темью округу. Нигде ни звука, ни дуновения. В окружавшем его гробовом молчании старый Юга слышал только собственное хриплое дыхание. Вокруг, со всех сторон, немые пожары, будто язвы огромного тела, распятого на земле, а над ним — красное марево, заливающее небо.

Замерев в темноте, Мирон Юга содрогнулся, словно его внезапно окатила волна холода. Он пошел обратно, не сводя глаз со своей усадьбы, в небе над которой корчились языки пламени, и еще раз упрямо пробормотал:

— Это невозможно!

ГЛАВА X

КРОВЬ

1

В пятницу в Амаре мужики встали чуть свет — каждый опасался, как бы его не опередили другие. Те, кто попроворнее, накануне до поздней ночи таскали из усадьбы арендатора все, что удалось спасти от огня. Павел Тунсу присмотрел себе бычка и погнал было его домой, но стражник Якоб Митруцою заявил, что он нацелился на этого бычка больше недели назад и что это мо-

жет подтвердить хотя бы Замфир Келару. Они подрались до крови, чуть до убийства не дошли... Когда занялся пожар, все страшно обрадовались, но вскоре пожалели, что подожгли усадьбу до того, как забрали все пригодное для хозяйства, тем более что жандармов бояться уже было нечего. Ни за что ни про что в пламени погибла куча добра. И как раз бедняки поживились меньше всех, потому что сперва они робели, а потом, когда уж осмелели, нечего было забирать.

Игнат Черчел начал ругаться, чуть только глаза открыл,— жена все еще была недовольна, пилила его за то, что он не взял ни одного поросенка побаловать детишек. Тщетно напоминал ей муж, что притащил домой целых три мешка кукурузы, чтобы хватило до середины лета, чуть не надорвался, всю ночь поясницу ломило,— жена все твердила о поросенке.

— Да подумай ты сама, чертова баба, как же я мог приволочь целого кабана? На спине, что ли? — орал Игнат.— Ведь свинья-то не идет, как человек или вол какой, когда его погоняешь.

— А другие как сумели, муженек?.. Да еще такие, кто на рождество заколол по две свиньи! Иль ты забыл, как нашего кабанчика сборщик податей сожрал, сожрали бы его самого черви заживо! Тинка, жена Ионицэ, говорила мне вчера вечером, что даже зять священника загнал к себе в хлев трех поросят арендатора...

Не будь Игнат сейчас так зол, он бы, конечно, признал правоту жены. Дело в том, что, позарившись на кукурузу, он, как всякий голодный бедняк, вчера даже не подумал о том, что можно и нужно прибрать к рукам свинью. Поэтому сейчас он сердито огрызнулся:

— Да провались ты к чертям собачьим! Чего прикидываешься? Будто не знаешь, что поп живет через дорогу от усадьбы, так что Филипу ничего не стоило хоть всех свиней арендаторских к себе через улицу перегнать!

Игнат покрутился еще дома и во дворе, потом прихватил с собой веревку и зашагал прямиком к дому сборщика налогов. Он знал, что Бырзотеску вместе с женой удрали еще вчера на заре, как только увидели, что в Руджиноасе полыхает пожар. Охваченные страхом, они даже не посмели пойти по дороге, а пробирались задами, по огородам и пашням, каждый с узлом на спине. Двое-трое крестьян их повстречали, но не стали с ними связываться, дали им убраться, увидев, до чего те напуганы... В доме осталась лишь придурковатая служанка, которой было велено охранять добро, нажитое Бырзотеску с тех пор, как его перевели сюда: тогда он был гол как сокол, почти нищий, жалко было смотреть...

Игнат Черчел вошел во двор и быстро направился к свинарнику, в котором хрюкали и визжали три свиньи. Служанка еще не кормила их в то утро. Игнат спокойно выгнал всех трех из свинарника, прикинул на глаз, выбрал самую жирную, набросил веревочную петлю на ее заднюю ногу и зашагал к открытой калитке. Не слыша привычного утреннего хрюканья, служанка быстро вышла из дома, держа в руках миску с кукурузой. Не говоря ни слова, Игнат выхватил у нее миску и пошел вперед, разбрасывая зерна. Свиньи затрусили за ним. Опомнившись, служанка отчаянно запричитала:

— Ой, несчастье! Сюда, люди добрые!.. Помогите! Грабят!.. Свиней украли!.. На помощь!..

Будто ничего не слыша, Игнат вышел со двора вместе со свиньями. Посреди улицы он снова бросил им горсть зерен, подождал, пока они ее подобрали, и продолжал путь. На вопли служанки вышло несколько соседей — посмотреть, что происходит.

— Взял себе свинок, дядя Игнат? — спросил кто-то с дружелюбной завистью.

— А как же! Он-то ведь отобрал у меня свинью...— простодушно объяснил Игнат, встряхнул миску и принялся усердно звать! — Чух-чух-чух!

Он благополучно добрался домой, только веревку потерял, она болталась на ноге у свиньи, пока не отвязалась. Войдя во двор, он гордо заявил жене, передавая ей миску:

— Кукуруза у тебя есть, свиней я привел, только посмей теперь пикнуть, я тебя так дубиной отделаю, что своих не узнаешь, чертова баба!

Женщина вытаращила глаза, но тут же, придя в себя, суетливо забормотала:

— Ой, святая дева богородица!.. Чух-чух, к мамке, чух, родимые!

Мелиште Херувиму проснулся, едва занялся день, осторожно встал, стараясь не разбудить жену, которая металась всю ночь напролет, не находя себе места от боли, развел огонь, ощипал курицу, поставил ее вариться, потом разостлал скатерть. С тех самых пор, как арендатор Козма Буруянэ уехал, он околачивался около усадьбы, чтобы чего-нибудь не упустить. Он уже приволок домой несколько мешков кукурузы, но главной его заботой было другое — раздобыть хорошей еды, чтобы хоть раз в жизни накормить по-барски жену и детишек, которые давно голодали. Мелиште был уверен, что несчастная женщина занедужила и хворает так долго, оттого что изголодалась, и, если ее хорошенько подкормить хоть несколько дней, она сразу встанет на ноги и пойдет на по-

правку быстрее, чем от любых лекарств. Увидев, что мужики шарят только по амбарам, он попытался оттолкнуть Лазэра Одудие, чтобы войти в дом. Приказчик оказался сильнее и чуть не одолел Мелинте, но тут вмешались другие мужики, которые избили Лазэра до бесчувствия и рассыпались по комнатам, круша все вокруг и забирая что кому приглянулось. Мелинте принюхивался, пока не добрался до кладовой, битком набитой всякой снедью. Он уложил в две найденные там же корзины банки варенья, бутылки вина и ликера, сыр, белый хлеб, колбасу, копченое мясо, окорок, маслины — все, что подвернулось под руку. Домой он добрался с корзинами уже вечером, так что даже не показал их домашним, а припрятал в сенях, решив приготовить утром сказочный завтрак.

Опорожняя сейчас корзины и расставляя на белой скатерти яства, Мелинте сиял от радости, а его дубленое лицо раскраснелось. Когда он закончил и отступил на шаг, чтобы полюбоваться свершившимся чудом, первые солнечные лучи весело хлынули в грязные окна. Мелинте повернул голову к постели жены. Ее большие черные глаза смотрели на него чуть испуганно. Захваченный врасплох, муж сказал улыбаясь, словно прося прощения:

— Я думал, ты спишь... Гляди, сколько тут добра! Это все я для тебя принес, потому ребята едят что попало, главное, чтоб пища была, но ты должна есть что получше и выздороветь, а то сколько уж времени все хвораешь да мучаешься. Я и курицу на огонь поставил, сварю тебе горячую похлебку и...

Голос его вдруг пресекся. Глаза жены смотрели на него неподвижно, по-прежнему чуть испуганно, хотя приоткрытый рот словно силился что-то произнести.

— Ох, не померла ли ты? — растерянно проговорил Мелинте.

Он подошел к ней и поцеловал иссохшую руку, свисающую с краю постели.

— Померла,— удрученно пробормотал он, пристально вглядываясь в глаза жены, словно прикованные к столу.— Как раз сейчас скончалась, когда...

В постели, у ног покойницы, завозился самый маленький из ребятишек и, всхлипывая, поднялся, протирая глаза. Увидев отца, он почти тотчас же успокоился и протянул к нему ручонки. Мелинте взял его на руки и, машинально прижимая к груди, снова посмотрел на жену, все еще не веря своим глазам. Потом разбудил двух старших.

— Вставайте, довольно спать! Не время сейчас!

Дети недовольно завозились, захныкали. Увидев стол, уставленный яствами, они сразу же встрепенулись и вспомнили, что хотят есть. Мелинте усадил их на лавку.

— Ешьте, ребята, досыта, что хотите!.. Только не деритесь и не шумите, потому как мамка померла и сейчас стыдно... Ты, Павлук, постарше, вот и пригляди, как бы не выкипел горшок с похлебкой, а я пойду кликну соседку, чтоб обмыла покойницу!

Полковник Штефэнеску соскочил с постели, надел халат и комнатные туфли и с непокрытой головой быстро вышел во двор. Лучи недавно поднявшегося солнца ударили ему прямо в лицо, так что в первую минуту, еще не совсем очнувшись от сна, он не разглядел толком толпу крестьян, с шумом и гамом ворвавшуюся во двор. Не обращаясь ни к кому непосредственно, он крикнул наугад:

— Что это вы, ребята, мне спать не даете, вытаскиваете из дому в одних подштанниках?..

Крестьяне, стоявшие поближе, расслышали его слова и рассмеялись, но остальные загалдели еще пуще. Старый полковник лишь сейчас разглядел, что многие пришли, как на драку,— с вилами, топорами, мотыгами. Но еще на военной службе он привык смотреть опасности прямо в глаза. Возможное нападение мужиков страшило его раньше только из-за дочерей, в которых он души не чаял. Штефэнеску боялся, как бы злодеи не надругались над ними и не сделали несчастными на всю жизнь. Но сейчас он чувствовал себя неуязвимым. Не испугавшись криков крестьян, он заорал еще громче, чтобы его услышали все:

— Хватит! Тише! Прекратите горланить, выслушайте меня, да и я вас тогда услышу!.. Ну, чего вам надо? Вижу, что вы с оружием, что вас больше сотни, а я один, как перст!.. Ну, чего вам? Чего вам от меня надо?

Притихшие было крестьяне снова ожесточенно закричали:

— Убирайся отсюда!.. Не хотим больше подрядов на работу!.. Отдавай поместье, господин полковник, наше оно!.. Поглядите-ка только, братцы, как он нами помыкает, старый хрыч!.. Кости переломаем!.. Достаточно ты нас обманывал и семь шкур с нас заживо сдирал!.. Отдавай землю!.. Всю землю!.. Здесь наша земля и наш труд!

Штефэнеску смотрел и слушал с приветливым выражением лица, будто его поздравляли. Затем, когда гомон чуть поутих, спросил:

— Как вы хотите, чтобы я вас понял, если кричите все вместе?

Еще с четверть часа стоял шум и гам, пока толпа не выбрала двух человек для переговоров. Полковник удовлетворенно кивнул головой:

— Правильно, ребята! Теперь я знаю, с кем имею дело... Ну, говори ты, Ион!.. Или ты, если хочешь, вот только не знаю, как тебя звать, совсем забыл.

— Так я же Гэлигану Штефан, господин полковник! — выпалил крестьянин, выпячивая грудь.

— Правильно... Забыл я твое имя, дай тебе бог здоровья, Фэникэ! — дружелюбно воскликнул Штефэнеску.— Ну, говори ты, Фэникэ!

— А чего говорить, господин полковник? Вы разве сами не видите, что пришла революция?— с гордостью возвестил Гэлигану.

— Я вижу, что пришла, но не пойму, что ваша революция против меня имеет, ведь я...

— Все вы знаете! — сурово вмешался второй крестьянин.— Хитрите только, будто не знаете!.. А только все одно, знаете аль не знаете, нам нужно поместье. Вы-то уж долго им владели, хватит, теперь пришел наш черед! Коли отдадите по-хорошему — ладно, коли нет — все одно заберем!

— Да забирайте вы его, люди добрые! — согласился полковник, замахав руками, словно открещиваясь от нечистого.— Разве поместье принадлежит мне?.. Да берите его, ребята, и владейте на здоровье! Я согласен, пожалуйста!

— Это вы сейчас так говорите, потому что испугались нас, а завтра другое скажете! — продолжал крестьянин.— Нет, нас вы больше не обманете, господин полковник! Слава богу, хорошо вас раскусили!.. Так что сделайте милость, соберите свои вещички и убирайтесь отсюда. Мы на нашей земле ни вас, ни какого другого барина больше терпеть не будем. Вот так-то!

— Куда же мне идти, Ион? — простодушно спросил Штефэнеску.

— Откуда пришли, господин полковник! — ответил Ион.— Мы вас сюда не приглашали да и не звали!

— Как же мне уйти?.. Пустить на ветер все, что скопил за целую жизнь? Разве так можно, Ион? — не уступал арендатор.

— Можно! Потому как все, что вы скопили, нашим трудом и потом добыто.

— Но я ведь не был нищим, когда приехал сюда.

— Ну, нам с вами лясы точить некогда, скажите еще спасибо, что не обругали и не избили, как других господ, сами небось слышали! — все так же твердо отрезал крестьянин.— Уезжайте подобру-поздорову, и дай бог нам свидеться, когда я свои уши увижу!

Но полковник никак не сдавался. Приводил все новые и новые доводы. Даже предложил крестьянам принять его компаньоном в революцию, надеясь хоть таким путем спасти свой капитал,

вложенный в хозяйственный инвентарь поместья и составлявший почти все приданое дочерей. Крестьяне слушали, иногда даже смеялись его шуткам, но находили на все веские возражения, а если не находили, то ожесточались и повторяли, что это их труд и что революция не позволяет господам вмешиваться в дела крестьян.

— Мы уж без вас во всем разберемся, не ваша это забота,— заявил Гэлиганy.— Мужики сами по себе, господа сами по себе! А вы уходите в город, там живут господа, и ваше место там!

Сперва крестьяне потребовали, чтобы полковник ушел пешком, с одной котомкой, какую сможет взвалить на спину, но в конце концов ему позволили уехать на бричке и взять с собой все, что удастся туда погрузить. Долго простояв на утренней прохладе с непокрытой головой, полковник расчихался.

— Ко всем несчастьям недоставало мне еще подхватить насморк!

— А что говорить тем, кого избили или того хуже? — крикнул кто-то.

— Да вы и меня достаточно потрепали, люди добрые, оставили на старости лет нищим с тремя дочерьми на выданье,— горестно вздохнул полковник.

Петре с утра принялся чинить ворота, от которых остались целыми одни столбы. Большой срочности в этой работе не было. Они стояли так уже полтора года, с тех пор как погиб его отец, и могли простоять еще столько же. Но парню хотелось чем-нибудь заняться, чтобы не идти никуда с крестьянами и ни во что не вмешиваться.

С той минуты, как он вернулся из Леспези, Петре чувствовал себя разбитым и мучительно раздумывал обо всем, что произошло. Мать узнала о случившемся от соседей и была в ужасе. Сын не захотел ей ничего рассказывать. Только когда Смаранда его обвинила, что из-за него вся каша заварилась,— так, мол, люди говорят,— он гневно возразил, что тот, кто говорит это, врет: бог свидетель, что он не взял на душу никакого греха.

Впрочем, то же самое он все время повторял себе и все-таки никак не мог унять угрызения совести. Жалел, что не занимался с самого начала только своими делами, а встревал то в хлопоты по покупке поместья, то в споры по разделу земли, одним словом — всюду. Ведь к нему-то господа относились не так уж плохо. А уж о Григоре Юге и говорить нечего, родной отец не сделал бы для Петре больше. А он в благодарность возненавидел ни с того ни с сего молодую барышню. Верно, за то, что она над ним посмеялась и

не захотела продать крестьянам Бабароагу. Почему-то именно он оскорбился больше всех, а остальные сумели сдержаться. Ему еще зимой, когда они были у нее в Бухаресте, втемяшилось в голову, что он тоже должен над ней надсмеяться.

С тех пор он только об этом и мечтал и радовался, когда народ злобился да распалялся, рассчитывая, что скоро появится возможность отвести душу. Петре не обдумывал заранее, в чем будет состоять его месть, как это сделали Николае Драгош и Кирилэ Пэун. Он говорил себе, что уж на месте разберется, как поступить. А там, в Леспези, голова у него словно заполыхала пламенем. Он ворвался в дом, чтобы придушить ее, убить насмерть... И, лишь увидев ее, понял, что скорее убьет самого себя, чем ее. И все-таки Тоадер Стрымбу убил барыню... У него, правда, мелькнула тогда мысль не пускать Тоадера в комнаты, и он бы его не пустил, но побоялся, как бы люди не сказали, что он почему-то держит сторону барыни. А потом, когда мужики громили и грабили усадьбу, его так и подмывало убить Тоадера, наказать за злодейство, и только стыд удержал его. Вот он и вернулся один-одинешенек из Леспези, оставив остальных у горящей усадьбы. Матей Дулману тоже расстроился из-за убийства барыни. Петре не мог объяснить даже самому себе, почему его так глубоко поразила смерть Надины. Он снова и снова убеждал себя, что не виноват, и раз убил ее кто-то другой, то его дело сторона. С тех пор он не выходил со двора да и не хотел выходить, что бы ни случилось, даже если он один во всем селе останется без земли... А нынче ночью ему приснилась барыня. Будто он ее обнимает, а она не кричит, а ласкает его и говорит: «Почему ты позволил им убить меня?» Петре проснулся, все еще слыша ее укоризненный голос...

Теперь он истово строгал и стучал, как бы заставляя себя забыть или, по крайней мере, меньше думать о случившемся. Но как он ни старался, в его мозг вонзались все новые вопросы, и каждый из них причинял боль, жег, мучил.

2

После восхода солнца прошло лишь два часа, а в Амаре все кипело, словно село снималось с места, как цыганский табор после ночевки.

На площадке перед корчмой сталкивалось множество новостей и слухов. Все они были разные, и люди в страшном напряжении ожидали, что вот-вот произойдет еще что-то новое, поважнее того, что произошло до сих пор и что казалось уже чем-то обыденным.

Изредка кое-кто, оглядываясь на других, упоминал имя старого барина. Остальные тут же переводили разговор, как будто одно это упоминание пугало их или, по крайней мере, они не хотели понимать, о чем идет речь. Даже Трифон Гужу, охрипший от крика и похвальбы после избиения жандармов, которое он расценивал как свою личную победу, только невнятно ворчал что-то и пожимал плечами.

К полудню к корчме пришел и Антон-юродивый. Он выглядел еще более оборванным, чем несколько дней назад, когда уходил из села, был весь в поту и грязи, но лицо его сияло гордостью, как у человека, познавшего полноту счастья. Он тут же принялся рассказывать, что между Роширорью и Александрией, где он бродил все эти дни, барского духа нет уж и в помине, крестьяне стерли все усадьбы с лица земли, так что и следа от них не осталось, повсюду в деревнях собираются люди, стар и млад, вооружаются и стоят на страже, чтобы кровососы не вернулись и не помешали разделу земли, а кое-кто из мужиков даже собирается идти на Бухарест вызволять короля из барской неволи, потому что бояре не дают королю разослать крестьянам грамоты, а в тех грамотах говорится, что мужики, мол, хорошо поступили, разогнав бояр, но теперь пусть не мешкают и по справедливости поделят все поместья между бедняками.

Крестьяне уже давно привыкли к пророчествам юродивого и сейчас стали над ним потешаться. Кто-то из шутников спросил, как это ему повезло и мужики не приняли его за барина, а то б, глядишь, укоротили ему язык и избавили народ от всей этой чепухи, что он городит. Пока крестьяне шутили с Антоном, подъехал на телеге Марин Вылку из Извору, человек рассудительный и достойный доверия. Он собрался в Костешть с умирающим ребенком, хотел показать его доктору. Остановился около корчмы, чтобы покормить лошадей и дать им передохнуть, а то зимой было плохо с кормами и сейчас они еле держались на ногах. Марин рассказал, что прошлой ночью у них стало известно, будто король прогнал со службы бояр, которые правили до сих пор, прогнал за то, что они обижали простой народ и не хотели давать ему землю, и поставил на их место других, а новые будто посулили не пускать больше в деревню ни одного барина и раздать все поместья мужикам, чтобы каждый мог работать на своем наделе. Но те правители, которых король разогнал, сговорились меж собой, не захотели покориться и стакнулись с генералами, чтоб убить короля, а потом пойти с войском и пушками отбирать землю у тех крестьян, что успели захватить поместья, и перестрелять всех, кто восстал против бояр. Тогда король, не желая сдаваться непокорным боярам, ночью тайком разослал по деревням всех верных слуг, которые

были у него под рукой, чтобы они велели мужикам не оставлять у себя ни одного барина, прогнать их и ни за что не отдавать им обратно поместья, а не то он жестоко покарает всех, кто пойдет на сговор с боярами, потому как бояре не подчинились его указу. А те мужики, что к Бухаресту поближе, должны не мешкая подняться и прийти все, как один, ему на помощь против бояр, потому что он держит сторону мужиков, хочет делать все по справедливости, и бояре за это на него взъярились...

Если бы все это рассказал юродивый, мужики бы не поверили. Но как быть, коли речь ведет толковый человек? Впрочем, Марин Вылку только успел тронуть с места свою телегу, как заявился мужик из Гэужани и рассказал о том же королевском указе; он услышал это самолично от всадника с серебряным крестом на груди, на рассвете проскакавшего их деревней. Чуть позднее мужик из Вайдеей принес ту же весть, которая пришла к ним через Мозэчень...

Толпой овладела гнетущая тревога. Видать, их покарают и оставят без земли в наказание за то, что они не выполнили королевской воли. Правда, раньше мужики о ней ничего не знали, но ведь теперь-то знают. Многие закричали, что надо пойти к старому барину, сказать ему, что вот, мол, получен такой указ и они не могут больше терпеть его здесь, если не хотят прогневать короля. Другие добавляли, что пойти к барину нужно всем миром, а то кое-кто сейчас, в трудную минуту, прячется дома, а потом вперед будет лезть, первым добро хватать. Тут же вспомнили о Филипе Илиоасе, поповском зяте, который уклонялся всякий раз, когда мужики звали его с собой, а от арендатора Козмы Буруянэ сумел увести к себе домой три свиньи, каждая с телка величиной.

— Пошли в примэрию! — гаркнул Трифон Гужу.— Спросим у старосты, почему он до сих пор не объявил нам королевского указа!

Все, возбужденно галдя, бросились к примэрии, но застали там только секретаря Кирицэ Думитреску и какого-то захудалого податного агента, который испугался до полусмерти, решив, что мужики пришли его убивать за то, что прошлой зимой он чаще других ходил собирать подати. Кирицэ сцепился с крестьянами и тотчас же получил в суматохе несколько увесистых тумаков от Тоадера Стрымбу, который давно имел на него зуб.

— Ты меня ударил, Тоадер, запомни это! — оскорбленно и многозначительно заявил Кирицэ.— После вчерашнего преступления только этого тебе не хватало! Ничего! Мы с тобой еще посчитаемся, будь уверен!

— Да как же тебя не бить, господин Кирицэ, коли ты свинья

собачья! — ухмыльнулся Тоадер.— И еще поддам, ежели не будешь сидеть смирно!

Уж лучше бы Стрымбу надавал ему еще пощечин, чем так бесцеремонно тыкать в присутствии стольких людей. Глубоко уязвленный Кирицэ ничего не ответил и лишь презрительно отвернулся. Впрочем, крестьяне больше не обращали на него внимания, так как староста Правилэ, услыхав, что толпа хлынула в канцелярию, примчался, еле переводя дыхание, бледный, испуганный, чуть не плача.

— Да что это с вами, люди добрые? Мало вам того, что с господами в драку ввязались, так теперь и с самим государством принялись счеты сводить? С ума вы сошли, мужики, или перепились все?

— А ты, господин староста, почто спрятал королевский указ? — перебил его Трифон Гужу.

Поняв, о чем идет речь, Правилэ заверил, что с позавчерашнего дня, с тех пор как уехал префект, он не получал ниоткуда никаких приказов, почта не приходила, а телефон тоже с той самой поры испорчен, не то где-то обрезаны провода, не то по другой какой причине. Трифон потребовал, да еще таким тоном, словно он старший в селе, разослать стражников и созвать в примэрию народ, чтобы всем миром идти к старому барину.

— Нет, я стражников рассылать не буду и сам с вами не пойду! — заявил Правилэ.— Вы уж достаточно натворили бед, кто чего хотел, и меня не спрашивали, так что я теперь в ваши дела не желаю встревать! Сами выпутывайтесь, а я староста и не могу прислушиваться ко всяким байкам да сказкам.

— Нет уж, стражников ты разошлешь, не то тебе худо будет! — закричал вдруг Трифон, замахиваясь кулаком.

— Это ты поднимаешь на меня руку, Трифон? Ты мне будешь приказывать? — гневно и высокомерно воскликнул староста.— А ну попробуй! Ударь!

Трифон, ругаясь, бросился на старосту, но его удержали. Началась долгая перепалка с криками и руганью, в которой все приняли участие, стараясь убедить старосту идти заодно с народом, а не против него — не к лицу, мол, ему это. Сыпались угрозы, что, если он будет противиться, его не возьмут в долю при дележе земли. Но Правилэ, оскорбленный тем, что такой никудышный человек, как Трифон Гужу, посмел кричать на него, а главное, опасаясь, как бы завтра-послезавтра все не повернулось по-старому, так и не сдался, заявив даже, что лучше ему остаться без земли, чем позволить, чтобы им помыкали. Трифон снова не удержался:

— Ты привык быть старостой от бояр, а нам требуется наш староста. Так и знай, теперь все пойдет по-иному!

— Может, тебя люди старостой поставят? Ну и пусть ставят! — насмешливо фркнул Правилэ.

Обозленный Гужу позвал стражников и приказал им обойти подряд все дома и созвать народ. Поняв, что толпа на стороне Трифона, староста счел благоразумным промолчать. Лишь после того, как стражники разошлись, он, продолжая перебранку, похвалился, что, если бы захотел, мог бы их остановить, потому что в примэрии только он один имеет право распоряжаться.

Поджидая остальных, мужики не расходились со двора примэрии. Они кричали, советовались, строили планы, распалялись гневом, ругались, размахивали кулаками, ободряли друг друга и призывали никого не бояться, так как если уж король открыто перешел на сторону мужиков, то бояре не посмеют их больше притеснять. Одни объясняли, что, если даже придут солдаты, сколько бы их ни было, опасаться нечего, потому как солдаты те же крестьяне и не будут стрелять в народ,— если разозлятся, то перейдут на его сторону, и тогда кровососам совсем уж некуда будет деться... Имя Мирона Юги упоминалось все чаще, уже без малейшей опаски. Кто-то ругал его, а Тоадер Стрымбу закричал во все горло:

— Этот старый вор один во всем виноват, из-за него нас так нищета придавила, а остальные воры за ним увязались, притесняли нас и голодом морили!.. Но ничего, вот сгребу его за шиворот, узнает старый хрен, где раки зимуют!

Другие опасались, что из-за Мирона они останутся ни с чем, потому что он свое именье добром не отдаст, а насильно никто у него отобрать не посмеет.

— Разве теперь его воля над нами? — насупились крестьяне.— Что ж это выходит, все он будет командовать? Революция для того пришла, чтоб мы ему приказывали, а не он нам!

— Ничего, братцы, у него теперь душа в пятки ушла, только цыкнем на него, он и пустится наутек, да так быстро, что и с борзыми не догонишь! — заметил какой-то худой, безбородый мужик, вызвав довольный смех.

Прошло три часа, а люди все толпились в помещении и во дворе примэрии. Стражники обошли село и успели вернуться. Но толпа не двигалась с места в ожидании самых зажиточных и уважаемых крестьян. Трифон, как будто он был в селе главным, то и дело выходил во двор и спрашивал: «Пришел Лука Талабэ? А дед Лупу? Марин Стан? Филип Илиоаса? Их еще нет?»

Наконец они потянулись один за другим, будто не зная, зачем их вызвали. Все по очереди высказывали разные сомнения и говорили, что вмешиваться им вроде незачем.

— А когда поместья будут делить, первыми полезете! — закричал Тоадер Стрымбу.— Мы-то вас хорошо знаем! Это вы ла-

дили купить за большие деньги Бабароагу, а нас, бедняков, и знать не хотели! Тогда земля для вас хороша была. А теперь, когда ее между всеми делят, вам она уже не нравится?

— Да нет, Тодерикэ! Мне она нравится, только б дали! — весело откликнулся Марин Стан.

— Так ты и у арендатора Козмы утянул сколько смог, а теперь будто и знать нас не знаешь,— укоризненно заметил Леонте Орбишор.

— А меня кто звал, Леонте? Скажи сам... Так чего ж ты хочешь? — обиделся Марин.

— Покупать землю тебя тоже звали? А ты бегал за ней, высунув язык! — снова вмешался Тоадер.

Спор разгорелся. Толпа ожесточалась, считая, что крепкие хозяева противятся только с одной целью — помешать беднякам получить землю. Чем дольше зажиточные крестьяне колебались, тем более необходимым казалось их участие мужикам, опасавшимся, как бы в противном случае не обошли при разделе как раз тех, у кого ничего нет, и не разобрали всё богатеи, как они уже пытались поступить, когда торговали поместье барыни.

Голоса повышались, угрозы, ругательства, проклятия звучали все громче. Лука Талабэ пришел в ярость: он никому не слуга, а его обзывают непотребными словами. Оскорбленный Филип Илиоаса хотел было уйти домой, но кто-то напомнил о свиньях, уведенных им со двора арендатора. Началась потасовка: Филип попытался вырваться из толпы, но на него со всех сторон посыпались тумаки, словно прорвалась плотина гнева. Люди утихомирились, лишь когда Лука испуганно закричал:

— Что ж это выходит, люди добрые, позвали нас сюда, чтобы бить?.. Разве так дело делается?

— Так, так, Лука! — ответил, скаля зубы, Трифон Гужу.— Кто не разумеет слов, тот поймет, что к чему, после хорошей трепки.

3

— Я не заглядывал в палату депутатов уже года три, но, чтобы попасть на сегодняшнее заседание, готов даже заплатить, только бы не пропустить его! — сказал Рошу Титу Херделе, поднимаясь на холм Кафедрального собора и изредка останавливаясь, чтобы отдышаться: сказывалась астма.— Я должен сам увидеть все эти преображения, слишком уж они невероятны. Ты знаешь, как вся эта история выглядит? Я, скажем, поругался с тобой и, чтобы отомстить тебе, отсюда, с вершины холма, вот по этому склону, на который мы наконец с божьей помощью взобрались,

сталкиваю огромную скалу — пусть себе катится вниз и сметает все на своем пути, разрушит и твой дом, и дома других. Сделав это, я буду тешиться надеждой, что ты испугаешься и попросишь у меня прощения. Действительно, ты, как только увидишь, что я свихнулся, быстренько прибежишь ко мне: «Не надо, дорогой, давай помиримся!» А я, от большого ума, стану кричать, чтобы остановить летящую вниз скалу: «Стой, погоди, мы помирились! Не надо больше ничего разрушать!»

На этот раз трибуна печати, как, впрочем, и все остальные трибуны, была переполнена. Царила такая обстановка, как на долгожданной премьере в государственном театре. В палате депутатов заседания, назначенные на три часа дня, начинались, как правило, после четырех. Но на этот раз без четверти три все уже были на местах, кроме членов нового правительства. Рошу с трудом удалось отвоевать себе местечко. Титу остался стоять в задних рядах... Зал заседаний был переполнен, так как пришли и сенаторы, жаждавшие присутствовать на представлении. Однако на всех лицах отражался скорее испуг, чем торжественность, так что Стан Рэкару — главный редактор независимой газеты-однодневки, начавшей выходить совсем недавно,— громко заявил, несомненно, для того, чтобы его услышали и на соседних трибунах:

— Если бы новое правительство было демократичным и действительно хорошо относилось к крестьянам, как похвалялись его нынешние министры, находясь в оппозиции, оно приняло бы сейчас декрет об экспроприации поместий или хотя бы объявило о таком решении. Даю честное слово, все эти люди, внизу, так напуганы крестьянским восстанием, что только бы аплодировали!

— Ты все шутишь, дорогой,— заметил репортер газеты «Универсул»,— но дело обстоит именно так, как ты говоришь. Я толковал со многими депутатами и сенаторами, и они заявляют, что согласны на любые реформы, даже самые радикальные, вплоть до экспроприации, так как в противном случае не видят возможности возвратиться в свои поместья и после прекращения беспорядков.

— Люди обещают многое, но как только опасность проходит, забывают о своих обещаниях да и о многом другом,— заметил бывший депутат, старый журналист с импозантной окладистой бородой, вызвав смех окружающих.

Успех доставил ему такое удовольствие, что до конца заседания он то и дело прыскал со смеху, раздражая соседей.

Внезапно зал всколыхнулся, загудел. Вошли члены нового правительства. Заседание открылось. Премьер-министр, сгорбленный старичок с голоском горемычной вдовицы, начал патетическую речь, упоминая в каждой фразе о «нашей любимой малень-

ной стране», о «нашей маленькой любимой стране», о «нашей стране, маленькой и любимой», часто останавливаясь, чтобы утереть слезы, и, наконец, закончил словами о «заблудшем крестьянстве», об «энергичных мерах» и «содействии всех добропорядочных румын». Ему ответил бывший премьер-министр, нынешний глава парламентского большинства, также старик, но более видный, с белой бородой, который тоже долго бормотал о «нашей маленькой стране» и посулил новому правительству безусловную поддержку парламента старого созыва. Тогда новый премьер-министр подошел к бывшему премьеру, пожал ему обе руки, и они горячо облобызались. Депутаты и сенаторы вместе с публикой приветствовали ураганом аплодисментов эту сцену патриотического братания. У многих слезы навернулись на глаза, и даже самые черствые сердца растроганно дрогнули. Один лишь Стан Рэкару не смог промолчать и выпалил на трибуне печати:

— Это чмокание здорово пропечатается на крестьянских спинах!

Макс Стрешин, один из старейших редакторов официоза нового правительства «Гласул попорулуй», негодующе отчеканил в ответ:

— Я тебе запрещаю, сударь, осквернять столь возвышенные минуты пошлыми шутками, пригодными только для вашей еврейской печати!

Стан Рэкару хладнокровно отпарировал:

— Вот что, милейший! На твое патриотическое возмущение мне в высшей степени наплевать, так как всем хорошо известно, насколько оно бескорыстно, но я никак не пойму, почему еврейской печатью возмущаешься именно ты, хотя сам с детства вроде бы еврей?

Стрешин невнятно пробормотал еще несколько негодующих слов и, воспользовавшись новым шквалом аплодисментов, гордо покинул трибуну печати. Тем временем в зале излияния восторга продолжались, и публика с жаром поддерживала их; после лобызания премьер-министров члены нового правительства спустились, чтобы пожать руки бывшим министрам и другим видным политическим мужам. Эти объятия и поцелуи вызывали восторженные клики «ура» и аплодисменты, причем наиболее продолжительными они были тогда, когда взволнованно обнимались вчерашние враги, всегда поливавшие друг друга грязью.

В обстановке трогательного единодушия, под овации, были затем приняты законопроекты, представленные новым правительством в целях восстановления порядка, и в первую очередь закон, разрешающий ввести осадное положение всюду, где это потребуется.

— Вот это другой разговор, братцы! — пробормотал Стан Рэкару, ирония которого всегда пользовалась большим успехом у собратьев по перу.— Нечего забивать нам голову чепухой и потчевать патриотическими конфетками. Ведь хозяева-то мы!

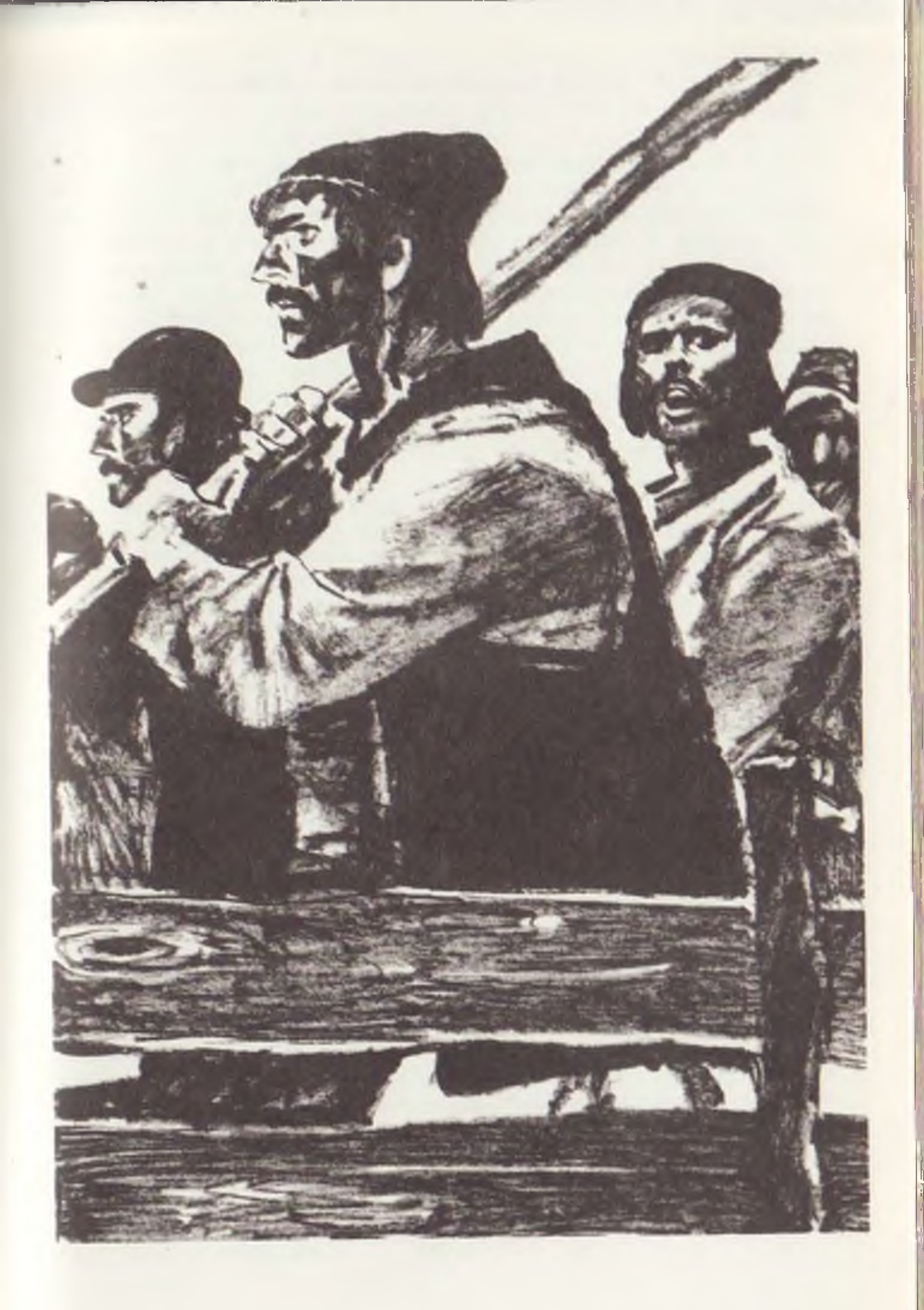
Рошу, не проронивший за все время ни единого слова, сейчас саркастически усмехнулся и повернул голову к Титу. Но тот исчез. Он увидел Еуджению Ионеску и вышел ей навстречу. Хотел сказать ей и Гогу, что Григоре Юга, который завтра утром собирался в уезд Арджеш вместе с новым префектом Балоляну, просил Титу составить ему компанию, чтобы не оказаться в Амаре, где неизвестно что произошло, в полном одиночестве. И хотя сейчас не следовало бы оставлять редакцию, он не может отказать Юге и решил ехать с ним. Если раньше он ездил туда для развлечения, то тем более обязан находиться рядом с Григоре сейчас, когда, возможно, сумеет в чем-нибудь ему помочь.

Гогу поднялся за Еудженией еще до конца заседания и встретил Титу в коридоре, у самых дверей, ведущих на трибуну. Им пришлось подождать несколько минут. Гогу воспользовался этим и рассказал Титу, по секрету от Еуджении, и без того страшно напуганной, что какой-то депутат из Питешти только что сообщил ему весьма устрашающие сведения о беспорядках, бушующих в южной части уезда Арджеш. Определенного еще ничего не известно, так как вот уже два дня непосредственная связь между городом Питешти и этими районами прервана, но ходят упорные слухи, будто там произошли убийства.

— Вы, верно, сами понимаете, что у меня творится на душе, дорогой Херделя! — продолжал Гогу.— Надина находится среди бунтовщиков, среди убийц. Как она там, удалось ли ей бежать или она попала в руки крестьян? Бедный отец в отчаянии, рвет на себе волосы, что отпустил ее. Он так болен и стар, что, конечно, не вынесет, если узнает, что с его любимицей Надиной случилось несчастье. Настоящая трагедия!.. Дай бог, чтобы все уладилось, но я лично и слышать больше не хочу о поместье и крестьянах, даже если мне суждено жить бесконечно долго. Я готов просто подарить Леспезь, только бы отделаться от земли! Врагам своим не пожелаю испытать то, что мы пережили за эти несколько дней!

Еуджения была взволнована торжественным характером заседания. Титу она посоветовала — причем Гогу поддержал ее, но как-то неуверенно,— не ехать в деревню, чтобы не оказаться в таком же положении, как Надина, тем более что войска могут открыть огонь и не исключены кровопролитные столкновения. Херделя возразил скромным тоном героя, собирающегося на войну:

— Что вы, сударыня, даже если со мной что случится, это не потеря!



Л. Ребряну
«Восстание»

4

Только к вечеру толпа вышла наконец из примэрии и повалила к усадьбе Мирона Юги, переругиваясь и шумно галдя, будто направляясь на свадьбу. Чем громче люди бранились, тем больше распалялись и ожесточались. На шум сбежались и дети, с любопытством сновавшие сейчас между взрослыми.

— Эй, Кристаке, бросай к черту свой прилавок! — заорал Трифон Гужу, проходя во главе толпы мимо корчмы, на пороге которой стоял Бусуйок.— Либо ты с нами, либо с ними, но мы должны знать, чтобы зарубку сделать.

— Иду, иду, Трифон, дружище! — испуганно заторопился корчмарь.— Как же мне не пойти, когда все село идет?.. Эй, жена! — крикнул он, повернувшись.— Слышь, побудь-ка здесь, а я пойду с народом!

Женский голос пробормотал что-то невнятное, но Бусуйок, напустив на себя веселый вид, уже смешался с толпой. На самом деле он успокоился лишь после того, как увидел среди крестьян самых уважаемых людей села, и даже старосту Правилэ.

— Вот это правильно, братцы! — заявил корчмарь окружающим.— Коли будем все заодно, никто против нас не выстоит!

Мирон Юга знал, что крестьяне собрались в примэрии и готовятся идти в усадьбу. Его бухгалтер Исбэшеску до последнего дня сидел, уткнувшись носом в свои книги, считая, что, раз он занимается одной цифирью, разногласия между помещиками и крестьянами не имеют к нему никакого касательства. Когда же приказчик Бумбу сказал ему, правда, скорее в шутку, что мужики именно его, Исбэшеску, ненавидят больше всех из-за долговых книг и расчетов по подрядам, он пришел в ужас. Поэтому он с самого утра чутко прислушивался к малейшему шуму, ловил все слухи, выспрашивал слуг и просто прохожих и то и дело бегал с докладом к старому барину. При этом он каждый раз добавлял, что нужно воспользоваться тем, что крестьяне нерешительно топчутся на месте, и, пока еще не поздно, покинуть Амару. Все равно при нынешнем яростном возбуждении толпы всякое сопротивление будет тщетным. Мирон Юга выслушивал его, но пропускал советы бухгалтера мимо ушей. Когда же Исбэшеску стал настаивать, старик, раздраженно оборвав бухгалтера, порекомендовал ему заниматься своими реестрами и не докучать дурацкими советами.

— Мужики идут, господин Юга! — завопил в отчаянии Исбэшеску, вбегая в комнату хозяина.— Там вся деревня, барин!.. Мы пропали! Ох, боже, боже, почему только вы меня не послушали!

— Да помолчи ты и не теряй голову! — хладнокровно перебил его Юга.— Пусть приходят! Это даже лучше, наконец-то мы с ними все выясним!

Исбэшеску решил остаться вместе с Югой. «Что будет с барином, то будет и со мной»,— рассудил он, в глубине души рассчитывая на то, что крестьяне глубоко уважают старика и не причинят ему никакого зла, а если так, то и с ним не случится ничего дурного.

— Что ж вы решили предпринять, барин? — снова спросил бухгалтер, увидев, что старик прогуливается по комнате, заложив руки за спину.— Может быть, лучше выйти им навстречу, а то они ворвутся в дом.

Мирон Юга продолжал ходить по комнате, ничего не отвечая и лишь бормоча про себя что-то невнятное. В действительности он и сам не знал, как теперь держаться с этими людьми, которые за несколько дней сумели уничтожить все преграды, воздвигнутые властями, и превратиться из послушного, мирного населения ближней деревни в несознательное, злобное стадо, которое гнали и толкали во все стороны, точно порывы ветра, самые первобытные побуждения и страсти. Изгнание жандармов, поджоги, грабежи и все злодеяния последних дней, несомненно, были вызваны бесконечными уступками властей, порожденными никчемностью правителей, и далеко зашедшей деморализацией, вызванной лживыми посулами демагогов. Все это содействовало возникновению и распространению духа недовольства, а затем и бунтарства в примитивной душе крестьянина. Анархические настроения следовало пресечь сразу же, в зародыше. Тогда еще можно было обойтись мерами убеждения. Но раз они уже пустили корни и дали всходы, то сейчас только грубая сила способна противостоять их разрушительному действию.

Мирон Юга прекрасно сознавал, что один не сможет бороться с обезумевшей толпой. В то же время он не мог дезертировать, уклониться от выполнения своего долга, бросить отцовскую землю. Само его присутствие, возможно, помешает разгулу анархических страстей. В душе землепашца живет инстинкт уважения к старшим, тем более к помещику, чьи деды и прадеды владели этой землей. Пока он, Мирон Юга, здесь, мужики не посмеют бесчинствовать и грабить. Они подожгли Руджиноасу именно потому, что его там не было... Правда, после поджога соседней усадьбы Козмы Буруянэ, тщательно все обдумывая ночью, Юга спросил себя, не разумнее ли все-таки было бы временно уехать и не возвращаться, пока не вмешаются власти, призванные образумить сорвавшихся с цепи мужиков. Не безумна ли его попытка противостоять шайке озверевших бунтовщиков, если он может рассчитывать

лишь на силу своего авторитета? Ведь если плотина почтительного к нему отношения рухнет, его присутствие покажется вызовом и приведет к еще более ожесточенному взрыву ярости... Но Юга тут же запретил себе подобные сомнения, так как они показались ему проявлением трусости. Трусость всегда выискивает для своего оправдания все новые и новые доводы. В общем, будь что будет, все выяснится в свое время...

Сейчас, шагая по комнате, Мирон Юга слышал во дворе голоса, которые показывали, что наступила решающая минута. Стоя у окна, Исбэшеску взволнованно вглядывался во двор и что-то испуганно бормотал. Мелькнула мысль, что надо бы сейчас же выйти навстречу крестьянам, но Юга не решался на это, как будто каждая минута отсрочки была для него выигрышем.

Топот ног и гам голосов нарастали. Толпа вливалась с улицы во двор и парк усадьбы, будто река, неожиданно изменившая свое русло. Люди толпились на недавно посыпанной гравием и расчищенной аллее, опасаясь наступить на кромку газона, где уже появились первые робкие травинки. То и дело раздавались укоризненные голоса:

— Да осторожнее вы, братцы, не топчите траву, жаль, трудились ведь люди!

Шум немного улегся, словно крестьяне, проникнув в парк, куда им запрещалось ходить, почувствовали себя в чем-то виноватыми. Только дойдя до клумбы перед домом, Трифон Гужу осмелился громко гикнуть, как бы проверяя собственную смелость или пытаясь расколоть сковывавшую всех тишину.

Шумливее оказались те мужики, а их было большинство, которые прошли задним двором. Голуби на их пути взвились в воздух, домашняя птица разбегалась с испуганным кудахтаньем. Из конюшен, хлевов и амбаров появились слуги и работники, которые с детским любопытством разглядывали односельчан, смеялись и перебрасывались с ними шутками, как будто бы все собрались на веселые посиделки с музыкой. Один только старый Иким смотрел удивленно и озадаченно. Приказчик Бумбу, у которого подгибались колени, замер с покорным выражением лица в дверях своего флигеля в глубине двора, а жена его, дрожа от страха, притаилась внутри, выглядывая из-за занавески.

— Пришли, значит, пришли? — глупо спросил он, когда крестьяне, шагавшие во главе толпы, поравнялись с ним.

Услышав, что кое-кто проник через парк, он пошел туда, словно нахальство мужиков его рассердило и он собрался выдворить их из усадьбы. Внутренний двор между новым зданием Григоре и старой усадьбой был уже полон народа. Совсем растерявшись, Бумбу приветливо поздоровался с одним, с другим, а потом за-

стыл, широко расставив ноги, перед дверью, между двумя столбиками террасы, словно решил помешать толпе ринуться на барина. На мокром от пота лице приказчика блуждала улыбка, призванная скрыть его страх и завоевать всеобщее расположение.

Людей все прибывало, сутолока и гул нарастали, кое-кто уже ругал улыбающегося приказчика, а тот, как только осознал это, с невинным видом спросил:

— Что с вами, ребята? Что вы хотите?.. Скажите мне, а я уж...

Смех, насмешливые выкрики и свист заглушили его слова. Бумбу растерялся. Лупу Кирицою, которого случайно вытолкнули чуть ли не в первые ряды, вдруг закричал:

— Поди скорее, не мешкай, скажи барину, пусть выйдет, потому как все село пришло!

— Иду, иду сейчас же! — пролепетал Леонте Бумбу, очнувшись, и метнулся в дом.

Он постучал в дверь комнаты Юги и вошел, не ожидая приглашения.

— Пожалуйте, барин, село пришло!

Мирон Юга повернулся, как будто весть эта застала его врасплох, хотя уже несколько минут со двора грозно доносился нарастающий гул людских голосов. Он пристально посмотрел в глаза приказчика и ответил:

— Хорошо, Леонте!.. Пойдем поглядим, чего хочет село.

Старик взял меховую шапочку, которую всегда носил во дворе, аккуратно надел ее и шагнул к двери. Бумбу на секунду остановил его, снял с вешалки у дверей кожаную куртку, подбитую мехом, и помог надеть, смиренно бормоча:

— Там прохладно, барин, еще простынете...

— На кой черт ты меня вернул с дороги,— проворчал Мирон Юга, надевая все-таки куртку и тщательно застегиваясь на все пуговицы, будто готовился в дальний путь.

Бухгалтер, оцепеневший у окна, даже не шелохнулся, когда вошел приказчик. Увидев, что барин собирается выйти, он тут же решил, что ему, Исбэшеску, лучше оставаться на месте. При всех обстоятельствах так безопаснее. К чему подвергаться излишнему риску, если, в сущности, он такой же, как и все остальные, бесправный труженик, только попавший в особенно трагическое положение,— его ненавидят другие нищие и угнетенные. Леонте Бумбу, следуя за Мироном Югой, беззвучно спросил его:

— Не идешь с нами?

Исбэшеску ответил так же беззвучно:

— Нет.

Крестьяне сразу же замолчали, как только увидели старого барина. Кое-кто машинально стянул с головы шапку. Юга остано-

вился у края террасы на уровне толпы. С одного взгляда он убедился, что крестьяне заполнили весь парк вокруг старой усадьбы, до нового дома Григоре, и весь задний двор. Солнце опустилось за домами, оставив в тени галерею и залив кровавым сиянием сотни лиц с зажмуренными от резкого света глазами.

— Вижу, вы действительно пришли все, стар и млад! — спокойно сказал Юга, всматриваясь в лица мужиков, будто выясняя, кого нет.

— Так оно и есть, барин! — ответили неуверенные голоса, среди которых Юга узнал голос Игната Черчела.

Он даже приметил где-то в толпе его плаксивое лицо, но оно ничуть его не заинтересовало, а просто мелькнуло в сознании.

Прошло несколько секунд, показавшихся всем бесконечно длинными. Вдруг Мирон Юга закричал резко и повелительно:

— Кто вас сюда позвал? Зачем вы портите мне клумбы, грядки и газоны, над которыми я и мои люди столько трудились? Кто вам это разрешил?.. Не могли подождать на заднем дворе? Там для вас уж недостаточно хорошо? Господами стали с тех пор, как взялись за революцию и разбой?

Говоря это, Мирон Юга распалялся все больше и уже не в силах был сдерживаться, хотя сознавал, что перегибает палку и рискует вызвать реакцию, прямо противоположную той, на которую рассчитывал. Действительно, кто-то дерзко его перебил:

— Что ж это выходит? Мы для чего сюда пришли — чтобы ты нас отчитывал или чтоб мы с тебя спросили?

Мирон Юга колебался долю секунды, не зная, ответить ли на дерзость или пропустить ее мимо ушей, и продолжал тем же тоном:

— Я, ребята, бездельников не потерплю, потому что и сам тружусь так же, как вы, вместе с вами. А потолковать мы могли бы, как всегда, там, а не тут — здесь место для отдыха... Но теперь, раз уж вы пришли, ничего не поделаешь... Говорите, что у вас наболело!

Вызывающе, не снимая лихо заломленной шапки, вперед вышел Трифон Гужу.

— Вот что, барин, те времена уже прошли... Ты что, не знаешь о королевском указе или не хочешь знать?

Мирон Юга сделал нечеловеческое усилие, чтобы вместо ответа сразу же не ударить мужика по лицу. Он знал, что Трифон человек ленивый и злобный, то есть из тех мужиков, с которыми он никогда не разговаривал. Словно не услышав его, Юга повернул голову, чтобы спросить остальных, о каком таком указе они толкуют. Исбэшеску говорил ему об этих слухах еще накануне, но сейчас старик почел за лучшее притвориться, будто ничего не

знает. Кое-кто из пришедших поспешил объяснить, о чем идет речь и как им все стало известно. Юга спокойно слушал, собираясь с мыслями, чтобы ответить. Трифон Гужу, оскорбленный тем, что старик обратился не к нему, снова перебил его, на этот раз еще более вызывающе:

— Да погоди, барин, я тебе все сам объясню, а то те дурни не...

— Я с нахалами и наглецами не разговариваю! — отрезал Мирон Юга, смерив его презрительным взглядом, и продолжал, обращаясь к стоявшему близко мужику: — Говори ты, Профир...

Слушая путаные объяснения мужиков, Мирон Юга почувствовал, как кровь ударила ему в голову. Дерзость Трифона жгла его мозг, хотя он и пытался успокоиться, понимая, что тот нарочно норовит вывести его из себя и таким образом разъярить и натравить на него толпу. Трифон Гужу, в свою очередь, счел себя униженным тем, что барин не разрешает ему говорить, хотя он старался больше других, поднял народ и привел сюда. Многие, видно, были на его стороне и сердито ворчали на то, что барин резко отчитал Трифона и не дает ему говорить, а Гужу распалялся все больше и больше.

Наконец Юга почувствовал, что уже не в силах слушать косноязычный лепет о королевском указе, и, перебив говорящих взмахом руки, повернулся к начавшей шуметь толпе:

— Стало быть, ребята, вы поверили этим сказкам и потому ворвались сюда, топчете и рушите мой сад? Стало быть, вы, взрослые люди, повалили сюда, как тупая скотина, чтобы меня запугать? Или еще для чего?.. Постыдились бы! А в особенности должно быть стыдно тем, кого я знал как порядочных людей и кому оказывал уважение. Даже староста здесь! Очень хорошо, ничего не скажешь! Вместо того чтобы унять глупцов и сумасбродов, сам бунтуешь заодно с ними... Хорош староста!..

— Вы уж простите, барин, да коли народ нас повел с собой, что мы могли сделать? — униженно и покорно пробормотал Правилэ.

— И ты, Лука! — продолжал Мирон, горячась.— Или ты, Лупу, старый человек с седой головой, еще постарше меня, а заодно с такими отсевками, как Трифон. Эх, мужики, мужики, мне на вас и смотреть тошно!

Говоря, он то и дело спохватывался, что уже не владеет собой, но не мог удержаться, подобно бегуну, который нечаянно ринулся вниз по крутому склону и теперь неотвратимо мчит под гору, хотя знает, что приближается к пропасти. Впрочем, воздействие, оказанное его упреками, побуждало его продолжать свою речь. По мере того как голос Мирона крепчал и суровел, стегая,

словно кнутом, толпа утихала. Казалось, у всех в душе проснулся инстинкт страха и покорного подчинения. Крестьяне озабоченно качали головой, бормотали какие-то невнятные извинения.

Слова Юги угрожающе свистели над застигнутой врасплох толпой, словно хлыст в руке дрессировщика, грозящий каждую секунду опуститься на головы, как вдруг Трифон Гужу выпрямился, качнулся всем телом вперед и взревел срывающимся голосом:

— А ну постой, барин, ведь мы-то не попусту поднялись!..

Его голос сшибся и сплелся в воздухе с голосом Мирона Юги. На миг голос Юги в недоумении захлебнулся, но тут же взвился с новой яростью, будто желая все испепелить вокруг:

— Молчать, мерзавец!.. Замолчи, бандит!.. Молчать!.. Молчать!..

Вытаращив глаза, с пузырьками пены в уголках рта, Мирон Юга вопил, потрясая кулаком перед лицом Трифона Гужу, но тот, лишь на секунду оторопев, ответил ему нахальной ухмылкой. Затем, так как барин все еще повторял: «Молчать»,— хотя уже хрипел от усталости, Трифон крикнул низким, вызывающим голосом:

— А чего мне молчать?.. Не хочу я молчать, и все!.. По какому такому праву ты мне приказываешь?.. Я тебе не слуга!

Мирон Юга ничего уже не видел перед собой, но каждое слово крестьянина будто хлестало его по щекам, да так, что в ушах звенело. И он продолжал с тем же бешенством:

— Молчать!.. И убирайся сейчас же с моего двора!.. Убирайся, мерзавец! Сейчас же убирайся, бандит, не то...

Трифон Гужу широко расставил ноги, напружинил колени, чтобы крепче утвердиться на месте, и ответил еще тверже и злее:

— А я, барин, не уберусь! Не желаю убираться!.. Двор-то уж не твой, и у меня нет охоты отсюда убираться, вот так-то!

— Не уберешься? С моего двора?.. Ты смеешь мне перечить?.. Ну ладно, я тебя, бандит, проучу!..

Голос старика оборвался. Он быстро повернулся и пошел в дом, твердя себе, что необходимо успокоиться. Руки и колени у него дрожали, а в сердце оглушительно бил молот. В спальне, над кроватью, висело всегда заряженное охотничье ружье. Он сорвал его с гвоздя.

Тем временем языки во дворе развязались. Один лишь Лука Талабэ крикнул Трифону, что не стоит задирать старого барина. Но крестьяне со всех сторон шумно подбадривали Трифона:

— Правильно, Трифоникэ!.. Не поддавайся!.. Какое барин имеет право над тобой измываться? Схватил бы ты, Трифон, его за глотку...

Где-то в гуще толпы раздался тоненький голос, вызвавший общий смех:

— Разошелся старик, братцы, не сглазить бы его!

Игнат Черчел озабоченно пробормотал:

— Ты, Трифон, поберегись, как бы барин тебя не...

Когда Мирон Юга с красными, вытаращенными глазами снова появился на террасе, на этот раз с ружьем в руках, его встретили удивленным и сердитым гулом. Старик остановился в трех шагах от Трифона Гужу, на том же месте, где стоял раньше, и приказал, на этот раз не повышая голоса, но еще более веско и непреклонно:

— Сейчас же убирайся отсюда, вор, не то тебя вынесут на носилках!

— А я не желаю уходить, барин, понятно? — злобно ощерился Трифон.— Попробуй только... такую получишь взбучку, хоть ты и барин... потому что...

Он не успел закончить. Юга вскинул ружье и прицелился после первых же слов. Два выстрела прогремели один за другим так быстро, словно второй был лишь эхом первого. Весь заряд попал в широко раскрытый рот и лицо Трифона Гужу, изрешетив его, будто черная оспа. Маленькие глаза удивленно мигнули. Он рухнул тяжело, как мешок.

— Разбойник! — с глубоким удовлетворением выдохнул Мирон Юга, увидев, что Трифон падает.

Когда загрохотали выстрелы, несколько человек, стоявших рядом с Трифоном, втянули головы в плечи и испуганно отпрянули, толкнув соседей; началась суматоха, давка, взметнулись крики. Возгласы испуга потонули в реве ругани и угроз. Тоадер Стрымбу рявкнул, побагровев от ненависти:

— Что ж это, барин, убить нас хочешь?

В тот же миг толпа забурлила, заклубилась. Кто-то нагнулся над Трифоном, пытаясь его поднять. Охваченные безумием, люди метались в кипящем водовороте. Стрымбу еще не успел закончить вопроса, как дубинка с комлем величиной с детский кулак взвилась в воздух рядом с Мироном Югой. Она опустилась на голову старика с такой силой, что хрустнула кость. Шапка вдавилась в темя.

— Как ты смеешь, бандит, поднять...— вскрикнул было Юга, но не успел закончить.

Десятки палок и дубин замелькали в воздухе, молотя наперегонки в яростной сумятице. Мирон Юга, потеряв сознание, с раздробленным черепом, так и остался стоять между крестьянами, которые, толкаясь, чтобы изловчиться и получше ударить, поддерживали его, не давая упасть.

Открытая терраса с квадратными столбами наполнилась людьми, которые слепо колотили направо и налево, как будто всюду,

даже в воздухе, кишели враги. Стекла окон с пронзительным звоном разлетелись вдребезги. Словно озеро, взбаламученное злой бурей, толпа колыхалась то в одну, то в другую сторону, как бы пытаясь быстрее выплеснуть душившую ее ярость. Разноголосый вой, грязная ругань смешались в сплошной гул, заглушавший отчаянные вопли прислуги... Ярость мгновенно взорвалась, словно грянула молния, давно зревшая в тучах и внезапно обрушившаяся на землю, не предупредив о себе даже раскатом грома. Крестьяне набросились и на слуг. Бумбу, стоявший рядом со старым барином, чудом отделался только несколькими тумаками, как будто в разгар бури его никто не узнал.

Только спустя несколько мгновений те, что ярились вокруг старого Юги, отошли от него один за другим, удовлетворенные или жаждущие других дел. Не поддерживаемый больше крестьянами, старик рухнул лицом вниз, царапая землю и в последний раз вдыхая, жаднее, чем когда-либо, ее сладостно-горькое благоухание. Никто больше о нем не думал. Отчаянно толкаясь, крестьяне переступали через тело, топтали его, давили и смешивали с землей, в которую он при жизни врос всеми своими корнями.

5

— Беги туда, Петрикэ, мужики убили старого барина! — крикнула во весь голос Мариоара, влетая во двор.— Беги, Петрикэ, побыстрее, а то они еще чего похуже натворят!

Петре закончил чинить ворота и теперь взялся прибивать что-то в глубине двора, в конюшне,— он решил заниматься только своими делами и ни во что не вмешиваться. От матери он узнал, что все мужики двинулись к господской усадьбе, и едва не поддался соблазну тоже пойти, но не для того, чтобы бесчинствовать или подстрекать людей, а как раз наоборот — чтобы придержать их, предотвратить то, что могут натворить Тоадер Стрымбу и ему подобные. Но он пересилил себя и остался дома, все больше растравляя боль, которая грызла его сердце; кроме того, он был твердо уверен, что крестьяне не посмеют коснуться старого барина, даже если пошли на него бунтом.

— Ох, беда какая! — испуганно ахнул Петре, будто его ударили по голове.

Он даже не взглянул на Мариоару, хотя любил ее и они собирались после пасхи сыграть свадьбу. Сейчас девушка показалась ему чужой, незнакомой, безразличной. Только ее голос резко, как никогда раньше, звенел у него в ушах.

Не говоря больше ни слова, он бросил работу и поспешно, почти бегом, кинулся к усадьбе. Мариоара трусила за ним, как собачонка, и, еле переводя дух, рассказывала о том, что произошло на барском дворе. Петре слушал, что она выкрикивала сзади, и ее слова, казалось, подталкивали его. В то же время он твердил себе, что идет понапрасну,— все равно не сможет один бороться со всем селом и помешать людям отвести душу.

В усадьбе все гудело, и гул был слышен издалека. Петре ускорил шаги. Он был без сермяги, как всегда, когда работал, а в руке держал топор, которым обтесывал колышки. Захватил он его с собой машинально, как палку, которую берешь в путь.

На главном дворе усадьбы крестьяне — раскрасневшиеся, опалелые — остервенело кричали, бестолково тычась во все стороны, не зная, что предпринять. Одни бранились с батраками и слугами, другие беспричинно ссорились между собой, готовые схватить друг друга за грудки. У колодца кто-то пытался помочь стонущему Трифону Гужу. Петре взглянул на него мимоходом, но не остановился. Небольшая толпа скучилась с угрожающими криками у дверей квартиры Леонте Бумбу. Оттуда раздавались вопли жены приказчика. Множество людей, орудовало в канцелярии, разнося вдребезги все, что попадалось под руку, и с особой яростью набрасываясь на бухгалтерские книги, куда были занесены условия подряда на работу и долги мужиков.

Петре пошел на задний двор. Весь двор был забит народом, но все топтались на месте, будто ожидая приказа или хоть какого-нибудь знака.

— Где старый барин? — спросил Петре.

— Только что в дом его отнесли,— отозвался чей-то голос.

Петре не узнал ни того, кто ответил, ни остальных, будто они пришли с другого края земли. Вошел в усадьбу. На террасе почти никого не было. Выбитые окна разевали черные пасти. Люди бесцеремонно шныряли через широко распахнутые двери. В третьей комнате молча, сняв шапки, стояло несколько человек. Совсем недавно тут расхаживал Мирон Юга с заложенными за спину руками. Сейчас он лежал, вытянувшись на диване, между двумя окнами, и руки его были сложены на груди. Одежда была измазана землей, а лицо казалось маской из глины. Старый кучер Иким вытащил его из-под ног крестьян, а стряпуха Профира разостлала на диване белую простыню и зажгла в изголовье свечку, пламя которой металось между выбитыми окнами. Сейчас Профира пыталась хоть немного очистить от земли одежду и лицо покойника. Староста Ион Правилэ, стоявший здесь с другими, мягко сказал ей:

— Оставь ты его, тетка, оставь, пусть отдыхает, как бог определил...

Он хотел прибавить, что запрещено трогать покойника, пока не придет следователь, чтобы установить обстоятельства смерти, но не осмелился.

Петре долго глядел на покрытое грязью лицо старого барина. На левой щеке выделялась полоса крови, перемешанной с землей, будто лента черного бархата, выбившаяся из-под приплюснутой шапки. Он вздрогнул, услышав голос старосты, прозвучавший скрытой укоризной:

— А ты, Петрикэ, вроде тут не был?

— И хорошо, что не был, прости господи,— пробормотал, заикаясь, Петре.— Что из всего этого выйдет, один бог знает.

— Видать, так нам на роду написано было...— начал было Правилэ, но так и не решился закончить.

Впрочем, его тут же перебил Иким:

— Пойди ты, Петрикэ, может, тебя они послушают, не давай им больше грабить да рушить, и так довольно бед натворили! Для того мы и послали Мариоару за тобой... Иди, иди, ведь господа тебе добро сделали, подсобили в беде.

— Многим они подсобили, и вот какая награда! — хмуро пробормотал Петре.

— Слишком уж он был гневливым да вспыльчивым, прости ему господи,— негромко заметил Лука Талабэ.

Все молчали. Затем Петре, очнувшись, резко сказал:

— Кому здесь делать нечего, уходите!

Он даже не стал смотреть, послушались ли его, будто был в этом уверен. Вскоре у изголовья покойника остались только Иким, Профира и Мариоара.

Так же твердо Петре прогнал и остальных крестьян, которые еще слонялись по дому. Но когда он вышел на террасу, то натолкнулся там на нескольких мужиков, никак не желавших уйти с пустыми руками.

— Да вы что, не понимаете по-хорошему, что в доме покойник? — вскипел парень.— Мало того, что убили старика, и сейчас еще не хотите дать ему покоя?

Пока люди, недовольно ворча, расходились, Петре заметил, что другие тем временем сорвали с петель двери и толпой протискиваются в здание новой усадьбы. Мелькнула мысль, что ведь это дом Григоре Юги, которому он должен быть особенно признателен, и Петре метнулся туда, испуганно крича:

— Да не разоряйте вы все, люди добрые!.. Пропустите!.. Разойдитесь!.. Не лезьте туда, все одно там нечего брать!.. Дядя Серафим, хоть ты опомнись!

Расталкивая крестьян, он пробил себе путь и вошел в дом. В большом холле на первом этаже люди двигались с некоторой робостью, ощупывали вещи, переговаривались вполголоса. Петре закричал, скорее упрашивая, чем приказывая:

— Уходите, люди добрые!.. Уходите, нечего вам тут делать!

Он услыхал шаги наверху, на втором этаже, и одним духом взлетел по дубовой лестнице. В открытых комнатах люди шарили в поисках вещей, которые можно было унести. Какая-то женщина собирала в простыню разные тряпки, плаксиво бормоча про себя, что жалко будет, если все это погибнет, уж лучше она попользуется, а то совсем обнищала. Петре ворвался в одну из комнат, в которой было больше народу, чем в других, повторяя все те же слова:

— А ну уходите отсюда, люди добрые, уходите, не то...

Комната оказалась спальней Надины с широкой кроватью и большим портретом на стене, в изголовье. Петре подошел почти вплотную к кровати и вдруг, неожиданно для себя, наткнулся взглядом на портрет и растерялся, словно Надина была жива. Его голос оборвался, и только опаленные губы беззвучно шевелились. Надина, почти обнаженная, смотрела на него томным взглядом, в котором, однако, сквозило оскорбительное презрение. Остальные тоже таращили глаза на портрет, не смея раскрыть рта. В душе парня сперва вспыхнула радость, точно он нашел то, что тщетно искал. Но в следующую секунду с его глаз будто спала пелена. Презрительный взгляд Надины сверлил его сердце, отравлял кровь ядом. Он почувствовал себя обманутым, оплеванным и хрипло взревел:

— Поглядите, как эта ведьма измывается над нами!

Только сейчас он вспомнил, что взял с собой топор, занес его над головой, вскочил на кровать и ударил изо всех сил по портрету. Расколотое стекло будто застонало долгим, пронзительным стоном. Осколки брызнули во все стороны, точно капли крови. Несколько осколков хлестнуло парня по лицу, расцарапав, как кошачьи когти. Но Петре продолжал лихорадочно рубить, прерывисто дыша. Изрубленное тело Надины скорчилось обрывками картона, однако взгляд остался таким же презрительным и томным, даже после того, как лицо испещрили рваные раны.

Глаза Петре налились кровью, и он яростно гаркнул:

— Бейте, ребята, чего ждете!

Все словно давно ждали этого клича. В мгновение ока крестьяне разнесли вдребезги все, что было в комнате, вышвырнули через высаженные окна разломанные стулья, изодранное в клочья белье, ночные горшки, распоротые подушки, из которых летел пух, рамы картин...

— За мной, братцы! — закричал немного спустя Петре.

Теперь орали и крушили и во всех остальных комнатах обоих этажей. Петре метался как сумасшедший, размахивая топором.

— Жгите! Сжигайте все! Оставим здесь прах и пепел! — сбегая на первый этаж, крикнул он тем, кто еще только входил со двора.

— Поджигайте все, братцы! — вопили и другие, топчась на месте.

— Вот это другое дело, Петрикэ! — похвалил парня Серафим Могош, увидев его с зазубренным топором.— Хватит, довольно терпели мы обид и притеснений.

Петре очутился во дворе. Солнце опустилось за здание старой усадьбы. Сумерки мягко источали темноту. Казалось, ярость все разгорается в толпе, и люди лихорадочно торопятся что-то сделать. Блестевшее от пота лицо Петре было искажено страданием.

— Что случилось, Петрикэ? — удивился Правилэ, увидев, что парня не узнать.

— А ты что, сам не видишь аль не хочешь видеть! — злобно ощерился Петре.

— Стыд-то какой...— с сожалением и укоризной в голосе начал было стоявший рядом Лупу Кирицою.

Но Петре не дал ему закончить:

— Закрой лучше пасть, старый хрыч! Хватит, довольно ты морочил нам голову, не давал с места сдвинуться, только и знал, что болтать да скулить.

— Ты, видать, тоже свихнулся, бедняга! — пробормотал, перекрестившись, старик.— Как бы не пожалел потом!

— Жалеть мне нечего, все равно помирать только раз! — крикнул Петре, бросаясь куда-то — сам не зная куда.

Из окон новой усадьбы вырвались космы дыма.

— Горит!.. Горит!..— с дикой радостью завопил кто-то.

Но огонь разгорался медленно. Пока горело только внутри здания, да и то больше дымило. Только когда опустилась ночь, огромные языки пламени взвились над крышей, как сияющая корона, разбрасывая миллионы искр. Люди сновали вокруг, будто забыли о сне и о доме. Все охрипли и все-таки продолжали неуемно орать, выкрикивая бессвязные слова и ругательства, будто пытаясь вознаградить себя за долгое молчание прошлого.

По ту сторону пылающей усадьбы Григоре старый барский дом казался черным, уснувшим. Только в одном окне таинственно мерцал желтый огонек. Глядя туда, крестьяне невольно вздрагивали. Подбадривая себя, Игнат Черчел пробормотал:

— Вот и насытил его господь бог землею и всем прочим!

ГЛАВА XI
ПЕТРЕ ПЕТРЕ

1

Всю ночь с пятницы на субботу пляска пламени, пожирающего усадьбу Григоре Юги, заливала кровью небо над Амарой. Гневная, шумливая толпа не расходилась, будто люди потеряли сон и покой. Крики буйной, неудержимой радости заглушали треск огня. Крестьяне без устали сновали тенями в красных сполохах, переговариваясь суровыми, хриплыми голосами, сливающимися в причудливый гул, будто рвущийся из недр земли...

Далеко за полночь стропила сгорели, и крыша рухнула на потолок второго этажа. Гигантское облако искр бурно взметнулось и рассеялось в багровом воздухе, и тут же над пожарищем вздыбились новые языки пламени. Точно повинуясь высшему велению, из сотен глоток вырвался долгий, радостный рев. Потом крестьяне потихоньку разошлись, словно ожидали только этого знака полной победы. Лишь кое-кто упрямо оставался на месте, опасаясь, как бы без него не произошло еще что-нибудь важное. На рассвете суета на барском дворе улеглась, и даже огонь горел теперь тише, пресыщенно, сонно мерцая.

В окне старой усадьбы бодрствовал все тот же робкий огонек. Бабочки крупных искр садились на крышу и, касаясь старой черепицы, сразу же гасли, будто падая на лед. Иким прикрыл двери, ведущие на террасу, чтобы никто больше не входил в дом и не тревожил покойника. Некоторое время у изголовья убитого барина бодрствовал он, потом кухарка, затем приказчик, которого сменил муж кухарки. А под утро на кресле в углу комнаты покойника прикорнула Мариоара. Ее клонило ко сну, но было слишком страшно, и она старалась не смотреть в сторону дивана, на котором лежало тело Мирона Юги. И без того на нее наводили ужас тени, неуемными призраками плясавшие на стенах. Сквозь выбитые окна лился острый, режущий холод. Стоило ей только закрыть глаза, как чудилось какое-то странное шуршание. Один-единственный раз осмелилась девушка бросить взгляд в ту сторону. Пламя свечи металось, и мертвец будто двигался. Мариоара поспешно трижды перекрестилась... Немного придя в себя, она вдруг совершенно отчетливо услышала вздох, глубокий и горестный, как стон. Не в силах вымолвить от ужаса ни слова, девушка вскочила на ноги. Но тут же раздался испуганный голос:

— Не кричи, Мариоара, не губи меня! Это я — Исбэшеску.

Бухгалтер с трудом выполз из-под дивана — он весь задеревенел. Исбэшеску спрятался, как только увидел, что старый барин берет ружье. Скорчившись под диваном, он благодарил бога за спасительную идею,— не спрячься он, эти звери наверняка бы его растерзали. В то же время он опасался, что мужики подожгут дом и тогда он сгорит, как мышь. В конце концов он решил не двигаться с места, пока не выяснится, что опасность миновала, пусть даже ему придется пролежать под диваном целую неделю. Но лежать скоро стало невмоготу, да и страшно было из-за покойника, так что Исбэшеску подумал, что разумнее было бы убраться куда-нибудь подальше. Это решение укрепилось, когда он увидел, что у изголовья Юги осталась бодрствовать одна только Мариоара, к которой он относился с полным доверием.

Опасаясь, как бы его не заметили со двора, Исбэшеску съежился за шторой и оттуда подробно расспросил Мариоару обо всем, что произошло. Услышав, что крестьяне избили Леонте Бумбу и даже его жену, а квартиру их ограбили, Исбэшеску подумал, что с него бы наверняка живьем содрали шкуру. Мариоара заверила его, что он может безбоязненно уйти через сад, потому что во дворе почти не осталось крестьян. Тут его осенило — надо переодеться в крестьянскую одежду, и тогда, не рискуя быть узнанным, он сумеет благополучно ускользнуть и миновать несколько сел, чтобы добраться до Костешти. Он послал Мариоару к ее дяде попросить у того какую-нибудь одежду, хоть самую драную ветошь, и наказал пронести все задворками, чтобы никто не видел, посулив за это щедрое вознаграждение и вечную признательность. Одежду принесла ему сама Профира, чтобы взять взамен его городской костюм и не остаться в убытке на случай, если бухгалтер не возвратится.

— Ну, тетка Профира, господь бог воздаст тебе сторицей за доброе дело, за то, что ты спасла мне жизнь! — прослезился Исбэшеску, пожимая ей руки.— Я вас всех никогда не забуду.

На рассвете он прокрался через сад к Бырлогу, ни разу не оглянувшись и даже не увидев, как пылает усадьба Григоре Юги...

Чуть погодя, перед самым восходом солнца, потолок второго этажа, давно превратившийся в море огня, с гулом и грохотом обвалился на раскаленный потолок первого этажа, который в ту же минуту тоже рухнул. Через провалы окон было видно, как между закопченными, почерневшими стенами бьется и бушует пламя, взрываясь яростными вихрями искр.

Спустя некоторое время к усадьбе снова потянулись крестьяне. Они смотрели на огонь, качали головой, перебрасывались словом-другим и поспешно оборачивались к старой усадьбе. Им

представлялось, кто-то даже сказал это вслух, что дело не завершено, пока еще остается в целости и сохранности старая барская усадьба. Но из-за покойника никто не смел подойти к ней ближе. Впрочем, большинство мужиков пришло, чтобы чем-нибудь поживиться. Беднота зарилась главным образом на кукурузу. Амбар, полный семенного зерна, был опустошен еще накануне вечером. Зерно оставалось еще в двух складах. Павел Тунсу нарочно прихватил с собой железный лом и первый вышел оттуда с увесистым мешком на спине. Он отнес его по соседству, к теще, бабке Иоане, которая, как всегда, возилась с птицей и со своим бесценным внучонком Костикэ.

— Что ж ты, теща, мешкаешь, сидишь сложа руки? Взяла бы тоже хоть малую толику кукурузы, а то люди налетели на даровщину, так что скоро и ходить уже незачем будет! — посоветовал ей Павел, торопясь обратно к усадьбе.

— Да будь оно все неладно! — пробормотала бабка, продолжая как ни в чем не бывало заниматься своими делами.

Пока одни толклись вокруг амбаров, другие, кто поотважнее, ругались из-за скотины. Марин Стан вывел из хлева двух волов, собираясь погнать их к себе домой. Леонте Орбишор возмущенно налетел на него:

— Да как же тебе не стыдно волов этих хватать? У тебя ведь свои есть, зачем тебе чужие? А я никогда не мог на волов денег сколотить, и пахать мне не на чем!.. Так что, Марин, будь ласков, не трогай волов, а то я и на смертоубийство решусь, коли ты их не оставишь.

— Какая же это справедливость выходит? — угрожающе поддержал другой мужик.— Самое лучшее заграбастают те, у которых и без того всего вдосталь, а мы так и останемся нищими?

— Знать ничего не желаю! — яростно огрызался Марин Стан.— Здесь торговаться нечего, не на базаре! Кто наложил руку, тот и хозяин.

Леонте Орбишор схватил его за грудки. Несколько секунд они трясли друг друга и злобно ругались. Чувствуя, что все против него, Марин уступил:

— Ладно, коли так, поговорим в другой раз!.. Ничего, Леонте, попадешь ты мне в руки!

— Ты бы, разиня, лучше лошадей увел, нет их у тебя, вот и пригодились бы! — насмешливо крикнул Орбишор.— А ты как скажешь, дед Иким?

Рядом, в дверях конюшни, стоял Иким с железными вилами в руках.

— Пока я жив,— ответил он,— до моих лошадок никто не дотронется!

— Ты, дед Иким, не очень-то хорохорься, побереги голову! А то пустим и в твою конюшню красного петуха, видишь сам, как здорово горит усадьба! — прогудел кто-то.

— Лучше пусть сгорит, а вам издеваться не дам! — возразил старый кучер с такой гордостью, будто он и был барин.

Крестьянам не хотелось связываться с Икимом: стар он да и какой-то полоумный — бог знает какую штуку может выкинуть. Однако каждый считал себя вправе брать что вздумается, ведь господа-то нажили свое состояние их трудом, а значит, все добро надо поделить между крестьянами.

— Зря стараешься, все равно это наш труд, дед Иким, и мы такого не потерпим! — яростно укорил его кто-то.— Коли самому барину укорот сделали, то уж тебе и подавно!.. Погоди чуток, вот придет Петрикэ, тогда увидишь!

Но Петре спал как убитый. Он вернулся домой поздно, смертельно усталый. Не раздеваясь, бросился на лавку, сунул под голову шапку вместо подушки и забылся мертвым сном. Сейчас все в доме встали, только он один не шевелился. До сих пор еще не бывало, чтобы солнце заставало его в постели, и Смаранда попыталась разбудить сына. Не открывая глаз, Петре пробормотал:

— Дай мне, мамка, отдохнуть, совсем сон одолел!

— Спи, сынок, спи! — вздохнула Смаранда.— Лучше б ты спал весь день и не ходил туда, где уже побывал.

2

— Мы выехали точно по расписанию,— отметил Титу Херделя, взглянув на часы и убедившись, что поезд тронулся ровно в девять часов тридцать минут.

— Доехать бы благополучно,— ответил, с трудом сдерживая волнение, Григоре Юга.

Балоляну, высунувшись из окошка купе, размахивал шелковым платочком и сдавленным голосом повторял:

— До свидания, Мелания!.. До свидания!.. До свидания!..

Он уселся лишь после того, как поезд отошел от перрона. Хотя глаза его были влажны, он все-таки улыбнулся:

— Бедняжка!.. Она очень встревожена... Честно говоря, я тоже считаю, что для этого есть причины, но постарался убедить ее в том, что никакой опасности нет... Если бы шеф не просил меня так настоятельно, я бы, конечно, не согласился принять на себя столь ответственную и тяжелую миссию! Даю вам честное слово, ни за что бы не согласился!.. Как бедная Мелания плакала! У меня просто сердце разрывалось...

Поезд состоял всего из нескольких вагонов, да и те шли полупустые. Из Бухареста отважились выехать лишь несколько вновь назначенных префектов и немногочисленные офицеры и купцы. Машинист получил указание вести железнодорожный состав чрезвычайно осторожно, так как, по слухам, крестьяне намеревались разбирать рельсы и останавливать поезда, чтобы задержать переброску войск в восставшие районы.

Только Титу Херделя сохранял безмятежное спокойствие, так как был твердо убежден, что разговоры о крестьянских беспорядках сильно преувеличены. Он давно заметил, что в Румынии признают только крайности — либо шутовскую комедию, либо трагедию, и разыгрывают то и другое одинаково шумно и несерьезно. Так и с этим восстанием — сперва его считали политической диверсией, ловким маневром для свержения правительства, а теперь все охвачены отчаянием и ждут всеобщей гибели.

Григоре Юга был встревожен еще больше, чем Балоляну. Накануне вечером у Пределяну ему посоветовали не идти на бессмысленный риск, пока уезд не будет усмирен. Никто не знал толком, что же происходит в деревнях. Отцу он ничем не сможет помочь, независимо от того, поедет ли он к нему или останется в Бухаресте. Основной довод приводился почти шепотом: а вдруг солдаты откажутся стрелять и перейдут на сторону мужиков?.. Но именно этот довод побудил его заупрямиться и все-таки поехать. Иначе он, пожалуй, мог бы передумать, тем более что его удерживал ласковый, влажный взгляд Ольги. Когда они на минуту остались вдвоем, она внезапно шепнула ему: «Если вы меня любите, оставайтесь!» Григоре был до того потрясен, что, целуя ей руку, с трудом сумел ответить: «Я обязан поехать именно потому, что люблю вас так сильно!» Позднее, дома, этот ответ показался ему постыдно глупым, хотя Ольга, видимо, так не считала, потому что не смеялась над ним ни тогда, ни позже.

Шепот Ольгуцы взволновал Григоре и пробудил в его душе целый сонм вопросов, которые до тех пор не тревожили его,— а впрочем, быть может, он их намеренно отгонял. Сейчас его словно разоблачили в собственных глазах. Их дружба с Виктором была, конечно, давней, но глаза Ольгуцы, как видно, еще больше укрепили ее за последнее время. И все-таки Григоре никогда не признавался себе в том, что его ежедневные визиты и совместные обеды с семейством Пределяну вызваны какими-то особыми причинами. Он не думал о том, что любит Ольгу, хотя это чувство переполняло его сердце; никогда, даже в шутку, не намекал он ей о своей любви. Но, видно, случилось так, что тайну невольно выдали его глаза.

Сейчас Григоре упрекал себя за то, что в эти горестные для всех дни его занимает новая любовь. Мелькала даже мысль, что он пошел на бесповоротный разрыв с Надиной только для того, чтобы облегчить сближение с Ольгой. Несомненно, Надина оскорбила его так жестоко, что о продолжении семейной жизни не могло быть и речи. Однако, не будь Ольги, у него не хватило бы твердости порвать с ней столь резко. Но особенно его терзала мысль, что он оставил отца одного только из-за эгоистического желания быть рядом с Ольгой, не отказать себе в радости видеться с ней каждый день. Тщетно он твердил себе, что выполнил свой долг, ездил домой и предлагал отцу остаться с ним в поместье, но был вынужден подчиниться приказу старика. Сейчас Григоре был уверен, что не покинул бы Амару при других обстоятельствах, то есть если бы не был влюблен...

Волнение Балоляну находило себе выход в непрекращающемся словесном потоке. С той минуты, как его назначили на должность префекта восставшего уезда, он ощущал потребность повсюду изображать себя мучеником, отправляющимся на плаху. В Бухаресте тайком поговаривали, что армия ненадежна и что в конечном итоге для расправы с восставшими придется призвать австрийцев. Передавали, будто новое правительство тоже не питает большого доверия к солдатам из крестьян, но не хочет прибегать к иностранной помощи, пока не испробует все средства, вплоть до самых крайних.

— Друзья мои, мы переживаем сейчас самую страшную трагедию во всей истории румынского народа! — прерывающимся голосом заявил Балоляну.— Даже шеф был глубоко взволнован вчера после обеда, когда давал нам указания, как именно выполнять нашу трудную миссию. Он признал, что задача исключительно сложна и, главное, опасна. «Я рассчитываю,— сказал он,— на ваш такт и ум, на вашу энергию! Вы располагаете манифестом, провозглашающим реформы, которые удовлетворят самые насущные и первоочередные потребности крестьян. Это отличное мирное оружие, и вы должны использовать его максимально умело. Но там, где средства убеждения окажутся недостаточными, там, где вы столкнетесь с вооруженным сопротивлением, там вы со всей решимостью должны применить силу. На насилие отвечайте насилием, ибо порядок необходимо восстановить любой ценой!..» Вот как напутствовал нас шеф. Мы были потрясены до глубины души. То была историческая минута. Затем он обнял каждого в отдельности... А сейчас главный вопрос — что нас ждет на месте? Я по своему воспитанию демократ, убежденный гуманист. Можете себе представить, какое это будет для меня испытание, если придется

отдать приказ о применении оружия. И все-таки интересы нации превыше всего!.. Ужасная дилемма!

Титу Херделя слушал нового префекта с надлежащей серьезностью, но про себя думал, что тот изрядный демагог. Он вспоминал, с каким пафосом Балоляну еще совсем недавно в ресторане у Енаке ратовал за раздачу поместий крестьянам. А сейчас он из кожи вон лезет, стараясь заранее оправдать убийство тех же крестьян, если они не удовольствуются реформами, которые даже не намекают на раздел земли. Титу так и подмывало напомнить Балоляну о его недавних посулах. Вместо него заговорил Григоре, словно его мучили те же мысли:

— Если уж крестьяне восстали, чтобы добыть себе землю, трудно будет удовлетворить их туманными реформами!

— Что ж, ты считаешь, что им нужно раздать помещичьи земли? — удивленно спросил Балоляну.

— Я этого не думаю, но ты-то считал именно так,— просто ответил Григоре.

— Ну, это разные вещи: внутренняя убежденность одно, а возможность ее осуществления совсем другое,— смутившись, стал оправдываться префект.— Как бы то ни было, подобные революционные меры не могут быть приняты под давлением мужицкого террора, не так ли? Кстати, даже нынешние столь трагические беспорядки убедительно доказывают, что наш крестьянин еще нуждается в весьма продолжительном и серьезном общественном воспитании. Варварские преступления бунтовщиков, даже если слухи о них соответствуют действительности хотя бы наполовину, оправдывают самые худшие опасения, мой дорогой. И ты можешь быть уверен, что я, хоть и люблю крестьян, а ты это прекрасно знаешь, буду с максимальной строгостью карать их за любое преступление. Любить крестьян — не значит терпимо относиться к их безрассудству и мириться с разбоем. Крестьяне, как все прочие граждане, обязаны подчиняться властям, уважать закон и чужую собственность. В противном случае до чего мы докатимся?

Григоре Юга иронически улыбнулся:

— Сомневаюсь только в эффективности реформ, на которые ты уповаешь. Вот и все! Тебе, верно, ясно, что у меня могут быть личные причины требовать крутой расправы с крестьянами, ведь вполне возможно, что они не пощадили даже нас, тех, кто жил среди них и всегда выполнял свой долг по отношению к ним...

— Следовательно, мы одного и того же мнения, Григорицэ! — воскликнул Балоляну.— Да и странно, если б это было иначе, так как мы оба в одинаковой степени любим нашу дорогую отчизну и наших крестьян. Сегодня идет речь не о политике, а о спасении Румынии!

Балоляну снова разошелся и поведал спутникам трогательные подробности своего прощания с Меланией, рассказал о ее предчувствиях и своем незаурядном мужестве. Он непрерывно болтал о собственной персоне и прекращал свои разглагольствования лишь во время остановок, когда внимательно рассматривал публику на перроне. Каждый раз, замечая группу крестьян, он с легким страхом указывал на них и, понизив голос, будто опасаясь, что его услышат, пояснял:

— Поглядите только, как они козни плетут, заговорами занимаются!.. Что ни говори, а мужика можно привести в чувство только страхом.

Затем он снова принимался болтать о реформах, о шефе и вновь о Мелании — то растроганно, то патетически, но все время с прочувствованной дрожью в голосе, призванной скрыть его страх.

А поезд осторожно шел вперед, дымя гуще, чем обычно. Продолжительные и частые гудки паровоза звенели пронзительно и резко, как уханье совы.

3

— Ты, папаша, поберегись, как бы народ тебя не обидел! — предупредила Никулина, увидев, что отец Никодим берет епитрахиль и крест.— Знаешь, какие они теперь бешеные...

— Пошли, дьячок, пошли свой долг выполнять! — проворчал старый священник, не слушая дочери.— Ведь барин у нас церковь воздвиг, и бог нас покарает, коли не воздадим ему все почести, что христианину положены. А после обеда еще жену Мелиите хоронить надо... Пошли, пошли!

Священник с трудом передвигал ноги, тяжело опираясь на посох и то и дело останавливаясь, чтобы передохнуть. Во дворе усадьбы толпа шумела теперь еще громче. Новый особняк все еще догорал. Профира поцеловала руку священнику и провела его в комнату покойника.

— Ох, боже, боже, горькую судьбину уготовил ты человеку! — прошептал священник, кинув взгляд на тело старого Мирона и надевая епитрахиль.— Неведомы пути твои, господи, благословенно будь имя твое во веки веков, аминь!

Приход священника ничуть не смутил возбужденных крестьян. Кое-кто проводил его взглядом, пока он не вошел в дом, и споры тут же возобновились. Пока одни продолжали бездумно орать или бродили в поисках добычи, которую можно было бы еще унести, другие, и таких было большинство, разбившись на небольшие группки, толковали только о разделе земли, причем каждый прикидывал, как бы получить участок побольше. Все счи-

тали, что теперь, раз бояр уже нет, самое время браться за обмер земли, потому что, ежели народ успеет забрать то, что ему положено по праву, обратно он землю не отдаст, хоть убивай его, и тогда мироеды если даже и вернутся, то вернутся попусту. Каждый высказывался, как надо провести дележку, чтобы и впрямь было по справедливости, и, конечно, каждый считал, что самый справедливый дележ будет тот, по которому ему присудят надел получше и побольше, да и ближе к селу. Когда кто-то заикнулся, что, может, и другие села потребуют свою долю помещичьей земли, остальные яростно вскинулись и чуть было не поколотили его. Бедняки требовали отстранить от раздела тех, кто уже владеет землей. Их укоряли за то, что они из кожи вон лезли, стараясь купить поместье Бабароагу, а как началась революция, держались в сторонке, выжидали, надеясь прийти на готовенькое. Собравшиеся тщетно препирались и переругивались, никак не приходя к согласию, так как все они были людьми забитыми и никто из них не пользовался у односельчан авторитетом, который выдвинул бы его в вожаки и принудил остальных к повиновению. Правда, Тоадер Стрымбу пытался повысить голос, но другие крестьяне никогда не обращали на него внимания, когда речь шла о серьезных делах. Тоадер и Трифон были хороши для ругани, когда достаточно быть горластым и нахальным. А сейчас нужны люди разумные, степенные, справные хозяева, которые сумели бы все взвесить и решить по-мудрому. Кабы священник Никодим был помоложе и побойчее, позвали бы его — пусть рассудит по справедливости, или, еще лучше, попросили бы учителя Драгоша, если бы господа не упрятали его в тюрьму.

— Вот и Петрикэ не пришел, а вчера вечером похвалялся, что и думать забудет об отдыхе, пока мы не добьемся полной справедливости! — пожаловался Игнат Черчел, стоявший в толпе.— Он бы помог разобраться, что к чему, голова у него хорошая, посоветовал бы, что делать!

— Все в сторону норовят, боятся!

— Чего? — возмутился Игнат.— Это Петрикэ-то боится?.. Помолчи уж лучше, не болтай глупостей! Петрикэ с тремя такими, как ты, шутя справится, а ты мелешь невесть что — боится!

— А коли так, чего он дома отсиживается? Полдень уже.

— Дела, верно, какие задержали... Но если уж Петрикэ за что берется, так непременно сделает. Его отец, упокой, господи, его душу, тоже такой был — человек порядочный и надежный.

Они все еще пререкались, когда подоспел Петре вместе с Николае Драгошем. Дома Петре разругался с матерью,— та не хотела его пускать, плакала и причитала, что он себя погубит. А Николае пришлось отбиваться не только от родителей, но и от невест-

ки, отчаянно трусившей, как бы из-за их дел не пострадал ее Ионел. Парни поняли друг друга без слов. Оба прикинули, что отступать им уже некуда и, следовательно, надо идти до конца, что бы ни случилось. Стряхнув с себя опьянение гнева и протрезвев, они осознали, что, если все повернется по-старому, с них обоих взыщут строже, чем с кого-либо, взыщут за то, что натворили все остальные... Поэтому по пути они зашли в помещение жандармского участка. Дом был пуст, двери широко распахнуты, все внутри перевернуто вверх дном. Друзья надеялись разыскать хоть несколько патронов для винтовок, отобранных у жандармов, чтобы защищаться, если понадобится. Но они ничего не нашли. Жена унтера исчезла; говорили, будто она прячется у кого-то в селе, но никто не знал где.

Они смешались с толпой и сразу же поддались всеобщему возбуждению. Спор о разделе поместья разгорелся с новой силой. После долгих и бесплодных пререканий Петре заявил:

— Такое дело нам не по зубам. Сколько бы мы ни ругались или даже ни дрались, все одно не справимся. На это надо землемеров! Повременим, пусть сперва все уляжется, наступит мир, и тогда начальство пришлет землемеров, они поделят землю, обмерят и отрежут всем как положено, каждому по справедливости, сколько хватит... Правильно я говорю, люди добрые?

— Правильно!.. Верно говоришь!..— согласились крестьяне.— Пускай присылают землемеров, им за это деньги платят.

— А раз господ нет, землемер будет делить по справедливости, как положено по закону! — удовлетворенно поддакнул Игнат.

— С господами мы покончили! — хвастливо крикнул Леонте Орбишор.— Не нужны нам больше господа!

— Мы вроде бы покончили, Леонте, да вот только, может, они не кончили! — прогудел Николае Драгош.

Все наперебой запротестовали — не желают они, мол, больше господ и скорее помрут все до последнего, чем позволят снова сесть себе на шею.

— Ладно, поглядим, чего вы на деле стоите, болтать-то вы горазды, это я хорошо знаю! — пробормотал Петре.

4

На вокзале Питешти нового префекта поджидала толпа помещиков и арендаторов, сбежавших из своих имений. Их возглавлял бывший префект Боереску, который, принимая во внимание опасность, грозящую отечеству, пренебрег соображениями политического соперничества и неприязни и решил по всем правилам

передать свой высокий пост вновь назначенному префекту, а главное, ознакомить его с положением дел в уезде. Однако, по существу, Боереску поступился гордостью и согласился встретиться со своим преемником, руководствуясь не столько высшими государственными соображениями, сколько самолюбием, глубоко уязвленным неблагодарными мужиками. Ведь он, не жалея себя, объехал почти все села, толковал с мужиками, давал им советы, учил по-отцовски уму-разуму, а они, как только он отвернулся, начали бесчинствовать. Этого Боереску не мог им простить. А кроме того, эти негодяи осмелились поджечь и разграбить даже его собственную усадьбу в Рочу...

Григоре Юга представил встречающим нового префекта, так как Балоляну здесь никто не знал. Потом, условившись с ним поужинать вместе вечером, он с Титу отошел в сторону, чтобы не мешать.

Толпа пострадавших тесно окружила префекта, осаждая его всевозможными жалобами. Балоляну кое-кого выслушал, другим выразил свое соболезнование, но, поняв, что этому не будет конца и ему не удастся выбраться с вокзала, воскликнул с дрожью в голосе:

— Господа, я понимаю вашу скорбь и разделяю вполне естественное возмущение, кипящее в ваших душах из-за беззаконий, жертвами которых вы стали! Я прибыл сюда для того, чтобы принять продиктованные обстоятельствами меры для наведения порядка и наказания виновных. Предоставьте мне, пожалуйста, несколько часов, чтобы я мог разобраться в обстановке и получить официальные данные о том, что произошло в уезде. Лишь после этого я дам необходимые указания. Заверяю вас, мы сделаем все возможное, чтобы хоть частично облегчить ваши страдания!

Взяв под руку Боереску, он проложил себе дорогу сквозь взволнованную, сердито гудящую толпу. Плачущие голоса то и дело повторяли одно и то же:

— Эти разбойники пустили нас по миру!..

Громче всех шумел и горевал отставной полковник Штефэнеску, который не отходил от префекта до самой коляски, причитая и жалуясь:

— Я остался нищим, господин префект!.. Весь мой сорокалетний труд обращен в прах!.. У нас не было никакой защиты. Душегубы издевались над нами, как хотели! Только жизнь оставили, господин префект!

Григоре Юга торопливо пожимал руки знакомым, выслушивал несвязные жалобы. Ему не терпелось узнать, что с отцом, что происходит в Амаре, но он никак не мог решиться прямо спросить об этом кого-нибудь, так как понимал, что все слишком заняты

собственными несчастьями и поэтому равнодушны к чужим бедам. Однако больше всего он опасался, как бы не подтвердились предчувствия, которые все более жестоко терзали его по мере того, как приближалась минута, когда он должен был все узнать. Вдруг он услышал за спиной хорошо знакомый голос:

— Господин Григорицэ!.. Господин Григорицэ!

— А, господин Буруянэ! Вы тоже здесь? — воскликнул Юга, обрадовавшись встрече.— Что слышно там, у нас? Да говорите скорее, вы-то должны знать!

Козме Буруянэ не хотелось признаться, что он сбежал еще до того, как начались беспорядки, и он ответил плаксивее, чем обычно:

— Горе-то какое, господин Григорицэ! Все уничтожено, все погибло!.. Я еле спасся, но теперь остался гол как сокол! Я ведь вам говорил, что наши мужики — просто бешеные псы, а вы не верили, даже насмехались надо мной... И вот полюбуйтесь, самые страшные преступления совершены как раз в Амаре! Там очаг революции, оттуда все и пошло!.. Что вам еще сказать? Страшное несчастье! Я еще должен благодарить господа бога за то, что хотя бы в живых остался вместе со всем моим семейством, а ведь, послушай я господина Югу, бог знает какие муки пришлось бы мне принять. Но я человек осторожный, вы меня знаете, я не стал ждать, пока вспыхнет пожар, погрузил все свое семейство в бричку, и поминай как звали!

— А отец как? Остался в поместье или?..— настойчиво спросил Григоре.

— Как вам сказать, господин Григорицэ, по правде — когда я уехал, он там оставался...— неуверенно ответил арендатор.— Вы ведь знаете, какой он...

— Все-таки что же именно у нас там произошло? — еще нетерпеливее выпытывал Юга.

— Здесь много чего говорят,— продолжал уже смелее Козма Буруянэ.— Но истинного положения дел никто знать не может, потому что еще в среду ночью была прервана телефонная связь, и село совершенно отрезано. Ходят только разные слухи, но никто толком не знает, где правда и где ложь. Так или иначе — ничего хорошего ждать не приходится, господин Юга. Уж конечно, безобразий и бед наши мужики натворили немало, они-то на все горазды. Вчера утром я видел судью из Костешти. Он мне такое нарассказал, что диву даешься. Он познакомился в поезде с каким-то бухарестским адвокатом, который приезжал вместе с госпожой Надиной в Леспезь в связи с продажей Бабароаги. Вы его, возможно, знаете. Чего только не пришлось этому несчастному пережить — волосы дыбом встают! Чудом спасся от смерти — бе-

жал без оглядки полем от Глигану до самой Костешти. Еле живой добрался. Я бы просто не поверил, не повстречай я как раз сегодня же Платамону, который...

И Буруянэ рассказал, еще преувеличив их, о несчастьях, обрушившихся на Платамону, стараясь не упомянуть ненароком ничего из того, что говорили в городе о судьбе Мирона Юги и Надины. Они вместе вышли с вокзала и пошли пешком по бульвару к центру города. Скоро их догнал, чуть ли не бегом, полковник Штефэнеску, который разыскивал Григоре, так как видел его в обществе нового префекта... Он сразу же попросил Григоре устроить ему встречу с префектом, у которого полковник намеревался выклянчить взвод солдат, а если возможно, и артиллерию, чтобы отобрать обратно свое имущество и покарать прогнавших и обобравших его бандитов. Описав во всех подробностях свои мытарства и страдания, полковник прямо сказал Григоре, что в городе ходят слухи, будто мужики растерзали Мирона Югу, но он этому не верит, так как хотя эти разбойники действительно совершали чудовищные злодеяния, но крови все-таки не проливали. Ходят также слухи, будто они убили и Надину после того, как целая толпа негодяев над ней надругалась. Но ко всем этим слухам следует относиться осторожно. Переходя из уст в уста, все искажается и раздувается.

— А какие еще нужны преувеличения, когда чистая правда более чем ужасна! — продолжал полковник.— Разве обязательно надо убить, чтобы сделать тебя на всю жизнь несчастным? Лично я, если бы не думал о своих бедных девочках, о том, что они останутся бездомными сиротами, я бы насмерть сцепился с этими бандитами...

Он снова принялся расписывать свои муки, хотя его то и дело перебивал Козма Буруянэ, пытавшийся говорить о своем. Но Григоре Юга их больше не слушал. Ему многое стало понятно еще из недомолвок Буруянэ. Слова полковника, его солдафонская откровенность вызвали у него скорее раздражение, чем боль. К счастью, около городского парка ему удалось отделаться от обоих. Только тогда Титу Херделя робко попытался его утешить:

— Может, все-таки это неправда...

— Это правда, дорогой друг,— подавленно возразил Григоре.— Я предчувствовал, что произойдет несчастье, когда еще прошлый раз был в Амаре. Мне жаль только, что я не остался тогда в усадьбе вопреки воле отца. Будь я там, возможно, события приняли бы иной оборот.

Тем временем Балоляну приехал в префектуру, где его поджидала другая группа беженцев из поместий. Боереску представил ему нескольких чиновников, а затем, расстелив на письменном

столе карту уезда, отметил на ней восставшие села и вручил пану с донесениями о беспорядках, не забыв подчеркнуть, что бунтовщики разорили даже его усадьбу. Поблагодарив Боереску и отпустив несколько адвокатских любезностей, Балоляну поспешил от него отделаться, понимая, что попусту тратит время. А ему не хотелось терять ни минуты. Он стремился доказать шефу, что тот сделал правильный выбор, назначив его префектом.

Он сразу же вызвал к себе главного прокурора, жандармского капитана, генерала — командующего войсками уезда, а также председателя трибунала (последнее скорее для того, чтобы выразить свое почтительное отношение к правосудию). До их прихода он принялся изучать папку с донесениями и карту уезда.

— Господа, я хочу, чтобы самое большее за три дня в уезде воцарился порядок, покой и мир! — веско и торжественно объявил он четырем представителям власти, собравшимся в кабинете.

Затем Балоляну с пафосом произнес короткую, но энергичную патриотическую речь. Речь эта произвела впечатление. Главный прокурор Тома Греческу, тощий, лысый и молчаливый, с восхищением уставился на тучную, внушительную фигуру префекта, излучавшего уверенность. Жандармский капитан Корбуляну, кивая головой, поддакивал каждому слову нового начальника. Председатель трибунала Маноле Ободжяну, скупой, небрежно одетый старик, чувствовал себя на совещании лишним, но так как владел поблизости небольшим имением и боялся, как бы крестьяне его не разграбили, то рад был узнать, какие меры безопасности намеревается принять новое правительство. Один лишь генерал Дадарлат, привыкший к фамильярности Боереску, попытался раза два перебить префекта, но тот достаточно вежливо, однако твердо призвал его к порядку.

— Теперь предоставляю слово вам, господин генерал, так как я закончил! — сказал в заключение Балоляну с иронической улыбкой.

Но генерал сообщил только, что бунтовщики причинили и ему немало зла. Энергично откашливаясь, он добавил еще, что, по его мнению, сейчас необходимо действовать с максимальной энергией, так как в противном случае огонь восстания охватит и те районы, в которых пока еще спокойно.

— Именно потому меня и направили в ваши края, где перед префектом стоят особо ответственные задачи! — многозначительно заявил Балоляну.

Узнав от Корбуляну, что в восставших селах крестьяне избили и прогнали жандармов, так как те были малочисленны и не имели права пускать в ход оружие, Балоляну спросил у генерала

Дадарлата, можно ли при всех обстоятельствах полностью доверять подчиненным ему частям.

— Войска всегда выполняют приказы, господин префект! — с гордостью заверил его генерал.

— Я, разумеется, не сомневаюсь в наших войсках,— сказал, немного смутившись, Балоляну.— Вы меня неправильно поняли. Я хотел только выяснить, насколько надежны солдаты и, в частности, резервисты? Вам, вероятно, известно, что кое-где отмечались мелкие неувязки, и я бы не хотел, чтобы и мы столкнулись с подобными сюрпризами.

— Нет, нет, господин префект, преданность своих воинских частей я гарантирую! — повторил генерал.

— На всякий случай, во избежание возможных колебаний, я попрошу вас, господин генерал, принять меры, чтобы в карательные взводы не включали солдат из восставших районов! — твердо распорядился префект.

Затем они вкратце обсудили маршрут карательной экспедиции. Балоляну приказал, чтобы воинская часть численностью в тысячу штыков, поддержанная шестью орудиями, находилась на следующий день, в воскресенье, в восемь утра, на станции Костешть, куда прибудет и он с представителями прокурорского надзора.

— Любое сопротивление должно быть немедленно подавлено военной силой, разумеется, после положенных по закону предупреждений! — решительно заявил в заключение Балоляну.

— А как нам действовать, господин префект, если села снова будут восставать в тылу наших войск? — спросил генерал Дадарлат, стремясь во что бы то ни стало показать, что у него свои мысли и он весьма предусмотрителен, как это положено выдающемуся военачальнику.

— Такие села должны быть стерты с лица земли артиллерийским огнем, господин генерал! — отчеканил префект, высокомерно вскидывая голову и выпячивая живот.

— Да, да, разумеется! — согласился Дадарлат.

Затем вплоть до самого вечера Балоляну принимал потерпевших помещиков, которые жаловались громче других и требовали немедленного возмещения убытков или, по крайней мере, значительных денежных пособий — иначе они умрут на улице с голоду. Большинство просило выделить в их распоряжение специальные воинские части, чтобы те сопровождали их в усадьбы и охраняли от ярости мужиков, другие хотели во что бы то ни стало получить пушки и перестрелять тех, кто разграбил их имущество. Префект не скупился на обещания, но пояснил, извиняясь, что пока не имеет возможности вплотную заняться их жалобами, ибо его первоочередная задача — восстановление порядка. Он заверил поме-

щиков, что ущерб им возместят, и предложил подать соответствующие прошения с подробным перечислением убытков.

Лишь к девяти часам вечера Балоляну встретился с Григоре Югой и Титу Херделей в ресторане. Боереску уже успел рассказать ему о судьбе Мирона Юги, и префект патетически обнял Григоре.

— Ты не можешь себе представить, как мне будет больно, если слухи подтвердятся, дорогой Григорицэ! Но не надо терять надежду на провидение и милосердие божье!

Он ел и пил с отменным аппетитом, совсем забыв о том, что толстеет, без умолку болтал и хвастался тем, какие хитроумные распоряжения он отдал. Затем Балоляну сообщил своим сотрапезникам, что завтра они могут ехать с ним до Костешти, но там, к великому сожалению, им придется расстаться, так как он приступит к исполнению своей печальной миссии в местах, куда доступ неофициальным лицам не разрешен.

— Хоть это и не разрешено, я буду следовать за тобой на определенном расстоянии! — твердо заявил Григоре Юга.— Это мой долг, Александру.

— Ну, разумеется, о чем речь! — с готовностью уступил префект.— Не думай, что я не понимаю твоего душевного состояния, дорогой! Я только хотел тебе сказать, что официально...

— Если официальные власти оказались не в состоянии предотвратить беду, то пусть, по крайней мере, не ставят мне палки в колеса! — укоризненно заметил Григоре.

— Вполне справедливо, вполне! — примирительно согласился Балоляну и, спеша перевести разговор на другую тему, горячо продолжал: — Впрочем, понимаешь, я дал строжайшие приказания, чтобы...

5

В воскресенье утром по Амаре прошел слух, что идут войска. Какие-то возчики из других сел, расположенных в долине, возвращаясь со стороны Питешти, встретили по дороге тьму-тьмущую солдат и пушек, а офицер, который ехал верхом, будто бы матерно обложил их и пригрозил: «Я вам покажу революцию!» Другие крестьяне, пришедшие из деревень, расположенных севернее, рассказали, что вокруг Костешти собралось несметное воинство, готовое двинуться сюда и привести обратно помещиков, а может, оно уже и двинулось...

Село закипело. Весть, обошедшая Амару, сперва вызвала просто любопытство. Крестьяне передавали ее друг другу с удивлением и недоумением, покачивали головой и вопросительно перегля-

дывались. Потом, по мере того как новость подтверждалась, их удивление перерастало в изумление.

— Что ж они, не знают о королевском указе?.. Или, может, не хотят подчиняться указу и переметнулись на сторону мироедов?

Постепенно селом овладели возмущение и гнев. Перед корчмой собралась большая толпа мужчин и женщин. Все ожесточенно кричали, лица были искажены отчаянием. Вопросы сыпались один за другим:

— Зачем сюда идет войско?.. Нас убивать, что ли?.. Да что мы им сделали?.. Мы что, собаки или люди? Почему не дают нам жить?.. Мало издевались над нами бояре?..

Ответы, раздававшиеся то здесь, то там, звучали сперва робко, но потом становились все громче и смелее.

— Пусть хоть войско придет, мы все одно не уступим!.. Лучше все помрем, избавимся от мук!.. Мы армии не боимся!.. Вилами их прогоним, ежели на нас полезут!.. Не станем больше терпеть, братцы!.. Беритесь за топоры!..

Женщины кричали громче мужчин. Ангелина, дочь Нистора Мученику, всегда плаксивая и забитая, сейчас орала как сумасшедшая, с выпученными от ярости глазами, не выпуская из рук ребенка:

— Мужа мово убили в их казармах, и все им мало, сожрали бы их псы лютые! Чтоб все хвори и беды на их головы свалились! Сгорели бы они в геенне огненной, как мое сердце сгорело!

Корчмарь Бусуйок, стоявший на пороге корчмы, некоторое время с удовлетворенным видом прислушивался к шумной перебранке и, не подумав, сказал с укором:

— Так-то оно и выходит, люди добрые, не послушались вы тех, кто вам советовал за ум взяться, и вот сейчас...

Словно огретые хлыстом, крестьяне налетели на него, обрадовавшись, что можно отвести душу. Бусуйоку еле удалось юркнуть в лавку, а оттуда в жилую половину дома. Людской поток хлынул в корчму. Одни разбивали и уничтожали все, что им попадало под руку, другие накинулись на бутылки со спиртным.

Свалка длилась всего несколько минут. К корчме подошел Петре вместе с группой молодых мужиков и парней.

— Идет Петрикэ!.. Пришел Петрикэ!.. Вот он, Петрикэ!.. Да уймитесь вы, Петрикэ пришел!..

— А что здесь стряслось, люди добрые? — спросил он, увидев, что в корчме все перевернуто вверх дном.— Что там еще натворил дядюшка Кристаке, чего это вы взяли его в оборот, будто мироеда?

Пока одни ругали корчмаря, другие спешили рассказать Петрикэ о приближении войска. Говорили со страхом, с гневом, и все

смотрели на парня вопросительно, будто от его ответа зависела их судьба. Игнат Черчел слезливо причитал:

— Что ж нам теперь делать, Петрикэ!.. Научи ты нас, надоумь, как себя вести!

Петре горящими глазами окинул окружавшую его толпу. На худощавом лице, под смуглой, туго натянутой кожей перекатывались желваки. Вдруг губы его скривились в презрительной усмешке:

— Ежели вы войска боитесь, чего же не сидели смирно?.. Нечего было подниматься на господ, коли думали, что они будут сидеть сложа руки и позволят нам забрать их поместья, да и потрепать их вдобавок. Задаром землю нигде не получишь! За нее надо платить, хоть деньгами, хоть чем другим, но платить надо!

— Мы-то войска не боимся, напрасно ты нас поносишь! — пробормотал Игнат таким же плаксивым голосом.— Но когда солдаты придут, надо знать, что делать!

— А бояться нам и впрямь нечего,— продолжал Петре,— войско идет сюда, только чтобы нас припугнуть.

— Верно говоришь, Петрикэ! — запальчиво воскликнул Тоадер Стрымбу.— Нет у них права поднять на нас оружие, ведь и мы солдатами были, сами знаем, что и как!

А Николае Драгош, как бывший сержант, добавил, что даже если офицеры прикажут открыть огонь, солдаты будут стрелять не в крестьян, а в воздух, либо, может, и вовсе не подчинятся приказу и перейдут на сторону своих отцов и братьев.

— Вашими устами да мед пить...— недоверчиво пробормотал Серафим Могош.— Но только надеяться на это нам нельзя, потому как через несколько часов или того раньше запрудят село солдатские роты и жандармы, тогда увидите, как они будут нас избивать и пытать.

Петре признал, что Серафим прав. Солдаты сами не будут стрелять в крестьян, но приведут обратно жандармов и господ.

— Нет! Нет!.. Не пустим мы сюда войска! — крикнул Петре.— Нечего войскам делать в нашей деревне! Нам они не нужны!.. Пусть сидят в городе и охраняют там господ, а мы себя сами убережем.

Собственный крик ожесточал и распалял Петре, как будто он пререкался с невидимым врагом. Крестьяне, которые толпились вокруг, еще тяжело дыша после свалки в корчме, громко подбадривали его, стараясь подбодрить себя, доказать самим себе свою силу и отвагу. Те, что дорвались до выпивки, уже не выходили из корчмы, распевая во все горло удалые песни и честя Бусуйока и мироедов.

— Все — и мужики и парни — пусть соберутся на околице села! — резко и отрывисто, как в армии, приказал Петре.

Ему пришлось несколько раз повторить, чтобы никто не приходил с пустыми руками, а каждый бы вооружился, чем сможет, хотя бы железными вилами.

— Ну, а дальше, как бог захочет! — пробормотал он, осеняя себя крестным знамением.

6

— Сейчас, дорогой Григорицэ, мы расстаемся,— сказал Балоляну, как только поезд прибыл на станцию Костешть.— Послушайся моего совета — оставайся пока здесь и жди вестей от меня. Надеюсь, что до вечера нам удастся усмирить все села, включая вашу Амару, и ты сможешь поехать туда, ничем не рискуя. Вот так, дорогой. Ну, до свидания!.. Будьте здоровы, господин Херделя! — закончил он и растроганно пожал обоим руки.

Пухлое лицо Балоляну побледнело, и даже голос изменился от волнения. С важным, почти мрачным видом спустился он на перрон. Майор Тэнэсеску, командир приданной префекту воинской части, усатый и бровастый, с пронзительным взглядом и резким голосом, вытянулся перед Балоляну и отрапортовал, что, согласно приказам, полученным как непосредственно от командующего дивизией, генерала Дадарлата, так и от командира полка, он передает себя в распоряжение префекта.

— Какими воинскими силами вы располагаете, господин майор? — осведомился Балоляну.

— Один батальон усиленного состава военного времени и артиллерийская батарея с шестью орудиями! — отчеканил офицер.

Префект сухо поблагодарил и осмотрелся. На перроне, кроме нескольких офицеров, находилась только большая группа беженцев. Балоляну подошел к ним, решив, что не мешает расположить их к себе и к своей партии.

— Господа, мы прибыли, чтобы восстановить порядок, и мы его восстановим без промедления! Прошу вас, окажите нам доверие и помогите, проявив немного терпения.

Полковник Штефэнеску, приехавший этим же поездом, не успокоился, пока не попросил шепотом майора Тэнэсеску не забывать о нем, так как только на него, майора, он возлагает все надежды. Полковник считал, что ему очень повезло,— по-видимому, бог смилостивился над ним, раз поручил именно Тэнэсеску командовать воинской частью. Они были давними однокашниками и как раз в доме Тэнэсеску укрывались от мужиков дочери Штефэнеску да и он сам, после того как крестьяне прогнали его из усадьбы.

Со станции префект, в сопровождении представителей прокурорского надзора и Тэнэсеску, быстро проследовал в примэрию.

Л. Ребряну
«Восстание»

Волостной начальник доложил все имеющиеся у него данные о положении в восставших селах. Картина оказалась весьма безотрадной, тем более что, судя по всему, крестьяне намеревались оказывать упорное сопротивление. Сведения были, разумеется, почерпнуты от лиц, бежавших или изгнанных из усадеб и, следовательно, до смерти напуганных силой, напористостью и жестокостью повстанцев. Несмотря на это, Балоляну, хотя и дрожал в душе, внешне сохранял спокойствие и уверенность.

— Во всяком случае, мы будем действовать без спешки и не поддаваясь слепому гневу. Мирному населению мы несем мир. В отношении остальных примем меры принуждения. Мы не желаем кровопролития, но там, где это будет необходимо, пустим в ход оружие без малейшего колебания. Это наша основная линия, господин майор и господа прокуроры.

Затем, расстелив на столе карту уезда, они снова обсудили маршрут, разработанный еще вчера в префектуре Питешти. Балоляну решил, что он вместе с главным прокурором поедет в коляске, во главе колонны войск. Майор возразил, что префект не должен подвергать себя такой опасности, и предложил принять меры предосторожности, предписанные уставом. Балоляну охотно согласился не рисковать и принял предложение майора: усиленный патруль под командованием офицера предварительно проведет в селах разведку и принудит мужиков с уважением встретить представителей законной власти...

Григоре Югу, который остался на станции вместе с Титу Херделей, сразу же окружили многочисленные знакомые, которые с опечаленными физиономиями наперебой выражали ему свое искреннее соболезнование. Григоре заметил среди них Исбэшеску.

— Да подойдите ближе, расскажите мне наконец, что случилось!

— Здравия желаю, господин Григорицэ! — растерянно пробормотал бухгалтер.— Вы уж меня простите за то, что я не осмеливался... Правда, здесь есть еще кое-кто из наших, кому чудом удалось спастись из когтей душегубов!

Григоре даже не заметил, что рядом с Исбэшеску стояли унтер-офицер Боянджиу и сборщик налогов Бырзотеску. Меньше чем за сутки на Югу обрушилось столько горестных новостей, что в душе у него все перевернулось. И все-таки, по существу, он еще не знал ничего определенного. Сведения он получал от людей, которые тоже знали обо всем лишь по слухам, от третьих лиц. Неуверенность мучила его хуже, чем самая жестокая, но достоверная правда. Он и рвался сейчас в Амару главным образом для

того, чтобы точно узнать, что случилось. Ему казалось, что вместе с определенностью он обретет и душевный покой.

Они пошли вместе, и по дороге Григоре попросил своих спутников рассказать ему все, что они знают. Начал Бырзотеску, но до того подробно стал повествовать о своем бегстве, что Григоре пришлось его перебить. Бояпджиу пожаловался на то, что его жена осталась среди мужиков. А как она его умоляла увезти ее хоть куда-нибудь. Если с ней что случилось, это останется на его совести до самой смерти... Затем он рассказал, как бунтовщики обезоружили и прогнали его. Не желая выставлять себя в невыгодном свете, Бояпджиу заблаговременно сочинил героическую версию: как только в Руджиноасе заполыхал пожар, он помчался туда и, согласно уставу, принял все необходимые меры, чтобы помешать огню распространяться дальше. К несчастью, он натолкнулся на злонамеренное сопротивление крестьян, кроме того, не хватило воды, так что не удалось спасти почти ничего. Но он, по крайней мере, сумел напасть на след злоумышленников-поджигателей. Утром он доложил об этом старому барину, и тот приказал закрыть на все глаза, чтоб еще больше не разъярять крестьян. Бояпджиу не успел даже передохнуть, как ему сообщили, что в Леспези тоже подожжена усадьба и совершены еще более страшные злодеяния. Тогда же ему дали знать, что горит и усадьба Козмы Буруянэ. Он решил немедленно навести порядок любой ценой, даже если бы для этого пришлось пойти на кровопролитие. Стало очевидно, что бандиты действуют по определенному плану и речь идет о самом настоящем заговоре. Неподалеку от корчмы он встретил толпу крестьян, на вид тихих и смирных. Он вошел в эту толпу и...

Григоре Юга терпеливо слушал Бояпджиу, пока тот не рассказал всю свою историю. Так он, по крайней мере, узнал, как начались беспорядки. Остальное он надеялся услышать от Исбэшеску. Впрочем, об убийстве Мирона Юги все узнали именно от Исбэшеску. Добравшись до Костешти в крестьянском платье, тот стал героем дня. Ему пришлось, по крайней мере, раз двадцать рассказывать местным господам об ужасных событиях, происшедших в Амаре. Волостной начальник тут же официально сообщил новость в префектуру, смертельно напугав Бооpеску, а от него ее узнал уже весь город. Градоначальник предложил Исбэшеску кров в собственном доме и раздобыл для него у помощника судьи костюм, который Исбэшеску, стремясь подольше сохранить мученический венец, надел, однако, не сразу, а лишь сутки спустя.

— Моя история длиннее, господин Григорицэ,— начал бухгалтер скорбным, под стать обстоятельствам, голосом.— Если уж хотите меня выслушать, то не сочтите за труд, зайдите вместе со

мной на квартиру к градоначальнику, где меня приютили, благо это совсем рядом, и я расскажу вам все, до мельчайших подробностей!.. Ох, боже, боже!.. Чего только я не пережил, чего не насмотрелся, и сейчас не верится, что все это случилось на самом деле! Я-то хоть, слава всевышнему, остался в живых, а вот бедный барин Мирон, упокой господи его душу...

— Он умер? — выдохнул Григоре.

— Убили его разбойники...

— Когда?.. Давно?..

— Позавчера, в пятницу, под вечер! — ответил Исбэшеску.

— Пойдемте к вашему хозяину, расскажете мне все! — упавшим голосом пробормотал Григоре.

Совещание префекта с офицерами и представителями прокуратуры затянулось. Балоляну имел привычку повторять каждое свое указание раз по десять, предусматривая все мелочи, дабы не сомневаться, что его правильно поняли. Так он всегда поступал дома, в своей конторе, разъясняя секретарю любые процедурные пустяки, тем более действовал он так сейчас, когда шла речь о важнейших решениях, от которых могла зависеть его жизнь, да и судьба страны! Сочтя наконец, что все уже достаточно ясно, он торжественно заявил, встав в героическую позу:

— А теперь, господа, вперед, приступим к исполнению своего долга!

Несмотря на то что перед коляской, в которой он восседал с главным прокурором, шагала рота солдат с заряженными винтовками и туго набитыми патронташами, Балоляну чувствовал, что душа у него уходит в пятки. Он вспомнил заплаканную, взволнованную Меланию, которую оставил на перроне Северного вокзала в Бухаресте. Только бы это не было плохим предзнаменованием! Мужики, охваченные повальным безумием, способны на все! Их так много, что никакой армии не под силу их сломить. А как быть, если несколько тысяч этих отчаявшихся разбойников вдруг окружат их и атакуют со всех сторон? Ведь, в сущности, и на армию нельзя полностью полагаться, когда выступаешь против крестьян: в любую секунду тебя могут растерзать твои собственные солдаты.

— Как вы полагаете, господин главный прокурор, почему именно в этом чудесном уезде беспорядки приняли столь огорчительные размеры? — спросил вдруг Балоляну, надеясь развеять черные мысли и взбодрить себя.

Тома Греческу обращался к социологическим теориям очень редко, лишь когда выступал перед присяжными заседателями или когда приходилось возражать очень уж дотошному адвокату. То-

гда он, разумеется, готовился заблаговременно. Сейчас вопрос префекта застал его врасплох. До сих пор он не удосужился подумать о причинах восстания. Свободное время он проводил, как все приличное общество города Питешти, за покером. Потому он ответил неуверенно, нащупывая почву:

— Видимо, произошло какое-то всеобщее расшатывание устоев и авторитетов, господин префект. Я не знаю, как и почему, ибо подобные исследования не входят в круг моих обязанностей, но за последнее время общественная дисциплина повсюду ослабла. А мужики, как всякие первобытные индивидуумы, неминуемо реагируют на это взрывами дикой жестокости...

Майор Тэнэсеску, верхом на статном гнедом коне, сперва спокойно ехал рысью перед основной колонной и даже перед авангардом, сразу же за разведывательной ротой. Вдруг Балоляну заметил, что он бешеным галопом скачет назад. Он вздрогнул. Впереди вырисовывались очертания какой-то деревни. Префект схватил за руку главного прокурора, приостановив его интеллектуальные потуги.

— Одну секунду... Что-то там, должно быть, произошло. Видите, как мчится сюда майор.

Но Тэнэсеску торопился только для того, чтобы доложить им, что в селе Влэдуца царит порядок. Правда, крестьяне спалили усадьбу и все там разграбили, но теперь опомнились и просят прощения. Чтобы предотвратить возможность новых беспорядков, майор решил оставить в деревне отделение солдат под командованием офицера.

— Прекрасно, господин майор! Благодарю вас! — облегченно вздохнул Балоляну.

На улице, перед развалинами усадьбы, была собрана вся деревня. Как только подъехала коляска префекта, майор Тэнэсеску, который галопом вновь перегнал ее, гаркнул:

— На колени, разбойники, не то в порошок сотру!

Крестьяне рухнули на колени, и Балоляну почувствовал к майору горячую признательность за проявленную энергию. Выйдя из коляски, он приблизился к распростертой на земле толпе.

— Что вы наделали, несчастные! — начал он, стараясь, чтобы в голосе его прозвучало сострадание.

— Помилуйте нас, господин префект!.. Пожалейте!.. — вырвалось из сотен глоток.

— Вы раскаиваетесь в содеянном? — продолжал префект.

— Ох, грехи наши... Смилуйтесь и пощадите! — продолжал причитать коленопреклоненный хор.

Предупредив крестьян, что они должны будут возместить убытки до последней полушки, а тот, кто будет признан виновным,

понесет примерное наказание по всей строгости закона, Балоляну прочел им правительственный манифест, сопровождая его многословными разъяснениями. После широковещательной и туманной речи префекта майор веско заявил:

— Кто совершит еще хоть малейший проступок или не подчинится приказу, будет немедленно расстрелян без суда и следствия. Никто не имеет права покидать деревню без разрешения офицера, который останется здесь с воинским подразделением.

Затем он приказал младшему лейтенанту поступить в распоряжение полковника Штефэнеску, который скоро прибудет, и вместе с солдатами оказывать ему всяческое содействие.

Префект был очень доволен. Именно такой командир воинской части был ему нужен. Он даже подумал, что надо будет представить майора к награде, если тот и дальше будет продолжать в том же духе. Он лично как лицо штатское и политический представитель правительства должен быть снисходительнее. Правительство нуждается в симпатиях граждан, даже крестьян. Армии же безразличны симпатии и антипатии. Любить армию обязаны все. Кто ее не любит или выступает против нее, попадает за решетку. А как было бы хорошо, если б можно было обязать народ вечно любить правительство!

В следующей деревне, Ионешти, префект произнес более мягкую речь, так как там вообще обошлось без беспорядков,— правда, там не было барской усадьбы.

Когда военная колонна покинула Ионешть, майор Тэнэсеску поскакал к замыкающей роте, чтобы дать последние указания капитану, которому было поручено усмирение сел на правом берегу реки Телеорман, вплоть до Извору. Гражданскую власть должны были представлять там один из прокуроров и волостной начальник, сопровождавшие роту в бричке.

В Бабароаге один взвод под командованием лейтенанта был отправлен в качестве флангового охранения по линии Глигану — Леспезь. Так как беспорядки в Глигану, по полученным сведениям, были наиболее серьезными, лейтенанту надлежало принять особые меры предосторожности. В случае надобности он должен был занять село и остаться там со своим взводом, отправив в Леспезь патруль с донесением.

Основная колонна продолжала марш к Бырлогу, двигаясь по дороге, на которой обычно редко встречались даже крестьянские повозки. В самом Бырлогу префект был приятно удивлен, увидев почти на каждых воротах белую тряпку, вывешенную как флаг мира.

— Ясно, что в этом селе живут порядочные люди,— заявил Балоляну, узнав, что здесь не произошло никаких беспорядков и

осталась нетронутой даже скромная барская усадьба, в которой никто не жил, но хранилось зерно.

Группа крестьян поджидала около примэрии прихода войск. Похвалив землепанцев за благоразумие, префект патетически объявил им, что правительство позаботится о них и что оно уже решило предоставить крестьянам всевозможные льготы и всячески помогать тем, кто достойно себя вел. Чтобы тут же продемонстрировать правительственную заботу и любовь, он внятно, с дрожью в голосе, прочитал манифест о реформах, разъясняя «по-народному» все то, что, казалось ему, может показаться крестьянам непонятным. Мужики слушали с непокрытыми головами, хмурые, бросая на префекта недоумевающие и какие-то странные взгляды.

— Ну, желаю вам здоровья, люди добрые, и надеюсь, что вы и впредь не сойдете с праведного пути! — воскликнул в заключение Балоляну, усаживаясь в коляску.

До самой Леспези, в течение получаса, он расписывал, не умолкая, заслуги этих славных крестьян, которые не поддались волне ярости и насилий, захлестнувшей весь край, не утратили душевной твердости и сохранили порядок. Главный прокурор Греческу, основываясь на своем обширном опыте в уголовных делах, заметил, что было бы целесообразно немедленно провести во всех усмиренных селах ускоренное следствие, выявить главных зачинщиков и арестовать их, чтобы вернее предотвратить новую вспышку беспорядков.

— Конечно, с процедурной точки зрения вы вполне правы! — согласился префект.— Но, сударь мой, мы должны учитывать и политический фактор. Беспорядки слишком распространились, и люди предельно возбуждены. Наша первая цель — умиротворение возбужденных умов. Крестьяне должны успокоиться, не опасаясь репрессий, которые только сильнее озлобили бы их, а это еще больше осложнило бы положение. Виновные, несомненно, будут примерно наказаны, но лишь после того, как мы добьемся повсеместной разрядки. Затем уж настанет очередь правосудия, которое беспощадно покарает виновных, дабы избежать в будущем повторения подобного рода общественных бедствий.

На околице Леспези майор Тэнэсеску отрапортовал, кипя от возмущения:

— Господин префект, тут разбойничье гнездо! Здесь были совершены убийства!.. Мы должны...

— Спокойнее, спокойнее, господин майор! — испуганно воскликнул Балоляну.— Наша миссия и так слишком болезненна, и потому мы обязаны сохранять хладнокровие.

Ворча и ругаясь сквозь стиснутые зубы, майор провел Балоляну прямо в церковь. Молоденький безбородый священник в пол-

ном облачении поджидал их у дверей с подобострастным и смертельно напуганным лицом, так как чуть раньше майор Танасеску грубо обругал его и пригрозил расстрелять.

— Господин префект, мы были совершенно беспомощны и не смогли помешать...— смиренно пробормотал священник, низко кланяясь.

— Пропусти, разбойник,— прошипел майор, отталкивая его локтем от двери.

Рядом с алтарем, на импровизированном катафалке, лежало тело Надины, прикрытое саваном. Майор приподнял уголок савана, открыв посиневшее, сморщившееся лицо. Балоляну отвел взгляд и, заикаясь, пролепетал:

— Ох, звери... звери!.. Несчастная женщина!

Он поспешно вышел из церкви. Ему казалось, что резкий удушающий запах, застрявший в ноздрях, вывернет наизнанку желудок. Он несколько раз глубоко вдохнул свежий воздух, невнятно бормоча какие-то негодующие слова, и тут заметил молодого священника, оцепеневшего у входа в церковь.

— Как же это, батюшка, вы допустили подобное злодеяние?.. Бедный Григорицэ! Какой для него будет удар, когда...

Священник оправдывался плачущим голосом. Все произошло до того внезапно и неожиданно, что ни он, ни кто-либо другой не успели вмешаться. Позднее он узнал, что подстрекателями всех бесчинств были какие-то мужики из Амары и они же совершили самые страшные преступления. Он знает виновных, да и все село их знает, но назвать их не смеет, опасаясь, что в Леспези после этого ему не будет житья. Далее он рассказал префекту, как Матей Дулмару спас тело барыни, когда толпа подожгла усадьбу, и как потом он, священник, положил ее останки в церковь, у самого алтаря, чтобы над ней не надругался какой-нибудь умалишенный, что было вполне возможно в эти страшные дни небывалых потрясений. Кроме того, он с огромным риском укрыл у себя дома раненого шофера-немца, которого мстительная толпа грозилась растерзать на куски.

— Хватит болтать! — воскликнул, содрогаясь, Балоляну.— Мы разберемся во всем этом и примем меры! А пока... Где староста вашей деревни?

— У нас в деревне нет старосты, мы подчиняемся Амаре...

Дальнейшие объяснения священника не интересовали Балоляну. Он повернулся к главному прокурору и рассказал ему о Надине и Григоре, одинаково жалея обоих.

— И все-таки мы должны сохранять хладнокровие, обязаны сдерживаться! — вздохнул он печально, но внушительно.— Идемте, надо выполнять свой долг!

Он вышел на улицу, медленно подбирая слова речи, с которой намеревался обратиться к крестьянам, собранным перед обгоревшими развалинами усадьбы Гогу Ионеску. Он решил дать им строгую выволочку, однако не ожесточая их, дабы не подорвать выполнение своей миротворческой миссии, которое до сих пор шло довольно успешно... Майор, который уходил, чтобы отдать кое-какие распоряжения, вернулся в диком гневе.

— Эти разбойники, господин префект, слов не понимают!.. Если мы будем продолжать в том же духе, дело кончится тем, что они на нас нападут, господин префект!.. Эти проклятые бандиты думают, что мы их боимся, господин префект!

От лейтенанта, направленного со взводом в Глигану, майор получил донесение, что тот вынужден задержаться в деревне, так как положение там очень сложное. В то же время внимание майора обратили на то, что со стороны Бырлогу вздымаются клубы дыма. В ответ на недавние добрые слова и похвалы, на реформы и льготы, обещанные правительственным манифестом, негодяи подожгли усадьбу сразу же, как только войска покинули деревню. Это весьма серьезно. Если они отваживаются восставать в тылу войск, значит, зло пустило гораздо более глубокие корни, чем можно было предположить... Майор Тэнэсеску категорически заявил префекту, что его часть рискует попасть в окружение, а он не вправе этого допустить, так как отвечает головой за своих солдат. Балоляну перепугался. Ему тут же представилось, как толпы озверевших мужиков окружают его со всех сторон, избивают, пытают, убивают. Предчувствие Мелании грозило сбыться.

— Господин майор, прошу вас немедленно принять все меры, которые вы сочтете необходимыми! — отрывисто распорядился он чуть дрогнувшим голосом.

Два взвода были направлены в Бырлогу, чтобы навести там порядок. Следовало немедленно наказать абсолютно все село — подвергнуть порке всех без исключения, мужчин, женщин и детей. При малейшей попытке сопротивления войска должны открыть прицельный огонь, а в случае необходимости подтянуть пушки и стереть с лица земли гнездо бунтовщиков.

Как раз когда оба взвода двинулись форсированным маршем к Бырлогу, из Амары вернулся разведывательный патруль и доложил, что крестьяне, вооруженные косами, вилами, топорами и несколькими винтовками, собрались на околице и не пустили солдат дальше, а офицера пригрозили убить, если он попытается проникнуть в село.

Балоляну побледнел. Теперь ему казалось, что он попал в страшный капкан. Волостной начальник был прав, когда утверж-

дел, что крестьяне хорошо организованы и способны противостоять даже армии.

— Ну как, господин майор? Что будем делать? — растерянно спросил он охрипшим голосом.

— Ничего, господин префект, найдем управу на этих бандитов! — воинственно ответил майор, яростно сверкнув глазами, и тут же отдал необходимые приказы.

Солдаты снова двинулись вперед. Влезая в коляску, Балоляну, словно проверяя основной предохранительный клапан, тихо, так, чтобы его никто не услышал, спросил Тэнэсеску:

— Надеюсь, в своих людях вы уверены, господин майор?

— Румынский солдат выполняет приказы, господин префект. Он самый надежный солдат на свете!

Выезжая из Леспези, префект доверительно сказал главному прокурору:

— Представьте себе, что произошло бы в нынешней ситуации, если б мы не могли рассчитывать на дисциплину в армии!.. Настоящая катастрофа!.. Я, конечно, говорю об общем положении, не думая уж о судьбе, уготованной нам, тем, кто ради счастья отчизны приносит себя в жертву здесь.

7

Крестьяне, собравшиеся на околице села, на шоссе и вокруг него, не находили себе места от нетерпения. Лица у них раскраснелись, глаза горели. Люди ждали, шумя и подбадривая друг друга, как на большой свадьбе. Каждому хотелось что-то сказать, как будто остальные ничего не знали или не видели своими глазами, но все говорили одно и то же и почти одними словами. Изредка воцарялась тишина, и тогда мужиками овладевало тягостное напряжение, которое они тут же старались с себя стряхнуть новыми, еще более лихими воплями и криками, словно боясь очнуться от счастливого опьянения.

— Глядите, опять идут! — закричало сразу несколько голосов.

Все головы повернулись в сторону Леспези. Крестьяне знали, что каратели снова придут, что они должны прийти, но каждый про себя надеялся, что они все-таки не вернутся.

— Пусть идут, пусть идут, их-то мы и ждем! — крикнул Петре Петре тонким, не своим голосом.

Николае Драгош, который стоял рядом с ним, сжимая в руке железные вилы, выдохнул с дикой ненавистью:

— Ничего, сейчас мы с ними расправимся, в бога, солнце, богородицу...

Он захлебнулся потоком ругани и заскрежетал зубами. Рядом с ним вопил бабьим голосом Кирилэ Пэун, угрожающе размахивая, как дубиной, винтовкой, отобранной у жандарма. Подальше Тоадер Стрымбу, вооруженный такой же винтовкой, клялся в середине людской гущи, что не успокоится, пока не размозжит башку офицеру, который командует войсками, будь то хоть генерал. Серафим Могош, молчаливый и хмурый, тоже обзавелся винтовкой самого унтера, но держал ее сейчас на ремне за плечом, как старательный рекрут, хотя никогда не служил в армии. За спиной Петре тенью мельтешил Илие Кырлан. Он тоже размахивал винтовкой и непрерывно повторял: «Дядя Петрикэ... Дядя Петрикэ!..» — словно не в силах был сказать ничего другого. То здесь, то там вспыхивали брань, крики. Ярость рвалась из глаз и глоток, как ядовитый пар, обволакивая невидимым туманом сотни людей. Косы, топоры, вилы, заступы мелькали над головами, будто люди пытались одними угрозами отпугнуть и остановить опасность. Визгливые голоса женщин и детей пронзали басовитое гудение мужчин, как уколы иглы грубое посконное полотнище.

Пока крестьянская толпа бурлила, топчась на месте, колонна солдат ползла по шоссе огромной черной гусеницей. Лучи солнца, падая на блестящие штыки, примкнутые к ружьям, отражались испуганными бликами. Вскоре стали вырисовываться отдельные шеренги, несколько всадников, коляска с префектом и прокурором и, наконец, орудия с шестерками лошадей, замыкавшие это апокалипсическое тело, точно приплюснутый хвост, покрытый металлической чешуей.

По мере того как молчаливое войско приближалось к селу, гул толпы все крепчал, перерастая в громыхание какого-то грозного хора. Народ рассеялся далеко по сторонам шоссе, словно все хотели получше рассмотреть врага и схватиться с ним.

Над военной колонной прозвучал резкий окрик приказа. Две роты развернулись в цепь, одна справа, другая слева от шоссе, и остановились шагах в ста от крестьянских ватаг. По шоссе, в просвете между ротами, приближалась коляска префекта Балоляну, которую сопровождал верхом на коне майор.

— Спокойно, господин майор! Мы не должны терять спокойствие! — пролепетал смертельно бледный Балоляну, нерешительно выходя из коляски.

Главный прокурор, который сошел вслед за ним, казался хладнокровнее всех.

— Как прикажете, господин префект! — ответил майор Тэнэсеску, так резко взмахнув хлыстом с серебряной рукояткой, что его конь запрядал ушами.— Впрочем, вы их теперь сами видите

и слышите и можете убедиться, что они не заслуживают ничего, кроме пуль и штыков.

— Нет, нет! — пробормотал, заикаясь, Балоляну.— Сначала мы должны...

Ноги у него подгибались, зубы стучали, сердце терзал отчаянный страх, он боялся, что солдаты побратаются с мужиками и перебьют всех господ.

Крестьянская толпа вдруг заколыхалась на месте, словно водная поверхность под порывами изменчивого ветра. Неистовые крики и гиканье придавали этому зрелищу что-то особенно грозное, воинственное.

— Не нужны нам бояре!.. Пришли убивать нас? Не боимся солдат!.. Хватит, довольно над нами издевались, живодеры! Долой! Убирайтесь! А вы, братцы, не стреляйте.

Префект оцепенел на шоссе, не сводя глаз с бурлящей толпы и тупо бормоча:

— Спокойно, господа, спокойно...

Главный прокурор Греческу отстал на несколько шагов, а майор, едва сдерживая нетерпение, слегка пришпоривал своего коня; тот вздрагивал и плясал на месте.

Из толпы вырвалась Ангелина с малышом на руках. Платок ее соскользнул на спину, волосы растрепались.

Она подскочила почти вплотную к Балоляну, истошно воня и кляня все на свете.

Словно пытаясь ее защитить, Антон-юродивый погнался за женщиной и потянул назад с криком:

— Не слушайте вы эту бабу, она горемыка несчастная и не знает, что говорит!.. Посторонись, Ангелина!.. И молчи, ни слова не говори, я скажу им все, что повелел мне господь! Пробил час Страшного суда, и люди должны узнать истину!.. Не стойте так, братцы, наставив ружья на своих обездоленных братьев. Поверните ружья против дьявола, который послал вас убивать невинных...

Слова его рассыпались клокочущим вихрем искр, грозящих воспламенить все на своем пути. Голос юродивого властно разнесся над гулом толпы, будто голос необыкновенного певца, которому вторит огромный варварский хор.

Солдаты неподвижно стояли по обе стороны шоссе перед орущей толпой — черные и холодные, точно машины, принявшие человеческий облик. Одни глаза сверкали огоньками на смуглых лицах.

На шоссе между двумя стенами солдат, будто в воротах, открытых в иной мир, суетились ошеломленные и побледневшие префект Балоляну, главный прокурор и майор Тэнэсеску, за которы-

ми стояла пароконная коляска и простиралось неподвижное тело основной маршевой колонны с артиллерийской батареей в хвосте.

— Что ж нам делать? Что делать? — нервно вскрикивал префект, лихорадочно комкая в правой руке правительственный манифест.— Что нам делать, господин майор?.. Что делать, господин прокурор?

— Эти бандиты окончательно рехнулись! — отозвался майор, горяча гарцующего коня, будто на параде.— Они способны напасть на войско, вот увидите, господин префект!

— И все-таки мы обязаны довести до их сведения манифест, господа! — продолжал в смятении Балоляну, не сводя глаз с яростной толпы, которая, казалось, надвигается, хотя она не трогалась с места, возбужденно бурля.— Что вы скажете, господин прокурор?

— Главное, не терять голову! — испуганно ответил Тома Греческу.— Закон необходимо соблюдать, господин префект!

— Трубач, трубач! — рявкнул Тэнэсеску.— Где тебя носит, болван?.. Стой здесь, возле меня, понятно?

Трубач батальона, сержант-кавалерист, прискакал галопом, приставив по уставу трубу к правому колену.

— Слушаюсь, господин майор!

Тэнэсеску отвернулся. Больше всего его бесили слова Антона, как будто тот оскорблял его лично. Он подумал было кинуться на юродивого и отхлестать его перед всем народом, чтобы никому неповадно было бросать вызов армии. Но неожиданно для самого себя он закричал префекту:

— Господин префект, вы что, не слышите, как призывают к неподчинению и к бунту войска, находящиеся под моим командованием?.. Я обязан принять меры, господин префект!.. Я отвечаю за безопасность войск, господин префект!

— А я вам запрещаю повышать голос, господин майор! — тоже закричал, обозлившись, Балоляну.— Вы тут в моем подчинении, а не я в вашем!

Ангелина, не переставая вопить, металась перед солдатским строем, держа в одной руке ребенка, а другой хлопая себя по заду:

— И как вам только не стыдно? Вы кто — солдаты или душегубы!.. Срамота!.. Не боюсь я ваших ружей, не боюсь, и все!.. Стреляйте сюда, коли посмеете! Стреляйте!.. Чего ж не стреляете?.. Вот сюда! Сюда!

Тэнэсеску, увидев ее, снова взмахнул хлыстом.

— Полюбуйтесь только, как эта чертова баба насмехается над армией!.. Вот мразь, мать ее!.. Хватайте ее, ребята!..

Стена солдат не шелохнулась, словно отлитая из стали. Зато над бурлящей толпой взвились новые крики:

— Не давайте им убивать ее!.. Бей их, ребята!.. Вперед, братцы!..

Кое-где группки смельчаков ринулись к стене солдат, в то время как другие швыряли комья земли и камни. Конь майора, в которого попал шальной камень, испуганно поднялся на дыбы.

— Вы что, ждете, чтобы бандиты нас растерзали? Не видите, что они начали нас обстреливать? — крикнул Тэнэсеску главному прокурору и тут же резко скомандовал: — Трубач, подай сигнал!.. Трубач!..

В то же мгновение воздух пронзил медный голос трубы. Щеки сержанта вздулись и покраснели, а конь его запрядал ушами.

— Именем закона!..

Слова прокурора — испуганные, прерывающиеся — не достигли даже слуха префекта. Только беспощадный и угрожающий вой трубы огненным бичом змеился над головами. Труба еще звенела, когда майор Тэнэсеску уже что-то отрывисто скомандовал, высоко подняв хлыст. Двести винтовочных дул вскинулись одним и тем же судорожным рывком и уставились на крестьян. Дикие крики на миг прекратились, будто обрубленные мечом, но тут же взорвались еще оглушительнее:

— Нет у них права стрелять!.. Не трусь, дедушка!.. Давай, ребята, не застрелят они вас! Стыд-то какой, Ангелина нас перегнала!

Но тут же раздались другие команды — суровые, пронзительные, точно скрежет ржавой пилы. Стена солдат ответила на них машинальными и отрывистыми движениями. Винтовочные дула, на которых играли белые солнечные полоски, поднялись до уровня глаз, пальцы одновременно нажали на курки, и под небосводом прогрохотал торопливый залп.

Пока солдаты такими же автоматическими движениями опускали и перезаряжали винтовки, в гуще толпы раздались вопли ужаса. Казалось, по полю хлестнул порыв урагана, и крестьяне чуть было не кинулись врассыпную.

— Они стреляли вверх!..— заревел Петре, вытаращив глаза.— Не бойтесь, братцы!.. Стойте на месте!.. Куда?.. Не бегите!.. Вперед, люди добрые!.. Отберем у них винтовки!

Грохочущая волна пуль, казалось, смела все шумы, загрязнявшие воздух, и на мгновение воцарилось глубокое, горестное молчание. Всепоглощающий ужас будто разрядил воздух, на поверхности земли осталась только пустота — огромная, терзающая душу. В этом пустынном молчании голос Петре обрушился на толпу, как жаркий, воспламеняющий ливень. Из всех глоток разом вырвался вопль, который, казалось, накалил воздух сильнее, чем недавний

залп. Затем голоса снова сплелись в смутный гул, вязкий, как болото, взбаламученное градом.

— Господин майор! — завопил Балоляну, шляпа которого съехала на затылок, а лицо стало землистым.— Крестьяне нападают на нас!.. Вы что, не видите?.. Господин прокурор!..

Ему почудилось, что обезумевшая толпа берет разбег, чтобы наброситься на солдат. Страх раздирал его сердце, и в то же время он отчаянно злился на майора, который, видно, готов был отдать его на растерзание банды бунтовщиков.

Но майор Тэнэсеску ничего сейчас не слышал, до того он был взбешен. Больше всего бесил его префект, трусливая медлительность и нерешительность которого вынуждали его сносить непристойности, оскорбления и даже удары мужиков.

— Трубач! — заорал он.— Чего не трубишь, негодяй!.. Труби все время, мерзавец, труби, пусть услышит и господин префект, пусть узнает, что здесь не политика!.. Эти бандиты жаждут нашей крови, уважаемый господин префект!.. Слышите, господин префект?

Конь майора, ошалевший от воплей толпы, нес его по кругу. Труба сверлила воздух с упорной настойчивостью, как будто в ране поворачивали нож.

Ошеломленные трубным голосом боевой тревоги, группы крестьян с дубинами, вилами и косами двинулись к стене солдат, словно собрались отбиваться от волков.

Майор Тэнэсеску поднял хлыст. Прозвучали две лающие команды, подчеркнув дважды повторившийся металлический лязг, короткий и ритмичный. Затем, одно за другим, визгливо рванули воздух короткие слова:

— На прицел!.. Огонь!

Толпа споткнулась, будто каждого ударили кулаком в грудь, но лишь на мгновение, пока грохотал залп и стволы винтовок, курившиеся белым дымком, снова занимали горизонтальное положение. Медные вопли трубы все не смолкали... Отзвуки выстрелов еще не отгрохотали, свист пуль еще не унялся, а из людской гущи уже брызнула кровь, раздались дикие вопли боли. Несколько человек рухнули, царапая землю ногтями, грызя ее зубами, извиваясь и корчась в муках, как раздавленные черви.

— Ох!.. Убили меня, мама!.. Ой, братцы!.. Застрелили, люди добрые!..

В тот же миг толпа ринулась назад, увлекая в своем бегстве и тех немногих, кто не струсил. Страх вонзил свои бесчисленные жала в толпу, потрясенную стрельбой, и люди в панике бросились к селу...

Глаза майора Тэнэсеску сверкали стальным блеском; он стиснул челюсти, крепко сдерживая своего коня. Трубач рядом с ним непрерывно надувал щеки, точно мехи, и слегка покачивал трубу, а его лошадь, изогнув шею и опустив голову, грызла удила, роняя серую пену. Чуть позади оцепенело замер префект, взгляд его блуждал, и он непрерывно твердил прокурору, который, казалось, прислушивался, но ничего не слышал:

— Необходимо соблюдать хладнокровие, чтобы не проливать невинную кровь...

Балоляну сознавал, что говорит о крови, всячески пытался избежать этого слова, но оно вылезало снова и снова, обжигая рот, будто это и была сама кровь.

Хлыст майора снова взвился в воздух, его резкий голос еще раз прорвался сквозь хрип трубы, винтовки опять произвели несколько коротких движений, и снова таким же протяжным залпом прогрохотали выстрелы.

— Господин майор, господин майор! — крикнул префект, не в силах сдвинуться с места.— Это же кровопролитие...

Он огорченно осекся — на язык снова подвернулось слово «кровь». Показалось даже, что запах крови щекочет ему ноздри. Тэнэсеску повернул к префекту голову, но ответил только презрительным взглядом и тут же отдал несколько команд, которые привели в движение стену солдат...

Крестьяне бежали сломя голову, толкались, сшибались, топтали друг друга, вопили. Большинство устремилось к шоссе, но многие бросились врассыпную по садам и окраинным дворам, стараясь быстрее укрыться от пуль. На поле осталось несколько десятков тел. Одни корчились и стонали, другие замерли неподвижно в том положении, в каком их настигла смерть. У канавы, на обочине шоссе, лицом вверх, неподвижно лежала Ангелина, пораженная пулей в лоб. Ребенок в ее мертвых объятиях плакал, перебирая голыми ручонками, будто пытаясь оторваться от материнской груди. Недалеко от Ангелины какой-то старик корчился между убитым мальчиком с перекошенным от ужаса лицом и Кирилэ Пэуном, который хрипел, лежа неподвижно, отхаркивая после каждого хрипа черную кровь, заливавшую его бороду, шею, грудь и запекавшуюся широкими полосами... Белыми пятнами лежали на тучной земле Амары только тела убитых или умирающих крестьян, а раненые убегали или ползли между остальными беглецами, оставляя кровавые следы.

— Не бегите, братцы!.. Постойте, братцы!.. В бога мать их!..

Петре кричал во все горло, как кричал с первой же минуты, но ничего не мог поделать: бегущая толпа тащила его за собой, и он был беспомощен, как листок, увлекаемый водяным потоком,

прорвавшим плотину. Илие Кырлан, крепко сжимая в руках бесполезную винтовку, тяжело дыша, бежал рядом с Петре, заражаясь его отчаянием. Где-то дальше метался Николае Драгош, пытаясь пробраться к Петре и перекинуться с ним хоть словом. Но охваченная ужасом толпа непреодолимо засасывала и втягивала в себя всех, в безумном порыве стремясь достичь хоть какого-то укрытия, которое защитило бы ее от смерти, свистевшей над головой...

Отряд солдат двинулся вслед за бегущей толпой по шоссе, покрытому трупами. Впереди, занимая всю ширину дороги от одной канавы до другой, шагала сомкнутая цепь стрелков, готовая каждую секунду открыть огонь, а с флангов их прикрывали два взвода в походном строю, оставляя середину шоссе свободной для майора Тэнэсеску и батальонного трубача. Майор то и дело выкрикивал отрывистые команды, солдаты останавливались, выстрелы гремели, и марш по деревенской улице, мимо вымерших домов, тут же возобновлялся.

Тэнэсеску видел, как после каждого залпа несколько беглецов — когда больше, когда меньше — валятся на землю, будто они сами ставили друг другу подножку, видел, как кое-кто еще пытается подняться, но затем падает и больше уже не шевелится. Но бегство крестьян еще пуще разъярило его, словно он презирал их трусость или жаждал натолкнуться хоть на какое-нибудь сопротивление, которое оправдало бы стрельбу. Чтобы отвести душу, Тэнэсеску беспрестанно ругался сквозь зубы, а затем снова и снова повторял:

— Стой!.. На прицел!.. Огонь!..

Основная часть колонны остановилась на околице села, поджидая, когда очистится поле боя. Здесь же, рядом с коляской, топтались префект и главный прокурор. Балоляну не совсем ясно понимал, как все произошло, но чувствовал себя глубоко уязвленным тем, что майор отправился преследовать крестьян, а его оставил тут, в столь нелепом положении, хотя именно он, Балоляну, облечен всеми полномочиями и несет за все ответственность. Он принялся объяснять прокурору, что майор зарвался и что, как префект, не потерпит подрыва своего авторитета. Ведь умиротворение — дело весьма щекотливое, требующее хладнокровия и такта, его нельзя превращать в кровавую оргию. Прокурор, вытаращив глаза, поддакивал, непрерывно кивая головой и вздрагивая при каждом новом залпе.

— Стой!.. На прицел!.. Огонь!..— ревел Тэнэсеску в то время, как Балоляну томился на околице села.

Толпа беглецов поредела, их осталось меньше трети. Многих скосили пули, другие, пытаясь спастись от преследователей, до-

бегали до своих домов и укрывались в дворах. Даже Николае Драгош, поняв, что до Петре ему не добраться, а любая попытка сопротивления будет тщетной, подумал было спрятаться в отцовском доме. Но людская волна протащила его дальше. Только миновав свой дом, он сумел вырваться из толпы и пробиться на обочину. В канаве он увидел Гергину, дочь Кирилэ, всю залитую кровью, изуродованную. По-видимому, когда она упала, беглецы затоптали ее. Николае перемахнул через раздавленное тело, намереваясь нырнуть в ближайший двор — двор школы. Он уже добрался до ворот, когда позади грохнул новый залп.

«Всех нас хотят убить, накажи их бог!» — подумал Николае, невольно радуясь тому, что он все-таки спасся.

Вдруг он почувствовал укол в грудь, легкий, будто от простуды, и сразу рот его наполнился чем-то горячим.

«Кажись, что...» — мелькнула и тут же угасла мысль. Он повалился как подкошенный, ударившись головою о столб ворот, с рукой, протянутой, чтобы их открыть.

Поредевшая толпа продолжала мчаться по улице, но теперь молча, точно опасаясь, как бы крики и стоны не навлекли на нее пули преследователей. Не умолкал только голос Петре, он все более хрипло призывал:

— Не бегите!.. Куда вы бежите?.. Не бегите!..

Но и он тоже бежал, хотя сейчас его никто уже не толкал сзади. Парню было стыдно, что он удирает, но он никак не мог остановиться и только взывал к остальным, как бы пытаясь таким образом скрыть от себя собственное бегство. Он сознавал, что все кончено, и горевал, что все кончилось именно так, хотя иначе и быть не могло. Даже в эти секунды он верил, что если бы крестьяне не испугались первых выстрелов, а накинулись на солдат, те дали бы себя разоружить, и господа не смогли бы вернуться. Но теперь все кончено! Теперь надежды рухнули, потонули в крови. Кого не прикончат пули, того забьют насмерть, замучают в застенках, а остальным, вместо того чтобы раздать землю, наденут на шею ярмо, как скотине. Для себя он не ждет никакой пощады, никакой милости, сами односельчане укажут на него как на зачинщика и главаря бунта.

— Что ж нам делать, дядя Петрикэ, что делать? — кричал бежавший рядом с ним Илие Кырлан.

Лицо его побелело от страха, а рубаха была окрашена кровью.

— Я, Илие, не сдамся, пусть лучше убивают! — ответил Петре, не глядя на парня, словно стыдясь его.

Добравшись до площадки перед корчмой, на развилке дорог, Петре остановился. Толпа рассеялась. Отдельные разрозненные группки людей убегали, кто по дороге на Вайдеей, кто — к Руджи-

ноасе. Петре остался только с Илие Кырлапом, который снова спросил:

— Скажи, дядя Петрикэ, что нам делать, я все одно с тобой останусь.

— Замиримся с ними, Илие! — пробормотал Петре, увидев окровавленную рубаху парня.— А куда тебя ранило, гляди, рубаха-то в крови?

— Должно быть, в плечо, совсем его не чую,— пояснил Илие с гордой улыбкой.

— Вот бандиты, мать их!..

У Петре была в руках заряженная винтовка, отобранная у стражника Козмы Буруянэ. Держал он ее за дуло, как дубинку. Горькая злоба душила сердце. Мелькнула мысль тоже бежать домой, как поступили все остальные, но было стыдно перед слепо верящим в него парнишкой.

— Ну, коли так, дядя Петрикэ, подадим им знак, чтоб не убивали они нас ни за что ни про что! — радостно воскликнул Илие.

Он стянул с себя разорванную, окровавленную рубаху, привязал наподобие белого флага к дулу винтовки, которой так гордился, и поднял вверх, чтобы флаг увидели находившиеся еще далеко солдаты. Винтовка была тяжела для его простреленного плеча, и дуло с рубахой качалось, как на ветру.

Они постояли так некоторое время. Вокруг — могильная тишина и никакого движения, будто село вымерло. Дверь корчмы была заперта. Петре что-то бормотал сквозь зубы, точно ожидая чуда. С нижней части улицы, со стороны барской усадьбы, послышался ворчливый, как всегда, голос бабки Иоаны:

— Птички мои, птички, птички, цып-цып-цып...

— Бабке Иоане хоть бы что, и теперь со своими курами возится, слышишь, дядя Петрикэ? — спросил Илие, радуясь человеческому голосу в этой грозной тишине.

— Нет у нее других забот,— хмуро буркнул Петре.

Шли минуты, голос бабки, как молоточек, стучал в висках, и наконец стали ясно видны солдаты вместе с майором, ехавшим верхом на коне в центре. Петре смотрел на них недоверчиво, казалось, он отсчитывает каждый их шаг. Вдруг труба вновь заревела, продолжительно, будто предвещая что-то, и сразу же Петре услышал отрывистые слова команды:

— Стой!.. На прицел!.. Огонь!..

Илие принялся сильнее размахивать белым флагом, боясь, что солдаты могут его не заметить. Залп грохнул оглушительнее прежних. Окровавленная рубаха и винтовка рухнули наземь, как флаг, поверженный к ногам победителей. Илие согнулся пополам, успев только охнуть.

Две пули вонзились и в Петре, но он их не почувствовал.

«Выходит, мало им даже нашего мира! — подумал он, негодуя на солдат, расстрелявших поднятый ими навстречу знак мира.— Ну, коли так...»

Отряд опять двинулся вперед. Будто опомнившись, Петре вскинул винтовку и мстительно нажал на курок. Винтовка глухо выстрелила. В следующее мгновение снова прозвучала команда:

— На прицел!.. Огонь!..

Залп грохнул еще до того, как прозвучало последнее слово. Петре все еще продолжал вызывающе стоять с разряженной винтовкой в руках:

— Будьте вы прокляты, мать вашу!..

Он упал сперва на колени. На белой рубахе выступила кровь.

— Огонь!.. Огонь!.. Огонь!.. — яростно ревел голос майора.

Выстрелы гремели непрерывно, будто сама по себе пришла в движение какая-то трещотка. Петре почувствовал, как голова его тяжелеет, наливается свинцом. Уронил ее на грудь, не в силах больше сохранять равновесие, и рухнул, простонав в последнем яростном усилии:

— В бога... солнце... земля...

Чуть дальше бабка Иоана ковыляла посреди улицы, призывая все настойчивее и нетерпеливее, по мере того как пальба приближалась:

— Птички мои, птички, цып-цып...

Куры беззаботно клевали в канаве по ту сторону улицы. Опасаясь, как бы их не убили, бабка не переставала звать их, лишь изредка неприязненно поглядывая в сторону корчмы, откуда гремели выстрелы:

— Птички мои, птички... Черт бы вас побрал с вашей пальбой!.. Птички, птички, цып-цып-цып!..

Вдруг она резко повернулась на месте, гневно бормоча:

— Да будь оно все...— и тут же, судорожно корчась, рухнула на землю, беззвучно шевеля губами.

Коляска с префектом и главным прокурором в сопровождении батальонного трубача, которого майор направил с приказом к основным силам, остановилась на площадке перед корчмой, окруженная солдатами с примкнутыми к винтовкам штыками.

— Господин майор, прошу вас, я полагал, что...— бормотал Балоляну, странно перепуганный валяющимися на дороге убитыми и ранеными.

Майор Тэнэсеску подскакал к коляске с рукой у козырька и победоносно выпалил:

— Господин префект, имею честь доложить, что в селе Амара восстановлены покой и порядок!

Балоляну увидел в нескольких шагах голый до пояса труп Илие Кырлана и изрешеченное пулями тело Петре, а между ними белую рубаху, распростертую, словно поверженное знамя. Отворачивая голову, он в ужасе пробормотал:

— Да, да... покой и порядок... Превосходно, господин майор!.. Благодарю вас!

ГЛАВА XII

ЗАКАТ

1

До полудня Григоре Юга сдерживал нетерпение и не пытался ехать дальше. Он выслушал все рассказы о событиях в Амаре, о гибели отца и Надины внешне до того спокойно, не проронив ни слезинки, что Титу Херделя не уставал удивляться огромной силе духа своего друга.

— Я должен дать знать Гогу,— решил наконец Григоре.

Захватив с собой лишь Титу, он пошел на почту, чтобы отправить телеграмму. Хотелось хоть на короткое время избавиться от всех тех, кто, словно злейший враг, принес ему столько плохих вестей. Больше всего он нуждался сейчас в одиночестве и тишине. Выходя из почтового отделения, Григоре, как бы разговаривая с собственным сердцем, тихо и печально сказал Титу:

— Никогда бы не подумал, что человек может так страдать.

Сразу же после обеда он попросил Исбэшеску нанять для него пролетку для поездки в Амару. Исбэшеску попытался его убедить, что все-таки лучше бы подождать до утра, но Григоре посмотрел на бухгалтера с такой укоризной, что тот не посмел больше возражать.

К двум часам они уже были в пути. У Исбэшеску, сидевшего на козлах, сердце сжималось от страха. Пытаясь приободриться, но понимая, что Григоре не хочет больше его слушать, бухгалтер шепотом завел с возницей разговор о злодеяниях восставших мужиков. У возницы душа ушла в пятки,— как бы не пришлось поплатиться за эту поездку жизнью, и он уже жалел о том, что дал соблазнить себя высокой ценой.

В деревне Влэдуца около сожженной усадьбы улица была запружена толпой крестьян, стоявших на коленях под охраной солдат с винтовками наперевес и примкнутыми штыками. Навстречу пролетке вышел сержант:

— Назад!.. Назад!.. Сюда нельзя!

Все попытки уговорить его оказались тщетными. Григоре Юге пришлось сойти и получить у офицера разрешение проехать дальше. Еще издали он услышал, как отставной полковник Штефэнеску в бешенстве орет на крестьян:

— Признавайтесь, разбойники, кто из вас поджег усадьбу? Не признаетесь?.. Лучше скажите добром, не то до смерти всех запорю!.. Говорите, кто здесь грабил?

Узнав Григоре, полковник горестно пожаловался, указывая на развалины:

— Посмотрите, сударь, что осталось из того, что я собирал всю жизнь!.. Поглядите только, что сделали со мной эти бандиты!.. Расстрелять их всех без малейшей пощады, коли не пожалели моей старости!.. Я-то надеялся, что они не все разграбят и уничтожат, примчался сюда и вот что нашел!

Голос полковника дрожал от горя и гнева.

— Разойдитесь по сторонам, пропустите пролетку! — гаркнул младший лейтенант, когда Штефэнеску наконец выговорился.

Крестьяне стали приподниматься, чтобы очистить дорогу, но офицер испуганно закричал:

— На колени! На колени! Солдат, бей его!.. Бей его, солдат!..

Пролетка продолжала свой путь через Бабароагу и Глигану до Лешези, где задержалась дольше. Григоре самому себе не признавался, что для него самое страшное — увидеть тело Надины, а не останки отца. Он не встречал ее после благотворительного бала «Оболул», и в его памяти жили ее вкрадчивые, змеиные, чувственные движения в танце апашей, оставившем болезненный след в его сердце. Сейчас в церкви, перед катафалком, на котором лежало ее окоченевшее уже несколько дней назад тело, прикрытое грубой простыней, перед мысленным взором Григоре вновь возникла та же картина — теплая, по-кошачьи гибкая, прекрасная Надина, с которой он как будто не расставался ни на миг. Григоре не посмел приподнять край простыни, боясь навсегда утратить пленительный образ той, кого он любил и кто даровал ему все страдания и радости любви.

Он сел у изголовья покойницы, уткнув лицо в ладони, и долго оставался так в одиночестве. На пюпитре клироса лежало несколько старых молитвенников с деревянными переплетами и грязными страницами. Тяжелый трупный запах сжимал горло, но не раздражал Григоре. Вяло текли мысли о том, что только он один вправе и обязан похоронить Надину, так как хотя их развод и разрешен, но еще не оформлен; то думалось, что по воле рока она умерла как раз в деревне и это, быть может, кара или просто ирония судьбы — ведь она так ненавидела деревенскую жизнь; то представ-

лялось, что, случись это несчастье двумя неделями позднее, он был бы ей уже совсем посторонним человеком.

Титу Херделя давно вышел из церкви, не выдержав тошнотворного запаха. Офицер сказал ему, что в Амаре, видимо, произошло что-то ужасное — выстрелы доносились даже сюда. Позже они сообщили об этом Григоре Юга, но тот все-таки решил продолжить путь. Офицер воспротивился. Пока не вернется патруль, направленный в Амару, чтобы разведать обстановку, он не может разрешить им ехать дальше, так как рискует понести суровое наказание. Они подождали еще и двинулись в Амару лишь к вечеру, но в церковь Григоре уже не возвращался...

На околице Амары и дальше на улице все еще валялись трупы — тела лежали там, где их настигли пули. Кое-где стонали и корчились умирающие. Возница то и дело указывал кнутовищем:

— Глядите-ка, еще мертвец... И там... А этот, кажись, дышит, видите?

Исбэшеску узнал Кирилэ Пэуна, потом Николае Драгоша... Титу Херделя в ужасе воскликнул:

— Здесь, по-видимому, разыгралось настоящее сражение!

Один лишь Григоре молчал; казалось, он ничего не видел.

У церкви их проверил один патруль, у корчмы — другой. Подъехав к усадьбе, пролетка остановилась. Григоре, Титу и Исбэшеску прошли через главные ворота, увенчанные голубятней. Белые голуби томно ворковали. Аллеи парка были затоптаны, словно по ним пронеслось стадо одичалой скотины. Всюду царила такая тишина, что слышно было, как на улице протяжно зевает возница и встряхивает бубенцами лошадь, пытаясь смахнуть с себя усталость. Уцелевшие стены новой усадьбы мрачно чернели на свинцово-синем вечернем небе.

Григоре внимательно все разглядывал, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, будто попал сюда впервые, но около развалин не задержался. С заднего двора неожиданно вынырнул приказчик Леонте Бумбу, испуганный, точно он не верил своим глазам, а из старой усадьбы выбежала стряпуха Профира. Она тут же стала причитать хриплым, мужским голосом и бросилась целовать хозяину руку, орошая ее слезами. Григоре задал несколько вопросов и с равнодушным видом выслушал ответы, словно зная их заранее или не интересуясь ими.

На террасе старой усадьбы сидел капитан Лаке Грэдинару, оставленный на всякий случай в селе вместе со своей ротой для поддержания порядка. Капитан принес Григоре свои самые искренние соболезнования, выразив их, однако, в церемонных и фальшивых фразах, а затем сообщил, что префект Балоляну и майор Тэнэсеску уже почтили бренные останки всеми оплакиваемого

Мирона Юги, после чего проследовали в Руджиноасу и далее, но к завтрашнему дню они, вероятно, вернутся. Григоре поблагодарил офицера в столь же высокопарных выражениях,— ему самому было стыдно, но все-таки он что-то такое произносил,— потом неожиданно прервал фразу на полуслове и поспешно ушел в дом.

Отец, казалось, спал со свечой в изголовье. Григоре смотрел на него несколько минут, потом преклонил колени, как на молитве, постоял так еще какое-то время, затем придвинулся и поцеловал холодную, серую, с посиневшими ногтями руку. Лишь сейчас слезы хлынули у него из глаз и обильно полились на скрещенные руки покойника, поблескивая на них маслянистыми пятнами... Григоре поднялся, вынул платок, чтобы вытереть руки отца, но пока развертывал его, передумал и закрыл себе лицо.

Немного спустя, несколько успокоившись, он прошел в другую комнату в сопровождении всех остальных, кроме капитана, который тактично удалился, чтобы не растравлять его боль.

— Ты, Леонте, поезжай в Костешть! — распорядился Григоре печальным, но уже спокойным голосом, как будто слезы вернули ему самообладание.

Приказчику было поручено доставить в тот же вечер два гроба и все необходимое для похорон. Один из гробов нужно отвезти в Леспезь. Священник позаботится, чтобы тело Надины уложили в гроб и утром доставили сюда... Григоре считал, что все это необходимо сделать немедленно, не откладывая, ибо усопшим нужен покой.

На следующий день, в понедельник, Григоре вместе с Титу поехали по окрестностям, чтобы определить масштабы опустошений — сперва в Амаро, затем в Руджиноасе. Кучер Иким рассказал им по дороге, сколько человек и кто именно был убит в стычке на околице деревни.

В Руджиноасе они встретили коляску префекта Балоляну, который вместе с главным прокурором Греческу провел ночь в усадьбе помещика Гики, в Извору, чудом уцелевшей от ярости крестьян. Последовали продолжительные и слезливые соболезнования. Затем Балоляну принялся красочно описывать свою миротворческую деятельность. Он был глубоко взволнован и восхищен собственным героизмом. В самых поэтических красках живописал он угрожавшие ему страшные опасности, избежать которых ему удалось буквально чудом, так что он до сих пор не может прийти в себя. Под конец он выразил полное удовлетворение тем, что сумел восстановить порядок так быстро и почти без кровопролития.

— Бедняжка Мелания, если бы она только подозревала, что мне пришлось пережить! — вздохнул он растроганно.— Лишь благодаря моему хладнокровию и необычайному такту мне удалось

совершить это чудо, дорогой Григорицэ! Но моя миссия еще не завершена. Самое трудное лишь начинается. Недостаточно победить зло, необходимо вырвать его с корнем, дабы оно не возродилось вновь! Не так ли, господин главный прокурор?

2

Накануне майор Тэнэсеску вернулся в Амару поздно вечером в сопровождении одного лишь адъютанта и батальонного трубача. Он мог бы заночевать в Извору, но хотел доказать префекту, что порядок полностью восстановлен и он может разъезжать ночью в одиночестве по недавно еще бунтовавшим селам. Кроме того, майор считал необходимым лично провести предварительное следствие в Амаре, этом гнезде бунтовщиков.

С самого раннего утра староста Ион Правилэ, трепеща от страха, ждал во дворе примэрии, толкуя со стражником о секретаре Кирицэ Думитреску, который, возможно, нынче понадобится, но вот уже два дня как где-то прячется, опасаясь крестьян.

— Это ты староста бандитов? — осведомился майор, как только увидел Правилэ, и тут же, не дав ответить, закатил ему несколько увесистых оплеух, заорав: — Я вас сейчас досыта накормлю революцией, будь уверен! Всех до отвала накормлю, да так, что ввек не забудете!

Накануне вечером Тэнэсеску строго-настрого распорядился убитых не убирать, а оставить трупы на месте для устрашения живых. Сейчас, надавав старосте пощечин, он приказал ему опознать под наблюдением унтер-офицера всех убитых, а затем перетащить покойников на кладбище, но не хоронить, пока не будет соответствующих указаний. Капитану Лаке Грэдинару надлежало принять меры, чтобы все крестьяне без исключения, в том числе женщины и дети, были немедленно согнаны во двор и сад примэрии для проведения следствия.

Потом вместе с адъютантом, юным, робким, как девица, младшим лейтенантом, майор Тэнэсеску разработал подробный план действий, с помощью которого следовало безотлагательно выявить убийц Надины и Мирона Юги, преступников, изувечивших сына арендатора Платамону, тех, кто поджег барские усадьбы, избил и разоружил жандармов, кто воровал и грабил и, наконец, тех, кто был виновен в оскорблении войск.

— Пока суд да дело, пошлем кого-нибудь в Леспезь и в Глигану, чтобы доставили тамошних главарей бандитов, устроим им очную ставку со здешними и будем судить всех вместе,— нетерпеливо перебил сам себя Тэнэсеску.

Спустя некоторое время перед ним предстал капитан Корбульяну, прибывший для восстановления жандармского участка. Майор обрадовался. Ему нужны были жандармы, хорошо знающие крестьян и разбирающиеся в местной обстановке. В этом разбойничьем гнезде никто не внушал ему доверия. Если и старый священник спелся с бунтовщиками и был вместе с ними застрелен солдатами, то кому можно верить? (В действительности священник Никодим читал заупокойные молитвы у изголовья Мирона Юги, а когда возвращался из барской усадьбы с крестом, завернутым в епитрахиль, был убит шальной пулей на улице, недалеко от своего дома.)

Унтер-офицер Бояджиу застал в своей опустошенной квартире Дидину, чуть осунувшуюся, но довольно веселую. Они обнялись. Дидина всплакнула и рассказала, как ей повезло: бабка Иоана спрятала ее на чердаке своего дома, кормила и ухаживала за ней, словом, уберегла от мужиков, которые, несомненно, растерзали бы ее, попадись она им в руки. Унтер тоже прослезился и тут же помчался в примэрию выполнять свой долг.

К девяти часам, когда приехала коляска с префектом и главным прокурором, следствие уже шло полным ходом. Крики и вопли крестьян, заполнивших улицу, двор и сад примэрии, долетали до корчмы. Примэрия была оцеплена солдатами, чтобы никто не мог сбежать до допроса.

Однако ничего важного выяснить еще не удалось. Два отделения солдат, вооруженные розгами и палками, то и дело сменяясь, чтобы не переутомиться, избивали всех без разбора. Крестьяне вопили, умоляли сжалиться, пощадить их, но ни за что не хотели признаваться в своих преступлениях и выдать главных преступников. Только благодаря унтеру Бояджиу удалось выявить семерых виновных в избиении и разоружении жандармов. Среди них были названы имена Серафима Могоша и Трифона Гужу.

— Ты почему ударил унтер-офицера, бандит? — взревел майор, вращая налитыми кровью глазами.— Как ты посмел поднять на него руку?

— Дак...

Серафим Могош больше ничего не успел сказать. Он смотрел майору прямо в глаза, спокойно, видно понимая, что оправдываться бессмысленно. Тэнэсеску тут же набросился на него с хлыстом и исполосовал в кровь, вопя:

— Да как ты смел до него дотронуться, мерзавец?.. Как ты смел?.. Как?..

Серафим Могош стерпел удары, не шелохнувшись и не издав ни звука, не сводя с майора взгляда, казавшегося тому вызывающим.

— Капрал! — заорал Тэнэсеску, устав.— Всыпать бандюге сто палок! Сейчас же! А потом заковать в цепи!

Трифона Гужу у примэрии не оказалось. Кто-то сообщил, что его ранил старый барин и он отлеживается дома. Трифона немедленно принесли и бросили на землю, где он остался лежать, жалобно стеная. Все лицо Гужу было сплошной черной раной.

— Встать! Поднимайся, разбойник! — гаркнул майор, пиная его носком сапога в бок.

Не открывая распухших глаз, Трифон поднялся, шатаясь. Он еле держался на ногах и чуть было снова не рухнул на землю.

— Почему это барин в тебя стрелял, негодяй? — напустился на него майор.— Ты поднял на него руку, так? Хотел убить его? Значит, это ты зачинщик, главарь убийц!

Трифон простонал что-то невнятное.

— А из рук унтера почему вырвал винтовку?.. Почему ударил его?.. Говори, бандит! — продолжал майор и полоснул хлыстом по изрешеченному дробью, кровоточащему лицу.

Трифон взвыл по-звериному, будто его живым раздирали на части, и рухнул, как подгнившее дерево. Вне себя от ярости, майор принялся топтать его ногами, непрерывно вопя: «Грабитель, бандит!» Наконец он отошел на несколько шагов в сторону и хладнокровно отчеканил:

— Сержант!.. Ты!.. Да, ты!.. Бери шесть человек!.. Отведите этого бандита в глубину сада!.. И там расстреляйте его!.. Расстреляйте! Понял, сержант?..

— Так точно, понял, господин майор! — гаркнул коренастый, смуглый сержант, старательно щелкая каблуками.

Солдаты схватили Трифона и потащили сквозь густую толпу. Цепляясь за жизнь, Трифон Гужу стонал: «Простите... простите...» — но солдаты уволокли его.

Над толпой опустилась горестная тишина, прерываемая только свистом хлыста, которым майор Тэнэсеску в нервном напряжении рассекал воздух. Прошло несколько минут. Хлыст все ускорял и ускорял свои удары. В глубине сада бухнул короткий, глухой залп.

— Давай остальных! — сразу же рявкнул майор, разрывая почти не нарушенную залпом пелену молчания.— Как вы посмели поднять руку на жандармов?

Пятеро крестьян стали наперебой жалобно клясться, заверяя майора в том, что они ни в чем не виноваты, что они даже не были там, когда все стряслось. Тэнэсеску с трудом переводил дыхание. В последнее время он стал толстеть, отрастил небольшое брюшко, а совсем недавно врач сказал ему, что у него ожирение сердца. Во всяком случае, утомлялся он очень быстро. Чтобы не рисковать

здоровьем из-за этих бандитов, он приказал всыпать всем пятерым по сто палок каждому.

Коляска с префектом подъехала, как раз когда приказ приводился в исполнение и избиваемые отчаянно вопили.

Пока продолжалась порка, а капрал, чтобы не просчитаться, громко вел счет ударам, майор Тэнэсеску жаловался префекту и главному прокурору на упрямство разбойников, которые заупрямились и никак не хотят признаться и выдать главных виновников. Вопли мужиков действовали Балоляну на нервы, раздражали его. После того как капрал отсчитал сотый удар и избитых заперли в канцелярии, префект, надеясь вновь обрести утраченную уверенность, громко предупредил уткнувшихся лицом в землю крестьян о том, что их злодеяния и преступления ужаснули весь мир и они смогут облегчить свою участь, только если раскаются и дадут искренние показания... Сотни людей, как по команде, подняли головы, будто собираясь встать, и протяжно взмолились в один голос, похожий на гул стихающей бури:

— Помилуйте нас...

Балоляну застыл на месте от ужаса, словно колыхание и крик толпы знаменовали начало нового бунта. Такой же внезапный страх обуял прокурора, майора, всех офицеров и даже солдат. Один лишь Боянджиу не растерялся и сразу же оглушительно заорал:

— Не подниматься!.. На землю!.. Не подниматься!..

Тотчас же приказ Бояннджиу подхватили и другие, а солдаты принялись колотить направо и налево по согнутым спинам, испуганно повторяя:

— Не подниматься!.. Не подниматься!..

Префект почел за благо отказаться от назидательной речи. Не откладывая, приступили к допросу Тоадера Стрымбу, на которого Бояннджиу указал как на убийцу Надины.

— Признавайся, как ты ее убил! — напустился на него прокурор.

— Я, барин, никого не убивал и ни в чем не виноват! — ответил Тоадер, лицо которого стало совсем землистым.

— А кто же ее убил?

— Не знаю, барин! Может, Петре, сын Смаранды, он вошел в дом раньше меня, но только я ее не убивал.

— Кто здесь Петре, сын Смаранды? — осведомился главный прокурор.

— Помер он... помер! — ответило тут же несколько голосов.

Майор Тэнэсеску вскипел, не в силах больше сдерживать свое возмущение. Этот мужик казался ему воплощением подлости и коварства, и он накинулся на него с хлыстом.

— Ты почему не признаешься, убийца?.. Почему убил ее, бандит?.. Почему изнасиловал ее, почему надругался над ней, мерзавец?.. Позарился на барскую плоть, мразь поганая?

Закрывая лицо от ударов хлыста, Тоадер Стрымбу жалобно, по-бабьи, причитал:

— Ой!.. Ой!.. Это не я, господин майор! Смилуйтесь, господин майор, но только я не виноват!..

На улице показался воз, который медленно тянули четыре вола. На возу — скромный гроб с останками Надины. Следом за ним шагал священник из Леспези в лучшем своем одеянии. В одной руке он держал крест, в другой — кадило. Старенький, хриплый дьячок пел заупокойную молитву, любопытно косясь в сторону примэрии, стараясь разглядеть следователей, стоявших над огромной толпой скорчившихся на земле крестьян.

Пока проезжал траурный воз, царила полная тишина. Все обнажили головы, а Балоляну с грустью и возмущением пробормотал:

— Бедная женщина, бедная женщина!.. Какое гнусное преступление!

Прокурор, услышав негодующий голос префекта, набросился, в свою очередь, на Тоадера:

— Что тебе сделала эта добрая и красивая барыня, мерзавец, почему ты ее убил?

— Я ее не убивал! — упрямо повторил Стрымбу.

Но тут солдаты привели группу крестьян, арестованных в Леспези. Греческу, чье самолюбие требовало, чтобы убийца госпожи Юги был обнаружен как можно быстрее, энергично взялся за вновь прибывших. Убийство совершено именно в их селе, и уж им-то преступник, конечно, известен. Иляна сразу же показала:

— Так это дяденька Тоадер убил нашу госпожу, после того как надругался над ней... Я-то видела, когда он вошел в дом, а потом еще слыхала, как он выхвалялся да и Илие Кырлана подбивал снасильничать над барыней, пока не остыла... Вот и дядюшка Матей Дулману может сказать, он был там вместе с Петре Смарандиным, когда я вытащила барыню, покойницу уже, из дому, как только увидела, что дяденька Павел Тупсу подпалил машину...

— Я ее не убивал, врет девка! — буркнул Тоадер Стрымбу, не глядя на Иляну.

— Нет, девка не врет, Тоадер! — укоризненно вмешался Матей Дулману.— Чего не признаешься, что убил, коли убил? Чего хочешь на других свалить, невинных людей оболгать, Тоадер?

— Коли уж пошли признаваться, то лучше ты, дядя Матей, сам признайся, что разбил шоферу голову,— хмуро огрызнулся Тоадер.

— Так я и не стану запираться, когда господа меня спросят,— бесстрашно заявил Матей.

Прокурор удовлетворенно слушал, поглядывая то на префекта, то на майора, словно призывая их убедиться, как умело ведет он следствие и как он вынудил мужиков развязать языки.

— Со многими злоумышленниками пришлось мне иметь дело, но более циничного и подлого я еще не встречал! — заметил он наконец, обращаясь к Балоляну.

Пытаясь сдержаться, майор Тэнэсеску яростно пощипывал усы. Ему казалось, что из-за нервного перенапряжения у него вот-вот лопнут вены, и, чтобы дать себе разрядку, он набросился с кулаками и хлыстом на Тоадера Стрымбу, избил его до крови, топтал ногами... Утомившись, приказал капралу продолжать избиение, но уже дубиной, да так, чтобы переломать преступнику все кости. Вопли Тоадера Стрымбу постепенно затихали, превращаясь в хриплые, слабеющие стоны.

— Сержант! — гаркнул наконец майор.— Заберя и этого!.. К стенке его!.. Расстрелять!.. Быстро, быстро!..

Приказ майора привел Тоадера в себя, словно на него выплеснули ведро воды. Со стоном подполз он к ногам офицера:

— Смилуйтесь, господин майор... Детишки сиротами останутся... Смилуйтесь...

— Взять его, сержант! — снова крикнул Тэнэсеску, отступая, чтобы не дать крестьянину коснуться его сапог.— Пошевеливайся!.. Хватайте его!..

Как раз когда все замолчали в ожидании выстрелов, во двор примэрии вошел Титу Херделя. Григоре Юга был занят подготовкой похорон, и Титу не хотел ему мешать. Услышав залп, прогремевший в глубине сада, он тихо осведомился у Балоляну, что там происходит, а тот, чтобы доказать, как энергично он действует, непринужденно-равнодушно ответил:

— Ничего особенного... Расстреляли убийцу госпожи Юги...

Так как Матей Дулману признал свою вину, Греческу объявил, что арестует его и отправляет в распоряжение трибунала. Майор тут же запротестовал:

— Извините, господин прокурор! До суда хорошая порка — самое милое дело!.. Капрал, отсчитай и этому двадцать пять палок!

Пока Матей Дулману без единого стона переносил удары, Тэнэсеску пояснял штатским, что этих разбойников вразумляет только хорошая взбучка, а отсидка в тюрьме для них сущий отдых. Кроме того, при всех обстоятельствах, независимо от гражданского следствия, он как военачальник обязан применить самые строгие кары — ведь эти сиволапые мужики посмели выступить против

армии... У Титу Херделя ответ так и вертелся на языке, но он промолчал, увидев, что Балоляну и Греческу, которым надлежало бы возразить, слушают, не прекословя, бахвальство офицера.

— Павел Тупсу!.. Кто здесь Павел Тупсу?.. Подойди сюда! — крикнул прокурор.

Павел поднялся с земли, дрожа от страха, что его тоже расстреляют. Не ожидая вопросов, он торопливо залепетал:

— Я-то никого не убивал... Никого... Я только машину порушил и подпалил ее за то, что они моего парнишку изувечили, но крови не проливал, у меня ребята малые...

Когда через некоторое время жестоко избитого Павла швырнули в канцелярию к остальным арестованным, он перекрестился и поблагодарил милосердного бога, который в доброте своей сжалился над его детьми.

Чтобы быстрее выявить преступников, главный прокурор решил вести дальше следствие по-другому и допросить в первую очередь самых уважаемых людей в деревне, с помощью которых можно будет легче уличить истинных подстрекателей и злоумышленников.

— Ты расскажи мне честно, дед, как произошли все эти преступления и кто виноват! — обратился он к Лупу Кирицою.

— Дак, барин, я-то не встревал, потому как я человек старый и не пристало мне...

— Ладно, ладно, я тебе верю, но ты расскажи, отчего и как вспыхнул этот бунт и кто его затеял! Ведь не началось же все само собой, не так ли, дед? — настаивал прокурор.

— А как раз так и было, барин! — подхватил старик.— Взвился вихрь большой, подхватил бедных людей и погнал их, как овец...

— Ты, дед, не мути воду, не морочь нам голову своими сказками, нет у нас для них времени! — вмешался майор Тэнэсеску, раздраженный болтливостью старика.

Тот попытался что-то возразить, но майор тут же влепил ему две увесистые оплеухи. Лупу Кирицою посмотрел ему прямо в глаза и проговорил:

— Ну, господин майор, пусть бог тебя покарает за то, что позоришь мою старость!

— Что?.. Как ты смеешь?.. Осмеливаешься дерзить мне, старый разбойник?.. Капрал, пятьдесят палок!

Титу Херделя стоял, весь дрожа, рядом с префектом все то время, пока старик молча, как каменный, переносил боль от ударов.

После того как были избиты еще несколько человек, среди которых особенно досталось Луке Талабэ, чье поведение показа-

лось прокурору вызывающим, после того как Филип Илиоаса и Марин Стан были уличены в грабеже и признались, что позарились на чужое добро, хотя они сами люди не бедные, настала очередь Игната Черчела. Накануне, когда винтовочные залпы прекратились, Игнат, стараясь подладиться к войскам, привязал к палке белое полотенце и выставил его в воротах, чтобы господа сразу его заметили. Майор действительно увидел полотенце и взбеленился: «Что это такое, бандит?» — «Мир, господин майор»,— смиренно пояснил Игнат. «Мир, подлюга? А против кого же ты воевал, мерзавец? Против румынской армии?» — еще пуще взъярился майор и жестоко избил Черчела... Теперь он сразу его узнал:

— Это ты с белым флагом совался, негодяй?

— Да, господин майор. Грехи наши тяжкие, не знаем мы, как лучше сделать, чтобы промашки не вышло...— пробормотал, заикаясь, Игнат.— Видать, бог нас покарал глупостью за грехи наши...

Пока прокурор заканчивал допрос Игната Черчела, то и дело перебиваемый яростными вспышками Тэнэсеску, явился староста Ион Правилэ и доложил, что, согласно приказу, собрал и установил личность всех мертвецов. Всего оказалось сорок четыре трупа, ибо тело сорок пятого, священника Никодима, было убрано с улицы еще вчера вечером его дочерью Никулиной. Майор Тэнэсеску взорвался: как посмела ослушаться его приказа дочь этого разбойника попа? Староста оцепенел от страха, испугавшись, что его снова изобьют, да еще перед лицом всей деревни.

— Где эта бестия баба, которая осмелилась нарушить приказ? — заревел майор, выпучив глаза.

Никулина, смертельно бледная, выбралась из толпы, держа за руку ребенка. Не говоря ни слова, майор принялся полосовать ее хлыстом. Женщина визжала, увертывалась, стараясь укрыться от ударов, а ребенок в ужасе вопил:

— Мамочка!.. Мамочка!..

— Ой, ой, помогите! — рыдала Никулина, на лице которой удары хлыста оставляли все новые и новые полосы.

— Капрал! — крикнул наконец уставший майор.— Отсчитать ей пятьдесят палок!..

— Ой, спасите, люди добрые, спасите!..

Четверо солдат схватили вырывавшуюся женщину и, несмотря на ее истошные крики, бросили на землю лицом вниз. Антонел метнулся к судорожно извивающейся матери, захлебываясь от плача и в ужасе повторяя:

— Мамочка!.. Мамочка!..

Когда один из солдат принялся бить женщину, Титу Херделя, который в надежде, что его услышит префект Балоляну, то и дело

шептал: «Это ужасно, ужасно»,— не смог больше сдерживаться и, подойдя к Тэнэсеску, возмущенно заявил:

— Господин майор, хватит!.. Это невыносимо!.. Это...

Майор вскинулся, словно его ударили:

— Что вы сказали?.. Кто вы такой?.. Что вам здесь надо?.. Как вы смеете вмешиваться...

— Мое имя Титу Херделя, я...

— Ничего не хочу знать! — продолжал Тэнэсеску, сжимая кулаки.— Убирайтесь немедленно вон из примэрии, не то я вас арестую и отправлю под конвоем!.. Немедленно уходите!.. Сейчас же!..

Префект Балоляну окаменел. Энергичная расправа майора с крестьянами вполне его устраивала, так как давала возможность не принимать самому никаких мер и, следовательно, не брать на себя ответственность. Что бы там ни произошло впоследствии, он всегда сможет умыть руки. Но вот столкновение с бухарестским журналистом, да еще другом Григоре Юги, может вызвать более чем неприятные последствия. Немного собравшись с мыслями, он по-дружески вмешался, пытаясь по-французски вразумить Тэнэсеску, который, напротив, распалялся все больше:

— Я никому не позволю!.. Кем бы он ни был!.. Даже самому господу богу не позволю!..

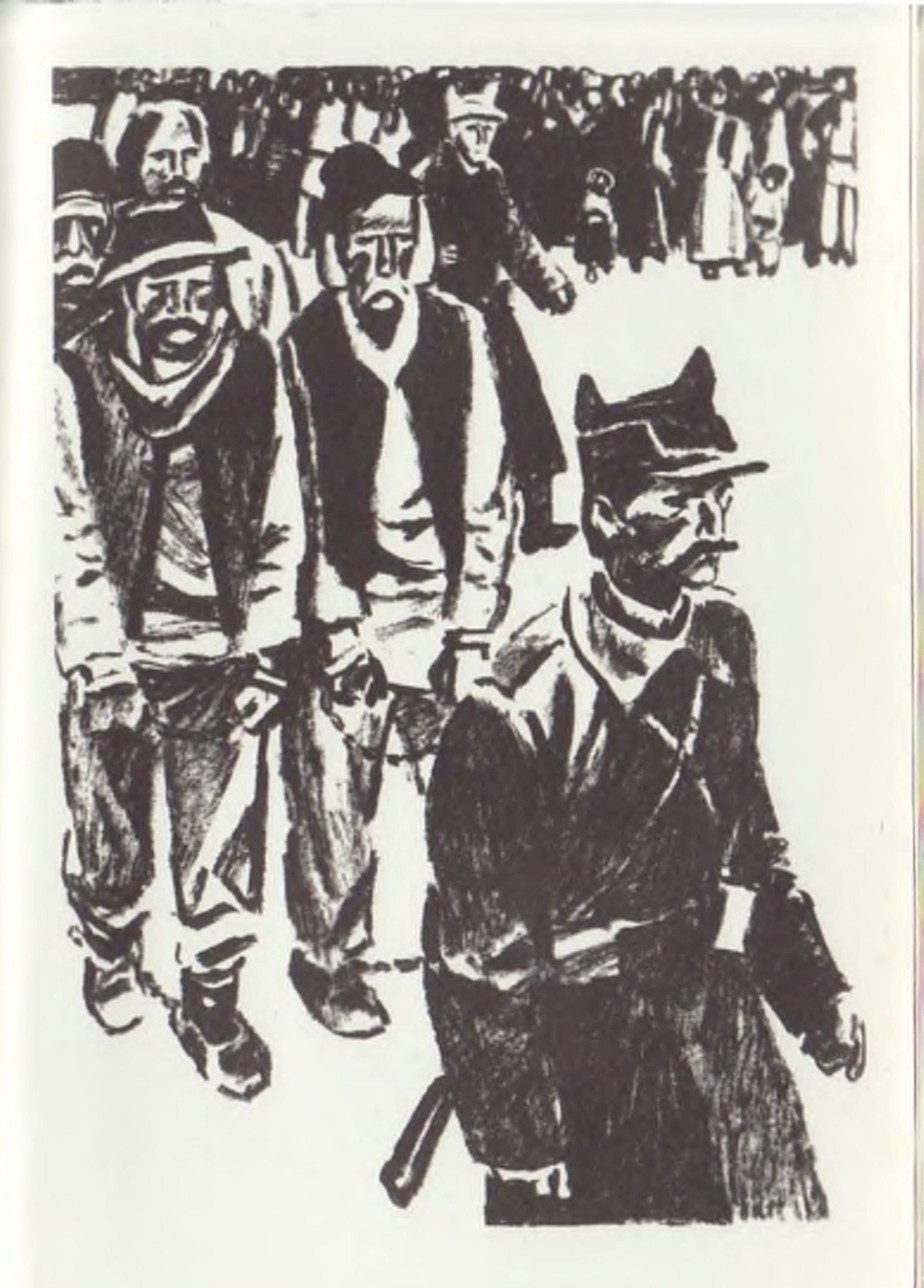
Титу Херделя побелел как мел от негодования и волнения. Он сразу же понял, что его вмешательство, в сущности вполне гуманное, оказалось совершенно неуместным. И все-таки он не жалел, что вмешался. Не желая раздувать скандал и опасаясь, как бы его действительно не арестовали, он тут же повернулся к Тэнэсеску спиной. Префект, стремясь задобрить его, взял Титу под руку и удержал:

— Господин Херделя, прошу вас... Ради меня!.. Господин майор постарается...

— Я не хочу присутствовать при подобном варварстве, господин префект, и предпочитаю уйти! — заявил Титу, стараясь сохранить достойный вид.

— Весьма сожалею!..— пробормотал Балоляну, пожимая ему руку, но больше не задерживая.

Тэнэсеску тоже утихомирился, увидев, что Титу уходит. Как только он узнал от префекта, что тот журналист, его гнев сразу остыл, хотя он постарался этого не показать. Несколько лет назад, еще в гарнизоне города Турну-Северин, он на пирушке влепил пощечину какому-то местному писаке-журналисту. Разразился грандиозный скандал. Его имя принялись трепать все бухарестские газеты. Чуть было не пришлось уйти из армии. Если бы не



Л. Ребряну
«Восстание»

та история, попавшая в его личное дело, Тэнэсеску уже давно был бы подполковником.

— Я никому не могу позволить мешать мне выполнять мой служебный долг! — заявил он, повышая голос, чтобы сохранить видимость гнева.— Здесь за все отвечаю я!.. Мы ведь не в бирюльки играем, не так ли, господин префект?.. Из Бухареста легко командовать и заниматься писаниной, но поглядите только на этих извергов, которые все здесь разорили, разграбили, уничтожили, которые убивали!

Заговорив о крестьянах, майор снова разгорячился, повысил голос, словно разорили и ограбили его самого, хотя он не владел никаким недвижимым имуществом.

— Эти деревни следовало бы стереть пушками с лица земли!.. Даже их поп и тот был бандитом!.. Подумать только, какие страшные преступления и злодеяния они совершили, такого еще нигде не бывало!.. В других краях хоть чуточку сдерживались, а здесь не постыдились женщин и стариков убивать...

Майор Тэнэсеску еще разглагольствовал, как вдруг в толпе поднялся какой-то крестьянин с всклокоченными волосами и возбужденным лицом. Устремясь к офицеру, он страстно закричал:

— Барин, а барин, вижу я, что взялся ты убивать всех божьих христиан и не хочешь слушать заповедей, что в небесах звенят трубным гласом!..

— На колени! Не подниматься!..— заорал кто-то из усердных солдат.

— Какие заповеди?.. Что он там городит? — переспросил майор, изумленный неуемной дерзостью мужиков, которых он усмирял с самого утра.

— Да он сумасшедший, господин майор! — пояснил унтер Бояджиу.

— Сумасшедший?.. Ну, я таких сумасшедших хорошо знаю!— воскликнул Тэнэсеску.— Кстати, этот бандит шел вчера во главе восставших, призывая солдат к бунту!.. Я это сам слышал!.. Капрал, а ну-ка всыпь ему, как положено!

Солдаты тут же приступили к порке, но Антон лишь радостно кричал, словно не ощущая ударов:

— Бейте, бейте, братцы!.. Страшный суд все одно настанет, загремит глас божий... Бейте, бейте!.. Потому-то я и поднялся, потому-то...

Раздосадованный тем, что порка не оказывает нужного действия, майор приказал капралу:

— Отпусти сумасшедшего, пусть убирается к черту! — Повернувшись к главному прокурору, он добавил: — Продолжим!.. Прошу!..

3

Григоре Югу мучили угрызения совести, не давала покоя неотвязная мысль: «Останься я здесь, возможно, все было бы по-другому...»

Но в то же время он прекрасно понимал, что самобичевание ничего не даст и что сейчас он обязан, не откладывая, выполнить горестный долг. Тело Надины уже пять дней как ждет успокоения, а тело отца — три дня. Григоре казалось, что покойники слишком долго лежат забытые и неубранные, их души не могут обрести покой, терзаются и терзают всех живых, в первую очередь — его, и что именно поэтому он так страдает, так замучен голосом совести.

Когда накануне он отправил из Костешти телеграмму Гогу Попеску, извещая его о смерти Надины, он еще не думал о похоронах, как, впрочем, не думал ни о чем конкретно... Лишь вечером, увидев покойников своими глазами, Григоре сообразил, что Гогу и Еудженія тоже должны бы приехать на похороны Надины и что, следовательно, придется их подождать. Утром, однако, при виде возка с гробом, за которым плелся священник из Леспези, Григоре подумал, что Гогу не отважится приехать сейчас в деревню, даже на похороны родной сестры, а кроме того, теперь, когда деревни еще корчатся в муках, пробуждаясь от безумия, а над развалинами и человеческими душами все еще клубится дым пожарищ, не время для пышных похорон. Именно в эту минуту он решил устроить немедля скромные, под стать обстоятельствам, похороны, отложив главную церемонию на более поздние времена, когда все действительно уляжется и успокоится. Приняв решение, он почувствовал, что освободился от растерянности и какой-то болезненной беспомощности, которая словно погружала его в нереальный, призрачный мир.

— Так вот, Леонте, после обеда мы их похороним...

Хладнокровно, словно речь шла о чем-то самом обычном, Григоре отдал приказчику точные и подробные распоряжения. Уже несколько поколений семьи Юги были похоронены около церкви в Амаре. Последний склеп соорудил Мирон Юга. Там уже несколько лет покоилась его жена. Вместительный, сводчатый склеп, построенный из камня, предназначался и для него, когда пробьет его смертный час. Туда же можно будет, хотя бы временно, поместить и гроб с телом Надины. Так как старый священник Никодим погиб, заупокойную отслужит священник из Леспези, тот, что сопровождал похоронные дроги Надины. Хватит его одного...

Отпевали покойников во дворе. Весело сияло весеннее солнце. Деревья буквально на глазах покрывались почками. Гробы

были установлены на двух возах, запряженных каждый четырьмя волами. Высившаяся позади старая усадьба с выбитыми стеклами казалась стариком, выплакавшим глаза. Впереди, за рядом тополей, вырисовывались почерневшие от дыма стены и обгоревшие балки новой усадьбы, словно специально подготовленная траурная декорация. Безусый священник в новом одеянии, с реденькой взъерошенной бороденкой, читал и распевал заупокойные молитвы, то и дело возводя очи горе́, к голубому небу, откуда, казалось, прислушивались к отпеванию белые облачка, похожие на вереницы ангелов. Слабый, тоненький, но все-таки утешающий голос священника поднимался в воздух, как дымок ладана, растворяясь в скорбной тишине, завладевшей не только усадьбой, но и окрестностями. Ответы дьячка, машинальные и гнусавые, затухали где-то внизу, сливаясь с равнодушным и тихим сопением жующих волов, чьи длинные хвосты ритмично покачивались, отгоняя воображаемых мух.

Григоре Юга стоял у воза с гробом отца. Около него, как верный адъютант, находился Титу Херделя. По другую сторону, до самого забора, от которого уцелело всего несколько столбов, толпились слуги во главе с Исбэшеску, а уже за ними стояли батраки. Жена приказчика и стряпуха Профира рыдали, захлебываясь от слез, но причитали вполголоса, будто устыдившись сдержанности Григоре.

Его покрасневшие, мутные глаза охватывали одним взглядом оба гроба. Они были одинакового размера, сколоченные из дерева одной и той же породы, словно их заказали давно. Душой молодого Юги овладело чувство смиренного покоя. И это несмотря на то, что в мозгу молниями проносились мысли, непрерывно сталкиваясь и прогоняя друг друга, не вырисовываясь четко, будто бессмысленные обрывки, уносимые случайным ветром, а сердце тяжко ныло, как открытая рана, причиняющая неосознанную, но незатихающую боль.

Григоре даже не заметил, как закончилось отпевание и все тронулись к кладбищу. Лишь выйдя на улицу, он шепотом сказал Титу:

— Может быть, следовало известить Балоляну... Не знаю! Но теперь уж...

Он шел за вторым возом с гробом отца. Слышал чуть позади шаги остальных и усилившиеся рыдания женщин. Перед первым возом поблескивало одеяние священника, затем, откуда-то издалека, Григоре услышал его голос.

Увидев толпу перед примэрией, он удивился. Титу коротко рассказал ему, что там происходит. Вопли и стоны подтвердили, что следствие продолжается так же рьяно. Когда похоронная

процессия приблизилась, со двора, заполненного крестьянами, вышел префект Балоляну в сопровождении главного прокурора Греческу, майора Тэнэсеску и жандармского капитана Корбуляну. Капитан Лаке Грэдинару тоже хотел присоединиться к процессии, тем более что был лично знаком с Мироном Югой и несколько раз гостил у него, но ему пришлось остаться в примэрии для продолжения следствия и допроса бунтовщиков.

— Прости меня и всех нас, дорогой Григорицэ, но мы ничего не знали, а то бросили бы здесь все и пришли отдать последний долг твоему высокочтимому родителю! — пробормотал с опечаленным видом Балоляну, пожимая руку Григоре и долго не выпуская ее.

Остальные, тоже придав лицам грустное выражение, по очереди пожали Григоре руку, стараясь показать красноречивыми соболезнующими взглядами, что не находят достойных слов для проявления своей скорби.

Григоре собрался, в свою очередь, попросить у Балоляну прощения за то, что вовремя не известил его. Он уже открыл было рот, но увидел, что тот поспешно вытаскивает платочек и вытирает глаза, словно пытаясь сдержать слезы. Этот жест выглядел до того фальшивым, что Григоре передумал, ничего не ответил и только ускорил шаг, так как за эти несколько секунд воз ушел дальше.

Вскоре похоронная процессия вошла во двор церкви. После короткой молитвы священника гробы по очереди опустили в раскрытую могилу, возле которой стояли три батрака, присланные приказчиком Бумбу, чтобы осторожно приподнять могильную плиту и затем положить ее на место. Гробы были тяжелые, и трем батракам пришли на помощь другие слуги. Перекрывая невнятное бормотание дьячка, священник несколько раз провозгласил «Вечную память», а затем неожиданно замолчал, подобострастно поклонившись Григоре Юге, который неподвижно замер, глядя прямо перед собой отсутствующим взглядом. По знаку приказчика батраки принялись укладывать могильную плиту на место. Балоляну и остальные снова выразили Григоре свое соболезнование, которое тот выслушал молча, лишь слегка кивнув им в знак благодарности. Но он ясно расслышал слова, сказанные затем майором Тэнэсеску жандармскому капитану:

— Раз уж мы здесь да и священник под рукой, пойдите, голубчик, и похороните мужиков на деревенском кладбище, уж не знаю, где оно, поп должен знать. Найдете там старосту. Очень вас прошу, милейший, проверните это дело, чтобы избавиться от формальностей!.. Но только быстро, без всяких проволочек и церемо-

ний. И так слишком хорошо для разбойников!.. Да, кстати, не забудьте и о тех, которых только что расстреляли в примэрии.

Григоре вздрогнул, будто вспомнил что-то важное, и торопливо попросил Титу:

— Я бы тоже хотел присутствовать на похоронах крестьян, но сейчас не в силах... Вы бы не согласились пойти вместо меня?

— Конечно! — коротко ответил Херделя.

Священник проводил Херделю и Корбуляну. Они миновали церковный сад, а за ним еще два огорода и чей-то фруктовый сад. Трупы лежали на кладбище двумя рядами, скорчившись и закоченев в последнем судорожном движении, в котором их настигла смерть. Рядом зияла только что вырытая длинная и широкая яма.

— Только быстренько, батюшка, а то у нас нет времени! — бросил священнику капитан Корбуляну.

Он стоял как на иголках те несколько минут, пока священник поминал мертвецов, и, как только покойников сбросили в общую могилу, тут же ушел, не поворачивая головы.

Титу Херделя остался на погосте со священником. Оба молча смотрели, как тяжелые комья тучной земли били по трупам, брошенным в яму и перемешавшимся там, словно гнилые сучья, как мертвецы мало-помалу примащивались на своем ложе, сливались и растворялись в земле, надежно укрывшей их от всех опасностей.

«Как они бились, чтобы получить землю, и вот земля их всех прибрала! — подумал Титу, и сердце его сжалось.— И ведь всем нашим чаяниям и стараниям уготован тот же конец в этой земле».

Человек десять безмолвных крестьян закидывали яму землей, обливаясь потом и с трудом переводя дух. Староста Правилэ лихорадочно торопил их; он был сильно напуган; оплеухи, полученные от майора, казалось, совсем сбили его с толку.

— Сколько их было, господин староста? — спросил Титу после того, как земля поглотила всех.

— Сорок шесть человек, сударь, вместе с Трифоном и Тоадером, которых только что принесли из примэрии.— ответил староста, доверчиво подходя к нему, так как был свидетелем столкновения между Титу и майором.— Тело отца Никодима оставили дома. Господин майор Никулину выпорол, но потом все-таки смилостивился и не заставил ее тащить тело отца сюда. Да и не подобало бы это — закопать священника заодно со всеми бедолагами, потому как за отцом Никодимом никакой вины не было, он же молился у изголовья старого барина Мирона... Ох, господи боже, охрани нас и защити, большая беда обрушилась на нашу голову!..

После некоторого молчания Титу снова спросил:

— Что ж у вас здесь за революция произошла, староста? Как это вам взбрело в голову совершать такие злодеяния, разрушать и крушить все подряд?

— Как вам сказать, сударь, видать, распалились люди, вот и грехов без удержу натворили! — горестно ответил Нравилэ.— Но только то, как сейчас дело повернулось, тоже будет не по справедливости! Ведь мужики люди темные, им не мудрено ошибиться, а господа-то, умудренные разумом...

Титу не ответил и повернулся к крестьянам, которые засыпали могилы и никак не могли справиться с этим делом. Староста осекся и замолчал, словно испугался, не наболтал ли он чего лишнего...

Вечером Григоре Юга пригласил Балоляну, Греческу и офицеров на ужин в усадьбу. Префект сымпровизировал короткую речь, в которой прославлял память обеих жертв преступного восстания, покрывшего страну развалинами и повергшего ее в траур. После этого, щадя хозяина дома, о покойниках больше не поминали. Зато много говорили о жестокости мужиков и их разнузданных грабежах. Заметив, что молодой бухарестский журналист помалкивает, как, впрочем, и Григоре Юга, Балоляну счел своим долгом призвать всех к единству перед лицом грозной опасности, которую представляет собой заблудшее стадо, сбитое с толку преступными подстрекателями. Эти злодеи, несомненно, будут выявлены в ближайшие дни.

— Необходимо отрешиться от мелкого самолюбия и забыть невольные обиды, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами! — патетически воскликнул Балоляну.— Не так ли, господин Херделя?

Титу пожал плечами, словно хотел сказать, что все это не имеет никакого значения. Григоре, не поняв намека, с недоумением посмотрел на Балоляну.

— Значит, он вам ничего не сказал? — удивленно воскликнул префект.— Вот, господа, что значит тонкая, деликатная душа. Сразу видно, не так ли?..

Объяснив в нескольких словах Григоре, в чем дело, Балоляну поднял стакан вина за то, чтобы инцидент был предан забвению. Майор Тэнэсеску пожал через стол руку Титу под одобрительные аплодисменты присутствующих. Затем все наперебой стали доказывать молодому трансильванцу, что мужицкая подлость и зловредность не имеют предела и одна лишь грубая сила может удержать их от самых страшных преступлений.

— Мы не должны забывать, что находимся в доме, дважды повергнутом в траур этими негодяями, в доме, опустошенном и

преданном огню! — с возмущением и скорбью воскликнул майор Тэнэсеску.

— Достаточно только оглядеться вокруг, чтобы понять, какие это дикари! — добавил Корбуляну, приосанившись и подкручивая усы, словно в присутствии женщин.

Главный прокурор Греческу, обычно молчаливый, на сей раз оказался в центре внимания — он рассказывал, каким образом подавлялись подобные мятежи в других странах, и подчеркнул, что палки, погулявшие по спинам отечественных варваров,— не более чем безобидная родительская ласка.

Титу Херделя внимательно прислушивался. Он чувствовал, что собеседники не правы, но никак не мог найти для спора с ними достаточно убедительные доводы.

— Меня только несправедливость возмущает! — вставлял он несколько раз, будто пытаясь отмежеваться от остальных.

Лишь позднее, разгоряченный разговором, он заявил с твердостью, поразившей даже его самого:

— Я готов согласиться с применением любой меры наказания, лишь бы она была справедлива и законна. Вам, представляющим государство и имеющим в своем распоряжении всю его силу, не пристало идти по стопам крестьян, которые попрали закон и совершили преступления. Попирая закон, вы тоже совершаете преступление, даже еще более тяжкое, чем крестьяне, так как идете на него под защитой государства и злоупотребляя его карающей силой. Крестьяне, подняв бунт и учиняя злодеяния, рисковали каждую секунду навлечь на себя репрессии государства — его армии, полиции или жандармов. Вы же, вместо того чтобы применить против них всю строгость законов, избиваете и пытаете несчастных, закованных в цепи и лишенных возможности защищаться, так как знаете, что не столкнетесь ни с кем, кто мог бы вас покарать.

— Что вы, что вы, мой милый! — снисходительно улыбнулся Балоляну.— Я юрист и законник. Так вот, государство не только вправе, но и обязано всеми средствами защищать свое существование, когда ему угрожает опасность. Любой вклад в дело сохранения и укрепления государства законен и справедлив!

— То же самое мне заявил когда-то венгерский жандармский офицер,— иронически возразил Титу,— с той только разницей, что он говорил по-венгерски, а вы по-румынски.

— Но не можем же мы попустительствовать революции...

— Закон побеждает революцию. Только беззакония провоцируют и распространяют революции! — изрек Титу Херделя с гордостью человека, совершившего великое открытие.

4

На следующий день, еще до полудня, группа крестьян человек в пятьдесят была отправлена в Питешти под охраной вооруженных солдат, которыми командовал пожилой, злобный унтер-офицер. Так как арестованных считали главарями бунта, виновниками всевозможных преступлений или, по крайней мере, подозревали в этом, их заковали в кандалы, каждого в отдельности, и, кроме того, всех вместе приковали попарно к одной общей длинной и толстой цепи. Несколько солдат держали наготове тяжелые дубинки, чтобы подгонять отстающих.

Вскоре после обеда Балоляну, Греческу и майор Тэнэсеску попрощались с Григоре Югой. Префект объяснил, что им нужно собственными глазами увидеть плоды усмирения во всех селах, зараженных бунтарским духом. Это тем более необходимо, что поступили конфиденциальные сообщения о том, будто в некоторых деревнях помещики, вернувшись домой под охраной войск и найдя свое имущество разграбленным, самолично проводят следствие и судебное разбирательство и карают предполагаемых виновников.

— Это недопустимо! — разглагольствовал с благородным негодованием Балоляну.— Я не потерплю никаких самочинных репрессий! До чего мы докатимся, если каждый начнет по собственному разумению восстанавливать справедливость, считаясь лишь со своими капризами? Закон должен быть один для всех!.. Отнюдь не равнозначны защита общих интересов и защита интересов личных, чреватая сведением счетов, мщением, попранием законности! — провозгласил префект, перехватив иронический взгляд Херделя.

На следующий день уехал и Титу. Григоре задержал бы его и дольше, но подумал, что при создавшихся обстоятельствах, когда вокруг одни только страдания, разруха и горе, это было бы с его стороны слишком эгоистично.

— Вы были очень добры, деля со мной эти дни, полные опасности и боли,— сказал он на прощание Титу.— Не хочу больше злоупотреблять вашей дружбой... Я вам признателен и никогда не забуду вашей преданности, благодаря которой вы поняли и терпели все мои капризы и угрюмое молчание!.. Впрочем, я тоже ненадолго задержусь в деревне. Одиночество и витающие здесь призраки довели бы меня до полной неврастении. Но я должен распорядиться относительно весенних работ, к которым еще не приступали, и попытаться восстановить то, что может быть хоть как-то восстановлено...

Титу и на этот раз покинул Амару на знакомой желтой бричке, с тем же Икимом на козлах. Улица была пустынна, будто

люди все еще не осмеливались выглянуть из своих домов и убежищ. Двор примэрии был по-прежнему полон крестьян, которые лежали, уткнувшись лицом в землю, под охраной солдат. Следствие продолжалось так же энергично, с той только разницей, что его вели новые люди. Капитан Лаке Грэдинару заменил майора, а унтер Бояниджиу — прокурора...

Вплоть до Костешти, во всех селах, Титу повсюду видел, что ведется такое же следствие. На вокзале в Костешти он встретил Козму Буруяну, который подробно расспросил его о положении в Амаре и сказал, что завтра он тоже вернется домой, но только один, пока не убедится лично, что там действительно уже не опасно...

В Бухаресте Титу в тот же день первым делом отправился к Гогу Ионеску. Быть вестником несчастья всегда неприятно и тяжело, но он успокаивал себя тем, что после лаконичной телеграммы Григоре те подробности, которые он сообщит, все-таки послужат каким-то утешением. Дом на улице Арджинтарь с величественной лестницей и раковиной над входом, казавшийся ему таким веселым и счастливым месяцев шесть назад, когда в волнении и страхе он наведывался сюда, чтобы узнать, не возвратились ли господа, теперь имел хмурый и мрачный вид, несмотря на то что лучи заходящего солнца ласково золотили его стены и играли на стеклах окон, а в садике с аккуратно расчищенными аллеями молодой газон зеленел, как раскинутый на солнце бархатный ковер. Дома была одна лишь Еудженин, и она заставила Титу рассказать ей все еще до прихода Гогу. Еудженин была в ужасе, но главным образом из-за переживаний мужа. Опасаясь за него, она запретила ему ехать в Амару на похороны Надины... Вскоре пришел и Гогу. За те несколько дней, что Титу его не видел, он постарел, казалось, лет на десять. От обычного щегольства и шумной жизнерадостности не осталось и следа. Увидев Титу, он жалобно разрыдался, как слабая, неспособная сдержаться женщина. Только сейчас он осознал, как сильно любил Надину,— любил ее больше, чем сестру, любил, как собственного ребенка. Слушая Титу, которому пришлось повторить все сначала, Гогу то и дело вздыхал: «Бедный отец!.. Как он выдержит такой удар!» До старого Тудора Ионеску тоже дошли слухи о разгуле восстания в уезде Арджеш, и он то и дело спрашивал, вернулась ли из деревни Надина, его любимица, страх за которую терзал его больное сердце.

Вечером за ужином Титу пришлось изложить и супругам Гаврилаш то, что он пережил и увидел в деревне. Лег он поздно и только в постели просмотрел послеобеденные газеты. Печально усмехнулся, прочитав, что благодаря мудрым мерам нового правительства беспорядки почти повсеместно ликвидированы без

малейшего кровопролития. Подобные сообщения звучали как издевательство. В сердце кипело с трудом подавляемое возмущение. Ему приснилось, что он снова в Амаре, во дворе примэрии, посреди поверженной на землю толпы. Майор рубил низко опущенные головы своей выщербленной и порыжевшей от крови саблей. Когда он занес ее над жалобно плачущим ребенком, Титу бросился к офицеру, вырвал у него саблю и отшвырнул в сторону... «Я тебя арестую! Я тебя арестую!..» — орал майор. Титу схватили разъяренные солдаты, и тут же хлыст Тэнэсеску принялся полосовать его лицо...

Назавтра в редакции «Драпелула» Рошу обнял Титу так горячо, словно тот воскрес из мертвых. Затем повел его к Деличану, чтобы Титу рассказал и тому о методах усмирения, применяемых правительством. Как всегда, надеясь прославить газету каким-либо сенсационным материалом, секретарь редакции предложил опубликовать впечатления молодого журналиста, в частности, описать его конфликт с кровожадным майором.

— Нет, нет, Рошу! — воспротивился директор.— Мы нравственно обязались оказывать новым властям всяческое содействие в ликвидации беспорядков. Мы должны сдержать свое слово! Не можем же мы быть такими же грязными и преступными, как они!

— Ладно! — вздохнул Рошу.— Я это предвидел заранее. Наша газета осуждена на жалкое прозябание во веки веков.

Через несколько дней Титу, придя в редакцию, застал Рошу более мрачным, чем когда-либо. Он подумал, что у того какие-то личные неприятности, и, не докучая ему, принялся строчить ежедневные бесцветные статейки, которые уже научился изготовлять непосредственно в редакции. Спустя некоторое время Рошу, не вытерпев, воскликнул:

— Какой ужас!.. Какая подлость!.. Какое варварство!..

Театральные взрывы эмоций очень не шли ему. Голос звучал фальшиво, как у бесталанного актера. Точно поняв это, Рошу вновь погрузился в молчание и лишь минут через пятнадцать саркастически спросил:

— Ну, что будем делать с нашей революцией, малыш?.. Все кончилось, не так ли?.. Поставили на ней крест?.. То есть почему один крест?.. Тысячи крестов!

Титу Херделя подошел к его столу, чтобы показать, как всегда, свою заинтересованность.

— Надеюсь, ты заметил, что из газет почти совсем исчезла рубрика с сообщениями о крестьянских беспорядках?.. Это значит, что репрессии оказались эффективными! Во всей стране восстановлены покой и порядок!.. Но какой покой?.. Тысячи свежих

могил ознаменовали собой воцарение идеального порядка в Румынии.

Рошу немного помолчал, но лицо его побагровело от негодования, и он продолжал:

— То, что ты, малыш, видел в Арджеше, просто невинная шуточка по сравнению с той лютой жестокостью и варварством, с какими новые власти чинят теперь суд и расправу во всех селах нашей страны. Тем, кто просто расстрелян или убит карателями, необыкновенно повезло,— они счастливы, так как спаслись от ужасающих пыток и истязаний, выпавших на долю живых... Короче говоря, произошла кровавая бойня, не имеющая себе равных нигде в мире за последние сто лет. Такого не бывало даже в колониях по отношению к диким племенам. И все это проведено украдкой,— как бы не узнала Европа и весь мир. Грохотали пушки, стирая с лица земли все новые и новые села, непрерывно трещали винтовки... Убитых бросали вповалку в огромные ямы, хоронили без креста, чтобы не оставлять следов... И никто не может протестовать, никто не осмеливается даже пикнуть, так как затронуты интересы страны, а интересы страны требуют, как тебе известно, чтобы миллионы и миллионы крестьян, голодные и разутые, выбивались из последних сил и доставляли нескольким тысячам трутней-бездельников богатства, которые те могли бы транжирить в роскоши и разврате.

— Что ж я могу сделать, если об этом нигде нельзя писать? — спросил Херделя.— Я бы протестовал.

— Это к лучшему, что тебе негде писать об этом, малыш, ибо с тобой разделались бы в два счета: выслали бы из Румынии, как любого нежелательного иностранца.

— Меня? Я в Румынии иностранец? — со снисходительной иронией улыбнулся Титу.

— Не забывай, малыш, что у тебя нет румынского подданства, хоть ты себя и считаешь самым настоящим румыном. Следовательно, как только сочтут, что ты представляешь опасность для общественного порядка, тебя будут рассматривать не как брата, а как врага, со всеми вытекающими отсюда последствиями... Но не волнуйся!.. Через недельку-две только в трибуналах сохранится память о вчерашнем мятеже, ибо там будут судить десятки тысяч крестьян, которых приволокли отовсюду и забили ими тюрьмы всей страны... А остальные будут довольны и даже останутся в выигрыше. Тех, чьи поместья разграблены, государство срочно и с лихвой вознаградит, чтобы они могли восстановить и даже улучшить свои хозяйства. А мужики, если они будут вести себя смирно, получат новую лавину речей, посулов и пустозвонства... Но

следует забывать, что в ближайшем будущем парламент распустят и состоятся новые выборы...

И впрямь, дней через десять даже сам Рошу больше не упоминал о крестьянских волнениях. Газеты уделяли все больше внимания выборам. Лишь кое-кто, главным образом газеты политических партий, требовали выявить и примерно наказать подстрекателей. Весна пробуждала в столице новую жажду жизни. Летние рестораны готовились к открытию. Кофейни и трактиры заполоняли тротуары, выставляя столики под открытое небо. На Каля Викторией, между бульваром и королевским дворцом, прогуливались красивые женщины, словно помолодевшие в своих соблазнительных туалетах. Фланирующие молодые люди обменивались на тротуарах обычными призывами: «Любовь моя», «Куколка»...

Титу Херделя проводил сейчас дома мало времени, хотя комната у него была славная и уютная. Как-то после обеда, когда он взялся было за интересную книгу, к нему нагрянула в гости госпожа Александреску в сопровождении улыбающейся Мими. Их приход удивил Титу. Его бывшая хозяйка объяснила, что заглянула к нему просто потому, что им было по пути и ей захотелось повидать своего старого жильца, всегда такого любезного, но главным образом потому, что ее донимала Мими: «Пойдем, мамочка, навестим его, увидим, не забыл ли он меня!»

Затем она завела речь о Жане, обругала его негодяем и подлецом, рассказала, что он поступил по-хамски,— в один прекрасный день просто не пришел, а прислал эту развалину, своего отца, и тот объявил ей, что их связь окончена. Ну и скандал закатила она им всем, они ее и на том свете не забудут!.. Мими, бедняжка, с первого дня терпеть не могла Жана, он всегда казался ей самовлюбленным эгоистом, не получившим того тонкого воспитания, которое самой Мими дала ее мамочка. Но она, наивная, как любая честная женщина, ни на что не обращала внимания и доверилась словам Жана. Обиднее всего то, что из-за его подлой и чахоточной сестры она разлучила два любящих сердца. Ведь Мими, нежный ангелочек, еще в первый день открыто заявила своей любящей и ласковой мамуле: «Мамочка, твой жилец очень симпатичный!» И с тех пор ну просто не сосчитать, сколько раз Мими ей повторяла: «Мамочка, я люблю его!» А теперь с божьей помощью Мими наконец обрела свободу, да и она сама избавилась от Жана, так что...

— Ну, поцелуйтесь, поцелуйтесь, я отвернусь! — неожиданно закончила госпожа Александреску.

Мими бросилась на шею Титу и прижалась губами к его губам. Херделя смутился и, растерявшись, пролепетал несколько любезных слов, от которых ему стало еще больше не по себе. Про-

щаясь, госпожа Александреску пригласила его непременно навестить их. Перед уходом Мими задержалась, снова прильнула к нему и томно прошептала:

— Обязательно приходи, крошка!..

Неожиданный визит побудил Титу на второй же день пойти к Таице. Он не виделся с девушкой целые две недели, с тех пор как возвратился в Бухарест. Она к нему не заходила, а Титу не посмел ее разыскивать. Приняли его радушно. Таица удивилась, обрадовалась, зарделась от счастья. Жан пожал ему руку, словно они расстались только вчера. Говорили в основном о свадьбе Жана, которую решено было отпраздновать через несколько недель, после пасхи. Он попросил Титу быть шафером. Тот согласился, но только если ему дадут симпатичную пару. Другими словами, Таицу. Госпожа Ионеску растрогалась и благодарно посмотрела на Титу, а старик Ионеску заставил себя улыбнуться.

Григоре Юга вернулся в Бухарест лишь спустя три недели после приезда Титу. Хотя лицо у него было усталое, в глазах как будто затеплилась какая-то надежда.

— Все сбежавшие, конечно, вернулись,— рассказывал он, удовлетворяя любопытство Херделн.— Возвратился и Платамону, но без своего искалеченного сына, который, наверно, помещен в какой-нибудь санаторий... Одни лишь покойники не могут вернуться!

Стремясь отвлечь друга от печальных мыслей, Титу попытался переменить тему, но Григоре спокойно продолжал:

— Весенний сев я уже закончил!.. Крестьяне вышли на поля, как будто восстание было лишь дурным сном. За работу они принялись усерднее, чем обычно, с каким-то немым отчаянием... К сожалению, почти четвертая часть крестьян еще сидит под арестом в Питешти. Все подвалы в городе превращены в застенки. Никакое несчастье ничему нас не научит... И это не говоря уж о том, что в нынешних условиях отсутствие стольких рабочих рук — серьезная потеря для всего хозяйства страны!.. В общем, мы прилагаем все усилия, чтобы, насколько это возможно, стереть следы урагана. Впрочем, нам помогает сама природа. Всюду бурлит новая жизнь. Деревья в садах и в лесах цветут. Весна торжествует на развалинах, пожарищах, пепелищах...

— А в человеческих душах? — спросил Титу.

— Бог знает, один бог, и никто другой! — ответил Григоре.— Сколько раз я ни толковал с мужиками, которых избили, а ведь избили поголовно всех, мне все казалось, что они ни о чем не жалеют, даже наоборот... У каждого в голове засел вопрос, который не могут вырвать никакие репрессии: «Как нам жить без земли?»

5

О своих дальнейших хозяйственных планах Григоре Юга обстоятельно советовался с Виктором Пределяну. Оставшись волей судеб единственным владельцем имения Амара, он решил осуществить на практике свои идеи и преобразовать всю работу по эксплуатации поместья. Но для этого ему необходим был честный и знающий агроном, преданный помощник и единомышленник, на которого он мог бы полностью положиться при любых обстоятельствах. Григоре намеревался, по примеру Пределяну, поселиться в Бухаресте, а в поместье наезжать только во время важнейших полевых работ. Сгоревшее здание он не предполагал восстановить, а думал перестроить на современный лад отцовскую усадьбу, которую пощадила ярость огня.

Пределяну навел справки и в конце концов нашел нужного Григоре специалиста. Это был симпатичный молодой человек, энергичный и умный, приятной наружности, проходивший в течение нескольких лет сельскохозяйственную практику в Германии, а затем успешно ведавший крупной государственной образцовой фермой.

— Вот он, прошу любить и жаловать! Степпан Халунга!.. Ну как, он тебе нравится? — спросил Пределяну, представляя своего протеже.

— Нравится! — улыбнулся Григоре.— Надеюсь, мы станем хорошими друзьями.

Перед тем как поехать в Амару с новым управляющим, Григоре считал необходимым разрешить некоторые вопросы, которые именно из-за того, что они были наследием прошлого, могли помешать будущему. С Гогу Ионеску пришлось обсудить, где лучше похоронить останки Надины. Надина перед смертью оставалась женой Григоре только потому, что не были выполнены процедурные формальности, и он не чувствовал себя вправе что-либо в этом отношении решать. Гогу, который все еще не утешился, полагал, что, коль скоро судьба привела сестру в деревню как раз в те страшные дни, ее душа, столь неугомонная на этом свете, именно там сумеет обрести покой. Через три месяца они все поедут туда на поминки. Кстати, заодно он намеревается продать свое поместье в Леспези, а возможно, и поместье Бабароагу, принадлежавшее Надине. Происшедшие события слишком его потрясли. У него не хватит духа жить и чувствовать себя дома в тех краях, среди зверей, убивших его сестру.

— В таком случае продай землю крестьянам! — предложил Григоре.— Они тоже пролили много своей крови и тем самым оплатили право на покупку земли.

— Нет, нет! — с ужасом отмахнулся Гогу.— Я больше не хочу иметь с мужиками никаких дел, даже дел, связанных с куплей-продажей. Охотнее всего я продал бы поместье банку, а тот пусть уж делает с ним, что хочет — хоть поделит на мелкие участки и продаст мужикам... Ничего не поделаешь, Григорицэ, милый, я не похож на тебя, меня ничто не связывает ни с землей, ни с крестьянами. Я стопроцентный горожанин. Быть может, именно потому я никогда не забуду и тем более никогда не прощу мужикам их страшных преступлений, разбивших мое сердце.

Григоре посетил несколько раз Думеску, директора Румынского банка. В память о дружбе с Мироном Югой Думеску предложил Григоре свою помощь для преодоления финансовых затруднений. Григоре не хотел принимать от государства никакого возмещения убытков, в отличие от других потерпевших, которые сейчас наперебой клянчили компенсации, всячески раздувая размеры бедствия, чтобы извлечь из него максимальную выгоду. Из всех сгоревших в поместье Юги зданий застрахована была только новая усадьба. Если страховое общество выполнит свои обязательства и выплатит согласно договору страховку, то он рассчитается с банком, а на оставшиеся деньги восстановит хотя бы частично хозяйственные постройки и купит инвентарь. Думеску опасался, однако, что страховые общества не согласятся компенсировать убытки, рассматривая восстание как чрезвычайное происшествие, аннулирующее юридически их обязательства. Весьма желательно, чтобы правительство приняло специальный закон для урегулирования всех осложнений, порожденных особыми обстоятельствами. Во всяком случае, он, Думеску, займется всеми этими вопросами.

Затем Григоре похлопотал в Управлении церквей и добился перевода в Амару, на вакантное место священника, сына старого Никодима, так что, хотя бы посмертно, исполнилась заветная мечта старика. Впрочем, молодой священник сразу же примчался домой из уезда Горж, где у него был приход, чтобы принять участие в похоронах отца и чем-нибудь помочь Никулине, пока не выйдет на свободу Филип, которого до сих пор держали под арестом в Питешти с другими крестьянами, попавшими в беду.

Когда наконец Григоре Юга вместе с новым управляющим поехал к себе в имение, то, стремясь хоть как-то успокоить и утешить крестьян, он задержался в Питешти, чтобы вызволить из тюрьмы учителя Драгоша.

Балоляну заставил себя долго упрашивать. Он был твердо убежден, что восстание, в частности в уезде Арджеш, дело рук подстрекателей, и потому задался целью непременно их выявить и тем самым помочь своей партии, которую некоторые анархические газеты стали обвинять в том, что она якобы несет моральную

ответственность за печальные события. На Драгоша ему указали как на самого опасного агитатора. Только после двух дней уговоров и настояний Балоляну согласился выпустить его под личную ответственность Григоре...

Амара вновь обрела свой обычный вид. Корчмарь Бусуйок, сдвинув шляпу на затылок и выпятив живот, опять стоял на пороге, переговариваясь с прохожими. Староста Ион Правилэ наведывался к нему все чаще, чтобы опрокинуть стопку цуйки и восстановить силы, необходимые для преодоления трудностей, вызванных революционной бурей.

— Что там слышно с арестованными, господин староста? — то и дело спрашивал корчмарь.— Выпустят их или совсем сгноят в каталажке?

— Что ж теперь делать, Кристаке, коли они меня не слушали? — озабоченно вздыхал староста.— Больно умными стали, напролом лезли, вот и нарвались... Сейчас одна надежда на господина Григорицэ, может, смилостивится и выручит их из беды, как выручил господина Никэ.

— А убытки нам оплатят или так и останемся ни с чем? — продолжал расспрашивать Кристя Бусуйок, который подал соответствующие бумаги и у себя в селе, и в Питешти, надеясь хорошенько подработать на своих переживаниях.

— Так и в этом деле вся надежда на господина Григорицэ,— отвечал Правилэ.— Теперь только его доброе сердце может нам помочь...

В канцелярии трудился в поте лица один лишь секретарь Думитреску, совсем заваленный бумагами, так как староста пропадал то в жандармском участке, то на барской усадьбе. Унтер Бояджиу готов был продолжать следствие хоть целый год, но Григоре посоветовал ему поскорее закончить его и не слишком лютовать.

— Я тебе говорил, что в Амаре все разбойники, один к одному, а ты мне не верил,— частенько выговаривал Бояджиу старосте.— Сейчас ты их тоже раскусил!.. Но ничего, отныне у меня на них есть управа!..

Окруженное цветущими деревьями, заново оштукатуренное здание старой усадьбы казалось помолодевшим. Развалины сожженного дома были разобраны, а цветочные грядки, разбитые на их месте, словно раздвинули парк, сделали его более гостеприимным. Управляющий Халунга уверенно взял в свои руки хозяйство, будто провел здесь всю жизнь. Его спокойная, ласковая речь, особенно уместная сейчас доброта, трудолюбие и энергия завоевали доверие крестьян. Один только Исбэшеску, занятый восстановлением уничтоженных гроссбухов, следил за новым управляю-

щим с тайной враждебностью. Он считал себя незаслуженно оскорбленным и приниженным тем, что Халунга незаконно узурпировал должность, полагавшуюся ему, и только ему, по всем законам и по справедливости, тем более что он, Исбэшеску, столько перенес из-за своей преданности хозяевам.

— По воскресеньям Григоре собирал крестьян во дворе усадьбы, чтобы узнавать из первых рук об их нуждах и горестях. Каждый раз ему приходилось выслушивать одни и те же жалобы,— правда, высказывали их сейчас осторожнее,— на нехватку кукурузы, тяжкое бремя долгов, земельный голод. Никто никогда не упоминал о восстании, а когда Григоре спрашивал, то неизменно получал почти один и тот же ответ:

— Погорячился народ, господин Григорицэ, так уж, видать, было суждено.

Один только Лупу Кирицою как-то осмелился добавить:

— Не пробил еще тот час, когда возьмет верх правда, сударь, но обязательно должен когда-нибудь пробить, потому как не может быть на свете жизни без правды.

Козма Буруянэ то и дело наведывался к Григоре за советом и помощью, но главным образом для того, чтобы пожаловаться. Сейчас он уповал только на то, что государство возместит убытки, иначе ему ничего не останется, как пойти по миру,— мужики, мол, разграбили у него все, до последней нитки. От Буруянэ Григоре узнал, что полковник Штефэнеску в минуту гнева застрелил собственной рукой трех крестьян из Влэдуцы, которых уличил в поджоге усадьбы...

В конце мая, когда Халунга уже вполне освоился в Амаре, Григоре снова уехал в Бухарест. Он всем говорил, что ему необходимо в столицу, чтобы с помощью Думеску ускорить там разрешение финансовых дел. Но в глубине души он признавался себе, что его тянет в Бухарест что-то более важное, такое важное, что от этого зависит вся его жизнь.

Однако в столице дни проходили за днями, а Григоре все никак не осмеливался взяться за это «самое важное». Он занимался всевозможными пустяками, будто специально стараясь отсрочить главное. К Пределяну заходил реже, чем раньше, под предлогом множества серьезных и безотлагательных дел, связанных с Амарой. С тех пор как в начале июня был распущен парламент и Балоляну, отказавшийся от поста префекта, чтобы выставить свою кандидатуру в палату депутатов, возвратился в столицу, Григоре бывал у него почти ежедневно, как раньше у Пределяну. Однако о воскрешении прежних теплых отношений не могло быть и речи, ибо Балоляну, уже больше ни за что не отвечавший, снова

излагал радикальные теории и разглагольствовал о крестьянском вопросе с прежним пустозвонством, раздражавшим Григоре.

— Нашим первым законом будет всеобщая амнистия, которая исцелит раны, нанесенные недавними несчастьями, и принесет душам истинный покой! — заявил как-то с аристократической гордостью Балоляну.— Мы, чьи сердца обливались кровью, когда нам приходилось восстанавливать в стране порядок, умеем восстанавливать и справедливость, дорогой Григорицэ! Тысячи несчастных, которыми полны тюрьмы, должны вернуться к своим очагам, покаявшись и исправившись, чтобы снова приступить к труду на благо и счастье Румынии!

Григоре надеялся использовать влияние Балоляну, чтобы устроить куда-нибудь на службу Титу Херделю, который, узнав от Рошу правду о своем положении в редакции газеты, был в отчаянии и боялся, как бы не остаться снова без куска хлеба. В конце концов, с помощью генерального секретаря Министерства государственных имуществ, Балоляну удалось пристроить Титу на должность референта в Управление по делам Добруджи.

— А что я там должен буду делать? — взволнованно спросил Титу, которого Григоре привел с собой, чтобы тот сам услышал добрую весть.

— Должны будете заходить туда раз в месяц получать жалованье! — весело ответил Балоляну.— А все остальное время — писать стихи, если вы еще способны на это! Или женитесь, если надумаете!

Титу Херделя покраснел, словно Балоляну угадал его сокровенные мысли, но тут же нашелся и возразил:

— Мне кажется, это пожелание скорее относится к господину Юге.

Григоре чуть помолчал и лишь после паузы серьезно ответил:

— Вероятно, это было бы неплохо...

6

В середине июня, так и не закончив всех дел, Григоре Юга решил поехать в Амару и не возвращаться в Бухарест до самой осени. Он зашел попрощаться с семьей Пределяну. Там он застал одного Виктора; Текла и Ольга ушли в город за покупками. Поболтав о новостях и главным образом об ущербе, понесенном Пределяну в Делге (впрочем, совсем незначительном), Григоре неожиданно, без малейшей связи с предыдущим разговором, спросил:

— Как ты думаешь, Виктор, Ольга согласится стать моей женою?.. Но только прошу тебя ответить мне искренне, без дипломатии, так как...

Пределяну лукаво улыбнулся:

— А что она сама думает? Ее ты спрашивал?..

И тут Григоре Юга выпалил одним духом, что он давно любит Ольгу, что он тщетно боролся с собой, что ему опротивела теперешняя его жизнь и он мечтает начать новую... Пределяну дал другу излить душу, выслушав его серьезно и с сочувствием.

— Вот что, дорогой Григорицэ,— сказал наконец Виктор.— Ты говорил, что собираешься завтра ехать в Амару. Отложи отъезд на день. Послезавтра едет домой и Ольгуца. Ты можешь ее проводить, развлечь по дороге и даже нанести визит ее родителям в Крайову. Чутье мне подсказывает, что ты об этом не пожалеешь.

Поезд отправлялся в пять часов. Григоре ждал на вокзале с четырех. Первым пришел Титу Херделя с букетиком белых цветов. Накануне, в минуту полного душевного счастья, когда они завтракали вместе, Григоре признался другу, что он любит Ольгу Постельнику и счастлив. Титу захотелось первым поздравить Ольгуцу или хотя бы преподнести ей цветы, так как поздравлять ее на словах он пока не решался, боясь оказаться нескромным... Кроме того, ему не терпелось поделиться с Григоре своей большой радостью. Накануне, уже после того как они расстались, Деличану — несомненно, по настоянию Рошу — объявил Титу, что тот остается и впредь в редакции «Драпелула» с тем же жалованьем, так как газета нуждается в его услугах. Весь излучая радостную уверенность в будущем, Титу воскликнул:

— Теперь я уже ничего не боюсь. Позавчера мне казалось, что я повержен в прах, а сегодня — пожалуйста — у меня два оклада!.. Везет мне в жизни!..

По дороге он забежал к Танце, чтобы поделиться своей радостью и с ней. Девушка проводила его до вокзала и сейчас ждала в кондитерской на улице Каля Гривицей, чтобы затем весело провести вместе остаток дня.

Пока Титу упоенно болтал, а Григоре еле сдерживал нетерпение, прибыл какой-то поезд. В толпе бросившихся к выходу пассажиров Григоре увидел Илие Рогожинару, арендатора Олены, и поспешно отвернулся, будто испугавшись его. Но Рогожинару сразу же заметил Григоре и, весь в поту, волоча за собой чемодан, с улыбкой подбежал к нему.

— Не узнаете меня, сударь? — воскликнул он, опустив на землю чемодан и вытирая большим платком лицо и лысину.—

Я слышал да и читал о вашем несчастье,— продолжил он тут же другим голосом, печально покачивая головой.

Он многословно выразил свое глубокое сочувствие в связи со смертью Мирона Юги и Надины, расспросил Григоре, понес ли тот убытки, получил ли уже хоть какое-нибудь возмещение и много ли во время репрессий было убито мужиков. Расспрашивая, он то и дело перебивал сам себя одними и теми же словами:

— Я вам говорил, что мужики негодяи!.. Помните, как я это говорил?

Потом он подробно рассказал, как ему повезло и как он спас все свое имущество. Задержись он хоть на день, когда они встретились тогда в поезде по дороге в Питешти, и все его добро пошло бы прахом. В уезде Долж мужики оказались еще озлобленнее, чем где-либо, и уже принялись за поджоги и грабежи помещичьих усадеб. Заявились и к нему,— так и так, мол, барин, отдай, мол, нам поместье, а то все разнесем да и жизни тебя решим... Ну, тогда он и подумал: надо перехитрить этих душегубов. Стал с ними рядиться да торговаться, пока не столковались, что он по доброй воле отдаст им поместье со всем, что в нем находится, пусть делят между собой, как им взбредет в голову, он же обязуется возместить ущерб помещику, если у того будут какие-либо претензии. Для пущей убедительности они даже договор заключили в примэрии, скрепили его сургучной печатью и подписями. А взамен крестьяне разрешили ему спокойно отсидеться в усадьбе, пока не закончится революция. Ну, а через два дня нагрянули солдаты и досыта накормили мужиков землей...

— Вот так я благополучно вывернулся, сударь, уберегся от ярости разбойников! — с довольным смехом закончил свой рассказ Рогожинару.

Григоре Юге смех арендатора действовал на нервы, и он сухо заметил:

— Если уж такое несчастье нас ничему не научит, то...

— А чему мы должны научиться, сударь? — возмущенно перебил его Рогожинару.— Держать мужиков покрепче в узде или позволить им всех нас вырезать, за что они уже брались?.. Нет, нет, сударь! Бросьте в огонь все теоретические книги и взгляните на крестьян трезвым взглядом, вспомните, какими они себя только что показали!.. Пусть себе работают, не приучайте их ждать от государства того, чего они не в состоянии добыть своим трудом!.. Вы только не думайте, что мужик будет когда-нибудь доволен. Если вы завтра дадите ему даром землю, он у вас потребует тоже задаром скот и сельскохозяйственные орудия, потом также задаром потребует денег... вечно будет чего-то требовать!..

— Пока суд да дело, они получили одни лишь пули,— хмуро пробормотал Григоре.

— А что же вы хотели, сударь, чтобы их угощали горячими пирогами и официальными поздравлениями? — возмутился арендатор.— Это уж слишком! Слушать вас больно! Коли вы, кто натерпелся, как никто другой, можете так высказываться, то что уж говорить о тех, кто...

К счастью, на перроне появилась семья Пределяну, и Рогожинару остался ворчать около своего чемодана. Ольга с улыбкой поблагодарила Титу за цветы.

— Поэт всегда остается верен себе! — воскликнул Пределяну, пожимая руку Херделе.

— Тем более когда дело касается такой очаровательной барышни! — расшаркался Титу, держа в руке шляпу и бросая восхищенный взгляд на Григоре.

Больше всего расчувствовалась Текла Пределяну. Она жалела только, что не взяла на вокзал и детей, чтобы все проводили Ольгу, хотя через несколько дней они тоже поедут в поместье, а по пути ненадолго задержатся в Крайове. Счастливый и смущенный Григоре все время улыбался, не смея, однако, поднять на Ольгу глаза.

— Ну ладно, идите в купе, осталось всего три минуты!— предупредил Пределяну.

— Надеюсь, вы снова наведаетесь ко мне в Амару,— обратился Григоре к Титу.

— Всегда буду рад, если примете! — ответил тот, окидывая ласковым взглядом и его и Ольгу.

Поезд тронулся плавно, почти незаметно. Высунувшись из окошка, Ольга и Григоре улыбались оставшимся на перроне, повторяя, как рефрен:

— До свидания!.. До свидания!.. До свидания!..

Голоса смешивались, сливались, растворяясь в нарастающем гуле мира...

МИХАИЛ САДОВЯНУ

КОЗМА РЭКОАРЕ

(COZMA RĂCOARE)

Рассказ отражает увлечение Садовяну фольклором, особенно гайдуцкими балладами. Новелла впервые была опубликована в 1902 г. в журнале «Ревиста модернэ». На русском языке впервые напечатана в 1957 г., в сборнике: Михаил Садовяну. Избранные произведения. ГИХЛ.

Стр. 23. *Милков* — река, по которой проходила граница между Мунтенией и Молдовой.

Стр. 24. *Вода* — народное сокращение титула воеводы (господаря, князя), как именовались правители в Дунайских княжествах.

КАВАЛЕРИСТ

(CĂLARAŞUL)

Сюжет связан с русско-турецкой войной 1877—1878 гг., в которой принимали участие и румынские войска. Рассказ впервые опубликован в 1904 г., в журнале «Сэмэнэторул». Вошел в сборник «Рассказы о войне» (1905). На русском языке опубликован в 1957 г., в книге: Михаил Садовяну. Избранные произведения. ГИХЛ.

Стр. 31. *Осман-паша* — командующий турецкими войсками во время войны 1877—1878 гг.

Стр. 32. *Рошиор* — гусар (рум.).

ЛЕС
(CODRUL)

Рассказ впервые напечатан в журнале «Виаца ромыняскэ», в 1906 г. Вошел в сборник «Давняя история» (1908). На русском языке впервые напечатан в книге: Михаил Садовяну. Избранные произведения. ГИХЛ, 1957.

Стр. 36. *Фэлчь* — множественное число от фалкэ, старой меры площади, равной 14 322 кв. м. (рум.).

Стр. 39. *Бучум* — народный музыкальный духовой инструмент — длинный пастуший рог (рум.).

Стр. 40. *Леле* — обращение к женщине, старшей по возрасту, или к старшей сестре (рум.).

ШЕСТЬСОТ ЛЕЙ
(ŞASE SUTE DE LEI)

Рассказ впервые напечатан в журнале «Виаца ромыняскэ», в 1911 г. Вошел в сборник «Подстрекатель» (1912). На русском языке впервые опубликован в сборнике: Михаил Садовяну. Место, где ничего не произошло... ГИХЛ, 1963.

ВЭЛИНАШЕВ ОМУТ
(BULBOANA LUI VALINĂŞ)

Новелла впервые опубликована в 1920 г. Вошла в сборник «Голубой аист» (1921). На русском языке опубликована в сборнике: Михаил Садовяну. По Сероту мельница плывет. Боярский грех. Кроты. Вэлинашев омут. ГИХЛ, 1954.

Стр. 56. *Катринца* — домотканая юбка (рум.).

Стр. 60. *Хора* — народный танец и место, где происходят танцы (рум.).

НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ АНКУЦЫ
(HANUL ANCUŢEI)

Постоялый двор Анкуцы действительно существовавшее подворье на большом торговом тракте, пересекавшем Молдову с севера на юг. Ныне восстановлен как исторический памятник. Цикл рассказов впервые был опубликован в 1928 г. На русском языке впервые напечатан

в сборнике: Михаил Садовяну. Избранные произведения. ГИХЛ, 1957.

Стр. 80. *Цара-де-Жос* — равнинные, южные районы старой Молдовы.

Муст — молодое, неперебродившее вино (р у м.).

Стр. 81. *Чахлэу, Халэука* — горные вершины в Карпатах.

Рэзеш — мелкий землевладелец-крестьянин (р у м.).

Стр. 82. *Цара-де-Сус* — горные районы северной Молдовы.

Михай (Михалаке) *Стурдза* — господарь, правивший Молдовой с 1834 по 1849 г.

Стр. 89. *Диван* — высший государственный совет при господарях в Молдове.

Ворник — придворный чин в Дунайских княжествах (р у м.).

Туфекчи-баши — начальник придворной стражи (т у р е ц к.).

Стр. 100. *Мазылская конница* — нерегулярная конница в старой Молдове, набиравшаяся из мелкопоместных, не состоявших на службе бояр — мазылов. Капитан мазылов в мирное время обычно выполнял различные административные функции.

Стр. 118. *Аджия* — полицейское управление в Дунайских княжествах (т у р е ц к.).

Стр. 122. *Рарэу* — гора в Карпатах.

ТАМОЖНЯ НА КЛАДБИЩЕ ЭЮБ
(VAMA DE LA EYUB)

Рассказ опубликован в сборнике «Восточные фантазии» (1946), на русском языке впервые напечатан в сборнике «Современные румынские повести и новеллы».

Стр. 154. *Великая Порта*, или Блистающая Порта — Оттоманская империя.

Стр. 156. *Дауд.* — Имеется в виду библейский царь Давид.

МИТРЯ КОКОР
(MITREA COCOR)

Повесть впервые опубликована в 1949 г. В 1950 г. Всемирный Совет Мира наградил автора за эту повесть «Золотой медалью мира». На русском языке впервые опубликована в 1950 г.

Стр. 161. *Малу Сурпат* — обвалившийся берег (р у м.).

Стр. 162. *Лунгу* — длинный (р у м.).

Скурта — коротышка (р у м.).

Стр. 162. *Кокор* — журавль (р у м.).

Стр. 166. *Цуйка* — фруктовая водка.

Стр. 176. *Райя* — отдельные города или области, находившиеся под властью или контролем турок (т у р е ц к.).

Стр. 181. *Влад Цепеш* — господарь Мунтении (1456—1462). Расправлялся со своими врагами, сажая их на кол, откуда и получил название «Цепеш» — сажатель на кол.

Стр. 177. ... *осмелились люди возроптать.* — Речь идет о крестьянском восстании 1907 г., жестоко подавленном правительством.

Стр. 213. *Муттерхен* — мамочка (н е м.).

Стр. 252. *Олтенец* — уроженец области Олтения.

Стр. 256. *Дофтана* — политическая тюрьма в буржуазной Румынии.

Стр. 257. *Зевзяка* — дура (р у м.).

Стр. 271. *Фрэсинет* — ясеневый лес (р у м.).

ЛИВИУ РЕБРЯНУ

ВОССТАНИЕ

(RĂSCOALA)

Роман впервые опубликован в 1932 г. На русском языке вышел в 1970 г. в издательстве «Художественная литература».

Стр. 293. *Погон* — румынская единица земельной площади, равная 5012 кв. м.

Стр. 294. *Мунтения*, или Валахия — исторически сложившаяся область Румынии.

Стр. 296. *Трансильвания*, или Ардял — исторически сложившаяся область на северо-западе Румынии, входившая до 1918 г. в состав Австро-Венгрии.

Стр. 299. *Каля Викторией* (Путь Победы) — центральная улица Бухареста.

Стр. 304. *Ион Гланеташу* — главный герой романа Л. Ребряну «Ион».

Стр. 313. *Пьяца Палатулуй* — Дворцовая площадь в Бухаресте.

Стр. 325. *Сигуранца* — политическая полиция в буржуазной Румынии (р у м.).

Стр. 330. *Чокой* — мироед (р у м.).

Стр. 368. *Кырлан* — двухлетний жеребенок (р у м.).

Стр. 396. *Дойна* — народная лирическая песня (р у м.).

Стр. 418. *Аппоньи* Альберт (1846—1933) — венгерский реакционный политический деятель.

Стр. 422. *Джурджу* — город на юге Румынии на берегу Дуная.

Стр. 448. *Оболул* — лента (р у м.).

Стр. 459. *Гура Мошилор* — одна из окраин Бухареста.

Стр. 469. *Михай Храбрый* (1558—1601) — господарь, правитель Мунтении, одержавший ряд побед над турками и впервые объединивший в одно государство Мунтению, Молдову и Трансильванию.

Стр. 483. *Фанариоты* — греки, находившиеся на службе турецкого султана. Название происходит от греческого квартала в Стамбуле Фанера (по-румынски — «Фанар»). Из среды фанариотов в течение более ста лет (1711—1821) турки назначали господарей Дунайских княжеств (так называемая «эпоха фанариотов»)

Ю. Кожевников

СОДЕРЖАНИЕ

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ

Том 178

Михаил Садовяну

РАССКАЗЫ. МИТРЯ КОКОР

Ливиу Ребряну

ВОССТАНИЕ

•

Редактор Е. Осенева

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
С. Журбицкая

Корректор Т. Кузина

•

Сдано в набор 19/V 1975 г. Подписано в печать 21/XI 1975 г. Бум. типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 44 печ. л. 41,052 усл. печ. л. 45,31+8 вкл.=46,324 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Заказ 2885.
Цена 2 р. 27 к.

•

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

•

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28.